

Борис Четвериков

КОТОВСКИЙ

Роман-диалогия

Книга первая ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Первая глава

1

Княгиня Мария Михайловна Долгорукова была в том неопределенном возрасте, когда женщине можно дать под сорок, а можно — и все пятьдесят. Княгиня была великолепна. Страх перед подкрадывающейся старостью заставлял ее чуточку злоупотреблять духами, одеваться ярче и пестрее, чем бы следовало, и кокетничать слишком навязчиво и откровенно. Но все это выходило у нее очень мило. Даже тем обстоятельством, что у нее взрослая дочь, Мария Михайловна тоже подчеркнуто щеголяла. Она как бы говорила: «Вот видите, моя Люси совсем взрослая, а между тем я еще так молодо выгляжу».

Мария Михайловна была в дорожном, но и эта огромная шляпа, и белая вуаль с мушками, и шуршащая синяя шелковая мантилья, и яркий зонтик, который, собственно, вовсе был не нужен, — все было так необыкновенно, так модно, так броско... И Мария Михайловна так заразительно смеялась и придумывала столько поручений офицерам, которые окружали ее экипаж...

— Серж! Я хочу вина... Я совершенно продрогла.

И молоденький Серж, мальчик, бежавший за границу после разгрома революционными войсками кадетского корпуса в Петрограде и теперь очутившийся почему-то в составе румынской армии, в восторге и упоении мчался отыскивать вина.

— Юрий Александрович! Узнайте, далеко ли до Кишинева? Какие ужасные дороги! Вся Россия состоит из ухабов! Почему нет ухабов во Франции, в Париже? Ведь можно устроить, чтобы не было ухабов?

Капитан Бахарев, к которому обращены были эти слова, спешил выполнить поручение княгини и готов был извиняться за плохое состояние бессарабских дорог.

Подъезжал справиться о здоровье княгини румынский коренастый полковник. Он сообщал при этом, что погода неважная, и возвращался к своей части, молодежато подкручивая усы и считая, что очень мило поболтал с интересными дамами.

Мария Михайловна ехала в роскошном экипаже, сверкающем, лакированном, на резиновом ходу. Рядом с ней помещались бесчисленные картонки и Люси ее дочь, блондинка с голубенькими глазками, пухлыми губками, и вся в бантиках, в бантиках — не девушка, а сюрпризная коробка.

Офицеры, поотстав от экипажа, чтобы выкурить сигарету, делились впечатлениями от знатных путешественниц, грубовато, по-армейски острили, спорили, кто лучше: мать или дочь, — и все время расходились во мнениях.

В самом деле, княгиня вполне могла еще нравиться. В ней чувствовалась порода. И она была так изнежена, избалована жизнью. Сейчас по ее холеному лицу скользила временами печальная тень. Может быть, впервые ей приходилось вот так, ранним, холодным, неприветливым утром тащиться по скверным дорогам, впервые сознавать, что она вынуждена считаться с какими-то обстоятельствами, подчиняться чужой воле... И на лице ее

появлялась иногда горькая улыбка, которая ей очень шла.

Что касается Люси, то она действительно была прехорошенькая, даже если не брать в расчет все мастерство и искусство ее дорогих портних.

Для офицеров в их походной неуютной жизни было приятной неожиданностью встретить здесь, под Кишиневом, настоящих светских женщин, говорить с ними, «ввернуть» в свою речь два — три французских слова, щегольнуть галантностью, воскресить в памяти петербургские гостиные, балы в Офицерском собрании, лотереи-аллегри...

На откидной скамейке, напротив дам, сидел помещик Скоповский, Александр Станиславович. Экипаж принадлежал ему, и он вез княгиню и княжну Долгоруковых к себе в имение погостить.

Разумеется, только это тревожное время могло содействовать их неожиданному знакомству. Скоповский отлично сознавал разницу общественного положения аристократической фамилии Долгоруковых и его, Скоповского, провинциала, помещика средней руки.

Но сейчас Скоповскому предоставлялся случай оказать любезность княгине. Было бы глупо, если бы он такой случай упустил. И он спешил, спешил попасть в свое имение «Валя-Карбунэ».

Когда началась революция, Долгоруковым пришлось пережить неприятные минуты на Киевщине, где находилось их имение: крестьяне стали захватывать помещичьи земли, хотели спалить и имение Долгоруковых... Пришлось уезжать чуть не тайком, ночью, захватив лишь необходимые вещи, которых все-таки набралось порядочно.

Скоповскому тоже пришлось спешно покинуть свое «Валя-Карбунэ».

Но теперь положение менялось. Усилиями «Сфатул-Цэрий» националистического правительства Молдавии, сочувствием Украинской Рады, а прежде всего — согласованными действиями иностранных держав в Бессарабии восстанавливались прежние порядки. Сейчас уже определенно известно, что красные из Кишинева ушли, и «Сфатул-Цэрий» гарантирует: ни одного выстрела не услышат возвращающиеся. Румынские войска будут встречены цветами. Добро пожаловать, дорогие спасители!

И они не заставили себя долго ждать.

Вот почему войска и обозы боярской Румынии загромождали все дороги в направлении на Кишинев. Вот почему в Кишиневе сутились и бегали настроенные торжественно и празднично бывшие чиновники, бывшие полицейские, готовившие войскам пышную встречу.

«Сфатул-Цэрий» выстроил, как на параде, почетный караул в центре города, на Немецкой площади, где всего несколько дней назад состоялся митинг, выступал Котовский и куда затем брошен был на усмирение целый эскадрон...

Губернский комиссар, бендерский помещик Мими, самолично давал распоряжения о доставке букетов из оранжерей собственного поместья. Другие почтеннейшие господа из «Сфатул-Цэрий» развешивали национальные флаги. В Дворянском собрании повара готовили пышный обед.

Вот почему возвращались в Бессарабию приободрившиеся помещики, купцы, чиновники.

И Скоповский тоже не хотел откладывать ни на минуту возвращения. Вот уж поистине неугомонный человек!

Напрасно его уговаривали не торопиться, переждать, дать время, чтобы военные власти... как бы это выразиться... ну, приняли бы надлежащие меры. Так нет! Подай ему его «Валя-Карбунэ» немедленно!

Желательно ему, видите ли, показаться, да, да, показаться этим ленивым молдаванам, этим буйволам, чтобы они воочию могли убедиться, что господин Скоповский существует, что господин Скоповский никуда не девался, вот он тут, жив и невредим.

И вот он едет в своей коляске буквально по пятам войсковых частей. Торопит кучера, шумит на переправах...

Он еще совсем бодр, несмотря на солидный возраст. Если бы не тревоги, не передраги, он мог бы еще долго тянуть. Он и сейчас умел показать себя баринком. Панская кровь в нем играла. Скоповский всегда старался подчеркнуть, что он не молдаванин, что ему сродни некоторые польские магнаты, владеющие огромными угодьями на Украине. Он прекрасно знал родословные многих крупных помещиков, их состояния, их семейные связи, сопричислял себя к их кругу и во всем тянулся за ними. Он хотел жить на широкую ногу, хотел блистать, любил говорить, что понимает толк в жизни.

В имении «Валя-Карбунэ» всегда было шумно, весело, безалаберно, особенно когда на летние каникулы приезжали из Петербурга дети: студент-путеец Всеволод Скоповский и Ксения — мечтательная институтка с богатой пышной косой. Тогда в имении не переводились гости. Жгли фейерверки, танцевали, ездили на пикники. Всеволод обычно являлся со студентами-однокашниками, Ксения привозила подруг. Все они влюблялись друг в друга, писали записки, назначали свидания, давая неисчерпаемый материал для волнений и совещаний бесчисленных бабушек и теток...

А теперь и дети неизвестно где... Все стало неясно! Скоповский считал, что не от возраста и нездоровой жизни иссякла радость бытия, не от больной печени стали приходиться все чаще невеселые мысли. И в болезнях, и в преждевременной старости, и в одиночестве, и во всех невзгодах Скоповский винил революцию. Казалось, что, если бы не она, все шло бы, как прежде: по-прежнему делали бы шарлотки, по-прежнему Скоповский жил бы в полное удовольствие, чтобы вот так, среди веселья, врасплох умереть, не успев даже испугаться своей кончины. И не потому ли он так стремился вернуться в свое имение, что все еще надеялся застать там прежнего себя: свою былую беспечность, былую молодость?

Ну да! Он только временно оставил все свое лучшее. Но вот добрые европейские державы любезно возвращают ему «Валя-Карбунэ», горничных, респектабельный клуб, «Ой-ру», а вместе с ними самоуверенность и аппетит.

«Лучший день моей жизни! — думает Скоповский, восседая в коляске. Знаменательный день! Надо будет его запомнить».

Скоповскому очень льстило, что вместе с ним прибывала в его имение княгиня Долгорукова. Скоповский был падок до громких титулов и имен. Сам он не бывал у Долгоруковых, но слышал, что это цветущее имение в отличном состоянии, хотя покойный муженек Марии Михайловны князь Долгоруков успел порядком поразмотать наследство. Впрочем, осталось еще достаточно.

В Швейцарии, в Женеве, Скоповский был представлен княгине. Княгиня жаловалась на ресторанный кухню и ругала «эту страну сыроваров и коммивояжеров». Она была большая патриотка! И когда Скоповский предложил Марии Михайловне с дочерью отправиться к нему и там переждать, пока все уладится, она охотно согласилась.

Скоповский и в пути не уставал успокаивать княгиню, одновременно вселяя этими рассуждениями уверенность и в себя.

— Поверьте мне, Мария Михайловна, что особенно миндальничать с красными не будут. Научены! Если бы в самом зародыше искоренять эту крамолу... А то, видите ли, Государственная дума, речи, проекты... А всех этих подрывателей основ, революционеров, вместо того чтобы перевешать каналий на первом попавшемся телеграфном столбе, видите ли, отправляли на жительство в северные деревни! Вот теперь они и показывают себя! «На жительство»!

Скоповский фырчал и долго не мог успокоиться, а княгиня, улыбаясь одними глазами, наблюдала за переменами в его лице.

— Да, мой друг, — вздохнула она, — мы были слишком уверены в своей силе, слишком уверены! Вы правы, у нас слишком доброе сердце. Вот я, например, чего только я не делала для наших крестьян!..

— Но теперь-то ясно: такого положения не потерпят. Я в этом ни на минуту не сомневаюсь. Помилуйте! Взять хотя бы один только пример: помещики Браницкие...

— О! — сказала княгиня. — Браницкие! Цвет польского общества!

И глаза ее увлажнились не то от умиления, не то от сочувствия Браницким:

— Я слышала, у них большое несчастье, у них погибли оба сына во время беспорядков? В кадетском корпусе?

— Вот именно, княгиня! И нельзя забывать, что Браницкие — это не больше не меньше как двести пятьдесят тысяч десятин земельных угодий на Украине. Двести пятьдесят тысяч! Браницкие — это миллионы!

— А Сангушки? — воскликнула княгиня. — Они ничуть не уступят Браницким!

— Пожалуй. Кстати, они мне приходится дальней родней: племянница, дочь моей сестры, замужем за младшим Сангушкой, за Казимиром. Ну вот, взять хотя бы их. Да одним их конюшням цены нет! Я уж не говорю о сахарных заводах. Неужели они согласятся, чтобы у них все отняли? Да никогда не согласятся, это не в их характере.

— А Грохольские? — тихо сказала княгиня. — Они мои соседи.

— Слов нет, первыми пострадали мы, помещики. Да и у царствующего дома на Украине имеются бо-ольшие заповедники. Но, кроме нас, в этом деле кровно заинтересована Франция. Да, да, шутки в сторону! Французы вложили знаете какие капиталы в украинские предприятия? Все это цепляется одно за другое, и создается такая обстановка, что уступить — просто немислимо. Вот почему я уверен, что вы не успеете откушать солянки и наших пирогов, на которые у меня жена мастерица, как уже сможете пожаловать в свое Прохладное, со всеми надлежащими почестями и уважением.

— Вашими устами да мед пить! А вы такого же мнения, Юрий Александрович? Почему вы молчите?

Юрий Александрович Бахарев, блестящий офицер, с острыми чертами лица и выразительными, только несколько бесцеремонными глазами, гарцевал на белом коне, все больше придерживаясь левой стороны экипажа, где сидела Люси.

Бахарев направлялся в Кишинев с совершенно секретными поручениями одного иностранного учреждения, с которым он был связан. Он провел в седле уже несколько суток. Его раздражала вся эта суетня и неразбериха двигавшихся по узкой, плохо мощенной дороге конных, пеших соединений, фургонов, обозных повозок и просто крестьянских подвод. Все это не имело к нему никакого отношения, но он привык руководить, командовать и еле сдерживался, чтобы не прикрикнуть на обозных, загородивших путь, или на артиллеристов, завязивших новенькую английскую пушечку в грязном ухабе.

Встреча с Долгоруковыми взволновала Юрия Александровича. При первом же взгляде его поразило несоответствие: милая, нежная девушка, взращенное в дворянском довольстве существо, — здесь, среди грубых солдат, среди повозок с фуражом, на отвратительной, избитой колесами дороге. Как это ужасно, непереносимо, возмутительно! И в сердце его закипала жгучая, острая ненависть к тем, кто заставил этих прекрасных женщин, женщин его круга, — и одних ли только их! — мыкаться по чужеземным задворкам, в унижительном, позорном изгнании. Только личных знакомых, оказавшихся в таком же положении, Юрий Александрович мог бы насчитать сотни. Все они бродили по Константинополю, наводняли Париж, бедовали в Дании, Швеции... недоумевающие, растерянные...

И Юрию Александровичу хотелось подбодрить, утешить девушку, сказать ей что-то обнадеживающее, ласковое. А Люси, между тем, с любопытством смотрела на потоки орудий, на шеренги солдат.

Вот проскакал мимо молоденький румяный офицерик. Вот повозка с прессованным сеном опрокинулась в придорожную канаву. Повозку облепили солдаты, как муравьи облепляют соломинку. Они силились поднять ее. В воздухе стоял гогот и звучала отборная ругань сразу на нескольких языках.

Бахарев подъехал вплотную к солдатам и цыкнул:

— Легче, легче, ребята!

Что за паршивая привычка у этого народа: слова не могут сказать по-человечески!

Солдаты оглянулись на офицера, заметили и блестящую коляску на резиновых шинах и придержали языки. Коляска укатила дальше.

А вот, разбрызгивая грязь, гикая, щетинясь пиками, проскакала казачья сотня, все в папах набекрень, в шароварах с красными лампасами... Наверное, как застряла эта казачья сотня в годы войны, так и осталась на службе боярской Румынии.

— Хороши? — улыбнулся Бахарев, заметив, что Люси смотрит на казаков и что для нее это, по-видимому, как цирковое представление. — Обратите внимание, какая силища! Здесь ценно единство: здоровенные люди, по развитию недалеко ушедшие от животных, и здоровенные кони, умные, как люди. В своем взаимодействии они предназначены, чтобы рубить. И мне почему-то кажется, что именно они и спасут Россию...

Бахарев почувствовал, что его рассуждения не доходят до Люси, хотя она прилежно кивала и заранее во всем соглашалась с ним.

Результатом этого было то, что Бахарев не слышал, о чем толковали княгиня и Скоповский, и упустил нить разговора. Поэтому вопрос княгини, обращенный к нему, застал его врасплох.

— Видите ли... — смущенно пробормотал он, — собственно, я...

Но княгиня, с ее светским тактом, тотчас пришла ему на выручку:

— Александр Станиславович уверяет, что мы очень скоро вернемся в свои владения. Вы несогласны?

— Вы хотите знать мое мнение о прочности нового строя в России? — уже смелее заговорил Бахарев. — По этому вопросу я мог бы сделать целый доклад.

— Доклад — это слишком утомительно, — возразила княгиня. — Вы скажите только, да или нет. Сейчас все проблемы решают пушки. И вам, военным, легче разобраться во всей этой сумятице.

Бахарев заставил коня идти вровень с экипажем и, выждав, когда прогрохочет мимо военный возок, заговорил уверенно, играя голосом и показывая свою осведомленность во всем, что касалось международного положения:

— Как вам известно, так называемый Первый Всеукраинский съезд Советов провозгласил Украину Советской республикой...

— Это мы слышали, — проворчал Скоповский. — Провозгласить просто! Я вот возьму да провозглашу себя китайским императором... Большие шансы имеет гетман Скоропадский, — добавил он, помолчав, — о нем очень хорошо отзываются в высоких кругах.

— Скоропадский? — улыбнулась княгиня. — Он бывал у нас... Но он так непопулярен! Богат, не спорю. Но не стар ли для такой роли?

— Популярность делают, княгиня. Впрочем, Центральную раду поддерживает Франция. Она предоставила Раде заем в сто восемьдесят миллионов франков и послала в Киев военную миссию...

— Как это скучно! — протянула Люси. — За последнее время только и слышишь: «миссия», «заем», «Центральная рада»... И что за охота мужчинам воевать? Как петухи!

— Душечка, — возразила княгиня, — но кому-то надо навести порядки хотя бы в том же нашем Прохладном?

— Так неужели же мужиков надо усмирять пушками? Не достаточно ли просто прикрикнуть на них? Послать урядника?

Все рассмеялись над рассуждениями хорошенькой девочки. По сторонам дороги, между тем, все чаще и чаще мелькали нарядные домики среди плодовых деревьев.

Скоповский стал рисовать красоты Бессарабии:

— Конечно, ее надо видеть весной, в цвету, или осенью, когда ветви ломаются от яблок...

— Но лесов здесь, по-видимому, нет? — спросила княгиня.

— Как это так нет? Такие леса! В них даже водились не так давно настоящие разбойники, честное слово! — горячился Скоповский.

— Я все хочу вас спросить, — обратился к нему Бахарев, — правда, что в Бессарабии свирепствовал и запугал всех помещиков некий Котовский? Я слышал какие-то невероятные истории. По-видимому, чистейшая выдумка? Или на самом деле было что-то в этом роде?

Скоповский внезапно переменялся в лице. Его бросило в краску. Он подозрительно глянул на Бахарева: не насмехается ли он? Не намекает ли на одно происшествие?

Бахарев понял, что затронул неудачную тему. У Скоповского, вероятно, есть основания неприязненно относиться к этому Котовскому. Но кто же знал? Бахарев уже пожалел, что задал этот явно неуместный вопрос.

— М-да, — произнес наконец Скоповский, — выдумки тут нет, таковой действительно был лет десять назад... И это был не просто разбойник, а, так сказать, разбойник с политической подкладкой. В частности, у меня он сжег... да-с, подпалил с четырех концов... мой собственный дом... Пришлось отстраиваться заново...

— Вот как? — удивился Бахарев.

— Какой ужас! — всплеснула руками княгиня.

— Я не разорился, конечно, хотя этот злодей что делал — уничтожал долговые записи, отнимал у нашего брата, помещиков, деньги и раздавал их крестьянам. Я, как видите, не разорился, а Котовского, надо полагать, повесили, как он того и заслуживал...

— Разумеется! — И Бахарев поспешил переменить разговор, стал расспрашивать, каков город Кишинев, много ли в нем жителей, красив ли он. Наверное, масса фруктовых садов? И ведь когда-то он был местом ссылки Пушкина? И как, есть ли там гостиницы? Рестораны?

Скоповский охотно рассказывал о Кишиневе и опять повеселел.

— Сегодня Кишинев, завтра Москва! — восклицал он. — Нет никаких оснований отчаиваться.

— Союзники не допустят! — с чувством произнесла княгиня, молитвенно складывая руки, толстые, в митенках.

— Нет, не союзники, мы не допустим, мы, русские люди! — горячо возразил Юрий Александрович. — Мы не допустим, чтобы мужики своевольничали, чтобы у власти стояли евреи и всякий сброд, вернувшийся с каторги, из Нарымского края!

Юрий Александрович знал за собой такую особенность: часто, когда он что-нибудь делал, что-нибудь говорил, в его мозгу появлялось какое-то другое его «я», наблюдатель, снисходительно, а иногда с улыбкой созерцавший его действия. И когда Юрий Александрович любезничал с неприятным ему человеком, этот наблюдатель нашептывал: «Прогони его, ведь он тебе противен!» — или же поощрял: «Ничего, ничего, притворяйся, если это принесет пользу». Сейчас это второе «я» в самый разгар красноречия спрашивало Юрия Александровича: «Скажи по совести, говорил бы ты так же горячо, если бы в коляске не было этой девушки?»

Ну что ж. Очень может быть, что именно она вызвала его на такую запальчивость. Ему почему-то казалось, что Люси, слушая его, слышит и подтекст этой речи: «Мы не допустим», — говорит он, но хочет сказать: «Ты прекрасна! Я готов вызвать на поединок весь мир и сражаться за тебя, мстить твоим обидчикам, завоевывать тебя и складывать к твоим ногам трофеи...»

Может быть, и княгиня понимала чуточку этот разговор? Скоповский слушал внимательно и бесстрастно. Юрий Александрович продолжал:

— Я, конечно, молод, я еще не испытал законного удовлетворения хозяина, семьянина. Но я болезненно люблю Россию, вот такую, как она есть: сиволапую, безалаберную, с базаром, колокольным звоном, удалыми ямщиками и тройками...

Юрий Александрович уловил благосклонные улыбки на лицах княгини и Скоповского, увидел и сияющие глаза Люси. Безусловно, им нравится, что он говорит!

— Скажите, — повышал он голос, одновременно натягивая повод, — разве выносимо, что прекрасные, изнеженные женщины вынуждены мыкаться по проселочным дорогам и искать убежища? На что это походит: на Украине нет хлеба! Россия — не позорище ли! — отказывается от царских долгов! А, да вы все это знаете... Обнищание, безвластие... Нельзя этого терпеть! — и Юрий Александрович как неожиданно разразился потоком красноречия, так же внезапно и замолк.

— Bravo, bravo! — воскликнула княгиня. — В вас бьется благородное сердце!

— Молодой человек, — подхватил Скоповский, слушавший Юрия Александровича, как экзаменатор прилежного ученика, — не будете ли вы любезны также посетить мой дом? Мне кажется, это будет приветствовать и княгиня.

— Разумеется, он едет с нами!

— Конечно, мама, — поддержала и Люси.

— Я буду счастлив, — пробормотал капитан Бахарев, — весьма признателен...

Но посмотрел он не на Скоповского, не на княгиню, а на Люси.

Между тем по обочинам дороги замелькали пригородные постройки, белостенные домики с крашеными ставнями, и сады, сады — голые, зимние деревья, набирающие силы, чтобы принести новый богатый урожай.

— Ну, вот и Кишинев! — сказал, волнуясь, Скоповский.

2

Кишинев еще спал, когда свершалась перемена его судьбы. Рев оркестра и треск барабанов внезапно сотрясли тишину. Заспанные обыватели выскакивали из своих домов и смотрели через каменные ограды дворов на пестрое войско, месившее по улице грязь.

Это входили с треском и шумом новые хозяева города — воинские части боярской Румынии. Офицеры были важны и торжественны. Все на них было новое, ненашенное, только что отпущенное со складов «неких европейских государств». Они преувеличенно громко выкрикивали команду, а сами осторожно косили глаза на окна, затянутые занавесками... Смуглые барабанщики вращали белками глаз, ни на кого не обращали внимания и неистово лупили по барабанной коже. Начищенные до нестерпимого блеска литавры рассыпали дробь. Трубы ревели. Пехота шлепала по грязи мостовой, стараясь идти в ногу. Артиллерийские орудия тяжело громыхали, конские копыта выбивали искры из булыжных камней.

Войска шли весь день. Почетный караул, встречавший их на площади, устал кричать «ура». По городу рыскали квартирьеры. Попрятавшиеся при Советской власти старые чиновники, городские вылезали из своих нор и, стараясь выслужиться, уже устраивали облавы на красных. С треском разрывались в клочья уцелевшие на стенах советские плакаты, срывались вывески советских учреждений. Оккупанты искали, где бы применить энергию, как бы дать населению почувствовать «порядок», привести всех к беспрекословному повиновению... Что-то очень хмурятся железнодорожные рабочие! И не вздумают ли бунтовать крестьяне? Пусть попробуют! Говорят, составлены черные списки... Обыватели ходят напуганные.

Но стоит ли обращать на это внимание? Нужно веселиться! Открыты новые рестораны и кафе... Все должно быть шикарно. По-европейски. Город кишмя кишит военными. Не город, а военный лагерь. Откуда понаехало столько иностранцев? Поджарые французы... живописные турки... толстые и веселые американцы... Кого только тут нет! Как будто здесь международная ярмарка или дешевая распродажа!

3

Прибытие в «Валя-Карбунэ» было шумно и суетливо. Дворня таскала в комнаты чемоданы, картонки, саквояжи. Княгиня повсюду возила за собой горничную, повара, и огромное количество белья, платьев, мантилий, шляпок...

Прибыли вслед за первым экипажем тетки, экономки, приживалки — все население дома, возглавляемое почтенной супругой Скоповского. Они наперебой хлопотали. Они уже знали о прибывших гостях.

— Голубушка! Княгинюшка! Вот порадовали! Хоть наш-то Александр Станиславович хмуриться перестанет! Тоскует он, по детям тоскует. Времена-то какие лихие, весь мир вверх ногами. Гршили много, вот и покарал господь...

Скоповский волновался, командовал. Все ли в порядке в имении? Почему не подметены дорожки в парке? Где люди? Хорошо ли промазаны окна? Почему пыль в шторах?

После того как десять лет назад сгорел дом, Скоповский построил новый, но по старым чертежам и фотографиям; так же с колоннами по фасаду, с большой стеклянной верандой, с зимним садом, с башенками, витыми скрипучими лесенками, с просторными залами, уютными светелками, с широкими изразцовыми печками и теплыми лежанками. Но теперь, оглядывая дом критическим взглядом, Скоповский находил, что он недостаточно импозантен.

«Ну, ничего! Во всяком случае, общий вид — с парком, с беседками, с оранжереей, с широкой аллеей, ведущей к парадному крыльцу, — не может не понравиться княгине...»

Скоповский сиял. Скоповский был преисполнен гордости. Княгиня Долгорукова собственной персоной! И главное — запросто, без официальности. Вот уж подлинно можно сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло.

Скоповский вызвал управляющего — вертлявого, бесстыдного грека, смотревшего на хозяина преданными, собачьими глазами. Управляющий шепотом назвал имена тех крестьян, которые особенно шумно радовались отъезду помещика и даже пытались произвести порубку в его лесу.

— После, после, — поморщился Скоповский, — этим мы займемся впоследствии. А сейчас важно принять именитых гостей, не ударить лицом в грязь... Как у нас конюшни?

— Не хотел вас расстраивать... Угнали Копчика и Грозного...

— Как так угнали?!

— Явились... под страхом оружия... Что я мог поделать?

— Да ты рассказывай толком, эфиопская образина! Кто явился? Куда явился?

— Их было пятеро, на конях. Я им говорю: «Представьте документы, по какому праву и тому подобное». А они смеются: «Передашь барину, если вернется, привет от Котовского».

— Опять Котовский! А говорили, что повешен. Спасибо, еще не всю конюшню угнали и дом цел. Ну, любезнейший, запомни: чтобы все блестело, чтобы все было в порядке! Ясно?

— Ясно.

Когда управляющий ушел, Скоповский прошелся по кабинету, как бы стряхивая неприятные сообщения.

«О чем я думал — таком интересном? Ах да! Княгиня. Что значит все-таки происхождение! И как держится! Мила, проста — и повелевает... Королева!»

И тут же Александр Станиславович вызвал повара, дал ему наказ, чтобы стряпал самые изысканные блюда:

— Не опозорь меня, голубчик, чтобы после княгиня не говорила, что мы не умеем как следует людей принять. А сейчас пришлешь ко мне Фердинанда, надо ему указания дать. Теплицы целы? То-то! А как винный погреб? Вина чтобы только французские! Понял? Местной кислятины не давать! Фазанов каких-нибудь готовь, пулярок... А этот, княгинин повар, как он, ничего?

— Важничает очень.

— Ну и пускай себе важничает. Скажи Дарье Фоминичне, чтобы отпускала на кухню все беспрекословно. Иди.

И Скоповский стал озабоченно бегать взад и вперед по кабинету. Он даже напевал и прищелкивал при этом пальцами. И все мотивы подвертывались легкомысленные, из кафешантаных песенок, из оперетт:

Смотрите здесь, смотрите там,
Понравится ли это вам...

«И ведь ведет свой род, — думал Скоповский, — можно сказать, от самых истоков! От Рюрика, Синеуса и Трувора!.. И вот вам, пожалуйста, — у меня в гостях!..»

Тем временем капитан Бахарев развлекал княгиню. Он понимал, что, если хочешь ухаживать за дочкой, старайся понравиться ее мамаше. Он показал княгине несколько новых

пасьянсов. Он недурно сыграл на рояле шопеновские вальсы. А когда стали приглашать к столу и по всему дому поплыли дразнящие запахи супов, одна из тетушек застала капитана Бахарева и Люси в оранжерее как раз в тот момент, когда они уж слишком внимательно разглядывали цветы, близко наклонившись друг к другу...

Обед проходил в торжественной обстановке. Садовник Фердинанд страшно гордился, что к столу были поданы свежие персики, выращенные им в оранжерее. Повар Скоповского и повар княгини, после того как изрядно приложились к рому, снизились до полного взаимного признания и составили сногшибательное меню.

За столом произносились тосты за освобождение России, и за здоровье княгини, и за присутствующих женщин, и за женщин вообще.

— Я, может быть, выболтаю маленькую тайну, — сказал между прочим Юрий Александрович, разглядывая на свет фужер, наполненный золотистым вином, но мне известно, и довольно точно, что Центральная рада в ближайшем будущем объявит в специальном постановлении, или, как они называют, в «универсале», об отложении Украины от России. Это, знаете ли, ход!

— Очень глупо! — отозвалась княгиня, и лицо ее стало злым. — Что такое Хохландия сама по себе? Игрушка в чьих-то руках. Кто-кто, а я-то уж знаю, слава богу, этих Опанасов и Петрусей, этих ленивых животных! У них всю работу вытаскивают на своих плечах женщины — Гальки да Марусеньки. А хохол лежит на печи и знает только люльку да горилку...

— Княгиня права, — примирительно сказал Скоповский, — нам нужна единая, неделимая Россия с централизованной и очень жесткой властью, лучше всего с монархией, хотя эта форма и устарела.

— Я, пожалуй, готов согласиться с вами, — задумчиво произнес капитан, — но так называемый «Союз вызволения Украины», созданный в Вене еще в тысяча девятьсот четырнадцатом году, придерживается другой точки зрения, кстати поразительно совпадающей с точкой зрения Австро-Венгрии и Германии.

Обед длился долго. Сменялись блюда, из которых каждое носило звучное название и было необычайно вкусно. Тут были и кулебяки, и отварная севрюга, и жареная дичь, и бараний бок, и пудинги...

— Вы извините, — приговаривал Скоповский, — мы живем по-деревенски...

А сам сиял от удовольствия.

— Чем богаты, тем и рады, — подхватывала мадам Скоповская, тяжело дыша и с грустью думая, что опять не удержалась и поела лишнего.

Хозяин и хозяйка усердно потчевали гостей, то и дело приговаривая, что у них все запросто и, может быть, даже чем не угодили.

Остальные за столом безмолвствовали — востроносые тетушки, тихие приживалки, почтительные родственники. А княгиня была в отличном расположении духа, хвалила каждое блюдо и снисходительно выслушивала забавные истории, которые рассказывал Юрий Александрович.

Люси не вслушивалась в смысл его речей, она слушала только его голос, уверенный, звучный, бархатистый, и сама не могла понять, что такое творится с ней. Она была взволнована, бледнела, краснела и не смела поднять глаз, особенно на княгиню: та сразу бы поняла, что Люси влюблена, что Люси будет теперь бредить капитаном и что она с ее взбалмошной натурой может преподнести любую неожиданность...

После обеда у Бахарева и Скоповского завязался спор о будущем России. Они прошли в кабинет. Бахарев достал карту, выпущенную Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки. Карта была специально отпечатана для того, чтобы весь мир знал, как намерена перекроить эту злосчастную Европу всемогущая заокеанская держава. Это был любопытный документ, в то время еще малоизвестный в широких кругах, и Скоповский не мог им не заинтересоваться, хотя мысли его то и дело отвлекались тем, что там поделявает княгиня... Однако откуда такие документы у этого молодого человека? И Скоповский

поглядывал то на капитана, то на яркие пятна географической карты, развернутой на столе. Надписи были сделаны по-английски, и Скоповский не сразу мог разобраться в них.

— А что предусмотрено для Польши? — спросил он, с беспокойством думая, не наговорила бы княгине каких-нибудь глупостей его благоверная супруга.

— Гм... для Польши? Для Польши немного. Приблизительно то же самое, что предусмотрено пескарю, когда делят добычу акулы.

— Вот это ошибка. Уверю вас, еще Польша не сгинела! О ней еще придется вспомнить, уверю вас!

Бахарев вздохнул:

— Видите ли... как бы это вам сказать. Тут затевается драка большая, и вряд ли станут считаться со всякой мелюзгой. Вы не обижайтесь. Такова реальность.

— Не знаю, не знаю...

— Эта карта предназначается для предстоящей мирной конференции. Тут все учтено! Как видите, от России будут отторгнуты: ну, прежде всего, вся Прибалтика...

— Не говоря уже о Бессарабии? — усмехнулся Скоповский. — Ну что ж! Сами виноваты... Заварили кашу, хватили через край — извольте теперь расхлебывать!

— Белоруссия — это два, — загибал пальцы Бахарев, и нельзя было понять по его лицу, радуется он или печалится.

— Украина — это три, — заглядывал через плечо капитана Скоповский.

— Ну, и затем, — невозмутимо продолжал Бахарев, — разумеется, отторгаются раз и навсегда Крым, Кавказ, Сибирь и Средняя Азия.

— И от матушки России остаются рожки да ножки?

— Проще говоря, одна Вологодская губерния!

— А как же тогда с вашей горячей любовью к России? Вы давеча так красиво о ней говорили!

Бахарев пожал плечами:

— Не я составлял эту карту. Если бы от меня одного зависело...

— Что меня поражает, — бормотал Скоповский, опять и опять озирая разноцветные пятна и надписи, — уже и карта составлена! У них это живо! Как вам нравится? Не надо и к гадалке ходить. Все, кажется, стоит на местах, и Россия пока что целехонька, а оказывается — вон оно что! Нету России! Была Россия — и тью-тью Россия. И как — вы не знаете? Это уж окончательно решено?

Бахарев внимательно смотрел на Скоповского:

«Ага, разволновался все-таки полячишка! Дух захватило...»

Бахарев ответил не торопясь, свертывая карту и пряча ее в карман:

— Если Соединенные Штаты решили, значит, бесповоротно. Они шутить не любят. Я эту карту добыл с большим трудом. Ношу ее и все время о ней думаю... Перед какими огромными событиями мы стоим! Даже голова кружится!

Тут Юрий Александрович вздохнул и сразу же закурил сигарету.

Скоповский подумал:

«А все-таки это всего лишь политический трюк, пропаганда...»

И уже другим тоном отвечал:

— Положим, голова у вас кружится не потому, что исчезает Россия, а потому, что некая молодая особа из очень хорошей семьи, по-видимому, к вам равнодушна.

— Вы думаете? Равнодушна? Если бы это было так...

Бахарев глубоко затянулся, затем скомкал сигарету и глухим, не своим голосом договорил:

— Мне почему-то кажется, что здесь, в этой маленькой Бессарабии, решается моя судьба...

— Так серьезно?

— Александр Станиславович! Не подумайте, что я просто ухажер, искатель приключений... И я так благодарен, так благодарен вам, что вы пригласили меня к себе!

— Если бы даже не пригласил, это сделали бы дамы. Но я хотел бы вас предупредить: одно дело — пофлиртовать, у нас здесь самый воздух располагает к влюбленности, тут все влюбляются поголовно. Но решаться на более серьезный шаг во время мировых обвалов и несмолкающей по всей вселенной артиллерийской пальбы — это, молодой человек, просто легкомысленно. Вы простите меня за несколько поучительный тон, но я с вами говорю по-отечески, как сказал бы своему сыну, безвестно пропавшему в этом водовороте...

— Я очень рад, что мы остались с вами с глазу на глаз, — вдруг заговорил Юрий Александрович совсем другим тоном. — Я могу вам сообщить, что сын ваш, Всеволод, жив и здоров, вы, вероятно, скоро увидите.

— Где же он? — воскликнул Скоповский, обрадованный, взволнованный и вместе с тем удивленный самим тоном Юрия Александровича, заговорившего вдруг вполголоса, приглушенно и осторожно. — Где же он, бродяга? Почему вы сразу мне не сказали? И почему он ничего не напишет?

— Видите ли... Я вас прошу вообще в дальнейшем не касаться этой темы. Всеволод занят опасной, очень серьезной работой. Мы, наше поколение, не можем ограничиваться болтовней и оставаться в стороне от событий. Мы сами делаем события. Мы боремся. Можно за ужином, поднимая бокал, говорить общие фразы. А ведь дело-то серьезное, не шуточное дело: мы или они. Ведь так стоит вопрос...

— Еще бы!

— И правильно решают все европейские правительства и Америка: народ, который заболел опасной болезнью, чумой, — такой народ должен быть уничтожен, в крайнем случае — обезврежен. Придется свести на нет все доблестные дела наших предков. Все, что они собирали по крохам, по кусочку, столетие за столетием, — все разлетится вдребезги от этого безумного эксперимента...

— Я понимаю, но... зачем же оставлять одну Вологодскую губернию? Может быть, имело бы смысл чуточку больше?

— И это много! И это опасно! Мы сами не отдаем себе отчета, насколько пагубна и разрушительна идея, провозглашенная этим Лениным. Она угрожает не только России. Она может взорвать весь цивилизованный мир.

— Ну, это уже преувеличение! У страха глаза велики. Социалисты с давней поры водятся, а мир все стоит целехонек.

— Вы думаете, зря Вудро Вильсон излагает в своих знаменитых четырнадцати пунктах программу передела мира? Вы думаете, так, шутки ради, подготавливается десант американских и английских войск в Мурманске?

— Знаете... вы гораздо серьезнее, чем можно подумать по вашей внешности... Я приятно удивлен... Так вы говорите: десант на севере? Разумно. С этого и надо начинать.

— Да, и одновременно десант во Владивостоке, интервенция на Кавказе... Еще в декабре был разработан этот секретный план, причем Россия разбита на сферы действия. Французская зона — Украина, что вполне справедливо, учитывая, что французские капиталисты в одну только металлургическую промышленность Украины вложили более ста миллионов. Представляете?

Некоторое время молчали. Оба были одинаковых убеждений, обоим казалось, что их желания и предвидения безошибочны. Им нисколько не мешало то обстоятельство, что были они разных поколений: и старый и молодой веровали в одних богов.

Кабинет Скоповского был удобен, красив. По стенам стояли темного дуба шкафы с фолиантами, висели портреты каких-то внушительных и важных людей, на большом письменном столе было много бумаг и различных блестящих предметов: чернильниц, пресс-папье, хрустальных стаканов. Над огромной тахтой, которая, по-видимому, чаще привлекала хозяина, чем письменный стол, находился ковер, увешанный старинным оружием: кривыми саблями с ножнами чеканного серебра, пистолетами, которые не стреляют... И было очень приятно после сытного обеда беседовать здесь и пускать сизые кольца дыма, накапливая светлый пепел на конце сигареты.

Капитан Бахарев перечислял мероприятия для удушения революции, называл громкие фамилии лиц, принявших командование над войсками, посылаемыми в Россию, называл цифры: семьдесят тысяч штыков японской армии... десять тысяч американцев...

— Боюсь, что это не конец, — говорил задумчиво Юрий Александрович, еще предстоит всемирная драка. Шутка сказать — делить Россию! Это вам не африканские колонии!

А на следующий день Люси снова очутилась в оранжерее. Садовник Фердинанд, увидев, что вслед за красивой княжной пришел полюбоваться орхидеями рослый капитан, тотчас прекратил повествование о клубнях, о сортах виктории и скромно удалился, предоставив молодым людям наедине любоваться тропическими растениями.

— Мама уснула, — сказала смущенно Люси, — мне стало скучно, и я вызвала вас... Вы не сердитесь? Вы не подумаете, что я легкомысленна?

— Я должен завтра уехать, Люси. Сейчас идет сражение, в котором не может быть перемирия, пока не будет уничтожена одна из дерущихся сторон... я в этом сражении участвую. И сражаюсь за вас, Люси, за то, чтобы вы жили так, как того достойны...

Юрий Александрович замолчал, подыскивая слова и не замечая, что его рука отыскивала робкую руку девушки и что слов было уже не нужно: Люси не отняла руки и только прятала взгляд и смущенно молчала.

— Вам может показаться это диким, даже оскорбительным. Но вы разрешите все вам сказать...

— Говорите... — прошептала Люси. Она была воспитана на французских романах, и обстановка как нельзя лучше соответствовала этому объяснению в любви: влажный воздух, стеклянные стены, странные сочные листья цветущих зимой растений...

— Мы почти не знакомы, но я полюбил вас... полюбил, как только увидел... Это трудно передать, все эти ощущения... Но я вас как будто давно знаю, всегда знал... и вот... нашел...

— Как же это так... быстро...

Люси говорила, но сама не сознавала, что говорит. Не должна ли она его остановить? Не должна ли отнять руку? Это нехорошо, он может подумать, что она ветреная... Но все равно, пусть что хочет думает! Она любит его!

Садовник Фердинанд отлично понял свою задачу: он должен охранять эту встречу и в случае надобности предупредить об опасности. Фердинанд стоял на страже у входа в оранжерею, пыхая коротенькой трубкой и чуть-чуть усмехаясь каким-то игривым мыслям...

Сквозь запотевшие стекла можно было наблюдать, как они там стояли около орхидей, потом приблизились, потом прогуливались взад и вперед...

— Вы понимаете, — говорил Юрий Александрович, волнуясь, — это было что-то необычайное... Я совершенно случайно очутился в этой веренице, движущейся на Кишинев... Случайно, но теперь-то я понимаю, что это моя судьба, мой рок! Я верю, что в нас есть — не знаю, как назвать, — инстинкт или ангел-хранитель, который безошибочно решает за нас в самые ответственные моменты, как поступить...

Люси слушала, рассеянно теребя листы орхидеи. Она смутно улавливала смысл его речи. Она ждала, когда он произнесет еще раз одно только слово «люблю». Все остальное, что он говорил, казалось ей милым предисловием, без которого можно было бы обойтись.

— И вот, — продолжал Юрий Александрович, хватая ее руку и крепко сжимая ее, — вот я увидел экипаж...

Юрий Александрович рассмеялся:

— Экипаж и феноменальное сооружение на голове вашей мамы — что-то такое из перьев, вуалей, ленточек... в общем, что-то очень изящное, элегантное... Я увидел вас, Люси, нежную, милую, прелестную... единственную, какая есть в мире!..

— Уж будто я такая! — прошептала Люси. А сама хотела, чтобы он еще и еще говорил о ней, какая она красивая, как ему нравится, и опасалась, что он перейдет от этой темы к другим предметам.

— Вот когда я понял, почему ради женщины совершают подвиги и преступления... решаются на самые отчаянные вещи! Ставят на карту все!

Люси глубоко вздохнула. Как она хотела сейчас, чтобы он поцеловал ее! И он поцеловал ее... И шептал ей, что полюбил ее на всю жизнь, и что они должны повенчаться, и что он просит ее руки и будет умолять княгиню отдать ему дочь...

Фердинанд понял, что созерцание орхидей этой молодой парочкой может затянуться на неопределенное время, и потому подумывал, не набить ли табаком еще одну трубочку.

Но в это время одна из многочисленных тетушек примчалась в оранжерею. Тетушка была расстроена, бледна, лица на ней не было. Она спросила встревоженно, не видел ли Фердинанд княжну, которую повсюду разыскивают и очень беспокоятся.

Фердинанд решил, что во всяком случае в оранжерею он ее не пустит.

— Где же я мог видеть вашу княжну? Впрочем, шел кто-то вон туда. Наверное, это была она...

Когда тетушка исчезла, Фердинанд, настойчиво кашляя, вошел в оранжерею:

— Прошу прощения... Я бы, конечно, не осмелился...

Но ни капитан, ни Люси нисколько не рассердились на Фердинанда.

— Спасибо, дорогой! — негромко произнес капитан и сунул в руку Фердинанда ассигнацию. — Ты первоклассный садовник!

Затем они, не скрываясь, рука об руку направились к дому.

Там в самом деле был переполох, все были подняты на ноги, проснувшаяся княгиня нюхала спирт, Александр Станиславович пространно уговаривал ее, чтобы она не волновалась, и уверял, что девочка найдется.

Вскоре было обнаружено, что кроме Люси куда-то потерялся капитан. Престарелые тетушки были заинтригованы до крайности. Они так любили скандалы и всякие пикантные истории!

Когда вошла Люси, все еще под руку с капитаном, княгиня вскрикнула, расплакалась, должна была произойти нежная сцена.

Но Люси как-то странно шла к матери, медленно-медленно, как в полусне...

И невольно воцарилось молчание, и среди наставшей тишины прозвучал голосок Люси. Она внятно, отчетливо сказала, так, что слышали все:

— Мама! Юрий Александрович... это мой жених... Мы с ним объяснились...

4

В одну январскую ночь 1918 года в доме рабочего железнодорожного депо Маркова, в глиняной мазанке на окраине города, вблизи вокзала, состоялся семейный совет.

Стремительный, всегда говоривший скороговоркой, черноглазый и худощавый Миша Марков прибежал со службы и сообщил, что началась эвакуация. Слово было непривычное, непонятное и страшное.

— Эвакуация? А зачем эвакуация?

— Мама! Неужели непонятно? Они приходят, мы уходим. Мы — это кто за Советскую власть.

Марина пристально вглядывалась в лицо сына и старалась определить, опасно это или неопасно. Да, было очевидно, что настали тяжелые испытания.

Миша, захлебываясь, рассказывал, что Отдел народного образования выехал еще вчера, что воинские части покинут Кишинев сегодня ночью, что заведующий внешкольным отделом забрал и семью, а Василенко остается, но будет жить нелегально.

— Нелегально? — переспросила Татьяна, и у нее были вытаращены от любопытства и страха глаза.

— Ну да, нелегально! — Миша не счел нужным подробнее объяснять сестре, ни кто такой Василенко, ни как это он будет теперь жить.

Глава семьи, грузный, плечистый Петр Васильевич стал, по обыкновению, ругать буржуев: пропаду на них нет! Когда только с ними управятся! И чего только смотрит международный пролетариат!

Марина стала перечислять опасности, которые угрожают семье. Четырнадцатилетняя Татьяна с благоговением смотрела на старшего брата. Она считала его образцом, самым лучшим и самым храбрым. Между тем шуплый, тщедушный Миша совсем не выглядел героем. Он и ростом не вышел и, благодаря своей худобе, казался совсем мальчиком. Впрочем, трусом его никто бы не решился назвать.

Вообще-то положение было ясно. Петр Васильевич был выбран в профсоюзное руководство, Миша служил в Отделе народного образования. Это могло кончиться плохо: новые власти, конечно, не пощадят тех, кто работал с большевиками. Тут и думать нечего!

Марина высказывала опасения, но не смела произнести самого главного: какой же выход? Она все только подкладывала и подкладывала на тарелки мужа и сына вареной кукурузы, как будто хотела накормить их в счет будущих голодовок, которые, может быть, предстоят им, и выдать им запасы нежности и заботы, которых они будут лишены.

Мужчины ели. Некоторое время стояло тяжелое, напряженное молчание. Все думали. Думали об одном. Первым заговорил Петр Васильевич.

— Надо уходить, — сказал он и стал смотреть в черное окно, хотя в нем давно ничего не было видно.

Марина испуганно притихла. Перед ее глазами встала унылая дорога и два печальных путника, удаляющихся в темноту...

— Все уходят! — подхватил с жаром Миша. На его лице боролись недетская серьезность и мальчишеская гордость от сознания, что начинается большое испытание, начинается взрослая, необычайная жизнь.

— Но куда? Куда уходить? — спросила испуганно Татьяна. — Ведь у нас никого-никого нет на свете!

Ей не ответили, и она замолчала. Тут было не до нее!

Поздно ночью решение было принято: Петр Васильевич и Миша уйдут, женщины останутся, долго это продолжаться не может.

Петр Васильевич непрерывно курил. А Марина уже торопливо совала в дорожные мешки белье, фуфайки, лепешки, окропляя их обильными слезами. И зачем это так устроено, что мужчинам всегда нужно куда-то уходить: на заработки, на войну... Какие страшные порядки заведены в этом мире!

Перед расставанием Марина перестала плакать. Лицо ее стало строгим, неподвижным. А Петр Васильевич, напротив, как-то вдруг растерялся, без толку суетился и тер все время лоб.

Непроглядной ночью отец и сын вышли из дому. После домашнего тепла, низких потолков, запаха горячей пищи мир открылся перед ними — огромный и неприветливый.

Миша медлил. Пока он стоял здесь, на крыльце, он был еще дома. Но Петр Васильевич уже был там, внизу, и тонул в густом мраке ночи... Миша нащупал ногой ступеньку. Он больше не оглядывался. Шагнул. И отправился в неизвестное, в незнакомую, неизведанную жизнь.

Черный мрак казался пропастью, в которую судьба сталкивала их без всякой жалости.

— Ну и ветрище! — пробормотал Петр Васильевич, поднимая воротник.

Черная ночь таила опасности, чем-то грозила... А как пронизывал ветер! Он буквально сбивал с ног!

В освещенном пространстве распахнутой двери были видны силуэты двух женщин. Ветер развеивал их волосы, трепал подола. Обе стояли неподвижно. Они-то и составляли то, что именуется «дом», «родное гнездо», с ними были связаны все-все радости и печали. Уже вышли из дому, а Петр Васильевич и сейчас не был уверен, что правильно поступает. Как же можно оставить их одних — слабых, беззащитных? Что они тут будут делать одни? Какие их ожидают лишения и обиды?

— Храни вас бог! — крикнула Марина.

Когда рассвело, Миша и Петр Васильевич увидели, что по дороге в одном с ними направлении движется немало людей. Это придало им бодрости. И ветер и утренняя

прохлада теперь не страшили.

Вот целое семейство обогнало их. Муж и жена, дети всех возрастов, у каждого узелки и котомки за спиной, кроме того, багаж в тележке. По-видимому, собрались обстоятельно, взяли все необходимое. Какие веселые лица! Они знают, что делают! Они не оглядываются!

А вот трое конных.

— Котовского не найти?! — говорил один из них, что-то доказывая. — У нас с ним одна дорога. Встренемся!

— Папа! Ты слышал? — взволнованно проговорил Миша. — Котовский!

— Ну что — Котовский?

— Говорят, он где-то здесь, поблизости. Только бы найти его!

— Ну и что же дальше?

— Тогда — все! — Миша мечтательно улыбнулся. Поправил ремень на плече и прибавил шагу.

Небо между тем зарозовело, зарумянилось, как отлежанная щека на подушке. Две-три звезды, пробившись сквозь облачную гущу, по-ночному сверкали и переливались голубым, холодным огнем, они не догадывались, что ночь кончилась и начинается утро. Голые, зимние деревья четко проступали на светлеющем небе, и промозглая мгла уползала куда-то в кусты.

Долго шли молча. Затем Петр Васильевич недоверчиво спросил:

— А ты откуда знаешь этого... Котовского?

— Как же, папа! Спроси любого крестьянина... Или в Кишиневе... Да он, знаешь, сколько раз в тюрьме сидел!

— А ты думаешь, это очень хорошо — сидеть в тюрьме?

— Смотря по тому, за что. Котовский сидел за справедливость.

— Все равно. Даже если и встретим, он ничем не сможет помочь. Очень нужны ему такие, как мы, воины!

Миша не стал спорить. Отец не понимает! А то бы он иначе рассуждал!

Опять шли молча. Смотрели на посветлевшее небо на придорожные деревья, и каждый думал о своем.

Вторая глава

1

Котовский ехал в тот день верхом, пробираясь по проселочным дорогам. Пришлось оставить Кишинев и отходить с боями к Днестру. Вероятно, придется отдать злобному врагу всю Бессарабию. Враг входит, бряцая оружием. Возвращаются в свои гнезда и господа помещики.

А ему надо уходить!

Сегодня бессарабские властители торжествуют.

«Погодите немного! — думал Котовский. — Настанет день, и мы посчитаемся!»

Прежде чем расстаться с Бессарабией, Котовский решил захватить в свои Ганчешты, в свое родное селение, чтобы проститься с домом, с сестрой. Он ехал в раздумье. Невесело было на душе.

В боях под Кишиневом перевес оказался на стороне противника. Надо изменить соотношение сил. Надо звать народ на защиту свободы. Вот с чего надо начинать!

Таковы были мысли Григория Ивановича Котовского, когда он подъезжал к своему родному селению Ганчешты.

Родина! Тихие Ганчешты! Прозрачная речушка Когильник и прохладный пруд, по берегу которого так приятно ходить босиком... Кажется, нигде нет столько зелени. Здесь отовсюду лезут стебли. Зеленые сады, зеленые улицы, зеленые виноградники и табачные плантации.

Григорий Иванович и хмурится и улыбаётся.

Детство! Прозрачное, как речушка Когильник, мелководный Когильник с галечным дном.

Цокают копыта. Дорога извивается среди полей. Как все сразу вспомнилось, как все ожило! Годы мелькают, как кустарники, сиротливо растущие вдоль дороги. Как оглянешься — быстрая была жизнь, для тихого раздумья не оставалось и минуты.

Чем ближе подъезжал Григорий Иванович к родному дому, тем большее волнение охватывало его. Вон и крутая гора, поросшая дубняком. На вершине горы, главенствуя надо всей местностью, красуется белоснежный дворец князя Манук-бея. Внизу притулились Ганчешты. Они припадают к подножию княжеского величия, как смиренный слуга к плечу доброго барина. Ладно! Еще посмотрим, как будет припадать к плечу слуга! И Котовский переводит взор на милые знакомые улочки, дворы, на сады, в которых вырастают такие вкусные яблоки. Уж он-то помнит их вкус!

Вот и отца нет в живых... Тихий и молчаливый человек был отец. Он работал механиком на винокуренном заводе князя Манук-бея, и от него всегда пахло машинным маслом и крепким табаком. Он был точен, исполнительен, серьезен и даже суров. Но от этого молчаливого, тихого человека впервые услышал в детстве Григорий Иванович вольные, непокорные слова. Такие слова очень нужны были в покорных Ганчештах, среди пришибленных нуждой крестьян, среди этого заплесневелого, издавна установившегося неблагополучия.

Григорий Иванович помнит, как все они, деревенские ребята, наблюдали удивительную сцену: мчалась по дороге пара манукбеевских рысаков — серых, в яблоках. Кучер — не кучер, коляска — не коляска, все блестит, сверкает, все красивое, небывалое, а в экипаже сидит самый обыкновенный курносый мальчишка. Но боже упаси! Это не мальчишка. Это барчонок. Он сидит и даже по сторонам не смотрит. Навстречу движется воз. Дядька Антон везет жерди на починку своего огорода, у него вся ограда развалилась, и свиньи поели капусту.

Княжеский кучер кричит еще издали:

— Э-гей!

И рукой показывает: прочь с дороги!

Дядька Антон захлопотал, заторопился... затпрукал, задергал свою клячонку... свернул в канавку, воз боком, клячонка жилится... А серые в яблоках кони промахнули мимо, разбрызгивая клочки пены, кучер успел разок полоснуть по Антоновой кляче, и мальчик в экипаже засмеялся — противный, с круглыми щеками мальчик.

Вечером маленький Гриша спросил:

— Почему мальчишка ехал на двух лошадях, а дядька Антон на одной да еще с возом, воз-то, знаешь, какой тяжелый! А свернуть пришлось все-таки Антону, потом он еле выбрался. Почему?

— Видишь ли, — начал отец и задумался, потому что сам не знал, почему, собственно, Антон должен свернуть, — видишь ли, как бы это тебе объяснить. То Манук-бей, а то всего лишь Антон. Бедные всегда уступают дорогу богатым.

— А мы бедные? Я бы не уступил.

— Ну что ж, — отец потер лоб, — может быть, Антону когда-нибудь надоест уступать дорогу. И тогда он возьмет да и не уступит.

Милый, молчаливый отец! Он, кажется, сам-то был не из тех, кто ломит шапку перед манук-беями! Григорий Иванович запомнил один случай, когда отец пришел расстроенный и рассерженный: управляющий при выдаче жалованья удержал какие-то штрафные.

— Скоро они за воздух, что мы дышим, — и за него будут взимать, ворчал отец, по своей привычке разговаривая сам с собой.

Сели обедать. Соня накрыла стол. Гриша без всякого предисловия, как бы продолжая разговор, спросил:

— А почему они богатые?

- Ешь, а то каша остынет.
- Нет, папка, а почему они богатые?
- Потому что бессовестные.
- А почему бессовестные?
- Потому что богатые.
- А-а!

Ответ был вполне удовлетворителен. Отец все знал! И теперь можно приняться за горячую кашу.

В деревне был дед. Очень старый, даже еле ходил. Мальчишки знали, что он все равно не догонит, поэтому любили деда дразнить. Они кричали нараспев:

- Дедушка, дедушка, не хочешь ли хлебушка!..

Дед разволнуется, затрясется, заплачет от бессилия, почему-то эти слова казались ему очень обидными. И он воздевал руки к небу и шамкал:

- Бог накажет! Бог вас накажет, шельмецы!

Гриша терпеть не мог, когда кого-нибудь обижали, и разгонял мальчишек, которые дразнили старика.

Гриша задавал множество вопросов, всем задавал: сестрам, соседям, отцу. На половину вопросов он вообще не получал ответов. На некоторые получал, но не очень вразумительные. Интереснее всех отвечал отец.

- Почему дедушка говорит: «Бог накажет»? А как бог наказывает?

Отец беспокойно ворочался за столом и наконец говорил:

- Бог-то бог, да и сам не будь плох... Пока до бога доберешься, тебя святые съедят.

Эти пословицы Гриша сообщил приятелям-мальчишкам. Пословицы понравились, и они пробовали их петь, как песню. Они понравились даже Николаю — старшему брату Гриши.

Сестры Григория Ивановича — с серьезными глазами Соня и тоненькая-тонюсенькая Елена — вели хозяйство. Все было возложено на их слабенькие детские плечи. Нужно позаботиться, чтобы и печи были истоплены, и обед приготовлен, и посуда вымыта, и вода принесена. Их день заполняют несложные, но хлопотливые, чисто житейские заботы.

Иначе жил Гриша. Позавтракав, он уходил на целый день на улицу и жил в мире фантазий, приключений, заполнявших его выше головы.

Отец приносил книги. А в книгах были волшебные истории!

Маленький Гриша совершал кругосветное путешествие на корабле, сооруженном из корыта и половой щетки. Он отдавал команду матросам, бури швыряли корабль по волнам и грозили его затопить, разнести в щепки, но капитан не робел. Он стоял на капитанском мостике и зорко смотрел вперед, на неведомые рифы.

Затем корыто снова превращалось в корыто. Зато по стране лилипутов шагал Гулливер. Это был опять-таки Гриша. Вскоре он поселялся на необитаемом острове и доил коз, как настоящий Робинзон Крузо...

Книги поставлял отцу репетитор манукбеевского круглощекого мальчика. Однажды он принес «Историю мира». После этого в играх Гриши появились знаменитые полководцы и великие завоеватели.

Вдоль забора, во дворе маленького домика Котовских, росла глухая, высокая крапива — неприступной стеной. Она цвела бледно-зелеными серьгами, покачивала шершавыми морщинистыми листьями, захватывала все больше пространства и больно жалила руки.

Но теперь это была уже не крапива. Это кочевые орды хлынули из степей, чтобы жечь и грабить поселения. Это были турецкие янычары, готовые увезти в рабство Соню и Леночку, и нужно было незамедлительно отразить нападение.

Несколько дней Гриша выстругивал перочинным ножом булатный меч. Забинтованный палец на левой руке свидетельствовал о героических усилиях и невероятной спешке.

Крапива курчавилась. Разлапая, необузданная, она готова была заполнить весь двор.

Но вот отважный богатырь появился на крыльце, вооруженный мечом. Он рубит крапивные полчища, которые выше его ростом. Ядовитые стебли поникают, падают, срубленные, или перегибаются пополам.

Ура! Победа! На руках выступили белые крапинки, которые долго будут чесаться, но победа одержана. Надолго запомнят турецкие янычары, как совать нос куда не следует! Кочевая орда уже никогда не поднимется в прежнем величии! И никогда не отстирают сестры зеленых пятен на Гришиных рукавах!

Вскоре появилась новая великолепная затея: суворовские полки переваливали через Альпы. Пропасти зияли перед ними, бушевала снежная метель. Вообще же это была теплая, нагретая солнцем крыша, одно из старых заводских складских помещений. Отважный суворовский герой карабкался по самому карнизу. Трухлявая доска обломилась, и суворовский солдат рухнул вниз с высоты шести метров...

Очнулся Гриша в постели. Милая Леночка склонилась над ним. Грише было два года, когда умерла его мать. Почему-то Грише казалось, что Леночка в точности такая, какой была мать, хотя он едва ли мог помнить материнские ласки... Какое у сестры заботливое лицо! Какая она хорошая! Как она жалеет его! Ему приятно, но нестерпимо жарко.

— Смотрит! Смотрит! — закричала Леночка.

Тогда прибежала и Соня. Как они радовались, что он жив, что он шевелится, пришел в себя! Они во всем старались заменить ему мать, которой лишились так рано.

— Хочешь орехового варенья?

Они знали, что ореховое варенье — любимое лакомство Гриши и он очень редко получал его.

Еще бы не хотеть орехового варенья! Сестры бросаются накладывать варенья, сестры хлопчут и ухаживают за ним. Он пытается объяснить, как это случилось. Он не виноват. Виновата доска. Он волнуется, он торопится все по порядку рассказать. Он видит, что сестры жалостливо слушают его, а у Леночки даже навертывается слеза: после падения с крыши Григорий стал говорить, растягивая слова. В детстве ушибы заживают быстро, но некоторые отметины остаются на всю жизнь. С тех пор в минуты волнения Котовский всегда чуточку заикается.

Мальчик выздоровел без всякого вмешательства медицины. В Ганчештах не было ни доктора, ни фельдшера, ни медицинского пункта. Правда, водилась одна бабка, но она только заговаривала от дурного глаза, от порчи и от укусов змей.

Все эти воспоминания нахлынули на Котовского, когда он проезжал по знакомым, исхоженным тропам, по родной земле. Так видим мы окрестности при вспышке молнии во время грозы.

Милые Ганчешты! С теплым участием смотрел он на крохотные мазанки, на подслеповатые оконца, на жалкие изгороди. Он думал о том, что эти трудолюбивые люди достойны жить по-другому и они будут жить по-другому, они распрямят согнутые спины и получат сполна все радости, которые отпускает человеку жизнь!

Котовский, усмехаясь, вспомнил, как он встретился в те давние, мальчишеские годы с манукбеевским барчуком. Он шел в тот солнечный день босиком вдоль берега. Подумывал искупаться. Было жарко. Он сам не заметил, как очутился на песчаной косе, где стоял мальчик в матроске, в коротеньких штанишках с двумя блестящими пуговицами — тот самый, что проезжал по деревне на паре сытых коней и загнал в грязь дядьку Антона.

— Эй! — крикнул он Грише. — Поди-ка сюда!

Гриша не сразу понял, что это относится к нему.

Остановился. В свою очередь крикнул:

— Если тебе надо, можешь сам прийти!

— Какой ты бестолковый! — рассердился мальчик. — Я тебе говорю, немедленно иди ко мне! Видишь мяч? Я его закинул в лужу. Поди принеси его, да поживее! Не понимаешь? Чего ты рот разинул?

— Ты сам разинул рот! — ответил Гриша. — Не сахарный, закинул — так лезь в воду, а мне твой мячик не нужен, не командуй!

— Что?!

— Ничего!

И Гриша повернулся спиной к барчуку и стал насвистывать.

А тот не верил своим ушам. Что это такое? Даже мама беспрекословно исполняет все его желания. Услышала бы она, как этот голодранец отвечал ему!

Но он был трус, этот изнеженный тонконогий барчонок, и не только не настоял на своем, но вдруг испугался Гриши. Он так и оставил плавать в луже полосатый свой мячик... Все ускоряя шаг, кинулся к дому, под защиту маменек и слуг...

А Гриша не удостоил его даже взглядом. Медленно разделся и прыгнул с берега. И долго фыркал, брызгался, окунался в нагретую солнцем воду. А когда вернулся домой и рассказал сестрам обо всем происшествии, в лицах изображая, как сердился барчук, как отвечал барчуку он, поднялся невероятный переполох.

— Что ты наделал! — ахала Соня. — Ведь он теперь пойдет и пожалуется родителям!

— Неужели тебе трудно было достать этот проклятый мячик? — вздыхала Леночка.

Вернулся отец с работы, рассказали и ему. Он выслушал все внимательно, усмехался, кричал.

— Ты боишься, папа, что теперь тебя прогонят со службы? — спросила дрожащим голосом Соня.

— Нищему пожар не страшен, — ответил отец. — А ты тоже дурак: надо было достать мячик из лужи да закинуть его подальше в воду, к чертям собачьим, чтобы уплыл куда-нибудь!

Цокают копыта. Котовский натягивает поводья. Дорога вьется среди полей...

2

А если вдуматься — немного радостных дней было в коротком детстве Григория Ивановича. Уже одно то, что он рос без материнской ласки... Ведь Акулина Романовна умерла, когда Гриша только-только научился ходить и говорить. Умерла она сразу же после родов, оставив семидневную дочку Марию.

За домом стала присматривать бабушка Марья. Бабушка Марья — высокая, красивая, решительная — умела все: и разделявать тесто, и мочить яблоки, и ставить заплатки на Гришиних коленках и локтях. Еще бабушка Марья знала множество сказок и былей, пословиц и присказок. Увидит, что Софья в расстройстве, и скажет:

— Ты, Сонюшка, как собака в упряжке, как вино в чашке.

Про манукбеевского приказчика она говорила: «Нанялся волк в пастухи!» А про бессарабские деревни: «Семь сел, один вол».

И много было у нее различных поговорок.

От бабушки Марьи узнал Гриша о легендарных богатырях Чуриле, Соловье, Дунае Ивановиче. Наслушавшись ее сказок и былей, маленький Гриша то свистал, как Соловей-разбойник, то домашние узнавали, что перед ними храбрый и непобедимый воин Грив Грозван.

Бабушка знала и песни. Не раз Гриша засыпал, слушая длинную нескончаемую историю. В открытое окно струилась прохлада вечера, долетали запахи яблонь и виноградной лозы. Серебряный месяц стоял высоко в небе. А бабушка Марья монотонно выговаривала:

Через Днестр переходил я,
Мост широкий проложил я,
Чтоб вернуть в свой край родной
Из неволи тяжкой, алой

На карупах на моканских
Всех невольниц молдаванских...

А потом бабушка Марья умерла... Умерла как-то незаметно, как будто надолго отлучилась, уехала куда-то. День не появлялась, другой... Гриша видел, что отец чем-то озабочен, что Соня плачет. Но она так часто плакала, а отец всегда был озабочен! Только позже Гриша узнал, что бабушки нет, она умерла и ее уже похоронили. А он все собирался расспросить ее, из какой неволи вернули молдавских невольниц и зачем их забрали в неволю... Но так и не узнал подробного объяснения бабушкиной песни.

Теперь Гриша часто стал бывать в заводских рабочих казармах, где завелись у него друзья. Невеселая там была обстановка. Нехватки, теснота...

Однажды Гриша попал в один из деревенских домиков на обед. Так уж случилось, что они увлеклись игрой, и тут мать позвала своего Игнашку обедать.

— Садись и ты с нами, — пригласила она.

Все сели вокруг чистого, ножом отскобленного стола и взялись за деревянные расписные ложки. Хлебали из деревянной чашки, которая стояла посередине. Вместо супа принесли воду, заправленную луком и перцем. А потом подали мамалыгу.

— Отчего вы не едите хлеба? — простодушно спросил Гриша.

— Мамалыга — хлеб бедных, — ответили ему.

Этим и закончилась трапеза. У себя дома Гриша ел сытнее. И с самого раннего детства запала в его душу горечь, что так много несчастных на свете.

Он запомнил бабушкину песню и распевал сам на все лады:

Через Днестр переходил я,
Мост широкий проложил я...

У него была удивительная память. Стоило ему только раз прослушать чей-нибудь рассказ — и он запоминал его на всю жизнь.

Однажды, проходя мимо окон домика, где жила учительница ганчештинской школы, Гриша услышал задумчивую, задушевную музыку. Это была гитара. Как она пела! Как она грустила, семиструнная!

Учительница Анна Андреевна заметила зачарованного слушателя и позвала к себе. Глаз не спускал с нее Гриша, следил за ее пальцами, которые быстро передвигались по черному грифу гитары:

— Можно мне?

— Разве ты умеешь?

Нет, он не умел. Но после нескольких уроков музыки научился подбирать и новые мотивы, прежде всего песню про молдавских невольниц.

Семи лет Гриша поступил в ганчештинскую школу. В ней обучение продолжалось шесть лет. Соня гордилась успехами брата. После смерти бабушки она была за старшую в семье, и Гриша вырос на ее руках. Да и все любили этого красивого, здорового мальчугана, быстрого и неутомимого.

— Сильный он у нас какой, — рассказывала Софья всем, кто желал слушать. — Побороть его никто на селе не может из его сверстников. Я сама видела: пятеро повиснут на нем, а он как тряхнет — все горохом посыплется. Но не драчун. Совсем наоборот. Жалостливый. Только и таскает в дом то слепого щеночка, которого хотели утопить, то кролика, которого собаки затравили. За слабого всегда заступится.

Любил Гриша играть в войну и всегда командовал, предводительствовал в играх. Никто лучше его не умел прибегать к хитростям, устраивать засады, внезапно нападать. Он рассказывал своим приятелям:

— Вот как надо воевать — как молдаване воевали в древности!

— А как?

— Вот, например, я читал: сражались они с поляками у Кузьминского леса — был такой лес. И вдруг во время сражения на поляков начинают падать деревья! Ловко придумано? Деревья были заранее подрублены. Вот это военная хитрость!

И много различных историй, вычитанных из книг, рассказывал Гриша. А потом, для того чтобы все было как на самом деле, они подрубили старую грушу в саду дядьки Романа. Это навлекло беды на обе стороны сражавшихся, потому что дядька Роман очень рассердился за грушу.

Гриша, начитавшись исторических книг, вооружал свое «войско» топорами, рогатинами, луками и стрелами, мечами и палицами, изготовленными из фанеры. Он оказывался Стефаном, а противная сторона — полчищем польского короля Яна Первого Альбрехта. Война неизбежно заканчивалась победой молдавского войска, потому что и по истории было известно, что «возвратился король с великим срамом восвояси».

Встреча Гриши с круглощекиим мальчиком на песчаной косе возымела неожиданные последствия.

Мальчик пожаловался отцу. Старый князь Манук-бей по каким-то признакам сразу догадался, что дерзкий мальчишка, не пожелавший подать мяч его сыну, был не кто иной, как сын Ивана Николаевича, механика на заводе. Ведь он, говорят, дворянского происхождения, хотя и обеднел. Вот и нашла коса на камень! Князь был доволен, что его баловень получил урок. Не всеми командуй! Разбирайся, с кем имеешь дело!

Князь вызвал к себе механика:

— Иван Николаевич! Как идут дела на заводе?

— Ничего, все в порядке, — отвечал Иван Николаевич, несколько удивленный неурочным вызовом.

— Скажите, Иван Николаевич... мы раньше все как-то не разговорились... у вас ведь большая семья?

— Жена-то померла, а детей много, мал мала меньше...

— И сыновья есть?

— Как же! Николай уже совсем большой, а Грише одиннадцать двенадцатый, учится в школе — не нарадуемся. Очень способный, даже, я бы сказал, чересчур.

— Вот как? Вы бы привели его как-нибудь. Ну, хотя бы в это воскресенье.

— Он у меня диковат. И кланяться его не приучал...

— Не надо кланяться. Зачем кланяться? Вот, рассказывают, он и музыкант, и силач, и учится отлично... Давайте посмотрим да подумаем, может быть, и сделаем что-нибудь для него.

— Ему ничего не надо. Сыт, здоров.

— Хорошо, хорошо. Я его и не собираюсь ни кормить, ни лечить. Так, значит, в воскресенье?

В воскресенье Гришу помыли, причесали, принарядили в новую рубашку. Гриша спросил:

— Сечь будет? За своего толстощекого? Так я не дамся, все равно убегу.

— Кто тебя посмеет сечь? Познакомиться с тобой князь хочет.

Софья даже перекрестила брата на дорогу.

А князь разглядывал Гришу со всех сторон:

— Как зовут тебя? Гриша? А по отцу Иванович? Ну, видишь, выходит, мы с тобой тезки, ведь и я Григорий Иванович. Рассказывай, как живешь, чем занимаешься?

— Книг очень много читает, — ответил вместо Гриши Иван Николаевич. Уж такой читатель!

— Книг? Может у меня брать. Я дам распоряжение. Только книги книгами, но молодому человеку нужно и физическое развитие.

— Он в «Ниве» вычитал про какую-то волевою гимнастику Анохина. И каждый день руками машет. Упрямый. Ну и на коне мастер ездить. Прямо тебе джигит.

— А вот мы посмотрим, какой он мастер, какой джигит!

Это знакомство произошло во дворе, перед крыльцом манукбеевского дома. Князь крикнул конюхам:

— А ну-ка дайте лошадь помирнее!

— Я могу и не смиреннее, — ответил Гриша.

— Да? Хорошо! Приведите Гайдука. Попробуем.

Тут вышли поглядеть на развлечение и другие обитатели дома, появился и мальчик, но только издали глазел, со ступенек стеклянной веранды.

Гайдук оказался резвым конем. Иван Николаевич уже с тревогой смотрел, как красавец конь ходит ходуном. «Ну, думает, вызвали они Гришу на потеху, свалится мальчишка, ушибется, а им лишь бы посмеяться...»

Ничего, Гриша не оробел. Ему только ладонь положить на круп лошади и он уже на ней. Гайдук сначала на дыбы, потом брыкаться — не тут-то было! И понес он маленького всадника, вымахнул за ворота, пролетел через всю аллею, а потом смирился.

Князь покосился на сына. Куда ему! Маменькин сынок. Князь думал о том, что дворянство изнежено, что выращивают ни к чему не приспособленное поколение, а между тем понадобятся волевые люди, и неоткуда будет их взять.

Чтобы задеть самолюбие сына, громко хвалил Гришу, распорядился давать ему, когда захочет, коня. Дал рубль «на пряники» и отпустил.

Когда они подходили к дому, отец сказал:

— Ты у меня молодец, оказывается. Ты никого не бойся. Так и живи.

Иван Николаевич был такой работник, какому нет цены. Он пунктуален, старается сделать на десять рублей, где платят рубль. Он безукоризненно честен, князь Манук-бей отлично это знает. Такие люди, как Иван Николаевич Котовский, всю жизнь трудятся, и всегда у них ни копейки за душой.

Если он за что-нибудь отвечает, то весь исхлопочется, у него все должно идти без сучка, без задоринки. А тут, как назло, выбыл из строя один из паровых котлов. Выпустили из него горячую воду и принялись за починку. А разве Иван Николаевич может удержаться? И разве может смотреть, как машина простаивает? Тут уж его не остановить. Как его ни уговаривали, чтобы он не вмешивался и набрался терпения, ничто не помогало.

Иван Николаевич сам полез в котел, чего от него вовсе не требовалось. Выбрался он оттуда потный и разгоряченный, а потом — прямо на сквозной ветер... Не поберегся, простудился и слег... Не те годы, чтобы так собой рисковать.

Котел-то вступил в строй, а Иван Николаевич что дальше, то хуже. Пролежал почти год и умер, последнее время даже не приходя в сознание... И оставил сирот на свете без всяких средств, потому что за сорок лет безупречной службы не скопил ни гроша. Умер — и вычеркнули его из списка служащих завода, только и всего.

Гриша уже окончил ганчештинскую школу, нужно было подумать, что же дальше. Софья хлопотала, ездила в Кишинев, говорила с князем. Наконец Гриша был зачислен в реальное училище. Еле сколотили деньжат, чтобы сшить ему форму — все как полагается: купили фуражку с желтым кантом, с кокардой, сшили шинель с блестящими пуговицами.

Но недолго пощеголял в новом одеянии Гриша Котовский! В Кишиневском реальном училище начальство пересмотрело списки, и в конце 1895 года были исключены тридцать шесть человек. В том числе был исключен и Григорий Котовский.

Вернулся он обратно в Ганчешты и пуговицы блестящие поотрывал.

— Подожди, я еще поговорю с ними! — заявила решительным тоном Софья и стала собираться в город.

Она явилась в канцелярию реального училища и так хлопнула дверью, что все восседавшие за столиками и шуршавшие бумагами служащие вздрогнули.

— Мне нужно видеть директора.

— По какому вопросу? — сморщился худошавый, весь пропитавшийся пылью и скукой канцелярист.

— А это уж я изложу лично ему, — обрезала Софья.

— Пожалуйста! Но ведь он спросит...

Ее провели в директорский кабинет. Софья прошла туда без всякого смущения. Глаза ее метали молнии. Должны же они объяснить причину. Мальчик такой способный, так хорошо учился в школе!

— Простите, — ледяным тоном произнес директор, лощеный, благоухающий, довольный, — с кем имею честь? Гм... да... я не совсем понимаю ваш тон... В конце концов, я тут ни при чем... Есть решение педа-го-гического совета... Решение вынесено на основании со-ответ-ствующего циркуляра министерства народного просвещения...

Софья с ненавистью смотрела на белоснежные директорские манжеты и на запонки, непомерно крупные и слишком блестящие, как ей казалось.

— К тому же, — продолжая директор, любуясь собой, своим голосом и своей вежливостью по отношению к посетительнице, которой, впрочем, позабыл предложить сесть, — к тому же, насколько я помню, ученик Котовский не отличался образцовым поведением...

— Поведением? Если бы он был не сирота да подкатывал к училищу в собственном экипаже...

Тут у Софьи перехватило дыхание:

— А, да что с вами говорить! Разве вы понимаете что-нибудь в воспитании? Вы, с вашими этими... манжетами! Вы, знаете, кто? Вы не человек, вы — манекен!

Директор зажмурился, чтобы не видеть эту неприятную девушку, эту разъяренную тигрицу. Когда же он открыл глаза, ее, к счастью, уже не было в кабинете.

Опять начались хлопоты Софьи. У нее был такой характер, что если она решала чего-нибудь добиться, то готова была весь свет перевернуть.

Князь Манук-бей понимал, что обязан был позаботиться о семействе человека, который прослужил у него безупречно в течение сорока лет. Но ведь законов таких нет? С какой стати он будет делать больше чем положено? Разве он не платил что полагается механику завода?

Софья приходила несколько раз, плакала...

Вспомнил о необыкновенных способностях этого шустрого мальчика-«джигита»... Ну что ж! Может быть, выйдет из него толк, будет служить верой и правдой?

Князь в нерешительности обмакнул перо в чернильницу.

Софья ждала.

«Милостивый государь Иосиф Григорьевич! — писал князь размашистым почерком, обращаясь к директору сельскохозяйственного училища в Кокорозене. — Направляю к Вам...»

Так поступил в сельскохозяйственную школу Григорий Котовский. На полный пансион.

— Как тебя зовут? — спросил его человек с зелеными усами и сеткой от пчел на голове.

— Меня зовут Гриша.

— Это тебя раньше звали Гриша. А теперь ты — Григорий Котовский.

— Хорошо, я Григорий Котовский, — согласился новый ученик.

Школа ему понравилась. Здесь были большие пастбища, молочная ферма, плодовый питомник. Тучные симмонталки жевали в хлевах тимофеевку, тирольский и голландский скот выращивался в особых загонах. На виноградниках зрели американские сорта винограда, а в пчельнике стояли разноцветные домики — ульи, и в ульях, в кружевных сотах, рдел золотой мед.

Котовский научился пчеловодству и проявил в этом деле большие способности. Но не забывал и других отраслей хозяйства. Даже придумал новый способ подрезки лозы. Все у него ладилось в руках, делал он все быстро, порывисто.

— И все-таки, — говорил ему унылый надзиратель школы, толстый и студенистый Комаровский, — хорошего управляющего из тебя не выйдет. Нет у тебя этого самого... как его... чего-то у тебя нет.

Воспитанник сельскохозяйственной школы Григорий Котовский выглядел старше своих лет и выделялся среди остальных учеников серьезностью и уверенностью во всех поступках.

Учился он с увлечением, схватывал все на лету. Находил время еще на чтение. И, не пропуская ни одного дня, занимался гимнастикой. Нашел на молочной ферме двухпудовые гири и с ними делал упражнения. Он подбрасывал их в воздух и ловил. Выжимал, делал с гирями в руках гимнастику. Убеждал и других развивать мускулатуру. Кроме того, усердно изучал немецкий язык: Манук-бей обещал отправить его в Германию для завершения образования.

Сельскохозяйственная школа располагала огромным земельным участком в пятьсот десятин. Обработывалась земля руками учеников. Но Котовский и с этой тяжелой работой справлялся без особенного напряжения.

В кокорозенскую школу поступил бледный городской мальчик Васюков. Вначале его поставили учеником в кузницу. Кузнец Максимыч был черный, волосатый верзила с громадными, мускулистыми руками. Котовский приходил иногда в кузницу, как он говорил, «поразмяться», поработать тяжелым молотом. Он приглядывался к новичку. Максимыч на него покрикивал, и это совсем не нравилось Котовскому.

— Я что тебе говорю! — кричал кузнец под лязганье и звон железа. Поддай жару, говорю! Тютя!

И больше для поощрения, чем по злобе, ударил Васюкова.

Ударил — и пожалел. К нему подскочил Котовский и как начал позорить да вычитывать! Максимыч сначала пробовал огрызаться, отмахиваться. Куда там! Котовский стыдил его, пока не пронял. После-то кузнец стал уже оправдываться:

— Да разве я... да чего ты на самом-то деле? Я же для науки...

— Это только в полиции бьют, — горячился Котовский, — в полицию идет тот, у кого совести нет. Их для того и кормят, чтобы умирять, чтобы зуботычины раздавать, чтобы в страхе народ держать. А ты? У тебя сознание должно быть. И нашел кого ударить! Слабенького! Ты ударь меня! Или как? Неохота?

— Да ладно, — морщился кузнец, — ну, ошибка вышла... Ну, все.

И больше уж кузнец никогда не замахивался на Виктора Васюкова.

— Ты вот что, — сказал на прощание Котовский, подбадривая новичка, старайся попасть в наряд на молочную ферму, когда будет мое дежурство. В школе кормят плохо, а там я тебя молочком, а то и сливочками подкормлю. А то смотри, какой ты заморыш!

Вскоре повстречались они с Васюковым на поле. Нужно было мотыжить. Мотыга была тяжелая. Васюков никак не мог приспособиться к ней. Мальчики тотчас подметили, что он мотыги никогда и в руках-то не держал. Начались шутки, поддразнивание.

— Смотрите, смотрите, ребята, ведь это прямо-таки богатырь!

— Ого! Да он нас всех землей забросает!

— По ноге! По ноге ударил! Это новый прием!

Котовский молча взял мотыгу у Васюкова.

— Тут, Витя, ничего нет мудреного, — сказал он спокойно, — и только дураки могут хвастаться своим умением мотыжить...

Шутники прикусили языки.

— Даже медведя можно обучить этой работе, подумаешь, какая сложная машина. Мотыга! А ты вот держи ее так... и р-раз! Видишь, как получается? Ну-ка, попробуй.

С тех пор у Вити с Котовским и дружба повелась — и всякие насмешки прекратились.

Однажды ночью, во время дежурства, Котовский предложил:

— Идем, пугнем немножко наше начальство.

— А как?

— Вот увидишь.

Они вышли в поле. Глянули на высокое звездное небо, на притаившийся, притихший, замерший в тишине ночи сад... Котовский неподражаемо ловко изобразил завывание волка. Вот переполошатся! Ведь волкам есть чем поживиться на животноводческой ферме. Будет наутро разговоров, что появились волки и разгуливают под самыми окнами директорской квартиры.

— Сегодня мы пойдем в деревню на молдавский жок, — объявил как-то Котовский своему приятелю Васюкову. — Там ты увидишь одну девушку... такую девушку...

— Я знаю, что такое молдавский жок, — заявил Васюков. — Жок — это танец.

— У молдаван есть поговорка: льет воду в колодец... Так говорят о бестолковых людях.

— По-твоему, я бестолковый?

— Хуже. У тебя как-то неинтересно все получается. «Жок — это танец». «Зимой холодно, летом тепло»... Я ему говорю о замечательной девушке, а в ответ слышу равнодушные рассуждения.

— Но ведь я согласен пойти на этот жок.

И они пошли. Деревня Ливадэшти разбросана по овражкам на берегу мелководной реки. Голубые и светло-зеленые фасады домиков расписаны синими полосами. Около каждого домика плодовые деревья. Кое-где виднеется журавль колодца или высется, как одинокие стражи, пирамидальные тополя.

Васюков только что намеревался сказать что-то такое поэтичное о живописной местности. Но не успел этого сделать.

— Удивительное дело, — сказал Котовский, когда они миновали мостик и попали на деревенскую улицу, — на первый взгляд, как будто простенькая хорошенькая деревенька. Как ситцевое платье — и нарядна и незатейлива. А вглядеться — какое жалкое существование. В Молдавии один курган носит название «Курган рабства». Мне почему-то всегда это вспоминается, когда я смотрю на лачуги молдаван...

— А где же девушка? — спросил Васюков.

На «пристыбе» — на завалинке одного из домиков — много молодежи. Вот он — танец! Мелодично звенят струны самодельных музыкальных инструментов. Медленно движутся танцующие.

Котовского знали. Тотчас потеснились, чтобы дать ему и Васюкову место. Рядом с ними оказался старый молдаванин. Он вздыхал и все смотрел на танцоров. Видно, когда-то и сам был завзятым исполнителем жока.

Котовский вежливо спросил его, как живется.

— Вяцэ рэ! — ответил старик спокойно. — Плохая жизнь.

И опять смотрел слезящимися, потухшими глазами на медленнодвигающиеся танцующие пары.

Вечерняя заря угасала над деревней. Обрисовывались на фоне румяного неба очертания домов, изгородей. Листья айвы лепетали о чем-то невеселом. Яблони толпились вокруг танцующих. От реки плыли запахи сырости, прохлады, гниющих камышей...

— Пора идти, — напомнил Васюков. — Могут заметить наше отсутствие, и будут неприятности.

— Подожди! Сейчас она будет петь...

— Кто?

— Как кто? Конечно, она, Мариула!

И действительно, красивая смуглая молдаванка, сидевшая на скамейке под грушевым деревом, затуманилась, загрустила, пока парень перебирал легкие струны гуслей. Затем сразу взяла за сердце своим низким, грудным голосом. Взяла и не отпустила.

— Какие слова! — вздохнул Котовский.

Молдаванка пела:

Дни ли длинные настали,
Провожу я их в печали.
Дни ли снова коротки,
Сохну, чахну от тоски...

Изо всех дверей появлялись женщины, выползали старухи, теперь и под деревьями и дальше, возле изгороди и колодца, толпился народ. Замолкли шутки, утихли разговоры. Все

слушали. И Васюков видел, как напряженно, всем существом, слушает дойну Котовский.

Лист увядший, лист ореха,
Нет мне счастья, нет утехи,
Горьких слез хоть отбавляй,
Хоть колодец наполняй.
Он глубок, с тремя ключами,
Полноводными ручьями.
А в одном ручье — отравы,
А в другом — огонь и лава,
А еще в ручье последнем
Яд для сердца, яд смертельный.

Мариула замолкла. Бледное лицо ее все еще отражало ту печаль, о которой она рассказывала в песне.

— «Он глубок, с тремя ключами, полноводными ручьями...» — задумчиво повторил Котовский.

— Обрати внимание на лица слушателей, — шепнул Васюков, — они стоят как зачарованные, а вон та, около яблони, — у нее слезы на глазах!

Но Котовский и сам подозрительно отворачивался и тер кулаком глаза. Затем он улыбнулся Васюкову и стал рассказывать:

— Ты в первый раз слышишь дойну? Это только первая часть. Молдавская дойна состоит из двух частей. В первой — грусть, «дора», как бы размышления о страданиях народа. Но затем — ты сейчас услышишь — заунывные звуки сменятся бодрым напевом, песней без слов. Вот! Слышишь? Дойна переходит в танец! Народ не знает, как выразить словами свои мечты. Но в танце, в движении — столько силы!

Пляс становился все более стремительным и втягивал все новых танцоров. Как будто они хотели стряхнуть с себя навеянную грусть. Как будто не хотели поддаваться отчаянию.

Совсем уже вечерело. Звезды запутались в ветках яблонь и там трепыхались, как мелкая рыбешка в сетях.

Но Васюкова уже не интересовали звезды. Он опять стал торопить Котовского: он был очень прилежен и исполнительен. И они помчались по душистым полянам. Пожалуй, если сегодня дежурит надзиратель Комаровский, он может заметить две пустые постели...

— Лишь бы миновать коридор, — шепотом говорил Васюков, — тут главная опасность.

Они осторожно пробирались в спальню, стараясь пройти незамеченными, чтобы не попасть на глаза дежурному.

На следующий день на уроке истории учитель рассказывал об Испании, и раз уж об Испании, то, конечно, о тореадорах, о том, как устраиваются народные зрелища и тореадоры побеждают быков.

После урока Котовский заявил, что нет ничего удивительного, если человек оказывается сильнее быка.

— Бык сильный, но он неповоротливый. Кроме того, он слишком горячится, излишняя горячность всегда вредит делу.

Насмешливый Стефан Кябур, который всегда любил подзадоривать и подбивать на какие-нибудь споры или пари, подхватил:

— Котовский у нас — что и говорить — силач необыкновенный. Уж он-то безусловно повалит быка.

— Я думаю, что в этом нет особенной заслуги, — ответил Котовский, — я не сильнее его, но я хитрее и поворотливее.

— Гриша, — остановил Скутельник, благоразумный, рассудительный малый, — ты не слушай его, видишь, он тебя нарочно поддразнивает.

— Конечно, это чепуха, — согласился толстяк Загура, — идемте лучше завтракать. Тореадоры — это люди натренированные. Да и те обычно кончают тем, что бык продырявливает их рогами.

Казалось бы, спор на этом должен был кончиться. Но Котовский во всеуслышание заявил, что справится с быком, и предложил устроить настоящий бой быков, на котором он выступит в роли тореадора. Конечно, начальство не разрешило бы подобной забавы. Но если выбрать день, когда дежурит Якименко, который всегда попробуете домашних наливок, заберется куда-нибудь в прохладу и дрыхнет, поручив ученикам предупредить в случае появления директора... Если к тому же отпустить домой со скотного двора унылого Дормидонта, пообещав за него доглядеть за скотом... то, пожалуй, все пройдет благополучно...

— Я решительно возражаю! — сердился Скутельник. — Представьте, что Котовского повалит бык, а это почти наверняка случится...

— Ну что ж, скажем: несчастный случай.

— Ведь никто его насильно не заставляет. Пусть вперед не хвастает!

Одним словом, «бой быков» состоялся. Место за конюшнями было отведено, «публика» поместилась в полной безопасности — под навесом сарая. Свирепый бык Черт, которого водили на цепях и на которого приходили смотреть как на чудище, был выпущен на свободу. Он вымахнул из стойла, остановился, опустив могучую голову, исподлобья озирая поле. Никого. Только один мальчик, в обыкновенной одежде, спокойный, стройный...

— Может быть, прекратим, пока не поздно? — пробормотал Скутельник. У него было доброе сердце.

Но все уже были в необыкновенном возбуждении, все ждали, что будет дальше, и никто не ответил на это запоздалое предложение: бык уже мчался прямо на мальчика, мчался с налитыми кровью глазами, раздувая ноздри...

Все обмерли. Васюков, который долго упрашивал Котовского отказаться от этой затеи, зажмурился.

Котовский спокойно ждал. На вспаханной земле у быка увязали ноги. Он мчался, разбрасывая комья земли. В последний момент Котовский увернулся и бык промчался мимо не в силах сразу остановиться.

— Здорово! — воскликнул кто-то в восхищении, но на него зашикали.

Бык повернул обратно. И снова все замерли в ожидании, и снова юный тореадор обманул быка.

— А ведь, пожалуй, он прав, — пробормотал Стефан Кябур, — на стороне быка грубая слепая сила, на стороне Котовского — ловкость, ум, точный расчет.

Бык пытался сделать передышку, но Котовский заставил его безостановочно бегать и все больше свирепеть от неудач. И вот уже бык стал заметно уставать, от него валил пар, он громко дышал, мотал туполобой головой, бил хвостом. Вот он, пролетев уже который раз мимо увернувшегося мальчика, споткнулся на меже и повалился на колени, тотчас вскочил и опять стал разыскивать, где этот ненавистный, которого он никак не может сокрушить...

Гриша добился своего: измотал вконец яростного Черта, схватил его за рога, повалил на землю и хлестнул нагайкой. Теперь уже никто не мог сдерживаться, все ревели от восторга, как заправские зрители испанского представления.

Но Котовский подошел и спокойно объяснил, больше обращаясь к Васюкову, что человек, развивающий свои способности, тренирующий волю и делающий гимнастику по системе Анохина, всегда восторжествует над слепой стихией.

— Т-тут и удивляться нечего, — говорил он, — при настойчивости всякий может сделать то же самое.

Но желающих повторить его опыт не нашлось.

Вот тогда-то и познакомился Котовский со студентом. Очень интересный студент. Он рассказывал захватывающие дух истории. Он говорил, что всякая власть консервативна, что вообще не надо никакой власти, нужно дать человеку привольно жить.

Сам студент был лохматый, никогда не брился, и на подбородке у него выросли ключья светлых курчавых волос. Тужурка у него была в пятнах, засаленная, курил он махорку, сыпал пепел на грудь и ходил без шапки и летом и зимой.

Слушая рассуждения голодного лохматого студента, вечно роняющего с носа пенсне, Котовский мечтал о том, чтобы уничтожить всех помещиков, разогнать полицию, и тогда само собой падет царское самодержавие и каждый как захочет, так и будет жить.

Об этом говорили они с Коваленко, тихим, застенчивым юношей. Валя Коваленко был сын сельского учителя. Они облюбовали в саду недоступное постороннему глазу местечко — старую беседку в самом отдаленном углу, в зарослях орешника. Они называли это место «убежищем». Там никто не мог их подслушать, и они могли свободно высказывать свои заветные думы.

— Я мечтаю, — говорил задумчиво Валя, и голубые глаза его блуждали по зеленым зарослям, по вершинам деревьев, — я мечтаю сделать всех людей богатыми. Нас научат в школе садоводству, а я буду учить крестьян. На родине нашей земля плодородна, солнца много. А что толку? Крестьяне разводят местные лозы, производят посадку чубуков без плана, белые сорта винограда сажают вперемешку с черными, тут же сеют кукурузу, выращивают грушу и орех. Разве так можно? Я научу их выращивать сортовой виноград, они станут богаты, начнут давать детям образование, построят хорошие дома, купят коров и заживут припеваючи...

— Послушать тебя, так и на самом деле скоро наступит на земле рай, недоверчиво отозвался Котовский.

— Ты сам посуди! — горячо излагал свой план спасения человечества Валя. — Стоит посмотреть на виноградный куст в крестьянском винограднике ведь это не куст, а насмешка! Не хватает тычин, чтобы поддерживать его!

— Не хватает тычин? Не хватает земли, скажи лучше. Отчего крестьяне сажают среди виноградника ореховое дерево? Оттого что больше негде садить! А не потому, что незнакомы с агрономическими правилами!

— Допустим, что это верно. Но можно же по-человечески снять урожай, хорошо изготовить вино? А ведь крестьяне снимают виноград незрелый, получается он несладкий, собирают вместе белый и черный, валят в одну кучу. А как его давят? Я сам видел у нас на деревне: набьют виноград в холщовые мешки и топчут босыми ногами, а потом вместе с мязгой вываливают в бродильные бочки, где больше мух, чем вина!

— В Ганчештах у князя Манук-бея есть давяльни, бродильные чаны, фильтры, черт их побери! Ты, может быть, собираешься раздавать мужикам фильтры и устраивать дробилки, когда начнешь их просвещать? Да им жрать нечего, а ты — давяльни! Нет, Валя, ты не с того конца начинаешь. Я считаю, что прежде всего надо прогнать помещиков...

— Как прогнать?

— Очень просто — прогнать! И тогда у народа будут и фильтры, и сортовые лозы, и земли сколько хочешь под виноградники.

— Легко сказать — прогнать! А если они не уйдут?

— Перевешать их всех на осине! Слышал, что студент говорил?

— Ого, какой ты быстрый. Как бы они нас не перевешали.

— В школе готовят из нашего брата барских садовников или управляющих. Стоит ради этого учиться? Стоит ради этого жить?

Котовский в раздумье смотрел на сияющее синее небо. Он не находил выхода для бродивших в нем сил, не мог разобраться в путанице, которая происходит в жизни.

— Знаю одно, Валя, — говорил он с настойчивостью, — нехорошо, некрасиво живут люди, обидно живут. Надо жить иначе.

— Это-то верно.

— А еще вернее, что мы опоздаем на обед. Слышишь колокол?

Шумели высокие вершины деревьев школьного сада. Старая беседка была надежно спрятана в зелени. И Котовский, и Валя — оба полны были юношеского задора и юношеских

надежд. Они будут перестраивать жизнь заново! Они будут непримиримы!

Школяры распевали революционные песни, которые узнали от студента. Котовский руководил хоровым кружком. Наконец эти песни зародили подозрения у надзирателя Комаровского, хотя он и был туговат на ухо.

— Что вы такое поете?

— Как что! Русские народные песни. Они рекомендованы.

— Что-то я таких не слышал. «Вихри враждебные» — какие такие вихри? И почему враждебные? Если уж вам непременно хочется петь о стихиях, пойте «Виють витры». А то нарвешься с вами на неприятности.

И неприятности, действительно, получились.

Котовский раздобыл прокламацию. Это все студент поставлял. Читали прокламацию тайком, в овраге. В прокламации говорилось об арендной плате крестьян. Смысл ее был неясен, но таинственность сборищ волновала. Котовский придумал пароль, придумал клятву, которую давали, если допускались на собрания.

Заброшена верховая езда, забыта шведская гимнастика. Безмолвствует кларнет, на котором Котовский выучился наигрывать кавалерийские сигналы: атаку, седловку.

— Мы устроим забастовку в знак протеста против грубости надзирателей! — ораторствовал Котовский.

Эта затея понравилась. Готовились к забастовке усиленно.

Все погубила корова. Она съела траву, под которой были спрятаны заготовленные воззвания, написанные акварельными красками. Началось расследование. Садовнику Никифору было приказано нарезать лозы. О Котовском, как главаре, сообщили в Кишиневское жандармское управление, и, несмотря на восемнадцатилетний возраст, он был уже под негласным надзором полиции.

Почтеннейший директор Кокорозенской сельскохозяйственной школы считал своим нравственным долгом докладывать об успехах и прилежании ученика Котовского его высокому покровителю князю Манук-бею.

— Да, да, — рассеянно отвечал князь, выслушав сообщение о том, что Котовский проявляет выдающиеся способности, — собственно, я иного и не ожидал.

— Я понимаю, — заканчивал свой визит директор, — вами владели исключительно гуманные, благотворительные побуждения. И я счел долгом...

— Благодарю, благодарю, — говорил князь, подталкивая директора к выходной двери.

Однако последнее посещение директора в год окончания Котовским всего курса школы, в 1900 году, было более продолжительным. Директор доложил, как он выразился, «с великим прискорбием», что неблагодарный воспитанник школы Котовский проникся революционным духом и отдан даже под негласный надзор полиции, как неблагонадежный элемент.

Князь выслушал это сообщение внимательно.

— Удивительное дело, — сказал он, — как только в нашей дворянской среде обнаруживается человек поспособнее, так непременно перекинется на ту сторону и всеми силами начинает бороться против нас.

— Очень, очень прискорбно, — снова повторил директор.

— Впрочем, — добавил Манук-бей, — меня уже мало интересуют дела вашей азиатской России. Мой предок когда-то порвал с турецким султаном и навсегда покинул Турцию. А я порываю с Россией. Решил поселиться в какой-нибудь тихой европейской стране, где никому по ночам не снится революция.

3

...Котовский пришпорил коня. Ну, вот и дом! Три окошка смотрят на улицу. Высокая крыша увенчана печной трубой.

Как обрадовалась и вместе с тем испугалась Софья! И как нахмурился ее муж!

— Через твоего любезного братца как раз накличешь на себя неприятности. От такого смутьяна надо держаться подальше.

И хотя Софья слегка побаивалась муженька, но на этот раз с явным раздражением ответила:

— Не беспокойся, он долго не пробудет.

Муж молча оделся и, уходя, так хлопнул дверью, что зазвенела посуда.

— Тебя разыскивают, — сообщила Котовскому Софья. — Два раза приходили какие-то люди, спрашивали тебя. Мы сказали, что слыхом не слыхали, уже много лет ничего не знаем.

— В штатском?

— В пиджаках, а сапоги военные.

— Скорее всего, полицейские. Рышут! Да ты не волнуйся. Я ведь только заехал повидаться, завтра же дальше. Так что успокой своего бурбона.

В доме все по-прежнему. И так же маятник торопливо выстукивает на стене, и часы, по своему обыкновению, ушли на час вперед, и к гире привязана железина: как привязал отец, так и осталась...

Но до чего поредела семья! Старший брат утонул купаясь. Елена вышла замуж и уехала. Дома только Софья со своим неприятным мужем.

Софья хлопочет, без толку суетится. Принесла кларнет. Этот кларнет еще мальчиком Григорий Иванович нашел в чулане и с тех пор мучил всех домашних, усердно извлекая из этого музыкального инструмента визгливые, немзыкальные звуки. В конце концов добился своего, научился, стал подбирать по слуху знакомые ему мотивы. А знал только дойны — заунывные песни молдаван.

— Хочешь взять с собой? — спросила Софья.

— Сейчас будет другая музыка! — рассмеялся Котовский. — Нет уж, положи кларнет обратно в чулан. Время сейчас немзыкальное. А впрочем, возьму. Ведь на кларнете можно играть сигнал «В атаку». А в атаку-то придется еще идти!

Кларнет напомнил многое из детства. Стали, перебивая друг друга, вспоминать.

— А помнишь?.. А помнишь?.. — повторяли оба, но в каждом слове сестры была опаска и оглядка, и Котовский даже подумал, как она изменилась в замужестве.

— Как жаль, что Леночка уехала. Муж-то у нее хороший?

Перед Софьей сидел плотный, сильный мужчина, с крупными чертами лица, с горячими карими глазами, бритой блестящей головой, солидный, в военном, с оружием, которое он бережно сложил в угол на лавку, — а сестра все видела в нем маленького мальчика, бойкого, быстрого, которого надо умыть перед едой и бранить за шалости.

— А ведь не так далеко твой день рождения, двенадцатого июня. Ты, поди, и не помнишь, когда родился? Погоди... Сколько тебе? Тридцать семь? Смотри, как летят годы!.. Тридцать семь — это не так-то мало...

Угощая чаем, она вытащила откуда-то из глубины шкафа заветное, давнее и уже засахарившееся его любимое ореховое варенье.

— Кушай, такого больше нигде не найдешь: это по рецепту бабушки.

Тут пришли односельчане, друзья детства, ровесники Котовского. Они сразу же предупредили Котовского, что его разыскивает полиция. В дни революции полицейские попрятались, зарыли свою форму в сено, запрятали ее в огородах, и все стали вдруг просто поселянами или городскими обывателями. Теперь они зашевелились.

Но пусть Григорий Иванович не беспокоится. Приняты надлежащие меры. Григорий Иванович может спокойно пить чай и беседовать.

— Видишь ли, — говорили друзья, — когда мы узнали, что наш Гриша вернулся, то сразу же поставили дозорных на дорогах. Чуть чего — будет сигнал: один выстрел. И тогда мы тебя спрячем в надежное место. Чему другому, а уж осторожности-то мы научились за это время!

— Голубчики! Так зачем же прятаться? Нас много, и, кажется, все не из робкого десятка. Или у вас нет оружия?

— Да если пошарить на чердаках — найдется.

— Чего другого!

Не успели они закончить этот разговор, как раздался выстрел оттуда, с дороги. За выстрелом последовал другой, третий... Это уже не было условным сигналом, это была настоящая перестрелка. Что там такое случилось?

— Надо идти на помощь, — решительно сказал один из парней.

Но вскоре вернулись сами дозорные. Они были сильно возбуждены, загорелые их лица были смелы и открыты, и они спешили все рассказать подробно, говорили все сразу.

— Постойте! — остановил их Котовский. — Докладывай кто-нибудь один. Как тебя звать? Василь? Ну вот ты и докладывай, что у вас там случилось.

Котовский не помнил этого Василя. Он, видимо, был совсем малыш, когда Котовский уехал.

— Засели мы под стогом в Заячьем логоу, где Максимовы земли, знаете? захлебываясь словами, начал Василь. — Оттуда всю дорогу видно, до самого поворота.

— Знаю. И что же дальше?

— Только мы собрались покурить, появляются военные. Один-то — мы сразу его признали — Вацлав, полицейский, из соседнего села. О нем говорят: врет — не кашляет.

— А вы что? Струсили, поди?

— Нет, мы, как условлено, дали выстрел в воздух, а те сразу стрелять.

— Никого не задели?

— Они-то не задели! А мы подумали-подумали: пускать их, так они, чего доброго, и на самом деле беды натворят. Тогда нам наши ребята головы оторвут... Ну, мы взяли да на всякий случай всех и... тово... перебили...

— Перебили?!

— Перебили.

— Вот это здорово! — воскликнул кто-то.

— Теперь жди, что явится карательный отряд...

— Не они н-нас, — поднялся со скамейки Котовский, — мы будем их карать. Не беда, что сейчас придется уйти. Мы уйдем с оружием, чтобы собраться с силами. Зато уж когда разгромим врагов, то это будет раз и навсегда.

— Ну так и мы с тобой! А? Возьмешь?

— Вот это дело!

Сразу стало ясно, как нужно действовать, и все разбрелись по домам, чтобы накормить коней перед отъездом да собрать пожитки.

4

Как быстрокрылая птица, облетел слух молдавские села и деревеньки: Котовский бьет захватчиков, Котовский собирает отряд! И отовсюду двигались по дорогам всадники — те, кто не хотел склонить подневольную голову.

«Рэзбунэтор народник» — так назвал молдавский народ своего Котовского. Рэзбунэтор народник. Народный мститель. Во имя человечности он должен быть беспощаден. Чтобы не было горя, он должен нести горе врагам, вести войну во имя мира. «Рэзбунэтор народник!» — так говорили о нем простые люди. «Веди нас, Котовский!» — говорили они.

Не одной только Софье пришлось провожать до околицы своего Гришу. Со многих дворов выезжали и старые и молодые. Вон и юный Василь, перестрелявший «на всякий случай» полицейских. Вон и незаможник Иван...

Незаможник Иван, нескладный и некрасивый, всю дорогу жалел, что оставил дома новую уздечку:

— Понимаешь, совсем новая. Я ее на кукурузу выменял. И как я ее забыл — сам не пойму.

— А ты вернись, — советовали ему, — тут недалечко.

— Да там, поди, уже румыны?

Василь по-мальчишески лихо сидел на коне и особенно приосанивался, когда на деревенских улицах глазели на него девочки.

— Когда сражение-то будет? — спрашивал он земляков.

Пробовали строиться, но не было еще слаженности, и кони были домашние, без выучки.

У кого-то захромал конь, и хозяин в каждом селе искал кузнеца, чтобы сменить подкову.

Продвигались туда, на восток. И если сегодня въезжало в село десять всадников, то завтра выезжало оттуда вдвое больше.

Дни стояли облачные. Белые облака летели одно за другим, как клубы дыма. В запахах, приносимых ветром, угадывалась близкая весна. Когда он прилетал издалека, теплый, нагретый солнцем, даже голова кружилась от упоения. Все вокруг было в состоянии предчувствия. И люди, покинувшие свои семьи, не верили тому, что свершилось. Не могло это быть, чтобы у них отняли покой, труд, жилище, чтобы у них отняли родину и свободу! Все говорило о близком ликовании и торжестве. Да, они ушли, спору нет. Но разве они уходят навсегда?

Гнедой жеребец, белоножка, злюка, нетерпеливо танцует; под гладкой блестящей кожей играют мускулы; озорной глаз косит на придорожные кусты. Так бы вот и помчал, разбрызгивая пену! И чтобы шел пар от горячей холки, и чтобы копыта едва касались земли!

Всадник задумчив, и никто не хочет ему мешать. Всем кажется, что вот обдумает он все досконально, разработает план — и тогда все пойдет иначе, и не придется коням хвостами к врагу оборачиваться, и не придется все дальше уходить от родимых мест.

Задумался Григорий Иванович, крепко задумался. А дорога-то невеселая идет. Весна непременно настанет, но сейчас еще по-зимнему унылы поля и леса. Голые деревья печально шумят. Это ли Бессарабия, такая всегда нарядная, такая цветущая?!

Холод сковал реки. Жестокая зима оголила леса. И отовсюду приходят невеселые вести: оккупанты захватывают один за другим города и поселки Бессарабии. Идут уже расправы, и повсюду охотятся за всеми, кто проявил себя при Советской власти.

И, зная это, приходится терпеть! Надо стиснуть зубы и двигаться к Днестру, на восток, мимо этих роц и полей!

Как знакома Котовскому каждая опушка леса, которую они проезжают! Всюду промчался он вихрем, всюду побывал.

Цокают копыта. Дорога извивается среди полей...

Участливым взглядом смотрел на своих земляков Котовский. Среди них он вырос, знал их песни, их труд, их медлительный танец. И теперь отступал с ними. И знал, что не на один день.

Они уходили. Тут ничего не поделать. Их провожали печальные холмы. Белые домики селений походили на родственников, вышедших проститься с отъезжающими. И долго смотрели вослед печальные окна.

5

Была остановка в большом молдавском селе. Степенно расспрашивали старики пришельцев, судачила молодежь с жеманными красавицами у ворот. Гремели ведра у колодцев. Поили коней. Пахло конским потом и кожей седел. Махорочный дым завивался кольцами.

Приветливо встречало гостей местное население:

— Далече держите путь?

— От села до села. Собираем большое из малого.

— Доброе дело. Найдете и в нашем селе надежных парней.

Котовский уверенно вошел во двор, обнесенный каменной оградой. Как странно! Прошло столько лет, свершилось столько событий... Жизнь швыряла Котовского из конца в

конец, весь мир, казалось, перетряхнуло до основания. А дворик был тот же, ни малейшей перемены. И та же груша перед крыльцом... И на той же веревке развешаны циновки...

Котовский вошел в полутемные сени. Дом построен из чамура — кирпичей, изготовленных из земли, соломы и навоза. Внутри и снаружи выбелен глиной. Фасад дома светло-голубой. Стена, выходящая в сад, светло-розовая. И какие разводы по стенам: полосы и кружочки. Внутри дома — скамьи по стенам, большая четырехугольная печь — «груба», светло-зеленая, расписанная листьями и цветами. Дом опоясан завалинками и коридорами с деревянными колонками.

— Дорогой гость!

— Здравствуй, Леонтий! Узнал?

— Отца не узнаю, тебя — узнаю!

— А ведь давненько не виделись. Никак, лет двенадцать?

— Мы тебя и сто лет помнить будем!

С этими словами хозяин, красивый молдаванин, провел Котовского в дом.

— Хорошо у тебя, Леонтий! — произнес Котовский, оглядывая все убранство «касамаре» — комнаты для гостей.

На самом деле, в комнате была безупречная чистота. А уж ковры, пожалуй, не хуже персидских.

— У меня и жена хорошая, — улыбнулся светлой улыбкой Леонтий, — и дети хорошие.

Котовский подумал:

«Жаль будет Леонтию расставаться с домашним теплом и менять его на тяжелую походную жизнь».

Но Котовский ничего не сказал Леонтию об этом. Он знал, что дружба сильнее, а фронтовая дружба — великое дело.

Тут появилась жена Леонтия — ласковая, приветливая. Потом и детей показал Леонтий: смуглого мальчика и смелую, как мальчишка, девочку.

«Хорошая семья у Леонтия, — думал Котовский. — Именно потому, что семья хорошая, Леонтий должен оставить ее, идти на ратный подвиг».

Котовскому казалось таким естественным всего себя без остатка отдать на служение людям. Только в этом и смысл жизни. Только в этом оправдание существования.

Котовский верил в людей. Он ни на минуту не усомнился в Леонтии. Леонтий поступит так, как должен поступить.

Они вместе полюбовались на детей. Славные ребята. Ради них, ради завтрашних поколений надо бесстрашно сражаться, надо по-хозяйски налаживать жизнь.

Котовский усадил ребятшек на колени. Леонтий с удивлением наблюдал, что дети не дичились, и сразу же подружились с этим веселым, сильным, крупным дядей, и уже болтали с ним непринужденно.

Тем временем хозяйка принесла большой кувшин, и они выпили с Леонтием по стакану хорошего виноградного вина за свободную Молдавию, за светлое будущее.

— Пусть тучи рассеются над нашей страной!

Мальчик и девочка почувствовали, что предстоит расставание. Они еще не ведали, что жизнь иногда бывает безжалостна. Облепили отца, вцепились в него ручонками. Они не могли придумать, что сказать, и только бормотали:

— Папа! Папа!

Они обнимали отца. Кто знает — может быть, обнимали в последний раз?

Третья глава

Знакомство Котовского с Леонтием связано с необычайными событиями, о которых многие помнят в Бессарабии.

В 1900 году Котовский окончил кокорозенскую школу, окончил с отличными отметками. Только теперь, расставаясь, поняли выпускники, что у них кончается на этом молодость, что они вступают в трудную неизведанную жизнь, что их связывают навсегда воспоминания о юных, беспечных годах. Пусть не очень сытная, пусть не лишенная огорчений — все же это была хорошая пора!

— Ты куда идешь работать? — спрашивали выпускники друг друга.

— Я буду садовником в имении Вишневого, — сообщил Димитрий Скутельник.

— А я буду работать в бессарабском училище виноделия.

— Ого! Значит, выпивка нам обеспечена!

— И букет роз из оранжереи Скутельника!

— А ты, Котовский?

— Управляющим в имении Скоповского.

— Ты-то сделаешь карьеру!

— Тем более, что у Скоповского, говорят, есть красивая дочка...

— Нет, братцы, те каштаны не про нас!

И они расстались, вновь испеченные агрономы, управляющие и виноградари.

Нельзя сказать, что новое положение было Котовскому по душе. Имение «Валя-Карбунэ», большое и благоустроенное, открыло перед Котовским новое, чего он еще не видел до сих пор отчетливо и что его сразу же неприятно поразило: это пропасть, которая разделяла крестьян, трудившихся на полях помещика, и господ, с их роскошью и мотовством.

Сам помещик Скоповский производил впечатление интеллигентного и культурного человека. Он даже щеголял тонкостью обращения и высокими запросами: у него была и богатая библиотека, и дорогие картины. Он любил говорить о просвещении, о прогрессе человечества... Но все-таки он не понравился Котовскому с первого же взгляда.

Да, он выписывает толстые журналы — «Вестник знания», «Русское богатство», — а кроме черносотенной газеты «Новое время» к нему приходят и либеральные: «Русское слово» и «Речь». Почтальон приносит приложения к журналу «Нива» — собрания сочинений Майкова, Станюковича, Чехова. Много поступает и иностранной литературы. И вместе с тем этот культурный человек произносит странные злопыхательские речи. Он не доверяет никому. Все люди — прохвосты. Каждый норовит меньше сделать и больше получить.

— Я не строю никаких иллюзий относительно этого двуногого. Каналья! И во всяком случае выгоднее думать о каждом, что он лодырь, мошенник, и ошибиться в этом, чем, наоборот, оказаться излишне доверчивым и в результате остаться в дураках.

Котовский слушал с возрастающим презрением. Откуда такое человеконенавистничество? На чем основано такое самомнение? И чем же замечателен этот лощеный, нафабранный, в шелковом белье, в бухарском халате и в колпаке с кисточкой, пресыщенный и самодовольный человек? Может быть, он осчастливил человечество новыми открытиями? Может быть, он создал духовные богатства? Почему он будет жить в вечном празднике, в излишествах, в неге?

Котовского удивило, например, что, получая из собственных своих садов, возделанных чужими руками, лучшие сорта винограда, яблок, слив, имея огромные запасы и свежих фруктов, и сушеных, и в вареньях, и в пастилах, и в маринадах, помещицье семейство еще выписывает из-за границы ящиками и корзинами всевозможные заморские диковины. К ним привозят ананасы и бананы, кокосовые орехи и финики... да всего и не перечислишь, только успевай размещать на складах и в погребах!

Но и этого, оказывается, недостаточно. Еще существует оранжерея и специально к ней приставленный садовник. Видите ли, им угодно, чтобы и в зимнюю пору, на рождество, подавалась к столу свежая земляника! Чтобы не переводились и спаржа, и огурцы, и зеленый лук!

А рядом, всего в каком-то километре, в деревнях копошатся и чахнут голодные дети, со вздутыми животами, в коросте и лишаях. Питаются люди — и то впроголодь — кукурузной мамалыгой, и косят людей эпидемические болезни, болеют они чесоткой, золотухой и черной оспой, завшивели в своей огромной беспросветной нищете...

С первых же дней работы управляющим имения поразил Котовского этот контраст, и он ходил ошеломленный, расстроенный, он не мог понять, не мог примириться. И все думал, думал об одном: «Почему же так получается? Разве это справедливо? Почему так устроена жизнь?»

Дом наполнен тетушками, приживалками, и все они изнывают от безделья, все они прозорливы, похотливы, злоязычны, все заняты дальнейшим устройением и обеспечением такой утробной и ведь дьявольски скучной жизни. О чем они мечтали? Какие у них были идеалы? Котовский с терпеливой настойчивостью исследователя, изучающего нравы каких-нибудь насекомых, разглядывал, выспрашивал обитателей помещичьего дома. Он понял: стремятся они получить наследство, выгодно жениться или выскочить замуж... и снова сидеть и раскладывать пасьянсы, и разбираться в сновидениях, пережевывать не новые новости и переваривать обильную пищу — изделия выписанных из-за границы поваров.

Котовский точно, по документам, знал, что Скоповскому принадлежит четыреста восемьдесят семь десятин отлично возделанной и удобренной земли. А в соседних Молештах есть крестьянские хозяйства в две десятины, а то и в одну — на десять голодных ртов.

— Сколько же может дать молока ваша Буренушка? — спрашивал с состраданием Котовский, разглядывая тощую корову крестьянина.

— А теперь уж мне не забота, сколько бы ни давала, — отвечал с невеселым смешком хлебороб. — Вот будет базарный день — отведу и продам. Сколько ни дадут: все равно кормить нечем, сдохнет до весны.

«А вот у нас в „Валя-Карбунэ“, — думал Котовский, — спят до одури, едят до сердцебиения. Специально делают моцион, чтобы больше съесть! И что-то я ни разу не видел, чтобы господа помещики кушали мамалыгу».

Постепенно управляющий Котовский знакомился со всеми обитателями помещичьего дома. Дом был просторный, и многие комнаты вообще пустовали. Одни назывались «залами», другие «гостиными», была «буфетная», «гардеробная», «комната барышни», то есть Ксении, дочери Скоповского, учившейся в Петербурге, в институте благородных девиц, «комната молодого барина», то есть Всеволода, студента-путейца. Были еще и другие комнаты, без названий, но с дорогой мебелью, ежедневно протираемой горничными, упрятанной в белоснежные чехлы.

Впрочем, в главном доме жили только сами Скоповские. Приживалки, тетки, бесчисленная челядь, а также учитель музыки, учитель танцев месье Шер, домашний врач Геннадий Маркелович, ключницы, портнихи размещались во флигелях, пристройках, и далеко не все приглашались к барскому столу, только доктор, да учитель танцев, да две-три родственницы поприличнее.

Супруга Александра Станиславовича Скоповского, как о ней выразился один из гостивших в летние каникулы студентов, «женщина грандиозного телосложения и микроскопического ума», посвятила жизнь неравной и самоотверженной борьбе с обуревающим ее аппетитом. Домашний врач, унылый, опустившийся и пристрастившийся к спиртным напиткам Геннадий Маркелович, давно изверился в медицине, считал, что порошки, кроме вреда, ничего человеку не приносят. Впрочем, он понимал, что врачи необходимы, но не для лечения болезней, а для терпеливого выслушивания жалоб пациентов и для неизбежного после этого вручения «барашка в бумажке» — гонорара, который полагается совать в руку доктора этак незаметно, как бы мимоходом. Геннадий Маркелович именовал состояние почтеннейшей госпожи Скоповской по-научному «амбулией», а в просторечии — обжорством.

Алевтина Маврикиевна Скоповская была из украинского семейства, и у них в роду сохранились рассказы о прадеде, весившем более двенадцати пудов. Усевшись за стол и

уничтожив жареного поросенка с кашей, добавив к этому и домашних «ковбас», и домашней птицы, выкормленной специально для кухни, затем обстоятельно потрудившись над вкусными варениками, галушками, пампушками, грушевым взваром и сладкими пирогами, уснастив все это хорошими порциями вишневой наливки, сливянки и других смачных напитков, сверкавших и переливавшихся в объемистых графинах, этот предок вылезал из-за стола, поглаживая свой солидный живот, расправляя усы, свешивавшиеся ниже подбородка, и жаловался: «Черты його батька знае — нема ниякого апетиту...»

Алевтина Маврикиевна не только не жаловалась на отсутствие аппетита, но даже старалась его укротить. Увы, в конечном счете она всегда терпела полное поражение в неусыпной борьбе с соблазнами и наконец полностью капитулировала, сдаваясь на милость победителей: борщей, пирогов и жареных индеек.

Домашний доктор при этом всякий раз приговаривал:

— В присутствии доктора, дорогая Алевтина Маврикиевна, можете позволить себе в виде исключения малую толику жареной баранины и крылышко восхитительной тетерки... В присутствии доктора пагубные последствия благорастворяются. Кушайте, матушка, и ни о чем не думайте, если того требует природа! Не терзайте себя сомнениями! Все равно помрем, голубушка. Человеческая жизнь эфемерна и мимолетна. *Omnia mutantur*, как говорится, все вздор, все тлен!

Летом имение «Валя-Карбунэ» наполнялось шумом и гамом. Приезжала молодежь. Устраивались крокетные площадки перед домом, натягивались металлические сетки и под присмотром управляющего изготовлялся корт для игры в лаун-теннис.

Приезжал Всеволод Скоповский, слабость и гордость отца. Он был красив, и сам признавал это.

— Севочка, ты отдыхай, — суетился Александр Станиславович. — Доктор, посмотрите, не развилось ли у Севочки малокровие?

Всеволод никогда не питал пристрастия к наукам. Котовский попробовал с ним говорить о строительстве мостов, железных дорог. Всеволод цедил сквозь зубы:

— Не понимаю, почему это вас интересует, милейший! Я, откровенно говоря, ничего в мостах не смыслю. За меня сдают экзамены бедные студенты. Мой друг, князь Кугушев, очень удачно выразился: «Когда я поеду в Париж, сказал он профессору Передерию, — я надеюсь, что все мосты будут стоять на месте и мой экспресс проследует по своему маршруту...»

Из дальнейших расспросов Котовский убедился, что Всеволод Скоповский в равной степени красив и глуп. Оказывается, он не собирался делать карьеру путейца. Просто ему нравились серебряные нашивки с вензелями. Всеволод был заносчив, презирал профессоров, получавших мизерное жалованье, а сам увлекался балетом и бегами, вернее, увлекался всем, чем увлекался «его друг, князь Кугушев», по-видимому, являвшийся для него идеалом, образцом — увы! — недостижимым, потому что Кугушев был «баснословно богат».

— Можете себе представить, — рассказывал восторженно Всеволод, — у князя уже есть содержанка — Вероника, певичка из театра «Буфф», и он подарил ей бриллиантовый кулон!

Всеволод Скоповский получал хорошие куши от отца, но все-таки не такие, чтобы мог дарить певичкам кулоны. И это, пожалуй, было самым большим огорчением для Всеволода. Ведь князь Кугушев мог. И князь Радзивилл мог. И сын миллионера Кабанова мог все себе позволить.

На летние каникулы вместе со Всеволодом часто приезжал безусый гимназист Коля Орешников. Собственно, дружил-то Всеволод со старшим братом Коли. Но тот всегда ускользал в последний момент, намекая на нечто романтическое и даже говоря со вздохами влюбленного: «Если бы ты ее видел, ты бы понял меня! Она едет с мужем в Ялту, и я должен последовать за ней...» И тут он подсовывал вместо себя братишку: «В общем, вы пока поезжайте, а там, глядишь, и я пожалую. Тебя же прошу, как друга: посылай от моего имени моим родителям телеграммы, чтобы они думали, будто я у тебя гощу...» С этими словами он

исчезал, а Всеволод ехал домой с неуклюжим, застенчивым гимназистом.

Прибыв в «Валя-Карбунэ», Коля Орешников немедленно вооружался удочкой и целыми днями просиживал на берегу пруда, внимательно следя, как покачивается на прозрачной поверхности заводи полосатый поплавок.

Гимназист Коля Орешников жил, ни над чем не задумываясь. Он принимал мир таким, как он есть. Очевидно, всегда были и будут мужики, которые косят сено и едят очень вкусный черный хлеб, прихлебывая квас. И так уж придумано, что есть солнце на небе, папа и мама в Петербурге, на Васильевском острове, помещик Скоповский в «Карбунэ», а главное — рыба в карбунском пруду.

Коля был страстный, неукротимый рыболов, и первое знакомство его с управляющим Котовским произошло у пруда: они тогда заспорили, в какое время рыба лучше клюет — перед дождем или после дождя. Кстати, на этом знакомство и кончилось.

Для того чтобы в кладовых Скоповского не переводилась всяческая снедь, а в кармане Скоповского не переводились денежки, на полях работали сотни людей. Самая тяжелая работа поручалась молдаванам. Вероятно, потому, что они выполняли самую тяжелую работу, их больше всего и презирали. Все в них раздражало Скоповского: их невозмутимость, и их необычайная выносливость, и их покорный вид. За что, за какие заслуги им отпущено такое феноменальное здоровье? Это он имеет право на здоровье и долголетие! Он, испокон веку владеющий пастбищами и садами, он, оберегаемый няньками, докторами и полицией!

Котовский возненавидел помещика с первого дня, и это нерасположение все возрастало. Скоповский, напротив, терпимо относился к новому управляющему. Силач и здоровяк, Котовский не вызывал в нем зависти. Управляющий должен быть силен, чтобы раздавать зуботычины. Это так же бесспорно, как то, что горничные должны быть миловидны, а кучера толсты.

— Я с вами, а не с ними, — говорил Григорий Иванович молдаванам. Верно говорит народная пословица: ива не плодовое дерево, барин не человек. Хотя и говорят, что за деньги и черт спляшет, но меня им не купить, не продажный.

— Мы тебя сразу поняли, какой ты есть, — отвечали молдаване.

Они относились к Котовскому с доверием и платили за человеческое участие усердием в работе.

— Мы тебя не подведем, человек добрый! За добро добром платят!

А Скоповскому это и на руку: недостатки росли, имение процветало, чего же еще надо.

Так до поры до времени и жили. Когда Скоповский отдавал вздорные распоряжения, Котовский молча выслушивал его и поступал по-своему. Трудно ему было. Только и отводил душу, когда уезжал на луга, на сенокосы, когда бывал на виноградниках или проезжал через тенистые рощи. Природа настраивала на торжественный лад. Слушая, как шумят вершины деревьев, как звенят птичьи голоса и жужжат медуницы и пчелы, Котовский думал о счастье, о светлом будущем, которое сулили человечеству в книгах. И ведь надо же, чтобы все эти приживалки народа, эти обжоры и бездельники, жили в таком раю! Как будто нарочно красоты природы хотели подчеркнуть душевное убожество этих трутней.

Июльские полдни безмятежны, зеленую прохладу лесов сменяют яркие солнечные поляны. Густая трава, кустарники, поля и рощи — все звенело и пело.

Котовский не знал, как сложится его личная жизнь, но чувствовал всей своей действенной натурой, что впереди еще много неизъезженных дорог, много непройденных путей, много ждет испытаний.

Все, что узнаешь, пригодится в жизни. Котовский деловито изучал помещичий быт, все повадки этих сытых людей, все правила «хорошего тона». Много бывало в «Валя-Карбунэ» военных. С презрительным любопытством наблюдал он за щегольством офицеров, гостивших в помещичьем доме. Как они шелкали шпорами! Как умышленно картавили! Как презирали штатских!

Однажды понаехавшая на летние каникулы молодежь поставила управляющего в неловкое положение, в его присутствии и явно о нем заговорив между собой по-французски.

(Было заведено в присутствии слуг изъясняться на французском языке).

Котовский на другой же день приобрел самоучитель французского языка.

— Не можете ли вы мне показать, как произносится это слово? обратился Котовский к дочери хозяина, белокурой Ксении.

Ксения производила на него странное впечатление. Она постоянно ходила с книжкой. Котовский успел разглядеть, что это были французские романы.

Ксения мечтала. Она всегда мечтала. Она рассеянно садилась за стол, рассеянно ела. За ней ухаживали молодые люди — студенты, офицеры. Она удивленно смотрела на них. Она с наивной откровенностью спрашивала:

— Неужели вы думаете, что могли бы мне понравиться?

Ксения мечтала о принце, который придет и завладеет ее сердцем. Все, что она видела вокруг, казалось ей такой скучной прозой, такой обыденщиной!

В Ксению был влюблен гусар — молоденький, хорошенький, с черными усиками. Он порывисто садился за рояль и пел, сам себе аккомпанируя и принимая эффектные позы:

Три юных пажа покидали
Навеки свой берег родной,
В глазах у них слезы блистали,
И горек был ветер морской...

Голос у него был недурной, и когда он пел, то так выразительно смотрел на Ксению! Да, но он вовсе не был сказочным принцем и даже не обладал состоянием. Поэтому, когда гусар заканчивал пение, особенно напирая на слова: «А третий любил королеву, он молча пошел умирать», Ксения смотрела на него спокойными светлыми глазами и думала:

«Интересно, если бы этот красавчик от любви ко мне застрелился или сделал растрату в полковой кассе...»

Когда управляющий обратился к ней с просьбой помочь ему разобраться в произношении французских слов, Ксения спросила:

— А зачем вам французский язык? Вы меня удивляете.

— Как зачем? Я хочу научиться говорить по-французски.

— Но вам это совсем не нужно. Неужели вы думаете, что если научитесь говорить по-французски, то перестанете быть тем, кто вы есть, управляющим?

— Кроме того что я управляющий, я еще и просто человек.

— Человек, конечно. Но не человек общества.

— Что же мне нужно знать, по-вашему?

— Вам нужно уметь слушаться и уметь угождать. А говорить по-французски — это не обязательно.

Ксения подумала, наморщив свой розовый хорошенький носик, и добавила:

— Обезьяну тоже можно приучить держать вилку... Но от этого она не перестанет быть обезьяной.

Больше Котовский не обращался к ней за помощью, но французский язык изучил, и необычайно быстро: у него вообще были способности к языкам. Уроки согласился давать ему француз-парижанин месье Шер, преподаватель танцев. Шер хвалил его способности и говорил, что у Котовского лионский выговор.

Приехав на рождественские каникулы, Ксения случайно услышала, как они непринужденно болтают по-французски.

— Однако, вы упрямый человек, — строго заметила она. — Очевидно, вы ровно ничего не поняли из того, что я вам говорила.

— Я понял, — ответил Котовский, — что вы невоспитанная девушка. Одно из правил хорошего тона — не давать почувствовать собеседнику разницы общественного положения. А вы же считаете себя аристократкой!

В скучный, дождливый день возвращался Котовский с поля. Ездил проверять, как идут осенние работы, вспашка зяби, подготовка к зиме. Уже появились утренники, и надо было спешить.

Котовский ехал, прислушиваясь к птичьему гомону и шелесту деревьев. Он приближался уже к имению, когда услышал позади конский топот, и мимо него прошел на рысях эскадрон.

«Куда это они? — подумал Котовский. — В такую-то погоду!»

Откуда ни возьмись — крестьянин, молодой, статный, смотрит на Котовского пристально. Верхом и, видать, напрямик ехал: к мокрым сапогам прилипли листья и травка.

— Что, — спрашивает, — не понимаешь, куда скачут? Скачут мужиков усмирять.

— Мужиков усмирять?

— Ну да. В Трифанешты. Помещик вытребовал. Настоящие военные действия, не хватает только, чтобы из пушек начали палить!

Новый знакомый назвал себя Леонтием, и теперь Котовский вспомнил, что не раз видел его в соседней деревне.

— Понимаешь, какое дело, — рассказывал Леонтий. — В Трифанештах что ни год — недород. Одно несчастье! Рядом, у соседей, еще туда-сюда, худо-бедно, а какой-то колос болтается, а у них в поле, глянешь — ни былинки! Слезы одни! И вот потихонечку-помаленечку стали они землю свою помещику продавать. Продавали-продавали, да и совсем без земли остались. Стало еще хуже. Пошли к помещику батрачить. Сначала-то он с десятины, чтобы полностью ее обработать — вспахать, засеять, скосить и вымолотить, два рубля платил и урожай мерка на мерку: мерка помещику, мерка мужику. Кое-как перебивались. А потом помещик стал платить иначе: два рубля по-прежнему, а урожай — три мерки ему, одна мерка крестьянину. Хлеба стало хватать только до рождества. Главное, и на заработки податься некуда. Здесь, в Бессарабии, и без них голодного люда хватает, а в Россию поехать — языка не знают. И стали они проситься на Амур. Говорят, река есть такая и привольные там места.

— Вон чего надумали! На Амур!

— Надумали-то хорошо, да что толку? Помещик не позволяет: ему самому дешевые работники нужны.

— Чего его слушать?

— Мужики говорят: «Съезди к губернатору, за нас похлопочи». Не знаю, ездил он или не ездил, но только объявил, что губернатор тоже отказал. Крестьян сомнение взяло: «Напиши, говорят, на бумаге, что губернатор отказал и по какой причине, а мы дальше хлопотать будем, пока до самого царя не доберемся». Помещик и этого сделать не хочет. Тогда собрался народ с трех деревень, никак с полтысячи, встал перед господским домом и решил ждать, пока помещик согласится и бумагу подпишет.

— Смирные мужички!

— Они по-хорошему хотели. Никого не трогали, никому входить или выходить из помещичьего дома не препятствовали. Что у них — пистолеты какие? Разве что у дедов сучкастые палки имеются, с которыми они всегда ковыляют. А помещик испугался и сразу солдат вытребовал.

— Как ты думаешь, будут стрелять?

— Тут у одного солдата лошадь захромала, поотстал, так я у него все выпросил. Приказано, говорит, острием шашки не рубать, а бить плашмя по чему попало. Боевых патронов им выдано на каждого по пятнадцать штук. Но стрелять велели только в воздух, над головами, и то по команде. У нас, говорит, не кое-как, у нас с народом вежливое обхождение.

— Поедем! — предложил Котовский.

— В Трифанешты? Да они и нас зарубят!

А сам уже и коня подхлестывает. Видно, что и сам устремлялся туда.

Трифанешты, если лесочком проехать, — вот они, рукой подать. А эскадрон по дороге двигался. Поэтому Котовский и Леонтий в самый раз подоспели. Видят: у помещичьего дома толпа, а по деревне уже конные скачут. Толпе надо бы разбежаться, а она — непонятно почему — навстречу солдатам двинулась. Кавалеристы приняли это за дурной знак. Горнист сыграл атаку — и они понеслись на толпу полным карьером.

У Котовского кулаки сжались, на глаза навернулись слезы:

— Что же они, подлецы, делают? Ведь они н-народ потопчут. Нельзя этого допустить!

А те уже врезались. Крики, вопли оттуда доносятся, а «славное воинство» избивает шашками, топчет конями...

Леонтий еле удержал Котовского, тот уже готов был ринуться.

Толпа врассыпную! Конные преследуют бегущих, заскакивают в крестьянские дворы, гоняются по огородам, выгонам и бьют, бьют с остервенением, с дикой злобой, благо можно бить безнаказанно и даже заслужить благодарность. Некоторые мужики, спасаясь, бросились в реку и стояли по пояс в воде, но их и оттуда выволакивали и тоже били.

— Это что же т-такое делается! — шептал Котовский. — И чего м-мы стоим? Ударим, для них это будет н-неожиданно... Эх, оружия нет. Открыть бы огонь! Ладно же! Пусть погуляют! Пусть потешатся! Это вперед наука, разве так н-надо бунтовать!

Леонтий взглянул на своего спутника. Котовский был бледен, весь дрожал.

— Тоже, — бормотал он, — бунтуются! С палками! Н-нет уж... если на то пошло...

В это время один кавалерист догнал возле ворот молодого парня и только замахнулся на него, как парень схватил очутившиеся под рукой вилы и всадил их в ногу солдата.

— Молодец, не растерялся, — проговорил Котовский, глядя на эту короткую схватку. — Хоть один осмелился дать отпор!

Лошадь шарахнулась в сторону. Кавалерист, расвирепев, выхватил шашку и бил молодого парня по голове, по плечам до тех пор, пока парень не свалился на землю.

— Дорого ему стоило, — сказал Леонтий.

— Что ж. Война не обходится без жертв. А уж парня, если еще не убили, то, наверное, сгноят в остроге!

Между тем в деревне сгоняли народ на площадь. Подоспевший исправник собирался держать речь. Котовский и Леонтий подъехали ближе, чтобы было слышно.

— Эй, вы! — закричал исправник, искоса поглядывая на командира эскадрона и ища у него одобрения. — Бараньи головы! Тридцатая вера!

Кавалеристы, видя улыбку на лице командира, приняли это за команду, по их рядам прошел смешок: здорово он честит, этот исправник! Хо-хо! И выдумает же такие названия!

— Бунтовать?! — кричал исправник, помахивая плеткой. — И старики туда же ударились?!

Тут старики на колени бухнулись:

— Прости, батюшка... Ошиблись малость... Нечистый попутал... Нужда заела... Да разве мы не понимаем, мы же по-хорошему, где нам, чтобы насупротив...

— Молчать! — рявкнул исправник и в наступившей тишине долго кричал на мужиков.

А тем временем побитых да потоптанных в сторону отволокли, кровь на дороге засыпали... И все приходило в порядок. Оставалось только написать донесение по инстанции — и крышка.

— Поедем, — предложил Котовский, — невыносимо на это смотреть...

Молча ехали, а пока ехали, много о чем передумали.

Наутро все население «Валя-Карбунэ» высыпало на дорогу посмотреть, как ведут арестованных.

— Это, наверно, самые главные, — рассуждал повар, в белоснежном колпаке, с засученными рукавами, с огромным ножом в руке, но очень добродушно настроенный.

— А по-моему, чего зря водить, — суетился приказчик, человек с бегающими беспокойными глазами и носом, свидетельствующим о том, что его обладатель — большой любитель выпить. — Приканчивали бы здесь, на месте, вернее бы было.

— Изверги! Изверги! — приговаривала к каждому слову ключница Дарья Фоминична, неизвестно кого имея в виду, карателей или бунтовщиков.

— Ведут! — сообщили босоногие мальчишки, мчась по дороге и выбивая заскорузлыми пятками брызги.

Из-за поворота дороги показалось печальное шествие. Впереди ехал невыспавшийся, с зеленым, помятым лицом кавалерийский офицер. Он после экзекуции всю ночь напролет играл в карты в помещичьем доме, причем неизменно при сдаче прикладывался к рюмочке, и теперь чувствовал себя отвратительно. Кроме того, он не любил медленной езды.

— Тащись из-за них, как на похоронах! — ворчал он.

Однако, проезжая мимо усадьбы Скоповского, приосанился и даже прикрикнул на солдат для порядка службы.

Четырнадцать арестованных «зачинщиков» шли по дороге пешком. Некоторые еле двигались после побоев. Парень, тот самый, что защищался вилами, шел с перебинтованной головой, со связанными за спиной руками.

Троих везли на подводе, и, кажется, со слабой надеждой довести живыми. Седой старик тоже сидел на телеге и непрерывно кашлял. Прокашлявшись, он говорил, как бы извиняясь, что производит такой шум:

— Скажи, пожалуйста! Все нутро отбили!..

Впереди, позади и с боков арестованных шагали спешенные кавалеристы. Они шли с шашками наголо и перепрыгивали через лужи.

Дальше следовал эскадрон. В Трифанештах оставили только взвод для наведения порядка.

Котовский встретил эту процессию в поле. Он долго смотрел вслед. Давно уже скрылся эскадрон, и затих цокот копыт, и не стало слышно команды офицера. А Котовский все стоял. Он хотел разобраться во всем сумбуре мыслей, которые нахлынули на него в эти дни. Он снял шапку перед этими четырнадцатью крестьянами, идущими на страдание. И все еще стоял так, с непокрытой головой, не замечая холодного порывистого ветра и водяной пыли, с утра падавшей на разбухшую, хлюпающую землю.

3

Если вначале Скоповский был доволен сильным, смышленным, распорядительным практикантом и даже назначил его управляющим, то в дальнейшем он все больше разочаровывался в нем.

То Скоповскому доносили, что управляющий по собственному усмотрению отпустил крестьянина с полевой работы только потому, что, видите ли, у того жена рождает. Подумаешь — телячьи нежности! И еще вывел этому бездельнику за полный рабочий день!

То разговоры какие-то неуместные. О бесправии, о бедственном положении крестьян, о безземелье. Иди да выдели мужикам десятин по пять, если такой богатый!

Вдруг Скоповский узнал, что новый управляющий читает какие-то книжки. Что за книжки? Откуда книжки? И зачем, спрашивается, управляющему читать?

Наконец, Скоповский совсем уже был взбешен, когда исправник Денис Матвеевич, направляясь в Трифанешты, мимоездом заглянул к нему и совершенно секретно сообщил, что его управляющий находится под негласным надзором полиции.

— Я давно вижу, какого полета эта птица! — негодовал Александр Станиславович. — Ладно же, отблагодарю я господина директора, что подсунул мне такое сокровище!

И вот, когда Котовский, вернувшись в имение, после того как мимо провели арестованных трифанештинских крестьян, стал с возмущением рассказывать об избиении беззащитной толпы войсковой частью, предназначенной, казалось бы, для защиты отечества, а не для того, чтобы расправляться со стариками, Скоповский не выдержал и высказал все управляющему, чтобы поставить его на место:

— Вот что, милейший, так дело не пойдет. Предупреждаю, что у меня не Трифанешты, да-алеко не Трифанешты! У меня не побунтуешь! А ваше поведение, давно хочу вам сказать, ни к черту не годится. Вы у меня совершенно распустили мужиков. Вы это кончайте. Довольно.

— Простите, я не совсем понимаю, что вы хотите сказать.

— Я вижу, вы вообще многого недопонимаете.

— Напротив, с каждым днем все больше начинаю разбираться.

— Что-о?

— Я говорю, что не я, а вы многого недопонимаете. Так обращаться с крестьянами, как вы себе позволяете, это сошло бы еще в прошлом веке. Не те времена, господин Скоповский! Не ошибитесь.

— Вы слышите? Он еще меня учит! А я сам и не собираюсь «обращаться с крестьянами», позвольте поставить вас в известность. Для этого занятия я нанял вас. И я именно хочу дать вам указания, чтобы вы перестали миндальничать. Пороть лодырей! Пороть смутьянов! Нечего на них глядеть!

— Попробуйте!

— Попробую!

— Добьетесь, что они вам красного петуха пустят.

— Подождут? Это мы увидим. А пока вот вам три фамилии. Я узнал, что они не являются на работы. Завтра же выпороть. Имейте в виду, я проверю.

— Пока я здесь, никто и пальцем не тронет мужиков.

— Ах, вот вы какой?!

— Да, я такой.

— Значит, правильно меня предупреждали! — Глаза Скоповского все больше округлялись, шея багровела, голос его превратился в пронзительный визг.

Из внутренних покоев выплыла мадам Скоповская, обеспокоенная криками. Она увидела разъяренного супруга. Скоповский кричал и хлестал себя по голенищу сапога стеклом. Управляющий весьма дерзко отвечал, но о чем они спорили, понять было трудно.

Мадам Скоповская только было собралась вставить слово, попросить супруга не портить себе нервы, но в этот момент Скоповский завизжал:

— Крамольник! Это ты мужиков портишь! Я тебе покажу: «не имеете права»! Я тебя самого на конюшне выпорю!

И в полном иступлении Скоповский взмахнул стеклом... мадам Скоповская ахнула... и на лице управляющего отпечаталась яркая полоса от удара.

— Александр!.. — простонала мадам.

У нее было мягкое сердце, и она не выносила подобных сцен. Она придерживалась либеральной точки зрения и считала, что надо мужиков не пороть, надо их сажать в тюрьмы.

Только что намеревалась она высказать свое мнение и посочувствовать управляющему, как в это мгновение произошло нечто совершенно неподобное, трудно было даже поверить, что это действительно так и было.

Управляющий поднял ее супруга, так что тот успел только комически дрыгнуть ногами. Взмах — и Скоповский, как сказочная птица, мелькнув фалдами, вылетел в окно, высадив собственной тяжестью оконную раму, и исчез в образовавшемся отверстии.

Если бы она сама не видела этого, она ни за что не поверила бы, что живого человека можно вот так вышвырнуть, как какой-нибудь окурок или засохший букет цветов.

Скоповский благополучно пролетел по кривой от окна до земной поверхности и приземлился на клумбе с почерневшими от первых заморозков левкоями. Здесь он поднял крик, хромая и отряхивая с брюк свежую землю и раздавленные бутоны. Он кричал, что его убили, что он искалечен и что «он этого не потерпит»...

Сбежалась дворня, и, хотя Котовский отчаянно отбивался, слуги взяли численностью, навалились и били, стараясь своим усердием понравиться хозяину. Только значительно позднее кучер удосужился спросить:

— Что же он наделал, мазурик? За что мы его?

И к полному удивлению мадам Скоповской, которая вообще медленно соображала, ее супруг крикнул:

— Мошенник! Он... это... он меня обокрал! Что?

Собственно, почему обокрал? Когда обокрал? Он что-то не то выговорил. Но не рассказывать же всем, как его, известного помещика и дворянина, вышвырнули в окно на левкой.

— Да, да! Деньги! Вяжите его!

И подумав немного:

— Точно! Семьсот рублей, вырученные за продажу свиней! Что?

— Шуренька, а как же ты говорил, что эти деньги...

— Молчи, коли бог ума не дал! Не лезь, куда не спрашивают! Раз говорю, украл — значит, украл! Доставить его, живого или мертвого, к Денису Матвеевичу, к исправнику! Что? Или еще лучше — связать и выбросить в поле, как мусор! Пускай подохнет! Небольшая потеря!

Садовник, который видел странный полет барина из окна, еле сдерживал улыбку. Впоследствии он рассказал о происшествии своему шурину, шурин рассказал друзьям... И пошел гулять по свету забавный рассказ о помещике, вышвырнутом из окна собственного дома.

Пока Котовского связывали по рукам и ногам, выполняя приказ барина, пока волокли к телеге, всё продолжали бить. Подскочил Скоповский:

— Пустите, я сам!

И тоже ударил связанного. Вошел во вкус и стал наносить удары.

Когда Котовский очнулся, его тащили с телеги. Где-то далеко видны были огни. Небо было звездное. Подернутая инеем земля блестела голубыми искрами.

— Что ж ты делаешь? — сказал Котовский приказчику, который распорядился, покрикивая: «Тяни, берись за ногу!» — Ведь я замерзну в одном белье! Развяжи меня!

— Нельзя, — ответил приказчик, — барин приказал бросить связанного. Мне-то что, но раз приказано — значит, и говорить нечего.

— Эх ты! Холуй!.. — пробормотал Котовский.

Он окончательно очнулся. Чувствовал, как холод пронизывает тело. Погромыхивала, удаляясь, телега. Они о чем-то разговаривали — приказчик и кучер — спокойно, как будто возвращались с базара...

— Н-но-о! — мирно понукал кучер.

Потом стало совсем тихо.

«Долго не выдержать», — подумал Котовский.

Попробовал освободить руки — веревка больно врезалась. У приказчика был большой опыт: ведь он постоянно завязывал и упаковывал тюки.

«Нужно двигаться, самое главное, — приказал себе Котовский, — тогда я согреюсь».

До рассвета было еще далеко. Трудно надеяться, что кто-нибудь проедет мимо. Степь молчала. И только далеко где-то настойчиво кричал, видимо у семафора, паровоз.

Сколько прошло времени? Два часа? Или четыре? По-видимому, Котовский опять терял сознание.

И вдруг он услышал громкий голос:

— Вон он где! Всю степь обшарил! Говорят, бросили возле станции, а где возле станции? Небось руки-то занемели?

Это был Леонтий. Вот она — дружба!

Развязал. Синюю домотканую куртку на плечи накиннул.

— Ну, дорогой, теперь тебе тикать надо отсюда. В город отправляйся. Скоповский — серьезный господин, он очень просто и пристрелить может, если увидит.

— Пристрелить — это положим...

— Почему бы нет? Скажет: потрапу делал, лес пришел рубить. У них ведь как? Судьи

свои, полиция своя. За нас только один бог...

Леонтий подумал и, хитро подмигнув, добавил:

— А может быть, и бог-то... тово... тоже в ихней компании? Тоже переметнулся?

Он покрутил головой:

— Пожалуй, так оно и есть. Одна шайка-лейка.

4

Было отвратительное, промозглое утро, а тротуары скользки и липки, когда Котовский добрался наконец до Кишинева и зашагал по хмурой, заспанной улице.

Тело ныло. Была тупая боль в груди и пояснице.

«Должно быть, помещик Скоповский знает анатомию, — думал Котовский с некоторой досадой, — он бил по самым чувствительным местам, не так, как другие».

По улицам шли женщины с сумками, с корзинами, направляясь вниз по Армянской улице, очевидно, на рынок. Сейчас они купят какой-нибудь провизии, вернутся домой и приготовят завтрак...

Котовский при мысли о еде почувствовал, что очень голоден. А судя по тому, как от него шарахались прохожие, понял, что вид у него ужасный.

Он шел, но, собственно, и сам не знал, куда направлялся. Одно он твердо решил: в Ганчешты не поедет. Обе сестры вышли замуж. Зачем им портить семейную жизнь?

Котовский шагал по мокрым тротуарам и перебирал в памяти людей, которых в этом городе знал. Он не раз приезжал с поручениями из имения. Но все те, с кем он имел дело по продаже сена или покупке инвентаря, не приняли бы его.

И вдруг вспомнил: переплетчик Иван Маркелов, которому он давал переплести конторские книги! И живет рядом, около рынка, и человек простой, наверное, приютит на первое время.

Быстро миновал Котовский богатую часть города, где пестрели занавесками и комнатными цветами на окнах кирпичные одноэтажные дома. Начищенные медные дощечки на парадной двери извещали, кто проживает в доме: присяжный ли поверенный Зац, или купец Аввакумов, или зубной врач Любомирский...

Вот и кончились эти богатые кварталы, а дальше вдоль улицы пошли лепиться глиняные хибарки, вросшие в землю, с грязными дворами, с незакрывающимися калитками. Вот и дом № 48, кажется, самый неказистый в этом скопище убогих домишек.

Котовский постучал. Открыла ему бледная, в лице ни кровинки, женщина, безучастно посмотрела, спросила:

— Вам что, наверное, Ивана Павловича? Он спит.

Но Иван Павлович, переплетчик, сразу же проснулся, узнал Котовского, спросил, не заказ ли он принес, и сказал разочарованно:

— Значит, заказа не принес? А то я как раз свободен... Мы, брат, бастуем. Третий день.

— И голодаем столько же, — добавила жена Ивана Павловича.

Тут Иван Павлович встал и, оглядывая Котовского с ног до головы, нахмурился:

— Да ты, кажется, сам-то тово... на новом положении?

Котовский рассказал, как он расстался со Скоповским, как чуть не замерз, связанный и избитый, в степи, как спас его от смерти один хороший человек.

— Понятно, — в раздумье произнес Иван Павлович. — А я спросонок ничего не разобрал и к тебе с заказом...

— Ну, и как же вы бастуете? — спросил Котовский.

Он не любил распространяться о своих бедах и вообще не любил долго говорить о себе.

— В Кишиневе восемь переплетных мастерских, — рассказывал Иван Павлович, усадив за стол пришельца, — в них работают двадцать шесть взрослых и четырнадцать мальчиков. Работаем по восемнадцать часов в сутки, а получаем по двенадцать рублей в месяц — никак не прожить. Вот мы и надумали бастовать. Сейчас время горячее, подоспели

заказы, может быть, чего добьемся.

— А чего вы добиваетесь?

— Чтобы работать по-человечески, ну хотя бы двенадцать часов в сутки, и чтобы повысили заработок. А что голодаем третьи сутки — это она выдумывает, нам ведь немного-то комитет помогает.

— Комитет?

— Ну да, социал-демократы... Ты, Раиса, расшевели самоварчик-благоварчик, хоть чаем гостя побалуем, вот только хлеба-то у нас нет... Ты, что же, к себе в Ганчешты поедешь?

— Нет, в Ганчештах делать мне нечего. Как-нибудь здесь.

Маркелов помолчал, подумал, несколько раз произнес: «Так-так-так... Так-так-так...» — затем засуетился, пробормотал: «Ты ничего, сиди, сиди тут, я в минуту!» Выскочил в дверь, нахлобучив на голову старенький картузишко, и вскоре появился с хлебом: купил на рынке, и мало того принес еще и кусок колбасы.

Котовский старался не смотреть на эти соблазнительные предметы, которые хозяин дома положил на тарелки и стал резать на куски.

— Вот какие дела, — продолжал Маркелов, — шорники тоже бастуют, а завтра не выйдут на работу токаря. Да вот почитай, тут все написано. Раиса, как у тебя там самовар? Шуруй, шуруй его!

Иван Павлович извлек из-под рубахи аккуратно завернутую в переплетную бумагу газету.

— «Искра», — прочитал он и гордо добавил: — Здесь, в Кишиневе, напечатана! Ленинская!

Но быстро спрятал газету обратно, потому что кто-то шаркал у двери ногами.

Вошел мужчина в ситцевой в горошинку рубашке, с небольшой русой бородкой, росшей почему-то немного вбок. Он был в очень возбужденном состоянии. Покосился на Котовского, как бы взвешивая, опасаться ли постороннего человека, и, не сказав даже «здравствуйте», закричал:

— Продали! Продали нас, собаки!

— Садись, Василий, да говори толком. Какая польза от крику? Кто продал? И если продал — почему?

— Хозяин продал. Идельман. Набрал к себе новых рабочих. «А вы, говорит, бунтовщики-забастовщики, можете убираться на все четыре стороны, вы мне не нужны».

— Как так не нужны?

— Очень просто.

— Здорово!

Иван Павлович как нарезал хлеб, так и сел с ножом в руках на табурет, сел и молчит, ошеломило его известие. Молчит и оглядывается на жену: слышала или не слышала? Зачем раньше времени ее огорчать?

— Ты тут питайся, — сказал Маркелов гостю. — Ешь все, ничего не оставляй. Чай пей. Сахару у нас нет, но ничего, можно и без сахару. И ночевать оставайся, место найдется. Пошли, Василий. Надо немедля в стачечный комитет. Не нужны! Как это так не нужны? Как это так на все четыре стороны?

Котовский совестился есть. Люди сами голодают, а впереди их ждут еще более горькие дни. Жена Маркелова приготовила чай, поставила на стол чашку.

— Кушайте, — сказала она.

Голос у нее был отсутствующий. Говорила, а сама не думала, что говорит.

— Давайте вместе, хозяйюшка, перекусим... Что ж я один?

— Я после, обо мне не беспокойся, батюшка.

Котовский поел немного. Выпил чашку горячего чая. Чай был не то морковный, не то фруктовый. Котовский никогда не пробовал такого, но чай понравился.

— С таким чаем никакого сахару не надо, — сказал он, прихлебывая с блюдечка.

Женщина ничего не ответила. Она сидела на лавке, опустив костлявые, жилистые руки. Она смотрела в окно.

Начались мытарства, поиски работы, поиски пищи. Иной раз удавалось найти случайный заработок. Котовский не отказывался ни от какой работы. Заработав, покупал хлеб, мясо и нес это к Маркеловым.

Маркелов все еще не мог найти работу. Бедствовали они ужасно. Проданы были все вещи, какие только можно было продать. Один раз Раиса получила заработок: ей дали в стирку белье. В другой раз оба — Маркелов и Котовский — работали два дня на железной дороге, грузили шлак.

И вдруг пришла удача: встретил на улице Кишинева старую знакомую ганчештинскую учительницу, которая учила когда-то Котовского играть на гитаре. Она расспросила Котовского обо всем, слушала, покачивала сокрушенно головой:

— Нет чтобы к старым друзьям заглянуть... Пойдите, кажется, я смогу вам помочь...

И действительно помогла: порекомендовала своего ученика помещику Семиградову.

Семиградов, маленький, круглый, с животиком, веселый, с мясистым подбородком, сочными губами и смеющимися глазками, встретил Котовского хорошо. Да, да, ему нужен опытный садовник. Они быстро договорились об условиях.

— Я очень люблю розы, — говорил Семиградов, — пожалуйста, сделайте так, чтобы в комнатах всегда были букеты роз.

Была весна. Все зеленело, все расцветало, все набирало цвет. Белые акации наполняли воздух сладким, медовым благоуханием. Котовский с увлечением возился на клумбах, поливал, подрезал, пересаживал розы, ремонтировал парники.

В первую же получку он отнес половину заработка переплетчику. Тот долго отказывался, но все-таки взял.

Когда Котовский вернулся от него и, сняв пиджак, взялся за лейку, он обратил внимание на какое-то шуршание в кармане.

«Уж не положил ли Иван Павлович деньги обратно?»

Но это оказалась листовка. Котовский пошел в самую отдаленную аллею сада и там прочитал:

«Тяжела наша доля, невыносима жизнь. Слабыми, хилыми детьми вошли мы в мастерские, с малых лет взвалили на наши плечи тяжелую ношу непрерывного труда. Душная мастерская, изнурительная работа с утра до ночи, нищенская заработная плата, грубые оскорбления хозяев, вонючий угол, тяжкие муки и постоянные страдания — такова ужасная картина нашей жизни...»

Григорий Иванович еще раз прочел небольшой листок, напечатанный на газетной бумаге.

«Тут еще не все сказано, — подумал он. — Написать бы, как обращается Скоповский со своими батраками или как избивали они всей лакейской сворой связанного, беспомощного человека, виновного только в том, что не пресмыкается перед баринном и жалеет бедняков».

Он стоял среди густых высоких кустов, скрывавших его от всего мира, и думал о судьбах человечества: «Неужели никогда не настанет такое время, чтобы не было голодных, чтобы всем хватало работы и еды?»

Сад благоухал. Цвели розы — темно-красные, нежно-розовые, белые, чайные — самых разнообразных оттенков. Как бы хорошо и нарядно мог жить человек!

Совсем рядом с аллеей сада, за сквозной проволочной сеткой, находился просторный помещичий двор, с амбарами, погребами, конюшнями, со столбом гигантских шагов и качелями посередине. До слуха Котовского донеслось тарахтение пролетки. Кто-то приехал.

«Опять будут всю ночь играть в карты», — подумал Котовский и тут же вспомнил, что жара уже спала и можно начинать поливку газонов, клумб и парников.

— А! Гость дорогой! Милости просим! — услышал Котовский голос Семиградова.

И в ответ — голос приезжего, показавшийся Котопскому знакомым.

Котовский не ошибся. Это приехал Скоповский. Садовник решил, что лучше не

показываться ему на глаза.

Медленно угасал день. Вот засветились окна в помещицьем доме. Там накрывали ужин. На столе среди бутылок и графинов, среди судков с соусами и всевозможных закусок стояли огромные букеты роз.

— Не могу пожаловаться, — тараторил без умолку Семиградов, — новый садовник попался мне толковый. И даже, кажется, не пьет! Можете себе представить?

— А я опять без управляющего, — пожаловался Скоповский, — выгнал этого Котовского: оказывается, политикан, состоит под надзором полиции...

— Позвольте... как вы сказали? Котовский? Так он ко мне и поступил на работу.

— Что-о? К вам? На работу? Гоните его в шею, пока он не испортил вам всю прислугу!

— Скажите на милость! А такой приличный на вид. И толк в садоводстве понимает...

— Гоните! И не откладываете! Завтра же вон! Эта публика на все способна.

— Конечно, выгоню. Спасибо, что предупредили. Разрешите муската? Преотличнейший!

И снова Котовский оказался на улице. Правда, на этот раз его не избили, не бросили связанного на дороге, и у него была небольшая сумма, на которую он мог некоторое время перебиваться.

Опять пришел он к Ивану Павловичу. Там встретили его как родного, даже у Раисы появилось подобие улыбки.

— Выгнали? Чего же удивляться? Это в порядке вещей. А я вновь переплетчиком поступаю. Повезло. Мало нас, а то бы мы им показали! Какая у нас тут промышленность? В мастерских по десять — пятнадцать человек. Ничего, Григорий! Правда ведь, ничего?

— Не ничего, а будет правда! Должна она быть! Пусть они нас хоть на кусочки полосуют, будем стоять на своем. За правду-то и мучения переносить радостно.

— Ого! Как он заговорил! Садись-ка за стол, Раиса сегодня еду какую-то приготовила.

Иван Павлович наклонился ближе и скороговоркой сообщил:

— Сегодня ночью полиция в тайную типографию ворвалась... Все арестованы... Добрались, собаки! Говорят, возами возили литературу. Бумаги-то мы им поставляли достаточно...

«Хорошо переносить безработицу в летнее время, — думал Котовский, блуждая по Кишиневу в поисках хоть какого-нибудь заработка. — В летнее время на одних фруктах просуществовать можно».

Иногда удавалось ему помогать снимать урожай яблок. Веселая, приятная работа! И уж в эти-то дни он был сыт по горло.

А потом начался «месяц ковша», как называют молдаване октябрь за то, что в этот месяц виноградного вина много и пьют его, черпая ковшом.

Кончился «месяц ковша». Все чаще стали перепадать дожди.

5

В один из пасмурных дней Котовского остановили на улице:

— Ваши документы.

Котовский понял, что за ним следили. Непонятно было только, за что сажали его в тюрьму. Кажется, и сами тюремщики этого не понимали.

Российские тюрьмы неприглядны. Облезлые фасады наводят тоску. Полосатые будки, толстые стены, покрытые лишаями сырости, грязные дворы и зловонные камеры... И словно выставленные на позор, на поругание — часовые по углам, в неказистых вышках. Особенно омерзительны пересыльные тюрьмы, и трудно сказать, которая хуже: питерские ли «Кресты» с их железными галереями и металлическими сетками в пролетах лестниц, чтобы нельзя было броситься вниз и покончить самоубийством, или захудалая вологодская, или иркутская тюрьма, с грязными, залежанными нарами...

Не таким казалось это учреждение в Кишиневе. Построенное в мавританском стиле,

оно походило издали на волшебный замок, с его зубчатыми башнями, круглыми цитаделями.

Так могло казаться издали. А на самом деле Кишиневская тюрьма ничем не отличалась от других. Об этом хорошо знали ее обитатели. Узнал и Котовский.

В ней были такие же сырые, с тяжелым, затхлым воздухом камеры, такие же гулкие коридоры, по которым бродили тюремные надзиратели с массивными связками ключей.

Когда человек оказывается в тюрьме неповинно, не совершив ни убийств, ни ограблений, то он сам становится судьей своих тюремщиков. Он внимательно и строго рассматривает их, вооруженных, но имеющих дело с безоружными, привычных к созерцанию страданий, но с годами теряющих душевный покой, шелкающих кандалами, но и прикованных по долгу службы к этим ржавым решеткам на всю свою беспросветную опоганенную жизнь.

В тюрьме Котовский познакомился со странной породой людей. Это были те, кто в газетах именуется «подонки общества». Страшные физиономии увидел Котовский: холодные, гадючьи глаза; лица, измотанные морфием, или, на воровском жаргоне, «марфушей».

Тут был знаменитый Володя Солнышко, который еще никому не проиграл ни одной партии в карты — в стос, в буру. Игравшие с ним в карты (и, разумеется, проигравшиеся до нитки) с гордостью рассказывали: «Я играл с самим Володей Солнышко». Уже одно это могло поднять авторитет.

Его побаивались даже тюремщики. Кое-кто получал от него «лапу». А вообще каждый мог получить удар ножом. Володя Солнышко не промахивался и бил прямо в сердце.

Проигравшие с себя все до нитки сидели тут же, голые, озябшие, синие, и с завистью поглядывали на игроков. Карты были самодельные и не совсем похожие на обычные. Их печатали вырезанными ножом трафаретами, и очень быстро. Но не дай бог сделать ставку, проиграть — и не уплатить! Такие назывались «заигранными». По воровскому закону им полагалась смерть. Был один выход — поставить на кон голову начальника тюрьмы или корпусного надзирателя.

Из-за этого в тюрьме преследовались карты. Вот уже в который раз, проследив в волчок, что игра идет полным ходом, надзиратели врывались в камеру и производили поголовный «шмон», то есть обыск среди арестантов. Колода карт исчезала бесследно.

Наконец вызван был специалист по обыскам Каин, про которого говорили, что он найдет даже то, чего не было. Он был косолап, ходил как-то боком, был изъеден оспой, пропитан спиртом, как какой-нибудь музейный препарат.

— Ого-го! Каин пришел! — встретили его уголовники. — Ну, теперь будет дело!

Однако и Каин ничего не нашел. Как будто и спрятать карты негде... И камера-то небольшая, с голыми каменными стенами... И вещей немного у арестантской братии...

Явился сам начальник тюрьмы, тучный, с одышкой. Сонными глазами смотрел на арестантов и о чем-то думал.

Каин еще раз обшарил все углы, заставил всех открывать рот, раздел наголо. Карт не обнаружили.

— Вот что, деточки, — сказал начальник тюрьмы, — ваша взяла, всё, молодчики. И я обещаю больше не беспокоить вас, только раскройте мне секрет, где же вы их, черт вас возьми, прячете!

Воры посовещались, заставили начальника тюрьмы повторить свое заверение, что даст им безнаказанно играть в карты, и затем объяснили:

— Когда входят надзиратели в камеру, мы сразу же суем карты самому корпусному в карман. А когда кончается обыск, мы забираем карты обратно. Вот и вся хитрость. Ничего мудреного.

И снова арестанты играли в карты, ссорились, пели воровские песни. В песнях прославлялись худые дела, на жаргоне упоминались какие-то «гамзы», «марухи» и звучала тюремная тоска:

Дорога дальняя... Тюрьма центральная...
И мы конвойными окружены...
Опять по пятницам пойдут свидания
И слезы горькие моей жены!..

Котовский оказался в компании «изящных» воров, неразговорчивых убийц и отпетой шпаны, презирающей себя, бога и человечество.

В женской камере молоденькая воровка Женька показывала свое воровское искусство. Она предлагала желающим положить возле себя любой предмет, что не жалко. Вся камера следила за каждым ее движением. Глаз не спускали. Женька проходила мимо — и выложенный на самом виду, оберегаемый всеми присутствующими предмет — рублевка, или кусок мыла, или носовой платок бесследно исчезал. Как она это делала — уму непостижимо. Женьку хвалили, восхищались ее ловкостью и проворством:

— Это я понимаю! Чистая работа!

Быть ловким, уметь отнять у другого... Об этом мечтали с одинаковым упорством и воровка Женька и помещик Скоповский. Только у каждого были свои приемы.

«Стыдно жить, — думал Котовский, — пока Женька вызывает восторг, а Скоповский — всеобщее уважение».

Однажды во время прогулки Котовского окликнул незнакомый человек, пожилой, в очках, с остренькой светло-русой бородкой:

— Коллега! Вы за что сидите?

— На этот раз ни за что, — ответил Котовский, — но в следующий раз посадят за дело.

Незнакомец назвал себя просто товарищем Андреем. Оказывается, он человек бывалый, много раз попадал в тюрьмы, сживал и в Таганке, в Москве, и в Иркутске, в Александровском центре, и в Питере, на Шпалерке, и где только не сидел он за свою жизнь! Даже в Парижской тюрьме молчания!

— Я работал в подпольной типографии, — сообщил товарищ Андрей.

— Слыхал! — ответил Котовский и весело добавил: — Кажется, чуть ли не семнадцать пудов литературы полиция вывезла?

Котовский знал от Ивана Павловича, что в Кишиневе была подпольная типография ленинской газеты «Искра». Типография помещалась в маленьком домике, на углу Армянской и Подольской улиц. Знал Котовский и некоторые подробности разгрома типографии.

— Когда полиция нас накрыла, — рассказывал новый знакомый Котовского, — мы печатали статью Ленина. Статья эта полиции явно пришлась не по вкусу. А я нахожу, что это была превосходная статья!

Месяц продержали Котовского в тюрьме.

Прокурор, к которому поступило дело арестованного Котовского, тонко улыбаясь, сказал:

— Дела тут явно никакого. Но и не посадить голубчика было бы просто неудобно. Донос подписан такими почтенными лицами, нельзя было не уважить их просьбы. Сам господин Скоповский дает пространное описание преступной деятельности его бывшего управляющего, а на поверку выходит, что тот жалел мужиков! Жалеть по нашим законам не возбраняется, даже в евангелии написано... гм... да. И Семиградов тоже подписал этот донос. Вы знаете, сколько лежит в банке у Семиградова? А от этого проходимца не убудет, если месяц просидел на казенных харчах. Даже нравоучительно. Ну, а теперь напишите распоряжение, чтобы его выпустили. Можно сформулировать так: «Ввиду отсутствия состава преступления...» Что? Вы думаете: слишком? Хорошо. Тогда мы напишем так: «Ввиду того что мотивы обвинения не подтвердились...» Что там у нас еще есть новенького? Ага! Подпольная типография! Вот это, я вам доложу, дельце! На таком дельце карьеру можно сделать! Тут меньше чем пятнадцатью годами Сибири они не отделаются!

Прокурор щелкнул отличным серебряным портсигаром, с выгравированной на нем красавицей, закурил и с явным удовольствием стал перелистывать толстую папку аккуратно

подшитых документов.

Котовского выпустили. Одновременно с ним покидала здание тюрьмы воровка Женька, она — «за недоказанностью преступления».

— А ты что? — спросила она Котовского, когда они вышли за тюремные ворота. — В отрицаловку шел? Молодчик! Самое главное — характер! Факт!

6

Котовский побывал в Ганчештах, но дом свой родной сторонкой обошел. Не нравился ему муж Софьи, манукбеевский прихвостень, и не хотел нарушать их покоя. А к учительнице Анне Андреевне заглянул.

— Можете меня ругать: у Семиградова я больше не работаю.

— Что так? Характерами не сошлись?

Котовский рассказал о приезде Скоповского, о том, что находится под надзором полиции и вполне естественно, что ему везде будет трудно удержаться. Рассказал, что его месяц продержали в тюрьме.

— Ну так вот, — выслушав его, тоном, не терпящим возражения, заявила Анна Андреевна, — прежде всего, вам нужно дать денег. Много не могу, а вот вам на первое время... Не возьмете — на всю жизнь обидите, покажете, что вы мелкий и самолюбивый человек. Это во-первых. Во-вторых, все равно подыщем вам работу. Вы с мужем сестры вашей, Софьи Ивановны, как? Ах, никак? Вполне вас понимаю. Значит, этот вариант отпадает, он мог бы вас устроить на работу, но не надо. В таком случае, я поговорю в лесничестве, не требуется ли им какой-нибудь работник. Ну вот. А теперь деловая часть закончена. Пироги с яблоками любите? Но сначала будет борщ по-украински!

— Анна Андреевна! Вы просто чародей! Вы — настоящая контора по устройству безработных. Представьте, меня приняли лесным объездчиком в селе Молешты. Работой я очень доволен и бесконечно благодарен вам за хлопоты.

Это сообщил Котовский своей бывшей учительнице в скором времени, заехав к ней уже верхом на коне и даже привезя ей в подарок живого зайчонка, которого поймал прямо руками, найдя его в колее дороги.

Анна Андреевна шумно радовалась удаче, уверяла, что «это — карьера», что в лесу работать приятно и полезно для здоровья.

— Я изучил в этих краях каждую тропинку и могу с закрытыми глазами добраться до любого селения. И надо сказать — красивейшая местность! Я почему-то думаю, что красивее нет на земле... Так мне нравится все: и молдавское солнце и молдавское небо... А как шумят деревья, послушали бы вы! Ведь мне часто приходится и ночью ездить по лесным дорогам... А какие рассветы бывают! Какой гомон поднимают птицы! И какой у нас хороший, приветливый народ... И какие песни поют в Молдавии!..

Вместо ответа Анна Андреевна тихо пропела:

Лист зеленый, куст терновый,
Правды нет у нас в Молдове...

Они сидели перед открытыми окнами. Было время самой широкой распутицы. Грязь стояла невылазная. Посреди дороги еще можно было с грехом пополам проехать, а по обочинам, в глубоких канавах, либо стояла зеленая вода, либо с грохотом и ревом неслись мутные потоки.

— Смотрите! — воскликнул Григорий Иванович. — Неужели это дядька Антон?

— Теперь уже не дядька, а дедка. Старый он стал.

— И надо же ему непременно в такую грязь с возом тащиться! досадовал Григорий Иванович.

Кляча деда Антона тянула воз, а сам дед шагал рядом, то и дело проваливаясь и

непрерывно понукая свою кобылу.

Вдруг, откуда ни возьмись, вымахнула навстречу пара сытых рысаков серых, в яблоках. Котовский так и ахнул. Ярко, отчетливо вспомнилось детство.

— Как? — вскрикнул он. — Разве Манук-бей вернулся?

— Нет, Манук-бей не вернулся. Это лошади ганчештинского купца Гершковича.

Серые кони в яблоках мчали прямо на клячонку деда Антона. Кучер крикнул:

— Э-гей!

Дед Антон засуетился, зачмокал, свернул в канаву. Воз накренился и свалился в воду, а серые кони промчались мимо, и кучер так, для забавы, вытянул кнутом вдоль костлявого хребта Антоновой клячи. Сидевший в коляске купец Гершкович затрясся от сытого утробного смеха, явно довольный этой проделкой лихого кучера.

Вся сцена, запомнившаяся с детских лет, повторилась в точности. Котовский выскочил из-за стола, выбежал на улицу, помог деду Антону вытащить воз из канавы и собрать рассыпавшиеся жерди.

Когда он вернулся, Анна Андреевна посмотрела на него, ласково улыбаясь:

— Это хорошо, что вы добрый. Обязательно надо жалеть людей. А чай у вас остыл, давайте я налью новый.

Анна Андреевна рассказала, как Гершкович сначала открыл мелочную лавочку, в которой продавалось подсолнечное масло, керосин, свечи и пряники. Попутно он покупал у разорившихся крестьян то лошаденку, то овцу... и еще какие-то темные дела обделывал. Говорят, скупал краденое, хранил контрабанду... А потом вдруг открыл второй такой же магазин в городе, потом купил два дома...

— Сейчас у нас в Ганчештах два богатея: он да главный управляющий винокуренного завода князя Манук-бея Артем Назаров. Тоже паук. И как они ловко свои дела обстрипывают! Диву даешься!

До самого вечера просидел у Анны Андреевны Котовский и все спрашивал:

— Я вас не стесняю? Вам не будет неприятностей, что принимаете у себя подозревательную личность? Как-никак, а сидел в тюрьме!

Анна Андреевна махала на него руками и обижалась, что он спрашивает ее о таких вещах.

Вечером Котовский попросил:

— Тут недалеко... вы не пойдете, не спросите Софью... Может быть, она захочет меня повидать, так пусть придет сюда... Как жаль, что Елена уехала — вот душа человек, очень мы с ней дружили. Софья — та из другого теста сделана, а все-таки хочется словечком с ней перекинуться...

— Да, да, конечно! — всполошилась Анна Андреевна.

Пока она ходила за Софьей, Котовский рассматривал картины на стенах. «Аленушка» Васнецова. Левитан. Скромная обстановка, но умеет Анна Андреевна скрасить свою жизнь. Вот и коврик висит собственной работы, и абажур на лампе красивый, и на окнах цветы. Комнатка небольшая, вроде как столовая, а за печкой уголок есть, там кровать стоит — спальня, вот и получается целая квартира.

Софья прибежала. Запыхалась, сразу метнулась к брату, обняла и заплакала.

«Значит, знает, — подумал Котовский, — и о тюрьме и обо всех моих мытарствах. Наверное, Анна Андреевна посвящает».

— Похудел-то как! — первое, что проговорила Софья.

— Да и ты что-то не полнеешь, — отшучивался Григорий Иванович. — Я думал: вот такая помещица стала!

— А! Что обо мне говорить! Ну, Анна Андреевна сообщила мне, что сейчас у тебя хорошее место. Держись уж за него. Дай-то бог, чтобы все устроилось.

— Елена пишет?

— Как уехала — словно в омут канула. Ни звука.

Больше ни о чем таком семейном не говорили. Немножко стесняло присутствие хоть и

хорошего, сердечного, но все-таки постороннего человека. Уселись за стол (в комнатке больше нигде было садиться) и стали перебирать ганчештинские новости. Григория Ивановича все интересовало. Он всех здесь знал и помнил.

— Как наша школьная сторожиха, которая нас все с огорода гоняла?

— Живет и здравствует.

— А этот... у кого мы грушу подпилили... Роман Афанасьевич?

— Знаю, знаю, о ком ты говоришь. Перебрался в Оргеев.

— А как дедушка, которого еще, помнишь, всё мальчишки дразнили?

— Никанор? Помер. Еще в прошлом году. Отмаялся.

— Ой! — вскочила вдруг Софья. — Мне еще ужин готовить, сейчас мой-то вернется с работы...

Они попрощались. Анна Андреевна их провожала, стоя на крыльце. И затем каждый направился в свою сторону. Софья стала осторожно пробираться по лужам, а Котовский исчез в сумерках — только слышно было некоторое время, как хлюпал по грязи его конь.

Котовский разъезжал по лесам и оврагам своего участка. Ночевал, где застанет ночь: или на сеновале, или даже в лесу. Загорел, поздоровел. Все лето прошло в этом счастливом отдыхе.

А затем, как и следовало ожидать, лесничий несколько смущенно заявил Котовскому, что больше в его услугах не нуждается. Он извинялся, оправдывался, наконец его честная натура не выдержала, и он сказал откровенно, что ему дали понять: лесной объездчик Котовский нежелателен.

— В чем там у вас дело, я не знаю, — сказал лесничий, — я далек от всякой политики... У меня семья... ну и приходится, знаете ли, считаться...

Жизнь готовила Котовскому новые испытания.

Скоповский опять строчил донос. Велика была злоба этого человека! Он задался целью во что бы то ни стало сгноить в тюрьме бывшего своего управляющего. Для своего замысла он привлек и Семиградова. Каких только небылиц не выдумывали они, усевшись вдвоем над листом бумаги!

Скоповского подогривала распространившаяся по всему городу история с этим злосчастным окном. Пустил этот слух садовник, случайно наблюдавший полет. А в городе, изнывавшем от скуки, шутники придумали массу забавных подробностей. Некоторые говорили, что Скоповский, выброшенный управляющим в окно, летел вниз головой, воткнулся в мягкую землю по плечи и его пришлось — понимаете? — выдергивать, как редьку из гряды! Наконец, уверяли, что никакого управляющего вообще не было, а была разъяренная супруга, и Скоповский сам выбросился в окно и попал не то в куст шиповника, не то просто в крапиву...

Скоповскому нельзя было появиться в обществе. Сразу на него показывали глазами: «Тот самый помещик», — и начинались перешептывания да смешки.

Скоповский и Семиградов ездили в жандармское управление, лично нанесли визит бессарабскому губернатору Харузину. И двадцать второго ноября 1903 года Котовский опять очутился в тюремной камере.

Снова загремели тюремные ворота, снова гулко прозвучали в темных тюремных коридорах тяжелые шаги, затем распахнулась дверь в камеру и снова за ним захлопнулась. В подслеповатое окошечко, прочно загороженное толстыми железными прутьями, почти не проникал свет. Затхлый воздух был неподвижен. Да, все здесь было устроено с таким расчетом, чтобы тот, кто попал сюда, медленно чахнул и гнил.

Но Котовский совсем не собирался чахнуть. Нет, он еще только начинает настоящему жить. Все, что прожито до сих пор, — подготовка. И ведь он не выполнил обещания! Еще в прошлом году, находясь в тюрьме, он сказал одному человеку, что следующий раз будет сидеть в тюрьме за дело. Где же это дело? Что может делать он, Котовский?

Котовский лежал на нарах и обстоятельно разрабатывал план действий. Он посвятит

всю свою жизнь борьбе с богачами, помещиками, правителями — со всеми, кто мучит и терзает бедняков.

Эти мысли были бесформенны, Котовский шел на ощупь, своим собственным опытом, своими побуждениями и чувствами. Он только осознал, что навсегда связывает судьбу с обездоленными. Он только понял, что будет бороться всеми средствами со сворой сытых, самодовольных, облеченных властью, со Скоповским и Семиградовым, с тем хозяйчиком, который выбросил на улицу Ивана Павловича, с купцом Гершковичем и всеми другими пауками-кровососами.

В этих мыслях незаметно прошло время. Как и в прошлый раз, Котовского вскоре выпустили.

Совершенно случайно, блуждая по городу, Котовский увидел приказ о мобилизации, наклеенный на заборе. Котовский вдруг остановился на цифре «1881»... Тысяча восемьсот восемьдесят один! Это и есть его год рождения! Значит, отсидев два раза в тюрьме, вдоволь наголодавшись и настрадавшись, — теперь он должен пойти защищать ненавистных ему правителей и проливать за них кровь в русско-японской войне? Не будет этого!

На следующий день Котовский приобрел на толкучке документы. Ну вот. Теперь у него другая фамилия и согласно документам непризывной возраст.

Через два дня в Киеве, по Крещатику, шагал плотный, рослый человек, по документам — Михаил Тарутин.

В Киеве было беспокойно. Всюду было много полицейских, с бляхой, с шашкой, которую в народе звали «селедкой», и с угрожающе громоздкой кобурой. Они расхаживали взад и вперед, в белых перчатках, усатые, вежливые... Для устрашения публики по улицам проезжали казаки. Женщины визжали, прохожие шарахались на тротуары.

Но вот появилась вдали и медленно проследовала к центру рабочая демонстрация. «Долой самодержавие!» — прочел Котовский-Тарутин на красном полотнище. Полиция куда-то исчезла. Рабочие шли посреди улицы. Кто-то запел «Варшавянку». Другие подхватили. В окнах домов мелькали испуганные лица обывателей.

Ночевал Котовский в ночлежке, с утра ходил в поисках работы, но всюду ему отвечали: «Своих-то увольняем».

Каждый день у него проверяли документы. Правительство то объявляло о решительных мерах, то отменяло их. Начались аресты.

Котовский ездил в Харьков, но и в Харькове была та же обстановка. Всюду волнения, всюду стачки...

Все явственней, все ощутительней испытывал Котовский тоску по родным местам. И хотя отлично понимал безрассудство поступка, все же не выдержал — вернулся в Бессарабию.

Кишинев после Киева и Харькова показался маленьким, грязным, приземистым. Но как вдохнул этот воздух, как глянул на свое родное небо так стало радостно на душе!

Но не долго он погулял. В январе 1905 года Котовского арестовал пристав. Пришлось назвать свою настоящую фамилию.

— Я скрываюсь от отбывания воинской повинности. Моя фамилия Котовский. Вам ясно?

— Очень даже ясно, — весело согласился пристав, красавец с нафабранными усами и набриолиненной головой. — А поскольку вы являетесь балтским мещанином, я вас туда и направлю для принятия надлежащих мер.

Пристава не интересовали убеждения, взгляды. Он исправно нес службу и полагал основой своей деятельности неукоснительность. Он послал запрос в Балту. Послал донесение по инстанции. Потом послал извещение о получении разъяснения и разъяснение по поводу извещения.

А Котовский тем временем находился в кутузке, при полиции. Кутузка, по-видимому, никогда не проветривалась, никогда не подметалась, в ее стенах были гнезда клопов, нары были отполированы боками часто сменявшихся здесь обитателей. Котовский разглядывал и

этот клоповник, и тупые лица полицейских, и накуренную до невозможности дежурку. Все это сливалось в его представлении в одно слово, крупно выписанное на красном полотнище демонстрантов в Киеве: «Самодержавие». Вот оно — затхлое, тупое, клопиное. Оно и есть то, что следует ненавидеть.

После длительной переписки между Балтой и Кишиневом Котовского отправили в Девятнадцатый Костромской пехотный полк, в Житомир. Здесь он встретил замуштрованных мужичков, которые с перепугу забывали, где правая нога, где левая, на городской площади с разбегу втыкали штык в соломенное чучело, гремели котелками, получая солдатскую кашу, и учились рывкать: «Здравия желаю, ваше высокородие!»

Дождавшись, когда стало теплее, Котовский сказался больным, и его отправили в лазарет. И вот в приказе по Девятнадцатому Костромскому пехотному полку появилось сообщение, что рядовой Григорий Котовский, находившийся на излечении в лазарете, бежал. Об этом невозмутимо сообщал командир полка, по-видимому, привыкший к частым побегам солдат. Он преспокойно предписывал исключить Котовского из списков полка.

Когда Григорий Иванович возвратился домой, он не узнал своей тихой Молдовы. Стачки, митинги, демонстрации... Котовский слушал ораторов, отбивался вместе с другими от полицейских, выгонял штрейкбрехеров из помещения почты, пел «Марсельезу»...

Встретились с Леонтием неожиданно на улице и не сразу узнали один другого. Котовский очень изменился. Он за эти годы вырос, возмужал, утратил незамутимую ясность, какая была у него раньше во взгляде. Теперь он смотрел пронизывая, изучая. И походка у него стала иная. И голос иной. Леонтий же обрел все черты бессарабского царянина. И все-таки они узнали друг друга и очень обрадовались встрече.

Словно мимоходом, Леонтий сообщил:

— А тут у нас в Бардарском лесу разбойнички появились.

— Какие разбойнички?

— Простых людей не обижают, а на купцов да помещиков нападают. И под селом Присаки тоже, говорят, беспокойно. Там вторая шайка завелась. Неплохо работают.

Больше оба ни слова. Пошли в чайную, заказали солянку, пили чай. Платил Леонтий. Разговаривали о том о сем. Леонтий сообщил, что женился. И только когда расставались, Котовский спокойно заявил:

— Завтра будешь дома? Вечером приду — сведешь меня туда, ну ты сам понимаешь куда: в Бардарский лес.

Леонтий не ответил ни да ни нет.

А первого декабря обе вооруженные группы — и из Бардарского леса и из села Присаки — объединились под руководством Котовского и начали партизанскую борьбу. Отряд народных мстителей не собирался шутить. И что-то стало неудобно, стало не по себе некоторым толстосумам.

Четвертая глава

1

— Стой!

Повозка остановилась. Возница не столько испуганно, сколько с любопытством ждал, что будет дальше.

Несколько верховых маячат поблизости, на опушке леса. К повозке подошли трое. Несмотря на темноту, можно было разглядеть, что в руках у них револьверы.

— Кто едет?

— Дворянин Иван Дудниченко.

— Потрудитесь, дворянин Иван Дудниченко, вручить нам всю наличность, какая при вас имеется. Оружия нет? Если есть, сдайте и оружие.

— Позвольте...

— Не будем тратить понапрасну время. Бумажник? Вот так-то лучше. Как обстоит дело с оружием?

— Помилуйте! Какое у меня оружие?

— Отлично. Трогай, возница!

Кони рванули, обомлевший от страха дворянин Иван Дудниченко все еще не верил, что остался в живых.

Купец Иосиф Коган возвращался той же ночью и той же дорогой с ярмарки. Денег у него была куча, наутро он намеревался отвезти их в кишиневский банк. Но обстоятельства сложились иначе. В банк ему ехать не понадобилось. Дорогой он задремал, так как только что заправился шустровским коньяком. Спросонок понять не мог, чего хотят эти люди. Деньги? Какие деньги?

Но тут он совсем проснулся. Он понял, что за деньги хотят от него получить. Пожалуйста! Какие могут быть разговоры? Иосиф Коган отличался быстрой сообразительностью. Он полагал, что лучше потерять немного денег, чем отдать свою драгоценную жизнь.

Вооруженные разрешили ехать.

— А разве вы... не раздеваете? — робко спросил Коган.

— Нет, не раздеваем, — ответил Котовский.

— Что ж. Это очень любезно. Я даже не ожидал такого благородства от грабителей.

— Я не грабитель. Грабитель — вы. А я отнимаю награбленное и отдаю все беднякам.

Казначеем отряда Котовский назначил Леонтия: осторожный и честный человек, на него можно положиться.

— На половину денег приобрети все необходимое, а прежде всего одежду для отряда. Если удастся, покупай и оружие. Остальные деньги раздадим. Надо узнать, кто нуждается.

Разъехались в разные стороны участники отряда — и нет никого. Пустыня проезжая дорога. В вершинах деревьев свистит ветер. Ни пешего, ни конного насколько глаз хватает.

И уже пошла молва по Бессарабии о народном мстителе Котовском, который у богатых отнимает — бедным отдает.

— И вот, братцы мои, — рассказывал старик на базаре, — пала лошадь у нашего водовоза. Ну, думает, теперь и сам ложись да помирай. А Котовский он все дела знает. Не успел наш водовоз опомниться — шасть, подходит к нему рослый красавец, богатырь, видать, силы необыкновенной. «Кто бы это мог быть?» — думает водовоз. А это и есть сам Котовский. «Это у тебя, дружище, пала лошадь? — спрашивает. — Иди купи себе другую». И дал ему восемьдесят пять рублей!

Только старик заканчивал свой рассказ, как его подхватывали другие:

— А вот у нас был случай...

— У нас вот тоже... Погорели, нищими остались... А Котовский...

В этих народных повествованиях Котовский всегда совершал подвиги, всегда был на стороне бедняков и всегда был неуловим.

Собрались как-то мужики деревень Карамышево, Ожеговка и Машкауцы и стали судить да рядить о своем незавидном житьишке. Решено было всем миром на экономию помещицы Бормоткиной напасть, амбары да сусеки у нее прощупать.

Вооружились кто вилами, кто берданками, у многих и патроны и винтовки нашлись, по чердакам поспрятанные. Командовал этой ратью бывший солдат Федор Водянюк, человек расторопный и толковый.

Глухой ночью толпа направилась напрямиком, через поле, к экономии. Шли тихо, чтобы не встревожить помещицу раньше времени, а то пошлет за помощью, вызовет солдат, будет худо.

Подошли к поместью, а там все спят, ни в одном окошке огонек не светится.

— Ну, ребятки, начинай, — сказал Федор. — С богом!

Дали залп из всех имеющихся ружей. Только собаки затыкали. А помещица, поди, в

перину зарылась и ни рукой ни ногой от страху пошевелить не могла.

Ринулись с криком «ура» на усадьбу, распахнули ворота, взломали замки и — только мешки замелькали, как начали грузить на подводы.

— У кого нет подвод, запрягайте помещичьи, — распорядился Федор.

Моментально нашли все: и коней, и сбрую, и подводы.

— Не сыпь, не сыпь зерно на землю! — покрикивал Федор, наблюдая, как шмякают один на другой тугие мешки. — Зерно-то наше, мужицкое, надо по-хозяйски!

На следующий день появились два эскадрона кавалерии. Проскакали по деревенским улицам. Нигде ни души, полная тишина, полный порядок. С кем тут сражаться?

Позднее явился пристав, и с ним прибыли конные городовые. Кавалеристы вернулись в город, а пристав начал строгое расследование.

«В конце концов, все они одинаковые бунтовщики и зачинщики, рассуждал он, приступая к своему делу, — но должен же я доставать в Кишинев человек пять арестованных».

Целый день вызывал он свидетелей, записывал показания, составлял протоколы, но в сущности ничего не выяснил и только страшно устал.

Вечером его пригласил отужинать чем бог послал местный священник отец Михаил. Оказывается, бог послал попу полное изобилие вин и закусок, так что ужин получился на славу. Между двумя рюмками батюшка, как бы мимоходом, упомянул имя Федора Водянюка, человека неверующего, беспокойного, склонного к бунту.

Пристав пробормотал:

— Весьма признателен, батюшка! — и записал фамилию у себя в блокноте.

Отец Михаил назвал еще два-три имени. Ему ли не знать своих прихожан!

На следующий день расследование было закончено. Федор Водянюк и еще трое под конвоем отправлены в город. Пристав доволен, складывает в портфель все бумаги.

Однако арестованные до места назначения не добрались. Около Савеловского оврага, о котором вообще шла дурная слава, что там нечистая сила пошаливает, навстречу конвоирам вышли вооруженные и потребовали документы и разносную книгу со списком арестованных. Сопровождавший арестованных не хотел сначала отдавать разносную книгу. Но книгу у него отняли и разорвали в клочья.

— Теперь они будут числиться совсем по другим спискам! — заявил Котовский. — Они поступают на службу народу. Кто начальник конвоя?

— Я начальник конвоя.

— Фамилия?

— Чегодаев.

— Так вот, Чегодаев. Арестованных я у тебя заберу. Выдам расписку.

— Это как вам будет угодно, — ответил Чегодаев. Он храбр был только с безоружными и беспомощными.

Ему была вручена расписка. Подписал ее «атаман Адский». Как прочел расписку Чегодаев — так даже перекрестился:

— Не иначе как сам сатана встретился мне на дороге. В такого стреляй не стреляй — пуля отскочит...

И он поспешил отвезти расписку своему начальству.

А в отряде Котовского прибавилось несколько отважных людей.

2

Горели усадьбы. Стражники скакали на взмыленных лошадях по проселочным дорогам. Крестьяне вырубали помещичьи леса, запахивали помещичьи земли... Мятежное было время.

В эти дни Александр Станиславович Скоповский чувствовал себя прескверно. У крестьян было достаточно оснований его ненавидеть. А ночи в Бессарабии темны!

Скоповский трусил. Наглухо закрывал ставни, запирали двери, спускал с цепи волкодавов — и все-таки не мог уснуть. Ему чудились шаги, мерещилось возмездие. Он вставал, надевал халат и шел осматривать дом. Пламя свечи колыхалось, когда он шел с подсвечником из зала в зал, избегая смотреть в печальные, пустые зеркала.

А тут приехал становой пристав и еще больше всех перепугал.

— Ваш этот... ну, который так невежливо с вами обошелся... Я имею в виду тот случай, когда он вынудил вас воспользоваться... гм... извините... окном...

— Я давно понял, о ком вы говорите: о Котовском. Не вижу, однако, надобности напоминать при этом о прискорбном случае, едва не стоившем мне жизни.

— Помилуйте, ведь я с осуждением!..

— Какая все-таки новость?

— Как?! Вы не знаете?! Вся губерния знает! Каков молодчик?!

— Да что же такое?

— А вы действительно не знаете? Дубровский! Форменный Дубровский! Не дальше как вчера по Оргеевской дороге напал на полицию, отбил арестованных крестьян. А на той неделе вот тут, по соседству с вами, у этого... как его... у купца Когана забрал деньги. У него масса сообщников, и, говорят, он буквально неуловим!

— С нашими растяпами все неуловимы!

— Однако создать вооруженный отряд для расправы с помещиками! Согласитесь, что это большая смелость.

Скоповский побледнел, услышав это сообщение. Ведь надо же! Не кто-нибудь другой, а именно Котовский!

Александр Станиславович покосился на открытое окно, под которым цвели левкой... Да, все ясно: надо уезжать, уезжать не откладывая! Правительство, видимо, бессильно что-нибудь сделать.

«В Петербург! Немедленно в Петербург! — неотступно сверлила Скоповского мысль. — Да что, какая гарантия в Петербурге?! За границу, пока здесь не утихомятятся. Эх, нам бы папашу, в бозе почившего! Мягковат, мягковат и с неба звезд не хватает наш помазанник Николай Александрович. С этим народом не так надо разговаривать. Иссякла сила царствующего дома Романовых. Этак недолго и всю Россию прозевать».

В ночь на семнадцатое лошади на конюшне получили двойную порцию овса. Сдобные булочки, слоеные пирожки, жареные цыплята, телятина и всякая другая снедь — все это было уложено в корзины. Долго возились с укладкой. Скоповский давал бесчисленные наказания, читал нравоучения. Наконец мадам Скоповская, вздыхая и жалуясь на изжогу, прочла краткую молитву и отошла ко сну. Скоповский принял подкрепляющие пилюли и тоже задремал под невеселые думы о слабости длани российского самодержца.

В полночь залаяли собаки. Но тотчас замолкли. Затем как будто звякнула подкова о камень... Закачались кусты акации...

Скоповский проснулся от невероятного грохота. Он сел на кровати, прислушался. Дом содрогался от сильных ударов. Дребезжал звонок.

«Вот как это бывает!» — подумал Скоповский и стал нащупывать ногой ночные туфли, но все никак не мог отыскать.

— Кто? Кого? — очнулась заспанная Скоповская. — Уж не случилось ли чего с детьми? Не от Севочки ли телеграмма?

Муж ничего не ответил. Странно пригибаясь, он подкрался к окну, выглянул из-за занавески. Затем бросился бежать. Сначала в кабинет. Отыскал в письменном столе браунинг. Ну, хорошо. Допустим, он даже выстрелит. Даже попадет. Это только приведет их в бешенство, и тогда они не пощадят. Подержал браунинг на ладони и сунул его обратно в ящик письменного стола.

Стук в двери усиливался. Скоповский промчался в гостиную, похожий в нижнем белье на привидение. В буфетной ударился о косяк, но даже не почувствовал боли.

С величайшими предосторожностями открыл окно. Вторично приходится пользоваться

этим способом сообщения! Однако раздумывать не было времени. Скоповский встал на подоконник и зажмурил глаза. Ну же!

Спрыгнул, напоролся на что-то острое... Куда ж теперь? Спрятался под садовой беседкой. Дети, бывало, залезали сюда, играя в палочку-выручалочку. Тут хранилась старая, обшарпанная метла, валялась ржавая, продырявленная лейка... Скоповский влез лицом в паутину, она облепила щеки, неприятно щекоча...

— Господи, помоги мне, — шептал он, дрожа всем телом. — Помоги мне, господи!

Сидеть в этом неудобном уголке пришлось довольно долго. Котовский ничуть не торопился. Вошел в дом. Мадам Скоповская закрыла глаза, притворяясь не то мертвой, не то спящей. Но к ней никто даже не подошел.

Котовский деловито разбирал бумаги, уничтожал приходно-расходные книги, долговые записи крестьян.

Только он успел спросить, где же, мол, сам хозяин, как Леонтий и Федор приволокли помещика, переваливавшегося в мусоре, в паутине и крайне непредставительного без верхнего платья.

Котовский метнул на него глазом: что-то очень кислый помещик, уж не отдубасили ли его ребята, когда сюда вели?

— Где отыскался? — спросил Котовский, снова принимаясь за долговые записи.

— Под беседкой! — весело ответил Леонтий. — Прохлаждался! А я обратил внимание, что собака туда заглядывает и хвостом виляет. Интересно, думаю, кого она там знакомого выискала?

— Собака собаку всегда унюхает! — вставил Федор.

— Потрудитесь открыть сейф, — приказал Котовский помещику. — Ну! Чего же вы стоите?

Скоповский как бы очнулся и побрел было к сейфу, вделанному в стене, но опять остановился.

— Ключи в брюках, — уныло произнес он.

— Принесите брюки барину, — усмехнулся Котовский, только теперь поняв затруднение помещика.

Котовский пересчитал деньги и распорядился всем уходить:

— Поджигайте — и поедем.

Ночная прохлада потоком вливалась в настежь распахнутое окно. Пахло левкоями. Котовский быстро управился с долговыми книгами: ведь вся эта канцелярия была ему хорошо знакома.

Скоповский молчал. Он боролся с противной дрожью, которая его сотрясала. Одна мысль пронизывала мозг, обжигала: «Убьют! Убьют!..» Но на него никто не обращал внимания.

Через час Котовский уехал из имения Скоповского. Путь ему освещало зарево: усадьба горела ярко, как свеча. Задержался только казначей отряда, деловитый Леонтий. Ему было поручено раздать батракам деньги, захваченные у помещика.

— А то сам господин помещик сроду бы не догадался, — пояснил Котовский.

На рассвете Леонтий догнал отряд. Он точно выполнил поручение. И вот они ехали рядом. Высоко в небе таяли последние звезды. Над Бессарабией загоралась заря. Туман стлался над виноградниками, над сливовыми садами. Кони фыркали и мотали головами.

Котовский и Леонтий молчали. Затем Леонтий сказал:

— А пожалуй что, вешать их, каналий, надо, а то они натворят еще дел. Я это про помещиков говорю.

— Вы и так, кажется, не утерпели и малость всыпали Скоповскому. Что-то у него, как у сома, был очень снулый вид.

— Так, для понятия, мы с Федором слегка ему дали, пока от беседки вели. А как же? Разве забыл, как они тебя разделали?

— Мы не за себя мстим — за народ! — коротко ответил Котовский.

Вот и совсем посветлело. Всадники свернули с дороги и скрылись в просыпающемся, мокрым от росы дубовом лесу.

3

Можно представить, какой переполох начался у кишиневских властителей. Губернатор топал ногами, полицмейстер рычал как лев. Во все стороны летели приказы, секретные распоряжения, срочные шифрованные телеграммы:

«Принять меры! Искоренить! Прекратить!»

А между тем отряд действовал. Полиция прибывала на место происшествия, но всякий раз с опозданием, когда уже ничего нельзя было обнаружить. Думали, что отряд скрывается где-нибудь в пещерах или в дебрях лесов: совершив смелое нападение, он исчезал, как сквозь землю проваливался.

В те дни, когда Котовского разыскивали в Оргееве, появился в селе Ганчешты страшный, горбатый нищий. Он ничьего внимания не привлек: мало ли нищих бродило в те годы по проселочным дорогам. Софья через три дома от своего жилища держала кур, так она не раз видела этого побирושку, даже подумала еще, хорошо ли у нее заперт курятник.

Однажды этот старый горбун пришел к ней, но она его не пустила:

— Стой, стой, я тебе у ворот подам! (Софья была не из тех, что может слишком расчувствоваться при виде нищеты.)

— Спасет тебя бог, — сказал нищий, принимая горбушку хлеба, и Софье показалось, что он при этом усмехнулся.

«Набаловались! — рассердилась Софья. — Не яичницей же его угощать!»

Между тем горбатый нищий побывал и на базаре, потерялся в толпе, послушал, о чем люди толкуют, и сам повыспросил, что ему было надобно...

Это и был Котовский. Ну где же найти его тупоголовым полицейским ищейкам, если родная сестра не могла распознать его! После этого он мог без всякого опасения разгуливать по селу.

А пришел он сюда не бесцельно. К нему поступили жалобы на управляющего Назарова, что он душегуб и стяжатель. Еще больше жаловались на купца Гершковича, говорили, что он держит в цепких лапах всю округу и что такого кровососа свет не видал. Надо было это проверить и одновременно запутать полицию, которая сбилась с ног в поисках Котовского и потеряла его следы.

Что взять с горбатого нищего? Посидел он и на крыльчке торгового заведения Гершковича, узнал всю подноготную и об управляющем Манук-бея, все доподлинно.

А потом исчез. Вряд ли кто и заметил его исчезновение. Ушел и ушел, бездомным все дороги открыты. Никому и в голову не пришло, что план отмщения за слезы народные был уже разработан.

Однако Артем Назаров почуял что-то неладное и успел удрать в Кишинев.

Купцу же Гершковичу не удалось увернуться. К нему в дом вошла дружина Котовского.

— Вы тут взяли в кабалу всех жителей, — сказал ему Котовский. Ну-ка, покажите ваши записи и долговые книги. Тут все? И как раз печка топится! Предадим эту писанину огню. И не вздумайте кому-нибудь напомнить о старой задолженности, не советую. Знаете пословицу: кто старое помянет, тому глаз вон. А теперь принесите выручку из магазина, и чтобы ничего не прятать! Стойте, стойте, куда вы бросились с такой поспешностью? Сначала положите ваш бумажник сюда, на стол. Так. Теперь идите, вас проводят... Принесли? Ну вот. Надеюсь, запомнили, что я говорил?

Когда ночные посетители ушли, Гершкович капал валерьянку, потом кому-то грозил, ругался. Затем рассудил, что выгоднее всего молчать. И хотя слухи ходили, что у него отняли деньги, сам Гершкович клятвенно уверял:

— У меня? Деньги? Какие деньги? Господь с вами!

Артем Назаров хотя и вернулся в Ганчешты, но спал плохо, вздрагивал при всяком

стук и завидовал князю Манук-бею, который своевременно убрался «из этой разнесчастной страны»...

Странные дела творились в Бессарабии. Например, начальник Кишиневской тюрьмы узнал, что Котовский вручил на дорогу деньги большой партии осужденных политкаторжан, отправляемых в Сибирь. Разгневанный начальник тюрьмы расспрашивал тюремных надзирателей:

— Как же он вручил? Вот так-таки явился и вручил?

— Ну да, получил свидание с одним из заключенных и отдал ему деньги.

— А вы чего смотрели? Почему не схватили его?

— На лбу у него не написано, что это он! Уж после арестанты рассказали.

Или, например, кто давал Котовскому списки неимущих студентов и гимназистов? Они ежемесячно получали по почте пакеты с деньгами «от неизвестного».

По настоянию бессарабского губернатора в Оргеевском и Кишиневском уездах рыскали большие полицейские отряды, были учреждены специальные посты, производились ночные обходы...

А в это время отряд Котовского явился на квартиру купца Варгана Киркорова, первого богача в Кишиневе. И произошло это в центре города, к полному негодованию и изумлению власть предержащих.

В квартире Киркорова была роскошная обстановка. По-видимому, денег куры не клевали, но вкуса и понимания красоты не было. Главным образом заботились о том, чтобы все стоило дорого. Хрустальные вазы, мохнатые ковры, очень много мебели, картин, безделушек...

Киркоров вручил Котовскому крупную сумму денег. Он был бледен, руки у него тряслись, он с трудом выговаривал слова, потому что ему сводило судорогой челюсти.

— Вот, — произнес он. — Тут все, что есть дома, можете проверить.

— Вы не станете меня обманывать. Это было бы рискованно. Ну, а теперь принесите оружие.

— Револьвер?

— Да, хотя бы револьвер.

Киркоров принес револьвер и предупредил:

— Осторожнее, он заряжен.

Впоследствии его спрашивали знакомые:

— Отчего же вы не стреляли?

— Что я — сумасшедший? — возражал Киркоров.

— Облавы! Как можно скорее облавы! — кричал губернатор, узнав об этом происшествии. — Мобилизуйте местное население, оцепляйте лес и делайте облавы!

— Не идут. Мы уже пробовали. Они лучше умрут, чем выдадут Котовского. Точно установлено, что население снабжает его продовольствием, одеждой, даже оружием.

Но как раз оружия-то отряду и не хватало...

Однажды Котовского разыскал человек, пришедший из Пересечина. Это был, по-видимому, мастеровой, руки у него были заскорузлые.

— Уж я бы не успокоился, пока тебя не нашел, — сказал он решительно. — Дело-то у меня, понимаешь, срочное.

— А что такое? Рассказывай.

— Я случайно, можно сказать краешком уха, слышал. Одним словом, есть такое распоряжение: наш исправник едет в эту ночь из Пересечина в Оргеев и везет с собой тридцать ружей. Я как услышал такую новость, так и прикинул своим умишком: тридцать ружей — штука не маленькая, и Котовскому как раз может пригодиться.

— Спасибо за заботу! А уж эти ружья, можешь быть уверен, будут у меня.

Исправник оказался ретивый и начал отстреливаться. На козлах у него сидел солдат, он стал нахлестывать лошадь, думая спастись бегством.

Лошадь подстрелили, исправника и его охрану разоружили и пешком отправили.

— Службу плохо знаешь, болван ты этакий, — ворчал на исправника Котовский. — Ружья везешь, а где же патроны?

За поимку Котовского взялся пристав второго участка, опытный петербургский сыщик, присланный в Кишинев на постоянную работу. Хаджи-Коли был безобразен. Маленького роста, но с огромной головой, он был весь как бы помятый, весь изрытый морщинами. Кожа у него была геморроидального цвета. В центре физиономии помещался мясистый, свисающий, как спелый плод, на губы фиолетовый нос. Но глаза — глаза у него были колючие, быстрые. Он умел примечать. В этом ему никак не откажешь.

Хаджи-Коли взялся за дело спокойно. Он долго приглядывался, принимался, перечитал все донесения, побывал на местах происшествий, побеседовал с «жертвами»: с дворянином Иваном Дудниченко, с купцами и чиновниками, повидался и с Артемом Назаровым, который знал Котовского с детских лет.

— Так-так-так... Вы говорите, способный был мальчик? Так-так-так... Отлично ездил верхом?

Хаджи-Коли два часа пробыл у господина полицмейстера.

— Денег не жалеть, — давал указания полицмейстер. — Сами понимаете, вся эта неприятная история может отразиться даже на карьере высокопоставленных чиновников, не говоря уже о других.

Полицейстер придвинул свое худое, обтянутое желтой кожей лицо к самому уху Хаджи-Коли,дохнул на него гнилостным запахом изо рта и прошептал:

— Под строжайшим секретом могу вам сообщить, что наш уважаемый Киркоров, Варган Артемьевич, как вы знаете, тоже пострадавший, пожертвовал десять тысяч рублей из личных средств для награждения того, кто поймает этого разбойника.

В селе Мокра обитал гроза всего окрестного населения помещик Войтенко. Его прозвали Людоед. Ненавидел его народ лютой ненавистью.

Любил он охотиться за крестьянами, которые случайно забредали на его землю. Он выскакивал из кустов и кричал:

— О-го-го! Э-ге-ге!

Крестьяне бросались бежать, стараясь скрыться в чаще леса. Войтенко только этого и ждал. Прицеливался из охотничьего ружья, заряженного дробью, и стрелял.

Он жил одиноко, жена у него умерла, детей не было — один, как филин в дупле, обитал в большом, двухэтажном доме.

Поймав мужика за порубкой леса, Войтенко не жаловался в суд:

— Я сам ему судья. Хочу — казню, хочу — милую.

Но никогда не миловал.

Крестьянский скот за потраву загонял к себе и требовал штраф с его владельца.

Бабы для сокращения пути перебегут через его поле — так он им пустит вслед заряд соли и хохочет:

— Теперь почешутся!

Но настали суровые дни. Пришел для помещика час расплаты. Мужики на сходе постановили: казнить Людоеда.

— Мы его, как крота из норы, выкурим! — сказал Антосяк, недавно вернувшийся из армии.

Пришли в усадьбу. Обложили хворостом дом, керосином облили, чиркнули спичку — и пошло полыхать горячее пламя, поднялось высоко к небу зарево, как проклятие душегубу.

Крестьяне стояли вокруг и смотрели.

— Хорошо горит, — сказал Антосяк. — Дерево сухое.

Помещик, видать, крепко спал. Уже и крыша занялась, из окон валил густой, черный дым, а он все не появлялся. Наконец выскочил на крыльцо, остановился — и сразу все понял. Там его ждали. Лица были каменные. Никто не простил. Пули на него пожалели, убили батогами, как змею убивают. Убили и бросили тут же, у начинающего тлеть и дымиться парадного крыльца. И молча ушли по освещенной пожаром дороге.

Крестьянские бунты полыхали по всей Бессарабии. В дыму восстаний орудовал отряд Котовского, орудовал дерзко и умно. Может быть, он поднимал молдавских крестьян на бунты своим примером и отвагой? Может быть, с его именем пошел Антосяк убивать ненавистного помещика? И если бы не было повсеместно известно о неуловимом Котовском и его славных делах, может быть, еще долго свирепствовал бы Войтенко?

Тревожная, полная опасностей жизнь у Григория Ивановича Котовского. Но ни разу он не пожалел, что решился на такое рискованное дело. Только теперь он чувствовал себя человеком. За ним охотятся, против него брошены большие отряды полиции. Ну что ж, это — война. Зато на его стороне неизменное сочувствие народа.

Когда его дружина нападает с оружием в руках на купцов и помещиков где-нибудь на дороге около Селештского леса, мимо них по тракту проезжает немало крестьянских подвод, но никто не заступает за проклятых богатеев. Одни делают вид, что ничего не видали и не слышали. Другие откровенно смотрят и посмеиваются:

— Так им и надо, толстосумам! Пускай потрясут их хорошенько!

— Бунэ зыуа! — кричат они Котовскому. — Бунэ зыуа, рэзбунэтор народник! Здорово, народный мститель!

И едут себе кому куда требуется.

Приближается ли полицейский отряд или где-нибудь внезапно появляются казаки — всегда найдется человек, который выбежит из кустов и крикнет Котовскому:

— Скэпаць-вэ! Спасайся!

И разве хоть один раз было такое положение, чтобы Котовскому негде было приклонить голову! Всюду находились для него и приветливое слово, и пища, и кров.

Однажды пришел к Котовскому и Иван Павлович.

— Ну как? — спросил Котовский. — Совсем пришел?

— Совсем. Раиса померла у меня. Один остался на свете. Примешь в свою семью — послужу народу. По крайней мере буду знать, что не зря коптил небо.

Вздыхнул Котовский, ничего не ответил. Много видел он безысходного горя, жалко было ему людей.

4

Пристав второго участка Хаджи-Коли не дремал. Он раскинул сеть своей агентуры по городским окраинам, по улицам городской бедноты, по окрестностям Кишинева.

Долго он вынашивал свой замысел, и наконец ему удалось подобрать провокатора, который втерся в доверие рабочих и через них нашел путь в отряд Котовского.

Некий Зильберг имел опыт в своей работе. Он умел всех разжалобить.

— Брат у меня на каторге, тачки с углем возит, — рассказывал, тяжело вздыхая, — отец умер от непосильной работы, а я даже и непосильной не могу отыскать, вот уж сколько месяцев с хлеба на воду перебиваюсь...

Вспомнил Котовский все свои мытарства и бесплодные поиски работы, вспомнилось, как отец умер...

Приняли в отряд этого человека.

Каждую минуту провокатор ждал, что его прикончат. Он не выдерживал взгляда Котовского, как пес не выдерживает человеческого взгляда. Он опускал глаза. Притих, старался не выделяться, участвовал в нескольких нападениях на полицейских чиновников. Никакой связи со своим патроном долгое время не устанавливал, боялся, что за ним следят.

И вот выбрал удобный момент. Отряд сделал передышку. Зильберг для большей верности сам проводил Котовского до его квартиры в Кишиневе, где он последнее время скрывался.

— Отдыхай, — сказал ему на прощание Котовский, когда они дошли до входной двери, — большие дела скоро будем делать, и наш отряд разрастется...

Все еще не верил, все еще опасался предатель. А вдруг Котовский догадывается! Может

быть, все знает и уже давно приговорил его к смерти? Вот сейчас обернется и пристрелит, как паршивую собаку...

Но вот Котовский шагнул... постучал... Вот ему открыли... и захлопнулась дверь за Котовским... Тихо. Провокатор сначала стоял как прикованный. Затем медленно-медленно пошел. Добравшись до перекрестка улиц, быстро оглянулся, чтобы узнать, не следит ли кто за ним... Потом чуть не бежал, запыхался, юркнул в чей-то чужой двор, притаился и ждал, выглядывая из-за забора... Но опять никого. Сердце стучало. Бросился со всех ног, с шумом ворвался в квартиру Хаджи-Коли и выпалил:

— Есть! Готов! Куприяновская улица, дом номер девять!

И — рухнул на стул. Губы пересохли, он все облизывал, облизывал их горьким языком.

Хаджи-Коли дал ему глотнуть воды. Но заниматься им не было времени. Не теряя ни минуты — в полицию.

Крупный полицейский отряд оцепил все прилегающие улицы. Хаджи-Коли лично руководил операцией. Конечно, он рисковал головой, но, что делать, такая профессия. Он ловко отодвинул засов у входной двери, вместо того чтобы стучаться. Все! Дверь открылась, из дому пахло теплом... И они ввалились с револьверами в руках.

Котовский еще не спал. Он взглянул на них, понял, что это провал. Не дрогнул, не шевельнулся. Только челюсти сжал, да так, что скрипнули зубы.

— Разрешите? — вежливо произнес Хаджи-Коли.

И щелкнул металлическими наручниками.

В ту же ночь произведены были аресты в доме № 10 по Киевской улице. Там схватили Прокопия Демянишина и Игнатия Пушкарева, совсем недавно примкнувшего к отряду.

На следующий день на Яковлевской улице был задержан еще один дружинник, Захарий Гроссу. И это все. Других участников вооруженной группы Котовского не удалось обнаружить. Некоторое время продолжали розыски, обшарили все окрестности города, но затем махнули рукой: не в них дело.

Следователь по особо важным делам приступил к разработке нашумевшего дела. Он не упустил ни одной подробности, блеснул знанием всех юридических тонкостей. Папка, вмещающая протоколы допросов, принимала внушительные размеры.

На Оргеевско-Кишиневской дороге стало тихо. Ветер свистел в вершинах деревьев. Грачи пролетали вечером, собираясь на ночлег. Купцы и помещики проезжали здесь по-прежнему с оглядкой и страхом. Но напрасно. Никто не появлялся из лесу, никто не останавливал скачущих лошадей.

Леонтий как ни в чем не бывало занялся своим хозяйством. О прежних его ночных отлучках не знал никто, кроме жены. А жена была находчива и ловка на язык, умела ответить, если кто, бывало, и спрашивался о ее муже: «Уехал в город...» «Поехал на базар продавать сено...» «Спит, устал чего-то, не буду тревожить...» Ну, и отвяжутся. А вернется Леонтий — молча накормит, напоит, одежду и обувь высушит, не спрашивает, где был да какими делами занимался. Когда перестал ночами отлучаться, удивилась она. Долго удерживалась, но в конце концов спросила:

— Неладно что?

— Плохо, — вздохнул Леонтий.

А тут как-то велел собрать всякой домашней снеди да домотканое одеяло захватил. Отвез все в город и вернулся без этих вещей.

— Если что в тюрьму передать, ты меня лучше посылай, — заметила жена Леонтию мимоходом.

Посмотрел Леонтий на нее внимательно: ох и сметлива!

А Котовский был полон замыслов, планов и в тюремной камере. Он не упал духом. Ведь рано или поздно усилия полиции должны были увенчаться успехом, когда-то должны

были его схватить. Котовский находил применение для своих сил и в тюремной обстановке.

— Какие такие взимания с новичков «на камеру»? — гремел Котовский. Пока я здесь, никто не будет ничего взимать!

Он выслушивал жалобы арестантов, давал советы, заступался за малолетних. Он был занят целые дни. Оказалось, что и здесь можно помогать беззащитным. Оказалось, что и в этом мире отверженных много бесправия, жестокости и это бесправие, эту жесткость нужно победить. Было в Котовском что-то еще, кроме его незаурядной физической силы. Одних он притягивал к себе, располагал. Другие его боялись. Он стал безраздельно руководить всей тюремной жизнью.

Мысль его работала. Он готовился к большому, отчаянному мероприятию: запертый на замки, окруженный толстыми каменными стенами, охраняемый стражей, он задумал ни больше ни меньше как освободить всю тюрьму. Он с воодушевлением разрабатывал подробности этого плана. Посвящены в него были только его ближайшие друзья.

— Мы должны, — втолковывал он Захарию Гроссу и Игнатию Пушкареву, разоружить тюремную охрану, вызвать по телефону якобы по срочному вопросу поочередно прокурора, полицмейстера, пристава, жандармских чинов, поодиночке арестовать их и упрятать в камеры. Затем вызвать конвойную команду якобы для производства повального обыска, разоружить ее, переодеться в форму конвойных, изобразить отправку большого этапа в Одессу и, следуя в Одессу, захватить железнодорожный состав. Всего для этой операции нам придется захватить, обезоружить и запрятать в камеры около пятидесяти человек.

— Серьезное дело! — сказал Гроссу.

— А что? Мы все можем! — решительно заявил Пушкарев.

Первой неудачей была записка, перехваченная тюремщиками. Котовскому во что бы то ни стало нужно было связаться с друзьями, находившимися там, по ту сторону решетки. Впрочем, в руки следствия эта записка никаких ключей не дала, плану побега не повредила, а связь со своими друзьями Котовский все-таки установил.

Делопроизводство же шло своим чередом. Аппарат юстиции усердно работал. Следствие фиксировало факт за фактом, папки все больше разбухали, машинистки перестукивали на пишущих машинках протоколы, все это нумеровалось, подшивалось... Шутка сказать — подготовить для слушания такое дело!

Требовалось для судебного разбирательства иметь своего адвоката. Котовский остановил свой выбор на талантливом, успешно уже выступавшем в суде защитнике Гродецком. Гродецкий имел доступ в тюрьму. Он тоже изучал материалы этого дела. Немногим можно было помочь подзащитному, слишком очевидны сами факты, слишком велика ярость властей и негодование всего так называемого общества. Тем не менее защитник наметил линию, какой будет придерживаться.

В первое свое посещение подзащитного Гродецкий попал в тюрьму в прогулочное время. Тюремный двор походил на большой каменный мешок. Гродецкий увидел арестантов, бродивших по двору с опущенными головами, унылых, вялых, в серых тюремных халатах, неудобных, путавшихся в ногах.

И в этой толпе резко выделялась высокая, стройная фигура человека, одетого в обыкновенное, гражданское платье. Этот рослый человек был в сапогах, бриджах, в светло-зеленой вязаной куртке, плотно облегавшей его хорошо сложенную, могучую фигуру. И держался этот человек совсем иначе. Опустив правую руку на плечо своего собеседника, он быстро шагал, размахивая левой рукой, и что-то с жаром доказывал. И столько жизненной силы, столько характера было в этом человеке!

Гродецкий забыл о цели своего прихода. Он невольно залюбовался этим необыкновенным, не сгибающимся в несчастье человеком.

— Кто это такой — в зеленой вязанке? — спросил Гродецкий тюремного надзирателя.

Надзиратель ответил с гордостью:

— Разве вы не знаете? Это наш знаменитый Котовский.

И ответ тюремного стража тоже поразил тюремного защитника. «Наш знаменитый

Котовский»! По-видимому, Котовский находил дорогу даже в самые заглубленные, в самые очерствелые сердца.

«Так вот он каков, мой подзащитный! — думал Гродецкий, все еще стоя неподвижно в неприглядном тюремном дворе. — Недаром он держал в страхе и трепете „блюстителей порядка“, аристократов и баловней судьбы!»

6

Вначале все шло удачно. В прогулочный час двое из одиночной постучали в дверь и попросились в уборную. Когда надзиратель выпустил их и стал закрывать камеру, его схватили, связали, обезоружили и сунули в ту же самую камеру. Во втором коридоре надзирателю наставили револьвер, отобранный у первого надзирателя, и тоже связали его.

Прогулка в тюремном дворе продолжалась, а там, в самом здании, шла работа втихую, без шума и крика, без единого выстрела.

Вскоре коридорные надзиратели все до одного были упрятаны в камеры. Успешно прошла операция по заранее разработанному плану и во дворе. Путем обмана отняли ключи от тюремных ворот, отперли ворота. Дальше следовало оставаться на местах, вызвать и арестовать целый ряд служебных лиц, затем вызвать конвойную команду...

Но при виде открытых ворот у некоторых не хватило выдержки. Семнадцать человек, не подчиняясь разработанному плану, выбежали наружу... нарвались на патруль... Были снова задержаны и возвращены в тюрьму.

Котовский не сердился. Что поделаешь — нельзя положиться на каждого, уж очень пестрая публика наполняет многочисленные камеры тюрьмы.

Котовский спокойно заявил, что план побега был разработан им. Его заперли в одиночную камеру, рядом с политическими.

Какой богатый материал получили газетные репортеры! Какая сенсация!

«Неудачный побег семнадцати „анархистов“ из тюрьмы!..»

«Возглавлял побег известный атаман Котовский!..»

Тюремная администрация вызывала поодиночке сконфуженных и обескураженных надзирателей.

— Как же вы так прохлопали, что вас самих пересажали, как кур в курятник?!

Начальник тюрьмы, глядя на толпу заключенных в прогулочном дворе, в ярости сжимал кулаки:

— Ну подождите же! Я покажу вам, как совершать побеги! Вы у меня поплачете!

И обернувшись к сопровождавшему его дежурному офицеру:

— Свидания с родственниками прекратить! Прогулку сократить до десяти минут в сутки! Выпускать на прогулку поодиночке! Убрать койки из камер, пусть валяются, как свиньи, на полу!

Седьмого мая 1906 года в знак протеста семнадцать арестованных объявили голодовку. К ним примкнула вся тюрьма. Требовали отмены репрессий и улучшения тюремной пищи. Надзиратели бегали от камеры к камере, уговаривали есть. Кашевары уносили нетронутые бачки с баландой. Кухонные мужики выливали обед в помойную яму.

Прибыл прокурор окружного суда. Ходил по камерам, выслушивал жалобы. Морщился. И от правдивых невеселых рассказов, и от душливого воздуха.

— Карательные меры отменить, — распорядился он, уезжая и радуясь, что выбрался наконец на свежий воздух. — Что касается улучшения пищи, это не в моей компетенции. Не вмешиваюсь. По-моему, пища как пища. Не жареных же им рябчиков подавать!

Не прошло и нескольких дней, как в тюрьме уже новое событие: обнаружен подкоп! Подкоп заделали. Казалось, все тревожения кончились. Тюремная жизнь опять вошла в свою колею — безрадостная, однообразная, пропитанная сыростью, полумраком, затхлостью камер, овеванная ни с чем не сравнимой, ни на что не похожей тюремной, арестантской тоской.

А тридцать первого августа арестованный Котовский, сидевший в так называемой железной одиночной камере, бежал из тюрьмы. Пропала даром вся работа Зильберга, все тонкие ухищрения Хаджи-Коли! И куда же теперь девать толстые папки, так аккуратно подшитые судейскими канцелярскими крысами? Хоть выбрось! Хоть начинай все сначала!

Первый богатей Кишинева и самый уважаемый член городского клуба Вартан Артемьевич Киркоров, прочитав в утренней газете о побеге Котовского, невольно взглянул на дверь: а что, если появится и наставит опять дуло револьвера? Сразу пропал аппетит у Киророва. Он брезгливо отодвинул тарелку, на которую успел уже положить цыпленка, и снова впился в газету:

«...Тюремная администрация и полиция весь день 31 августа тщетно искали бежавшего из Кишиневского тюремного замка знаменитого атамана разбойничьей шайки Котовского... На этот раз, кажется, Котовский исчез окончательно...»

— Да что же это такое творится? — прошептал Киркоров. — Для чего же строятся тюрьмы? Нет, это выше моих сил!

Александр Станиславович Скоповский без газет узнал о происшествии. Он в это время поселился в одном из своих флигелей и занят был постройкой нового дома на месте сгоревшего. Он только было уверовал в ретивость российских властей, стоящих на страже порядка и частной собственности, — и вдруг такой удар! Опять этот разбойник на свободе! И опять Скоповский нещадно ругал всех: и нераспорядительную полицию, и тюремную администрацию, и правительство, расшатавшее до последней степени государственные устои.

— Разве мыслимо что-нибудь подобное за границей? — бесновался Скоповский. — Да там бы немедленно: «Будьте любезны, пожалуйста на электрический стул».

В Ганчештах мало кто выписывал газеты. Когда под окном Анны Андреевны появлялся почтальон, щедушный, так что его ветром качало, но очень расторопный старичок, Анна Андреевна выходила ему навстречу.

— Как здоровье, Герасимыч?

— Прыгаю, Анна Андреевна.

И он мчался дальше с кожаной сумкой на плече. Анна Андреевна развертывала газетный лист и начинала дискуссию с газетными щелкоперами.

— Вранье! — говорила Анна Андреевна, прочитав статью о блестящем состоянии железных дорог. — Так вам и надо, голубчики! Небось почешетесь теперь да прибавите заработок рабочему человеку! — приговаривала со смаком, прочитав о забастовке питерского «Путиловца».

Однажды почтальон пришел взволнованный и возбужденный:

— Читайте газетку! Там помещено кое-что важное!

Анна Андреевна развернула газетный лист и, бегло просматривая кричащие заголовки, вздрогнула и с волнением прочитала написанный разухабисто и с легким налетом модного теперь скептицизма фельетон:

«Бегство Котовского из местного тюремного замка, как оказывается, не так просто. На первых же порах возник вопрос: как он мог выйти из своей одиночной камеры (в самой верхней башне), в которой окно защищено толстой решеткой, оказавшейся целой, а у дверей неотлучно дежурил надзиратель Иванов? Затем, как, выйдя из камеры через охраняемую дверь, он незамеченным добрался до чердака башни, откуда по веревке спустился с 18-саженной высоты во внутренний двор; отсюда в наружный двор он опять не мог пройти незамеченным мимо дежурного надзирателя Топалова, но, однако, прошел. Достигнув внешнего двора, он приставил доску к забору — и был таков. А между тем чьей-то заботливой рукой доска была положена на прежнее место. Все эти обстоятельства навели на подозрение, что Котовский воспользовался чьим-то содействием. Подозрение пало на надзирателей Иванова и Топалова».

Ниже фельетона крупным шрифтом было набрано:

«ЗА ПОИМКУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА КОТОВСКОГО
ОБЪЯВЛЕНО ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В РАЗМЕРЕ ДВУХ ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ».

Анна Андреевна опустила на колени недочитанную до конца газету, перекрестилась и прошептала:

— Господи, охрани его в тягостных испытаниях и суровом пути! Не себе на утеху — народу он служит. Золотое сердце и отважный ум!

И она, не откладывая, побежала к Софье Ивановне поделиться новостью.

7

Шифрованная телеграмма, разосланная директором Кишиневской тюрьмы жандармским офицерам на пограничных пунктах и начальнику Одесского охранного отделения, перечисляла все приметы бежавшего, сообщая, что тридцать первого августа из Кишиневской тюрьмы бежал опасный политический преступник, балтский мещанин Григорий Котовский. Указывалось, что Котовский 23 лет, роста два аршина семь вершков, глаза карие, усы маленькие, черные, может быть без бороды, под глазами маленькие темные пятна, физически очень развит, походка легкая, скорая. В заключение предлагалось установить самое бдительное наблюдение за появлением бежавшего, а в случае появления немедленно арестовать и препроводить под усиленным конвоем в Кишиневскую тюрьму.

Полетели во все концы России шифрованные телеграммы! На таможах, в портовых городах, на пограничных заставах появилось много поджарых субъектов, воображающих, что никто не может распознать в их непристойных физиономиях, в их гороховых пальто, в их повадке всюду совать нос и запускать глаза незадачливых, дешево оплачиваемых доморощенных шпииков, состоящих в штате охраны и полиции. Они бесцеремонно вглядывались в лица пассажиров, едущих за границу, — в равной мере женщин и мужчин: беглый мог попытаться улизнуть и в женском одеянии, бывали такие случаи! Они лазили в трюмы, заглядывали в машинные отделения пароходов... Их можно было встретить в доках, в отдаленных рыбацких поселках, на пристанях...

Были подняты на ноги все жандармские управления. Один за другим доставлялись пакеты за сургучной печатью. Лично в руки! Бессарабскому губернатору! Секретно!

А Котовский спокойно сидел в Кишиневе, в одном из крохотных, незатейливых домиков. Сидел у окна и рассеянно посматривал через тюлевую занавеску на безлюдную улицу, пока хозяйка деловито штопала мужнины носки.

— Покушал бы, Григорий Иванович, — ворчливо и ласково говорила женщина. — Что толку смотреть на улицу, у нас тут редко и прохожего увидишь.

Задумался Котовский. Не было для него ничего труднее, как бездействие. Вся его кипучая натура требовала действия, а приходилось сидеть и не шевелиться.

— И сиди, и не высывайся!

— Не высидеть мне, мамаша! Надо их торопить, торопить...

— Что дальше-то будешь делать, соколик?

— Долго они канительятся, мои ребята, — вздохнул Котовский. Подумаешь, великое дело — паспорт раздобыть! Ничего, несколько дней я высижу, никому и в голову не придет, что я у них под боком. А с паспортом двину в Ташкент либо в Самарканд. Выжду — и снова отряд соберу...

— Ох, не сносить тебе головы! Неугомонный ты...

— Пока что голова крепко сидит. Ничего, Пелагея Ивановна, я еще много чего успею сделать в своей жизни!

Опять вызвал пристава второго участка Хаджи-Коли губернатор.

— Откровенно говоря, — сказал он, отечески похлопывая Хаджи-Коли по колену, — полиция у нас дрянь, жандармерия — ни к черту. Вы один наш русский Шерлок Холмс, на вас вся надежда, остальным я абсолютно не доверяю.

— Сделаю все возможное, — скромно ответил Хаджи-Коли.

— И все невозможное, — добавил, улыбаясь, губернатор. — Я вас очень прошу: и невозможное!

Возвращаясь после этого визита, Хаджи-Коли думал:

«Да, господин Котовский! Нас связывает одна веревочка. Или я сломаю голову, или же отличусь и сделаю карьеру. Вы, господин Котовский, фигурально выражаясь, моя синяя птица, мое золотое руно, хе-хе!»

Восьмого сентября приставу поступило донесение, что Котовский находится в городе, и, по-видимому, в районе четвертой части.

— Вот когда я его наконец сцапаю!

Хаджи-Коли даже зарумянился, услышав эту весть. Как собака-ищейка, напавшая на след, он повел мясистым носом, словно предназначенным, чтобы выслеживать.

— Сегодня же познакомимся с расположением улиц в этом районе города, — сказал он задрожавшим голосом. — Всегда полезно знать, где имеются проходные дворы, тупики, низкие заборы...

Он взял с собой нескольких переодетых городских и пошел бродить по улицам. Было темно. Кишинев освещался скупо.

В девять часов вечера Хаджи-Коли и тащившиеся поблизости неуклюжие в чужом платье городские спускались вниз по Теобашевской улице. Хаджи-Коли устал и подумывал, что пора закончить эту прогулку, что, как говорится, утро вечера мудренее.

И тут грудь с грудью столкнулся с Котовским! Оба были так ошеломлены, что одно мгновение стояли друг против друга, не двигаясь. Встреча была так неожиданна, что пристав не успел даже выхватить револьвер. Он только смотрел, вытаращив глаза.

Котовский бросился бежать вверх по Теобашевской.

— Держи! Стреляй, черт вас побери! — опомнился наконец пристав. Стреляй, говорят вам! Головы оторву!

Городские пытели, вытаскивали из карманов наганы. Наганы были тяжелые и оттягивали карманы кургузых пиджаков. Вытащили. Начали беспорядочно стрелять в темноту. Слышно было, как посвистывали пули.

Котовский исчез.

Городские продолжали стрелять. Они не целились и с явным удовольствием бахали из наганов, оглядываясь, чтобы не поранить друг друга.

— Отставить! — закричал Хаджи-Коли. — Стрелять не умеете, собачье отродье! Вот он — здесь был, около вас! А вы что? Рты разинули, остолопы?!

— Так ведь тёмно! — оправдывались городские. — Разве попадешь?

— «Тёмно!» «Тёмно!» Сами вы — темнота непроходимая! Дубины стоеросовые! Деревня-матушка! Где только понабирали таких? Убить человека не могут!

— Кабы он стоял, — почесывали городские затылки, — тогда почему не убить.

— Упустить из-под самого носа! — не унимался пристав. — Такой исключительный случай! Никогда себе этого не прощу!

Городские виновато молчали.

Между тем Котовский был ранен. Он превозмог страшную боль, собрал все силы, перемахнул через забор и упал на что-то мягкое и душистое.

«Цветы, — догадался он, ощупывая вокруг руками. — Кусты высокие, вероятно, георгины... И ведь не пускали меня — так нет, потащился! Как же это вышло?»

Лег поудобнее, стараясь не задевать раненую ногу. Прислушиваясь, стал разбираться в создавшемся положении.

Да, выйти на улицу, когда по всему городу рыщет полиция, — более необдуманного поступка нельзя было представить. Но мог ли он навлекать беду на этих людей,

предоставивших ему убежище? Хозяин дома пришел сегодня встревоженный.

— Кажется, пронюхали... — промолвил он. — Сейчас меня лавочник спрашивает: «Никак, квартиранта нашли, Максимыч?» — «Какого, говорю, квартиранта? Чего выдумываете?» — «Я, — отвечает, — ничего, меня это не касается, нет так нет, пускай будет по-вашему...»

Хозяева даже не намекнули, что Котовскому надо уходить. Он сам собрался. Они уговаривали остаться. Но он уверил, что так будет благоразумнее, что у него есть товарищ в железнодорожном поселке... Распрощался с хозяевами и вышел.

И надо же было нарваться на полицию!

Котовский тихо лежал в кустах. Здесь его трудно было обнаружить, между тем ему отлично было видно все пространство чистенького дворика. Он держал револьвер наготове.

«Если найдут, буду отбиваться. Эта публика храбростью не отличается».

Но погоня затихла. Котовский попробовал встать. Правая нога мучительно болела.

Где он находится? Что-то напоминает это крыльцо... Если направо, в углу двора, акация и возле акации скворечник, значит, это квартира Прусакова...

Скворечник был ясно виден на фоне неба. Прусаковы! Котовский не знаком с ними, но однажды вместе с Иваном Павловичем они вошли во двор, Иван Павлович принес им заказ...

Изумительная память пришла на помощь. Котовский смело нажал кнопку электрического звонка. Вошел. Думал, что потеряет сознание. «Ничего. Надо держаться. Прусаков. Николай Михайлович Прусаков».

— Николай Михайлович! Я Котовский, помогите мне, я ранен, меня преследует полиция, мне надо скрыться.

Женщина. Смотрит серьезно и, кажется, сочувственно.

— Коля, выйди на крыльцо, взгляни, нет ли кого. Сюда не пускай ни в коем случае, слышишь?

Она решительно приступила к делу. Осмотрела раны. Обе раны были на правой ноге. Промыла, смазала йодом, забинтовала.

— На улице тихо, — вернулся Николай Михайлович. — Но что же нам дальше с ним делать? Здесь небезопасно. Они перероют теперь весь район.

— Возьми извозчика и отвези его к Валентине Сергеевне. Она не откажет. Это наша хорошая знакомая, — пояснила она Котовскому.

— Да, пожалуй. К ней-то уж никто не сунется. Глушь. Место как раз будет подходящее, — согласился Николай Михайлович.

В извозничьей пролетке было тряско, и нога опять заныла. Ехали долго. Большая Медведица переливалась семью звездами над самой дугой. Спина извозчика заслоняла половину звездного неба.

— Это, кажется, Гончарная улица? — спросил вдруг Котовский.

— Гончарная.

— Я попрошу здесь остановиться. Мне тут надо навестить одного знакомого...

— Но как же вы...

— Не беспокойтесь. Спасибо вам. Извозчик, заворачивай обратно и отвези барина домой в целости и сохранности.

— Мне што, я хошь всю ночь буду возить!

Извозчик круто завернул, старый фаятон закричал, застонал рессорами, накренился. Потом все встало на место. Лошадь фыркнула и пошла трусить рысцей в обратном направлении.

Вот уже и скрылась извозничья пролетка. Звезды. Тишина.

Котовский пошел вдоль улицы, осторожно ступая на правую ногу и сильно прихрамывая. Дом номер шестнадцать... дом номер восемнадцать... Двадцать.

Здесь Котовский постучал в ставни.

— Кого вам?

— Михаил, открой.

— Вот это да...

Послышались торопливые шаги, дверь распахнулась. Михаил Романов схватил руку Котовского:

— Господи, какая радость! Не чаял видеть в живых! Заходи же, заходи скорее!

Они вошли в дом. Дверь закрылась.

Романов работал счетчиком вагонов на станции Кишинев. Домик стоял в привокзальном районе. Место было безопасное, люди надежные. Здесь Котовский и решил дожидаться, пока ему выправят паспорт на чужую фамилию да немножко заживут раны.

У Михаила можно было остановиться без стеснения. Здесь Котовский чувствовал себя как дома. И виделись-то они раньше редко, но Михаил с первой встречи проникся уважением, симпатией к Григорию Ивановичу, так же, как и Григорий Иванович сразу оценил Михаила. Котовский знал, что Михаил социал-демократ, что он ведет большую работу среди железнодорожников. А Михаил знал, что Котовский руководит вооруженной группой. Но более обстоятельно поговорить им не удавалось. Виделись они урывками. Михаил обычно грозился:

— Вот как-нибудь потолкуем, многое нужно мне сказать. Спорить будем.

— Спорить? О чем же?

— Обо всем. Большой разговор.

Но всегда получалось так, что Котовскому нельзя задерживаться, Михаилу надо к определенному часу быть на станции, да и адрес этой квартиры Михаила Романова — Котовский приберегал для особенно важного случая. Теперь этот случай настал.

Романов жил в маленьком своем домишке вдвоем с молодой женой.

Он сразу же заметил, что Котовский хромает. Расспросил подробнейшим образом, как и что случилось. Ругал Котовского:

— Такая неосторожность! Такая глупость! Если уж обязательно нужно было уйти из того дома, хотя бы загримировался!

— А документы? Документов-то нет! Тут никакой грим не поможет!

— Ну ладно, теперь об этом нечего говорить. Еще хорошо, что сравнительно благополучно все кончилось. Зато теперь мы наговоримся вдоволь. Лиза, выйди на крылечко, посмотри, не шляется ли кто поблизости.

— Смотрела. Даже собаки не бегают.

— Собаки-то ничего, — сказал Котовский, — лишь бы «легавые» не появились. Я не хотел бы доставить вам неприятности.

— О нас ты не беспокойся. А я с нашими ребятами уже поговорю, может быть, мы скорее достанем документы.

— Да мне через несколько дней обещали выправить паспорт...

— Хорошо, хорошо, так или иначе документы будут. Ну вот. Лиза соорудит тебе постель, я принесу побольше бинтов и марли... А в награду за труды услышу рассказы о вооруженной борьбе с самодержавием, которую вел твой отряд с удивительным бесстрашием.

И так у них повелось: днем Котовский перебинтовывал ногу, читал в газетах подробное описание своего побега. Из осторожности Михаил и Лиза снаружи запирали его на замок. Наконец они возвращались с работы. Обедали, и Михаил рассказывал новости, перечислял случаи крестьянских волнений в Молдавии, говорил о растущих забастовках, о стачке железнодорожников... Начинались бесчисленные разговоры. Иногда они спорили. Михаил восхищался отвагой Котовского, но считал, что это «капля в море».

— Понимаешь, капля в море! — гудел он, ероша волосы. Голосище у него мощный, Лиза говорила, что это прямо иерихонская труба. — Неприятное для правительства, но, в сущности, маленькое происшествие! И ведь они как стараются изобразить в своих газетах? Читал в «Бессарабце»? Они скрывают революционный характер борьбы. Изображают твои выступления как нападения банды уголовников с целью грабежа! Вот ведь какая история! Конечно, никто им не поверит, но что-то тут получается не так...

— А ты что предлагаешь?

— Видишь ли, Григорий Иванович... ты делаешь большое дело. Ты воодушевляешь своими действиями на борьбу. Особенно крестьян. Они видят, что, оказывается, не так страшен черт, как его малюют, что нужно только осмелиться. Но на этом пути многого не добьешься.

— Так-то так, да кому-то надо начинать! Запугали бедноту, довели до полной одичалости. А ведь люди же они?

— Это как раз положительная сторона твоей деятельности...

— А что же тебе не нравится?

— Плохо, что ты действуешь вслепую, что ты сам неважно разбираешься в целях борьбы, имеешь туманное представление о методах... Что можно сделать одному? Ведь раздавят поодиночке-то, всех раздавят!

— Нельзя терпеть, сил нет терпеть!

— Ты и твои товарищи — стихийные мстители. Плохо, что эта борьба протекала без руководства партии... Нет, нам весь народ надо поднять! А это дело сложное, требует большого ума... Без партии нам нельзя.

— Может быть. Я сам иногда думал об этом.

Раны все не заживали. Нога ныла. Думали, не вызвать ли фельдшера из железнодорожной больницы, но побоялись.

— Живет! — кричал Котовский. — На мне все заживает. Зато хороший урок: выдержка нужна, шага нельзя сделать непродуманно!

— Травят они тебя, эта полицейская свора. Еще бы, какой конфуз у них получился! В городе только и говорят о твоём побеге. А газеты какой подняли трезвон! Воображаю, как испортил ты настроение губернатору!

Что мог делать Котовский в его положении, как не выжидать?

А Хаджи-Коли поднял всю полицию, бросил во все закоулки своих агентов и шпииков. Хватка у него была, у этого Хаджи-Коли. Другой бы не обратил внимания на донесение будочника, что поздно вечером девятого числа по улице проехал извозчик и вез он двоих людей.

— Знаешь извозчика? Номер запомнил?

— А что мне номер запоминать, я и так всех извозчиков нашенских знаю. Захар вез, больше никто как Захар.

Хаджи-Коли не поленился отыскать и Захара.

— Вез ночью двух седоков?

— Двух? Разве всех запомнишь? Пьяного барина из клуба вез... Потом хи-хи — одного тут с барышней...

— Я тебя спрашиваю: двух мужчин вез?

— Вез. Разве я отрицаю? Хороший человек попался. Только я собирался полтинник с него спросить, а он мне рупь целковый вываливает!

— Кто — «он»? Ведь ты говоришь, двое было?

— Смешно как вы говорите, ваше благородие. Одно-то мы высадили на Гончарной, а второго я обратно доставил, на Теобашевскую.

— Дом? Дом номер? Где высадили?

— Он тут, на углу, сошел. Мне, говорит, близко...

Теобашевская — Гончарная... И почему Хаджи-Коли к этому случаю прицепился? Впрочем, он так же с десятками дворников, ночных сторожей, околоточных беседовал и в случае малейшего подозрения агентов посылал.

Гончарная улица невелика. Обшарили. С самыми большими предосторожностями...

Двадцать четвертого сентября был превосходный, солнечный, совсем летний день. Небо было такое бирюзовое, такое безоблачное. Солнце пекло. Из садов плыли запахи спелых яблок, а на мощенных булыжником улицах каждая повозка, или извозчицья таратайка, или пустая телега с мертвецки пьяным возчиком поднимали такую пыль, что некоторое время не

видно было ни самой телеги, ни пешеходов, идущих по улице, ни домов. Оркестр в городском саду играл поурри из «Корневильских колоколов». Все пили зельтерскую воду. На Соборной площади стояли извозчики, а от реки, из нижнего города, доносились переборы гармоники.

Словом, Кишинев был Кишинев.

Вечером стала сильно пахнуть резеда. Теплый ветер любовно ерошил деревья в яблоневых садах.

А в полицейском управлении была необычайная суতোлка. Хаджи-Коли распоряжался, вызывал, давал указания. Когда стемнело, тронулись. Пристава второго участка Хаджи-Коли сопровождали помощники приставов, околоточные надзиратели и самые отборные городовые — целая армия, получившая точнейшие инструкции, боевые патроны, указание — стрелять в плечо или в ноги, по возможности не убивать, «но, боже упаси вас, упустить добычу».

Заметив полицию, Котовский открыл окно, выходящее в соседний двор, выскочил, пробежал двором и перепрыгнул через забор. Но здесь он увидел буквально толпу полицейских.

У него был браунинг, но он не стал стрелять. Что толку: убил бы он одного или двух полицейских, но тогда остальные наверняка ухлопали бы его.

Да и бежать он тоже не мог. Две глубокие раны на ноге давали себя чувствовать...

Котовского еще не доставили в тюремную камеру, а в типографиях газет наборщики уже набрали сенсационное известие: Котовский пойман, Котовский снова водворен в тюрьму!

— Романова тоже арестовать! — распорядился Хаджи-Коли. — Трое дождитесь его возвращения с дежурства. Он будет привлечен к ответственности за укрывательство преступника.

Как звенел его голос! Какое было в этом голосе торжество! И как он расвирепел, когда узнал, что Романов вместе с женой бесследно исчез, кем-то предупрежденный!

8

Семь месяцев, всю осень и всю зиму, судебная машина обрабатывала дополнительные материалы следствия. А Котовский ходил на перевязки в тюремный приемный покой. Остальное время разглядывал голые стены камеры и думал.

На голых стенах кое-где трещины и пятна сырости. Если долго в них вглядываться, обнаруживаешь сочетания линий, подобие рисунков. Вот это пятно похоже на птицу, раскрывшую крылья, чтобы лететь. А в углу потрескавшаяся штукатурка напоминает голову льва.

Окошко в камере узкое, подслеповатое, оно высоко расположено, выше головы. В него не видно даже кусочка неба: снаружи к окну приделан железный козырек.

Возле камеры кроме обычного тюремного надзирателя дежурит офицер. Но Котовский думает о побеге. Нога заживает. В тюрьму удалось передать два браунинга для побега Котовского. Друзья не дремлют.

Но вот уже и суд.

— Какое сегодня число? — спросил Котовский конвоира.

— Тринадцатое апреля, — ответил конвоир и оглянулся: с арестованными не полагается разговаривать.

Десять лет каторги... Приговор заранее был известен, но процедура суда выполнялась со всей торжественностью. Говорил председательствующий, говорил прокурор. Дали слово подсудимому. Котовский не оправдывался. Котовский обвинял. Председательствующий поморщился и лишил его слова.

Опять камера. Опять пятна на стенах, опять мысли, мысли...

Прошло лето. Разработанный план побега не удался. Двадцать третьего ноября окружной суд вторично рассматривал дело. Упорно, неукоснительно расценивали Котовского

не как политического, а как уголовного преступника-разбойника. Только в секретной переписке откровенно называли его «политическим» и «опасным». На суде Котовский опять громил устои самодержавия. Председательствующий Попов позвонил в колокольчик, прервал речь Котовского и предложил ему говорить по существу. Товарищ прокурора Саченко-Сакун поддерживал обвинение. Теперь по совокупности с прежними приговорами присудили к двенадцати годам каторги.

Публику пускали в зал по специальным билетам. Возле помещения суда стояла большая толпа.

Все кончено. Прощай, Кишинев!

Звенят кандалы. На вокзале глазеют, как ведут арестованного. Кажется, мелькнуло лицо Леонтия. Или только похожий на него?

В столыпинском вагоне устроены клетки, напоминающие зоологический сад. В клетках помещаются арестованные, по узкому коридору ходит часовой. Поезд гремит, паровоз залихватно кричит у семафоров. Наверное, там поля, деревни... Окон в клетушке нет.

Но вот она — страшная, безмолвная, каменный склеп — Николаевская каторжная тюрьма. Одинокaя камера. Ни звука. Ни человеческого голоса. Два с половиной года — ни звука. Два с половиной года — ни человеческого голоса. Плесень, полумрак. В одни и те же часы подъем, в одни и те же часы выдача всегда одинаковой пищи. Одна из самых изощренных пыток — прогулка в течение пятнадцати минут. Это значит — только напомнить, что есть солнечный свет, есть небо, есть упоительный свежий воздух (хотя какой свежий воздух в тюремном дворе!). Напомнить, что есть живой, многообразный мир, который мерещится в снах, тревожит в воспоминаниях... Напомнить — и снова захлопнуть глухую дверь.

Отвратительно взвизгивает глазок, когда надзиратель отодвигает заслон и заглядывает в камеру. Виден только его глаз. И снова визг, и снова никого. И вдруг начинает казаться, что, может быть, нет деревьев, нет ручьев, солнца, детей, музыки, нет смеющихся женщин, шумных базаров, колокольного звона... может быть, вообще ничего нет?

Немногие выдерживали этот режим, и гибли десятками.

Котовский держался. С первого дня он взял за неперемнное правило делать гимнастику. С первого дня он приказал себе верить в жизнь, в свободу. Во что бы то ни стало не умереть! Борьба далеко еще не кончена!

Упражнение номер один... Упражнение номер два...

Вероятно, тюремные надзиратели считали, что он уже свихнулся. Они привыкли наблюдать, как чахнут, или сходят с ума, или просто умирают одна за другой их жертвы, запертые в одиночки.

Но мускулы у Котовского были по-прежнему упруги. Просыпаясь, он говорил себе:

— Я буду жить.

Упражнение номер один... Упражнение номер два...

Мысли. В одиночной тюремной камере мысли иногда замирают, и тогда человек находится в полусознательном состоянии, как раз посредине между чертой жизни и чертой небытия. И вдруг мысли прорвутся, хлынут неудержимым потоком, устремятся вихрем, и здесь переплетется все: и размышления о больших неразрешенных вопросах, и какое-то особое, умудренное ощущение бытия, и воспоминания, самые неожиданные, ослепительно-яркие воспоминания давних и недавних встреч, солнечных дней, малых и больших радостей...

Этот арестант упорно не хотел умирать. Его отправили в Смоленскую пересыльную тюрьму, оттуда в Орловскую, отсюда в знаменитый Александровский централ, о котором даже сложена песня, — мрачный централ с каменными, похожими на склепы камерами.

Прошел еще год, и Котовского можно было увидеть на золотых приисках, склоненного над шурфом. Даже наемные приисковые рабочие при двенадцатичасовом рабочем дне, зарабатывая сорок копеек и находясь в собачьих условиях, к сорока годам превращались в полных инвалидов. Что же можно сказать об арестантах, жизнь которых и вовсе в грош не

ставили ни правительство, ни тюремщики, ни владельцы золотых приисков?

И это вынес Котовский. А через год он уже таскал шпалы на стройке Амурской железной дороги, возил землю в тачке, забивал молотом костыли.

В феврале 1913 года его повезли в Нерчинские рудники, на каторжные работы. Поезд шел по угрюмым ущельям, где утесы сменяются болотистыми низинами, где безлюдье и мертвая тишина.

Среди арестантов оказался один бывалый человек. Он знал эти невеселые места и рассказывал товарищам по несчастью о жизни, которая их ожидает.

— Поздравляю вас, — говорил он с напускной веселостью, — с этого момента мы перешли из ведения кабинета его величества, распоряжающегося тюрьмами, в ведение министерства внутренних дел.

— Хрен редьки не слаще, — уныло отозвался кто-то.

— Нерчинская каторга, — продолжал рассказчик, — делится на Зерентуйский, Алгачинский и Карийский районы, в каждом из них по несколько тюрем. В Акатуевской тюрьме — вон в той стороне, влево, — содержат важных государственных преступников. Что будем делать? Добывать серебро-свинцовую руду — очень вредное для здоровья занятие. Плата — двадцать копеек в сутки, не разгуляешься. Пища плохая, жилье отвратительное, смертность необычайная. Добывали тут и золотишко на Карийском прииске, не знаю, как сейчас.

Он бы много еще чего порассказал, но они уже прибыли. Котовский вглядывался в мглистую даль, озирал суровые горные вершины и голое пространство, покрытое редким кустарником. Нет, не отчаяние, не безнадежность были у него на душе. Он уже прикидывал, можно ли незамеченным пробраться по этому кустарнику и потребует ли карабкаться по отвесным скалам.

Как только привезли новую партию, начальник Тарасюк выстроил всех во дворе, стал прогуливать перед строем, хотя его походка была нетвердой. Язык у него немного заплетался: он ухитрился с утра уже заправиться, а пил исключительно один чистый спирт.

— Вот что... красавчики мои... хе!.. детки мои! Вы присланы, да... да... в эти... хе... бла-го-сло-вен-ные места... Так я говорю, Кривцов? обернулся он к фельдфебелю, следившему, чтобы арестанты стояли в струнку и не шумели. — Так я говорю! — ответил он сам за безмолвствовавшего Кривцова.

Мерзлая дрянь висела в воздухе. Туман не туман, но всегда была здесь какая-то дымка. Ложбина, застроенная хибарками, почерневшими избами, почерневшими банями, дровяниками, изрытая, без садилов, без единого деревца, была неприглядна, уныла. Серая одежда каторжан, серые шинели солдат, которые их охраняли, — все не радовало глаз.

— Кривцов! — помолчав и некоторое время иронически оглядывая своих «деток», продолжал начальник. — Напомни, о чем я говорил? Ах, да, бла-го-сло-вен-ные места. Среди вас есть старики, они знают, они вам расскажут. Я только хочу вас предупредить: сюда вы прибыли, здесь и останетесь... А? Останетесь, говорю, подохнете, проще говоря.

По мере того как он произносил речь, он все больше пьянел. Но решил держаться и все высказать.

— Пре-дупреж-ждаю! — повысил он голос. — Бежать отсюда некуда тайга. Пробовали. Потом их находили. Не их, я неправильно выразился, а их объедки. Не лютей зверь, так мошка съест, гнус, комары. Что? Не советую.

Он посмотрел, все ли слушают и какое впечатление производят его слова.

— Все. Я вам обрисовал, если можно так выразиться, конъюнктуру... Кривцов, я правильно говорю? Мы вас будем охранять, будете получать пищу и тому подобное. Работа в шахтах. Все. А желаете — пожалуйста, не держу, отправляйтесь в побег. Христос вам в путь и богородица вдогонку! Хе! Хоть завтра!

И внезапно добавил:

— Р-разойтись!

В прибывшей партии каторжан Котовский выделялся и ростом, и всем своим

значительным видом, сразу привлекавшим к нему внимание. Что было неожиданным для Котовского: оказывается, политические его знали, любили, и он сразу очутился в своей семье. Это были хорошие, образованные люди, всю свою жизнь отдавшие борьбе с самодержавием. Самые тяжелые испытания легче переносить, когда есть дружеская взаимная поддержка. И Котовский с первого же дня стал обдумывать и разрабатывать план побега.

Физический труд? Он не боялся физического труда. И ведь ему не было еще и тридцати трех! Он был полон сил, он очень хотел жить. Он спускался в глубокую шахту и возил в тачке руду.

Однажды в шахту хлынула подземная вода. Котовский чуть не утонул. Спасло только хладнокровие.

Пища здесь была лучше. Изредка можно было видеть северное небо.

Гимнастика не прекращалась, она вошла в привычку, неизменное правило. Гимнастика — и ведро ледяной воды, вылитое на шею, на плечи, на голову. Растирание — так, чтобы кожа горела. И пусть на нарах — все же молодой и глубокий сон.

Котовский все продумал. Он не ушел в побег просто так, сдуру, как некоторые бежали, особенно весной. Он исподволь расспросил, есть ли дороги, есть ли реки, как идти в лесу, — все разузнал. Он готовился больше двух лет. Он рассуждал так: ему уже за тридцать. Стоит ли так жить? Уж лучше умереть среди деревьев, на зеленом моховом настиле, под высоким небом, чем умереть здесь! Впрочем, он и не подумает умирать. И время выбрал подходящее: лютые морозы кончились, но ростепель не настала, мошки нет, реки не разлились, еще во льду, по руслу легче всего идти.

В конце февраля в Нерчинске еще и не пахнет весной. Разве что на небе появляются такие незимние, нежные прожилки. Но тоска по весенней ростепели уже начинает тревожить.

Вот почему нескладный парень в косматой папахе, в теплых казенных валенках, в белом полушубке, в рукавицах военного образца — конвоир, охраняющий выход из шахты, — в такой вот тревожный, полный предчувствий и в то же время неприветливый день хлопал рука об руку, делал пять шагов вперед, пять шагов назад и напевал. Брови заиндевели, ресницы тоже, но все-таки он пел, думая о своей деревне:

На окошке у невестки
Кружевные занавески
И герань красуется,
Все интересуются...

Затем снова — пять шагов вперед, пять шагов назад... Хлоп-хлоп рукавица об рукавицу... Ну и холодище! Какая там, к черту, весна!

На окошке у невестки
Кружевные занавески...

Котовский связал конвоира и запер его в сторожке. Взял его револьвер. Потом поднялся из шахты, убил часового, охранявшего лебедку, и ушел. Но ушел не раньше, чем переодевшись в его полушубок, нахлобучив на голову его теплую папаху, натянув на руки рукавицы военного образца и обув почти новые валенки, хотя «б/у» — бывшие в употреблении, как говорят каптеры.

Теперь можно в путь. Дорога свободна: впереди и позади, направо и налево необъятная, безлюдная, суровая и угрюмая матушка-тайга...

Их не очень охраняли, несчастных каторжан. Плохо одетые, на тяжелых работах — куда они могли деваться, когда кругом тайга?

В кармане погромыхивали куски сахара: откладывал их изо дня в день. Сахар — великое дело, сахаром можно питаться, когда бредешь по тайге. Прямиком к железной дороге

было бы ближе, но приходилось идти окольным путем, чтобы не нарваться на заставу.

Могучи стволы лиственниц, разлапы ели. Звериные тропы в тайге ведут к водоемам. А по реке иди вверх по течению и через несколько суток непременно набредешь на поселок.

Котовский шел. Сил становилось все меньше. Он думал:

«Кто не знал Сибири, пусть лучше никогда не узнает. Изобретателен на подлости человек! Ведь подумать только: какой богатый, красивый край. В нем бы жить припеваючи. А как этот край пропитали горючими, кровавыми слезами. Долго надо замаливать этот грех, чтобы не ссыльнокааторжной называлась Сибирь, а привольной страной благоденствия...»

Он шел. Шел через бурелом, через заросли, карабкался, полз, выдираясь. Сахар. Конечно, этого мало. Один раз поймал зверька, его прищемило лопнувшим от мороза деревом. Он схватил его, освежевал и съел сырым. Пробовал жевать и ветки. Горечь, и образуется во рту горькая слюна. Зато воды сколько угодно. Можно есть снег. Можно пить из полыньи.

Один раз набрел на избушку. Сначала подумал: какой-нибудь военный пост. Избушка оказалась необитаемой. На деревянном неказистом столе лежали куски вяленого мяса, замерзший хлеб, большой кусок сала, спички. Около печурки — вязанка дров. Чья благодетельная рука приготовила это для тех, кто бродит в тайге?

Он поел. Спички поделил пополам, половину оставил. После некоторого колебания выложил на стол один кусок сахара. Ребята дали ему в дорогу кисет махорки. Он и махорку оставил в избушке. Обогрелся, выпался как следует, утром наготовил хворосту взамен истраченного — и отправился дальше, ощупывая кусок сала, счастливый, бодрый, набравшийся сил.

Теперь-то он дойдет! И ночи пошли светлые — луна. Все складывается в его пользу. Валенки прохудились, но он намотал на ноги разорванную куртку. Он обязательно дойдет!

На двадцатый день вышел на железную дорогу. Смотрел, смотрел на рельсы, насыпь, на телеграфные столбы и не верил глазам. Это было спасение, это была победа, это была жизнь.

Первым человеком, встреченным за время скитаний, был будочник на Сибирской магистрали, приветливый, добрый старик. Будочник накормил пельменями и уложил спать на печке под тулупом. Вот когда можно было отогреться! Только теперь Котовский почувствовал, что промерз до костей. Холод выходил из него, тулуп пахнул чем-то домашним, уютным... И хотя впереди было много опасностей, все-таки это была настоящая свобода, настоящая жизнь.

Будочник устроил бесплатный проезд по железной дороге, подробно рассказал, в каких местах нужно особенно остерегаться. Котовский предложил ему уплатить, старик даже обиделся:

— Разве мы не понимаем, что ты за человек? Нет уж, миляга, деньги ты побереги, еще пригодятся, а мне ничего не надо. Дружба не оплачивается. Так-то.

Старик объяснил, как перебраться через Байкал, посоветовал ни в коем случае не подходить к железнодорожным поселкам и вдруг как будто даже некстати добавил:

— Не ешь с барином вишен — косточками закидает.

Он вообще любил всякие прибаутки. Рассказывал, как сердился недавно начальник конвоя, когда из арестантского вагона, распилив пол, бежали трое заключенных, и смеялся трясским хохотком:

— Угорела барыня в нетопленной бане!

Котовский расстался с ним, полный расположения, полный надежд, полный веры в человека. Нужно было двигаться дальше. И хотя Котовский формально не состоял в партии большевиков, политические ссыльные в Нерчинске дали ему явки...

Чита, Иркутск, Томск. Ему помогли, укрыли. Вот и паспорт на руках. Семь лет горькой неволи позади, а впереди — какая? — неизвестно какая, но жизнь!

Когда Котовский перевалил через Урал, стало казаться, что уже видна прекрасная его Молдова. Не ее ли сады зеленеют вон там, у горизонта? Не воды ли Днестра блеснули за кустами черной смородины?

Приходилось часто переезжать с места на место, чтобы полиция не напала на след. Работал кочегаром на паровой мельнице, подкладывал уголь в огнедышащие печи, делал в Сызрани звонкие кирпичи, ухаживал за парниковыми огурцами в Саратове, в Самаре грузил арбузы на баржи...

Арбузы грузят так: встают вереницей от складских помещений до кромки воды, до самого борта баржи. И вот начинают перелетать из рук в руки, от одного к другому круглые полосатые астраханские арбузы, и вскоре образуется непрерывный поток. Только успевай записывай бойкий приказчик с карандашом за ухом!

Красавица Волга широко раскинулась, и поигрывала волной, и пестрела серебряной рябью. Грузчики — народ плечистый, Котовскому под стать. И песни у них хорошие. И махорка крепкая. Но почему Котовскому все снится Днестр? Или Оргеевская дорога? Почему, шатаясь вдоль по Волге, по Жигулям, напевает он совсем другое?

Лист зеленый, куст терновый,
Правды нет у нас в Молдове...

Тоскует по Молдове Котовский. Смотрит, как по Волге плывут груженные лесом, красивые, как лебеди, беляны, а думает, что это извилистый Прут.

Не выдержал — весна доняла, запахи расцветающих деревьев — вернулся в Бессарабию. Снял номер в самой фешенебельной гостинице в Кишиневе, пошел в театр, заказал в ресторане солянку по-московски, свиную отбивную и бутылку «Массандры».

В тот же вечер установил связи со своими друзьями, пожалел, что нет рядом умницы Миши Романова, известил через верных людей Леонтия.

И вот опять появился отряд мстителей.

— Не останавливаться ни перед какими средствами! — кричал, побагровев, полицмейстер, когда услышал о появлении Котовского. — Не есть и не спать, пока не будет пойман преступник! Что же это такое наконец? Империя мы или не империя?!

Кажется, именно к этому времени относится аполексический удар, или в просторечии «кондрашка», хватившая достопочтенного Вартана Артемьевича Киркорова. Когда его ближайший приятель с улыбочкой сообщил, что, дескать, «из дальних странствий возвратясь» и как еще там говорится, ну, словом, пожаловал в Кишинев небезызвестный Котовский, так что «готовьте, любезнейший, денежки». Вартан Артемьевич посмотрел на шутника и тихо спросил:

— Вы это что, милостивый государь, вы это серьезно? Или так? Ради неуместного зубоскальства?

— Разумеется, серьезно. Лично сам присутствовал при разговоре господина полицмейстера с представителями жандармерии. Веселенький разговор, доложу я вам!

Вартан Артемьевич молча постоял, пошатнулся, ему подставили кресло. Вечером он даже как бы отошел. Даже играл в карты и ужинал... А ночью хлоп — отнялась правая половина. Хотел что-то сказать, о чем-то распорядиться... Какое! Теперь он тряс головой и мычал. Наследники Киркорова допрашивали врачей, долго ли продлится такое состояние, наступит ли наконец финал, и кормили беспомощного миллионера с ложечки.

Понаехали в Кишинев сыщики. Стали делать облавы, засады по дорогам устраивать, а налеты еще участились.

Во время одной из облав, когда полицейские весь город прочесывали, один из сыщиков застал Котовского в ресторане, когда тот с большим аппетитом поужинал и теперь пил чай с лимоном, рассеянно поглядывая по сторонам.

Сыщик разлетелся к Котовскому:

— Предъявите ваш паспорт.

Котовский даже глазом не моргнул. Кончил размешивать сахар в стакане, вынул ложечку и только после этого с оскорбленным достоинством спросил подошедшего:

— Бог с вами, голубчик! За кого вы меня принимаете?

И что же? Сыщик смутился, сказал: «Пардон», — и на цыпочках удалился. Понял, что переусердствовал и беспокоил некую важную персону. Вынул незаметно фотокарточку Котовского, сличил — не то обличье. Недаром потрудились Григорий Иванович над гримировкой!

А важный барин постучал ложечкой, подозвал официанта и сказал ему ласково, как говорят только одним официантам:

— Попрошу тебя, голубчик: два бутерброда с сыром. И быстренько! Да смотри, чтобы свежие были и обязательно со слезой!

— У нас все со слезой! Не извольте беспокоиться! — ответил тощий зализанный официант. — У нас без слезы не бывает!

Но вот и с бутербродами управился. И сколько же можно слушать рыдания скрипки, нестройные голоса подвыпивших гуляк?

Эх, загулял, загу-лял, загу-лял
Парни-шка ма-ладой да мала-дой...
В красной рубашончке,
Скажи мне, кто такой!..

— Сколько с меня?

— Сию минуту!

Вот входит в зал мой милый,
Растрепаны усы.
Берет он черну шляпу
И смотрит на часы...

Это уже певичка вышла на крохотную эстраду, сверкая фальшивыми драгоценностями:

Смотри, смотри, мой милый,
Смотри, который час!
Наверь-но... наверь-но...
Разлучат скоро нас!..

Вышел на улицу — чудесный вечер. Но эти переодетые городовые, эти шустрые молодые люди, заглядывающие в лица прохожих...

«Кажется, облава не кончилась», — подумал с тревогой Котовский.

Ему встретились подозрительные люди — штатские, но с военной выправкой. Котовский без колебаний шагнул на ступеньки собора, снял котелок, мелко перекрестился и вошел в открытые двери.

Шло богослужение, гудел дьякон, на клиросе церковные певчие следили за палочкой регента и, скучая, щипали друг друга и фыркали в кулак. Котовский протискался вперед и стал разглядывать стоявшую впереди барыню, рыжую, тощую, истово молившуюся, по-видимому, наделавшую много грехов.

И вдруг совсем рядом, справа, он увидел не кого-нибудь, а пристава второго участка Хаджи-Коли, того самого, что арестовал его на Гончарной.

Котовский передал деньги, шепнув: «На свечку». Деньги, переходя от одного прихожанина к другому, попали в руки толстого церковного старосты, затем так же по рукам пошла восковая свеча. Котовский сделал шаг влево, чтобы наклониться к старушке и зажечь от ее свечи свою.

«Какое знакомое лицо! — размышлял между тем Хаджи-Коли. — Где бы я мог его видеть? Или похож на кого?»

Важный господин изредка и не слишком поспешно крестился. Оно и понятно: солидные люди даже в общении с вездесущим сохраняют собственное достоинство.

Еще раз два скосил глаза на незнакомца пристав Хаджи-Коли. Ничего не припомнил. Постарался настроиться на соответствующий моменту лад. Он был верующий, являлся к началу церковной службы так же аккуратно, как в полицейское управление, крестил лоб при каждом возгласе «аминь» и считал непристойным думать о посторонних вещах во время молитвы.

Когда же он не выдержал характера и еще раз покосился, незнакомого господина уже не было. Вышел или протиснулся к левому клиросу?

Котовский решил после этого случая перебраться из Кишинева в любое глухое местечко. Слишком много полиции нагнали в Кишинев!

Ему удалось поступить на полевые работы в имении Бардар в Кишиневском уезде. Работа была поденная, поэтому никто не спрашивал, если случались отлучки. Заработал — получай. Не явился — не надо.

Здесь среди работников со многими сдружился. Народ все трудовой, и разговоры среди них беспокойные: клянут порядки, бранят царя, ругают помещиков.

— Убивали их в девятьсот пятом! — толковал один во время перекура. И мало еще.

— Пусть живут, только землю у них отнять. Нахватали земли, а обработать своими руками не могут.

— Землю они не отдадут! На это не надейся! Смотри, чтобы у тебя последнюю не забрали, — устало говорил пожилой крестьянин, залатанный, нечесаный, жалкий.

И Котовский тоже вставлял свое слово:

— Вот сейчас у кого мы работаем? Он и не помещик, наш хозяин, а помещику не уступит. Маленький помещик, попросту кулак-хуторянин.

— Мал, да удал, — отозвался другой собеседник Котовского, помоложе.

— У нас, в Татарбунарах, крестьяне на общем сходе постановили не охранять казенные учреждения. Довольно! И десятских отказались представлять. Вот как у нас.

— А те что?

— Бунт, говорят.

— Пускай бунт. Какая разница?

— Смотрите, мы толкуем про бунт, а, никак, к нам стражники пожаловали.

Не успели договорить эти слова, как тот, что помоложе, вскочил — и только его и видели.

— Не нравится, стало быть, со стражниками встречаться, — усмехнулся пожилой. — Ну, да оно и верно, лучше от них подальше. Облава, поди, на дезертиров. А что толку? Выловят их, сдадут коменданту, а они опять разбегутся. Устал народ воевать.

Стражники спешили. Следом прискакал на коне пристав Полтораднев, деловой, старающийся выслужиться перед начальством. Полтораднев слез с коня. Мужики толпились поодаль, но тоже слушали и глазели. Оказывается, речь шла о Котовском. Полтораднев распушил стражников, что они плохо ловят.

— Вы что, я вас спрашиваю, иголку ищите в сене? Человека вы ищите, разбойника, вот кого вы ищите! Поняли?

— Поняли, — отвечали стражники.

— Это уж чего тут не понять, — пробормотал пожилой крестьянин, хотя никто его не спрашивал. — То человек, а то иголка. Разница!

— Вместо того чтобы ловить преступника Котовского, вы просто ездите по дорогам, проще говоря, лодыря гоняете, дурака валяете. Между тем какая задача перед вами поставлена? Найти и изловить! Поняли?

— Поняли, — отвечали стражники.

— Кого изловить? Котовского! Ясно?

— Ясно, — отвечали стражники.

Котовский стоял рядом с пожилым крестьянином, слушал, как распекает стражников Полторадневу, и улыбался. Узнать его было трудно.

Полторадневу вынул аккуратно сложенный носовой платок, вытер пот на лбу, вскарабкался на седло и уехал.

— Сам бы ловил, — ворчали стражники, — накричать — немудреное дело. «Не иголка»!

Котовский подошел поближе:

— Здорово, служивые! Это кто такой сердитый приезжал?

— Пристав. Ему что — поговорил да уехал, а мы уже неделю по дорогам мотаемся.

— Так вам будет хоть награда какая или повышение, если вы изловите этого Котовского? А то я бы вам помог его изловить?

— Уж коли мы не можем, где тебе!

— Ну все-таки... Я-то местный, мне легче проследить.

— А ну тебя. Ты проследишь, а в нас он стрелять будет.

— Это стражнички правильно говорят, — поспешно согласился пожилой крестьянин.

А когда они остались одни, добавил:

— Постыдился бы ты, бога бы побоялся: Котовского помогать ловить! Не ожидал я от тебя, человек ты ровно бы умный, а вон до чего додумался!

— Дядя, да ведь я и есть Котовский.

— Да ну-у?! А не врешь?

— Чего мне врать?

— Вот это здорово! Тогда, значит, ты правильную линию держал.

— А теперь мне надо отсюда убираться. Будь здоров, землячок!

— Пошли тебе бог удачи! А уж я этой встречи вовек не забуду!

10

Котовскому удалось раздобыть новый паспорт на имя Ивана Рошкована. Не говоря о том, что сам паспорт был отличный, что называется — комар носа не подточит, но помимо паспорта были выправлены все документы, удостоверяющие, что Иван Рошкован — белобилетник, призыву в войска не подлежит, и медицинские справки о хромоте и о том, что правая нога Рошкована короче левой на пять сантиметров — иди проверь.

Котовский наложил в левый сапог несколько стелек и в самом деле стал припадать на правую ногу.

Белобилетник и притом вполне здоровый и работоспособный — это ли не клад для любого рачительного хозяина! Да еще в такое трудное время, когда вообще рабочих рук не хватает, когда у крестьян половина земли осталась незасеянной, — некому работать, все в армии!

Георгий Стаматов на вотчине Кайнары был нового типа помещик, выбившийся из мужиков. Георгий Стаматов сам этим очень гордился.

— Я простой мужик, — бил он себя в грудь узловатым, с грязными ногтями, с уцелевшими еще мозолями кулачищем, — я простой мужик, и род мой мужицкий, и знаю я мужицкую породу, все хватки знаю их, как облупленных! Старого воробья на мякине не проведешь! Мне подавай работу! А ты, Иван, вижу, дельный человек, мы с тобой поладим.

На земле Стаматова работали пленные австрийцы, рыли окопы. Стаматов и австрийцев нанимал на полевые работы.

Стаматов был из хуторян, разбогател на столыпинской реформе, обобрал крестьян, захватив лучшие земли. А потом нажился на поставках в армию. Умел сунуть взятку кому нужно, умел продать и сопревшее сено и мясо с душиком.

Нахватал денег, а тратить не умел, жил по-деревенски, только что еды был непочатый край да вина покупал самые дорогие, хотя сам предпочитал казенную, белую, с белой

печатью.

И все его приобретения были одно нелепее другого. Привез из Кишинева необыкновенные, под стеклянным колпаком, старинные часы. Часы не шли, заводились ключом, но пружина, по-видимому, не действовала, да и внешний вид часов не соответствовал обстановке стаматовского дома. Но Георгий Стаматов радовался как дитя:

— Какова покупочка, Иван? Хороша?

— Что говорить, часы музейные.

— Вот! Правильное слово! А мне бы всю жизнь думать, а так не назвать. Музейные! Поставлю их в посудном шкафе и пушай стоят, хлеба не просят. А время я по петухам узнаю, куда точнее, да и ходики у меня есть, с гирями, честь по чести.

Сеялку тоже купил Стаматов. Купил велосипед: «Вот вырастет внук будет ездить, я-то не любитель». Еще граммофон приобрел, громадный, с голубой гофрированной трубой. При граммофоне десять пластинок: Вяльцева, вальс «На сопках Маньчжурии», архиерейский хор, краковяк, хор Архангельского, «Дубинушка» Шаляпина, «Так целуй же меня», кек-уок, полька и «Коробейники».

Граммoфон ставился у открытого окна, заводила его золовка Стаматова Дуня. Граммoфон кашлял, хрипел или орал благим матом, привлекая внимание пленных австрийцев. Стаматов сидел на крыльце и пил чай.

Кончался июнь. Стояли жаркие, удушливые дни. Где-то поблизости погромыхивали грозы. Все сразу созрело, все требовало немедленной уборки, хлеб начал осыпаться; а тут поспела и малина, яблоки надо было снимать, покосы задержались, сломалась косилка «Мак Кормик», и негде было починить.

— Как у нас ячмень? — с тревогой спрашивал Стаматов.

— Тоже осыпается. Надо убирать.

II

«Докладная записка кишиневского полицмейстера начальнику Бессарабского Губернского Жандармского Управления

г. Кишинев 26 июня 1916 г.

Получив сведения о том, что разыскиваемый беглый каторжник Григорий Котовский находится в имении Стаматова, на вотчине Кайнары, в качестве ватаги, 24 сего июня я предложил кишиневскому уездному исправнику Хаджи-Коли принять участие в задержании преступника. В тот же день я с исправником Хаджи-Коли, приставом 3-го участка Гембарским и еще несколькими чинами вверенной мне полиции выехали на автомобиле в названное имение. 25 июня Котовский разъезжал по экономии и верхом же скрылся. За ним была устроена погоня. Скрываясь от погони, Котовский менял головной убор, слезал с лошади (возможно, по причине усталости последней) и прятался в хлебах, пользуясь их большим ростом. Наконец в 5 с половиной часов вечера он был замечен в ячмене; я подбежал к месту, где ячмень шевелился, и, увидев Котовского, потребовал поднять руки вверх, но так как он исполнением этого моего требования медлил, я произвел в него выстрел, коим ранил его, Котовского, в левую сторону груди. К тому времени подбежали и другие члены полиции; Котовский задержан и доставлен в Кишинев. Об этом имею честь уведомить ваше высокородие и присовокупить, что пока Котовский под строгим караулом содержится в кордегардии 1-го участка.

Полицмейстер Зайцев ».

12

«Ну, теперь-то они меня укокошат, не выпустят живым, — размышлял Котовский, лежа

на больничной койке в тюремной больнице, — тем более, что время военное, сейчас повесить — проще всего».

Белые потолки, белые стены. Доктор в белом халате, но виднеется военная форма из-под халата. Щупает плечо, щупает ребра:

— Больно? Здесь больно?

И уходит, покачивая головой:

— Здорово вас, батенька мой, разделали!

Почему доктора любят говорить «батенька мой»?

В открытое окно слышно, как воркуют голуби. И вдруг песня. Котовский так и взметнулся на койке, и только резкая боль заставила его опять лежать неподвижно.

Чей-то голос негромко напевал:

Песни слез и цепей
Создаются в тюрьме
Под давлением горя и скуки.
Нет спокойствия в ней,
Только грезы во сне
Облегчают страдания муки.

Голос замолк. Вместо него донесся грубый окрик:

— Чего разорался-то?

И снова тишина, почти ощутимая своей давящей тяжестью, сгущенная, сжимающая сердце, — тюремная тишина. Тишина и на следующий день... и через неделю...

Да, они ненавидели его. Даже в этом молчании, в мертвой тишине чувствовалась их злоба. Они ненавидели всеми силами своих поганых душонок — все эти помещики скоповские, купцы гершковичи, приставы полторадневы. И они мстили ему за весь пережитый ими страх, за дрожь в коленках, за пылавшие усадьбы, за направленное на них дуло пистолета. Они достаточно убедились, что его не сломить никакими тюрьмами. И они жаждали его смерти, они захлебывались от жгучего нетерпения: когда же наконец его повесят! Предчувствуя свою неминуемую гибель, они тешили себя напрасными надеждами, что стоит только уничтожить его, одним своим именем звавшего на борьбу и восстание, — и как-нибудь все утрясется, наладится.

Котовский, несмотря ни на что, быстро поправлялся. Вскоре он был переведен в камеру, а в первых числах июля в арестантской одежде, в специальных ножных кандалах, скованный ручными кандалами с другим пересыльным арестантом, в сопровождении большого конвоя, в окружении тюремного начальства должен был проследовать в партии особо важных преступников на кишиневский вокзал для отправки в Одесскую окружную тюрьму.

— Вы уж доведите дело до конца, — обратился к Хаджи-Коли полицмейстер, пригласив его для этого к себе. — Вы понимаете сами, мы ни на кого не можем положиться. Вы его выследили, вы его доставили в тюрьму, на вас возлагаю личную ответственность за доставку арестованного до арестантского вагона. Дальше с вас ответственность снимается.

Но Хаджи-Коли и сам готов был оберегать Котовского и сидеть, не отходя, возле его камеры, только бы не повторилась старая история с побегом. Какое счастье! Какая удача! На этот раз Хаджи-Коли не промахнулся. Не кто-нибудь, а именно он выследил добычу и затем оповестил полицмейстера. Он радовался как ребенок и с какой-то даже нежностью говорил Котовскому, когда этап уже приготовили для отправки на вокзал:

— Дорогуша! Как жаль, что теперь вас непременно уж повесят, очень интересно было вас ловить. Но мне весьма лестно, что не кто-нибудь, а именно я, Хаджи-Коли, сцапал вас в финале, так сказать, нашей с вами игры в кошки-мышки...

— Давайте условимся, Хаджи-Коли, что, если когда-нибудь вы попадетесь мне, — чур, не просить пощады! — ответил Котовский.

Очень позабавили пристава такие речи. Можно сказать, кусок мыла для намыливания

веревки уже приготовлен, вот он, в руке, а этот несчастный все еще на что-то надеется!

— Уж не думаете ли вы, что вам и на том свете удастся создать банду головорезов?

— Ну нет, я еще поймаю вас здесь, на земле!

— Ай-ай-ай! И это говорит тот, кто должен испытывать одну благодарность к властям: ведь вы, милейший, совершили по самому скромному подсчету сотню преступлений, из которых каждое карается смертной казнью, а повесят-то вас всего один раз.

Вся физиономия пристава сморщилась, глаза сощурились, он смаковал этот момент полного своего торжества. Ему еще, еще хотелось бы сказать что-нибудь едкое арестованному — этакий подорожник — хе-хе подорожник на тот свет. Но он только хихикал, ничего не придумав.

Был жаркий июльский день. Даже в тени держалась нестерпимая духота. Листья в садах поникли и съжились. Мостовая раскалилась. Над железными крышами струился и трепетал горячий воздух. Офицеры, конвоировавшие этап, то и дело обтирали носовыми платками потные лбы, вспотевшие шеи и поправляли обмякшие подворотнички.

— Пора, — сказал лично присутствовавший при отправке полицмейстер, взглянув на тяжелые золотые часы.

С отвратительным визгом, лязгом и скрипом распахнулись тюремные ворота. В крохотные тюремные окна выглядывали арестанты, провожая этапников. Арестованных вывели из тюрьмы и повели мимо безмолвствующей толпы, собравшейся, чтобы посмотреть на смертников.

На вокзале Хаджи-Коли не удалось поговорить с Котовским или хотя бы бросить ему напутственное слово. Он видел, как Котовский вошел в вагон сильный, молодой, красивый даже и в этой безобразной, арестантской одежде.

Когда Котовский оглянулся, Хаджи-Коли перекрестил воздух, как бы благословляя Котовского в последний путь. Но Котовский его не видел, он смотрел поверх толпы на покидаемый город.

Арестованных разместили в вагоне, они перешли в ведение другого конвоя.

«Вешать будут в Одессе, — догадался Котовский, — так им сподручнее...»

Чувствовалась лихорадочная спешка в действиях тюремных властей и в производстве дела. Как будто боялись не успеть. Или опасались этого человека, даже когда он сидел за семью замками? Думали: войдешь к нему в камеру, а его нет, и след простыл?

Котовский, как только очутился в Одесской тюрьме, сразу же стал думать о побеге. Шаг за шагом, наблюдение за наблюдением, там случайно брошенное слово надзирателя, здесь внимательное разглядывание во время прогулки, — Котовский изучил расположение тюрьмы, размещение караула, высоту стен, прочность решеток.

В нем была такая неудержимая, бурная жажда свободы, потребность действовать, бороться, что, казалось, он одной этой силой воли разрушит каменные стены и разобьет решетки.

Но записки, которые он отправлял «на волю», перехватывались тюремным надзором, регистрировались, нумеровались и пришивались к «делу». На одной была сделана пометка: «Написана на листке, вырванном из „Журнала для всех“, который был выдан Котовскому из тюремной библиотеки для чтения». В тетради дежурного офицера сообщалось, что записка представлена прокурору Одесского окружного суда. Некоторые перехваченные записки наклеивались на казенные бланки. Было все как полагается: год, число, месяц и размашистая подпись помощника начальника тюрьмы капитана Ерохина.

Чтобы затянуть дело, Котовский сочинял одно за другим заявления, писал путаные, противоречивые, выдуманные им «автобиографии», взывал к милосердию, каялся, а сам тем временем готовился к побегу.

Он писал записки друзьям, просил их изготовить лестницу из костылей, швабр или каких-нибудь палок, а вместо ступенек перевязать скрученные тряпки и прилагал рисунок лестницы, чтобы было понятнее, как ее сделать. Котовский подробно объяснял, как передать ему ответ на это письмо:

«Передайте записку надежному парню в среднюю или угловую камеру третьего этажа со стороны конторы, и он может выбросить ее мне через окно, когда я гуляю, но он должен ее выбросить тогда, когда я ему махну платочком носовым, и пусть бросает посильнее, чтобы не упала под самые окна конторы».

Но и эту записку перехватили тюремщики. Машинистка тюремной канцелярии перестукала записку на машинке. Капитан Ерохин внимательно ее прочел и с недоумением спросил тюремного надзирателя, доставившего записку:

— О каких таких костылях идет речь?

— Есть тут арестант, на костылях ходит, вот он и согласился пожертвовать свои костыли для изготовления Котовскому лестницы.

— И чем этот Котовский притягивает к себе людей? — проворчал капитан, проставляя входящий номер на записке. — Костыли отдать, подумать только!

— Примечательная личность, как я наблюдаю! — ответил тюремный надзиратель. И, спохватившись, добавил: — А нам-то какое беспокойство! Уж вешали бы его скорее.

А Котовский ходил взад и вперед по камере. Он высчитал, что если пересекать камеру по диагонали, но не прямо, а старательно огибая сначала привинченный к стене столик, а затем железную койку, тоже прикованную, то получится десять шагов, то есть пять метров. Сто раз пройти взад и вперед — значит совершить прогулку в один километр. Сделав один километр, Котовский на стене ставил черточку. Постепенно он довел свои прогулки до двадцати километров. Он должен был приучить себя совершать большие переходы. Ведь, может быть, после побега придется идти пешком.

Но вот и последняя надежда рухнула. С утра он услышал шум, шаги, чьи-то приказания, чьи-то команды. Затем загремел замок:

— Выходи.

Его повезли в суд. Да, они очень торопились.

13

Трехэтажное здание Одесского военно-окружного суда выглядело очень эффектно. Его фасад говорил о прочности абсолютизма, о неколебимых устоях Министерства юстиции. По фасаду второй и третий этажи украшены шестью колоннами, а в первом этаже пять ниш и соответственно пять массивных тяжелых дверей. Крыша обведена барьером из небольших колонок. Все это вместе создает впечатление непреложности, судьбы. Каждый входящий в эти двери невольно испытывает некоторую робость.

Котовский занял свое место — за решеткой и с двумя стражами у двери.

Тяжелая скатерть на столе, толстые, пожелтевшие от времени своды законов, безучастные лица судей, пустующие стулья в глубине зала — все это производило впечатление похоронной пышности. Как будто все эти важные господа уполномочены были стоять у врат, ведущих в преисподнюю.

Вся процедура была выполнена. Состоялись, как полагается, прения сторон. В окна с их тяжелыми бархатными гардинами еле проникал солнечный свет. Мертвенно сияли электрические люстры. Лица судей казались восковыми.

Гулко прозвучали под сводами заключительные слова приговора:

«Четвертого октября тысяча девятьсот шестнадцатого года... Суд постановил: подсудимого Григория Котовского, тридцати пяти лет, подвергнуть смертной казни через повешение...»

Задвигались стулья. Прокурор подошел к защитнику и о чем-то оживленно стал говорить. Председатель суда собрал папки и вышел в боковую дверь, украшенную резными, из дерева, львиными головами.

«Через повешение»... Теперь предстоит последняя в жизни задача: Котовский решил, что не даст себя повесить, лучше погибнет в схватке с палачами. Может быть, удастся, прежде чем прикончат, задушить, уничтожить хоть одного... хоть одного!

«Через повешение»... Однако нервы сдали. Ночью снился помост, веревка на перекладине...

«Ну нет! Повесить им меня не удастся!»

Целые дни в камере идет работа: Котовский тренирует мускулы, изучает приемы удара. Выпад — раз! Нужно выработать такую силу, чтобы одного удара было достаточно на одного палача. Они, конечно, попытаются сначала его схватить. На этом он выгадает несколько минут... Затем им будет неудобно стрелять на близком расстоянии, они побоятся перебить друг друга. Это тоже в его пользу. Если он успеет выхватить револьвер из рук офицера...

Котовский делает выпады, прыжки... Надзиратель заглядывает в «глазок», отскакивает и звонит по внутреннему телефону:

— У шестого номера, — сообщает он, — буйное помешательство! Срочно врача и санитаров поздравее!

Главнокомандующий Юго-Западного фронта генерал-от-кавалерии Брусилов, брезгливо сморщившись, выслушал доклад генерал-майора Захарова, принесшего целую кипу бумаг на утверждение. Захаров видел, что главнокомандующий не в духе, и чувствовал себя виноватым, будто это он, Захаров, насочинял столько докладов, заявлений, да еще явился по вопросу подтверждения приговора.

— Вот еще одна, ваше высокопревосходительство, — смущенно и огорченно бормотал Захаров, подсовывая бумажку.

— Ну что еще там такое? — спрашивал генерал, разглядывая подсунутую бумажку с таким отвращением, как будто перед ним бросили на стол таракана или мышь.

И Захаров поспешно излагал содержание бумаги.

«У нас всегда так, — с раздражением думал генерал, — чем хуже дела, тем больше писанины».

А дела были далеко не блестящи. Война тянулась третий год и истощила последние ресурсы страны. Румыния два года не вступала в войну, выжидая, на чьей стороне будет перевес, чтобы присоединиться к победителям. Наконец в 1916 году она сделала выбор. Двадцать седьмого августа объявила войну Австро-Венгрии, двадцать восьмого августа — Германии, тридцатого августа Турции, тридцать первого августа — Болгарии, а в конце сентября была разбита наголову и почти целиком оккупирована немецко-австрийскими войсками.

На левом фланге создалась угроза для русского фронта. Русское командование перебросило на Румынский фронт тридцать пять пехотных и тринадцать кавалерийских дивизий — чуть не четвертую часть всех вооруженных сил России. Фронт удлинился почти на шестьсот километров...

«Удружила Румыния, нечего сказать! Осчастливила!» — сердился главнокомандующий.

Он почти не слушал Захарова. Мысленно прикидывал все эти цифры, данные и делал безотрадные выводы. Голод, дороговизна, дезертирство, инфляция... Радоваться пока что нечему.

— Вот еще... — совсем упавшим голосом докладывал генерал-майор. Постановление Одесского военно-окружного суда... Подвергнуть смертной казни через повешение...

— Они с ума сошли! — окончательно рассердился главнокомандующий. Честное слово, эти обсыпанные нафталином судебные чучела не понимают, что мы живем накануне революции. Повешение! Чтобы потом газеты раскричались на весь мир. Кого они там решили повесить?

— Котовского. В некотором роде знаменитость.

— А! Слышал. Читал его записи автобиографического характера. С темпераментом изложено, чувствуется незаурядная личность... Нет, его-то уж никак нельзя повесить...

Брусилов задумался.

— Вот что, — произнес он наконец. — Напишите: «Приговор утверждаю, заменив смертную казнь каторгой без срока».

— Мудрое решение, ваше высокопревосходительство! Проявлен гуманизм и... ничего в

сущности не изменяется...

Брусилов пожал плечами:

— Единственное, что можно сделать.

И он захлопнул папку, показывая, что разговор окончен.

Вскоре узники Одесской тюрьмы услышали раскаты «ура», грохот оркестров, пение «Марсельезы». Это долетели отзвуки Февральской революции. События развертывались с нарастающей быстротой. Новости волновали, вызвали споры, обсуждения. Одно за другим приходили сообщения: Николай Романов отрекся от престола! Создан Временный комитет Государственной думы! Возглавляет Родзянко!

— А что это за Родзянко?

— Родзянко-то? Монархист!

— Создано Временное правительство во главе с князем Львовым...

— Опять князем! И всегда выкопают откуда-то князей!

— Временное, временное, — удивлялся простодушный парень, один из завсегдаев Одесской тюрьмы. — А когда же будет постоянное?

— Постоянное есть, — ответил матрос, присланный для наблюдения за тюремной администрацией. — Советы рабочих, крестьянских, матросских и солдатских депутатов.

Одесский Совет рабочих, крестьянских, матросских и солдатских депутатов потребовал освобождения Котовского из тюрьмы.

— Хорошо, — ответили им в суде, — но что вы-то за него хлопчете? Ведь это же уголовный, а не политический преступник. Впрочем, есть соответствующие инструкции, есть комиссия, учрежденная Керенским, там все и разберут. Только без анархии, господа-товарищи! Только, ради бога, без анархии!

И опять заседает Одесский военно-окружной суд, опять послана на стол тяжелая зеленая скатерть. И те же восковые лица за огромным мрачным столом на черных стульях с высокими резными спинками.

Председательствующий, тонко улыбаясь, призывает господ членов суда быть демократичными.

— Не вижу большого смысла посылать подсудимого Григория Котовского на каторгу. Или он убежит еще по дороге, или будет освобожден деморализованной толпой, которая опьянела от восторга и которую еще не скоро удастся угомонить.

Члены суда кивали головами:

— Безусловно! Безусловно!

— Господа! Мы — патриоты. Мы требуем: «Война до победного конца». Я предлагаю подсудимого Котовского, учитывая постановление Временного правительства от семнадцатого марта...

Председательствующий сделал эффектную паузу и закончил:

— У-с-л-о-в-н-о освободить от наказания и передать его в ведение военных властей.

— Правильно! — вдруг выкрикнул представитель комиссии, нарушая порядок заседания, прерывая самого председательствующего и высказываясь от полноты чувств. — Мы его помилуем и пошлем в маршевую роту, на передовые позиции, где его с пользой для отечества и — я не ошибусь, если скажу, — к полному всеобщему удовольствию убьют в первом же бою!

Так состоялось помилование Котовского. Его поздравляли, затем обмундировали и пожелали счастливого пути.

Шинель была грубая, сапоги немного жали... Начиналась новая и непонятная пока полоса жизни.

Пятая глава

Четвертого августа 1917 года Котовского отправили на Румынский, фронт. Одновременно переслано было секретное указание: для искупления тягостной вины кровью желательно вышеименованного Котовского передать в самую опасную и несущую наибольший урон воинскую часть.

— В саперы его? — вопросительно произнес полковник, прочитавший секретную рекомендацию.

— Зачем же? В разведку! В Сто тридцать шестой Таганрогский полк! Он как раз не укомплектован.

Есть такая русская сказка: злая мачеха посылает нелюбимую, неродную дочку, писаную красавицу, в зимнюю стужу в лес на верную гибель. Но всем мила и любезна хорошая девушка. Она не только не гибнет, но еще и возвращается из леса с богатым приданым.

Так и Котовский. Как ни старались враги уничтожить его, находчивость, удивительная жизнеспособность и неизменное расположение к нему народа, всех тех людей, которые близко узнавали его, — все это выручало Котовского. Из всех бед и несчастий он выходил невредимым и еще более сильным и приспособленным для борьбы.

Находиться в разведке! Вот когда он доподлинно узнал все законы войны!

Начальник разведки унтер-офицер Трофимов после первого же дела удивленно заметил:

— Ты, заметил я, каждой пуле не кланяешься. Обстрелянный?

— Бывало, — осторожно ответил Котовский.

Оружие у него в образцовом порядке, начищено, блестит. Но никакого бахвальства в этом новом разведчике. И товарищем оказался хорошим.

Ходили они в тыл неприятеля. Попадали в большие переделки. Ловок и находчив был Котовский. Унтер Трофимов даже подумывал, не из разжалованных ли офицеров этот здоровяк.

Однажды, находясь в тылу противника, разведчики увидели, что немецкие войска перегруппировались, подошли со всеми предосторожностями вплотную к расположению таганрогцев. Котовский, переодевшись в шинель убитого немецкого солдата, побывал среди передвигающихся по дорогам обозников.

— Сегодня на рассвете они разгромят наш полк, — сообщил, возвратясь, Котовский.

— Так ты что? — спросил окончательно сбитый с толку Трофимов. — Ты и по-немецки можешь?

Необходимо было срочно пробраться в свое расположение и предупредить командование полка. Но тут случилось непредвиденное: они наткнулись на немецкий секрет, и первая же пуля сразила Трофимова. Правда, вслед за этим без лишнего шума, без стрельбы секрет был заколот штыками.

Само собой получилось, что Котовский принял командование разведчиками.

Пока продолжалась вся эта канитель, начало светать. Теперь они уже не успеют предупредить, вот-вот начнется атака. Котовскому представились безмятежно спавшие таганрогцы, большей частью молодежь... Вряд ли кто из них уцелеет.

И тогда Котовский решился на отчаянный шаг, быстро растолковал свой план разведчикам, увлек их своей затеей. Они кустарником подобралась к приготовившимся идти в атаку немецким пехотинцам и с криками «ура», с отчаянной пальбой бросились вперед.

«Русские в тылу! — разнеслась весть среди немцев. — Измена!»

Началось что-то невообразимое. Немецкие солдаты бросали оружие и бежали. Офицеры кричали, пытались восстановить порядок. Куда стрелять? Как отбиваться?

Беспорядочная стрельба обнаружила так умело подкравшуюся немецкую пехоту. Таганрогцы успели подняться и пошли в атаку. Котовский в эту ночь понял, что в бою успех решает не количество штыков, успех решает находчивость и внезапность удара.

Таганрогцев спасли разведчики. Котовский же извлек из всего этого практические уроки, которые ему пригодились впоследствии.

В полк пришло пополнение — солидные люди, много бородачей. Котовский обрадовался землякам, были даже из Кишинева.

И здесь Котовский встретился с людьми, которые сразу же ему понравились. Особенно он сблизился с одним. Фамилия его была Ковалев, звали его Иван Михайлович. Был он удивительно спокойный, невозмутимый человек. С ним спорят, горячатся, поднимают невероятный крик. Он выслушает и потом как начнет резать — обстоятельно, веско, толково — и в то же время спокойно ответит на каждое возражение и так расскажет, что только из упрямства можно с ним не согласиться. Он говорил и ребром ладони по колену себя ударял, это у него привычка была:

— Русский солдат — такого другого нет и не будет. Но до чего же бездарна ставка верховного главнокомандующего! Солдат у нас замечательный, а правительство ни к черту не пригодно, и давно пора бы его прогнать.

Ковалев улыбнулся:

— Царя прогнали. А может быть, и еще кого-нибудь прогоним? Сами судите, товарищи: война-то выгодна только терещенкам да родзянкам. А что, если им тоже по шеем?

Все рассмеялись: отчего бы и нет?

Оказывается, и внутри Совета шла отчаянная борьба, в Исполнительном комитете засели меньшевики, они поддерживали Временное правительство, уговаривали сражаться до победного конца и преследовали большевистскую пропаганду.

Котовский сам видел одного такого: приехал в Таганрогский полк и часа полтора кричал до хрипоты, причем можно было понять только отдельные фразы:

— Я призываю вас к классовому миру!.. Забудем распри!.. За оружие, солдаты!.. Победа над внешним врагом принесет свободу!

«И чего он вихляется? — думал Котовский. — И зачем кричать? Даже жилы на шее вздулись...»

Он не мог дослушать до конца оратора и вышел из помещения. А там выступали большевики; приезжий оратор не нашел лучшего выхода, как требовать, чтобы большевиков арестовали. Солдатам это не понравилось, они освистали оратора, он сел в машину и уехал, заявляя, что будет жаловаться.

2

Весть о победе Великого Октября, о событиях в революционном Петрограде докатилась до Румынского фронта, до городов и всей Молдавии.

Рабочие Кишинева вышли на улицу с плакатами, приветствовавшими Советскую власть. Представители буржуазной молдавской национальной партии спешно сколачивали свой орган — Бессарабский краевой совет.

— Мы должны создать свое государство! — ораторствовал на заседаниях этого нового органа власти помещик Херца. — Нам поможет великая королевская Румыния. Что касается этих... большевиков... то, как говорится в английской газете «Таймс», «большевизм надо лечить пулями!»

В эти же дни о событиях на улицах революционного Питера, о взятии Зимнего дворца, о Смольном, о Ленине рассказывал солдатам своего полка вернувшийся со Второго съезда Советов Ковалев. Он был полон воодушевления, глаза его лучились, голос звенел. Он привез принятое на съезде воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!»

— Представляете, товарищи, — рассказывал он, — съезд заседал всю ночь с двадцать пятого на двадцать шестое октября, и мы даже не заметили, как пролетело время!

Котовский выпрашивал Ковалева:

— И Ленин выступил? Расскажите все подробно! Как он выступил, к-какой он из себя? Нет, вы уж все, с самого начала: как приехали в Питер, как пришли в Смольный... Ага! Костры, говорите, на улицах горят? Холодный день? И броневиков много около Смольного? И пулеметы в чехлах у подъезда?

Ковалев много и охотно рассказывал. Даже о том, что Керенский бежал из Гатчины, переодетый сестрой милосердия, даже о том, как меньшевики и эсеры демонстративно ушли со съезда, а им кричали вслед: «Дезертиры! Лакеи капиталистов!»

Котовский был необычайно взволнован. Он слушал, он ловил каждое слово Ковалева. И наконец сказал:

— В-вот оно, главное, вот оно, настоящее. И как просто и ясно: отдать народу землю! Ведь это понятно каждому, правда ведь, Иван Михайлович? Отдать землю крестьянину! Рабочим и крестьянам взять власть в свои руки! А как быть с армией? Распустить? Отказаться от наследства, которое оставил проклятый царизм? Старая армия, старая полиция, старые чиновники... Ведь никак нельзя в старую посудину лить новое вино? А? Как вы считаете, Иван Михайлович? Новую надо армию создавать? Совсем новую, не похожую ни на какие другие!

Долго они сидели.

— Вот видите! — воскликнул Котовский, — мы тоже не заметили, что пролетела ночь, как и на том съезде! Вы не сердитесь, что я вас так расспрашиваю. Для меня это очень важно. Я прожил длинную и, сказать по правде, горькую жизнь. Только сейчас и начинаю жить. Только сейчас и родился. Мой год рождения — тысяча девятьсот семнадцатый год!

Таганрогский полк и дивизия в целом отправили в адрес Петроградского Совета приветственную телеграмму:

«Посылаем свой горячий привет истинным защитникам и поборникам свободы, революции и мира — Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. Мы заявляем, что поддержим его силой штыков».

Котовского избрали в полковой комитет. Котовский ушел с головой в новые заботы. Он не умел делать ничего наполовину. Вскоре он был уже председателем полкового комитета. Шла подготовка съезда. Дня не хватало, чтобы справиться со всеми вопросами, побывать в частях, разобраться в конфликтах, провести беседы и митинги...

Армия была как кипящий котел. Все бурлило, все волновалось.

Галац. Румынский южный городок. Черепичные крыши и узенькие улицы. И холодный осенний ветер. Флотский арсенал, корабельная верфь и двадцать три церкви. Примечательный городок.

Котовского одним из первых выдвинули делегатом на Армейский съезд Шестой армии, и он незамедлительно прибыл по назначению.

Делегатов встречали с почетом, разместили со всеми удобствами, обеспечили питанием. И с первого же дня начались ожесточенные споры, выкрики с мест, демонстративный уход из зала... Бурно проходили заседания. И хотя все меры были приняты к тому, чтобы на съезд попало поменьше большевистских представителей, большевистская фракция одерживала победу за победой, встречая полное сочувствие большинства делегатов.

— Большевистская демагогия! — выкрикивали с мест меньшевистские представители. — Играете на темных инстинктах толпы!

Котовский плохо еще разбирался во всех этих спорах, хотя кое в чем разобрался еще в Нерчинске, беседуя с политкаторжанами. Все притягивало его к большевикам: они стояли за мир, за землю, за рабочую власть, они не увиливали от щекотливых вопросов, били в точку, не боялись смелых выводов и так умело разоблачали своих противников, что тем рискованно становилось появляться на трибуне.

Котовский тоже выступал. Оказывается, его знали! Когда председатель объявил, что сейчас выступит Котовский, и Котовский появился на трибуне, грянули аплодисменты, и, как ни шикали меньшевики, аплодисменты все нарастали. Это был счастливый момент, вознаграждение за все пережитое. Котовский был взволнован до глубины души. Слова его были простые и доходили до всех.

— Молодец! — сказал Ковалев, наклоняясь к председателю съезда и любовно глядя на оратора.

— Еще бы! — ответил председатель. — Котовский! Я еще лет десять назад слышал о

нем!

Котовский говорил. Он рассказывал о своей жизни, о том, как на ощупь искал большую правду, как создал отряд. Его слушали затаив дыхание. Никто не шевельнулся. Только торопливо поясняли тем, кто не знал его раньше, что это за человек.

Котовский рассказывал. Давно был исчерпан регламент, но, когда председатель напомнил об этом, в зале закричали:

— Пусть говорит!

— Не знаю, — закончил свое повествование Котовский, — может быть, я и не сумею выразить то, что чувствую. Но мне кажется, что я еще раньше, еще не зная партии, был в душе уже большевиком. Я с первого момента моей сознательной жизни, не имея еще тогда никакого понятия вообще о революционерах, был стихийным коммунистом. Я понял это только теперь, когда могу на этом съезде, не колеблясь, примкнуть к большевикам.

Котовский на съезде был избран в состав армейского комитета. Президиум комитета послал его в Кишиневский фронтотдел Румчерода для связи и представительства.

Слово «Румчерод» составилось из трех частей: «рум» — румынский, «чер» — черноморский, «од» — одесский. Румчерод — это Совет рабочих, солдатских, крестьянских и матросских депутатов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа.

Только что закончился Второй съезд Румчерода. На этом съезде Румчерод избрал новый, большевистский, исполнительный комитет.

Перед тем как отправиться в Кишинев, Котовский беседовал с одним из руководителей Румчерода.

— Вы едете на самый боевой участок, — говорил румчеродовец. — Это клубок, где яростно схватились два лагеря. Не уступайте позиции, товарищ Котовский! Держитесь за Кишинев! Не отдавайте его на съедение «Сфатул-Цэрию» и боярской Румынии!

3

Странно и радостно было Котовскому вновь подъезжать к родному городу. Казалось, что это происходило давным-давно: скованных арестантов пригнали из тюрьмы на вокзал... Входя уже в вагон, Котовский в тот день прощальным взглядом окинул далекие крыши и бирюзу июльского неба... Железная решетка в вагоне с лязгом закрылась, и он подумал: «Вешать будут в Одессе...» Да, все это было! Поезд тронулся, а на перроне вокзала остался Хаджи-Коли... Какая торжествующая улыбка была на его лице!

И вот Котовский снова приехал сюда. Кишиневские улицы смотрели на него. Кишиневское небо простерлось над ним. Ну что ж, Хаджи-Коли, борьба продолжается! Ее ведут на каждом участке, в каждом доме, на каждой улице, в учреждениях и казармах, в каждой роте солдат, в каждом цехе завода, в каждой деревне...

Котовский вышел из классного вагона, прошел через вокзал и направился к центру города. Здесь начинались маленькие улочки, разбегавшиеся во все стороны. Отсюда был виден и железнодорожный поселок, где когда-то жил Михаил Романов. Вот бы когда Миша пригодился! Вместе бы стали разоблачать лжепророков из «Сфатул-Цэрия». Где-то он сейчас?

Котовский вспомнил, как они просиживали с Михаилом ночи напролет, увлеченные разговорами. Наконец выходила Лиза и, ласково ворча на мужа, говорила: «Ну, полуночники, проголодались, поди? А у меня в печке стоит тушеная картошка». — «А ты чего не спишь, егоза?» — спрашивал Михаил. «Уснешь тут, когда ты начнешь гудеть, как иерихонская труба!» — «А ты разве иерихонскую трубу когда-нибудь слышала?..»

Котовский улыбнулся этим своим воспоминаниям и зашагал дальше. Он решил сразу направиться в Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, к Гарькавому.

Было пасмурно. Мелкий противный дождь, не переставая, мельтешил, оседал водяной пылью на голых ветках деревьев, на запотевших стеклах окон. Жидкая грязь хлюпала,

расползалась, всхлипывали водосточные трубы, струйки холодной воды стекали за воротник. Но Котовскому казалось, что сияет солнце, что пахнет яблоками, цветущими садами. Он шагал по родному городу! Шагал открыто, свободно. Это была его родина. И какая жизнь предстояла, какие дела! Он был молод, полон сил и желания действовать. Ему хотелось крикнуть: «Здравствуй, Молдова! Здравствуй, Кишинев!»

Гарькавый был приветлив и обстоятелен. Узнав, что пришел Котовский, он вышел ему навстречу и долго пожимал руку:

— А вы еще слава богу. Ничего. И вид у вас богатырский, и глаза веселые. Молодцом!

Потом они уселись в кабинете Гарькавого, простом, строгом, со светлыми окнами, с обыкновенным, без всяких орнаментов письменным столом и десятком стульев по стенам — для заседаний.

— Ну, дорогой, рассказывайте все по порядку. Я люблю всякие подробности. Доехали хорошо? Или транспорт начинает прихрамывать? Откровенно говоря, у нас и с транспортом плохо, и с оружием неважно, и людей не хватает, и горючего нет... Ну, я не говорю уже о таких вещах, как сахар, мыло, спички, дрова... Туго населению приходится.

Он расспросил Котовского о настроениях армии, о съезде в Галаце. И сам рассказал, что делалось в Кишиневе:

— Живем мы тут... ничего живем. С господами Строеску воюем. Отряды Красной гвардии сколачиваем. У нас тут чудесные люди — Милешин, Венедиктов... да вы их всех узнаете. Фронтотдел ведет большую работу, парторганизация крепкая и сплоченная, хоть и не так многочисленна.

— Это мы, — сказал Котовский. — А те?

— Те, — улыбнулся Гарькавый, — очень воинственно настроены. Недаром Бессарабия породила знаменитого черносотенца Пуришкевича. Да разве один только Пуришкевич? А наш Крушеван — редактор гнуснейшей газеточки «Друг»?

— Хороша парочка, баран да ярочка.

— Много их, всех не перечислишь. В апреле у них был съезд. Заправляли делами помещики Строеску, Херца и компания. Таким образом, у нас, как сейчас и повсюду, две власти: мы, с одной стороны, и буржуазные националисты, Бессарабский краевой совет, только что начавший свою работу, — с другой.

— А! Это «Сфатул-Цэрий»! Слыхали мы о нем!

— И еще услышим. Там председатель Инкулеп — тоже, доложу вам, птица! В общем, я ужасно рад вашему приезду, теперь будем вместе орудовать. Работы по горло. И хотя у нас дружный коллектив, но каждый свежий человек будет кстати.

4

Теперь Котовский жил открыто. Теперь пусть они прячутся, нетопыри, летучие мыши, охвостье прошлого!

Нет, они не прятались. Они еще надеялись на что-то. «Сфатул-Цэрий» поддерживал связь с Украинской центральной радой, вел таинственные переговоры с румынской «Национальной лигой».

— Мне точно известно, — с возмущением рассказывал Котовский Гарькавому, — они получают от «Национальной лиги» субсидии. Как это вам нравится?

— Идемте-ка, идемте ко мне в кабинет, — заторопился Гарькавый, слегка подталкивая его к обитой кошмой и клеенкой двери. — Я вам расскажу кое о чем посерьезнее.

И они скрылись за дверью, провожаемые любопытными взглядами машинисток и секретарей.

В кабинете уже сидел начальник революционного штаба Венедиктов и другие фронтотдельцы. Здесь же был комендант станции. Они оживленно обсуждали что-то. Вскоре и Котовский включился в беседу.

Серьезное дело заключалось, оказывается, в том, что в Кишиневе подготавливался, как

удалось выяснить, вооруженный переворот.

— Понимаете, подлецы какие! — басил Гарькавый. — Украинская рада собрала трансильванских пленных, соответственно обработала их, снабдила оружием и теперь якобы отправляет на родину транзитом через Кишинев. Здесь господа из «Сфатул-Цэрия» только ждут сигнала. Трансильванцы выскочат из вагонов с оружием в руках, их поддержат так называемые национальные полки «Сфатул-Цэрия». А через час мы с вами будем болтаться на телеграфных столбах, что лично мне совсем не улыбается. Таков, по крайней мере, у них план.

— Ловко придумано. Но ничего у них не выйдет, — усмехался Венедиктов.

— Эшелон находится уже в пути.

— Мы его встретим, не беспокойтесь насчет этого. Нас ведь тоже не так мало.

— Мы все пойдем! — с воодушевлением говорил Котовский. — И не забывайте, что Пятый Заамурский конный полк — наша надежная опора и сила.

— Да и железнодорожники нас поддержат, — напомнил комендант станции Кишинев.

— Ну, давайте действовать, — заключил Гарькавый. — Конечно, ничего у них не получится с их хитроумным планом.

Но времени оставалось в обрез. Котовский справился у дежурного по станции — эшелон был уже в Раздельной.

— Получайте, товарищи, оружие! Стрелять умеете? — распорядился, придя в железнодорожное депо, командир Пятого Заамурского конного полка, с первых дней перешедшего на сторону революции.

Машинисты, стрелочники, рабочие депо подходили, брали винтовку и две обоймы и уступали место следующим. Заняли позиции и заамурцы, деятельно распорядились и комиссар Рожков и комендант станции.

Котовский установил наблюдение за «Сфатул-Цэрием». Там явно готовились, стараясь сделать все незаметно. И Котовский тоже позаботился, чтобы никто не видел их истинных приготовлений к встрече «гостей».

— Поезд проследовал через Бендеры, — сообщил дежурный по станции.

Было припасено десятка два букетов — роскошных, пышных, из оранжерей. Поставили на перроне духовой оркестр, но у каждого музыканта были в карманах револьверы. Вывесили огромное полотнище «Добро пожаловать!» по-русски, по-молдавски и по-украински. Прибыло на вокзал по меньшей мере пятьдесят коммунистов. Приехали Гарькавый и Милешин. Выслушали доклад Котовского, усмехнулись, посмотрев на плакат, на букеты, на духовой оркестр.

Соглядатаи из «Сфатул-Цэрия» докладывали:

— Подумайте! Эти головотяпы встречают с букетами наших трансильванцев!

— Они им покажут букеты, — проворчал Херца и снова повторил указания: — Один эскадрон сразу же захватывает телеграф, второй эскадрон ликвидирует «советчиков». По улицам — патрули. Разгонять любые сборища и, пожалуйста, без этих телячьих нежностей: стрельба в воздух и прочее. Ничего не случится, если будет немножечко жертв. Коммунистов расстреливать без суда и следствия, не водить их туда и сюда. Никаких арестов. Приканчивать. Проверьте сами, все ли поняли мои распоряжения. Можете идти.

— Эшелон прибывает в два сорок, — сообщил дежурный по вокзалу Котовскому.

Голос раздраженный, глаза холодные. Котовский посмотрел на него внимательно: свой человек не будет так озлоблен. Отыскал знакомого телеграфиста:

— Как там с трансильванцами?

— Подходят к семафору.

Соврал дежурный, когда сказал, что поезд придет в два сорок! Интересно, с какой целью? Не было еще и двенадцати, а поезд уже был тут!

Котовский доложил обо всем этом Венедиктову и подал знак музыкантам. Сигналом «Приготовиться» был браваурный марш духового оркестра. Оркестр грянул. За вагонами, в воротах депо, в киосках прохладительных напитков, в зале ожидания, в камере хранения

ручного багажа — всюду поблескивало оружие.

Паровоз ревел, дымил, выпускал пары. Эшелон принят на первый путь. Добро пожаловать!

Как только поезд остановился, перрон наполнился вооруженными. Солдаты держали винтовки наперевес. В каждый вагон вскочило по несколько человек из отряда железнодорожников и из Пятого Заамурского полка.

Трансильванцы увидели, что поезд окружен. Котовский лично наблюдал, чтобы был отцеплен паровоз.

— Сдать оружие!

— Сдать оружие!

— Руки вверх!

— Бросайте оружие на пол! Побыстрее, я не буду сто раз вам повторять!

— Что? По-русски не понимаете? А вот револьвер видите? Это хороший переводчик!

В каждом вагоне происходило одно и то же. Ни одного выстрела не было сделано.

Один офицер-трансильванец пытался спорить:

— Вы поступаете незаконно... есть международное право...

— А заговоры устраивать — тоже международное право? — спросил его Рожков.

Дежурный удивленно смотрел на эту дружную работу. Груды карабинов, ручных пулеметов быстро увеличивались. Затем все это исчезло в воротах депо.

— Размещайте дорогих гостей в номерах отеля! — весело распоряжался Котовский. — Всех запереть и поставить охрану!

Трансильванцев, все еще не успевших опомниться, запирали на гауптвахте, в складских пустых помещениях. Офицеров отвезли во фронтотдел.

— Сколько их в общем и целом? — спрашивал Котовский, когда пустой эшелон медленно уполз с первого пути.

— Всего-то? Шестьсот без малого.

— Арестуйте дежурного! — приказал Венедиктов. — Также отправить во фронтотдел.

Ночная мгла окутала Кишинев. Была тревожная, настороженная тишина.

Музыканты, кроме медных труб имевшие еще и револьверы, не спеша покинули вокзал. По указанию фронтотдела всю ночь разъезжали по городу патрули, только не от «Сфатул-Цэрия», как предполагал господин Херца, а назначенные большевиками.

Ни один эскадрон «Сфатул-Цэрия» не выступил. Они были разгитированы и перешли на сторону большевиков. Херца молча выслушал бежавшего от расправы солдат кавалерийского полковника.

— Поверьте, — доказывал полковник, все еще бледный от пережитого, они все в душе большевики.

Ночью Херца составлял длинный доклад. Куда он намеревался его отправить? В докладе он утверждал с присущим ему красноречием, что своими силами с большевиками никогда не справиться, нужна помощь извне.

5

Это учреждение без вывески помещалось в Яссах, на одной из тихих боковых улиц, где оно не так бросалось в глаза.

Окна трехэтажного здания были тщательно занавешены. Даже днем там горел электрический свет. В двери непрерывно входили и выходили люди в штатском, люди в военном. Некоторые прогуливались перед зданием и курили сигары. Одни разговаривали на английском языке, другие на русском, на румынском. Молодые и старые, толстые и худые, они болтали о том о сем и шли в ближайшее кафе посидеть за столиком и потянуть через соломинку из огромных бокалов, которые с феноменальной быстротой и ловкостью разносили официанты.

Внутри здания были длинные коридоры и множество дверей. В одном из кабинетов

сидел, потягивая крепкий коктейль, рослый, мускулистый военный, голубоглазый, розовый, с повадками, свидетельствующими, что он привык приказывать. Это и был глава офиса Гарри Петерсон.

Перед ним сидел русский офицер.

Гарри Петерсон только что ознакомился с докладом о положении дел в Бессарабии. Повидимому, в курсе дел был и русский офицер, капитан Бахарев, стройный, подтянутый, с красивыми, немножко неприятными глазами. Оба они молчали и молча пили. Затем Бахарев сказал:

— Мы и не должны были ожидать другого. Бунтовать — любимое занятие русских.

— Вы, однако, не бунтуете? Подонки общества, безработные, кому терять нечего, — другое дело, — возразил Петерсон.

— Сэр, вы не знаете России! Там всем терять нечего.

— И вам, Юрий Александрович? Лично вам?

— Ну, я не говорю о тех, кого ограбила революция. Имущие объявлены сейчас вне закона. А ведь в руках имущих были сосредоточены все богатства, мы и были Россией, ее славой, ее величием, мы — дворянство, которое правило, руководило, владело, даже, если хотите, поставляло мастеров кисти и пера! За нами тянулось купечество, духовенство, наиболее жизнеспособные крестьянские хозяйства. Около нас отлично жила интеллигенция, чиновники, военная каста. Капиталы, постройки, имущество... На несколько лет хватит, чтобы жить, потроша наши сейфы и сундуки.

— На несколько лет? Господин Бахарев! На несколько лет?

— Я хотел сказать «хватило бы». Но мы прекратим этот разгул в самое ближайшее время.

— Вы прекратите или мы, Америка и весь цивилизованный мир?

— Во всяком случае, поможем друг другу.

— Ну, наконец-то мы сказали с вами основное. Как эта русская пословица, происхождения которой я так и не понимаю: поставим точку над «и».

— Видите ли, у нас в алфавите три «и», в том числе «и» краткое — с хвостиком наверху и еще есть «и» десятиричное — «и» с точкой.

— А! Да-да! Ужасный язык, труднее китайского!

— Но вы с этим ужасным языком справляетесь идеально.

— Приходится: служба. Вы знаете, капитан, какая вам задача предстоит? Мы пошлем вас в Бессарабию.

— Вот как? А Москва?

— Москвой займетесь после. В Бессарабию мы сейчас двинем войска королевской Румынии... ну и немножечко подбавим русских частей, белых русских частей, разумеется. На эту операцию потребуется, я думаю, дня три, максимум четыре. И сразу же появитесь вы и поможете наладить порядок. Адреса, документы — все приготовлено. А сейчас я познакомлю вас с мистером... как его? Одним словом, с одним мистером.

— Очень приятно.

— Мы позволим румынам оккупировать Бессарабию, ну, а потом... потом вообще придется пересмотреть карту. Мы стоим, капитан, перед новой эрой.

Тут Гарри Петерсон позвонил.

— Попросите! — сказал он явившемуся на звонок секретарю и снова обернулся к Бахареву: — Вы знаете, я нашел чудесные перстни для моей коллекции. Чудесные!

— Будьте осторожнее, сэр. Наше офицерство бедствует. В Румынии скопилось много русских офицеров. Ну и... естественно... пускаются во все тяжкие... Вчера, например, я видел одного князя, из старинной фамилии... Торговал на мосту фальшивыми бриллиантами.

— О! В этом отношении не беспокойтесь! Я ведь собираю коллекцию перстней, я отлично разбираюсь...

Гарри Петерсон только что хотел подробно рассказать о своей коллекции, но вошел тот самый мистер, фамилии которого шеф никак не мог вспомнить. Это был смуглый человек

небольшого роста. Держался он с достоинством, хотя и без всякого на то основания. Бахарев знал его. Он играл какую-то роль в правительственных кругах Румынии.

Войдя, этот человек сделал общий поклон и помахал ручкой. Гарри Петерсон предложил ему сесть и без предисловий объявил:

— Ну что ж, завтра начинайте, как мы уже говорили. И, пожалуйста, не затягивайте кампании. Оружие и все необходимое вы будете получать и в дальнейшем. Вообще действуйте уверенно, помните, что есть мы.

6

Враги были под Кишиневом.

Котовский ворвался в кабинет Гарькавого:

— Требуют снарядов на фронт!

— Садись, дорогой. Не хочешь ли чего-нибудь выпить? Да и голоден, наверно. Теперь о деле: ты ведь и сам знаешь — ни снарядов, ни пушек ничего этого у нас нет.

Ему трудно было все это произносить. Горькая складка залегла около его губ.

— Видишь ли, какая история. Если бы просто Румыния — ну, это еще туда-сюда. Но на нас ведь наступает не одна Румыния. Ты понимаешь это? Стеной идут. Мы можем, конечно, лечь здесь все костями. Стоит ли? Мы еще будем драться, но надо перестроить силы. А сейчас надо найти в себе мужество, чтобы отойти...

Котовский и сам понимал все это. Спокойный внешне, но полный глубокой печали, голос Гарькавого отрезвил его.

Гарькавый продолжал:

— Хорошо, что ты приехал. Ты мне очень нужен. Тебе поручается эвакуация города, вывези все, что только можно.

Гарькавый заставил Котовского съесть бутерброд, выпить крепкого чаю. Они тем временем обсуждали подробности эвакуации. Действовать нужно было стремительно, нельзя было медлить.

— Железнодорожники у нас молодцы... Да вот беда: нет ни паровозов, ни вагонов, — прикидывал и соразмерял силы Котовский. — Придется отправить, что успеем, на подводах, гужом...

Гремела оружейная канонада. Тоскливо дребезжали стекла в домиках Кишинева. А потом снаряды стали ложиться совсем близко. Двигались подводы с военным и городским имуществом, с запасами продуктов, с семьями защитников города — женщинами и детьми. Одновременно уезжали на грузовиках, на конных подводах учреждения с папками дел, с пишущими машинками и бухгалтерскими счетами. Многие советские служащие и рабочие уходили пешком.

Странно было представить, что вот по этим самым улицам, по этим исхоженным родным дорогам через несколько дней будут разгуливать они вражья сила, ненавистные захватчики, и будут любоваться на эти деревья, поселятся в этих домах, осквернят своим присутствием священные места, площади, зеленые переулки.

Котовский заметил дряхлого старика, вышедшего за ворота своего домишка. Старик недоуменно смотрел на вереницу подвод, покидающих город. Он шурил слезящиеся глаза с красными воспаленными веками, заслонялся ладонью, смотрел и сокрушенно покачивал головой.

— Что, дед, невесело смотреть на это? — промолвил Котовский. Уходим, оставляем город, не хватило сил, чтобы защитить...

— Плохо дело, совсем плохо, — прошамкал старик.

— Плохо, да не совсем, потому что мы вернемся, дед, непременно вернемся, недолго врагам праздновать победу.

Сказал эти слова Котовский, а сам подумал, что вернуться-то они вернуться непременно, но доживет ли дед до этих светлых дней?

Старик как будто прочел его мысли.

— Пока солнце взойдет, роса очи выест, — пробормотал он и опять стал всматриваться в обозы, поднявшие пыль на дороге, прислушиваться к скрипу колес, к нетерпеливому понуканию возниц.

Впоследствии, когда приходилось особенно туго и вражеские полчища особенно яростно наступали, Котовский вспоминал об этом старом человеке, провожавшем красные войска. «Он ждет, надо торопиться», — думал Котовский, и у него удваивались силы.

Но сейчас было не до раздумий. Город пустел, сиротел. Котовский вывозил все, что только можно было. А в окна особняков осторожно, из-за занавесей наблюдали за движущимися по улицам повозками те, кто здесь оставался, те, кто ждал прихода оккупантов.

Кажется, все. Последние воинские части покинули город. Котовский медленно ехал по безлюдным улицам. Город молчал. Грустное было расставание! Котовский прощался с каждым домом, с каждым деревом, с каждым садом.

Вот и Теобашевская улица... тот самый забор, за которым когда-то росли георгины... А вот и домик, где приняли его незнакомые люди и оказали ему помощь, перевязали раны... А здесь жил переплетчик Иван Павлович... Весь город был исхожен. Всюду были места, связанные с воспоминаниями, с каким-то куском живой жизни. Его город! Его Кишинев!

Одним из последних выехал Гарькавый. Они поцеловались, расставаясь, и Гарькавый сказал:

— Жду тебя, очень-то не задерживайся. Что делать! Приходится уходить. Встретимся за Днестром. А ты не отчаивайся, борьба еще не кончена, я бы даже сказал, она только начинается.

— Я знаю, товарищ Гарькавый. Врагам нашим было бы преждевременно радоваться. Я приеду не один. Найдется народ по селам.

7

Котовский сдержал свое слово. Уже в Ганчештах, когда он распрощался с Софьей, у него набралось несколько конных. А теперь, когда он сидел в хате Леонтия, пришло немало новых добровольцев.

— Двенадцать лет! — повторил Леонтий. — Это много, Григорий Иванович? А? Как ты думчешь? Двенадцать лет мы не виделись! Пстой, когда в последний раз?

Они перебирали в памяти давние дела и происшествия, которые уже почти позабыты, и людей, которых уже, может быть, нет в живых. Всю ночь Котовский рассказывал Леонтию о своих злоключениях и как бы снова переживал и борьбу, и тюремную безысходность, и дерзкие побеги, и скитания по тайге...

Утром отыскали Котовского два человека: один — пожилой, широкий и грузный, другой — юный и подвижной.

— Я Марков, из Кишинева. А это мой сын... вот какое дело...

— Понятно.

— Мы записались в отряд, — пояснил Миша Марков, не выдержав медлительности отца. — Мы теперь тоже конники, только у нас нет коней. Вы не думайте, ездить-то я умею. Отец, конечно, больше на паровозе, потому что мы железнодорожники. А я могу. Думаю, что могу.

— Не умеешь — научишься, всему можно научиться.

— Это-то конечно, — вздохнул Марков, — но нет их, коней, откуда их взять!

— Нет коней? — удивился Котовский. И с горечью добавил: — Не только коней — у нас ничего нет. Нет оружия, нет продовольствия, нет бойцов. Ну так давайте, чтобы было!

Помолчал немного и затем тихо, раздумно заговорил:

— У нас ничего нет, но все будет, потому что это необходимо для победы. Я тебе ночью, Леонтий, рассказывал... У меня ничего не было в камере. Но я так хотел выбраться на

свободу! А когда сильно хочешь, то добьешься своего!

Леонтий попросил Котовского повторить свой рассказ собравшимся в избе конникам. Котовский припомнил один случай. Потом увлекся, увлек за собой всех...

Молодежь слушала. Этим юношам тоже хотелось бороться, не отступить ни в коем случае, не бояться ничего на свете — вот как он!

— А помнишь, Григорий Иванович, ты рассказывал, что в день побега сделал веревку из одеяла, которое я передал тебе, а в камере соорудил чучело...

— Да. Надзиратель заглянул в мою камеру и увидел, что я лежу, укрывшись с головой. Это было чучело, а я уже сидел на чердаке. Говорят, после этого случая стали запрещать арестантам закрываться с головой.

— А голуби? — подсказывал Леонтий. — Расскажи про голубей!

И пояснял тем, кто раньше не слышал этой истории:

— Голубей много было в карнизах тюремной башни. Григорию Ивановичу дорога каждая минута, а голуби переполошились, вспорхнули, привлекли внимание часовых и чуть не испортили всю музыку.

Котовский улыбался, слушая этот пересказ. И жена Леонтия улыбалась. И Миша Марков, не отрываясь, смотрел на Котовского и все подталкивал отца, считая, что тот недостаточно сильно восхищается:

— Папа! Да слушай же! Ведь это удивительно! Ты понял про чучело? Правда, хорошо, что мы отыскали Котовского? Я же говорил тебе...

— А как в шахте тонул? А как по тайге шел? — напомнил опять Леонтий и опять рассказал сам: — Семь лет томился Григорий Иванович в каторжных тюрьмах. А потом бежал...

— Да, — задумчиво смотрел Котовский куда-то в пространство, на стену, где висел многоцветный ковер, — двадцать дней колесил в тайге. А вышел! Человек никогда не должен отчаиваться. И еще: непременно делайте гимнастику! По системе Анохина. Летом и зимой.

Миша Марков на всю жизнь запомнил этот день. С юношеским обожанием смотрел он на Котовского. К юношескому обожанию примешивалось еще чувство, похожее на зависть: хотелось тоже преодолевать трудности, опасности, хотелось самому все испытать.

— А теперь вы приехали из Кишинева? — спросил Миша, надеясь, что его вопрос вызовет новые рассказы.

— Сейчас я на родине побывал, в Ганчештах. Теперь вот отряд по селам собираю. Мы не из той породы, которая может смириться! Разве сломили вашу волю? Вот вы, молодежь, скажите: разве живет трусость в ваших сердцах?

Нет, они не были трусами, эти молодые поселяне!

Не понадобилось договариваться и с Леонтием о том, что дальше они отправятся вместе. Это само собой подразумевалось. Просто Леонтий поцеловал жену и детей. Просто оседлал коня. Когда нужно сражаться, все берется за оружие. Тут думать не приходится.

8

Отряд Котовского отходил к Тирасполю.

— Фронтвики в каждом селе найдутся? — спрашивал Котовский. — Где фронтвики — там и оружие. Все снаряжение русской армии растащили по деревням. Сейчас каждый овин — оружейный склад и пороховой погреб!

Отряд Котовского рос. Дрались котовцы яростно. Но для каждого становилось очевидным, что силы неравные...

Вот и Днестр. Величавый и мудрый. Все запомнивший, поседевший от всего, что видел. Старый Днестр.

Отряд остановился. Никто не решался первым начать переправу. Командир сжимал эфес. Он молчал, и все не шелохнулись. В наступившей тишине было слышно, как потрескивает лед в полынье, как ветер ходит в камышовых зарослях. Котовский смотрел

туда, на поля Бессарабии, на покидаемую родную сторонушку.

Вот он сошел с коня, снял фуражку. И тогда все, весь отряд, тоже обнажили головы. Котовский низко поклонился, коснулся рукой земли и громко, отчетливо произнес:

— Прощай, к-край мой родимый, цара молдовой... Сегодня мы тебя покидаем, но клянемся, что не выпустим оружия, пока наша родина не станет свободна, пока красное знамя не будет снова развеваться над Кишиневом.

Миша Марков видел, как у отца его и у многих других бойцов выступили слезы. Да и самому ему было не по себе. Сердце сжимало, грудь теснило... Миша Марков думал о том, что на веки вечные запомнится эта горестная и торжественная минута.

Командир вскочил на коня:

— Слушать команду!

И началась переправа. Туда, на советский берег, к Тирасполю.

9

— Формируется по указанию Румчерода Тираспольский отряд! Слышите, товарищи? В отряд входит и наш конноразведывательный отряд! — сообщил Петр Васильевич, придя из штаба.

— Значит, скоро примемся румын выкуривать, — радовался Василь.

— Теперь дело пойдет! — уверенно говорил Леонтий.

— В Одессе и Николаеве созданы рабочие отряды, их тоже посылают сюда, к Днестру, — добавил Петр Васильевич.

Настроение у всех было приподнятое. Казалось, еще немного — и будет освобождена Бессарабия.

— Вот и приказ! — пришел торжествующий Котовский. — Первая наша операция!

Это было только началом. Вскоре об отряде заговорили. Слава о его геройских подвигах дошла до Одессы. Приехал корреспондент из одесской газеты, длинный, в очках. Над ним добродушно подшучивали:

— Поосторожнее, товарищ. Вы такой высокий, а тут постреливают.

— Вы думаете? — спрашивал корреспондент недоверчиво, высоко поднимая брови и наклоня голову чуть-чуть набок.

Хотел записать отдельные фамилии, но раздумал.

Через несколько дней Миша Марков вбежал в жарко натопленную хату, где поместились Леонтий, Петр Васильевич и еще несколько человек.

— Внимание! — закричал он еще на пороге.

Все выжидательно смотрели на него. Не хочет ли он сообщить, что выдают табак — по три пачки махорки на человека? Так они уже получили, только бумаги нет для завертки.

— Внимание! — повторил еще раз Миша и вытащил из-за пазухи газету.

Курильщики жадно смотрели на нее. Миша с важностью развернул газетный лист и прочел:

«Нашумевший в свое время на юге России Григорий Котовский, по полученным в Одессе сведениям, встал во главе отряда, действующего против румын.

Хорошо знакомый с местностью, Григорий Котовский сформировал в Тирасполе отряд из добровольцев и направился во главе его по направлению к Дубоссарам.

Отряд Котовского, по словам прибывших лиц, выказывает чудеса храбрости.

Все участники отряда хорошо вооружены и имеют в своем распоряжении лошадей и артиллерию».

— Всё? — спросил Петр Васильевич.

— Всё, — подтвердил Миша.

— Хорошая заметка. Мы ее внимательно выслушали, а теперь ты, конечно, отдашь нам газету в наше полное распоряжение?

— Не подумаю! Я буду ее хранить.

После горячего спора Миша согласился оторвать половину газеты. Ее честно поделили между собой Леонтий и Петр Васильевич. Опоздавшему коннику Андрею Куделе Миша вынужден был оторвать еще кусок, по самую кромку, где начиналась заметка.

Андрей Куделя, железнодорожник, примкнувший к отряду в Бендерах, закурил, пустил сизый дым к потолку и мечтательно заговорил:

— До того как пойти на железную дорогу, работал я на табачной плантации Андрианова, в Оргеевском уезде. Говорят — я-то, конечно, не знаю — самая большая была плантация в России. Вот где я покурил!.. Двести десятин засаживали!

Здесь же, среди бойцов, вертелся мальчуган, прибившийся к отряду в Бендерах. Отец его сражался в числе дружинников-железнодорожников. Костя Гарбар тайком от отца пробрался к баррикадам. И здесь он встретил самого Котовского, сказочного Котовского, о котором слышал столько удивительных рассказов. Костю гнали домой, а он все старался попасться на глаза Котовскому. Котовский улыбался ему и спрашивал, не страшно ли. Начался артиллерийский обстрел, на Бендеры двинулись регулярные войска. Завязался неравный бой. Стрелять Костя не умел, он стал подносить патроны. И когда, стиснув зубы, бойцы оставили город, Костя Гарбар ушел вместе с ними и больше уже не разлучался с отрядом.

Когда делили по кусочкам газету на куруво, Костя не претендовал на свою долю: он не курил и так и не научился этому занятию в дальнейшем.

10

Котовский был в Румчероде. Там настроение пасмурное. Румыния явно хитрила. Что они затевают, эти румыны?

Бойцы отряда загрустили. Милая Бессарабия осталась там, на том берегу. Когда-то удастся ее снова увидеть. Часто можно было наблюдать, как стоят эти суровые, знавшие горе люди и смотрят, смотрят туда, в голубую даль... И можно было прочесть на их лицах, о чем они думают. О родном доме думают, об оставленных семьях...

Однажды пришел к Котовскому Леонтий. Долго мялся, наконец решился и попросил отпустить его.

— Не могу больше, сердце болит. Мне хоть взглянуть, как они там. Взгляну — и обратно. Людей еще приведу.

Как с братом, попрощался Григорий Иванович с Леонтием. Молча, потому что ничего нельзя было говорить, ни упрекать, ни жалеть. Иногда молчание самое сильное, самое убедительное слово.

С Леонтием ушел и Петр Васильевич Марков. Сына оставил, а сам ушел, объясняя не совсем вразумительно, что «будет и там нужен», что будет «действовать изнутри».

Ушли они ночью. Леонтий повел через плавни, он знал эти места. Благополучно переправились через Днестр, минуя полыньи, по хрустящему тонкому льду, местами покрытому водой. Когда выбрались на середину реки, Леонтий сказал:

— Сейчас мы — ничьи. Ни туда и ни сюда. А завтра как бы не полетели наши головы... Тогда опять будем ничьи.

Но вот и берег. Скорей ступить на него! Берег был тинистый, пахло гнилой рыбой и водорослями.

— Вот и противно пахнет, а родное! — вздохнул Леонтий.

Петр Васильевич безмолвствовал.

Не успели шагнуть в кусты, как нарвались на заставу. Леонтий побежал. А Петр Васильевич поскользнулся и упал. Подумал с горечью:

«Вот где довелось свести все счета! В болоте, как лягушке какой...»

Однако никто его не схватил, шаги удалялись, по-видимому, его не заметили. Вдали послышался выстрел. Что там произошло? Уж не погиб ли Леонтий?

Петр Васильевич стал осторожно пробираться лозняками. Весь день шел. Ночью тоже шел.

Один раз очутился близко от шоссеиной дороги. По дороге скрипел возок, за возком шли мужчина и женщина. Может быть, счастливый случай? Выручат, покормят... А вдруг в них-то и погибель? Перепугаются, выдадут?

Пока Петр Васильевич стоял так, в нерешительности, возок проехал. Так иногда близко-близко проходит человек от человека... и страшится протянуть руку...

Измученный, еле передвигая ноги, Петр Васильевич добрался наконец до Кишинева. Как заколотилось сердце, когда увидел кирпичные заводы на окраине!

Откуда взялся этот железнодорожник, с фонарем, в тулупе? Прятаться было поздно. Оставалось только сделать вид, что не произошло ничего особенного.

— А-а! Петру Васильевичу! А еще говорят, что мертвые не воскресают!

— Да я-то жив пока что. Как вы?

— Помаленьку. Ты что же? Оттуда?

На этот вопрос Петр Васильевич ничего не ответил, будто бы не слышал. Вместо прямого ответа что-то такое пробормотал о погоде, о тяжелой жизни... А сам вглядывался: выдаст или не выдаст? Кондуктор с товарного, так себе человечиска, неважный. Поговорили и разошлись.

И еще через минуту Петр Васильевич обнимал жену и свою Татьянку. Татьянка прижалась к нему. А Марина всплеснула руками, перепугалась, бросилась закрывать на окне занавески... Потом обе наперебой стали рассказывать, рассказывать... и вдруг Марина заметила голодный блестящий взгляд мужа, брошенный им на хлеб. Да ведь он голоден! А они тут с разговорами! Марина отрезала ломоть, он схватил, отвернулся и стал жевать.

— Вы ничего, рассказывайте, не обращайтесь на меня внимания. А ты, дочка, принеси-ка скорей табачок!

Когда Петр Васильевич закурил, Марина осторожно и вся трепеща спросила:

— А как Мишенька-то наш? Жив?

— Живехонек! Ты о нем можешь не беспокоиться.

— Он тоже придет?

— Конечно, придет! Вот победит революция, и он явится, можете быть уверены! Что касается меня... я пришел... видишь ли, тоскую я... привык к железнодорожному депо, к дому... Ты не подумай, что я дезертировал, меня командир по-хорошему отпустил. Я теперь начну здесь, в тылу врага, сколачивать боевую дружину. Здесь много хороших людей...

— Страшно здесь, — прошептала Марина. — За разговор по-русски сажают... На кого покажут — «большевик», расстреливают без рассуждения... Помнишь машиниста Петро Кашука? Расстрелян. Скворцов — тоже расстрелян... Коваленки — вся семья уничтожена, и дом спалили... Профессор Литвинов как арестовали, так и исчез без следа...

Петр Васильевич слушал, даже козья ножка у него потухла. А Татьянка молча, зажмуривая глаза от счастья, терлась щекой об отцовский рукав, как котенок.

— Ничего, — произнес после долгого молчания Петр Васильевич, как-нибудь все устроится.

И вздрогнул невольно: перед его взором встало серое лицо кондуктора... Предаст или не предаст?

— А я ведь у самого Котовского в отряде состоял! — с гордостью сообщил он потом.

— Тише! — всполошилась Марина и пошла даже к двери, проверила, не подслушивает ли кто-нибудь их разговор. — Одного этого имени достаточно, чтобы они взбесились от ярости!

— Я думаю! Они еще познакомятся с ним! Они еще хорошо узнают, что такое котовцы!

Тут Татьянка приоткрыла глаза:

— Папа, я знаю, кто Котовский! И Миша тоже вместе с ним? А девочек туда

принимают?

Всю ночь не спали. Беседовали, горевали...

На рассвете раздался стук. Петр Васильевич на всякий случай ушел за перегородку, а Марина пошла открывать дверь.

Вломилась полиция. Предал кондуктор! Пришли арестовывать большим отрядом, подняли на ноги всю полицию: в донесении указывалось, что «в Кишинев проникли советские агенты». Когда офицер увидел, что перед ним всего лишь один старый и испуганный железнодорожник, он страшно рассердился. Это издевательство! Опять газеты будут высмеивать полицию за ее страхи перед «воображаемыми агентами Коминтерна»!

Татьянка не видела, как это произошло, но услышала странный звук, какой-то хруст и затем стон: это офицер ударил со всего размаху отца.

Марина вскрикнула. Двое полицейских бойко подскочили и выволокли бесчувственное тело арестованного. Офицер потирал руку и тихо ругался:

— Костлявый, каналья! Черт бы его побрал...

Татьянка подошла, посмотрела в глаза этому офицеру... и залепила ему хорошую увесистую затрепину! Она была спортсменка, кстати сказать, и удар был чувствителен.

— Взять ее! — в бешенстве завизжал офицер.

— Татьяна! — вскрикнула Марина. — Что ты наделала!..

Офицер в это время представил, как он является с докладом: «Арестованы старик и девочка, причем девочка надавала мне по морде».

— Отставить! — крикнул он плачущим голосом. — Девчонку не брать! Ну, чего вы на меня уставились, сержант?

И он выскочил на улицу.

II

Пятого марта 1918 года был подписан мирный договор между Румынией и представителями Советского правительства. Румыния обязалась вывести свои войска из Бессарабии в двухмесячный срок. И договор и обязательства были пустой оттяжкой. Этого только и надо было Америке, Англии, Франции: последние приготовления были тем временем закончены, быстро столкнулись между собой недавние враги — Антанта и Германия. Немецкие войска, нарушив условия Брестского мира, вторглись в пределы Украины. Девятого марта они были под Тирасполем. Красная Армия отступала, отбиваясь.

Отряд Котовского еле выбрался из окружения, пробив кольцо около Раздельной. В сумятице и прифронтовой горячке Котовский встретил Гарькавого.

— Плохо? — спросил Гарькавый.

— Жмут, — ответил Котовский. — Я слышал, что против нас движется немецкий корпус.

— Помните наш разговор перед сдачей Кишинева? — спросил Гарькавый. Не какая-то Румыния, не кто-то отдельный — наступает капитализм, всей громадой, всей слаженной машиной, всей техникой.

— И что же теперь будет?

— Конечно, мы победим.

Оба рассмеялись. Легко и прочно чувствуешь себя, когда говоришь с Гарькавым. Перекинулись словом — и опять расстались. Ни тот, ни другой не думали о себе, о личном.

«Конечно, победим!» — твердил Котовский, прислушиваясь к орудийному грохоту.

— Приказ отходить с боями, — встретили Котовского в штабе.

Командир Тираспольского отряда Венедиктов был окружен людьми и только издал дружески кивнул Котовскому.

Отступление в общем велось планомерно. Когда дошли до Дона, выяснилось, что со стороны реки прижимают белоказачьи войска. Это было уже слишком. И отряд ринулся на врага...

Тираспольский отряд участвовал во многих кровопролитных битвах. В боях погибло немало храбрецов. В одном из сражений был убит и Венедиктов. Остатки отряда впоследствии влились в части 8-й и 9-й армий. Это те, кто не остался навеки в ковыльных степях возле Дона, чьи кости не оведал степной ветер, не палило солнце, не омывали дожди.

12

Тяжелые испытания обрушились на Украину. Красивые города, живописные села и станции переходили из рук в руки. Вся Украина пылала. Вся она, цветущая, напевная, солнечная, была превращена в огромное поле сражения. Трудное было время! Рыскали петлюровские банды по глухим дорогам. Клялись в верности всем, кто дорого платит, и опять изменяли, и непробудно пьянствовали, и безжалостно грабили всех, кто попадется, новоявленные атаманы: Маруся, Добрый Вечер, Струк, Хмара, Черт, Лыхо, Клепач... По каждой водокачке обязательно была из-за косогора какая-нибудь трехдюймовка. Поезда сутками стояли на полустанках. В вагоны врывались вооруженные, проверяли документы и тут же, у насыпи, расстреливали.

Тифозные валялись на перронах. Мешочки на крышах вагонов пили морковный чай.

Все сдвинулось и переместилось.

Кто бежал от голода, кто дезертировал, кто занимался спекуляцией... В каждой волости имели хождение свои особые деньги, выпущенные черт знает кем и черт знает на каком основании. Здесь «керенки», там «колокольчики» и гетманские «лопатки»... Иные ассигнации были громадны, как афиши, другие печатались на паршивых клочках бумаги, и на те и на другие ничего нельзя было купить. Не было мяса. Не было хлеба. Не было керосина. И под каждой деревней был фронт.

Немецкие оккупанты грабили украинские клуни, английские корабли проследовали в Черное море через Дарданеллы. Французское правительство слало контрреволюционным генералам заем.

И шли уже бои на Дону, и грохотали воинские эшелоны, спешили на помощь братскому украинскому народу отряды питерских и московских рабочих. Центральная рада разоружала революционные войска, заключала тайные соглашения с иностранными правительствами, расстреливала большевиков...

Шла борьба не на жизнь, а на смерть между революционным пролетариатом, пришедшим к власти, и свергнутыми классами помещиков и капиталистов.

13

Котовский заразился тифом. Лежал и бредил в гостинице, в одном маленьком городишке. Миша Марков, отощавший, завшивевший, несчастный, приходил в гостиницу и часами стоял перед постелью своего командира. Котовский метался, скрипел зубами, командовал в бреду.

Миша Марков был в голубых обмотках, в рыжем полушубке, шапка у него была с убитого петлюровца, очень большая и очень мохнатая. Пояс он носил кавказский, с наборным серебром. Надо прямо сказать, обмундирование у него было «сборное». Впрочем, он отлично чувствовал себя в нем. В кармане у него была книжка стихов Есенина. И он был молод.

Он смотрел на командира. Какое измученное лицо! Глаза мутные. Мечется в жару, жар сухой, без испарины. Упорно борется организм с жестокой болезнью. Какой бешеный пульс!

У Маркова в бауле уцелел уложенный еще матерью на дорогу новенький костюмчик, из дешевых, но вполне приличный. Марков понес его на рынок.

На рынке стояли толстые, замотанные в шали торговки и продавали поштучно соленые огурцы и грудки вареной картошки.

— А вот горячая! А вот с пылу, с жару!

Унылый мужчина, густо заросший щетиной рыжеватых волос, крутил на руке каракулеву шапку и громко перечислял ее достоинства. Но охотников на его товар не было, и он бесплодно расточал свое красноречие.

И еще были продавцы. Продавалась швейная машина «Зингер», продавался соусник, продавались поношенные солдатские сапоги и женская жакетка на шелковой подкладке.

Миша Марков осторожно развернул свой товар — он принес его завернутым в чистую тряпку — и, перекинув костюм на руке, как все делали, стал прохаживаться по торговым рядам, крепко прижимая его к себе, опасаясь, что украдут.

Никто даже не смотрел и не спрашивал Мишу, что он продает.

Тогда Миша стал выкрикивать:

— Кому костюм? Новый, неношенный! Очень хороший костюм!

Никто не подходил, и Миша решил уже уходить. Вдруг его дернули за рукав. И тот самый, волосатый, продававший каракулеву шапку, тихо спросил:

— За пять керенок пойдет?

Миша Марков отстранился и ответил:

— За деньги не продаю. За продукты.

И тут сразу собралась около него толпа.

— Так это же что? — пощупала женщина костюм. — Это же грубошерстный!

— Сама ты грубошерстная!

— Братцы, да это чистейшая бумага! Садись да письмо пиши!

— Не нравится — не бери, зачем же подрывать торговлю?

— Покупает канарейку за копейку, да хочет, чтобы она петухом пела!

— Сколько, чтобы не торговаться?

И пошли всякие шутки-прибаутки, которые неопытного человека легко могут сбить с толку. В конце концов Миша продал костюм за буханку хлеба, кило овсянки и клюквенный кисель в порошке. Особенно Миша радовался киселю, он где-то слышал, что его дают сыпнотифозным. Он тут же, на рынке, расспросил, как варить кисель, и помчался в гостиницу.

Котовский был в том же положении. Разметался на постели, тяжело дышал и не узнал вошедшего, хотя смотрел на него во все глаза.

— Товарищ командир! Кисель! — говорил Миша, захлебываясь от восторга. — Кисель, знаете, как вам нужен! Он очень помогает!

Больной бормотал что-то невнятное, а затем стал размеренно, в одну ноту, стонать.

И так было жалко Мише этого громадного, сильного человека, теперь такого беспомощного, с воспаленными глазами, впалыми щеками, в горячечном бреду, брошенного в незнакомый город...

— Товарищ командир! Это я, Миша Марков! Вы слышите, товарищ командир? Вы не падайте духом, хорошо?

И Миша бросился на кухню варить кисель.

Гостиничные повара сочувствовали парню, но они решительно заявили, что кисель без сахара — не кисель.

— А если на сахарине?

Миша зачарованно смотрел, как тускло-розовый порошок превращается в самый настоящий кисель, какой варила мать.

— Мешай, мешай, а то комьями получится!

Кисель наконец уплыл, но много еще осталось в кастрюле.

К полному огорчению Маркова, Котовский оттолкнул ложку и не притронулся к чудодейственному киселю.

Однако в ту же ночь был, по-видимому, кризис. Всю ночь Миша прикладывал холодные компрессы ко лбу больного, а на рассвете Котовский вдруг проговорил:

— Откуда ты взялся, дружище?

— Товарищ командир! — шепотом спросил Миша Котовского. — Может быть, вы пить

хотите?

Вода была единственным лекарством, которое принимал Котовский. И все-таки он явно выздоравливал.

В один прекрасный день он поднялся, усмехнулся, ласково посмотрел на Мишу:

— Душевный ты человек! И товарищ хороший! И жалко мне, что пропадешь ты ни за понюшку табаку. Я-то бывалый, мне не привыкать, а ты с твоим простосердечием сразу попадешься. Ведь мы сейчас где? В настоящей ловушке. В логове врага. Слышал сегодня, как они маршировали? «Айн-цвай, айн-цвай...» Немцы! Понятно тебе?

— А что же особенного? Они никого не трогают, я видел их на рынке. Ходят себе и смотрят.

— Не трогают, пока не освоились. А потом покажут! Да ведь еще есть, кроме них, белогвардейцы, всякие самостийники, боротьбисты... Всякой твари по паре! Я, Миша, все думаю эти дни. В Кишинев возвращаться тебе никак нельзя: пронюхают, кто ты такой, и уничтожат. Что же мне с тобой делать?

— Куда вы пойдете, туда и я.

— Не годится это. Мне тебя твой отец препоручил. Вот что, браток! Отправлю-ка я тебя — знаешь куда? — в Москву.

— Что вы, Григорий Иванович!

— Да, да, обязательно в Москву. Пусть тебя Москва пошлифует. У меня там друг, по тюрьме знакомы. Вот к нему и поедешь.

— Григорий Иванович! Не отсылайте меня в Москву! — в голосе Миши Маркова отчаяние, на глазах слезы. — Лучше я с вами... Честное слово, Григорий Иванович...

Ах ты, горе какое! Жалко мальчишку, но Котовский, обдумав свое положение, решил ехать в Бессарабию, в подполье. Нельзя туда Маркова везти. Никак нельзя! И здесь бросить на произвол судьбы тоже невозможно.

— Знаешь, как мы решим? Определится мое положение — вызову тебя. Можешь положиться на мое слово? Обязательно вызову! А сейчас устроим тебе вроде каникул. Да ты, чудак, что же плачешь? В Москву поедешь — понимаешь ли ты одно это слово? Счастье тебе привалило! Москва! Да я бы сам... с таким бы удовольствием...

— Вот и едемте вместе!

— Пока что нельзя. Не могу я тебе всего объяснить, по никак нельзя.

Постепенно Миша сдавался. Раз так надо — ничего тут не напишешь. Все-таки последние дни перед расставанием они провели невесело. Миша стал молчалив, задумчив. Котовский тоже молчал, примерял и так и сяк, но видел, что придется Маркова отправить, другого выхода не было.

Долго провозился с письмом. Он не очень-то любил писать. Писал и думал:

«Решение принято правильное. В Москве не пропадет парень. Да и Стефан его не бросит».

Так как Котовский для себя самого — если бы не война — лучшего не мог пожелать, как побывать в Москве, то ему казалось, что и для Миши это лучшее, что можно придумать.

Письмо было готово. Самодельный конверт соорудили общими усилиями. Григорий Иванович рисовал Мише соблазнительные картины, рассказывал, какой это город — Москва: всем городам город, центр революционной мысли, столица мира, черт побери!

Ну, вот и все, кажется. Багажа нет, так что и собираться просто: встали да пошли. И как Миша ни боялся, настал день расставания.

— Поехали! — объявил Котовский.

— Как! Уже?!

Котовского покачивало. Он еще был очень слаб после болезни.

Отправились на вокзал. Замешались в толпу, обезумевшую от голода, тесноты, ожидания.

В справочном бюро угрюмо отвечали, что поезд пойдет неизвестно когда, а может быть, и совсем не пойдет. В буфете продавали кофе-суррогат и пряники на сахарине.

Исхудалые женщины с глазами, полными тоски и отчаяния, унимали своих плачущих детей. Куда они ехали? Что их заставило бросить свои жилища и отправиться в эти странствия?

Солдаты рядом на скамейке гоготали, пыхали махрой, уснащали каждое слово отборнейшей руганью и, по-видимому, готовы были или немедленно погрузиться в эшелоны, или оставаться здесь, в этом проплеванном вокзале, или переместиться в казармы, или быстро похватать винтовки, залечь цепью в привокзальном садике и отстреливаться от противника. Они давно махнули рукой на уют, на спокойствие, на свою жизнь и безопасность... И песни у них были отчаянные, залихватские. И за всем этим сохранялась вера в свою правоту, в какую-то большую правду.

— Подали! — завопил какой-то невзрачный человек и выскочил первым.

— Маневровый! Ничего не подали!

— Подали! На девятом пути!

— Даешь девятый! Станция Петушки, забирай свои мешки!

— Конечно, подали. И паровоз уже прицеплен!

И все ринулись на перрон, волоча узлы, баулы, чемоданы, грудных младенцев и походные сумки. И Миша и Котовский вместе со всеми.

Около вагона Котовский обнял Мишу:

— Ты мне как сын!

Миша боялся, что расплечется, стискивал зубы и молчал.

— Счастливо! — крикнул Котовский на прощание. — Помни, что мы еще встретимся! Записку с адресом не потеряй!

Мише стало страшно. Сердце сжалось. А паровоз уже рванул состав... Вагоны закряхтели и тронулись. И Миша остался один на свете. Совсем, окончательно один! Пошли мелькать станции и полустанки с замысловатыми названиями, разъезды с дородными стрелочницами и с пестренькими курочками на перроне. Странно было видеть курочек в такое время. Почему-то казалось, что их давно уже нет.

Потом была пересадка. Потом просто стояли среди поля. И опять замелькали какие-то Гуляй-Поле, Лукьяновки... Марков бегал с чайником, отыскивал кипятильник, покупал гороховый хлеб... Ехали так долго, что Марков наконец привык, и ему казалось, что в этом вот вагоне ему так и придется ехать всю жизнь.

Он думал о командире. Неужели они больше не увидятся? И почему Котовский так неожиданно отправил Мишу? Самому-то Котовскому еще опаснее оставаться. Как же так получается? Не все он понимал.

«Маросейка... — читал он адрес на записке, которую дал Котовский. Странное название!»

И опять ему стало страшно и неудобно. Что-то ждет его впереди?

Кто-то окликнул его, подозвал к окну. Марков глянул и обмер.

— Вот она, наша матушка! — сказал пассажир, протирая стекло.

Вдали, как видение, мерцал старинным золотом, куполами изумительный русский город, слава и гордость народа — величественная Москва.

Шестая глава

1

Наступил апрель. В «Валя-Карбунэ», имении Скоповского, цвели на веранде пышные розовые олеандры. Садовник Фердинанд уже готовил клумбы, а к столу подавалась из оранжерей свежая клубника.

Княгиня Мария Михайловна Долгорукова все еще гостила в имении, и во флигелях, населенных тетушками, шли пересуды о слишком любезных отношениях княгини и

Александра Станиславовича.

Только сама мадам Скоповская сохраняла полную безмятежность.

— Давно у нас утки с яблоками не было. А? Как вы думаете? спрашивала она. — Дарья Фоминична, вызови, голубушка, повара, только не того, приезжего, а нашего, Андрюшу.

Каждый день кучер ездил в город за почтой. В Кишиневе начали выходить газеты; в них, между прочим, сообщалось о действиях «большевистского генерала Котовского». Вот она, непростительная либеральность: своевременно не повесили, а теперь расхлебывай!

Княгиня и Александр Станиславович закладывали экипаж и ехали на мельницу за живыми раками. И когда княгиня взвизгивала, потрогав черного растопыренного рака пальцем, Скоповский приходил в восторг:

— Честное слово, княгиня, вы как девочка! Будь бы мне на десяток годков меньше... Когда и куда девалась жизнь?

— Вы прекрасно сохранились, — возражала княгиня.

Совсем иначе проводила время Люси.

После того как она громогласно объявила матери, что Юрий Александрович — ее жених, с княгиней была истерика, в доме было смятение, и все ходили с такими лицами, как будто Люси бог знает что сообщила. Пока княгиню отхаживали, бегали за водой, за доктором, за какими-то каплями, в доме расплывалась, как круги по воде, весть о поступке княжны.

— Прямо вошла она с этим офицером, прямо подошла к креслу, где сидела княгиня, и прямо брякнула матери: «Это мой жених!» Вот и делайте с ней что хотите!

— Да может быть, они давно уже знакомы?

— Давно?! В дороге только встретились!

— Хорошо, что наша Ксения не слышала. Срам-то какой!

— Интересно, как же теперь решит мать?

— Проклянет! Обязательно проклянет!

Но княгиня и не думала проклинать. В конце концов Люси не такая уж девочка. И надо же ей когда-нибудь выйти замуж, а этот капитан ничем не хуже любого другого мужчины. У княгини на этот счет была своя теория. Ведь прожила же она со своим Nicolas двадцать пять лет, на что уж он был с невыносимым характером, а главное, не мог пропустить ни одной женщины, кто бы она ни была: горничная или актриса, крестьянка или жена соседнего помещика.

Пока княгиню отхаживали, Люси и Юрий Александрович стояли посреди комнаты и держались за руки. Люси лучше других знала натуру матери: поплачет, пошумит, однако не было ни одного каприза дочери, который не был бы исполнен. Да это же и не каприз!

Княгиня постепенно утихала. Наконец она слабым голосом произнесла:

— Девочка моя... а ты проверила свои чувства? Ты действительно любишь его?

И, не дожидаясь ответа, стала рассказывать, что у них с Nicolas тоже было внезапное чувство, которое «вспыхнуло, как пожар, как роковая стихия».

Еще через минуту она попросила всех удалиться и долго беседовала наедине с Юрием Александровичем. Юрий Александрович убеждал ее, что он на самом деле очарован Людмилой Николаевной и ничего бы так не хотел, как немедленно с ней обвенчаться. Княгиня погладила его по голове, поцеловала в лоб и заявила:

— Венчаться всегда успеете. Надеюсь, вы порядочный человек и ничего лишнего себе не позволите. Но я как мать объявляю вам: я согласна, берите ее, берите самую большую мою драгоценность, а после моей смерти поддерживайте честь и достояние нашей родовой семьи. Кстати, я уже справлялась, вы тоже из хорошей фамилии, и из вас получится превосходная пара. Мы должны соблюдать чистоту крови! А я... — тут княгиня опять прослезилась, — я буду любоваться на ваше счастье, дети мои!

Юрий Александрович поцеловал ей ручку и настойчиво спросил:

— Но когда же свадьба, мама?

— Завоюйте это счастье! Свадьба может состояться только там, в нашем Прохладном,

дома.

— Вы правы, тамап, — ответил Юрий Александрович почтительно.

Перед его взором возник подъезд трехэтажного дома в Яссах, упитанное лицо мистера Петерсона... Дело остается дедом! И княгиня с большим тактом напомнила ему об этом.

И тогда была вызвана Люси. Ей было объявлено, что княгиня согласна, что они считаются помолвленными.

С этого дня весь дом наполнился ликованием. В «Карбунэ» страшно любили именины, помолвки, свадьбы. За обедом пили шампанское и говорили всякий подобающий случаю вздор.

А потом Юрий Александрович уехал. Он не сказал своей невесте, как опасно занятие, которому он посвятил жизнь. Он только предупредил ее, что ему писать нельзя и сам он будет присылать письма редко, но что будет постоянно помнить ее и думать о ней.

— Скоро, скоро, дорогая моя, мы будем вместе, но я должен, как сказочный принц, проложить дорогу мечом к нашему счастью.

— Ты заставишь их вернуть нам наше имение? — доверчиво и простодушно спросила Люси.

2

По просьбе Марии Михайловны Скоповский ездил в Кишинев. Он составил длинный список поручений княгини, начиная с голубенькой тесемки и кончая хвойным экстрактом и цитрованилином, который один помогал ей от головной боли.

Вернулся Скоповский взволнованный и счастливый. Вбежал в дом и тут же, не снимая даже плаща, прочитал указ гетмана Скоропадского, или, как именовал сам Скоропадский, гетманскую грамоту.

Этой грамотой крестьянам приказывалось немедленно прекратить засев и вспашку помещичьих земель, немедленно возвратит помещикам конфискованные у них земли, живой и мертвый инвентарь, а также не пользоваться принадлежащими помещикам сенокосами, пастбищами и лесными угодьями.

Скоповский читал торжественно и громогласно. Сбежались все обитатели «Валя-Карбунэ», даже экономка и оба повара заглядывали в дверь.

Скоповский закончил чтение, оглядел всех чад и домочадцев, перекрестился медленно и произнес:

— Ну, княгинюшка, услышаны наши молитвы. Матушка Россия возвращается к прежней, исконной жизни. Не нами эта жизнь установлена, не нам ее и отменять.

— Слава богу, — отозвалась княгиня и тоже перекрестилась.

Тут тетушки, еще не разобравшись, в чем дело, кинулись поздравлять, а в это время и Люси вернулась (она ходила на птичий двор кормить цыплят), и тогда снова была прочитана гетманская грамота, и Люси захлопала в ладоши и закричала:

— Я же говорила тебе, мама, что Юрий Александрович...

— «Юрий Александрович»! «Юрий Александрович»! — перебила ее княгиня. — Один твой Юрий Александрович завоевал всю Россию!

— Последнее слово было, конечно, за союзниками, — поддакнул княгине Скоповский. — Помощь великих держав неоценима. Например, я только что узнал, что Соединенные Штаты отпускают Украине в кредит военное имущество на сумму ни больше ни меньше как в одиннадцать миллионов долларов. Заметьте — долларов, а не рублей! Да что миллионы! Это мелочь. Всей помощи не перечесать! И вот вам результаты. Ну, княгинюшка, еще раз поздравляю вас, и как ни грустно мне расставаться с вами, но теперь-то вы можете вступить во владение всем вашим достоянием.

— Да, мы немедленно едем! Такие дела нельзя откладывать.

— Если вы позволите, я вас буду сопровождать.

— Ах, вы так великодушны!

Тысячу раз давались наставления, как нужно закутываться, чтобы не простудиться, что есть, чего не есть и какими способами уберечься от грозы, если, боже упаси, застанет по дороге... Тысячу раз проверялось, все ли упаковано... И вот наконец выехал из имения и покатил по главной аллее знаменитый экипаж Скоповского. Вслед за экипажем тащились подводы, нагруженные поклажей, ехала горничная, ехал важный повар из династии долгоруковских поваров. Скакала по обочинам дороги конная охрана. Но проверить ее храбрость не довелось, потому что добрались до Прохладного без особых приключений.

Вот вддали виднеются и высокие деревья огромного сада, с прудами, беседками, тенистыми аллеями, с малинником, яблонями, с причудливыми мостиками. А вот мелькнуло и белое здание... и вышли навстречу заранее предупрежденные самые богатые, степенные мужики с хлебом-солью, с вышитым крестиком широким полотенцем... А вот уже и управляющий Рудольф, почтительный и в то же время сохраняющий собственное достоинство. И княгиня соответственно случаю прослезилась, и экипаж вымахнул на широкую поляну и с шиком подкатил к подъезду...

Скоповский лично беседовал в тот же день с управляющим и выяснил особенно ретивых по части пользования помещичьим добром и особенно дерзких крестьян. Таких насчитывалось двадцать, не говоря, конечно, о тех, кто ушел партизанить.

Всех этих строптивых Скоповский приказал вызвать наутро в усадьбу. Одновременно был приглашен комендант, назначенный германским командованием оккупационных войск для наблюдения за порядком в данной местности.

Непокорные крестьяне, вызванные управляющим, все как есть явились и стояли перед крыльцом, исподлобья поглядывая на княжеские хоромы.

— Шапки снять! — крикнул управляющий, когда на крыльце показался Скоповский.

Скоповский был краток. Он только сказал, что с анархией и самоуправством покончено, что он, Скоповский, получил указание от княгини не быть суровым с мужичками, она, княгиня, понимает, что все содеянное — и порубка леса, и самовольная запашка земли, и все другие безобразия сделано по глупости, по темноте, серости, и только для назидания, отеческого внушения он, Скоповский, решил дать каждому нарушителю по двадцать пять розог.

В толпе зароптали. Даже раздались выкрики. И тотчас как из-под земли выросли немецкие солдаты, и вылетели из-за угла дома гайдамаки на вороных конях. Все двадцать бунтовщиков получили порку, после чего были милостиво отпущены по домам. Почти все они в ту же ночь исчезли, говорят, ушли к партизанам.

«Ну, это их частное дело, туда и дорога, — думал Скоповский. — Долго не напартизанят. Зато запомнят, как нужно уважать чужую собственность и наследственные права».

Как раз перед сараем, где была произведена экзекуция, выкатили бочки с брагой, на длинных столах разложили угощение, и каждый пришедший на это княжье пиршество получал чарку водки, а девушки какой-нибудь подарок: шелковую ленту, бусы или яркий шелковый платок. Сначала не шли, но потом разохотились и являлись целыми ватагами. Начались пляски, а немецкий комендант был приглашен в покои, к барскому столу.

Княгиня была очень довольна распорядительностью Скоповского. И уже поздно ночью, когда все утихло, столы были убраны и комендант отбыл в Звенигородку, на веранде долго сидели Скоповский и княгиня.

— Да, — говорил задушевно и тихо Александр Станиславович, — вот и все! И забыты кошмары недавних дней. И нам хорошо, и мужику все понятно. Как говорится, кесарево кесарю! Так-то, дорогая, милая, уважаемая Мария Михайловна!

— Проводите меня, mon cher! — произнесла после некоторого молчания княгиня.

И когда он выжидательно остановился у ее спальни, княгиня обхватила его шею:

— Ну идем же, идем...

Сад замер. На небе взошла большая луна. Немецкий патруль проследовал по дороге. Где-то бахнул выстрел. И снова синяя-синяя, зачарованная украинская ночь, ничем не

нарушаемая тишина, охраняемая синежупанниками гетмана Скоропадского и армией великой Германии.

Утром княгиня и Скоповский пили чай на веранде. В присутствии прислуги княгиня говорила Александру Станиславовичу «вы», но, как только они оставались вдвоем, сразу переходила на «ты» и щедро наделяла «Сашеньку» нежными именами и улыбками.

Вскоре Скоповский отбыл к себе домой, хотя и ему не хотелось уезжать и княгине было очень жалко с ним расставаться.

3

Юрий Александрович появился в имении Долгоруковых внезапно.

Чего только с ним не было за это время, где он только не бывал, в каких переделках не оказывался! Малейший неточный шаг — и неминуемая гибель.

Юрий Александрович, например, ездил с важным поручением к генералу Каледину. Нужно было пробраться на Дон. Нужно было миновать много застав. И Юрий Александрович миновал их.

Юрий Александрович был умный, убежденный в своей правоте, образованный, начитанный и красноречивый — лютей враг советского строя. Отец Юрия Александровича, сахарозаводчик, эмигрировал и обосновался в Париже. Но отец был либеральнее, мягче, даже находил какие-то оправдания событиям, свершающимся в России. Юрий с юношеских лет был заносчивым, презирал бедных, ненавидел «простой народ», знался только с сыновьями аристократических семейств и немного стыдился, что отец его из захудалого дворянского рода.

Юрий еще в гимназии считал себя монархистом и однажды поспорил с учителем истории, непочтительно отозвавшимся о доме Романовых.

— Как вы смеете говорить таким тоном о государях! — кричал он, побледнев, дрожа от ненависти и негодования.

Этот его поступок обсуждался на педагогическом совете, все думали, что его выгонят из гимназии, но вышло наоборот: учитель истории был переведен в другой город.

Студенческие годы Юрий Александрович провел в товарищеских кутежах, с пуншем, с певичками и с непременным пением «Гаудеамус игитур». Со второго курса ушел, отказавшись принять участие в студенческих демонстрациях и повздорив с революционно настроенными однокурсниками.

Пошел по военной линии. В Париже познакомился с людьми, поставившими целью свергнуть Советскую власть. Здесь Юрий Александрович нашел свое призвание. Он был ловок, изобретателен, дерзок. Ему поручались очень серьезные дела. И до сих пор удача не изменяла ему.

Вот и на этот раз. Он благополучно пробрался через линию фронта и прибыл к Каледину с зашитым в шапку пакетом и устными сообщениями.

Но надо же было случиться, что буквально за день до его приезда Каледин застрелился, придя к выводу, что проиграл войну. Этот выстрел привел в полную растерянность всех калединских приближенных. У Каледина не нашлось достойного преемника. Собственно, некому было даже вручить пакет.

Юрий Александрович разглядывал этого рубаку, этого бывалого боевого генерала. В гробу лицо его было безмятежно. Но почему же он проиграл войну?! Разве не вел он в бой смелые, отчаянные казачьи сотни? Разве не было предоставлено ему все необходимое для победы: и денежные средства, и вооружение, и продовольствие, и военное снаряжение?! Под его командованием были настоящие воинские части, опытные, обученные, обстрелянные в годы войны. А что ему могла противопоставить Советская республика? Какие-то рабочие отряды! Каких-то наскоро собранных красногвардейцев! Центральная рада заключила с Калединым тайное соглашение, беспрепятственно пропускала на Дон казачьи части для калединской армии, оказывала любую помощь... Америка, Франция, как няньки, лелеяли и

берегли эту затею... Какие же секреты военного искусства знали таганрогские рабочие? Почему Сиверс оказался талантливее Каледина?

Все эти вопросы задавал себе Юрий Александрович. И не находил на них ответа. Он думал: «Мы все, кажется, недооцениваем боеспособность врага. Обязательно выскажу эту мысль нашим заграничным доброжелателям!»

Юрий Александрович уничтожил секретный пакет и через Кавказ уехал за границу.

В Париже Юрий Александрович виделся с бывшим послом Временного правительства, а теперь полномочным представителем Колчака Маклаковым. Маклаков настроен был оптимистически.

— Нельзя обращать внимание на временные неудачи, — говорил он покровительственно Юрию Александровичу. — Сейчас, мне кажется, все за границей поняли серьезность положения. Надо действовать, действовать! Это самое главное. Нельзя сидеть сложа руки!

— Вы мне можете объяснить, почему застрелился Каледин?

— Странный вопрос! Смалодушествовал! Мало ли почему стреляются! Самолюбивый человек, поддался настроению... Вот, извольте прочесть мое сообщение, которое я отправляю в Омск: сто аэропланов с полным снаряжением — с пулеметами, бомбами, гранатами, радиоустановками и так далее. Сто аэропланов закуплено для Деникина! Вот о чем надо думать, а не о том, по каким таким причинам изволил застрелиться Каледин. У нас, слава богу, хватит генералов, мы формируем Добровольческую армию наполовину из кадрового офицерства. Эти не изменят. Так-то, дорогой Юрий Александрович!

Из Парижа Юрий Александрович Бахарев отправился в Закарпатье, которое было к этому времени оккупировано французскими войсками. Там Юрий Александрович прочел грамоту гетмана Скоропадского, получил сообщение, что Долгоруковы уехали в свое имение, и тотчас решил повидаться с Люси.

Он непрерывно помнил о ней, помнил всегда, даже в минуты смертельной опасности. Да, он всегда помнил о голубых глазах милой, нежной княжны. Кроме того, ему очень нравилось, что она не кто-нибудь, а княжна Долгорукова. Он непременно на ней женится, и, когда вся эта канитель с большевиками закончится, он приведет в блестящее состояние долгоруковское имение и поставит все хозяйство по-европейски, красиво, культурно, образцово.

И вот он мог наконец поехать к ней, в Прохладное. Он ехал не с пустыми руками. Он набил чемодан долларами, стерлингами, он прихватил и золота, а также приготовил роскошные подарки для княгини и для своей невесты, для своей очаровательной Люси. Он даст им понять, что к ним в семью приходит не какой-нибудь нищий. В чем другом, а в деньгах он не нуждался.

Во-первых, и у отца сохранилось достаточно средств. Кроме того, опасная работа Юрия Александровича оплачивалась более чем щедро его хозяевами. А тут еще подвернулся случай внезапного обогащения.

В числе других поручений Юрию Александровичу надлежало передать Каледину очень крупную сумму. Но так как Каледин все равно застрелился и никак нельзя было установить, вручил ему Юрий Александрович, что надлежало, или не вручил, то он почел за благо оставить эти деньги у себя. Все равно их расхватили бы кому не лень. Юрий же Александрович употребит их с пользой для будущего своего хозяйства, следовательно, и на пользу будущей России, которой понадобятся образцовые хозяйства и состоятельные помещики, умеющие держать в ежовых рукавицах, в строгом повиновении темный и склонный к бунту народ. Так что совесть не мучила Юрия Александровича.

Когда Юрий Александрович подкатил на великолепной тройке к Прохладному, усадьба была погружена в глубокий сон. Залаяли собаки. Сторож появился из будки, где он, по-видимому, крепко спал.

— Кто такие? — спросил он опасливо, потому что время такое: очень просто вместо ответа могут пристрелить и даже не оглянуться, упал или не упал.

— Молодой барин приехал, — ответил кучер.

— А-а! — успокоенно ответил сторож, хотя он должен бы знать, что у его господ никакого молодого барина нет.

Юрий Александрович уже жалел, что не переночевал где-нибудь поблизости, чтобы не являться в такое неурочное время.

Но вот в доме замелькали огоньки. Затем он явственно увидел какие-то белые фигуры и в каждой готов был угадать Люси, весь дрожал от нетерпения и еще тут, не выходя из экипажа, подумал:

«Как я ее люблю! Это настоящее чувство. Мы будем счастливы!»

Непонятно, как могла Люси догадаться, что приехал он. Но только она сразу, как от толчка, проснулась, прислушалась к тархтению колес, к возгласам, и ни минуты не колеблясь, решила, что это он, Юрий. Быстро отыскала лифчик, накинула платье — все это в темноте, не зажигая огня, быстро поправила волосы, секунду постояла так, прижав руку к сердцу и слушая, как оно часто-часто стучит... и затем промчалась через зал, через столовую, выбежала на веранду и крикнула в темноту:

— Юрий!

— Люси! — отозвался неожиданно близко его приглушенный голос.

Он поднялся по ступенькам, высматривая, где она, и они бросились друг к другу, крепко прижались и ничего другого не говорили, только произносили имена:

— Юрий! Юрий!

— Люси! Люси!

И обоим казалось, что они оживленно разговаривают.

Они бы стояли еще долго так, обнявшись, если бы не раздался в комнатах голос княгини:

— Где же он, разбойник? Покажите мне его!

И уже во всех окнах появился яркий свет, и полосы света падали на деревья, на клумбы, и видны стали лошади, загнанные, понурившие головы, и все больше появлялось народу, а ночной сторож, у которого оказалась рыжая борода и смешной брезентовый чапан, подхваченный веревкой, останавливал всех и поочередно всем рассказывал, как он был в будке, как услышал, что кто-то въезжает во двор, и как ему ответили, что приехал молодой барин.

Княгиня встретила с Юрием Александровичем совсем по-родственному. Он называл ее татап, и все как-то сразу почувствовали, что приехал глава дома.

— Теперь ты видишь, Люси, что значит мужчина в доме, — растроганно произнесла княгиня, разглядывая Юрия Александровича: и как он одет, и как выглядит. — Похудел. Но глаза смелые, блестят. Молодец! Люси, мы с тобой не ошиблись.

Не прошло и десяти минут, как на столе появился холодный ужин, а вслед за тем принесли и самовар.

Не заметили, как и ночь кончилась. За деревьями проглянула робкая, чуть заметная полоска — нежно-розовая, такая, как запотелое яблоко бывает утром на согнувшейся под тяжестью плодов ветке. Еще через минуту неуловимо для глаза опять все изменилось вокруг. Обрисовались силуэты деревьев. Вдруг проснулись птицы. И уже не силуэты деревьев, а зеленые пышные деревья с листьями, мокрыми от обильной росы, выступили на небе.

— Мы встаем поздно, — говорила княгиня, уже поднявшись с кресла, — а ты, mon cher, поступай, как найдешь нужным. Завтрак у нас в одиннадцать.

Юрий Александрович тихо спросил княгиню, есть ли в доме сейф.

— Дело в том, татап, что вот этот мой чемодан — это деньги. Я привез на первое время, немного, правда, но зато в валюте, теперь ведь часто придется иметь дело с иностранцами.

Он торопливо и беспорядочно рассказывал:

— Давно ли мы расстались? А я за это время побывал в Москве, в Париже, в Ужгороде... и еще где-то... Да! В Турции побывал!

— Довольно! Кажется, ты уже перечислил все страны света.

Тут Юрий Александрович бросился к своим чемоданам и извлек приготовленные подарки. Княгине он привез купленный в Стамбуле браслет, тяжелый, усеянный крупными камнями чистой воды. Люси получила кольцо тончайшее изделие парижских ювелиров.

И как ни хотелось всем спать, но обе женщины, ласково браня его за расточительность и притворяясь сердитыми, долго любовались драгоценностями и наконец растрогались. Княгиня хвалила его вкус, а Люси смотрела на него влюбленными, зачарованными глазами, и он видел, что она безраздельно принадлежит ему.

4

Проснулся Юрий Александрович сравнительно рано. В доме была полная тишина. Сквозь шторы пробивался солнечный свет. В комнате ходили зеленые тени, зайчик играл на стене. Юрий Александрович лежал и думал, откуда этот зайчик, и, проследив взглядом, понял, что это от графина, который стоит на окне. И Юрий Александрович почувствовал такой прилив сил, такое ликование во всем своем существе!

«Надо сразу же сыграть свадьбу, не откладывая», — подумал он.

Ему вспомнилась во всех подробностях встреча с Люси вчера на веранде... Вскочил одним прыжком с постели — роскошной, со множеством пуховых подушек, с прохладными простынями голландского полотна, с периной, в которой тело утопает. В комнате держался тонкий запах старинных духов.

«Породой пахнет, старым дворянским гнездом...» — подумал Юрий Александрович и без всякой связи прошептал:

— Ох и заживу я! Всем чертям назло! Скорее бы кончалась эта мура всероссийская.

Затем он набросил шелковый бухарский халат, вероятно оставшийся еще от князя и заботливо приготовленный ему, и одним движением поднял шторы, потянув за шнур.

В окно хлынуло солнце, глянули блестящие, насыщенные теплом и светом большие деревья. Он обратил внимание, что небо необыкновенно синее, даже больно глазам от этой синевы.

Около кровати, на коврик, стояли и туфли. Юрию Александровичу все это показалось естественным. У него было такое чувство, как будто он всегда, всю жизнь провел в этом доме и так же ходил по горячему паркету комнат именно в этих расшитых бисером ночных туфлях.

«Надо будет завести длинные трубки... чубуки... Традиция — великое дело! Но это потом, потом...»

Юрий Александрович перекинул через плечо мохнатое полотенце и вышел на веранду. Там накрывала чай хлопотливая и какая-то домашняя женщина.

— Здравствуйте, барин! — певучим украинским голосом заговорила она. Что-то дуже рано проснулись! Чайку не угодно ли?

Как отчетливо представилась в этот миг Юрию Александровичу его жизнь, но другая жизнь, совсем не та, которая сейчас, а та, которая была бы возможна, если бы в стране не произошло никаких потрясений... та жизнь, которую у него украли... отняли... У него даже дыхание захватило, когда он представил, что вот так, как сейчас, он мог бы всю свою жизнь выходить по утрам в халате, и так же встречали бы его приветливые, преданные слуги, и все, что только можно пожелать, предоставлялось бы ему без всяких усилий, без всякого промедления... Как хорошо можно было бы жить!..

«Длинные трубки... это обязательно! Отличный выезд... а может быть, и скаковых лошадей держать? И каждый год ездить куда-нибудь за границу, например в Париж... просто так, проветриться, посорить деньгами... Или нет, не надо никаких заграниц! Достаточно я помотался по белому свету. Нет! Сидеть у себя в усадьбе, не вылезать из халата, редко бывать даже у соседей... хозяйством заниматься... сидеть на веранде и пить чай...»

Хлопотливая, аккуратная женщина смотрела на него, спокойно улыбаясь. О чем она спрашивала? Ах да, не хочет ли он чаю! Очень приветливая женщина и, по-видимому,

совершенно искренне к нему расположена!

— Тебя как звать-то, дорогая?

— Меня-то? Маруся. Мария, то есть.

— Очень хорошо! Значит, Мария? Маруся... Гм... Замечательно! А где у вас тут купаются?

— Купальня есть. Спуститесь в сад и пряменько по главной аллее все идите, идите и придете...

«Да! Это очень хорошо, — думал Юрий Александрович. — Люси... Маруся... парное молоко... деревья... и чтобы солнце вот так освещало веранду... И никаких сомнений, ничего тревожного. Неужели так когда-нибудь будет? И разве я не имею права на этот покой?»

После купания Юрий Александрович почувствовал такую свежесть, такую негу во всем теле! Он шел по аллее, то попадая в тень, то чувствуя горячие лучи солнца, и думал о том, что все это принадлежит ему, и здесь пройдет его жизнь, и что так оно и должно быть, это вполне справедливо и разумно, и мир устроен превосходно, все идет по раз заведенному порядку, и, возможно, что все-таки есть бог...

Вернувшись, Юрий Александрович переоделся. На веранде его уже ждали. Он приложился к ручке княгини и радостно приветствовал Люси. Люси немного смутилась под его бесцеремонным взглядом, а он рассматривал ее так же внимательно и по-хозяйски, как рассматривал парк, конюшни, службы и уголья имения. Он вступал во владение всем этим великолепием.

5

Венчаться решили в сельской церкви, в соседнем селе Данилове. Церковка там была нарядная и стояла в красивом месте, на пригорке, среди вишневых садов. Совсем недавно с ее колокольни бил пулемет, и на стенах ее остались царапины, здесь было сражение между гайдамаками и партизанским отрядом. Но сейчас в Данилове размещен германский гарнизон. И церковная служба возобновилась, и звонили в колокола как положено. И священник в Данилове благопристойный.

По случаю торжества был вызван телеграммой Скоповский, которому предназначалось быть посаженным отцом. Он явился во всем блеске, в белых перчатках, во фраке. Он смаковал возвращение старых порядков.

— Грохольские тоже прибыли в свое имение, — сообщил Александр Станиславович, здороваясь. — Браницкие ждут только, когда усмирят крестьян. Вообще, знаете ли, могу с удовлетворением отметить, что сейчас делается все для водворения порядка. Власти не останавливаются перед самыми решительными мерами. Кстати, немецким, польским, венгерским и другим иноземным помещикам, владеющим землями на Украине, оказывается особое покровительство, что и понятно при существующем положении.

Самый обряд венчания совершен был просто и не занял много времени. Церковь была ярко освещена, и народу набралось посмотреть на это зрелище превеликое множество. Старенький священник, закончив всю процедуру и надев обручальные кольца на пальцы жениха и невесты, отвел их к клиросу и пожелал им не ссориться, жить в мире и согласии. Это растрогало Юрия Александровича, и он сунул в руку попика ассигнацию. При выходе молодых обсыпали хмелем, а слуги по указанию Юрия Александровича горстями бросали в толпу серебряные монеты.

Затем толпа расступилась, и вереница экипажей покатила по направлению к Прохладному. Люси была в каком-то полусне, в полуобморочном состоянии от счастья, от волнения, от того, что все так красиво и в точности, как описывают в романах и как венчались в старину.

Все было бы необыкновенно удачно, если бы тут не произошла одна неприятность, о которой старались не вспоминать.

Поля кончились, миновали небольшой березнячок, выгон и покатили по широкой деревенской улице, пугая кур, маленьких ребятишек и телят. И вдруг раздался выстрел...

Юрий Александрович побелел, лицо его перекошилось. Он нащупал в кармане револьвер. Но больше никто не стрелял, и вообще было довольно пустынно на улице, только в окна глазели женщины.

Оказывается, была ранена лошадь у второй повозки, следовавшей за женихом и невестой. Вереница экипажей остановилась. Юрий Александрович обошел всех и успокаивал как мог.

— Они еще поплатятся! — говорил он, щурясь и перебирая пальцами, что у него было всегда признаком раздражения. — Но сейчас не будем омрачать нашего праздника.

Раненую лошадь выпрягли и тут же пристрелили. Затем поскакали дальше, хотя кучера беспокойно поглядывали на придорожные кустарники, опасаясь нападения.

Если не считать этого выстрела, все прошло очень гладко, свадьба была богатая, пышная, невеста была красива, музыка гремела... Многократно кричали «горько», и вино лилось рекой. Наехали соседние помещики, нарядные, довольные. За стол уселось более шестидесяти человек. Пожаловал даже сам Потоцкий. Был и представитель германского командования — жирный, обрюзгший полковник с четырьмя подбородками. Было духовенство. Поговаривали, что приедет даже гетман, но он только прислал поздравления и пару великолепных рысаков.

Это была не просто свадьба, это праздновалась победа целого сословия старой России, вновь вступающего в свои права.

Кто-то встал и запел «Боже, царя храни». Нестройно, но подхватили. Даже священники пели. Соседний помещик Опанас Опанасович Загородный, апоплексический толстяк, даже покраснел от натуги, когда выводил:

Царствуй на страх врагам,
Ца-арь пра-авославный...

Духовой оркестр, любезно предоставленный расквартированным неподалеку полком, правда, в другой тональности, но тоже грянул царский гимн. Все встали, разумеется. У княгини был такой вид, как будто этот гимн исполняется в ее честь. На фронто́не дома сиял вензель с короной, а в парке шипели фейерверки...

Только под утро стали разъезжаться гости. Княгиня была в минорном настроении, ласково говорила с дочерью какими-то загадками, какими-то излишне торжественными словами. Назидания эти касались супружеских обязанностей и пожеланий, чтобы они жили так же дружно, как жила княгиня со своим Nicolas. Все отлично знали, что ее Nicolas изменял ей направо и налево и что она тоже не оставалась в долгу, но все ее назидания были выслушаны почтительно. Люси обняла мать и шепнула ей:

— Мама, я очень счастлива!..

— Ну и слава богу, ну и слава богу! — пробормотала княгиня и много раз перекрестила дочь.

6

На следующий день супруги долго не появлялись из своих покоев. В промежутках между нежностями и поцелуями Юрий Александрович рассказывал Люси о своих планах на будущее.

— Мы не имеем права жить по старинке, за счет дедовских капиталов, говорил он, обняв белокурую головку и перебирая локоны, то растрепывая их, то снова приглаживая, испытывая неизъяснимую нежность к этому прильнувшему к его плечу существу. — Мы не можем больше позволить себе роскоши отставать от Европы. Вообще, говоря откровенно, тебе-то я могу это сказать, не все так глупо в программе этих коммунистов, которых я

ненавижу всей душой. Я кое-что читал из их произведений, сам сталкивался с ними; это большей частью интеллигентные люди. Представь, кое в чем они даже правильно ставили вопрос. Это надо будет учесть, когда мы их уничтожим, то есть я имею в виду большевиков.

Люси слушала его, закрыв глаза и одной рукой обнимая его. Она думала о том, что надо заставить себя читать хотя бы газеты, хотя это очень скучно, и вообще разобраться во всех вопросах, чтобы понимать Юрия, когда он с ней беседует на такие серьезные темы.

«А впрочем, — думала она, — у мужчин все другое: и мысли, и вкусы, и увлечения. Мужчины выдумали целый сложный, неприятный мир, в котором много обмана, подсиживания, этот мир биржевой игры, войн, судебных палат, газет... отвратительный, как и нравящийся мужчинам табак, но, по-видимому, для них необходимый... Глупые мужчины! Все их затеи ничего не стоят по сравнению с женским прямым и настоящим делом — любовью, домашним хозяйством и выращиванием детей. Но приходится делать вид, что мужчины умней, надо быть уступчивой, эластичной...»

И Люси, не дослушав рассуждений Юрия Александровича, обхватила его шею и сказала, чуть-чуть играя в маленькую девочку:

— Ты у меня умный-умный!.. Я знаю, что мы будем хорошо жить. Я тебя буду так любить, так любить!.. И потом у нас будут дети... И вообще нам пора вставать и идти завтракать...

Юрий Александрович пришел в восторг от ее здравого рассуждения. Он прекрасно понял смысл сказанного ею.

— Девочка! — прошептал он ей после множества поцелуев. — Ты умнее всех наших умных рассуждений! Конечно же, нет ничего прекраснее, важнее, насущнее, чем любовь! Выдумано много теорий, философий, религий, а если добраться до сути, только одно и важно: женщина и мужчина, обитающие на земле. Они должны плодить детей и добывать пропитание. Все остальные нагромождения так называемой цивилизации, в сущности — вздор! А посему по счету раз-два-три встаем, одеваемся, бежим в купальню и затем пьем на веранде парное молоко! Ура!

И Юрий Александрович вскочил первый, подхватил на руки Люси, а она визжала, смеялась и барахталась, путаясь в длинной ночной рубашке.

7

После обеда Юрий Александрович надел военную форму, надушился, поцеловал ручку княгине, поцеловал жену и поехал навещать немецкого коменданта. Темой их разговора был вчерашний выстрел.

— Мы не можем давать спуску этой двуногой скотине! Мы должны каленым железом выжечь крамолу!

— О! — соглашался комендант. — Это ошен хороши слова! Не нужно ждать, когда будет много стрелять, надо наказывать!

Присутствовавший при этом немецкий полковник говорил по-русски лучше, чем комендант. Он одобрял намерения Юрия Александровича, но в то же время нашел момент удобным, чтобы прочесть мораль и довольно пространно и напыщенно заявить, что из-за русских, которые болеют революцией, не оберешься хлопот. Великие державы, «сознавая всю безвыходность их положения», пошли на некоторые издержки. Mein Gott! Они готовы помочь русскому дворянству, они возвратят привилегированным классам Россию. Но пусть послужит вам, господа, уроком то, «что, к великому сожалению, произошло»...

В общем-то, они поняли друг друга с первого слова. Комендант немедленно приступил к исполнению. Он звонил по телефону, он давал распоряжения, а через какой-нибудь час в сторону деревни Дубовый Гай двинулись пехотные и артиллерийские части оккупационной армии.

Деревня, которую вчера проезжала свадебная процессия, была оцеплена со всех сторон по всем правилам военного искусства. Жители деревни наблюдали эти приготовления, но

никак не предполагали, что приготовления вполне серьезны, что это не маневры, не какая-то подготовка фронта.

Вон и парламентар в сопровождении конной охраны шагает по дороге. Все население выгнано из хат. Толпа молча ждет, что им объявит прибывший к ним «представитель германского командования» и стоящий рядом с ним гетманский синежупанник. Лица угрюмые, недобрые лица. Надоели все эти «представители». Только и делают, что требуют, требуют...

«Представитель германского командования», а на самом деле просто белый офицер, прочитал бумагу. Жителям деревни Дубовый Гай предлагалось немедленно, в течение одного часа с момента объявления этого меморандума, доставить живым или мертвым бандита, стрелявшего по проезжавшим через деревню господам помещикам. В случае невыполнения этого требования деревня Дубовый Гай будет уничтожена.

Бумага прочитана. Один из немцев о чем-то, спрашивает читавшего бумагу офицера. Тот отвечает тоже по-немецки. Оба смотрят на часы. Три часа пополудни. Представитель германского командования слезает с телеги, откуда он провозгласил свой ультимативный приказ; синежупанник, в ярком, несколько театральном одеянии, присоединяется к их группе. Они закуривают и беседуют между собой на странном языке — невероятной мешанине немецких, русских и украинских слов.

Солнце стоит еще высоко. Конные, сопровождающие парламентаров, лениво, не спеша разгоняют толпу. Наконец взрослые все расходятся. Женщины оживленно обсуждают положение.

— Да де ж мы им возьмем того злодья?

— Нехай сами шукають его!

— Пугать нас нечего, мы уж давно перелякались.

— Бачите, яки добры! Подай им живого или мертвого!

Все разбрелись по хатам. Остались только босоногие ребятишки в широкополых соломенных шляпах. Они стоят на почтительном расстоянии и глазят на лошадей.

Синежупанник достает флягу. Фляга довольно объемиста. Синежупанник угощает из фляги офицеров. Немец смеется и крутит головой.

— Коньяк? — полувопросительно говорит он и одобрительно хлопает синежупанника по плечу.

Часы на руке офицера показывают половину четвертого... без двадцати минут четыре... без четырнадцати минут...

Ребятишки тоже разбрелись. Ни души вокруг. Где-то в хлеву мычит корова. Петухи перекликаются то в одном конце деревни, то в другом. Вся деревня состоит из одной очень широкой зеленой улицы, поросшей мелкой гусиной травой и лебедой. Возле каждой хаты палисадник с бледно-розовыми мальвами, а позади каждой хаты — яблоневый сад. В самом центре деревни колодец. Возле колодца — непросыхающая лужа, и в непросыхающей луже отражаются облака.

Без пяти минут четыре... Без двух минут... Ровно четыре часа! Офицеры сверяют часы. Они хотят быть точными.

Итак, население деревни не пожелало выдать партизана, который среди бела дня осмелился напасть на проезжавших?! Значит, население деревни заражено духом коммунизма, а сразу нужно искоренять.

Не спеша покинули деревню парламентары. За ними проследовала конная охрана. Некоторое время стояла полнейшая тишина.

Затем горячий воздух качнулся, ухнул залп артиллерии. Один снаряд угодил прямо в колодец. Взлетели в воздух куски дерева и комья влажной земли... Второй снаряд поджег соломенную крышу. Издали можно видеть, как выскакивают из хаты люди, вытаскивают узлы, маленьких детей...

Но за первым залпом следуют еще и еще... И тогда деревня оживает: крики, стоны, проклятия и треск пылающей соломы...

— Рятуйте!..

Женщины с детьми бегут по направлению к реке. Но со стороны реки бьет пулемет. Никто не выйдет живым из деревни. Деревня Дубовый Гай предназначена к полному уничтожению, ее сравнивают с землей — таков приказ германского командования и гетманской власти.

В пять часов артиллерия замолкла. В Прохладном от сотрясения воздуха выбиты стекла в некоторых окнах.

Военные подходят к тому месту, где находилась деревня. Все вспахано снарядами. Ни яблоневых садов, ни гусяной травы, ни хат, ни тына... Черное, обезображенное пространство... И трупов почти не видно.

В шестом часу посетил это место Юрий Александрович. Он приехал верхом, в сопровождении управляющего. Конь шарахнулся в сторону; здесь пахло отвратительной сладковатой гарью.

— Как вы думаете, — спросил Юрий Александрович, — будет расти на этом месте картошка?

— Как вам сказать... — смущенно пробормотал управляющий.

Юрий Александрович увидел, что он ошеломлен той картиной, которая открылась перед его глазами: деревня исчезла, не то что была сильно разрушена, нет, она буквально исчезла с лица земли!

Юрий Александрович тоже в первый момент почувствовал, что ему как-то не по себе. Но затем к нему вернулось прежнее самообладание.

— Вот что, — предложил он, подумав, — деревня эта называлась Дубовый Гай, то есть дубовый лес. Пусть так и будет. Мы засадим эту площадь дубами.

— Очень много понадобится дубов.

— Ничего, мы прибавим и другие породы кустов и деревьев.

По-видимому, Юрий Александрович всучил немецкому коменданту большой куш, и притом исключительно в американских долларах. Комендант во всем шел навстречу. И ему очень понравилась затея молодого помещика. Об этом можно будет даже доложить по начальству. Сам Эйхгорн будет восхищен таким кунштюком. Ха-ха! Стереть с лица земли бунтовщиков и засадить это место деревьями! Колоссаль!

На другой же день было согнано на пожарище шестьсот крестьян из соседних деревень. Вся площадь была расчищена от осколков. Немецкий конвой подбадривал работавших.

Затем прибыл садовник из имения Долгоруковых. Вдоль всей дороги была посажена дубовая аллея. Остальное пространство засадили чем попало: орешником, березками, молодыми кленами. Деревья и кустарники переносили с комом земли, или, как выражался садовник, «со стулом». Каждый куст полили, причем воду возили из пруда Прохладного, за три километра.

Через три дня местность нельзя было узнать. Даже княгиня пожелала полюбоваться на эту «веселую» рошу...

8

А еще через день по всему уезду вспыхнуло восстание. В квартиру, где расположился немецкий комендант, бросили бомбу. Выгнали поставленных в селах старост-кулаков. К повстанцам присоединился партизанский отряд, действовавший в этих местах, руководимый подпольной коммунистической организацией.

— Давайте сообща, — предложил повстанцам командир партизанского отряда, молодой, кучерявый. — Вместе-то веселее будет.

Наладили полный порядок — командование, связь — все честь честью, караулы расставили, разведку установили. Заранее обо всех намерениях противника знали. И когда произошло первое настоящее сражение, с большой радостью убедились, что перевес-то на их стороне.

В числе партизан был и сероглазый молодой хлопец Ивась, житель деревни Дубовый Гай, тот самый отчаянный хлопец, который выстрелил в свадебную процессию.

— Не мог я стерпеть, — рассказывал он, волнуясь и захлебываясь словами, — сердце вскипело, в глазах стало темно, я и выстрелил.

— Это плохо, — отвечал ему командир партизанского отряда. — Когда стреляешь во врага, нужно, чтобы глаз был ясный и зоркий.

— Да я ведь и не перестрелять их хотел, а просто неумогу было. Любоваться, что ли, на них? Пусть знают, что мы их ненавидим!

— Ну, а дальше?

— А дальше — я ушел в лес, я пошел искать таких людей, которые не сдаются...

— Нашел?

— Нашел. Партизан нашел. В лесу.

— Это он правильно рассказывает, — подтвердил кто-то из слушателей. Он к нам пришел, в наш отряд.

— Только вижу я, — продолжал свой рассказ паренек, и чем дальше он рассказывал, тем бледнее становилось его лицо, тем прерывистей голос, вижу я, народ боевой, а оружия у них мало.

— Правильно! А патронов так и вовсе пустяки.

— И тут подумал я, что у нас в Дубовом Гае винтовки понапрятаны, патроны, даже пулемет в землю на огороде зарыт...

— Понятно!

— «Постойте, — сказал я хлопцам, — я обеспечу оружием!» И тотчас отправился назад, в свою деревню, и двух, посильнее которые, с собой захватил. Идем это мы...

— Домой, значит?

— Да. С осторожностью, конечно, идем. Двое суток лесами пробирались. В сумерки вывел я их к нашим местам, возле речки велел им обождать, а сам пошел по тропке, думаю, задами в нашу хату проберусь, а там разбужу отца, братана, и мы заберем оружие и доставим к речке, где ждут мои хлопцы...

— Ну, ну! — в нетерпении торопили слушатели, хотя уже наперед знали, что скажет он дальше, потому что рассказывал он это много раз, всюду, куда ни приходил. — И что же дальше?

— Иду я... — волнуясь все больше, рассказывал молодой партизан, места-то знакомые, родные, в речушке-то я еще семилетним раков ловил... иду и ничего понять не могу... Где же это я, думаю, плутаю? Неужто не в том месте речушку перешел? Вот тут изгородь должна уже быть, а левее баня бабки Лукерьи... а прямо — наша хата... и тополя там растут... И ничего такого нет, а иду я лесочком... И стало мне казаться, что помутился я разумом!.. Вот, думаю, этого горя не хватало, чтобы я еще ума лишился! Даже такая была думка, что нечистая сила меня водит... Вернулся к речке, хлопцы сидят и ждут... а я им и объяснить ничего не могу. Снова пошел... опять в этих дубках закутился... и земля под ногами рыхлая...

— И деревни нет? — прохрипел кто-то.

— Нет деревни! Понимаете, люди добрые? Нет ее... И всю ночь я бродил, и утро настало... А наутро я впрямь разума лишился, эти же хлопцы отыскивали меня и увели...

Каждый раз, как выслушивали этот незамысловатый рассказ, поднимался ропот и говор. Кто ругался, кто слезу вытирал. Женщины в голос выли. Старики сжимали кулаки и посылали проклятия.

— Сколько у тебя братьев-то было? — спрашивал кто-нибудь из слушателей все еще не в силах осознать совершенного злодеяния.

— Четверо. Один-то большенький, а трое — мал мала меньше... И сестренка еще была... Олятка...

— Это что же творится на белом свете? — вдруг очнувшись от оцепенения, воскликнул белый, как колос, дед. — Я прожил столько лет, что и со счету сбился, а такого не слыхивал!

И тут же, не отходя, записывалась молодежь в партизаны. Не отставали и степенные мужики. Старики, что покрепче, упрашивали взять и их, обещая, что они будут стрелять — не промахнутся. И каждый день прибывало в повстанческих отрядах бойцов, все брались за оружие.

Прислан был на усмирение батальон немецких солдат. Но и немецкие солдаты отказались сражаться и сдали оружие повстанцам:

— Мы воевоят с золдат, с простой человек мы не воевоят!

Повстанцы захватили железнодорожную станцию Россоховатка. Быстро расставили свои патрули, быстро вооружились ломками и разобрали рельсы, чтобы не мог сюда заскочить бронепоезд и не могло прийти подкрепление врагу.

— Пускай только сунутся!

Начальник станции Россоховатка, смешной, усатый, как таракан, бегал от одной группы работавших на путях повстанцев к другой, размахивал руками и вопил:

— Что вы делаете, братцы? Воюйте вы, пожалуйста, на нейтральной территории, но не нарушайте график движения поездов!

От него только отмахивались, но не трогали. Что с него взять?

Начальник станции, охрипнув от криков, бежал в телеграфное отделение и слал телеграфную депешу в Уманское железнодорожное управление:

«Станция дезорганизована вооруженной толпой местных крестьян точка пути разобраны в обе стороны точка просьба поездов не отправлять впредь до уведомления многоточие находимся запятая как сами понимаете запятая в безвыходном положении запятая граничащем с катастрофическим точка».

Управление безмолвствовало.

9

Поздно вечером и, по-видимому, тайком явилась к Юрию Александровичу делегация от местного кулачества. Всего их четверо, они приехали на конях, но коней оставили в орешнике, не доезжая до Прохладного. Они были осторожны и не хотели, чтобы узнал кто-нибудь об их посещении помещицкой усадьбы.

— Наша стежка-дорожка одна, одним мы лыком связаны, — начал беседу самый солидный из них, чернявый, рослый, загорелый, с умным, немного насмешливым взглядом, как будто он что-то такое знал о собеседнике, но не хотел этого высказать. — Мы хоть и простые крестьяне, но тоже вроде как ваши младшие братья. Вы — помещики, а мы — унтер-помещики. Нам еще немного подрасти, еще землицы прикупить трошечки, еще поголовья скота прибавить, да отстроиться, да детей в мужиках не держать, в ниверситетах обучить — и станем мы на ноги.

— Розумиете? — то и дело подхватывал слова чернявого второй из пришедших, маленький, коренастый, с веселыми глазами.

— Я вот хочу сахарный завод купить. Деньги есть, только время неподходящее. А деньги, конечно, найдутся...

— Розумиете?

Третий, щетинистый, угрюмый, прервал эти разговоры:

— Ты, Пантелей Лукич, о деле балакай. Что деньги у тебя есть, всем известно. Ты о деле начинай. Слово толковое стоит целкового.

— Дело у нас к вам такое, — послушно приступил к главному чернявый. В нашем уезде пошаливают, это, конечно, вам известно. Да и не только в нашем уезде. Повсюду агитаторы красные шныряют. Народ мутят.

— Мы тут порешили намердни одного, без документов оказался, — вставил слово щетинистый. — Мышь гложет, что может.

— Всей этой музыкой Москва командует, коммуня руководит. А мы сидим, только руками разводим.

— Розумиете?

— Вот хотя бы и вы. Хотя вы и разместили во флигеле немецких солдат, да разве они подюжат? Они тоже, шельмецы, агитации поддаются.

— Ну и что же вы предлагаете? — спросил наконец Юрий Александрович, до сих пор молча, с любопытством разглядывавший этих ходоков. — Уезжать?

— Вы, конечно, можете. Сел в курьерский, конечно, поезд да уехал, все одно помещичьи усадьбы жгут, вам лишь бы целы капиталы. А нам куда податься? У нас здесь все. Некуда нам уходить.

— Розумиете?

— Уходить нам нельзя: земля, — вдруг заговорил четвертый, тучный, жирный и как будто дремлющий великан.

— Правильное слово! Земля! Нам от земли никак невозможно отдалиться!

— Значит, надо действовать! — воскликнул Юрий Александрович. При этом он встал и начал ходить по кабинету, где принимал своеобразную делегацию. — Правильно понял я вас?

— Действовать, — подтвердили все четверо, — и чтобы наверняка.

— А то у всякого Федорки свои отговорки, — опять ввернул щетинистый.

— Истреблять их надо! — пробасил великан.

— А что же? Конечное дело! Смотреть на них? Они нас бьют, они хотят свои совдепы насадить на нашу шею...

— Нам вместе не жить. Мы или они.

— Понятно! — ходил по кабинету Юрий Александрович. — Мне все это очень близко и очень понятно. И я от всей души благодарю вас за доверие, дорогие мои братья, дорогие друзья!

Юрий Александрович искренне был взволнован. Он думал:

«Вот она, сила! Вот она когда пробуждается! Соль земли, деревенские богатеи... Они производят хлеб, шерсть, кожу, масло, молоко... И они хотят сами, своими руками покончить раз и навсегда с чуждыми им идеями всяких социализмов...»

Юрий Александрович восхищенно смотрел на этих пахнущих черноземом как он сказал? — «унтер-помещиков», и в голове Юрия Александровича рождались одна за другой великолепные идеи: нужно подхватить эту инициативу, возглавить это движение хлеборобов... О! Юрий Александрович расскажет об истинной картине этим близоруким иностранцам! Вот они, так называемые куркули! Вот они — сидят перед ним! Они хотят быть помещиками, сахарозаводчиками и не желают знать совдепов! Дать им в руки оружие — и они выжгут каленым железом всю крамолу, с которой никак не могут справиться никакие петлюры, никакие оккупанты...

Юрий Александрович заговорил. Он не выбирал слов, не старался говорить популярно. Но он видел по лицам, что его понимают, что его одобряют.

— Оружие у нас есть, — говорил, сдерживая накипевшую в нем ярость, чернявый, — оружие есть, люди найдутся. Нам нужно только опытных командиров. Не таких, как петлюровские, те все дело разваливают, потому им лишь бы грабить, лишь бы поживиться, они сильнее всяких агитаторов народ настраивают! Народ ошалел от казней, от грабежей, от смертоубийства. Немцы грабят, Петлюра грабит, всякие там американцы на кораблях приезжают — тоже грабят... А помощи настоящей нет! Вот о чем мы пришли говорить с вами.

Долго они толковали, намечали планы, прикидывали...

Когда делегаты ушли, Юрий Александрович сел писать обширную докладную записку. Он откроет глаза на истину! Он поднимет на великую битву земную силу Украины!

Писание Юрия Александровича прервало приглашение к обеду. А потом Люси отняла весь вечер... А потом, проглядев все им сочиненное, Юрий Александрович нашел это бесцветным, слишком напыщенным, не подкрепленным фактами.

На следующий день Юрий Александрович поехал к самому Эйхгорну и просил его усмирить восставших мужиков в их уезде. Юрию Александровичу обещали всяческое

содействие, были любезны, и, действительно, в Звенигородку были двинуты крупные военные силы, с танками, артиллерией, авиацией. И вскоре в уезде стало тихо.

И как ни жаль было расставаться с комфортом, со старинными портретами, висевшими в залах, с сытными обедами, с салфетками, на которых были вышиты короны, с очаровательной Люси, которая всегда была готова отвечать на его ласки, но надо было ехать, надо было действовать. Уже поступали сигналы со стороны шефов, с которыми Юрий Александрович был тесно связан, уже несколько раз напоминал о себе Гарри Петерсон, требуя немедленного выполнения его директив.

И настал час расставания. И опять Юрий Александрович, уезжая, не оставлял адреса, куда ему можно писать, и сам опять не обещал писать часто.

Седьмая глава

1

Когда поезд, увозивший Мишу Маркова, прогромыхал всеми своими колесами, надымил, заслонив дымом половину неба, а затем вдруг растаял, исчез в степи, Григорий Иванович подумал облегченно:

«Пристроил мальчишку! Пусть пошлифует, подрастет. А здесь он пропал бы ни за грош».

Теперь нужно подумать о себе. Пробирается ли в Бессарабию и снова собирать партизанский отряд? Или пойти к партизанам здесь, на Украине? Помогать хлопцам пускаться под откос немецкие эшелоны?

Встретил на улице Ковалева, однополчанина по Таганрогскому полку. Узнать его было трудно, сначала посмотрел — идет дядька с базара: баранья шапка, самотканая свитка, гармошкой сапоги.

— А я вас ищу, — обрадовался Ковалев. — Сказали мне, что вы где-то здесь обретаетесь, в какой-то гостинице. Думаю, обязательно найду. Я ведь только что приехал и опять уезжаю. Дела. У вас какие планы?

— Планы — бороться. Других пока нет.

— Вот-вот. Я как раз с этой точки зрения. Вечерком заходите, я тут поблизости, сведу вас с одним полезным человеком. Вместе покумекаем, где и как вас лучше использовать. Люди, знаете, как нужны!

Встретился Котовский в маленькой комнатке маленького домишка, за чайным столом, за самоваром, чтобы не привлекать внимания хозяев, с очень интересным человеком. Он назвал себя Романом. Григорий Иванович умел разбираться в людях и сразу почувствовал, что перед ним крупный работник, умница, человек, отдавший всего себя без остатка служению революции.

Самовар похлопывал крышкой, фырчал, пел на разные лады. За перегородкой весело, как воробы, кричали, возились, ссорились и мирились дети — целый выводок, и все мелюзга. Хозяйка, крупная, складная женщина, наперекор всем громам и молниям, облавам и катастрофам растила детей, выпекала лепешки, белила, мыла, скоблила хатенку, топила печи — словом, сохраняла семью. Вот и сейчас она гремела посудой, попутно давала шлепка младшему своему отпрыску или грозно приказывала: «Манька, принеси воды!»

Затем она вошла в комнату и поставила на стол пышущие жаром, румяные, аппетитные лепешки, целую стопочку, наложенную на тарелку:

— Лепешечек свеженьких!

Воспользовавшись приоткрытой дверью, в комнату заглянула девочка, с белыми кудряшками волос, с огромными серыми глазами и перемазанной в масле физиономией.

— Ма-амка!

— Закрой дверь! — цыкнула мать, и снова приветливо: — Кушайте! Уж лучше самим

съесть, чем этим грабителям достанется.

— Спасибо, хозяйюшка! — сказал, улыбаясь, Роман. — А грабителям скоро не поздоровится, недолго они повластуют.

Когда она снова исчезла за дверью и там опять зашипела сковорода и загалдели ребята, товарищ Роман сказал:

— Мне даны полномочия неотложные вопросы решать на месте. Я очень рад, что встретился с вами, — обратился он к Котовскому, но ни разу не произнес его имени, что свидетельствовало о большой его осторожности. Партия решила послать вас на ответственный участок, туда мы направляем лучших наших людей. В Одессе уничтожен подпольный губком. Сейчас будут направлены по подбору ЦК новые работники. У вас, как мы знаем, большой опыт подпольной работы. Мы знаем о вас и по Румынскому фронту, и по Кишиневу. Отправляйтесь в Одессу. К сожалению, некоторые явки провалились. Смело можете обратиться к главврачу одесского госпиталя. Запоминайте адрес, фамилии, пароль. Записывать ничего не надо. Начнете с этого, а там установите связь с нашими товарищами и будете работать по их заданиям. Только... — товарищ Роман несколько замялся, — только не надо особенно рисковать, у вас есть эта черточка... Вы не обижайтесь, это не просто мой дружеский совет, но и указание партии. Вы не один. Никакой бравады. Ну, а храбрости у вас хоть отбавляй. Мне говорили о вас в Москве. Вас знают.

Котовский нисколько не удивился, что ему, беспартийному, поручают такие задания. Он считал себя в партии. В Кишиневе он всегда согласовывал свои действия с Гарькавым и работал под руководством фронтотдела. В Галаце он присоединился к установкам большевиков. В Тирасполе был под командой беззаветно преданного революции Венедиктова. И сейчас он безоговорочно принял новое задание. Обдумывая, как начнет действовать, он возвращался в свой гостиничный номер.

Городишко спал. Здесь рано ложились спать. Света не было: электростанция была взорвана, когда город переходил из рук в руки, керосина тоже не было. Впрочем, апрельские ночи короткие: несмотря на поздний час, Григорий Иванович вполне различал и неровную, засохшую глыбами после дождей дорогу, и то деревянный, то выложенный большими каменными плитами тротуар.

Было легко на душе. Кончилась неопределенность положения.

2

Весело, без минутного колебания, даже с каким-то задором и любопытством отправлялся в опасную дорогу Григорий Иванович. Конечно, он понимал, что каждую минуту будет рисковать головой. Вот это как раз ему и нравилось! Это напоминало молодые годы, романтику его юношеских дней. Только в те годы он по собственному почину и по своему разумению взял на себя роль народного мстителя, а сейчас предстояло ему связаться с красным подпольем, с партизанами, и там, в стане врагов, вести борьбу.

Так складывается жизнь! Вчера он еще не знал, что будет с ним. А сейчас в кармане Котовского документы, из которых явствует, что предьявитель их — помещик Золотарев. И если бы Марков мог видеть в поезде, направлявшемся в Одессу, плотного человека в штатском — в летнем чесучевом костюме, в соломенной, далеко не модной шляпе, — никогда не признал бы он в этом добродушном толстяке своего командира, всегда подтянутого, всегда «в форме», всегда в бодром настроении.

Нет! Это был совсем другой человек! Ну просто гоголевский какой-нибудь Шпонька или Иван Никифорович! Так и казалось, что он или обзовет кого-нибудь гусаком, или достанет из своих бесконечных баулов дыню и примется за нее с завидным аппетитом, нарезывая длинными ломтями.

Он отнюдь не неряшлив, нет, он даже щеголеват, но по-провинциальному щеголеват, как щеголяют где-нибудь в Прилуках или же на Диканьке. Он провинциально шикарен и провинциально любопытен. Таким людям приятно рассказывать новости: всему верят и все

выслушивают с неослабевающим интересом.

Поезд громыхал через степь.

Степь была знойная, и сколько поезд ни уходил на юг, все стояло перед глазами одно облачко, большое, скучное, снулое, разомлевшее от жары.

Да есть ли конец у этой степи? И схлынет ли наконец эта жара? Уже некоторые сутки поезд громыхает по стыкам рельсов — и не может добраться до какой-нибудь мало-мальски приличной станции!

Не обращая никакого внимания ни на грохот колес вагона, ни на пьяные выкрики, два старичка, оба седенькие, оба шустрые, проворные, очень довольные, что нашли один в другом по душе собеседника, говорили о рыбной ловле и спорили, когда лучше ловится рыба — до дождя или после дождя.

Помещик Золотарев принял участие в их споре и горячо настаивал, что рыба лучше ловится после дождя.

— Но позвольте! — не унимался старичок, придерживавшийся противоположного мнения. — Рыба — она нервная, она заранее чувствует погоду. К тому же перед дождем мошки, стрекозы ложатся на воду...

В вагоне много мешков, оружия и табачного дыма.

Офицеры и солдаты, неизвестных частей и неизвестно куда и зачем едущие, спекулянты (ну, эти-то как раз знали отлично, куда и зачем ехали!), простоволосые, несчастные женщины, разыскивающие пропавших без вести мужей, старухи, бог весть каким образом затесавшиеся в общую сутолоку, — все это разместилось по полкам и изнемогало от жары.

— Пресвятая богородица, до чего же дождя надо!

Когда поезд останавливался, все спрашивали друг друга, какая это станция и долго ли поезд будет здесь стоять. Но никто не знал ни названия станции, ни продолжительности остановки. На станции уныло бродил человек с фонарем. Никли пыльные акации. Пассажиры выходили на раскаленные плиты перрона и покупали молоко в бутылках зеленого цвета. Молоко было разбавлено водой и приправлено кусочком масла. Горячий паровоз шипел. Сердитый машинист поглядывал на пассажиров.

— Скажите, машинист, долго ли тут стоять будем?

— До второго пришествия!

Он с превеликим удовольствием спустил бы под откос этот состав, наполненный деникинским офицерьем. Но к машинисту приставлен часовой. И поезд дает отправной свисток, поезд движется дальше. Часовой присматривает за машинистом, машинист присматривает за паровозом... и мимо мелькают степи, степи, неоглядные степи!..

Котовский великолепно играет роль провинциала-помещика. И ничего нет подозрительного, что он заговаривает с одним, другим пассажиром, главным образом расспрашивая относительно цен на хлеб.

— Позвольте полюбопытствовать... — говорит он. — Извините за беспокойство...

Случайно перехватывает внимательный взгляд одного пассажира, которого раньше и не приметил. У открытого окна сидит молоденький офицер с фронтовым загаром и какой-то грустью и усталостью в глазах. Офицер этот чем-то располагает к себе, и он так не походит на всю эту пьяную ватагу, на этих хлещущих коньяк, орущих, безобразничающих деникинских головорезов, которыми полон вагон!

Лицо знакомое... У Котовского отличная память. Он вспомнил, кто этот офицер у окна вагона. Но хотелось бы знать, какова зрительная память офицера? Времени прошло очень много. Узнает или не узнает? Встречались они во время оно в имении Скоповского. Офицерик в те времена был гимназистом Колей и приезжал на летние каникулы вместе со Всеволодом Скоповским из Питера. Конечно, он выглядел тогда иначе. Да и встречались они с этим гимназистом редко и мимоходом. Котовский вспомнил: «Да, да, точно! Орешников его фамилия! Коля Орешников! Он еще всегда с удочками таскался!»

Как поступить? Перейти в другой вагон? Отстать от поезда?

Котовский вместо того сел рядышком с молоденьким офицером и тоже стал любоваться

в открытое окно на степные просторы. Он всегда предпочитал смотреть опасности в лицо. Во всяком случае, он точно удостоверится, узнали ли его, каково настроение этого поручика, каков он сам, а тогда уж можно решить, как действовать.

С минуту оба молчали. Только поручик вежливо подвинулся, давая место у окна.

Они заговорили о том, что жарко, что хлеба выгорели, что, впрочем, это не имеет никакого значения, потому что все равно некому убирать.

«Кажется, не узнал, — думал между тем Котовский, внимательно слушая и внимательно разглядывая собеседника. — Не мог бы он так прикидываться!»

Действительно, голос поручика звучал так искренне. Сам он производил впечатление человека издерганного, усталого. Он говорил отрывочно, перескакивал без всякой связи с одной темы на другую. Голос у него был приятный, а когда он улыбался, глаза его оставались грустными и не участвовали в улыбке.

«Нет, не хитрит. Явно не узнал, да и не разглядывает особенно, и, видимо, я все же изменился за это время. Но почему так смотрел?»

Поручик рассказывал о падении дисциплины в армии, о том, что мечтает об одном: как по приезде в Одессу заберется в ванну и смоем фронттовую грязь.

— Что в Одессе?

— Бедлам. Вы разве давно там не были?

— Давненько.

— Увидите много интересного и поучительного. Если же вы русский человек к тому же и любите то, что известно было когда-то под названием «родины», то вы переживете много унижения и стыда.

Котовский с любопытством посмотрел на офицера.

— Вот как? Унижения и стыда? Сильно сказано!

— Сказано недостаточно сильно и недостаточно громко, да и вы сами видите: кому говорить?

Котовский повел глазами на горлающих песни, на играющих в карты пьяных офицеров, заполнивших вагон.

— В Одессе сейчас есть всевозможные черт их знает откуда взявшиеся на нашу голову хозяева положения, — продолжал поручик. — Днем идет напропалую торговля, причем все продают и все покупают: табак, кокаин, родину, чины и военные тайны! Ночью на улицах патрули, а в ресторанах дебош, свинство! Пьют все: бывшие министры, бывшие журналисты, бывшие депутаты Государственной думы... Одни пьют потому, что стыдно, другие — потому, что утратили стыд. И везде и всюду на первом месте иностранцы! Может быть, те иностранцы, которые живут где-то там, у себя, — хорошие люди, даже обязательно так. Но иностранцы, которые понаехали в Одессу, отвратительны. Они, видите ли, хозяева! Платят и хотят за свои денежки получать проценты послушания! Они презирают нас и не скрывают этого.

— Вероятно, они недовольны, что плохо воюют?

— Разумеется! Да и нельзя отрицать, что Добровольческая армия все больше превращается в жалкий сброд. Иностранцы чувствуют это и начинают беспокоиться за вложенные ими денежки, за добычу, которая уплывает.

— Гм... а вы думаете, что уплывает?

— Я ничего не думаю. Они думают.

— В вас много задора. Вы мне нравитесь, молодой человек! Простите, с кем имею честь?

— Николай Орешников. Недоучка. Собирался быть путейцем по примеру брата, а вышел из меня непутевый офицер. По глупой русской привычке храбр, но не знаю, к месту ли. По глупой русской привычке — занимаюсь самобичеванием и браню русских, но, честное слово, мы лучше многих чванливых так называемых европейцев! Приятно было с вами побеседовать, душу отвести. Простите, вы не из Петербурга?

— Помещик Золотарев. Здешний. А впрочем, бывал и в Петербурге.

— В Одессе непременно сходите в кабачок «Веселая канарейка». Получите полное удовольствие. Можете себе представить, там у входа красуется надпись: «Студенты-стражники провожают домой. Плата по соглашению». Это ли не красота? Поужинали, выпили, а затем наймите студента! Относительно интеллигентен и вместе с тем вооружен. Впрочем, я говорю много глупостей. В душе такая боль, а слова получаются жалкие. Чем это объяснить? Не умеем чувствовать? Вот вы знаете, я много смертей перевидал. Казалось бы, если человек умирает, он должен бы... ну, подвести какой-то итог. Уже все, нет никаких сдерживающих условностей, ты полный хозяин твоих оставшихся пяти минут. Ну, прокляни, если хочешь, или благослови, завещай. Ведь ты в последний раз можешь говорить. Если ты при жизни боялся, теперь тебе нечего бояться. Если ты что-то скрывал, теперь можешь не стесняться, мой друг, все равно все кончено. Но скажи же, скажи незабываемое, значительное, полное священного трепета или насыщенное цинизмом! К сожалению, и в час смерти человек не находит нужных слов, так, мелочишка! Помню, один умирающий все только просил клюквы. Черт возьми! Да ведь ты сам уже превращаешься в клюкву, в болотную кочку! Слушаешь — и такая обида поднимается! А может быть, зря? Другой умирающий волновался, кому достанутся его новые сапоги...

— А вы хотите, чтобы они в свой смертный час говорили о перспективах развития сахарной промышленности?

— Нет, зачем же! Но почему все же — сапоги? Или мы бедные уж такие? Или боязливые? Напугали нас, что ли, на всю жизнь?

Орешников задумался и замолчал. Лицо у него осунулось, скулы заострились. Так они некоторое время молчали, и Котовский думал, почему, собственно говоря, этот офицер не мог бы быть с ними, если бы внести ясность в его мысли и мироощущение? В нем есть что-то такое, бродит. Но в людях разбирается плохо: с какой стати, например, отводить душу с каким-то помещиком Золотаревым? По-мальчишески получается! Но, конечно, не узнал.

— Простите, а ваше имя-отчество? — заговорил в это время поручик. Интеллигентская привычка, без имени-отчества трудно разговаривать с человеком. Ага! Петр Петрович? Очень приятно! А меня зовут Николай Лаврентьевич. Я вот сейчас думал, Петр Петрович... как бы это проще сказать, без ложного пафоса... Я считаю, что нет никакой выгоды трусливо жить. Ну, просто вот нет ровно никакой выгоды! А? Вы согласны? Ведь как ни силиться, не наскрести больше, чем отпущено. А отпущено до смешного мало! Обыкновенный стул, например, может прожить дольше, чем пять маститых стариков, умирающих с почестями и с седыми бородами. Ну разве же это не свинство?! На одной чаше весов — пять академиков, движущих вперед науку, а на другой чаше весов — дурацкий стул! Вы возразите мне: стул неодушевленный предмет. Хорошо. Черепаха живучее человека! А? Как это вам нравится? Че-ре-па-ха! Одушевленный предмет — черепаха! Конечно, все это очень трафаретные вещи, но каждый человек в определенном возрасте непременно должен пройти через эти бесплодные мудрствования, как ребенок должен переболеть корью...

Котовский слушал и чуть-чуть улыбался: ему нравилась запальчивость собеседника.

Рядом с ним спала какая-то крупная, дородная женщина со спутанными волосами, и мухи все время лезли в ее полуоткрытый рот. На верхней полке, над ней, скрючась и обливаясь потом, играли в карты три казака, причем один из них при каждом ходе смачно и с явным удовольствием ругался. По соседству собралась шумная, пьяная компания. В основном это были офицеры. Они пели, пили коньяк, которого у них были, по-видимому, неистощимые запасы. Встрепанный, потерявший человеческое обличье капитан в расстегнутом кителе, с налитыми кровью глазами, подтаскивал приятеля — уже совсем осоловевшего, оседавшего, как куль с мякиной, человечка — к открытому окну и исступленно кричал:

— Гр-риш-ша! Смотри в окно, мер-рзавец! Гр-риша! Смотри-ри, Гриш-ша! Как-кая красота!

— М-м... — мычал Гриша.

— Гр-риш-ша! М-мы недостойны этой кр-ра-соты! Пей, Гр-риша!

— Н-не могу.

И на него напала икота.

— Какая-нибудь паршивая звезда, захудалая необитаемая планетишка третьего сорта, которой, в сущности, абсолютно все равно, существовать или не существовать, — она может болтаться в безвоздушном пространстве миллиарды, чертову прорву лет! А человек цепляется за свои пять коротеньких десятков лет, кашляет, страдает от ревматических болей, но хочет еще и еще, ну хоть денечек еще! А что, собственно говоря, еще? Ведь уже выпцвела жизнь, вылиняли чувства, ощущения... Ведь уже и человека-то нет, в сущности говоря. Одна оболочка!

— Выводы? — спросил Котовский.

— Выводы? Человеческая жизнь должна измеряться иначе. Бывает мера веса, мера объема... А здесь — мера дел. Осуществить себя! Выкинуть что-нибудь такое, чтобы ахнули потомки!

— Ахнули?

— А главное — перед собой чтобы не стыдно... Вам смешно это слышать? Наивно очень? Да? Мне эти мысли все чаще стали приходить именно теперь, когда я вижу вокруг себя смерть, смерть, систематическое истребление нации... Когда это кончится? Во мне столько накопилось вопросов, сомнений, что вам и слушать надоест, а между тем мы подъезжаем к Одессе...

Раздельная... Карпово... Пригородные дачи... Да, это уже Одесса!

Пассажиры толпятся у окон, стаскивают с верхних полок чемоданы. Только два старичка-рыболова, ничего не замечая, продолжают беседовать о преимуществе мотыля, об утреннем клеве и прелестях ершовой ухи.

Когда поезд подходит к перрону и пассажиры бросаются к выходу, Орешников чуть слышно говорит:

— Что-то сейчас в «Валя-Карбунэ»? Хорошо там рыба ловилась. Вы не беспокойтесь, я никогда не лезу в чужие дела... Петр Петрович. А вы мне особенно понравились, когда я узнал, что вы вышвырнули Скоповского из окна. Это, по-моему, очень красиво. Я уважаю людей последовательных и принципиальных. А вы тогда действительно гремели на всю Бессарабию! Вашим именем пугали маленьких помещичьих детей!

«Черт побери, оказывается, узнал! Выдержанный человек. Вот почему он и откровенничал со мной!»

На лице Котовского мелькнула немножечко хитрая и в то же время добродушная улыбка:

— Я надеюсь на вашу порядочность, поручик. Вы знаете только Золотарева. Ясно? Вы вот говорили, что надо достойно жить. Я хочу прожить достойно. А как же иначе? Все мы так должны жить!

И без всякой связи добавил:

— Как же вы все-таки меня узнали? Очень мне это любопытно!

— Рыбка! — засмеялся Орешников. — Не надо было о рыбке говорить: что ловится после дождя. Ведь вы и мне когда-то это самое доказывали. Если бы не рыбка — никогда мне вас не узнать бы. А тут меня как осенило.

Вагон уже опустел, и они тоже вышли.

— Когда-нибудь еще встретимся!

— Обязательно!

Они пожали друг другу руки. На перроне была толчея. Много иностранцев. Много военных. И вскоре они потеряли друг друга из виду в этой текучей толпе.

Помещик Золотарев сел в извозничий экипаж.

— К театру!

В центре города Золотарев заходит в магазины, останавливается перед витринами, читает афиши, просматривает приказы. С большой тщательностью он убеждается, что за ним нет никакого «хвоста». Очевидно, Орешников будет молчать. Но даже если бы и не молчал? Слежки нет, это бесспорно.

Одесса купается в солнце. Стоит немного отдалиться от центра — и уже тишина, безлюдье. Самое жаркое время дня. Даже быстрокрылые шурики не летают в это время. В эти часы или спят, наглухо закрыв ставни, или, изнывая от жары, пьют на улицах воду на льду и виноградный сок.

Приезжого не интересовали ни особняки на Французском бульваре, с их башенками, беседками, верандами, лепными вазами на фронтонах и агавами, лилиями вдоль садовых дорожек; ни пышный памятник Ришелье на Николаевском бульваре; ни тенты, сохраняющие прохладу в кафе Фанкони; ни каштановые аллеи; ни блестящий Ланжерон; ни Золотой берег с его купальнями.

Он рассеянно взглянул на морскую даль, на жалкие лачуги внизу, по обрыву. Ему захотелось пройти мимо здания Военно-окружного суда, с его высокими нишами. Не так давно вошел он в одну из этих огромных дверей, чтобы выслушать в мрачном зале приговор холодных судей. И вот он снова пришел сюда. Его руки не стягивают леденящие обручи, кандалы не звенят на ногах. Он теперь на свободе и пришел, чтобы бороться и победить.

Так, блуждая по безлюдному в этот час городу, Золотарев добрался наконец до госпиталя, постучал в кабинет главврача и заявил ему:

— Мне кажется, что у меня высокая температура.

Главврач, в белоснежном халате, сверкающий чистотой и стеклышками пенсне, пахнущий карболкой, благополучный, розовый, внушающий доверие, ответил медленно, разглядывая через пенсне посетителя:

— Ощущаете какие-нибудь боли?

Собственно, в госпитале не было никакой явки. Но главврач сочувственно относился к Советской власти, всегда готов был помочь людям, которые ни при каких обстоятельствах не складывали оружия.

Это повелось издавна. Еще в прежнее, дореволюционное время главврач прятал у себя на квартире революционеров, давал деньги на издание нелегальной литературы. Он был крайне осторожен, ни тени подозрения не падало на него. А сознание, что не совсем еще опустился, не погряз в мещанском благополучии, как чеховский Ионыч (он ужасно боялся этого!), сознание, что он вносит свою лепту в дело революции, успокаивало его совесть и давало возможность удобно, хорошо, красиво жить в прекрасном собственном доме, холить и лелеять жену и дочку и со светлой грустью наблюдать, как, несмотря на режим, постепенно изнашивается организм, появляется жирок, сердце начинает пошаливать... И, сам над собой подшучивая, он говорил:

— Что мне нужно для полного счастья? Три «п»: пенсионная книжка, покой и пурген.

Итак, доктор и теперь дал свое согласие: присылаемых к нему людей класть под видом пациентов в одной из палат госпиталя. На койке такого пациента, как и у других, появлялась дощечка с историей болезни, больной получал больничные туфли и халат и обязан был измерять температуру.

Котовский с удовольствием улегся в чистую постель, приняв предварительно ванну. Он еще не совсем оправился после тифа. Основным последствием перенесенной болезни был страшный аппетит. Главврач заметил это и сразу же предписал ему усиленное питание.

Палата, где поместили Котовского, была светлая, солнечная, с белыми высокими потолками, окнами в сад, стенами под масляную краску. И всего четыре койки.

На одной из коек — Котовский глазом не моргнул и виду не подал, что узнал, — лежал молодой паренек, находившийся совсем недавно в Тираспольском отряде.

Котовский, войдя в палату, поздоровался, ни к кому не обращаясь в частности, сразу же лег, укрылся с головой и уснул.

Вечером в умывальной, оставшись с этим пареньком наедине, они перекинулись двумя-

тремя словами.

— Прошу учесть, что я в настоящее время — Разумов.

— Очень приятно. А вы имеете дело с помещиком Золотаревым Петром Петровичем. Рад познакомиться.

— Вам, вероятно, понадобится установить связи. Вы слышали о провале? Сейчас все налаживается. Пока отдыхайте, у вас неважный вид.

— Болел.

— Слышал. Отряд сильно пострадал?

— Очень. Ну, мы еще успеем поговорить. Идите первый. В палате — самые общие темы. Кто там остальные?

— С одним из них вам придется встречаться. Работает по связи.

В палате оставили только ночной свет. Сон у всех был отличный. Утром пришла сестра и, страшивая градусник, весело спрашивала, как самочувствие. Котовский подождал, пока она уйдет, взял оставленную ею таблетку и отнес в уборную. Он в жизни не принимал лекарств.

Сразу же после завтрака начинался обход главврача. Обставлялось это с большой торжественностью. Главврач мчался по коридорам впереди, сияя чистотой и благополучием, распространяя вокруг себя запахи английского табака и карболки. За главврачом, еле поспевая, следовали ассистенты, с очень умными, очень интеллигентными лицами. Далее шествовала светловолосая, толстая, на массивных ногах, обтянутых фильдекосовыми контрабандными чулками, медсестра, несшая поднос с бесчисленными баночками и пузырьками. За ней нестройной толпой шагали доктора, заведующие различными отделениями.

Больные заранее волновались, вытягивали шеи и старались что-нибудь уловить из отрывочных фраз. Все это медицинское сборище произносило множество страшных слов, вызывающих тревогу. «Субфебрильный!» А что значит «субфебрильный»? Самый простой йод именовался «тинктура йоди». У мнительных больных от одного слова «тинктура» могла подняться температура.

Но вот обход закончен. Главврач долго проверял пульс у Котовского и строго спросил:

— На рентгене были? Ничего, больной, не падайте духом!

Прошло около двух месяцев. Молодой паренек выписался, но приходил оформлять какие-то справки и заодно навещал друзей. Наконец он сделал все необходимое. Теперь и Котовскому можно было покинуть голубую больничную палату, успевшую ему изрядно надоест.

4

Ришельевская улица. Молочная «Неаполь». Сбитые сливки, болгарская простокваша, кефир. Белейшие скатерти на столиках, белейший костюм у добродушного толстяка, хозяина молочного заведения. Ложечки, стаканчики, бутылки с сиропом — все начищено, намыто и сверкает чистотой.

Но сколько пооткрывали этих молочных, закусовых, ночных кабачков! Поэтому они и пустуют.

Помещик Золотарев входит в молочную. Медленно приближается к прилавку, осматривая окна, стены и пустующие столики.

Хозяин молочной даже не переменял позы. Он спокойно ждет, что закажет посетитель. Торопиться некуда, и к тому же такая духота!

— Две простокваши с корицей и сахарным песком, — произнес наконец посетитель. — Терпеть не могу эту простоквашу, но дал слово моей тете, Серафиме Антоновне, что буду соблюдать диету и заботиться о желудке. Что вы подделаете с этими женщинами!

Безразличие исчезает с лица хозяина молочной «Неаполь». Он осторожно спрашивает:

— Минуточку! Что-то очень знакомое имя. Случайно, она не сродни известному коннозаводчику Талалаеву?

— Как же, как же! А вы его знаете?

— Боже милостивый! И он еще спрашивает! Знаю ли я Талалаева! Да если уж я его не знаю, тогда кто же все-таки его знает?! Тогда его просто никто не знает! Да вы зайдите в мою конторку, я вас очень прошу! Господи! Талалаев! Сережа Талалаев!

В задней комнате они пожимают друг другу руки.

— Котовский, — говорит помещик Золотарев. — Прислан к вам для постоянной работы.

Ослепительно белы скатерти на столиках молочной «Неаполь». И посетителей — ни души. Приоткрыв дверь в зал, они могут спокойно поговорить обо всем.

Милый, очаровательный Кузьма Иванович Гуца! Котовский полюбил его сразу. А когда они разговорились, Котовский узнал, что не раз сходились их жизненные дороги.

— Так и вы были в Нерчинске?! А помните надзирателя Дрюкалова? Он был при вас? — спросил Кузьма Иванович.

— Как же не помнить! Свиные глазки и совсем нет лба!

— Я любил, когда нас водили в баню... Это был счастливый час.

— Но всегда воды не хватало, и мы растопляли снег...

— На ночь нас пересчитывали по номерам и запирали в бараке, а вечно пьяный начальник предупреждал, что побегать бесполезно. Вы помните его фамилию?

— Ну как же! Конечно, помню этого мерзавца. Тарасюк! — воскликнул Котовский.

— Врал пьянчуга. Если с умом — с луны можно убежать.

— Для побега самый лучший месяц — февраль, — припоминал Котовский.

— Правильно! И я так считаю: нет мошки и не очень холодно.

Котовский удивился:

— А вы разве тоже делали побег?

— Конечно. И очень успешно. А лицо все-таки обморозил.

Было что вспомнить этим людям!

Но первый вопрос, который Кузьма Иванович задал Котовскому, — о Москве.

— Что нового? — задумался Котовский. — Как мне рассказывали, все там новое, каждый день выдвигает новые задачи, каждый день — новая страница. Очень там быстро живут! Ну, а что же в Одессе?

Кузьма Иванович стал подробно, обстоятельно рассказывать обо всем, что произошло в Одессе.

— Боролись мы за власть Советов. В декабре семнадцатого года Цека прислал сюда Володарского, затем прибыл отряд революционных матросов из Кронштадта. На сторону революции перешел Ахтырский полк, матросы военных кораблей «Алмаз», «Ростислав», «Синоп» и еще многие воинские части. «Союз социалистической рабочей молодежи» тоже неплохо действовал. Сами понимаете — молодежь! Мы подняли восстание. В январе восемнадцатого года ревком сообщил об установлении в Одессе Советской власти...

— А потом Германия оккупировала Украину...

— И на хвосте германских оккупантов пожаловала прежняя, еще более потрепанная Центральная рада. В те дни, когда советские учреждения эвакуировались из Одессы, на улицах появились контрреволюционные отряды польских легионеров, еврейские сионистские дружины с их голубыми знаменами и уголовники, которыми изобилует Одесса. Все они занялись одним и тем же подлейшим делом — открытым грабежом. В апреле Центральная рада окончательно скомпрометировала себя. Главнокомандующий оккупационными войсками на Украине фельдмаршал Эйхгорн наметил новое правительство Украины во главе со Скоропадским. И вот выплыл гетман. Как говорится, хрен редьки не слаще. Скоропадскому поставили определенные условия. Он должен обеспечить поставки в Германию, вернуть помещикам земли, принять беспощадные меры при всяком неповиновении. Вильгельм Второй «дал согласие на избрание Скоропадского гетманом Украины». Понимаете комизм этого «согласия на избрание»? И тогда без лишних слов германские солдаты разогнали Центральную раду...

Рассказывая, Кузьма Иванович строил такие гримасы и так изображал важную физиономию Эйхгорна и унылое лицо Петлюры, именовавшего себя «главным атаманом войск Украинской народной республики», что Котовский смеялся до слез.

— Д-да, — вздохнул Кузьма Иванович. — А вообще пока положение тяжелое. Одесса — основной опорный пункт интервентов. Кто только не хозяйничает здесь! Польские легионеры расстреливают рабочих, охотятся за мирными жителями, греческие войска свирепо расправляются с забастовщиками, французы привезли негров — зуавы — знаете? Французские, африканские, румынские войска бесчинствуют наравне с белогвардейцами... Никогда еще не переживала Одесса таких черных дней...

Кузьма Иванович замолк на полуслове, обошел все входы и выходы, проверил, нет ли кого поблизости. Убедился, что кругом ни души, вернулся и продолжал:

— Губком был арестован... Но теперь Цека прислал ценнейших работников. Вообще работа у нас поставлена неплохо. Ревком организует боевые рабочие дружины и руководит партизанским движением. Знаете, какие крупные партизанские отряды сформированы! Они еще дадут себя почувствовать! Правильно сказано, что Украина — вооруженный лагерь. И мы победим, в этом-то нет никакого сомнения, дорогой мой Григорий Иванович!

Когда Кузьма Иванович выговорился сам, когда он выспросил в мельчайших подробностях обо всем, что слышал Котовский о Москве, о положении на фронтах и о тысяче других вещей, которые его волновали, тогда он наконец со вздохом сожаления отпустил Котовского:

— Ну, ладненько, с дороги вы, конечно, то да се, устали и тому подобное... Больше я вас мучить не стану. Теперь вы устроитесь в гостинице, встретитесь с Самойловым... А сейчас я вас буду кормить. И не возражайте, пожалуйста, это бесполезно. Пока что никто еще не уходил от Кузьмы Ивановича голодным.

Тут волей-неволей Котовскому пришлось познакомиться со всем ассортиментом блюд, какие изготовлялись в молочной «Неаполь». Только убедившись, что гость действительно сыт и не может уже проглотить ни крошки, Кузьма Иванович проводил Котовского, дав ему много практических указаний и советов, как держаться на улице, где есть проходные дворы и каковы порядки у шпииков контрразведки.

5

Три французских эмигранта участвовали в закладке города Одессы: Дерibas, герцог Арман дю Плесси де Ришелье и Ланжерон, скончавшийся от холеры.

Город получался веселый, нарядный. На месте татарского села Хаджибей выросли форштадты. На рейде встали торговые иностранные суда, прибывшие из всех частей света.

Стало шумно, людно.

Одна за другой возникли прямые улицы, вознеслись ввысь белые колокольни. Маяк бросил луч в необъятный морской простор. Приморский бульвар наполнили моряки — плечистые, загорелые, в белых кителях, щеголеватые, молодые. По гранитной лестнице побежали здоровые, голенастые дети. Прилетели чайки и стали кружить вдоль берега. Крытый рынок наполнился выкриками торговки и гулом голосов, и на Куликовом поле засверкали стеклярусом карусели народных гуляний...

Большой портовый город жил полнокровно, шумно, по-южному крикливо.

А в 1918 году, когда приехал сюда Котовский, Одесса была битком набита бежавшими из России чиновниками, архимиллионерами, генералами и земскими деятелями. Кого только тут не было! Фрейлины и кокетки, архиереи и мукомолы. Царский министр Кривошеин и лидер эсеров Кулябко-Корецкий, весь расшитый позументами Дзяволтовский и бравый генерал Гришин-Алмазов, звезда экрана Вера Холодная и рыхлый банкир Третьяков... Да всех и не перечислишь!

Все они суетились, приказывали, заседали, кланчили у иностранцев кредиты, проигрывали сражения и заводили интриги.

Кроме них в Одессу понаехали отовсюду всевозможные представители, коммерсанты, атташе, авантюристы всех мастей, шпионы, воры и проповедники. И наконец, Одесса кишмя кишела военными, полицией, войсковыми частями...

Три французских эмигранта участвовали в закладке города Одессы. А теперь, в 1918 году, в Одессу пожаловали французы, чтобы участвовать не в постройке нарядного города, а в ограблении. Они явились сюда как захватчики, как завоеватели.

Пришел французский линкор «Мирабо». Вот она — реальная помощь союзников!

Обломки старой самодержавной России — всевозможные «бывшие»: бывшие министры, бывшие графы и князья — шумно приветствовали появление на одесском рейде французского линкора. Духовые оркестры наигрывали бравурные марши. Солидные, с животиками, при манишках, субъекты бегали, как мальчишки, по набережной и махали шляпами канатъе. Толстый архиерей, забыв благопристойность, разевал пасть, заросшую курчавыми волосами, и кричал до хрипоты «ура». Светские дамы визжали, размахивали пестрыми зонтиками и выкрикивали по-французски приветствия маршировавшему по улицам экипажу линкора:

— Вив ля Франс!

Все читали в «Одесских новостях» «Оду Франции» и любовались на помещенный в «Одесском листке» снимок Белого дома в Вашингтоне с подхалимской надписью и на портрет бравого генерала Бартелло...

Вскоре прибыла и 156-я французская дивизия под командованием генерала Бориуса. Солдат доставили на транспортах, охраняемых военными кораблями.

— Пять тысяч штыков! — похвалялся консул Энно. — Недурно для начала, как вы полагаете?

— Но почему среди них так много черномазых? — удивлялся вновь назначенный военный губернатор Одессы Гришин-Алмазов.

— Вы имеете в виду зуавов и сенегальцев? — хитро улыбался Энно. Зато пусть-ка попробуют распропагандировать большевики этих африканцев!

Темнели силуэты французских кораблей «Жюль Мишле», «Жюстис». Стоял под парами итальянский крейсер «Аккордан». Английский дредноут «Сюперб» демонстрировал силу Великобритании. В Воронцовском дворце поселился французский консул Энно. В гостинице «Лондонская» скучал английский адмирал Боллард и пьянствовал американский разведчик полковник Риггс.

Да, — нечего говорить — вся, с позволения сказать, «цивилизованная» Европа не жалела ни сил, ни расходов, чтобы сообща погасить пожар, вспыхнувший в этой нескладной, непонятной, вечно преподносящей неожиданности, загадочной России!

Одесса кишмя кишела войсками, разведками, полицией.

А в это время Центральный Комитет Коммунистической партии с исключительной тщательностью отбирал в Москве кадры подпольщиков, направляемых в Одессу. Владимир Ильич дал указание посылать лучших.

Чего стоил один только Иван Федорович Смирнов — бесстрашный, неутомимый, страстный революционер! Его знали как товарища Николая, Николая Ласточкина. А вообще-то у него была партийная кличка Маленький Ваня. Старый партиец, за революционную работу он был сослан царским правительством в Сибирь. После Февральской революции вернулся, а теперь прибыл в Одессу и возглавил большевистское подполье.

Вместе с ним приехали Иван Клименко, Елена Соколовская (под именем Светловой) и еще несколько опытных подпольщиков. Губком был воссоздан, и снова закипела работа, несколько ослабшая после недавних провалов.

На Базарной улице, в квартире рабочего Ярошевского, состоялось первое заседание «Иностранной коллегии». Обсуждались методы ведения пропаганды среди войск оккупантов, утверждался текст листовок, решено было издавать на французском языке газету «Le Communiste».

Отважно действовали подпольщики-коммунисты. Это не значит, что не было жертв.

Жертвы были! Но вставали на место каждого погибшего новые подпольщики. Вначале их были только единицы, но с каждым днем их число росло. Даже имена некоторых так и остались неизвестными, запомнились только их партийные клички: Громовой, Матрос, Гриша, Лола...

Белогвардейские газеты сплошь и рядом сообщали с невозмутимым спокойствием: «В порту задержан неизвестный молодой человек, раздававший прокламации на французском языке. Неизвестный на месте расстрелян...» «На спуске улицы Гоголя расстреляны два молодых человека. Передают, что на них указали, как на большевистских агитаторов...» «Вся семья была облита спиртом и сожжена...» «Закопан живым в землю...» Кровавые расправы стали повседневным явлением. Свистели кнуты, рычала адресованная собака... Стоны, крики можно было услышать в застенках белогвардейской контрразведки, во французском «Деэзем-бюро», в польской охранке в Суворовской гостинице на Мало-Арнаутской...

Французский генерал Франше д'Эспре, вояка, не отличавшийся гибкостью дипломата, откровенно советовал:

— Я вас прошу, господа, чуть что — расстреливайте без разговоров, будь то солдат, или непослушный мужик, или большевистский агитатор. Не надо арестов! Ради бога! Всегда найдется поблизости забор. Залп — и уже не надо ни тюрем, ни конвоиров. Чисто и просто! Ответственность за ваши действия я беру на себя. И да хранит вас всевышний!

Щепетильный генерал д'Ансельм — тот просто закрывал глаза на слишком прямолинейные действия своих подчиненных. Он брезгливо морщился: какое грязное дело эта политика!

Ну, а все остальные, пониже рангом, — те и не морщились, и не закрывали глаза. Для какого-то лешего притащили же сюда, за тридевять земель, всех этих бравых матло в живописных беретах и эти голубые шеренги пуалю. Так и нечего церемониться!

И все-таки, все-таки, несмотря ни на что, борьба не прекращалась, и в революционном подполье действовала уже целая армия, насчитывавшая в общей сложности до двух тысяч человек. Наперекор всему, в самом стане врагов, вот тут, в центре города, можно сказать под самым носом контрразведки, работала советская подпольная организация, сложная, разветвленная, налаженная, постоянно поддерживающая связь с Москвой, руководимая Центральным Комитетом Коммунистической партии и возглавляющая партизанские отряды в тылу врага.

6

С Самойловым Григорий Иванович познакомился в тот же день.

Из молочной «Неаполь» Котовский отправился в гостиницу, на Екатерининскую улицу. Две-три условные фразы — и посетителя повели показывать свободный номер.

— Очень рады вас видеть. Так вам устроить встречу с Самойловым? Будет сделано. А вы пока отдохните с дороги. Располагайтесь как дома. В будущем у вас редко выберется свободный денек. Вот здесь умывальник. Можно душ. Белье на постели чистое.

Какие приветливые люди! И как просто, точно и быстро выполняют свою опасную работу!

Котовский растирался мохнатым полотенцем после душа, когда вошел невысокого роста человек, весь какой-то уж очень изящный, холеный, благоухающий одеколоном, с тонкими чертами продолговатого лица. У него была черная как смоль, лопаточкой бородка, за которой он, по-видимому, ухаживал.

«Бородатый ассириец», — подумал Котовский.

— Самойлов, — произнес пришедший. — Будем знакомы.

Он оказался чрезвычайно интересным и приятным человеком. Сдержанный, он обнаруживал неукротимость. Умница, он никогда не давал почувствовать своего превосходства. Он объехал весь мир, знал несколько языков.

Самойлов с явным удовольствием разглядывал мощную фигуру Котовского:

— Вы, по-видимому, очень здоровый и очень сильный человек. Это в нашей трудной работе пригодится. Военный мундир носить умеете? Есть превосходные документы, и все данные у вас подходят.

— Мне все подходит, что требуется в решительный момент.

Самойлов познакомил Котовского с некоторыми особенностями подпольной работы.

— Редко где можно встретить такое скопление сыщиков, провокаторов, как в Одессе, — рассказывал ассириец, поглаживая бороду. — К счастью, действуют они несогласованно, враждуют и считают всех, исключая самих себя, круглыми идиотами, способными только испортить дело.

Умные глаза Самойлова искрились усмешкой.

— Ну-с... Кто у нас здесь есть? Разведка свирепствует, хватает направо и налево, носятся тяжелые слухи, что оттуда живыми не выходят. Кроме белогвардейской разведки в городе действуют — каждый на свой страх и риск и каждый, опираясь на свой аппарат и свою агентуру, — и французское «Дезьем-бюро», и «Двуйка» ясновельможной Польши, и румынская «Сигуранца», и американское «Эф-Би-Ай» — всех не перечислишь, и все одинаково изощренны и безжалостны.

Самойлов задумался. Он как будто колебался, рассказать ли о своем, личном, что не имело прямого отношения к делу, но, пожалуй, было поучительно.

— Мне случалось в жизни сталкиваться с испанскими застенками. Еще изощреннее Япония. Военные круги заняты изобретением средств разрушения, а эта публика... они состязаются в выдумывании самых изуверских пыток. Чего тут нет! Одни щеголяют пытками звуком, падающими лифтами, другие занимаются пытками мужей в присутствии жен, пытками жен в присутствии мужей... Средневековье — детский лепет! Подумаешь, сжигание на кострах! Загонять занозы под ногти и лить воду в ноздри... Пытать лампонами ослепительно ярким светом... Не давать спать по несколько суток подряд... Подвешивать на крючьях, избивать резиновыми палками, просто бить смертным боем, топтать, пинать, бить чем попало и по чему попало... Гноить в подвалах и мучить в каменном мешке... Водить на ложные расстрелы и стрелять мимо, в стену, и снова отводить в зловонный карцер, наполненный крысами... С каким ужасом, с каким отвращением узнает будущее человечество о современных «садах пыток»! И это в наш «цивилизованный» век! Век радио и электричества!.. Но все это так, к слову, просто вспомнилось... Извините меня...

Самойлов прошелся по комнате, как бы стряхивая с себя воспоминания. Видимо, многое пришлось ему испытать. И многое хотелось бы рассказать этому сильному, смелому человеку, которому он вполне доверял.

Он хотел бы рассказать о подпольной Одессе, где существуют и будут существовать, что бы ни случилось, губернский комитет партии, городской и районный комитеты, ревком, военный отдел, разведка и редакция. Ведь Котовскому придется работать под руководством Военно-революционного комитета. Может быть, ему придется бывать и на Ришельевской улице, в табачной лавке «Самойло Солодий и Самуил Сосис». А может быть, придется посещать и модное ателье «Джентльмен», где он будет получать очередные задания.

Да, обо всем этом хотелось бы рассказать Котовскому, сразу ввести его в дело. Но этого не позволяла конспирация.

Самойлов курил. Голубой дымок сигары скрывал иногда его лицо. После длительного молчания он сказал очень теплым, душевным голосом:

— Вот. У вас будет самый трудный участок. Впрочем, в подполье все участки трудные. С обстановкой, в которой вам придется работать, постепенно познакомитесь. Разумеется, вы сами подберете себе помощников, сами построите свою работу так, как вам удобней. Но для начала вы встретитесь с двумя нашими разведчиками. Славные ребята, но немножко любят играть с опасностью. Кстати сказать, в прошлый период вашей деятельности у вас был тот же грешок. Но тогда вы сами за себя отвечали, а теперь вы включились в огромное коллективное дело. Тогда вы были, так сказать, дичком, действовали на свой страх и риск, по своему разумению, и это было тогда хорошо — вести партизанскую войну, заражать своим примером

запуганные массы...

Котовский усмехнулся:

— Меня всегда ругают за это. И Гарькавый ругал. И другие мне то же самое говорили. За одно могу поручиться: никого не подведу.

— Ну, действуйте, сами все увидите на деле. Со мной будете встречаться разве что только там, в «обществе», — у меня ведь совсем особая работа, я занимаю большую должность у них, у белых... Тоже, вообще-то говоря, дерзость. Но я так всю жизнь. Такова специальность. Я буду оказывать вам всякое содействие. А пока пожелаю успеха. Всего хорошего!

7

Пришли к Котовскому будущие его два помощника. Вася был высокий, порывистый, нетерпеливый. Это сказывалось даже в том, как он ерошил свои светлые, золотистые волосы и все приговаривал:

— Картина ясна! Вопросов нет, суду все ясно!

Михаил был поменьше ростом, черный, щетинистый, спокойный и молчаливый. Вася над ним даже подтрунивал. Когда Михаил на все вопросы отвечал только какими-то междометиями или отрывочными «да», «нет», «точно не помню» и все в этом роде, то Вася наконец терял терпение и восклицал:

— Михаил, перестань тараторить! Ты никому не даешь слова сказать! Сам посуди, другим-то тоже хочется высказаться, а ты ни на минуту не прекратишь своей болтовни.

Все смеялись, а Михаил краснел и добродушно просил:

— Ну ладно уж, какой уж есть. Не люблю я много разговаривать.

Вася любил стихи и знал наизусть всего «Евгения Онегина». Вася был незаменим, когда приходилось действовать через женщин.

Михаил славился хладнокровием в решительную минуту и своим бесстрашием. Боялся он только женщин.

Для отдельных вылазок и задач трудно было бы найти лучших исполнителей, чем Михаил и Вася. Разве что мог с ними соперничать одессит Самуил. Это были уши и глаза Котовского. Что бы Котовский ни делал, что бы ни затевал, он всегда был уверен, что где-то поблизости, даже и для него невидимые, фланируют его ребята, готовые выручить, известить, предупредить. Это было очень важно.

Вначале набралось тридцать храбрецов, тридцать отважных смельчаков, готовых идти за Котовским в огонь и в воду. И все невидимки: и есть они, и нет никого. Тридцать храбрецов, и к ним присоединились еще тридцать, еще тридцать... Отряд вырос в конце концов до двухсот пятидесяти человек.

Город безмятежно шумит, веселится, торгует... Мчатся по улицам великолепные автомобили с иностранными флажками на радиаторах... Живет шумной жизнью порт... Рестораны полны нарядными женщинами и блестящими офицерами, предпочитающими ресторанный столик грязным и неуютным окопам... А ведь революционное подполье-то есть! Это не выдумка газетных репортеров! Оно есть, и потому-то бывает так тревожно дельцам и начальникам: кто их знает, где они, эти большевики, в данный момент и что они замышляют?

8

Когда Котовский впервые переоделся в гостинице в форму капитана и вышел показаться Васе и Михаилу, оба они схватились за оружие, потом переглянулись, снова посмотрели на «капитана» и принялись восторгаться и хохотать.

— Господин офицер! Пройдитесь по комнате! — умолял Вася.

— Замечательно! И походка совсем другая! Никогда бы не подумал! Если бы на улице

встретил, не узнал бы ни за что! — бормотал Михаил. (От удивления он даже стал разговорчивым!)

— Вы курите, капитан?

— Пардон?.. Благодарю вас, у меня сигареты...

Опять взрыв восторга.

— Григорий Иванович, но как вы умеете? Все равно я вот и знаю, что это вы, а между тем это совсем не вы!

— Эх, в театре бы вам выступать!

Котовский был доволен впечатлением, которое произвел на своих друзей.

В подрывном отделе Одесского подпольного ревкома Котовского ценили, очень любили и каждый раз, когда он был в деле, тревожились за него, хотя скрывали друг от друга тревогу, уверяя один другого, что за кого-кого, а за Григория Ивановича они спокойны, что Григорий Иванович как заговоренный или уж такая удача ему во всем.

Ничего так не любит Котовский, как сложное и опасное задание, полученное от ревкома. Каждое задание он тщательно продумает, разработает — и, глядишь, появляется в городе торговец Беркович, хозяин овощной лавки. Он шепчется со спекулянтами, приценивается, дает взятки... и собирает необходимые сведения.

Есть определенный круг людей, который знает торговца Берковича. Есть люди, которым знаком только помещик Золотарев — любитель бильярда и знаток лошадей. Есть общество, где свой человек — капитан Королевский, игрок, покоритель дамских сердец и прожигатель жизни. Немало пациентов принимает почтеннейший доктор Скоропостижный на Базарной улице. И славится своей образованностью некий агроном Онищук — все тот же Котовский в десяти лицах...

— Вы слышали? — шушукуются в отелях, в гостиницах, в особняках. Говорят, этот Котовский опять сделал какой-то дерзкий налет... Столько полиции, а Котовский разгуливает по городу, как у себя дома! Это просто ни на что не похоже! Что смотрят иностранцы?!

Вполне разделяет эти страхи и красавец Королевский, хотя он выражает уверенность, что «старая полицейская лиса — наш милейший полковник Сковородин, — разумеется, примет надлежащие меры».

Капитан Королевский! От него сходят с ума светские женщины. О, конечно, его ждет прекрасное будущее! Как он красиво ухаживает, как хорошо танцует! Какое обхождение! И говорят, сказочно богат... Капиталы своевременно перевел за границу, а дома, а земли... Ну, конечно, пока это недосыгаемо, где-то не то в Рязанской, не то в Тульской... Впрочем, он, кажется, и сейчас обделывает крупные дела...

Сам градоначальник высказывался о нем в весьма лестных выражениях (правда, всем известно, что мнение его превосходительства всегда совпадает с мнением его супруги), но говорят, что и среди иностранцев Королевский известен как деловой человек и джентльмен...

Котовский в полной матросской форме разгуливает по набережной, мирно беседует с матросской бражкой и сидит в кабачке «Белый парус» с друзьями-приятелями... Котовский торгует зеленью на базаре и попутно получает сведения о партизанских отрядах... Поздним вечером он снова капитан Королевский. Он проводит время среди золотой молодежи, девиз которой «вино, женщины и карты», и попутно узнает много полезных вещей, которые выбалтывают пьяные офицеры...

Сюда, в «Олимп», к Робину — в самые модные и самые фешенебельные рестораны — являются и контрразведчики. Они приходят поздно ночью, потрудившись над избиением, калечением своих жертв. От них пахнет еще кровью этих несчастных. На кулаках у них ссадины, а в глазах еще не остыла переходящая за пределы всех общечеловеческих норм и даже здравого смысла сатанинская ярость садистов, настоящее безумие. Их серые физиономии перекошены, они охрипли от бешеных выкриков, угроз и площадной брани. Они уже не люди, они опасны для человеческого общества, их ждет конец или в психиатрической, или от пули в лоб, которую они сами преподнесут себе как избавление от кровавого тумана и преследующих их страшных призраков.

Приходил в ресторан полковник Сквородин, приходили страшные, с бледными, полубезумными лицами капитаны, поручики. Мрачно лили в глотки спирт и коньяк и с ужасом убеждались, что не пьянеют, не могут опьянеть, не могут никаким спиртом залить ошалелый мозг, обезумевший от всей этой крови, от вывороченных суставов, от искромсанного человеческого мяса...

И это видел Котовский. Ненависть сжимала ему горло. Но он находил в себе силы поднимать бокал и отвечать загадочной улыбкой какой-нибудь сомнительной красавице, приехавшей в Одессу или шпионить, или соблазнять престарелого, но влюбчивого богача.

На отдых не оставалось времени. Даже заглянуть в молочную «Неаполь», поесть болгарской простокваши под добродушное ворчание милейшего Кузьмы Ивановича и то удавалось редко.

Котовский менял обличье, появлялся в самых неожиданных местах, располагал полнейшей осведомленностью о всех намерениях и замыслах врага. Котовский жил десятью жизнями и всеми десятью рисковал.

9

Не раз появлялся в одесском обществе и поручик Орешников. И вот встретились Котовский-Королевский и Орешников на званом обеде у французского военного атташе. Они чокались звонкими настоящими «баккара» после предложенного хозяином дома тоста за новую Россию, и Орешников опять откровенно и изумленно вглядывался в лицо «капитана». Все ясно! Орешников опять узнал его! Оставалось решить вопрос: как настроен теперь Орешников? Враг он или друг?

Военный атташе занимал прекрасное, просторное здание в центре города, на Французском бульваре. Вокруг дома был сад. Столовая, где они сейчас находились, вся была в зеленых оттенках от деревьев, которые забирались ветвями в распахнутые настезь окна. Дверь на веранду... В крайнем случае можно перепрыгнуть через низкую баллюстраду... и отстреливаться, отступая, в саду...

Котовский внимательно оглядел всех сидевших за столом. Офицеры... сановники... нарядные женщины... Вот! Так и есть: по меньшей мере, эти двое, с водянистыми глазами и нездоровой кожей, — несомненно, переодетые сотрудники «Дезьем-бюро»!

Котовский достал носовой платок и попутно убедился, что револьвер на месте. Достаточно условного сигнала — дать два выстрела подряд — и дружинники не замедлят прийти на помощь под видом ли патруля или городской полиции...

Но вот уже принесли и сладкое блюдо. И у военного атташе блестят глаза. И красивая дама, соседка Орешникова, смеется громче, чем полагается по хорошему тону. Орешников любезничает с ней и не обращает ни на кого внимания...

И вот уже гости шумно выходят из-за стола. Мужчины на веранде курят. Орешников о чем-то беседует с одним из этих подозрительных французов. Котовский сознательно держится около Орешникова и следит за каждым его движением...

Когда Орешников спустился по широким ступеням веранды в сад, проследовал за ним и Котовский. Здесь они остановились около клумбы. На них пахнули ароматы роз и резеды.

И вдруг Орешников, не оглядываясь на Котовского, склоняясь над кустом розы и нюхая развернувшийся цветок, произнес внятным шепотом:

— Немедленно скрывайтесь! Вас схватят при выходе, когда гости будут расходиться...

Орешников произнес это и быстро удалился, пошел навстречу очень милой, но слишком уж декольтированной особе и направился с ней к беседке.

Котовский мигом очутился в аллее. Отсюда во всех подробностях была видна веранда, и Котовский заметил одного переодетого субъекта из «Дезьем-бюро»: он торопливо пробирался через толпу, встревоженный, явно кого-то разыскивая. Кого же? Да, совершенно очевидно: он разыскивал Королевского! Нельзя медлить ни секунды!

Немного времени потребовалось Котовскому на то, чтобы очутиться в соседнем саду, а

затем — в переулке. Место было знакомое, здесь неподалеку была одна из конспиративных квартир, где можно переодеться. С Королевским придется покончить раз и навсегда... Как они докопались?

Котовский скорее почувствовал, чем услышал... Так и есть! Погоня! Вот и слева хрустнула ветка... Кажется, они подняли на ноги всю свору. Котовский ускорил шаг. Мелькнула шинель на пересеченной им улице... Котовский не оглядывался, но ему казалось, что погоня совсем близко, чуть ли не слышно учащенное дыхание, звяканье шпор, оружия...

Но вот и калитка дома! Если она не заперта... Котовский одним прыжком очутился в знакомом дворе. Он держал револьвер наготове, но никто не ворвался следом. Очевидно, они хотят по всем правилам полицейской науки оцепить со всех сторон двор, расставить повсюду засады и тогда уже ворваться в помещение и живым или мертвым взять намеченное лицо...

Когда из калитки этого двора вышел священник в лиловой рясе, весь пропахший ладаном и благочестием, тихий, со светлой бородкой и длинной гривой волос, — военный из контрразведки преградил ему путь:

— Батюшка! Вернитесь назад!

— Не могу, дорогой. Следую во храм божий для отправления церковной службы.

— Ничего не знаю. Нельзя.

— Господин военный! Вы сражаетесь за избавление нашего отечества от супостатов, а мы, скромные служители церкви, молим всевышнего о ниспослании вам победы...

— *Que diable!* Что там такое? — спросил французский офицер и подошел поближе. — Кто там спорит?

Но, увидев священника, офицер вежливо козырнул и попросил объяснить, о чем они разговаривают.

— Батюшка вышел из этого двора, я сказал, что нельзя сейчас, сначала проверим документы, а он...

И вдруг у офицера идея:

— Господин священник! Вы живете здесь. Не встретили ли вы кого-нибудь во дворе, когда выходили? Подумайте, припомните, прежде чем отвечать! Для нас это очень важно!

— Как же! Как же! — просиял священник. — Лицезрел безумца, едва не сбившего меня с ног. Не хочу оскорбительно отзываться о воинстве нашем, но опасаясь, извините, что сей агнец, аки Ной, упился винами до бесстыдства и вел себя непозволительно в отношении духовного пастыря!

— Что он говорит? — наморщил лоб француз. Для него эта смесь славянских и русских слов была почти недоступна, хотя он довольно прилично знал русский язык. — Какое воинство? Какой, к черту, Ной? Где Ной?

— Он говорит, что его чуть не сбил с ног военный. Он показался батюшке пьяным.

— Очень хорошо! Но где же этот пьяный?

— Там, — показал священник на небо.

— Отдал богу душу? Застрелился?! — завопил француз. Его вовсе не устраивало получить Котовского мертвым.

— Нет, зачем же. Он полез вверх, все вверх по лестнице, извините за выражение, на чердак.

— Ну, тогда он от нас не уйдет!

— Так что же все-таки прикажете делать с попом? — настойчиво спрашивал контрразведчик.

— С попом? Ах да, с попом! Пускай убирается подобру-поздорову. Здесь, наверное, не обойдется без стрельбы. Тот, на чердаке, обязательно будет отстреливаться, уж я знаю этих господ большевиков! Тут по нечаянности и в священника можем угодить, неприлично получится, в газетах напишут...

И офицер со всей любезностью, одновременно вынимая из кобуры кольт, предложил священнику убираться:

— Идите, идите, святой отец! Да помолитесь за упокой души грешника Григория!

Довольный своей остротой, француз похлопал по плечу священника и, больше не обращая на него внимания, стал отдавать распоряжения отряду контрразведчиков, подкрепленному агентами «Дезьем-бюро».

Святой отец поспешно удалился, осеняя себя крестным знаменем. Контрразведчики занялись поимкой Котовского. Подготовка была закончена, кольцо вокруг домика замкнулось.

Но там, на чердаке, стояла невозмутимая тишина. Никому не хотелось лезть на рожон, взбираться на чердак по лестнице, чтобы наверняка получить пулю в лоб. Напрасно кричал офицер, предлагая Котовскому не стрелять, советуя Котовскому сдаться. Чердак упорно молчал.

Наконец всем надоело прятаться в кустах и толпиться вокруг захудалого дворика. В доме никого не оказалось. Разъяренные контрразведчики вскарабкались на крышу, проникли на чердак, но и там никого не обнаружили. Птичка улетела!..

Как только Котовский скрылся в подъезде дачи французского атташе, Вася и Михаил заняли наблюдательные посты. Михаил стал фланировать по ближайшей улице. Вася забрался в самый сад, надел фартук, отыскал лейку и принялся поливать клумбы на отдаленных аллеях.

Вначале как будто все шло гладко. Гости пошли ужинать, слышно было, как звякала посуда, как выкрикивали тосты. Но вот Вася заметил, что несколько военных вышли на веранду и о чем-то шушукаются, а затем у парадной двери и на улице появились подозрительные фигуры в штатском... Они явно к чему-то готовились, переговаривались, заняли места возле каждого открытого окна... Если бы они охраняли спокойствие званого ужина, то к чему бы им занимать всю улицу?

Вася видел, что Михаил вынужден был уйти в переулок, чтобы не привлекать к себе внимания... Надо предупредить Котовского! Как это сделать? Если одеться лакеем и войти с блюдом? Принести шампанское во льду? Но вот гости выходят из-за стола, высыпали на веранду... Вот и «капитан Королевский»... Ну, теперь надо действовать! Если упустить этот момент, будет поздно.

Вася уже намеревался подойти со своей лейкой к той клумбе, около которой Котовский-Королевский беседовал с офицером... Но тут он заметил что-то странное в поведении Котовского: Котовский быстро пошел по аллее и вдруг перемахнул через забор! Вася еле успел проследить, куда он направился. И тут обнаружил, что вся свора разведчиков тоже ринулась вслед за Котовским...

Теперь наблюдение перешло к Михаилу. Михаил видел, как Котовский скрылся во дворе одного домика. Тотчас подбежал сюда разведчик, но войти во двор не решился, остался у входа, поджидая других. Вскоре Михаил увидел множество шпигов.

«Оцепляют двор! — догадался Михаил. — Надо звать наших!»

И помчался вызывать дружину на выручку Григория Ивановича, по дороге встретив и Васю.

Решили отбивать Котовского, внезапно налетев на разведчиков.

Но события обернулись иначе.

И Вася, и Михаил были изумлены, когда в номер гостиницы вошел священник. Священник сорвал бороду, сбросил лиловую рясу и, чертыхаясь, полез в ванну.

— Ну, ребята, сегодня я чуть не влопался! — сообщил Котовский, фыркая и поднимая каскады брызг. — Вот история! Очень неприятно!

— Григорий Иванович! — спросил Вася, влюбленными глазами глядя на Котовского и с нетерпением ожидая подробного рассказа о происшедшем. — Вам принести мохнатое полотенце?

На другой день после званого обеда у французского атташе Котовский докладывал

Ласточкину о добытых им сведениях.

Иван Федорович Смирнов очень полюбил этого большого, сильного, мускулистого и всегда полного жизни, энергии, изобретательности человека. Сам Иван Федорович был небольшого роста, недаром и кличка у него была Маленький Ваня. Маленький, а силы неистощимые. Он работал с утра до глубокой ночи: инструктировал, проверял выполнение заданий, расставлял силы, давал указания, писал статьи для подпольных газет, тексты листовок, воззваний, проводил заседания... и нельзя было понять, когда он все это успевал.

— Вы знаете, — говорил Котовский, — иной раз слушаешь, слушаешь этих господ офицеров и еле сдерживаешься, чтобы не выхватить револьвер и не пристрелить их на месте. До какого падения можно дойти в припадке классовой ненависти! И как отвратительно их благоговение перед иностранцами! Они ползают на коленях перед всеми этими д'ансельмами! Мне кажется почему-то, что, не надейся они на всевозможных заокеанских дядюшек, они нашли бы в себе больше силы для защиты кровных своих интересов. Но вообще-то ничто им не поможет.

— Конечно, не поможет! — горячо подхватил Иван Федорович. — Но иностранцы уже сейчас смотрят на Украину как на свою колонию. В Америке даже создан специальный Русский отдел по скупке акций и угодий Украины.

— Мне удалось узнать, — рассказывал Котовский, — что французское правительство ставит условия Директории: во-первых, передачу Франции концессий на все украинские железные дороги сроком на пятьдесят лет...

— Это мы используем для газеты, — пробормотал Иван Федорович, записывая.

— Это не все. Они требуют уплаты всех царских долгов и задолженности Временного правительства. И кроме того, чтобы вся финансовая, торговая, промышленная и военная политика в течение пяти лет со дня подписания договора велась под контролем представителей французского правительства.

— Ну это ясно! Они не продешевят! — засмеялся Иван Федорович. Appetit у них хороший!

— Вы понимаете, до какой наглости они дошли! — Котовский сжал кулаки. — И они воображают, что у них что-то получится!

Котовский перешел к деловым сообщениям: в Польшу переброшена из Франции армия генерала Галлера, в Западной Украине усердствует по вербовке солдат в галицийскую армию митрополит униатской церкви Шептицкий, в Ужгород прибыла американская военная миссия, возглавляет ее небезызвестный разведчик Паркер и не уступает ему в опытности и рвении некий пастор Гордон. Еще удалось узнать, что в Одессе новая облава в рабочих районах назначена на такое-то число, что в районе Куяльника, то есть там, где вход в катакомбы и где размещена типография, готовятся массовые обыски.

— Вот как? — встревожился Иван Федорович. — Надо распорядиться, чтобы все дни, пока идут обыски, никто не выходил из типографии и никто туда не входил.

Все сообщенные факты после тщательной проверки использовались для подпольной газеты и листовок.

В листовках разоблачались тайные соглашения интервентов и петлюровцев, разъяснялся смысл событий на Украине. Еще пахло от них свежей типографской краской, а они уже летели в города и села, в воинские части и рабочие цеха, в кубрики французских кораблей, в казармы польских легионеров.

— А теперь вот что, — сказал Иван Федорович, когда выслушал сообщения Котовского, — давайте-ка обсудим, что нам предпринять. Дело в том, что помимо десанта, прибывшего морским путем, интервенты ожидают пополнений, следующих маршевым порядком или на поездах через Румынию. В частности, ожидаются греческие войска. Тут нам придется что-нибудь сделать...

— Вы хотите, чтобы их пощипали наши повстанческие отряды?

— Это во-первых. Во-вторых, мы могли бы — как вы полагаете, Григорий Иванович? — могли бы мы кое-где разрушить железнодорожные пути?

— Сегодня начнем? — спросил Котовский, прикидывая уже в уме, где раздобыть взрывчатки и кого взять с собой в первую очередь на эту опасную операцию.

II

А ночью они уже отправились в путь. Котовский хорошо ориентировался. Ведь здесь они отступали с Венедиктовым, цепляясь за каждый рубеж, отстаивая каждое село, не отдавая без боя ни одной переправы.

«Ну вот, — подумал Котовский, — дадим бой врагу на этих же рубежах».

Он разбил боевую группу на девять самостоятельно действующих звеньев. Каждое звено должно было произвести два взрыва. Одним было поручено взорвать мосты, другим — полотно железной дороги. Сам Котовский, захватив с собой Васю и Михаила, намеревался пустить под откос первый эшелон с солдатами интервентов, который уже миновал Тирасполь и вот-вот должен был прибыть в Одессу.

Распределив силы, Котовский приготовил все необходимое для первого взрыва, который должен был послужить сигналом для всех остальных. Этим достигалась мгновенность выполнения всего задуманного. Когда интервенты опомнятся, все будет уже сделано, а сами дружинники будут далеко.

Все благоприятствовало смельчакам. Ночь выдалась темная. Поднялся ветер, гнал тучи, но тучи пролетали, не пролив ни капли дождя.

— В такую погоду вряд ли кто выйдет на прогулку, — подбадривал Котовский спутников, шагая против ветра с тяжелым грузом.

— Да и обходчики дорог попрячутся в эту ночь по своим будкам, согласился Вася.

Михаил молча запахивал полы пальто, которые трепали порывы ветра.

Но вот и достигли намеченного места. Здесь был уклон. Поезд будет мчаться навстречу гибели.

— Закладывай, а то опоздаем! — торопил Котовский. — Миша, а ты поглядывай, чтобы кто-нибудь непрошенный не наскочил.

— Готово! — вскоре возвестил Вася и стал спускаться с насыпи, волоча за собой шнур.

Они ждали. Им казалось, что все сроки миновали, что поезд задерживается или вовсе не придет. Руки окоченели.

— Эх, костер бы сейчас!.. И печь бы в золе картошку... — вдруг почему-то вспомнил Вася.

— К-картошку? — удивился Котовский. — Какую картошку?

— Идет! — громким шепотом сообщил Михаил.

Они замолкли и напряженно слушали. Вдали возникал все более усиливающийся звук... Затем и паровоз подал голос. Померещилось ли машинисту, что кто-то шагает по шпалам? Или какая-нибудь неосторожная корова забрела на насыпь, выщипывая увядшую траву?

Еще минута — и блеснул свет, три огромных глаза... Ближе, ближе...

— Начали! — махнул рукой Котовский.

Быстрый огонек побежал по земле, вскинулся вверх по насыпи... Все трое были уже на опушке леса и мчались тропинкой, спотыкаясь о корни деревьев, изредка поглядывая назад, где творилось что-то невообразимое...

Вслед за первым взрывом прогремел где-то близко второй, за вторым третий...

Иван Федорович Смирнов никогда не ночевал в одной и той же квартире. Он мало заботился об удобствах. Застанет ночь на заводе — останется на заводе. Или спал у себя в модном ателье, прикорнув в задней комнате на диване. Или устраивал ночлег в сторожке скульптурной мастерской на Княжеской улице, где обычно проводились заседания губернского комитета.

В ту ночь, когда он отправил Котовского и его боевую дружину на опасное задание — взрывать железнодорожные пути на участке от Раздельной до Одессы, — Иван Федорович

вообще не спал. Когда ему приходилось самому рисковать, он делал это не задумываясь. Но, поручив опасное дело другим, он всегда места себе не находил. Тем более теперь, когда думал о Котовском. Разве мало он перенес? Можно бы и побережь его. Такой человек должен дожить до будущих дней, когда отгремят оружейные залпы и придет то счастливое время, о котором стараешься даже не думать, так оно прекрасно. Ведь настанет же такой час, когда люди будут постоянно жить в семейном кругу... У Ивана Федоровича есть жена, есть сын, только мало кто об этом знает. Жизнь-то все складывается так, что видеться с семьей почти не удается: до революции то в тюрьме, то на каторге, вернулся в семнадцатом сразу послали на работу...

Иван Федорович даже рассердился на себя: вот куда забрели мысли секретаря подпольного губкома!

«Но Котовский, Котовский... — вспомнил он опять, прислушиваясь к завыванию ветра. — Может быть, он будет выращивать сады, увеличивать урожаи? Ведь он по специальности агроном. Или будет выхаживать новые породы коней? Он так хорошо про них рассказывал...»

Глухая ночь, а секретарь губкома глаз еще не сомкнул. Голова тяжелая, и, если бы не эти тревожные мысли, кажется, упал бы и заснул мертвым сном... Но сна нет, и все думается, думается...

«Ведь железнодорожные пути охраняются военными частями... Что, если Котовский нарвется на патруль? А если операция пройдет удачно, не следует ли и в дальнейшем держать под угрозой дорогу? Пускать под откос эшелоны, обстреливать воинские поезда?..»

Наутро Котовский докладывал о выполнении боевого задания.

Как обрадовался Иван Федорович, видя Котовского целым и невредимым! Крепко обнялись боевые товарищи.

— Пожалуйста, будьте осторожнее. Имейте в виду, что ваш участок подпольной работы — самый опасный и самый боевой. Приказываю напрасно не рисковать!

Что творилось в Одессе! К месту катастрофы помчались дрезины, но оказалось, что туда не попасть. В восемнадцати местах было повреждено полотно, взлетело в воздух несколько мостов и виадуков.

В тот же день газета «Коммунист» сообщала, как встречает незваных-непрощеных гостей свободолюбивая Советская Украина.

Ничем не примечательная, узенькая одесская улица с каменной мостовой. Маленький домишко, не построенный, как многие другие здания, знаменитостями вроде Фраполи, Боффо, Коклена, а самый что ни на есть заурядный домишко, каких много и на Молдаванке и на Пересыпи, на всех этих Дегтярных, Кривых, Садиковских улицах. Темные сводчатые ворота, подслеповатые окна и по фасаду вьющийся плющ. Провиантская, дом номер одиннадцать.

При нем имеется, безусловно, дворник, фамилия его — Кулибаба, живет он — сразу как войдешь, во дворе направо, в самой захудалой, в самой плохой каморке.

Дворник как дворник. А дружит он из всех жильцов с художником Славовым, занимающим однокомнатную квартиру с выходом в подворотню. Дружба эта давнишняя, дворник частенько захаживает к Славову. Они очень симпатизируют друг другу, а беседуя, именуют один другого по имени-отчеству:

— С добрым утречком, Степан Димитриевич! — поставив метлу у дверей, обычно произносит Кулибаба. — Как почивать изволили?

— Здорово, Карп Андреич, — отзывался Славов, встряхивая длинными, как и полагается художнику, волосьями, явно нуждающимися в гребенке. Спалось-то ничего, только крысы одолели. Я уж стал разбрасывать им по полу корки хлебушка, чтобы они по мне не бегали, так опять беда — из-за корок мухи развелись.

— Новую картинку затеваете?

— «Рожь» Шишкина. На заказ.

— Хорошо, — любовался Кулибаба, — приволье. И деревья красивые, я очень люблю

деревья. Вот что значит — дело мастера боится. Талант!

— Талант у каждого есть, — возражает Славов, — развивать надо.

— Что нет, то нет! Не у всякого жена Марья, кому бог даст.

Художник Славов больше рисовал с открыток. А когда никто ничего не заказывал, от нечего делать бесплатно малевал портреты жильцов или шел куда-нибудь на Ланжерон, на Арбузную пристань и рисовал, как он говорил, «лазурную пустоту».

Так вот — дворник как дворник, художник как художник. Но кое о чем не знали и не догадывались жильцы. Не знали, например, что захаживал к Славову некий офицер, Славов звал его Леня. А то так — и не захаживал, а прямо в подворотне передавал Кулибабе пакет. Передает и уйдет, а Кулибаба вручит этот пакет девочке лет четырнадцати, она забежала мимоходом, никто на нее даже внимания не обращал, мало ли в Одессе детворы бегают. Ее Кулибабе показал Гриша, который тоже бывал у художника. Только позднее узнал Кулибаба, что это Котовский, а то все Гриша да Гриша...

Ласточкина Кулибаба тоже знал. Вежливый человек, обязательно со всеми за руку поздоровается. С бородкой, лицо хорошее-хорошее. И всякий раз что-нибудь интересное расскажет: о фронтах, о безобразиях белых.

Кулибабу ставили на страже у ворот и проводили совещания подпольщиков. Табачная лавка на Ришельевской сама по себе. Удобная явка боевой дружины Котовского: и в самом центре города, и внимания не привлекает — пожалуйста, покупайте желающие английские сигареты, табак Асмолова, гильзы Александра Катък и компания... Это самая надежная маскировка. На Греческой улице специально для явок открыли «паштетную», у пересыпцев была явка в чайной на Церковной улице... Встречались также подпольщики и в переплетной мастерской Сандлера... Но квартира Славова тоже была хороша.

Котовский иногда и ночевал здесь. Комфорта особенного Славов предоставить не мог, сам он спал на диванчике, тоже без особого шика, а гостю постилал на столе. Котовский выговаривал художнику:

— Что это ты, Степан, никогда не приберешься? Посмотри, сколько паутины! Хочешь, я сам сниму и пауков повыбрасываю?

— Ни в коем случае! Они мух ловят, а мухи мне буквально работать не дают.

— Но ведь смотреть противно!

— А я и не смотрю. Да и что тут противного? Обыкновенная паутина. Я не знаю, кто еще есть на свете тише и безобиднее пауков!

Однажды к дворнику пришла не та девочка, что обычно, а какая-то другая, с косичками, быстроглазая. Сунула записку: «Это вам», — и убежала. Записка была всего в два слова: «Почистите квартиру». Это Котовский предупредил, он тотчас узнавал о том, что затевают «Сигуранца» и «Дезьем-бюро», у него всюду были свои глаза и уши.

Кулибаба сразу же пошел к Славову. Дело в том, что Славов не только предоставлял квартиру подпольщикам, он еще артистически подделывал документы, изготовлял бланки, удостоверения для подпольщиков и, вручая такой документ, приговаривал:

— Полюбуйтесь! Даже лучше, чем настоящий! А подписи, подписи какие! Не подкопаешься!

У Славова хранилась медная печать белогвардейского воинского начальника. Также была полезной. Но теперь нужно было ее прятать.

Быстро они проверили все, что было в комнате. Ненужное сожгли, ценное Кулибаба зарыл на чердаке.

В тот же вечер явились с обыском. Дворник, как и полагалось, присутствовал при этой процедуре. Перерыли все, даже матрац трясали и шупали, открытки все пересмотрели, под диван заглядывали. И вот что заметил Кулибаба: один из полицейских, производивших обыск, наткнулся в кипе бумаг на этажерке на нелегальную газету; полицейский скомкал газету, пошел к водопроводу, будто бы попить, а сам эту газету затолкал в сточную трубу. Кулибаба смотрел и глазам не верил! Стало быть, и этот сочувствует?

В общем, при обыске ничего не обнаружили, порылись в дворницкой каморке и ушли.

После этого случая долго никто из подпольщиков не появлялся. Выясняли, не ведется ли наблюдение за домом номер одиннадцать. А потом здесь же хранились инструменты, здесь же Котовский подробно распределял роли: подготавливалась операция с захватом склада оружия.

Тем временем художник Славов закончил копирование Шишкинской ржи и принялся за «Девятый вал» Айвазовского.

12

Через все фронты, через все заставы, через всю кипевшую восстаниями, полыхавшую пожарами Украину упорно пробирались связисты — посланцы Москвы. Центральный Комитет инструктировал, снабжал людьми и руководил всей работой подполья. Связь никогда не прерывалась. Ехали в поездах, шли пешком от деревни к деревне, ночевали в степи, обходили стороной опасные места и двигались дальше связные.

Так передвигались и эти две молоденькие девушки. Одну звали Тоня, другую — Феля. Тоня была посмелее. Феля боязливая, тихая, на первый взгляд. В пути им встречались шайки головорезов, вооруженные петлюровцы, свирепые боротьбисты, гайдамаки, всякие «батальоны смерти», «железные дивизии», «рыцари Запорожской Сечи»...

Нет, не робкие девушки, а бесстрашные революционерки, отважные комсомолки были Тоня и Феля. Поручение ЦК — доставить Одесскому губкому четыреста тысяч денег, директивные письма и литературу. Получили они адрес явочной квартиры, пароль и отправились в путь. Директивные письма были зашиты в кофточки, деньги спрятаны в двойное дно чемодана, адреса и пароль выучены наизусть.

Спали по очереди. Делали пересадки. При проверке предъявляли документы. Но кто обращает внимание на каких-то девчонок!

В две недели добрались до Николаева и здесь узнали, что николаевские рабочие организации разгромлены, по городу гуляют погромщики...

Посадка на пароход, идущий в Одессу, производилась со строгой проверкой документов и повальными обысками пассажиров. Когда обыск кончился и полицейские, бряцая оружием, ушли, уводя с собой какую-то плачущую женщину, девушкам удалось прошмыгнуть на палубу и забиться в самый темный угол на корме.

Море было беспокойное. Фелю укачало. Но вот вдаль показались огоньки Одессы. Высадились на берег и пешком добрались по назначенному адресу.

Там принял их товарищ Николай. Сдали деньги, он тщательно их пересчитал, затем занялся разбором почты.

Пока товарищ Николай читал привезенные письма, пришел на явочную квартиру рослый, статный мужчина. Товарищ Николай очень ему обрадовался и сказал:

— Вот как хорошо, Григорий Иванович, что вы пришли! Тут к нам девушки приехали, нужно их устроить с ночевкой. И голодные, наверное. Позаботьтесь о них, пожалуйста.

Тоня и Феля поняли из разговора, что это знаменитый Котовский. У Фели даже головная боль прошла. Она разглядывала этого человека, о котором ходило столько фантастических рассказов.

— Скажите, пожалуйста, — нерешительно обратилась она к нему, — вы ведь Котовский? Вы на самом деле Котовский?

— Разве не похож? — рассмеялся Котовский, а сам уже обдумывал, как лучше поместить их и что сделать, чтобы они хорошо отдохнули.

Узнав, что Тоня и Феля привезли от ЦК важные директивные письма, Котовский пристально посмотрел на тонюсеньких, худеньких девочек, и глаза его засветились жалостью и участием.

— Небось страшно было? — спросил он.

— А чего страшно? — спокойно ответила Тоня. — Мы не в первый раз ездим. Привыкли.

Час был поздний. Котовский, не откладывая, повел связных в гостиницу на Пушкинскую улицу. Там их прежде всего отправили в ванную, затем накормили. Котовский тем временем вызвал комсомолку-подпольщицу Фиру.

— Вот, — сказал он, — вам поручаются две храбрые девушки. Я знаю, что вы сумеете их обласкать, пригреть. Нелегкая работа, сколько раз они рисковали жизнью. А на вид совсем малыши!

— Понятно, — ответила Фира, — я поухаживаю за ними. Здесь им будет хорошо.

Быстро набрались связные сил и отправились в обратный путь, в Москву, снова нагруженные докладами, литературой и письмами. Перед отъездом девушек Котовский дал им поручение лично от себя: побывать на Маросейке, узнать, живет ли там Миша Марков.

— Понимаете, девушки, — говорил он, — хороший паренек, беспокоюсь я о нем. Очень уж он тихий. Только про меня ничего не говорите, а то прискачет, а еще рано. Просто узнайте, как бы от себя, и всё. Приедете снова — расскажете мне про него.

В доставленных девушками письмах, между прочим, сообщалось, что ЦК направляет в Одессу, в распоряжение губкома, нескольких товарищей из Иностранного отдела. Предлагалось губкому усилить работу в войсках интервентов с целью их разложения, разъяснять политическую обстановку, призывать к неповиновению под лозунгом «Штык в землю».

И вот прибыла из Иностранного отдела ЦК, из Москвы, Жанна Лябурб. Она была маленькая, нарядная, причем нарядная в любом платье, в любом платочке — так она умела все носить, все приладить, так все ей шло. Ее черные волосы завивались кудряшками на сверкающем белизной, прямом и широком лбу. Глаза у Жанны были яркие и любопытны ко всему миру. Все привлекало ее внимание, все ее радовало, до всего ей было дело.

Кроме нее прибыл из Москвы молодой Жак Елин, который долго жил в Париже и хорошо знал французский язык.

И еще появились новые работники «Иностранной коллегии».

Получив инструкции, они отправились на набережную, разбрелись по кабачкам, по харчевням, замешались в толпы французских матросов и солдат, завели знакомства, дружбу. Это непосредственное общение должно было дать еще большие результаты, чем распространение подпольной литературы. Впрочем, и литература тоже стала передаваться в руки французских матросов и солдат через агитаторов «Иностранной коллегии».

Работу «Иностранной коллегии» объединял президиум. Каждая группа не знала даже о существовании другой. Часто лица, состоявшие в одной группе, не знали своих сотоварищей.

Самой многочисленной была французская группа. Но и в польской группе насчитывалось немало смельчаков во главе с польской коммунисткой Геленой Гжелак. В румынской группе было пятнадцать человек, но кто, кроме губкомовцев, знал о них? Среди румынских коммунистов выделялся большим опытом Бужор, направленный в Одессу по предложению Ленина. Вместе с румынскими коммунистами работали коммунисты-молдаване, в их числе бывший шкипер броненосца «Потемкин» Криворуков. А в сербской группе были коммунисты Стойко Ратков, Вальман Драган, Живанко Степанович...

Трудно было наладить работу среди греческих солдат. Им внушили, что их посылают на священную войну за поруганную большевиками православную веру. Чтобы поддержать в них эту уверенность, одновременно с солдатами направили в Россию священное воинство: трех епископов, четырех архимандритов, сорок священников с клиром и много ладана для благовонного дыма.

Была в «Иностранной коллегии» и английская группа. В ней в числе других работал английский эмигрант, известный под фамилией Кузнецов.

Но самой рьяной, самой неутомимой из всех деятелей «Иностранной коллегии» была француженка-коммунистка Жанна Лябурб. Маленькая Жанна была общей любимицей. Как бережно относились к ней все подпольщики Одессы! А она была так неосторожна! Она совсем не берегла себя!

— Так нельзя, милая Жанна! — упрашивал ее Котовский. — Вы должны быть

незаметны, неуловимы, а между тем вы держитесь так, что стали самой популярной личностью в Одессе.

— О! — вскидывала брови Жанна. — Популярной? Как Вера Холодная?

Жанна умела заливчато, заразительно смеяться. Улыбался и Котовский. Но затем Жанна серьезно отвечала:

— А вы? Разве вы не рискуете на каждом шагу?

— У вас особенно сложное положение. Вы должны вступать в беседы с солдатской массой, с матросами, это ваша работа, ваша задача. Но вы никогда не знаете, нет ли среди ваших собеседников провокатора или даже не провокатора, просто человека других взглядов, службиста, который пойдет и доложит начальству. Вы раздаете листовки. Можете вы быть уверены, что та же рука, которая протягивается за листовками, не наденет на вас наручники?

— Вот видите! — воскликнула Жанна беспечно. — Вы сами же опровергли себя! Доказали, что мне невозможно быть осторожной, что приходится идти на риск... А вообще-то вы правы, — вздохнула она, — мы, пропагандисты «Иностранной коллегии», ходим по канату. Одно неосторожное движение — и... И стоит ли, мой друг, об этом говорить? Умирают ведь только один раз!

Котовский смотрел на маленькую, хрупкую Жанну и думал о том, что женщины-разведчицы, женщины, работающие в подполье, — это самое потрясающее, самое страшное, что он видел на войне. «Наше дело солдатское, — думал Котовский, — мы исстари выходим на поле брани и действуем мечом, но женщины — пока они не ходят в атаку (этого только не хватает!). А то, что выполняют те девушки-связные или Жанна Лябурб, разве это не страшнее всякой атаки?»

Котовский гнал от себя даже самую мысль о том, что Жанну могут схватить. Видеть ее здесь, в подполье Одессы, было для него тягостно, тревожно, невыносимо.

«Беречь бы ее, бедняжку, увезти бы как можно дальше от фронтов, от полей сражений, от этого беспечного разгуливания по городу, кишашему контрразведчиками... Ведь ее уже сейчас знает весь французский флот!»

В самом деле, когда Жанна Лябурб проходила по городу, особенно по набережной, французские матросы улыбались ей, кивали и кричали наперебой:

— Добрый день, маленькая Жанна!

— Привет, землячка! Vive la revolution!

— Как поживаете, дорогая?

Каждый был не прочь побеседовать с ней, послушать ее звонкий голосок.

— Милая Жанна! Когда вас видишь, день становится светлей!

И она им улыбалась и кивала:

— Здравствуйте, Поль! Как дела, Морис? Comment ca va?

Жанна знала очень многих матросов. Она беседовала с ними, рассказывала о коммунистах, о том, какую цель коммунисты преследуют, и о том, что в России впервые в истории человечества строится подлинное социалистическое общество, но что этому хотят воспрепятствовать капиталисты.

Жанна умела, беседуя, незаметно передать пачку листовок. И не одна она занималась этим. Типография губкома выпускала большое количество воззваний, брошюр на французском, английском, польском, греческом и румынском языках. Надо было всю эту огромную массу печатных изданий препроводить к солдатам и матросам оккупационных войск. Задача нелегкая. Но ничего, справлялись.

Генерал д'Ансельм неоднократно вызывал представителей контрразведки для объяснений:

— Надеюсь, вы обратили внимание, господа, что город буквально засыпан подпольной литературой. Сообщите мне, что предпринято, чтобы наконец прекратить это безобразие? До каких пор мы будем терпеть это хозяйничанье большевиков? Буквально все стены оклеены беззастенчивыми призывами... Мне доподлинно известно, что их газеты — и всегда, заметьте, свежие, как будто их разносит обыкновенный почтальон, — появляются как из-под

земли на кораблях, миноносцах, в казармах, даже здесь, у меня на письменном столе! Черт побери! Да все официозы — все эти «Одесские почты», «Проюги», «Одесские новости» — и те не поступают так аккуратно!

Контрразведчики выслушивали эти заслуженные упреки. Они с еще большим рвением принимались за розыски. Агенты контрразведки шныряли по рабочим кварталам, сеть шпионов и провокаторов была раскинута на каждом заводе. Следили, выслеживали, подслушивали разговоры, вкрадывались в доверие... Выяснилось, что да, газеты приходят... Откуда? Известно откуда — оттуда, где нас нет... Действительно, как из-под земли вылетают эти листовки, газеты, воззвания!

Одно никак не приходило в голову контрразведчикам, что именно из-под земли появлялась вся эта литература, что там, в кузальничих катакомбах, самоотверженно работали люди, работали не покладая рук, добровольно обрекая себя на трудную жизнь без солнца, без свежего воздуха, потому что они там и жили, никогда не выходя из подземелья. Целыми днями щелкал верстаткой неутомимый наборщик, печатник и метранпаж Яковлев. Фонари «летучая мышь» заменяли дневной свет. День и ночь грохотала плоскопечатная машина — «американка».

Была разработана сложная система, каким способом отпечатанную литературу вывезти, разнести по городу, отправить в окрестности, доставить на военные корабли и в казармы оккупационных войск. Сложенная аккуратно пачками, завернутая в яркие рекламные листы табачной фабрики Поповых (обертку поставляли рабочие фабрики в огромном количестве!), литература подземными путями попадала во двор одного старого возчика, который преспокойно доставлял ее на Старый Базар, в маленькую лавчонку. Отсюда рабочая молодежь разносила литературу по всем районам. Над этим главным образом трудились девушки-комсомолки, скромные, безвестные, безыменные, смелые и находчивые. Ни одного провала за все это время! Ни одного дня перебоя, ни одного часа опоздания! Приходили в условленное место рабочие порта, приходили представители заводов. У них была постоянная живая связь с революционным подпольем, они выполняли большую работу по заданиям Одесского губкома партии.

Особенно изобретателен был старый рабочий, которого все в порту звали по имени — дядя Герасим. Он располагал к себе каждого. Балагур, песенник, он весь пропитался запахами моря, дерева, столярного клея и лака.

— Пока что, — говаривал горделиво дядя Герасим, запрягивая пачку подпольных газет в ящик с инструментами, — пока что, благодарение господу, ни один транспорт не ушел из Одессы без хорошей порции листовок. Пусть знают, какую позорную роль выполняют они, французские солдаты, кого приехали усмирять! Сами-то они кто? Такие же, как мы, крестьяне и рабочие! А что получается? Я им правду-матку в глаза режу. Я им прямо говорю, по-ихнему: «Пуркуа, — говорю, — пожаловали? Аллон занфан восвоеси подобру-поздорову». Ничего, понимают, «Тре бьян, — говорят. — Вив большевик!»

Котовский беседовал с Васей и Мишей относительно Жанны.

— Понимаете, уж очень рискует она. Душа у меня за нее неспокойна.

— И ведь такая девушка! — восхищался Вася.

Условились, что Вася незримо будет всюду ее сопровождать и, если заметит что-нибудь неладное, предупредит ее об опасности. Вася охотно согласился на это, и Котовский подумал даже, что, кажется, парень больше чем дружески расположен к француженке.

«Ну, тем лучше, — подумал он, — значит, будет зорко оберегать».

Котовский решил поговорить о Жанне и со Смирновым. Когда они встретились, Смирнов коррективировал передовицу для «Коммуниста».

— Вот, — сказал он, работая карандашом, — организуем Совет безработных. Пусть проклятые интервенты чувствуют, что рабочие никогда не сгибают шеи, их не запугаешь никакими облавами, никакими казнями. Да и чем можно напугать голодного безработного человека?

— Мы сами скоро заставим их дрожать как осиновый лист!

— Знаете, скольких безработных уже объединяет этот наш Совет? Тридцать тысяч! Это силища! Хотят они или не хотят — придется считаться с нами!

— Я хочу поговорить с вами о Жанне, — промолвил Котовский, когда деловые вопросы были разрешены. — Она очень рискует... Будет ужасно, если ее схватят...

— Да, я знаю. Она отчаянная. Я не раз уже ругал ее за это. Ну, а вы? Вы-то сами, Григорий Иванович? Всех вас приходится сдерживать... и всех бранить... Только, может быть, Жанну спасает именно эта популярность? Не захотят они еще больше раздражать матросские и солдатские массы? А ведь и сейчас уже среди матросов, особенно французских, большое брожение...

Во время этого разговора пришел с гранками работник подпольной типографии. Котовский сразу узнал его: это был Андрей, постаревший, поседевший, но тот самый Андрей, с которым он сидел когда-то в Кишиневской тюрьме.

Они обнялись, поцеловались.

— Мой сосед по камере, — пояснил Котовский секретарю губкома, который с любопытством смотрел на эту сцену. — В Кишиневе вместе сидели. Помните, я пообещал вам, — обратился он снова к Андрею, — что в следующий раз буду сидеть в тюрьме за что-то действительно стоящее? Никогда не забывал вас и очень рад, что мы вместе сейчас работаем.

— Вместе работаем и никогда не встречаемся! — весело подхватил Андрей. — Я ведь не только подпольщик, но и подземник.

— Так приходится, — вздохнул Смирнов, — ничего не поделаешь.

— Да я ведь не жалею, — засмеялся Андрей.

— Опять была облава на коммунистов, — нахмурился Котовский. — Вы знаете? Хватают кого попало, расстреливают на месте без разбора.

— Еще бы не знать! — взволнованно сказал Смирнов. — Мы уже принимаем меры. Мы еще им покажем, как мы сильны! Но Жанна... Жанна меня тоже тревожит. А что тут можно сделать? Такова ее работа.

В ответ на репрессии забастовали фабрики, заводы, трамваи, пароходства, типографии. Не выходили газеты, закрылись магазины, банки. Это привело в замешательство одесские власти.

А в подполье не останавливалась работа. И кому бы пришло в голову, что кафе-ресторан «Дарданеллы» по Колодезному переулку, близ Дерибасовской, избранное место французских солдат и моряков, держал революционер-подпольщик, соратник Камо, коммунист Лоладзе, направленный в Одессу Центральным Комитетом партии? Кто бы подумал, что «Дарданеллы» главная явка французской группы «Иностранной коллегии»?

На Большом Фонтане, как раз напротив казарм, где разместили французские части, открылась часовая мастерская. Как это удобно: часовой мастер владел французским языком! Заказы французских солдат выполнялись вне очереди! Одного никто не подозревал: что часовым мастером был тоже коммунист-подпольщик. Он установил связь с французскими солдатами и даже достал через них оружие для партизанского отряда.

А разве не поразительно, что двадцатитрехлетний подпольщик Саша Винницкий так сблизился с французскими солдатами, что бывал у них в казармах, а однажды даже приволок в Военно-революционный комитет... замок от пушки.

— Что это такое? — удивились ревкомовцы. — Откуда это у тебя, Саша?

— Французские артиллеристы дали, — гордо сообщил Саша. — В знак того, что они не будут стрелять по одесским рабочим, не желают сражаться против революции и что отныне они — большевики!

Как беспомощны предатели родины и незваные захватчики, прибывшие для насилия и грабежа, когда весь народ — весь как есть народ их ненавидит! На тральщике «Граф Платов», стоявшем у Военного мола, было белогвардейское командование. Но губкому удалось узнать, что радиотелеграфисты тральщика настроены против белогвардейцев. И вот на вражеском корабле создана подпольная группа. Секретные радиосводки, приказы и донесения врага стали неуклонно сообщаться подпольщикам. Пало подозрение деникинской

контрразведки на «Графа Платова», но выследить никого так и не удалось.

А вот еще одна удача: подпольщик-коммунист Медведев, работая телеграфистом на станции Одесса-главная, копии всех важнейших телеграмм передавал в губернский комитет партии. Могла ли после этого не бесноваться разведка? И легко представить, как был настроен Осваг!

13

Консул Энно смотрел из окна своего кабинета на бесчисленные колонны, в строгом порядке движущиеся по мостовой.

Он вытребовал лидеров одесских профсоюзов. Они явились, смущенные, готовые к услугам. Они не прочь были извиняться за рабочую демонстрацию и клятвенно заверяли, что немедленно прекратят забастовку.

В это время французские матросы рассыпались цепью по площади. Рабочие шли молча, стройными рядами. Раздалась команда — и французские моряки дали залп по демонстрантам. Вот упал молодой парень, несший плакат... Вот еще двое рухнули на мостовую...

И вдруг французские матросы увидели Жанну Лябурб — маленькую Жанну, тоже идущую с этими людьми по улице. Она держала в руке древко красного знамени.

— Смотри, а ведь это маленькая Жанна!

— Наша Жанна! Выходит, что мы стреляли в нашу Жанну? Что же это получается?

По цепи французских матросов прошло движение, друг другу передавали: не стрелять!

Жанна увидела, что происходит в цепи. Она счастливо улыбалась. Французские матросы махали ей беретами.

А на следующий день на всех французских военных кораблях появился свежий номер газеты «Коммунист» на французском языке. В газете помещено было письмо группы французских солдат и матросов. В письме они заявляли, что их обманым путем доставили сюда, в эту страну: говорили, что корабли направляют с мирными целями. Да, вчера они стреляли в демонстрантов. Но теперь поняли, что являются игрушкой в руках прислужников капитала офицеров. Больше они не совершат этой ошибки. Не будут душить ростки освободительного международного движения. Советская республика одна только является истинно демократической и социалистической республикой, и они хотят поспешить ей на помощь.

Номер этой газеты лежал и на столе консула Энно. Консул только что прочитал письмо французских солдат и моряков. Теперь он сидел, поставив на газету пепельницу, и курил, мысли у него были невеселые. Он думал о том, что большевикам удалось-таки сагитировать добрую половину оккупационных войск.

«Нельзя отказать им в оперативности, этим большевикам. Как это... кажется, их идейный руководитель Ленин сказал, как стало известно из донесений наших агентов, что-то в таком духе, что немецкие империалисты рассчитывали вывезти из Украины шестьдесят миллионов пудов хлеба, а вывезли девять да в придачу вывезли большевизм... Кажется, и Франция получит этот подарок... Пожалуй, самое разумное — это вернуть наши войска на родину. Но как же тогда завоевать эти рынки? Эти богатые земли? Эти угольные шахты? Или хотя бы вернуть то, что уже давно по праву принадлежит французам, — Макеевские рудники, Южнорусские копи и прочее и прочее...»

Консул Энно жадно курил.

«Хотел бы я знать имена этих каналов, которые послали такое письмо в подпольную большевистскую газету. Впрочем, какой толк? Все они в той или иной степени отравлены красной пропагандой. Гораздо спокойнее, когда эти болваны сидят у себя дома во Франции и мирно пьют свой сидр...»

Консул не докурил еще сигарету, как раздался телефонный звонок:

— Большая неприятность, господин консул! На одном из французских военных

кораблей матросы связали офицеров и ушли в море, заявив, что решили вернуться во Францию.

— Они немногим предупредили меня, — процедил сквозь зубы Энно.

— Как, господин консул, и вы решили уехать во Францию?!

Консул выругался, впрочем предварительно зажав телефонную трубку: он испытывал острую потребность отвести душу.

— При чем тут я? Я говорю, что сам собирался поднять вопрос об отправке домой этих смутьянов.

— Правильное решение! Можете себе представить, один матрос недавно открыто говорил, что пора и во Франции сделать то же, что сделали большевики в России!

— Эти каналы... — и консул поперхнулся, не закончив фразы.

Не успел он, однако, повесить телефонную трубку, как опять звонок:

— Разрешите доложить: Сороковой пехотный полк отказался выполнять боевые приказы своих офицеров.

Этого только не хватало! Скоро, кажется, они примутся ходить по улицам и петь «Интернационал»! Консул Энно схватился за голову. У него явно начиналась мигрень. И зачем только он согласился поехать в эту чертову страну, да еще при его расшатанном здоровье!

— Артиллеристы Третьей дивизии не стали стрелять по большевикам, сообщали усердные служащие своему консулу.

— На крейсере «Вальдек Руссо» подняли красный флаг, — поступило новое сообщение.

И снова звонок:

— Саперы четвертой роты второго батальона Седьмого саперного полка...

Но Энно не дослушал, что сделали эти саперы. Он швырнул телефонную трубку на стол и вышел из кабинета.

Восьмая глава

1

Бирюзовое море безмятежно. Сколько хватает глаз — ласкают, переливаются нежные оттенки. И хочется смотреть, и смотреть, и вглядываться в эту синеву... На сердце радость, даже какой-то восторг охватывает все существо от этого созерцания громадного покоя, громадной тишины... Прекрасен мир! Жить бы да жить в этом прекрасном мире!

На чистом, много-много раз перемытом морским прибоем и теперь таком рассыпчатом песке лежит человек в тельняшке, в парусиновых брюках. Он смотрит, как прозрачная зеленоватая волна чуть-чуть набегаем на берег. Как будто она хочет немного вскосматить гладкий песок. Набежала и откатилась, оставив темноватый след. Что это там на песке? Раковина или кусок водоросли? Или обломок весла, принесенный из открытого моря?

Тишина. Небо невероятно синее. Как на открытке.

У Котовского здесь назначена встреча с Васей и Михаилом. Котовский уверен, что они не заставят себя долго ждать. И хотя он знает их ловкость, он все же чуточку тревожится за них: как ни говори, головы-то горячие...

Бирюзовое море безмятежно. Котовский слушает плеск волны и всматривается в далекое море. Что это белеет вдаль? Чайка или парус? Парус! Еще несколько минут — и лодка врежется в песок.

— Григорий Иванович! Масса новостей! — кричит Вася еще из лодки.

Котовский улыбается.

«Хорошие ребята! — думает он. — И вырастут из них люди. Ничего, что трудно. Крепче будут».

— Самая главная новость, — сообщил Вася, — это забастовка на заводе «Нейман и сыновья». Бастуют вторую неделю. Старик Нейман уперся, и ни в какую! Не идет ни на какие уступки! А забастовщикам уже и есть нечего. Форменно голодают. Григорий Иванович! Неужели же сдаваться?

— Сдаваться? Сдаваться вообще нельзя. Ишь какой! Сдаваться! Да как у тебя такое слово-то выговорилось?

— Григорий Иванович, не выдержат, — вздохнул Михаил. — Я сам видел. Дети уже синие.

— А мы им окажем поддержку, — решительно заявил Котовский. — Только надо согласовать с ревкомом, а то опять нам попадет.

— Им прежде всего хлеба надо, бастующим рабочим, — мрачно заявил Михаил.

— Вот-вот. Я п-попробую уговорить Неймана. Сердце-то у него есть?

— Хм... сердце? — удивился Вася. — В первый раз слышу, что у Неймана есть сердце! Может быть, теперь обнаружили? До сих пор не замечалось.

— Нейман?! Он скорее удавится! — уверенно сказал Михаил.

— Как же он пойдет сам против себя? Что вы, Григорий Иванович! Что-то не похоже!

— Ничего. Мы все-таки попробуем.

Как ни упрашивали Вася и Михаил рассказать, что думает делать Григорий Иванович, чтобы свершилось чудо, но Котовский больше не сказал ни слова. Только дал указания, где и как и в какой именно день ждать его появления.

Особняк фабриканта Неймана находился в глубине сада. Окна нижнего этажа были укреплены массивными надежными решетками. Но этого было, по-видимому, недостаточно для сохранения драгоценной жизни миллионера. Особняк охранял чуть ли не целый полк, причем были определенные посты, заставы, караулы. В любую минуту верные стражи готовы были ринуться на защиту. Нейман и этим не удовольствовался. Помимо солдат, которых сам черт не разберет, — сегодня они белые, завтра красные, а послезавтра какие-нибудь зеленые в зависимости от того, кто их разагитирует, — Нейман на всякий пожарный случай содержал за свой счет засаду из полусотни контрразведчиков. Эти-то не подведут, будем надеяться. Нейман был весьма предусмотрительный человек!

Так он и жил, один, как перст, со своими миллионами, жил, как в осажденной крепости, запрещая даже прислуге появляться на глаза без вызова, установив внутренние телефоны, секретные звонки и сигнализацию.

В один прекрасный день прямо к месту засады контрразведчиков подкатил великолепный, сверкающий кожей и лаком экипаж. Рысак был чистейшей породы, кучер — само великолепие: шляпа с перьями, кафтан ярко-синий, бородаща, как у Ильи Муромца, и голос самый что ни на есть кучерский — одновременно и нежный и пронзительный.

О барине, который восседал в экипаже, и говорить нечего: красавец, такая жирная бестия! Голос громовой, глаза повелительные и на пальцах такие перстни! Наверное, цены им нет, такие перстни!

Все контрразведчики повыскакивали посмотреть на это четырехколесное воплощение старого режима.

— Эх! — сказал один. — Это я понимаю! Это жизнь!

— Один бы такой перстенок заиметь, дунуть куда-нибудь в Сан-Франциско и жить припеваючи, наплевав на все, — подхватил другой.

— Хватило бы, — убежденно согласился третий.

А барин за пуговицу штабс-капитана из контрразведки схватил:

— Можешь, голубчик, гарантировать безопасность, пока я Соломона Марковича навещу? Дело нешуточное: здесь вот-вот появится Котовский, и я приехал предупредить Соломона Марковича об опасности.

Штабс-капитан покосился на перстни, захлебнулся от счастья:

— Муха не пролетит! Будьте уверены!

— Ты уж и охрану возле дома предупреди. Будь ласков.

И тут, сам не зная почему, штабс-капитан назвал барина «вашим превосходительством»:

— Можете на меня положиться, ваше превосходительство!

Он считал, что никогда не вредно переборщить: лезть никого еще не обижала.

— Видишь ли, — произнес барин тихо, очевидно, чтобы кучер не слышал, — разговор сугубо важный, совершенно секретного характера и в международном плане, так что, можно сказать, решается судьба России... Понял всю ответственность? Как, кстати, твоя фамилия? При случае представлю к награде.

— Щукин, ваше сиятельство! Геннадий Щукин! — воскликнул штабс-капитан, решив, что этот барин — по меньшей мере «ваше сиятельство».

Котовский больше не говорил с ошарашенным Щукиным, но разрешил ему приткнуться на краешке сиденья и довез его до самого особняка.

Затем Котовский проследовал в покои фабриканта, а штабс-капитан проверил все посты и сам лично побеспокоился, чтобы ничто не помешало беседе и встрече в особняке.

А беседа была, для Неймана во всяком случае, далеко не из приятных.

Котовский предстал перед озадаченным фабрикантом, поиграл перстнями, вежливо помахал наганом и крайне корректно сообщил, что ему, Котовскому, стало известно о невыносимом положении бастующих рабочих.

— Вот как? — сумел только промямлить побледневший Нейман.

У него тряслись губы и отнялся язык. Перед ним — знаменитый Котовский! Вряд ли он выпустит его живым!

— Я знал, что у вас золотое сердце и что напрасно говорят, будто вы изверг рода человеческого. Я просто уверен, что вы, услышав от меня о тяжелом положении бастующих рабочих, сию же минуту пройдете со мной в ваш кабинет, выложите все содержимое вашего сейфа, вручите мне и попросите меня передать от вас рабочим это ваше единовременное пособие.

— Разве я скажу «нет»? Конечно, я скажу «да», — пробормотал фабрикант. — Конечно, поспешу отдать вам свою наличность.

— Я рад, что наши переговоры проходят миролюбиво и при взаимном понимании. И вы, кстати, не нажимайте на кнопку под столом, потому что все равно она не действует.

— А разве я нажал? Честное слово, это чистая случайность!

— Простите, я сначала уберу из вашего письменного стола ваш пистолет. Ну вот и прекрасно! Правда, так-то лучше? А теперь вы достанете ключи, откроете сейф... Нет, нет, сами действуйте! Открыли? Та-ак! Превосходно! Пересчитывать не будем? Здесь все? Могу я вам довериться? Спокойно! Внутренний телефон у вас тоже сейчас отключен. Вот моя расписка в получении денег, а затем вам перешлют уведомление от стачечного комитета. Рабочие будут довольны, тем более что завтра вы примете все их условия и они приступят к работе. Не правда ли?

— Не воображайте, — хныкал Нейман, — будто я не знаю, что будет дальше! Вы положите адскую машину и скажете, чтобы я два часа не шевелился. И я буду два часа не шевелиться, чтобы вы могли спокойно себе уйти.

— Боже упаси! Нет, я прошу вас, Соломон Маркович, сразу же после моего ухода позвонить в контрразведку. Чего там стесняться, звоните прямо полковнику Сковородину! Да, и еще одна маленькая просьба: не обижайте этого штабс-капитана Щукина! Это мой большой друг. Как! Вы не знаете, кто такой Щукин? Ну, ваш главный страж и телохранитель! Вспомнили теперь?

— Вспомнил... Но кто бы мог подумать!

— Итак, я еще раз благодарю вас от всей души!

— Вы не будете меня убивать?

— Соломон Маркович! Ну как вам не совестно! С какой стати?!

— В таком случае, — усмехнулся фабрикант, — пожалуй, не стоит жалеть о понесенных... гм... некоторых расходах, чтобы воочию лицезреть знаменитого Котовского. Это не каждому случается... Кстати, вы не обидитесь на один нескромный вопрос: что,

камни в перстнях, разумеется, фальшивые?

— Из театрального реквизита. Не смею вас больше беспокоить.

И Котовский уехал на своем рысаке, небрежно кивнув счастливому штабс-капитану. Кучер был толст и румян, в своем ярко-синем кафтане, в шляпе с перьями он был как с картинки. Один из дружинников блестяще сыграл эту роль!

На другой день бастующим было сообщено, что все условия их приняты. Нейман уехал за границу лечиться от нервного потрясения.

А в городе были расклеены объявления, где предлагалась крупная сумма за поимку Котовского. Обращение было подписано каким-то Иваницким. Взбешенный Сквородин подал в отставку после неприятного объяснения с консулом Энно, до которого дошли слухи об этой скандальной истории с Нейманом.

И опять все встретились на песчаной отмели: голубоглазый Вася, неразговорчивый Михаил и полный жизни и силы Котовский. Море опять было безмятежно и бирюзово. И так же ласково разбегалась по отмели прозрачная волна.

— Жизнь прекрасна, — говорил в раздумье Котовский, вглядываясь в лучезарную синеву, — и мы очень хорошо поболтали с этим Нейманом. Оказывается, весьма культурный человек и понимает все с одного намека. Кажется, мы оба друг другу понравились.

— Назначенный на место Сквородина Иваницкий свирепствует, — сообщил Михаил. — Каждую ночь облавы.

— Самойлова взяли! — добавил Вася. — Сегодня ночью взяли...

— Самойлова?! — взметнулся Котовский. — Так что же вы молчите?!

— Мы не молчим.

— Но ведь это такой человек!..

Нахмурился Котовский. И потускнело в его глазах бирюзовое море. Такого крупного работника взяли! И, наверное, будут пытаться... И что же теперь? Надо действовать! Надо выручать!

2

Как ни разведывал Котовский, как ни шныряли вокруг агентов Вася и Михаил, как ни прощупывал Самуил знакомых контрразведчиков, ничего утешительного узнать не удалось. Контрразведчики пожимали плечами, хвалили Иваницкого: этот, кажется, не на шутку взялся за чистку города. Между прочим, говорят, что у Иваницкого новые методы: мало бьют и зачастую пристреливают тут же, при допросе.

Видел Котовский и самого этого Иваницкого. Высокий, сухопарый, абсолютно трезвый. Тяжелый взгляд не предвещает ничего хорошего. Говорили еще, что Иваницкий отменный стрелок и убивает выстрелом в глаз с неизменной шуткой: «Чтобы шкуру не испортить».

Арестовано до шестидесяти подпольщиков. Они приговорены к расстрелу и помещены в трюме баржи, в гавани одесского Карантина. А по городу расклеены огромные объявления:

«Шестьдесят заложников будут расстреляны ровно в полночь, если государственный преступник Котовский не явится добровольно для предания его суду».

«Как бы не так! — размышлял Котовский. — Можно придумать иной выход из положения».

Он повстречался с товарищами-ревкомовцами. Были приняты меры предосторожности. Беседа продолжалась долго. Но даже Вася, всезнающий Вася, который умел проникать в самые глубокие тайны, и тот ничего не мог узнать о происшедших в ревкоме разговорах и суждениях. Поговаривали, что Котовского крепко побранили за эту шумную историю с Нейманом, за его пристрастие к слишком скандальным затеям. Но в то же время видели, что Котовский уехал с этого совещания сияющий и довольный. Значит, кончилось все хорошо? А так как он немедленно вызвал к себе Васю и Михаила, ясно было, что ему дано какое-то важное, трудное и срочное задание.

Смертники между тем томились в трюме баржи. В контрразведке разговор с ними был

короткий. Их поочередно выводили на допрос. Там сидел сам Иваницкий и безглаголиво разглядывал каждого, кого притаскивали из камеры. Кроме Иваницкого в помещении находился тот самый штабс-капитан, которого Котовский обещал представить к награде. Вид у штабс-капитана был довольно-таки жалкий. Иваницкий, обзрев арестованного с ног до головы, оборачивался в сторону штабс-капитана:

— Не он?

— Никак нет, — отвечал штабс-капитан.

— Вы присмотритесь внимательнее. Должны же вы узнать своего закадычного друга, которого почтительно именовали «ваше сиятельство».

— Введен в заблуждение...

— Значит, не он?

— Абсолютно не он! Даже никакого сходства!

— Ну все равно... Расстрелять! Вы слышите, это о вас идет речь! Расстрелять, и чтобы у меня аккуратно, культурно расстреливать, по европейскому образцу!

Дело в том, что Иваницкий имел пренеприятный разговор с некими высокими представителями некоей иностранной державы. Его отчитывали за кровавые расправы и побоища в контрразведке:

— Никто не говорит, что вы не должны беспощадно истреблять всех этих... ну, вы сами понимаете, кого. Но делайте это тихо, умно и так, чтобы не приходилось о вас читать жуткие описания в левой заграничной прессе!

Вот почему всех задержанных мало били и сразу же препроводили в трюм баржи. Их должны были вывезти в открытое море глухой ночью, без лишних свидетелей. Сказано «по-культурному» — значит, и будет «по-культурному». А главное — спрятать концы в воду.

Смертники в трюме молча додумывали свои последние думы. Почти не разговаривали. Кто-то плакал. Кто-то после долгих ночей напряженной работы, получив теперь полную возможность отоспаться, крепко спал. Самойлов, оказавшийся тоже здесь, спорил с одним старым партийцем по какому-то принципиальному вопросу. Оба остались при своем мнении. Теперь Самойлов стал строить догадки, кто мог его разоблачить. Он так тонко и безупречно играл свою роль! И хотя он понимал, что вряд ли удастся отсюда выбраться, все же разрабатывал новый вариант своей деятельности на тот случай, если останется в живых.

Все отдавали себе отчет в полной безнадежности положения. Но это был крепкий, закаленный народ. Каждый из них, пусть даже и тот, чьего имени не сможет восстановить потомство, каждый мог умереть с достоинством, не проронив ни слова. Да, они сидели в трюме, схваченные врагами. Да, у них остались считанные часы. И все-таки они — победители, даже смертью своей несущие славу и торжество! Они и умирая не склонят головы!

Темно в трюме. Иногда слышно сквозь стенку журчание, плеск воды. И снова тихо.

— Противно погибать, когда нет табаку! — невесело шутит кто-то.

— Курение вредно для здоровья, — отзывается глухой голос.

Снова воцаряется молчание. Табаку действительно ни у кого нет.

Темно в трюме. Нет никакой возможности определить, скоро ли настанет их последнее утро.

Но вот толчок. Подошел буксирный пароходик. Конвой, охраняющий баржу, продрог и теперь охотно помогал закрепить концы, стараясь согреться.

— Го-то-во-о!

Буксирный пароходик заработал винтом, баржа плавно сдвинулась с места, и морская зыбь зажурчала, разбиваясь об ее обшивку.

В небе дрожали первые отсветы возникающего утра. Мокрый канат хлопал по зеркальной глади, затем он натянулся, зазвенел как струна, и тогда баржа, шедшая как-то боком, взяла курс, взбила морскую пену и пошла, покачиваясь, в одну линию с буксиром.

Слева тянулся мол, справа мигали редкие огни, и не было кругом ни души, ни один взгляд не проводил уходившую в открытое море баржу. Конвоиры пританцовывали на

неровной палубе баржи. Им было зябко и хотелось поскорее развязаться с этим грязным делом, добраться до караульного помещения и завалиться спать.

В открытом море буксирный пароходик пришвартовался к борту баржи, дымя, фырча и поднимая волну.

— Выводить? — спросил начальник конвоя.

— Не надо! — ответил Котовский, прыгнул на баржу и в упор выстрелил в начальника конвоя. Дружинники тем временем расправлялись с остальными.

Это заняло какие-нибудь три минуты.

— Да что же вы медлите? Открывайте люк! Каждая секунда дорога! Ведь они не знают, что спасены. А за это время можно поседеть или потерять рассудок!

Как быстро светало! Смертники выходили из заточения один за другим. Некоторые, собрав все душевные силы, приготовились умереть гордо и достойно. Теперь они вдруг ослабли и вместе с нахлынувшей радостью почувствовали свинцовую усталость. Из шестидесяти не спасся только один малодушный: он еще ночью перерезал себе вены...

Котовский обнял Самойлова:

— Дорогой мой! Как я счастлив!

— Опять жизнь!..

Милые, родные лица... Все тут! Все в сборе! Есть ли большая радость, чем отвести от близкого человека костлявую руку смерти!

Буксирный пароходик набирал скорость. Он держал путь к пустынному молу и очень торопился, потому что уже всходило горячее пламенеющее солнце, наступал день.

Итак, Котовский не только не явился в контрразведку «для предания его суду», но еще и освободил товарищей! И уже были на объявления контрразведчиков наклеены чьей-то быстрой рукой сообщения:

«Обреченные на смерть без суда и следствия шестьдесят заложников вырваны из когтей презренных наемников капитала и сейчас находятся на свободе! Да здравствует власть рабочих и крестьян! Да здравствует ленинская правда!»

— Это ты успел смастерить? — обернулся Котовский к Васе.

— Немножко нескладко вышло, но уж очень мы торопились...

— По-моему, ничего, правильно в основном написано. Как ты считаешь, Михаил?

— Все хорошо, только надо было подписать: «Котовский». Это бы им больше подперчило.

— Я хотел, — пробормотал смущенно Вася, — да побоялся, что мне за это от Григория Ивановича попадет...

3

Не раз вспоминал Григорий Иванович про Орешникова. Куда девался этот кающийся дворянин, этот доморощенный философ? С того дня, как Орешников шепнул на ухо слово предупреждения капитану Королевскому, они больше не встречались. Куда он исчез? Может быть, уехал на фронт?

А Николай Орешников жил своей жизнью.

В 1914 году Коле Орешникову предстояло надеть военную шинель. В те годы в восьмом классе гимназии был сокращенный курс: досрочный выпуск направляли в школу прапорщиков. Мечты о студенческой жизни, о выборе профессии, о лекциях, о студенческих песнях — все летело прахом! Предстояла маршировка, муштровка... и что дальше? Орешников никогда не мечтал стать военным.

У отца были связи, отец похлопотал, удалось получить год отсрочки и поступить в Путьский, здесь же, в Петрограде. В институте Орешников встретил Всеволода Скоповского, никак не двигавшегося дальше первого курса. Здесь же пребывал и старший братец Николая, по-прежнему занятый любовными интригами, свиданиями и объяснениями с мужьями.

Как радовалась Колина мать за сына-студента! Как обнимали Николеньку сестренки! Отец хмурился и сам не мог решить, хорошо ли избегать призыва в армию, когда все сверстники воюют.

С трепетом вступил Николай Орешников в старинное здание возле Сенной, сюда, где когда-то учился знаменитый Кербедз, строитель Николаевского моста в Петербурге, где выросли талантливейшие русские инженеры Мельников и Крафт, построившие первую железную дорогу в России между Петербургом и Москвой. Орешников успел побывать на лекциях профессора Передерия и так был очарован, что просто бредил им. Не меньшее впечатление на него произвели — тоже мировые известности — Корейша и Тимонов.

Все нравилось Орешникову в Путейском институте, все было так ново и так ему по душе... Но вот снова призыв... На фронте не хватало офицерского состава. Скоповский уехал, любвеобильный братец устроился по протекции влиятельной дамы в госпитале, но вскоре попал в какую-то скандальную историю, и ему пришлось безотлагательно убираться. Через месяц пришло от него письмо из Челябинска. Потом вообще ничего не было о нем слышно. Погиб ли на фронте? Или умер в тифозном бараке? Или выбрался каким-нибудь способом за границу? Николай Орешников тоже не удержался в Путейском институте. На этот раз не помогли и связи отца. Все произошло так стремительно, что Орешников не успел и опомниться, как очутился в школе прапорщиков, а затем и на фронте.

С того времени события подхватили его и повлекли через быстрые годы. Он походил на щепку, которую подхватило бурное водополье. Казармы... окопы... бои... и та умудренность, что появляется у человека, который заглянул смерти в глаза.

К концу войны кадровое офицерство было в значительной степени перебито и восполнялось за счет скороспелых выпусков военных училищ, наскоро обученных студентов и даже старшеклассников-гимназистов. А война шла своим чередом! В семнадцатом году с офицеров срывали погоны, в восемнадцатом — брали заложниками. А тут мобилизация в белую армию, и Орешников «спасает Россию от красной чумы», воюет со своими же, русскими, и все никак не поймет, где правда, и все обуреваем сомнениями, размышлениями, и странная судьба: он и Котовский неизменно оказываются в противоположных лагерях!

Что же такое знает этот загадочный Котовский? Откуда у него такая уверенность, такая страстность убеждений? Орешников часто размышлял об этом. Случайно приоткрылась перед ним завеса: он увидел, как этот человек, то совершающий дерзкий побег из тюрьмы, то жестоко мстящий за крестьянскую бедноту, пробирался под чужой фамилией в самое логово врага, а последнее время только и говорят о его смелых, не виданных нигде поступках, которые приводят в замешательство белогвардейские власти.

Разве это не полная путаница всех понятий, убеждений, мировоззрений, когда Орешников воюет против большевиков, одновременно презирает своих соратников и считает бесчестным сообщить куда следует, что капитан Королевский — это не кто иной, как разыскиваемый контрразведкой Котовский? Орешникову кажется, что совершается какая-то непоправимая большая ошибка. Как могло случиться, что оказались в одном лагере и давние властители его дум — ну кто, например? Ну хотя бы тот же большой писатель Иван Бунин... или Леонид Андреев, от которого в свое время с ума сходила молодежь... И рядом с ними оголтелые пуришкевичи, черносотенцы, вешатели, палачи... и наследники дома Романовых... и эсеры, не так давно стрелявшие в этих Романовых... и тут же, в этой же куче, подозрительные иностранные личности, то сующие в руку Орешникова оружие, то заранее начинающие делить земли России...

Опять повстречались Орешников и Котовский, и снова при необычном стечении обстоятельств.

Была непроглядная ночь. Разъезжали патрули по улицам Одессы. Котовский возвращался с опасной операции: переправляли оружие партизанам.

Внезапно вывернулся из-за угла патруль. Котовский повернул назад, выискивая какой-нибудь проулок, чтобы избежать встречи. Все обошлось бы хорошо, если бы вдруг не вынырнул откуда-то взявшийся автомобиль. Улица ярко осветилась фарами. И Котовский был

обнаружен. Все это произошло неожиданно. Время измерялось секундами.

Патруль, огорченный, что ночь кончается, а не удалось поохотиться хотя бы просто за каким-нибудь замешкавшимся гулякой, ринулся за Котовским. Эти молодчики не задавались какими-то особыми целями. Они просто предвкушали удовольствие пошарить в карманах прохожего, предварительно отправив его в «Могилевскую губернию».

Котовский уже нащупывал револьвер. Кажется, заваривалась каша.

И вдруг машина резко затормозила, открылась дверца, и чей-то звонкий голос, даже как будто и знакомый, окликнул:

— Я вас разыскиваю по всему городу! Садитесь скорее!

Котовский понял, что его принимают за кого-то другого. Одно мгновение он выбирал, где выгоднее: одному против пяти вооруженных головорезов или в кабине «роллс-ройса», где его ждала полная неизвестность.

Патруль в замешательстве остановился. На машине был иностранный флажок, а с этими иностранцами не стоило связываться.

Котовский вскочил в машину, дверца захлопнулась, и машина зашуршала по гравии по безлюдью спящих улиц.

— Какой черт носит вас по темным улицам, да еще и без оружия? спросил все тот же простой и приятный голос.

«Ясно, — подумал Котовский, — он прощупывает, вооружен я или не вооружен!»

— Во-первых, я с оружием и довольно недурно стреляю. Во-вторых, если бы вы меня не осветили фарами, все обошлось бы благополучно.

— Вы меня поправите, если я ошибаюсь... Вы на этот раз опять Петр Петрович?

— Так это опять вы? Но простите, с вами находится еще дама...

— Француженка. Парижанка. Не обращайтесь внимания. Она по-русски знает одно только слово «люблю». От скуки я флиртую с иностранками, до некоторой степени уподобляясь Деникину: он тоже флиртует. Но не с красавицами, а с иностранным банком.

— Я вижу, вы все такой же. Все философствуете.

— Да. И еще восхищаюсь вашей неистощимой энергией... Выкрасть заложников, обреченных на смерть! Это буквально всех ошеломило!

— Но как же вы можете восхищаться тем, что наносит вам ущерб и что делает — кто? По сути дела, ваш противник!

— Я не знаю, где мой противник. Иностранцев ненавижу, большевиков боюсь, а этих... лакеев...

Он не закончил и замолчал. Машина приближалась к центру. Женщина рядом с Орешниковым явно скучала и досадовала под своей вуалью. В профиль видны были ее длинные ресницы. Она не проронила за все время ни слова.

— Вас не затруднит высадить меня на углу Итальянской? — спросил Котовский. — И позвольте поблагодарить вас. Я почему-то уверен, что рано или поздно вы будете с нами.

— С кем — с вами?

— С народом.

Машина остановилась. Шофер получал приказания в специальную разговорную трубку.

— Разрешите пожать вам руку и сказать, что я завидую. Я очень бы хотел иметь убеждения, ради которых стоило рисковать жизнью.

Они распростились. Котовский крикнул вдогонку:

— До свидания! Еще встретимся!

И машина укатила.

Агенты контрразведок неистовствовали. Провалилась одна явочная квартира. Решили быть еще осторожнее. Котовский совсем теперь не встречался с секретарем губкома. Задания и необходимые сведения передавались через связных.

На Соборной площади, в небольшом скверике, где на скамьях сидели бабушки и няни, а на дорожках возились дети — играли в мячик, катали кукол в колясочках, — появлялся почтенный господин, в отличном пальто, в очках с золотой оправой, по-видимому страдающий несварением желудка и совершающий моцион перед принятием пищи. Господин усаживался на свободной скамейке и рассеянно смотрел, как копошатся в скверике дети. Он заводил разговор с какой-нибудь серьезной и благовоспитанной девочкой, узнавал, что ее кукол зовут Люба и Катя и что ее мама обещала еще купить ей пупса.

Приходил подпольщик, работавший по связи, и усаживался на скамейку рядом с Котовским. Котовский знал его еще по госпиталю. Связной выслушивал сообщения Котовского и передавал ему задание ревкома. Все это совершалось среди бела дня, на самом людном месте и, может быть, именно поэтому не привлекало внимания.

И опять вооруженная группа отправлялась в опасный путь. Глядишь снова взлетал на воздух вражеский эшелон с боеприпасами или обрушивался железнодорожный мост, надолго останавливая движение.

Бывали и другого рода задания. То нужно было доставить оружие для Приднестровского партизанского отряда, который действовал в районе сел Яски и Градиницы. То нужно было установить связь с плосковскими повстанцами.

5

Все ближе подходила Красная Армия к Одессе. Иногда даже казалось, что слышны уже раскаты орудийной стрельбы, что еще одно усилие — и красноармейцы будут штурмовать одесские предместья.

Губернский комитет партии требовал усиления борьбы. Партизанские отряды создали второй, внутренний фронт.

Кажется, уже все понимали в деникинской армии, что гибель неминуема. Но Одесса шумела, Одесса развлекалась! Хлопали бутылки шампанского. Визжали скрипки в ночных ресторанах. Офицеры, напившись до бесчувствия, стреляли в потолок, опрокидывали столики. Женский визг... Музыка... «Звук лихой зовет нас в бой, черные гусары!..» «Гип-гип-ура!..» «Ты не езд, Ванька, к Яру, даром деньги не теряй!..» «Апчи! Спичка в нос! Тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом!..» Бац! Бац! И в Одесском порту темные силуэты иностранных пароходов, готовые к отплытию...

Котовскому в эти дни не давала покоя одна мысль. Она его преследовала, мучила, он постоянно говорил об этом и со своими помощниками:

— Понимаешь, Вася, заложников мы спасли, это точно. А ты скажи, чего мы не сделали? Мы оставили их дела, их приговоры, их допросы, их имена все оставили там, в охранке! Понятно?

— Понятно, Григорий Иванович, только маленькая поправка: мы там ничего не оставляли. Просто скажем так: их дела, естественно, находятся в контрразведке.

— Ну да, а надо, чтобы эти дела были в наших руках.

— Здорово!

— Что здорово?

— Не так-то просто взять из этого «богоугодного» заведения хотя бы клочок бумаги.

— Вася, ты все можешь. Мне нужны офицерские шинели, много офицерских шинелей.

— Григорий Иванович! О чем разговор! Если уж в Одессе офицерских шинелей не найти, тогда я не знаю, что сказать! Ведь все белогвардейцы в одесских ресторанах, я даже не понимаю, кто же у них на фронте. Ресторан на Екатерининской улице знаете? На гардеробе там свой человек стоит, ваш солдат из Сто тридцать шестого полка! Значит, будут шинели!

— Вы с Василием прикрывайте наш отход, а я с ребятами буду грузить шинели, — вставил слово и Михаил.

— Правильно! Пока шинели не будут все до единой изъяты, никто не войдет в раздевалку, даже если применит оружие! Об этом позаботимся мы с Григорием Ивановичем.

Правда, Григорий Иванович?

К этой операции приступили, не откладывая в долгий ящик. Вася и Котовский отправились в ресторан на Екатерининской улице.

Еще издали они слышали гуд голосов, пьяные выкрики, музыку, звон посуды. В открытые окна ресторана валил пар, плыли запахи шашлыка, водки, духов и бифштексов. А когда они вошли, и запахи и звуки стали еще резче. Надсаживались скрипки, рыдало пианино. Потные официанты, совершенно замученные и ошалелые, носились взад и вперед с полными подносами. Кофе-гляссе, полуголая танцовщица, пьяные красные физиономии, пролитое на скатерти вино...

— Нечего сказать, — пробормотал Вася, с отвращением разглядывая зал, — зрелище!

— Барометр показывает приближение бури! — отозвался Котовский, весело улыбаясь.

Ни одного свободного столика! Это как раз входило в их план и в их расчеты. Котовский сует официанту крупную ассигнацию, и столик, как по волшебству, появляется. Вопрос только, где его поставить. Поставить буквально негде. И это тоже входило в программу их действий! Все шло как по-писаному.

— А вот мы сюда его поставим! — решает Котовский, на котором капитанский китель.

— Сюда? А как же пройти в гардеробную?

Но столик уже мелькнул в воздухе и поместился на единственно свободном месте, загородив дверь в раздевалку.

— Bravo! — аплодируют в зале двум находчивым офицерам и особенно цирковому жонглерскому номеру, когда увесистый столик так легко вспорхнул в воздух и занял надлежащее место.

— Какой красавец! — любят женщины. — И какой силач!

Итак, дверь забаррикадирована. Официант приносит шампанское, фрукты, и вначале все идет гладко, до тех пор, пока какой-то полковник не пожелал выйти:

— Р-разрешите!

Котовский и Вася, один — капитан, другой — поручик, даже не шевельнулись.

— Потрудитесь освободить проход!

Никакого впечатления.

Полковник багровеет, как умеют багроветь одни полковники кадровой царской армии. Но и это не помогает.

За столиками раздается смех. Симпатии разделяются. Одни горячо отстаивают право полковника покинуть ресторан, раз уж ему так хочется. Другие настаивают на том, что никто еще не расходится — ничего, посидит и полковник:

— Куда ему спешить? Пей, пока пьется! Алло! Полковник! Ваше здоровье!

«Славься, славься, наш русский царь!..»

«Белой акации гроздь душистые...»

— Ар-ркашка! Налей полковнику коньяку!

Сначала просто спорили. Затем спор превратился в свалку. И никто не заметил, когда и куда исчезли эти веселые капитан и поручик. Выходило, что и спорить-то не из-за чего.

Столик наконец отодвинули, и побагровевший полковник с достоинством проследовал к вешалке. Но что это значит? Там пусто! Пусто! Ни одной шинели, ни одной шапки... Позвольте! Нет даже швейцара! Что он, пьян? Какое безобразие! И оружия, которое полагалось сдавать на вешалку, тоже нет!

В захваченные офицерские шинели немедленно были обряжены дружинники Котовского. Улицы, прилегающие к помещению контрразведки, никогда еще не видели такого наплыва офицеров. Несмотря на позднее время, отовсюду стекались сюда полковники, капитаны, штабс-капитаны, поручики всех родов оружия и как на подбор — статные и молодые.

Не прошло и часа, как помещение контрразведки было окружено со всех сторон, а все подходы закрыты надежными заслонами.

Котовский, звеня шпорами, направился к входной двери.

— Приказ командующего о вашем аресте! — протянул он дежурному скрепленную подписями и печатями бумагу.

Дежурный побледнел и бросился к телефону:

— Ни с места! Сдать оружие!

Двое контрразведчиков застрелились, остальные позволили себя разоружить и запереть в ту самую камеру, в которую они столько раз швыряли истерзанных ими людей.

Вот уже все помещение контрразведки захвачено дружиной. Котовский перебирает папки, часть захватывает с собой, остальное сжигает.

— В переулке конные!

Дружина отступает в полном порядке по заранее разработанному плану.

6

И все-таки они ее схватили.

Ночью Вася разыскал Котовского:

— Григорий Иванович! Жанну арестовали!

Котовский сразу поднялся с постели. То, чего он давно опасался, произошло!

— Григорий Иванович! Они ее будут мучить!..

И вдруг Вася — тот самый Вася, который не робел перед любой опасностью, — вдруг этот Вася отвернулся и стал старательно вытирать слезы.

Позднее выяснилось, что арестованы кроме Жанны еще несколько человек. Об этом сообщил Котовскому Кузьма Иванович Гуща. И как под влиянием горя изменился облик этого доброго человека! Он сразу осунулся и постарел.

— А кто? Кого они взяли?

— Елин... и другие... О Жанне я уж не говорю. Как подумаю о ней сердце кровью обливается... Оказывается, арестовано также несколько французских матросов, встречавшихся с подпольщиками. Кажется, у контрразведчиков были помощники и на военных кораблях. Они установили, кто из матросов доставляет на французские корабли газеты и листовки.

— Самуил! — приказал Котовский. — Кровь из зубов, но ты должен выгрызть эту тайну, узнать, где содержат Жанну!

— Хо! — ответил Самуил. — Всего проще!

Он был вхож повсюду, этот Самуил. Он мог соорудить постную физиономию и явиться в синагогу. Он «дружил» с каким-то контрразведчиком и пил с ним наравне, не отставая в счете бутылок, хотя едва ли может кто-нибудь сравняться в этом отношении с контрразведчиками. У Самуила были «уши» в самых разнообразных кругах города. Он путался с контрабандистами, пользовался уважением среди торговцев, ему удалось даже пристроиться на какую-то неопределенную должность в многолюдном штате самого д'Ансельма. Когда Котовский расспрашивал, кем же Самуил числится у генерала, Самуил уклончиво отвечал:

— Как вам сказать... Чтобы я был его личным секретарем, так нет. Но, скорее всего, я что-то среднее между младшим помощником старшего садовника и унтер-курьером при господине курьере.

— Что же ты все-таки делаешь?

— Иногда ищу что-нибудь особенное в комиссионных магазинах... Иногда составляю букеты для столовой господина д'Ансельма, чтобы он мог понюхать во время завтрака культурный запах, например, чайной розы. Почему бы нет?

Но сегодня Самуил не склонен был шутить, а Котовский не склонен был его слушать.

Все дружинники были подняты на ноги. Иван Федорович устроил экстренное совещание губкома. Уже были приняты меры, чтобы известить о случившемся французских матросов. Ведь контрразведчики действовали втихомолку, значит, побаивались неблагоприятного впечатления, которое может произвести эта расправа на солдат и матросов,

и без того готовых чуть ли не к восстанию.

Никогда еще Котовский не видел такого лица у секретаря губкома. Глаза его были печальны и гневны, губы сжаты. Да и все подпольщики были потрясены этим событием. Самойлов, который занят был теперь формированием партизанских отрядов, как раз в этот день прибыл в Одессу за инструкциями. Услышав о горестном происшествии, он стиснул кулаки и прошептал:

— Ну ладно же! Дорого они заплатят за это!

Сведения поступали одно за другим. Оказывается, многих избивали при аресте. Оказывается, прибыл специально по этому поводу какой-то крупный чин французской полиции.

Но толком еще никто ничего не знал. А произошло все так.

В субботу первого марта днем заседал президиум «Иностранной коллегии». Настроение у всех было приподнятое. Жанна Лябурб восторженно говорила, что победа близка и что хочется поехать во Францию, рассказать там правду о русской революции.

Затем Жанна и Стойко Ратков пошли на Пушкинскую, где Жанна временно поселилась у старухи Лейфман. Ратков любил бывать у Жанны. Там была обстановка покоя и отдыха. У хозяйки были три взрослые дочери. На этот раз к старухе Лейфман пришел еще какой-то знакомый. От политики все они были далеки, разговаривали о том о сем и собирались выпить по чашке чая. Меньше всего думали в этот час о смертельной опасности, которая надвигалась.

В квартиру ворвалась целая толпа французских и белогвардейских офицеров. Это были матерые волки. Французский майор Андре Бенуа, полинялый блондин с безумными прыгающими зрачками глаз на бледном, перекошенном, кокаиновом лице, был поистине страшен. Еще страшнее был ротмистр Бекир-Бек-Масловский — изувер, набивший руку на расстрелах без суда, на истязаниях. Ротмистр состоял при Гришине-Алмазове и возглавлял отряд для особо грязных поручений — для ликвидации неугодных по черным спискам, для убийств «при попытке к бегству», когда никто и не думал бежать, и просто убийств без объяснений мотивов.

Когда контрразведчики пришли арестовывать Жанну и увидели так много людей в квартире, они решили, что захватили целиком всю подпольную организацию Одессы.

— Руки вверх!

При обыске у Жанны нашли только экземпляр газеты «Le Communiste» и больше никаких компрометирующих материалов. Ни оружия, ни денег, как они ожидали, не оказалось.

Связали всем руки, в том числе и старухе-хозяйке, и ее дочерям всем, кого застали, вывели их на улицу, где ждал крытый грузовик. Грузовик тронулся, загрохотал по мостовой и вскоре въехал во двор дома номер семь на Екатерининской площади — здания французской разведки. Ворота захлопнулись. На площади высилась на каменном пьедестале русская императрица. Площадь была живописна. Дом номер семь, с большими окнами, с парадным крыльцом, был импозантен. Трудно было даже представить, что в его подвалах вершатся такие черные дела!

В помещении, куда втолкнули Жанну, была она одна. Куда же девали остальных? И вдруг она услышала громкий голос Елина... Значит, схватили и его?!

Допрос вел полковник-француз, начальник контрразведки, пожилой и изящный. Тут же присутствовали и белогвардейцы. В роли переводчицы выступала субтильная блондинка. Жак Елин узнал в ней супругу консула Энно: однажды ему показали ее, когда она совершала прогулку.

Но теперь он ближе познакомился с этой особой. Убедившись, что Елин ничего не выболтает и никого не назовет, эта дама, взбешенная его упорством, ударила его рукояткой револьвера по голове, что совсем не входило в обязанности «переводчицы». Обливаясь кровью, Жак Елин упал.

Избивали и остальных. Одному выбили глаз, свалили, пинали в живот, затем перешли

на более изощренные истязания и пытки. Палачи добивались сведений, где находится подпольная типография, где и когда встречаются подпольщики-большевики. В награду обещали выезд за границу, деньги. Но ни одной визы не потребовалось. Это и бесило и в то же время приводило в изумление палачей.

Из соседних комнат доносились нечеловеческие крики: там «допрашивали» женщин.

Мадам Энно с горящими глазами, с каким-то упоением смотрела на истязания. Она была как пьяная и бормотала:

— Еще! Вот это удар! Подумаешь, нежности — уже и глаза закатывает! Подбодрите ее, Мишле! Да не так... вот как надо!

Допоздна трудились изящный французский полковник, белокурая дама, похожая на мадонну, и все остальные заплечных дел мастера.

От Жанны вообще не слышали ни слова. Изящный французский полковник утомился, и Жанна была поручена полковнику Иваницкому, прибывшему по приглашению «Дезъембюро».

— Фамилия? — строго спросил Иваницкий, показывая, что он отнюдь не намерен шутить.

Жанна молчала.

— Фамилия, я тебя спрашиваю! — и тут из уст полковника посыпались отборнейшие ругательства.

Жанна ответила по-французски:

— Я французженка. Вызовите переводчика.

— А черт! Ты превосходно говорила по-русски, когда тебе надо было!

Через переводчика Жанна заявила, что она — французская подданная и требует вызова французского консула. Жанна хотела выиграть время и как-нибудь дать знать о себе французским матросам.

Но Иваницкий был хорошо осведомлен о деятельности Жанны и о ее популярности. Он приказал переводчику удалиться. Он вызвал свидетелей, которые подтвердили, что слышали, как Жанна говорила по-русски.

— Так ты будешь разговаривать? — с ненавистью глядя на гордую революционерку, прохрипел полковник. — погоди, я сам буду твоим переводчиком, и мы чудесно пойдем друг друга!

С этими словами он поднялся и подошел вплотную к Жанне. Так они стояли и смотрели пристально в глаза друг другу. Французский полковник спокойно наблюдал, чем все это кончится и на что решится его коллега.

У Иваницкого не было достаточного навыка в избивании женщин. И он пришел в бешенство именно от своей нерешительности. Он размахнулся и ударил Жанну кулаком в висок.

Жанна упала, потеряв сознание.

«Кажется, я перестарался. Не хватает еще, чтобы я ее ухлопал с одного удара. Ведь я известен гуманными методами работы!..»

Иваницкий, морщась, смотрел, как охранники возились, приводя в чувство арестованную.

Наконец Жанна открыла глаза.

— Встать! — заревел Иваницкий. — Впрочем, не обязательно. Мы приступим к другим методам.

Но Жанна уже поднялась, и полковник еле успел отстраниться, потому что она бросилась на него с явным намерением отхлестать его по физиономии.

Ее схватили. И тут началась отвратительная расправа, когда несколько здоровенных мужчин истязали маленькую Жанну, приговаривая:

— Будешь драться?.. Будешь говорить?.. Будешь?!

...Перед рассветом арестованных вывели во двор, разместили на двух грузовиках, сюда же взобрались конвоиры, кроме того, четыре французских офицера с майором Андре Бенуа

во главе и несколько головорезов из отряда Гришина-Алмазова под личным водительством Бекир-Бек-Масловского.

Машины мчались по спящему городу.

«Куда везут?» — сверлила мысль каждого из арестованных.

Выехали за город. Эта дорога вела к тюрьме, а расстреливали обычно на Стрельбищном поле или в Александровском парке. Если в тюрьму, то еще есть надежда на спасение, могут выручить товарищи.

Но вот возле кладбища машины замедлили ход, и все поняли, что гибель неминуема.

«Умирают только один раз, — вспомнила Жанна свои же слова. — Кажется, этот один раз наступает!»

Силач и здоровяк Стойко Ратков решил попытать счастья: ударил со всего размаха конвоира, стоявшего позади, оттолкнул его и прыгнул через борт автомобиля. Вслед ему стреляли, но разыскивать не решились: в темноте можно растерять и остальных.

Ратков ползком передвигался по каким-то рытвинам и кочкам. Был непроглядный мрак. Черное небо. Черная земля.

Со стороны кладбища слышались выстрелы, предсмертные крики.

«Кончают!..» — с горечью и отчаянием подумал Ратков.

На рассвете он добрался до одной из конспиративных квартир. Слушали его рассказ молча, потрясенные и гневные.

На следующий день весь город уже знал о расстреле и был погружен в траур. Никто не организовывал, само по себе возникло печальное шествие; на кладбище отправились многочисленные делегации. Они несли венки из живых цветов. Рабочие и матросы, профессора и студенты, женщины, школьники, старожилы Одессы, жители пригородов, городская интеллигенция и завсегдатаи порта шли в этот день по направлению к кладбищу, шли медленно, в скорбном молчании.

Неужели и в этот день не поняли незваные пришельцы, руководившие интервенцией, на чьей стороне сочувствие города?

Вот идет старый, седой, почтенный профессор. Он снял шляпу. Нести тяжелый венок ему помогают студенты. Этот старец известен не только в Одессе. Его имя знают во всем мире, это светило науки. Может быть, он тоже сагитирован коммунистами? И неужели все студенты состоят в подпольных организациях?

Они идут стройными колоннами, организовано. Они молча выражают гнев, их протест в молчании.

Груда венков скрыла от глаз свежий холм могилы. Конная полиция не решалась разгонять толпу, но готова была приступить к действиям в случае малейших признаков беспорядка. Среди венков, возложенных на могилу, выделялся один. На его красной ленте была надпись: «От губернского комитета РКП (б). Смерть убийцам!»

Генерал д'Ансельм выслушал подробное донесение обо всем происшедшем.

— Эта крупная победа моих соотечественников, — уныло произнес он, оказалась нашим крупным поражением...

Подпольная типография не прекращала работы, и вскоре все французские матросы, все французские солдаты знали о жестоком убийстве маленькой Жанны. Какова была ярость французских офицеров, когда они увидели на рукавах многих моряков траурные повязки! Недобрые глаза были у солдат французской армии. А как взбешен был генерал д'Ансельм, когда из Франции получил известие, что и там уже знают о расстреле Жанны Лябурб, француженки, которая погибла, служа идее коммунизма; знают и о том, что вместе с Жанной замучены другие деятели «Иностранной коллегии» бесстрашные борцы за свободу.

Как извивались во лжи, как отнекивались, сваливали вину друг на друга некоторые святоши, пойманные с поличным!

Гришин-Алмазов, сам же послав своего ротмистра, клялся, что знать ничего не знает. Генерал д'Ансельм тоже изображал удивление на своем бритом лице. Но кто же не понимает, что именно он дал указание о расстреле подпольщиков-коммунистов.

Правительство Советской Украины направило во Францию, Англию и Америку ноты протеста против кровавого террора оккупационных войск Антанты на Украине. В ноте отмечался и зверский расстрел участников «Иностранной коллегии». Клемансо заявил, что французы тут ни при чем, что это не они, это «добровольческая» разведка арестовала Жанну Лябурб...

Не удалось ничего скрыть. Все вылилось наружу. Весь мир узнал, кем и как совершено кровавое злодеяние в ночь на второе марта в Одессе. Пусть запомнят все вешатели, все изуверы, упивающиеся кровью своих жертв; так или иначе будут раскрыты и преданы огласке их подлые имена, их постыдные поступки.

Котовский в эти дни метался, не находя себе места. Пришел Самуил сообщить новости, но, видя, что Григорий Иванович в таком состоянии, вздохнул и вышел на цыпочках. Вася и Михаил маячили поблизости, но не решались беспокоить Котовского. Да они и сами тяжело переживали это горе.

Котовскому казалось, что он был недостаточно оперативен, что все-таки можно было что-то сделать... Совершал невероятные налеты, смелейшие операции! Ухитрялся сделать то, что казалось невозможным! А вот Жанну не мог спасти!.. И хотя, перебирая все подробности, все, что случилось, умом сознавал, что сделать что-нибудь для спасения арестованных было невозможно, все равно винил себя в их гибели, придумывал различные способы, как можно было бы вырвать из рук палачей их жертвы в самую последнюю минуту.

«Если бы мог я знать о планах контрразведки хотя бы за полчаса до выполнения, — думал он в отчаянии. — Если бы не так быстро все произошло! Я бы сделал нападение, перебил бы охрану... Я бы дал им настоящее сражение на улице... Они бы не успели опомниться, как все было бы выполнено...»

Перед ним стояло лицо Жанны — смелое, с широко открытыми, любопытными ко всему происходящему в мире, приветливыми и привлекающими глазами... А эти задорные мальчишеские кудряшки черных волос на голове! А этот звонкий голосок!.. Милая Жанна! Маленькая Жанна! Как странно, что ты уже никогда больше не засмеешься, не встряхнешь непослушными прядями, не крикнешь задорно: «Добрый день, Поль! Здорово, Жюльен! Salut aux matelots!..»

7

Секретаря губкома Ивана Федоровича Смирнова взяли ночью в его квартире. Услышав стук в дверь, Смирнов сразу понял, что это не к добру.

— Кто там? — спросил он, не отпирая.

— Откройте, срочное дело.

Смирнов, не отвечая, немедленно стал уничтожать бумаги, которые могли бы навести на какой-нибудь след. Он знал по голосу всех своих товарищей. Да и стук у своих был условный. А это были хриплые, чужие голоса.

В дверь ломились. Когда все было готово, Иван Федорович спокойно подошел и откинул крючок.

— Почему не открывали? — ворвались охранники, направляя на него револьверы.

— Мне нужно было успеть кое-что сделать.

— Почему пахнет жженой бумагой?

— Уничтожил лишние документы.

— Ласточкин?

— Ласточкин.

— Давно мы за вами охотились.

— Мухи осенью сильнее кусают. А ваша осень пришла.

— Смотрите, он и нас, кажется, хочет сагитировать!

Когда закончился обыск и вышли на улицу, Смирнов увидел, что арестовывать его прибыл чуть ли не целый взвод. Насколько хватал глаз сверкали в темноте штывы, мелькали

шинели. Смирнов посмотрел вокруг себя. Была холодная, неприветливая ночь. Но все-таки как прекрасно это небо, как широк мир, как пахнет морем!.. Смирнов прощался с этой красотой, которой ему так редко и так мало приходилось любоваться. Смирнов понимал, что больше он этого не увидит. Он все успел мыслью окинуть. Догадался приблизительно, кто предал. Озабоченно подумал:

«Неужели не сумеют без меня выпустить очередной номер газеты? Выпустят! А там пришлют нового работника, незаменимых нет...»

Вспомнил о жене. Бедняжка. Не сладкая ей выпала жизнь... Сын — сын выбьется в люди. И не придется ему стыдиться отца.

Он не раз обдумывал, как будет держаться в случае провала. Он просто будет молчать. Что бы они ни изобретали, каких бы пыток ни выдумывали — он будет молчать. В самом деле, не пробовать же их в чем-то убеждать! Им разговаривать не о чем.

И Смирнов молчал. Вначале они надеялись заставить его заговорить. Они применили весь ассортимент самых мучительных пыток, изобретенных современными истязателями и палачами прежних эпох. Они были большими знатоками этого дела. Они потратили на секретаря губкома несколько ночей, каждый раз прекращая свои старания лишь тогда, когда не могли жертву привести в сознание никакими средствами.

Тогда волокли изуродованное тело и бросали на пол в одиночке полутемном каменном мешке с плесенью на стенах и тяжелым промозглым воздухом, таким, что даже тюремщики отшатывались от двери. Здесь Иван Федорович приходил в себя. Он мучительно вспоминал, что произошло и где он находится. Он не мог пошевелить вывихнутыми руками, чтобы вытереть кровь с лица, а главное — с глаз, затянутых кровавой пленкой. Впрочем, все равно не на что было смотреть. Черный мрак! И только мысль, упрямая человеческая мысль пробивалась через этот мрак.

Смирнов проверял себя. Да, он не сдался! Он даже не доставил палачам удовольствия своим криком боли, стоном. Он только скрипел зубами, а потом и этого не было, потому что ему выбили зубы... И на лице, превращенном в один сплошной синяк, в одну кровавую ссадину, мелькало подобие улыбки. Ну что такое все они — усердные палачи, потерявшие в своей отвратительной профессии все человеческое, — что такое все они перед волей большевика?

Все еще не чувствуя себя спокойными, контрразведчики поместили Смирнова в плавучей барже-тюрьме. Обезображенное тело Смирнова было вывезено на моторном катере в открытое море. Волны приняли его в свои ласковые объятия. Черное море стало его величавой могилой. В этот день ветер поднимал штормовые волны. Море хмурилось, море разверзало темные пучины и с грохотом и стоном обрушивало гребень волны...

Палачи боялись секретаря Одесского губкома даже после его смерти! Вот почему они выбросили тело в море. Вот почему они заметали следы.

8

Ревкомовцы собрались, чтобы обсудить положение. Это были люди, привыкшие бороться, переносить удары судьбы, видеть гибель собратьев и смотреть смерти в лицо. Но все же события этих дней потрясли их.

Удар нанесен метко. Особенно горестно потерять руководителя подполья сейчас, когда дни интервентов и белогвардейцев сочтены. Вполне объяснима торопливость контрразведчиков: они поспешили прикончить Смирнова, так как не надеялись ни на толстые тюремные стены, ни на решетки, ни на самих себя.

— Здесь предательство! — решили все, нахмураясь.

В сознании стоял неотступный вопрос: кто? Все обдумали, все припомнили — и сошлись на одном.

...Незадолго до ареста секретаря губкома в одесскую подпольную организацию явился некий Ракитников. Он предъявил документы, довольно убедительно рассказал о себе, о своей

работе, о Москве. Люди в подполье были нужны, время было горячее. Новые работники прибывали почти ежедневно, и появление Ракитникова не вызвало никаких подозрений.

Ракитников назвал себя «подрывником» и настойчиво просился «в распоряжение Котовского». К Котовскому его не направили, это делалось совсем не так, в дружину к нему вообще не «направляли», но дали Ракитникову ответственное поручение. Он по этому поводу виделся с товарищем Николаем, получил подробные инструкции, двадцать тысяч рублей на различные расходы и... скрылся. Так как он сам лично беседовал с Ласточкиным, он, конечно, запомнил его и мог препоручить кому-то другому дальнейшую слежку.

Явку в ателье «Джентльмен» тогда же ликвидировали. Но было непростительной неосторожностью, что хотя бы на некоторое время не отправили секретаря губкома в какое-нибудь надежное место, чтобы контрразведчики совсем потеряли его из виду. Но разве Ивана Федоровича уговоришь? Других он распекал за неосторожность, а своей головой постоянно рисковал. Он говорил, что еще точно не известно, может быть, Ракитников заперолся, может быть, он и не шпион...

Никаких сомнений не оставалось: Смирнова отдал в руки контрразведчиков Ракитников. Нужно было его найти.

Котовского вызвали на это совещание ревкома. Он сказал:

— Если только этот н-негодяй н-на поверхности земли — я его отыщу!

Котовский не мог привыкнуть к мысли, что Ивана Федоровича нет и ничего уже нельзя тут сделать. Но поймать и уничтожить предателя — это его прямое дело, его святой долг.

Поиски долго не давали результатов. И вдруг обнаружили Ракитникова в Одессе: видели, как он шел преспокойно по улице, раскланивался со знакомыми офицерами, а затем исчез в подъезде ресторана.

— Пока он сядет за столик и закажет украинский борщ и шницель по-гамбургски, мы уже будем там, — сказал Котовский.

Несколько дружинников быстро превратились в военных. Котовский привычно облачился в офицерский китель.

— Пошли! — объявил он, накладывая перед зеркалом грим.

— Если будет сопротивляться — стреляем? — спросил Вася, заранее предвкушая удовольствие пустить пулю в лоб провокатора, предавшего самого Ласточкина.

— Нет, возьмем живьем! — ответил Котовский. — Пусть он сначала все расскажет.

Больше он ничего не добавил. Куда они денут его? Как поведут? Ведь он может крикнуть, позвать на помощь...

В ресторане было много народу. Обстановка пышная. Белые скатерти, толстые метрдотели, позвякивание рюмок, блестящие судки... Это было священнодействие. Разговаривали тихо. Или даже вовсе молчали, придерживаясь золотого правила: когда я ем, я глух и нем. В воздухе носились дразнящие запахи лаврового листа, мясного бульона, и сочных котлет. Мундиры... фраки... дорогие меха... голые плечи... браслеты...

Рассеянно смотрят посетители, как вваливаются в ресторан военные и топают между столиков. Ракитникову и в голову не приходит, что это имеет к нему какое-нибудь отношение. Он уже приступил ко второму блюду и маленькими глотками пьет белое вино.

— Виноват, — козыряет офицер, склоняясь над ним, — я попрошу вас предъявить паспорт.

— Я? Паспорт? С какой стати? И не подумаю.

— Вы задерживаете нас. Поторопитесь.

— Странно! Паспорт, конечно, у меня есть...

— Фамилия?

— Евтихий Павлинович Ракитников.

— С каких пор вы стали Ракитниковым?

— Знаете... это уже слишком!

За столиками перешептываются:

— Кажется, сцапали. Наверное, красный... Какой-нибудь террорист...

— Прекрасно у нас работает контрразведка!
— Так и надо! Нельзя спуска давать! Хватать их без всякой жалости!
— Ха-ха! Слышали? Паспорт на Ракитникова, а сам, вероятно, Сидоров или Петров!
— Я вас попрошу проследовать за мной, — вежливо, но решительно говорит офицер.
— Пожалуйста! — обиженно бормочет Ракитников. — Уверяю вас, что это недоразумение. Меня здесь хорошо знают!

— У меня есть приказ, я не сам выдумал. Выясним — и отпустим. Что делать? Мы обязаны проверить.

Ракитников заранее торжествует. Хорошо же! Он пойдет! Но когда все выяснится, он пожалуется самому Иваницкому! Что это за безобразие? Днем хватают людей!

На улице Ракитникова окружают конвоиры. Он спокоен. Чем скорее его доставят в контрразведку, тем лучше!

— Позвольте! Куда же мы идем?

— Вас будет допрашивать сам главнокомандующий.

— Ничего не понимаю. Я вас прошу об одном: позвоните в контрразведку, капитану Мыльникову.

— Вот Мыльников меня и послал. Однако кончайте разговоры.

Провокатор понял все только тогда, когда его привели на конспиративную квартиру и он увидел представителей ревкома.

Котовский смотрел на его поникшую фигуру. Спросить бы его, почему предал? Исходя из каких-нибудь убеждений? Или за деньги? Или просто по слабости характера: заставили — и пошел?

— Итак, вы были связаны с капитаном Мыльниковым? От него вы и получили задание проникнуть в подпольный губернский комитет?..

Три дня допрашивали Ракитникова. Сначала он предал секретаря губкома. Теперь он, с противной дрожью в голосе, жалкий и ничтожный, выбалтывал все, что знал о деникинской контрразведке.

Через три дня ему объявили приговор революционного суда.

Он был расстрелян.

9

Ничего не могли понять, не могли приложить никакой мерки к этой огромной стране, к этой силище, к этому народу-сфинксу, к этому восточному богатырю некоторые тонкие, ловкие, прожженные, выдавшие виды иностранные дипломаты, мыслители, торговцы невольниками, атташе, наблюдатели, завоеватели, коммивояжеры. Почему это никак нельзя завоевать, поставить на колени, просто обмануть, наконец, эту, казалось бы, такую простую, добрую, отзывчивую и приветливую страну?

Четырнадцать держав взялись объединенными усилиями покончить с этой неслыханной затеей — построить государство на совершенно новых основах. Ни много ни мало — четырнадцать держав!

Увязали в сугробах, плутали по дремучим лесам, как четырнадцать убийц, крались в глухую полночь, держа отточенный нож за пазухой... А все живет и цветет молодая держава, по-прежнему румяны девушки и задушевные песни о березе, о соловьях, о неумном ожидании счастья, о немеркнущей надежде на будущее.

Командующий вооруженными силами Антанты на востоке Франше д'Эспре пригласил к себе деникинских генералов и долго читал им нотацию. Генералы слушали почтительно, с поникшими головами.

— Ваши офицеры имеют скверную репутацию, — отчитывал д'Эспре, — их приходится арестовывать десятками за неприличное поведение! Фи, как нехорошо! Господа! Они получают жалованье! А? И ничего не делают? Они должны побеждать, вот что они обязаны делать! А?

В этом отношении Франше д'Эспре был прав: действительно, офицеры получали жалованье и — не побеждали. Больше того, они терпели поражения! Даже в самой Одессе становилось небезопасно жить! И хотя Франше д'Эспре делал все, чтобы попасть в историю, но даже у себя во Франции не встретил одобрения и России не завоевал.

Единственное, в чем он преуспел, — это в создании при французском командовании российского «совета министров». Ему приходилось торопиться с этим мероприятием, потому что дела на фронте ухудшались с каждым днем. Два дня министры ходили с портфелями, как и полагается настоящим министрам. На третий день, не совершив никаких преобразований, министры в самом срочном порядке погрузились на иностранный пароход: Одесса спешно эвакуировалась.

Революционный комитет руководил партизанским движением. В Одессе кроме пересыпской дружины и матросской действовали еще комсомольцы. Успешно шла борьба в Николаеве и Херсоне.

Котовский в облике представителя фирмы по оборудованию механических мельниц направлялся то в Вознесенское, то в Яское, то в Беляевку и Маяки.

Отряд приднестровских партизан насчитывал уже более четырехсот человек. Объединившись с одесскими отрядами, он начал бои с интервентами.

Вскоре Котовский привез радостное сообщение:

— Большие успехи! Партизанами занят Овидиополь и вот-вот будет захвачен Тирасполь!

Состоялась вторая губернская партийная конференция в Одессе. Несмотря на облавы, обыски, аресты, на конференцию явились двадцать семь делегатов. Постановлено было считать все партийные организации губернии на военном положении. Предложено повсеместно открыть военные действия и захватывать власть на местах.

Не помогла интервентам и присылка свежих подкреплений. По улицам Одессы маршировали греческие войска, удивляя глазующую публику ярким обмундированием.

— Смотри, смотри! — переговаривались в толпе, — пестрые, как попугай!

— А обоз-то, обоз! — разглядывали зеваки двухколесные арбы с высокими решетчатыми ящиками; эти арбы волокли тощие, унылые ослы, готовые вот-вот издохнуть.

Вскоре стало известно, что разноязыкая, разноплеменная армия терпит одно за другим поражения. Нами захвачены орудия, танки. Один из танков послан в Москву, в подарок от победителей.

В эти дни к д'Ансельму явилась делегация рабочих.

— Пусть войдут, — с кислой миной распорядился д'Ансельм.

Рабочие требовали прекращения вошедших в практику безответственных убийств, совершаемых по ночам патрулями, и передачи власти в городе в руки Совета рабочих депутатов.

— Пардон, — переспросил д'Ансельм, — каких депутатов?

— Рабочих, — ответила Елена Соколовская, пришедшая в составе делегации.

— Очень интересно, — прошипел д'Ансельм. — Рабочих депутатов? Замечательно!

Он не хотел выбалтывать, что ожидается прибытие крупных подкреплений французских, африканских и румынских войск. Он не хотел говорить, что пока не собирается сдаваться. Он только ответил, что осведомлен об агитационной работе среди иностранных войск и о том, что в Одессе пятьдесят тысяч вооруженных рабочих.

— Но имейте в виду, — добавил он после эффектной паузы, — что у меня здесь на рейде флот. Да, флот! И жерла пушек, я не скрою, наведены на город. Еще один момент: на моем столе лежит депеша. Кто из вас сочиняет эти отвратительные листовки на иностранных языках? Поручите этому субъекту прочесть — депеша изложена по-французски: на пути в Одессу следует крейсер. А крейсер — это вещь! Вот все, что я могу вам ответить, господа.

Красные под Одессой! Город как разворошенный муравейник. По улицам мчатся подводы. Люди собираются толпами, и кто-нибудь, опасливо озираясь, выкладывает последние новости. Одни радуются, другие мечутся в безысходном отчаянии. Кто-то хвастается, что у него есть знакомый капитан иностранного парохода. Кто-то уверяет, что «ерунда, союзники не допустят», что «вот увидите сами: подпустят их поближе, а потом как ударят!»

— Ударят, когда у самих шишка на лбу!

— Обязаны предоставить транспорт для желающего населения!

Но вот уже даже за бешеные деньги невозможно приобрести билет на пароход.

Горячие дни! Губернский комитет партии — военный штаб. Срочное задание — вывезти под самым носом у военных властей все ценности из подвалов Государственного банка.

— Отнеситесь со всей серьезностью к этому поручению, — говорили Котовскому в губкоме. — Нельзя допустить, чтобы наше народное достояние уплыло за границу! Ну, и нужно ли говорить, что желательно произвести эту операцию без потерь. Хватит уж потерь!

На грузовиках, сопровождаемых усиленной вооруженной охраной, подкатили дружинники среди бела дня к массивному зданию Государственного банка. Директора не оказалось.

— Где же он? Разыщите его немедленно! Саботаж? Почему не приняты меры к эвакуации? Что вы тянете? На что рассчитываете? — распорядился Котовский, одетый в полковничью шинель.

Банковские чиновники засуетились. Зазвонили телефоны.

Выяснилось, что директор банка с семейством погрузился на иностранный пароход. Даже и мебель прихватил! И пуделя! И няню!

Тут прибывшие военные подняли на ноги всех. Они угрожали револьверами, они кричали, что всех переарестуют, перестреляют... Бледные, перепуганные насмерть чиновники сами помогали грузить ценности на машины. И солдаты, охранявшие банк, тоже грузили.

Спустя несколько часов после того, как последняя машина отъехала от Государственного банка, сюда прибыли генерал, полковник из генштаба в сопровождении иностранцев.

— Все в порядке, ваше превосходительство! — радостно сообщили банковские чиновники. — Ценности вывезены под большой охраной. Можете не беспокоиться. Поработали на совесть!

— Вот как? Похвально, похвально! А вы, полковник, жалуетесь на медлительность нашего аппарата, настаиваете на решительных мерах, а оказывается, все сделано?

Его превосходительство даже поблагодарил чиновников за оперативность, и все это переводилось иностранцам.

Пока они таким образом обменивались любезностями, к банку стали прибывать какие-то грузовые машины, затем явился и сам директор банка в сопровождении целой комиссии по приему ценностей на предмет вывоза их за пределы страны.

— Никита Петрович! Но нам же ясно по телефону сказали...

— Что сказали? Кто сказал? Что вы мне ерунду мелете?

— Но позвольте! Ведь даже такие подробности... что и пудель ваш, Никита Петрович... Я сам лично говорил по телефону...

— «Никита Петрович», «Никита Петрович»! Что вы мне голову морочите?! Короче говоря, приступайте к передаче всех ценностей и прежде всего золотого запаса. Где Иван Иванович? Давайте его сюда!

— Вы напрасно горячитесь, Никита Петрович, — остановил его полковник из генштаба. — Все уже вывезено, вы немножко опоздали. Я тоже беспокоился, но, оказывается, все в порядке.

Директор банка Никита Петрович Кудрявцев был непомерно толст, и, например, в

театре для него всегда специально отводилось двойное кресло, так как на одном он не помещался. Но тут он как-то осунулся, обмяк и выслушал терпеливо подробный рассказ, как прибыли грузовые машины, как Никиту Петровича разыскивали по всем телефонам и как, наконец, получили сведения, что Никита Петрович отбыл со всем своим семейством на иностранный пароход...

— На иностранный? — заинтересованно переспросил директор.

— Да, да, на иностранный! Я сам лично говорил по телефону... Но мы все сделали! Тут приезжали военные, с охраной!

Но директор уже не слушал. Он все понял. Ценности вывезены, но кем?

— Благодарю вас, — спокойно произнес он. — Попрошу вас, откройте мой кабинет...

Мне все ясно.

Он медленно поднялся по роскошной лестнице, устланной ковровой дорожкой, мимо пальм, мимо почтительных кассиров и бухгалтеров. Проследовал в свой шикарный директорский кабинет, вынул из письменного стола никелированный револьвер и застрелился.

В это время на улице послышались выстрелы, застрекотал пулемет.

— Ваше превосходительство! — подошел адъютант к генералу, находившемуся в каком-то оцепенении. — Здесь оставаться небезопасно. Улица обстреливается!

Вся блестящая свита тронулась по направлению к порту. Все смущенно молчали. Испуганно прислушивались к близкой беспорядочной стрельбе.

— Однако... — пробормотал его превосходительство, большой любитель пошутить. — Одесса провожает нас просто с триумфом!

— На-зад! — закричал патруль, вымахивая на взмыленных лошадях из-за угла. — Здесь проезда нет! На чердаках домов засели пулеметчики!

Что творилось в порту! Крики, ругань, вопли, команда...

— Нельзя ли хоть на палубе? — кричал растрепанный жалкий человек в котелке. — Я согласен на палубе! Поймите, наконец, у меня жена!

— У всех жены!

Какие-то дети сидели на перевязанных ремнями корзинах... Кто-то бежал по сходням, и за ним несли кожаные чемоданы... Счастливцев!

Матросы иностранных кораблей безучастно глазели с палубы на все это смятение. Американские журналисты фотографировали берег, толпу и панораму города.

В Одессе расклеен приказ французского командования. В приказе сообщалось, что союзниками принято категорическое решение: Одессы не сдавать!

Но вот уже под самой Одессой после упорных семидневных боев интервентами оставлены укрепленные пункты Очаков и Буялык. Военские части отказываются грузить на корабли орудия и танки. Но даже под обстрелом предприимчивые командиры иностранных войск грабят склады, тащат все, что попадет под руку. Они похитили уцелевшие советские военные суда. Более ста советских торговых кораблей, нагруженных разным имуществом, угнано из Одесского порта.

Приказ французского командования еще висел, расклеенный по стенам домов и на заборах. А между тем пришло из Парижа указание — срочно эвакуировать войска с Украины «ввиду трудностей снабжения продовольствием», как пояснялось в этом правительственном распоряжении.

Вооруженные отряды рабочих заняли почту, телеграф, помещения штаба и контрразведки. Последний иностранный корабль скрылся за горизонтом.

— Так-то лучше, — говорили рабочие, поглядывая на удаляющиеся черные дымки, — незванный гость хуже татарина.

— А главное, ушли не солоно хлебавши.

— Это как сказать. По-моему, так им солоно приходилось!

На одесских улицах идет чистка и уборка. И город кажется еще прекрасней, еще белоснежней, еще милей теперь, когда его пришлось освободить от вражеских полчищ. По

улицам собирают и увозят трупы. Сдирают вывески несуществующих отныне учреждений.

Был такой старый давнишний герб Одессы: щит разделен на две части, в золоте верхней половины императорский орел с тремя коронами, в нижней червленой части серебряный якорь. Нет теперь этого герба! Над советской Одессой полыхает, переливается, плещет полотнищем красный революционный стяг.

Какой-то матрос стоит, высоко задрав голову и шевеля губами, и читает приказ французского командования о том, что Одесса не будет сдана.

— Пленум Одесского Совета рабочих депутатов!

— «Известия Одесского Совета рабочих депутатов»! — весело выкликают мальчишки-газетчики, размахивая, как флагами, газетными листами.

Апрельское солнце заглядывает в каждый сквер, в каждый дворик, в каждое окно Одессы.

II

Не в долгополом сюртуке помещика Золотарева, не в сверкающем нашивками облачении капитана Королевского, не в той роскошной дохе, в которой он однажды навестил напуганного фабриканта, и не в облике священника, спасшем ему когда-то жизнь, — в полном блеске кавалерийской формы шествует Григорий Иванович Котовский по улицам Одессы в сопровождении своих друзей. Какое счастье — вот так, жмурясь на солнце, шагать по широкой улице, по советской освобожденной земле!

— Что будем делать теперь? — спрашивают бойцы нетерпеливо.

Им скорее хочется узнать, что же дальше. Наверное, Григорий Иванович узнал что-нибудь определенное в Одесском военно-окружном комиссариате, куда он сегодня заходил.

Котовский не спешит с сообщениями. Он просто хочет побродить по городу. Один день отдыха — и можно снова с головой уйти в работу.

Вот здесь, в этом ресторане, Котовский арестовал Ракитникова... А здесь, на Французском бульваре, присутствовал на торжественном ужине у военного атташе... Вот она, вот она, та самая скамейка на Соборной площади! Как раскудрявился сквер! Все так же сидят и судачат няни и тихие старушки, все так же играют дети, катая тележки и подбрасывая в воздух мяч.

— Красивая площадь! — останавливается и любуется Котовский. — Бывали у меня здесь деловые встречи...

— Солнце печет, как будто уже лето! — удивляются молдаване. Наверное, сейчас так же солнечно в Кишиневе...

Вот она, вот она, явка подпольщиков! Здесь постоянно можно было видеть нашего дорогого Ивана Федоровича, нашего секретаря губернского комитета Смирнова!..

— Как! — удивляются все. — Вот здесь, в самом центре? Да ведь это было в двух шагах от контрразведки!

— Вот потому-то и было всего безопасней. И если бы не эта провокация... он и сейчас был бы жив...

Котовский печально замолк, погруженный в воспоминания.

Солнцем залиты улицы. И какими красками переливается безмятежное море! Насколько глаз хватает раскинулось оно на просторе. Ходить бы здесь всегда мирным кораблям, нагруженным товарами, скользить бы по волнам парусным лодкам рыбаков, прогулочным яхтам... Бескрайнее, наполняющее сердце большими чувствами, оно еле-еле всплескивает, набегают прозрачной волной, шуршит прибрежными гальками и дальше, дальше уводит взор — то бирюзовое, то темно-зеленое, то серебристое... спокойное, сильное, доброе море.

Котовский перебирает в памяти названия иностранных кораблей, совсем недавно стоявших здесь на рейде:

— Флагман оккупационной эскадры дредноут «Жан Барт», линкоры «Франс», «Вернь», «Мирабо», «Жюстис»...

И опять резнула боль в сердце;
«Жанна! Маленькая Жанна!.. Веселая, доверчивая, бесстрашная, заслужившая бессмертную память коммунистка Жанна Лябурб!..»

Группа людей шагает по Ришельевской. Здесь, в доме сорок один, помещается теперь ревком.

— А все-таки что же мы будем делать дальше? — спрашивает опять кто-то.

— Дорогие друзья! — говорит, останавливаясь, и с большой торжественностью Котовский. — В нашем отряде двести пятьдесят отборных храбрецов. Ревком принял отряд в свое подчинение!

Котовский развернул и показал всем мандат, скрепленный печатями. Мандат гласил, что Котовскому поручается организация боевых частей для освобождения Бессарабии от гнета мирового империализма.

И Котовский немедленно приступил к делу. Он не хотел терять ни одного дня. И все стоял у него перед глазами старик, который провожал советские воинские части, покидавшие Кишинев. Ведь ждет он, и весь народ ждет освобождения от чужестранцев!

Девятая глава

1

Записку, которую дал Котовский, Миша крепко держал в руке, блуждая по Москве. Никогда он не думал, что на улицах может быть столько людей, столько шума, грохота, голосов. Миша путался у всех под ногами, всем мешал, его толкали, ему делали внушения: «Молодой человек! Ну как вы не понимаете?» Сколько народу! Все улицы заполнены толпами, и все, не останавливаясь, торопятся, бегут, вскакивают в трамваи... И надо найти среди этой толчеи, среди огромных площадей, улиц, тупиков и переулков эту самую Маросейку. Неужели он когда-нибудь привыкнет и тоже помчится в потоке людей, поймет, что такое кольцо «А» и где тут делать пересадки?

Маросейка оказалась улицей довольно узкой и довольно кривой, так что не сразу и разберешься. Дом номер тринадцать был большим, несуразным, с облупленным серым фасадом, с грязными помойками.

— Квартира сто семьдесят пять? — переспросил Мишу серьезный человек в каракулевой шапке, вышедший из ворот этого дома. — А разве тут есть квартира сто семьдесят пять?

И ушел, оставив Мишу в недоумении.

Оказывается, нужно было миновать первый двор, второй двор, войти под арку, пройти мимо гаража, на воротах которого написано мелом «№ 6», и там подниматься по темной лестнице, распуская тощих кошек.

Записку прочел усатый черный дядя, товарищ Стефан.

Котовский писал:

«Товарищ Стефан! Направляю к тебе в краткосрочный отпуск моего молодого бойца. Он мне скоро понадобится, но временно пристрой, пусть поживет настоящей жизнью, о которой нам, ветеранам, пока что приходится только мечтать».

— Ничего не понял, что он тут пишет. Надолго ты приехал?

— Григорий Иванович насчет этого ничего не говорит.

— Ладно. Я тебя на курсы устрою. Будет хлебная карточка, прикрепиться к столовой. В этой комнате живет человек, но он, хотя здесь и живет, дома никогда не бывает, должность у него разъездная. Вот и помещайся. Примус в кухне. Синий чайник — мой. Я тоже редко бываю. А Григорий Иванович где?

— Остался там... Хотя я одного не понимаю: остался, но ведь там же белые?

— Там всякие есть, и беленькие, и черненькие, а есть самые настоящие люди, он с ними

и будет, уж я его знаю! Ордер возьми. Хотел себе купить, да обойдусь. Вот. По этому ордеру тебе выдадут одежду. Обмотки свои скинь, не модно. Деньги-то есть? Держи на первое время. Да ты не спорь, раз тебя прислал Григорий Иванович, значит, ты все равно что мой.

И он ушел. Он сказал, на дежурство. И стал Миша Марков жить.

Первое время, попав в Москву, он никак не мог насмотреться, никак не мог насытиться впечатлениями. Перед ним раскинулся неисчерпаемо богатый, изумительно красивый, сверкающий, многообразный мир — мир новых идей, новых чувств, нового сознания. Школа гражданственности, университет творческой мысли, штаб революции. Москва живет быстро, стремительно. Здесь все быстрее. Здесь сходятся все линии.

Миша Марков понял теперь, почему Котовский послал его в Москву. Он ходил до изнеможения по улицам, обежал все музеи. Присутствовал на митингах и уже два раза слышал выступления Владимира Ильича. Ильич говорил просто, как будто беседовал, но каждое слово его западало в душу.

Затем Миша приволок ворох книг в свою не блещущую красотой и обстановкой комнату, залез под одеяло (температура в комнате к зиме стала доходить до плюс шести по утрам и до плюс двенадцати к вечеру) — и читал, читал, делал выписки, чем дальше, тем больше убеждался, что многого совсем не знает, даже многих слов, и тогда кидался к словарям... Посещал одно время какие-то курсы, аплодировал футуристам, замирал от восторга, попав во МХАТ на самую что ни на есть галерку, бывал в Третьяковке...

«Эх, Татьяна бы меня сейчас видела!..» — думал он часто.

И стал Миша Марков настоящим москвичом. И не заметил, как настала зима и как она кончилась.

2

«Москва. Маросейка, 13, квартира 175. Маркову. Выезжай. Формирую конный отряд. Котовский».

Как был взволнован Миша Марков, как обрадован, как гордился! Командир жив, командир помнит о нем, командир зовет! Вот она! Вот она, телеграммочка! Узнает ли Григорий Иванович своего питомца? Миша очень изменился за это время, вырос, повзрослел. Москва — ведь это такая школа!

Телеграмма лежала на столе, на самом видном месте. Это была серая бумажка с наклеенной узкой полоской, неказистая, некрасивая, но такая дорогая!

Как трудно радоваться одному! Радость только тогда и полноценна, когда ею можно поделиться с другими. Мише хочется всем-всем рассказать, что он получил очень важную телеграмму, да вот она, ее можно еще раз прочитать. Дело в том, что его, Мишу Маркова, срочно вызывает Григорий Иванович. Кто такой Григорий Иванович? Вот это действительно вопрос! Григорий Иванович Котовский! Кто же его не знает!

Миша рассказал уже об этом почтальону, затем соседу, затем незнакомой девушке во дворе и жалел, что нет Стефана, что он уехал на фронт.

Разумеется, он немедленно отправится к Котовскому, в этом не может быть никаких сомнений. И кто знает? Может быть, не так далеко то время, когда они прогонят из Бессарабии захватчиков и Миша приедет домой, взбежит на крыльцо, распахнет настежь дверь и крикнет звонким, молодым голосом: «Здравствуй, милая мама! Здравствуй, отец! Как живешь, дорогая сестренка? Принимайте гостя — конника из отряда Котовского, принимайте москвича Мишу Маркова! Принимайте вашего сына, исколесившего столько пространств, столько дорог!..» И обнимет его мать и будет обливаться счастливыми слезами...

Не всем матерям удастся обнять перед своей смертью дорогих сыновей. Но ведь настанет же такое золотое время, когда затихнут оружейные залпы, опустеют окопы и люди разойдутся по домам для радости, для труда, для любви и простых повседневных забот? Тех,

кто хочет войны, небольшая горсточка, а мира хочет весь мир. Столько на свете прекрасных вещей! Зеленых деревьев! Утренней росы! Девичьего смеха! Протяжных песен на полях! Горячих лепешек, изготовленных матерью!..

Миша Марков сунул телеграмму в карман гимнастерки и помчался к трамвайной остановке: он еще не обедал сегодня. В вагоне трамвая мысленно прощался с Москвой и московскими бульварами, со смешливыми девушками с рабфака, с кольцом «А» и бронзовым Пушкиным, с потемневшими кремлевскими стенами и курантами Спасской башни.

В столовой пахло кислой капустой. Вошел в большой зал, уставленный столиками, осмотрелся и, заметив свободный стул в простенке под портретом Калинина, поспешил его занять.

— Может быть, вы даже спросите, не занято ли это место и можно ли сюда сесть? — спросил длинный юноша в коричневом френче, недружелюбно взглянув на Маркова.

— А разве занято? — спросил простодушно Миша.

— Нет, но я что-то не читал пока декрета об отмене частной вежливости.

— Да ведь вы все равно кончаете обедать.

— Пожалуйста, пожалуйста! Я больше ничего не имею вам сказать.

— Ну и все, и сердиться не на что! Удивительно вы, москвичи, придирчивы!

— А вы, стало быть, не москвич?

— Конечно, нет. И вообще завтра уезжаю.

— Так вот почему вы решили не стесняться! Понимаю! Вы, очевидно, исходите из принципа: все равно нам в этом доме не бывать.

Маркову хотелось, чтобы сердитый незнакомец спросил, куда же именно Марков уезжает, но тот замолчал и, сердито отставив недоеденные щи, принялся за рагу с подозрительно темным картофелем.

Наконец подошла официантка. Молча остановилась перед Марковым. Это, по-видимому, надо было понять как обслуживание посетителя. Марков поспешно выпалил:

— Щи, рагу и клюквенный кисель.

— Кончилось рагу.

— Тогда что-нибудь другое.

— Будут битки. Киселя тоже нету.

Когда она ушла, незнакомец вдруг проникся нежностью к Маркову:

— Красота! «Рагу нет», «Киселя нету». Лопай, что дадут! А рожища-то какая у феи! Вы заметили? Кирпича просит! Кстати, щи напрасно взяли. Несусветная дрянь.

Марков обрадовался, что незнакомец перестал на него сердиться.

— Эх! — сказал он мечтательно. — С каким бы удовольствием поел я сейчас самой обыкновенной вареной кукурузы, какую делают у нас в Кишиневе!

Незнакомец сначала поднял удивленно брови, затем заинтересованно оглядел Маркова с ног до головы, как будто только теперь его увидел.

— Бывали? — спросил он после длительной паузы.

— Жил.

— Гм... да... В тех краях, вероятно, и сейчас найдется что покушать! А? Как вы думаете?

Марков силился припомнить, какие блюда готовила еще мать. Ему хотелось понравиться придирчивому незнакомцу. Но ничего такого не припомнил. Жили они, по правде сказать, бедно.

А незнакомец зажмурился и стал перечислять:

— Маринованные сливы! Шарлотка! Индейка жареная! Господи! Неужели и сейчас, в эту минуту, кто-нибудь на какой-нибудь точке земного шара кушает жареную индейку? Трудно представить, а ведь так? Кушают и в ус не дуют!

И без всякого перехода:

— Фамилия?

Миша не сразу понял, о чем это он. Но тот выжидательно молчал, и Миша наконец

ответил:

— Моя? Марков.

— Слышал. В Государственной думе был Марков второй. Родственник?

— Не думаю.

— Кто же ваш отец?

— Мой отец — железнодорожник. Рабочий железнодорожных мастерских.

— Мастерских?! Расскажите вы ей! Впрочем, я понимаю вас: дайте мне за рубль с полтиной папу от станка? Bravo, bravo! Честное слово, вы мне начинаете нравиться! Засим разрешите представиться: Скоповский, Всеволод Александрович. Сейчас в ВСНХ.

Тут Скоповский чуть привстал и снова уселся. Тон его совершенно изменился. Он стал любезен и чуточку фамильярен. Всем своим поведением он хотел сказать: мы-то понимаем друг друга, мы-то с вами одного поля ягода!

А Миша Марков от чистого сердца поддерживал беседу. Он был в восторге от нового знакомого. В самом деле, какой милый, какой приятный, и ко всему — еще земляк! Как это чудесно, что они познакомились! Миша нашел уместным похвастаться:

— А я, знаете ли, в отряде Котовского. Не верите? Девятого выезжаю.

— Так-так, — пробормотал собеседник и новый знакомый Маркова. Понятно.

Удивительно быстро менялось настроение этого человека! Он стал даже как-то суетлив, мало сказать — любезен.

— Минуточку! — сказал он вскакивая. — Я все-таки попытаюсь достать вам заветные рагу и клюквенный кисель. Я, знаете, умею с ними разговаривать.

Пошептался с официанткой, вернулся, потирая руки и хихикая:

— Так-так... Стало быть, едете! Между прочим, картошку не ешьте, мороженая!

И опять:

— Вы хорошо сказали: простая кукуруза в какой-нибудь Бессарабии вкуснее всех блюд, изготовленных в РСФСР...

Марков несколько удивлен был таким бесцеремонным перефразированием его слов. Он ничего подобного не говорил, он только вспомнил, как мать кормила его кукурузой, а так как он был голоден и к тому же соскучился по дому, то, естественно, вареная кукуруза представилась ему сладким видением. Но он опять ничего не возразил. Каждый думает по-своему! Да и что тут удивительного, если жителю Молдавии кажутся самыми лакомыми те кушанья, которые готовят у него на родине? Марков не хотел слышать в тоне Скоповского явной озлобленности, явной издевки.

Вместе они вышли из столовой и пошли по Тверскому бульвару. Скоповский продолжал браниться и язвить, рассказывал какие-то анекдоты.

«Экий колючий! — подумал Марков. — Всем недоволен!»

Но и опять ничего худого не подумал о новом знакомом.

Скоповский неожиданно выразил желание зайти к Маркову.

— Хочется посмотреть, как вы живете.

Явно был разочарован невзрачным видом комнаты в всей обстановки. Но и это истолковал по-своему. А когда увидел томик Анатоля Франса, страшно обрадовался и просветлел:

— Ха-ха! Вот тут вы не выдержали стиля! Типичное не то! Сами посудите: железнодорожные мастерские... или как вы там говорили? Слесарно-токарные... автосборочные... и вдруг — Анатоля Франс! Вот вы и выдали себя с головой! Надо, голубчик, на видном месте держать какого-нибудь Демьяна Бедного или кто там у них еще есть?

Затем Скоповский внимательно прочел телеграмму Котовского: Марков, конечно, не мог, чтобы не похвастаться. После телеграммы Скоповский решительно и твердо перешел на «ты».

— Хлопочи, разумеется, литер. Вообще запасайся всякими справками и мандатами.

— Да зачем мне они?

— Не спорь. Знаю, что говорю. Завтра будешь у меня. Запиши адрес.

3

Когда Миша пришел к Скоповскому, там сидел незнакомый человек. Этот человек что-то читал, причем он согнулся в три погибели и вытянул ноги, такие длинные, что он не знал, куда их девать.

— Юрочка! Это и есть Марков.

— А-а! — сказал человек с длинными ногами.

У него было красивое лицо, упорный, бесцеремонный взгляд, военная выправка. Маркову не понравились усики Юрочки. И еще он подумал, что такому длинному, вероятно, трудно разместиться в этой комнате, сплошь заставленной козетками, этажерками и еще разными громоздкими вещами.

— Вы отправляетесь девятого? — деловито, небрежно-начальнически спросил этот Юрочка, или Юрий Александрович, — иногда и так называл его Всеволод.

— Да, — ответил Марков и подумал при этом:

«Он уже в курсе!»

Юрочка прошелся по комнате, ловко маневрируя, чтобы не задеть за какую-нибудь вещь. Постоял у окна, потрогал зачем-то лист фикуса.

— Придется отложить на несколько дней.

— Не понимаю.

— Почему же вы не понимаете? Я говорю ясно: придется отсрочить ваш отъезд.

Теперь Марков уже действительно ничего не понимал. Какое дело до его отъезда этому совершенно постороннему человеку? И вообще, кто он такой? И почему он разговаривает таким тоном?

— Я уже дал телеграмму, — ответил Марков как можно спокойнее. — И с какой стати я буду откладывать отъезд? Вы что-то не то говорите, или я не понял вас.

— С той стати, — вмешался в разговор Скоповский, — что, может быть, я тоже поеду с тобой.

— Со мной?

— Да, да, с тобой.

— К Котовскому?

— Разумеется! А то к кому же?

— Но ведь это было бы просто замечательно!

— Ну конечно! А ты чуть было не рассердился!

Так вот почему Скоповский с таким интересом читал телеграмму Котовского! Теперь все становилось понятным. И разве это не великолепно, что Марков не только сам явится по вызову командира, но еще и привезет с собой новое пополнение?

Ни на одну минуту не возникло у Маркова сомнений.

— А вы... вы кавалерист?

— Когда нужно — кавалерист.

— Вот этот ответ мне нравится, — засмеялся весело Марков. — Я тоже так рассуждаю. Требуется жизнь, чтобы мы были кавалеристами, значит, так и будет! Главное, чтобы сердце было горячее. Вы согласны?

— Вполне.

С насмешкой он сказал «вполне» или действительно с убеждением?

Следовало бы Мише Маркову знать, что война ведется не только в окопах и в открытом поле, что война между старым и новым идет повсюду, идет не на жизнь, а на смерть. Что шпионами кишмя кишит весь мир, что в 1916 году в Швейцарии, например, шпионов было больше, чем населения. Что метеорологические сводки и объявления о свадьбах в газетах, свет в окнах и колокольный звон — все использовалось для передачи шпионских сведений и сигнализации.

Мише Маркову представлялось, что воюют, оседлав коней и бросаясь на противника с обнаженными клинками. Да разве один лишь Марков был так наивен? Многие искушенные и обогащенные опытом люди не могли предположить, до какой низости, до какого коварства может дойти измена, как изворачивается и хитрит вражья свора, как старается занять высокие посты, подползти к самому сердцу народному, прикинуться другом...

Мог ли Миша просто даже подумать, что в те дни, когда он находился в Москве, там проживало несколько тысяч заговорщиков и был разработан план восстания, причем решено было захватить Совет Народных Комиссаров и немедленно отправить его под конвоем в Архангельск. Предполагалось установить диктатуру из трех лиц. На осуществление этого заговора были ассигнованы огромные средства: десять миллионов предназначалось на расходы по удушению революции! Намечены были главные исполнители этого переворота. Были припасены даже броневики, даже артиллерия на Ходынке ждала только сигнала...

Мог ли знать обо всем этом Миша Марков?! Могло ли прийти в голову Маркову, что вот он, он самый, сидел за одним столиком, ел рагу и дружески беседовал с подлинным, настоящим врагом своим и своей родины? Что Скоповский спешил с секретными поручениями туда, за рубеж, и Маркова решил использовать как удобную ширму — добраться с ним до определенного пункта, где его уже ждут свои люди, и что Юрий Александрович Бахарев — белый офицер, засланный сюда иностранной разведкой?..

4

Всеволод Скоповский завладел телеграммой-вызовом, а также и военным литером Маркова. Вскоре оказалось, что, собственно, их обоих вызывают. Так и значилось теперь в документах.

Юрочка уже более приветливо разговаривал с Мишей и даже один раз предложил ему сыграть в шахматы.

Наконец настал день отъезда. Юрочка их провожал. На вокзале было очень много народу. Марков страшно волновался, то боялся опоздать, то спрашивал, на тот ли поезд они сели. Он еще не привык ездить в настоящих пассажирских поездах. Он все повторял:

— Сам Котовский! И ведь вызвал, прислал телеграмму! Вы, Всеволод, не представляете, какой он! Он вам очень понравится, вот увидите!

— Счастливо! — сказал Юрочка, когда поезд тронулся.

Миша стоял у окна. Он видел, как Юрочка махал тростью, как будто не прощался, а угрожал. Но вот он повернул к выходу. А потом и перрона не стало видно за поворотом.

Миша смотрел на прекрасный город, к которому успел уже привыкнуть. Он старался хотя бы приблизительно угадать в этом необозримом пространстве, застроенном домами, заводами, складами, ту часть города, где находилась кривая, узкая, но уже приятная и родная Маросейка.

— Не огорчайтесь, мой друг, — шепнул Всеволод Скоповский, почему-то снова переходя на «вы». — Недалек тот день, когда мы снова увидим этот безалаберный, но своеобразный город... И будем надеяться, что в следующий раз нас встретят колокольным звоном.

Когда поезд скрылся, Юрий Александрович стал совершенно другим человеком. Лицо его было теперь озабоченно. Он беспокоился, как Скоповский доберется до места назначения.

Поезд вызвал невольные воспоминания об имении Прохладном, где его ждала Люси. Для нее он рискует жизнью, для нее он ведет ожесточенную борьбу с этой властью, которая возникла внезапно, придя с заводских окраин, из политической каторги старой России.

«Если они одержат верх, — думал Юрий Александрович, с раздражением разглядывая плакаты, красные знамена, новые названия учреждений, — то, конечно, уничтожат Люси и меня, Юрия Александровича Бахарева, уничтожат и все, с чем сроднился я с самых пеленок, — весь уклад жизни, такой патриархальный, такой... — Юрий Александрович не

мог подыскать подходящего слова, — такой православный, даже нелепый, как буква „ять“ или „ижица“, но величественный, как пасхальный звон колоколов, как царский выезд...»

Юрий Александрович любил всю эту устойчивую, освященную столетиями русскую жизнь, с ее преобразованиями, вознесениями, спасами, с ее торговыми рядами, с ярмарками, вейками на масляной неделе, старинными иконами и купцами с окладистыми бородами. «Чай Высоцкого»! «Ландрин»! «Жорж Борман»! — все это звучало сладчайшей музыкой в сознании Юрия Александровича, человека, в сущности, молодого, но впитавшего в себя весь этот старый дух.

С ненавистью смотрел Юрий Александрович на всех встречных прохожих, шагая с вокзала по московским бульварам. Наконец он добрался до дому. Глухая, затаенная ненависть утомила, измучила его. Он вошел в свою комнату. Там, не зажигая света, в полумраке сидел какой-то человек.

— Заждались? — спросил Юрий Александрович.

— Ну как? Уехал Скоповский? — спросил этот человек.

— Да, нашелся простачок... Отправили! — отозвался Юрий Александрович и сразу перешел к делу.

Они стали беседовать вполголоса.

Миша Марков и Всеволод Скоповский ехали без особых приключений.

Кажется, это было в Жмеринке. Вдруг Скоповский исчез. Сначала Марков думал, что он отстал от поезда случайно. Когда поезд тронулся, он даже подумывал, не повернуть ли рычаг для автоматической остановки поезда. Но ему сказали, что ручка все равно не действует и поезд никакими силами не остановить. Возможно, что это было и так. Маркову оставалось только высовываться во все окна и советоваться с пассажирами:

— Как вы думаете, может быть, послать телеграмму со следующей станции?

— Какую телеграмму? — спокойно отвечали пассажиры. — Не надо никакой телеграммы, сам приедет.

Проплыли мимо высокие деревья. Загромыхал мост. Марков увидел внизу мощеную дорогу, улицу, какую-то такую простую, обыкновенную, что на мгновение почудилось, будто нет никакой войны, никакой разрухи и просто едут люди по своим частным делам — кто в гости, кто на курорт. Вот и почтовая контора, и козы на завалинке, и собачонка лает на проезжую подводу, а телега так напылила, что облако желтой пыли поднялось выше телеграфных проводов.

И вдруг Миша совершенно явственно увидел Скоповского. Он шагал вдоль насыпи и помахивал своей сумкой.

— Скоповский!

Нет, не оглянулся. Может быть, и не он?

Поезд, пройдя за семафор, надымил на всю округу и набрал такую скорость, что разбитые вагоны стали ходуном ходить.

5

Прежде чем поехать домой, в родное «Валя-Карбунэ», Всеволод Скоповский побывал в Яссах, на одной из тихих улиц, в трехэтажном доме с наглухо завешенными окнами.

Его немедленно пропустили. Здесь много было таких же, как он, специалистов по переходу любой государственной границы, по фотографированию военных объектов, по выкрадыванию секретных документов людей отпетых, распродавших и совесть и страх перед смертью, людей без будущего. Это были международные шпионы, армия тайной войны — подсыпанных ядов, взрывов, разведывания тайн.

Внутри здания были узкие коридоры и бесчисленные двери. Стрекотали пишущие машинки. Кто-то кому-то диктовал. Кто-то звонил по телефону.

Всеволод Скоповский вошел в комнату с лаконичной надписью на двери: «Оффис». Беседа с начальником офиса мистером Петерсоном продолжалась недолго. Всеволод

Скоповский распорол воротник и передал сводки, которые посылал Юрий Александрович.

— Когда он придет? — спросил Петерсон. — Медленно вы там налаживаете дело.

Затем Всеволод Скоповский поехал в Бессарабию. В жаркий, солнечный день прибыл он к отцу, в «Валя-Карбунэ». Удивился, что там все было на прежнем месте, даже бронзовый амур, украшавший клумбу, даже пес Маркиз, который не стал ни старше, ни моложе. Так же садовник Фердинанд приносил рано утром свежие букеты. Тот же повар готовил те же блюда.

Александр Станиславович очень обрадовался приезду сына. Все хлопал его по спине и говорил что-то неопределенное, вроде: «Вот так мы и живем...» «Вот оно дело-то какое...»

Всеволоду встреча эта представлялась более теплой, когда он думал о ней там, в Москве. С удивлением он обнаружил в себе равнодушие, даже некоторый холодок.

«Очерствел я, — огорченно думал Всеволод, — что-то во мне отмерло. Хочу радоваться, умом сознаю, что вернулся, что жив, что это мои родители, а ничего не получается».

Вяло улыбаясь, спросил:

— Мамочка, можно к обеду приготовить индейку?

Алевтина Маврикиевна умилилась, заспешила, тотчас позвали повара. Всеволод добавил:

— И шарлотку, пожалуйста. Как я мечтал о твоей шарлотке, мама!

Он поместился в комнатах наверху, рядом с отцовским кабинетом, и все уединился. Александр Станиславович прислушивался: сын ходил взад и вперед, взад и вперед, отмеривая расстояние комнаты.

«Видимо, всякое пришлось пережить», — жалел сына Александр Станиславович и придумывал, как бы отвлечь его от опасной работы и оставить дома.

Часто и ночью просыпался Александр Станиславович и слушал. Ходит! Глухо звучат шаги.

«Совершенно расшатана нервная система! — с горечью думал Александр Станиславович. — И ведь могут же другие жить припеваючи, в полное удовольствие и ничем не поступаясь, не жертвовать. Почему я должен все отдать на борьбу с большевиками? Не достаточно ли с меня одной дочери?»

Возвращаясь в свое имение в 1918 году, Скоповский рассчитывал найти там свою утраченную молодость или хотя бы вкус к жизни. Но его ждали запустение, однообразная, растительная жизнь, одни и те же разговоры с управляющим, с садовником Фердинандом, удивительно скучным человеком.

Когда приносили с виноградника самые тяжелые, самые красивые гроздья, Фердинанд обычно говорил:

— Прошу прощения, но виноград у нас в этом году не хуже, чем у Томульца! (Фердинанд всегда сравнивал свои успехи с успехами соседнего помещика Томульца.)

— Да, Фердинанд, — важно отвечал Скоповский и при этом поднимал кверху толстый указательный палец, — настанет время — и мы, садовники человеческого виноградника (чело-ве-чес-ко-го!), мы, кто стоит наверху, мы добьемся, чтобы произрастали только отборные сорта. Это наша миссия, наша историческая задача.

— Правильно сделаете, — отвечал Фердинанд, хотя и не совсем понимал аллегию.

Если что и радовало Александра Станиславовича — это присутствие именитых гостей в его доме. И вдруг все кончилось... Скоповский проводил княгиню в ее имение, вернулся назад — и такая тоска на него напала! Его раздражало все. Он придирался к слугам, чертыхался за обедом.

Но затем нашел отдушину. Решил принять непосредственное участие в борьбе с бунтовщиками. Большую роль в этой перемене его настроения сыграл Ратенау.

Ратенау в свое время привезла Ксения.

— Познакомьтесь, — сказала она. — Мой учитель музыки.

Ратенау встретился с Ксенией на одном из приморских курортов. Ратенау приехал туда, чтобы сбавить вес, Ксения — чтобы развеять скуку. Вот тогда Ратенау и уговорил ее работать

в разведке.

Ксении ничего не стоило обмануть родителей и сказать, что она поступает в музыкальную школу в Мюнхене, чтобы усовершенствоваться в игре на рояле. Вместо музыкальной она поступила в школу диверсантов. Под руководством Ратенау с увлечением училась стрелять, управлять автомобилем, пользоваться шифрами, кодами, миниатюрным фотоаппаратом, вделанным в браслет.

Ратенау был толст и лыс. Он легко передвигал свое грузное тело, а гладко отполированный череп прикрывал элегантной шляпой.

Теперь он стал часто наезжать в «Валя-Карбунэ». О музыке не говорилось ни слова. Обычно они со Скоповским удалялись в кабинет. Ратенау погружался в удобное кресло, и у них начинался странный, какой-то скачкообразный разговор.

— У вас есть сын! — кричал Ратенау, как будто разоблачал тщательно скрываемую тайну или делал открытие.

— Да, — отвечал напыщенно Скоповский, — у меня действительно, как вы правильно заметили, есть сын. И дочь Ксения.

— Ну, о Ксении не беспокойтесь. Это весьма талантливая и эффектная женщина, — отвечал Ратенау, отдуваясь и ища глазами сифон с содовой водой. — Я лично сам займусь, с вашего разрешения, ею. Красивые женщины — это клад. Вы согласны, что для красивой женщины нет препятствий?

— Но позвольте, однако... моя дочь...

— Глубокоуважаемый Александр Станиславович! Мы живем в страшное время, на нас возложено решение любовых, невероятно сложных задач. Мы живем на переломе... э-э... позвольте... как это Ленин сказал...

— Ленин?! — взревел Скоповский. — Вы сказали, Ленин?!

— Ну да-а. А что же такого? Мы тщательно изучаем их теории. И практику... В общем, смысл тот, что сейчас решается вопрос: мы или они. Вы не согласны? Конечно, так! Мы или они, глубокоуважаемый!

Ратенау одобрительно кивал, когда Скоповский ему рассказывал, что Всеволод в «Обществе спасения России».

— Мы должны вырастить поколение, которое бы не проявляло любопытства к вопросам морали. Это должны быть безмозглые молодчики, которые не простужаются, не читают, а только кутят, спариваются и убивают. Они рождены для славы. Остальное человечество — тьфу, убойный скот, и чем скорее его пустят в расход, тем лучше.

Ратенау развернул перед Скоповским целую программу.

А затем Ратенау снова увез Ксению. Скоповский уже догадывался, в какой «музыкальной» школе она «учится». Ясно: Ксении понравилось то, что она будет рисковать, проникать в чужие тайны, обольщать, ходить по острию ножа...

Так вот и вышло, что как вкладывают в какое-нибудь промышленное предприятие все свои капиталы, так Скоповский вложил в дело борьбы с коммунистическими силами все, что имел: и свою энергию, и свои средства, и себя, и своих детей.

Почему он так легко поверил этому толстяку? Как это Ратенау удалось расшевелить его? И как он мог допустить, чтобы Ксения уехала? Он больше так и не видел ее.

Вначале и думать об этом было некогда. Скоповского избирали в какие-то комитеты, он заседал, произносил речи... Однажды к дому подкатила машина, и из нее, пыхтя и отдуваясь, вылез Ратенау.

«Он абсолютно похож на черепаху!» — подумал Скоповский, встречая посетителя.

— А Ксения? — спросил он, входя с этим пыхтящим толстяком в дом.

— Не сразу! Не сразу все новости! — ответил Ратенау, поднимаясь по ступенькам веранды. — Дайте опомниться после этой адской дороги!

Он приехал на этот раз, чтобы поставить в известность Скоповского о гибели Ксении. В то же время у него еще теплилась надежда: а вдруг Ксения вырвалась каким-нибудь образом из рук пограничников и он увидит ее в «Карбунэ» живой и невредимой? Но вопрос, с каким

встретил его Александр Станиславович, сразу уничтожил эту надежду. Ратенау стал преувеличенно громко отдуваться: ему не хотелось приступать к разговору о Ксении.

— Собачья жара! Я думал, что расплачусь и меня доставят к вам в жидком состоянии. Клянусь, в преисподней на два градуса прохладнее!

И тут он принялся развивать свои любимые темы:

— Именно сейчас, когда считают, что Германия обескровлена, нужно готовиться к новому кровопусканию. Паузу можно использовать на подготовку. Любимое занятие мужчин — война. Можно кричать о мире, о мирных хижинах и тому подобное, но все отлично знают, что у каждого порядочного государства есть два состояния: или война, или военная подготовка...

— Простите, я вас перебью. Но все-таки где же Ксения?

Вместо того чтобы просто ответить, что Ксения арестована при переходе советской границы, Ратенау продолжал:

— Если можно победить при посредстве подлости, будь подл. Кто возьмет верх в вероломстве, тот победит. Какое мне утешение, если обо мне скажут: он бы победил, но был слишком щепетилен. Благодарю покорно! Лучше будьте щепетильны вы!

Он так и не рассказал о Ксении. Он только сказал очень важно:

— Положитесь на меня, дорогой.

Александр Станиславович долго хитрил сам с собой и притворялся перед самим собой, что не догадывается о гибели дочери. Ясно было, что Ксении нет в живых. И Скоповский решил бороться за судьбу сына, спасти его. Сын должен наследовать отцовские владения, сын должен жить.

— Почему бы, например, не пойти тебе, Севочка, в артиллерию?.. начал он разговор, в тайне рассчитывая на то, что артиллерист стреляет издали и не лезет в самое пекло, не бежит сломя голову в атаку, прямо на штыки.

Он сам все обдумал, сам сделал все необходимое, сам все схлопотал. Он приготовился спорить, доказывать... И вдруг все устроилось само собой: Всеволод сразу согласился пойти в артиллерийское училище, поехать в Варшаву.

«Пока он там учится, — радовался Александр Станиславович, — глядишь, все уже кончится... с большевиками покончат... и Всеволод сможет опять поехать в Путьский институт, в Петербург...»

И он даже перекрестился, что все так хорошо уладилось с сыном.

Десятая глава

1

В Раздельной была пересадка. Миша Марков одним из первых влез в вагон. Круглолицые украинские дивчины, все одинаково повязанные платками, все быстроглазые, все украшены бусами... Усатые деды, в бараньих шапках, жилистые, с корявыми посошками... Но больше всего солдат — прифронтовая полоса.

Миша помнил эти места. Всего год назад на этих полях гремели выстрелы, мчались всадники, разрывались снаряды... А вот и немецкая армия убралась прочь. Теперь остается справиться с захватчиками-румынами, вернуть Бессарабию.

В Москве не так сильно чувствовалось, а здесь вдруг вспомнились отчетливо и живо мать, отец, Татьяна... вокзал в Кишиневе... дым паровозов и прилетающие с ветром запахи фруктовых садов... И вдруг до того захотелось домой!

В отряде встретили хорошо. Вокруг были простые, открытые лица. Обстановка военная. Повсюду разговоры, что скоро начнется наступление и что только бы начать.

Когда Марков рассказал Котовскому, как вез к нему еще одного добровольца, Котовский страшно рассердился. А потом ничего, отошел и даже смеялся над парнем:

— Как же ты его упустил? Скоповский? Молодой из себя? Ну, значит, сын. Могу представить, что это за фрукт! Пойми, он тебя использовал, чтобы прошмыгнуть туда, к своим. Ну да никуда не денется, всех найдем! Всех, кто виновен!

— Кто же он такой? — озабоченно спросил Миша.

— Как «кто»?! Враг. Вероятно, обдeldывал какие-нибудь подлые делишки в Москве, сговаривался против нас.

— Да нет же, вы ошибаетесь! Он в ВСНХ служит! Он в Москве живет! И очень, знаете, такой... воспитанный. Приятель у него есть, Юрий. Тот несимпатичный, но видно, что образованный человек...

— Эх, мальчик, не знаешь ты ничего! Мы с тобой люди простые, мы солдаты. Мы идем в бой и знаем, что слева у тебя и справа у тебя — верные друзья, и дружба боевая неразрывна. А там, в том мире, так все переплелось, так запуталось, что сам черт ногу сломит! Ничем не сдерживаемая власть, продажность, честолюбие... Подкопы, заговоры, шпионаж...

Марков слушал присмирив. Хорошо ему было здесь! Вернулся как домой. Увидел Котовского, большого, крепко сложенного, такого надежного, такого красивого, даже сердце забилось.

Котовский оглядел его с ног до головы и прежде всего распорядился: «Одеть, как полагается, по форме, в бане вымыть, конечно, об этом не надо и говорить, и так ясно, а главное — накормить, посмотрите, какой он тощий!» Расспрашивал Мишу о Москве, о Стефане, обо всем, обо всем.

— Хорошо живут! — сказал в заключение вздохнув. — И трудно, а хорошо! Хотят измором взять нас враги, а ничего у них не получается. Если по-братски делиться куском, одолеешь все беды. А ты молодец. Вырос, возмужал. Теперь будем из тебя бойца делать.

— А вы, Григорий Иванович? Где были?

— В Одессе, брат. Мы там такие дела закручивали... Но об этом потом...

— А отец мой? Не пришел?

— Пока нет. И Леонтия нет. Не знаю, что с ними... Ну, ну, сынок! Носа не вешать!

Совсем уже Марков пошел. Но Котовский вернул его и спросил:

— Гимнастику-то делаешь? Нет? Ну, тогда все понятно. Давай, давай, набирайся сил. Работы хоть отбавляй. Дня не хватает. Как же ты, братец, гимнастику не делаешь?

Через час Марков сидел на крыльце маленького деревянного домика, похожего на отцовский. Марков был неузнаваем. Он напарился в бане, оделся по-кавалерийски, затем его накормили, да так, что он еле мог отдышаться. Он сиял! Он был счастлив!

2

Кликнул клич Григорий Иванович Котовский, и никакие кордоны не могли заглушить его голос. Нашли лазы, сумели преодолеть преграды, потянулись в отряд Котовского те, кто хотел, чтобы Бессарабия была свободна.

— Мне до Котовского! — говорили добровольцы.

Бежал из боярско-румынской казармы новобранец, которого избил щомполом взбесившийся от злобы офицер. Уходили за Днестр бессарабские крестьяне. Много старых, обстрелянных солдат, коптевших в окопах в тысяча девятьсот четырнадцатом, хотели теперь проверить, не изменил ли им в меткости глаз, не стала ли дрожать рука. Где же могли они сделать это лучше, чем в отряде Котовского?

Пришел в отряд и Ивась — тот паренек из уничтоженного артиллерийским огнем Дубового Гая, тот хлопец, который стрелял в панскую свадебную процессию. Он ходил в партизанах по украинским просторам да прослышал о Котовском, отыскал его, сообщил:

— Я не дуже богатый, но не скажу что бедный: частной собственности винтовка да патронташ. Достаточно, чтобы бить буржуев?

Пришел наконец и Леонтий. Радостно встретил Котовский старого друга. Они не

виделись с тех пор, как Леонтий затосковал по дому и попросил отпустить его. Оказывается, он так и не побывал в своей семье. Усмехается, рассказывая об этом, Леонтий, но невеселая эта улыбка, и повествование о постигших его несчастьях — невеселое повествование.

— Перешли мы тогда Днестр благополучно. Пресвятая дева Мария, кто же знает днестровские плавни лучше меня!

— Ну, ну, дальше? Перешел ты Днестр и что? Отправился домой?

— Сразу же на том берегу и начались неприятности. Напоролись на заставу — уже плохо. Тут и расстались мы с Петром Васильевичем, обернулся он к Маркову, у которого в глазах стоял вопрос. — Да-а... И ведь стрелки-то они какие, а угораздили прямо в ногу. Схватили. Били смертным боем. Это уже там, в камере.

— Бить они умеют.

— Били, били, а потом порадовали: десять лет каторжных работ.

— Крепкий ты. Одно это тебя и выручило.

— Обязательно бы погиб. Но засела мне думка в голову: Котовский все перенес? Должен преодолеть и я! Не имею я никакого права погибнуть!

— Что молодец, то молодец! Правда, товарищ командир? — похвалил Миша.

— Конечно, молодец, — подтвердил Котовский. — Так и следует жить. Не сдавайся! Полосуют тебя, на куски рубят, а ты стой на своем. Не осият. Не смогут одолеть. А уж если и умереть, то стоя, глядя врагу в лицо.

— Хорошо сказано! — Это говорил Чобра, искусный виноградарь, выросший под сверкающим солнцем Бессарабии. Горячие глаза у Чобры. И сердце горячее. Он совсем недавно в отряде. Он сам не знает, как это с ним случилось.

Подвизывал лозы Чобра. Шел мимо офицер. Ну так, обыкновенный офицер. Но ведь приказ что гласил? Все поселяне, встречавшие офицера, обязаны снимать шапку и кланяться. Так вот, Чобра как раз и не поклонился, больше того, даже повернулся спиной к господину офицеру. Последствия этого поступка не заставили себя долго ждать. Пришел урядник, предложил Чобре «следовать за ним». Куда следовать и для чего следовать — было Чобре понятно. А спина-то ведь не казенная. Не хотелось Чобре «следовать». И удалось ему уговорить урядника зайти в хату выпить по чарке. «Влепить двадцать пять горячих — это всегда успеется, — доказывал Чобра, — а вино у меня первостатейное». Одним словом, через какой-нибудь час брэнное тело пьяного урядника, полностью разоруженного Чоброй, валялось на окраине села под сливой, а Чобры и след простыл. Переплыл Чобра Днестр и прибыл в отряд во всем снаряжении.

— Хорошо сказано! — повторил Чобра, и все обернулись к нему, ожидая, что он еще скажет. — Хорошие это слова, и они не сгинут, как зерно, брошенное в землю. Западут в сердца людские и прорастут. Надо жить гордо! Кто часто кланяется — криво растет!

— Ну и что же ты сделал дальше? — спросил кто-то Леонтия.

— Что сделал? Убил часового, добыл коня — и сюда, одно у меня место.

Крепкие люди приходили в отряд Котовского, и не было ни одного, чтобы Котовский не знал его по имени, и откуда он, и как жил раньше, и чего добивается, и за что хочет сражаться. И очень огорчался Котовский, что коней в отряде недостаточно. Когда приводили нового скакуна в отряд — это был праздник. Так радуются только новорожденному в хорошем семействе.

— Вот это конь! На таком коне можно вокруг света обскакать!

— Обскачешь на таком! Держалась кобыла за оглобли, да упала! поддразнивал кто-нибудь.

— А ты видел, как он идет на рысях?

— Наша Ласточка все же лучше. Как ты думаешь, Василь?

Василь, хозяин иноходца Ласточки, презрительно смеется:

— Моя Ласточка! Такой вы ищите — и на всей земле не сыщете!

— И искать не надо. Буря — вот это конь! Будь у меня миллион — я, не задумываясь, выложил бы на стол за Бурю! Бурю я бы на двух твоих Ласточек не променял!

— Всякий цыган свою кобылу хвалит!

Такие разговоры кончались иногда ссорой, и тогда шли к командиру, и его оценку уже никто не оспаривал.

Вот и Леонтий, когда бежал из каторжной тюрьмы, не забыл прихватить с собой в отряд коня. Конь — это нераздельная часть самого конника, первый друг его. В отряде Котовского скорее забудут позаботиться о себе, но коня не забудут.

Каждый день приходили новые пополнения. Из уст в уста переходила весть: Котовский собирает отряд!

3

Великий Октябрь порождал ярость в сердцах всех свергнутых с тронов, всех ущемленных в наследных правах.

Так оказывались в одном лагере эсеры, куркули, французские фабриканты, Петлюра и Деникин, глава английской миссии в Москве Локкарт, бандит Зеленый, адмирал Колчак и бразильский консул. Их всех объединяла одна ненависть, одна тревога.

На Дальнем Востоке жгли деревни японские и американские войска, в Тифлисе и Баку расстреливали коммунистов немцы и турки, в Архангельске вешали поморов англичане, по Черному морю курсировали французские эсминцы, а по украинским степям бродили бандитские шайки. Петлюровцы примеряли польские мундиры. Америка отсчитывала для Деникина боевые патроны: двести миллионов патронов — больше чем по одной пуле на каждого жителя Советской России, невзирая на возраст и пол.

Враги собирались с силами. Новый удар готовили они и в этой кровавой затее не останавливались перед любыми расходами.

Расторопный Черчилль грузил на корабли винтовки, танки, орудия и переправлял их в Новороссийск. Столько хлопот с этой Россией! Из Америки шли караваны судов, груженные аэропланами, бомбами, паровозами. Щедрая у Америки рука! Одной только обуви на одном только судне отправлено было шестьсот тысяч пар. Ноги, обутые в эти военные сапоги, должны были победоносно дойти до Московской заставы.

Четырнадцать государств обрушились на молодую Страну Советов.

Удивлялись наши бойцы, отгоняя врага и разглядывая захваченные трофеи:

— Что же это получается? Оставят белогвардейцы на поле боя пулеметы, а пулеметы-то Кольта — значит, американского происхождения. Гаубицу или бронемашину «остин» — ну, эти английские, все как на подбор. А не то и «фиат» попадается — это уж Италия. Седла канадские, шинели из Манчестера, самолеты с французских заводов... А кричат: «Мы Россию спасаем! Русская освободительная армия!» Да кто же поверит?! Консервы и те с иностранными наклейками!

Около Днестра загорались особенно жаркие бои. По Днестру плыли трупы убитых. Ни днем ни ночью не смолкала пулеметная стрельба, и за этой стрельбой не стало слышно ни пения птиц, ни шелеста деревьев. Столбы дыма заслоняли безмятежное, ясное небо, в яблоневых садах разрывались снаряды...

Война.

4

Не много есть людей, которые умеют так открыто, так от всей души улыбаться, как Михаил Няга. И что совершенно бесспорно — не было более лихого наездника в Бессарабии.

— Смотри, смотри, какой красавец! — шептали девушки, когда он проезжал мимо, и каждая с большим удовольствием подала бы ведро воды, чтобы напоить его коня.

Когда он мчался во весь дух, можно было залюбоваться. Как птица, летел он по степным просторам. Он так любил быструю езду! Ни у кого не было таких коней, как в отряде Няги, человека исполинского роста, исполинского сердца и беззаветной храбрости.

А сам Няга ездил на коне чистокровной скаковой английской породы, с таким нежным волосом, с такой кожей, что под ней видна была каждая жилка. Длинношей, с тонкой, как у борзой, мордой, с тонкими ногами и длинными бабками, но с мускулистым крупом и широко расставленными ганахами, Мальчик самой природой был предназначен для быстрой езды.

И когда Няга мчался навстречу опасности, черные глаза его, опущенные девичьими длинными ресницами, сияли счастьем, а на сочных губах играла улыбка. Няга скакал в бой, как на праздник. И все он делал по-праздничному. Мир радовал его. Кажется, не было более жизнерадостного человека, чем он.

Котовскому с первого взгляда понравились и конь, и всадник, и то, что темно-гнедой Мальчик расчесан и убран, и то, что всадник красиво держится в седле, и то, что у всадника чистые, ясные глаза, так что видно душу до дна. С таким любо скакать по полю бранному, с таким только и бить врага. С таким только и вести фронтовую дружбу, самую крепкую, какая только существует на свете. И Котовский протянул Няге руку:

— Привет тебе, дорогой гость! Радуюсь, что довелось нам встретиться.

— Я ничем не отличаюсь от многих других, — сказал Няга, — но я не трус, и мне не раз случалось слушать, о чем шепчет пуля, задевая волос на голове. И я, и мой конь, и все мои товарищи — мы просим тебя: возьми нас к себе, мы оба станем от этого сильнее!

Взял Котовский в отряд Михаила Нягу. Боевая их дружба длилась долгие годы и не тускнела от времени.

Вслед за Нягой пришли Дубчак, железнодорожник из Хотина, и Николай Слива, бывший столяр, человек, пользовавшийся большим уважением у бойцов. Впоследствии Слива возглавлял партколлектив в первом кавполку.

Привел бравый свой эскадрон бывалый партизан Каленчук Димитрий Васильевич. Голос у него знаменитый. И очень любил он порядок и лоск. Конь у него был — загляденье, и весь его эскадрон — молодец к молодцу.

Пришел в отряд боевой командир эскадрона Скутельник — чернявый, и хоть ростом невелик, зато душа большая.

Пришли также Владимир Подлубный, отличный разведчик, и Воронянский, знаток конного дела и кавалерийской езды.

И еще многие приходили и приезжали в отряд. Они и составили стаю непобедимых орлов, славное племя котовцев.

Приезжали на гуцульских лошадях, незаменимых в гористой местности, на полукровках и на таких, с позволения сказать, лошаденках, которым и неприлично бы, кажется, ходить под седлом. Короткие и длинные, всех мастей и оттенков, и холеные, и некормленные, и береженные, и опоенные — эти кони быстро осваивались в отряде и научались ходить в строю. Они все понимали, а зачастую понимали даже непонятное, отгадывая своим чутьем. Как отлично знали они, когда нужно собрать все силы и мчаться во весь опор вперед, навстречу пулям! Как трогательно они умирали, сраженные в бою!

Отряд Котовского рос.

На абрикосовых деревьях осыпался нежно-розовый цвет. Вечерами роса ложилась на густые пахучие травы. В камышах звенели комары.

В строгом порядке, по-военному, с сигналами горниста, с важной серьезностью кашеваров, с четким и нерушимым распорядком дня жили эти выносливые, непритязательные люди.

Кони в отряде разномастные, да и то не у всех. А откуда взять обмундирование? Оружие? Белогвардейские полчища одевали, снаряжали, обвешивали оружием иностранцы. Но правда была на стороне плохо одетых, вынужденных беречь каждый патрон красноармейцев. Сапоги в те времена были заветной мечтой кавалериста. Кожаная тужурка казалась сказкой, мифом, несбыточным желанием. А уж если обзавелся конник сапогами, он делал адскую смесь из молока с сажой, для блеска прибавлял сахару... Летом, бывало, мухи облепляли эти сладкие сапоги. Но слов нет — сапоги блестели!

Котовский был живописен. А если разобраться, в чем он был одет? Красная фуражка

счита из материала, каким обивают диваны. Лампасы — те выкроены из рясы. Вот и все его щегольство.

Простая, суровая была жизнь. Вместе рубились, вместе ходили за конями, вместе отдыхали.

Котовский был требователен к другим и требователен к себе. Любил он этих бесхитростных людей. Любил и знал, что в любую минуту может потерять каждого. Знал это и берег, считая, что на войне лучший способ уберечься это не дать уберечься врагу.

5

— Хороший у тебя конь, Няга! — сказал как-то Котовский, любуясь Мальчиком. — По всем статьям хороший конь!

Няга выжидательно молчал: куда ведет речь командир?

— Плохо, что у нас многие совсем без коней. И так это меня тревожит! Плохо без коней, Няга!

— Если водятся кони у врага, — ответил Няга, — значит, еще полбеды, значит, есть где их взять.

И Няга хитро сверкнул своими черными, жгучими глазами.

— Я понял тебя, Няга. Сколько дать тебе людей?

— Много людей — трудно передвигаться. Мало людей — трудно пригнать коней.

— Если есть люди у врага, — ответил в тон ему Котовский, — значит, еще полбеды, значит, есть где их взять!

Няга засмеялся и в ту же ночь с десятью лазутчиками переплыл Днестр, ловко миновал вражеские посты и забрался вглубь километров на пятнадцать.

— Здесь, — сказал он наконец запыхавшимся смельчакам. — Это и есть конные заводы. Тут и мой Мальчик когда-то стоял на привязи.

Удачно они проникли к конюшням и вдруг напоролись на какого-то человека. Что делать? Еще бы какая-то секунда — и распростился бы он с этим лучшим из миров... Но вдруг Няга окликнул:

— Георгий Граку, не вспомнишь ли ты Нягу, которого угощал папиросами в порту в Измаиле?

— В самом деле, это ты! Какие ветры принесли тебя, да еще в такую пору?

— Если хочешь узнать об этом, сядем на коней и отправимся вместе, а то Котовский заждался нас и беспокоится.

— Но я не вижу коней, Няга.

— Нехорошо, Георгий! Не к лицу старой кобыле хвостом вертеть! Как не видишь коней? А сколько их в конюшнях?!

Обратный путь уже совершали не десятеро, а целых два десятка всадников, потому что Георгий Граку не только сам сел на коня, но и уговорил всех молодых конюхов уйти к Котовскому. Они ведь давно шептались между собой, давно сговаривались.

И вот они скакали по глухим, спящим дорогам. Они угнали за Днестр с полсотни коней. И каких! Конюхи с гордостью приводили их родословные, перечисляли их рекорды, призы, показывали аттестаты, отмечали статьи: развитие мускулатуры, крепость сухожилий, удлиненность бабок... Тут были кони всех мастей: и серые в гречке, и соловые, и игрение, и каждым конем можно было залюбоваться.

Весь отряд был взволнован. Несколько дней только и разговору было, что об этих конях. Когда Котовский посадил на них лучших и достойных, все поняли, что именно их, этих славных коней, не хватало для вящей славы и гордости отряда. И Котовский сказал:

— Дорогие друзья мои! Берегите коней! Любите их, лелейте их, а они отплатят вам сторицею, и придет время — сэберегут вас в бою!

Как пахла трава в эти июньские полдни! Как дышали горячей грудью степные просторы! На солнцепеке раскалялась земля, горячий ветер поднимал пыль на далекой

дороге. Степь пела, стрекотала, а сады замирали в истоме. Небо полыхало и вскипало пеной облаков.

Кони стояли понуро и обмахивались хвостами, отгоняя слепней, садившихся на живот. Мошकारа лезла в глаза, заставляла непрерывно мотать головой.

И люди тоже томилась. Все искали тени. Кто спал, раскинув в стороны руки и ноги, кто занимался починкой.

Бессарабцы напевали вполголоса, вспоминая о родине, о тихом Пруте, о кислой брынзе, о волах, тянувших бороны, об отарах глазастых овец, длинношерстных, пугливых. Еще они пели о тоске, которая сжимает их сердце, о такой близкой и такой далекой родине:

Дни ли длинные настали,
Провожу я их в печали.
Дни ли снова коротки,
Сохну, чахну от тоски.

Услышав знакомый напев и напомнившие далекие годы слова невеселой песни, Котовский подошел поближе, уселся вместе с конниками на завалинке. Ведь эту самую песню пела Мариула! Это было в Кокорозене, когда он учился в сельскохозяйственной школе...

— Хорошая песня! — вздохнул Котовский. — А ну-ка, споем еще раз! — и стал тоже подтягивать.

И снова полились протяжные звуки молдавской дойны.

Кончилась дойна. Но все сидели и слушали, как плещет волна, как шумит камыш, как перекликаются птицы. Была удивительная тишина. Медленно плыли по небу перистые облака. Веяло речной прохладой.

6

Командир сидел у окна. Тень падала на него от грушевого дерева. В комнате жужжали мухи. Перед командиром лежала фуражка, наполненная черешней: Марков позаботился.

Обычно мысли Котовского были заняты будущим, завтрашним днем. Но сегодня как-то вдруг нахлынули на него воспоминания. Может, потому, что он направил по разным делам в Одессу Михаила Нягу и теперь ждал его возвращения?

И вот вспомнились ему одесские друзья... Где-то они все? Разбрелись по белу свету каждый по своему пути.

Самойлова отозвали в Москву.

Вася и Михаил ушли в армию. Может быть, они сейчас на Кавказе гонят с нашей земли интервентов? Или там, на Урале, нещадно бьют колчаковские армии?

Самуил остался в Одессе.

Нет больше милого старика, хозяина одесской молочной «Неаполь»... Он убит во время уличных боев при освобождении Одессы. Нет больше секретаря губкома Смирнова... И Жанна Лябурб не улыбнется больше своей приветливой улыбкой...

Солнце палит. Тень от грушевого дерева переползла на другое окно, и черешни в фуражке стали теплыми на припеке.

Вдруг Котовский увидел вдали облачко пыли. Конечно, это он! Няга мчит во весь опор на своем быстроногом Мальчике!

— Большие новости! — кричит он, осаживая коня перед самым окошком. Хорошие новости!

А через минуту уже появляется в комнате, сияющий, счастливый; черные глаза, опущенные девичьими длинными ресницами, полны ликования. И не потому даже, что новости хороши, это само по себе, а потому, что все его радует в жизни, потому что он влюблен в небо, в деревья, обожает своего коня и гордится дружбой с Котовским.

— Вот, — говорит Няга, — я привез пакет. Большой пакет, наверно, много чего написано!

Новости на самом деле большие: Котовскому поручают формирование пехотной бригады, в бригаду войдут 400, 401, 402-й стрелковые полки, бригада будет включена в 45-ю дивизию, бывший конный отряд Котовского образует в бригаде кавалерийский дивизион.

— Отлично! — поднимается с места Котовский.

И оттого, что он встал во весь свой богатырский рост, в своих ярко-красных галифе, еще больше увеличивающих его объем, со своими сильными, большими руками, так и играющими бицепсами, в комнатухе сразу стало тесно.

— Отлично! — повторил Котовский, перечитывая приказ. — Значит, стали бригадой. А ты, Няга, будешь командиром кавалерийского дивизиона!

Раздумий как не бывало! Раздумья как ветром снесло! Котовский направился к колодцу, облил голову ледяной, колодезной водой.

— Красота! — фыркнул он. — Замечательно! Поздравляю тебя, товарищ командир кавдивизиона!

Но затем грустно взглянул в сторону Днестра. Солнце все еще сильно припекало. Кусты акации никли темными листьями. Короткие тени не давали прохлады.

— Значит, опять Деникин? Опять заговор? Опять фронт и большая война?

— Война, товарищ комбриг. Очень серьезная война!

— Комбриг... А все-таки это большая ответственность — быть комбригом. Ты только вдумайся в это слово, Няга: комбриг! Это ведь совсем иначе звучит, чем командир отряда!

— Я так считаю: самый высокий чин — быть Котовским! — горячо и от всей души воскликнул Няга.

— Ты всегда меня расхваливаешь, как цыган на ярмарке, — остановил его Котовский.

Няга считал, что он прав, но спорить с комбригом не решился.

— В Одессе говорили, — вспомнил он еще одну новость, — Деникин занял Екатеринослав.

— А Махно?

— По-прежнему разбойничает. Да! Чуть не забыл! Петлюра занял Каменец-Подольск!

— Закружилось воронье! А ведь немного бы — и Бессарабия была бы наша!.. Где будет штаб дивизии?

— В Раздельной. Там же артиллерийский склад. Товарищ комбриг, дрогнувшим голосом добавил Няга, — что я хочу спросить... Неужели они думают... неужели надеются победить революцию? Никогда им не победить революцию!

Было душно. Они сели на ступеньку крыльца. Здесь немного обдувало ветерком. Под крыльцом бил блох зубами прижившийся к дому пес, старый, лохматый, со свалявшейся шерстью. Двор, поросший мелкой травой, был пуст хоть шаром покати. Только у сарая валялась сломанная телега без колес и оглобель. Чувствовалось, что хозяев в доме нет.

Женщина с загорелым лицом прошла с ведрами к колодцу. Белые икры сверкали из-под домотканого подола. Женщина гремела ведрами и не замечала, что черпает воздух, заглядевшись на рослых кавалеристов. Няга сразу же заметил это. Быстро приблизился к колодцу и набрал ей воды:

— Что, красавица, мужа-то нет, наверное?

— Мужа-то? — переспросила женщина.

— Воюет, поди, где-нибудь?

— Убили, — ответила женщина и отвернулась.

— Экое горе! Да оно, пожалуй, и не удивительно: война.

Женщина подумала и добавила:

— Первый-то был — убили белые, второго нашла — убили красные...

— Что делать, — вздохнул Няга, — время такое. Подожди, отвоюем — и тогда выбирай любого, расти с ним детей и живи до глубокой старости.

— Дождешься! — ответила женщина, теребя платок.

Няга не нашелся, что ответить. Что можно было ей сказать? Разве ей одной горе мыкать? И она ушла, покачивая полными ведрами, а Няга все смотрел ей вслед. Жалко ему было женщину, жалко ее одиночества.

Затем Няга снова подошел к крыльцу. Котовский сосредоточенно склонился над планшеткой и записывал. Он уже расставлял силы, намечал назначения. Няга молча наблюдал, как быстро ходит у него карандаш, как командир причмокивает и снова заносит в записную книжку цифры, имена...

Одиннадцатая глава

1

Прискакал в Раздельную, в штаб дивизии, залитый кровью парнишка из села Долгое, прискакал и свалился с седла без памяти. Отходили его. Приоткрыл он мутные глаза, успел только сказать:

— Батки на огородах... окопы роют... Гаврилу Семеновича, председателя... кончили...

Вздыхнул и умер. Молоденький еще был, лет двадцати четырех, голубоглазый...

В богатом селе Долгом жило много старообрядцев. Хаты у них были построены просторные, ворота окованы железом. Народ все рослый, здоровый, а в погребах еще с шестнадцатого года винтовки да пулеметы понапрятаны.

И хотя носили они благочестивые бороды и осеняли себя крестным знаменем, хотя было в их священных книгах написано: «Возлюби ближнего, как самого себя», — душила их едкая ненависть к Советской власти. Долговская молодежь ушла в Красную Армию, а старшее поколение тянуло назад, к прежним порядкам. Дай им волю, они бы собственными руками передушили всех комбедчиков, незаможников, а батраков опять впрягли бы в кабалу.

В какой бы стране ни вспыхивала революция, это они, кулаки, являлись надежной опорой реакции, становились палачами свободы, безжалостными усмирителями и карателями. Они со зверской жестокостью расправлялись с беднотой.

Вот и теперь они подняли бунт, кулаки села Долгое. Может быть, они думали, что им самим пришлось в голову взяться за оружие? Знали ли они, что существуют кулацкие повстанческие центры на Украине, что кулацкие восстания входят в программу контрреволюции, что кулаки вербуются в петлюровские дивизии, что кулацкие восстания по замыслу врагов должны вносить дезорганизацию в тылы революционных армий? Кулацкие центры были созданы петлюровцами в ряде местечек и городов. Главный штаб находился в Фастове.

В село Долгое явился однажды человек. Одет он был в штатское, но очень смахивал на переодетого офицера. Фамилию у него не спрашивали, звали по имени — Юрий.

После того как не удался заговор в Москве, Юрий Александрович Бахарев получил от своего патрона новую установку: поддерживать с тыла начавшееся большое наступление, поднимать восстания, убивать представителей Советской власти, отрезать фронт от источников питания.

В принципе Юрий Александрович Бахарев одобрял эту тактику и даже сам рекомендовал ее Петерсону. Но он очень плохо знал деревню. Сумеет ли он с мужиками говорить? Поймут ли его? С чего начинать это дело? Формировать свой отряд, свою боевую единицу по примеру Петлюры или Махно? Но для этого надо хотя бы знать украинский язык!

Впрочем, оказалось, что его и так понимают. Он решил, что важно где-то начать. Дальше он будет объединять разрозненные силы, сформирует из зажиточных крестьян батальон, полк, дивизию...

Село Долгое показалось Бахареву наиболее подходящим. Солидный народ. Озлоблены невероятно! И Бахарев остановил на этом селе свой выбор.

Очень убедительно умел он говорить. И священное писание знал, цитировал наизусть Библию. Говорил о том, что в деревне есть крестьяне, которые умеют вести хозяйство, а потому у них и земли много, и хлеб родится, и достаток в доме, они настоящие хлеборобы. Завидует им деревенская голытьба: кто работать не хочет, у кого ни кола ни двора, у кого ни гроша за душой. А Советская власть всех хочет сделать пролетариями. А кто такой пролетарий? Кто пролетел, кто вылетел в трубу. Великие державы узнали, в какую беду попала Украина, и решили оказать ей помощь. Сейчас настало время действовать всем сообща. Воевать против Советов — дело благочестивое, потому что большевики — все безбожники и говорят, что бога нет, и креста не носят. Значит, не грех таких и убивать.

Много чего такого говорил этот Юрий. Он в самых богатых семьях на селе с почетом был принят. Его уже не называли Юрий, а все больше Юрий Александрович. И так он полюбился, что упростили его самого руководить восстанием.

— Ты не бойся, Юрий Александрович, нам только начать, за нами вся округа поднимется. Есть у нас старец на селе, сны он вещи видит, откровение ему было, что Советская власть продержится семьдесят семь дён.

И вот началось это дело.

Бунтовались они не спеша, обстоятельно, как обедню служили. Спалили сельсовет. Долго били председателя. Поволокли его за село. Вырыли яму.

— Ложись! — приказал Терентий Белоусов, первый на селе богатей.

Председатель Гаврила Семенович на него и не посмотрел и не удостоил ответом. Да и двигаться все равно он не мог: перебили ему суставы.

— Ложись, говорят тебе, пес! Прости, господи, за такие слова... Против бога пошел, супротив законной власти?! Кончена ваша коммуния, аминь!

— Убивайте, смерти не боюсь, — вдруг осилил нестерпимую боль и заговорил Гаврила Семенович. — Правды не убьете на земле, и не будет того, чтобы жизнь пятиться стала! Не будет по-вашему! Поняли? Никогда еще после четверга среда не приходила, а все пятница!

Страшен был в этот час председатель, ни у кого не хватило духу прервать его.

— Закапывайте меня, изуверы, вражины! Народной справедливости не закопать вам веками, кровью не залить, тюрьмами не задушить! Кто поднял руку против народа, погибнет и проклят будет в веках!

Тут Терентий очнулся. Скажи на милость: в прах повергнут, а еще угрожает и проклятию предаёт! Терентий перекрестился строгим староверческим крестом — и спихнул пинком ноги председателя в выкопанную яму.

— Можно закапывать, мужики, — сказал он степенно.

В Долгое послали Четырехсотый полк, он стоял в этих местах. В полку было много партийцев с соседних сахарных и маслобойных заводов. Была в нем также и долговская молодежь.

Комиссар полка сказал:

— Которые из Долгого, поговорите с папашами, ведь разные же у вас отцы. С кулаком у нас борьба насмерть, середняки — другое дело, мы не против середняка. Опутали их кулаки. Тут политическая отсталость, пережитки и помимо того — дурман.

Остановился полк на почтительном расстоянии. Дети и отцы вступили в переговоры.

— А ну, складайте оружие, папаша, чтобы случайно не вышло очень просто неприятности! Тогда пеняйте на себя! Куркулей кончайте, а которые одумались — отойди в сторону!

— Вы чего пришли? — отзывались с огородов. — Смерти ищете? Уйдите от греха, детки, Христом-богом просим — уйдите!

Но кое-кто действительно отошел.

— Кидайте оружие, говорим! А то порубаем вас, щоб не бунтовались и международной буржуазии на руку не играли!

— Порубать?! Попробуйте! Руки короткие, богоотступники! Каины, крапивное семя! —

ругался громче всех Терентий Белоусов.

— Батя, ты не бранись, не советую! И моего революционного сознания не затрагивай! Кто другой, а ты-то известная контра!

Вместо ответа Терентий выстрелил. Метил в сына, однако не попал и убил стоявшего рядом гармониста.

Тогда обе стороны залегли. Надежда, что покончат мирным путем, не оправдалась. Стали стрелять. Стрелять было неинтересно. Урона ни с той ни с другой стороны.

Пекло солнце. Мычали протяжно и жалобно коровы на селе. И все тут было знакомое, привычное. Знали каждый колодец, каждую крышу, каждый овин.

И очень уж было жаль гармониста. Беловолосый был такой, и брови и ресницы белые, с золотым отливом, как солома в снопе. И играл хорошо, за душу брал, и песни все знал... И нет его больше, никогда не услышать его музыки...

Наверное, эта мысль сверлила каждого, потому что встал вдруг полк без сигнала, без команды. Встал и пошел.

...Юрий Александрович выбрал для командного пункта выстроенную на огороде, в стороне от сельской улицы, и скрытую кустами баню.

Связным вызвался быть пономарь. Показался он Бахареву шустрым, пролазливым, и Бахарев согласился. Но при первых же выстрелах пономарь исчез. Это Юрий Александрович заметил только впоследствии.

Завидев из окошечка бани длинные цепи, которые залегли за ближайшим пригорком, Бахарев понял, что восстание начато слишком поспешно, что игра проиграна. Оставалось только бросить на произвол судьбы этих начетчиков, выбраться отсюда прочь и все начать снова. В конце концов дело сделано. Восстание в тылу красных, даже если оно и подавлено, — это все же восстание. Сотня таких вспышек — вот вам и дезорганизован тыл!

Приняв решение, Бахарев мысленно прикинул, где и как пробираться сначала к полям пшеницы, а там перелесками да овражками в соседние села...

И тут Бахарев заметил движение среди красноармейцев, пришедших на усмирение. Бахарев направил бинокль на холмик за огородами и увидел, что цепи красных поднимаются.

«Пора!..» — подумал он несколько встревоженно.

Ему послышался какой-то говор. Он выглянул через приоткрытую дверь бани и явственно различил людей, заходивших с фланга, по-видимому решивших зажать повстанцев в кольцо. И вдруг Бахарев понял, что и ему дорога к отступлению отрезана. Теперь он мог уйти из бани только прямо по тропинке, через огород, по совершенно открытому месту, а это было равносильно самоубийству.

Холодок пробежал по спине капитана. Был он человек не робкого десятка, да и обстрелянный, поэтому-то и отдавал себе отчет в создавшемся положении: уходить поздно, рассчитывать, как говорится, «на милость победителя» не приходится...

«Глупо! — рассердился Бахарев. — Глупая, нелепая смерть! Где-то в бане, с этими дурацкими староверами!»

Он еще надеялся выскользнуть. Если красноармейцы, обходя восставших, не заглянут в баню, он может выбраться позже, когда они придвинутся к селу...

Бахарев со странной, ослепительной отчетливостью вспомнил веранду долгоруковского дома в Прохладном... тихое утро... озаренные восходящим солнцем деревья... и на веранде женщина накрывает утренний чай... «Может быть, парного молока выпьете?..» А как же останется Люси? Неужели все кончается — все усилия?..

Командир полка подполз к бане, изловчился и бросил гранату. Из бани даже дым повалил. Заприметил командир: стеклышки бинокля там блеснули. Полевой бинокль? Не иначе как в бане наблюдение установлено, а то и командный пункт находится.

Так оно и оказалось. После, когда баню осматривали, нашли там убитого. Лежит, раскинулся, ноги длинные, челюсть упрямая и подбритые усики на губе. Был бы тут Миша Марков — сразу бы опознал в убитом того самого Юрочку, с которым когда-то познакомил его Всеволод Скоповский. Видать, за смертью пришел в село Долгое из Москвы. За смертью

пришел — и получил ее.

Полк бросился на окопы, не обращая внимания на выстрелы. Поднялись и старики. Схватились. Крякали. Били прикладом. Кто-то, отбросив винтовку, тащил дреколье из изгороди по стародавней привычке.

Скоро стало заметно, что молодежь одолевает. Распластался на меже Терентий Белоусов, в новых сапогах, в шелковой белой рубаше, подпоясанной крученым пояском с кисточками. Рядом ткнулся в землю кум Терентия. Много легло. Огородные гряды были плотно утрамбованы солдатскими сапогами.

Кто уцелел — подпалили село и через кладбище ушли за березовую рощу, к немецким колонистам. Горело село Долгое почти без дыма. Стали взрываться погреба. Овцы метались по улицам. Выли бабы.

И сгорело село, начисто сгорело.

Четырехсотый полк с командиром Колосниковым во главе поступил вслед за этим в распоряжение Котовского.

Колесников — старый солдат, хотя лет ему и немного. Характера он непреклонного. Крепкий как дуб, редчайшего здоровья, Колесников родом из крестьян и силой обладает недюжинной. Рослый, массивный, он прямолинеен, чист душой. Карие глаза его пронизательны и вдумчивы. Смотрит он прямо в глаза собеседнику — пытливо и благожелательно. Это безукоризненно честный человек, и есть в нем что-то внушающее доверие и уважение.

Принимал комбриг Четырехсотый полк в селе Сербы, возле Кодыма. Обстановка была торжественная, все делалось по форме. Бойцы с жадным любопытством разглядывали Котовского. Так вот он какой!

Котовский обнял командира полка, расцеловал его и сказал:

— Приветствую вас всех в лице вашего командира. Мы рады включить вас в нашу боевую семью. Идемте добывать победу!

2

Да, они были, эти люди! Это не выдумка, не плод вдохновенной фантазии, не мечта, не созданные воображением романиста образы. Они были, они действительно участвовали в битве, развернувшейся от берегов Черного моря до Ледовитого океана, от Балтики до Тихоокеанских вод. Они шли с винтовками по льду Иртыша, вылавливали басмачей в горячих песках Таджикистана, гибли в застенках белогвардейщины, строили под ураганным огнем переправы, мчались на конях и рубили сплеча...

Они умирали, потому что хотели счастливо жить!

Решалась судьба революции.

И они победили. Иначе не могло быть.

Не сразу поняли стратеги, генштабисты, матерые генералы, все эти дутовы, улагаи, колчаки, что перед ними новые люди, совсем другая порода. Им казалось: «Ну что такое большевики? Сброд! Мужичье!»

В своей нечистой игре интервенты выдерживали из колоды карт одного туза за другим, и все были биты. Иностранные правители тасовали, перестраивали, перевооружали и снова кидали в драку русских офицеров, украинских дельцов, кулачество, а также авантюристов, искателей приключений, уголовников и, наконец, просто крестьян, которых либо одурачили, либо запугали, либо взяли по мобилизации и велели стрелять.

Может быть, их было даже слишком много, этих прославленных генералов, и каждый соперничал с другим, каждый хотел сам, один, без чьей-нибудь помощи войти сначала с триумфом в Москву, а затем — в историю.

Были среди них и способные и бездарные — и отличавшийся храбростью Каппель и оголтелый палач Шкуро. И все они сражались против народа и, оторвавшись от народа, становились бескрылыми, жалкими, бессильными со всем своим опытом и блеском

мундиров.

Народ не ошибается. Всегда он выберет единственно правильный путь. Можно до каких-то пор силой оружия, жестоких расправ удерживать его в повиновении, но неизбежно будут сметены поработители, и народ сохранит главное: свое сердце, свою правду, свою независимость.

В годину смертельной опасности, когда жадные руки тянулись уже к украинской пшенице, к бакинской нефти, к самоцветам Урала, к золоту Колымы, народ отбросил всех, кто мешал ему, и, не колеблясь, пошел по ленинскому пути.

И вдруг из недр народа, как из волн морского прибоя, вышли могучие витязи, сказочные герои, отважные богатыри. И не было им числа. Они шли под пулеметным огнем, переправлялись через непроходимые реки. Они знали, за что сражаются, что дороже самой жизни: они защищали Отечество, были провозвестниками нового, социалистического общества — высшей ступени мировой истории.

3

Стоял томительный зной. На горизонте клубились, наливались зловещим лиловым пламенем грозные тучи. Солнце было странного палевого цвета. В воздухе повисла гнетущая, мешающая дыханию желтая мгла. Вот-вот собирался хлынуть ливень — и снова уползали тучи, не проронив ни одной капли.

Котовский смотрел на лиловое небо, на вспышки далеких молний и хмурился. Он знал: разворачивается новый поход интервентов. На этот раз они делают ставку на белогвардейские армии, на внутреннюю контрреволюцию. Предстоит упорная борьба. Котовский проверял готовность бригады, проверял и изучал каждого бойца.

Многим запомнилось происшествие с Иваном Белоусовым. Сын Терентия Белоусова, рослый хлопец и признанный в полку силач, исчез бесследно. Думали сначала, что погиб, но вот и братская могила готова, а Ивана Белоусова среди убитых нет. Разнесся нехороший слух об Иване: дезертировал.

Вскоре Колесникову все стало известно. Оказывается, нашлись люди, которые уверили Ивана, что его, как сына кулака, сына организатора восстания, расстреляют перед строем.

— У них, у этой власти, такой закон, чтобы по седьмое колено преследовать, — нашептывали Ивану Белоусову какие-то замешавшиеся в толпу погорельцев шептуны. — У них пощады не жди. Беги куда глаза глядят, да и то с оглядкой: не ровен час — выследят!.. Беги, Иван, беги!

Вывел Иван Белоусов лучшего коня из пылающей отцовской конюшни, поскакал, а потом стал разбираться что к чему.

«Как же это так получается? За что меня перед строем расстреливать, позору предавать? Разве я какой разбойник и душегуб? Разве я не выступил в поход вместе со своими товарищами-однополчанами? Разве не стрелял в меня самолично мой покойный папаша, хотя о покойниках плохо не говорят, но ведь нельзя отрицать, что был он самая заядлая контра?...»

Так стоял на распутье всех дорог, держал под уздцы вороного коня и раздумывал Иван Белоусов:

«Я вот сын кулацкого отродья, а воспитан в Красной Армии. Кто я есть? Может меня усыновить трудовой народ?»

Колесников доложил о Белоусове Котовскому. Котовский приказал отыскать во что бы то ни стало Ивана Белоусова и чтобы волоска с его головы не слетело!

Отправились гонцы во все стороны, а где искать Ивана? Наконец напали на след. Видели его на дороге в деревню Лиходеевку приезжие крестьяне.

Догнали. Иван Белоусов заперся в клуне, завалил бревнами дверь. Сидит, отстреливаться приготовился.

— Иван! Иди до командира!

- До какого еще командира?
- Как до какого? До Котовского.
- Живым не дамся, — отвечал Иван.
- Вот дурной! Приказано, чтобы волосок на твоей голове не слетел. Понятно?
- Волосок не слетит, а голова слетит. Знаю.

Долго они так переговаривались. Наконец сам командир полка прибыл. Дал честное слово, что никто не тронет Белоусова.

- Не поймешь нашего слова — уходи, держать не будем.

Настала тишина. Молчали парламентарии, молчал Иван. Потом стало слышно, как он бревна от забаррикадированного входа откатывает.

Вышел хмурый. Все еще не верил посулам.

- Куда ты? — с тревогой спросили его, когда он вдруг свернул за угол.

— Коня возьму. Конь у меня хороший.

Привел Иван Белоусов коня к Котовскому, ударил себя в грудь и сказал:

- Я — сын кулака Терентия Белоусова, что из села Долгое...

— Слышал.

— Расстреливай, командир! Если правило по седьмое колено истреблять стреляй! — И Белоусов разодрал на груди гимнастерку.

С болью смотрел на него Котовский:

— Постой, постой, не горячись. Объясни толком, что тебе в голову втемяшилось? Какое правило? Какое седьмое колено?

Тогда уже тише Иван Белоусов продолжал:

— Я — красноармеец. Я сам стрелял по контрреволюции. Можно меня перед строем расстрелять?

— Кого расстрелять? Откуда ты такое выдумал? Чудишь ты, малый! Ты лучше объясни, чего ты хочешь?

Тогда Белоусов и вовсе успокоился. И высказал заветное желание:

- Припиши, командир, к Няге, в кавалерию. Ездить я горазд.

Котовский посмотрел ему в душу, все беспокойные мысли его прочитал. Стоял Белоусов перед ним, а Котовский читал его, как раскрытую книгу, и все светлел его взор. Понял, что для Ивана Белоусова решается сейчас вопрос жизни. Понял горечь его, понял, почему говорит он так прерывисто. Все понял.

— Каждый решает свою судьбу, — взволнованно сказал Котовский. — Жизнь — не расписание поездов. Мы знаем революционеров, вышедших из чуждых классов. Мы чтим их. И возьмем другое: если весьма ответственный гражданин вырастит по нерадивости дрянного сынка, разве будем мы укрывать такого сынка папочкиным авторитетом? Да мы и отца-то притянем к ответу: как ты мог, ответственный папаша, вырастить такого молодчика?

— Гм-м, — издал неопределенный звук Иван Белоусов, напряженно слушавший командира.

- Звать тебя как?

— Звать Иваном. Уважь, командир!

- У меня кавалеристы, знаешь, какие люди? Отборные!

— Знаю. Это мы все знаем.

— Ладно, Иван. Иди к Няге, скажешь, я лично прислал. Иди. Не подведи, слышишь, Иван? Надеюсь на тебя, Иван.

Ушел Иван Белоусов, а Котовский все поглядывал вслед да поулыбывался. Славный парень! Вот что значит вовремя помочь человеку!

И опять улыбался Григорий Иванович доброй улыбкой. Любил он людей. И было это чувство похоже на то, как агроном любит хорошо возделанное поле, как садовник любит свой сад.

Немного и времени-то прошло, каких-нибудь два дня. Отпросился Иван Белоусов у Няги в разведку и привел пленных петлюровцев. Где он их добыл, никто так и не узнал. Сам

он не рассказывал, а только отмахивался:

— Ну, взял и взял. Велико дело.

Пленные следовали за Белоусовым покорно и не проявляли никаких поползновений к бегству. Возглавлял это печальное шествие сельский учитель, щуплый и в очках.

Привели их в штаб. Котовский стал расспрашивать каждого, кто он, откуда и почему с петлюровцами оказался, по каким взглядам и убеждениям. Еще спрашивал он их, знают ли они, кто такой Петлюра, и кому он служит, и за чьи права борется.

— Давайте, давайте, рассказывайте все, — говорил Котовский спокойно, серьезно, без издевки и даже с болью, с состраданием. — Вот стоите вы передо мной и молчите. Объясните мне, почему вы в меня, в нас стреляли? Какую вы правду отстаивали? Мы вот боремся за рабоче-крестьянское государство, за Советскую власть, за то, чтобы людям лучше жилось. А вы за кого идете? Если мы ошибаемся, объясните нам, тогда и мы вместе с вами будем сражаться...

— Да ладно уж, — тоскливо отозвался один, босой, нескладный, в синей рубаше без пояса, в драных портках. — Расстреливай скорей, не размусоливай...

Бородатый и тощий выглянул из-за его плеча и добавил:

— Мы не добровольцы. Дали нам винтовки: воюй! Вот и воюем.

Котовский подождал, не скажут ли еще чего. Но они замолчали.

— «Расстреливай!» А за что вас расстреливать? За вашу дурость?

— Это конечно... неграмотные мы...

— Зачем зря говорить? — рассердился босой в синей рубаше. Грамотные, разбираемся! Мы за большевиков, против коммуны. Нечего нюни распускать! «Неграмотные»!

— Вижу, какие вы грамотные, как разбираетесь! Вот и доразобрались до того, что с Петлюрой оказались! А если поглядеть — какие вы петлюровцы? И вовсе вам с ними не по пути. Возьмем такой случай: капиталист. Не наш, иностранный. Но у него в нашей стране деньги вложены, обидно ему деньги потерять, а Советская власть открыто заявляет, что никаких царских долгов она не платит. Вот и начинает этот капиталист дураков искать, чтобы они головы подставляли, эту Советскую власть свалили, денежки ему, капиталисту, вернули — и порядок! А у вас что, своя торговля была? Капиталы у вас отняли? Золотые прииски? Вон у тебя и сапог-то нет.

Котовский обернулся к учителю:

— Учитель?

— Собственно говоря, да.

— Горькая доля была у сельского учителя в царское время. Вы, может быть, успели запомнить? Глушь, бездорожье, захолустье. Жалованьишко ничтожное, школа нуждается в ремонте, крыша течет, ребята зимой ходят в опорках, и каждый инспектор унизит, распечет, накричит... Что же ты, учитель?! Опять хочешь старое вернуть? Не вернешь старое, не допустим! Кому прислуживаешь? Ты, образованный человек!

Угрюмо слушали пленные.

— Собственно говоря... — бормотал учитель.

От напряжения у него запотели очки.

— Передать в трибунал? — спросил Колесников, полагая, что разговор окончен.

— Кого в трибунал? — удивился Котовский. — Их в трибунал?! Да если они и сейчас ничего не поняли... тогда что же получается? Тогда и жить не хочется на свете! Ведь люди же они! Или кто?

Котовский встал во весь рост — крупный, сильный, эфес сверкает, красные галифе пузырями, широченные, сапоги начищены до ослепительного блеска, грудь колесом — богатырь, и голос у него зычный, как труба. Встал и отдал команду:

— Беспрекословно выполнять приказания вашего командира! Вот этого! он показал на учителя, стоявшего с удивленной и растерянной физиономией. Он сельский учитель, я агроном, а вы — кто вы такие? Простые люди, которым хочется человеческой жизни. Значит, нам с вами по пути. Даю вам задание: выбить петлюровцев из хутора Большие Млины,

захватить трофеи и через сутки быть у меня с донесениями. Все ясно? Выдать им оружие, одеть, накормить. Отряд выступит в девятнадцать ноль-ноль. Приступайте к выполнению.

Няга покачивал сомнительно головой. Колесников хмурился. Начальник штаба даже морщился от досады: переборщил! Дал маху на этот раз командир! Ошибся малость!

Пленные перестроились.

— Шагом арш! — скомандовал учитель.

Огненно-рыжий, с зарубцевавшимся шрамом на лбу, кряжистый солдат, когда выдавали ему оружие, прослезился, выругался и сказал, ни к кому не обращаясь, с удивлением:

— Поверил! Мне поверил! Да мне, так-растак, никто еще в жисть не верил с тех пор, как мать меня родила!

Затем они ушли.

— Не вернутся, — определил Колесников.

Котовский вызвал между тем Ивана Белоусова и с глазу на глаз с ним говорил:

— Попросишься в разведку, Белоусов, возьмешь человек пять, кого знаешь, по выбору. Боже упаси, чтобы тебя заметили! Такой обиды они не простят. Ну, и погляди, как они там... чтобы дороги не спутали...

— Понятно!

— Никто не должен знать о нашем разговоре, ни одна душа.

Иван Белоусов вышел от комбрига красный как рак. Это он от гордости раскраснелся, что ему такое поручение дали, а все подумали, не головомойку ли он получил за какой-нибудь проступок: командир любил иной раз, как говорили, «мораль прочитать».

Вскоре Белоусов и с ним четверо ускакали в степь. И все разбрелись по своим местам. В этот вечер была неприятная, напряженная тишина. Любили командира, и не хотелось, чтобы он даже в мелочи оказался неправ. Нельзя, чтобы командир оказался неправ! Как подчиняться тому, кто хотя бы однажды сплоховал? А еще того хуже — кто оказался в смешном положении, кого одурачили!

И каждый старался — для самого себя, а не для других — заранее подыскать оправдание этому промаху, незаметно, деликатно прийти командиру на выручку.

— А хотя бы и не вернутся! — говорил Няга, сверкая глазами и свирепея от одной мысли, что с ним не согласятся и осмелятся осуждать Котовского. А хотя бы и не вернутся?! Совесть-то он им ранил? Как они теперь пойдут в бой против нас? В бой идут в чистой рубахе! Значит, даже если не вернутся, польза все равно есть! Понятно или непонятно? Почему молчите? Почему в рот набрали воды!

— Предположим, что они не вернутся, — доказывал Колесников с жаром, но ни к кому в частности не обращаясь. — Хорошо. Но как с ними разговаривали, они расскажут? А что обули-одели их, они расскажут? Пытали их? Расстреливали? Нет, с ними обращались как с людьми и объясняли им, в чем их ошибка, заблуждение, объясняли простыми, доходчивыми словами, которых нельзя не понять, нельзя не запомнить. Я считаю, — говорил твердым голосом Колесников, хотя, может быть, и не считал, — я считаю, что даже лучше, если они не вернутся к нам: они будут живой агитацией, хотят или не хотят, они будут служить делу революции!

Через сутки прискакал Белоусов и доложил Котовскому:

— Идут.

Действительно, отряд шествовал. В ногу, щеголевато, напоказ. Учителя нельзя было узнать: бравый, подтянутый, и очки куда-то девал. Командует звонко, отрапортовал лихо. Да и все остальные преобразились. Торжество было на усталых загорелых лицах.

Эти люди, хлебнувшие разгула и дебоширства петлюровцев, да и сроду не видавшие ничего, кроме нужды, водки, пьяных драк, собачьей жизни и воловьего труда, — эти люди сами, по доброй воле сдержали слово, оправдали доверие, осмыслили по-новому свою жизнь. Вот почему на их лицах было такое торжество. Нет большего счастья, чем оказаться хорошим, когда никто не верил, что ты хороший.

И все радовались.

Котовский был доволен. Он так бы и обнял и сельского учителя, и вон того, рябого, которого аж пот прошиб, так старался не подкачать, взмахивать по-солдатски рукой и шагать в ногу.

Но вдруг потемнело лицо комбрига и морщины собрались на его лбу.

— А этот, — загремел его голос, — такой еще рыжий и со шрамом на лбу? Н-неужели переметнулся к Петлюре?!

— Убит в бою, — ответил учитель. — Пал смертью храбрых.

— Понравился он мне, — тихо произнес Котовский, снимая фуражку. Вечная память ему и слава. Разудалая, должно быть, голова!

Колесников подошел к учителю.

— Такое испытание, какое выдержали вы, — сказал он со сдерживаемым волнением, — крепко, как присяга!

— Сегодня большой праздник у нас! — добавил сияющий Няга.

— Нет человека, если нет в нем собственного достоинства, — говорил Котовский, когда вся, так сказать, торжественная часть кончилась и остались одни командиры. — Надо выращивать достоинство, как выращивают цветок, как берегут яблоню.

— Удивляюсь я, как это люди не догадываются... Честное слово, быть хорошим выгоднее, чем плохим! Да и гораздо приятнее! Как ты думаешь, товарищ комбриг? — не унимался Няга.

Когда поили коней, Иван Белоусов сказал Маркову:

— И чего вы тут беспокоились? Я слушаю того, слушаю другого говорят, как о чуде: хорошо, что пленные петлюровцы пришли! Попробовали бы они не прийти! Уж если я один раз взял их в плен, то и в другой раз не растерялся бы! Знаю, чего хотел командир: совести. А чтобы праведник не сбился с пути, поддержи праведника под локоток, помоги ему войти в царствие небесное, в райские врата. Так-то вернее будет!

— Так ты их... тово? Поддержал под локоток? — разочарованно спросил Марков.

— Не понадобилось. Они оказались парни хоть куда! Неужели этот, в очках который был, — просто учитель? А знаешь, как командовал! И первый бросился в атаку.

— И ты все видел?

Белоусов замялся:

— Никому только не говори. Я не утерпел, тоже немножко бил Петлюру. Учитель-то в лоб атаковал, а мы с ребятами с тыла ударили, шум произвели. Я ведь здешний, каждый овраг знаю.

— Так кто же все-таки у вас сражение выиграл?

— Они! Учитель этот самый.

— Тебя что-то не разберешь. И брагу пил, и пироги ел, а на свадьбе не был и знать ничего не знаешь.

— Ты не сердись. Всего рассказывать не могу: у нас с командиром военная тайна.

4

Когда вернулся из Бессарабии Леонтий, Миша Марков расстроился, запечалился, что вот вернулся же Леонтий, а где же отец? И хотелось и страшно было заговорить об этом с Леонтием.

И Леонтий избегал Маркова. Жалко было расстраивать парня, а ничего утешительного рассказать он не мог.

Так или иначе, а когда-то надо было начать этот разговор. Однажды Леонтий увидел Маркова, и поразило его грустное лицо Миши.

«Надо поговорить с ним об отце, — подумал Леонтий, — нехорошо, что я сразу не сделал этого».

— Ну! Чего такой скучный?

— Об отце все думаю... Жив или нет?..

— Если бы я что-нибудь точное знал, давно бы сказал, какое бы горькое известие ни было, оно лучше неизвестности.

— Верно, Леонтий. Если нет отца в живых, говори, я ведь уже не мальчик. Да и время сейчас такое, что смертью не удивишь: война!

— Ничего я о Петре Васильевиче не знаю. Как расстались на том берегу, так больше ничего о нем и не слышал. Но так полагаю, что был бы он жив дал бы о себе знать. Ведь времени прошло немало.

— Вот и я так думаю...

— Кто у тебя еще-то из родни?

Участливо смотрел Леонтий. Оттаяло сердце Миши. Стал рассказывать про свои детские годы, о сестренке, о матери. И так же, как не мог, беседуя в московской столовой со Всеволодом Скоповским, вспомнить ни одного кушанья, кроме вареной кукурузы, так и сейчас в голову не приходило ничего значительного, и он перебирал милые сердцу мелочи, маленькие семейные происшествия, дорогие для него одного пустяки: как однажды Татьяна потерялась, еще совсем маленькая, заблудилась в городе, как в лесу... как отец один раз лисенка живого принес...

Детство! Как священную ладанку, подаренную матерью в час расставания, храним мы в памяти милые нам простые слова, маленькие и в то же время большие события, не передаваемые словами ощущения... Их можно рассказать только очень близким людям, другие не поймут. А как они запомнились, как они дороги! Материнский голос... Птицы... Снег... Какой-то весенний день, в который ровно ничего не случилось, но он запомнился, на всю жизнь озарил сознание ослепительным светом, задорным журчаньем ручьев... И даже в значительной степени сформировались вкусы и побуждения в этот ничем не выдающийся, незабываемый весенний день!..

Леонтий слушал Маркова, и у самого у него сердце щемило: ведь и он ничего о своем доме не знал, рядом был, а не довелось повидаться...

— Время, сынок, сейчас разлучное. Жены не знают, где их мужа, дети растеряли родителей. Иной ждет-пождет, когда встретится, а его, желанного, родного, и в живых-то давно нет... Бывает и другое: человека в поминальник запишут, а он и явится, жив-здоров! В смятенное время живем.

— А вдруг, — раз мечтался Миша, — мы сидим, разговариваем, а в это время отец-то и войдет...

— Ничего удивительного!

— Войдет и скажет: «Здравствуйте, дорогие! Тебе, Миша, шлют привет мать и сестра!»

Миша радостно смеялся, и долго они в тот вечер говорили.

С того дня повеселел Миша. И хорошо, что до поры до времени не знал он всей правды...

Петра Васильевича как увели ночью, так больше никто и не видел. Марина куда только не ходила, где только не справлялась! Везде один ответ: не значится. Наконец один старичок сжалился, догнал ее в коридоре.

— Женщина, — говорит, — не терзайте себя. Неужели вы не понимаете, что вашего мужа давным-давно на свете нет? Идите себе домой и примиритесь с сим прискорбным фактом.

— Его убили в тюрьме?!

— Я начинаю жалеть, что сказал вам, казалось бы, исчерпывающе точную вещь. Какая вам разница, кончил он дни в подвале или на виселице, от удара сапогом в живот или от пули в затылок? Его нет, и больше уже нельзя его арестовать, он уже избавлен от забот, от простуды, от миллиона страданий, страхов, на которые мы, живые, обречены...

Она убежала от этого страшного, беззубого, сморщенного старика, каркавшего, как ворон перед бедой. Он все врал, откуда он мог знать? Он что-то кричал ей вдогонку, но она не слушала. Вернулась домой и поражена была странной тишиной, глубоким молчанием. Почему так тихо? Но ведь и раньше часто бывало так, когда Марина оставалась одна, когда

все разбредались, кто на работу, кто в школу... На этот раз была другая, мертвая тишина.

Тогда Марина взметнулась: где Татьяна? Почему не идет Татьяна?! И тут заметила белое на столе... Сразу почему-то поняла, что это записка и что пришло новое горе.

«Прости, дорогая мамочка, больше не могу, уйду, туда же, где наш Миша».

Может быть, Марина выдержала бы удар, но, когда все навалилось в один день, чуть ли не в один час, это было слишком...

Ее нашла соседка лежащей на полу без сознания. Некоторое время она еще не поддавалась смерти. Сиделки в больнице уверяли, что даже хорошо, что она умерла: зачем же растягивать страдания?

— Ей было ни много ни мало — пятьдесят лет, так она хоть жизнь видела. А сейчас без счета молодых умирает. Молодых, конечно, жалко, а что касается старых — закон природы.

Ожесточились сердца сиделок, примелькались им слезы человеческие. Но все, кто знал эту женщину в ее квартале, — соседи, железнодорожники очень жалели ее и всегда вспоминали о ней с любовью.

— Отмучилась, бедняжка! — говорили они.

Татьянка была порывиста и нетерпелива. Она никак не могла согласиться, чтобы на земле торжествовало зло. Когда в ту памятную ночь прилизанный плюгавый офицеришка ударил ее отца и получил от нее за это хорошую затрещину по щеке, по гладкой розовой морде, она долго не могла успокоиться, ей казалось, что она должна была не награждать пощечиной она обязана была убить его.

Приятель отца, тоже железнодорожник, требовал, чтобы Татьяна еще и еще раз повторила рассказ о том, как она отделала этого негодяя.

— Размахнулась? И потом — р-раз? Молодец, Татьяна! Будет из тебя толк! Учить их надо, вертопрахов!

Старый железнодорожник усаживал затем Татьянку поближе и рассказывал ей вполголоса, что есть много людей, которые тоже дают пощечины всем этим щеголям, всей этой дряни собачьей:

— Мир построен, дочка, неважно. Ломать надо! А то нехорошо получается. И мы сломаем, вот увидишь. Нас много, ты не думай. И если появился на земле один остров, одно такое местечко, где наперекор всему этому свинству рабочие добились власти и строят социализм, значит, это не выдумка, значит, можно это сделать! Я, дочка, говорю про Советскую страну. Понятно? Надо беречь ее, не дать в обиду. Вот твоего отца здесь в тюрьму упрятали. А там его, может быть, министром бы сделали...

Старик закурил трубку и продолжал:

— Мы делаем, что можем. Мы не дали грузить оружие против них.

Если бы знал этот железнодорожник, какое впечатление производят его слова на девочку! Татьяна думала:

«Миша уехал в эту счастливую страну, и я отправлюсь туда же и тоже буду бороться!»

Конечно, ей бы следовало посоветоваться, прежде чем решиться на такой отчаянный поступок. Она захватила с собой немножечко еды — кусок хлеба и брынзу. И отправилась. Она слыхала, что многие переправляются через Днестр и уходят к красным. Вот и она уйдет к красным. Она не хочет уже убивать одного этого плюгавого. Что толку? Она будет помогать Ленину устанавливать справедливый порядок на земле, вот что она будет делать!

Татьянка сначала шла открыто, прямо по дороге. Потом стала расспрашивать, как пройти к Днестру, стала наводить разговор на то, как охраняется берег да бывают ли случаи, что переправляются на ту сторону. Дивились деревенские жители на эту странную девочку, предупреждали ее: не так-то просто подойти к Днестру и лучше бы вернуться домой... Понимали, что у нее на том берегу кто-то из родни... Качали головой: неладное затеял ребенок!

И ведь выискала Татьяна безлюдное место! И лодку брошенную нашла, и вместо весла жердь приспособила, и в сумерки оттолкнула от берега лодку...

Но тотчас же по лодке стали стрелять. Страшно было Татьянке и в то же время весело.

Уж вот она будет хватать, когда отыщет Мишу! Ее обстреливали, как настоящего контрабандиста!

Надо только сильнее грести! Ого! Пуля расщепила борт! И вдруг стало темно в глазах, круги, круги пошли... Но ведь если бы попали в нее, было бы больно?

Сильнее, сильнее надо грести! Берег, берег уже видно... Еще одно усилие — и Миша протянет ей руку, и поможет выйти из лодки, и скажет ей: «Молодчина у меня сестренка!»

Но жердь уже давно выпала из рук в воды Днестра. Лодка, делая медленные круги, плыла по течению. Не стало Татьянки, отчаянной, гордой девчонки...

— Лодка непременно застрянет на отмели, — сказал солдат из пограничной стражи, вешая на плечо винтовку. — Проверь, может быть, это контрабандист и нам есть чем поживиться...

Не знал ничего этого Миша и жил уверенностью, что его ждут, что рано или поздно он встретится со своими родными... Ему часто снилось, что он дома, и мать заботливо смотрит на него, и Татьяна слушает с обожанием его рассказы, а отец молчит и пыхает своей коротенькой трубкой-носогрейкой... Миша просыпался с улыбкой и все думал, думал о них.

5

Марков получил обозную лошадь. У нее был меланхолический характер, и вся ее внешность свидетельствовала о полном равнодушии к своей судьбе.

Звали ее Зорькой.

Когда Марков вскарабкался на ее спину, она раскорячила мохнатые ноги, поникла головой и распустила губу.

«Я и это перенесу, — говорил ее понурый вид, — мне уже безразлично: тащить ли телегу по непролазной грязи или быть посмешищем кавалеристов. Я очень устала и хотела бы только одного — как можно скорее околеть».

— Ну и животная! — удивился Савелий Кожевников, взглянув на Маркова, проскакавшего мимо. — Прямо форменный верблюд!

Сказал он это без злорадства, а, скорее, огорченно. У них была настоящая дружба с Марковым. Савелий Кожевников был старше возрастом, но простодушен и чист помыслами как дитя.

Савелий Кожевников был степенным пензенским мужиком. Как его судьба сюда закинула, он и сам не мог понять. Чудной он был, этот пензяк! Всюду, куда ни попадал, разыщет непременно либо поросшего мхом ветхого старика, либо бойкую молодайку и примется выспрашивать, как анкету заполнять, о видах на урожай, о поголовье скота, когда думают косить — все подробно расспросит. А вот с географией он был не в ладах. Где он находится, на какой точке земного шара, на каком от чего расстоянии — ни в чем этом он никак не мог разобраться и все надеялся, не забредет ли ненароком, вот так-то, воюючи, в свою родную Пензу.

— Как полагаешь, сколько верст отсюда до Москвы? — спрашивал он иногда Маркова, задумчиво глядя в степную даль.

— А тебе зачем, дядя Савелий?

— Так, любопытствую.

— Верст с тысячу.

— С тысячу?! А до Волги?

— До Волги еще дальше.

— Вре-ешь! А до Сибири?

— До Сибири и вовсе далеко.

— Но-о?

Савелий некоторое время молчал, мысленно рисуя себе все эти пространства.

— Как человек разбросался по земле!

Савелий Кожевников не меньше Миши был огорчен обличьем Зорьки. Когда Марков

пускал ее в галоп, зрелище было действительно запоминающееся. Зорька шла боком, как краб. Пускаясь галопом, она почему-то обязательно начинала мотать головой и фыркать, одновременно вскидывая тощим, мухортым задом. При этом она производила необычайный шум. По топоту можно было подумать, что гонят целое стадо. Проскакав некоторое время, Зорька покрывалась испариной, бока ее вваливались, ребра выступали наружу... И тут уже ничем нельзя было ее расшевелить. Несколько минут она еще двигалась вперед по инерции, еле переступая, потом и вовсе останавливалась, уныло уставясь в землю.

Маркова охватывала нестерпимая жалость и вместе с тем острый стыд. Жалко ему было это несчастное, загнанное животное, прошедшее через все испытания: голод, холод, мобилизации всех проходивших через деревню воинских частей, начиная с батьки Махно и кончая разбойничьей шайкой какого-нибудь Лихо или Кириченко. Все ее били, все погоняли, и никто не кормил.

Однако, представив, до чего комична его фигура на этой кляче, Марков испытывал стыд. Приятно ли быть посмешищем, да еще в его возрасте! Чуть не плача от жалости, Марков давал Зорьке шенкеля, рвал ей губу, врезался в бока шпорами... Никакого впечатления! Зорька только мелко подрагивала кожей. Ее и не так били.

— Сенным конем не ездить, соломенным не пахать, — сочувствовали кавалеристы Маркову.

— Что правда, то правда, — вздыхал Савелий Кожевников. — Кляча возит воду. Лошадь боронует и пашет. Добрый конь ходит под седлом. Каждой твари свое назначение.

Марков пробовал кормить Зорьку двойными порциями, памятуя, что коня надо погонять не кнутом, а овсом. Но от обильного корма Зорька только вздувалась, становилась шарообразной и еще более добродушной.

Марков страдал. Каждый раз он еле мог заставить себя появиться перед отрядом. Он скромно занимал свое место, искал случая отправиться куда-нибудь с поручением или уйти в разведку. Да и в разведку его не брали: в разведке вся надежда, что конь вызволит.

Постепенно Марков растил ненависть к Зорьке. Она его оскорбляла! Он ненавидел в ней нечто большее, чем просто плохую лошадь. Он ненавидел в ней все горькое и обидное, все прошлое ненавидел он в ней.

Лучше бы никогда и не было в природе этих жалких вырожденков, этой злой насмешки, этого шаржа на благородное, красивое животное! Но вот по иронии судьбы появилась такая лошаденка на свет, появилась она в жалкой загородке, которую едва ли можно назвать конюшней, в грязном закуте, где не просыхает навозная жижа, где ветер задувает во все щели и хлещет дождь. Что дальше? Скучный корм, надсадная работа, удары кнута, дрянная, натирающая мозоли упряжь... Много раз опоена, редко подкована, копыта сбиты, бока исполосованы, грива спутана, хвост в репьях...

Маркову она даже снилась. Тогда он просыпался, лежал и думал, какой он несчастный, что ему досталась такая лошадь... Но, конечно, и обижаться не приходится, потому что разве можно сравнить его и Котовского! Его и Нягу! По Сеньке и шапка, как говорит пословица.

Савелий Кожевников жалел парня и отвлекал его мысли разговорами на разные темы. Начнет, начнет рассказывать — век его слушай — не переслушать. Марков любил его немудреную речь, его присказки.

Воевал Савелий хозяйственно, степенно, терпеть не мог удачества. И всегда-то он что-то ладил, что-то мастерил, этот Савелий. Ему и другие отдавали то починку, то поделку. Он никогда не отказывал.

— Конечно, приходится, а то бы я ни в жисть не воевал, — рассуждал он, подшивая уздечку. — Война — занятие разрушительное, а я плотник, я строить люблю. Но, по-моему, так: ежели ты уж начал воевать, то воюй прилежно и с пользой для отечества. Надо хорошо воевать. А конь у тебя никудышный, что правда, то правда. Он... как бы тебе это правильно обсказать... он вроде как мужик, которого напасти одолели. Был у нас на деревне такой. Ну просто удивительно, сколько несчастьев выпало человеку! Он и тонул, его и волк брал. Раза три нишал от пожара. Только поправляться начнет — беда бедованная раз его по темечку!

Женился — баба в родах померла. Сына вырастил — сына в тюрьму взяли. И все так. Если падеж начался, у него у первого корова падает. Случись недород — у кого, у кого, а у него в поле ни былинки. Пришел как-то ко мне. Смотри, говорит, на меня, сват Савелий. Я, говорит, всю Россию в своем лице представляю, вся Россия такая несчастная. А потом пошел и повесился на сеновале.

Были у Савелия на все случаи такие притчи и примеры из жизни. Большею частью это были невеселые истории. Рассказывал он их певучим, приятным голосом, и сам он был благообразен: волосы расчесывал на прямой пробор, светлая бородка у него была реденькая, но аккуратная, глаза бледно-бледно-голубые, почти бесцветные. У него была иконописная, скитская красота. Казалось, дай ему посошок — пойдет он странствовать, никуда не спеша и умиляясь на красоты природы.

На что уж, кажется, любил Котовского Миша Марков, любил как отца, как учителя, как только может любить и обожать юноша такого героя. И все же понимать по-настоящему Котовского научил его Савелий.

— Это всегда, — говорил он, — для настоящего дела настоящий водитель найдется. Выищется, народная волна поднимет. Вот и наш командир такой: для победы он нужен, чтобы гнать врагов-басурманов, рубить их, окаянных, да так, чтобы и впредь было неповадно.

Слушал эти слова и Иван Белоусов: он тоже часто захаживал и страсть как любил речи Савелия.

— Командир наш в рубашке родился, — сказал он, — удача ему идет!

— Э, браток! Счастье не конь, хомута не наденешь. Вот заприметил я: командир наш всегда, когда ни поглядишь, правую руку то крепко в кулак сожмет, то разожмет. Сам разговаривает, ну, там, приказания дает или так о чем, а рука работает. Как ты думаешь, зачем бы это? А?

— Зачем! Привычка, стадо быть. У каждого какая-нибудь своя привычка есть, очень даже просто.

— Привычка? Привычка не рукавичка, на гвоздь не наденешь! Нет, брат, не в привычке дело. Упорство у него. Решил он, к примеру, добиться, чтобы рука у него исключительной силы была, чтобы рубить — так намертво. Понял? И начинает он делать упражнения для руки, в мускуле силу развивает. И становится его рука железной.

— Скажи, пожалуйста!

— И так он во всем. Каждую жилку, каждое сухожилие, каждую думу, каждую каплю крови для основного, для самого важного в жизни приспособливает. Не разбрасывается туда-сюда, а все бьет в одну точку. Вот и получается — удача! Удачу-то он, как кузнец, молотом выковывает! Изготавливает он удачу в поте и труде.

Вся бригада, все любили Котовского, каждый, не задумываясь, отдал бы за него свою жизнь. Каждый верил в него и понимал, что действует он так, чтобы вернее сразить врага и уберечь своих. Любили Котовского молча безрассудно и безоговорочно. А вот объяснить, что они ценят в Котовском, это сумел всех толковее сделать Савелий Кожевников, незамысловатый, казалось бы, простецкий пензенский мужичок.

Марков, вслушиваясь в его рассуждения, учился оценивать различные явления жизни.

— Дядя Савелий, — говорил он запальчиво и заранее отвергая возражения, — почему люди живут как бог на душу положит, не задумываясь, не вникая?

— Люди! — откладывает шитье и всплескивает руками Савелий. — Люди революцию сделали, вот тебе и не задумываясь! Чего люди хотят! Хотят до крика истощного, до кровавых горьких слез, до боли сердечной хорошей жизни, хоть махонький кусочек жизни такой урвать. А все нет его, счастья-то настоящего, добывать его надо! Как добывать? Смертью смерть поправ, добывать! Страдальцы большие люди-то. Жалко мне их, вот все нутро изболит иной раз, думаячи о них.

— Так как же быть-то, дядя Савелий? Завоюем счастье?

— Обязательно. А как бы ты думал? Опять я на командира нашего, на Григория

Ивановича, укажу. Как считаешь, счастлив он? Али нет?

— Конечно, счастлив! Еще бы! Такая жизнь!

— А какая? Давай разберемся. Я ведь много слышал, и о нем что говорили и сам он что рассказывал. Давай разберемся, что тут к чему, сынок. Набредли на одного счастливого человека, давай поглядим, откуда же он счастья понабрал. Может, чужую долю присвоил? Ты, никак, земляком ему приходишься? Отец его в Ганчештах жил. Говорят, там сельчане внизу, в долине, жмутся, а на горе высоченной, в самом поднебесье, стоит дворец невиданной красоты, и в том дворце живет богатый-пребогатый князь Манук-бей. И все земли вокруг — все принадлежат князю Манук-бею. И людишки все ему подвластны, потому — состоят у него в услужении.

— Правда, — пробормотал Миша, — я что-то слышал про Манук-бея.

— И в этом полоне, в самой гуще народа подневольного, служающего, родится гордый человек, мститель, пригодный, чтобы сбросить с высокой горы богатого князя Манук-бея и объявить народу благую весть: живите, люди, на здоровьице, не кланяясь.

— Да ладно, дядя Савелий! Отложи же ты свой чересседельник! После починишь! Рассказывай быстрее, а то скажешь слово — и потом жди, пока откусываешь нитку! Ну, дальше, дальше! Ну, вот он сказал народу: живите и не кланяйтесь...

— Ну вот и все. Чего пристал? Рассказал я тебе все до конца от начала. Чего же дальше рассказывать?

— Как же что дальше? А потом что было?

— Я только говорю, что счастлив человек, если живет для других.

— Но ведь когда-нибудь и для себя надо? Хоть немножко?

— Дурачок ты! Для других — это и есть для себя! Вот и выходит, что ничегошеньки ты не понял из того, что я тебе рассказывал. — Савелий вздохнул, отложил чересседельник и продолжал: — Котовский в молодые годы уже, смотри, выступает против князей нечестивых — манук-беев! Сильно серчают на него манук-беи, обижаются очень. Взять приказывают его, такого-сякого, под стражу. А его и решетки не держат, вот он какой! Дальше посмотрим. Должность он большую искал? От пуль прятался? Сыздаля грозил врагу кулаком? Вперед, мол, товарищи? Нет, он сам скачет на коне, первый бросается в битву! Опять же учти: командир, высокое начальство, а вчера смотрю: сам коня чистит. Это и значит — счастливый. Счастливый, потому что людей любит, людям служит. И нет другого никакого счастья, одно только это...

После бесед с Савелием Марков смотрел на Котовского другими глазами, с удивлением, с острым любопытством.

«Как просто, оказывается, стать счастливым! Стоит только захотеть! Почему же так мало счастливых?»

Марков даже внешне старался подражать Григорию Ивановичу. Зная, какое значение Котовский придает гимнастике, Марков стал каждое утро приседать и размахивать руками... Но мог ли он, щедушный, тоненький, как хворостинка, хотя бы отдаленно походить на могучего командира, да еще сидя на жестком хребте своей Зорьки и краснея до слез при одной мысли, что командир может заметить его, увидеть эту жалкую картину!

6

А Котовский давно его заприметил. И сразу понял, что Марков стыдится своего положения, что, еще того хуже, может стать посмешищем и что его надо выручать.

Как-то однажды потребовали Ивана Белоусова к командиру. Пробыл он там недолго и вернулся сосредоточенный и вместе с тем улыбчивый. Видимо, он чем-то был доволен.

— Чего тебя вызывали?

— Да так... насчет этого... насчет овса...

— Какого овса?

— Обыкновенного — какой бывает овес?

Так и отстали, ничего не добившись.

Вскоре Иван Белоусов, для которого не было ничего невозможного, участвуя в стычке, привел с собой коня.

Это и было поручение Григория Ивановича. Вызвав Ивана Белоусова, он сказал:

— Чего же вы мальчишку-то у меня на какого козла посадили? У себя нет — присмотрите у противника, авось там подходящий конь найдется...

Иван Белоусов отыскал Маркова. Главное, что сам он был больше всего доволен. Крикнул, сияя от восторга:

— Получай! Твоя кобыла! Своими руками ее хозяина, усатого петлюровца, на тот свет отправил вместе с усами. Иди, говорю, к богу в рай, отъездился!

Кобыла была хороша. Ровной голубой масти, она была украшена белым пятном на лбу. Она плясала, косила озорной глаз на Ивана Белоусова, болезненно чуткая к каждому движению и звуку. Навис у нее был чуть светлее стана. И вся она была вытянутая, как стрела.

Марков растерянно смотрел на Белоусова, не веря счастью.

— Зачем же ты?.. Я должен сам...

— Получай — и кончен разговор. Только, видать, капризная. С ней намаешься.

Тотчас собрались вокруг несколько ценителей.

— Дурноезжая, — сказал один.

— И, никак, на переднюю ногу западает.

— Жачистая! Ничего!

— Какая бы ни была, все лучше твоей старухи, Зорьки-то этой необразованной!

— Да уж хуже не найти! Это ты спасибо скажи Ивану, а Зорьку мы татарину отдадим на махан.

Кобылу обступили со всех сторон, хлопали ее по бокам, мяти ей суставы, толкали, заглядывали в зубы.

Наконец ей, видимо, надоело. Она прижала уши и попыталась укусить первого попавшегося.

— Балуй! — закричал кавалерист, хлопая ее легонько по розовой морде.

— Не бей! — крикнул Марков. — Не порти мне коня!

Это вызвало дружный одобрительный смех. Марков взял повод и увел кобылу.

Столько радостных хлопот! Столько бесконечных разговоров! Вместе с Марковым ликовал и Савелий. А самого Миши не узнать, так он был счастлив, так приободрился:

— Дядя Савелий! Еще ведро воды!

— Осторожней! В уши не попади!

— Где же скребница? Только что тут была!

Как выяснилось, Савелий Кожевников знал множество рецептов, примет, приемов по уходу за лошадьми. Он умел и кровь пускать, и от солнечного удара лечить, и знал средство, чтобы оводы коня не кусали.

Кобылица была начищена, намыта, расчесана и успела два раза лягнуть Савелия Кожевникова, когда он ей расчесывал хвост.

Пришел и Котовский посмотреть на приобретение. Он ничего не пропустил, все схватил внимательным глазом: и какова кобылица, и как убрана, и какую чистоту навели Савелий и Миша, и с какой гордостью они смотрели на коня.

Все понравилось комбригу.

— Вижу, — говорит, — конь попал в хорошие руки.

Миша Марков так и расцвел:

— Буду стараться, товарищ командир. А пока, откровенно сказать, не столько я, сколько Кожевников. Это он меня учит, как с конем обращаться.

— Что Кожевников учит — скажи ему спасибо. Да и сам-то конь много чего объяснит тебе за весь боевой путь, только дружи с ним.

Когда укладывались спать, Марков сообщил Савелию:

— Даю ей имя — Мечта. Потому что она и есть моя заветная мечта, которая

осуществилась.

Двенадцатая глава

1

Савелий Кожевников неожиданно нашел в бригаде земляка: папаша Просвирин был тоже из Пензы.

Фейерверкер конной артиллерии, он в 1914 году был на Австрийском фронте, к пушке относился с любовью и уважением, был такой же, как Савелий, хозяйственный, чистюля, любил порядок, благоустройство, в его артиллерийском хозяйстве в бригаде все было начищено до блеска, как у хорошей молодухи в посудном шкафу.

Приятно было посмотреть на этих двух земляков, когда они в свободный час встречались для дружеской беседы. И говорок у них был особенный, и речь нарядная, как кружева. Когда они заводили беседу о Пензе, так и хотелось посадить их на завалинку, и чтобы кругом ходили куры, и чтобы пахло с поля коноплей.

— У нас в деревне... — начинал разговор Савелий Кожевников.

— Ты мне про тимофеевку отвечай, почему ты не уважаешь тимофеевку? спорил Просвирин.

На лицах их расплывалось блаженство, они перебирали родню, обычаи, Кожевников пробовал даже петь «тамошние» песни.

Еще любил Михаил Васильевич Просвирин говорить об артиллерии, о германской войне, которую он прошел всю насквозь, от первого дня до последнего.

— Вот была война! Тридцать три государства участвовали! Тысячи дивизий сражались! Это посчитай-ка, сколько одних сапог с голенищами!

— А верно говорят, что если грибов много уродилось, то к войне?

— Грибо-ов? Грибы всегда и война всегда.

— Нет, если вот волки под окном воют, это обязательно к войне, это проверено!

— Если волки эти капиталистические, то можно ручаться, что будет война.

И Просвирин начинал свое любимое повествование о том, как прежде, до войны четырнадцатого года, артиллеристов не ценили и как война научила пушку уважать.

— Теперь говорят: артиллерия — бог войны. А прежде? Прежде артиллерия должна была пехоту поддерживать, вот и вся ее роль. Пошла пехота, а ты для большего впечатления шум создавай. До того заблуждение доходило, что говорили: дескать, уничтожение артиллерией живой силы противника — дело второстепенное! Слыхали? Второстепенное! Загremела война, начали рваться снаряды — ну, тут и поняли, какое «второстепенное»!

— От такого дела, смотри, не поздоровится, — вздохнул Савелий.

— Или тоже, — продолжал рассказывать Просвирин, — раньше, помню, артиллерийскую подготовку вели дней этак восемь. А потом новая мода пошла: пять часов долбят — и пехоту пускают... Эх, что там говорить! Воевать мы умеем. И жить тоже умеем. Да вот не нравится кой-кому наше житье-бытье. Они, как черные вороны, падалью питаются. От черных дел живут. Вот в четырнадцатом году было... при царском, конечно, режиме... Был в ту пору министр Сухомлинов. Министр-то министр, а к тому же немецкий шпион, руку Вильгельма, стало быть, держал. Та-ак! И что же он устраивал? Пушки пришлет, а снаряды задержит. А другое место — снарядами вот как снабдит, а пушки где? Пушек нет! Вот и сражайся! Воюй, когда такой министр заведется! Не дай-то бог, когда заберется такая гадина на высокий пост и начнет народ губить, пакости устраивать. Тут уж слез не оберешься!

Мастер был папаша Просвирин про войну говорить. Он и про царь-пушку рассказывал, которая не стреляет, и изображал, какой звук издает тяжелый снаряд, когда летит...

Слушали его, слушали побасенки Савелия... Смеялись дружно, в полное удовольствие. И никто не думал о том, что ждет его завтра. Приходил час шли в бой. Отдых приходил —

отдыхали. О чем, спрашивается, размышлять? Это старухи думают о смерти.

2

Беда свалилась нежданно-негаданно. Был самый обыкновенный день. Уже кончили хлопотать с конями, почистили, расчесали гривы, съездили на водопой. Уже солнце высоко поднялось над степью, и со стороны походных кухонь доносились дразнящие запахи мясного отвара и каши. Уже Савелий успел сдать заказ — вычинил гимнастерку одному коннику... Вдруг со стороны железнодорожной станции донесся рев оркестра. Чувствовалось, что музыканты дули во всю силу легких. Литавры рассыпались дробью, ухал барабан...

— Что такое? Что случилось? — выскакивали конники на улицу. — Кого это бог посылает?

Отряд высадился из вагонов, построился и так стоял, ожидая, когда его встретят. Впереди красовался командир, знаменитый одесский бандит Мишка Япончик. Слов нет, он был хорош! Так же, впрочем, как и все остальные. В малиновых шароварах, новеньких, с иголки, в ярко-желтых кожаных куртках, в кожаных фуражках...

— Одной только кожи сколько на них пошло! — досадовал Савелий.

Отряд прибыл из Одессы. Именовал он себя очень важно: «Отряд свободы». Как глянули командиры, как глянул Котовский — ну и отряд! Такого еще никто не видывал!

Все эти вояки поверх своих кожаных курток были обвешаны лимонками, пулеметными лентами, револьверами разных систем... Зрелище было необыкновенное! Нельзя было не улыбнуться, видя этот маскарад. Но тут было не до смеха... И хотя отряд приветствовали, хотя Котовский выразил одобрение, что они отказались от своего позорного ремесла и решили честно служить народу, но Котовский, произнося приветственное слово, видел, как эти «братишечки» хихикают, переглядываются, как Мишка Япончик расхаживает перед строем карманников, напыженный, как индюк...

— Наплачемся мы с этим чертовым отрядом, — сказал сразу же Няга.

Колесников предложил всем быть начеку. Положение складывалось слишком серьезное.

Папаша Просвирин только вздохнул:

— Да-а, дела!..

Котовский молчал, хмурился и все смотрел на золотой эфес.

На кого ни взгляни — весь отряд состоял из бродяг и подзаборников. У того синяк под глазом, у этого шрам на щеке — памятка от удара ножа... Рожищи самые что ни на есть запьянцовские. Глазами зыркают. Ходят вразвалку. В самую пору быть им в гопкомпании с батькой Махно или орудовать в шайке какого-нибудь Хмары, кричавшего о самостийной Украине и грабившего встречных и поперечных.

Набрали этот отряд из числа одесских воров, налетчиков, шаромыжников, из той отпетой шпаны, которая давно уже распростилась со стыдом и совестью и обременяла землю в ожидании удара финкой под ребро где-нибудь в кабацкой драке.

Пока что они, скучая, рассказывали, как у них называлось, «романы» или играли в карты. Тут были и крупные, солидные воры, и мелюзга, прихвостни, так называемые «шестерки», состоявшие на посылках у бандитов «со стажем».

С отрядом прибыл известный в воровском мире Карзубый, хладнокровный убийца, специалист по поножовщине, обошедший все тюрьмы России, и Чума страшное существо, с ленивыми, сонными глазами, с волосатыми огромными ручищами, которыми он задушил свою жену. Чума славился необыкновенной физической силой, соединенной с необыкновенной неповоротливостью.

Была у них еще знаменитость. Об этой знаменитости они говорили на своем жаргоне:

— Не видать свободы, настоящий актер! Жаль, талант по тюрьмам пропадает!

«Не видать свободы» — по смыслу означало в их среде то же, что «провалиться мне на этом месте» или «клянусь богом».

«Талант» носил на руке перстень и весь был расписан татуировкой: не человек —

картинная галерея. Ходил он в белом кителе, натянутом прямо на голое тело. На волосатой груди вытатуированы голая женщина, бутылка и бубновый туз. Надпись, наколотая во всю ширь по животу, гласила: «Вот что губит человека».

Звали этого молодчика Толик-Бумбер. У него была отвратная наглая физиономия. Он пел. Но как пел! Ненатуральным, сдавленным голосом, уверенный, что не может не нравиться, горланил так, что кони прыдали ушами:

Куплю ти-бе браслетики я с пробой,
На шейку я наблочу медальон!

В бригаде народ все простой, жизнь в бригаде деловая, строгая. И вдруг такая ватага ввалилась!

Пожалуй, всех выразительнее был сам Мишка Япончик. Приземистый, с рваной губой, заплывшими гляделками, скуластый, он напоминал гориллу и походкой и загребистыми руками, при взгляде на которые становилось не по себе.

— Симпомпончик! — первое что сказал Мишка, обращаясь к Колесникову и потянувшись к нему с козьею ножкой, когда тот зажег спичку. — Полфунта пламени! И быстренько!

— Вот что, Япончик, — сказал ему спокойным, но не предвещавшим ничего хорошего голосом Котовский, — здесь никаких симпомпончиков нет, здесь находятся командиры Красной Армии. Постарайся твердо это запомнить, потому что я не люблю повторять.

— Я могу не только запомнить, но и припомнить, — ответил дерзко Мишка Япончик.

— Пять суток г-гауптвахты! — рявкнул командир.

Япончик сразу съезжился, попробовал перевести на шутку.

Няга и Колесников переглянулись, миг — и они были около Япончика.

— Ничего себе, — бормотал явно струхнувший Япончик, — для первого знакомства...

Гауптвахты не было, и надобности в ней пока не встречалось. Однако никто и глазом не моргнул.

Няга сделал шаг вперед:

— Разрешите выполнять?

Тем временем Колесников уже обезоружил Япончика и вызвал двух бойцов. Япончик был отведен в баню и заперт снаружи. У входа поставили охрану, и надо сказать — крепкую. Учитывалось, что могут быть какие-нибудь попытки со стороны всей этой публики напасть на «гауптвахту».

Так оно и оказалось. Не прошло и десяти минут, как к бане направилось человек десять головорезов. Они размахивали руками, щелкали затворами, все враз кричали и виртуозно ругались.

И прямехонько наткнулись на Нягу.

— Стой! — была команда Няги.

И вдруг у этих «симпомпончиков» как рукой сняло и все возбуждение и всю решимость отстоять своего главаря...

Няга говорил с ними спокойно. В отдалении циркулировали «на всякий случай» Иван Белоусов и еще несколько конников.

— Извиняюсь, конечно... — бормотал один из этих сподвижников Япончика. — Но надо же это утрясти... обидно... Мы-то ничего... но как отнесутся массы?..

— За что боролись? — выкрикнул второй и спрятался за спины своих приятелей.

— Свобода совести, — вздохнул третий, весь заросший шерстью и из этой заросли вращающий белками глаз, — свобода совести, а тут сажают на гауптвахту!

Он произнес это так, вообще, ни к кому в частности не обращаясь.

Словом, они не пошли освобождать своего вожака, а тихохонько вернулись назад, там что-то такое посудачили, подискутировали, и вскоре оттуда уже послышался сдавленный, верещащий, «ну прямо как у настоящего актера», голос Толика-Бумбера:

Куплю ти-бе браслетки я с пробой,
На шейку я наблочу медальон!

В отряд Япончика ходил беседовать Колесников. Так, как будто бы и слушали его, и соглашались... но вернулся Колесников удрученный и разочарованный:

— Не верю я им, не те люди! Глаза у них фальшивые... Начнут говорить — язык какой-то вывернутый, словечки всякие, воровской жаргон, и непрерывно ругаются похабно... — нехорошая публика! Воры у них — люди, все остальные по их понятиям — черти, фраера, навоз... Случалось мне проводить беседы в различных аудиториях. Ну, например, моряки. Прекрасный народ! Правда, у них тоже встречаются этакие доморощенные «анархисты», с позволения сказать, этакие... «братишечки», которых приходится осаживать... Но это же — люди! Здоровый, молодой, смышленный и настоящий, знаете, русский народ, с его крепким юмором, с его пронизательностью, широтой... Приходилось мне разговаривать с крестьянством, с мужичками. Бывали, конечно, и недоразумения... эксцессы, как говорят... С хитрецей мужички и вопросы каверзные иной раз задают... Но там разговариваешь и чувствуешь, что и ты и твои «оппоненты» правды хотят, пусть каждый со своей колокольни судит, но он болеет за родину... он хочет, чтобы было лучше! А эти... я даже не знаю, как их назвать... только не люди... у них родины нет, у них ничего святого! Отца, матери они не помнят, а если бы и помнили — не задумываясь, полоснули бы ножом. Самое дорогое каждому человеку, прекрасное слово «мать» — у них только для ругательства... Товарищи! Что же это такое?!

Колесников был взволнован:

— Поймите, товарищи, это подонки! И нужно быть с ними осторожнее, чтобы не поскользнуться!

— Деклассированный элемент, — промолвил Котовский.

Ему невольно вспомнилась кишиневская тюрьма, и восхищавшая жуликов воровка Женька, и Володя Солнышко...

— И на черта нам их прислали! — раздраженно воскликнул Криворучко. До каких пор мы будем заигрывать с блатняками? Перестрелять бы их всех без долгих разговоров!..

Беседа была прервана появлением Ивана Белоусова. Он влетел в помещение штаба, опешил в первую минуту, увидев столько народу, а затем одернул гимнастерку и как полагается доложил:

— Разрешите обратиться, товарищ командир! Так что в деревне Рогачевке эти, в кожаных куртках, народ грабят!

Слова его прозвучали как взорвавшаяся бомба. Все повскакали с мест, схватились за оружие. Но Котовский встал во весь свой рост, расправил широкую грудь, и голос его покрыл все встревоженные голоса:

— Слушать мою команду!..

В Рогачевке дым стоял коромыслом. «Братишки» гуляли. В воздухе стоял истошный вой, площадная ругань, женский визг, выстрелы...

Вот какая-то простоволосая, растрепанная девушка вырвалась из рук солдат и убегает под улюлюканье по грядкам... Вот идут в обнимку два приятеля из отряда Япончика, оба еле держатся на ногах, и оба горланят какую-то несурязицу, воображая, по-видимому, что они поют... Из ворот выезжает телега, на которую хозяева наспех наложили подушки, кадочки, узлы с бельем и посудой, сверху посадили выводок детей — девчонок с косичками, голоштаных малышей — и нахлестывают кобылу, надеясь спастись бегством от этого разбоя.

— Дае-ешь!

— Пропадите вы, окаянные!

— Сенька-а! Самогон нашел! Айда сюда, Сенька-а!

Посреди улицы валяется безжизненное тело: не то убитый, не то пьяный. В окраинном

домике идет гульба. Захлебывается гармоника, звенит посуда... топот, рев... весь дом ходуном ходит... Весь гомон перекрывает знакомый уже бригаде сдавленный, мерзкий голос:

Вернись, отравы, помириться,
С Косым тебе недолго газовать...

В соседнем дворе происходит «реквизиция». Визжат свиньи, воеет, сидя на земле, хозяйка, и висит на перекладине ворот вытянувшийся синий хозяин дома, который не согласился добровольно отдать животину...

А издали доносится все тот же гнусавый голос:

Вернись, отравы, помириться,
С Косым тебе недолго газовать...

— Показывай, что у тебя есть из кулацкого твоего хозяйства! — командует пьяный Чума.

— Ничего там нет!

— Как нет? А кто это мычит? Может быть, я мычу? Я тебе покажу ничего нет, сука позорная! Не знаешь постановления? Нет, ты скажи, не знаешь постановления?

— Да что уж такое? Где это сказано, что нельзя одной коровенки иметь?

— Коровен-ки! Выводи корову, собачья отравы!

Ветерок шевелит волосы на голове повешенного. Из хаты выглядывают перепуганные насмерть девочки. Второй, пьяный, посоловелый Карзубый, с напускной важностью пишет. Он малограмотен. Но делает вид, что составляет «акт»...

Сам Япончик, в дымину пьяный, шляется, шатаясь, по деревне и время от времени разряжает свой кольт, нацеливаясь на окна.

Операцией руководил сам Котовский. Деревня была оцеплена со всех сторон. Когда всадники хлынули в деревню через все закоулки, бандиты моментально протрезвели и стали прятаться по чердакам, по свинарникам. Их выволакивали оттуда и вязали руки.

Один только Мишка Япончик оказал сопротивление. Он отстреливался, затем задними дворами выбрался из деревни, на железнодорожной станции захватил паровоз и с подоспевшими шестью воруями из своего отряда пытался удрать в Одессу. На одной из станций их перехватили. К этому времени раскрылось еще одно преступление шайки Япончика: убийство секретаря Одесского городского комитета партии Фельдмана. Тут же, на станции, где бандиты были пойманы, состоялся суд. Всех их приговорили к расстрелу.

В деревне Рогачевке настала тишина. Связанные громилы были тихи и послушны.

— Я их предупреждал... — хныкал неподражаемый певец Толик-Бумбер. — Я их останавливал... Но разве их остановишь? Грабь, говорят, награбленное... Позвольте, говорю, вы искажаете смысл... Куда там! Нас, деятелей искусства, слушают лишь при исполнении программы!..

«Деятелю искусства» тоже связали руки и вместе со всеми увели под усиленным конвоем. Их набралось порядочно, но после опроса свидетелей отделили пятерых: двух, которые повесили жителя деревни Рогачевка, двух, которые производили обыски и отнимали что заблагорассудится у крестьян, и пятого, гнилозубого, который изнасиловал девушку.

Наутро была построена вся бригада. Котовский перед строем сказал краткое слово — о значении дисциплины, об облике бойца Красной Армии. Затем был прочитан приказ. Перечислялись преступления этих пятерых, стоявших сейчас понуря головы. Ропот прошел по рядам:

— Душегубы!

— Бандюги!

— Чего на них смотреть? Отправить на тот свет — воздух будет чище!

И в это время прозвучали заключительные слова приказа:

«...к высшей мере... — расстрелу!»

Еще через минуту прозвучал залп. И в этот же момент прискакал всадник из пикета: петлюровцы!

Раздалась команда. С ходу пошли отбивать наступление. Что-то все чаще начинают пошаливать петлюровцы!

Может быть, оттого, что все были взвинчены, но только обрушились на противника так внезапно и таким грозным шквалом, что сразу же расстроили его ряды и гнали километров десять, усердно работая клинками.

— Ко времени эти петлюровцы появились, — говорил Няга, возвращаясь с поля боя. — Так в груди сдавило, так припекло! Когда это было слыхано, чтобы у нас такого натворили? Котовцы! Гордое слово! Воевать, когда защищаешь родину, надо с чистыми руками! Вот почему пришлось расстрелять тех пятерых. Правильно я говорю? У котовцев — незапятнанное знамя! Верно, Колесников?

Лицо Няги сияло. Длинные ресницы трепетали. Он так любил жизнь! У него не было будничных дней. Каждый день для него был новый неожиданный праздник, на который он не рассчитывал, что его пригласят, — и вдруг очутился на празднике! Кругом друзья, солнце припекает, Мальчик мчится, еле касаясь земли... Хорошо!..

Отряд Япончика перестроен. Обещают, что прежнего не повторится. Командир полка — Толик-Бумбер. Но он теперь не Толик-Бумбер, а Анатолий Глухов. Он больше не поет. Несколько суетлив, но исполнителен.

Разведка донесла, что петлюровцы готовятся дать большое сражение, они обозлены последней неудачей и хотят «проучить». Ну, это видно будет, кто кого проучит! Во всяком случае, один шанс выхвачен у них из рук — это расчет на внезапность.

Первый сюрприз, который им преподнесли, — артиллерийский обстрел мест сосредоточения противника, причем папаша Просвирин поработал на славу.

Битва разгоралась. В самую решительную минуту «отряд свободы» снялся с позиции. Это могло кончиться плохо: большой участок фронта был внезапно обнажен. Петлюровцы стреляли — ни одного выстрела в ответ. Они решили, что тут какая-то военная хитрость, что готовится ловушка. Момент ими был упущен. Котовский перестроил части.

— Братишки соскучились воевать. Братишки хотят в Одессу-маму, вежливо пояснил Толик-Бумбер.

Затем они захватили санитарный состав, повыкидывали бинты, медикаменты, убили санитаров, разогнали медперсонал и теперь размышляли, где бы им разжиться паровозом.

— Милорды! Фраера мутной воды! — кричали они красноармейцам. Похрюли в южную сторону? Идите с нами, не пожалеете! Шамовки будет от пуза и исключительно заграничных марок! Спиртяги — вагон и маленькая тележка! Лезьте прямо в тамбур! Голосовать необязательно!

Отбив петлюровцев, котовцы окружили санитарный поезд. После первых же выстрелов бандиты сдались.

— Вы бы сразу сказали, что будете стрелять, — говорили они нагло, мы бы давно сдались, какая нам разница!

Их разоружили, отправили в штаб дивизии.

Вскоре выяснилось, что поведение «отряда свободы» было не случайно: по-видимому, они каким-то образом успели узнать о меняющейся обстановке на фронте.

3

Лето 1919 года на Украине было знойное. Земля потрескалась. Много непаханных, незасеянных полей зарастало бурьяном. А где колосилась пшеница — некому было убирать. Стояла она под солнцем, никла под ветрами, топтали ее пешие и конные, мяли орудийные колеса...

Новый план нападения на эту, непонятно чем державшуюся Советскую республику

приводился в исполнение.

Десант в Одессе высадился на Большом Фонтане. Эскадра била из орудий по вокзалу. Белые ворвались в город, ловили, расстреливали, вешали, сажали в тюрьмы, бесчинствовали...

Началось!

Шарабан мой! Американка!

А я девчонка да шарлатанка!..

Хлынули на просторы Украины. Топтали поля Кубани. Схватились на Дону. С правого берега Днестра били батареи. Петлюра. Буковинский корпус. Галичане. Тютюнник и Махно.

Бандами Волынца и Ляховича разгромлены тылы первой стрелковой бригады Сорок пятой советской стрелковой дивизии. Связь с Киевом прервана. Махно занял станцию Помошную.

Стоном стонала Украина. Раскачивались на перекладинах повешенные. Горели скирды хлеба, взлетали в воздух железнодорожные мосты.

Белая армия разливалась широким потоком. И впереди наступающей армии бежали слухи, обгоняя самые быстрые разезды конницы Мамонтова.

И слухи были предусмотрены в стратегии наступления. И слухи были организованы, субсидированы, оплачены валютой.

По хуторам, по селам ходили какие-то подозрительные люди и нашептывали о «несметных силах деникинской армии», о «союзниках, которые решили все закончить за месяц»... Они терлись возле очередей, шли на рынки и ярмарки... И слухи мчались, мчались вперед, обгоняя события. Тревожные слухи! Ошеломляющие слухи! «Сведения, полученные из достоверных источников...» «Сообщения, услышанные от авторитетных лиц...» Слухи мчались по проселочным дорогам, щелкали подсолнухами на завалинках, гуляли по базарной площади, зашифровывались в дипломатических депешах...

«Шесть кавалерийских дивизий!! Бронемашины!! Паническое бегство!! Вступили в Тамбов!!»

«Пять тысяч коммунистов на фонарных столбах!!» (Позвольте, откуда столько фонарных столбов?!)

«Кутепов! Дивизия Слащева!! Ровно в полдень занята Москва!!!»

Одно было верно: белые наступали. В белом стане так велика была уверенность в близкой победе, что донецкие капиталисты обещали приз тому полку деникинской армии, который первым войдет в Москву. Этот полк получит миллион рублей царскими ассигнациями! Ни больше ни меньше!

«Приказ по Южной группе войск Двенадцатой армии.

Действующая армия. 20 августа 1919 г.

Тяжелый, серьезный момент переживает рабоче-крестьянская Советская Украина. Ее, недавно освобожденную от цепей германского империализма, от помещичье-буржуазной гетманской диктатуры, снова рвут белые банды Деникина, Петлюры при активной помощи и руководстве англо-американо-французских капиталистов. Молодой Украинской Красной Армии, защитнице трудящихся масс, приходится выдерживать злобный натиск врагов, жаждущих нашей крови, нашего горя, нашего угнетения, и в героической борьбе мы временно отходим с юга Украины с тем, чтобы, собрав свои силы в единый мощный кулак, расшибить врага окончательно, очистить Украинскую землю.

Мы пойдем на соединение с нашими братьями под Киевом, красными братьями России. Южной группе предстоит совершить боевой переход походным порядком по местности, занятой бандами.

Реввоенсовет требует от всех проявления высшей дисциплинированности; дисциплинированная армия, исполняющая незамедлительно все приказы своих руководителей и начальников, легко выйдет из любого положения.

Всякое неисполнение в походе боевого приказа будет признаваться как предательство и дезертирство и должно караться на месте самими красноармейцами и командирами.

Вперед, бойцы, нам не страшны жертвы, не страшен враг, наше дело — дело рабоче-крестьянской Украины — должно победить.

Вперед, герои! К победе, орлы!

Реввоенсовет Южной группы Двенадцатой армии»

5

В штабе было двое. Котовский задумчиво смотрел в окно и слушал, как начальник штаба излагал свою точку зрения.

Штаб бригады помещался в вагоне. В нем было душно и никогда не выветривался табачный дым.

Из окон вагона можно было видеть перрон, деревья, железнодорожные склады и раскаленное добела небо.

Начальник штаба Каменский любил точность. И он со всей беспристрастностью, со всем хладнокровием обрисовывал создавшееся положение.

В приказе Реввоенсовета все сказано! Вкратце обстановка такова: в тылу белые, на флангах белые, а больше всего их впереди. Галичане, Симон Петлюра, Нестор Махно, атаманы Маруся, Добрый Вечер, Струк, Хмара, Тютюнник, Волынец, Заболотный и еще добрый десяток — все хотят гибели советских воинов, и особенно гибели Котовского, предвкушают, как будет болтаться на веревке этот здорово насаливший им красный командир. Теперь-то ему закрыты пути-дороги! Теперь он никуда не денется! И они кружат вокруг, как голодная волчья стая.

Начальник штаба говорил обстоятельно, обосновывал свои слова фактами, старался в то же время изложить покороче, и все-таки это было чересчур длинно, если учитывать температуру воздуха и отсутствие ветра.

— Все? — спросил наконец Котовский.

— В основном все.

— Выводы?

— Вывод один: положение безысходно тяжелое.

— И так много слов ради такой маленькой мысли?

— Гриша, но ведь положение действительно таково.

— Доказывать битый час, да еще в такую жару, что нам остается одно: ложись да помирай. Стоило трудиться! Безвыходных положений не бывает, Каменский! Бывают только трудные положения. Это возможно.

Котовский поглядел еще раз в окно.

— Как ты думаешь, сейчас не меньше сорока градусов в тени? Бери бумагу, пиши: «Приказ». Написал? «Боевая слава и героическое прошлое создали в составе бригады непоколебимую веру в нашу непобедимость» Точка. «Сейчас нам предстоит совершить смелый поход и еще раз беспощадно громить врага, превосходящего нас численностью, вооружением, но не силой» Точка. «Мы сильнее, и мы победим. Вперед! В наступление!»

— Может быть, вычеркнем, последнюю фразу? — мирно предложил начальник штаба. — Ведь то, что мы предполагаем сделать, — это самое настоящее отступление.

— Отступление? Слушай, Каменский, ты случайно не из северных мест? Ты плохо переносишь жару. Что называется отступлением? Отступление — это когда враг перед нами, а мы пятимся. Вот это точно, отступление. Если же тыла нет, а враг повсюду, куда ни сунься, то движение в любую сторону есть самое настоящее наступление на врага. Приказ прочитать

в частях. Распорядись, чтобы коням выдали двойные порции овса. Завтра выступаем.

Начальник штаба был по-своему прав. Предстояло тяжелое испытание, и Каменский не закрывал глаз на то, что их ожидало. Деникин наступал со стороны Харькова, южнее стремительно двигался Шкуро, генерал Слащев захватил Николаев, галицкие части заняли Христиновку и Умань, Петлюра уже хозяйничал в Киеве... Нужно было оторваться от железной дороги, что само по себе таило много бед. Нужно было двигаться по грунтовым и шоссейным дорогам, а иногда и без всяких дорог, по степи. Нужно было вести непрерывные бои, пробиваться сквозь сытые, оснащенные вражеские полчища и упорно, наперекор всему идти на север. Да, или пробиться, или погибнуть...

Но Котовский ни при каких обстоятельствах не позволял себе падать духом. Слово «трудно» вызывало в нем протест. И чтобы вести людей почти в безнадежное дело, надо их воодушевить на подвиг, внушить им уверенность, заставить их поверить в свои силы — и тогда они преодолют все.

Котовский вызвал командира бронепоезда Куценко. Тяжелый предстоял разговор.

Куценко пришел — приземистый, литой, такой же прочный, как и его бронепоезд.

Поздоровались. И вдруг Котовский почувствовал, что не может произнести этих страшных слов, не выговариваются слова никак... Но произнести их было нужно.

— Куценко, — сказал Котовский.

И оба молчали.

— Куценко, мы с тобой много повоевали... Помнишь, к-как в Вапнярке громили врага?..

— Бывало, — сказал Куценко.

Он не был разговорчив. К тому же он понимал, о чем будет речь.

— Куценко, ты, конечно, приказ к-командования знаешь? Завтра выступаем...

— Знаю, — ответил Куценко. — Взрывчатка приготовлена...

Ну вот, и произносить самое трудное не надо. И без того обоим ясно, что надо бронепоезд взрывать.

Котовский и Куценко помолчали. Нелегко им было. Но были оба не изнежены жизнью. Умели владеть собой.

Котовский сказал:

— Пошли?

Куценко, как эхо, отозвался глухим, сдавленным голосом:

— Пошли.

Он думал, что взрывать придется еще не сегодня. Любил он свою «черепашу» нежной любовью. И должен был своей рукой уничтожить.

Они прошли по железнодорожным путям, ступая на раскаленные солнечным зноем рельсы. Вот и бронепоезд. Солидная громадина! Весь поцарапан. Стальные плиты не пробивает снаряд. Весь защищен от ударов. И весь оцетинен орудийными дулами, тонкими стволами пулеметов.

Экипаж, оказывается, предупрежден. Короткие слова команды — и все до единого выстроились перед бронепоездом, молча, без обычных солдатских прибауток. Выстроились — и смотрят, смотрят напоследок на свой бронепоезд.

Затем железнодорожный свисток... Бронепоезд дрогнул, сдвинулся и пополз...

Его вывели далеко за станцию, в степь.

— Готово! — крикнули запальщики.

Куценко махнул фуражкой. Раздался оглушительный взрыв. Огненные столбы взметнулись к небу...

Котовский увидел: у железного командира бронепоезда навернулись слезы. Он не скрывал их.

— Все, — произнес он решительно.

И стал распоряжаться погрузкой имущества бронепоезда на подводы, а Котовский вернулся в штабной вагон: было еще много дела.

Наконец-то, кажется, жара схлынула. Небо зарумянилось, зарозовело, загрузило. Поникие деревья расправили листву. Пролетел живительный ветерок. Пахло полынью, ночными фиалками, резедой. Здесь около каждого дома палисадник.

Командир идет к выходу. Вечерняя прохлада встречает его, лишь только он спускается с подножки вагона.

Давно подготовлен конь. Командир грузно садится в седло, конь переступает задними ногами, почувствовав седока, подбирает зад, делает скачок и, цокая по мостовой, идет хорошей рысью мимо станционного садика, мимо выстроившихся в длинный ряд ларей, оставляя позади себя вокзал с его запыленными окнами, с пустой буфетной стойкой и билетной кассой, которую за ненадобностью начальник станции приспособил под курятник: все равно нет никаких пассажиров и никто не покупает билетов, а только, угрожая наганом, требуют паровозов, которых давно уж нет.

6

Пустая безлюдная площадь. Ни души. Никто не торопится к поезду, никто не гуляет, никто не приходит на свидание. Попрятались. Тишина. Говорят, будут обстреливать.

«Спаси, господи, люди твоя!..»

Посреди площади Котовский круто останавливает коня. Минуту они неподвижны — и всадник и конь. Мускулы коня напряжены, он ждет малейшего знака — голоса, легкого движения повода, — чтобы с места пойти галопом или двинуться красивым и нетерпеливым шагом, перебирая ногами, как балерина, идущая на пуантах.

Всадник выпрямился, слушает. Какая тишина!

Местечко молчит. Домики жмутся один к другому, стараются быть пониже, этак понезаметнее. Лишь бы не привлечь внимания, лишь бы пронеслись грозные вихри, прогремели громы, не задев! Ставни закрыты, привернуты в лампах фитили. И собаки не лают, тоже куда-то попрятались. И деревья замерли...

Говорят, будут бить из артиллерийских орудий... Кто их знает, может, и верно... Ставни закрыты на болты.

«Пронеси, господи!..»

Котовский смотрит мимо, через них, притихших, притаившихся человечков. Он слушает далекое. Настороженность передается коню. Поднял прекрасную точеную голову, прядает ушами.

Котовский думает об Одессе, камни которой обрызганы кровью. Он знает, как действуют казачьи сотни, когда врываются в город, с гиканьем, свистом, пьяные и не знающие удержу.

А может быть, он думает и не об Одессе — обо всей нашей священной земле, которую попирают ногами недруги... Который это раз!

Когда народу трудно, смелые берут заботу о его судьбе. И не оттого ли, что русские воины не боятся умирать, великий русский народ бессмертен?

Тишина. Закат тлеет, меркнет, удушливо пахнет полынь. Так она, вероятно, пахла и тогда, когда полчища Батыя надвигались, как черная хмара, по степи и снимали наши дозоры...

Молчит степь! Что она таит, что ворожит?

А может быть, даже не о том думал Котовский в этот настороженный вечер. Он слушал далекое, смотрел в будущее, видел победу. Он не умел нести поражения. Это было просто не в его характере. Он умел побеждать.

7

Полки строились и шли. Так начался этот поход. Шли напролом, через стан врагов, по территории, занятой войсками противника.

Из состава, обслуживавшего бронепоезд, образовалась отдельная бронерота. Кроме бронероты, возглавляемой Куценко, в состав бригады влился коммунистический отряд Бирзульской районной организации. Отряд пополнился коммунистами, советскими работниками, пришедшими из Балты, Ананьева, из окрестных городков и сел. Все партийцы и активисты, не остававшиеся в подполье, присоединились к бригаде.

Отряд разрастался, и тогда был сформирован сводный коммунистический полк.

У Котовского не было тыловых, не было таких, которые бы руководили, но не сражались сами.

— Всех способных носить оружие поставить в строй, оставить на подводах лишь ездовых! — приказывал он.

И сам успевал всюду. Здесь подбадривал, там проверял. Он действовал решительно и в то же время учитывал все обстоятельства до мелочей. Он любил повторять:

— Победу обеспечивает смелость плюс точный математический расчет.

Котовский сам проверил подготовку к выступлению бригады.

— Мы немножечко обманем противника, — сказал он начальнику штаба. Зачем же с первых шагов давать возможность наступать нам на пятки? Мы оставим заслон. Пусть они думают, что мы засели, укрепились и решили отбиваться.

Противник, натываясь на мелкие наши группы, принимая их за выставленные впереди основных сил заставы, начал осторожно, планомерно, обстоятельно окружать местечко, потратив на это много времени и слишком поздно разгадав военную хитрость.

Тем временем полки шли. Никто не оглядывался. В первый же день сделали невероятный бросок, большой переход.

Позади поднимались столбы дыма. Горели склады, голубым пламенем горел спирт. Невесть откуда взявшиеся мужики лезли прямо в огонь, черпали спирт ведрами, картузами, что только попадало в руки. Вспыхивали столбом пламени и катились по земле, и слышно было, как шипело обгорелое мясо. Но это не останавливало других. Черпали, пили, упивались и тут же валялись бесчувственными телами, уставив в небо опаленные бороды. Никто не обращал внимания на разрывы снарядов.

Чьи части подошли к местечку и обстреляли его из орудий? Один снаряд разорвался на перроне. Со звоном и треском посыпались стекла. Начальник станции, кудрявый, черноусый, полз по перрону, оставляя позади себя кровавый, след. Он не стонал. Полз молча, сосредоточенно. Кругом не было ни души.

Проскакал эскадрон, замыкавший движение бригады. И уже далеко-далеко плыло над степью розовое облако пыли...

Бригада с тяжелыми непрерывными боями продвигалась вперед. День сменялся ночью, ночь сменялась днем. Они шли. Полыхало засушливое лето. Они шли.

По раскаленной земле, по серым незасеянным пашням шагали молча, упрямо. Вытягивали передки орудий из оврага и снова шли, измученные, с пересохшими губами, глотая горькую пыль.

Солнце пекло. Сухо трещали выстрелы. Что, опять наткнулись на засаду? Кавалеристы мчались прямо на выстрелы. Клинки мелькали в горячем воздухе.

— Ну, как там?

— Можно двигаться дальше!

Коммунисты показывали пример и вели за собой других. Они первые бросались в бой, когда противник пытался помешать движению бригады. Иногда приходилось их даже сдерживать.

Ночью бандиты вырезали заставы. Обоз, состоявший главным образом из крестьянских подвод, постепенно укорачивался и редел: крестьяне сбрасывали с телег ящики со снарядами и скрывались. Далеко им не удавалось уйти: на них охотились и атаман Ангел со своей никогда не протрезвляющейся оравой, и Заболотный, стяжавший широкую известность неслыханной жестокостью и изуверством.

— И на что надеются? — удивлялись бойцы. — Ведь на верную гибель идут!

— Надеючись и кобыла дровни лягает, — авторитетно заявлял Савелий.

— Эх, кабы сейчас дождика! — вздыхал кто-нибудь, сплевывая липкую слюну вместе с песком, который набивался в рот, в глаза, в уши.

— Кабы не кабы, стала бы кобыла меринком! — тотчас отзывался Савелий: у него на все случаи бывали поговорки.

Шутка, присказка, улыбка — и уже легче двигаться дальше.

Колесников заболел малярией, но упорно не поддавался болезни. Даже сам подбадривал других. Папаша Просвирин неумолимо хлопотал около своих пушек, доставлявших много возни. Казалось, совсем не чувствовал жары Няга. Он улыбался и сиял. Мохнатые ресницы его стали серыми от пыли. Конь тяжело дышал и непрерывно жевал железо. А сам Няга ничуть не изменился. Он не меньше прежнего любил солнце, небо, коня и так же был бесстрашен и неумолим, и голос его был так же звонок. Няга рыскал по окрестностям, никогда не давал застигнуть себя врасплох и нападал сам, не дожидаясь нападения.

— Товарищ комбриг! — ликовал он. — Смотри, какое красивое небо! Как горячая сковородка, честное слово! Можно баранину поджаривать!

Гонялся за бандитами, которых обнаруживала разведка, возвращался и говорил:

— Интересно, куда девались дожди? Наверное, все были израсходованы еще прошлой осенью.

Котовский тоже всегда в прекрасном настроении. Даже тогда, когда у него такого настроения нет. Он должен поддерживать дух бойцов. На него смотрят как на барометр. Бодрое, уверенное лицо у командира — значит, не так уж плохо, значит, нечего и унывать.

— Нам трудно, — говорил Котовский, — нас замучила засуха, извели сухие ветры, нам осточертели тучи песку. Но погода-то одна, что для нас, то и для противника. Значит, и его печет? И ему песком забивает уши, горло, глаза, как и нам? Вперед, друзья! Мы-то перенесем, мы крепкие, и у нас выбора нет. А вражина-то мучится, и, значит, жара нам в помощь служит, жара за нас, товарищи, против врага!

— Это верно, — соглашаются бойцы, вытирая пот, увязая в горячем песке, снимая облупившуюся кожу со лба, — в полдень они редко нападают, все больше вечером, по холодку. Нежные, собаки!

8

Шли упорные бои с петлюровцами под живописной деревушкой Ольшанкой.

— Встали мы им поперек горла, — говорил утром Арсентий Бобышев, чубастый Арсентий, с такими светлыми, детскими, ясными глазами, Арсентий, пришедший в бригаду из Аккермана и вместе со всеми бойцами так искренне, по-настоящему полубивший командира. — Уж так-то мы им не нравимся, этим дядькам в синих жупанах и смушковых шапках... Жарко им, поди, в смушковых шапках, а ничего не поделаешь — мода! И очень им обидно, что мы сильнее.

Арсентий Бобышев смеялся. Он вправду был силач, под стать командиру. Простецкий парень, сам своей силы не сознавал. И все мечтал, как кончится война, приехать домой, купить гармошку-двухрядку и научиться на ней играть...

— Уж так мне охота научиться! Обязательно научусь, — твердил он.

В тот же день он был убит в бою... И надо же было, угораздила пуля ему в сердце! Один только он и погиб, и еще были убиты две лошади.

За товарища, за простецкого парня Арсентия, бойцы отомстили как могли. Гнали петлюровцев до самой опушки леса и крошили. Довольствие было неважное, переходы тяжелые, но голову не вешали — слезами горю не поможешь.

Отогнали петлюровцев — значит, шабаш! Настала тишина, короткая передышка. Легли — кто где — в тени ли дерева или возле забора, в холодке. День выдался жаркий, гимнастерки были мокрые на спине, и сейчас приятно обвевало ветерком в тени и холодило

спину.

Об убитых, о смерти не принято было долго говорить. Конечно, жалели Арсентия, но что же делать? На то война! Так и не пришлось Арсентию научиться играть на двухрядке!..

Бойцы, отдыхая, подсчитывали свой «расход и приход» в результате боя, то есть сколько истрачено патронов в бою и какими трофеями удалось восполнить свое боевое хозяйство.

Постоянно двигаясь, постоянно оказываясь в самых неожиданных местах, то преследуя противника, то ловко уклоняясь от массивного удара и обманывая врага (это был любимый маневр Котовского), бригада всегда оказывалась далеко от тыла, от штабов и обозов. Да и то сказать: много ли могла дать фронту республика, которая сама перебивалась на осьмушке хлеба, сама подсчитывала каждый патрон! Котовцы привыкли сами заботиться о пополнении запасов. Убит в бою петлюровец — значит, во-первых, одним вражиной меньше, во-вторых, глядишь, патронами запасешься, а то и гранату добудешь, револьвер заведешь: ведь о гайдамаках-то все буржуазные страны заботятся, у них всегда полный патронташ. Вот и хорошо получается.

Солнце пекло. Бойцы отдыхали в тени.

Вдруг появился сам комбриг со взводом кавалерии. Соскочив с коней, они тоже подошли поближе к деревьям, в благодатную тень.

— А ну-ка, кто тут грамотен? — спросил Котовский, обращаясь к конникам. — Напишите донесение в штаб бригады для передачи в дивизию.

— Донесение? — переспросил один кавалерист, наморщив лоб.

— Ну да. Оперсводку. Побыстрее, ребятки. Вот по этим данным, протянул Котовский листок бумаги. — Надо дивизию в курсе держать.

— Давай, Матвей! — подталкивали друг дружку кавалеристы. — И ты, Иван. Письма-то жене во как пишешь!

Лица у всех были озабоченные. Выделили троих, те уселись под забором, вытащили бумагу и стали составлять...

А комбриг тем временем беседовал с бойцами, они вспоминали подробности боя.

— Сначала-то, — говорил Котовский, — они лихо навалились.

— Спервоначала-то крепко нажали, — соглашался стоявший рядом с Котовским кавалерист, немолодой уже, здоровенный дядя. — А потом мы им настроение испортили.

— Пришлось добродиям драпать! — засмеялся Котовский. — Трудно им удержаться, недаром они прозвали нас «дикой дивизией».

— А то и армия! Говорят, у Котовского целая армия. Я сам сколько раз от пленных слышал.

— У страха глаза велики, — подтвердил Котовский.

Что нравилось бойцам в командире — это простота его в обращении с людьми. Был он со всеми одинаков. Для него не существовало более уважаемых и менее уважаемых, более ответственных и менее ответственных. Со всеми он был прост, строг, требователен. И ко всем удивительно внимателен, бережлив. Сразу заметит перемену, сразу увидит, если человек расстроен. Не отмахнется, не отмолчится.

— Что случилось? Выкладывай.

И не было для Котовского мелкого, незначительного. В самом деле, есть ли что-нибудь более значительное и драгоценное, чем человеческие печали, тревоги, надежды и сомнения? Обхватит за плечи (никогда не было случая, чтобы Котовский отговорился тем, что занят, видите ли, важными, государственными вопросами, что ему сейчас не до того, не до мелких делишек мелких людишек) — обхватит за плечи, выслушает все без наигранности, с настоящим человеческим участием. А что может быть дороже для каждого?!

— Что, конь у тебя пришел в негодность? Что, письмо плохое подучил из дому? Да ты радуйся, что отыскало тебя в такое время... Изба сгорела? На улице семья очутилась? Попробуем что-нибудь сделать. Ты откуда родом-то? Там что. Советская власть сейчас?

И адрес запишет, и никогда не забудет написать по этому адресу.

Котовский никак не мог представить, что человек может поступить скверно. Как же

забыть о высоком долге, о почетной миссии советского воина? Нарушителей жестоко карал, все знали такие вспышки комбрига. Но во всех поступках Котовского основой была человечность, служение истине. Вот почему и гнев комбрига понимали бойцы. Он был справедлив.

Он всех помнил в лицо и даже знал, кто чем дышит. Жалел и любил людей. Бывало, окликнет Костю Гарбаря, мальчика, усыновленного бригадой:

— Ну, герой! Растешь? Я заметил, музыку любишь? Хорошо это. Расти, сын! Вот ты и голубей любишь. Тоже хорошо. Так прикидываю — должен из тебя человек получиться!

Трудный поход продолжался. Выпадали дни, когда бандиты делали налеты подряд по пять, по десять раз — только успевай закладывать патроны. Одно никогда не удавалось противнику: застать врасплох, вызвать смятение. Еще не удавалось этим многочисленным бандам разгадать намерения комбрига.

Котовский внезапно менял направление, форсировал с бригадой реки и взрывал мосты... Переправлялся вброд, заставляя противника искать бригаду на том берегу... Котовский появлялся там, где его не ждали, и тут уж не давал пощады. Он первый бросался на расстроенные ряды противника, кавалеристы не отставали — и не выдерживали враги стремительного натиска. Их гнали, преследовали, но только в меру необходимости, чтобы расчистить дорогу, чтобы открыть отступающим частям путь.

Легко сказать — выйти из окружения таким крупным соединением! Выйти и не растерять по пути ни артиллерии, ни обозов!

Можно представить, какие вереницы подвод двигались по проселочным дорогам, по разбитому шляху. Когда только начинался этот поход, начальнику снабжения приказано было начальником штаба дивизии Гарькавым «отделить наиболее ценные грузы и жизнеприпасы из расчета на две недели и переправить их в Балту». В Балту же заранее выслать расторопных людей, которые бы добыли до трех тысяч подвод. К этим трем тысячам подвод присоединялись восемь грузовых автомобилей, изъятых из автороты. (Нельзя сказать, чтобы дивизия была «моторизованная»! Восемь, всего восемь грузовиков!)

Подводы надо было собрать, надо было обеспечить лошадей и ездовых питанием, надо было разбить всю эту массу крестьянских телег и колымаг на обозные колонны и тогда уже двигаться в путь!

Обозы двигались. Чтобы затруднить преследование, взрывали железнодорожные пути. Небо полыхало зноем. Пахло горькой полынью.

9

Марков мучился со своей норовистой Мечтой. У Мечты заметно портился характер. Она капризничала, упрячилась, злилась. Она выбирала удобный момент и сбрасывала седока. А то закусывала удила и несла Маркова по степи, по кустарникам, по пескам и буеракам. У самой пена разбрызгивается, пот прошибает, но скачет, чтобы досадить.

— Экой ты! — терпеливо объяснял Мише Савелий Кожевников, когда Миша возвращался с такой вынужденной прогулки. — Разве можно так? Руки должны быть мягкие. Руки — поощрение. Ноги — приказ. Ты губу не трогай, она обижается, когда ей губу трогают. И ни за что не показывай, что она вывела тебя из терпения. Она баловать, а ты настаивай, настаивай на своем, твердостью ее подчиняй.

Мечта как будто поставила целью устраивать неприятности Маркову. Она была очень умна, эта bestия! Она изучила все его повадки, знала каждое его движение. Она наперед предугадывала его намерения. Иногда она прикидывалась послушной, уж такой послушной — Марков прямо не нарадуется. Она спокойно давала сесть в седло, шла красивой рысью — а ведь она была красавица, все это признавали! Марков начинал уже думать, что отношения у них налаживаются, и гордая улыбка играла на его лице. Но тут-то она и преподносила ему какую-нибудь каверзу!

Она презирала его. Все ее поведение говорило:

«Что вы мне подсунули какого-то мальчишку? Дайте мне достойного, солидного седока!»

У нее портилось настроение, как только он появлялся поблизости.

С завистью приглядывался Марков, как скачет Котовский. Красивое зрелище! Впечатление получалось такое, что они вместе думают и решают, как поступить дальше — и конь и седок. Это была дружба, фронтовая дружба коня и всадника, когда оба понимают, что выпало серьезное испытание, и нужно его выдержать, и нужно друг друга выручать.

— Человек мелкий, пустяковый никогда не будет ездить, — говорил задумчиво Савелий. — Себя расти, тогда и коня воспитаешь. Характер надо вырабатывать.

— А разве я не вырабатываю? Не хуже других держусь.

— Значит, старайся держаться лучше других. Молодой ведь!

В этих горестях и разочарованиях, сменявших рождающуюся надежду, Марков не так тяжело переносил трудности пути. Внимание отвлекалось от личных лишений и невзгод. Он весь поглощен был заботой, как бы приручить к себе непокорную Мечту.

Испытывая жажду, он думал о жажде коня. Небось каково коню сидеть на жесткой норме, на пайке, который устанавливает непреклонный Няга всякий раз, когда они добираются до воды, а это случается далеко не часто! Полведра на коня, котелок на человека! И все равно, любой колодец бывает вычерпан до дна. Хорошо еще, если попадется на пути речка, но и тут не сразу доберешься, потому что все бросаются пить.

Марков неизменно думал сначала о коне, потом уж о себе. Если уставал, то спешил поскорее дать отдых Мечте. Несмотря ни на что, он любил Мечту. Он очень любил ее. Он только и высматривал, где бы раздобыть для нее чего-нибудь вкусного. Не задумываясь над тем, что может нарваться на засаду, отпускал коня на траву, выискивая хорошую поляну. С каким азартом она щипала траву! Как работали ее челюсти! Марков делился с ней хлебом, приучил есть сахар...

Вырвавшись вперед бригады, беспечно мчался он к хутору в один из этих душных, невыносимых дней.

Он умел теперь быстро выхватывать клинок, знал правило: если в тебя прицелились и ты прицелился — выстрели первый. Он отвык бояться. Выработалась зоркость, появилась наблюдательность, потому что все это было жизненно необходимо, без этого человек быстро погибал.

Завидев хутор, Миша возликовал, дал шенкеля и помчался к хутору прямо через поле, хлебами: он уверен был, что около хутора окажется колодец и что ему удастся первому напоить коня.

Хутор был брошен. Настежь распахнуты двери. У крыльца еще не завял березовый зеленый веник. Должно быть, наломан сегодня, но вряд ли успели им подмести пол. Ни кур, ни коровы, ни дворового пса, хотя в собачьей будке еще свежая подстилка. Несколько поленьев валяются у сарая. К толстому чурбану приставлен старый, ржавый колун. Кто-то собирался наколоть дров, но так и не наколот и поспешно покинул хутор. Огород возле дома. И даже сохранились на влажной земле между политых гряд следы башмаков хозяйки дома. Только что отцвел мак. Никнут тяжелые головы подсолнухов.

Какая печальная картина! Какое безмолвие! И каждая вещь рассказывает о чьей-то простой и домовитой жизни.

Марков все это охватил быстрым взглядом. И прежде всего заметил колодец — большой, прочный, с журавлем и ведерком, болтающимся на веревке.

— Есть!

Марков спрыгнул с коня и подбежал к колодцу. Как много воды! Какая приятная свежесть и сырость веет оттуда! Марков слышал уже топот и голоса. Конники были близко.

Зачерпнул ведром, так что расплескалось. Капли, падая вниз, звенели и сверкали в прохладной зеленоватой полутьме, как звезды.

Мечта, подрагивая кожей, чтобы отогнать мух, шагнула ближе и тихо заржала.

— Ах ты, миленькая моя! Небось рада-радехонька? Пей! И зачем ссориться? Небось

вкусно? Пей сколько хочешь! Ты знаешь, как я тебя люблю!

Он даже позабыл в этот момент, что сам умирает от жажды. Он так радовался, что Мечта подошла к ведру воды, красиво и трогательно вытягивая шею. Он смотрел, как она пьет. Ведро он поставил на краю колодца и видел, что голова лошади отражается внизу, в квадрате отсырелых замшелых бревен сруба, там, далеко внизу, где чуть поблескивала вода.

Мечта глотала шумно, громко, с каким-то даже бульканьем в горле и животе. Повидимому, она была очень довольна и благодарна. Она на минуту оторвалась от воды и ткнулась розовой мокрой мордой в рукав гимнастерки Маркова, как бы говоря:

«Ладно, мол, чего поминать старое! В общем-то ты, Марков, хороший парень, и у тебя доброе сердце!»

В это время Марков увидел вдали пилотку командира эскадрона. Еще минута — и колодец будет взят под контроль. Полведра воды на коня, котелок воды на человека!

Марков выплеснул остатки воды в ромашки, росшие у колодца, и зачерпнул еще полное ведро. Глаза его неотрывно, жадно смотрели на прекрасную, студеную, прозрачную воду. Не отхлебнуть ли хотя бы глоток самому? Однако он выдержал характер:

«Дам еще ей, а потом уж...»

Он поставил ведро опять на краю сруба:

— Пей, да побыстрее, не то попадем на норму!

Он оглянулся, удивленный, что Мечта медлит. Что это?! Он даже не узнал лошади; глаза у нее помутнели, она как-то странно скалила зубы... Затем стала падать, падать... и рухнула на землю, вытянув ноги...

Марков стоял окаменелый и в ужасе смотрел. Сначала он ничего не понимал. Что случилось?

Она еще была жива. Пена шла у нее изо рта. Они встретились взглядами. Она упрекала!

Что он наделал?! Вода отравлена! Это не первый случай, и ему следовало быть осторожнее. Марков понял весь ужас происшедшего, и отчаяние охватило его:

— Лошадушка! Милая! Прости, ради бога! Ну как же это так? Что я без тебя буду делать?!

...Когда у колодца собрались конники, они увидели дохлую лошадь, которую целовал в морду и в белую звезду на лбу, обливаясь слезами, молодой боец.

10

Наскочили чеченцы, великолепные всадники и отчаянные головы. С диким гиканьем летели они в бой, в бешметах, в огромных косматых шапках.

— Алла!.. Кьяфр!.. Шайтан!.. — вырывались у них бессвязные выкрики.

С ними дрался батальон Сводного коммунистического полка. У чеченцев были большие преимущества: и кони у них были — не кони, а звери, и к тому же всадники подкрепились не только бараниной, но и достаточными дозами самогона. У них кровью налились глаза, пьяный угар привел их в иступленное состояние. Противостояли этим полудиким рубакам измученные переходами, но сильные духом, бесстрашные люди — большевики, все как один готовые умереть за свои убеждения.

И они одержали верх, обратили в бегство горцев, но дорогой ценой: многие в этой схватке нашли геройскую смерть, остались в степи навеки.

Дорога снова была свободна. Снова шли конные, передвигались пехотные части, грохотали патронные двуколки, артиллерия, обозы.

Солнце пекло. Небо плавилось, как голубая сталь. Позади движущейся колонны стояло желтое облако пыли.

Никогда и никто не видел на лице Котовского отчаяния, растерянности или заметных следов усталости. Каменский спрашивал его удивленно:

— Откуда берутся у вас силы?

— Если я устану, то что же тогда остальные? Они свалятся с ног! Если же я буду бодр и

непреклонен, некоторые могут себе позволить не больше, чем чуточку устать.

— Да, это верно, — согласился начальник штаба. — Я по себе это чувствую. Взгляну вперед: командир бригады скачет на коне, в любую минуту готовый отбить нападение, сильный и свежий. Ну, тогда и я подтягиваюсь. Глядишь — и опять ничего, опять можно терпеть.

— Вот со снабжением у нас из рук вон плохо, — сказал Котовский, взглянув на тощего коня в обозной подводе.

Каменский вздохнул:

— Главная беда в том, что приходится делать внезапные броски, изменять направление, появляться то там, то тут... А какие переходы-то отмахиваем! Мы всегда оторваны от дивизионных снабженческих подразделений, всегда на «подножном корму». Живем трофеями, чем поживимся у врага, ну, и, конечно, местное население поддерживает. Кони совсем выбились из сил.

— Я разрешил заменять негодных в помещичьих усадьбах.

— Если бы ограничивались помещичьими усадьбами... — сказал Каменский и замолчал.

Его тревожный тон и то, что было им недосказано, — все это заставило Котовского насторожиться. Он побеседовал кое с кем из коммунистов. А тут и в приказе Гарькавого был сигнал: Гарькавый приказывал пресечь мародерство.

На первой же остановке Котовский отдал приказ: расстреливать без суда замеченных в грабеже и мародерстве красноармейцев; начхозов, не обеспечивших части фуражом, тоже расстреливать!

Когда приказ был подписан, начальник штаба сказал:

— С начхозами-то мы, пожалуй, перегнули палку.

— Перегнули? Еще покрепче надо было сказать! — сразу вскипел Котовский. — Вообще-то можно понять, как трудно красноармейцу, если конь у него падает, загнан, вышел из строя вследствие недокормов, непрерывных боев, переходов. А мы ему, красноармейцу, ничего не даем, н-ничем не обеспечиваем. Куда ему деваться? Что делать? Поневоле полезешь в чужой двор...

— Что верно, то верно, снабжать надо, — примирительно сказал Каменский, — но и положение начхозов незавидное — ведь мы-то в кольце? Деревни-то обескровлены? Разграблены?

— И все-таки воевать будем, в бой на конях мчаться будем и, хоть разразись небо и з-земля, — будем побеждать!

II

Колонна упорно двигалась вперед, неуклонно держала путь на север. Котовский говорил бойцам:

— Вы сильные! Вы все можете!

И бойцы верили, что они сильные, что они все могут. Да! Они все могли!

Когда подошли к большой живописной Песчанке, был субботний день и по всей деревне топились бани. Шла война. В кровавых битвах исчезали целые дивизии. С места на место передвигались фронты. Содрогалась земля от взрывов. Но в Песчанке с наступлением субботы (банный день!), невзирая ни на какие мировые потрясения, должны были топиться бани.

Плечистый здоровяк Колесников примчался полный воодушевления к комбригу и уговаривал его попариться:

— Баню я высмотрел — честное слово, лучше не бывает! Полок белейший, выскоблен, вымыт, так и манит забраться на него и нахлестать спину и бока горячим веником! И чтобы пар стоял такой, что света божьего не видно, и чтобы дух захватывало, и чтобы покрикивать: поддай! поддай еще! Это же сказка!

Мог ли Котовский отказаться от такого удовольствия?!

Баня и на самом деле оказалась замечательной: пол деревянный, лавки широкие, котел вделан в печь необъятный, воды сколько душе угодно и веники припасены.

Ну зато и мылись же они! Мыльная пена ручьями стекала под пол. Камни, наложенные в печь, раскаленные, пышущие жаром, шипели, когда в печку выплескивалось с размаху ведро воды. Пар со свистом вырывался оттуда, обжигая ноги, и устремлялся вверх, к потолку.

— Еще ведерко!

— Ну и баня! Красота!

В это время дверь распахнулась, и в клубах пара появился ординарец:

— Товарищ командир! Петлюровцы!

Как бы в подтверждение его слов где-то совсем близко застрекотал пулемет.

— Принесла нелегкая... Жди с конем на опушке! Нечего делать, окатимся да одеваться...

Кто-то проскакал мимо. Где-то ухнула трехдюймовка. Кто-то под самым окном закричал:

— Тикай!.. Тикай, Галька! Щоб воно сказылось!

Котовский застегивал рубашку, когда в баню ворвались двое петлюровцев, оголтелые, сгоряча и сдуру. Вбежав с улицы после яркого света, они не могли ничего различить. Да если бы и могли, то не успели бы. Щелкнуло два выстрела, и оба они упали и запрудили телами стекавшую мыльную воду.

Котовский и Колесников перепрыгнули через трупы и выскочили в предбанник, а оттуда на улицу.

Какое яркое солнце! Как дышится!

Котовский глянул направо, глянул налево. Он с одного взгляда оценил обстановку: главная улица занята противником, на северной окраине залег полк Колесникова, туда уже помчался и он сам. Это хорошо. Оттуда можно попробовать отбросить противника. Стало быть, добраться огородами и дальше, осиновою рощей, до своих и, не теряя времени, — в атаку.

Как обрадовались котовцы, увидев обоих командиров!

— Живехоньки!

Очутившись на коне, Котовский вдохнул полной грудью горячий воздух и такие мирные, не вяжущиеся с обстановкой боя запахи укропа, конопли... Котовский поправил фуражку. Его голос, самый вид его, самое его присутствие вносили уверенность и успокоение. Кое-кому уже было неловко за минутную растерянность и отсутствие инициативы.

А вот и сияющий Няга проскакал со своим эскадроном по мелкому кустарнику, отрезая Песчанку с южной стороны.

— Бойцы! — воскликнул Котовский. — Бани натоплены в Песчанке. Неужели париться в них будут эти бандиты, а не мы?! Неужели мы уступим им наши веники? Смотрите сами, как лучше.

И так показалось обидным, что срывается отдых, который все предвкушали, вступая в Песчанку...

— И то правда! В кой-то веки собрались... Вши заели...

— Ребята, что же мы глядим?

Над Песчанкой там и тут кудрявились дымки. Бани действительно топились.

Бани ли решили дело или вообще котовцы не любили уступать, но к вечеру Песчанка была очищена от петлюровцев и бойцы с вениками под мышкой отправились париться.

И еще были бои. Бригада проходила через леса и овраги, мимо сел и городов, с их нарядными улицами, старинными часовнями, с тихими, заросшими бузиной кладбищами, с кирпичными трубами сахарных заводов...

И вдруг натолкнулись на непреодолимое препятствие: станция Попелюхи отбивала все атаки, не давала даже приблизиться. В обозах первой бригады произошла паника, когда

начала бить артиллерия противника. Обозы завернули и в беспорядке помчались в сторону Песчанки...

По-видимому, задача противника была заставить Котовского идти не по тому маршруту, какой он избрал и какой был единственно правильным, а так, как было выгоднее для петлюровцев. Они сосредоточили на станции Попелюхи войска, артиллерию, да и позиция давала им преимущества. Между тем Котовский понимал, что идти надо только через Попелюхи. А раз так, значит, они и пойдут через Попелюхи, какой может быть разговор!

Людей было маловато для охвата Попелюх. Котовский создал отряды из своих обозников и штабистов. Всех поставил под ружье. Он сумел их так настроить, что писаря, ездовые — все готовы были доказать, что и они не лыком шиты.

Усталость чувствовалась в бригаде. Котовский объезжал свои части на добытом в пути трофейном форде. Конечно, он предпочел бы хорошего коня, но ффорд тоже действовал на психику. Котовский говорил бойцам:

— Смотрите, как враги улепетывают, побросали даже свои форды! Капиталисты на них не нападутся! А форды и нам послужат!

Котовский умел пошутить, вызвать улыбку. Смех освежает, дает бодрость и хорошую зарядку.

Комиссары ежедневно проводили беседы. Умели они затронуть в бойцах какие-то душевные струны. Говорили просто, доходчиво: контра, мировая революция, беднота, золотопогонники... Это были всем понятные слова. Они звали к борьбе и победе.

Вечером Котовский пересаживался с ффорда на пулеметную тачанку и отправлялся прощупывать фланг противника.

— Мы-то пробьемся, — говорил он озабоченно, — обоз бы выручить, без обоза нам никак нельзя!

Во время одной из стычек под Котовским был убит конь. Котовский сменил коня и поскакал дальше. Недаром враги считают, что его пуля не берет! Одни думают, что он заговоренный, другие уверяют, что у него под рубашкой кольчуга. Котовский только смеется:

— Бойся дальней пули, близкая пуля не убьет.

И вот ему удается вселить уверенность в каждого бойца, наполнить сердца отвагой, создать такой боевой дух, который пробивает бетон и железо, одолевает каменные стены и глубокие рвы.

Иван Белоусов высмотрел удобный овраг, позволяющий вплотную подойти к позициям противника. Няга уже лазит по тылам и наводит панику на штабы врага. Папаша Просвирина — человек экономный, но на этот раз вздохнул и сказал:

— Разживемся где-нибудь еще, а пока что лупите от всей полноты артиллерийского сердца! Огонь!

Отличительной его способностью было умение использовать свои пушечки, как он говорил, на все сто: пристреливался к цели, а потом обрушивал в эту точку сосредоточенный огонь, такой, что нельзя было различить отдельных выстрелов.

Через двое суток котовцы ворвались на станцию Попелюхи. Да ведь у них и не было другого выхода. Им нужно было пробиться во что бы то ни стало!

Станция взята. Громыкает обоз через переезд. На железнодорожных путях бойцы обливают керосином вагоны и поджигают их. Бронепоезда набивают снарядами и взрывают. Паровозы пускают навстречу один другому. Грохот. Взрывы. Горят пакгаузы. Возле железнодорожной насыпи много трупов, здесь оказано было особенно яростное сопротивление.

Ведь казалось, что совсем замкнулось кольцо, враги были позади и впереди, слева и справа! Но Котовский сумел нащупать уязвимое место, на станции Попелюхи колонна прорвала окружение, уничтожила все, чтобы не досталось врагу, перевалила через железнодорожную линию и двинулась дальше. Противник не успел даже разобраться в обстановке и не понял, что котовцы уже далеко.

— Теперь мы можем сказать уверенно, что достигнем нашей цели! торжествовал

Котовский. — Пока враг почесывает ушибы после Попелюх, мы уже будем за Бугом!

— Эх, снарядов я мало запас в Попелюхах! — ворчал Просвирин. Времени было в обрез, а то бы я, конечно, не растерялся!

Позади слышны были артиллерийские залпы: это, не разобравшись, деникинцы били по петлюровцам, а петлюровцы открыли убийственный огонь по деникинским окопам. Своя своих не спознаша!

Несмотря на все трудности, на все потери, на все страдания, люди двигались вперед, враги кружили вокруг, но Котовский избегал столкновения, где ему было это невыгодно, и нападал там, где его не ждали.

Постоянно находясь в движении, проверяя состояние обоза, воодушевляя бойцов, давая наказы кавалеристам, Котовский не находил времени для раздумья. И так неожиданно напомнил ему Чобра о том, что ныло в груди: о Бессарабии, о далекой родине!..

Чобра не видел его. Он медленно двигался по дороге. Конь у него хотя и привык уже ко всем испытаниям, однако сильно сдал — и поступь была не та, что прежде, и глаза стали печальные. Оводы одолевали, но конь и от оводов отбивался лениво.

Чобра не видел Котовского. Он погружен был в свои думы. Он тихо напевал старинную народную песню, молдавскую дойну.

Котовский придержал коня. Ехал так, чтобы Чобра его не заметил. Чобра пел:

Лист зеленый бараболя,
Поет Раду на чимпое;
Запевает дойну горя.
Пусть сгорит чокой богатый,
Что оставил нас, проклятый,
Без одежды и без хаты...
Волки пусть пожрут бояр,
Что несут войны пожар;
Пусть их смерть жестоко бьет,
Чтоб не мучили народ...

— Здравствуй, Чобра! — окликнул наконец Котовский. — Тоскуешь? Чобра ничего не ответил. Только вздохнул.

— Нельзя унывать. Думаешь, мне не трудно? Все равно наша возьмет.

— Конечно, возьмет.

— А поешь ты хорошо. Вот послушал тебя — и легче на душе стало.

— Разве я пел? — удивился Чобра.

— Конь у тебя совсем ослаб. А ведь какой был конь! Золото!

— У бедняка даже волы не тянут.

Подумал и добавил:

— Мои ноги идут на север. А сердце идет в Молдавию.

— Иногда, чтобы освободить юг, Чобра, следует двигаться на север, отозвался Котовский и пустил рысью коня.

12

Колонна двигалась по золотой Подолии. Какие раздольные места! Какие дубовые рощи смотрятся в зеркальные пруды! Здесь бы песни петь да водить хороводы... Здесь бы разводить пчел, собирать богатые урожаи... Жить бы да радоваться, варить бы медовую брагу, да растить здоровых детей, да праздники праздновать...

Но тысячелетиями вершатся кровавые дела в этом крае. Сколько раз сгорали дотла города и села на этой равнине! Пепел носился в воздухе, мертвые тела плыли по течению рек, вороны кружились над пепелищами... Казалось, навеки воцарилось мертвое молчание,

обезлюдел край. Казалось, никогда уже не раздастся здесь веселый смех, не прозвучат бодрые голоса.

Но снова наступала весна. Снова цвели луга. Приходили смелые, настойчивые люди. Там, где после набега зарастали бурьяном кучи золы, там опять возводились строения, и заботливая женская рука прикрепляла нарядные занавески к окнам, пахарь бороздил плодородную землю, девушки заплетали русые косы, и песня звучала — песня-радость, песня-раздолье, песня — народная дума!

Не хотелось врагу выпустить из рук Котовского — вот как не хотелось! Рыскали шакалы, таились в каждой балке, лязгали зубами. Но неизменно отбивалась бригада Котовского и неотступно шла по намеченному пути.

Каждое село, каждую опушку леса приходилось брать с боя. Петлюровцы бросались на них с криками: «Слава!» Неслись на вороных конях махновцы. На черном знамени у них было написано синими буквами: «Мы горе народов утопим в крови». И горя они причиняли много.

Когда в очередной схватке опрокидывали врага, его не преследовали. Зачем? Преследовать не имело смысла. Дальше, дальше! Основная цель — идти на соединение с главными силами, с Сорок четвертой дивизией, которая где-то близко. Теперь уже стало ясно, что худшее осталось позади: удалось установить по радио связь с Сорок четвертой дивизией, она спешит на выручку Южной группе. Еще одно усилие! Еще переход!

Красноармейцы выходят на шоссе:

— Даешь Житомир!

Опрокинув врага, Котовский опять сумел его перехитрить, внезапно повернув на юг. Форсировал реку Южный Буг, у села Хоцевата, и вывел этим маневром из-под удара группу прикрытия.

Житомиром овладели с ходу.

Отбившись от четырнадцати банд, пройдя четыреста километров по тяжелой, ошетиненной вражьиими штыками дороге, Котовский привел своих славных бойцов к прохладным водам реки Гуйвы.

Здесь котовцы встретились с Сорок четвертой дивизией, здесь были основные силы Красной Армии, здесь ждал сладостный отдых.

Какое счастье выбраться из вражьего стана и очутиться снова в родной семье! Несколько дней было общее ликование. Многие встретили знакомых, родных, земляков. Говор стоял. Смех вспыхивал то там, то тут.

В этот памятный день Котовский, Няга, Колесников, Криворучко и еще несколько командиров сидели в просторной гостеприимной комнате за фыркающим старомодным самоваром — чистые, распаренные после бани, счастливые, в чистейшем, выданном со складов белье. Как непривычно было обыкновенное человеческое жилище, с голубенькими цветочками обои, фуксии в глиняных горшках на подоконниках!

— Обратите внимание, — говорил Колесников, — вот уже скоро сутки мы находимся здесь — и никто в нас не стреляет. А я уже думал, что нет такого угла на земле, где бы не слышно было пулеметной очереди...

— Хозяюшка, разрешите еще стаканчик чаю!

— Пожалуйста, кушайте на здоровье!

— Обратите внимание! Оказывается, еще есть на свете самовары и приветливые хозяйки!

И все они пили с упоением чай, разглядывали белую домотканую скатерть, чашки с голубой каемочкой...

Да, конечно, было чудом, что они выбрались живыми из этого крошечного ада! Что говорить, не все уцелели, много полегло на пыльных дорогах, в степи, в придорожных кустарниках, в больших и малых столкновениях с врагами. Сейчас, когда все это кончилось, не верилось самим, что они совершили этот удивительный переход, что вырвались из объятий смерти.

— Обратите внимание! Настоящий пирог! Или это только снится?

В окна были видны милые, простые улицы, веселые деревья, не угрожающие засадой, хорошие, симпатичные деревья, растущие на радость человеку. На стене миролюбиво тикали ходики. И питья и еды было вдоволь. И хозяйка страшно волновалась, понравятся ли румяные шаньги ее гостям.

— Очень хороший город Житомир, — говорил Няга. — Здесь дают белье! Я давно не встречал городов, где давали бы белье.

13

На другой день Котовский был на вокзале. Трогательно распрощался он с бирзульскими коммунистами. Их откомандировывали для усиления Первой стрелковой бригады, и они уезжали в Малин.

Много чего испытали вместе. Беды и опасности, пережитые сообща, навеки скрепляют дружбой.

— Товарищи! — сказал Котовский. — В тяжелую минуту вы стойко шли вперед. Опасность угрожала нам со всех сторон, из всех углов и нор лезли вражьи силы, но вы ни разу не проявили малодушия. Во всем вы были настоящими коммунистами.

Произнося эти слова, Котовский подумал:

«А разве я — не коммунист? Давно бы надо оформить мое вступление в партию...»

Бирзульцы растроганно слушали. Что делать, приходится расставаться. Суровы законы войны.

— С искренним сожалением расстаемся мы с вами, — продолжал Котовский. — Но где бы вы ни сражались, на каком бы участке фронта ни оказался я нас объединяет общая цель и задача. Желаю успеха, дорогие товарищи!

И только закончил Котовский прощальное слово, как началась посадка.

Жизнь не останавливалась. Некогда было оглядываться. Пройден один этап — начинается новый. Завязываются новые бои, ожидают новые встречи.

Пришла телеграмма из штаба армии: Реввоенсовет Республики награждал славные Сорок пятую и Пятьдесят восьмую дивизии за геройский переход на соединение с частями Двенадцатой армии почетными революционными Красными знаменами. Кроме того, все бойцы, командиры и политработники Южной группы получили награду в размере месячного оклада. За боевые подвиги многие были награждены орденом Красного Знамени.

В тот же вечер Котовский долго беседовал с комиссаром. Они перебирали в памяти все события законченного похода.

— Только подумать, из какого пекла вырвались! — сказал Котовский. Но чего же там скрывать, конечно, это не все. Не раз еще придется выхватывать клинки из ножен и бросаться в атаку. Но сердцем-то мы знаем: наша правда, наша победа, наше торжество! Не сложим оружия, пока вся Советская страна полностью не будет очищена от вражеских полчищ!

Тринадцатая глава

1

Недолго продолжался отдых бригады. Вскоре Котовского вызвали для переговоров.

— Известно ли вам, товарищ Котовский, что революция в опасности, что Деникин подходит уже к Орлу, что Ленин призывает нас на борьбу с Деникиным?

— Известно, — ответил Котовский, и ему представилось страшное зрелище: с гиканьем и свистом мчатся они, поборники прошлого, захватывают город за городом, восстанавливают старые порядки, с «Боже, царя храни» и городовыми... Кого только тут нет! И Шкуро, и Бредов, и «Добровольческая» армия, и армия Донская... Офицерские полки, кадровая

военщина, лихие гусары и чванливые гвардейцы — дворянская косточка...

И Котовский повторил:

— Очень даже известно.

— Теперь дальше. В бане вас помыли? Чистое белье выдали? В смотре вы участвовали? Награды получили? Два дня отдыхали? Можно вас считать свежим пополнением?

— Определенно можно, — ответил, улыбаясь, Котовский. — Два дня! Это непозволительная роскошь. Два дня!

И котовцам было поручено сменить Третий Интернациональный полк, который отходил на отдых.

— Скажи, пожалуйста! — удивлялись котовцы, занимая позиции Интернационального полка. — Ведь вот кто они? Французы, конечно... ну и там англичане... Есть ведь среди них и англичане, товарищ командир, и немцы тоже? А поди ты — сознательные!

Савелий Кожевников заботливо осмотрел окопы. Сырые, но сделаны опытной рукой.

— Что ж, — рассуждал он, — здесь, безусловно, воевать сподручнее, здесь тебе и окопы, и всякое устройство, опять же тыл.

Восточная часть Новой Гребли занята офицерским батальоном противника — восемьсот штыков при двенадцати пулеметах «максим». Кубанская батарея на восточном берегу реки Здвиж.

Котовцы начали с того, что заняли с боем западную часть села. За остальную часть села противник цепко держался.

Теперь две воюющие стороны разделял один ряд деревенских дворов, с плетнями, курятниками и овинами.

Противник не заметил смены, по-прежнему полагал, что имеет дело с бойцами Интернационального полка.

Ночью он повел атаку. Атаку отбили, но действовали без нажима, с прохладцей, чтобы не рассеять заблуждения противника.

В следующую ночь одиннадцать раз атаковались позиции котовцев.

Каждому бойцу выдано по пяти патронов. Маловато, но достаточно, чтобы победить. Котовский приучил к экономии. Он внушал бойцам: если мало у тебя, бери у врага. Капиталисты поставляют белогвардейцам много оружия. Бей врага его же оружием!

Миша Марков, конник без коня, после гибели Мечты отпросившийся в пехотную роту, уже сделал два выстрела, и двое упали на той стороне. Привыкли там, что по ним мало стреляют, и свободно разгуливали по брустверу.

Марков лежал на животе.

Земля была влажная. Быстро смеркалось, и высыпали звезды на небе.

Пулемет строчил где-то слева. Но и это не нарушало величественного спокойствия природы.

Чертовски хотелось курить. В Житомире выдали махорку, по две пачки на человека. Во рту накоплялась слюна. Марков сплевывал.

Рядом лежал Савелий. Он все расспрашивал о Киеве:

— Что, ничего город? Ну вот с Одессу или как?

Марков рассеянно слушал. Савелий все удивлялся, как много настроено городов. Савелию хотелось, чтобы и Марков тоже удивлялся этому. Но Марков не удивлялся.

— А за Киевом что? А река здесь какая?

— Днепр.

— Здорово! И песни про него поют, а мы его форсировать будем!

— Сражений здесь хватало. Город-то седой.

И Миша сам вдруг почувствовал волнение. Седой! Дед городов русских!

Здесь шли полчища печенегов. Под Овручем пал в бою прославленный князь Олег. Здесь шли в кольчугах. Рубили мечом.

«Кровавые берега Немига не зерном засеяны, засеяны костями русских сынов... Печалью взошел этот посев на русской земле... На Немиге стелют снопы из голов, молотят

булатными цепами, на току жизнь кладут, веют душу от тела...»

Марков подумал, что, может быть, завтра и он... Подумал светло, с грустной гордостью.

Звезды дрожали в небесах, как слезы на ресницах. Марков думал:

«До того сладостно жить, что не жалко даже умереть».

Видения былого носились перед его взором. Скрещивались копыя. Стрелы, пущенные тугой тетивой, свистели в воздухе. Шел Батый. Один за другим города закрывали крепостные ворота. Бились до последнего. Умирили, чтобы воскреснуть...

Какая короткая ночь! Вот она и кончается. Звезды гаснут...

Марков крепко сжимает винтовку. Сегодня наступление.

Марков расстегивает ворот гимнастерки. Двигает пальцами ног, с удовольствием ощущая новую подметку: только что выдали на бригаду «мозаичные» ботинки, изготовленные из обрезков кожи. А некоторые получили тяжелые армейские бутсы, почему-то все на одну ногу: видимо, на другую ногу засланы на другой фронт.

— Покурить бы! — вздыхает Марков.

— Нельзя, — отзывается Кожевников, — по уставу не положено. Вспышка спички видна за километр, огонек папиросы — за триста метров.

— Знаю.

Бой заглох. Дроздовцы решили выспаться, у них тоже готовили наступление. Они наметили наступление на полдень, с подходом резервов. Разведке Котовского удалось это разузнать. И Котовский решил ударить по врагу на рассвете.

«Час иногда может решить дело», — размышлял он.

Дроздовцы не сомневаются в победе. Ведь, по слухам, Деникин... Да и все газеты, все приказы в один голос твердят о близком конце коммунистов и белая и иностранная печать. Может быть, белая печать была повинна в беспечности дроздовцев?

2

В Киеве, на Крещатике, движение. Ярко освещены кафе. Улицы кишат военными. Много духовенства, черных медлительных старух. В церквях горят свечи, идет богослужение. У церковных оград нищие — совсем как в мирное время!

В кондитерских полно народу. Битком набиты и кавказские «Шашлычные», и увеселительные сады «Буфф» и «Трокадеро». Кишмя кишат притоны, кафешантаны и публичные дома.

В Киев съехалось множество самого разнокалиберного сброда.

Становые пристава и бакалейные торговцы, фабриканты, действительные статские советники, русская знать и придворная аристократия, издатели либеральных газет и газет черносотенных, артисты, художники, поэты, чиновники, архиереи, шпионы и контрразведчики, американские бизнесмены и немецкие коммерсанты, проститутки и настоятельницы монастырей...

И огромное количество военных — русских, французских, румынских, польских... И огромное количество агентов полиции, провокаторов, темных личностей...

И все они хотят наживы, торгуют бриллиантами и вагонами кожи, валютой и женщинами, акциями сахарных трестов и министерскими портфелями...

Торгуют и тут же вспрыскивают торговые сделки около буфетных стоек...

Полуголых танцовщиц сменяют прыщавые, в вышитых рубашках балалаечники... И кто-то за столиком, где в шпроты воткнуты окурки и по скатерти разлито красное вино, декламирует сквозь икоту:

Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,

Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом
Я к тебе никогда не вернусь!

Официант, лавируя, несет поднос с двумя порциями шницеля, фруктами и замороженным шампанским.

Пьяная компания офицеров нестройно горланит:

Да будет бессме-ертен твой царский род,
Да и-им благоде-енствует русский народ!

Бледный, со страшными, безумными глазами капитан дирижирует вилкой.

А рядом с неменьшим усердием опереточные националисты в шароварах, взятых прямоком из гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки», тянут пьяными голосами «Ще не вмерла Украина»...

Давно перевалило за полночь, но Киев не спит. Сверкает старое золото Софийского собора, и тускло поблескивают погоны штабных офицеров. Звякают шпоры. Надрываются скрипки в чадных ночных кабаках. Поют церковные певчие. На площади чернеют тяжелые английские орудия, и возле них бродят безмолвные часовые. Где-то на Подоле или у кладбища в Щековицах воеет собака...

Брякнул выстрел. И хотя давно все привыкли к стрельбе, но все-таки прислушиваются: что за выстрел? Кого-нибудь расстреляли? Или какой-нибудь пьяный капитан, выйдя из ресторана, выхватил наган и — бац, бац! — в воздух, от полноты чувств? А может быть, разъезд наскочил на красных?

Снова тишина. Молоденький офицер, проходя мимо освещенного входа в церковь, вдруг круто свернул, поднялся по каменным ступеням, миновал толпу старух, вошел в церковь и тихо встал у колонны, прислушиваясь к монотонному чтению дьякона и вглядываясь в мерцание восковых свечей перед ликом божьей матери.

Давно перевалило за полночь, но Киев не спит. Во всем — и в пьяном разгуле, и в тишине садов, и в этом не прекращающемся ни днем ни ночью богослужении — напряженность, тревога, нетерпение... Разве можно сомневаться в победе?! Правительства всех цивилизованных государств взяли за это дело и кровно заинтересованы в успехе. Но почему так смутно на душе?

Старухи молятся. «Божья мать нерушимой стены! Спаси и помилуй!» Прозрачный, кружевной Андрей Первозванный высится над городом, как будто возносится в небо. Где-то около лавры бухает трехдюймовка.

В эту ночь на одной из скамеек Бибиковского бульвара, под сенью деревьев, сидели двое. Это была встреча друзей, шумная, бестолковая, как и все подобные встречи.

Когда-то оба были в Путьском, в Питере.

Всеволод Скоповский учился только потому, что надо было все-таки получить образование. Но образования он так и не получил. В семнадцатом году Всеволод Скоповский еле избежал солдатской расправы, пристроился в Москве на службу, а вскоре нашел тайных покровителей и стал работать на одну иностранную разведку.

Сейчас Всеволод Скоповский на погонах носил два крохотных оружейных ствола, положенных крест-накрест, и шинель у него была очень длинная, и он уже научился презирать все другие рода войск, особенно «пехтуру».

Второй из встретившихся друзей — Николай Орешников, недавно покинувший Одессу.

Этот, напротив, мечтал сделаться новым Кербедзом и строить такие же великолепные мосты. Но жизнь сложилась иначе, он угодил в школу прапорщиков и стал взрывать мосты, вместо того чтобы их строить.

Все это и было предметом их сумбурных разговоров.

— На чем я остановился?

— Ты сказал, что твой отец...

— Да, да... он схлопотал мне место в артиллерийском училище. Но там особенно не разводили рацеи: раз, раз — и в Арзамас! И я уже на позиции. А ведь папаша-то рассчитывал укрыть меня в училище от всех катастроф и сохранить для продолжения нашего старинного рода!

Оба улыбнулись и некоторое время разглядывали друг друга молча.

Встретились они совершенно случайно. Обнялись, поцеловались, по-мальчишески гоготали, привлекая внимание прохожих. Затем пошли в кафе, выпили пива. Но так как за кружками не успели рассказать и половины того, что хотелось, то решили пройтись. Потом сели на скамейку, чтобы мирно выкурить по сигарете.

И опять раздавался вопрос:

— Так на чем мы остановились?

— Собственно, ни на чем и сразу на многом. Я начал рассказывать, как Ксения попала при переходе границы... Ты рассказывал об Одессе...

— Потом ты рассказывал, как болел тифом, лежал в вагоне, и вдруг оказалось, что ты в расположении красных, и ты стал готовиться к смерти...

— Ерунда! К смерти вообще не готовятся. Я стал готовиться к побегу и благополучно бежал.

— Сева! А можно тебя спросить о серьезном? Как ты думаешь: мы победим?

— Ну, милейший, я вижу, ты все такой же младенец, как и был! Если для тебя недостаточно убедительно мое мнение, я могу привести высказывания крупнейших военных авторитетов, политических деятелей, наконец. Да разве ничего не говорит уже один тот факт, что мы с тобой сидим в Киеве, а добровольческие части вот-вот будут под Москвой?

— Очень хочется победить. Или не хочется? Я за последнее время часто задумываюсь над этим: хочется мне победить или не хочется?

— А жить тебе хочется? Числиться европейской страной, а не азиатчиной — хочется?

— Сева, ты пойми, что я прошел все испытания, все видел. Меня два раза водили на расстрел, я болел тифом, замерзал, был ранен, ходил в психическую атаку... Я истратил все запасы страха, какие могут вмещаться в человеке, и я уже ничего не боюсь. Вместе с тем я столько видел человеческой ворвани, столько гадости и цинизма, что утратил вкус к жизни. Осталось одно астральное любопытство: чем все это кончится и что это есть? Просто хочется осмыслить. А смысла нет. А без смысла трудно. Ты меня понимаешь?

— Я никогда не был философом. Я эстет.

— Разве эстетично, что офицеры военного времени, то есть бывшие студенты, учителя, дерутся с мужиками, нижними чинами, не сумев воздействовать на них разумными доводами, просто превосходством развития?

— Конечно, эстетично! Их и следует бить. Это же было...

— И еще. Может ли победить армия, идущая против народа?

— Ну, знаешь! Народ — это хорошо звучит, может быть, в учебниках. А я не люблю жупелов. Кого ты имеешь в виду, когда благоговейно произносишь это слово «народ»? Этих орангутангов, устраивающих на базарной площади кулачные бои? Кухарок, которые воруют у господ провизию? Сиволапых мужиков, которые привозят на базар сено?

— Я говорю о народе, который строил этот город. О тех, кто создал еще много других изумительных вещей, выпестовал гениев, породил прекраснейшую в мире, непревзойденную литературу... музыку...

— Понял! Кто дал человечеству Пушкина, Исаакиевский собор и Чайковского! Свежо, ново, самобытно, увлекательно! Что лучше: один Пушкин на сто миллионов дикарей или просто культурное общество? Ты, я — это, по-твоему, не народ?

— Мы — только пленка. Тонкая пленка на молоке. Дунул — и нет нас.

— Мы — сливки. Да, если хочешь знать! Сыворотки больше, но сыворотку отдают свиньям!

— Я вижу, тебя ничему не научили эти годы.

— Многому научили. Только бы победить. А уж тогда...
— Договаривай.
— Тогда... — Скоповский мечтательно задумался. — Тогда мы примем меры, чтобы никто не бунтовал. Причешем матушку Россию!
— А у меня нет веры. Вхожу в деревню... то есть врываюсь в деревню с оружием в руках, и вижу: я не освободитель, я — вооруженный оккупант.
Скоповский презрительно посвистел:
— Психология! А вот факты: армии настоящей у них нет? Нет. Военные специалисты — у нас? У нас. Какие у них и есть офицеры — и тех они расстреливают. Оружия у них нет? Обмундирования нет? Согласись, что без штанов воевать просто как-то неудобно. Нефти, угля... даже хлеба у них нет! Ничего у них нет!
— Есть.
— Что же?
— Сочувствие народа.
— А вот мы им покажем такое сочувствие... — и Всеволод Скоповский встал, заметив, что в нем накапливается раздражение и он может наговорить дерзостей. — Сейчас, дружище, надо не мыслить, а поступать. Прощай. Мне еще сегодня предстоит путешествие. Наша батарея стоит в Новой Гребле препаршивое местечко, кстати сказать! Но скоро, скорее, чем ты думаешь, мы двинемся вперед... Короче говоря, адью! В Петербурге увидимся.
И они расстались далеко не друзьями.

3

Ночь была душная. Теплый ветер пропитался сладчайшими запахами лугов, зелени, яблонь. Откуда-то со стороны Вышгорода ухали гаубицы. Около Цепного моста пулемет пропускал редкие очереди. Иногда пробивалась тишина, и тогда вдруг на мгновение казалось, что ничего не происходит, просто вечер... просто пахнут яблони... Днепр всплескивает мелкой волной... влюбленные приходят и садятся на траву, на обрыве...

Только зачем так надсадно ноют скрипки в кафе? По улицам громяют подводы... А, это вывозят трупы сыпнотифозных! Говорят, от тифа полезно носить на шее ладанку с нафталином...

Нет, нельзя верить тишине!

Капитан Скоповский в сопровождении ординарца Кузи выезжает из города. Спят холмы. Рожи притаились и заставляют настораживаться. Чем это он расстроен? Ах да, этот... хлюпик!.. «Сочувствие народа!» Дурак!

Кони фыркают. Спустились вниз, и сразу пахнуло сыростью. В городе было теплей.

Скоповский терпеть не мог вялости лошади. Он держал собранным коня. В его обращении с животными была жестокость. Он владел конем, но от малейшего неповиновения приходил в бешенство и тогда рвал коню губы, вонзал шпоры в бока...

Ехали молча. Ординарец чуть-чуть отставал. Скоповский молча испытывал неприязнь к ординарцу:

«Такая жалость, что в войне не обойтись без этих сиволапых! Конечно, бывают хорошо вышколенные слуги. Но кто может ручаться за всех этих ванек, по самой своей природе предателей и дезертиров?!»

Скоповский раздраженно прислушивался. Вот у ординарца споткнулся конь. Спит в седле, мерзавец! И чего тащится сзади? Скоповский искал, к чему бы придрататься, на чем бы сорвать досаду:

«А впрочем, пусть делает что хочет. Бесполезно переучивать. Эх, добраться бы до места и уснуть!..»

Артиллерийский капитан ежился от сырости.

Все было готово. Вечером Котовский изучал карту, и сейчас он отчетливо видел холмы, и рощи, и извивы реки, и расположение противника, и направления, по которым котовцы двинутся завтра в наступление, и даже разветвления, по которым побегут опрокинутые враги.

В черноте ночи скрыты ложбины, но он их видел такими, какие они будут поутру. По ним бежали, стреляли, схватывались врукопашную и падали на пути...

Люди спали на том и на другом берегах. А уже была решена судьба их, и завтрашние покойники последние часы пребывали среди живых...

Когда дроздовцы внезапным ударом опрокинули красных, красные отошли от Киева частью на правобережье, к реке Тетереву, частью на левый берег Днепра, на Чернигов.

По шоссе Чернигов — Гомель бродили банды каких-то головорезов. Они изредка обстреливали проезжих и делали попытки захватить караваны судов, на которых эвакуировались грузы из Киева.

В устье Десны, под самым Вышгородом, стояла красная речная флотилия, прикрывающая эвакуацию.

На реке Тетерев — группа Павлова. У Житомира — прославленная Щорсовская дивизия.

И еще были червонные казаки, партизаны Николая Крапивянского, конный матросский полк Можняка...

Одним из звеньев этого фронта была бригада Котовского. Котовский мысленно оценивал и свое место, и общую расстановку сил противника.

Выбрав удобное для переправы место, разведчики размундштучили лошадей, ослабили заднюю подпругу. Место было глухое... Кони осторожно ступили в воду. Дно илистое. Торопливо вытаскивая вязнувшие ноги, кони добрались до глубокого места и пошли вплавь. Потом был лес. Открытые места проезжали вдоль опушки или вдоль изгороди. По каким-то неуловимым приметам определяли, где безопасно, и делали бросок. Подлубный ехал впереди.

Это был глубокий тыл. Спокойно шли вражеские обозы, передвигались подкрепления, не спеша проезжали связные, располагаясь в палатках лазарет...

Разведчики двигались бесшумно и быстро. Снаряжение и оружие были хорошо подогнаны. Наконечник шашки и стремяна были обмотаны тряпками.

Оставив коней в кустарнике, дозорные ползком пробирались по канавам или шли, на мягком грунте становясь сначала на пятку, а затем уже на всю ступню и, наоборот, на твердом грунте становясь сначала носком, а затем осторожно опускаясь на каблук.

Перекинулись пересвистами, подражая крику птиц. Однако внимательный человек подметил бы, что пересвистывались степные птицы, какие водятся под Тирасполем и каких не бывает здесь.

Вернулись они с богатой добычей. Определили численность, расположение врага, разведали местность и в короткой стремительной схватке уничтожили пулеметный взвод.

Котовский еще больше укрепился в решении атаковать. И вот до начала атаки осталось всего лишь несколько часов.

Котовский встает, потягивается.

Мигает огарок. Дежурный клонет носом возле телефонного аппарата...

Чтобы биться за родную Бессарабию, нужно ударить по врагу под Киевом, теснить его на Волге, расстреливать в Костроме.

И если понадобится, Котовский ударит по врагу под Киевом, будет теснить его на Волге!

Он будет воевать смело, красиво, со страстной убежденностью. Он не только пойдет — он и поведет, не только обнажит клинок, но и одержит победу. И сделает это просто, радостно, в боевых делах осуществляя себя.

Чуть брезжило. Туман полз, стлался, курился, из молочно-белого становясь розоватым. Коноводы в отдаленной роще прислушивались.

Кони били копытами, прядали ушами, высоко подняв головы: где же седоки?

Туман был такой густой, что нельзя было различить ни кустарника, ни речки. В душе поселялась тревога: уж не сгинул ли мир, оставив на месте лесов, рек, гаубиц, международных конференций, стратегии, философии и искусства одну сырость, одно облако измельченных брызг?

Невозможно было дышать. Туман ворочался, клубился... Может быть, в этом хаосе возникнет новая вселенная, и, когда эта мерзость рассеется, все увидят какие-нибудь смарагдовые деревья или даже вовсе и не деревья, а что-нибудь небывалое, чего и не было никогда.

Бойцы ползли. Стягивались к мостику через Здвиж. Их ряды пополнил спешенный эскадрон.

Туман клубился. Туман тоже входил в расчеты Котовского и действовал по его плану.

Котовский вглядывался. Все произойдет именно так, как хотел. И если нет, будут внесены поправки. Но почему не подает сигнала Няга?

Котовский сжимает рукоятку. Слышит, как топают кони у коновязи. Угадывает, где находятся те, кто наступает в пешем строю. Сейчас они должны быть совсем близко... Но даже если не удастся захватить мост, противник, выдвинувшийся на этот берег, не успеет отступить за реку. План настолько бесспорен! Котовский готов подхлестнуть время, пришпорить минуты. Нетерпение охватывает его.

Весь мир кажется призрачным в этом проклятом тумане. Тревожно... Что там? Куст или человек? Кто идет?! Ни звука. Да что они, заблудились там, на том берегу?

...Бойцы ползут. Уже можно различить в рыхлом тумане смутные очертания. Берег. Перила моста.

Пронзительный свист. Это сигнал Няги. Туман наполняется тенями. В атаку!!

Не крикнув, часовой валится в воду. Река издает звук, похожий на тот, когда веслом ударяют по водной глади.

Котовский и все в засаде переглядываются.

Началось!

А вот и выстрелы. Беспорядочная пальба противника. Точные выстрелы наступающих, и вместе с выстрелами гул голосов: крики, проклятия, команда, предсмертный хрип...

Ветер потянул с востока. Туман выстлался лентой, сквозной, как марлевый бинт. С каждым мгновением открывалось все большее пространство, охваченное сражением.

Противник оправился от неожиданности. В сводном офицерском батальоне каждый был вытренирован и привык презирать жизнь и смерть.

А бессарабцы, хотинцы, пензяки, хлынувшие к берегу, — им вот как нужна была жизнь! Но их вытеснили из родного края, разлучили с семьями, гнали четыреста километров по знойной степи... Все бедствия исходили от этих самых, стрелявших сейчас в них в упор. Пришло время посчитаться. И они вступили в этот бой на уничтожение.

Рубили. Вонзали штык. Стреляли. Били прикладом. И когда противнику уже казалось, что он начинает одерживать верх, Котовский ударил с фланга.

Марков в это утро полз рядом с Кожевниковым. Вместе поднялись по сигналу, вместе бежали. Марков кричал «ура». Его охватило веселое возбуждение. Он какими-то вспышками осознавал себя.

Куст. Обезать справа. Где Кожевников? Здесь. Туман пронзили солнечные стрелы. Какое искаженное лицо у этого офицера!

В рукопашном бою нужны молниеносные решения. Действие и решение должны быть одновременны. Упусти миг — и будет уже поздно.

Марков увидел что-то красное, услышал страшный крик, пробившийся через трескотню

выстрелов. Кожевников прикладом ударил высокого офицера. Почему они падают вместе?

Одновременно перед Марковым выросли двое. Марков не успел испугаться. Один, с наганом, молоденький, в подобранной в талию гимнастерке, кажется, выстрелил. Другой, с бородкой, замахнулся шашкой. Марков видел, как сверкнуло лезвие. Но вместо того чтобы ударить, офицер странно подскочил, с него свалилась фуражка, он упал, далеко отшвырнув ненужный уже клинок. Молоденький, вместо того чтобы броситься на Маркова, перепрыгнул через убитого и побежал. Он мчался в сторону пулемета. Марков понял: молоденького сейчас убьют.

Это тогда пробежал человек с лицом, залитым кровью? Или это было раньше?

Марков видел, как офицеры прыгают в воду. Марков прицелился и выстрелил. Это был его пятый заряд.

Не выдержав натиска, враги, послушные расчету Котовского, стали отступать в беспорядке к реке, как раз к тому месту, где заранее были установлены пулеметы.

Здесь было топко. Попадавшие сюда вязли в трясине. Чтобы ее миновать, выкарабкивались на бугорок. На бугорке их уничтожали пулеметчики.

Видя, что гибель неминуема, оставшиеся ожесточенно отбивались. В рукопашном бою схватывались двое, и оба падали, сраженные подоспевшими на выручку. Но и те оказывались наколотыми на штыки. Так накапливался ворох.

Утреннее солнце осветило ложбину, наполненную мертвецами.

Розовое облако стояло над Здвижем. К мосту течением относило трупы. Началась переправа. Кони красиво отражались в воде. День сиял, небо голубело. Котовский лично руководил переправой. Издали доносился колокольный звон.

6

Батарею Всеволода Скоповского обнаружил разведчик Владимир Подлубный. Батарея стояла за липовой рощей. Подлубный рассмотрел и артиллеристов, и ящики со снарядами, и новенькие английские шестидюймовки.

«Они как раз нам нужны», — хозяйственно подумал он.

Артиллеристы беспечно смеялись. Чей-то голос в офицерской палатке напевал: «Сердце красавицы склонно к измене...»

Рябой бомбардир, сидевший всего в нескольких шагах от Подлубного, вдруг крикнул:

— Тютяев! Хворосту принеси! Опять у тебя погасло, черт сопатый!

От этого неожиданного возгласа Подлубный вздрогнул, а затем поспешно пополз в сторону, в овраг.

Как раз вовремя. Тютяев, голубоглазый, с белесыми ресницами, похожий на годовалого деревенского бычка, поднялся, почесался, постоял в раздумье и направился к тому месту, где только что лежал Подлубный.

Котовский не медлил. Как только Подлубный принес донесение, конники, вытянувшись длинной вереницей, помчались вдоль опушки, мимо сгоревшей мельницы, мимо стогов.

Когда приблизились, артиллеристы дулись в козла, а капитан Скоповский, лежа на топчане, пытался изложить розовощекому прапорщику философию Шпенглера.

На лице прапорщика всегда было удивление. Это получалось потому, что его брови были высоко приподняты, а маленькие глазки были круглые и простодушные. Это выражение подзадоривало и выводило из себя Скоповского. Хотелось говорить прапорщику вздор, нелепицу, чтобы заставить его еще выше поднять брови и округлить глаза.

Скоповский пробовал все: анекдоты, философию. Врал, рассказывал невероятные вещи. Прапорщик, однако, не мог удивиться больше, чем удивился раз навсегда. Он смотрел на Скоповского ясными глазами.

Скоповский начинал злиться. Он придирался, он просто глумился. Может быть, прапорщик хотя бы обидится?

Но прапорщик бормотал:

— Вы это так... вы нарочно... только напускаете на себя. Вы хотите вывести меня из терпения...

— Ваша тарелка, прапорщик Чечулин, с успехом заменяющая вам физиономию, может хоть кого взбесить.

— Дайте ему по морде, Скоповский, — и баста! — советовал третий офицер с бородкой а la Николай Второй, скучая наблюдавший эту сцену.

...Конники окружили холм, на котором расположилась батарея. Роща наполнилась всадниками, но артиллеристы ничего не замечали, полагая, что находятся в тылу, и даже не выставили охранения.

— Итак, вернемся к теории относительности, — разглагольствовал Скоповский. — Все в мире относительно, даже ваша глупость. Прямая линия вовсе не прямая, кратчайшее расстояние — не кратчайшее, прогресс идентичен с тем, что физика называет процессом, анализ — функцией, а церковь оправданием через добрые дела. Вздор, что всем присущи одинаковые формы сознания! Каждая личность — замкнутый в себе мир, который осуществляет заложенные в нем возможности. Мы все трагически разобщены. Никакой лестницы к все большему совершенствованию не существует. Законы, действительные для капитана Скоповского, непригодны для прапорщика Чечулина. Мы до ужаса одиноки и даже не можем сообщить о своей боли, как таракан не может поделиться впечатлением с блохой, а пробковый дуб изложить свои взгляды иволге. Вселенная — аквариум. Социализм — утопия. Вы — идиот. И вообще — дайте мне папиросу.

Конники выскочили на поляну. Рябой бомбардир только что собирался покрыть козырным валетом пикового туза наводчика и уже замахнулся, чтобы щелкнуть картой по колоде. Тютяев только что хотел крикнуть, что опять кто-то взял ведро и нечем поить лошадей.

— Руки вверх! — весело крикнул Няга, как будто командовал на параде.

Скоповский, а за ним и другие выскочили из палатки. Ординарец Кузя стоял у костра, подняв кверху руки. Рубаха у него вылезла, и виден был голый живот. Он был особенно неказист в эту минуту.

Прапорщик Чечулин покосился на Скоповского, поднял ли тот руки, чтобы поступить так же, как он. Скоповский был без кителя, он стоял в небрежной позе, засунув руки в карманы. Он стоял, как посторонний зритель, и ждал, что будет дальше.

— Господа артиллеристы! — все так же весело продолжал Няга. — Нижних чинов мы не трогаем, начальство кончайте сами.

Конь Няги так и плясал и мордой едва не касался плеча бомбардира.

Артиллеристы переглянулись. Кто-то сказал:

— Это можно.

И тут все взгляды обратились на офицерскую палатку.

Скоповский вспомнил, что наган лежит в изголовье. Если сделать прыжок, пожалуй, удастся уложить человек пять, прежде чем прикончат.

Но почему-то охватила неизъяснимая вялость.

— Это можно, — повторил голубоглазый.

Бомбардир молчал. Два лычка и собственное достоинство не позволяли ему высказаться определенно.

Обнаженные клинки были красноречивы. Нужно было сделать что-то, сделать — и это уничтожит гнетущую тоску и превратит все снова в простое и обычное.

— А конечно, — сказал Кузя, с решительным видом хватая винтовку. Всем, что ли, из-за них пропадать?

«Я их ненавижу, — подумал Скоповский, — и мне совсем не хочется жить, если живут они».

Но вдруг понял, что все рассуждения ничего не стоят, жить хочется ужасно, но нельзя перейти к костру, поднять вместе с Кузей руки и остаться жить, ценой отречения от кого угодно: от бога, от отца, от Дроздовского, от Деникина...

Эти мысли отвлекли. Они хлынули, как вода в люки тонущего судна. Скоповский останавливал себя: нужно думать о действиях, нужно только сообразить... оттолкнуть Чечулина, вбежать в палатку... отстреливаясь, отступить в лес...

Кузя целился.

«Не посмеет. Он мой ординарец. Не посмеет меня... Нужно оттолкнуть Чечулина... затем...»

Пуля прошла навылет. Рядом упал Чечулин. Лицо его стало бледным, румянец исчез. Но брови были все так же удивленно вскинуты, как будто он недоумевал, как могли так легко и просто его убить.

Офицера с бородкой а la Николай Второй пуля настигла на опушке леса. Между тем артиллеристы уже помогали конникам выкатывать пушки.

В этот же день два друга, Николай Дубчак и Николай Слива, с группой бойцов в жаркой схватке захватили три тяжелых девятидюймовых орудия и с полсотни пленных.

Не успевали сообщать в дивизию о новых и новых подвигах котовцев!

7

Весть о том, что Сорок пятую дивизию отводят в тыл, на деформирование, вызвала недовольство: котовцы рвались в бой, они хотели взять Киев. Котовский отбивался и протестовал сколько мог. Но приказ есть приказ, и пришлось подчиниться.

— Что это за Рославль? — спрашивали бойцы. — Где этот Рославль?

— С чем его едят, этот Рославль?

Пришли новые заботы: о сене, о дровах, о строевых занятиях... Нужны кадры опытных строевиков... Сформировать и укомплектовать канцелярии...

Тиф начал косить бойцов. Котовский по прямому проводу связался с начальником дивизии, требовал прислать врача.

Кое-где в селах кулаки исподтишка вредили. Они саботировали выполнение гужевой повинности, не давали подвод для перевозки фуража.

Котовский предупредил:

— Если это не прекратится, буду ходатайствовать о расквартировании частей в селах, не дающих подвод, и чтобы на эти села возложили обязанность снабжать расквартированные части фуражом.

Заботы о фураже, о питании отнимали массу времени и сил. Еще первого ноября Котовский занимался этими делами, ездил в села, звонил по прямому проводу, спорил, добывал... И вдруг — новая неожиданность!

Второго ноября его вызвал к аппарату Гарькавый.

— Час назад нами получен приказ, — сообщил он, — нам приказано отправлять эшелоны на юденичский фронт, на помощь петроградским рабочим. Немедленно приступить к исполнению. Погрузка частей на станции Рославль. В течение суток отправить не менее пяти эшелонов. Следовать без малейшей задержки. Ответственность за быстроту продвижения возложить на начальника каждого эшелона и политкома. Следовать по маршруту Рославль — Смоленск Витебск — Невель — Великие Луки — Бологое — Петроград.

Прямо от аппарата Котовский направился в штаб. В Петроград! А у бойцов нет даже обуви! В Житомире дали некоторым «мозаичные» ботинки, и те развалились... Но можно кое-что придумать такое, что и обувь, и все необходимое будет. Ведь Петроградский-то фронт — важнейший? Защищать его дело почетное? Мы переходим куда? В распоряжение Седьмой армии? Снег выпал? Морозы начались? Воевать босиком немыслимо?

В штабе сидел один Юцевич. Он вынул из стола, запертого на ключ (канцеляристы воровали бумагу), большой бумажный лист отличного качества. Юцевич хранил его для особо важного случая.

Котовский начал диктовать, расхаживая взад и вперед по комнате. Начальник штаба

Юцевич усердно писал. А через полчаса пакет летел с нарочным в управление.

Боевая слава и героическое прошлое, говорилось в этой докладной записке, создали в старом составе бригады, состоявшем исключительно из добровольцев, веру в свою непобедимость. Но потери в боях и эпидемия тифа вырвали из рядов много старых бойцов и командиров, пополнения неполноценны. Главная же беда в том, что отсутствует самое элементарное снаряжение, бойцы буквально голы и босы, из рук вон плохо с оружием, почти не осталось конского состава, связь ниже всякой оценки, инженерных частей вообще нет, санитарная часть полностью отсутствует, медикаментов нет и в помине. Необходимо принять все меры, чтобы сделать бригаду снова боеспособной и страшной для любого противника, чтобы она могла и дальше носить данное ей неприятелями Южного фронта название «железной».

Эффект этого доклада был необычайным. Котовский сам не ожидал, что так получится!

Доклад взорвался в управлении, как бомба. Зазвонили телефоны, полетели депеши... Забегали по кабинетам интенданты...

И когда эшелоны бригады подкатывали к платформе вокзала в Смоленске, там уже точно знали, сколько бойцов в каждом вагоне прибывающего эшелона. Соответственно с этим на перроне были разложены кучами новые, со складов, валенки, полушубки, шапки, гимнастерки, ватные брюки и полные комплекты вооружения. Возле каждой кучи имущества стояли наготове люди. У них были припасены и торбы овса.

Эшелон подошел, остановился.

— Получай!

В каждый вагон летят валенки и полушубки, хлеб и овес...

— Никто не остался не одетым? Оружия достаточно? Товарищи командиры, как обстоит дело у вас? Все в порядке?

— Нельзя ли напоить коней?

Отправление. Свисток паровоза. И дальше летит эшелон, на север, в город немеркнувшей славы.

Строгий приказ — эшелоны не задерживать. Свисток. Семафор открыт. Дальше! Мелькают станции, березовые рощи... Бойцы в новом обмундировании, совсем иной облик.

Бологое... Детское Село... Парки. Липовые аллеи. Старинные купола и дворцы.

8

Котовский выстроил полки. Объезжая их, вглядывался в лица бойцов и говорил:

— Великая честь выпала на нашу долю. Нам дана возможность сражаться на величайшем и почетнейшем фронте — защищать Петроград! И мы с честью выполним боевую задачу. Красный Питер вечно будет красным, советским городом. Юденича и его белую банду сотрем с лица земли!

И несмотря на то что говорил он обыкновенные слова, и те именно слова, которые и ожидали от него услышать, самый голос его и его облик, который привыкли видеть во всех опасных сражениях как неопровержимое доказательство победы, — все порождало уверенность, что так оно и должно быть, как говорил командир.

Поскрипывал снег под ногами. Деревья стояли в инее. Зима!

— А что, большие морозы бывают в Питере?

— Нет, вы мне скажите: Юденич... это что же за Юденич?

— Обыкновенно: генерал.

— Скажи, пожалуйста! Бьем, бьем — и все новые появляются!

— Сказано — гидра. Гидра и есть.

...Основной удар Юденичу питерские рабочие нанесли еще до приезда бригады. Были брошены в бой части особого назначения, отряды коммунистов... Юденич и митрополит Владимир, созерцавшие в бинокль столь близкий и желанный Петроград, еле выскочили из рук подоспевших красных курсантов. Теперь кавалеристы Макаренко и Няги гнали разбитые

части противника до самого Ямбурга.

— Хороший генерал этот Юденич! — ликовал Няга. — Замечательно быстро бегают, еле догонишь!

Разместили бригаду в казармах лейб-гвардии.

Отгремели бои. Остатки разбитой армии Юденича убрались восвояси. Тишина. Детскосельские парки запущены снегом.

А ведь явились сюда юденичские полчища как триумфаторы. Впереди войск ехали подводы с белыми булками. Булки бросали в толпу. Дескать, мы вам несем сытую жизнь и благополучие!

9

Не сразу заметили, что у Котовского пылающее жаром лицо, с лихорадочным блеском глаза. После настойчивых просьб он согласился измерить температуру. Тридцать девять и пять десятых!

Болезнь приковала к больничной койке...

Бригада ушла на денкинский фронт, а Котовский остался. Это было дико. Котовцы без своего командира! Котовский спорил с докторами, требовал, чтобы дали военную карту, чертил по ней красным карандашом, набрасывался на свежие газеты...

— Доктор, вы знаете, что такое город Балта? Балта славилась торговлей сальными свечами и арбузами. Занимает первое место в мире по непролазной грязи. Мы прошли через нее в эту сторону, теперь должны пройти, преследуя врага, в направлении к югу!

— Вы больны, дорогой, у вас крупозное воспаление легких. Это тяжелая болезнь, и вы должны все мысли и все усилия направить на то, чтобы прежде всего выздороветь. А все эти Балты и все ваши походы — это позже. Каждому овощу свое время.

— Как же я болен, когда я даже делаю гимнастику?

— И напрасно. И какие бы то ни было обливания вам категорически запрещены.

— Неловко мне хворать, не так я устроен. Если бы бойцы моей бригады увидели, как я сижу с градусником под мышкой... Неужели вы не понимаете? Не к лицу мне хворать!

— А знаете ли вы, что сегодня справлялись о вашем здоровье и требовали, чтобы вас поскорее вылечили? И продукты для поднятия ваших сил присланы. Это рабочие Путиловского завода присылали делегацию с подарками, только я их в палату не пустил.

Котовский был взволнован:

— Н-неужели так з-заботятся? И как же вы не пустили? Как жаль, что я не знал!

Не в силах улежать в постели, Котовский тащился к замерзшему окну, дышал на него, пока не образовывалась наконец круглая проталинка, пытался что-нибудь разглядеть. Видны были только крыши.

Как же бригада без него? Нужно сражаться! Вон сколько их!.. Навалились!.. В атаку!!

Дым застилает окно. Нет, это, видимо, от температуры... Жарко и дышать нечем...

...В середине декабря доктор сказал:

— Ну вот вы и поправляетесь. Железный организм у вас, батенька!

Через три дня Котовский выписался из больницы и отправился догонять бригаду.

Стояла белоснежная, в сугробах и инее, кудрявая зима.

10

Осень окрасила золотом деревья в Прохладном. Пурпурные, ярко-желтые и совсем темные, почти траурные листья шуршали на главной аллее, ведущей к сиротливой, никому не нужной купальне.

Люси бродила по этой листве, отшвыривая кончиком туфли листья клена. Потом направлялась к дому, приставала с вопросами к княгине, которая раскладывала сложный пасьянс, сбивалась и сердилась:

- Не мешай!
— Мама, а почему он не пишет?
— Отстань, дорогая, ты меня спутала. Ну не пишет, не пишет — и напишет...
— А если послать запрос?
— Куда запрос? Кому запрос?

Вот и совсем облетели листья... Говорят, что помещики снова спешно уезжают за границу. Говорят, что по всей Украине движутся партизанские отряды. Говорят, что Деникин разбит под Орлом.

Люси бродила как неприкаянная по комнатам, куталась в пуховый платок...

- Мама, мне скучно!

Садилась за рояль, начинала «Песню гондольеров» Мендельсона, перелистывала толстую тетрадь с нотами... «Сентиментальный вальс» Чайковского... «Ноктюрн» Шопена... «Матчиш»... Вальс «Оборванные струны»...

Захлопывала крышку рояля.

- Мама, он, наверное, совсем не приедет!

И он не приехал.

Вместо него приехал незнакомый человек. От него пахло овчиной.

Он сказал:

— Мне поручено передать, чтобы вы капитана Бахарева Юрия Александровича не ждали.

- Как так не ждала?!

- Убит. Вы не расстраивайтесь. Вы его жена?

Люси молчала. А незнакомец, напротив, разговорился. Она слушала, что говорит этот человек, но отвечать не могла. И плакать не могла. Она смотрела изумленно: как он может, этот человек, так спокойно, так просто говорить «убит»? Это ложь! Юрий не может быть убит! Он должен жить... Он так мечтал жить, с ней жить!.. С ней одной, нераздельно! У них же все продумано, все решено!..

— Впрочем, это неважно, жена вы или не жена. Мне очень трудно было к вам пробраться. Но я должен был сообщить. Вот и сообщил. Ну а вообще-то... Дело военное. Сейчас умереть — раз плюнуть. Жалко, но что делать. Убит в бою, в селе Долгом, есть такое село — Долгое. А вам бы советовал уезжать, уважаемая. Нечего вам тут делать. А то дождетесь беды... Право, уезжали бы! Я в курсе дела, я на такой же работе, как и Юрий Александрович, мы там вместе были, когда его убили. Я был на селе, в поповском доме. И могу вам точные сведения сообщить. По всей Украине созданы подпольные коммунистические организации, подпольные губкомы, подпольные ревкомы... Эти ревкомы занимаются агитацией, создают партизанские отряды, причем некоторые отряды вырастают до нескольких тысяч человеко-штыков... Вам не нравится это выражение? Но теперь людей нет, одни человеко-штыки. Человеко-штыки жгут помещичьи усадьбы, убивают, расстреливают по суду и без суда, их становится все больше, а дерутся они, надо сказать, превосходно и мастерски разлагают войска противника. Как они это делают уму непостижимо... Но я вижу, что вы меня не слушаете. Я понимаю ваше состояние и глубоко уважаю вашу скорбь. Что делать. Мы обреченные. Мне вот тоже не сносить головы, я это знаю, но смотрю на это спокойно. Кстати, не могли бы вы меня покормить? Я очень голоден. Большую трагедию переживает Россия. Да! Чуть не забыл. Вот его блокнот, я сам лично вытащил его из кармана френча Юрия. Тут пятна, запеклась его кровь, я даже колебался, передавать ли...

Он замолк, потому что по приказанию Люси принесли ужин. Теперь оба молчали. Люси молчала потому, что была в полуобморочном состоянии. Незнакомец молчал потому, что хотел есть. Теперь, когда он сбросил полушубок, он выглядел симпатичнее. У него были молодые глаза, наивные, мальчишеские губы. Лицо его портила щетина: он, по-видимому, давно не брился.

- Роскошно! Давно не ел настоящей пищи! Я хотя и не брит, но ведь тоже дворянин.

Небритый дворянин. Как говорится, пошел в народ, опустился, опростился и даже, извините, пропах народом. Сердечно благодарен. Гран мерси! Мерси боку! А этот пирожок я, с вашего позволения, положу в сумку.

Тут незнакомец заспешил. И действительно, было уже за полночь.

— Могу вам сообщить, — остановился он в дверях, — что Юрий Александрович был человек непреклонных убеждений. Он делал ставку на куркуля, то есть на зажиточного крестьянина, на помещика в эмбриональном состоянии. Юрию Александровичу удалось бы поднять на восстание против Советов целые уезды, но вот... Один неосторожный шаг — и осталось незавершенным дело... Не знаю, чем все это кончится... У них — я имею в виду красных — объявились такие военные самородки, как некий Николай Щорс, как Боженко, как Григорий Котовский, который действует не так далеко отсюда... несколько южнее... У нас тоже есть опытные руководители... Но это для вас скучная материя. Все. Я пошел. Извините за беспокойство. Фамилии моей не сообщу. Мы без имени. Псевдонимы!

II

Он ушел. Если бы не блокнот Юрия, не его пометки, не его почерк, Люси думала бы, что никто не приходил, что она сама все это выдумала, что это бред...

Широко открытыми глазами смотрела на темно-бурые пятна на блокноте. Смотрела и не могла отвести глаз.

Плакать стала значительно позже. Плакала сутками, днем и ночью, плакала горькими слезами, запершись у себя и обнимая подушку Юрия, на которой совсем недавно покоилась его голова...

Потом приехал еще один человек. Это был американец, Гарри Петерсон, как он немедленно отрекомендовался.

Он был в военном. И в то же время у него был какой-то невоенный вид. По-видимому, он занимал крупный пост. Но относительно рода своих занятий он в подробности не вдавался.

Рослый, упитанный, со спортивной выправкой, голубоглазый, гладко выбритый, он сразу же понравился княгине. Впрочем, ей вообще нравились крупные мужчины.

Люси в это время находилась в таком отчаянии, что толком не разглядела его.

Гарри отлично говорил по-русски, и если иногда путал падежи или не справлялся с глагольными образованиями, то, пожалуй, больше из кокетства, чтобы показать, что он все-таки иностранец, не кто-нибудь, а подданный Северо-Американских Штатов.

Как многие американцы, Гарри любил титулы, породу, старинные вещи и собирал коллекцию перстней, платя за них бешеные деньги. Вот и теперь княгиня, беседуя с ним, никак не могла понять, почему он глаз не сводит с ее руки.

— Вы извините меня, — говорил Гарри, — что я несколько бесцеремонно явился к вам. Я прибыл, чтобы сообщить печальную весть относительно вашего родственника, насколько мне известно, капитана Бахарева Юрия Александровича.

— Да, да, — ответила грустно княгиня, — нам уже известно о постигшем нас горе...

Люси же впервые посмотрела внимательно на Гарри, и у нее невольно опять полились слезы.

Гарри сообщил некоторые подробности смерти Юрия Александровича. Гарри, как он пояснил, являлся непосредственным его начальником.

— Поскольку капитан Бахарев работал по моим указаниям, я счел долгом явиться к вам и спросить, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным.

— Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны. Рано или поздно всем нам придется предстать перед престолом всевышнего... Но все-таки это так неожиданно... Я и моя дочь так полюбили Юрия... Но здесь человек бессилен. Мы можем только оплакивать эту тяжелую утрату.

Гарри был приглашен к обеду. Он оказался замечательным рассказчиком. Кажется, не

было такого уголка на земном шаре, где бы он не побывал. Он рассказывал забавные истории о Турции, о Японии, о Париже.

— Мы, американцы, изменили точку зрения, — весело сообщил он, прежде мы претендовали на одно только полушарие, теперь же нас интересуют оба, и остается только жалеть, что у шара всего два полушария, наших капиталов и нашей энергии хватило бы, пожалуй, на четыре!

Княгиня вежливо согласилась, что американцы — деятельный народ.

После обеда Люси сочла долгом гостеприимства показать гостю Прохладное. Гарри был неизменно весел и разговорчив; единственное, что не понравилось Люси, — это его манера расценивать все на доллары.

— О! — говорил Гарри. — Такой великолепный сад! Это стоит сто тысяч долларов!

Они осматривали конюшни.

— Прекрасные лошади, и я удивляюсь, как в такое время удалось их сохранить! Я, правда, не знаток, но мне кажется, что такая конюшня стоила бы...

Люси не дала ему досказать свои соображения и повела его к оранжерее.

По странному совпадению именно в оранжерее она заметила, какие глаза у Гарри, а Гарри, помогая ей пройти мимо разросшихся олеандров, пожал ей руку. Это получилось в точности, как было в «Карбунэ», когда она прогуливалась с Юрием Александровичем!

Люси смутилась, сделав это сопоставление, а потом подумала:

«А что же тут худого? Ведь не уйти же мне теперь в монастырь?!»

Пока они осматривали имение, настал вечер. Гостя пригласили ужинать и оставили ночевать.

На другой день Гарри и Люси решили прокатиться в лодке. Пруд был красив осенней, печальной красотой. В одном месте они чуть не опрокинули лодку.

Княгиня обрадовалась, когда через окно услышала, что Люси смеется.

«Любые слезы высушивает ветер», — подумала княгиня.

И за обедом стала осторожно выспрашивать, откуда родом Гарри, женат ли он...

Гарри попросту ответил, что он «стоит семь миллионов долларов» и надеется в ближайшее время удвоить свое состояние, что он хотел бы жениться, если встретит достойную особу, и что он постарался бы сделать счастливой женщину, которую полюбит.

— Разумеется, я предложил бы жене уехать в Америку, потому что Европа... как бы это выразиться... Европа на ближайшие десятилетия — это огнедышащий вулкан. Европа неуютна.

Одним словом, Гарри был очарован, Гарри был потрясен всем великолепием барского дома: всеми этими фамильными сервизами, фамильными портретами... И он не прочь бы дать миллион долларов за все это имение вместе с его обитателями.

Гарри остался еще и еще на день, а затем прямо заявил Люси, что желал бы на ней жениться, что она должна подумать о своем будущем и позаботиться о матери, что она никогда не пожалеет, если даст согласие.

Он говорил долго и с воодушевлением... и Люси не прервала его.

Ночью Люси явилась в спальню матери, бросилась к ней на грудь, обе поплакали, и затем обе по-женски рассудили, что предложение Гарри не так уж оскорбительно, что, конечно, он не знатного рода, но он богат, а у них в Америке доллары заменяют и титулы, и короны...

Гарри оставался в Прохладном. Он перенес сюда и свой офис, к нему являлись какие-то люди, скакали курьеры. Он отдавал приказания, выслушивал доклады...

Ему предоставили в полное распоряжение кабинет. Кабинет был огромный, весь устланный коврами. В темных шкафах поблескивали корешки старинных книг в тяжелых кожаных переплетах.

Однажды Гарри объявил, что, по полученным им сведениям, здесь небезопасно оставаться. Гарри имел продолжительную беседу с княгиней. Решено было, не соблюдая установленных обычаем сроков, совершить свадебный обряд.

Без всякой пышности и торжественности Гарри и Люси съездили в соседнее село, договорились с находившимся там священником (старенький, читавший такое трогательное нравоучение Юрию Александровичу и Люси, скончался от тифа). Новый священник их обвенчал, даже не справляясь, какого вероисповедания Гарри.

Действительно, оставаться в Прохладном было опасно. Усадьбу соседнего помещика сожгли. Управляющий получил сведения, что собираются поджечь и дом Долгоруковых.

Гарри сам непосредственно руководил укладкой имущества. Забрали все, что было ценного, и отправили длинный обоз под охраной американского конвоя.

— Вы не будете возражать, если мы сейчас поедem в Варшаву? — спросил Гарри.

— В Варшаву? Почему в Варшаву?

— Я вхожу в состав военной миссии, которая в ближайшее время прибудет в полном составе в столицу Польши.

— Мама! Конечно, поедem! Я очень хочу посмотреть Варшаву! Гарри, а это не опасно?

— Где находится подданный Соединенных Штатов Америки, там не опасно, — гордо заявил Гарри. — Имейте в виду, что вы увидите много интересного. В состав военной миссии входит семьсот офицеров и несколько тысяч обслуживающего персонала. Я только что получил сообщение. Одна Франция будет представлена девятью генералами, двадцатью девятью полковниками... Кроме того, в состав французского отдела войдут шестьдесят три батальонных командира, сто девяносто шесть капитанов, четыреста тридцать пять лейтенантов и две тысячи с лишним рядовых.

— Почему так много? — удивилась княгиня.

— Нужно, чтобы Польша воевала, — пояснил Гарри, — и она будет воевать. Мы этого добьемся.

— А балы будут? — спросила Люси.

— Балы, банкеты — все это будет обязательно, и моя Люси будет на них блистать.

Гарри был счастлив. Но его сдержанная натура не позволяла ему выйти из рамок деловитости. И только к одному официальному сообщению, отправленному им в Вашингтон, он неожиданно для себя добавил приписку совершенно частного порядка:

«Считаю своим долгом оповестить Вас, сэръ, о крупных и внезапных переменах в моей личной жизни. Явившись в имение русских помещиков князей Долгоруковых по совершенно деловому вопросу, я сейчас покидаю имение и отправляюсь в Варшаву женатым человеком! It's an ill wind that blows nobody good!¹ Женился я на молодой Долгоруковой, из старинного дворянского рода. Кроме жены я обзавелся крайне своеобразной, можно сказать, уникальной тещей, а также имением, с пашнями, лесами и луговыми покосами не меньше, чем в сто акров...»

Настала пора расстаться с Прохладным. Люси обошла все комнаты, держа за руку Гарри. Хотя огромное количество посуды, ковров, серебра, хрусталя, золота было уложено и вывезено, все-таки дом был еще полон вещей. Большая часть мебели оставалась на прежнем месте: шкафы, наполненные книгами, шкафы, наполненные графинами, бокалами, шкафы, наполненные какими-то камзолами, мундирами, фраками, сундуки со старинными шелками и кружевами все это оставляли здесь, в этом старинном доме, на попечение управляющего и старых слуг.

Осиротевший дом хмурился. В комнатах гулко отдавались шаги. Гарри говорил напыщенные, неуместные слова:

— Это не дом, дорогая моя девочка, это памятник дворянской старине, пышным приемам, помпе, пресыщенной жизни в роскоши и довольстве, среди серой, лапотной Руси...

¹ Плохой тот ветер, который не приносит никому хорошего! (англ.)

Люси рассеянно слушала его, вспоминала детство, любимых кукол, неистощимо добрых нянь, легкомысленного папашу, вечно попадавшего впросак со своими маленькими интрижками и любовными похождениями. Как шумно праздновались дни рождения, именины! Какая кутерьма бывала перед пасхой, пахнувшей кардамоном, куличами и окороком! Люси нежно любила и эту старомодную мебель, и эти молчаливые, задумчивые комнаты.

— Знаешь, что я придумал? — совсем разнежившись и размечтавшись, говорил Гарри. — Мы этот дом вывезем в Америку, вот таким, как он есть, сохранив и паркетные полы, и люстры, укутанные в марлю, и шифоньеры... даже иконы, даже паутину на потолке!..

— Однако мама нас заждалась, — прервала его Люси.

В этот момент Гарри забрался ногами на старое бархатное кресло и внимательно изучал ковер на стене:

— Ты знаешь, это настоящий персидский, ему цены нет! Как это я его не заметил?

Но их уже звала княгиня.

По русскому обычаю все сели, прежде чем выйти из дому, молча посидели несколько минут, затем княгиня первая встала, перекрестилась и громко сказала:

— Пора. Поедьте, с богом. Прощайте, Рудольф, не поминайте лихом, обернулась она к управляющему. — А тебе, Маруся, мой добрый совет — уходи отсюда от греха подальше да выходи замуж, ты вон какая молодая да красивая.

— Комендант обещал охрану, — неуверенно произнес управляющий. — Может быть, обождете?

— Обещал! — засмеялся кучер. — Нашего Арсенья ждать до воскресенья! Поедьте-ка по холодку, не мешкайте.

Уже вечерело, когда экипажи тронулись.

Люси не плакала. Гарри молчал. Проехали двор, проехали мимо оранжереи, дальше шла широкая березовая аллея, а потом начинались поля.

Вдруг кучер обернулся и сказал, тыча куда-то в воздух кнутовищем:

— Никак, у нас зарево... Вон как полыхает!

Все оглянулись в ту сторону, где было Прохладное.

Сомнений никаких не было: горел ярким пламенем, почти без дыма только что покинутый дом...

Гарри заволновался и хотел уже повернуть обратно.

— Там ценнейшая библиотека! Музейная мебель! Это варварство! возмущался он. — Это дикость!

— Барин, — потрогал его за рукав кучер, — ваше благородие! Что с возу упало, то пропало. Огня не погасишь. А вы благодарите господу бога, что сами-то ноги унесли. Дело прошлое, а ведь сегодня ночью должны были вас всех порешить. Прикажите лучше погонять коней, так-то вернее будет!

Зарево все ширилось и охватило уже половину неба. Можно было различить даже отдельные вспышки и снопы искр, по-видимому, в тот момент, когда обрушивалась какая-нибудь балка.

Окрестные деревья и поля и те стали розовыми. И на лицах отъезжающих мелькали отсветы пламени.

— Мы присутствуем при страшной, мистической картине, — тихо произнес Гарри.

— Погоняй! — решительно сказала княгиня.

Люси испуганно прижалась к плечу Гарри.

Кучер ударил кнутом вдоль широкой спины коренника. Лошади рванули и пошли мчать по широкому полю.

Четырнадцатая глава

Вагон был классный и даже с целыми стеклами, настоящий, красивый пассажирский вагон.

Несколько купе отведено для молодых, новоиспеченных врачей, только что окончивших медицинский факультет. Они отправляются из Москвы добровольцами на фронт, в полевые лазареты. Когда в вагон стучат, они отвечают:

— Вагон специального назначения. Едут врачи на фронт. Пройдите дальше, товарищ!

Крайнее купе вагона закрыто. Там тишина. Там только один пассажир, и первое время он из купе не показывается.

Однако веселье и смех молодежи привлекли его. Он несколько раз прошелся мимо. Он в синем военного покроя костюме, высокий, плотный. Молодежь тоже посматривает на него.

Настроение у врачей приподнятое. Что их ждет впереди?

Через некоторое время незнакомец вошел и попросил стакан кипятку. Женщина, к которой он обратился, прежде чем наполнить стакан, вымыла его.

— Вот вы какая, — улыбнулся незнакомец. — Сразу заметили, что стакан у меня грязный. Что значит женский глаз!

И затем обернулся ко всем:

— Весело у вас тут, товарищи. Вы, кажется, врачи? Едете на фронт? Это очень хорошо. Знаете, как мы нуждаемся в медицинских работниках! На фронте их очень-очень мало, совершенно недостаточно.

— А вы были на фронте? В каких местах?

— Как там с медикаментами?

— Какие условия жизни?

Незнакомого пассажира закидали вопросами. Еще бы! Он как раз мог обрисовать им общую картину. Ведь они ехали как в темный лес!

— В каких помещениях обычно развертывают лазареты? Приходится и в палатках?

— Много раненых?

— Как положение с тифом?

Незнакомый пассажир охотно отвечал на вопросы, потом увлекся и стал рассказывать о фронтовой жизни, о сражениях, о военных маршах, о военных дорогах...

Слушали его внимательно, с большим интересом. И уже перестали стесняться, снова начались шумные разговоры, снова раскатывался смех.

Молодые лица. Невероятное количество острот, анекдотов и кипятку. Есть даже свечи. Есть староста вагона. Они получили дипломы, литеры, и каждый вместо золотой медали — буханку хлеба. Хлеба много, его даже предлагают незнакомому пассажиру.

Молодая женщина-врач с серьезными серыми глазами и приветливым лицом рассматривает его внимательно:

— Болели? Тифом? Ах, крупозным воспалением легких? Вылечили? Вот как! В петроградском госпитале? Да вы садитесь с нами чай-то пить. Дайте-ка ваш стакан, я вылью и нового налью, погорячей.

Женщину-врача зовут Ольга Петровна, товарищ Леля. Она снова наливает ему чаю. Чай из поджаренных сухарей, сахару нет, но есть сахарин и даже лимонная кислота. Лимонной кислотой гордятся все обитатели вагона.

— Так крупозным воспалением легких? — переспрашивает один из врачей. — А не тифом? Вид у вас довольно сыпнотифозный... Очень подозрительный вид!

— Вы не удивляйтесь, — мягко поясняет товарищ Леля, — наш Дима очень боится заразиться тифом. Он пересыпан нафталином, как лисья доха в сундуке хорошей хозяйки. И все время опрыскивает себя дезинфекционным раствором.

— Да, боюсь и не скрываю этого. Мне двадцать пять лет, я вполне могу прожить еще лет пятнадцать, а то и все двадцать, и я не могу допустить, чтобы какое-то насекомое...

— Дима! — кричит один из юношей. — Осторожнее! Вошь!

Дима бледнеет, вскакивает, осматривает одежду, скамейку, выхватывает флакон и брызгает вокруг себя.

Это вызывает дружный хохот. Оказывается, подшучивать над этим паникером стало общим развлечением.

К удивлению всех, незнакомый пассажир не разделял общего веселья. Он сострадательно смотрел на Диму.

— Зачем вы смеетесь над ним? — спросил он огорченно. — Нехорошо, товарищи. Вы видите, как он переживает! А вы знаете, — обратился он к Диме, — вы боритесь прежде всего с мнительностью. Страх — плохой спутник жизни! Это опасно, я знаю по себе.

И пассажир стал приводить различные примеры, а потом объяснять мнительному Диме, как ему трудно будет работать на фронте, если он в корне не перестроится.

— Когда летят пули на-ад головой... — с воодушевлением рассказывал он один за другим боевые эпизоды, и сам удивился, почему так легко говорилось в присутствии этой милой докторши.

Он заметил, что и другие в ее обществе становятся лучше или стараются быть лучше. Врач с богатой шевелюрой принимается усиленно острить, а этот, в пенсне, говорит особенно умные вещи.

— Ольга Петровна, с точки зрения медицины...

— Ольга Петровна, хотите, принесу кипятку?

Она выслушивает философа в пенсне, охотно смеется, когда острит врач с богатой шевелюрой, и так мило протягивает чайник:

— Пожалуйста, принесите! Все будут пить. Только не опоздайте, поезд трогается без предупреждения.

Ольга Петровна тоже только что окончила учебное заведение, и тоже выразила желание ехать на фронт, и тоже получила буханку хлеба. И теперь она с интересом расспрашивала этого большого и необычного человека о фронтовой жизни, о раненых, о боях.

— И вы вот сами, вот этот вы — тоже мчались на коне и разрубали людей на две части?!

— Крошил врагов. И буду крошить, пока не покончу со всеми. Разные, Ольга Петровна, у нас профессии: вы лечите, мы калечим. А задача у нас одна — победить.

Когда незнакомец после этого разговора ушел в свое купе, кто-то сказал вполголоса:

— А вы знаете... этот пассажир... кажется, это знаменитый Котовский.

2

В Брянске была пересадка. Вокзал был переполнен. Прямо на полу, сложив в кучу свой скарб — мешки, баулы, чайники — спали измученные люди.

Врачи в помещение вокзала не попали и расположились на перроне. Был мороз. По бесконечным рельсовым путям двигались фонари сцепщиков вагонов. Затем подползал, шипя, испуская облако пара, маневровый паровоз, захудалый, весь обросший сосульками. Он пронзительно свистел, в ответ далеко у стрелки размахивали фонарем, машинист высовывался из паровоза, крепко ругался и кого-то называл «черти полосатые». Паровоз начинал пятиться и задним ходом уползал в темноту, чтобы через некоторое время появиться с длинным хвостом цистерн, платформ, груженных лесом, платформ, груженных какими-то колесами, вагонов, идущих порожняком, и вагонов, наполненных углем...

Котовский был еще все-таки слаб. Ольга Петровна заметила, что он продрог, и строгим голосом врача потребовала, чтобы он надел ее меховую шубку, а сама завернулась в его шинель:

— Товарищ Котовский! Хотя вы и знаменитый командир, но сейчас командуя я!

Бесстрашный кавалерист, гроза петлюровцев и гайдамаков, сидел в женской меховой шубке и думал с благодарностью, что не так часто случается с ним в жизни, когда о нем проявляют заботу, кутают, говорят простые, сердечные слова... Матери Котовский не

помнил. И уже многие годы знал только койку тюремной камеры, случайные пристанища походной жизни да кавалерийское седло. А все-таки какую радость доставляет женская забота!

В эту зимнюю ночь, когда звезды вмерзали в небо, когда пронизывающий ветер мел снежную пыль на унылом перроне, а где-то вдаль так грустно тлели зеленые и красные огни, Котовский понял, что ему нужна эта ласка, что ему очень нравится эта молодая женщина, дорог этот милый и простой человек.

И Ольга Петровна поймала себя на мысли, что очень хотела бы, хотя бы на первых порах, работать на фронте с ним, с этим большим, трогательно искренним, порывистым человеком.

К утру Котовский был неузнаваем. Он был силен, здоров, он был находчив, изобретателен.

— Присмотрите за чемоданчиком, — попросил он Ольгу Петровну. — В нем деньги для бригады.

Он облазил все пути и тупики, прибежал торжествующий. Следы перенесенной болезни исчезли, румянец играл на лице.

— Забирайте чемоданы! Две теплушки! Мои бойцы, оставшие от бригады, оказались на этой станции! Нет уж, разрешите, вещи Ольги Петровны я понесу сам. Тем более что у самого-то у меня багажа немного.

— В самом деле, нельзя сказать, чтобы вы очень нуждались в носильщике. Ваши вещи, вероятно, остались в воинской части?

— У меня вообще нет вещей. И не было никогда в жизни. Вот галифе... Это преподнесли бойцы, когда мы в одном городишке захватили склады мануфактуры. А это подарили питерские рабочие...

— Да, движимой собственности у вас, прямо сказать, немного. Кот наплакал.

Котовский подхватил корзину и портплед Ольги Петровны. Прежде чем уйти, посмотрел на перрон, на вылинявшие огни семафора.

— Да-а, хорошо т-тут было! — вздохнул он, вызвав всеобщее веселье.

— Действительно, воздуху тут было много, — подхватил остряк с богатой шевелюрой. — И температура поддерживалась ровная — двадцать градусов ниже нуля.

Ольга Петровна встретила взглядом с командиром. Котовский понял: она с ним согласна, что это была памятная, хорошая ночь.

3

Теплушки, занятые бойцами Котовского, оказывается, стояли здесь больше недели. Но теперь Котовский сам пошел говорить об отправке. Через какой-нибудь час их выдвинули на главный путь и прицепили к маршрутному поезду.

На теплушках было написано: «Сорок человек, восемь лошадей». Но лошадей там не было. Кавалеристы кололи дрова возле вагона. Загудела чугунная «буржуйка», раскалилась докрасна. Стало жарко. Доктор с пышной шевелюрой кипятил на «буржуйке» чай.

Резкий толчок. Чай расплескался. Примерзшие колеса взвизгнули. Поезд тронулся и стал набирать скорость.

У Димы оказалась свеча. Прикрепили ее на чемодане, наполнили кружки чаем...

В теплушках оборудованы нары. В два этажа. Внизу прохладнее. На верхних нарах просторнее и веселее. Можно даже смотреть в окошечко на мелькающие мимо нахохленные, в снежном уборе ели.

Что такое? Поезд остановился, но ни вправо ни влево не видать никакой станции, только сугробы и безмолвный, бескрайний лес.

— На паровозе кончился уголь, — сообщил красноармеец, ходивший на разведку.

— Кончился уголь? — тревожно спросил Дима. — Что же теперь будет? Теперь нам как?

Котовский отправился сам выяснять, что случилось. С грохотом открылась дверь, Котовский крикнул:

— Ребятки, берите топоры, пойдем рубить лес, делать заготовку!

«Ребятки» быстро пососкакивали с нар. Врачи тоже не хотели отставать. Всей гурьбой отправились к паровозу. Чумазый машинист сосредоточенно шуровал в топке.

— Сейчас будет топливо! — объявил Котовский.

Из других вагонов тоже вышли люди. Нашлись еще топоры. У кого-то оказались даже санки.

Какой пушистый, искристый снег! Полезли напрямик к лесной опушке. Дима сразу же провалился по пояс. Застучали топоры, с треском падали березки, срубленные смолистые сосны покачивали ветками на снегу. И уже наготовлены дрова!

Вереница пассажиров с охапками дров направляется к тендеру. Котовский распределяет силы, командует, дело спорится, в тендер летят поленья...

Жарко становится от веселой возни! Ольга Петровна тоже вместе со всеми носит охапки. Паровоз дымит, шипит паром. Тендер доверху набит топливом. Все карабкаются в теплушки, отряхивая снег.

Толчок. Еще толчок. Как гудит раскаленная «буржуйка»! Паровоз рванул, буфера вагонов со звоном стукнулись друг о друга. Двинулись дальше, и вот уже семафор какой-то станции. Паровоз нетерпеливо требует, чтобы семафор открыли.

Доктор с пышной шевелюрой протирает стекло окошечка.

— Леса, — говорит он патетически. — Брянские леса.

— Да что вы! Брянские давно проехали.

— Это неважно, зато звучит красиво: Брянские леса!

В Харькове Котовский требовал в штабе армии, чтобы всех врачей отдали в Сорок пятую дивизию. Но начсанарм ответил, что об этом не может быть и речи, и дал ему только одного врача — Ольгу Петровну Шакину. Ее оставляли сначала в харьковском госпитале, но она просила направить ее на фронт, на передовую.

До Синельникова ехали почти в том же составе. Но вот настала пора расставаться Ольге Петровне с товарищами по медицинскому факультету. Пожатия рук, пожелания... Дима явно волнуется, и у него очень несчастный вид.

— Бодритесь, Дима! — кричит из вагона Котовский. — Смелость города берет!

Под Екатеринославом разрушен железнодорожный путь. Здесь нужно распрощаться с вагоном. Всюду военные. Завидев Котовского, радостно приветствуют его.

— Это уже наши! — поясняет Котовский Ольге Петровне. — Понимаете, наши! Сорок пятая железная, дикая! Замечательный народ!

Котовскому подали коня. Ольга Петровна с бойцами продолжает путь на подводе.

— Позавчера в городе-то сидел батька Махно. Выбить-то его выбили, да, смотри, мост он напоследок взорвал, беда-а! — рассказывал возница, серьезный, самостоятельный мужичок.

4

Взорванный мост походил на огромную раненую птицу, раскинувшую крылья. Больно было смотреть на искалеченное, приведенное в негодность такое красивое сооружение.

По сломанному мосту и переброшенным доскам и балкам перебрались на ту сторону.

В городе тоже повсюду следы недавнего боя: выбиты стекла и рамы, дома стали подслеповатыми, сырими... а вот поваленный телеграфный столб лежит поперек улицы, опутанный заиндевевшими проводами... убитая лошадь ощерила зубы, устала мутные, невидящие глаза в холодное, безучастное небо...

Город спешно приводится в порядок. Даже приехала кинопередвижка. Котовский разыскал Ольгу Петровну и пригласил ее в кино.

Картина «О семи повешенных». Ольга Петровна ее видела уже. Она больше, чем на

экран, смотрела на зрителей. Зал переполнен. Красноармейцы простодушно, как дети, воспринимают картину. Им занятно то, чего другой зритель и не заметил бы.

— Конь-то, конь какой! — удивляется вслух лихой кавалерист, с красным, видимо давно уже прицепленным, бантом на груди, с чубом на лбу и молодецки насаженной на голову буденновкой. — На таком только воду возить!

— Ишь, ишь, улыбается! — разглядывает другой боец девушку на берегу моря в видовой хронике, которую киномеханик прокрутил перед картиной.

«Вот с этими людьми, — смотрела Ольга Петровна на простые, открытые лица, на голубоглазых этих парней, — с этими людьми придется встречаться теперь каждый день, заботиться о них, лечить их, бинтовать раны, торжествовать, когда удастся вырвать из когтей смерти...»

Хотела высказать эти мысли сидевшему рядом Котовскому и вдруг увидела, что он весь поглощен картиной, на лице его горестное раздумье, он морщится, как от боли, неотрывно смотрит на экран.

Картина кончилась, в зал дали свет. Котовский глубоко вздохнул и сказал изменившимся, тусклым голосом:

— Я пережил сейчас заново свое прошлое...

Ольга Петровна за долгую дорогу, еще в вагоне, слышала много его рассказов о Бессарабии, о сестрах, об отце его, о вишневых садах и цветущих акациях. Она понимала, что тоскует он по родным местам. В рассказах его было много чувства, рассказывал он увлекательно. И так они за эти дни подружились, так нравился Ольге Петровне этот сильный, мужественный и в то же время такой душевный, хороший человек!

Может быть, это даже нечто большее, чем дружба? Почему Ольгу Петровну так трогало все, что касалось Григория Ивановича Котовского? Почему она гордилась им, видя, как все вокруг — и бойцы и командиры — с особым уважением, с большой любовью относятся к Котовскому?

Странно, что его так задела картина «О семи повешенных»! Что такое было в его жизни, о чем она не знала и что до сих пор не зажило в его душе?

Как бы в ответ на ее мысли Котовский стал рассказывать:

— Я ведь всего лишь три года назад, при царской власти, был приговорен к повешению, был смертником... Я всего повидал. Был и на каторге, и в бегах, сиживал и в т-тюрьмах...

Ольга Петровна видела, что эти воспоминания волнуют его, и постаралась отвлечь его от черных мыслей.

5

К началу 1920 года войска Деникина были разгромлены Красной Армией и отступали к Черному морю. Для преследования противника формировались кавалерийские части. Приказом по Сорок пятой дивизии кавалерийские дивизионы бригад сводились в одну кавалерийскую бригаду в составе двух полков.

Командиром этой бригады был назначен Котовский. Он тотчас приступил к формированию. Так радостно было встретиться со своими старыми друзьями и знакомиться с новым пополнением!

Вот Няга прискакал на взмыленном коне, спрыгнул и бросился к командиру. Котовский обнял его:

— Ты все такой же! Рассказывай, как без меня воевал?

— Немножко били Деникина, немножко Махно, — ответил Няга, сверкая черными, огненными глазами. — Ну а теперь совсем другое дело, товарищ комбриг! Вместе я готов хоть в пекло ворваться, всех чертей распугать!

Обрадовался Котовский, увидев Савелия, Мишу Маркова. А вот и Криворучко, и Подлубный — старые соратники и друзья.

— Давно высматривал! Без вас не представляю бригады. А ты, Савелий, по-прежнему

уздечки починяешь, мудреные сказки говоришь? Смотри, Марков-то какой молодец у нас вырос! Ну, отдыхайте, наш отдых короткий. Впереди еще большие бои.

Очень нравился Котовскому Иван Никитич Макаренко — полный сил, полный энергии молодой командир. Волосы у него вьются, а глаза светлые-светлые. В войну четырнадцатого года Макаренко попал в плен и долго находился в Германии. На родине Макаренко оставил жену и двух детей. Вернулся, но о них ни слуху ни духу — очевидно, погибли. Об этом Макаренко не любил говорить.

Приветствовал Котовский и неразлучную пару — кавалериста Сергея Кораблева и его постоянную спутницу Серафиму. Кто только не любовался этим чернобровым молодцом, который мчался на коне, соперничая с ветром! В бою дьявол, нагоняющий страх на врага, в другое время — ягненок. Тихий, скромный, Кораблев слегка стеснялся перед бойцами своей нежности и напускал на себя грубоватость, а в глазах между тем сияла ласка.

Они всегда вдвоем. Жена Сергея — тоже кавалеристка, и еще вопрос, кто из них более лихо скачет на коне, кто из них смелее врзается в гущу битвы.

Серафима красива. Не лишает ее красоты ни грубая фронтовая жизнь, ни военная форма. Серафима глаз не спускает с мужа. Он ее слушается, такой как будто своевольный, но слушается беспрекословно. Впрочем, все ее приказы только о нем: чтобы берегся, чтобы коня хорошо содержал.

Глядя на эту, окрыленную любовью, казачку, каждый невольно задумывался о женской участи, о женской привязанности. Никогда никто в бригаде не позволил даже какого-нибудь намек в отношении Симы. И уж, конечно, никому и в голову не приходило тронуть ее. Не потому, что у Кораблева рука тяжелая. Уважали очень, уважали безграничность любви и бесстрашие в ней.

Время такое разлучное, что всем в разлуке жить. Не захотела Серафима в хате сидеть да выглядывать в оконце, не едет ли на побывку муженек. Не захотела одна-одинешенька маяться ночами от неутоленной любви и от дум неотвязных: где-то он, сердечный, жив ли? Не сразила ли его вот в этот как раз час вражья пуля? Не лежит ли он, истекая кровью, под ракитовым кустом? Не падает ли от удара кривой сабли с коня боевого?

И она решительно заявила мужу, что как он хочет, но она не согласна разлучаться, где он — там и она.

— Сумели мы, бабы, когда вы воевать ушли, сами вспахать, взборонить, сами хлеб убрать, сами сено скосить, сами детей вырастить, сами горе горевать? Сумели мы все стерпеть: и голод, и холод, и обиды? Мы все можем! Ты воюешь — и я буду воевать!

И с той поры они неразлучны. Сергей Кораблев скачет на своем коне в атаку — и Серафима разит врага, а сама зорко следит, не попал бы муж в беду — сразу придет на выручку. Так они вместе, рядом, рука об руку, мчатся в бой — Сергей Кораблев, с развевающимся по ветру чубом, и несущая знамя всепобеждающей любви отважная женщина, прекрасная в своей непосредственности, во всех порывах — Серафима Кораблева.

С большим уважением отзывался Котовский о казачке Серафиме и часто справлялся о ней.

— В случае чего, обращай ко мне, Сима, я живоотрегулирую, говорил он, любуясь ее удальством.

Комиссар Христофоров — худощавый, невысокого роста, с умными внимательными глазами и располагающей к нему улыбкой, бывший учитель, а в дальнейшем политработник — сразу пришелся в бригаде, как говорится, ко двору. Кем бы он ни был, что бы ни делал, он прежде всего хотел принести пользу, служить народу. Следовательно, нужно было помочь людям разобраться в происходящих событиях, разъяснить, кто враг, кто друг, на фактах показать, чего добиваются интервенты, белогвардейцы, вся свора, обрушившаяся на молодую Советскую республику, и за что борются большевики. Но разъяснять, убеждать — это одна сторона дела. Надо еще и самому братья за оружие в такой опасный момент. У Христофорова слова не расходились с делом. Вот почему он и оказался у Котовского.

Познакомившись с Ольгой Петровной, Христофоров рассказал ей:

— А ведь мне говорили, когда я переходил в кавбригаду, что Котовский лихой рубака, батька-партизан, очень самовольный, чуть ли не самодур. Меня это, признаться, напугало, и с таким предвзятым чувством я и встретился с Григорием Ивановичем... — Христофоров улыбнулся. — С первого же момента я увидел, что характеристика дана неправильная. И чем больше приглядываюсь я к нашему комбригу, тем сильнее привязываюсь к нему. Его надо беречь, Ольга Петровна! Он о себе не думает, беспечно относится к своей судьбе, постоянно рискует... А я смотрю на него и все мечтаю: вот кончится война, и будем мы вместе с ним работать... и такую красоту заведем на любом участке, куда бы нас ни направили!..

Ольга Петровна полностью разделяла мнение Христофорова, а также все его тревоги, все его опасения.

Котовский смущенно признался ей:

— Товарищи спрашивали... Я сказал, что вы моя жена.

— Жена? Почему же вы так сказали? — спросила Ольга Петровна в некотором замешательстве.

— Видите ли... вы не сердитесь, это для вашей же пользы. Вам легче будет работать, совсем другое отношение будет и у нас в штабе и в дивизии...

Но кавалеристы Котовского по-своему объяснили приезд Ольги Петровны. Она сама нечаянно подслушала разговор двух бойцов. Один объяснял другому:

— Командир давно уже тоскует по любимой сестрице, все думает, что страдает она, белая голубка, в когтях международной буржуазии и никогда уже не повидать ее больше. А тут идет он по Москве-городу — глядь-поглядь, а сестра навстречу! «Ну, — говорит наш командир, — будем мы теперь неразлучны!» Вот и увез ее с собой на фронт!

Котовский познакомил Ольгу Петровну со всеми своими соратниками. Вначале она была несколько разочарована. Ей казалось, что прославленные котовцы одеты в кавалерийские галифе, в добротные длиннополые шинели, с нашивками, красивыми отворотами... и все на сказочных, прямо с картины Васнецова, и на подбор белых, с могучими длинными гривами, боевых конях... Оказалось, совсем другое.

Няга был в бекеше и полуушанке, Макаренко, тот хоть и ладен собой, но ходит в полушубке. Начальник штаба Юцевич — в старенькой солдатской шинели и фуражке. Не скажи ей, что это начальник штаба отдельной кавбригады, она бы подумала, что это рядовой, пришедший что-то доложить по начальству. О бойцах же и вовсе нечего говорить! Кони у всех разномастные, одни получше, другие похуже. Бойцы — кто в шинели, кто в поношенных штатских пальто, некоторые в венгерках, отороченных мехом... Кто в ботинках, кто в сапогах...

Котовский сказал Ольге Петровне:

— Враги называют нас «дикая дивизия», а мы говорим — «непобедимая»!

Котовскому нужно было позаботиться обо всем. Он принимал новые части, знакомился с командирами, добывал обмундирование, кухни, сбрую. Формировать кавалерийскую бригаду! Это всегда было его заветной мечтой, так же, как мечтой было и создание собственного артиллерийского дивизиона.

Ольга Петровна незаметно и деликатно вошла во все его заботы и дела. Нужно ли посоветоваться, или посетовать, или погордиться — всегда находил в ней и собеседника и чуткого друга.

— Опять не достал седел! — жаловался Котовский. — Этот упрямый осел на складе говорит, что кожа есть, а мастеров нет. Я говорю: «Хорошо, тогда выдайте кожу». — «Нет, говорит, не могу, ведь в требовании указаны седла, как же я выдам кожу?» — «Но седла-то у вас нет?» — «Нет». — «Так выдайте кожу, а уж я позабочусь, чтобы из кожи получились седла».

— Это, по-видимому, формалист, — говорила Ольга Петровна. — Надо написать ему требование на «кавседельную кожу». Это ему понравится! Бюрократы любят загадочные выражения: снабдив, продорган, продлетучка.

На следующий день Котовский вернулся торжествующий:

— Ключуло! Выражение «кавседельная кожа» так его потрясло, что он немедленно наложил резолюцию: «Выдать».

Кожа заполнила всю комнату. Ночи напролет Котовский, Савелий и Миша кроили седла. Ольга Петровна помогала им.

Семилинейная лампа воняла керосином. На руках натерлись мозоли. Первое седло вышло неказистое. А потом научились!

— Комбриг обязан все уметь! — сказал Котовский. — Искусство побеждать заключается в том, чтобы преодолевать проволочные заграждения, бюрократизм чиновников и упорство врага!

6

В первое время наскоро собранные красные части сражались бесхитростно. Бросались на врага и дрались. Если враг бежал, преследовали. Если оказывал сопротивление, отступали сами. Бесшабашная отвага, дружный порыв — вот все, что они могли противопоставить в те дни опытности врага.

Это длилось недолго. Народ выдвигает в грозный час полководцев, и в грохоте сражений обнаруживается их прирожденный военный талант.

Был у Котовского помощник начальника штаба Георгий Садаклий. Усики Садаклия говорили о том, что он заботился о своей наружности, а морщинистое лицо, мешки под молодыми, яркими глазами свидетельствовали о нелегком жизненном пути. Типичный интеллигент, неизменно деликатный, сдержанный, всегда со всеми на «вы» и всегда сохраняющий собственное достоинство, Садаклий помимо обширных знаний и доброго сердца обладал еще одним несомненным качеством: он был безоговорочно предан революции, предан весь, до мозга костей.

По образованию юрист, по чину прапорщик. С юридического факультета принес склонность к рассуждениям. В школе прапорщиков получил военные знания, которые успел укрепить и выверить во время войны с Германией, в четырнадцатом году. Был он прилежен, точен, в ведении дел строго придерживался формы. И как все в бригаде Котовского, любил своего командира.

Нередко, приступая к составлению оперативной сводки, Георгий Садаклий заводил беседу о высоких материях, задавшись целью передать Котовскому все то, что знал сам.

— Вы думаете, — начинал он обычно беседу, — в четырнадцатом году генштабы были на высоте положения? Они верили, что достаточно воспроизвести образы военного искусства Мольтке — и победа обеспечена. Они ошиблись! То, что превосходно вчера, сегодня уже негодно.

— Сказать короче, — останавливал Котовский, — они воевали плохо?

Котовский подсмеивался над книжным языком Садаклия, но уважительно относился к его эрудиции. А ведь Садаклий на самом деле много чего знал, и если уж знал, то обстоятельно.

— Идеей действий против флангов пронизаны почти все операции маневренного характера этой войны... Охват, обход, концентрическое наступление, окружение противника...

— Постой, постой, давай как-нибудь проще. Ну вот — против флангов. Разве это не годится?

— Решающим фактором победы, товарищ комбриг, является общее превосходство сил, военно-технических средств и экономики.

— Это и маленьким понятно: если вас больше, то нам плохо, а вам хорошо!

— Спрашивается, какие поправки внесла война? Без разведки вообще нельзя воевать. Разведка, взаимодействие родов войск и тщательная маскировка — вот ключ к победе.

— Хорошенький ключ! Это целая связка ключей!

— Затем значение огня. Война становится громче. Однако господствует не пушка, не

винтовка, а пулемет. А стрелковая цепь?! Война раз навсегда сдала в архив линейные боевые порядки. Только глубина! На смену «цепям» пришли «волны», их сменили «группы». Стихийно зародилась «тактика воронок»: перебегать от воронки к воронке и каждую воронку превращать в редут. Техника спешит на помощь, и в пехоту внедряется легкий пулемет. Возрастает значение ближнего боя в лабиринте окопов. И что же? На вооружение поступает ручная граната. Вы видите, как это получается? Нужна гибкость, находчивость, воля к победе, прозорливость, стремительная осторожность, осторожная стремительность...

— Довольно! И половины этих качеств достаточно, чтобы победить мир!

Котовский уверенной, твердой рукой ведет свои полки. Но предварительно он часами просиживает над картой. Карта оживает, превращается в кудрявые рощи, в поля, овраги, в холмы, по скатам которых придется тащить орудия...

Чтобы оживить эти линии и кружочки, разведка собрала подробные сведения. Разведке Котовский уделял много внимания. Нужно соразмерить силы, нащупать слабое место противника. Нужно учесть и наличие боеприпасов, и резервы, и тыл... Даже качество овса в торбах.

Когда он шел в атаку, у него были взяты на заметку и промахи врагов, и состояние погоды, и туман, и новолуние, а также особенности бойцов и каждого командира. Все должно было служить победе. И все служило победе.

7

Первое задание вновь сформированной кавалерийской бригаде — взять Вознесенск, закрывающий дорогу к Одессе. Разведка сообщила, что в Вознесенске сосредоточено много войска. Кроме Четырнадцатой дивизии там Сорок седьмой Украинский и Сорок восьмой Волынский полки белогвардейцев.

— Ну, Федор Ефимович, — сказал Котовский, пожимая руку Криворучко, будет нам с тобой куча дел! Как твой Четыреста второй?

— Сейчас полк хорошо укомплектован.

— Погодка отвратная! Когда крещенские морозы полагаются?

— Крещенские уже прошли. Это какая-то добавочная порция, сверх нормы.

В снежную метель шли полки, преодолевая сугробы. Ветер неистовствовал, пурга разыгралась такая, что в двух шагах ничего не было видно. А тут еще белые открыли ураганный огонь из всех батарей, из всех бронепоездов и вслед за тем перешли в наступление.

Стыли замки у орудий, замерзала вода в кожухах пулеметов. Мороз захватывал дух. Снег залеплял глаза, закручивался в бешеной свистопляске. Там, где только что была равнина, выростали сугробы. Они передвигались, взвихривались, превращались в снежную пыль... Все крутилось, несло, рвались снаряды, где-то кричали «ура», но ветер подхватывал и уносил крик в степные просторы, где-то брали противника в штыки, но впереди оказывались только степь да ветер...

На берегу Буга спешили, зарылись в снег. Дали подойти противнику вплотную и встретили пулеметным огнем.

Сама непогода сыграла службу. Прицел артиллерии был из-за метели неверный, снег оказался хорошим средством маскировки, ночь и метель позволили незаметно подойти к городу — и город был взят.

На станции стояли безмолвные бронепоезда. На улицах валялись неубранные трупы...

Котовский выступал на городском митинге, когда снова послышалась стрельба. Оказывается, противник перешел в контратаку. Густые цепи шли по льду Буга. И снова бросились котовцы в бой. Заработали пулеметы. Перекрестным огнем был полностью уничтожен полк, состоявший из офицеров, студентов и гимназистов. Его сформировал одесский священник.

Вокзал станции Вознесенск-пассажирский безлюден. Вагоны, вагоны... На перроне битое стекло, припушенные снегом мертвецы... Белыми войсками при отступлении оставлен эшелон раненых. Теперь это эшелон трупов: все раненые замерзли в вагонах, брошенные на произвол судьбы. В буфете, на столиках, еще не убраны бутылки, которые опорожнили перед поспешным бегством господ офицеры.

Ольга Петровна развернула лазарет в бывшей еврейской больнице. У нее уже имеется перевязочный отряд. Но сразу же обнаруживается острая нужда в медикаментах, нет бинтов.

Ольга Петровна едет в сопровождении адъютанта Котовского в штаб дивизии. Начсандив встречает очень любезно, предлагает сесть. Но когда узнает, о чем хлопочет врач, прибывший из бригады Котовского, только разводит руками:

— Чего нет, того нет! И рад бы в рай, да грехи не пускают!

— Дайте хоть что-нибудь!

— Ни одного бинта сам не имею. Вот обрежу сейчас палец — и придется завязывать — хе-хе — носовым платком. Нет греха хуже бедности!

— Но как же работать?

— Шлем требования, звоним по прямому проводу. Обещают... Но, как говорится, обещанного три года ждут. На вербе груши не растут, как известно...

Выслушав еще несколько пословиц от начсандива, Ольга Петровна вернулась назад.

Котовский рассмеялся, выслушав ее жалобы:

— Не отчаивайтесь! Я уже обо всем позаботился. В Вознесенске взято много трофеев: склады продовольствия, бронепоезд, пулеметы, артиллерия и что вас особенно должно порадовать — санитарный поезд. Я сейчас уезжаю, а тут останутся наши люди — идите и берите все, что вам понадобится, а то и весь санитарный поезд забирайте целиком.

Котовский уехал. Из опросов крестьян, возивших белогвардейцев в Березовку, он установил, что в самой Березовке находится кавалерийская часть и какие-то пехотные части, что два пехотных полка и полк генерала Бредова на станции Березовка погрузились в вагоны, что в Вормсове пехотный полк при пяти орудиях, а в Колосовке стоит бронепоезд.

Котовский отправился брать Березовку.

Когда Ольга Петровна в сопровождении надежных людей пришла на станцию, из санитарного поезда вышел важный, с седой академической бородкой человек.

— Я главврач санитарного поезда, — сообщил он, не отвечая на приветствие. — Поезд находится под защитой Датского Красного Креста и пользуется неприкосновенностью. Требую немедленной отправки в Одессу. Все. Разговоры окончены.

— Вы правы, санитарный поезд пойдет скоро в Одессу, — сказала Ольга Петровна. — Ведь Одесса вот-вот будет взята Красной Армией.

— Ну, это бабушка надвое сказала, — ответил главврач, но уже менее уверенным голосом.

Ольга Петровна подумала:

«Странно, и этот изъясняется пословицами!»

— Мы все-таки осмотрим поезд, — твердо сказала Ольга Петровна.

— Не разрешаю. Это может взволновать тяжелобольных.

Однако при осмотре во всех вагонах оказались не «тяжелобольные», а здоровые белые офицеры, которых попрытал этот академический главврач, надеясь вывезти их под маркой Красного Креста в расположение белых.

Стали выводить офицеров, пересчитали и увели в штаб вместе с главврачом.

— Ну вот, — улыбнулся котовец Ольге Петровне, — теперь вы можете распоряжаться. Тут есть и санитары. У них, конечно, имеются ключи и прочее подобное. Заходите, товарищ доктор. Санитар? — строго спросил он меланхолика в белом халате.

— Так точно! — ответил тот.

— Переходите в распоряжение доктора. Где тут у вас всякие там касторки и перпетуум-

мобиле?

— Третий вагон. Медикаменты и перевязочные материалы.

Через несколько дней в этом самом поезде Ольга Петровна отвезла раненых и больных в Одессу. Мрачный меланхолик-санитар оказался расторопным малым. Он старался понравиться Ольге Петровне изо всех сил.

— Чаек вскипятить? У меня есть на заварку настоящий, дореволюционный!

Иногда санитар пускался в рассуждения:

— Медицина в политику не вмешивается. Кто покалечил, кого покалечил нас это не касается, наше дело забинтовывать. К примеру, за что наш главный врач пострадал? Лез не в свое дело. А разве это хорошо? Не удержался за гриву, так за хвост не лапай!

Какие счастливые лица были у красноармейцев, попавших в лазарет на излечение! После ночевки где попало и на чем попало вдруг очутиться на белоснежной постели!

9

В Вормсово пришла делегация. Пробрались через все кордоны. У одного было спрятано письмо, конверт сильно помялся, провонял овчиной. Надпись на нем была, однако, разборчивая:

«Командиру, который наступает на Березовку».

Котовский прочитал надпись и сказал:

— Это мне.

«Господин командир, товарищ красный, — гласило письмо, — в нашем полку вынесено решение в вас не стрелять, а даже стрелять резолюция исключительно в воздух, хотя будем делать вид, что ничего подобного. Одно наше желание — прекратить братоубийство. При сем прилагаем расположение частей в Березовке, а также где какие заставы. Да здравствует рабоче-крестьянская власть!»

Дальше шли подписи.

Котовский побеседовал с делегатами и сказал им:

— Спасибо, дорогие друзья! И от моего имени и от всех, кто борется за народное счастье. Я верю, вы выполните обещанное.

— А как же? Разве мы не понимаем? Кто пойдет насупротив — разговор короток...

Кавбригада переправилась через Буг. Котовский двинул полки на Березовку.

Ничего не могли понять белые офицеры! Они приказывали не жалеть патронов. Солдаты не жалели патронов. Пули летели через головы наступающих, снаряды ложились далеко позади.

Впрочем, Котовский на случай провокации принял меры: батарея и пулеметчики были наготове.

Командовал воинскими соединениями в Березовке старый, опытный полковник, выросший в семье, которая из поколения в поколение давала военных.

Полковник Иванов, отутюженный, подтянутый, молодежавый, хотя и требовал дисциплины, но был мягок и добр, а с солдатами придерживался такого обращения, которое, по его представлению, должно было особенно нравиться простонародью и которое чем-то напоминало повадки Суворова.

— Ну как, братец ты мой? — обращался он к часовому после соблюдения всех формальностей. — Приварок ничего? Не жалуешься? Из дому письма получаешь? Ты из каких мест сам-то? Ставропольский? Знаю, знаю эти края! Мука там хорошая.

Обычно солдат на все его реплики, выпучив глаза, отвечал «никак нет» и «так точно», но полковник оставался доволен собой и, уходя после такого собеседования, давал солдату «на табачок».

С господами офицерами Иванов позволял себе незамысловатые шутки и рассказывал в офицерской столовой одни и те же анекдоты, которые все давно уже помнили наизусть.

Военное дело полковник Иванов знал отлично, кроме того был распорядителем, храбр,

в командных кругах пользовался заслуженным уважением и доверием, а с генералом Деникиным служил когда-то в одном полку.

Убеждения Иванова были несложны. Он говорил:

— Нам, солдатам, думать необязательно. На то есть устав и приказ.

Вместе с тем полковник часто принимал решения вопреки всем приказам и уставным положениям. Особенно любил он самолично отменять дисциплинарные взыскания и, вместо того чтобы отдать под суд, отечески журил провинившегося и отпускал с ботом.

Полковник безоговорочно верил, что «большевики — бунтовщики и каторжники», что «никогда кухарки не управляли государством и управлять не будут», что «народу нужна твердая власть» и что «мужик царя любит». Полковник Иванов ни на минуту не сомневался, что никакая красная воинская часть не сможет выдержать малейшего натиска его солдат.

Слабостью Иванова было солдатское пение. Если нужно было привести полковника в хорошее расположение духа, достаточно было с гиканьем и присвистом отхватить роте солдат «Пойдем, пойдем, Дуня» или «Скажи-ка, дядя, ведь недаром» — и полковник уже начинал улыбаться и сам подтягивать баритоном:

«Москва спале... Москва, спаленная пожаром...»

Полковник следил, чтобы его солдаты были хорошо одеты, хорошо обуты, хорошо накормлены. А что касается вооружения, то он не помнит, была ли так хорошо оснащена какая-нибудь воинская часть в тысяча девятьсот четырнадцатом году!

Полковник поэтому спокойно выслушал сообщение, что на Березовку двинулся некий Котовский со своей бригадой.

— Котовский? — переспросил Иванов. — Что-то не слыхал. У них что ни день, то новое светило!

На самом-то деле он не только слыхал о Котовском, но даже прекрасно знал о его доблести, о его почти фантастических военных успехах, в частности о взятии Вознесенска, где погиб в бою однокашник Иванова полковник Кузьминский. Иванов прекрасно знал о Котовском и даже слегка побаивался его, но притворился, что впервые слышит эту фамилию, по тактическим соображениям: чтобы сохранить боевой дух своих подчиненных.

— Котовский? — повторил он как бы в раздумье. — Ну что ж, дайте ему жару, этому Котовскому, чтобы отбить охоту связываться с полковником Ивановым! Подумаешь, Котовский! Какой вздор!

Однако вслед за тем отдал распоряжение — выслать на подступы к Березовке стоящую в городе пулеметную роту — и приказал немедленно открыть по движущейся коннице противника артиллерийский огонь.

Вскоре к полковнику вбежал бледный, с трясущейся челюстью адъютант. Полковник обернулся к нему и ждал, но тот не сразу овладел даром речи.

— Алексей Иванович... — произнес он.

— Докладывайте, поручик, по форме, — поморщился Иванов.

— Алексей Иванович, — повторил адъютант, — измена...

— Где измена? Какая измена?

— Они стреляют в воздух.

— Кто стреляет в воздух? Да вы в своем уме, поручик? Говорите, черт вас побери, толком!

Но когда адъютант растолковал ему, что происходит сейчас под Березовкой, и добавил при этом, что через каких-нибудь полчаса можно ждать появления красных здесь, на улицах, так как им не оказывают никакого сопротивления, полковник понял все.

— Я сам пойду туда! Я покажу им! Я их приведу в православную веру!

— Ради всего святого, не ходите! Они убьют вас! Они уже убили капитана Крюкова!

— Как убили капитана Крюкова?

— Очень просто. Он стал кричать на солдат, выхватил у одного винтовку и сам стал стрелять по наступающим... и получил тут же пулю в спину...

— Так неужели же все? Все мои солдаты?!

— Бежимте, Алексей Иванович! У нас есть поезд... Большинство офицеров уже погрузились в вагоны...

— Вот как?

— Я же вам докладываю. Поспешите, а то будет поздно.

В один какой-то миг промелькнули в сознании полковника Иванова картины прожитой жизни: его учеба в академии... затем девятьсот четырнадцатый год... награды, благодарности... И как же это могло случиться? Разве скверно он обращался с солдатами? Разве не ясно каждому здравомыслящему человеку, что большевики тянут страну в пропасть, в бездонную пропасть, что это же мужичье хлебнет горя в первую очередь, если большевики каким-то чудом удержатся? Он бы понимал еще, если бы какая-нибудь отдельная часть... ну, скажем, рота... Но чтобы все, все до одного?! Неужели жизнь его, русского офицера, русского патриота, была одним сплошным недоразумением, одной ошибкой?

— Несчастные! — с горечью произнес полковник. — Неужели они ничего не понимают? Они еще раскаются! Или это я ничего не понимаю? А? Что же вы молчите, поручик?

— Мы об этом поговорим после! Нас пристрелят как бешеных собак! Вот ваша шинель, полковник. И мне совсем не улыбается висеть на телеграфном столбе!

— Идите, — твердо произнес полковник. — Идите, поручик! Я вам приказываю немедленно идти к поезду. Передадите мой устный приказ тотчас же отбыть в поезде из Березовки и доложить по инстанции о мятеже.

— Я не пойду без вас! Как же так?

— Пойдете! Как миленький пойдете!

И полковник вытолкнул поручика за дверь и видел, как тот выскочил на крыльцо и рысцой припустил по направлению к вокзалу, не оглядываясь и не выбирая дороги.

— Ну вот, — вслух сказал полковник. — Вот и все.

Он вынул из кармана френча фотографическую карточку жены — немолодой уже женщины с умным и грустным лицом.

— Прощай, Лида, — прошептал полковник и поцеловал фотографическую карточку. — Ничего не подделаешь, Лида. Капитаны не уходят с капитанского мостика, когда тонет корабль.

С этими словами полковник нажал на курок своего кольта и рухнул на пол, опрокидывая стул и сдергивая со стола двухверстку — географическую карту, на которой он только что ставил разноцветные кружочки, треугольники и кресты.

Этого выстрела адъютант не слышал. Он был уже далеко. Он еле успел к отходу поезда. Часто, прерывисто дыша, он подошел к перрону как раз в тот момент, когда заканчивалась посадка.

— Ну, что там? — крикнул с паровоза капитан, взявший на себя наблюдение за машинистом и кочегаром.

— Полковник отказался уйти!

— А, дьявол! Фанаберия! Ну и пропадет, как пить дать — пропадет! Это всего легче!

И капитан зычно крикнул:

— По вагонам, господа офицеры! Поезд отправляется!

Где-то совсем близко раздалось раскатистое «ура». Но никто не оглядывался в ту сторону. Паровоз гукнул, и вагоны медленно сдвинулись с места.

Когда конники ворвались в Березовку, хвост поезда с бежавшими офицерами был далеко за семафором.

Котовский в сопровождении нескольких бойцов вошел в штаб и увидел мертвое тело полковника. Котовский понял все, что произошло. Он постоял в раздумье над трупом:

— Трудно им. А главное — непонятно. Где тут сразу разобраться! И не все же они подлецы? Многие из них кончают с собой. Не выдерживают. Одно им название: банкроты. Полное крушение помыслов и надежд!

В Березовке происходила обычная кутерьма, какая бывает при занятии населенного

пункта. Выстрелов не было уже слышно. Дым шел прямо вверх, столбом, изо всех труб, какие только были в Березовке. Это означало, что мороз стоит лютый и что печи повсюду топят.

По дворам бегали со сковородками и кринками дородные хозяйки, ошалевшие от частой смены красных, зеленых, белых, поочередно захватывавших поселок, так что они все путались, кого называть «товарищи» и кого «господа».

Всюду несмолкаемый говор, вспышки смеха, шутки, прибаутки и крепкий махорочный дым. Конники прежде всего расседлали заиндедевших, запаренных коней.

— Где же офицеры ваши? — спрашивали в штабе солдат.

— Смотрались. Один прапорщик Малахов перешел на нашу сторону. Его тут ваши ребята забрали как контру, а только неправильно это: он, Малахов, душа человек, хоть кого спросите.

— Раз такое дело — выпустят. А как вы ловко это дело обстряпали, как к нам дорожку нашли?

— Не было бы снега — не было бы и следу.

Производился учет оружия, наличия коней и вообще имущества. Начдив приказывал принять все меры к захвату железнодорожного моста в целости. Пожалуйста — мост целехонек, и уже выставлена охрана около него.

— Народ за нас, — сказал Котовский, выслушав донесение о захваченных трофеях. — Народ за нас, а это самое главное.

10

Сорок километров осталось до Одессы. Котовский мчался. И мог ли отстать Няга? Одесса! Одесса впереди!

Няга скакал на коне и насвистывал «Миорипу».

Конница неслась — и воздух был уже родной, и небо было понятное, милое небо!

Николай Дубчак и Николай Слива — тезки и приятели, неразлучные в бою и на отдыхе, оба славные сыны Молдавии — почуяли с дуновением ветра и запах камышей на Днестре и запах талого снега с полей Бессарабии. Николай Дубчак вполголоса напевал старинную молдавскую песню, слышанную им еще от дедов:

Лист зеленый, куст терновый,
Правды нет у нас в Молдове.
Разоренье нам принес
Лютый зверь, кровавый пес,
Лиходей, палач народа
Ненавистный Дука Вода.
Он для сильных друг и брат,
А для бедных супостат.
Пожалей ты, бог, меня,
Убери подальше Воду,
Чтоб вольней жилось народу,
Пусть хоть черт возьмет, хоть бог,
Чтоб легко вздохнуть я мог!

На станции Раздельная находился генерал Шевченко, старый служака, пора бы и на покой! Все давно поняли, что надежды рухнули и остается только спасать шкуру. Не понял один Шевченко. Он был неизменен в своих привычках. На ночь растирал суставы снадобьем от ревматизма, а скорей всего, даже не от ревматизма, а от старости, забывая, что старость неизлечима. Утром шел в штаб и передавал в Одессу очередную сводку. Днем выслушивал доклады, за обедом давал советы, что следует есть, чтобы дожить до его возраста. Словом, он

делал все, что полагается делать старому генералу.

Так было и в это утро. Генерал сам лично диктовал телеграфисту. Вызвали Одессу. Но генерал был отрезан. Он никак не хотел этого понять. Он командовал, выставлял охранения, требовал, чтобы офицеры были выбриты. Между тем давно уже не было ни флангов, ни тыла. Просто был выживший из ума старик, упорно действовавший по уставу.

Стук ключа услышал телеграфист, когда возился возле аппарата. Котовский приказал:

— Прими вызов. Кто это там старается?

Телеграфист выключил Одессу и ответил станции Раздельная, что принимает Одесса.

Генерал Шевченко сообщал, что конница Котовского заняла Березовку (значит, бежавшие офицеры благополучно прибыли). Сообщал генерал и относительно других частей Красной Армии, обнаруживая приличную осведомленность и отставание от действительности всего лишь на несколько суток.

Кончив передачу, генерал спросил, кто принял сводку.

Ответ, который едва решился доложить генералу телеграфист, гласил, что сводку принял Котовский.

— Господа, — обиделся генерал, — мы воюем, а не в пятнашки играем!

И попросил телеграфиста:

— Ответьте, что шутки неуместны и что шутник понесет заслуженное наказание.

Ответ пришел незамедлительно:

— Успокойтесь, ваше превосходительство, поберегите ваши нервы. Никто не собирается шутить. Сводку принял действительно Котовский.

Генерал выслушал этот ответ с некоторым даже удовольствием.

— Я давно слежу за действиями этого Котовского. Если бы у нас была такая конница... А почему бы ему не воевать на нашей стороне? Ведь это чистое недоразумение! Храбрый человек, а не понимает, что следует сражаться за Россию.

Генерал подождал возражений, но телеграфист не возражал и заранее смаковал, как будет рассказывать офицерам, что их генерал доложил сводку не кому-нибудь, а самому Котовскому.

— Отвечайте, — приказал генерал.

Котовский ему представлялся гусаром, и нужно было этого гусара распечь, дать ему для остратки десять суток гауптвахты и затем предложить служить верой и правдой за неимением царя белому командованию, которое генерал, впрочем, сам недолюбливал.

Очень трудно было распекать по телеграфу. Генерал диктовал:

— Так командовать, как вы, может только офицер и дворянин. Значит, вы офицер и дворянин. Но тогда вы изменник и предатель. Поверните вашу конную армию против большевиков. Гарантирую помилование.

Ответ последовал немедленно:

— Бил, бью и буду бить белогвардейцев. Через три часа ждите в Одессе.

II

В пяти километрах от Одессы Котовский захватил заставу, узнал пропуск и пароль. Он был в нетерпении. Его возбуждение передалось всем. Прикажи он сейчас переплыть море — прыгнули бы и стали переплывать море. Прикажи разбить любое войско — бросились бы разбивать любое войско конники, увлекаемые вперед любимым командиром.

Котовский, однако, не хотел затевать дело вслепую. Он послал Подлубного и с ним еще нескольких человек в Одессу: без данных разведки было бы трудно разобраться в обстановке.

Сведения поступили утешительные. В Одессе идет погрузка всевозможного имущества в бесчисленные составы поездов. Помыслы командования не о том, как объединить силы и дать отпор наступающим красным, — все хотят свалить тяжесть военных действий на другого, в победу никто не верит, но не хочется в то же время бросать на произвол судьбы огромное имущество: оно вот как пригодится за границей! Грузят в вагоны все: пшеницу и

мебель, банковское золото и овес, снаряды, импортные товары, гаубицы, личные вещи генерала Бредова и содержимое интендантских складов...

В Одессе скопилось множество белогвардейцев. Вся эта масса деморализована, разобщена. Каждый думает, главным образом, о своем спасении. Совсем недавно они были господами положения. Это звучало так надежно: генерал Бредов! генерал Самсонов! иностранные миссии! кавалерийский корпус Шкуро! Какие имена! Какие силы! Когда наступление белых захлебнулось и сменилось бегством, они ухватились за последнюю надежду: Одесса! Даже союзники уверяли, что Одесса не будет сдана. Сюда и хлынули все роды оружия, все дивизии, корпуса, все brave генералы.

Перед концом они особенно были свирепы. В Одессе военно-полевой суд работал не покладая рук. За казнь комсомольцев по «процессу 17» последовало дело организаторов полка имени Старостина, затем схватили участников боевой организации партийного подполья... Но вскоре поняли, что нужен другой подход. Главнначальствующий Новороссийского края генерал Шиллинг даже освободил нескольких арестованных рабочих фабрики Попова. Теперь он заигрывал, хотел уверить, что он добрый, призывал: давайте сражаться, не допускать, чтобы сюда пришли большевики. Ему вторил начальник британской военной миссии полковник Иолш. Он расклеил в эти дни по городу нелепейшее воззвание, в котором предлагалось населению Одессы «прекратить все споры и раздоры и двинуться на защиту культуры от дикарей». Сам Иолш, вместо того чтобы защищать культуру, быстренько уложил чемодан и уехал, оставив в полной растерянности белогвардейцев. В самом деле, пришли спасать Россию, а Россия с презрением вышвыривала их вон. Это было больше, чем военная неудача. Не оставалось ничего. Не во что было верить. Это была полная катастрофа, бесславный конец.

Вот в каком настроении были белогвардейские войска, сгрудившиеся в Одессе.

Конница Котовского ринулась вперед. Перед тем как вступить в город, Котовский заставил конников свернуть знамена, снять звездочки. Котовцы превратились в загадочную конницу, которую можно было принять за кого угодно: мало ли войск передвигалось по просторам Киевщины, Полтавщины, по берегам Днепра.

Вот уже и застава, и Пересыпь... Мельница Вайнштейна, завод Шполянского, завод Рестеля... Конница Котовского на улицах Одессы. Здравствуй, белоснежная! Здравствуй, красавица!

Котовский одним взглядом хочет окинуть знакомые места. Вот здесь, за углом, была явочная квартира... молочная «Неаполь»... Милый, любопытный к жизни Кузьма Иванович... Здесь Котовский любил проходить никем не узанный и, выйдя через площадь, мимо театра, на Приморский бульвар, смотреть на бескрайнее небо, на неугомонную возню порта: грохот, движение кранов, юрких шлюпок, медленных барж, празднично нарядных пассажирских пароходов...

Звонко отдавался цокот копыт по одесской мостовой. Следом, на полном ходу катили пушки бригады. Дальше тянулся обоз.

— Чья конница? — спрашивали по дороге.

— Мамонтовцы! — не задумываясь, отвечал Котовский.

Офицеры вскакивали на повозки, видя, что часть движется быстро и стройно, и полагая, что с ней скорее всего удастся проскочить в Румынию.

— Допускать или не допускать? — спросил Макаренко Котовского, заставляя своего иноходца идти рядом с конем Котовского и глазами показывая на повозки. — Насели, как воронье! Просто руки чешутся...

— Ай-ай, какой ты нечуткий, Макаренко! Жалко тебе? Пускай прокатятся господа офицеры.

Офицеры подбегали и без лишних церемоний садились на подводы.

Это было повальное бегство. На Пересыпи происходили еще мелкие стычки. А здесь ехали, шли — кто в боевом порядке, кто без всякого боевого порядка. Бросали имущество штабов и грузили в поезда кресла, трюмо и мешки с урюком. Бесчисленные поезда готовы

были к отправлению. Маршрут их был короткий: только бы перевалить границу — и тогда все в порядке!

Французская эскадра дала залп и направилась к Дарданеллам. Ну их совсем, этих коммунистов! Уезжали и коммерсанты и военные атташе, специальность которых — ловить рыбу в мутной воде. Город быстро пустел.

Конная бригада Котовского, обгоняя все воинские части, промчалась через Одессу и вымахнула к почтовому тракту, ведущему на Овидиополь. Вот уже и Днестр рядом!.. Как бились сердца бессарабцев, как волновался Няга, каким нетерпением разгорался командир!

Но любоваться не было времени. Обогнав отступающие части деникинской армии, бригада остановилась. Теперь между границей и Одессой стояли отважные бойцы, готовые испортить настроение любому негодяю, и как раз в ту минуту, когда ему уже кажется, что он спасен!

— Поставить батарею на позиции! Открыть огонь по первому же эшелону, который покажется на железнодорожном пути!

— Что вы делаете?! — взволновались офицеры, сидевшие на подводах: они думали, что эти мамонтовцы рехнулись и в припадке безумия начинают бить по своим.

— Что мы делаем? Мы истребляем тех, кто не прочь пограбить нашу родину, кто разевает рот на чужой каравай!

— Прекратить! — истерически кричит худосочный поручик, который на берегу Днестра вдруг ощутил прилив воинственного пыла. — Где Мамонтов?! Что они смотрят?!

В это время на высокой насыпи показался дымок. Поезд шел медленно, эшелон был нескончаемо длинный, вагоны были набиты русской мукой, снарядами, коврами, каменным углем, мануфактурой... — всем, что можно было впихнуть в вагоны при такой спешке, — шерстью, листовым железом, амуницией...

— По насыпи беглый огонь!

Офицеров разоружают. Поручик плачет и умоляет отдать ему наган, так как он хочет застрелиться. Другой офицер-артиллерист, залюбовавшись точным прицелом, не выдерживает и кричит:

— Молодцы! По-русски сделано: круто и без жеманства!

По насыпи взвиваются столбы дыма, земли, щепок. Паровоз останавливается, выпускает пар, начинает пятиться, виляет хвостом курчавого дыма и виновато тащится обратно.

Бригада движется дальше, ударяет в тыл второго корпуса, разбивает наголову группу Шиллинга, застигнув ее врасплох.

Кавбригада Котовского временно в оперативном отношении в подчинении Сорок первой стрелковой дивизии. Котовский тщетно пытается установить с ней связь. После боя вырывает листки из полевой книжки и пишет на них донесение о действиях бригады. Он очень спешит, пишет стоя, положив полевую книжку на седло: «Фрейденталь. 8 февраля 1920 года. 21 час 20 минут...» — и дальше торопливые строчки о том, что настигли противника в селе Николаевка, что у противника было 180 сабель уланского полка, 900 штыков Севастопольского полка и еще 42-й Новагинский полк, запасной батальон, инженерные части и четырехорудийная батарея и что после часового боя кавбригада разбила противника.

«...Офицеры, — сообщал Котовский, — частью перебиты в бою, частью застрелились сами».

Хотел еще перечислить трофеи, но нужно было срочно отправлять донесение. Так и отправил, не закончив.

Необходимо двигаться дальше. Кони загнаны, но нельзя останавливаться. Противник двигался колоннами до 4000 пехоты, человек 300 кавалерии на Маяки и дальше на Беляевку. После отчаянного сопротивления неприятель был разбит и уничтожен совершенно. Часть успела убежать по льду в Бессарабию, но лишь самая незначительная часть.

Уже подоспели к этому времени местные партизаны. Вошли в Одессу передовые части Красной Армии. Вышел из подполья Одесский военно-революционный комитет. Типография

печатала свежие газеты.

Будущие поколения с изумлением и законной гордостью узнают об этих подвигах. Трудно даже представить, как могла горстка храбрецов справиться с огромной массой людей, вооруженных, располагающих артиллерией, возглавляемых опытными офицерами. Чтобы противник не догадался, что имеет дело всего лишь с бригадой, подкрепленной стрелковым полком, Котовский громовым голосом отдавал связным приказание о передвижении несуществующих полков и дивизий. Не хватало людей для того, чтобы просто конвоировать пленных. Помощь оказывали рабочие отряды, вышедшие из подполья.

Чудо свершилось. Враг был разгромлен. Огромные трофеи не поддавались никакому учету.

Затем гнались за остатками отрядов полковника Стесселя. Полковник Стессель застрелил жену и сам застрелился.

Затем разоружали кавалеристов Мамонтова, и Котовский с любопытством взглянул на этого человека, чье имя он использовал, проходя Одессу.

Полковник Мамонтов, однофамилец генерала Мамонтова, был плечистый, с кавалерийскими усами, несколько старомодный, но, по-видимому, храбрый и прямой человек.

«В свое время, — подумал Котовский, — был образцом доблести... Вероятно, нюхнул пороху в четырнадцатом году и не раз приводил в замешательство немецкую пехоту. Как нехорошо он кончает!..»

Мамонтов сдал оружие. Передал своего коня. Видно было, как хотелось Мамонтову торжественности, почетного плена. Он чтит боевые традиции, военный статут и хотел бы передать оружие равному по чину, хотел горделивой смерти и чтобы сказать какое-нибудь значительное слово, до конца остаться храбрецом, не замарать имени, не поругать звания и оружия...

Но ничего торжественного не получилось. И хотя Котовский был вежлив и никто не обидел старого полковника, но на душе у него было все же пакостно.

Почему он, русский, пойман в компании с какими-то шарлатанами, ворующими ковры? Мыслимое ли дело, чтобы боевой полковник русской армии был заодно с шакалами, грузившими в вагоны все, что плохо лежит? Почему он, русский, сдается на милость победителей, и победители эти — русские, защищавшие родную землю, когда он, он, Мамонтов, должен бы изгонять врагов со священной русской земли?

Эти мысли угадывал Котовский у многих офицеров, которых ежедневно доставляли ему. Они передавали золотое оружие, сами срывали с себя погоны и очень, по-видимому, страдали от унижения и стыда. Они смотрели в лицо Котовского, и глаза их спрашивали: «Может быть, не так позорно? Может быть, ничего?» И Котовский отводил взор. Не мог он ответить ничего утешительного.

— Прошу беречь коня, — сказал Мамонтов. — Такого второго нет. Зовите Орлик.

Дрались с группой Мартынова около Овидиополя. В колониях Зальц и Кандель девять раз переходили в атаку, изрубили до четырехсот человек. В этих боях среди других храбрецов отличился Николай Криворучко. Здесь же сражался командир пехотного полка Федор Ефимович Криворучко.

Шли бои с крупной группой полковника Самсонова, засевшей в днестровских плавнях...

Николай Криворучко обратился к Котовскому:

— Разрешите, товарищ комбриг, поехать к ним и вступить в переговоры. Мне удалось установить, что именно с этим полковником Самсоновым я был когда-то в одном полку. Мне кажется, если поговорить... пожалуй, выйдет дело... Я ему растолкую и предложу сдаться без боя.

— Попробовать можно, — согласился Котовский, — тем более, что мы угрожим много людей в этих плавнях, пока выйдем из них противника.

— Не согласится — тогда другое дело. Перестрелять их никогда не поздно.

— Чего не случается в жизни! Были в одном полку, а теперь... Давай, давай, Николай, проворачивай это дело! Одобряю.

Делегаты во главе с Николаем Криворучко выкинули белый флаг и стали пробираться в зарослях камыша и кустарника. Котовский с тревогой прислушивался. Тихо. Выстрелов не слышно. Очевидно, делегация благополучно прибыла на место и ведет переговоры.

Полковник Самсонов никак не ожидал увидеть в составе делегации котовцев своего вахмистра. Криворучко коротко обрисовал положение. До каких пор самсоновцы могут сидеть в плавнях? На что им надеяться? Прорываться некуда. Драться, чтобы погибнуть с оружием в руках? Ради чего? Деникинский поход кончился провалом. Погибнуть во славу американских капиталистов, которые снабдили Самсонова оружием?

— Знаете что... глубокоуважаемый Николай Николаевич... — остановил полковник Самсонов, — не будем углубляться в дебри политики. Вы знаете меня — я солдат. Скажите лучше, какие условия капитуляции. Как полагаете, господа офицеры?

Несколько офицеров попросили дать им обсудить этот вопрос. Они встали полукругом, вынули из кобур револьверы и застрелились. Но это был только маленький эпизод среди всех драм и событий этих дней.

Двух решений здесь не могло быть. Через час группа Самсонова сложила оружие.

Когда разоружали офицеров, сдавшихся в плен, произошла одна неприятная встреча. К Котовскому бросился под ноги какой-то человек. Котовский видел много умиравших людей. Одни, умирая, проклинали, другие встречали смерть молча и даже с некоторым любопытством. Такую мразь Котовский наблюдал впервые.

Человек валялся у него в ногах, и хныкал, и все пытался обнять сапог Котовского. Котовский с отвращением отодвинулся. Кавалеристы стояли вокруг и смотрели на ползающего человека, как смотрят на червя, раздавленного копытом.

Наконец тот встал. Все увидели пожилого лысоватого мужчину, с большим сизым носом и маленькими глазками.

— Я в ваших руках, — сказал человек, стяхивая с коленок пыль. Всецело полагаюсь на ваше благородство.

Котовский взгляделся. Неужели Хаджи-Коли, знаменитый полицейский сыщик, который столько раз гонялся за ним, выслеживал его, сажал в тюрьму?!

— У меня нет с вами личных счетов, — сказал, нахмурясь, Котовский и вспомнил одиночную камеру, решетки, кандалы... — Но у вас есть счета с правительством народа. Вы будете отправлены в тыл вместе со всеми пленными и предстанете перед революционным судом.

Хаджи-Коли увели, но все еще оставалось чувство брезгливости.

12

Под самым Тирасполем, в степи, у немецкой колонии Кандель, там, где летом зреют абрикосы, где изготавливают первосортное виноградное вино и поют сентиментальные немецкие песни, где жили гроссбауэры с помещичьими замашками и помещики с ухватками гроссбауэров, — здесь во время одной из атак погиб славный Христофоров.

Он увидел в последний момент, как белогвардейский офицер целится в Котовского. Христофоров успел заслонить собой командира. Пуля попала ему в сердце, пробив металлический портсигар.

В ту же минуту метким выстрелом Котовского был уничтожен и убийца Христофорова. Но страшное, непоправимое свершилось, и Христофоров лежал теперь строгий, стиснувший зубы, как бы говоривший: «Я шел до конца».

Бесстрашный в боях, неутомимый в походах, верный в делах товарищества... Ну что ж... Это неизбежно... Чем дальше идешь по жизненному пути, тем больше могил остается по обочинам дороги. Но у больших людей и жизнь в смерть значительны.

Хоронили Христофорова в Тирасполе, на городской площади. Котовский начал

говорить прощальное слово над дорогой могилой, разрыдался, не закончил речи. Конники видели впервые, как плачет командир. Да и многие из них тоже плакали. А могильщики молча, хмуро, торопливо сбрасывали комья земли, и земля грохала о крышку гроба.

Не стало милого, душевного комиссара.

Может быть, здесь, над этой могилой, Котовский вспомнил разговоры на большие, серьезные темы с кристальным большевиком, убежденным коммунистом Христофоровым и поклялся при первом же затишье, при первом перерыве в боях вступить в партию, в которой уже с давних пор мысленно считал себя состоящим.

Ушла бригада к новым битвам, к новым победам. Осталась в Тирасполе, на берегу Днестра, молчаливая могила. Тишина склонялась над ней. Прилежные сторожа — зима, весна, лето и осень — посменно несли почетный караул, заботливо убирая могилу то серебряным снегом, то нежной зеленью, то нарядными, пестрыми цветами, то ярко-желтыми листьями, которые так печально шуршат.

13

В Тирасполе Юцевич сидел над списками выбывших из строя и готовил сообщение в дивизию, когда вошел Котовский.

— Бросай свою канцелярию. Пошли в баню!

Баня в походной боевой жизни была отдыхом и наградой за труды, не всегда доступным занятием и большой радостью.

Быстро собралась и пошли. Но когда проходили мимо здания тираспольской школы, Котовский спросил:

— Что это за охрана возле школы? Кого они охраняют?

— Пленные офицеры. Больше некуда было поместить, вот и находятся здесь до отправки в штаб армии.

— Зайдем посмотрим.

И они повернули к школе.

Вдруг оттуда грянуло «ура». Только с Котовским и могли быть такие чудеса! Когда это бывало, чтобы пленные так приветствовали своего победителя?!

Дело в том, что легенды о «непобедимом красном генерале» проникли далеко за пределы Советской страны. Даже там, за кордоном, передавалось из уст в уста, что красный генерал Котовский не знает поражений, его не удерживает ни ураганный огонь, ни проволочные заграждения, он скачет на коне, и где он появился — нужно бросать оружие. Ни пуля, ни клинок не берут его. Он раздаст деньги беднякам, кормит голодных, одевает раздетых. Он все может. Никакие генералы не в силах справиться с ним. Говорят, еще в царские времена его пробовали запирать в темницы, но он уходил из-под стражи; ссылали на каторгу, но он сбрасывал цепи и бесследно исчезал. Больше того — он мог совершать чудеса, заставить реки течь в обратную сторону, унять бурю на море, высечь из кремня такую искру, что падала молнией на помещичьи усадьбы и сжигала их неугасимым огнем...

Много легенд ходило о Котовском. Конечно, пленные офицеры не верили этим рассказам. Но имя Котовского знали. Не он ли разбивал наголову одну белую группировку за другой? Известно было гуманное обращение Котовского с пленными. Известна была его невероятная храбрость.

Вот почему, когда Котовский вошел в школу, пленные офицеры приветствовали его криками: «Котовскому ура!» Вот почему они устроили овацию легендарному командиру. Они были изумлены, они как военные не могли не оценить совершенного.

Но Котовский не любил пышности. Он спросил, нет ли жалоб у господ офицеров. Жалоб не было. И Котовский вышел из помещения школы.

Когда он, напарившись в бане, возвращался в штаб, солнце сияло, играли солнечные зайчики в окнах домов. Со стороны Днестра долетали запахи талой воды и зарослей камыша. Охватывало нетерпение, на сердце возникала неясная тревога, так хотелось, чтобы скорее

настала весна, чтобы раскачивали зелеными верхушками деревья, чтобы пели птицы, чтобы захлебывались медвяными запахами пестроцветные поля!

Было много дела, нельзя было вырваться ни на минуту. Приходили молдаване с левобережья, из соседних сел, просили разъяснений, как наладить Советскую власть, и Котовский беседовал с ними, давал указания. Шел учет трофейного имущества. Перековывали лошадей.

Но вот, кажется, и все. Котовский приказывает ординарцу подать коня, ну, он знает, какого... того рыжего, золотистого.

Черныш притворяется, что не понимает. Он как иной усердный кассир, который нехотя расстается с наличностью, попавшей в его несгораемый ящик:

— Мало ли у нас рыжих коней!

— Рыжих много, а такой один. Будто не понимаешь, о чем я говорю! Ну, крупный такой, Мамонтова.

— Крупный! У нас мелких пока что не водится!

Наконец Черныш уходит в конюшню. Кони на его попечении. Он строго следит, чтобы были они сыты, напоены, проверяет, не хлябают ли подковы, расчесывает хвосты и гривы, щегольски подстригает их.

Иван Черныш редко разговаривает с людьми, зато в конюшне он ворчит на командира, если тот вернется на вспотевшем коне, бранит плохое качество корма, упрекает задиру Звездочку, которая кусает соседа Гладиатора...

— Золотистого! — бормочет Черныш на этот раз. — А может, золотистому дать покой надо, может быть, ему культурный отдых требуется после того, как стоял он, конечно, в болоте и питался, прости господи, утиной травой!

Воркотня не мешает Чернышу быстро действовать, и вскоре Орлик стоит уже перед крыльцом.

Котовский выходит из дому. Его охватывает радостное волнение.

Орлик застоялся и нетерпеливо бьет копытом и грызет перекладину крыльца. Грива волнистая, волос к волосу. Скосил умный глаз: каков-то седок, заслуживает ли уважения?

В каждом движении Котовского — в размахе могучих плеч, в повороте головы — уверенность и сила. Чувствуется, что умеет держать поводья этот богатырски сложенный человек. Чувствуется, что не раз случалось ему на коне врубаться в колонны вражеского войска, мчаться под ураганным огнем в атаку, сливаясь в одном порыве с испытанным боевым конем.

Котовский еще раз определяет все достоинства коня, бросая быстрый взгляд на его крепкие ноги, мускулистую шею, на хорошую линию спины. Грузно наваливается на луку седла. Заскрипела отполированная желто-коричневая кожа. Котовский взял ноги в стремя — и в тот же миг понял, что Орлик будет надежным другом, что не раз ходить им в атаку, что колесить им вместе по раздолью земли.

Пятнадцатая глава

1

Когда было объявлено, что бригаду отправляют в Ананьев на переформирование, бойцы были огорчены.

— И все начальство выдумывает! — ворчал Николай Дубчак. — Мы бы одним махом Бессарабию очистили... А тут — на тебе! — Ананьев! У комдива-то не болит, ему заботы мало.

— Не понимает он кавалерийской души! — досадовал Няга. — Мы бы этих румын... Ведь каких только не били! Одних генералов — куча!

Нехотя расставались с Тирасполем.

Когда полки построились и тронулись в путь, на самом выезде из города к Котовскому подошла древняя старушка. Котовский остановил коня, думал, не хочет ли старушка о чем-нибудь спросить, изложить какую-нибудь просьбу.

Старушка подошла, перекрестила Котовского широким русским крестом и промолвила:

— Спасибо тебе, батюшка, за радение о народе. Благослови тебя бог на многотрудном ратном твоём пути.

Бойцы переглянулись. Так их поразила эта старушка — древняя, ветхая, согбенная, а тут вдруг выросшая, выпрямившаяся.

Котовский принял ее благословение, а потом обратился к идущим в строю кавалеристам:

— Боевые товарищи! Вы видели? Это народ благословляет нас на борьбу за Советскую власть!

Шли походным порядком. Над степью кружили птицы. Кое-где на полях чернели проталины. Дорога утратила свой прежний блеск накатанной колеи. Сугробы осели, образовали прочный наст. Дорога раскисла и стала желтоватой.

Вдали показались купола и золотые кресты церквей. А затем пошла околица, замелькали переулки, в окнах появились любопытные лица горожан. По-деревенски лаяли собаки, из-за заборов выглядывали ветви яблонь, еще совсем голых, но уже мечтающих о лете, о цветении, о сочных наливных плодах.

Ананьев — тихий, незамысловатый городок. Аккуратные улочки, простенькие домишки, церквушки с зелеными куполами. По вторникам, пятницам и воскресеньям базар — шумный, пестрый, с чубатыми дедами, нарядными дивчинами, с возами сена, которое торопится ухватить на ходу соседняя коняка. В магазинах пусто, обыватели питаются слухами, в уезде пошаливают, по соседству, в Балте, тоже пошаливают. Атаман бандитов Сергей Сорока вырезает на груди советских работников звезду. Бандит Змеевский убил трех красноармейцев и бросил на съедение собакам. Бандит Черный Ворон накладывает на жителей городов контрибуцию. И еще — по всей округе море разливанное самогона. На самогон тратят самую отборную пшеницу. Торгуют «первачом» из-под полы, а иногда и открыто. У спекулянтов можно достать по бешеной цене любые товары.

Котовский сразу же принялся за все неполадки, какие мог обнаружить, сразу повел борьбу с преступлениями, с чуждыми и враждебными элементами.

— Я этих самогонщиков!.. — волновался он. — Завтра же устраиваю облаву! Будут они знать!

Котовцы с увлечением отыскивают самогонные аппараты, спрятанные в сене, ломают и топчут их, тащат пузатые бутылки и выливают на землю самогон.

— Вы слышали? — сообщают друг другу обыватели.

Анна Ефимовна Дарье Дормидонтовне, Дарья Дормидонтовна Надежде Антоновне... и вот уже весь город судачит, что в уезде несметные силы белых, что скоро они двинутся в город и начнутся грабежи, что появились какие-то отряды с трехцветными лентами и что это означает скорое возвращение старого строя. Надежда Антоновна рассказывала обо всем услышанном своему любезному супругу Анисиму Тимофеевичу, Дарья Дормидонтовна с потрясающими новостями бегала из дома в дом...

Достоверно было то, что банды в уезде действительно подняли головы и что развелось много шептунов, которые баламутят народ.

Котовский посылал эскадрон-другой поколесить по окрестностям.

— Отправил ребят на прогулку, — говорил он коменданту города Ульриху. — А всех провокаторов, распространителей слухов будем предавать военно-полевому суду.

И жители Ананьева читают приказ Котовского, расклеенный по городу. Приказ заканчивается заверением, что власть Советов стоит на страже интересов народных масс и не позволит какой-то банде ворваться в город для грабежа и насилия. Все распускаемые по городу слухи объявлялись провокационными: «Никого не бойтесь! Красная Армия вас защитит!»

Ульрих, работая комендантом города, одновременно получил назначение в штаб бригады Котовского. Котовскому он нравится. Нравится и то, что жена Ульриха, молодая, веселая, ездит по всем фронтам вслед за мужем, старается не быть ему в тягость и сама еще заботится о нем. Оба они молодые, оба влюбленные друг в друга. Машенька Ульрих подружилась с Ольгой Петровной. Их присутствие скрашивает трудную походную жизнь, да и помогают они всем, чем только могут: Ольга Петровна в санчасти, Машенька в штабе — печатает на пишущей машинке оперативные сводки и приказы. Любой работой не брезгают! А сейчас, когда выдалось несколько дней передышки, торопятся привести в порядок несложный гардероб своих мужей.

— Вы знаете, — говорила Ольга Петровна, — вначале Григорий Иванович по тактическим соображениям назвал меня своей женой. А в конце концов так оно и получилось.

Эти самоотверженные женщины никогда не жаловались на свою участь. Терпеливо переезжали с места на место. Спокойно, по-хозяйски выполняли свои обязанности. Они болели душой не только за своих мужей. Все, что касалось бригады в целом, было их кровным делом. Они знали наперечет котовцев, были горды их подвигами и с полным правом говорили: «У нас в кавалерийской бригаде», «Наша кавалерийская бригада». С материнской гордостью и заботой провожали они теплым взглядом кавалеристов, уходивших на бранное поле. Они знали суровые законы войны. Они знали, что только победа принесет желанную — такую желанную, что от одной мысли о ней кружится от счастья голова, — простую, обыкновенную, мирную жизнь.

2

Миша Марков и Савелий осматривали город, побывали на базаре.

— Деревню Уклеевку не слышали? — выпрашивал Савелий ананьевского жителя, почтенного, благообразного старца, который торговал луком и подсолнухами.

— Какую Уклеевку?

— Обыкновенную Уклеевку. Под Пензой.

— Какая такая Пенза? Я такой и не слышал.

Это совсем обескуражило Савелия: вон куда заехали! Даже Пензы не знают! Не везет ему с его Уклеевкой. Сколько ни мотаются по свету — все попадают не туда.

А Миша Марков часто думает о Кишиневе. Недавно опять ему снилось, будто сидит он у окна, у себя дома, видит: мать возвращается из города. Поднялась на крыльцо, вошла, Миша не оглядывается, но слышит, как она ставит на лавку сумку с провизией, как снимает шаль... и хорошо ему, приветливо... Он знает: подойдет сейчас мать, проведет рукой по его ершу жестким, упрямым волосам... «Чего же ты, Мишенька, не расскажешь, как вы там вместе с Котовским твоим войну воевали?»

Хороший такой сон, Миша целый день ходил под впечатлением приснившегося. Савелию рассказал. Савелий пришивал пуговицы к Мишиной гимнастерке.

— Вещий, — говорит, — сон! Скучает по тебе мамаша-то, думу думает. Не робей, Мишутка, бог вымочит, бог и высушит!

В эти же дни к Ольге Петровне пришел пожилой, с седыми усами боец, принес сундучок, жестью по уголкам обитый, и ключ к этому сундучку.

— Вот, говорит, сколько времени вожу — это нашего командира, значит, Григория-то Ивановича. Хорошо еще, что уцелело. У него ведь как: завелась рубашка — беспременно кому ни на есть отдаст, о себе-то не думает. Так я ему нарочно и не напоминал. Ну, а теперь, поскольку сестрица у него объявилась, думаю, отнесу, а то не ровен час — угораздит пуля, и останется у меня грех на душе, что с чужим добром вовремя не распорядился.

Поблагодарила Ольга Петровна, а боец говорит:

— Нет, уж ты проверь, все ли цело. Тут у меня и реестр приложен.

Машенька Ульрих это затеяла, она все и организовала. Она доказывала мужу:

— Неизвестно, будет ли в дальнейшем хоть один день передышки. Мы же взяли за правило ничего не откладывать. Завтра и устроим вечеринку, отпразднуем свадьбу Ольги Петровны с Григорием Ивановичем. Как раз паек выдали и деньги пришли. Я уже и с квартирными хозяевами согласовала — все забываю их фамилию... ах да! — с Голубятниковыми! Правда, симпатичное семейство? И даже интеллигентные такие, а муж их дочери — это, значит, зять, что ли? — играет на пианино, тоже очень кстати.

Ульриху понравилась эта мысль. Можно же когда-нибудь сесть, как людям, за стол, поговорить, попеть, музыку послушать...

— Сервировку беру на себя, — продолжала Машенька.

Она была мастерица по части кулинарии, и ей хотелось блеснуть своими талантами.

Стали обсуждать подробности, как все устроить. Машенька взяла карандаш.

— Составим список, кого пригласить, — сказала она. — Их двое, мы, Няга... — вот уже пять, затем все Голубятниковы... этот пианист с супругой — это уже девять... затем... Кто еще? Командир взвода пулеметного эскадрона... он еще поет хорошо... Вспомнила! Дубчак! Ну, потом папаша Просвирин, Слива... Это сколько уже получается? И конечно, наш военком Михаил Максимович Жестоканов...

Всего набралось восемнадцать приглашенных. В основном были все военные. Машенька Ульрих где-то разнюхала, что в Ананьеве есть девушка, которая очень нравится Няге. Девушку звали Катя. Она была чуточку по-провинциальному жеманна, но зато обладала роскошной косой и щедрым румянцем и вообще очень была мила. Машенька уверяла, что прямо-таки влюбилась в нее, и, конечно, пригласила ее на вечеринку.

От Котовского и Ольги Петровны все держали в секрете.

В этот вечер Ольга Петровна занята была изготовлением для госпиталя простынь и белья из добытых полотняных сахарных мешков. Вдруг прибежал ординарец:

— Послали за вами. Ульрих просил.

Ольга Петровна решила, что кто-то заболел. И так, как была, в вязаной верблюжьей кофте и ситцевом платье, помчалась на вызов.

Каково же было ее радостное смущение, когда она застала там в полном сборе всех друзей и ей объявили, что предстоит товарищеский ужин.

Все улыбались и приветствовали ее. Илья Илларионович Голубятников глава семейства, ананьевский старожил, ветеринарный врач — был известный хлебосол и любитель общества. У него часто собирались, чтобы сыграть «пульку» в преферанс, и непременно с разбойником и мизером. Он занимал две комнаты во втором этаже кирпичного дома на главной улице, а надо сказать, что двухэтажных домов в Ананьеве — раз, два и обчелся.

Вход в квартиру Голубятниковых был по деревянной лестнице через парадное крыльцо, с перилами, двумя ступеньками, подстилкой для вытирания ног и прорезом для писем в массивной двери. Поднимешься по лестнице площадка с одним окном, надпись на одной из дверей — 00. Другая обита кошмой и клеенкой, она ведет в прихожую, а из прихожей уже видна первая комната, с фикусами, тюлевыми занавесками, приличным пианино и множеством фотографий в рамках и без рамок на стенах.

— Не обессудьте! — говорил приветливый хозяин и вел гостей в столовую, к накрытому столу.

На столе было нарядно. Тут можно было найти и домашние соленья, и колбасу, и все, что только может представиться воображению, учитывая возможности 1920 года. Но и это было не все! В кухне уже снимались с листов пироги, крендели — изделия, которые умеют печь только хорошие хозяйки, и то лишь маленьких, провинциальных городов. Впрочем, это имело только отдаленное сходство с пирогами и кренделями мирного времени. Тут была использована и овсянка, и манная крупа... Но все же это казалось роскошью и встретило единодушное одобрение.

Душой общества была Машенька Ульрих. Она размещала гостей. Она успевала с каждым поговорить и каждому положить кусок пирога с морковью. Она была хорошенькая и обожала своего Михаила Павловича.

Когда все уселись и наступило минутное молчание, Макаренко, как старший среди собравшихся, с торжественностью, соответствующей обстоятельствам, произнес, обращаясь к Ольге Петровне:

— Вот что, мамаша, вот ты столько времени пробыла у нас в бригаде, и мы решили поженить вас с комбригом. Подходите вы друг другу. Теперь отвечай прямо и откровенно: согласна ты?

И так как Ольга Петровна в смущении медлила с ответом, Григорий Иванович сказал:

— Воля народа! Мы должны подчиняться.

Все одобрительно засмеялись, и ужин начался.

Восторгались закусками, расхваливали всю снедь, хозяйка сияла, над столом висела лампа «молния» со светло-розовым абажуром. Мебель была прочная, скатерть, вероятно, из приданого Евдокии Кондратьевны Голубятниковой, пышной, как ее крендели, все еще моложавой, хотя вырастила и уже выдала замуж дочь.

Тосты были дружные и большей частью патриотические, хотя, конечно, не забыли выпить и за здоровье хозяйки, и особо за Котовского и Ольгу Петровну (при этом обошлось без традиционного «горько!»), и с хитрой улыбочкой за здоровье Няги и его милой соседки Кати, причем начались шутки и остроты, что не пришлось бы в Ананьеве отпраздновать вскорости еще одну свадьбу. Катя очень конфузилась, Няга смеялся, сверкая белыми зубами...

Но это были, так сказать, «тосты на закуску». Прежде всего Котовский поднял тост за мировую революцию, за победу, за славную Сорок пятую дивизию, за «непобедимую дикую» — Отдельную кавалерийскую бригаду.

Оказалось, что, кроме всех прочих талантов, Машенька Ульрих умеет еще и петь. Зять Голубятникова — стеснительный молодой человек — сразу почувствовал себя «в своей стихии», как только сел за пианино. Он исполнил сначала Чайковского, затем несколько вещей Грига. Потом Машенька пела «Жаворонка» Глинки и «Однозвучно гремит колокольчик» Гурилева. При этом Машенька все поглядывала на мужа, как бы спрашивая: «Хорошо?» Ульрих высокий, синеглазый блондин — отвечал ей одним только взглядом: «Замечательно!»

Тут стали подтягивать и остальные, и вскоре вокруг пианиста столпились хористы. Попробовали петь «Ноченьку» из «Демона» — ничего не получилось. Тогда перешли на студенческую «Быстры, как волны, дни нашей жизни», а затем упросили Котовского и Николая Васильевича Дубчака исполнить молдавскую дойну.

— А теперь давайте «Стеньку Разина»! Товарищ пианист, вы можете «Стеньку Разина»?

— Он все может!

Илья Илларионович Голубятников благодушествовал и все приговаривал: «Не обессудьте». Гости веселились от всей души, а он с грустью смотрел на них и думал:

«Такие все молодые... Какой богатырь этот Котовский! А Няга — какой он жизнерадостный! Или Ульрих — такой искренний, душа нараспашку и, по-видимому, очень любит жену: она поет, а он переживает и волнуется за нее... Хорошо, что они умеют веселиться и ни о чем не думать. Может быть, смерть стережет их и стоит уже у двери. Дело военное, бои кровавые, и ведь они всегда впереди... Но что пользы об этом думать! Они молодые, они думают о жизни, а не о смерти, и это очень хорошо!..»

Илья Илларионович, уже поседевший, уже познавший всех спутников старости: ревматизм, сердечные колотья, припадки печени и гастрит смотрел на веселившуюся военную молодежь и был доволен, что им перепала минута затишья... Может быть, впервые за все военные годы?

Котовский вглядывался в оживленные лица своих соратников. Хороший народ! Котовский знал их как храбрых воинов, как смелых людей. Они ежедневно встречались в

боевой обстановке. Они выполняли приказ, они командовали, они мчались на конях, рубились с врагом... Меньше знал их комбриг с другой стороны, когда они мгновенно превращались просто в приятных, милых людей.

Вон военком Жестоканов — какой он душевный, славный, настоящий русский человек! И какие знает народные песни! А Макаренко-то! Макаренко! Как вытанцовывает! Ульрих — петроградец, человек с юридическим образованием. Точный, деловой, дисциплинированный. Но кроме того, он, оказывается, прекрасный собеседник, умница и очень начитанный человек.

«Как прекрасна мирная жизнь! — думал Котовский. — И как хочется людям простых, обыкновенных радостей, и как можно было бы хорошо жить, если бы враги не наседали со всех сторон, если бы не приходилось все время отбиваться и отбиваться от черной своры и гнать ее в три шеи за пределы нашей страны!»

На столе поблескивали хорошенькие чашки с золотым ободком, стояли вазы, манили поджаренной коркой домашние пироги... И женщины — те, кого приходилось встречать в другой обстановке, в штабе, — сегодня принарядились, и лица у них стали другие, и глаза помолодели...

— Любуется на своих орлов? — спросил Илья Илларионович, придвигаясь поближе к Котовскому.

В это время за столом декламировали. Оттуда слышалось:

Но близок, близок миг победы.
Ура! Мы ломим, гнутся шведы!..

Затем следовал Лермонтов, затем Маяковский — «Облако в штанах»... А в другой комнате уже кружились в вальсе...

— Как вы думаете, выдохлась международная буржуазия? Или еще будут бои? — спросил Илья Илларионович Котовского.

— Разве они успокоятся? Они и сейчас, наверное, готовят какую-нибудь новую каверзу.

— Затишье перед бурей! — сказал Ульрих, подойдя к столу, чтобы выпить глоток вина. И ласково спросил Котовского: — Товарищ комбриг, что загрустили?

— Да вот посмотрел на обильный стол и подумал: «Как-то в Бессарабии? Враги — по молдавской поговорке, — вероятно, „и золу забрали с очага“...»

— Как хорошо все сегодня! — приглубилась Машенька Ульрих к Ольге Петровне. — Эта вечеринка запомнится на всю жизнь!

Разошлись поздно, и, уже спускаясь по лестнице, Ульрих и Дубчак исполнили дуэт «Не шуми ты, рожь, спелым колосом». Но Макаренко посоветовал:

— Лучше сами вы не шумите. Неудобно, ведь все спят.

4

Когда Долгоруковы покинули свое имение Прохладное, оставляя позади зарево пожара, Гарри Петерсон после долгого раздумья сказал:

— Час назад этот дом стоил пятьдесят тысяч долларов. Сейчас это куча золы. Но если они сжигают, значит, не надеются навечно закрепить за собой? А? Как вы думаете, мама?..

Пламя не пощадило ничего. К утру на месте помещичьего дома торчали только закопченные печи да дымились головешки.

Потом и головни растащили на топливо, разобрали и печи. Остался лишь один кирпичный фундамент. Летом он оброс крапивой, на том месте, где была веранда, теперь разрослась бузина.

Настала зима, и все занесло снегом. Конюшни, баня и все остальные надворные постройки тоже давно исчезли. Уцелел флигель, в котором жила Мария, вышедшая замуж за бывшего садовника Долгоруковых. Немец-управляющий Рудольф был убит.

Но сами Долгоруковы не видели всего этого. Запомнилось им лишь зловещее зарево да черная ветреная ночь.

Дорога показалась им бесконечной, и все-таки они благополучно добрались до Варшавы.

Экипаж, в котором бежали из Прохладного княгиня Долгорукова, рассеянная Люси и сияющий Гарри, громыхал по предместью Варшавы, поднимая невероятную пыль. За экипажем следовали еще и еще упряжки-повозки с горничными, пуделями, лакеями, поварами, чемоданами...

Гарри заметно волновался, беспрестанно что-то высматривал. Дело в том, что здесь, в Варшаве, был приготовлен для Люси первый сюрприз особняк, который Гарри заранее приобрел через подчиненных своего офиса в аристократическом квартале города и по сходной цене.

Эффект превзошел все ожидания. Княгиня была в умилении. Люси бросилась на шею супругу и расцеловала его.

— Очень мило, очень мило! — приговаривала княгиня, осматривая светлые, только что отделанные и только что обставленные комнаты. — На какой срок арендовано это прелестное помещение?

— Это — собственность Люси! — воскликнул Гарри, наслаждаясь моментом. — Особняк — маленький подарок моей женушке. Конечно, здесь нет таких красивых львов, как при входе во дворец наместника, возможно, что этот особняк уступает по красоте домам Кронеберга и Блюха, но я выбрал лучшее, что можно было достать!

— Бог милосердный! Но зачем же приобретать дом в Варшаве, которую вы не собираетесь избрать постоянным местожительством? — нежно укоряла княгиня.

— Да, но некоторое время мы здесь задержимся.

— Мой мальчик, но нельзя же так швыряться деньгами! Ах, молодость, молодость!

Однако, говоря это, княгиня подумала, что впоследствии Гарри может продать этот дом и не остаться в убытке.

Так или иначе, но разместились они отлично, причем на каждом шагу выяснялось, что Гарри обо всем позаботился. Чего стоил один только будуар княгини! О, этот Гарри знал слабые струнки женщин! Княгиня была побеждена. Она оценила все. Какие зеркала! Какой туалетный столик! Какие гобелены! Какие музейные пудреницы и флаконы! Походила на бутоньерку вся застланная коврами, вся шелковая спальня супругов. Особенно был красив фонарь под потолком, бледно-розовый, с силуэтами черных драконов.

Когда осматривали залы, Гарри подвел княгиню к окну и отдернул тяжелую гардину:

— Вы видите вдали Бельведерский дворец — обиталище главы польского правительства пана Пилсудского. Вы, разумеется, познакомитесь с ним и будете неоднократно присутствовать на балах и банкетах, которые состоятся в Бельведерском дворце. Здесь, в семейной обстановке, я могу откровенно сказать, что при Пилсудском имеется достаточное количество американских советников. Доверенным лицом наше правительство назначило небезызвестного руководителя АРА — мистера Гувера, а, уж поверьте мне, мистер Гувер деловой человек, и у него мертвая хватка, как у бульдога. Да и представитель американской миссии в Варшаве генерал Джудвин — тоже не промах, честное слово.

Гарри усмехнулся и добавил:

— Вообще, если не кривить душой, надо сказать, что нет ни одного завода, ни одного предприятия в Польше, которое не находилось бы здесь... — Гарри похлопал себя по карману. — Мы не скупилась на займы и подписали достаточное количество различных обязательств. Я не ошибусь, если буду утверждать, что даже варшавский «Институт бедных, стыдящихся просить милостыню» и тот откуплен нами, мы брали все оптом, вместе с памятниками, банками и дворцами. Поэтому-то мы можем быть уверены, что Польша будет делать то, что мы находим необходимым. Вот я вам и показал все пружинки, при помощи которых движется этот великолепный, великодержавный, с гордой осанкой глава польского

правительства. Я это рассказываю вам для того, милая мама и дорогая Люси, чтобы вы чувствовали себя как дома. Ездите в Уяздовские аллеи, говорят, они не хуже парижских Елисейских полей, ходите в театр, а если есть охота, в собор Святой Троицы... он, кажется, православный... Одним словом, живите, развлекайтесь, наряжайтесь — тут все наше. А я буду делать свои дела.

5

С первых же дней приезда в Варшаву началась шумная, суетливая, наполненная выездами, визитами, прогулками, праздниками и парадами жизнь. В доме Гарри постоянно бывали артисты, художники, музыканты. Приходили часто и совсем незнакомые люди, которых сразу приглашали пройти в кабинет.

Однажды Люси видела и того человека, который первый принес ей известие о смерти Юрия. Увидев его, Люси вздрогнула, побледнела. Но он, угадав по выражению лица ее мысли, воскликнул:

— Сударыня! Я не всякий раз прихожу с дурными вестями! И кроме того, я на этот раз не голоден и не одет в неприличный полушубок.

Люси все дни была занята. Одни портнихи отнимали столько времени! Люси появлялась в ослепительно-роскошных нарядах. В городе было немало и других богатых и красивых женщин, которые с увлечением наряжались, блистали бриллиантами, демонстрируя преуспевание своих любовников и мужей. Едва ли не самой очаровательной в этом цветнике была Люси. При ее появлении всегда начинался шепот, а Гарри, как в свое время Скоповский, не упускал случая, чтобы не упомянуть о древности дворянского рода Долгоруковых. Он даже заказал в Варшаве карету с вензелями и короной.

Но все эти честолюбивые затеи не мешали Гарри заниматься и другими делами. Он разнюхивал, где можно дешево купить какое-нибудь предприятие, все равно, будет ли это сахарный завод или разработка угля. Он охотно входил в долю с польскими магнатами, а также, как он сам выражался, показывая этим свое знание русской литературы, скупал мертвые души: заводы и земельные угодья польских помещиков, в настоящее время находящиеся в руках Советского государства. Впрочем, за последнее время эти поместья вздорожали, потому что польские магнаты сами верили в скорое их возвращение. Еще бы!

Настоящая война еще не начиналась, а между тем захватывали уже теперь территории Советской Литвы и Белоруссии. Правительство Пилсудского не пропускало ни одного удобного случая, чтобы с оружием в руках продвинуться дальше. В период наступления Деникина были захвачены земли до реки Березины. Петлюровцы не препятствовали занятию панской Польшей Холмщины, Западной Волыни и Западной Подолии. Затем захвачен был город Овруч. Белопольские войска очутились, таким образом, под Житомиром и Бердичевом...

Война еще не была объявлена, но как назвать такие действия польской военщины, если не состоянием войны?

На все мирные предложения Советского правительства поляки просто не отвечали. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет направил польскому народу обращение, в котором разоблачал действия польского правительства. Было сделано все возможное со стороны правителей Польши, чтобы это обращение не дошло до народа. Ну а в тех случаях, когда рабочие Варшавы, Лодзи, Ченстохова организовывали стачки, политические демонстрации и даже вели уличные бои с правительственными войсками, находилось достаточно оружия и достаточное количество тюрем, чтобы внести успокоение.

Гарри проявлял необычайную осведомленность обо всем, что происходило в Советской России. Он даже любил похвастать этим. Однажды за обедом просто для того, чтобы развлечь и позабавить княгиню, Гарри извлек из кармана мелко исписанный лист и, смеясь, предложил:

— Мама, не хотите ли послушать, что говорит Ленин относительно Польши? Право, это

очень интересно.

— Сомневаюсь, чтобы это было интересно, — улыбнулась княгиня, — но если вы так хотите, милый Гарри, прочтите, что он такое говорит. Может быть, ему удастся пропитать коммунистическими идеями нашу Люси!

— Ну это едва ли, мама! Люси так поглощена балами, нарядами и флиртом...

— Можете быть спокойны, Гарри, Люси никогда не перейдет границы.

— Я знаю! — рассмеялся Гарри. — К тому же у меня профессиональная привычка: за моей прелестной Люси приглядывают мои люди.

Весь этот разговор происходил в присутствии белокурой супруги Гарри, но она так увлечена была пломбиром... И вообще ей все нравилось в том образе жизни, какой она вела. Довольно она погубила безвозвратного времени в деревне, в Прохладном! Теперь она наверстывала упущенное.

Между тем Гарри развернул лист и прочел донесение своего агента, хотя все изложенное в донесении далеко не было секретом:

«Сообщаю также, что глава Советского правительства предпринимает шаги по подготовке контрудара в ответ на агрессию Польши».

— Занятно! — вставила свое слово княгиня.

Гарри стал читать дальше. Он прочел с большим выражением донесение, где приводились якобы дословные заявления главы Советского правительства.

Княгиня попросила его прочесть все еще раз.

Гарри прочел и с усмешкой добавил:

— Разумеется, они осведомлены о том, что в Польшу везут военное снаряжение. Они заявляют, что не боятся этого, а прямо обещают дать нам хороший урок.

— Неужели так и говорят? — спросила после некоторой паузы княгиня.

Голос ее был тревожен.

— Так и говорят.

— А вдруг они и в самом деле окажутся сильнее, чем мы думаем?

— Вряд ли. Поезда с оружием и снаряжением действительно идут сюда непрерывно. Кроме того, в Польше объявлена всеобщая мобилизация. Это может дать армию в семьсот тысяч человек...

— Гарри! — взмолилась наконец Люси. — Ты скоро кончишь свои умные разговоры? Неужели они тебе не наскучили за день?

— Девочка, — возразил Гарри, любуясь на фамильный герб, вышитый на салфетке, — ты можешь не слушать, а мама должна же быть в курсе событий.

Это не были слова, сказанные на ветер. Княгиня не только научилась разбираться в событиях, но и «делать события», по выражению Гарри. У них стали все чаще появляться влиятельные лица, с которыми полезно было неофициально поговорить, высказать мимоходом самое главное и выпросить кое о чем. Это вполне удобно было делать именно княгине.

Для Люси Гарри отвел другую роль: она должна была служить приманкой. Гарри допускал, чтобы за его женой слегка волочились некоторые ясновельможные паны и дипломаты. Но для Люси было необязательно что-нибудь понимать в политике.

Вот и сейчас — как наивно она рассуждала!

— Прелесть! — восхищался Гарри.

— Но скоро наконец начнется эта хваленая война, о которой твердят столько времени? — капризно надула губки Люси. — Мне хочется показать свои туалеты московским барыням, когда вы займете Москву.

— Московские барыни здесь, в Варшаве, или в Швейцарии и Париже... В Москве остались только те знаменитые кухарки, которым большевики хотят доверить управление государством! — закричал, забавляясь, Гарри.

Это заявление развеселило всех присутствующих. Гарри такой остроумный! И приятно то, что он никогда не важничает, не корчит из себя персону, как делают почти все мужчины.

Маленькие люди с большой фантазией занимали посты в польском правительстве. Им мечталось о Сигизмунде Третьем и Стефане Батории, они читали учебники истории, вовсе пропуская главы о времени Ивана Грозного, Петра Великого, но заучивая наизусть воинственные страницы Пассека.

Короче говоря, они хотели воевать. Ведь были же случаи, что их предки одерживали победы! К тому же, если Стефан Баторий, чтобы достать средства на поход против Данцига, заложил свои драгоценности, а королева Мария Гонзаго отдала все свое приданое на ведение войны против турок, то теперь расходы брали на себя европейские и заокеанские друзья.

Пилсудскому показалось, что игра будет беспроигрышная, и он решил вписать в историю свое имя.

Тринадцатую пехотную польскую дивизию формировали, обучали и экипировали во Франции. Французские специалисты призваны были вложить наполеоновский дух в польских солдат. Познанцев муштровали в Германии. Германские правители совали в руки польского солдата оружие и подстрекали его, все еще не утратив веры в Шлиффена и его военные теории. Они были щедры — американские дядюшки, английские кумовья, французские радетели! Все готовы были помочь, снабдить, воодушевить. Новый удар, который подготавливали на Западе, должен быть смертельным для Советской власти!

Александр Станиславович Скоповский был такого же мнения. Получив известие о смерти сына и поняв, что он остался один на свете, никому не нужный, старый, больной, Скоповский не сразу опомнился. Он стал угрюмым, раздражительным. Он часто думал о смерти и приходил в бешенство от мысли, что наследство достанется каким-то случайным людям.

Узнав о планах нападения на Советскую Россию со стороны Польши, Скоповский оживился, снова стал заниматься политикой, снова стал на что-то надеяться. Может быть, он думал, что после победы над Советами ему удастся найти где-нибудь в тюремных застенках свою несчастную Ксению? Или ему хотелось мстить, мстить за погибшие надежды, за одиночество, за охватывающее все его существо безграничное отчаяние?

Он поехал в Варшаву, восстановил старые связи. Был принят генералом Вейганом.

— Ну хорошо, — говорил тихим, усталым голосом генерал, желая показать, что ему даже надоело произносить эти азбучные истины. — Ну хорошо, даже допустим (хотя это абсурдно!), допустим даже, что прекрасно одетая и отлично вооруженная польская армия все-таки отступит под напором красных. Допустим, что это случится, даже несмотря на то, что мы бросаем сюда десять дивизий Симона Петлюры. Но ведь нам этого только и надо. В тот момент, как красные войска с боями будут преследовать поляков, в тыл им ударят соединения генерала Врангеля... Нет, дорогой друг, все учтено, предусмотрено. Стране Советов осталось жить считанные дни! Если я ошибаюсь, можете меня отправить в больницу Иоанна Божьего. Но вы видите сами, я в здравом уме и памяти!

Скоповский рассматривал нездоровое, кислое лицо Вейгана, рассеянно переводил взор на портреты, развешанные по стенам...

— Меня искренне радует, генерал, горячая поддержка западных держав, и может ли не победить армия, воодушевленная идеей: «Польша от моря до моря, Польша от Данцига до Одессы»?! Ведь это значит — перекрыть всю карту Европы! Это новая эра! Я, генерал, потерял в битвах с красной опасностью сына, потерял дочь, я остался один на свете... как перст!

— Печально, печально, разрешите выразить вам сочувствие...

— И я принял решение сам сражаться. Да, я уже заявил об этом Пилсудскому. Я хочу лично участвовать в крестовом походе против этих варваров!

— Похвально, похвально, месье, разрешите выразить вам мою благодарность. История впишет ваш благородный поступок в манускрипты, да-с, запечатлеет сие в воспоминаниях

очевидцев... Вам, конечно, известно, что Советское правительство в четвертый раз обращается с предложением мира? Мы рассматриваем это как признак слабости Москвы. Что вы скажете? Если Москва предлагает мир, торопись начать военные действия! А? Как вы полагаете, месье? Золотое правило, которого всегда надо придерживаться!

Как обрадовался Скоповский, узнав, что княгиня Долгорукова приехала в Варшаву! Он тотчас же навестил ее. Его приняли как близкого человека.

— Княгиня, я потерял за это время сына и дочь, а сейчас хочу на алтарь отечества положить и свои бранные кости, — театрально произнес Скоповский.

— Зачем так мрачно?! Я вполне понимаю ваши переживания. Ведь и мы тоже... Вы знаете о гибели Юрия? Вы мне еще расскажете подробно о своем горе, высказанное горе всегда теряет в весе. Но вы... вы должны долго жить! Вы еще понадобитесь... ты еще понадобишься России, Александр... и немножечко мне... — добавила княгиня тихо.

Какой дивной музыкой прозвучали эти слова для Александра Станиславовича! Он был горд тем, что еще может быть избранником.

Дальнейший их разговор был бы, может быть, чересчур сентиментальным, если бы не был овеян некоторой грустью. Может быть, они не признались бы в этом даже себе, даже в самые откровенные минуты, но ведь они же знали, знали, в конце концов, что у них все последнее: последние годы жизни, последняя запоздалая любовь, последние надежды... Они были стары, и все, что с ними связано — их замыслы, их мечты, их концепции, — все обветшало, все обречено на слом.

Мария Михайловна рассказала вдруг без всякой связи о своих предках. Зачем? Она и сама не знала.

— В нашем роду, дорогой друг, были бояре, был даже фельдмаршал. Цари опирались на нас. Князь Иван Оболенский, прозванный Долгоруким, родоначальник фамилии, потомок в седьмом колене от самого Михаила Черниговского!

— Неужели в седьмом? — почтительно удивился Скоповский.

— Григорий Иванович Долгоруков, по прозвищу Черт, участвовал в Ливонской войне, — продолжала княгиня, не замечая реплики собеседника и как бы оплакивая былое, — Григорий Борисович Долгоруков защищал Троице-Сергиеву лавру, Василий Владимирович в Полтавской битве командовал конницей. Много совершили Долгоруковы подвигов. Бывали и послами, и генерал-аншефами... И вот полюбуйте: их потомок! Какой печальный конец!

Княгиня не прослезилась, но, так сказать, пролила символическую слезу.

— Стыдно вам жаловаться, княгинюшка, живете дай бог каждому! подхватил Скоповский.

Но Мария Михайловна уже улыбалась — мило и снисходительно.

Скоповский потребовал подробно рассказать о гибели Юрия Александровича.

— Мы сами почти что ничего не знаем, — вздохнула Мария Михайловна. Бедная Люси так плакала, так страдала, я знаю, что она до сих пор его любит...

— Достойнейший человек был Юрий Александрович. Он и еще, не хвастаясь скажу, мой сын — это были лучшие отпрыски нашего сословия, это действительно была надежда России!

— Кажется, он выполнял опасную работу?

— Да, да, я-то ведь знал, но тогда это не подлежало оглашению... Ужасно, ужасно думать об этом, дорогая княгинюшка! Все это невозвратимые утраты! И знаете, я часто думаю об этом... Вот, говорят, естественный отбор: самые здоровые особи выживают, а все хилое и непригодное гибнет... А по-моему, так наоборот: эта ожесточенная война, это бесконечное истребление выхватывает самое жизнеспособное, самое талантливое! Труссы, калеки, чахоточные, хитрые, увертливые — те прижмутся где-нибудь в сторонке, отсилятся, попрятутся, а самые убежденные, самые храбрые, самые цветущие ринутся в драку и погибнут...

— Какие страшные вещи вы говорите, голубчик! По-вашему, выходит, что в результате

этого побоища останутся жить одни прохвосты?

— Ну, не совсем так... но нация несет непоправимые убытки.

Они помолчали. Скоповскому хотелось говорить о счастье, которое дала ему княгиня, о прощальной, осенней своей любви. Но ему неловко было начать этот разговор.

— Ну а этот Гарри? — нерешительно спросил Скоповский и поспешил добавить: — Кажется, вполне порядочный человек? Я слышал, он богат и занимает ответственный пост, хотя и прикидывается просто туристом и бизнесменом?

— Ну что ж Гарри... Я не осуждаю мою девочку... Это ее отвлекло, так она легче перенесет утрату...

— Конечно! Конечно! Я вполне понимаю этот шаг! — заторопился Скоповский. — Вообще, я чем больше живу на свете, тем меньше осуждаю.

— Вы хотите сказать, как король Лир, что нет в мире виноватых?

— Мне кажется, что все люди... очень несчастны.

Княгиня сбоку глянула смеющимся глазом на бессарабского помещика:

— Но вы только что уверяли, что вы счастливейший человек!

Во время этого разговора вернулся Гарри. Он был шумен, полон здоровья и довольства собой.

— Познакомьтесь, — представила мужчин друг другу княгиня, — и прошу вас, Гарри, любить Александра Станиславовича, это наш большой, настоящий друг.

— Я думаю, что мы сойдемся характерами, — ответил Гарри. — Так вы из Бессарабии? Меня очень интересует Бессарабия по целому ряду обстоятельств. Во-первых, земли... Вы примерно могли бы сказать... — и Гарри засыпал Скоповского вопросами.

Затем они обедали. Люси тоже обрадовалась старому знакомому и, невольно вспомнив «Валя-Карбунэ», оранжерею и Юрия, вздохнула.

7

Скоповский часто стал бывать у Долгоруковых. А вскоре у Гарри и Скоповского появились какие-то общие дела, они куда-то вместе ездили, и, кажется, именно Скоповский содействовал покупке большого имения в Бессарабии. Имение покупал Гарри.

— Хотите посмотреть на Петлюру? — предложил однажды Гарри Скоповскому.

Скоповский, помогая княгине раскладывать послеобеденный пасьянс, ответил, что хотя и не встречался с Петлюрой, но отзывы о нем имел не слишком высокие.

В этот день у Долгоруковых обедал один польский министр. Княгиня умело поддерживала разговор и даже вставляла иной раз острое словечко, если затрагивались какие-нибудь серьезные вопросы. Гарри создал в доме салон. Это было удобно для его работы.

Министр бывал у них запросто. Часто они уходили с Гарри в кабинет и там вели деловые беседы. И Гарри, и министр — оба одинаково понимали, что занимать министерский пост в неустойчивом продажном правительстве распроданной иностранцам, зависимой Польши — не бог весть какая почетная вещь. Но Гарри неизменно выражал уважение, а министр неизменно был монументален, как надгробный памятник. Только в присутствии дам он обнаруживал несколько вертлявую, но все же какую-то галантность.

Когда Гарри заговорил о Петлюре, министр подошел поближе, явно заинтересованный разговором.

— Да? — спросил он Скоповского. — Отзывы не слишком высокие?

— Не слишком, — повторил Александр Станиславович. — Мне говорили, что он стал непопулярен на Украине и что его роль сыграна.

— Видите ли, — сказал господин министр несколько напыщенно, как будто он давал интервью иностранным корреспондентам, а не беседовал в частном доме, — в Польше никто с Петлюрой как с политическим деятелем не считается. Мы смотрим на него как на атамана бандитов и как такового используем против большевиков.

— Однако заключаете с ним военную и политическую конвенцию?

— Да, это верно. И предоставляем ему вооружение и полное снаряжение для трех его дивизий, которые будут в подчинении польского командования. Ну и что ж из этого? Петлюра обязуется поставлять для польской армии на территории Украины мясо, крупу, овощи, овес и необходимое количество подвод. Разве это плохо?

— Это очень разумно, — согласился Скоповский. — Все должно служить основной цели.

— Совершенно верно! После мы разберемся, что к чему, а сейчас Директория так Директория. Лишь бы воду на нашу мельницу.

— Кстати, — оторвалась княгиня от пасьянса, — я до сих пор не пойму, что это такое — «Директория»?

— Украинская Директория, — охотно пояснил Гарри, — была создана в ноябре восемнадцатого года, когда всем стало ясно, что Скоропадский слаб. В декабре гетман Скоропадский переделался в форму немецкого офицера и бежал в Германию, а в январе девятнадцатого года Директория официально объявила войну Советской России.

— И умно сделала! — спокойно заключила этот разговор княгиня, приступая снова к пасьянсу. — И Польше пора последовать ее примеру.

— Мы учтем ваше горячее желание, княгиня, — любезно ответил Гарри, когда министр только еще открыл рот, собираясь ответить княгине тонко и дипломатично.

8

Но войну так и не объявили. Просто двинули войска и стали захватывать города Житомир, Коростень, Бердичев...

Седьмого мая Гарри вернулся домой праздничный, как именинник.

— Сегодня исторический, торжественный день! — объявил он. — Сегодня польские войска вступили в Киев!

— Бог за нас! — ответила княгиня и перекрестилась.

Через несколько дней приехал Скоповский. Он был в настоящем исступлении. Он бросился к Гарри и расцеловал его. Он пожимал всем руки и, захлебываясь, говорил:

— Это уже настоящее! Это вам не мелкие стычки какого-нибудь атамана Зеленого!

— Положим, что и Зеленый делал свое дело исправно, — возразил Гарри. — Я не сторонник жестокости, но помните, как коммунисты послали в Триполье, где был штаб Зеленого, отряд в несколько сотен молодежи для усмирения зеленовского мятежа? Зеленевцы закапывали их живыми в землю или связывали руки и ноги и бросали в Днепр. Чисто по-азиатски, но факт тот, что уничтожили сотни две-три наших врагов?

— По части решительных мер и мы не уступим! — воскликнул Скоповский. — Я только что из освобожденных районов. Помещикам оказывает содействие жандармерия, у крестьян отнимают наши земли, наш скот... Шуточки! В одном только Правобережье Украины польские помещики вернут отнятые у них три миллиона десятин земли! Не подчиняются — запаливают села с четырех концов! Учить надо мерзавцев! Украинскую и русскую школу к черту! Прежнюю администрацию к черту! Всюду только польская речь и польское руководство!

— Вы в самом Киеве были? — с завистью спросила Люси.

— Конечно! И вы можете туда поехать, совершенно безопасно! Извините, это моя маленькая слабость... но не могу не рассказать... Если бы вы знали, какие еврейские погромчики в некоторых местечках учинены!

— Фи, Александр Станиславович! Это уже некрасиво. Я сама не люблю евреев, но зачем же их бить?

— Евреев бьют при каждом серьезном историческом событии! — философски заметил Гарри.

В это время принесли шампанское, и все выпили за успехи польской шляхты и за

скорое посещение освобожденной Москвы.

Шестнадцатая глава

1

В марте на юг Украины прилетают скворцы. И солнце уже пригревает по-весеннему. И кони успели поправиться: в Ананьеве их кормили первосортным овсом. Бригада отдохнула, получила пополнение и готова была к выступлению. Кончилась передышка! Прощай, тихий городок Ананьев! Спасибо тебе за ласку, за привет.

Приказ — утихомирить бандитов в Ананьевском и Балтском уездах, затем погрузиться в вагоны и прибыть в район Жмеринки.

— Жмеринки? — удивляется Ульрих. — А кто же там появился?

— Поляки! — ответил Котовский. — Новое бедствие обрушилось на нашу страну, новое испытание должны мы выдержать.

И вот уже Машенька уложила свои несложные пожитки, Ольга Петровна свернула санчасть, а Юцевич упаковал в ящики папки с приказами, пишущую машинку и копировальную бумагу.

Построились полки колонной по три. Всадники покачивались в седлах: вперед-назад, вперед-назад. Это облегчало коням движение.

За конницей пулеметчики, за ними обоз, и опять эскадрон кавалерии, затем пушки папаша Просвирина, походные кухни, лазарет... — длинная вереница движется по дорогам Украины.

В селах останавливаются. Коммунисты бригады собирают сходки, беседуют с крестьянами, организуют ревкомы. Разведка прощупывает окрестности, и вот уже мчатся во весь опор кавалеристы и позорно бегут настигнутые бандиты бесславное воинство незадачливого генерала Тютюнника, почему-то решившего во что бы то ни стало сделаться правителем Украины.

Хощевата... Бершадь... Белые хаты, вишневые садоочки... Живописный тын, и на колышках — глиняные кринки и макитры... Деды с запорожскими чубами и сивыми усами... Озорные девчата, так и сверкающие взглядом на проезжающих кавалеристов...

Котовский обращался к населению с кратким словом.

— Призываю всех граждан без различия положения, — говорил он, сплотиться вокруг власти трудящихся — власти Советов. Враги опять поднимают голову. На нас напали белополяки. Они еще пожалеют об этом!

Население встречало Котовского приветствиями. Он заканчивал речь возгласом:

— Да здравствует мирный труд! Да здравствует мир всему миру!

2

Прекрасна весна на Украине. Еще не раскрылись почки на деревьях, но вся природа готовится разом хлынуть запахами трав, разом расцвести, запуститься, разом грянуть хорами птичьих голосов.

Бригада Котовского выводила коней из вагонов на станции Северинка, между Жмеринкой и Комаровцами. Коней заставляли прямо выпрыгивать из вагонов, без мостков. Была ростепель, было бездорожье, разлились реки, затопили низины, кустарники, перелески, широкие луга. Конница построилась и пошла в боевом порядке к станции Комаровцы.

Части белополяков были совсем близко. Но вначале обе стороны приглядывались, не предпринимая решительных шагов.

Первая схватка произошла в пасхальную ночь.

Пахло землей, вешними водами... Около пулемета в заслоне сидели Марков и

Кожевников. В кустарниках рассылались трелями соловьи. Ночь была непроглядно темная, но, когда Марков освоился, он стал различать очертания деревьев, полосу дороги влево, дальний лес по ту сторону дороги, изгородь... В лесочке, где расположился заслон, темнее, чем на открытом месте, вот почему было легче видеть окружающее пространство.

Марков и Кожевников молчали. Окопы противника близко, приходилось держаться настороже.

Решили поочередно нести дежурство, чтобы один отдыхал, валяясь на земле и глядя в небо, другой прислушивался и приглядывался, был возле пулемета.

Кожевников думал о доме. Бывало, в пасхальную ночь несли в церковь святить куличи. А с утра начиналось веселье. Пили водку. Ели жареное мясо и всяческую стряпню. Девки качались на качелях, развевая пестрые подолы, а гармоника выделявала такие коленца, что ноги сами начинали ходить.

Марков думал о своей жизни. Немалый путь прошел он, и таким, какой он сейчас, выпестован не отцом, не матерью, а Григорием Ивановичем Котовским, который сделал из него вдумчивого человека и выносливого бойца. Как не походил он теперь на боязливого мальчика в Кишиневе, который когда-то так нерешительно спустился по ступенькам домашнего крыльца в бурливую жизнь!

Что это? Почему вдруг замолк соловей?

Да, явственно слышны приглушенные голоса, шорох... не то команда, не то ругань...

Марков услышал, как колотится сердце... Как хорошо, что это произошло именно у его заставы!

Вот и они. Идут прямо по дороге. Надеются, что в пасхальный день бойцы Котовского будут в церкви? Или просто ни на что не надеются и лезут на рожон?

Марков дает им выйти на открытое место. Здесь они останавливаются и прислушиваются. Их немного, человек пять, но это только передние.

Вот присоединились трое новых. Они совещаются, стоя у разветвления дороги. Вновь подошедшие, по-видимому, старше, им отдают честь.

«С них и начинать», — решает Марков.

Выпускает пулеметную очередь. Грохот разносится по лесам. Офицеры падают. Остальные залегли в канаве и открыли стрельбу.

Еще через минуту выскочили на конях котовцы...

Котовский не был опрометчив, но умел внезапно обрушиться на врага. Предугадывал и предупреждал намерения противника, умел перехитрить, умел разведать. А если уж бил — то наотмашь, если громил — то после бесполезно было разыскивать разбитую вдребезги, вырубленную начисто вражескую часть.

— Товарищ Гарькавый! — говорил он по прямому проводу начальнику штаба дивизии. — Склонять свои знамена перед поляками не намерены. Дождаться, пока противник сам что-то предпримет, не будем.

Вылазка и на этот раз была отбита. Но трудно приходилось котовцам и всем, кто должен был сдерживать наступление врага. Силы были слишком неравные. Полки Пилсудского двигались, польская артиллерия била по русским городам... И как радовался генерал Вейган каждому сообщению об успешных операциях на фронте!

3

В Жмеринке, в вагоне, Котовский написал заявление о желании вступить в партию. Он решил больше не откладывать. Предстояли тяжелые бои, мало ли что могло случиться. Комиссар Жестоканов попросту, по-рабочему тоже говорил, что откладывать такого дела не следует.

И вот Котовский взялся за лист бумаги.

«В Котовском, — писал он в автобиографии, — пролетарская революция и Коммунистическая партия имеют одного из самых преданных людей, готового за ее идеалы

погибнуть каждую минуту...»

Да, так оно и было. Он не кривил душой, когда писал эти слова.

«А мировая буржуазия, — заканчивал автобиографию Григорий Иванович, имеет в лице Котовского смертельного, беспощаднейшего врага, который каждую минуту готов к последнему, решительному бою с ней, к последней, решительной схватке во имя торжества всемирного коммунизма».

Котовского радовало, что оформлял его вступление в партию комиссар Жестоканов, человек с открытой русской душой, пришедший сражаться за правду, за революцию, сам из питерских рабочих, электрик. Из рук этого честного партийца Котовский торжественно, взволнованно принял партбилет.

— Ну вот, — сказал в заключение Жестоканов, пожимая руку комбригу, вы тут правильно написали, что готовы к решительному бою. Вы это доказали не один раз. Очень, очень рад поздравить вас!

Драгоценная книжечка — партийный билет — бережно завернута и хранится на груди, в боковом кармане гимнастерки. Наконец-то Котовский выполнил свою заветную мечту! Мысленно он считал себя в партии большевиков с семнадцатого года, со времен Румынского фронта, встречи с Ковалевым, работы с Гарькавым, боев под Кишиневом. И разве он не был большевиком в подполье Одессы, работая по указаниям секретаря губкома Смирнова? Разве не Коммунистическая партия воодушевляла его на подвиги, когда бил он части Шкуро и Дроздовского, когда вел бригаду против Бредова, против конницы Мамонтова, когда разбил Мартынова, Стесселя... и кого еще? Всех не перечесать, генералов и атаманов всех рангов и всех мастей. И всегда, каждодневно, каждочасно — разве он не был в душе коммунистом?

И Котовский с удовлетворением ощупывал в кармане гимнастерки партийный билет.

4

С самолета противника сброшена записка. Котовскому предлагают перейти на сторону поляков — ведь он и сам потомок польской шляхты — в противном случае Котовский будет убит.

— Они не в первый раз мечтают меня уничтожить, — усмехнулся Григорий Иванович, показывая записку Ульриху и комиссару.

Ульрих и Жестоканов переглянулись. Хорошо, что это стало им известно! Они примут меры, чтобы уберечь командира.

Вскоре после этого к Котовскому пришел железнодорожный служащий телеграфист станции Комаровцы.

— Товарищ Котовский, — сказал он, — мне удалось узнать, что на вас готовится покушение. Решил вас предупредить. Котовского мы, железнодорожники, знаем. Не дадим расправиться. Если бы я не пошел предупредить вас и, не дай бог, что-нибудь случилось, я не простил бы себе этого вовеки.

Он ушел, взволнованный, довольный своим поступком.

На обратном пути его убили. Он обнаружен был недалеко от станции на мостовой. Лежал на спине, такой же чистенький, с аккуратно подстриженными волосами. Лицо было белое, черты заострились. В груди у него торчал воткнутый нож...

На участок, занятый котовцами, брошен «батальон смерти»: все в черных шинелях, у всех значки — скрещенные кости и черепа. Кавбригада ночью окружила батальон и полностью уничтожила. Не выручили даже зловещие скрещенные кости и черепа.

Прибыло в бригаду пополнение — политработники, призванные в армию по партийной мобилизации в счет двух процентов. Они рассказали, что ЦК партии направляет в Красную Армию много ответственных партийных работников.

— У нас в Тамбове, — рассказывал один из присланных в бригаду, задорный комсомолец, — от нашего района по разверстке отправляли на фронт девять человек. Можете себе представить? Девять! А записалось триста шестьдесят! Что делать? Создали

отборочную комиссию. А мы в райком! А мы и дальше! Посылайте, говорим, по-хорошему, а не то мы и стихийно на фронт махнем!

— Да! — басил другой прибывший, крупный партийный работник. — Партия вплотную взялась за это дело, подъем в стране просто невиданный.

— Тыл и фронт слились в один боевой лагерь, — вступил в беседу еще один из приехавших. — Если бы вы только видели, что делается сейчас в Москве! Москва кипит, возмущение нападением польских панов беспредельно. И мы не собираемся шутить. В тезисах ЦК прямо говорится, что борьба идет не на жизнь, а на смерть.

Партийцы прибыли отовсюду, и каждому было что порассказать.

— Я сам присутствовал на митинге, когда тульские оружейники клялись, что обеспечат фронт винтовками...

— Партийные мобилизации, это — сила!

— Феликс Кон известил ЦК партии, что мобилизация коммунистов на Киевщине проведена в течение суток. Да нет у нас такого города или поселка, чтобы остался в стороне!

— Вот и мы не остались в стороне! — с жаром подхватил комсомолец из Тамбова. — Молодежь всегда должна идти впереди!

— Правильно! И на нашу молодежь можно только любоваться, — вставил свое слово партийный работник. — Тут, видите ли, какая история... Мы же не дети, понимаем: не с одной Польшей мы схватились, со всеми силами мировой реакции, против нас выступают и Франция, и Англия, и Америка. Военный-то план нападения на нас кто у них разрабатывал? Маршал Фош! Французский маршал! А кто доставил в Крым из Константинополя Врангеля, «черного барона»? Доставил его английский военный корабль «Император Индии». Вот и судите сами, чья это стряпня! Откуда приехали пулеметы, предназначенные для нашего истребления? Из Нью-Йорка их привезли, в трюмах американских пароходов.

Котовский, слушая приезжих товарищей, вспомнил другой разговор — с Гарькавым, в те дни, когда они покидали Бессарабию. Гарькавый тогда тоже подчеркивал, что наступают на Советскую республику не одни румынские войска, а вся мировая реакция.

И Котовский в свою очередь сообщил всем присутствующим:

— Мы ведь тоже немножечко осведомлены о действиях врага. Да и то сказать: шила в мешке не утаишь. У нас, у первого в мире социалистического государства, всюду найдутся друзья. Вот в Польше на две недели было прекращено пассажирское движение, чтобы весь транспорт бросить на перевозку оружия. А мы уже об этом знаем. Знаем и то, что американские танки будут пущены в ход против нас, что Пилсудскому и Врангелю присланы воздушные эскадрильи. И все-таки ничего у них не выйдет. Вот уверен, что ничего не выйдет! Не выйдет уже по одному тому, что правда-то на нашей стороне, так ведь, товарищи? Мы-то свое кровное защищаем. Это весь трудовой люд знает, во всем мире.

Губкомовец подхватил слова Котовского:

— Вы знаете, друзья, в доках Лондона были случаи, когда рабочие отказывались грузить боеприпасы, предназначенные для Польши. Железнодорожники в Эрфурте загнали в тупик эшелон с французскими солдатами, направлявшимися на польский фронт. Итальянские рабочие не дали погрузить уголь во врангелевский пароход. А в Ломбардии двадцать дней задерживали поезд с военным грузом, отправлявшийся в Варшаву... Да-а. А тут — какой позор! — с барабанным боем шагать по нашей земле, грабить, жечь... Нет, не покроет себя славой Пилсудский, будь он хоть трижды из дворянского рода герба «Стрела»! Кол осиновый, а не стрелу — вот какой «герб» уготовила ему история. Свой же народ его проклянет. А мы... Мне, товарищи, под пятьдесят, но я буду не позади, а впереди бойцов, идущих в атаку!

Внимательно слушали командиры бригады, взволнованно слушал и Котовский.

— Радуемся такому пополнению, — сказал он. — А то одно время у нас в дивизии была острая нехватка в политработниках. Что греха таить, были и панические настроения. Один полк однажды бросился отступать без всякой к тому надобности. А в другом полку командир батареи бросил позиции. Следовало расстрелять за такие вещи, но он успел перебежать на сторону врага. Ну, у нас в кавбригаде таких случаев не бывает, сами увидите, когда

обживетесь.

— Я знаю, — сказал один из приезжих. — Уж как добивался, чтобы попасть именно в бригаду Котовского!

— Обстановку представляете, конечно? — спросил Котовский. — Поляки действуют двумя группами — Киевской и Одесской. По данным разведки, у Пилсудского в шести его армиях около ста пятидесяти тысяч. Это, конечно, значительно больше, чем у нас, да и вооружения им наслано немало постарались союзнички. Перед нами поставлена задача — продержаться до прихода Первой Конной... — Котовский окинул всех быстрым взглядом: — Ну, коли поставлена, значит, и надо продержаться, а как же иначе, товарищи? Двадцать пятого апреля поляки начали наступление, хотели отрезать Юго-Западный фронт, чтобы нам не могли послать с севера свежие силы. Тут у них явный просчет: Первая-то Конная идет не с севера, а с юга. Весной к нам прибыла с Урала Башкирская кавбригада под командованием Муртазина тоже не с севера! Не знаю, как не сообразил этого Пилсудский.

— Да, но Житомир-то они взяли? И Казатин, и Киев тоже? — напомнил губкомовец, и стиснул зубы, и нахмурился, и отвернулся, чтобы не показать горестный взор.

— Плохо Алеше, да бывает и плоше, — отозвался комиссар Жестокованов. Взяли, конечно, взяли, это что и говорить. Только как взяли, так и отдадут. Вы знаете, каковы потери противника, судя по сводке, перехваченной нами? Около четырнадцати тысяч! Чувствительно? А чего они достигли?

В штабе собрались командиры полков, политработники, и все с интересом слушали рассказы приезжих о Девятом съезде партии, о том, что на съезде разрабатывался единый хозяйственный план страны, что Владимир Ильич выдвинул вопрос об электрификации народного хозяйства.

— Электрификации! — воскликнул Макаренко. — Значит, несмотря ни на что, мирные дни близятся!

— Хорошая вещь — электрификация! — говорил Няга. — Ведь если электрификация — значит, много электричества? Я правильно понимаю?

Весело смеются в ответ на это замечание:

— Правильно, Няга! Много электричества! В каждой избе электричество! И чтобы электропоезда! И чтобы пахать электричеством!

В это время пришли разведчики. Последнее сообщение: галичане перекинулись на сторону поляков, создав тем самым опасность прорыва фронта.

— Я давно обратил внимание, — с досадой сказал Котовский, — что галичане занимают один за другим важные стратегические пункты. Оказывается, давно они что-то затевали! А ведь я об этом сигнализировал штабу дивизии.

— Значит, предстоит нам сегодня горячее дельце? Да? — спросил Ульрих.

— Уж мы проучим их! — ответил Котовский.

В тот же день, используя любимый свой прием — внезапность нападения, — Котовский ворвался в Жмеринку. Чтобы у мятежников создалось впечатление, что на них обрушились неведомые силы, котовцы мчались по всем улицам и переулкам городишка, поднимая пальбу и взбивая облака пыли. Галичане были ошеломлены. Не дав им опомниться, Котовский захватил штаб галичан в полном составе.

— Надо было видеть эти кислые мины штабистов! — рассказывал Ульрих, заливаясь смехом. — Им показалось в первый момент, что это зрительная галлюцинация. Но, увы, это был подлинный, настоящий Котовский, и он предложил им сдать оружие и закончить на этом свою не блестящую карьеру!

5

Первая Конная двигалась. Копыта взбивали пыль на проселочных дорогах, и долго висела она желтым облаком над ложбинами, вербами, над прозрачными, чистыми прудами.

Воронье, саврасые, с черной гривой и черным ремнем по хребту, серые в яблоках, в

крапинах, или, как говорят, в горчице, — кони всех мастей и возрастов двигались в строю через цветущие степи, через нарядную, ласковую Украину.

Была весна. Пели птицы. Солнце припекало совсем по-летнему. Конники мерно покачивались в седлах — кто в папахе, кто в кубанке, кто в остроконечном шлеме, одни одеты по всей кавалерийской форме, другие в рубахах, в ватниках, в кавказских бурках. У многих были отличные сабли, отбитые у деникинских офицеров.

Проходят полки, дивизии... Изредка в строю у кого-нибудь закапризничает конь и начнет плясать на месте, вскидываться на дыбы. На минуту собьет строй. Перемахнет через придорожную канаву, заросшую мятой да лопухами, и, промчавшись по пашне, по нежно-зеленым всходам бурака, успокоится и пойдет на рысях, храпя, пожевывая мундштук и выслушивая заслуженные попреки и брань хозяина.

Вот уже который день шла походным порядком конница. Повсюду оставили след недавние бои. Железнодорожное полотно было размыто и разворочено, из речной глади торчали железные балки, исковерканные фермы мостов. Вблизи городов ржавели вокруг депо мертвые паровозы, вагоны в тупиках зияли дырами пробоин.

Изредка удавалось погрузиться в эшелоны, и тогда под присвист, гиканье и песни тащились воинские поезда мимо сожженных станций, взорванных водокачек, мимо белых улыбающихся хат, окруженных цветущими яблонями и шелковицами.

Внезапно в открытом поле останавливался поезд. Паровозу не хватало воды. Тогда выстраивались цепью, протянутой до какой-нибудь извилистой речки, из рук в руки передавали полные ведра. Паровоз, получив запас воды, бодро фырчал. Водоносы прыгали на ходу в теплушки, оттуда торчало сено, конские головы, и поезд отправлялся дальше, попыхивая над степью сиреневым дымком.

На открытых платформах кутались в брезентовые покрышки кургузые трехдюймовки, и рядом, положив голову на зарядный ящик, спали непробудным сном бомбардиры. Громыхали походные кухни, высоко вскидывали оглобли тачанки, громоздился скарб армейского имущества. И были наглухо закрыты вагоны со снарядами. И кое-где в пестром составе мелькали зеленые, желтые классные вагоны с надписями мелом: «Агитпункт», «Штадив», «Санитарный». И вдруг совсем неожиданно заспанный дежурный по станции или телеграфист различали на одной из платформ аэроплан — неуклюжий, выпуска четырнадцатого или пятнадцатого года, какой-нибудь «альбатрос» или «фарман», любезно предоставленный французскими заводчиками Добровольческой армии и отнятый затем у белых красными частями.

Кто не знает, что такое двадцать пятое мая на Киевщине, на Днестре и на Буге! Двадцать пятое мая здесь — это кисти цветущих акаций; запах сладкий до дурноты; ветер теплый, любовный; сонное жужжание рыжего майского жука с мохнатыми лапками... Двадцать пятое мая — это блимканье гитары, песни девушек, всплеск весла... Двадцать пятое мая — это свадьбы и отплясывание веселого гопака, это лунные ночи над зеленым гаем, это дремлющий млин на пригорке... Вот что такое двадцать пятое мая на Киевщине и под Уманью.

Но не тогда, когда рыщут петлюровские банды по глухим дорогам! Не тогда, когда захватчики делят уже предполагаемую добычу — всю нашу родину, — каждый соответственно аппетиту выговаривая смачный кусок!

В нетерпении пляшут боевые кони на берегу Буга. Сбруя начищена. Гривы расчесаны. Волос блестит, как шелк. Конная готова к бою.

Вот прокатила в тачанке отважная пулеметчица Павшина. Мелькнули смуглое, монгольское лицо и белая папаха начдива Четвертой кавалерийской Городовикова. Прошла Одиннадцатая дивизия.

И уже завязываются бои.

По околицам защелкали выстрелы. Армия расчищала путь к основной линии фронта, торопилась встретиться с белополяками. Было захвачено много пулеметов, винтовок у петлюровских банд, у повстанческого Запорожского полка.

Промчался Дундич — любимец Первой Конной, рубака, наездник и меткий стрелок,

славный сподвижник Буденного — Олеко Дундич, Красный Дундич, как прозвали его бойцы.

Прошла боевая Четырнадцатая дивизия Пархоменко.

Четыре кавалерийские дивизии и полк особого назначения были в составе Первой Конной. Это были отборные части. Но если Первая Конная покрыла себя неувядаемой славой, то пришедшая с Урала Двадцать пятая Чапаевская дивизия тоже знала за собой немало подвигов. Юго-Западный фронт становился грозной силой. У поляков все еще имелся перевес в пехоте, но советская конница была почти втрое многочисленнее, и это сыграло решающую роль.

Какие события совершались к моменту прибытия Первой Конной?

В середине мая наше командование подготавливало наступательную операцию на Западном фронте. Пилсудский готовил контрудар. Но он намечал свои действия на семнадцатое мая, а мы перешли в наступление рано утром четырнадцатого. Это наше наступление не достигло поставленных задач, но вынудило Пилсудского израсходовать значительную часть резервов и ослабить свои силы на Украинском фронте, перебросив войска в Белоруссию.

А на Украинском фронте шла между тем наша подготовка к новому удару по врагу. С двадцать шестого мая по второе июня здесь завязались затяжные кровопролитные бои. При этом удалось точнее определить группировку сил противника и наметить новые методы наступления советских войск, отказавшись от лобовых атак и создав ударную группу для прорыва Польского фронта.

И вот наступило пятое июня. Стоял густой, непроглядный туман. Дождь лил, не переставая, вторые сутки. Стояли сплошные озера на полях, в ложбинах, на проселочных дорогах. Кто мог ожидать, что в такую погоду советские войска начнут наступление!

На рассвете Первая Конная обрушилась на белополяков. Противник слишком поздно заметил мчавшуюся на них лавину кавалерии. Прошло всего каких-нибудь два часа, как началась эта стремительная атака, а Польский фронт был уже прорван, затем расколот на две части. Первая Конная громила уже тылы Третьей польской армии.

Польский штаб и вместе с ним Юзеф Пилсудский, сам себя назначивший «начальником государства» и «главнокомандующим польской армии», находились в Житомире. Им пришлось без оглядки бежать и до поры до времени осесть в Новограде-Волынском. Надолго ли?

Четвертая кавалерийская дивизия, уничтожив гарнизон, захватила Житомир, освободив там пять тысяч наших пленных, которые с ходу включились в боевые действия. В этот же день Одиннадцатой кавалерийской дивизией был занят Бердичев, наголову разбита конная группа генерала Савицкого. Глубина прорыва Первой Конной в тыл польских войск достигала ста сорока километров.

Первая Конная перешла в наступление — обстановка на фронте изменилась.

Одновременно действовала ударная группа севернее Киева и Фастовская группа, куда входила и кавбригада Котовского.

Котовский созвал командиров и политработников бригады и вкратце рассказал о поставленной перед ними задаче. Была получена директива Реввоенсовета, в ней подробно излагался план прорыва фронта и разгрома польской армии на Украине.

— Вы знаете, с кем нам предстоит встретиться? — спросил Котовский. Был в свое время у нас в России командир Первого конного Заамурского полка Карницкий. Учился в наших военных учебных заведениях, проходил, как полагается, военную службу. А теперь оказался польским паном, и уже в чине генерала! Командует он польской штурмовой сводной кавдивизией и ведет ее против нас.

— Хотел бы я с этим ясновельможным паном поговорить с глазу на глаз! — вздохнул Няга.

— Разговор с ним будет короткий, — отозвался комиссар Жестоканов.

Бригада Котовского била врага нещадно, вложив свой посильный вклад в славное дело — освобождение от захватчиков священной советской земли. Основные задачи по разгрому

врага выполняла Первая Конная. Но героически сражались и многие другие советские воинские части.

Двенадцатая и Четырнадцатая армии наносили удары противнику. Фастовская группа заняла Белую Церковь и Фастов, Башкирская кавбригада била панов севернее Киева. Чапаевская дивизия поддерживала ударную группу Двенадцатой армии. Храбро сражались богунцы. Бросались в атаку части червонного казачества. Били непрошенных гостей моряки Днепровской флотилии...

И вот уже форсирован Днепр, Киев очищен от вражеских войск...

Напрасно пытались поляки остановить наступление Красной Армии. Отступление Третьей польской армии вскоре превратилось в бегство. Пилсудский хвастал, что Третьей армии удалось выскочить из окружения. Это бегство Пилсудский готов был рассматривать как победу!

Как известно, маршал Пилсудский славился большим самообладанием. Так, еще в царское время он был посажен в Петербурге в тюрьму и притворился сумасшедшим. Для выяснения этого обстоятельства он был препровожден в Николаевский госпиталь и помещен в психиатрическое отделение. Этому он и добивался. В госпитале работал ординатором его сообщник Мосьцицкий. Шесть месяцев Пилсудский дико хохотал, ползал на четвереньках и нес околесицу, разыгрывая сумасшедшего, и тем временем поджидал, когда назначат на дежурство в психиатрический корпус Мосьцицкого. Наконец это сбылось. Пилсудский и Мосьцицкий осуществили побег и скрылись за границу.

С тех пор нервы маршала Пилсудского стали значительно сдавать.

6

Скоповский находился в штабе Второй польской армии, но, увидев растерянные лица военных, он вдруг почувствовал, что ему уже не хочется наказывать Россию за гибель сына, за Ксению. Однако когда он заявил, что ему необходимо срочно отправиться к генералу Вейгану, ему нелюбезно ответили, что с отъездом придется повременить.

— Позвольте, мне на самом деле и очень срочно нужно повидать генерала.

— Вам на самом деле придется обождать.

Тогда Скоповскому совсем уже сделалось худо. А тут еще разболелась печень, и были такие неудобства... Скоповский ругал русскую некультурность, русский климат, русскую весну и все русское.

Но приходилось оставаться в штабе армии.

Тридцать первого мая поступили утешительные сведения: генералу Карницкому поручено перейти в наступление и совместно с группой генерала Савицкого разгромить красную конницу в районе Ново-Фастова.

«Будем надеяться, что разгромят, — размышлял Скоповский. Генералы-то опытные, военное образование получили в русской военной академии, в Петербурге... И Сальников к нам перекинулся с полком из бывших белых офицеров. Тоже один — ноль в нашу пользу...»

Но уже через сутки расстроенный Скоповский, прислушиваясь к канонаде, писал письмо в Кишинев, сообщая о своем разочаровании:

«В сущности, — писал он, — с этими русскими невозможно воевать. Как тебе, вероятно, известно, есть определенные правила, тактика, стратегия, и специалистам доподлинно известно, как воевали, например, Александр Македонский, Наполеон или Ганнибал. Если эти великие люди, действуя определенным образом, побеждали, то стоит изучить их приемы — и ты будешь владеть секретом победы, как Фауст владел секретом молодости, а певичка Эльза (помнишь, в Вене?) владела секретом красоты. Представь же себе, что русские, по невежеству не зная, как побеждал Ганнибал, начинают действовать по-своему и путают все карты! Так было и вчера. Наши части проводили отступление по всем правилам военного искусства. Как ты думаешь, что же делают русские? Весь фронт Красной Армии, доселе спокойный, вдруг оживает. Из лесов и деревень, из всех складок местности,

появляются всадники. В несколько мгновений горизонт, на сколько хватает глаз, наводняется буденновцами, которые в огромном облаке пыли, предшествуемые бронемашинами и прикрываемые огнем артиллерии и пулеметных тачанок, начинают надвигаться на поляков... Конечно, нервы цивилизованного человека не выдерживают, и поляки бегут! И вообще, где это видано, чтобы конные массы самостоятельно решали задачу прорыва фронта?! Я беседовал по этому поводу со штабными офицерами, и они только пожимали плечами. Представь, и мой бывший управляющий Григорий Котовский тоже действует где-то здесь! Воображаю...»

На этом письмо обрывалось, и так и не удалось выяснить, что именно «воображал» Скоповский.

Вопреки правилам и навыкам Александра Македонского, в местных лесах, в тылу польской армии бродили отряды партизан. Один из этих отрядов ворвался в город, перепугал жителей, разогнал, а частью перебил штабных офицеров и скрылся.

Скоповский, увидев из окна, что скачут какие-то всадники, услышав затем «ура» и беспорядочную пальбу, упал в кресло и сделался синим. Нижняя челюсть у него отвисла, показывая вставленные зубы. Он, вытаращив глаза, смотрел перед собой.

Вот она, смерть... Для чего же все усилия, вся борьба, все ухищрения? Только для того, чтобы вот так, в кресле, поникнуть и чтобы в мозгу все смешалось? Ксения... Перед ним стоит Ксения! Но этого же не может быть, она умерла... Жжет! Жжет сердце... Протянуть руку и принять эти капли, они помогают...

Врач определил паралич сердца. Но, возможно, Скоповский умер от огорчения, что белопольским уланам никак не удастся победить огромную восточную страну?

7

В эти дни бригада Котовского жила напряженной жизнью.

Стояли первые солнечные, благоуханные дни. Распустились листья на деревьях, цвели цветы на лугах. Как нарядны были поляны! Как приветливы сады! Как живописны украинские села, с белыми хатами, журавлями колодцев и «садками вишневыми коло хаты»!

Отдельная кавалерийская бригада Котовского шла на стыке Фастовской группы и Первой Конной армии.

Котовцы внезапно натолкнулись на пехотную колонну противника, шедшую со стороны Андрушевки. Колонна белополяков, состоявшая из двух рот Пятидесятого пехотного полка, была окружена и уничтожена. Все подходили и осматривали трофеи: четыре полевых французских орудия, шестьдесят подвод со снарядами.

— Хорошие пушки, — хвалил Няга. — Их только повернуть в другую сторону — и бить по панам!

Все это произошло так быстро, что остальные роты белопольского Пятидесятого полка продолжали безмятежно передвигаться. Вскоре были обнаружены еще две роты и тоже уничтожены. От Пятидесятого полка остался, таким образом, один батальон. Он был разбит под деревней Медовкой.

Вслед за этими столкновениями произошел еще ряд боев. А травы цвели своим чередом. Белые акации захлебывались сладким ароматом. Цвела сирень. И было особенно много садов, разомлевших под солнцем, в тихой Ольшанке. Перед окопами была рожь. Она зацвела, среди колосьев синели васильки.

Противник перерезал во ржи проволочные заграждения. Затем, приминая колосья и васильки, подполз к расположению кавалерийской бригады, уничтожил дозор и ворвался в Ольшанку. Это были познанцы Галлера.

Котовцы купали лошадей в ольшанском пруду. Был знойный день. Мошки вились на дороге, листья на деревьях свертывались от жары. Лошади фыркали, блестели на солнце их мокрые спины, галечник хрустел под их копытами, когда выбирались из воды.

Прозвучали выстрелы. И кончился знойный покой. Первый кавалерийский полк

белополяки заставили отступить.

Тарахтел пулемет... Мчались всадники... Метались кони без седоков...

Напрасно будет выходить печальная женщина на крыльцо, возле которого растет груша. Напрасно будут высматривать отца смуглый мальчик и смелая, как мальчишка, девочка. Не вернется в родное село молчаливый Леонтий...

Еще накануне он был встревожен:

— Конь обнюхивает. Видно, убьют.

— У тебя, поди, хлеб в кармане...

— Нет, брат, хлеб ни при чем. Плохая, брат, примета.

Все помолчали, придумывая, что бы сказать утешительного Леонтию:

— Сейчас и боев-то больших нет.

— Да мой Мамай обязательно меня мордой тычет, такая у него привычка. И ничего.

— То мордой тычет, а то обнюхивает. Разница.

Вражья пуля сразила его. Он грохнулся на землю. Земля была горячая. Приник Леонтий к земле, словно слушал...

Котовский мчится навстречу выстрелам. Увидел, как упал Леонтий. Заметил, как Макаренко упал с коня, истекая кровью. Догнал того, кто стрелял в Макаренко. Получивший страшный удар пехотинец пробежал еще несколько шагов и скатился в ложбину.

Раненого Макаренко подхватила бесстрашная медсестра полтавчанка Шура Ляхович. Она всегда оказывалась впереди. Мчатся пулеметные тачанки — и Шура Ляхович с ними, только лицо прятала, чтобы куда угодно ранило, только не в лицо. Скольких бойцов она спасла, вытащила ранеными с поля боя!

— А где же комбриг? — успел только спросить Макаренко.

Потом потерял сознание.

Появились кавалеристы Второго полка. Они мчались на неоседланных конях, всадники были голые. Они только что выскочили из воды и, не тратя времени, схватились за клинки.

Одновременно завязывался бой у окопов. Увидев раненого Макаренко, увидев трупы на земле, котовцы расшвыряли и долго, ожесточенно крошили врага. Так уж у нас исстари повелось, чтобы, «когда неприятель будет сколон, срублен, не давать ему времени ни собираться, ни строиться, невзирая на труды, преследовать его денно и ночью, до тех пор, пока истреблен не будет», как говорил Суворов.

Познанцев загнали в овраг. Четыреста трупов оставили они под Ольшанкой, четыреста напоминаний насчет вероломства страдающему короткой памятью врагу.

Пришли в лазарет проститься с боевым товарищем. Входили один за другим, озираясь на койки, неловко шагая по чисто вымытым полам. Белый, без единой кровинки, Макаренко. Встал у него в изголовье Котовский. Столпились командиры полков, командиры батарей, комиссары. Были тут Няга, Николай Криворучко, Ульрих...

— Берегите командира, — говорил тихим, но уверенным непрерывающимся голосом Макаренко. — Ты, Криворучко, вероятно, сменишь меня, так помни мой наказ. Я понимаю, что не выживу, но мы им дали, будут они помнить!

Через два часа он умер.

8

А рожь все равно колосилась. И цвели цветы, несмотря на все кровавые происшествия этих дней.

Однажды Миша Марков, вновь на коне и с отличной выправкой мчавшийся в строю, получил задание: выяснить положение в соседней деревне Якимановке, нет ли там белополяков, уцелело ли местное население. До сих пор такие задачи Котовский давал или Ивану Белоусову или Подлубному, и Миша Марков чрезвычайно гордился важным поручением.

Отправился он в путь в сумерки. Благополучно миновал стога, болото, переправился

через говорливую речку...

Вот и первые постройки... Но странная тишина вокруг! Ни лая собак, ни мычания коров, ни петушинных переключек...

Маркову показалось это подозрительным.

«Что-то тут не так, — подумал он, останавливая коня на опушке леса. И дым слишком густой, из печных труб такой не повалит».

Оставив коня в кустарнике, пополз по меже. И вскоре предстала перед ним страшная картина: деревня была сожжена дотла!

Кое-где под обгорелыми бревнами в кучах золы пробегала еще искра, пожарище было еще теплое. Печально высились закопченные печные трубы, как памятник погибшему счастью. Вились струйки дыма над грудями пепла, как исчезающее воспоминание о человеческом благополучии.

Нехорошо было здесь, и Марков испытывал желание поскорее уйти. А когда он увидел еще и виселицу, и мертвые тела, раскачиваемые ветром, ему стало и вовсе не по себе. Не то чтобы он боялся, он отвык бояться. Но сердце щемило смотреть на это пепелище.

Марков стал выбираться из деревни, вернее, из того, что раньше было деревней. И вдруг он увидел: кто-то живой, кто-то шевелится...

Первое движение было — схватиться за оружие. Но глаза, уже привыкшие к темноте, различили очертания женщины.

Марков окликнул. Ответа не последовало. Он подошел ближе и увидел девушку, с косами, с бусами, милую украинскую девушку.

Так обрадовало его, что на этом пепелище встретил живого человека.

— Ты кто? — спросил он тихо.

— А вот подойди трохи еще, да як хворостиной угощу, будэш знать, хто я!

— А я подойду!

— Так и получи, добродие! — и она изо всей силы ударила Маркова, приготовившись защищаться.

— Чего дерешься? — с досадой проговорил Миша, потирая ушибленное место. — Вот не думал, что ты такая драчунья! Я же тебе ничего плохого не делаю.

— Не делаю! Бачила я, як вы ничего дурного не робите!

— Так то враги наши, а я-то ведь красный! Это как-никак большая разница!

— Красный! Откуда ты взялся, красный?

— Ну да, из бригады Котовского я! Не веришь? Честное слово, вот провалиться мне на этом месте, чтобы меня мать не любила! А ты здешняя?

Девушка недоверчиво осмотрела незнакомого парня и вдруг заговорила торопливо, громким шепотом, с искаженным от ужаса лицом:

— Вот тут наша хата была... А вон там моя мать лежит... А вон отец... а рядом сосед наш... а еще рядом...

И вдруг она остановилась.

— А не брешешь ты? Я видела, я все видела, что тут было! Но я живая не дамся, ты запомни и близко не подходи!

Она была как безумная. То начинала говорить, говорить... захлебываясь, порывисто, быстро... Потом замолкала и смотрела невидящим взглядом... Не сразу можно было вывести ее из этого состояния. Она молчала, погруженная в страшные кровавые видения... И снова начинала всхлипывать и рассказывать... и губы у нее дрожали, и вся она дрожала, как тополь в ветреный день...

— Дурочка! Я же говорю тебе: я из бригады Котовского. Слышала такого? У нас никто жителей не обижает, мы сами за них заступаемся. Всем известно, как Котовский обращается! Будьте уверены! Неужто ты не слышала о Котовском?!

— Не слышала.

— Нечего сказать, хороша! Не понимаю, что же ты тогда слышала? Котовский — герой. Понятно? Его все знают. Тебя как зовут-то?

— Оксана.

— Ну, я так и думал. Оксана, либо Марусенька, либо Галька... А меня Михаилом зовут. Вот и познакомились.

— Познакомились, а теперь иди откуда пришел.

— И ты со мной пойдешь. Нехорошо девушке в таком страшном месте оставаться.

И тут Миша опять произнес целую речь, из которой явствовало, что Оксана не должна больше драться, должна его слушаться и пойти с ним.

Молодые девушки любопытны. Молодые девушки доверчивы. Постепенно Оксана оттаивала. Миша так ласково говорил с ней! И вскоре на этих развалинах, на черных обгорелых бревнах, в присутствии безмолвных мертвецов Оксана все рассказала Мише.

Оказывается, в деревне поймали партизана, после чего польские легионеры учинили жестокую расправу. Целый день громили, жгли, вешали, издевались над женщинами... а потом ушли, прослышав, что красные близко. У Оксаны была большая семья, и ее уничтожили. Все происходило на ее глазах, одна она успела спрятаться и вот теперь осталась на свете одна-одинешенька...

Миша стал ее утешать. А потом рассказал, что у него семья в Кишиневе:

— Сестренка, Татьяна, вот вроде тебя, такая же красивая...

— Откуда ты взял, что я красивая?

— По голосу слышно. А отец у меня железнодорожник. В железнодорожном депо работает.

— У меня отец умел сапоги шить...

Тут она всхлипнула и опять заплакала — тихо и горько. Жалко было Мише эту почти помешанную от горя девушку. Он твердо решил, что не оставит ее здесь.

И вдруг подумалось: а что, если эту девушку им в семью принять? Не знал Миша Марков, что он точно так же, как Оксана, остался один на свете. Не знал, что нет у него ни отца, ни матери, ни милой сестренки, что только в его воображении жили они по-прежнему...

Он стал приглашать Оксану, когда кончится война, в их семейство погостить, а то и вовсе остаться. Он рассказывал ей про Кишинев, какое там солнце, какие яблоки...

— Мама у нас хорошая!

— И у меня была хорошая...

— Моя мама и тебя любить будет!

Так они разговаривали, стоя посреди этих страшных, обгорелых обломков, среди виселиц и обезображенных черных трупов — два молодых, только-только начинавших жить существа.

9

Когда Марков доставил в бригаду красивую смуглолицую Оксану, все только и толковали что о «трофейной дивчине».

— Вот тебе и тихий мальчик! — удивлялся Савелий Кожевников. Смотрите, какую кралю отыскал! Молодец! Ей-богу, молодец! Пожалуй, тебя посылать в разведку, так ты у нас целый хоровод соберешь!

Савелий выхаживал ее, как родную дочку. Она все еще не приходила в себя. Ночью ей снилось все страшное, пережитое ею. И она кричала во сне. Савелий, как маленькой, певучим голосом рассказывал ей сказки да побасенки.

Постепенно Оксана освоилась в новой обстановке. Увидела, что каждый старается сказать ей ласковое слово, подбодрить, утешить, рассмешить. Перестала смотреть исподлобья, перестала дичиться.

— Так вы красные? И все красные такие? Тоже я разное слышала.

Вскоре Марков, придя ее навестить, увидел, что она стирает солдатское белье, взбивая мыльную пену сильными смуглыми руками. А усевшийся вблизи кавалерист, где-то

раздобывший расписную трехструнную балалайку, мелодичным треньканьем этого незамысловатого инструмента старается развлечь ее.

Внезапно он вскидывает голову, глаза его делаются бессмысленными и затуманенными. Неожиданно тоненьким голоском он вытягивает:

Милый, чо, да, милый, чо
Не цалуешь горячо?
Али люди чо сказали,
Али сам заметил чо...

Марков несколько не рассердился, что застал около Оксаны кавалериста. Он дал кавалеристу сделать отыгрыш и с напускной серьезностью, как поют в деревнях, тоже исполнил частушку, первую, какая пришла в голову:

Уж я тещу провожал,
Проливал немало слез,
На прощанье целовал
И ее и паровоз...

Балалаечник перегнулся, растопырил локти, ударил по струнам:

— Э-эх! Сегодня пляшем, завтра пашем...

Балалайка затренькала еще заливчатее, еще звонче.

Мише так хотелось рассмешить Оксану, отвлечь ее от невеселых мыслей! Он выбирал самые забавные частушки, но не видел лица Оксаны. Нравится ли ей?

Он выговаривал скороговоркой:

Продавщица магазина
Назвала меня свиньей.
Люди думали — свинина,
Встали в очередь за мной...

Оксана, не прекращая работы, повела только на Мишу взглядом.

И тут еще подошли бойцы. Под лихую «Барыню» прошелся какой-то молодой щеголь вприсядку... И для всех было ясно, что присутствие Оксаны заставляло его выделять особенно замысловатые выкрутасы и кренделя.

Оксана отжала белье, вытерла о подол покрасневшиеся от стирки руки и, любуясь на танец, встала рядом с Мишей Марковым, показывая этим, что разговоры разговорами, а знает она только его одного.

Никем ничего не было сказано, но в молчаливом согласии было установлено, что Оксана — «дивчина Маркова». Поэтому каждый справлялся у Миши, как поживает Оксана, и спрашивал у него разрешения:

— Тут у меня сахар остался. Может, Оксане отнести? Как ты считаешь, Марков?

А сам Марков то просил Савелия сшить новые сапожки для Оксаны, то покупал ей в деревне бусы. Подарки Оксана долго отказывалась брать, а если брала, то с какой гордостью!

— Капризная! — жаловался Марков Савелию.

— Ты бы командиру доложил, — советовал Савелий, — а то этак-то все начнут девчонок приводить.

— Ну ты все-таки полегче, Савелий! «Девчонок»!

— Да ведь я не про тебя. Я только к случаю. Явился бы с ней к командиру и все бы как полагается отрапортовал: так и так, мол, трофейная — и куда прикажете девать.

Миша подумал-подумал и решил послушаться доброго совета.

— Но как же я ему скажу? И еще с Оксаной... Может быть, лучше одному явиться?

— А что такого, если придешь с Оксаной? Кто есть Оксана? Трофей. Какой она элемент? Пострадавшее население. Вот ты эту сторону и отменяй командиру.

— А вдруг он скажет: направить ее в тыл?

— Не скажет! Наш командир все понимает. Ты еще только к нему собираешься, а он уже, поди, знает, сколько у нее было братьев и сестер.

Савелий вздохнул:

— Не понимаю, что вы за люди! Кто ты есть? Всем ты обязан командиру. А сам не веришь ему! Да какое ты имеешь право на него не надеяться?! А хотя бы и в тыл? Он сразу в корень дела посмотрит! Это уж ты не беспокойся. Рассудит!

Перед Котовским предстали оба: Миша Марков и Оксана.

— Вот, — сказал Марков, — привел...

— Вижу.

— У нее горе...

— Знаю...

— Я хотел бы... — Марков подыскивал слова, — хотел бы взять ее... вообще... в свою семью... Чего она одна? А у меня, по крайней мере, семья... и хорошая, то есть, конечно, в Кишиневе...

— А она как? Согласна?

— По-моему, да.

— Она твоя невеста? Так я понимаю?

Но тут Марков и Оксана так сконфузились, так покраснели оба (причем Оксане это очень шло), что Котовский раскаялся в своих словах:

— Вы не обижайтесь, ребятки, я ведь от всего сердца. И если вы по душе окажетесь друг другу... Смотрите, какие вы молодые, какие славные...

— Я ведь только думал... — пробормотал Миша, — она девушка одинокая, и поскольку я ее нашел там, на кладбище, на пустыре, ночью, то я обязан о ней заботиться. Кончится война — а ведь она когда-нибудь кончится? отвезу я ее к моему отцу, к моей маме и скажу им: «Примем ее в дом, как родную?»

Оксана молчала. Она только полыхала стыдливым румянцем. И пожалуй, это было лучше всяких слов.

— Как ее звать? — спросил Котовский. — Оксаной звать? Оксана, неужто тебе не нравится мой орел?

— А разве я сказала, что не нравится?

— Ну вот и хорошо. Он тебе нравится, а у него о тебе мы и спрашивать не будем, достаточно взглянуть на него.

— Товарищ командир!

— Что «товарищ командир»? Правду говорю. Влюбленные всегда как солнцем освещены и сами излучают сияние. Это видно даже издали. И не стыдитесь вы, пожалуйста! Любовь — праздник! Поймите, что мы все взяли за оружие и ведем беспощадную войну с врагами не для каких-то отвлеченных замыслов, а для вас вот: для тебя, Миша, и для тебя, Оксана, чтобы жилось вам привольно, чтобы были вы вот так счастливы, выше головы!

Слушая такие хорошие слова, Оксана и Миша бессознательно, не задумываясь, как бы нечаянно взяли за руки и стояли, как жених и невеста.

И после этого разговора они уже не стеснялись быть вместе и часто разговаривали о будущем, о том, как вместе поедут в Кишинев, и как все будет хорошо, и как они будут радоваться.

Оксану передали в ведение врача Ольги Петровны Котовской в санитарную часть.

Ольга Петровна приветливо приняла девушку.

— Вот как хорошо! — говорила она. — Вдвоем-то нам насколько легче будет! Вместе-

то мы можем по-женски и порадоваться, и помечтать. А ты, Миша, не беспокойся за Оксану, я ее обижать не стану. Да она и сама в обиду себя не даст. Правда ведь, Оксана?

Миша потрогал синяк на лбу, вспомнил о хворостине, которой огрела его Оксана при первом знакомстве, и сказал:

— В обиду-то, пожалуй, не даст...

Так они и зажили. Оксана пришлось, что называется, ко двору.

— Я ее зачислила сестрой-хозяйкой, — сообщила Ольга Петровна Котовскому.

— Отлично сделала. Девушка хорошая. Мы все должны стать ее семьей, пусть она почувствует это. Пусть будет она тебе не только сестра-хозяйка, но и сестра.

И часто справлялся о ней Котовский. Беспокоился, если узнавал, что грустит. Радовался, узнав, что поет песни.

В ведение Оксаны поступили всевозможные грелки, миски, плошки, поварешки; ее заботой было обеспечение больных всем необходимым для скорейшего излечения.

Впрочем, в боевой обстановке нельзя было строго разграничить обязанности. Приходилось делать все, что понадобится. Оксана была и сиделкой, и прачкой, и санитаркой...

— Оксаночка! — звала Ольга Петровна. — Помоги мне перевязку сделать! Оксаночка, поддержи руку больного! Оксаночка, накапай двадцать пять капель вот из этого пузырька. Оксаночка! Где у нас йод?

И Оксана подавала бинты, йод, ножницы, пока Ольга Петровна осторожно и ловко снимала старую повязку, присохшую к ране и покрывшуюся бурыми пятнами.

— Рви сразу! — просил раненый. — Мне легче сразу, не тяни ты за душу, Христа ради!

Прилежно выполняла работу Оксана. Понемногу она стала приходить в себя и даже стала петь, напевала свои «Огирочки» — те самые «Огирочки», что поют от Станиславщины до Кубани, выйдя на деревенскую улицу и взявшись за руки, или еще мурлыкала какие-то задушевные, приятные песенки — про то, как на горе вдова сажала лук, как козак «просил-просил ведерочко, вона його не дает, дарил-дарил ей колечко, вона його не берет» и как у дивчины была «руса коса до пояса, в косе лента голуба». Много она разных песен знала.

Лучше всяких лекарств помогало раненым просто ее присутствие, просто ее участливое слово — такая она оказалась ласковая да ладная, приветливая ко всем.

А сила в ней какая! Как примется мыть полы в санчасти — только тряпка шлепает да вода журчит! И боже упаси, чтобы кто-нибудь закурил в палате! Будет целый час лекцию читать, душу вымотает и все равно выгонит в коридор с сигаркой.

II

Сыпняк гулял по городам и селам, переполненным пришлым народом, при постоянной смене воинских частей, штабов, эвакуационных пунктов и комендатур.

Ольга Петровна принимала решительные меры, чтобы тифозная эпидемия не вспыхнула у них в бригаде. Добилась, чтобы баня и смена белья производились не реже, чем раз в неделю. А затем повела кампанию по стрижке волос.

— Ну что это за мода отпускать лихие чубы? — возмущалась она, разглядывая кавалеристов. — Это к лицу каким-нибудь архаровцам, каким-нибудь махновцам, а вы-то ведь в бригаде Котовского!

— Какие такие махновцы? — обижались конники. — Сроду махновцами не были, а тут вдруг!

— А ну-ка без рассуждений садись на стул, и быстренько ликвидируем это безобразие.

— Стричь не дам! — упрявился отчаянный рубака, который так гордился чубом, вылезавшим на лоб из-под кубанки. — И не думай даже, докторша, и не надейся! Ты знаешь чего — ты лечишь лечи, за это тебе спасибо, а нигде не написано, чтобы доктора стрижкой занимались!

— А вот мы посмотрим, как нигде не написано! Что за разговоры такие! Разве я зла

желаю? Не хватает еще, чтобы вы мне развели вшей! Оксана! Приступай.

И не успел кавалерист ахнуть, как по его голове, от лба к затылку, пролегла дорожка... Оксана долго думать не любила!

Почувствовав холодок от машинки для стрижки волос, кавалерист вскрикнул, рванулся:

— Что ты наделала! Ах ты!..

— Полный порядок. Машинка — нулевой номер! — весело отвечала Оксана. — Теперь хоть сердись, хоть не сердись. Дело сделано. Бачишь? — поднесла она кавалеристу круглое зеркальце — подарок Миши.

Машинкой она действовала, как самый заправский цирюльник. Конечно, не кому-нибудь, а ей была поручена эта процедура.

Так или иначе, Ольге Петровне удалось ввести такой порядок, что каждый поступающий на лечение прежде всего проходит через санобработку и выходит оттуда гололобый, с наголо остриженной головой.

Кавалеристы воспринимали стрижку как кровную обиду, как большое несчастье. Казалось, им легче бы было, если бы отрубили начисто голову! Они стыдливо кутались с головой в одеяло, а некоторые спокойно, без звука давали промывать и обрабатывать страшные зияющие раны, резать куски живой кожи, но горько плакали, увидев на полу безжалостно обкромсанные свои кудри — мужскую красу и кавалерийскую гордость.

Когда же дело дошло до командного состава, то Ольга Петровна наслушалась и грубостей, и оскорблений.

— Да что ты контрреволюцию разводишь! — кричал в ярости какой-нибудь командир эскадрона. — Да чтобы я позволил оболванить себя на посмешище всем конникам?! Дисциплину хочешь подорвать?

— Постой, постой, — остановил его вошедший в этот момент Котовский. Легче на поворотах!

— А как же иначе, товарищ комбриг?

— Значит, ты своего командира считаешь оболваненным? Значит, я дисциплину подрываю?

Котовский снял шапку и предстал перед всеми со своей по обыкновению гладко выбритой головой.

Тут только все вспомнили, что ведь и на самом деле Котовский-то бреет голову? Как же так получается? И почему же они раньше не задумывались над этим?

На какие жертвы не пойдешь ради любимого командира! Этот же самый ругатель и скандалист смиренно садится на стул и делает знак Оксане:

— Давай! Пропадать, так с музыкой! Делай мне прическу, как у Котовского! Эх, не дай боже, чтобы таким увидела меня жена! Пока не отрастут волосы — буду сражаться!

— Ничего, ничего, — утешал Котовский, пока чирикала машинка в руках Оксаны. — Тут, брат, все равно не отвертишься. Взять хоть меня — комбриг? Командую всей бригадой? А попробуй-ка я не послушаться жены! А если ко всему этому жена — доктор, ну, тогда уж все! Доктора, медицина — это высшая инстанция и обжалованию не подлежит!

— Высшая?!

— Хорошо еще, что у меня с давних пор такой порядок заведен, чтобы голову брить. А то бы, пожалуй, с меня и начали санитарную кампанию!

— Ну нет! На командира бы у нее рука не поднялась!

— И подниматься не надо, — вставила свое слово Оксана, подстригая последние волоски на шее кавалериста. — Командир у нас сам пример! Такие-то все бы были!

И тут Оксана спохватилась и страшно переконфузилась, что так смело рассуждает.

— Слыхал? — весело подхватил Котовский. — Даже Оксана меня признала, а на что строгая дивчина!

Противник цеплялся за каждый овраг, за каждую рощу, приходилось выбивать его с каждого рубежа и гнать дальше на запад.

Так было и на этот раз. Слева, задумчивый и призрачный, отражал облака и деревья противоположного берега круглый пруд. Возле пруда правильные аллеи какого-то заброшенного парка. Конечно, удобная позиция, но долго поляки не удержались. Вот уже гонят их по открытому полю и рубят. И Котовский с любопытством оглядывает старый, заросший кустарником кирпичный фундамент, который враги использовали как удобное, защищенное место. Кроме этого фундамента да разрушенного домишка, без оконных рам, с оторванной и болтающейся на одной петле дверью, — ни одного признака человеческого жилья. Да и фундамент, за которым засели поляки, здорово раздолбал папаша Просвирин своими пушками.

На всем скаку осадил коня возле Котовского молодой кавалерист голубоглазый, курносый и в веснушках.

— Товарищ командир! Туточки!

Котовский помнил этого хлопца. Он пришел в девятнадцатом году в Тирасполь и с тех пор неотлучно в бригаде. Теперь Котовский все припомнил. Даже как зовут хлопца:

— Что скажешь, Ивась?

— Товарищ командир! Здесь! Матерь святая!

— Что здесь?

— Дубовый Гай здесь! То есть его нет... Но был он...

— Деревня?

— Моя деревня... Ну да. Вон смотрите, видите, вон оно там, в лощине, — дубки растут? Там она и стояла...

Котовский понял теперь, почему так бессвязно Ивась говорит, почему лицо его исказилось, почему голос его прерывается.

Вспомнил Котовский, как рассказывал Ивась о своем выстреле в свадебный поезд помещиков. Вон и дорога вьется...

По ней мчались бешеные тройки с женихом и невестой, с шаферами и почетными гостями... А здесь была усадьба, сверкали люстры, бегали слуги, скатерти слепили белизной, лилось шампанское, музыка играла, и жили беспечно, бессовестно, за народные труды, на народном горе раздобревшие, сытые, довольные...

И все это сгнуло — нет нищенской деревушки с чесоточными ребятишками по лавкам, нет роскошной усадьбы, и некому, кроме разве что Ивася, даже вспомнить о минувшем. Было, и прошло, и быльем поросло...

Прискакали на потных конях командиры полков. Докладывают:

— Противника гонят за дубовую рощу. Захвачены пулеметы и пленные.

И, не оглядываясь на старое пепелище, помчались всадники дальше.

Семнадцатая глава

1

В село, где поместился штаб бригады, приехала библиотечная повозка. Это был крытый возок, который тащила бойкая деревенская лошаденка. Библиотекарь был разбитной парень.

— Здравствуйте, почтенные! Привет, девчата! Вы что, ребята, в школе или как? — разговаривал он сразу со всеми обступившими его жителями села.

— В школе-то в школе, байдуже, як зараз лето, а то и школу заняли, раненых разместили, — ответил мальчик с серьезным не по возрасту лицом.

— Ничего, каникулы у вас кончатся, а тут и война кончится, и откроется ваша школа.

Такой ответ сразу вызвал оживление:

— Чего он там балакает? — торопился из хаты сморщенный, взлохмаченный, желтый,

как цибуля, дед, на ходу накидывая бараний полушубок, который, казалось бы, и не к месту в такую жаркую пору.

— Война, говорит, дедусь, скоро кончится.

— Хлеба топчут, убирать надо, об этом не объясняет?

И стал библиотекарь рассказывать, как напали поляки, как без объявления войны захватили они города и села, стали пороть мужиков, отнимать у них помещичью землю...

— Велик был гнев народа, — говорил библиотекарь. — Всюду записывались добровольцы. Партия призывала трудящихся на борьбу с панями. Уже сейчас мобилизовано не менее пятнадцати тысяч коммунистов. Второй Всеукраинский съезд комсомола постановил направить на фронт двадцать пять процентов своего состава...

— Що це таке? — наставляет дед свое заросшее волосами ухо. — Що вин каже?

— Он говорит, диду Семен, дуже богацко красного войска пришло бити панов.

— Добре, добре! — кивает дед. — Хай пань идуть откуда приишли.

— На первых порах, — продолжал рассказывать библиотекарь, Пилсудский имел некоторый успех. Но вскоре ему пришлось почувствовать крепкие удары Красной Армии. Много славных дел впишет в историю война с белополяками. Много мужества проявили в боях советские воины. Пришла сюда знаменитая Первая Конная — армия Буденного, пришла одержавшая много побед Чапаевская стрелковая дивизия, прибыли лихие наездники Башкирской кавалерийской дивизии. Червонной казачьей дивизии, сражается непобедимая Сорок пятая стрелковая дивизия, бьет врага Отдельная кавалерийская бригада Котовского.

— Що вин казав? — волновался дед.

— Вин каже: Котовский прыхав до нас.

— Эге ж! Дуже перелякаються пань! — закричал дед, зашелся старческим беззвучным смехом и даже хлопнул шапкой о землю. — О це дило!

Библиотекарь дал ему газету:

— Бери, дед, прочтут тебе внуки, а потом пригодится на закрутки.

Еще роздал брошюры и газеты, и возок тронулся дальше.

Дед не истратил газету на курево. Он бережно хранил ее на божнице.

2

В кавалерийской бригаде условлено, и все это знают: в каком бы селе ни разместился штаб, он разместится в доме священника или ксендза. Это всегда лучшее на селе жилище. И внешне дом священника отличается от других. Любой встречный сразу же укажет, где «живет батюшка». Этого правила котовцы придерживались неизменно. Сюда привозят почту, сюда приходят связные.

Поэтому Няга, прискакав в большое село, раскинувшееся возле раскудрявой березовой рощи, направился напрямик к церкви и быстро нашел поблизости от нее исправный хорошенький домик под железной крышей, с садом и палисадником, амбарами и цепной собакой.

Няга ждал письмеца от одной особы, оставленной им в Ананьеве. Вот почему иной раз усталый, и конь уже еле передвигает ноги, а все же заедет в штаб.

В штабе знают, что командир оставил в Ананьеве невесту, что они после войны должны встретиться, и, завидев его еще в окно, уже роятся в пачке писем, ищут на букву «Н». Все полны участия, все переживают эту историю, этот «роман», жалеют Катю, жалеют Михаила Нягу, спорят о том, следовало ли им немедленно пожениться или лучше мучиться и ждать, следят, чтобы он чаще посылал письма...

Слышно, как хлопнули двери в сенцах, как шарят в темноте, отыскивая скобу двери. Няга входит, громыхая клинком, позвякивая шпорами.

— Есть! — кричат ему сразу же в несколько голосов и Юцевич, и писари, и Машенька Ульрих.

Он смотрит: где же? Кто из них держит в руке заветный конверт? И хотя конверт

обыкновенный, Няге он кажется самым красивым конвертом, совсем особенным, он отличил бы его среди тысячи других.

Тут же торопливо отходит в сторону, останавливается у окошка и разрывает конверт. Штабные работники «утыкаются» носами в бумаги, делают вид, что знать ничего не знают и даже значения не придали, — читает и пусть себе читает командир.

«Дорогой Миша! С тех пор как ты уехал, город стал постылым, солнце не сияет, весна не радуется. Мама принесла недавно мясо, сделала любимые мои котлеты, а у меня и глаза не глядят, ничто-то мне не мило без тебя, Мишенька, что бы я ни делала — по улице иду или сплю, — все думаю о тебе. Мама спрашивает: „Что с тобой, доченька?“ — а я ей ничего не ответила, только вышла в сени и немного поплакала. У нас уже стаял снег, скоро зацветет черемуха, от тебя опять не было письма, и так тревожно за тебя, родной мой, не нахожу места. Я знаю, что ты бы нашел у себя в Бессарабии девушку лучше, чем я, я — самая обыкновенная, но так любить, как я, никто тебя не сможет, потому что сильнее любить невозможно...»

Няга прочел письмо одним махом, да и написано оно было почти без точек, без запятых. Прочел, глубоко вздохнул и принялся еще читать, теперь уже медленно, слово за словом, часто останавливаясь и представляя, как она сидела в комнатке, оклеенной светлыми обоями, и писала это письмо, как она откидывала косу, которая ей мешала, как шла на почту, чтобы бросить письмо в почтовый ящик, и какой был в это время город, какие улицы, какое небо, какие дома, и стояли перед ним ее глаза, смотрели на него внимательно, пытливо: «Приедешь? Я буду ждать». Это она сказала при расставании... Конечно, приедет!

На фронте дела неплохи. Кавчасти противника стремительно отходят... Кончились дожди, установилась погода, не приходится на ночь оставлять коней мокнуть под дождем... Где это бахают? Со стороны Казатина? Говорят, в Казатине у поляков четыре танка и много пехоты и кавалерии...

Все эти мысли вразброд промелькнули в голове Няги.

«Во всяком случае, — подумал он, — дела на фронте идут успешно. Кончим с поляками — поеду в Ананьев и увезу Катю с собой...»

Михаил Няга бережно прячет письмо в карман гимнастерки.

— До скорого свидания! — говорит Няга.

— Всего хорошего! Заходите почаще!

— А вы, — шутит Няга, — можете не стесняться: не обязательно одно письмо, можно хоть десять, я не откажусь!

— Следующий раз будет вам куча писем! И все от нее!

Няга в нерешительности останавливается на крыльце: прочитать письмо еще раз здесь же, на крыльце, или только дорогой?

Гнедой красавец конь ржет, увидев хозяина.

«Ладно, дорогой, так дорогой!»

Какой тихий вечер! Вдали погромыхивают залпы артиллерии, но от этого тишина не нарушается. По деревенской улице идут гуси, выводок гусей. Вдали баба идет с коромыслом. Вечернее солнце играет и переливается в каждом окне. Может быть, и Катя сейчас прислушивается к тишине вечера и думает о нем? Няга представляет ее всю, милую, с огромной косой...

— Эх!.. — вздыхает он. Всклакивает на коня и рысью минует широкую улицу.

Лицо Няги сияет. Длинные ресницы трепещут. Он так любит жизнь! У него нет будничных дней. Каждый день для него — новый неожиданный праздник, на который он не рассчитывал, что его пригласят, — и вдруг очутился на празднике! Кругом друзья, солнце припекает. Мальчик мчится, еле касаясь земли, в кармане замечательное письмо... Хорошо!

тысячи польских солдат и офицеров. Поляки ни под каким видом не хотят сдавать Любар. Здесь вдоль реки, по самому берегу, тянутся окопы и проволочные заграждения. Переправы противником уничтожены все. Есть броды, которые обстреливаются сильным пулеметным и ружейным огнем.

Но Любар нужно взять. Нужно во что бы то ни стало.

Первый кавполк ворвался в конном строю в самый поселок, но был выбит противником, открывшим ураганный огонь. Убит пулей в лоб Подлубный, один из лучших бойцов.

— Все равно вышибем! Собаки! — клялся Няга.

Второй кавполк зашел со стороны Гриновец, но там канавы и трясины, нет возможности развернуться кавалерийскому строю. Полк тоже отступил.

Няга повел свой полк в пешем строю, выбил противника, но не мог удержаться и вынужден был снова отступить. И в этот момент он был ранен в правую руку. Рука беспомощно повисла. Страшная боль мутила сознание. Кровью залило карман гимнастерки, где лежало драгоценное письмо...

А там, на поле сражения, все шло своим чередом. И Любар был все-таки взят, противник все-таки был отброшен.

Когда эта славная победа была одержана, Котовский собрал всех командиров полков, эскадронов, вызвал Жестоканова, вызвал политработников и подробнейшим образом на карте-двухверстке разобрал весь ход боев за овладение Любаром, объясняя, что именно предприняло удачу, останавливаясь на действиях каждого командира и давая им оценку.

— Вы видите, — говорил Котовский, — суворовское правило, что не количество решает дело, в данном случае еще раз подтвердилось. Очень было важно, что мы точно разведали и расположение Любара, и силы противника. Без разведки и связи нельзя воевать. Мы убедились, что ворваться в город в конном строю невыносимо, это повлечет только потери. Мы, как вы знаете, использовали внезапность нападения, удачно выбрали время атаки, на рассвете, когда польским панам спросонья трудно было разобраться в обстановке. Атаковав противника с трех сторон, мы рассредоточили его силы, белополяки растерялись, не разгадали наших намерений, а главное — они ожидали снова встретиться с конницей, а мы их атаковали на этот раз в пешем строю. Вот и пришлось им проверить глубину бродов на реке Случь и бежать сломя голову.

— Теперь-то мы сядем на коней, товарищ комбриг! — воскликнул Ульрих. — Так нам сподручнее будет наступать им на пятки!

Садаклий не преминул использовать такой удобный случай и привести несколько исторических примеров, подтверждающих правильность данной операции.

— А вообще, товарищи командиры, — сказал в заключение Котовский, дела у нас как будто идут неплохо. Поступило сообщение, что войска Мозырской группы Западного фронта по собственной инициативе развернули наступление. Взаимодействие двух фронтов — это, знаете, что такое? Это сыграет роль в окончательной победе. Ну а теперь вперед, товарищи! У нас нет времени на передышку.

4

Ольга Петровна внимательно осматривала раненого. Няга следил за выражением ее лица. Так повторялось несколько раз. Наконец Ольга Петровна решилась: надо же когда-нибудь сказать правду, тянуть дальше нельзя, да и он все равно чувствует, в чем дело, кажется, она его достаточно подготовила к этому тяжелому сообщению.

Подойдя к его постели, она села около Няги и тихо, но твердо сказала:

— Вы не волнуйтесь. Но я не хочу вас обманывать. Рука ваша в очень плохом состоянии. Раздроблена кость предплечья. Вы человек взрослый, вы понимаете, что это значит. Руку необходимо отнять, чем скорее, тем лучше.

Няга ничего не ответил.

Ольга Петровна еще и еще убеждала его, говорила хорошо, ласково.

Няга молчал.

Потом он лежал на больничной койке. И тоже молчал. Стиснул зубы, боль иногда была такая, что стучало в висках. Он все равно молчал и думал, думал... Он взвесил все.

— Руки резать не дам! — сказал твердо Няга. — Или поправлюсь, ведь доктор не бог, может и ошибиться. Или...

Он не договорил, что «или».

Ему делали перевязки. Приезжала в лазарет Машенька Ульрих и долго уговаривала его.

— Ну как? — спросила ее Ольга Петровна.

— Не соглашается. Вообще, эти котовцы... Я бы, например, с открытой душой приняла мужа без руки или без ноги...

Пришла Оксана с термометром. Она мерила температуру у Няги.

— Сколько? — спросила Ольга Петровна, видя, что Оксана держит в руке термометр и молчит.

— Я не понимаю, — ответила Оксана. — Разве бывает такая температура? Больше сорока?

— Заражение крови, — сказала Ольга Петровна, побледнев.

Мучился он недолго. Бредил. Ночами около него дежурили. Он умер, не приходя в сознание.

Похоронили Нягу в Тараше. Рядом с Макаренко. Вместе воевали, вместе будут и лежать. Глубокая морщина залегла на лбу Котовского. Нет Няги! Удар был жесток. Нет Няги! Как будто померк день...

5

Зацветала липа. Был зеленый июль. Котовцы ночевали в деревне Ивановцы. Ночь была душная, зато утро пришло прозрачное, с курчавыми облаками и обильной росой.

Утром повар из Второго полка, смешливый человек с круглым, как луна, лицом, выбрил начисто голову Котовскому. Повар делал это артистически и не брил, а священнодействовал: что-то такое бормотал, что-то обдумывал, причмокивал языком и долго-долго взбивал мыльную пену, как будто это был гоголь-моголь.

Затем Котовский пошел в сарай делать гимнастику, захватив ведро воды для «водной процедуры».

Примчался Иван Белоусов спросить, что делать с пленными: они просят разрешить им вместе с бригадой бить проклятую шляхту, продавшуюся иностранцам.

Явился о чем-то побеседовать Николай Криворучко. Пришел папаша Просвирин, бесстрашный в бою, но робеющий в присутствии командира в обычной обстановке.

Пока командир не кончит гимнастику, беспокоить его не полагалось. Все прислушивались к шумному дыханию и треску суставов.

— Еще только приседание! — досадовал Криворучко. — Четвертый номер. Теперь начнется поднимание рук в стороны, сгибание кистей... Канитель, прости господи!

Где-то за сараями послышалась стрельба. Вбежал во двор конник и закричал еще издали:

— Где командир?

— Командир гимнастику делает.

Конник очень расстроился, подумал, подошел к сараю и робко доложил:

— Товарищ комбриг, разрешите доложить: белополяки на околице.

Никакого ответа.

Подбодренный тем, что командир не рассердился, конник вошел в сарай. Котовский ложился на рядно, посланное на полу, и приступал к упражнению номер восемь.

— Уже перестрелка...

— А ну, проваливай из сарая! — пробасил Котовский. — Дыхание только сбиваешь!

Котовский был уверен в своих командирах и бойцах: Просвирин уже бежал к батарее, Криворучко распоряжался насчет коней... В сарае слышался плеск воды и громкое фыркание.

Через две минуты командир явился, спокойно застегивая гимнастерку:
— Ну теперь за дело!

6

Всякий раз, когда разгорался бой, врач Котовская приготавливалась к встрече раненых. Прислушивалась к отдаленному грохоту и знала: там бьется с врагами ее муж, каждую минуту подвергая жизнь опасности, там сражаются его честные, прямодушные сотоварищи, которых она полюбила за это время всем сердцем.

Чистые койки, операционный стол, медикаменты, бинты, марля — в каждой мелочи чувствовалась забота, точность, знание дела. А каких трудов стоило все это достать!

Когда санитары приносили первых раненых, подобранных под огнем, как бы ни тяжела была рана, как бы ни мучительна была боль, бойцы рассказывали врачу Котовской о ходе боя, и неизменно узнавала Ольга Петровна, что командир впереди, что командир невредим.

— Не двигай, не двигай рукой, я сама как-нибудь подведу бинт.

— Ничего, мамаша, мы привычные...

— Как ни привычно, а небось больно.

— В прошлый раз, когда мне в ногу угораздило, еще под этой... как ее... где еще коней много взяли... — куда больней было!

— Так взяли, говоришь, город?

— А как же! Командир сказал: обязательно взять.

«Какое счастье — гордиться любимым человеком!» — думала Ольга Петровна.

Оксана тоже гордится своим Мишей, и оттого только, что Оксана им гордится, Марков никогда бы не оказался трусом.

Котовский с удовольствием наблюдал, как Миша стал тщательно одеваться, как стал обряжать коня, как лихо скачет он, как держится в бою.

«Хорошего бойца вырастили, — думал Котовский, разглядывая своего питомца и весь наполняясь радостью. — Причем многого, чего мы достигали годами, эта черноглазая девчонка добилась в один миг только тем, что восторженно смотрит на своего Мишу. Да ведь, по правде сказать, и Леля, даже ни слова не говоря, самым фактом, что она есть на свете, заставляет меня стараться быть лучше».

Тяжела походная жизнь даже для привычного ко всему солдата. Еще тяжелее она для женщины. Но никогда не жаловалась казачка Серафима, не унывала Шура Ляхович, безропотно переносила трудности Оксана, всегда была бодрой, распорядительной врач Ольга Петровна Котовская.

Руки Ольги Петровны действуют уверенно и в то же время осторожно. Какие бы ужасные раны ни обнаружила она, разрезав одежду или обувь, обмыв потемневшую, спекшуюся кровь, она никогда не теряла присутствия духа и не утрачивала надежды. В операционной, в палатах она боролась за каждую жизнь.

И вместе с тем неизменно, невольно всякий раз, когда начинался бой, там, в глубине существа, таила тревогу за мужа. Пройдет ли благополучно и сегодня? Ведь не заговоренный же он, в самом деле! Пролетит ли рой пуль снова мимо завидной цели? Удастся ли предупредить и опередить вражеский удар?

Только тогда возвращалось спокойствие, когда узнавала, что бой кончился. Тогда приливал румянец к щекам, лицо горело, и все понимали эту ее перемену, и все взоры, которые она встречала, говорили ей подбадривающе:

«Ну вот видишь, все обошлось... Ведь мы же знаем, нашего командира не заденет! Иначе не может быть!»

В 1920 году Красная Армия выглядит совсем иначе, чем год-два назад. Другая техника, другой, более подготовленный, комсостав. И Котовский пришел на Польский фронт с накопленным опытом. Вот когда развернулся во всем блеске его военный талант!

Его любимый прием — обмануть противника, нащупать его слабое место, на ответственном участке боя сосредоточить главный удар. Противник намеревается обойти бригаду и ударить в тыл — глухой ночью Котовский сам заходит в тыл противника, спешным эскадром наносит внезапный удар и обращает врага в бегство.

Любуется комбриг на своих орлов. Что за народ, в самом деле! Победы бригады слагаются из множества отдельных побед.

Вот помощник командира полка бессарабец Леонид Воронянский ведет за собой нескольких храбрецов. Они обрушиваются на польскую батарею. Замолкли жерла. Орудия и вся прислуга захвачены. Как раз именно они поливали особенно губительным огнем наступающих котовцев.

А вот группа бойцов во главе с красноармейцем Герасимчуком взяла в плен целую роту белополяков. Никто ему не объяснял, как действовать, сам в решительную минуту совершил этот геройский поступок.

Сказочный храбрец командир полка Николай Криворучко был ранен в бою, но остался в строю и повел полк в битву.

Политрук Мурашев с несколькими бойцами забирает неприятельское орудие. (В бригаде Котовского установка: весь политсостав непосредственно участвует в боях, идет впереди и воодушевляет личным примером.)

Командир Лебеденко скачет со своим эскадром — все как есть на серых в яблоках конях, и все молодцы на подбор, один к одному, и все не знают страха.

Когда встает вопрос о награждении, кажется, всех бы наградили, о каждом бы рассказал в назидание потомкам! Списки на представление к награде составляли сами котовцы и приносили на подпись командиру. Один раз только вычеркнул Котовский из списка фамилию. Это была Ольга Петровна. Как горячо ни доказывали ему, что она достойна награды, Котовский настоял на своем.

— Я знаю, — сказал он решительно, — Ольга Петровна заслуживает самых высоких наград. Но я не хочу, чтобы кто-нибудь мог сказать: «Котовский награждает свою жену». Не нужно этого.

Котовский знает каждого в бригаде, как можно знать своего друга. Они пришли сюда по зову совести, по чувству долга. И кого ни возьми, это вылепленные из добротного материала люди. Кучмий! Шинкаренко! Каленчук! О подвигах каждого можно много порассказать.

Костя Гарбар вырос, возмужал, это уже не мальчик, который под огнем подносит патроны. Это пулеметчик, который мчится в тачанке, сея смерть. Был случай, о котором много толковали в бригаде. Костю захватили поляки в плен. Но он не растерялся и не только бежал из плена, но и доставил ценные сведения о противнике.

Или вот красноармеец Максимов. Он собрал тринадцать бойцов и захватил в плен нескольких офицеров. А ведь выглядел таким простачком!

Командир эскадрона Владимир Девятый в войну четырнадцатого года получил четыре георгиевских креста — богатырь, здоровяк! Можно ли выдержать лобовой удар таких, как он, когда они хлынут лавиной, сверкая обнаженными клинками!

Военком Иван Кондратьевич Данилов первым бросается в бой, увлекая за собой бойцов, а в часы затишья всей своей жизнью подает пример, воспитывает в людях сознание долга.

С такими людьми нельзя не побеждать. Каждый действует продуманно, точно, использует малейший промах врага. Устраивают засады, пускают в ход хитрости. А если раздалась команда: «Тачанки! Вперед!» — пулеметчики мчатся во весь опор.

Так они сражаются, эти удивительные люди.

Секретарь партколлектива Первого полка Николай Слива собирает в час передышки партгруппу. Садятся кто где пристроится: на завалинке хаты, а то и прямо на теплой земле, под яблоней.

— Товарищи! — говорит секретарь. — Вы устали, долго я вас занимать не буду. Но хочу вам прочесть «Памятку коммунистов», которую получил сегодня из штаба.

— Послушаем. Перед сном хорошо запоминается.

— Гляди-ка, Иван уже сидя спит.

— Я не сплю. Я думаю, — возражает при общем смехе Герасимчук.

Веет теплый ветерок. Доносится издали складный перебор гармошки. Где-то ржет конь. Над поселком пролетел польский самолет.

Николай Слива внятно, прочувствованно читает, с уважением держа в руке маленькую книжечку-памятку. Он вообще благоговейно относится к печатному слову.

— «Первый пункт. Железная дисциплина в рядах комячейки — залог окончательной победы Красной Армии». Понятно, товарищи? — спрашивает Слива.

— Да ведь мы-то кто? — отзывается Дубчак. — Мы котовцы. Наверное, этот пункт с нас списан.

— Золотые слова! — вставляет свое замечание подошедший Котовский. Залог победы! Читай дальше, Николай. Вот и комиссар посмотрит, как проходит беседа, — добавляет он, увидев приближающегося Жестоканова.

— «Пункт второй. Коммунист, нарушающий партийную дисциплину, тем самым способствует ослаблению общего армейского аппарата и совершает преступление перед трудящимися».

— Ну, это вытекает одно из другого, — говорит Герасимчук.

— Именно! — соглашается Слива. — Ведь на нас народ смотрит!

И с особенным выражением он читает дальше:

— «Пункт третий. Коммунист — верный солдат революции. Коммунистическая партия — первая армия международного пролетариата. Малейшая ошибка или проступок коммуниста больно ударяют по рабочим и крестьянам всех стран. Четвертый пункт. Коммунист, будь начеку! Многочисленные хищники злобно следят из-за угла за твоими победными движениями. Но достаточно тебе поскользнуться в пути, как вся эта хищная свора бросится на тебя...»

Когда вся «Памятка» была прочитана, бойцы-коммунисты разошлись на отдых. До утра. Утром опять идти в бой. А в бой следует идти свежим, собранным.

Коротки летние ночи. Котовский, Жестоканов и Николай Слива еще беседуют некоторое время о предстоящих делах. Когда они наконец желают друг другу приятного сна, на небе уже занимают зеленоватые предрассветные сполохи.

8

Село Горинка ничем не отличается от многих других украинских сел, с их белыми хатами, пирамидальными тополями и молодыми рощами за околицей.

Ничем не отличается село Горинка. Но сейчас оно приметно тем, что противник оказывает на этом участке сильное сопротивление. Грохочут оружейные залпы, трещит пулемет. С холма, где закрепились котовцы, видны все линии вражеских укреплений.

Дерутся белополяки яростно. Командный состав в плен не сдается. Стреляют друг в друга или кончают самоубийством.

Бои жаркие. Бригада несет большие потери. Выбыло из строя много пулеметчиков.

В конном строю наступать невозможно. Спешились и пошли на окопы противника цепями. Но как только стали спускаться в долину по совершенно открытому месту, поляки начали косить из пулеметов, бить снарядами. Котовцы не выдержали, остановились, залегли.

И как всегда, в решительную минуту появился Котовский. Он скакал галопом на красавце Орлике перед бойцами, спокойный, не изменившийся здесь, под артиллерийским

обстрелом, ни одной черточкой, разве что более строгий. Он поправил фуражку, и зазвучал его могучий голос, как призыв трубы:

— Красные орлы! В атаку! Вперед! Котовцы не отступают!

Противник заметил всадника и открыл по нему огонь. Видя, что оробели бойцы, Котовский помчался по цветущему полю, как будто это была прогулка, как будто бы и не разрывались снаряды и не взлетали вырванные с корнем кустарники и черные комья земли.

И тогда не могли удержаться, встали бойцы и бросились в атаку. На правом фланге завязался рукопашный бой, и дрогнули белополяки. Но в это время замешкался Второй полк, где ранило военкома. Противник оправился от смятения и открыл ураганный огонь по наступающим.

— Товарищ командир, не дело тут оставаться, — подъехал к Котовскому Ульрих.

Грохнул выстрел. Снаряд разорвался совсем близко.

— Подтянуть сюда конную батарею! — распорядился Котовский, стряхивая с колен комья земли. — Я их угощу прямой наводкой!

Раздался новый взрыв.

Сначала ничего не было видно в клубях горького дыма. Затем все увидели, что командир лежит на земле.

— Убит!.. — пронеслось по рядам бойцов.

Но Котовский поднялся, заставил встать коня и даже вскочил в седло. Тут силы оставили его, и он снова свалился.

Тогда без всякой команды, не обращая внимания на огонь противника, котовцы выпрямились во весь рост и пошли... Пошли несокрушимой лавиной.

9

Раненых в этот день было много, везли и везли. Ольга Петровна еле успевала делать перевязки. И вот она случайно услышала обрывок разговора. Это бойцы толковали между собой.

— Нам-то тут хорошо, а как-то там командир...

Ольга Петровна насторожилась, а бойцы зашикали друг на друга. Тогда Ольга Петровна стала настойчиво спрашивать, а у самой сердце захолонуло, и самые мрачные предположения возникли в мыслях.

Наконец кто-то из бойцов, с трудом выговаривая слова, сообщил:

— Говорят, контузило его.

— А почему же мне ничего не скажут?

— Жалеют, вот и не говорят.

Ольга Петровна выяснила, что Котовский контужен еще днем, а сейчас уже стемнело и прошло столько времени... И хотя вряд ли кто решился бы в такую непроглядную темень, хоть глаз выколи, ехать бог весть куда по невылазной грязи, по бездорожью, но кучер, который постоянно возил Ольгу Петровну, суровый, угрюмый мадьяр по фамилии Сыч, ни слова не возразил. Запряг коней. Взял с собой пук соломы, спички. И вот уже загремела таратайка, ныряя в ухабах и разбрызгивая грязь.

Сверкали молнии, в отдалении раскатывался гром. Казалось еще темней от того, что в степи полыхали пожары: горели хутора.

Что это темное движется навстречу? Раненого везут. Ольга Петровна сходит с повозки. Грязь по колено. Это коновод Васька, упавший рядом с комбригом.

— Меня потом, — отвел заботливую руку Васька. — Поспешайте, мамаша, к командиру.

Чуть дрогнули руки Ольги Петровны, но она совладала с собой.

— Напрасно... время тратите... — сквозь зубы, корчась от боли, говорил Васька. — Мое дело конченное, угодили в живот, а я как нарочно... здорово поел перед боем...

Сделав перевязку и распорядившись, чтобы Ваську отправили в санчасть, Ольга

Петровна поехала дальше.

Вот встретила она Орлика. Его вели на поводу. Он медленно переступал с ноги на ногу. Его шея и голова были изранены шрапнелью.

Это было страшное зрелище: боевой конь не нес своего хозяина, и Ольга Петровна уже готовилась услышать самую страшную весть.

— Где командир? — спросила она бойцов.

— Долго не уходил. Уж как мы его просили! А потом увезли его в Катербург санитары батареи.

Ольга Петровна взглянула на них как на чудесных вестников: значит, жив!

Приехали в Катербург. Часовые. Ольгу Петровну сразу же провели к Котовскому. Он лежал в топленной по-черному хате, возле него коптил сальный фитилек. Он был в очень плохом состоянии.

Ольга Петровна прежде всего проверила его пульс. Котовский слабо улыбнулся:

— Я знал, что ты приедешь, хотя и не велел тебе говорить.

С большим трудом Ольга Петровна уговорила его отправиться в санчасть, в местечко Ямполь.

Медленно двигалась повозка. Котовский потерял сознание. Вот и санчасть. Выбежали санитары. Молча подняли носилки. В открытую дверь видны были встревоженные, озабоченные лица.

В тот же день Ольга Петровна повезла Котовского в Одессу, передав своим помощникам все дела.

— Котовский?! — единственное, что спрашивали коменданты станций. Железнодорожники, не дожидаясь распоряжений начальства, бросались в депо. Там тоже долго не расспрашивали. Произносилось только одно слово: «Котовский». Дежурный по станции предупреждал по телефону об отправке экстренного паровоза с прицепленным к нему вагоном, и паровоз мчался. Нигде не задерживали его.

Промелькнули Вапнярка, Бирзула, Раздельная... Ольга Петровна не видела их. Она не отходила от мужа. Он иногда приходил в сознание, спрашивал:

— Взят Кременец? Жив Орлик? Какое сегодня число? Шестнадцатое июля? Сообщи срочно: мой заместитель — Ульрих!..

10

В Одессе к приезду Котовского была приготовлена дача на Французском бульваре. Самая лучшая, какую только нашли. Из окна открывался широкий вид на море. Веранда выходила в сад. На клумбах цвели розы и гладиолусы. Тенистый сад благоухал.

Котовский лежал прикованный к постели. Врачи собирались вокруг него и затем устраивали консилиумы. Медицинские светила высказывали опасения, не отразится ли контузия на психическом состоянии больного, говорили также о возможной глухоте, указывалась необходимость длительного лечения, клинических наблюдений. В конечном счете приходили к выводу, что надо уповать на могучее здоровье пациента, на то, что с болезнью он справится сам.

Ольга Петровна дежурила возле Григория Ивановича бесшумно. Пришли девушки-комсомолки:

— Нужно чем-нибудь помочь?

И очень радовались, если Ольга Петровна давала им поручение: посылала в аптеку за лекарством или просила что-нибудь купить.

Столько солнца было в Одессе, столько воздуха в просторной даче, в благоуханном саду! И такой целительный запах моря долетал с ветром!

Котовский стал поправляться. Выбирался на веранду, садился в плетеное кресло. Солнце доверху наполняло веранду сверкающими потоками. Стекла на веранде были разноцветными, и на полу, на стенах, на коленях Котовского, на скатерти переливались все

цвета: зеленый, желтый, оранжевый, сочно-вишневый.

Котовский закрывал глаза. И тотчас возникали выстрелы, крики «ура», поля сражений... В конном строю идут полки. Вперед!

Каких жертв стоит война! Леонтий... Сколько с ним пройдено дорог! И ведь он спас ему жизнь там, в степи, в холодную ночь... Он отыскал, он, Леонтий! Он приносил передачи в тюрьму, помог совершить побег непритязательный, молчаливый, верный друг! Славные ребята у него — девочка и мальчик. И хорошая жена. Как они там? Ждут, наверное?..

И стояло перед Котовским лицо Леонтия. И скорбь ложилась на лицо командира.

Мучительные видения преследуют Котовского. И такая тяжесть в голове!

«Это, вероятно, потому, что давно не делаю гимнастику», — думает Котовский.

И вдруг опять острой болью свежая, незажившая рана: неужели нет Няги?! Этого нельзя представить! Неужели он никогда больше не улыбнется, сверкая белыми зубами, не скажет: «Ну и жара! Можно баранину жарить, честное слово!».

Сияет одесское солнце. Пахнет морем. Чья это дача? Вероятно, какого-нибудь Инбер или Родоканаки... или Маразли... Сгинули все, как дурной сон!

Без жертв нельзя. Невозможно. Макаренко, Няга, Христофоров, Леонтий... Жанна, Иван Федорович Ласточкин, Кузьма Иванович Гуца... и тысячи, тысячи славных героев!.. Оценят ли грядущие поколения эти жертвы? Товарищи молодые люди! Ведь вы не пройдете равнодушно мимо могилы маленькой Жанны? Жизнерадостный Михаил Няга — он для вас, только для вас пожертвовал собой, чтобы вам лучше жилось на свете! Стало ли вам лучше? Счастливы ли вы?

— Тебе вредно так долго сидеть на солнце, — говорит жена Ольга Петровна, врач Ольга Петровна, и уводит Котовского в прохладные комнаты.

Как только Григорий Иванович поднялся с постели, появились посетители.

Первым пришел корреспондент одесской газеты. Он был элегантен: в светлом костюме кофейного цвета, в модных сандалиях, без шляпы.

— Одну минуточку! Виноват!.. Постараюсь быть краток... — с нагловатой вежливостью приговаривал он, однако мучил Григория Ивановича более часа, задал ему сто вопросов и все записывал в книжечку, тоже элегантную, с блестящими какими-то застежками. — Мы должны отобразить... Массы хотят знать легендарного командира...

Когда он ушел, Ольга Петровна чистосердечно призналась:

— Еще бы минута — и я выгнала бы его в три шеи.

— Зачем же? — возразил Котовский. — Пусть себе. Каждый старается по-своему.

Пришли почитатели. Пришли старые друзья. Пришли рабочие завода: не может ли он выступить? Хотя бы кратко? Ну, раз нельзя, то нельзя... Главное, набирайтесь здоровья!

С утра до вечера Котовский занят был приемами. Приходили с подарками, с цветами. Приходил поэт и прочел длинную поэму, посвященную Котовскому, называется «Сверкающие клинки».

Кончилось тем, что Ольга Петровна от всей этой суеты решила увезти Котовского в Тирасполь.

В Тирасполь? Котовский оживился. Да, он хочет поехать в Тирасполь. Обязательно в Тирасполь! Ведь там пахнет садами, рыбой, прибрежными камышами, ведь там плещет полноводный Днестр...

В Тирасполе он по-настоящему отдыхал. Начал понемногу выходить на прогулки. Посетил могилу Христофорова. А там стал приходить на берег Днестра ежедневно. Сидел и смотрел туда, на ту сторону, всматривался, вглядывался... не мог оторвать глаз от голубой дымки, от неясных далеких очертаний.

Быстро разнеслась весть, что в Тирасполе находится Котовский. Посетителей не было, корреспонденты не приходили. Но рано утром появлялись молдаване: из города, из окрестных деревень. Они приходили с корзинами, наполненными лучшими сортавыми яблоками: душистым йонатаном, золотым шафраном, бумажным ранетом, кальвилем. Они ставили корзины на крыльцо и быстро удалялись. Боже упаси! Они не хотели утомлять

больного, не жаждали сообщать, от кого именно приношения. И без того известно от кого: от Стефанов и Костаке, Мариул и Христо — от простого трудового народа. Кроме яблок Ольга Петровна находила в корзинах дыни, ранние сорта винограда, сливы и арбузы — все, что выращивала изобильная Молдавия.

В конце августа Котовский засобирался в дорогу:

— Пора, Леля. Бригада уже подо Львовом.

Котовский еще не поправился. Но больше не в силах был оставаться в бездействии. Двадцать восьмого августа Ульрих вместе с приказами и сводками рассылал радостное сообщение: Котовский вступил в командование! Котовский вернулся в бригаду!

II

В городе Ананьеве было пыльно и душно. Лето стояло засушливое. Изредка проносились грозы, гремел гром, теплый ливень обмывал истомленные листья деревьев, по канавам пузырились потоки желтой, мутной воды. И опять пекло солнце.

Катина мать сбилась с ног, поливая гряды и клумбы, вычерпывая до дна колодец. Катя же бегала на почту, дрожащим голосом спрашивала в окошечке «До востребования» и шла домой тоскливая, убитая горем. Она не знала, что и думать! Няга перестал писать...

Произошло объяснение с матерью.

— Ревешь? — спросила мать, когда они уже легли спать и погасили свет.

Катя промолчала.

— Думаешь, не вижу? — в потемках говорила мать. — Вижу. Дочери, конечно, всегда своим умом живут, матери у них в счет не идут, все по-своему решают. А мнение материнское выслушай.

Катя молчала, но слушала.

— Ты ведь все об этом скучаешь, белозубом цыгане? Глупость одна, брось. Я же его повыспрашивала, он даже вовсе и не Михаил. Илларион.

— Как не Михаил? — возмутилась Катя. — Все ты выдумываешь, мама!

— Илла-ри-о-он! Сам мне признался. А может, и два у него имени. Одно слово — басурман.

— Пусть два имени! Пусть басурман! Все равно я его люблю!

— Вот когда заговорила! Да что толку от твоей любви? Ты это мне объясни.

Долго гудела мать, все в одну ноту, бесцветно, рассудительно. Но разве докажешь сердцу?

Катя решила поехать и отыскать Михаила Нягу, где бы он ни был, хоть на краю света. В письмах адреса его не было: полевая почта номер такой-то, и все. Но когда он уезжал, он говорил, что едет на Жмеринку. Со Жмеринки и начнет она розыски. Неужели бригады Котовского не найдет!

Настал день, когда Катя исчезла из дому. Хватилась мать — а постель как была постлана с вечера, так и не тронута. Туда-сюда, думала, у подруги заночевала, но день прошел, другой — не вернулась Катя и письма не оставила. Только подружка забежала, сказала, что поехала Катя своего Михаила разыскивать.

Ехала Катя в теплушках, ехала на площадках вагонов товарных поездов, отмахивалась от солдатских любезностей, спорила с железнодорожниками, упрашивала кондукторов...

Так добралась она до фронта. Здесь часто проверяли документы, здесь было строго. Катю не раз задерживали, приводили в Особый отдел. Она подробно рассказывала свою несложную историю. Понятно было, что она ничего не выдумывала.

— Но где же ты своего Михаила найдешь? Ведь у нас Михайлов много, а разгуливать в этих местах не полагается.

— Да это же Няга! Няга-то один? Он в бригаде Котовского, кавалерист, он командир Первого полка! — выпаливала Катя.

— В самом деле, есть такой полк в Отдельной кавалерийской бригаде. Командир полка?

Так ты ему кем приходишься?

— Жена! Вот кем прихожусь!

— Жена, а между тем он не пишет?

— Может быть, ранен? Я все равно его найду! Вы меня не остановите! Уж раз я решила...

— Вот что, гражданка, — сказал ей в одном Особом отделе военный, — я вам дам провожатого, он доставит вас в штаб бригады — это совсем близко в штаб бригады Котовского. Вы там знаете кого-нибудь?

— Конечно! Самого Григория Ивановича знаю. Ульриха с женой... и еще...

Она так уверенно назвала фамилии, имена!

Начальник Особого отдела сам решил ее проводить. Кто знает, а может быть, ходит, разнохивает расположение частей? Но скорее всего, случайная подружка, мимолетная любовь этого самого Михаила...

— Как фамилия вашего мужа? Няга? Он кто по национальности? Ага! Молдаванин? Словом, пошли.

И начальник Особого отдела двинулся вперед первым.

12

Когда умер Няга, Юцевич подумал, что надо бы известить эту девочку из города Ананьева о случившемся, ведь они переписывались, и это была, может быть, настоящая любовь, может быть, супружеские отношения.

Однако выяснилось, что никто не знал адреса этой Кати, даже ее фамилии. У Няги в бумагах не оказалось никаких адресов. Сохранилось письмо от Кати, но там, кроме почтового штемпеля ананьевской почты и подписи «Катя», нельзя было найти никаких нитей. Машенька Ульрих тоже не знала ни адреса, ни фамилии. На этом и пришлось успокоиться.

— Подождем, когда сама придет запрос.

Но Катя не догадалась прислать запрос. Вместо того сама явилась в штаб, сопровождаемая военным.

Легче было бы написать в извещении, чем вот так, говорить ей прямо в лицо, что того, кого она разыскивает, нет на свете.

Штабисты переглянулись, когда Катя спросила:

— Где я могу увидеть Михаила Нягу, командира Первого полка бригады?

Наступило напряженное молчание. Начальник Особого отдела сразу понял, что произошло, понял по растерянным, огорченным лицам, по этой затянувшейся паузе.

«Вот оно в чем дело! — горестно вздохнул он. — Вот бедняжка! Нелегко ей будет узнать... Экое горе!»

Здесь, в обстановке войны, фронта, приходилось постоянно слышать: убит, смертельно ранен. Другое дело — сообщать о смерти родственнику, невесте, жене.

— Катя! — начал Юцевич, замялся на секунду и продолжал: — Так вот, Катенька, какое дело... Понимаете, что получилось... Я должен сказать, Катя... — И вдруг рассердился на себя, что мямлит, тянет, и резко закончил: — Михаил Няга пал смертью храбрых. Убит.

— Вы сядьте, Катя, — ласково сказала Машенька Ульрих, — мы вам расскажем все подробно. Хотите выпить воды?

Начальник Особого отдела ушел, вздыхая и невольно думая о своей семье, оставленной на Урале, в Пермской губернии. Тоже, поди, ждут, волнуются... Храбрая эта Катюша! Ведь надо же — прикатить на фронт!

Катю оставили переночевать. Катя почти не плакала. Почему-то она всего ждала, только не этого. Она думала, что увидит около Няги жену, другую, похитившую счастье у нее, Кати... Или узнает, что Няга решил почему-то порвать с ней — и тогда она убедит его, докажет, что они предназначены один для другого... расскажет ему о своей любви... А тут... ничего нельзя доказать, ничего нельзя исправить! Ничего!

Через несколько дней Катя уехала.

13

Котовский возвращался с Ольгой Петровной в бригаду. Они заехали попутно в ветеринарный лазарет навестить Орлика.

Нашли его в полном запустении, накануне гибели. Раны его начинали гноиться, стоял он в неубранном, тесном стойле, был нечищен, некормлен, худ.

Услышав голос хозяина, он жалобно заржал. Это была трогательная встреча. Котовский гладил коня, похлопывал его по спине. Орлик смотрел такими разумными, полными страдания, человеческими глазами, и так подрагивал кожей, и так радовался, так верил боевой дружбе!

Котовский говорил коню:

— Я тебя так не оставлю! До чего же тебя довели, бедняга!

И затем обратился к Ольге Петровне:

— Ты можешь вообще лечить лошадей? Ну что я спрашиваю? Конечно, можешь! Заберем Орлика, и ты сама им займись. Не возражаешь?

Таким образом, они прибыли в бригаду вместе с Орликом.

Хотя командиру подробно писали о жизни бригады, пришлось все снова по порядку рассказывать: о том, как бригада вырвалась у Бужей Горы из окружения, о том, что Иван Белоусов после битвы у Горинки «открыл счет» за ранение командира и этот счет непрерывно растет.

— У нас счета с врагами революции давнишние! — сказал Котовский.

И начались новые упорные бои. Стояли горячие дни. Часто противники скрещивали оружие на хлебных полях, и кони топтали тяжелые колосья, мчались по спелой пшенице, так и не дождавшейся жатвы. Котовский совершал рейды по вражеским тылам, перерезывал железнодорожные пути, препятствуя вывозу из Советской страны награбленного противником имущества.

Орлик, как острили в лазарете, разгуливал «по увольнительной». Он поднимался по деревянной лестнице на второй этаж и вдруг заглядывал в штаб, отыскивая там Котовского. Машинистки сначала визжали от неожиданности, а затем угощали незваного посетителя сахаром.

Всюду знали его. Он шел по улице какого-нибудь села — независимый, знающий себе цену. Из дворов кричали:

— Орлик! Орлик!

Он шел не оглядываясь. Вполне справедливо, что его — коня самого Котовского — восторженно приветствует народ.

Ольга Петровна промывала его раны, снимала коросты. Орлик терпеливо переносил боль, только подрагивал кожей да облизывал горячие губы языком.

Ему давали сливы, чтобы чем-нибудь порадовать. Орлик очень любил сливы. Он ел их и выплевывал косточки. Еще он любил крутые яйца.

14

Бригада находилась в шести километрах от Львова. В начале июня 1920 года стотысячная армия Врангеля хлынула из Крыма и начала развернутое наступление. Однако даже это не спасло белополяков. Враг был изгнан из пределов нашей земли, войска Западного фронта освободили Бобруйск, Минск, Вильно, Гродно и подошли к Варшаве.

Пилсудский бросился к своим покровителям. В частности, он долго беседовал с Гарри Петерсоном. Гарри был, как всегда, беспечен и мил. Он никогда не разыгрывал из себя важной персоны. Но именно им были нажаты тайные пружины.

Немедленно был оповещен Вашингтон. Немедленно Вашингтон снесся со своим

посольством в Лондоне. Немедленно состоялась конфиденциальная беседа некоего весьма авторитетного лица с министром иностранных дел Англии Керзоном.

Да, было очевидно: спасти Пилсудского надо. Иного решения тут не может быть.

Не того ожидали от этой войны господа империалисты. Сколько хлопот, сколько затрат — и такие плачевные результаты! Где эта самая Москва, которую Пилсудский клятвенно заверял, что завоюет? Ему в помощь был послан Врангель, с которым особенно кокетничала Франция, готовая даже признать его «правителем юга». Почему же эти две армии не соединились? Не осилили голодную, холодную, с разрушенным транспортом Советскую Россию?

Делать нечего. Министр иностранных дел Англии Керзон предъявил Советскому правительству ультиматум. Он требовал прекратить преследование польских армий, иначе угрожал войной против Советской России. Как будто и без того английские военные корабли не обстреливали крымский берег! Как будто и без того английские танки не участвовали в боях, предоставленные армии Пилсудского!

Ультиматум ультиматумом, но Англия в то же время нажимала и на Польшу. От Советского правительства требовали не преследовать польские армии, а от Польши ждали нового наступления на Россию! В этом отношении с Англией были солидарны Америка и Франция. Все они категорически настаивали, чтобы Пилсудский продолжал войну.

Поляки тогда подняли вопрос о том, чтобы Англия и Франция в свою очередь объявили войну России. Но Америка, Англия и Франция решили ограничиться моральной и технической поддержкой Польши.

Между тем положение в Польше было значительно хуже, чем можно предположить. Польские правители увязли в долгах, полностью расстроили хозяйство и с каждым днем теряли доверие народа. Польша была накануне краха. Больше и мобилизовывать было некого. Состав армии изменился, молодежь осталась на полях сражений, на смену ей пришли пожилые люди, которых посулами не накормишь. А чего ждать Польше от союза с бароном Врангелем? Польские помещики понимали, за что воюет Врангель: за единую неделимую Россию, то есть такую Россию, в состав которой войдет и Польша под скромным названием Привислянского края. У Врангеля уже и соответствующее правительство заготовлено, достаточно сказать, что возглавляет его монархист Кривошеин, что в нем находятся и Струве, и князь Трубецкой...

С какой стороны ни посмотри, у Польши не было больше выбора. И тогда покорный слуга вышел из повиновения хозяину. Так загнанная кляча отказывается тянуть воз, несмотря на удары кнута. Хозяева империалистические страны — понукали, требовали от Польши новых усилий, хозяева даже угрожали. Но Польша на этот раз ослушалась и вынуждена была пойти на заключение мира с Советской Россией.

15

В одном из последних сражений, под Милятином, был убит Ульрих.

Машенька плакала на груди Ольги Петровны. Ольга Петровна тихо успокаивала ее. Они провели бессонную ночь, беседа.

— Жены военных всегда должны быть готовы к неожиданности. Такова наша участь.

— Хотя бы ранило! Хотя бы отняли ногу! — шептала Машенька, глядя красными от слез, опухшими глазами куда-то в стену. — И ведь всего ему было двадцать восемь лет!..

Она перебирала в памяти бесконечные мелочи, маленькие радости, отдельные случаи из их совместной жизни, приобретающие теперь особый смысл. Потом опять плакала — горько и беззвучно.

— Хорошая вы были пара, — вздохнула Ольга Петровна. — Я всегда на вас любовалась.

— Если бы вы знали Мишу! Всегда чуткий, всегда заботливый...

— Не так вы о нем говорите! — взволнованно заговорила Ольга Петровна. — Надо

говорить: он бессмертен в памяти поколений! Надо говорить: он погиб славной смертью, защищая родину и свободу! Мы гордимся им! Вытрите слезы, Маша!

Ульриха похоронили в парке Почаевской лавры, под сенью громадных, буйно разросшихся деревьев. Прозвучал залп прощального салюта...

Деревья неумолчно шумели вершинами, вели какой-то свой, важный и серьезный разговор. Почаевская лавра была старинная, пропахшая ладаном и восковыми свечами, наполненная тлением, перезвоном колоколов, церковными песнопениями. Но могучие деревья утверждали расцвет, силу, рост, торжество жизни.

Восемнадцатая глава

1

Когда стало известно о поражении польской армии, о позорном бегстве Пилсудского, княгиня Долгорукова сразу же стала готовиться к отъезду.

— Лучше выбраться заблаговременно, — говорила она горничной, которая была у нее вместо собеседника в тех случаях, когда хотелось наедине думать вслух. — Терпеть не могу оголтелого плебса, беженцев, паники, толпы!

Наиболее предусмотрительные люди давно уже уезжали из Варшавы. Делали они это без шума, умно. Вдруг фабриканту Закржевскому срочно понадобилось побывать в Париже. Вдруг старому русскому сановнику Гагарину захотелось принять морские ванны, и непременно в Италии. Вдруг преосвященный владыка пожелал посетить святые места.

Но вот и мирный договор подписан. Значит, прав был Гарри, что не спешил уезжать?

Теперь недовольна была Люси.

— Мирный договор? — говорила она, и ей как-то не шли такие слова: «мирный», «договор», это не из ее лексикона. — Мама, а где же Москва? Обещали Москву! Ох, уж лучше не слушать этих государственных мужей!

— Что ты от них хочешь? Спасибо еще, Варшаву удержали.

— С этими полячишками как раз пощеголяешь туалетами на московских балах, держи карман шире!

— Люси! Кель выражанс! Ушам не верю! Откуда это у тебя?!

— Правда же, мама, обидно.

Они теперь часто говорили об Америке. Раз война кончена, Гарри здесь нечего больше делать. Они немножечко побаивались: Америка! Как-то сложится там их житье?

— Говорят, у них небоскребы, небоскребы! — испуганно округляла подведенные глаза княгиня.

— Не одни же небоскребы, мама. Вероятно, есть и приличные дома.

Гарри в день подписания мирного договора между Польшей и Советской Россией вернулся домой в таком же отличном расположении духа, как обычно.

— Итак, война окончена! — произнесла трагическим голосом княгиня, не дождавшись, пока Гарри сам начнет этот разговор.

— Кто это вам сказал? — удивился Гарри. — Ах, вы имеете в виду подписание мирного договора! Это — мелочь, маленький эпизод. Может быть, придется подписывать еще много таких договоров. Разве в этом дело? Нет, мама, война никогда не кончится. Сейчас, например, начинается очень интересная, я бы сказал, эпопея. Можно назвать ее «ассорти». Много мелочи. Скажу не хвастая: ювелирная работа! Но и это не все. Пока идут малые войны. А вот когда начнутся большие... Тут еще длинная история, которой одному нашему поколению не расхлебать!

— Ну, это в общем масштабе. Но мы — в частности вы, Люси, я, — ведь мы теперь поедем в Америку? Не правда ли?

— Если вы ничего не имеете против, мы немного побудем здесь, скромно ответил

Гарри.

— Конечно, Гарри. Я только думала... Очень хорошо! А я уже понемногу начала укладываться... Но если мы остаемся, то лучшего и желать не приходится! И Люси будет довольна.

В Варшаве и не думали оплакивать неудачи. Напротив, все делали вид, что дела обстоят блестяще. Устраивали празднества, иллюминации, назначали балы... Ликовали. Произносили речи. Как говорила княгиня, делали хорошую мину при плохой игре.

Приближалась весна. Произошло семейное совещание в доме Долгоруковых: где и как провести лето.

— А почему бы нам, например, не поехать в Молдавию? — с невинным лицом предложил Гарри.

Вопрос был не случайный. Во-первых, у Гарри в Молдавии было имение, которое он мимоходом приобрел у помещика, когда у того пошатнулись дела. Гарри хотел сюрпризом показать новое приобретение, да и самому взглянуть, что это за покупка, совершенная им еще давно через покойного пана Скоповского (о Скоповском и его смерти в доме не упоминалось, так как это расстраивало княгиню). Во-вторых, у Гарри в Молдавии были дела, и он хотел сочетать приятное с полезным.

Признаться, Люси мечтала о поездке куда-нибудь на курорт, на морские купания, или в Италию, или даже в Америку, чтобы посмотреть наконец на обиталище мужа. Но если Гарри так хочет... Люси была покладистого характера и умела во всем находить удовольствие.

Что касается княгини, она была в эти дни безразлична ко всему. У нее была хандра. Ее мало интересовало, что и как будет в дальнейшем.

Когда скоропостижно скончался Александр Станиславович Скоповский, княгиня очень была опечалена. И поплакала она не раз. Ей думалось, что вот кончился последний ее роман, последнее увлечение... И хотя она по-прежнему молодилась, по-прежнему злоупотребляла сильными духами, предпочитая французские, годы брали свое.

Люси понимала женским чутьем переживания матери, хотя на эту тему у них пока еще не было сказано ни слова. Было заведено во всех подробностях разбирать только увлечения, неудачи и успехи Люси. Здесь княгиня не стеснялась. Она полагала, что лучше дочери разбирается в этих вопросах, и постоянно давала советы, предупреждала о каких-то мнимых опасностях, высказывала длинные суждения о мужчинах, о мужском эгоизме, и мужской ветрености, бесцеремонно анатомировала каждое зарождающееся в Люси чувство, не понимая, что есть вещи, которых лучше вообще не касаться, настолько они боятся чужого прикосновения.

Потеря княгини как бы уравнила положение этих женщин: княгиня потеряла Скоповского, Люси потеряла Юрия. И как-то совсем неожиданно для обеих у них произошел разговор, где обе были откровенны и не ощущали того, что одна из них — мать, другая — дочь.

— Ты любила Юрия? — спросила княгиня.

Люси вздрогнула от неожиданности. Посмотрела, искренне ли, от души ли говорит мать. Но у княгини стояли в глазах слезы, потому что она в это время думала о своем горе.

— Да, мама, я любила его по-настоящему, люблю еще и сейчас. Это может так быть?

— А Гарри?

— Ну что же, Гарри? Гарри хороший, но он... как бы тебе это сказать... Он совсем-совсем американец!

— Это я понимаю, ты мне не объясняй, я это очень понимаю. У нас с тобой одинаковая судьба. Разница только в том, что ты потеряла своего первого, а я потеряла своего последнего. Вот и вся разница.

удовольствие, как Люси и княгиня удивятся, что имение принадлежит им. Правда, оно значительно хуже Прохладного, но что же делать. Прохладное пока что так же недосыгаемо, как если бы оно находилось на луне. Придет время — и они вернут эти земли. Гарри ни минуты не сомневался в этом, он никогда не отказывался от того, что принадлежало ему! Рано или поздно собственность будет возвращена, хотя бы для этого понадобилось еще десять кровавых войн!

Коляски хрустели по гравию, и вокруг все цело, благоухало, радовалось солнцу.

— Налево, налево! — кричал Гарри, полный воодушевления.

— Гарри ужасно любит хвастаться, — шепнула Люси матери, и обе заговорщически засмеялись.

— Дубовая роща, великолепная древесина! — кричал Гарри, как продавец на аукционе, расхваливая свой товар. — Эта дубовая роща уже относится к нашим владениям! — продолжал он, заглянув в план, который был развернут на его коленях. — А вот и дом! Видите? С колоннами! Как вы находите? Честное слово, Тургенев! Настоящий Тургенев!

Имение на самом деле было премиленькое. Тут были сад, и виноградники, и оранжерея. И опять все оказалось приготовленным, предусмотренным, и они отлично разместились, и даже была теннисная площадка, и крокет, и гамаки, подвешенные между деревьями.

Правда, в теннис не с кем было играть, правда, было довольно скучно после шумной Варшавы здесь, в этой зеленой заводи, в этой живописной деревенской глуши. Но Гарри обещал, что осенью они поедут в Ниццу, или даже в Алжир, или в Японию, в экзотическую Японию... Куда угодно!

3

В Кишиневе находился штаб атамана Гуляй-Гуленко, военного представителя Петлюры при боярском правительстве Румынии. Вот с этим Гуляй-Гуленко и были у Гарри дела.

Гуляй-Гуленко был молод, дерзок, немножко не хватало ему воспитания, образования, лоска, был он какой-то ненастоящий, как будто ряженный, как будто все нарочно, не на самом деле. И одевался он зачем-то не в обычное европейское штатское платье или хотя бы в военную форму. Ходил по улицам, и все глазели на него, как на заморское чудо.

— Просто какой-то запорожец за Дунаем! — говорили о нем в деловых кругах, пожимая плечами.

Может быть, из-за этой его картинности и относились к нему не вполне серьезно, хотя он обделывал большие дела. Он занят был вербовкой белогвардейцев, уголовников, он никем не брезговал. Он формировал свое войско. По совету Гарри была создана румынским правительством специальная вербовочная комиссия, чтобы набрать для Гуляй-Гуленко добровольцев.

Гарри было известно, что в маленьких городках Турции и Румынии скопилось много белогвардейских офицеров, осевших там при эвакуации юга Украины. Им предлагались выгодные условия. А так как все равно им терять было нечего, деваться некуда и многим не нравилось заниматься мелкой спекуляцией, продавать фальшивые бриллианты, наниматься официантами в рестораны или изображать виртуозов игры на балалайке и брэнчать в великорусских оркестрах, то вербовка проходила довольно успешно, даже лучше, чем в Бессарабии и Буковине.

Гарри дал и еще один практический совет атаману:

— Почему бы вам не установить связь с немецкими колонистами под Одессой? Мне лично приходилось встречаться с этими людьми, они вовсе не из тех, кто собирается строить социализм, и они могли бы помочь вам.

— По-моему, они больше любят кушать колбасу домашнего приготовления, чем совершать военные подвиги, — меланхолично ответил атаман.

— Хорошо! Пусть они кушают колбасу! Пусть не воюют! Но можно оказывать поддержку другими способами.

— Вообще-то там есть отдельные отряды из зажиточного крестьянства... И сейчас там не затихает борьба... Я попробую. И не откажусь от вашей помощи, если, например, вы дадите мне явочные точки...

— Никаких точек я вам не дам, но денег получите. И кое-кому будут посланы распоряжения, чтобы оказывали вам содействие. Вы понимаете, атаман: кто-то должен выиграть в лотерее сто тысяч? Вот происходит розыгрыш. Один вытянул билет — пусто. Другой вытянул билет — пусто. Вы человек энергичный, смелый. Почему бы не попробовать? Вдруг вытянете тот самый номер! А?

— А как же! Очень просто! Украину-то я исходил вдоль и поперек. Знаю! Где еще столько крепких хозяйств? Там богатеи — ого, дай бог каждому! Где еще так развито национальное, кровное? Значит, нужна только крепкая рука, протянуть руку, сказать: «Гей вы, хлопцы-запорожцы!..» Да что там! Все бы поднялись как один, если бы не это самое... не жесткая хватка коммуны!

— Прекрасно сказано! Действуйте, атаман, я думаю, что вам именно будет удача! А все, что потребуется сделать с нашей стороны, сделаем. Как у вас с вооружением? Ага, и конница есть?

И они приступили к подробному обсуждению всех практических вопросов.

4

Офис Гарри Петерсона перебрался в Бухарест. Теперь по улицам румынской столицы шлялись пестрые посетители офиса, люди со «средними» лицами, пригодными, чтобы раствориться и затеряться в любой толпе.

Если этих людей со «средними» лицами учили стрелять, то в кого же они должны были разряжать свои великолепные, новейших марок револьверы? Если им специально преподавали в специальных диверсантских школах научную дисциплину «Яды», то в чьи же стаканы они подсыпали последние образчики последних открытий химических лабораторий в Чикаго?

И разве только один офис существовал на свете? Разве только Гарри Петерсон или Ратенау были заняты целесообразным расходом средств, отпущенных на подрывную работу?

— Предположим на минутку, что адмирал Колчак расстрелян, а престарелый Юденич ушел на пенсию, — лениво говорил Гарри Петерсон, принимая некоего Цветковского, малокровного, с тонкой шеей и желтыми, змеиными глазами. — Допустим, что генерал д'Ансельм и генерал Деникин сыграли свою, как говорится, историческую роль. Наш политический дивертисмент не окончен! «Следующий номер программы...» Но за кулисами всегда должны стоять наготове актеры. Итак, ваш репертуар, господин Цветковский?

— У меня, пан Петерсон, ничего, кроме желания действовать.

— Уже хорошо! Но вот, например, коптит небо такой Артем Анищук. Так у этого Анищука триста штыков и триста сабель. Как вы полагаете, хоть одна сабля кого-нибудь да зарубит? И то хлеб. Молодец Анищук. Хвалю.

— Я понял вас, пан Петерсон. И если бы некоторые материальные возможности...

Гарри назвал сумму. И тогда Цветковский стал яростно торговаться.

Еще был принят Гарри Петерсоном волосатый, сутулый, звероподобный бандит Заболотный. Этот прямо заявил:

— Триста сабель. Говору тильки по-украински. Знаю местность. Можете спросить обо мне Махно.

— Мы вам доверяем, — великодушно возвестил начальник офиса.

Гарри не брезговал никакой мелочишкой. Правда, были «точки» и покрупнее: например, у Аверьянова собрано три полка: Кузнецкий, Петровский и Верхоценский. Или бывший урядник Назаров. У него худо-бедно — эскадрон.

И еще есть бандиты — Черноус и Якувенко. Темные личности, но стрелять-то умеют?

Была даже банда под командой некоего джентльмена Прыщ. Фамилия не очень звучная, но ведь не в фамилии дело. Фамилии бывали и выразительнее у различных атаманов, батек и главарей. Был даже атаман Музыка или атаман Чайка, который все приговаривал: «Щиро дякую, щиро дякую», — больше он ничего так и не сказал. Был Дудка и Курощекин, не говоря уже о Черном Вороне и страшном, хрипачем душегубе Лихо, водившем по украинским степям двести головорезов, двести всадников на отнятых у мужиков лошадях. Они вырезали советских работников, вешали коммунистов, пьянствовали в чьей-нибудь избе, захватив деревню. Этим и исчерпывалось их политическое «кредо».

Кроме того, Гарри Петерсон вел через посредников переговоры с некоторыми партиями — националистов, социалистов и прочими тому подобными.

Ожидался ответ от братьев Антоновых. По отзывам, деловые люди.

Сверх того, бывали банды, которые возникали стихийно, самотеком.

Все это создавало тревожную, неустойчивую обстановку. Украину лихорадило.

5

Имение, которое было приобретено в Молдавии, Гарри назвал «Золотой ключ». Название не нравилось Люси. Оно так и не пришло. Люси чаще называла имение с некоторой скрытой насмешкой «Лебединое озеро». Дело в том, что лебеди, заказанные Гарри, так и не появились в его искусственно устроенном озере. Их везли, но они почему-то передохли по дороге.

Гарри все чаще отлучался. Один раз он уехал в Турцию. Именно ему принадлежала, как он выразился в одном докладе, «счастливая идея» засылать на Украину маленькие отряды, причем один отряд не должен был ничего знать о другом, чтобы в случае провала никто никого не мог выдать. Теперь в Константинополе находилась «тройка», которая занималась этой засылкой, занималась прилежно, хозяйственно, как будто торговала турецким табаком.

Вернувшись в свой «Золотой ключ», Гарри привез подарки: турецкие ткани, необыкновенной формы кувшины, золотые чаши.

А вслед за тем опять уехал, на этот раз для встречи с боротьбистами и для устройства типографии, где должны быть отпечатаны листовки — призыв Петлюры к украинскому народу любить только Петлюру и восставать против Советской власти. Эти листовки будет распространять новый ставленник империалистов, новое увлечение Гарри — некий Тютюнник.

«Все-таки генерал! — радовался Гарри. — Не проходимец какой-нибудь! И внешность у него — хе-хе — довольно-таки историческая...»

— А что ваш Петлюра? — спросила княгиня, слушая рассказы Гарри. — Он действительно выдающийся человек?

— Петлюра? Как бы вам сказать... Прежде всего, это человек неистощимой энергии. Сколько раз он терпел поражение! Уму непостижимо, как он ухитряется в последнюю минуту улизнуть! Он делает ставки на кого угодно, совести у него ни на грош...

— Ничего себе портретик вы нарисовали!

— Но если быть искренними, мама, что такое совесть? Это архаическое, устарелое понятие. Вы можете объяснить мне, что такое совесть? Особенно в политической борьбе?

— Но он хотя бы умен?

— Скорее хитер. Хитрая бестия! И еще у него достоинство: жаден до денег. Я не знаю ни одного правительства, которое бы не одалживало денег Петлюре. Но он не пустобрех. Берет деньги, но и старается. Дьявольское честолюбие! И, представьте, ему верят!

И Гарри стал рассказывать. У него были в запасе многочисленные не очень интересные истории и многочисленные не смешные анекдоты:

— Не так давно румынское правительство заключило соглашение с петлюровской военной миссией относительно переброски в Бессарабию воинских частей. Они предназначаются для нового вторжения на Украину. И что же вы думаете? Главе

петлюровской миссии устроен торжественный прием. Буквально как Наполеону! Ему вручено послание. Нечто вроде адреса юбиляру. В этом послании румынское правительство — ни больше ни меньше — выражает «горячую уверенность», «пылкую надежду» и тому подобное, и тому подобное, что в скором времени Петлюра будет единственным хозяином Украины. Не исключена возможность, что так оно и произойдет. Вот будет номер! Я думаю, даже Вудро расхохочется: кто же из серьезных людей делает ставку на какого-то Петлюру!

— Я слышала, уж очень его не любят на Украине.

— Что ж такого? А разве любили царя Романова? Вообще это только историки выдумывают, будто когда-нибудь властителя любил народ. Любит ли собака палку? Вздор! И совсем не надо этого. Надо властвовать и кричать на весь мир, что в вас народ души не чает, вот и все.

— Где же эти воинские соединения?

— Прибыли! Под видом рабочих дружин. План разработан со всей тщательностью. Не хочу заранее обнадеживать, но есть шансы, что скоро мы примем, миледи, строить новый дом на месте сгоревшего в Прохладном! О'кей!

— Дай бог, дай бог! — прошептала княгиня.

6

Когда Гарри опять умчался по своим делам в Кишинев, княгиня позвала Люси в свою спальню, закрыла дверь, опасаясь, не подслушала бы прислуга, и повела разговор, крайне удививший Люси.

— Девочка моя, годы твои уходят, стоит ли тебе жить такой монахиней? Не отшельница же ты какая? Ведь не наложила ты, надеюсь, на себя эпитимью, слава тебе господи?

— Как мама? Почему монахиней?

— Я ничего не говорю, в Варшаве ты немножко веселилась... Но я давно тебе хотела сказать, да все как-то разговор у нас не клеился. Видишь ли, ты не кто-нибудь, ты Долгорукова. Ты сама-то понимаешь это? Дол-го-рукова! Я старею, скоро помру, и никого у нас на свете нет, кто бы защитил тебя, приголубил... даже кто бы растранижил наше богатство...

— А Гарри?

— Гарри — деляга. Я присматриваюсь к нему, не просто ли он самый обыкновенный полицейский агент или, не знаю, как у них там называется в Америке...

— Мама! Почему агент? У него очень большое положение. И связи огромные. Ты заметила, как перед ним заискивают?

— Не спорю. И денег у него полно. Только уж ты позволь мне все начистоту выкладывать. Знаешь, у нас, стариков, дурная манера: все у нас хорошо, чай пьем, веселые, шутим... а потом — бац! — и будьте любезны, укладывайте в гроб, хороните с почестями. И хочу я тебе успеть до своей кончины сказать: не соблюдай монашеского чина, не сиди ты возле меня, ради бога! Молодость ко-о-ротенькая! Как заячий хвост, молодость! Что тебе доллары этого Гарри? У тебя у самой миллионы! В английском банке наши денежки! Много, живи — не проживешь!

— Мама, ты что-то знаешь! Гарри изменяет мне?

— Когда ему! Рыщет, как гончая! Ты сама изменяй! Да я в твои годы... Ах, девочка, девочка, знаешь, как я жизнь прожигала? Лети, голубка, из голубятни! Гарри — само по себе, тебе замужество необходимо, мужчины только замужних и любят. Поезжай в Париж... Поезжай на морские купания... или в Швейцарию... Знаешь, как в Швейцарии хорошо? Заводи любовников, ищи приключений. Мимолетные дорожные связи... Как это прекрасно! Ты богата, молода, красива... Ну что тебе сидеть в этой, прости господи, хижине дяди Тома, в этой захудалой Бессарабии, куда Пушкина в старину и то в ссылку отправили, где только свиней разводить! Доченька моя! Последняя ты у нас в роду! Отпразднуй свои женские годы — и пусть все состояние рассыплется прахом! Пусть! Туда ему и дорога!

Люси смотрела на мать с ужасом, с отчаянием. Ей казалось, что мать лишилась рассудка, что у нее буйное помешательство... Что она говорит?! Что она советует?!

А княгиня все нашептывала, нашептывала... рассказывала о себе такие вещи, о которых дочери и знать бы не следовало... давала такие советы, каких не подсказал бы и сам змей-искуситель, сам сатана!

Нет, княгиня Долгорукова не бредила. Она была страшна, но совсем не походила на умалишенную:

— Пойми, деточка, — несметные богатства! И хоть бы Юрий был жив, тот был бы достойным наследником, и дети бы у вас пошли — дворяне. А то ведь все так без толку пропадет... Никто из нас в живых не останется, и будет в английском банке капитал сам по себе наращивать на себя проценты, разбухать... а потом достанется черт знает кому!.. Нет, нельзя тебе одной ехать, очень ты у меня провинциальная, барышня-крестьянка. Видно, самой мне тебя вывозить в свет. Время-то какое: вся знать, вся верхушка России за границу выплеснута! Да я тебя не за сыщика, я тебя за принца Ольденбургского сосватаю!

— Как же, мама, можно!

— Можно! С деньгами все можно! Поедем, голубка, поедем налегке, довольно мне, как старосветской помещице, в тарантасах передвигаться! Сядем в экспресс — только нас и видели! Я в молодости бывала кое-где... А это разве жизнь, ну ты сама подумай! Мы живем, как какие-то свинопасы. Что возле нас? Одни деревья?

Понемногу княгиня увлекла своими фантазиями Люси. И как совсем еще недавно они мечтали о поездке в Америку, так теперь строили иные планы и все твердили: «Париж! Париж!»

7

Гарри сначала был обескуражен, когда ему объявили, что обе они уезжают. Он-то никак не мог сейчас бросить дела.

— Ничего, вы приедете! А то Люси у нас совсем захандрила. Ей необходимо рассеяться.

Они собрались в дорогу так поспешно, как будто на пожар.

Гарри примирился с этой затеей. Да и что он мог возразить? Его почти и не спрашивали. Просто ему было объявлено, что они уезжают.

Он сам провожал их. Люси была растрогана его заботливостью, его услужливостью, его грустью. Она смотрела на него, и у нее навертывались слезы на глаза. Она думала:

«Милый! Какой ты хороший! И все-таки я тебе буду часто-часто изменять... Мама права, ведь осталось так мало времени, пока я привлекательна, пока я могу любить, обманывать, грешить...»

Люси поцеловала мужа и шепнула ему:

— Я буду часто-часто писать...

Будет ли она писать? Конечно, будет. Она совершенно искренне давала ему это обещание.

У него мелькнула мысль:

«Надо приставить к ней кого-нибудь из опытных... Например, этого, с большими ушами. Мориса!»

Он сказал ей:

— Ты у меня прелесть. Я рад, что ты рассеешься.

Когда они сидели в вагоне экспресса и экспресс вот-вот должен был умчаться в Париж, Люси не могла отделаться от странного впечатления, что Гарри стал маленький-маленький, даже какой-то незначительный... И как это она раньше не замечала, что он мизерный, невзрачный человек, при всей его представительности? Бывают же представительны управляющие, жандармы, швейцары...

Вскоре Гарри стал получать открытки, фотографии, одна нелепее другой. Люси у

водопада. Люси верхом на лошади. Люси и мама. Люси без мамы. Мама без Люси. Люси на парусной яхте...

А потом она вообще перестала писать.

Девятнадцатая глава

1

Осенью котовцы били «Третью армию Врангеля» — полки, сформированные в концентрационных лагерях Польши и Румынии. Одиннадцать дней колесили по лесам и оврагам, по невылазной грязи проселочных дорог, одиннадцать дней гонялись за ухотившими в леса бандитами, пускались на хитрости, выманивали врага из логовищ, чтобы заставить его принять открытый бой.

Новый комиссар, назначенный в бригаду, Петр Александрович Борисов оказался боевым. В четырнадцатом году воевал, в семнадцатом избран членом армейского комитета. В девятнадцатом — член президиума Вологодского городского Совета рабочих и крестьянских депутатов. А потом по призыву партии отправился на фронт. В бригаде Котовского он сменил Жестоканова. А Жестоканов был переведен в Тирасполь, председателем вербовочной комиссии.

Десятого ноября овладели Белянами, захватили орудия, пленных.

— Дед! — окликнул Котовский Просвирина. — Посмотри пушечки, которые мы захватили. Может, тебе что подойдет?

Котовский всегда звал Просвирина Дедом. Любил командира батареи. И вся бригада гордилась батареей: не батарея, а куколка!

Просвирин захваченные орудия осмотрел и ни одною не взял: дрянь! И лошади тоже плохие, упряжь старая, изношенная. Очевидно, петлюровской челяди отдают самые бросовые ошметки!

Одиннадцатого натолкнулись на «фроловцев». Захватили пять пулеметов и черный флажок с вышитой на нем серебряной буквой «ф».

Затем бригада двинулась на Проскуров. Застрелили колеса орудий в выбоинах. Кони были забрызганы грязью по самые уши. Обоз еле тащился. И все-таки движение было, как всегда, стремительным.

Ноябрь хмурился. Низко ползли свинцовые тучи. Холод был промозглый, ветер пронизывал до костей. Не радовали глаз голые поля, черные, набухшие от непрерывных ливней комья земли, черного пара. И вдруг тихо, бесшумно закружились в воздухе легкие снежинки. Замельтешили, закружились, все больше, все гуще. И сразу все побелело. Стало светлей, нарядней. Вкусно запахло снегом. Бодрость появилась в теле. Вон и крыши поселка в стороне от дороги стали белые, веселые. Кони фыркали, дружно ударяли копытами по стрельчатому ледку луж в выбоинах дороги.

— Ого-го! Зима! — кричал засыпанный снегом папаша Просвирин.

— Пора кончать эту музыку, — говорил Котовский, стряхивая с воротника снег. — Не будем задерживаться в Казимировке. Даешь Проскуров!

Орлик кивнул головой, как бы соглашаясь.

2

Ранен папаша Просвирин. Он командовал батареей. Нужно было поддержать наступление бригады, и Просвирин добросовестно долбил по городу, по тылам, глушил орудия противника, прижимал передовые линии к земле. Даст прицел одному орудью, а потом приказ:

— Батарея, беглый огонь в пять снарядов!

И пошло! Не сосчитать выстрелов!

Под градом пуль, в грохоте снарядов, он, с обнаженной головой, взмахами фуражки управлял огнем батареи:

— Огонь! Огонь!

Вдруг раздался взрыв, и Просвирин упал. Разорвалось орудие. Просвирину раздробило ребро и ранило ногу выше колена.

Кто в бригаде не знал папашу Просвирина! Когда раненого унесли, каждый взмах шашки был мстью за него. Однако жила уверенность, что он поправится, и все незаметно поглядывали в сторону батареи, не появится ли папаша Просвирин? А уж как ждал его Савелий Кожевников — земляк и приятель!

В одиннадцать часов в городской больнице сказали, что все в порядке. А вечером разнеслась весть: умер. Не верилось, что нет его в живых, не укладывалось в сознании!

Вместе с Просвириным погиб и комиссар батареи Донской. Осиротела батарея. Бывало, подойдут бойцы, заведут с командиром разговор:

— Что, папаша, у тебя пушки махоньки какие? Ты бы завел гарматы погромче, покрупнее!

— Маланья мала, да Федоту мила, — отвечал Просвирин...

Котовский очень грустил по Деду. Между тем нужно было идти вперед, не оглядываться, не задумываться, беспощадно бить врага.

После разгрома свежих, еще не обстрелянных частей противника Четвертой Киевской и Шестой дивизий, — после того как кавалерия противника выкинула белый флаг в районе Костюжан, изъявляя намерение сдаться, наконец, после истребления отряда Фролова и особой надежды Петлюры «особой» кавалерийской дивизии — в «Третьей армии Врангеля» был явный моральный упадок. Держались еще кавалерийская дивизия есаула Яковлева и группа генерала Загорецкого. Даже готовили наступление.

И вот когда противником был потерян Проскуров, туда, в пограничный город Волочиск, ринулись все его бронепоезда, дивизии, обозы, а впереди всех командование. Сам Петлюра, обогнав всех, примчался в Волочиск первым и отсюда, чувствуя себя в безопасности, отдал приказ своим войскам немедленно перейти в наступление.

Тем временем спешили перешить рельсы, так как за Волочиском другая ширина колеи железной дороги, а необходимо переправить за рубеж бронепоезда, эшелоны с различным имуществом.

— Не успеют они перешить! — воскликнул Котовский, узнав об этом занятии петлюровцев. — Надо было раньше кроить кафтан по фигуре!

С самого рассвета бригада идет форсированным маршем. Одна, самостоятельно, без поддержки справа и слева преследует противника по пятам, не дает ему опомниться.

Здесь сбились в кучу все вражеские войска, их тут, как сельдей в бочке!

Последние пять верст перед Волочиском бригада, построенная лавой, прошла галопом под ураганным оружейным, пулеметным и артиллерийским огнем. Конечным ударом бригада сбивает главные силы противника на лед реки Збруч, отрезая их от моста. Буквально из рук вырывает переправляемые на польский берег орудия, эшелоны, захватывает много пленных и огромные трофеи.

В Болочиске стоял на путях под парами «правительственный» поезд. В этом поезде намеревался отбыть туда, под защиту иностранных покровителей, проигравший все ставки Петлюра. Поезд ему пришлось бросить и добираться до Варшавы собственными средствами.

Он шагал по Варшаве, размышляя о своей незадачливой судьбе.

«Летел как ангел, упал как черт! — думал он горькую думу. — И надо же было им послать на это дело Котовского... С другими я, пожалуй, еще совладал бы...»

Каково было его удивление, когда вместо упреков и презрения он встретил привет и почести. Пилсудский торжественно принял его в Бельведерском дворце, обласкал и сказал на прощание:

— Война не кончена! Война продолжается! Не падайте духом, пан Петлюра!

За операцию под Волочиским Котовский награжден вторым орденом Красного Знамени, первый он получил за освобождение Одессы от денкинцев.

— Ну, кажется, потише стало, — вздохнул Савелий. — Уж очень неинтересно по такой грязи таскаться! У нас в Пензе так давнехонько, поди, зима встала. Зима у нас хорошая, ласковая, снегу много, и ребятишки с гор катаются.

Однако и на Украине зима установилась. Выпал снег, навалило сугробы. Замерзла вода в колодцах, приходилось ведерком пробивать лед. А какие на окнах появились узоры! И как разрумянились щеки девчат!

Настало рождество. В деревнях ходили с колядкой. Савелий отложил все поделки, аккуратно свернул куски кожи, заплатки, рубашки, обмотал нитку вокруг иголки и спрятал ее в спичечную коробку, а сам принарядился, помылся в бане, причесал бороду, сидел и тянул тоненьким голоском рождественский тропарь:

— Рождество твое, Христе боже наш, воссия мирови свет разума...

И вдруг неожиданно добавлял:

— Сколько этих самых банд на свете! И что меня удивляет: откуда у них берется оружие? Что у них за такой за интендантский склад, прости господи?

— А меня это ничуть не удивляет, — возразил неизменный собеседник Савелия Миша Марков. — Ведь только имена разные: сегодня атаман Лихо, завтра атаман Хмара, а все эти птенчики из одного гнезда вылетают.

— Слыхал? — спросил Белоусов, сидевший с ним рядом. — Завтра выступаем в боевом порядке. Пришло сообщение, что появился какой-то новый отряд. Говорят, и пулеметы у них, и конница... Я забыл только фамилию, очень трудная... Жгут деревни, убивают сельсоветчиков... Откровенно говоря, я рад, что пойдем в дело!

Из-за рубежа переброшена только что сформированная банда, возглавляемая Гуляй-Гуленко. Спору нет, атаман был красив: как будто спрыгнул со сцены украинской оперетки «Ой, не ходы, Грицю, тай на вэчорныцю»!

Ему было дано указание — пополнять свои ряды, вовлекая кулацкие отряды, которые встретятся на пути, и набирая добровольцев по деревням и селам.

— Вы и оглянуться не успеете, как у вас будет армия!

Но оказалось, что на Украине по указанию Фрунзе заранее приняты меры. Этого не учел Гуляй-Гуленко. Впрочем, первая ласточка: присоединился к Гуляй-Гуленко атаман Грызло.

— Фамилия у вас, извините, какая-то такая... — досадовал Гуляй-Гуленко.

— Сойдет! — беспечно махал рукой Грызло. — Это еще что! У нас на селе бывали такие фамилии, что плюнешь да перекрестишься.

Котовский, продвигаясь по полям и дорогам, обнаружил Гуляй-Гуленко южнее Умани. Оказывается, Грызло, Цветковский и Гуляй-Гуленко грабили сахарный завод.

— Теплая компания! — злился Криворучко. — До сахара уже добрались!

— Никуда не денутся!

Каково же было огорчение котовцев, когда после первых стычек с бандитами Котовский отдал приказ отступать. И как воодушевились бандиты, бросившись в погоню за отступающими конниками! За границу полетели донесения об успехах: «Тесним! Движемся вперед! Нашего натиска не выдерживают! Слава полководцу Гуляй-Гуленко!»

— Белополяков гнали, а тут испугались! — удивлялись кавалеристы.

— Зря наш командир не будет ничего делать. Что-то тут не так, толковал Савелий.

Он не ошибся. Это был только маневр. Котовский, отступая, заманивал противника в кольцо окружения. Тем временем разведка все о составе шайки, о вооружении, о слабых ее местах. Кольцо сжималось.

Первым это почувствовал Цветковский и незаметно улизнул. Пусть без него

расхлебывают кашу, которую заварили!

Котовцы только ждали сигнала. Затем со всех сторон бросились на опешивших бандитов. Били нещадно. Никто не ушел из этого жестокого боя. Некуда было уйти.

Гуляй-Гуленко забрался на чердак изрешеченной пулями хаты, отстреливался, а потом, не желая сдаться, приложил пистолет к уху и закончил этим свою бесславную деятельность, к немалому огорчению Гарри Петерсона.

«Такой живописный... и так понимал украинскую душу... — думал Петерсон, составляя сводку для своего начальства. — И какой финал! Как в шекспировской драме!»

4

Они подобрали его во время стремительных своих переходов. Он был голодный, заморенный, несчастный, этот вихрастый мальчуган.

— Есть хочешь? — заботливо спрашивали окружившие его котовцы.

— Хочу. Кто же не хочет есть!

— Правильно!

— Вымыть его сначала надо!

— А ну-ка, примерь эти сапоги... Сойдет! Портянок побольше наматывай, чтобы не хлябали.

— Нет уж, надо его по всей форме обрядить.

— Тебя звать-то как? Петька? Здорово! Будешь с нами вместе воевать?

— Возьмете, так буду. Я на трубе могу трубить.

Так появился у котовцев Петька-горнист, общий баловень. Оксана рубаху ему сшила и все снаряжение по росту приспособила. Очень красиво получилось. Савелий Кожевников объяснял ему воинский устав. Марков учил верховой езде. Котовский показал ему, как играть сигналы, но особых музыкальных способностей у Петьки не оказалось.

Лучше всего у него получался сигнал «В атаку». Впрочем, этого было вполне достаточно. Петька трубил — бойцы шли. И когда уставала рубить рука и не оказывалось ни одного уцелевшего в рядах противника — это и означало конец атаки, это было ясно и без трубача.

Мчались котовцы вперед. Петька-горнист, трубач Котовского, отчаянный милый мальчик, не отставал от командира. Где Орлик, там и серый Бельчик трубача.

Сколько четырнадцатилетних мальчиков мечтало скакать на сером жеребце впереди отряда, с красивой серебряной трубой! Счастливый Петька достиг этого. Труба сверкала, светлые волосы выбивались из-под фуражки, ветер свистел... Вдали пестрели вражеские роты, рассыпавшиеся цепью по бугру...

Жизнь была волшебна, деревья в снежном уборе нарядны, облака быстролетны. И самое прекрасное было — стремительный бой. Где-то рядом ухали пушки. Через поле мчались конники. И когда врубались они в гущу пехоты и начинали свой страшный танец сверкающие клинки, каждый знал, что рядом Петька, беловолосый мальчик, и всегда вовремя отводили от трубача удар. Была непреклонная уверенность, что его не тронет пуля. Убивают в бою друг друга взрослые люди. А он даже как бы и не конник, он только присутствует при решающих битвах, он — представитель молодых поколений завтрашнего дня.

Так светится и улыбается утренняя заря! Нет ей дела до тающих сумерек, она смотрит вперед, тянется к полдню и уже придумывает, какие будут на этот раз веселые поляны, какие будут кружиться птицы, какие замечательные родятся облака в этот наступающий день...

Его поймали бандиты Заболотного, когда он неосторожно отбил от бригады. Они гонялись за ним, как псы за сусликом, их было много, а он один. Наконец им удалось окружить его. Что-то не были они так храбры, встречаясь с бойцами Котовского! Но ведь это был всего лишь беловолосый мальчик...

Петька увидел совсем близко смеющиеся разбойничьи рожи. Он понял, что убивать будет этот, рыжебородый, он как-то особенно ощерился. Дитина, топором тесанный.

Опасаясь, как бы не опередили другие, он тихо, просяще произнес:

— Не трожь. Я сам.

Затем взмахнул тяжелой казацкой пашкой...

Петька увидел кусты, серебряный снег, бирюзовое небо... Подумал: «Надо пришпорить коня и держать прямо на дерево, освещенное солнцем... И тогда он прискачет к своим и будет рассказывать, как чуть было не влопался... Вот будут смеяться! Все будут смеяться, даже хмурый ординарец командира Черныш. Савелий и тот станет посмеиваться в бороду... а уж Марков как залъется! Черныш заставит повторить рассказ несколько раз подряд и только тогда ухнет, как филин, и это будет означать смех...»

Все это успел подумать трубач Петька. Но его уже не было...

Котовцы нашли изуродованный труп. Петькины глаза были выпучены. Белые волосы слиплись. Лицо потемнело. Голова была почти отрублена и как-то особенно горестно склонялась набок.

Котовский долго вглядывался в это лицо.

— Бедный м-мальчик!.. — прошептал он.

Сердце горело, рука сжимала эфес. Таких вещей не прощают.

Банду Заболотного удалось настигнуть на привале в деревне. Невозможно было остановить общего гнева! И после того как промчались по деревенским улицам конники, разя направо и налево, от Заболотного ничего не осталось. О банде Заболотного теперь можно узнать только понаслышке. Пленных не было. Спасшихся тоже.

Самого Заболотного нашли спрятавшимся в колодце. Он висел на веревке, усевшись верхом на колодезную бадью. Вытащили за рыжую бороду и прикончили тут же, у колодца.

И только когда все было сделано, перевели дух.

— Ну, теперь все, кажется, — произнес Криворучко. — С этим делом покончено.

— Воздух чище, — согласился Иван Белоусов.

Прошло много времени. Все избегали говорить о Петьке. Так няня чувствует себя виноватой, если недосмотрит и дитя упадет, ушибется, набьет шишку на лбу. Большое горе молчаливо, настоящее чувство скрытно и застенчиво.

Однажды бригада стояла в поселке. Как всегда, деревенские мальчишки окружили Котовского. Особенно один, беловолосый, шустрый, так и не сводил очарованных глаз с большого дяди в красных галифе. Он восхищенно разглядывал и его сильные руки, и золотой эфес, и черные смелые глаза.

И вдруг командир произнес что-то непонятное, не относящееся к делу:

— Глупый мальчишка! И куда его понесло? И чего мы смотрели?..

Голос командира был теплый. Потом он поднялся, как бы стряхивая грустные мысли.

Деревенские мальчишки смотрели на высокого дядю с восхищением. А вскоре появился в бригаде трубач Шурка — способный и бойкий. И снова зазвучал боевой призыв-сигнал «В атаку».

5

В Волочиске, в тот же час, как он был захвачен, Марков и Белоусов лазили по поездам и нашли спрятавшегося в тамбуре министра, упустившего момент, чтобы бежать через границу, а затем раскопали богатейший архив: документы, разоблачающие подрывную работу неких соседних и несоседних государств.

Один документ касался Котовского. Его читали и перечитывали все в бригаде. Котовский пояснял, что письмо, найденное в архиве, писал командующий «Третьей армией» Перемыкин, а посылал он письмо Борису Савинкову — эсеру и террористу, причинившему много зла Советской стране.

Перемыкин писал:

«Итак, мое мнение — дело наше проиграно безнадежно. Проклятая петлюровская рвань драпает почем зря, не принимая ни одного боя. Котовский донимает нас по-прежнему; этот

каторжник буквально вездесущ. Правда, командир Киевской дивизии генерал Тютюнник недавно хвастал, будто пощипал Котовского под Дубровкой, но я думаю, что этот желто-блакитный выскочка и бандит по обыкновению врет и дело обстояло как раз наоборот. В общем, плохо, господин Савинков, очень плохо».

— Два дня хохотала бригада, читая вслух и снова перечитывая «послание».

— А кто он, Перемыкин? Генерал? Ну и потеха, братцы!

— Скажи, пожалуйста, белогвардеец, а понимает!

— Понимает, потому что мы ему «объяснили». Поймешь!

— Врет Тютюнник! Били мы его кажинный раз в обязательном порядке, причем — извиняюсь конечно — били и в хвост и в гриву.

— Главным образом в хвост!

— А что это под Дубровкой? Кто помнит?

— И помнить нечего, побросал пулеметы и смотался, вот и вся твоя Дубровка.

Захваченный в вагонах архив был передан в политотдел.

— Пригодится для истории, — говорил Котовский. — Пусть знают будущие поколения, с какой дрянью приходилось нам возиться, от кого охранять родину.

Рождественские морозы. Серебряный месяц как елочное украшение. Небо густо-синее, от этого еще белее кажется снег. Ходит дед Мороз по березнячку, по задворкам, палочкой постукивает. Ну и мороз загнул! Дух захватывает! Снег под ногами хрустит, каждый шаг звонко отдается в обледенелом воздухе.

Крепкие морозы стоят на Украине. А там еще жди крещенских! Дым из печных труб уходит вверх узеньким столбиком. Звезды вмерзли в небо. Тишина. А потом как налетит ветер, как начнет по селам гулять метелица, света божьего не видно, от соседа до соседа не доберешься, такие наметет сугробы, с острыми гребнями, с зализами. Налетит и утихнет — разбирайся как хочешь!

Тридцать первого декабря, под самый Новый год, Котовский вступил в командование Семнадцатой кавалерийской дивизией. И в тот же день получил приказание преследовать банду Махно.

Нестор Махно не украсил памяти о себе славными делами. Черное имя его проклинают на Украине. Ни один атаман из всей батьковщины времен гражданской войны не совершил столько казней, погромов, как Нестор Махно. Свиреп был Махно, не было предела его вероломству. Никаких убеждений у него не было. Самый что ни на есть отъявленный бандит. «Идеи» ему придумывала окружавшая его свита: махровые анархисты, эсеры, с бычьей злобой кулачье и просто сорвиголовы. Так и прослыл Махно сторонником анархизма.

Котовский, приступая к действиям по ликвидации этой банды, вспомнил почему-то, как он в кокорозенской школе вступил в единоборство с быком. Бык был дьявольски силен, наполнен яростью и злобой, но все-таки это был всего лишь бык, и Котовский победил его.

Вызвал Котовского для личной беседы Фрунзе, командующий вооруженными силами Украины и Крыма. Котовский встречался с Фрунзе неоднократно, и между ними завязалась большая дружба. Котовскому нравился Фрунзе. Отзывчивый, сердечный, он отличался широким кругозором, глубоким пониманием военных и политических задач. Фрунзе много сделал для укрепления Красной Армии и страстно отстаивал здоровые, верные установки в этом отношении. Даже внешний облик командующего сразу располагал к нему. Приятно было смотреть на его крепкую, коренастую фигуру. Обычно он был в гимнастерке, нашивки носил синие, кавалерийские. Кривая сабля у него была окована серебром.

— Война, — при встрече сказал Фрунзе, — приняла более острую, более опасную форму — форму политического бандитизма...

Вся зима и весна прошли в изнурительной погоне за бандитами, а в середине лета Махно был тяжело ранен. Тогда он распустил своих головорезов, предоставив каждому заботиться о дальнейшей своей судьбе. Сам пробрался за границу. Встречали его в Бухаресте, позднее он появился в Париже. Даже дал интервью газетчикам. Они спрашивали:

— Намерены ли вы, месье, возобновить войну с Советами?

— Я думаю, что нет, — отвечал Махно. — С меня, кажется, довольно. Пусть другие дураки занимаются этим делом.

Растаяла, как тяжелый сон, махновщина, и только плачут вдовы по своим растерзанным бандитами мужьям да чернеют остовы домов сельсоветов, сожженных этими мнимыми защитниками справедливости.

Исчез Махно. Но возникают в вечерних сумерках другие разбойничьи рожи. Вот напали на ссыпной пункт в селе Кошеватое. Вот появился Лихо в Китайгородских лесах, предприимчивый Цветковский насобирал где-то сто восемь отпетых убийц. Вот бродят бандиты Иво, одетые в красноармейскую форму...

Встречались совсем мелкие банды. Машевский в селе Шабельна располагал всего пятнадцатью разбойниками. Вскоре он примкнул к атаману Лихо. Они: прятались при малейшей опасности в лесу «Кальницкая дача». По агентурным сведениям, через румынскую границу заслано до десяти тысяч петлюровцев. Их назначение — выжидать, не начнется ли война с Советской Россией, и тогда тревожить тылы.

Приходилось охранять сахарные заводы, ссыпные пункты, держать отряды в селах, оберегать железнодорожные узлы...

Поступал тревожный сигнал — немедленно организовывалась погоня. Выезжал на место происшествия взвод, эскадрон. Никого не обнаруживали и возвращались обратно. Не успевали вернуться, как приходило сообщение, что неизвестными обстрелян транспорт сахара на шоссе, что подожгли склад, что убили председателя сельсовета... Бандиты совершали нападение и тотчас прятались. Они были наглы и трусливы. Они изматывали силы красноармейцев, вредили из-за угла, не давали спокойно работать населению.

— Коней только замучили! — досадовал Савелий Кожевников. — И куда они лезут с такой мелочью? Собери миллион солдат, тогда и пробуй.

— Чудак ты, Савелий, — удивлялся Марков. — Да они же нарочно так действуют, чтобы досаждают, беспокоить... Это и называется — малая форма войны.

— И не стыдно им такой пакостью заниматься? Разве это война!

И Савелий неодобрительно pokrutil головой.

6

Однажды вернулся из разведки Белоусов и сообщил, что влево от дороги, в деревне Казимировке, стоит какая-то удивительная белогвардейская часть: на всех плащи, а на фуражках белые кресты нашиты.

— Может, монахи какие?

— Не похоже, чтобы монахи. И пулеметов много.

Свернули на Казимировку. Здесь дорога была еще хуже. Ухаб на ухабе. Вскоре показалась деревня. Котовцев встретили ружейным и пулеметным огнем.

Один эскадрон спешился и пошел в атаку. Дело привычное, воевали не первый год. Да и белокрестиков, видать, немного. Однако огонь был жесток. Атакующие откатились. Пошли второй раз, третий. И снова неудачно.

— А ведь и вправду удивительные! Виданное ли дело, чтобы мы по три раза в атаку ходили? Да у них и артиллерии нет, да мы не таких в бегство обращали!

Выкатили орудия, грохнули. Молчат! Стали с флангов щупать пулеметами. Начали наконец злиться: тоже неприступная крепость нашлась, соломенная Казимировка! Решили бросить роту в обход, выгнать их из деревни, на чистом месте покончить канитель привычной конной атакой. Но и тут белокрестики подпустили не сразу.

Ну, тогда бросились конники на «ура», до того-то действовали с прохладцей. И, конечно, вскоре по всему выгону возле Казимировки только фуражки с белыми крестами валялись. Очень рассердились конники.

А белокрестики, как увидели, что конец, сами стали расстреливать себя из винтовок. А не то приставят запаленную гранату к голове — трах, и готово. Осколками многих котовцев

переранили.

Часть белокрестиков взяли котовцы в плен и решили тут же расстрелять их за нанесение урона. Поставили к забору. Только что собрался кто-то произнести им краткое напутственное слово, как прискакал на взмыленном коне Котовский с обнаженным клинком:

— Отставить! Уж не у Махно ли н-научились обращению с пленными? Да такого достойного противника надо за урок благодарить! Кто так умеет драться? Т-только русские!

И Котовский протянул огромную ручищу бледному офицеру, стоявшему впереди.

Тот поднял взгляд. И вдруг на его лице появилось удивление:

— Котовский?! Вот это встреча!

— Я же говорил, что мы встретимся. Насколько я помню, в последний раз мы расстались в Одессе, на Итальянской улице. Вы спасли меня в тот раз от патруля и сказали, что завидуете моей вере в народ, в свободу, в справедливость...

— Да, да, я помню все это...

Бойцы ничего не понимали. Чуть не пустили в расход хорошего человека!.. Белокрестики — и уважать! Пленные — и командир пожимает руку!

Но дальше произошли еще более удивительные события.

— Кто старший по чину? — спросил пленных Котовский.

— Я, — выступил вперед Орешников.

— Вот и хорошо. Предлагаю, капитан Орешников, под личную ответственность и ваше честное слово доставить пленных в штаб и явиться с донесением о выполнении задания.

Вскоре Орешников был зачислен в одну пехотную дивизию. Вначале ему казалось, что все относятся к нему с подозрением. Он пристально приглядывался к каждому, и в любом слове ему чудился какой-то намек, что-то касающееся его, обидное и оскорбительное.

Между тем никто и не думал на что-нибудь намекать или чему-нибудь удивляться. Пожалуй, у некоторых бойцов даже было особое почтение к бывшему белому офицеру.

— Рассказывают, в Одессе Котовскому помогал! Значит, не очень-то белый.

— Надо же! Из офицеров, а какой обходительный!

— А что же, по-твоему? Не все же они четвероногие!

Орешников сначала работал в штабе. Делал он все скромно, без лишних разговоров. Даже старый писарь Онищенко проникся к нему расположением, на что уж отличался неуживчивым характером.

Вскоре Орешников отпросился в строй. Ему дали сначала взвод, а потом он стал командовать ротой. И хороший командир из него получился!

— Радуюсь, что мы наконец в одном лагере, Николай Лаврентьевич! сказал однажды Котовский, случайно встретив его. — Вы знаете, у меня всегда было убеждение, что мы шли врозь только по недоразумению. Как вы себя чувствуете? Обжились маленько?

— Откровенно говоря, все еще никак не могу акклиматизироваться, признался Орешников. — Наш брат интеллигенция очень мнительны...

— И щепетильны.

— Да, да, и это есть. И с болезненным самолюбием.

— И с вечным самоанализом. Знаю!

— То мне думается, не слишком ли я подыгрываюсь. То грызут сомнения, что не лучше ли было так и умереть белым, даже в том случае, если это была непростительная ошибка...

— Ничего, это пройдет. Главное, вы запомните, что вы совсем не являетесь редким исключением. Очень много офицеров царской армии с первых же дней революции сражаются в наших рядах. И еще как сражаются! Немало царских генералов, и, заметьте, талантливых, в Реввоенсовете, в академиях. Они обучают новые кадры, разрабатывают стратегические планы... Ведь не одни же на свете Деникины да колчаки? Есть и генерал Александров, и генерал Николаев, гнавшие Юденича. А Шапошников? А Егоров?

Несмотря на то что жила дивизия самым обыкновенным образом, строго, деловито, по-военному, Николаю Орешникову все казалось необычным, все вызывало острый интерес.

«Вот они какие, красные, — думал он постоянно. — Вот они какие, большевики!»

Совершенно особое впечатление произвел на Орешникова «Интернационал». Он присутствовал на митинге-концерте. Лектор ему не понравился, концерт был посредственный. Но вот по предложению председательствующего был исполнен гимн... Орешникова поразил даже не самый мотив, не слова, а выражение лиц исполнявших гимн. Пели все присутствующие, весь зал, причем все встали, и была в этом пении суровая торжественность и, как казалось Орешникову, что-то религиозное, восторженное.

Общее настроение увлекло его, и он сам незаметно стал подтягивать:

Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой!..

Он весь день находился под впечатлением этого пения.

Когда дивизия участвовала в ликвидации бандитских шаяк и Орешникову пришлось на деле столкнуться с возмутительными фактами, самому увидеть жестокость, дикость бандитов, самому снимать с виселиц пойманных бандитами комсомольцев, председателей сельсоветов, сельских активистов, когда самому Орешникову пришлось и вылавливать этих разбойников и даже выдержать несколько настоящих сражений с ними, — Орешников утратил чувство настороженности.

И когда в числе других он был награжден орденом, он уже с полным достоинством и удовлетворением принял эту награду.

Его от души поздравляли.

— Служу трудовому народу! — отчетливо и громко произнес он.

7

Начинали сеять хлеб на полях. Котовский настоятельно требовал, чтобы Красная Армия помогала трудовому крестьянству.

— Мы должны и подводу дать бедняку, у которого бандиты лошадь угнали, и сами встать рядом с ним, поработать. Нужно, чтобы народ полюбил красноармейца, чтобы понял, что красноармеец — его друг и защитник.

Однако в посевной кампании котовцы не успели принять участия. Перед ними была поставлена новая трудная задача: ехать в Тамбовщину для борьбы с кулацкими бандами Антонова. Бригаду Котовского посылали на этот участок по рекомендации Фрунзе.

— Если ему поручить — значит, дело будет сделано. У него на врагов революции тяжелая рука! — говорил Фрунзе, выдвигая эту кандидатуру.

И вот уже отпечатаны на машинке строки приказа: «24 апреля начать отправку в Тамбовщину бывшей Отдельной кавбригады, выделив ее из состава Семнадцатой дивизии».

Поданы вагоны. Отдельная бригада размещает коней. Некоторые кони спокойно занимают свои места в новом стойле на колесах. Другие встают на дыбы, отбиваются, шарахаются от железнодорожного состава... Хохот... окрики... ржание... топот копыт...

Котовский сам наблюдает за погрузкой. Новый командир Семнадцатой дивизии, прощаясь, благодарит Котовского:

— Под вашим руководством, как начальника дивизии, все части получили единую спайку...

— Не сюда, не сюда! — кричит Котовский, поглядывая на платформу. — В следующий вагон заводите!

Свисток паровоза. Тронулся последний эшелон. Замелькали поля.

Эх, миленький, усатенький,
В рубашке полосатенькой,
Шапочка с наборчиком,
Гармошка с колокольчиком!

Заливается песня, переборы двухрядки такие, что хватает от разъезда до разъезда. Каждая теплушка поет. В каждой своя песня и свой припев:

...Шел отряд у берега,
Шел издалека,
Шел под Красным знаменем
Командир полка...

...Смело мы в бой пойдем
За власть Советов!..

Зеленеют озими. Садят картошку на огородах. Летят, спешат облака, а всё отстают от поезда.

Штабной вагон такой же, как и все остальные, только стол посредине. Котовский и комиссар Борисов перечитывают приказ командования, обсуждают задачи, знакомятся с обстановкой и районом мятежников.

— Воспользовались, негодяи, что войска переброшены на фронт! говорил, хмурясь, Котовский. — Смотри, как разгулялись!

— Да, — разглядывал карту Тамбовской губернии комиссар, — Тамбовский, Кирсановский, Борисоглебский уезды захвачены антоновцами.

— Что это за газета?

— «Известия» Тамбовского губисполкома. Пишут, что бандиты расхищают имущество кооперативов и коммун... убивают семьи красноармейцев... Пленным красноармейцам сдирают кожу на руках — делают «перчатки», вырезают полосы на теле — «ремни»...

— Кто у них главные? Антонов и Токмаков? И знаменитый палач Плужников? Покопаться, так наверняка концы уходят за рубеж, там эта сатанинская кухня.

Летит эшелон мимо полей, мимо пашен. Смотрит, смотрит на мелькающие березы, избы, речки, лужайки сосредоточенный, растревоженный Савелий. Выспрашивает на больших станциях железнодорожников, ларечников, торговков всякой снедью:

— А что, родимые, Пенза тут далече будет?

— Какая тебе Пенза? Курск скоро будет. Курские соловьи.

Над штабным вагоном развевается флаг. Многие теплушки украшены свежими ветками березы. А в теплушках тренькает балалайка, звенят молодые голоса:

...Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон...

— Тетенька, почем огурчики?

...Утром на околице
Придержу коня.
Проводи, любимая,
На войну меня...

— Смотри, ребя, пашут. Хорошая, видать, земля.

— А ты разглядел? С птичьего полета?

— Сыздала видно: чернозем!

...Эх, яблочко,
Трошки зелено!

С беляками кончать
Нонче велено!..

...На полице сухари,
На окошке каша,
Околеют богачи —
Воля будет наша...

Плакаты на железнодорожных станциях. Красные полотнища на вагонах:

«Да здравствует Первое мая — смотр мировой революции!»

«Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!»

Котовский поздравляет бойцов с праздником. Походные кухни работают полным ходом. Выданы сверх пайка спички и папиросы. Достали двадцать пять ящиков яблок. Одним словом, настоящий праздник.

Миновали Курск. Миновали Елец. Грохочут колеса. Покачиваются рыжие теплушки.

Лекпом Андрей Алексеевич Хошаев, которого бойцы выдвали на поле боя в самое горячее время, свертывает сигарку желтыми от йода и табачного перегара пальцами и рассказывает командиру Лебеденко о вологодских лесах, о грибах, об охоте:

— Наш комиссар — вологжанин, он небось знает, какие там леса: нет им ни конца ни начала. Груздей — хочешь на телегу грузи, хочешь — в подол собирай. Груздями мы могли бы всю Россию напитать.

— Хорошая закуска! — соглашается Лебеденко, сроду не собиравший грибов.

— Идешь по такому лесу — смолой пахнет, в легкие попадает один чистый кислород, как из кислородной подушки дышишь!

— Ну, это уж, положим, ты хватил через край.

— Хочешь, побожусь? Ели стоят — в два обхвата. Березки серьги свесили, белотелые, стройные, хоть сейчас под венец — невесты!

— Да-а! — вздохнул Лебеденко. — Жизнь!

— Рябчиков этих, глухарей!.. — Лекпом замолкает, чтобы лизнуть свернутую сигарку. — Белки тоже...

Эту беседу слушает медсестра Шура Ляхович. Ей нравится, как рассказывает о лесах Андрей Алексеевич. Хотела бы она с кузовком побродить по лесным опушкам! Что делать — война. Не было еще ни одного сражения, когда Шура Ляхович отсиделась бы в санчасти. Поминутно рискуя жизнью, не обращая внимания на ураганный огонь, перевязывала она раненых, вытаскивала их с поля боя. Когда ее уговаривали уйти, Шура Ляхович отвечала: «Я лицо неприкосновенное, меня не заденет. А бросить вас я никак не могу».

В соседней теплушке организатор клубного дела, неутомимый театрал Канделенский собрал хоровую секцию и разучивает «Ой, у лузи та и ще при берези».

Данилов, любитель пения, подсел к Савелию. Пение настраивало его на возвышенный лад. Он мечтал о сельской тишине, о полях пшеницы, о покосах, о чудесах агрономии, о земном рае...

— Ты мне эту, старинную, как она воды напиться ему дала...

Савелий минуту думает и заводит вполголоса приятным тенорком. Данилов слушает, задумавшись, подперев рукой подбородок.

Помню, я еще молодухой была,
Наша армия в поход на запад шла,

Вечерело, я стояла у ворот,
А по улице все конница идет.
Вдруг подъехал ко мне барин молодой:
«Напой меня, красавица, водой».
Он напился, крепко руку мне пожал,
Наклонился и меня поцеловал...

— Здорово, старина! Обязательно запишу себе эту песню, — восторгается Данилов.
Из соседней теплушки доносится:

...Заплакала моя Марусенька
Свои ясны очи...

А в следующем вагоне отплясывают гопака. На танцоров любуется Кирилл Михайлович Морозов — один из любимцев бригады. Кирилл Михайлович доброволец, пятидесяти лет. Пришел в бригаду Котовского с двумя сыновьями и участвовал во всех походах и боях. Сейчас на лице Морозова счастливая улыбка. Он хлопает в ладоши в такт музыке и выкрикивает:

— Гоп! Гоп!

Затем оборачивается к стоящему рядом лихому рубака Бочарову, голубоглазому удалцу:

— Видал, каких кренделей выделывают? Я немножечко в этом вопросе разбираюсь, сам в молодости вприсядку откалывал. Ну, скажу, что первый класс, как они работают! Хоть сейчас в театр!

В этом же вагоне на нарах старый котовец рассказывал народные сказки. Его тесным кольцом окружили слушатели. Он нараспев говорил:

— И вот, эта, приходит, значит, эта, служилый в крайнюю избу и просится, значит: дозвольте, дескать, солдатику переночевать...

— А как же! — возбужденно подхватывают окружающие, которые на лету ловят каждое слово сказочника. — Обязаны пустить! Куда же ему деваться?

А поезд мчится мимо стогов сена, мимо березовых рощ, мимо полей. В каждом вагоне шумно и весело. Смех, песни, шутки!.. Как будто не в опасное дело отправляются котовцы. Как будто никогда им и близко не приходилось видеть разрывы снарядов, пулеметные очереди, свинцовые ливни, никогда не случилось под бешеным огнем мчаться в атаку развернутым строем.

8

Народ у Котовского отборный. Пополнение поступает из числа молдаван, бежавших из Бессарабии. В Тирасполе они проходят через фильтр Особого отдела и затем попадают в бригаду. Много у Котовского и украинцев и русских. Впрочем, здесь представлено девятнадцать национальностей! Есть даже грек.

Много подлинных, беззаветно храбрых героев у Котовского. Бригада состоит из непоколебимых бойцов, верящих в несокрушимость Советской власти, безгранично любящих своего командира.

Вот какая воинская часть двигалась в Тамбовщину.

А что могли противопоставить антоновские полки? Во что они верили? Что отстаивали? Как сражались? Тамбовский комитет партии эсеров объединился с кулацким «Союзом трудового крестьянства». На знамени у них было написано: «Борьба с продразверсткой», «За свободную торговлю». Но не в свободной торговле было дело. Просто-напросто они боролись за свержение Советской власти.

В Тамбове свили гнездо эсеры. Даже Советская власть здесь сформировалась с

запозданием, лишь в конце января восемнадцатого года и то только под нажимом рабочих и солдат-фронтовиков. Кулацкие восстания не прекращались чуть не во всех двенадцати уездах губернии. Стало не безопасно на железнодорожной линии, северные лесистые районы были целиком в руках повстанцев.

В эти дни эсер Антонов по заданию эсеровского центра, а также по указанию из-за рубежа пробрался на должность начальника милиции Кирсановского уезда. Он все использовал для подготовки мятежа. Попадали в милицию дезертиры, уголовники — Антонов их вербовал в сообщники. Нашлись у него дружки в аппарате Губвоенкомата — он стал получать оружие с военных складов. Дутов и Мамонтов, проходя в этих местах, тоже оставили немало винтовок, патронов. Все это припрятывалось в кулацких овинах, в погребах некоторых «батюшек», служителей церкви, отцов никодимов да отцов феофилов... Появились в уездах шайки Карася, Короля, Маруси, их тоже объединил Антонов. Жестокими расправами терроризировал местное население и насильственно заставлял крестьян вступать в ряды повстанческой армии. Создались отряды «подушечников» — конные на подушках вместо седел — и «тележников» — пехота на подводах. Образовались хорошо вооруженные и экипированные конные полки, например, Каменский, Верхоценский. И уже при штабе Антонова появились иностранные представители «союзников» (тут как тут!).

К осени двадцатого года у Антонова числилось до пятидесяти тысяч человек, и планы его простирались очень далеко: вслед за Тамбовщиной захватить Москву... ну и так далее и так далее — голова у Антонова шла кругом от мечтаний.

Вначале антоновцы имели перевес. Они грабили эшелоны с хлебом, разгоняли Советы, убивали комбедчиков, коммунистов, перерезали Юго-восточную железную дорогу, препятствуя поставке хлеба в центр... Красной Армии было не до них: шли бои с армиями Колчака, Деникина, с белополяками и Врангелем. Против антоновцев выступали только небольшие отряды местных коммунистов, ЧОН да курсанты.

Однако долго такое положение не могло оставаться. Управились с белополяками — занялись Тамбовщиной. Ликвидацию антоновщины поручили Тухачевскому. Прибыла бригада Димитренко, бронепоезда, автобронепоезда. Едет бригада Котовского. Круто взялись за дело.

Вот в какой обстановке предстояло котовцам начать очистку Тамбовских лесов от бандитской своры.

9

Второго мая 1921 года бригада Котовского прибыла в город Моршанск. Штаб с тыловыми учреждениями разместился в Новом Тамбове. С собой для непосредственной работы Котовский взял только небольшую оперативную группу.

Кавалеристы быстро выводили из вагонов коней, быстро строились. Утро вставало цветистое, росное. Чуть брезжило, когда бригада тронулась в путь, в село Медное, где она должна была расположиться. Все с любопытством озирали окрестности. Красивые это были места. Утренняя прохлада бодрила и радовала. После вагонов, грохота колес, железнодорожной сутолоки тишина полей и лесов в этот утренний час казалась особенно величественной. Вершины золотистых сосен переглядывались с утренним солнцем, только-только поднимающимся из-за горизонта. Березы стряхивали со своих ветвей росу. Осины мелко трепетали. Птицы, стрекозы — весь лесной мир пением, щебетанием, жужжанием, трепетом крыльев встречал наступающий день. Пестрели ромашки у дороги. Пахло мятой, лесной свежестью, медовой кашкой, полевыми цветами.

Кавалерия двигалась по проселочной дороге. Миновали спящие, безмолвные села. Одиноко, хрипло перекликались петухи. Около болота, поросшего кочками, одуряюще пахнущего тиной, загремели выстрелы.

— Встречают! — усмехнулся Котовский.

Бригада даже не изменила строя. Был выслан взвод. Осмотрели кустарники, захватили

человек двадцать — двадцать пять бандитов с обрезами. Угрюмо смотрели они на красивое, стройное движение коней, на спокойную силу, на загорелые, мужественные лица кавалеристов.

Бригада двигалась дальше. Солнце поднялось над лесом и крепко припекало. На Тамбовщине устанавливалось жаркое, сухое лето.

Сделали привал. Выкупали коней в прозрачной, с песчаным дном и отмелями безымянной речушке. К вечеру показались вдали скирды соломы, заборы из наискось положенных жердей.

Медное! Но что за странная тишина? Почему такое безмолвие? На широкой улице ни души. Никого у колодца. Никто не хлопочет около хлевов, никто не сидит на завалинках. Все село как вымерло. Ни мычания коров, ни домашней птицы, даже собаки не лают.

— В чем дело? Куда девался народ? — удивился Котовский. — Ну-ка, Белоусов, ну-ка, Марков, выясните, что там произошло.

Марков и Белоусов быстро вернулись.

— Два дня назад, — докладывал Марков, — все село выпорото. Не хотели вступать в армию Антонова. Вот и угостили их, а чтобы впредь было неповадно — угнали из села скот, забрали кур и гусей, перестреляли собак, убили местного учителя, у которого нашли портрет Ленина...

Молча слушали котовцы рассказ Маркова. Вот они — все прелести этой самой «свободной торговли»! Вот какую жизнь готовят крестьянам эти обер-бандиты!

— С разоблачения их мы и начнем! — говорит комиссар Борисов.

— Сколько же ударов получили мужики за неповиновение?

— От сорока до восьмидесяти, — сообщил Белоусов. — Двоих даже отправили на тот свет. А затем почти все население ушло — ушло куда глаза глядят, ушло искать правды на земле, ушло, чтобы снова не попасть в руки бандитам.

— И лошадей у них бандиты отобрали? — спросил, помолчав, Котовский.

— Всех до единой!

— Ничего. Вот отобьем у противника... Лошадей мы дадим. И мужички далеко, поди, не ушли. Вернутся.

10

И началась боевая жизнь бригады. Ежедневные стычки, почти ежедневные бои.

Южнее Большой Сосновки, не отвечая на выстрелы, бросились в атаку и гнали бандитов до самого леса. Отобранных у бандитов лошадей возвращали населению. Недалеко от Тамбова гнали Восьмой и Пятнадцатый повстанческие полки.

Обнаружили в овраге, близ одного хутора, около сотни антоновской кавалерии. Бандитов ликвидировали.

Разбили Шестнадцатый повстанческий полк, захватили штаб, оперативные документы.

Каждый день приносил что-нибудь новое.

Сводный отряд под командой Криворучко ворвался в село Покровское без единого выстрела, захватил там нескольких бандитов, получил от них сведения, что в Шереметьевке находится группа Селянского в тысячу конных. Сводный отряд атаковал банду. В течение дня было уничтожено свыше семисот человек.

Самое крупное соединение — Вторая армия. Ее возглавлял сам Антонов. Частям кавбригады Котовского приданы курсанты школы ВЧК. Вторую армию взяли в кольцо. Антонов пытался выбраться из окружения. У села Бакуры наш автоотряд отрезал бандитам путь к отступлению. Антоновские банды вынуждены были принять бой, причем потеряли почти все пулеметы, около восьмисот лошадей и девятьсот человек убитыми и ранеными.

Уцелевшая часть Второй армии пробилась в Кирсановский уезд. Здесь их опять настигли. Понесся большие потери, бандиты скрылись в Шибряевском лесу. Ночью разразилась гроза, хлынул ливень. Это помогло ускользнуть группе антоновцев, но вскоре и

они были настигнуты.

Под Бакурами убит соратник Антонова Богуславский. Антонов ранен. Исчез, как канул на дно. Однако позднее все-таки был обнаружен.

Их было два брата — Александр и Дмитрий. Увидев, что все их планы рухнули, а из восстания ничего не получилось, Антоновы решили спрятаться в Борисоглебском уезде, в селе Верхний Шибряк. Напрасно они надеялись на расположение к ним крестьян. Крестьяне сообщили о них. Их окружили в доме, где они укрывались. Братья Антоновы отстреливались и были во время перестрелки убиты.

Можно бы считать, что это конец всей эсеровской авантюры, если бы не банды, укрывшиеся в лесах, все еще верившие в какое-то чудо, в помощь или с Дона, или хотя бы от бродивших где-то поблизости мелких банд.

II

В жаркий, июльский полдень прискакал в штаб бригады Котовского всадник. Конь его был весь в мыле, да и седок, видимо, устал. Вся спина его гимнастерки потемнела от пота, а лицо было странно заgrimировано дорожной пылью, осевшей вокруг глаз, около ушей.

Он спрыгнул с коня, привязал его к перилам крылечка и направился в штаб. Не сразу смог заговорить, так запорошило ему глаза и горло горячей пылью. Молча протянул пакет, на пакете было написано: «Аллюр 3».

Котовский вскрыл пакет. Это был приказ начальника шестого боевого участка: явиться к шестнадцати часам комбригу Котовскому, выслать кавалерийский дивизион.

— Разрешите напиться, — промолвил наконец связной.

Он увидел на лавке кадочку со студеной, колодезной водой и не мог оторваться от этого дивного видения.

Котовский и комиссар Борисов тотчас стали собираться в путь. Была вызвана машина. Хотя и не так далеко до Инжавина, куда вызывали, но всегда в дороге может оказаться непредвиденная задержка: мимолетная стычка, перестрелка, вылазка врага.

Так оно и получилось: под Серебрянкой, примерно на половине пути, машину обстреляли засевшие за скирдой соломы бандиты. Две пули попали в кузов. В машине стоял наготове пулемет. Несколько коротких пулеметных очередей — и скирда замолчала. Некогда было искать этих разбойников.

— Газани, дружище! — приказал Котовский.

Начиналась шоссейная и не слишком разбитая передвижением войск дорога. Шофер промолвил молодецки:

— Есть, газануть, товарищ комбриг!

И машина понеслась мимо зеленых лужаек, мимо задумчивых берез и поникших в зное колосьев пшеницы.

Вот и Инжавино, раскинувшееся в ложине по обоим берегам бормотливой речушки Ржаксы. Котовский успел глянуть на мелкий галечник и расставленные там и тут вдоль берега рыболовные снасти, на стадо коров, неподвижное, забредшее в воду, чтобы спастись от оводов, на ребятишек, барахтающихся у самого моста, на бабу, полощущую белье, на стаю облаков, которые замерли над рекой, заглядевшись на свое отражение...

Штаб шестого боевого участка занимал несколько домиков. Там Котовского и Борисова встретил начальник штаба участка:

— Пройдемте, товарищи.

И повел их в глубь двора, в избу с решетчатыми ставнями, стоявшую на отшибе, среди высоких деревьев. Здесь находился подстражный и несколько военных с нашивками чекистов.

Вскоре пришел и командующий товарищ Тухачевский — высокий, совсем еще молодой, но с пробивающейся на висках сединой.

Чекисты... Уединенная изба с закрытыми ставнями... Вызов самого командующего...

Котовский нетерпеливо ждал: по-видимому, предстояло какое-то интересное дело.

Командующий поздоровался и предложил всем сесть.

— Из Москвы получена строжайшая директива, — сказал он, сразу приступая к делу. — Речь идет об ускорении ликвидации антоновщины. Мы должны принять ряд решительных мер. Одну из операций по выполнению этой директивы я хочу поручить вам. Я обдумал это, советовался вот... с товарищами, — он взглядом показал на присутствующих при разговоре чекистов, — и мы пришли к выводу, что никто не выполнит задачи лучше, чем Котовский. Как вы увидите, поручение будет несколько необычное. Вы проведете секретную боевую операцию. Для успешности дела я вам передаю доставленную к нам из Москвы некую личность...

Комиссар Борисов бросил быстрый взгляд на комбрига. Котовский весь уже загорелся, уже понял из слов командующего, в чем тут суть, и, кажется, уже обдумывал детали предстоящей операции.

— Основные силы Антонова в настоящий момент — это дивизия Матюхина, продолжал Тухачевский. — Эта бандитская группа засела в лесах, запаслась достаточным количеством продовольствия и намерена держаться до зимы, чего мы никак допустить не можем. Все операции по ликвидации антоновщины мы должны закончить не позднее сентября. Следовательно, мы должны в срочном порядке, но умело и без больших жертв не только нащупать, но и уничтожить эту группу.

Командующий замолк и вопросительно посмотрел на Котовского. Все присутствующие тоже смотрели на Котовского с любопытством и большим уважением.

— Тут рассуждать не приходится, — прищурился свои блестящие, яркие глаза и хорошо, дружески улыбаясь, произнес Котовский. — Предложение командующего понимаю как приказ, к-который подлежит немедленному исполнению.

Командующий, по-видимому, и не ждал другого ответа. Он продолжал:

— Вы теперь же возьмете с собой личность, о которой я упоминал. Это начальник штаба войск Антонова капитан Эктов, арестованный в Москве. Он прислан ВЧК, и я передам вам его под вашу ответственность. Эктов обещал помочь нам, за что ему и его семье обещана жизнь и свобода. Сумейте его использовать в интересах дела. Остальное предоставляется вашей инициативе. Обдумайте детально, как все это выполнить, с какого конца начинать. Ну, улыбнулся командующий, — тут «помещику Золотареву» и «капитану Королевскому» и карты в руки! План представить в ближайшие два дня.

Когда Котовский и Борисов вышли на улицу, они заметили, что изба, в которой происходило необычное совещание, тщательно охраняется; два-три человека в военных шинелях маячили между деревьями, тот прогуливался, этот сидел на пеньке...

Котовский обхватил плечи Борисова своей сильной рукой:

— Комиссар, вот это работа! А? Это как раз по мне!

Тут они увидели во дворе, около штаба, телегу. В телеге сидел и как-то осторожно, исподлобья посматривал вокруг человек в штатском. Это и был Эктов.

Котовский подозвал командира дивизиона, который только что прибыл и не успел даже сделать привала:

— Чистяков! Дивизион под твоим командованием должен доставить в наш штаб вон того человека, который в телеге. Задание понятно? Помни, Чистяков, будешь отвечать за него головой! Можешь выполнять.

Борисов присоединился к дивизиону Чистякова. А Котовский без промедления направился к машине. Шофер уже ждал. Машина была в порядке, даже почищена от пыли и грязи, пулемет выглядел из кузова, смотровое стекло сверкало в лучах заходящего солнца.

— Поедем, Петя, — сказал Котовский, — по холодку.

Машина зафырчала, затарахтела, оставила во дворе облако бензинового чада и вымахнула за ворота.

— Первое условие, — сказал Котовский, когда они вечером остались вдвоем в своем штабе, — первое условие — абсолютная тайна.

Борисов с удовольствием отметил, какие предосторожности предпринимал Котовский при обсуждении плана. В нем проснулся старый конспиратор. Он проверил, не стоит ли кто-нибудь в сенцах, за дверью, не остался ли кто случайно в самом штабе, в соседней комнате. Малейшая неосторожность могла испортить все дело.

— До известного момента, — заявил Котовский, — ни один человек не должен ничего знать, даже работники штаба, даже старший комполитсостав.

Капитан Эктов тоже был доставлен в штаб так, что не привлек ничьего внимания. Понимали только, что задержан какой-то крупный бандит.

Эктова поместили в отдельном доме. На значительном расстоянии от дома, чтобы не привлекать к нему внимания, стоял пост. Ночью дом охранялся кавалерийским взводом.

Котовский навестил Эктова. Эктов был сдержанный, внешне спокойный человек с умным лицом и неверным ускользящим взглядом. В душе у него, видимо, был полный разлад. Он хотел жить, во что бы то ни стало жить. В то же время его мучила мысль, какой ценой он покупает свое спасение.

— Я выполню все, что обещал, — сказал Эктов Котовскому, — можете не беспокоиться.

План был продуман и разработан детально. Кажется, предусмотрено все, каждая мелочь. Тщательно изучена обстановка, местность, точно намечены участники операции по спискам личного состава.

Ровно через два дня план операции был представлен командованию и получил одобрение. Тухачевский на прощание пожал руку Котовскому. Голос его дрогнул, когда он сказал:

— Желаю вам успеха и чтобы все благополучно кончилось.

— Или победим или умрем.

— Лучше победите. Не надо умирать. Буду нетерпеливо ждать завершения этого опасного предприятия. Смело, но красиво задумано!

Бывший фельдфебель царской армии, хитрый, матерый, свирепый волк Матюхин надежно засел в Тамбовских трущобах, где он знал каждую тропинку, каждый овраг, каждый куст. Знали эти места и его сообщники. Необходимо было сломить недоверие, настороженность опытных врагов, выманить их из лесных дебрей на открытое место и здесь уничтожить в коротком и беспощадном бою.

План был таков: сформировать из лучших бойцов бригады небольшой отряд и сделать вид, что это белогвардейцы-казаки. Из донесений разведки известно, что Матюхин ожидает подкреплений со стороны Кубани. В расчеты Антонова входило объединение с повстанческими силами Кубани и Дона. Антонов надеялся захватить таким образом самые хлебные районы, затем поднять казачество... расширить район восстания, может быть, выбраться к Черному морю, к грозненской нефти и Баку. Следовательно, Матюхин не должен удивиться, узнав, что к нему пробилась с боями группа белых казаков. Ведь они вели даже переговоры с представителями Дона. Они ждали. Появление свежего подкрепления должно их воодушевить. Сейчас положение у них отчаянное.

Психологический расчет был правильный. Но вообще весь план был смел до чрезвычайности и требовал выдержки, сознательности, находчивости и умения не от одного, не от двух каких-нибудь лиц, а от большого коллектива.

Ближайшие помощники Матюхина были в большинстве старые эсеровские заправилы, их не так просто было ввести в заблуждение.

Трудность и риск заключались в том, что не оставалось времени на особую подготовку для выступления в новой роли, в новом облики. А ведь бойцы и командиры должны были на время операции перевоплотиться. Малейшее неосторожное слово... какой-нибудь пустяк, которого нельзя заранее предусмотреть...

И Котовский еще и еще раз просматривал список участников этой грандиозной инсценировки. Все хорошо испытанный, боевой народ. Большинство из них проделали с ним весь ратный путь. Каждый сумел бы отбиться от любой вражеской своры, каждый был находчив, смел, и все беззаветно преданы своему командиру. Но ведь это — одна сторона дела. Сумеют ли они, прямодушные, облечься в личину «станичников»? Не брякнет ли кто-нибудь из них «товарищ комбриг» вместо полагающегося сейчас «господина атамана»?

Большой козырь в руках Котовского — Эктов. Но не предаст ли он в последнюю минуту? Стоит ему только мигнуть, сделать малейший знак — и все будет раскрыто, гибель неминуема, а успех дела сомнителен...

Да, это была загадка. Как поведет себя Эктов? И насколько он авторитетен для Матюхина?

Все эти вопросы трудно было разрешить, а в некоторых случаях даже невозможно. Да, риск был огромный. Но разве Котовский не привык рисковать? В этом мероприятии требовались и отвага, и осторожность, и быстрота действий, и предусмотрительность.

Одной из неразрешимых загадок оставался все-таки Эктов. Неудобство заключалось еще в том, что Эктов был старшим по чину. Он должен был числиться главарем, якобы командовать отрядом «кубанцев». Правда, он уверял, что «делает все искренне», что пересмотрел свои убеждения. Но...

— Я вполне понимаю ваши опасения, — говорил он в беседе с Котовским, ускользая взглядом и морщась при мысли, что для своего спасения он приносит в жертву несколько сот недавних своих друзей: ведь каких-нибудь две недели назад он стоял во главе антоновской армии, и матюхинская дивизия была у него в подчинении.

— Я иду на риск, — ответил Котовский Эктову, — рискую головой. Но и вы знайте, что при малейшей вашей попытке предать меня вы будете немедленно убиты. Я все время буду рядом с вами. Вам это понятно?

Эктов усмехнулся:

— Очень даже понятно. Однако давайте рассуждать здраво. Если бы мне хотелось умереть, я с успехом мог умереть значительно раньше. Мне стесняться нечего, и я не хочу перед вами вставать в позу. Я безумно люблю жену. У меня дети, у меня сестры, мать еще жива. Они являются как бы заложниками. Они являются и моим оправданием перед самим собой: почему, спрашивается, я должен предпочесть жизнь этого засевшего в лесу сиволапого мужичья и совсем несимпатичного мне фельдфебеля Матюхина — жизни моих детей, моей Нины... Если хотите знать, Матюхин вызывает у меня чувство брезгливости. Звероподобное существо.

Эктов задумался. Вспомнились ему в этот момент лица его детей или умоляющий взгляд жены при последнем свидании?

— Я много думал о смерти, о жизни, — промолвил он после некоторого раздумья и вдруг как-то неожиданно и не к месту рассмеялся; жуткий был это смех. — Вы скажете: цинизм, но будем откровенны, можно быть хоть раз в жизни откровенным? Какой мне толк от идей, мировоззрений, грез человечества, от порывов, подвигов, патриотического восторга, от всей этой мишуры с того часа, как меня, вот этого меня, сидящего на этом деревенском, неказистом стуле, единственного реального меня, не будет на свете, а будет только куча гнилого мяса и грустное воспоминание родственников?..

— Неустойчивая натура, истерик, — сказал Котовский комиссару Борисову после свидания с философствующим капитаном. — Ищет себе оправдания, цепляется за жизнь, и никогда нельзя предвидеть, как он поступит через минуту.

— Должен он понимать, — нахмурился Борисов, — так или этак, все равно дни Матюхина сочтены. Вся их игра проиграна. Богуславского нет, Антонова нет, армии нет, Матюхин в окружении... Таким образом, Эктов только ускоряет, так сказать, процесс, а вовсе не обрекает на смерть своих сподвижников. Они и без того обречены. Какой у него может быть выигрыш от новой измены? Погубить нас? Но он этой гибели даже не успеет увидеть! Между тем в случае нашего успеха он получает много преимуществ в жизни. Мне кажется,

он все это взвесил, прежде чем выехать сюда из Москвы.

— Мы с вами ничего не можем тут предпринять, — заключил разговор Котовский. — Сделаем все для победы. Мы понимаем, что это задание командования — не просто приказ. Это — решение партии, требование Советского правительства. И мы его выполним, не колеблясь.

Он ушел, а Борисов сел сочинять «доклад»: ему назначалась трудная роль изображать «правого эсера».

Нужно было незаметно, не вызывая никаких подозрений, заготовить необходимый «реквизит». Нужны кубанки. Нужны казачьи лампасы, синие штаны. Что еще? Какие-нибудь «люльки» по образцу Тараса Бульбы? В конце концов, это же не казачья часть регулярной армии? Просто сброд. Могли примкнуть к подобному отряду дезертиры? Или бандиты, уцелевшие от разбитых армий Петлюры и Махно? Могли. И так, это — авангард казачьих соединений, возглавляемых войсковым старшиной Фроловым, тем самым Фроловым, которого не так давно Криворучко собственной рукой раскроил ударом клинка в бою под деревней Вендичаны. Тогда же было захвачено кавбригадой знамя фроловцев, которое теперь так же, как и черный флажок с вышитой на нем серебряной буквой «ф», могло пригодиться.

13

Настал вечер пятнадцатого июля. Отобранный поименно отряд был выведен за деревню. Бойцы переговаривались между собой, строя разные предположения.

— Не иначе как разведка нащупала, где прячутся гады!

— Поедем, пожелаем им доброй ночи!

Некоторые из отряда уже успели улечься спать, когда их вызвали. Они поеживались от вечерней сырости, которой тянуло из соседнего болота.

— Комаров много, — сонным голосом бурчал помкомвзвода Криворотенко. К дождю.

Небо было грустное-грустное. Розовые, оранжевые переливы постепенно тускнели и гасли на западе. Лес слился в одно темное пятно, лиловые тени легли по земле. Налетели комары и зазвенели на различные голоса. Кони прядали ушами, мотали головами, били себя по бокам хвостами.

Котовский и комиссар не заставили себя долго ждать.

— Братцы! — обратился Котовский к кавалеристам. — Командование поставило перед нами задачу, и мы ее выполним. Я расскажу вам подробно, что мы должны делать. Только котовцы и могут совладать с такой операцией, что нам предстоит! Говорят, чудес не бывает. Бывают чудеса! Мы это много раз доказывали, постараемся и на этот раз не ударить лицом в грязь!

Тут Котовский стал подробно разъяснять бойцам, что они должны делать. Чем больше он говорил, тем больше вытягивались лица котовцев. Все молчали и слушали в недоумении. Какие же они кубанцы? Сроду не были белыми! Били и будут бить бандитов!

— Отныне мы будем называться не красной кавалерийской бригадой, а будем именовать себя войском атамана Фролова, прорвавшимся с Дона и Кубани на соединение с отрядами антоновских банд для совместных действий против Красной Армии, против Советов...

— Вот так здорово! — крикнул кто-то из рядов. — Беляками заделаемся!

— Тетя Мотя! — осадил его Криворотенко. — Не понимаешь, что ли? Это военная хитрость! А еще разведчик!

— Правильно, Криворотенко! — подтвердил Котовский. — Наша задача выманить Матюхина из лесу и тогда расправиться с ним. Вот с этой-то целью на время операции я буду именоваться атаманом Фроловым, командиры полков есаулами, а вы, красноармейцы, — станичниками.

— Чудно как-то!

— Политрукам, коммунистам и комсомольцам быть примером, — говорил далее

комбриг, — и всем твердо помнить, что оплошность одного погубит всех. Ни между собой, ни тихо, ни громко, ни случайно, ни намеком ни один из вас не должен выдать наших планов. Имейте в виду, что нас будут проверять, исподтишка подслушивать и разведывать, кто мы такие.

— Проще говоря, как в театре, представление представлять? воскликнул опять кто-то из бойцов и начал хохотать.

— Здравия желаю! — во все горло крикнул другой и тоже залился смехом.

— Послушайте меня, — снова заговорил Котовский, наблюдавший всю эту картину, — вы поняли теперь, какое трудное и опасное дело нам предстоит? Вот тебе смешно, — обратился он к остряку, и у того сразу исчезло смешливое настроение, — а между тем так вы и должны отвечать: «Здравия желаю, господин капитан». Спутается только один — и выдаст с головой нас всех бандитам. Первым погубите меня, да и всем остальным придется солоно.

Тут и Гажалов, и Борисов, и Скутельник, и Данилов стали растолковывать детали предстоящей операции.

Вскоре общее недоумение сменилось дружной подготовкой к походу. Снимали красные банты, красноармейские звездочки. Проверяли друг друга, не забыта ли какая-нибудь примета, не подведет ли он товарищей. Некоторые тут же тренировались, как отдавать честь, как обращаться к комсоставу и друг к другу.

Несмотря на наступающую темноту, повытаскивали приколотые на внутренней подкладке заветные солдатские иголки да вощеные нитки, из околышков фуражек изготавливали великолепные казачьи лампасы. Криворучко раздавал шапки-кубанки с красными и белыми верхами. Кое-кто облачался в зипуны, в пиджаки, сбрасывая гимнастерки, на пуговицах которых были выбиты пятиконечные звездочки.

Через какой-нибудь час отряд было не узнать.

— Ну как? — спрашивал Данилов, который с особым азартом занимался переодеванием бойцов.

— Хороши! — признался комиссар.

— Я бы сам, — заявил Котовский, — встретить я такое воинство, первый бы врезался в него и стал бы рубить направо и налево белогвардейцев!

Бойцы принимали теперь такой отзыв как высшую похвалу. Кое-кто старался припомнить излюбленные казачьи песни. Свернули эскадронные флаги. Знамя фроловцев и черный флажок с серебряной буквой «ф» совершили превращение отряда.

К этому времени прибыли пять чекистов и с ними Эктов. Конь у капитана Эктова донской породы и с виду хороший, но, кто разбирается в этом деле, видит, что на таком коне далеко не ускачешь. Сбоку у капитана висит кобура и в ней револьвер. Но револьвер не только без патронов, но даже и без барабана. Вряд ли хоть один капитан за все времена, что существуют капитаны, был так неважно вооружен!

Однако капитан Эктов был представлен отряду как начальство, и его дружно приветствовали.

Выступили поздно вечером. И хотя капитан был уже не капитан, а «станичники» сроду не были станичниками, двигались в строгом порядке, молча. Каждый осознал всю серьезность предстоящих действий и теперь обдумывал, как он будет поступать в том или ином случае в соответствии с полученными подробными инструкциями, описанием места действий, перечислением условных сигналов и команд.

Была темная, безлунная ночь. В деревнях, мимо которых проезжали, не мелькало ни единого огонька. Приплывала струя теплого, парного воздуха, напоенного запахами клевера, гречихи, полей и лугов. Потом вдруг веяло свежестью и сыростью из лощины. Звезды мерцали. Цокали копыта о сухую, еще не остывшую после дневного зноя землю да звякали иногда стремена.

Вдруг из темноты выскочил конный. Промчался вдоль колонны, на скаку возвещая:

— Красные слева, красные слева!

И только он скрылся, слева раздались выстрелы. Негромкая команда, голова отряда

быстрым аллюром уходит вперед, прикрытие приготовилось к бою. Из темноты уже строчил пулемет, отряд тоже отвечал пулеметными очередями. Затем все затихло, и колонна продолжала свой путь.

Весь этот бой был инсценирован с ведома высшего командования и тоже в соответствии с планом. Обе стороны стреляли в воздух. Дивизия Матюхина, его разьезды не могли не слышать этой ночной перестрелки. Надо было показать, что фроловцы прорываются через расположение красных.

Было уже далеко за полночь, когда показалась впереди деревня Кобылинка, у которой было еще и второе наименование — Дмитровское.

Где-то на горизонте чуть посветлела, чуть тронулась одна сторона неба. Но еще не начинался рассвет. Звезды поблекли, небо заголубело. Густо пахло болотными травами. Большая Медведица играла семью самоцветами высоко над головой.

Колонна все так же двигалась молча. Снова команда. Отряд разместился, заняв наиболее выгодную позицию.

«Молодцы кавалеристы!» — подумал Котовский, наблюдая, как выполняются все указания, полученные прежде чем двинуться в путь.

К деревне приблизились только несколько человек. Тут Эктов как-то по-особенному свистнул, и тотчас откуда-то взялся молодой деревенский парень.

Капитан Эктов строго приказал:

— Скачи к Ивану Сергеевичу, пусть со всеми силами явится сюда.

Эктов передал парню заранее заготовленный комиссаром Борисовым приказ от имени Эктова и за его подписью. В приказе Матюхину предлагалось прибыть в деревню Кобылинку в ночь с девятнадцатого на двадцатое июля для совместного обсуждения резолюций «Всероссийского съезда» и установления контакта в работе в связи с прибытием донцов и кубанцев, а также делегатов съезда.

Парень как внезапно появился, так внезапно теперь исчез с пакетом, ни слова не говоря.

На случай какой-нибудь неожиданности или измены были выставлены посты и дозоры. Но пока что все было тихо.

Эктов, по-видимому, нервничал. Он непрерывно курил. Кончик его папиросы то вспыхивал, то заволакивался пеплом. Неотступно возле Эктова находился Котовский, в кубанке и новом одеянии изменившийся настолько, что даже комиссар еле узнавал его. Пять чекистов с револьверами наготове тоже курсировали поблизости.

Кажется, Матюхин находился рядом, потому что через небольшой промежуток времени тот же парень снова вынырнул как из-под земли и подал Эктову записку.

Матюхин писал, что подчиняется приказу, но должен предварительно убедиться, что приказ на самом деле исходит от начальника штаба, так как давно уже нет ни слуху ни духу ни об Антонове, ни о Богуславском, ни вообще о Второй армии. Поэтому Матюхин предварительно вышлет своих представителей, кои явятся в деревню Кобылинку, как и предлагает капитан Эктов, в ночь с девятнадцатого на двадцатое июля.

— В-вороний корм! — тихо выругался Котовский, прочитав записку.

Уж не разгадал ли Матюхин всю махинацию, весь план? Не пронюхал ли, что за «донцы» и «кубанцы» пришли к нему на соединение?

С самого начала дело неожиданно осложнялось. Но пока что ничего нельзя было больше предпринять. Нужно было ждать до девятнадцатого и посмотреть, что это за представители, которых вышлет Матюхин.

«Так или иначе заставлю его приехать, у меня он не отвертится», решил Котовский.

Строго наказав комиссару и командирам не спускать глаз с капитана Эктова, Котовский с начальником полевого штаба и дивизионом кавалеристов помчался обратно в Медное, заставил всех, кто понимал в портняжном деле, круглые сутки работать над изготовлением кубанок, над шитьем казацких шаровар. Теперь он включил в операцию всю бригаду. Первый полк переодет в кубанцев, Второй полк — донцы.

На рассвете девятнадцатого июля бригада прибыла в деревню. Был приказ: кто

попытается проникнуть в деревню и кто попытается из нее выйти — уничтожать. С этого момента Кобылинка, гнездо матюхинцев, отрезана от всего мира. Никто не выйдет за ее пределы, никаких сведений она не получит извне.

Теперь можно было встретиться с противником при любых обстоятельствах. Тем временем пытаться настоять на своем и вытребовать Матюхина, в соответствии с первоначально намеченным планом.

Командир дивизиона Четырнадцатого матюхинского полка, оказывается, скрывался с тремя бандитами в овраге, под самой деревней. Они высматривали, что там творится. Они должны были разведать, что за донцы и кубанцы появились в Кобылинке.

Когда Эктон спросил все того же парня, по-видимому работавшего связным, где же наконец делегация Матюхина, парень простодушно ответил:

— Эвона, за деревней, в яру.

— Зови, — с досадой приказал Эктон.

Затем обратился к Котовскому:

— Атаман Фролов, прикажите построить часть.

— Слушаюсь, господин капитан! — молодежато ответил Котовский и в свою очередь отдал распоряжение: — Построиться!

Господа делегаты вылезли из своего наблюдательного пункта. Эктон предложил:

— Познакомьтесь, господа, без лишних церемоний.

Сразу же пошли смотреть построенную конницу. Один из представителей Матюхина, хмурый, волосатый, с медвежьими глазками, особенно внимательно вглядывался в каждую мелочь. Он все разглядел, обходя фронт: и лица, и оружие, и одежду кавалеристов.

Отряд выстроился как положено, бойцы стояли каждый у головы своей лошади.

Вдруг, этот, с медвежьими глазками, проворчал:

— Такой большой переход, а какие справные кони.

— Да, — подхватил другой представитель Матюхина, — после такого перехода у коней ввалились бы бока.

Котовский сощурился. В нем кипела ярость. Но он молча следовал за этими бандитами и тихо посвистывал.

Комиссар Борисов с досадой думал:

«Все мелочи как будто предусмотрели, а вот, поди ж ты, подметили правильно, доложат Матюхину и могут расстроить весь план».

Борисов собирался ответить, что кони, в самом деле, сытые, но нельзя забывать, что казацкие кони привыкли к большим переходам... Но Борисова опередил один из красноармейцев.

— Справные! — проворчал он, ни к кому в частности не обращаясь. Посмотрели бы, какие они были справные! Еле ноги передвигали. А как мы стояли две недели в лесах, пока на след ваш напали, тут и кони нагулялись, слава богу.

Ответ успокоил матюхинцев. Теперь они уже с удивлением отмечали:

— Все как на подбор!

— И оружие держат в порядке.

Обернулись к «атаману Фролову»:

— А мы тут с самим Котовским схватились, дали ему жару!

— Что Котовский! — отозвался мнимый атаман Фролов. — Видали мы кое-что пострашнее. Вот погодите, главные силы наши подойдут... Весь мир завоюем! Казацкие сабли не ржавеют!

Совсем повеселели матюхинцы. Спросили «атамана Фролова»:

— Что же доложить нашему командиру? Он требует, чтобы вы прибыли с отрядом в лес, в районе Тамбова.

— Куда же я в лес с моим обозом, с моими пулеметными тачанками? Меня там красные запросто с кашей скушают, — ответил «атаман Фролов». — Казаки — люди степные, простор любят. Да вот я тут все это Матюхину подробно отписал.

Один из представителей делегации был родным братом Матюхина. Котовский вежливо обращался к нему по имени-отчеству:

— Михаил Сергеевич! Передайте брату о моем уважении к нему. Человек он военный, поймет. Расскажите о вашем личном впечатлении от моих станичников. Кажется, народ подходящий. А вы еще увидите, как они дерутся! Как львы!

Не откладывая, тут же отправились двое матюхинцев с докладом к своему командиру. С ними поехали двое котовцев. Они везли новое послание «атамана Фролова». Фролов снова приглашал Матюхина прибыть в Кобылинку. Фролов упрекал:

«Вольное казачество протягивает вам руку, — писал он, — а вы как будто уклоняетесь от встречи, предлагаете мне загнать в лес пулеметные тачанки, обоз. Конницу, способную принять бой только в открытом поле, зовете куда-то в медвежью берлогу. С какой целью? Чтобы без пользы погубить ее? Считаю вашу боязнь выйти из лесу простой трусостью. Довольно прятаться в лесу! Вперед! На Москву! Не хотите вместе с нами, мы и одни ее завоюем!»

Послание подписали атаман Фролов и Эктов.

— Попробуют они теперь не приехать! — торжествовал Котовский.

14

Котовский проснулся от духоты. Несмотря на открытые настежь окна, нечем было дышать. Ни ветерка. Замерли в истоме деревья. Воздух нагретый, неподвижный. В постели жарко. Котовский проснулся и прислушался. Тишина! Спит глухим сном деревня, спят бойцы, только дозоры, вероятно, вглядываются в темноту и ждут с нетерпением смены.

«Наверное, будет гроза», — подумал Котовский.

Встал, в темноте нащупал двери, вышел на крыльцо. Здесь было немного свежее. Эка, сколько высыпало звезд! Слышно, как дышит в хлеву корова, как жует сено конь.

Котовский стоял на крыльце, глубоко вдыхал в себя ночной воздух и думал о предстоящих событиях, о наступающем дне. Он не заметил перемены, между тем она произошла вот сейчас, за тот короткий промежуток, пока он стоял на крыльце. Как будто раздвинулся легкий, кисейный занавес. Зарозовело, зарумянилось небо на востоке. Скромная, застенчивая заря! Утренний, предрассветный ветерок промчался по деревне, вспорхнул на крыльцо. Качнулись ветви березы. Сквозные полосы тумана поднялись, перепоясали лес и растаяли.

Котовский намеревался уже вернуться в избу и попробовать еще уснуть. Вдруг он услышал конский топот. Еще секунда — и уже был виден всадник, скачущий во весь опор по пустынной улице. Круто осадил коня перед крыльцом и не сказал, а выдохнул:

— Идут...

Хотел промолвить привычное «товарищ комбриг», но осекся и закончил как полагается:

— Идут, господин атаман!

И взял под козырек.

— Кто идет? — усмехнулся Котовский. — Ты говори толком.

— Матюхин идет. Всем войском.

Иван Матюхин двигался с Четырнадцатым и Шестнадцатым полками по направлению к деревне. Но в двух верстах от заставы остановился и потребовал, чтобы атаман Фролов и начальник штаба антоновских войск Эктов явились к нему для личных переговоров.

Отказываться нельзя. Надо ехать. Котовский оседлал испытанного Орлика. Эктов отправился на своем опоенном донце.

Когда выехали из села, Котовский сказал Эктову:

— Я трезво учитываю положение, капитан, отдаю отчет в своих действиях и на безумный шаг иду сознательно. Но еще раз предупреждаю: при первой же попытке предательства я убью вас, в этом можете не сомневаться. Не отрывайтесь от меня ни на секунду, чтобы я чувствовал ваше стремя, иначе вас ждет немедленная смерть.

Договорились?

— Я сказал уже вам, что выполню обещанное, — ответил Эктон сдержанно. — Отчего бы я мог передумать?

Больше они не разговаривали. Впереди уже виден был в сиянии утреннего солнца конный отряд. Это дожидался их приезда Иван Матюхин со своей свитой: в антоновской армии тоже были свои «комиссары», «политруки», «волостные организаторы».

Из березовой рощи слева появилась группа всадников, около пятидесяти. Они окружили «представителей казачества», пожимали руку Эктова, козыряли Фролову и всей гурьбой направились навстречу Матюхину.

Теперь Котовский был окружен врагами. Правда, там, позади, стояла вся кавалерийская бригада. Каждый строго занимал свое место. Котовцы проверили состояние пулеметов и прицел, подтянули подпруги у седел, попробовали, легко ли вынимаются сабли из ножен, осмотрели свои карабины, поправили патронташи, артиллеристы проверили орудия. Все было готово к бою. Стоило дать сигнал — и бандитские части были бы засыпаны снарядами, прочесаны пулеметными очередями. Но могли ли котовцы спасти этим своего командира?

Вот уже можно разглядеть, с кем имеет дело Котовский. Всадники построены колонной по шести. А вот и сам Иван Матюхин — рослый, несколько сутулый, черты лица грубые, свирепые глаза налиты кровью. Да, этот звероподобный бандит мог произвести впечатление на своих подчиненных! Мог навести страх на беззащитных жителей сел и деревень! Окружающие Матюхина «комиссары», наоборот, выглядели интеллигентными, походили на каких-нибудь сельских писарей или учителей.

Котовский не ждал, когда заговорит Матюхин, и не обращал внимания на его недобрый, подозрительный взгляд. Подъехал смело, крепко пожал бандиту руку, дав ему при этом почувствовать силу своего рукопожатия, и сразу, с первых слов, осыпал его упреками, дружескими, но бесцеремонными:

— Что же мы теряем драгоценное время, Иван Сергеевич? Кто же станет делать дело за нас? Уж не думаешь ли ты, что за нас станет сражаться Пушкин Александр Сергеевич?

Эта незамысловатая шутка невольно вызвала улыбку матюхинских комиссаров. Они неотрывно смотрели на прибывшего и взвешивали каждое его слово. Не улыбался только один матюхинский соратник — тамбовский комиссар. Он вообще держался обособленно и не скрывал своего недоверия, своей неприязни.

Матюхин что-то такое буркнул, а сам сверлил глазами «атамана Фролова».

— У меня, Иван Сергеевич, кони застоялись, давай начинать. Чего недоделал Антонов, доделаем мы!

И тут Котовский резко повернул Орлика и пригласил следовать за собой.

Раздалась команда:

— Справа по три, шагом марш!

Колонна тронулась. Слева от Котовского командир четвертой группы антоновских войск Матюхин, справа — Эктон, сзади — вся матюхинская свита.

Котовский, не умолкая, говорил. Густо хохотал, шутил, клялся, что «сам зарубит Котовского, только бы встретить», говорил о Савинкове, тут же приплел «делегата Всероссийского съезда» Борисова:

— Вот послушаем, что он нам расскажет!

Котовский говорит, а сам нащупывает в кармане наган и поглядывает на Эктова. Эктон бледен, на лице его выражение мучительной внутренней борьбы: и страх смерти, и желание разоблачить Котовского. Но вот он чувствует нажим стремени на его ногу, ловит угрожающий взгляд...

— Стой! Кто едет? — раздается окрик заставы.

Котовский мельком видит лица своих бойцов. Ни один из них и глазом не поведет! Вытянулись, как полагается по форме. Пропуск сегодня бандитский, тот, который передан из их штаба. Все идет пока что как положено. Заставе отвечают:

— «Киев».

Начальник заставы спрашивает:

— Что отзыв?

Следует незамедлительный ответ:

— «Корсунь».

В селе прибывших встречают «станичники»-квартирьеры.

Матюхин спрашивает:

— Как у вас с охранением? Есть ли за селом заставы?

— Об этом спросите одного из тех, кто привозил ваше письмо, они сами видели наши охранения.

Но тут опять выручает боец-котовец. Он подскакивает на коне, козыряет.

«Это они чересчур», — думает Котовский.

Но, кажется, Матюхину все это нравится.

— Не извольте беспокоиться! — оглушительно рявкает боец. — Муха не пролетит, ни одна красная собака не пролезет!

Матюхин произносит что-то вроде «хм».

— Дисциплинка! — переговариваются между собой матюхинские комиссары.

— Что вы хотите? Казаки!

Котовский познакомил Матюхина с Борисовым, отрекомендовав его как делегата эсеровского съезда. Борисов спросил:

— Вас, наверное, интересуют результаты съезда? Очень решительные резолюции.

— Нам не резолюции, нам солдаты нужны, — отрезал Матюхин.

Тогда Борисов обратился к матюхинским комиссарам:

— Передаю вам горячий привет от Савинкова!

Комиссары тоже вяло отозвались на это сообщение.

Когда квартирьеры, проинструктированные Котовским, спросили Матюхина, не желает ли он одну из своих частей поместить вместе с фроловцами, Матюхин задумался и потом ответил:

— Мы народ русский, а вы с Украины. Национальность разная, могут поссориться. Давайте расположимся отдельно.

И тут же, не стесняясь присутствия «атамана Фролова», отдал приказ: коней не расседлывать, в конюшни не ставить. И со всей своей свитой отправился расставлять и инструктировать свои полки.

Котовский слышал этот разговор, но ничем на него не отозвался. Не расседлывать так не расседлывать! Не ставить в конюшни? Пусть будет по-вашему! Осторожен матерый волк! Видимо, еще не вполне верит!

Когда матюхинцы наконец вернулись от своих воинских частей, где хвастались перед «атаманом Фроловым» резвостью своих коней, богатым вооружением, Котовский преспокойно предложил:

— Давайте начинать.

Но матюхинцы долго еще медлили.

— Мы привыкли стрелять, а не заседать, — сказал Матюхин. — Где же, атаман, твои пулеметные тачанки? — добавил он с напускным добродушием.

«Ага, — подумал Котовский, — значит, братец сделал ему обстоятельный доклад!»

— Пулеметные тачанки? Если хотите, пойдём и посмотрим. Люблю товар лицом показывать! — И он рассмеялся: — Чуть-чуть все до одной не потерял, когда пробивался к вам через красные заслоны!

Тачанки Матюхину понравились. Все его соратники тоже не могли скрыть своего удивления и восторга:

— По выправке, молодцеватости и геройскому виду эти бойцы больше похожи на офицеров, чем на солдат!

А Котовский не мог нарадоваться на своих бойцов и командиров. Они вели себя безупречно.

«Комар носа не подточит!» — подумал он, наблюдая, как бойцы строят бессмысленные «солдатские» физиономии, гаркают «здравия желаю», отвечают «так точно», «никак нет», как командиры эскадронов дают самые подходящие ловкие ответы матюхинским комиссарам.

«Пусть не расседывают коней, — подумал при этом Котовский. Отказаться сесть с нами за стол они уже не могут».

Матюхинцы вернулись со смотра, столпились на улице и все еще выпрашивали, задавали, как им казалось, «коварные» вопросы.

Котовский снова предложил начать заседание. И тогда Эктов громко провозгласил:

— Командиры и комиссары соединяющихся частей! Открываю совещание! Прошу следовать за мной!

15

Котовский, как вежливый хозяин, пропустил «гостей» вперед. В просторной избе за двумя составленными вдоль столами, накрытыми деревенскими скатертями, разместились одиннадцать котовцев и шестнадцать матюхинских начальников.

В помещении было три окна. «Красный угол» до самого потолка был убран иконами. Здесь были и старинные большие образа под стеклом с заложенными под стекло венчальными свечками, и множество маленьких иконок с изображением божьей матери с младенцем, распятого Христа, Николая-угодника с небольшой бородкой. Были тут и лубочные лакированные листы, порядочно засиженные мухами и тараканами, с Серафимом Саровским, с какими-то еще святыми, что видно было по светлым кругам вокруг их голов.

Перед иконами на медных цепочках висела, слегка покачиваясь, лампада из цветного стекла, тут же лежали засохшие просфоры и крашеные пасхальные яйца, а за икону были заткнуты деловые бумаги, налоговые квитанции и письма от сына, убитого в четырнадцатом году на войне.

Столы были расставлены продуманно, оставалось только разместить матюхинцев в соответствии с намеченным планом.

С шутками и присказками, что «начальству первое место», что «гостям честь и почет», бандитских главарей усадили в угол, под образами. Сами разместились ближе к окнам и двери, а также между матюхинцами. Все расселись в конечном результате так, как это нужно было для осуществления замысла.

Заупрямился только один. Это был опять-таки тот самый тамбовский комиссар, с нездоровым, серым лицом и горящими нехорошими глазами. Он вообще наотрез отказался сесть за стол и расположился прямо на полу, убранном сеном, причем положил винтовку к себе на колени. Его даже плохо было видно при свете керосиновой лампы, подвешенной к потолку.

Котовский видел и это, но опять якобы не заметил.

Тем временем хозяин дома, степенный мужик с пышной бородой, кроткими светлыми глазами, в широкой голубой рубахе и в жилете поверх нее, вместе с суетливой бабой, в чепце, в коричневой кофте с оборками, расставляли на столе обильные закуски: жареного поросенка, гусятину, пироги с кашей и всякую другую снедь, приговаривая:

— Кушайте на здоровье, гостюшки! Не красна изба углами, а красна пирогами!

Но на них никто не обращал внимания.

В заключение хозяин принес бутылки самогона. Тут некоторые из матюхинцев стали громко выражать восторг. Но Матюхин тихо, однако очень решительно сказал:

— Воздержитесь.

Котовский и этого будто бы не заметил, но со своей стороны громкогласно предложил:

— Господа! Я думаю, что поднять чарки и выпить за победу мы еще успеем, а пока без тостов и выпивки проведем деловую часть совещания.

Это его предложение опять как будто уменьшило подозрительность бандитов, которые могли подумать, что их хотят подпоить.

— Ну, ну, — отозвался Матюхин. — Что верно, то верно.

Тамбовский комиссар только сощурил глаза и поправил винтовку на коленях, но ничего не сказал.

Капитан Эктон сидел бледный, сосредоточенный. Он-то знал, догадывался, что игра приходит к концу, что ему уже поздно идти на попятный, нужно только постараться уцелеть во всей предстоящей свалке и передрыге. Он не мог не заметить и того, как поставлен стол, как размещены скамейки, как главари шайки втиснуты в угол, где им не повернуться... Эктон выбрал для себя место за столом поудобнее, так, чтобы можно было в случае чего выбраться одному из первых... Впрочем, обо всем он мог строить только догадки. Как все произойдет? Когда? При каких обстоятельствах?

Во всех смотрах да разговорах незаметно и день пролетел. Когда разместились, уселись, после некоторых пререканий и шуточных споров, наступили уже сумерки. Лампа светила тускло. Хозяин дома принес еще зажженный сальник. Он нес его бережно, осторожно, чтобы не загасить. Сальник освещал его лицо, его бороду, и степенный мужичок-кулачок сам в этот момент походил на какого-то святого угодника, освещаемого лампадой.

Капитан Эктон встал. Он открывал совещание:

— Я, господа командиры, не буду делать доклада. Поручаю сделать это представителю братской группы Савинкова Борису. Нет возражений?

Все молчали. Свежая струя воздуха хлынула в открытые окна, принося запах близкого дождя. Свет сальника заколебался, тени забегали по стенам.

Борисов встал. И хотя был он опытный оратор и часто проводил беседы, выступал на собраниях, но тут на короткое мгновение растерял все мысли и пришел в замешательство. Чтобы скрыть это, он переменил место и встал поближе к свету, держа сочиненную им «резолуцию съезда» в чуть дрожащей руке. Гажалов взял сальник и светил Борису в его записи.

— Господа командиры! — начал Борисов, и тут сразу окреп его голос, и он продолжал: — Читать всю резолюцию или изложить основные мысли?

— А ты нам попроще да поближе к делу, — сказал Матюхин, заметно важничая. — Не рассусливай!

— Вот именно! — поддакнул тамбовский комиссар. — Здесь война, а не говорильня.

— Я тоже солдат, — поддержал их Котовский. — По мне, чем меньше болтовни, тем лучше.

Борисов говорил горячо и вскоре увлек всех слушателей. Он предрекал белому движению победы, намекал на поддержку извне, расхваливал до небес Савинкова, перечислял какие-то несуществующие отряды и готовые по первому слову подняться против Советов крестьянские массы...

Речь его привела бандитов в возбуждение. Все они уже потеряли надежды на спасение, думали только, как бы отсидеться в лесу до зимы и потом выбраться отсюда, уйти подброду-поздорову. А тут вдруг развертывались блестящие перспективы!

И у них без всякого самогона развязались языки. Они хотели теперь показать, что и они чего-нибудь стоят! Один перед другим выхвалялись своими успехами, несуществующими резервами. В пылу таких разговоров, забыв всякую осторожность, выбалтывали некоторые тайны, называли свои явки, указывали на источники, откуда они достают оружие, подковы, снаряжение...

Котовский подзадоривал их, выражая сомнение, недоверие и называя фантастические цифры повстанческих кубанских отрядов.

Эктон молчал. Он поневоле присутствовал при всем этом и поневоле созерцал обширность своей измены недавним единомышленникам. Он видел, как матюхинцы губят все, выдают в руки красных все нити своей организации.

После беспорядочного и оживленного обмена мнениями и после не увенчавшейся успехом попытки Котовского выведать у матюхинцев, где находится раненый Антонов в настоящее время, Котовский взял слово.

— В основном, я одобряю доклад, — сказал он, сверкая глазами и с веселым задором поглядывая на врагов, — хотя я должен откровенно сказать докладчику: улита едет, когда-то будет. Так вот, господа, вы сами убедились, насколько бесподобна моя воинская часть, а вы не з-забывайте, это всего лишь авангард. Поэтому я думаю, что не встречу возражений, если предложу командование объединенными силами возложить на меня.

Это вызвало шум и возгласы матюхинцев. Некоторые даже повскакали с мест.

— Мы вообще не собираемся соединяться! — крикнул тамбовский комиссар с какой-то даже злобой.

— Господа донцы и кубанцы! — поднялся Матюхин, жестом руки останавливая своих командиров. — Вас небольшой отряд, вполне понятно, что он вольется в главные силы. Да вы и местность не знаете! Тут не может быть и разговоров, командование я оставляю за собой. Меня знает вся Тамбовщина! Да вы знаете, кто я такой?!

Матюхин все больше распалялся, он кричал хриплым голосом, стучал по столу страшным волосатым кулаком:

— Я Матюхин! Спросите кого угодно — знают ли они меня? Да я своими руками... — он уже рычал, а не говорил. — Вот этими руками выкручиваю головы пленным красноармейцам! В плен не беру! У нас они умирают в страшных муках! Для чего я это делаю? Чтобы мое имя навело панику. Вот кто я такой! А вы еще не огляделись, а хотите уже верховодить. Смешно даже слушать! Да вы знаете... Я сегодня же начну наступление! Да вы знаете, сколько у меня оружия в одном только Лопатинском овраге!..

И тут он начал в запальчивости выбалтывать, где и какие у него склады, где размещены другие его отряды... клялся, что за короткий срок соберет десятитысячную армию...

Кажется, все. Больше от них ничего не выведает. К этому времени Котовский получил условный сигнал, что бригада готова к выступлению. Он решил, что можно идти к финалу.

Все котовцы это почувствовали. Один за другим нащупывали револьверы, держали пальцы на взводе. Каждый точно наметил первого противника.

Были еще выступления от несуществующего в действительности «представителя махновского полка», от «анархистских организаций Дона и Кавказа». Но их уже слушали рассеянно.

Когда Котовский поднялся для заключительного слова, поднялись и Гажалов, и Борисов, и Данилов, и все остальные котовцы, а тогда встали и матюхинцы, думая, что это будет нечто вроде клятвы, приветствия или присяги. Поднялся и бледный Эктон.

Котовский вместо какой-нибудь речи взмахнул рукой — это был условный сигнал, — крикнул:

— Довольно комедии! Я — Котовский! Расстрелять эту сволочь!

И в этот момент направил дуло нагана в Ивана Матюхина.

Ошеломленные бандиты еще не могли понять, что происходит, и от ужаса оцепенели. Матюхин закрыл голову обеими руками. На столе жалобно звякнули наполненные самогоном нетронутые бутылки. Тарелки и блюда со снедью поползли вместе со скатертью.

Котовский нажал курок — осечка. Снова нажал — осечка! Три раза подряд осечка в такой момент!..

Тогда он отшвырнул наган в сторону, отскочил к стене и начал отстегивать маузер.

Между тем уже прогремел залп, уже упали первые из бандитов. Тамбовский комиссар тоже выстрелил, и Котовский почувствовал резкую боль в плече. В тот же момент тамбовский комиссар дернулся и упал навзничь, забрызгав кровью свежее сено, разбросанное на полу.

Комната наполнилась едким дымом. С потолка сыпалась труха. Со звоном летели стекла из окон. Лампа погасла. Только сальник, колеблемый ветром, слабо мерцал.

Эктон при первых же выстрелах нырнул под стол и переполз на сторону котовцев. В темноте все еще продолжалась стрельба.

— Данилов ранен! — крикнул кто-то в дверях.

— Идите! Они в амбаре! — раздался еще голос.

Котовский, Борисов, Гажалов выбежали на крыльцо. Оказывается, Матюхин, командир Шестнадцатого полка Назаров и еще несколько матюхинских соратников выскочили через окно, заперлись в амбаре и открыли оттуда бешеный огонь.

Во дворе тоже произошла короткая схватка, охрана котовцев приканчивала последних матюхинских коноводов.

Пока в избе шло «совещание», во дворе выполнялась своя работа. Здесь набралось немало матюхинцев-коноводов, которые могли в решительный момент оказать помощь своим жокакам. Но были и котовцы возле своих коней. Котовцы и матюхинские коноводы стали знакомиться.

— Плохо в лесу с кормежкой? — сочувственно спрашивали котовцы.

— Хорошего мало, — нехотя отвечали те.

— И кони-то у вас заморенные. Дали бы им хоть овсеца.

— Откуда его возьмешь!

— Эко дело! А мы на что? Мы, станичники, народ гостеприимный. Тебя как звать-то? Кузьма? Торба у тебя есть, Кузьма? Бери овса сколько душе угодно. Ночь впереди, а начальство, чай, до утра засидится.

И они пошли. Котовец повел этого самого Кузьму за собой. Они вошли в амбар, и матюхинец увидел полные закрома овса. Когда он наклонился, чтобы наполнить торбу, котовец нанес ему удар по черепу. Матюхинский коновод замертво рухнул на землю. Котовец убедился, что коновод больше не встанет, уволок тело в сторону, завалил соломой и вернулся назад.

— Где ж Кузьма наш запропастился? — спрашивали матюхинские коноводы.

— Спать лег, велел в случае чего разбудить.

Другим коноводам котовцы предлагали «сбежать на минутку к тете Дарье и хватить по чарочке самогона-первача, у тети Дарьи он такой, что медведя свалит! Выпьешь — и душа радуется!» И вели двух-трех матюхинцев, и эти тоже не приходили обратно.

— С девками остались посидеть, — сообщали с простодушным видом котовцы.

Так под разными предлогами уводили матюхинских коноводов и поодиночке приканчивали. Наконец во дворе осталось их только трое.

— Где Кузьма спит? Проводи меня к нему, пусть он теперь подежурит, а я вздремну, — потребовал один из троих.

Его охотно проводили, и он тоже как в воду канул.

— Вон оно где, недалече, — показал котовец, — в амбарушке оба спят. Кузьму растолкать не могли, мычит, черт, а встать не встает. Так и отступились.

Кажется, у оставшихся двоих матюхинцев не зародилось подозрения. Они скучали, громко позевывали, наконец даже вздремнули около коней.

Загремели в избе выстрелы, со звоном полетели стекла. Для котовцев не составило большого труда расправиться с оставшимися двумя коноводами.

Опасаясь, что в общей сумятице и его прикончат, Эков старался быть возле Котовского. И теперь он тоже выбрался на крыльцо.

— Никогда ничего подобного не видел, — бормотал он, опираясь на перила и разговаривая сам с собой. — Это что-то безумное! Я не трус, но у меня до сих пор нервная дрожь... И ведь я очень и очень подозревал, что меня используют, а затем безжалостно пристрелят...

— Сдавайтесь! — крикнул Котовский засевшим в амбаре, а сам зажимал рану левой рукой.

В ответ послышались только выстрелы. К амбару, сбоку заложенному поленицей дров, подполз один из бойцов. Чиркнула спичка, весело затрещала солома, а потом разом пламя охватило амбар... Трещали доски. Летели искры. Пламя озарило соседние избы, окрасило в розовый цвет березы, опахнуло жаром окружавших амбар котовцев. Некоторое время двор был ярко освещен. Метались на привязи лошади. Пламя лизало листья ольхи, взвивалось к небу и раскачивалось, причудливо озаряя надвинувшуюся дождевую тучу, уходящую под

пригорок улицу, играя и переливаясь в стеклах соседних домов.

Занялась заря. И уже трудно было понять, где зарево пожара, где сияние возникающего дня.

Выстрелы из амбара прекратились. Чья-то рука пыталась изнутри распахнуть двери, но обгоревшая стена накренилась и наглухо заклинила выход. А потом рухнули пылающие перекрытия крыши.

Никто не пришел из деревни гасить пожар. Пламя сникло. Люди стояли вокруг и смотрели на это очистительное пламя, раз навсегда выжигающее из памяти имя свирепого палача и душегуба.

А за деревней уже защелкали выстрелы, заговорили пулеметы. Началось уничтожение всей банды, растерявшейся без своих командиров.

16

Утром созвали жителей Кобылинки. Комиссар Борисов держал речь. Он объяснил, за что борется Красная Армия, что такое Советская власть, говорил, что никого в деревне не тронут, напротив, еще помогут им наладить трудовую жизнь.

Тогда стали приходиться все новые и новые жители деревни.

— Пороть не будут? — с опаской спрашивали они.

Вскоре мужики сами стали приводить попрытавшихся в банях и погребках бандитов. Еще набралось человек семьдесят.

Из всех матюхинцев спаслись и скрылись в лесу не более пятнадцати человек.

Котовцы выявили имевшихся в деревне безлошадников и передали им полсотни лошадей.

Найден был и доставлен в штаб адъютант Четырнадцатого полка повстанцев Муравьев. Это был страшно перепуганный и изрядно вывалянный в сене мальчик. Вначале он держался гордо и дерзко:

— Все равно вы меня уничтожите, так о чем же еще говорить?

На верхней губе у него золотился пушок. Он, вероятно, ни разу еще не брился.

— От вас зависит, будете вы жить или нет, — ответил ему комиссар, который вместе с Гажаловым допрашивал его.

— Зависит от того, — добавил Гажалов, — что вы поймете свои заблуждения и чистосердечно раскаетесь.

— Одного я не понимаю, — в раздумье сказал Муравьев, когда убедился, что никто его не бьет, не пытается, не собирается по методу Матюхина свернуть ему голову, — одного никак не пойму. Ну, хорошо. Еще можно, хотя и с трудом, представить, что командный состав вашей дивизии так тонко вел игру. Но как же рядовые бойцы? Как могло быть, чтобы не десять, не двадцать — несколько сот человек сумели действовать так согласованно, чтобы они не раскрыли вас, не проговорились... Это непостижимо!

— Вы не только этого, вы многого еще не понимаете, — ответил Борисов, — и такие заблуждения, как ваши, дорого обходятся стране.

17

Арбат весь испещрен маленькими улочками и переулками. Кажется, ни в одном районе Москвы нет столько изгибов и поворотов!

В Серебряном переулке находилась образцовая клиника профессора-хирурга Мартынова. Вот в эту клинику и поступил на излечение Котовский. Ольга Петровна самолично освидетельствовала его рану. Ранено правое плечо с оскольчатый переломом плечевой кости. Ольга Петровна наложила гипсовую повязку и повезла мужа в Москву.

— Вы, конечно, понимаете, — спросил Котовский седого, маститого профессора, — что рука мне нужна?

— А как же! — серьезно посмотрел на него профессор. — Каждому человеку очень нужна рука. Но ведь никто вопроса об ампутации и не поднимает. Будем лечить вашу руку. Приложим все старания.

В сентябре Котовский выписался из клиники, сердечно поблагодарил профессора и отправился в свою бригаду.

Первое, что ждало Котовского в бригаде, — приказ Реввоенсовета республики о награждении за смелую операцию у деревни Дмитровское-Кобылинка Почетным Революционным оружием.

Орденом Красного Знамени за отличия в боях при ликвидации банды Антонова награждены сто восемьдесят пять котовцев.

Котовский назначается командиром Девятой Крымской кавалерийской дивизии имени Совнаркома Украины.

Когда он пришел в штаб и весть о его приезде облетела бригаду, к нему кинулись пожимать руку, приветствовать по уставу и не по уставу или хотя бы просто взглянуть на него все его друзья и соратники, все его орлы, однополчане, а сейчас, в обычное время, простые, сердечные, непритязательные люди:

— Привет, товарищ комдив!

— Григорий Иванович! Наконец-то! Заждались мы тебя тут!

— Приказ-то! А? Сто восемьдесят пять награжденных!

Сейчас в дивизии нужно было навести порядок, чтобы выращивать сознательных, дисциплинированных бойцов. Продолжать борьбу с расплодившимися опять бандами, охранять сыпные пункты, сахарные заводы. Одновременно проводить силами курсантов дивизионной школы топливный трехнедельник. Одновременно налаживать изучение пулеметного дела, организовывать пулеметные сборы, содействовать сбору продналога в подверженных кулацкому влиянию волостях...

— Ничего, справимся! — бодро говорил Котовский, любуясь на своих соратников.

И они справились.

Казалось, что пришло затишье на фронтах, видны впереди просветы. Зарождались мысли о мирном труде, о каком-то новом устройении жизни. Много желаний, планов, намерений было отведено на задний план, «до лучших времен», как говорится. Но вот уже давно не стреляют пушки, не мчится конница в атаку. Значит, можно перевести дух, можно позволить себе роскошь — прости жить?

18

Гарри Петерсон очень волновался, отправляя в поход Тютюнника. Гарри долго беседовал с ним с глазу на глаз. Генерал пыжился, надувал щеки, говорил высокопарно и невразумительно. Это крайне огорчало мистера Петерсона.

— Скажите, генерал, положите руку на сердце: сколько раз вас уже били вместе с вашими отрядами в Советской России?

— То есть как били? — удивился генерал. — Учитывая обстановку и численное превосходство противника...

— Мы вас поддержим. Как вы считаете: поддержка солидная? И ведь вы же, черт возьми, генерал, не правда ли? Например, кто такой Петлюра? По сути дела, дилетант. Или взять Махно — он даже совсем и не военный! Ведь правда? Вы же абсолютно стопроцентный генерал, мы вам даем стопроцентное, опытное, кадровое офицерство, даем медикаменты, деньги, наконец, с вами едут крупные государственные чиновники... Мы на вас полагаемся, генерал! Вы... как бы это сказать... вы зародыш нового украинского государства... Вам понятна моя мысль?

— Хе-хе. Очень остроумно. Непременно расскажу министру Красовскому. Зародыш! Ха-ха-ха! Хо-хо! Пардон, как вы изволили выразиться? Хе-хе! Золотое яичко! А? Которое снесла курочка... — пардон, вы не обидитесь? курочка Петерсон! А?

Генерал залился беззвучным смехом. И смех, и остроумие, и медленная сообразительность — все было подлинно генеральское. И шинель у него была с красной подкладкой. А папаха! Одна его папаха — полная гарантия, что он победит!

— Мы вам дадим Палия, кроме всего прочего, — сказал Гарри. — Это будет один из лучших ваших помощников. И мне нравится его идея: взять псевдоним исторического полковника! Очень остроумно! Палий был в некотором роде символом в свое время!

— Па-азвольте, — наморщил лоб генерал: он был слаб в хронологии, па-азвольте, это в каком веке было?

— В начале восемнадцатого. Этот полковник поднял восстание против Польши за присоединение к России Левобережной Украины. Вот поручик Сидорянский и присвоил его имя! И стал Палием! Чудесенько! А?

— Гм... да. Это хорошо, конечно, что он знает историю. Но для простонародья... гм... да... для простонародья нужно бы что-нибудь попроще. Например, «За трехцветное знамя»... или «Хай живе Украина». Я лично и то затруднился бы ответить, в каком веке действовал этот Палий.

Как раз в этот день Гарри получил от Люси телеграмму: «Шлю горячий поцелуй из горячего Бомбея». Куда ее занесло? И не довольно ли фотографических снимков? Люси в обществе французского фабриканта... Люси купается с известным чемпионом пловцом Лурье. Чтоб ему провалиться с его известностью! Люси на палубе... Люси в гоночной машине...

Гарри получил секретное уведомление, что у Люси роман с одним из агентов, которых он сам же послал, чтобы они присматривали за ее поведением...

Одним словом, лучше не думать об этом.

Гарри снова возвращается к делам. Итак, диверсионный отряд генерала Тютюнника... Состав отряда: Шестая Волынская... Четвертая Киевская дивизии... Они переходят границу, движутся на узловую станцию Коростень, захватывают ее, объединяются с кавалеристами Черного... Отряд растет, превращается в освободительную армию, одерживает одну за другой победы... и мистер Петерсон получает поздравление от своего патрона!..

Так рисовалась вся эта авантюра неумолимо, кропотливо налаживающему новые и новые «сюрпризы», старательному, деловому, усердному руководителю офиса Гарри Петерсону.

Прежде чем двинуть войско генерала Тютюнника, перебросили через границу мелкие группы, которые должны были расчистить путь, подготовить почву для вступления главных сил.

— На вашей обязанности лежит обеспечить ликование народа, — пояснял им Гарри. — Народ не ликует — ликуйте вы. Нужно, чтобы войско атамана Тютюнника встречали с цветами, как освободителей.

— Где тут цветов наберешься! — смутился один из предназначенных для «ликования» атаман Гаврило Хмара.

В ночь на пятое ноября перешли границу и главные силы Тютюнника, снабженные в достаточном количестве пулеметами, артиллерией и антисоветской литературой. У Тютюнника было более тысячи человек, в том числе много кадровых солдат и офицеров. За рубежом спешно готовились новые и новые части ему на пополнение. Кроме того, в некоторых городах и местечках Украины были созданы подпольные белогвардейские очаги, которые могли в нужный момент выйти из подполья.

— Я хочу действовать наверняка, — говорил генерал Тютюнник осаждавшим его газетным репортерам, перед тем как отправиться в поход.

Все было продумано. В обозе этого воинства ехали по обыкновению петлюровские министры — уже который раз! Они должны были немедленно по освобождении хотя бы небольшой территории создать власть, принять, так сказать, бразды правления.

Стояла лютая зима. Время для завоеваний было отнюдь не располагающим. Настроение в войске Тютюнника оставляло желать лучшего. Впрочем, сам Тютюнник был полон

радужных надежд. У него были даже заготовлены собственные портреты-литографии для распространения среди народа. Он говорил, выпячивая грудь колесом:

— А что такое? Многие диктаторы начинали даже с низших чинов! Листовки приготовили? — спрашивал он время от времени. — Листовки большую роль сыграют. Имя Петлюры популярно среди народа. Недаром все наше движение в большевистской печати называют «петлюровщина». Петлюру знают все!

Вообще-то Тютюнник считал, что его собственное имя не менее популярно. Но генерал привык получать щелчки фортуны. Жизнь сложилась совсем не так, как хотелось бы... Но, кажется, все начинает налаживаться. Ему верят в иностранных кругах... Его выделяют...

Настроение его заметно испортилось, когда разведка донесла, что на них движется Девятая кавалерийская дивизия.

— Кто там командует? Что-то я о такой дивизии не слышал.

— Котовский командует.

— «Котовский, Котовский!» — рассвирепел атаман. — Что вы меня пугаете Котовским? По мне хоть рас-Котовский!

Однако немедленно дал приказ — от решительных боев уклоняться, отступить в северо-западном направлении, где такая лесистая местность. Железнодорожные мосты взрывать. Местных жителей снабжать ложной информацией о направлении, взятом отрядом.

19

Снова нашлось дело Котовскому. Мечты о мирном труде и о спокойной жизни пришлось опять отложить. Еще один генерал объявился!

Бригада Котовского следовала по пятам Тютюнника. Тютюнник несколько раз менял направление, забирался в леса, укрывался в оврагах. Кавалерийская бригада передвигалась по глубоким сугробам, по лесным дорогам и просекам.

Тютюнник выжидал, когда придет подкрепление. Он совсем не так представлял свое появление на Украине. Он думал, что его будут встречать с колокольным звоном, преподносить на вышитых украинским крестиком полотняных полотенцах хлеб-соль, что благодарные селяне станут ловить и целовать ему руку, а он будет отдергивать руку и говорить: «Зачем это? Не надо! Я сделал лишь то, что подсказывал мне долг...» В действительности все получалось иначе. Хлеб-соль никто не подносил. Красные наседали. Петлюровские министры мерзли, направляли представителей к генералу и спрашивали, скоро ли он займет хоть какой-нибудь город, где можно было бы расположиться и начать управлять...

Семнадцатого ноября выяснилось, что банда Тютюнника движется лесной дорогой к деревням Большие и Малые Минки.

— Наконец-то, — сказал Котовский. — Наконец-то мы их нащупали!

И хотя все были достаточно измотаны дорогой и уже который день не получали горячей пищи, да и с одеждой дело обстояло плохо, но сообщение разведки вызвало общее оживление: котовцы больше всего тяготились бездействием. Настроение поднялось. Пулеметчики принялись проверять запасы лент, командиры эскадронов оглядывали людей, оценивая их силы и готовность к бою.

В этот день грянул сильный мороз. Лес стоял как заколдованный, опушенный инеем. Вдруг где-то в глубине его раздавался треск. Падала ли это шишка с высокой ели, или лопалась береста, или ветка обламывалась под тяжестью снега... И опять наступало безмолвие, как будто лес задумывался, стоял и вспоминал о летней поре, о золотых закатах, о тихих зорях, о цветении трав...

— Повод! Рысью! — раздалась команда.

И бригада двинулась вперед догонять противника.

Лесная опушка. Болото. Деревня Малые Минки.

Орлик почувствовал шпоры. Котовский повернулся к колонне и на ходу подал команду:

— Тачанки... вперед!

Наконец-то желанные слова! Шестьсот храбрецов понеслись на врага.

На опушке появился разъезд неприятеля. Заметив колонну, круто повернули и скрылись в лесу.

Выслан был взвод под командой Панасенко: нужно было перехватить разъезд, не дать ему предупредить о появлении бригады.

Лес все так же величав и молчалив. Кавалеристы, приняв влево, пропустили мчавшуюся тачанку. Пулеметчики на полном ходу готовили пулеметную ленту.

Между тем противник поспешно выходил из деревни Звиздаль, соблюдая строевой порядок и выставив прикрытие в несколько пулеметов, установленных на розвальнях.

Котовцы полагали, что ударом в лоб пойдут на прорыв, на уничтожение противника. Но Котовский молниеносно изменил тактику. Он отдал команду:

— Полки с фланга в обход!

В лобовую атаку он бросил только эскадрон под командой Панасенко. Теперь даже в том случае, если бы противник не принял боя, он все равно попадал в ловушку: путь отхода Тютюннику Котовский оставил только один — в незамерзающее болото.

Командиры полков не сразу оценили маневр Котовского. Один из командиров не сумел разобраться в обстановке и застрял в деревне. Полк топтался в конном строю, а группа противника била ему во фланг.

Котовский сразу заметил замешательство комполка и сам повел полк. Охватывая фланг главных сил Тютюнника, опрокинув вражеские пулеметы, он двинулся влево к лесной опушке, а комиссару Борису приказал идти в обход справа, чтобы сомкнуть кольцо.

Эскадрон Панасенко дважды бросался в атаку, отвлекая главные силы противника.

Послышалось «ура» с левого фланга врага: это Котовский, меняя рысь на карьер, теснил банду. Тютюнниковские офицеры пытались открыть огонь из оставшихся пулеметов, но было уже поздно. Они еле успели сделать несколько выстрелов и бросить несколько «лимонок».

Командир взвода пулеметной команды уже устанавливал на саях отнятые у врага пулеметы.

Очень злы были кавалеристы, что их заставили столько времени гоняться за противником и лазить по оврагам. Теперь пришло время разрядить эту ярость в жаркой схватке.

Уже многие тютюнниковские солдаты бросали оружие и кричали:

— Да здравствуют паны Советы!

Офицеры швыряли ручные гранаты в упор и последней взрывались сами.

— Шашки в ножны! — гремел мощный голос Котовского.

Но не сразу удалось остановить кавалеристов. Эскадрон Панасенко опрокинул врага, но самого Панасенко уже не было: он был убит наповал.

Бой кончился. Банда была уничтожена.

Во время боя покончил самоубийством один из министров. «Начальник Гражданского управления» Куриленко и «министр торговли» Красовский, так и не побывав министрами, попали в плен — в своих тяжелых дохах, каракулевых шапках, в бурках выше колен.

Вместе с министрами были захвачены секретные документы, относящиеся к переписке Петлюры с некоторыми иностранными государствами, семьсот миллионов карбованцев петлюровских денег и армейская аптека с медикаментами импортного происхождения.

Когда генерал-хорунжий Тютюнник встретился снова с Гарри Петерсоном, он уже почистился, отогрелся с дороги и принял прежний бравый вид.

— Надеюсь, мистер Петерсон, — сказал он, — мои небольшие неудачи не заставят вас усомниться в конечной победе. Войско уничтожено, но для того и войско, чтобы его уничтожали. Можно набрать новое. Важно, что я остался жив и невредим.

Гарри Петерсон, хотя и видывал многое, был несколько озадачен такой постановкой вопроса. Он ожидал, что генерал будет — пусть даже не очень искренне — каяться и

извиняться.

— Набрать новое? — переспросил он голосом, не предвещавшим ничего хорошего. — А куда вы дели министров? Где архивы, черт вас подери?

Генерал был все так же величествен. Он не понимал.

— Хорошо, — прервал свою раздраженную речь Гарри, — теперь поздно говорить об этом. Мы найдем и более тонкие и более эффективные методы борьбы с опасностью коммунизма. Вашей драгоценной особой я больше не смею рисковать!

...Вскоре Котовский выступал в Киеве на партийном собрании Печерского района.

— В то время, — говорил он, — как вы здесь обсуждаете вопросы, связанные с Пятой губпартконференцией, быть может, атаман Тютюнник делает печальный доклад своему патрону. Из тысячи двухсот пятидесяти бандитов, проникших на нашу территорию, едва спаслось тридцать пять человек. Опыт ликвидации этой банды доказал, что часть, крепко сцементированная единым коммунистическим духом, может совершать чудеса. Пусть знают закордонные бандиты, что если попытаются еще раз мешать нашей мирной работе, то их ждет такая же участь, какая постигла банду Тютюнника.

20

Это было так непривычно: тишина. Не грохочут артиллерийские залпы, не строчит, захлебываясь короткими очередями, пулемет, не раздаются раскатистое «ура», не мчитесь во весь опор конница, сверкая клинками.

Тишина.

Сколько ни прислушивайся — не слышно лязгающей, злобной поступи войны. Тихо на границах. Не прячутся в лесных трупобах бандитские шайки. Спокойно работают на полях земледельцы. Торопливо стучат топоры, обтесывая бревна. Нужны доски. Нужны кирпичи. Много кирпичей. Страна отстраивается.

Да, конечно, нужно, чтобы были заводы, электростанции. Но одновременно требуется и другое. Котовский отлично это понимает. Нужно использовать передышку, успеть сделать как можно больше для обороны страны.

Котовский назначен командиром Второго конного корпуса. Он вырастит воинов, политически развитых, физически неутомимых, владеющих и оружием и конем.

Но Котовский еще и кандидат в члены ЦИК СССР, делегат многих съездов и конференций. Он выступает в печати, борется за чистоту ленинского учения, живет полной, многогранной жизнью.

В Умани, где находится управление корпуса, в квартире Котовского всегда людно: соратники, боевые друзья.

Однажды заехал Мосолов, бывший командир одной воинской части, знававший в те годы Григория Ивановича.

— Ничего, ничего, подходяще устроился, — осматривал он квартиру. — А ты ко мне приезжай, у меня-то лучше! Тебе бы еще от корпуса отбояриться. Никак не мог?

— От корпуса? — удивился Котовский.

— Войны пока что не предвидится? Кажется, мы кое с кем даже поторговывать стали? Некоторые дипломаты даже руку нам пожимают?

— Пожима-ают! — неопределенно протянул Котовский. — Но мы-то знаем цену этим рукопожатиям.

И стал с увлечением рассказывать, что делается в корпусе, какие новости в стране.

Вдруг гость без всякой связи с предыдущим вставил, отвечая каким-то своим приятным мыслям:

— А уж каким я квасом тебя угостил бы!

И тотчас стал пояснять:

— Осуждаешь? Квас, говорю, осуждаешь? А я так смотрю: ну, гражданская, ну, скакали на конях, ну, рисковали. Но теперь-то можно пожить для себя, для себя лично? Когда-то

разрешается урвать хоть кусочек махонький для своей потребности?

— Вон ты какой стал, — удивленно произнес Котовский. — Урвать тебе хочется!

— Нехорошо, товарищ Котовский, — зачастил гость, — это уже называется ловить на слове!

— А растить ленинцев? — гневно спросил Котовский. — А строить дороги? А укреплять армию? Кто будет это все делать?

— Тю! Куда повернул! Ну, предположим, мы роем канаву. Для примера говорю. Я и ты выполнили норму. Имеем право на перекур?

— Не имеем.

— Все. Вопросов больше нет. Кстати, мне пора, не опоздать бы на поезд.

— Нет, подожди, — Котовский подошел к нему вплотную. — Я так думаю, произнес он серьезно, строго, со страстным убеждением, — если жить только для себя, то вообще не стоит жить!

И в этих словах был весь Котовский.

Книга вторая ЭСТАФЕТА ЖИЗНИ

Первая глава

1

Когда можно считать, что кончилась в Советской России гражданская война? Когда прозвучал последний выстрел? Самый последний, после которого действительно настала тишина?

Григорий Иванович Котовский часто размышлял об этом, перебирая в памяти отгремевшие бои, минувшие атаки, походы, треск вырвавшихся вперед пулеметных тачанок, сверкание обнаженных клинков.

Кончилась ли гражданская война в тот день, когда генерал Деникин, бросив свою разбитую армию на произвол судьбы, отплыл из Новороссийска на французском военном корабле? Это был март 1920 года. Генерал избегал смотреть в глаза своим унылым адъютантам. А французские матросы еле сдерживали смех, глядя на побитого белого генерала.

Впрочем, может быть, гражданская война прекратилась в тот день, когда в феврале 1920 года Иркутский ревком вынес смертный приговор Колчаку за измену отечеству? Тогда иркутский финотдел принял по описи 5143 ящика и 1680 мешков с золотыми слитками, которые хотел увезти с собой Колчак, прихватив это золото, видимо, на память о любимой родине.

А может быть, считать концом гражданской войны взятие Блюхером Перекопа? Или тот знаменательный день 15 ноября 1920 года, когда французский адмирал прислал на крейсер «Корнилов» барону Врангелю насмешливую радиограмму: «С почтительным приветствием желаю счастливого пути до Константинополя»? Или тот блистательный день 16 ноября 1920 года, когда командующий Южным фронтом Фрунзе телеграфировал Ленину: «Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидирован»?

Но пулеметные очереди продолжали прорезывать тишину, выстрелы из-за угла продолжали выхватывать из советских рядов лучших людей. Котовский при одном воспоминании о гибели боевых друзей и соратников приходил в ярость:

— Дорого вам обойдутся эти злодеяния, господа империалисты! И напрасно стараетесь. Разве можно заставить солнце не взойти над землей! Разве можно остановить половодье, замедлить приход весны!

И так щемило сердце, когда сознавал, что невозвратимы утраты, что больше никогда не придется ему увидеть светлой улыбки комиссара Христофорова, брызжущей жизнерадостности красавца Няги, рассудительного спокойствия папаши Просвирина, буйной отваги Макаренко, верности долгу многих и многих, сложивших головы в жарких схватках с врагом.

— Эх, ребятки, ребятки! — горевал Григорий Иванович. — До чего же мне жаль вашей загубленной молодой жизни! А случись начать все сначала, не задумался бы опять повести вас в бой. Зачем же и жить, если не для блага матери-родины? И разве жизнь измеряется днями? Жизнь измеряется славными делами!

Тут Григорию Ивановичу вспомнился командир полка, который сожалел, что Котовскому не удалось «отбояриться от корпуса». Котовский при одном этом воспоминании потемнел и нахмурился. Брови у него сдвинулись, глаза стали острыми.

— Леля, ты не помнишь, как звали пехотного командира, который хвастался, что у него превосходный квас приготавливают?

— Это Мосолов, что ли? — тотчас откликнулась Ольга Петровна из соседней комнаты. — Как не помнить! Он еще говорил, что вы выполнили на сто процентов заданную норму по защите революции и теперь имеете право на перекур. Мосолов это! Комполка, Павел Архипович Мосолов.

Котовский и сам помнил, что Мосолов. Но у него была такая манера: если ему человек не очень нравился, он нарочно путал, перевирал его фамилию, а то уверял, что и вовсе ее запомнил.

— Мосолов? Ты точно помнишь? А не Мозгляков? Ишь ты! Мосолов! Приезжай, говорит, роскошным квасом угощу. Выполнили, говорит, заданную норму по защите революции. Гадость какая! Вот ведь и командир, и даже коммунист, кажется, а как рассуждает! Леля! Как это у Ленина говорится? Мелкобуржуазная стихия страшнее всяких Деникиных? Верно. Хорошо сказано! Еще кровь после гражданской войны не засохла, а этот Моргунов — или как его? — уже квас заваривает, извольте ли видеть, требует перекура! Права на перекур! Нет, голубчик Москаленко! Коммунистом нельзя быть от сих до сих, только от восьми утра до пяти пополудни, только в приемные часы. Коммунистом нужно быть всегда и во всем, в каждом поступке, в каждом помысле. Иначе ты не будешь коммунистом...

Вот тут и определи, когда кончилась гражданская война!

Ну хорошо. Управились с Петлюрой. Гонялись за бандой Грызло, истребили Гуляй-Гуленко и еще десяток-другой «гуляев». Кажется, все? Можно заняться мирным трудом? Не тут-то было!

Сгинул черный барон, но гуляет по Северной Таврии батька Махно со своим сподручным — анархистом Волиным-Эйхенбаумом. Убийства, грабежи. Вырезывает семьи советских служащих от мала до велика, не щадя ни детей, ни женщин. Нападает даже на штабы советских воинских частей. Одно за другим поступают неутешительные сведения. Вот раздеты догола и убиты двенадцать красноармейцев. Вот ограблен ветврач. Убит каптенармус, везший обмундирование. Еще и еще убийства, еще ограбления. Махновцы делают дерзкие вылазки и прячутся в балках, степях. И где ни копни — в селах, на хуторах — всюду напрягано оружие.

Помнит все передраги этой изнурительной степной войны Григорий Иванович. Задача поставлена — в кратчайший срок очистить от банд Украину. Включились в это дело 1-я Конная, 2-я Конная, 4-я армии. Хорошо поработали богучарцы. Решительно действовала Интернациональная кавалерийская бригада. Вскоре нащупали махновский отряд Каретникова. Загнанный в деревню Андреевка и окруженный со всех сторон Махно использовал небрежность как раз вот таких пентюхов вроде Мосолова и прорвался на север. Для его преследования были созданы специальные летучие отряды. Наконец Махно вынужден дать бой в районе сел Федоровка — Акимовка, разбит, и куда же ему податься? Конечно за кордон! Конечно в Париж! К своим хозяевам!

Вот вы и прикиньте! Всего лишь Махно, а возни сколько? Считать ли эти кровавые стычки продолжением гражданской войны? Считать ли, что гражданская война кончена, если в одну только Тамбовскую губернию понадобилось отправить против эсера Антонова кроме бригады котовцев отряд особого назначения, взвод батареи, полк кавалерии, полк особого назначения ВЧК, автоброневой отряд имени Петросовета...

Редко удается Григорию Ивановичу размышлять обо всем этом в одиночестве. Всегда кто-нибудь да заглянет: тот пришел за советом, этот с жалобой. Приезжали старые соратники по боевым походам. Григорий Иванович успел приглядеться к каждому. Когда он высмотрел, что у мальчика, прибывшего к бригаде еще в Тирасполе — у Кости Гарбаря, — музыкальные способности? Когда заметил, что Миша Марков ведет дневники, и составил для него план будущего? Когда решил послать командира Николая Криворучко на Военные академические курсы?

Григорий Иванович Котовский рассылал по всем направлениям своих кавалеристов. Эти по возрасту демобилизованы, так пусть разводят сады, выращивают сахарную свеклу — скоро стране будет нужно много опытных красных агрономов. Те пусть едут получать образование.

Котовский, как сеятель, разбрасывал семена, как садовник, делал прививку диким яблоням. Пусть растут люди, пусть учатся, много понадобится верных ленинцев для построения социализма.

2

Проводил он в учение и Мишу Маркова с Оксаной. Пришли они прощаться, сели на краешке стульев рядком. Оксана смущается, даже порозовела.

— Залюбоваться на вас можно! — сказала Ольга Петровна. — Такие славные ребята!

Тут уж и Марков растерялся:

— Какие мы славные? Самые обыкновенные.

— Не спорь. Да и время сейчас такое — обыкновенных нет, повывелись.

Оксана и Ольга Петровна накрывали на стол, возились по хозяйству и беседовали, причем попутно Оксана получила множество практических советов.

— Непременно учись, — говорила Ольга Петровна, протирая тарелки, сейчас вся Россия учится. Дорожи каждым часом, ничего не откладывай, чтобы после не жалеть. Кто знает, что еще будет? Всякое может быть.

Мишу Маркова увел к себе Григорий Иванович. Глянул Миша в кабинете Григория Ивановича на огромную, во всю стену географическую карту. Вот она, Советская держава, раскинулась! Дороги, дороги, куда хочешь, туда и поворачивай.

Котовский сразу поймал его пытливый взгляд.

— Хороша? — широким жестом охватил он цветные пятна губерний, голубые извилины рек, кругляшечками обозначенные города и села. — Наша!

В голосе его звучала гордость. Так хозяин показывает свои уголья леса, пасеки, пастбища.

Марков уезжал в Петроград. Он уже знал Москву, поэтому ему не так страшно было ехать в большой незнакомый город. И потом — ведь с ним Оксана!

Котовский говорил и как будто вглядывался во что-то, что еще не ясно видно:

— У капиталистов все держится на необразованности. Когда народ мало знает, его легче обманывать. Что ни набрешь, всему поверят. А нашей стране нужны умные, образованные люди. Я заметил — ты пишешь дневники. Раз у человека потребность записывать мелькнувшие мысли, значит, у него писательская жилка. Учти. Писатель — это знаешь что такое? Это, брат, звание! И ответственность! И труд! Не все выдерживают, а ты выдержишь. Уж если такие походы одолел, значит, луженый, значит, силен.

Котовский задумчиво смотрел на Мишу.

— Конечно, талант нужен. Есть у нас дуболомы, воображают, что в писатели можно

назначать — выдал ему направление, дал справку об уплате членских взносов, — и готов Лев Толстой. А дело-то, видать, посложнее. Тут с кондачка нельзя подходить. Вот если бы по садоводству, я бы тебе все растолковал. А насчет писательства — это пускай с тобой Крутойров опытом делится. В гражданскую он военным корреспондентом разъезжал, тогда мы с ним и познакомились. Занятный человечина. Толковый. Спрашиваю, какие курсы надо кончать, чтобы в писатели удариться? Для этого полагается, отвечает, чтобы жизнь трепала, чтобы живого места на тебе не осталось, чтобы ты сто профессий перепробовал, сто раз умирал, да не умер, и голода хватил и достатка... Я его останавливаю — не довольно ли, а он мне еще двадцать статей перебрал: и что язык свой надо так понимать, чтобы каждое слово факелом горело, и что все знать — все ремесла, все науки, всю историю, знать больше, чем все академики, вместе взятые, больше, чем лесорубы, рыбаки, охотники, сталевары, акушеры, звездоплователи... Спрашиваю — ну а сам-то он так-таки все и знает? Все превзошел? А он мне по-латыни: *scio quod nihil scio* — единственное, что знаю, — что ничего не знаю. Дело, говорит, в том, что все это яйца выеденного не стоит, если нет таланта. Спрашиваю, а что такое талант? Этого никто не знает, и если, говорит, кто-нибудь будет уверять, что знает, врет, собачий сын.

— Может быть, критики знают? — робко спросил Марков.

— Критики? Едва ли.

— И вы, Григорий Иванович, не знаете? — совсем упал духом Марков.

— Ну, я-то знаю. Талант — это от большой души. Как пение птицы. Только и талант ни черта не стоит, если направлен во зло человеку. Талант предназначен, чтобы правде служить, революции. А если талант хитрит, виляет, на сторону мировой буржуазии переметнется — будь он проклят такой талант, пропади он пропадом. Понятно?

— Конечно понятно. Если, например, живет в каком-нибудь городе изобретатель. Думает-думает — и для смертной казни электрический стул изобретет...

— Вот-вот! На нем на первом и надо этот стул испробовать!

Мише Маркову пришлось по душе предложение Котовского, и он собирался еще что-то добавить остроумное, но тут раздался голос Ольги Петровны:

— Мужчины! Долго вы там будете тары-бары растабаривать? Им на поезд скоро, а я их даже еще не покормила!

Когда настал час расставания, Миша почувствовал, что у него что-то зацепило в горле. И как ни храбрился, робость его охватила, так бы, кажется, бросился к мамаше котовцев Ольге Петровне и спрятался у нее, как маленький, в коленях от всех бед.

Опять — и уже в который раз! — все летело кувыркком, все рушилось, ломалось. Ведь как ни воевал Миша, как ни щеголял отвагой и выправкой, в душе он все еще был юнцом и постоянно чувствовал спокойное руководство и опору, всегда знал, что рядом — Котовский, что Котовский не ошибется, Котовский выручит, Котовский — и командир, и отец родной, и начальник, и воспитатель — изберет самый правильный путь и поведет по нему.

Марков не мыслил себя вне рядов котовцев. Он вжился в этот простой и трудный солдатский уклад, стал настоящим конником и полюбил товарищей сильных, честных, отважных людей. И коня полюбил, понял его нутром, сноровкой, добился того неизъяснимого состояния, когда конь и всадник нераздельны, составляют одно целое, молниеносно принимают решение и каким-то особым чутьем избирают лучший для данного случая поступок. Овладел Марков и строевым делом — слитностью со всеми всадниками, умением по первому еле уловимому знаку начальника точно и согласованно выполнить команду. Все эти навыки стали второй натурой Маркова, его существом, плотью и кровью. Сможет ли он примениться к новым условиям? Завершалась еще одна полоса жизни, а впереди все было так неясно!

И почему это жизнь так устроена, как будто все время перебираешься в ледоход через широкую реку? Лдины плывут, сталкиваются, крошатся. Еле успеешь прыгнуть на новую льдину, как та, на которой стоял, дает трещину, расплзается и исчезает бесследно в бурлящей пучине, как будто и не было ее никогда.

Давно ли это произошло, когда они с отцом с лихорадочной поспешностью собрались и ушли из дому? На всю жизнь осталось в глазах видение: в распахнутой двери силуэты двух женщин. Ветер развеивает их волосы, треплет подола. Женщины стоят неподвижно. Это мать и сестра Татьяна. Жалость, страх, смешанные с отчаянной решимостью, овладели тогда Мишей. «Прощайте! Мы уходим! Дорогая сестренка! Милая мама!» — кричало все его существо. Но они молчали — и он, и отец. И шли все дальше от дома — навстречу ветру и неизвестности.

В тот день кончилось лазоревое детство. А детство бывает только раз. В один миг разлетелось вдребезги глубокое детское убеждение, что домашний мир неподвижен, нерушим, что мама, сестренка, пятнистая кошка Марта, пыльная улица в железнодорожном поселке Кишинева и пыхающий дымогарной трубкой отец — все это установлено раз и навсегда, на вечные времена, как Птоломеева система, что все это создано специально для Миши, чтобы ему было удобно и хорошо.

Потом и с отцом разлучились. Тоже как-то внезапно. Ушел он поспешно, было даже неловко, что он уходит из отряда. Ушел — и как в воду канул. Был отец — и нет его. А вокруг все безмятежно, как будто ровным счетом ничего не случилось, как будто бы Миша не расстался с отцом, как будто бы никто и не уходил. По безучастному небу все так же плывут улыбчивые облака. Так же, как всегда, рождаются студёные рассветы, так же добрые деревья машут ветвями утомленным путникам, такие же непоседливые люди проходят и проходят мимо. А отца нет... Где он? Жив ли он? Хуже всего неизвестность. А дням какое до этого дело? Бегут как ни в чем не бывало!

Хорошо быть составной частью чего-то незыблемо прочного. Котовцы. Раз навсегда установленный уклад. Могут быть раненые, могут быть убитые, но это ничего не нарушит. Так же всегда на своем месте будет командир, так же стройны ряды, такие же будут привалы и водопой, такие же сигналы в атаку...

И вдруг теперь все изменилось, все исчезло, все растаяло, как клоч дима на пронизывающем ветру. Марков оказался один, сам по себе. Все нужно решать самому. Страшно и непривычно!

Григорий Иванович смотрит понимающими грустными глазами: разлетаются соколы!

— Адрес написан на конверте. Письмо хорошенько спрячь. Да чего там, найдешь и без адреса, не маленький. Язык до Киева доведет. Едешь ты к настоящему человеку. Писатель. Книжки пишет. Неужели ты его не видел, когда он к нам приезжал? Тогда прошел слух, что бригаду расформируют, что бригада не нужна, а он после такую статью накатал — любо-дорого! Вознес до небес, а злопыхателей уж так раздраконил, только перья летели. Не помнишь? Небранный такой. В очках. На всякий случай запомни фамилию: Крутояров, Иван Сергеевич. А то письмо потеряешь — будешь как в лесу по Питеру бродить. Большой город, я там бывал. Знаю.

— Зачем же? Я не потеряю...

— Значит, Оксана, договорились: пиши сразу же, как доберетесь до места, — в свою очередь наказывала Ольга Петровна. — Все запомнила?

— Все, Ольга Петровна! И что улицы надо не дуже швидко переходить, сначала подывись влево, потом подывись вправо... и что домашнюю хозяйку из себя не строить, получить специальность... и что, если яйца всмятку варить, надо досчитывать до ста и вынимать... и что обязательно в Эрмитаж сходить...

— Забудешь что — в письме спрашивай. Постой, хоть поцелую тебя! И тебя, Миша! Не робейте, ребята!

— Да, да! Не робеть! Не хныкать! Марш-марш! Колонна — по два! В атаку! Ура! Фамилию запомнил? Крутояров!

Миша Марков подхватил несложную поклажу, взял за руку Оксану, и они пошли.

И долго еще стояли на крыльце и махали им родные, близкие, дорогие комкор Котовский и Ольга Петровна.

Вокзал был рядом. На перроне было безлюдно.

— Как же мы теперь? — спросила Оксана, растерянно озираясь.
— Держись за меня! — ответил Миша, храбрясь. — Была команда — не хныкать. Вопросов нет?

3

Можно ли без песни побеждать? Можно ли без песни вообще жить? Песня сопровождала бойцов Котовского во всех походах. Почему-то особенно полюбилась всем русская народная песня «Скакал казак через долину». Ее пели на привале, после горячего боя, после ратных подвигов. Пели — и как рукой снимало усталость, словно после глотка студеной колодезной воды. Пели — и молодела душа, остывали горячие головы. Хорошая эта песня, она стала своеобразным гимном котовцев. Было и еще много хороших песен, так же как и много хороших, за душу хватающих голосов.

Бывало, как зальются, как уйдут в верха запевалы — будто за сердце схватят и не выпускают до последнего словечка песни.

Савелий мастер был запевать, а песен знал без счету. Каждый, кто пришел в бригаду, принес и щедрой рукой подарил всем на радость свои превосходные песни, а ведь нет больше нигде на свете таких душевных, стройных, то задумчивых, то беспечно-удалых песен, как в нашей стране. Савелий знал песни, какие любят в пензенских деревнях, знал и раздольные волжские, и песни Приуралья. Где Савелий, там и прибаутки, и раскатистые взрывы смеха, около Савелия любят собираться.

— Запевай, Савелий, время дорого.

— Пели, пели, да есть захотели, — отговаривался Савелий, но больше для фасону, чтобы покуражиться.

— Хоть одну, дядя Савелий, еще в котлах не закипело.

— Да ну вас, что вы меня, старика, подбиваете, вон у вас молодежи сколько, покличьте Ивана...

— Ивана-а? Он поет как нищего за суму тянет! А ты у нас — райская птичка!

Савелий польщен. По его лицу видно, что выбирает, с которой песни начать. Тут уже кружок теснее собирается, все настораживаются, все готовы подхватить. А Савелий зажмурится, сморщится, а как откроет глаза — это уж другой Савелий, стяхнувший с себя все мелочи, отодвинувший все пустые заботы, Савелий — вдохновенный певец.

А все вокруг заулыбаются, лица засветятся — вот она, крылатая песня, с ней можно идти — не споткнуться, сражаться — не отступить, работать — не умяться.

Не кокуй-ко ты, моя кукушка,
Не кокуй-ко ты, моя рябая!

заводит Савелий. И сразу дрогнет, сожмется сердце, казалось бы, и песня не печальная, а слезы навертываются на глаза — от восторга ли, от потрясения ли.

Савелию только начать. Закончил одну, наперебой заказывают другую. Сначала пристанет к пению несколько голосов, потом больше, больше. Стройный, согласный хор сливается в трехголосье:

Прощай, сторонушка родная,
Прощайте, милые друзья,
Благослови, жена, не знаю
Иду на смерть, быть может, я...

И после этой протяжной — задорная, разухабистая:

Как во поле-полюшке

Елочка стоит,
Елочка стоит
Кудреватая...

Давно уже пора на ужин. Нехотя расстаются с чародейством, с песенным волшебством. Но впереди целый вечер. А тут присоединятся к любителям пения украинцы... А кто встречал хоть одного украинца, который не знал бы множества изумительных украинских песен и не владел самым превосходным голосом? Они научили бойцов петь «Ой у лузи», «Реве та стогне», научили песне о вдове, которая «брала лук дрибненький», и о той дивчине, которая «в синях стояла, на козака моргала». А там затянут кавалеристы-молдаване свои протяжные дойны...

Из поездки в Петроград, куда ходили бить Юденича, котовцы привезли новые песни, которым научили питерские рабочие, сражавшиеся в одном с котовцами строю. Полнобилась с тех пор бойцам песня про кузнецов, чей дух молод, «Смело, товарищи, в ногу», с большим чувством, стройно и торжественно исполняли «Интернационал».

И где бы ни заводили песни, везде непременно оказывался юный пулеметчик Первого кавполка, общий любимец Костя Гарбарь.

Он старался быть достойным звания котовца. Выполнял важные поручения, пробираясь в тылы врага. Однажды попал в плен, не растерялся, бежал и принес сообщение о расположении войск белополяков, за что был награжден орденом Красного Знамени. Он уже не ограничивался тем, что подносил патроны. Он стал пулеметчиком Первого кавполка Отдельной кавалерийской бригады Котовского и участвовал во всех боях.

Но вот кончался бой, и Костя снова превращался в застенчивого паренька, со звонким голосом, удивительным слухом и впечатлительной душой. Ольга Петровна часто видела, как он слушал пение птиц, не перестававших петь даже в те грохочущие годы. Костя испытывал неизъяснимую любовь к пернатым. То он бросал крошки голубям, галкам, воробьям где-нибудь на задворках деревни, то мастерил скворечник... А когда в освобожденном от вражеской своры городе политотдел бригады проводил митинг, устраивал спектакль, тут уж никогда не обходилось без живейшего участия Кости.

Заветной мечтой Григория Ивановича было создать духовой оркестр. А время было такое, что не до оркестров, да и откуда было взять необходимые инструменты, где добыть музыкантов?

Григорий Иванович распорядился, чтобы выискали среди бойцов таких, кто умел играть на чем-нибудь.

— Пусть он хоть на балалайке «Барыню» может отколоть, — объяснял Котовский, — или даже совсем ни на чем не играет, но склонность у него к музыке есть, слух есть!

Второй приказ — бережно собирать музыкальные инструменты, какие попадутся среди трофейного имущества.

— Что попорчено — починим. Что непригодно — выбросим, — говорил Котовский командирам полков и эскадронов. — А музыка вот как нам нужна! Музыка дух поднимает, музыка — это знаете какое великое дело! Там, где человек давно бы свалился без сил, под музыку он промарширует от востока до запада.

И ведь добился своего Григорий Иванович! Уже в двадцатом году — на что трудный год! — в бригаде появился оркестр, свой великолепный оркестр. В нем было человек четырнадцать — пятнадцать музыкантов. Когда они принимались с усердием за работу, получалось очень внушительно: стекла дрожали.

Устраивали иногда и спектакли. Обычно на спектакль приходили и местные жители, и бойцы. Перед началом оркестр играл революционные песни, особенно хорошо получалась «Варшавянка». Исполнялись также старинные марши. Начинался митинг с вопроса о текущем моменте, потом выступали ораторы по темам: «Что такое капитализм», «О бюрократизме», «За что мы боремся». После выступлений пели «Интернационал», а затем шла пьеса «Червонный огонь», или «Мартын Боруля», или «Сватанье на Гончаривцах».

Костя был одним из самых усердных участников шумового оркестра и хоровой декламации «По рельсам дней». Он старательно выговаривал:

Звуков гроза!
Враз тормоза
Грохнули, грянули,
Дрогнули, прянули
В даль! — говорят.
В путь! — говорят.
В даль! В даль! В даль!

По окончании спектакля непременно устраивались танцы, и тогда оркестр, к полному удовольствию местных красавиц, старательно отбивал такты падеспани, краковяка, играл вальсы «На сопках Маньчжурии», «Оборванные струны» и в заключение при шумном одобрении присутствующих наяривал русскую «Барыню» и украинский гопак.

Как любил свою «музыку», так он называл оркестр, Григорий Иванович Котовский! Как гордился своим детищем! Иногда он сам присоединялся к оркестрантам и играл на кларнете. Лицо его делалось серьезным, сосредоточенным. А музыкантов до того воодушевляло участие в оркестре командира, что они буквально творили чудеса. Играя на слух, они вскоре разучили попури из оперы «Запорожец за Дунаем» и фантазию «Колосья» на темы русских народных песен.

— Слыхали? — спрашивал Котовский. — Орлы! Даже из оперы могут! Квалификация!

И тут же отдавал строгое приказание:

— Выдать музыкантам все как полагается по форме, чтобы были красавчиками, — ведь музыканты у всех на виду! А вы, музыканты, постарайтесь, чтобы ремни были всегда подтянуты, обмундирование аккуратно пригнано, чтобы трубы блестели ярче солнца! Понятно?

Затем Григорий Иванович рассудил, что оркестру не пристало ездить на разномастных лошадях. Подобрали одинаковых белых коней, один к одному, и Котовский часто проверял, хорошо ли у них расчесаны гривы, ровно ли подстрижены хвосты.

— Чтобы картинка была! Лошадь человеку — крылья! Запомните. А музыка — она поднимает человека вверх, благородные чувства рождает.

После одного концерта Григорий Иванович вызвал к себе Гарбаря, обнял его за плечи:

— Молодец, Костя! Здорово у тебя получается! А я все смотрел-смотрел на тебя и думал — а ведь у парня талант, у парня музыкальные способности обнаружили, нельзя, думаю, зарывать в землю талант, довольно стыдно будет зарывать талант!

Костя слушал, похвалы ему нравились, но дальнейшие слова командира заставили его насторожиться.

— Так вот, Костя. Я все взвесил, все обдумал и считаю, что настало время тебя в люди выводить.

«В какие люди? — встревожился Костя. — Разве может быть на свете более почетное место, чем бригада Котовского, дивизия Котовского, кавалерийский корпус Котовского?»

— Мы должны, — продолжал Котовский, ласково разглядывая Костю, любуясь им, — мы обязаны помочь тебе стать хорошим, образованным музыкантом — таким, чтобы ты вполне изучил это дело. Что говорить, приятно послушать «На сопках Маньчжурии», хорошо этот вальс звучит, любят его. Но это еще узенькая тропинка у подножия высоченных утесов. Давай, Константин Андреевич, брат неприступные выси, крутые подъемы. Ты мой питомец, и я позабочусь, чтобы ты серьезно занялся музыкой, чтобы ты стал настоящим музыкантом.

Этот разговор расстроил Костю. Не подшутил ли над ним командир? Не мог же он на самом деле посоветовать учиться музыке? И кому посоветовать? Пулеметчику! Бойцу, прошедшему все военные дороги! Коннику Котовского!

И назавтра Костя размышлял о странных речах командира:

«Главное, еще называет меня по имени-отчеству! Никто еще никогда не называл меня так!»

Думал, думал, да и позабыл об этом разговоре. Вдруг вызывают в штаб.

Явился. Порядок знает.

А в штабе ему сообщают, что по приказу командира корпуса Константина Гарбаря переводят в музыкантскую команду.

Кровь прилила к щекам Кости. Он почувствовал себя оскорбленным, униженным, как будто его ударили по лицу.

Выскочил из штаба и даже не может сообразить, в какую сторону ему надо. В музыкантскую команду! Его, строевика! Его, бесстрашного пулеметчика! Да за что же это, за какую провинность? Что он, обозник какой-нибудь, тыловик, чтобы его в музыкантскую команду зачислять?!

В полном расстройстве чувств, весь опустошенный, окаменевший, шагал Константин Гарбарь по улице. Удар казался ему тем более болезненным, что исходил от обожаемого командира, которому он беспредельно верил.

Хорошо же! Он службу знает. Приказ есть приказ, и надо его выполнять.

Явился, как полагается, к краскому Сорокину и отрапортовал четко, бесстрастным голосом, что «прибыл в ваше распоряжение такой-то, такой-то боец-пулеметчик Первого кавполка». Отрапортовал, но голос зазвенел и осекся, подступили непрошенные слезы. Это привело в еще большее отчаяние: не хватает, чтобы разревелся, как мальчишка!

Но встретил ласковые, умные, чуть улыбающиеся, все понимающие глаза капельмейстера полка Ивана Дмитриевича Сорокина. Казалось, он проникает в самые сокровенные мысли, участливо расспрашивая Костю о его родных, о его детстве, рассказывая о себе:

— Вы знаете, Гарбарь, мне так посчастливилось: окончил в Петрограде класс военных капельмейстеров и получил назначение в такую прославленную воинскую часть! Я повстречал здесь истинных ценителей музыки. Впрочем, музыку нельзя не любить. Мне очень понятны слова гениального Глинки: «Музыка — душа моя». Как это верно!

Сначала Гарбарь слушал капельмейстера насупясь. Очень боялся, что его начнут утешать или уговаривать. Но Иван Дмитриевич был чуткий человек. Главное, он на самом деле любил музыку самозабвенно, даже исступленно, и невольно заражал этой любовью других. Вместе с тем он был застенчив и скромн до чрезвычайности. Скажи ему кто-нибудь, что он человек большой культуры, что он редкостный знаток музыки, особенно русской, — Иван Дмитриевич переполошился бы, замахал руками:

— Да ну вас совсем! Какой я знаток! Какая там культура!

Прошло немного времени, и Гарбарь перестал стыдиться своего нового назначения, понял, что не зря Котовский откомандировал его в музыкантскую команду. Теперь Константин Гарбарь недоумевал, как он мог обидеться на то, что его сделали избранником, поверили в его талант?

Начались настойчивые, упорные занятия. Сорокин учил Костю игре на трубе. Он был требователен, не довольствовался малым, не любил делать кое-как, лишь бы что-нибудь получалось. Он хотел, чтобы музыкант не только овладел инструментом, но и глубоко знал свое дело. Поэтому старался привить любовь к музыке, к народной песне, стремился расширить кругозор оркестрантов. Костя узнал от учителя множество таких вещей, о каких раньше не имел и понятия. Костя занимался элементарной теорией, изучал историю музыки. И удивлялся: как же он мог жить, ничего этого не зная?

— Давно известно: с тех пор как возникло различие между скотом и человеком, — надо быть человеком, а не скотом, — говаривал Иван Дмитриевич. — Но если кто-нибудь упрямится? Мне, товарищи, крепко запомнилось чье-то утверждение, что только для злых людей не существует песни. На самом-то деле, ну как же без песни? Вы только подумайте! Наши лучшие люди — революционеры, большевики — уж, кажется, боролись, рисковали жизнью, томились в тюрьме — вроде бы не до песен. Ан нет! Я близко знаком с одним

человеком, он вместе с Лениным, в тех же краях отбывал ссылку. Так он рассказывал: только соберутся, бывало, вместе, там, в сибирской глуши, непременно поют. Поют «Смело, товарищи, в ногу», «Замучен тяжелой неволей», «Вихри враждебные»... Это так естественно и понятно: песня душу возвышает, песня крылья дает! Кстати, знаете ли вы, кто песню «Смело, товарищи, в ногу» написал? Не знаете? Так я вам расскажу. Она написана в Бутырской тюрьме, написал ее Леонид Петрович Радин, а исполнена она была впервые самими политическими, когда их вывели из Бутырки, отправляя в этап. Да, друзья, песня — это великое дело. И какие прекрасные песни создал наш народ!

Иван Дмитриевич смущенно замолк.

— Извините меня, пожалуйста. Я немного увлекся. Но ведь есть вещи, о которых нельзя спокойно говорить. Продолжим занятия.

Но извинялся он напрасно. Слушали его всегда с удовольствием. За короткое время оркестранты поняли своего учителя и привязались к нему. «Красный маэстро» — любовно называли его.

А Костя Гарбарь вступил в волшебный мир чудес. Что ни день — новые откровения. Все наводило на размышления, все изумляло, заставляло по-новому смотреть не только на музыку — на всю жизнь. Все повергало в трепет и смятение. Ведь у Кости фактически не было детства. Сразу солдат, партизан, сразу — бои, трудные переходы. Все сразу, вдруг, без интервалов, без постепенных перемен. И учиться не оставалось времени. Теперь приходилось наверстывать.

И Костя нажимал. Хлынули в его сознание широким потоком самые разнообразные факты, обобщения, теории. И все необходимо было усвоить. А чего можно достигнуть без труда?

Костя целый день ходил как в тумане, узнав, что Петр Ильич Чайковский за двадцать восемь лет композиторской деятельности создал 76 опусов, 10 опер, 3 балета. Да кажется, чтобы написать одну такую оперу, и то не хватит самой длинной человеческой жизни! И легко сказать: опус. Чего стоят такие «опусы», как шесть симфоний! А концерты?!

Когда Костя, поехав с Иваном Дмитриевичем в Москву, впервые услышал музыку Чайковского в отличном исполнении, он даже заболел. Это было настоящее потрясение. Были они на опере «Евгений Онегин». Костя не поверил Ивану Дмитриевичу, что «Евгений Онегин» только через пять лет после создания попал на большую сцену, что «Руслан» Глинки после первой же постановки был снят с репертуара на пятнадцать лет, что «Каменный гость» Даргомыжского был встречен враждебно и публикой и критикой и тоже снят с репертуара, что так же не повезло и «Борису Годунову»... Все это Костя слушал недоуменно.

Он был зачарован, он бредил музыкальными образами, мелодиями. Иван Дмитриевич, счастливый, что его ученик так жадно впитывает впечатления, рассказывал о «могучей кучке», о том, что Алябьев написал более ста романсов, Варламов — более двухсот пятидесяти и что многие романсы Глинки устарели из-за безвкусных текстов. Иван Дмитриевич рассказывал и сам то и дело напевал. Или подбегал к пианино и наигрывал отрывки из арий, романсов... И трудно сказать, кто больше увлекался — учитель или ученик.

Так вот и шли дни. И шла учеба. И складывались определенные вкусы, определенные взгляды. Константин Гарбарь становился взрослым. А Котовский, оказывается, глаз с него не спускал, был в курсе всех его переживаний и успехов.

Котовский не только сам присутствовал на концертах и слушал выступления духового оркестра, давно уже перешедшего от незамысловатых полечек к исполнению серьезных вещей. Котовский настоял на том, чтобы послушали его «музыку» Михаил Васильевич Фрунзе и Александр Ильич Егоров. Котовский знал, что Егоров женат на пианистке и сам отлично разбирается в музыке. Во Фрунзе Котовский ценил опытного полководца, образованного марксиста, но знал также о его пристрастии к литературе, о его дружбе с Фурмановым, о его любви к пению.

В этот вечер оркестранты страшно волновались. Начиная концерт, их красный маэстро, бледный, с выступившими каплями пота на лбу, прошептал:

— Ну, ребята, не подкачайте! Сегодня у нас такие слушатели... Душу выверните, но покажите, на что вы способны!

Концерт понравился. Фрунзе задумчиво сказал:

— Какие неисчерпаемые запасы вдохновения таятся в народе! И какая же прекрасная жизнь будет на земле, когда коммунистическое общество даст возможность каждому выявить все свои способности, всю красоту души!

Егоров, прищурясь, молча слушал, что говорит Фрунзе. И только после долгой паузы вздохнул:

— Казалось бы, отвоевали — и дыши полной грудью. Так нет же, и сейчас не затихают бои. Я сужу по своей работе в Коллегии военной промышленности. Ох трудно! Это вам не шашки вон, в атаку марш! Там враг виден сразу — вот он весь, руби. Здесь его нужно еще распознать, еще решить, как с ним поступить дальше, действовать ли убеждениями или гнать взашей. Сложное время.

Все трое — Котовский, Фрунзе и Егоров — стояли возле самого оркестра. Фрунзе был коренаст и внушителен, широкоплечий Егоров с открытым русским лицом был ему под стать, а Котовский, словно отлитый из бронзы, складный и сразу привлекающий к себе внимание, дополнял эту живописную группу.

Вскоре после этого памятного для Гарбаря дня его вызвал Котовский.

— Поздравляю, товарищ музыкант! — воскликнул Котовский, как только Гарбарь появился в дверях. — Теперь перед тобой будет открыта широкая дорога. Иди и не робей! Отправляем тебя в Москву, все уже согласовано и утрясено. Будешь слушателем военно-капельмейстерского класса. Дальше сам посмотришь, что и как. Мой же наказ один: всегда находишься в гуще сражений!

4

Что касается Савелия Кожевникова, то тут вопрос был ясным. Савелий благополучно добрался до своей Уклеевки — деревни на шестьдесят дворов, раскинувшихся на косогоре.

Это случилось в феврале, а февраль — бокогрей, широкие дороги, он предчувствует весну, солнечные деньки, цветущее раздолье. Встретили Савелия с почетом: герой! Ни одной избы не миновал Савелий, у всех откушал хлеба-соли. И все приговаривал:

— Наша кобылка ни одних ворот мимо не проедет, все заворачивает!

А кругом братья да сватья, одни близкие, другие дальние родственники, что называется, нашему огороду двоюродный плетень. Блинами потчуют. Савелий давно блинов не едал, но знает, как макать блины в сметану:

— Где блины, там и мы! Накладывай!

Однако видит: живет народ не густо. Совсем разорен, землю-то засеяли осколками да минами — пустырь! Все надо начинать сначала. Спасибо товарищу Ленину: продрозверстку заменил справедливым натуральным налогом. А то отощали до последней крайности: день не варим, два не варим, день погодим да опять не варим. И это где? В Пензе, испокон веку славившейся урожаями! Где яблони и вишни цветут!

Савелий за годы скитаний чудес наслышался, повидал жизнь. Рассказывает землякам:

— Теперь все по-новому будет. Не так, как в старину, все по приметам да на глазок: ранний сев ярового начинали с Юрия, средний — с Николы, поздний — с Ивана, огурцы сажали на Леонтия-огуречника, а овес полагалось сеять, когда босая нога на пашне не зябнет. Или взять, к примеру, садовое дело. В наших краях выходили в полночь потрясти яблони — это считалось для пользы урожая. А какая в том польза? Дело будет вернее, коли руки приложить, а поработаешь до поту — так и поешь в охоту, и будет чего поесть.

Правильно рассуждал Савелий, одного не учел: безлошадной стала Пензенщина. А без лошади какое хозяйство? Слышать, тракторы будут выданы, а до той поры хоть пропадай.

И вот надумал Савелий написать Котовскому, слезно просить о подмоге.

«Дорогой отец и товарищ командир! — писал Савелий. — Вел ты нас в бой, учил

побеждать, а теперь пришло время одерживать победы над недородом. Мелка река, да круты берега. Ответишь отказом — не обижусь, а только вся надежда на тебя. Мы знаем, что всегда ты откликнулся на людское горе. Без коня, сам знаешь, трудно поправиться. На чужом коне в гости не ездят, а без коня и одной борозды не проведешь. После полного разорения мы вроде как погорельцы...»

Письмо было обстоятельное. Савелий рассказывал о всех деревенских делах, полный отчет представил своему любимому командиру. Сообщил, что межи в Уклеевке уничтожили, хозяйевать будут по-социалистически, что отстраиваются, и лес в сельсовете уже отпущен, и что он, Савелий, по поручению схода передает красному командиру революционный привет.

Много писем приходило в Умань командиру корпуса. Писали со всех концов и по самым разнообразным поводам. Бывшие бойцы и командиры бригады просили взять их обратно в корпус. Обращались и с другими просьбами. Один хлопотал, чтобы ему поставили протез. Другой благодарил за материальную поддержку. Писали Котовскому с большой любовью, были трогательны и искренни их обращения к «дорогому, незабвенному нашему папаше, командиру славного 2-го кавкорпуса».

Ни одно письмо не оставалось без ответа, ни одна просьба не оставалась неудовлетворенной. Ольга Петровна не раз слышала, как Котовский наказывал:

— Командир — воспитатель своей части, он служит примером для массы не только на службе, но и в личной жизни. На нас смотрит народ.

Ольга Петровна думала:

«Эти слова следовало бы поместить в служебном кабинете каждого начальника, каждого командира, каждого руководителя — все равно, на военной он службе или на гражданской».

Не раз Ольга Петровна замечала, что высказывания Григория Ивановича содержат ценные мысли. Вот только нет времени записывать. А жаль. Особенностью Котовского было умение схватывать самое основное.

«Может быть, — думала Ольга Петровна, — сказывается привычка давать команду — команда должна быть предельно ясна и лаконична. Может быть, играет роль и то обстоятельство, что он всегда с народом, с простыми, простосердечными людьми. С ними нельзя хитрить, нельзя говорить уклончиво, туманно. С ними либо молчи, либо руби правду-матку».

Получив письмо от уклеевского председателя, Котовский тотчас справился, нет ли в корпусе лошадей, ставших непригодными к боевой службе. Такие лошади нашлись.

— Если нашлись лошади, — решил Котовский, — то должно найтись и зерно «Рассвету» для посева!

Савелию сообщили, что он может приезжать за подарком. Он приоделся, расчесал бороду и приехал важный, представительный, в сопровождении приемочной комиссии, состоящей всего из двух человек, как он отрекомендовал их, — два брата Кондрата.

От зерна долго отказывался, а когда уломали, стал вымерять, прежде чем дать расписку в получении:

— Без меры и лаптя не сплетешь.

Григорий Иванович пригласил всех к обеду. Тут опять пошли савельевские побасенки да прибаутки — одна другой занятнее. Усаживаясь за стол, он заявил, что, сколько ложка ни хлебай, не разберет вкуса пищи. А когда его земляки стали из вежливости отказываться, Савелий посоветовал:

— Не поглядев на пирог, не говори, что сыт.

Но прибаутки прибаутками, а о делах успел поговорить и горячо благодарил за помощь.

Котовскому было приятно видеть, как человек стал иным только потому, что при своем основном деле. Повадки другие, сознание, что отныне положение уравнилось: Котовский над корпусом, а он, Савелий, над урожаем командир.

Однако за степенностью просвечивали, как солнечные зайчики сквозь облачную хмурь, прочная любовь и уважение.

— Теперь уж вы к нам наведайтесь, — говорил он, — не погнушайтесь. Не все такая сермяжная жизнь будет, уже поправимся. Кабы не проклятая война, давно бы расцвела Расеюшка лазоревым цветом на свободе.

А потом как бы по секрету добавил:

— Мое соображение такое: они, подлюки, — те, кто с интервенцией лезет, — для того нас и ворошат, для того нас и от дела отрывают, чтобы после Советскую власть охаять: вот, мол, смотрите, люди добрые, ничего у них из социализму этого не получается! Ай неправильно говорю? Скажи?

— Не пройдет у них этот номер! — жестко ответил Котовский. — Мы пушечки-то приготовим, чтобы не повадно было нос к нам совать.

— Это-то да! Свинье в огороде одна честь — полено...

— Пушечки приготовим, а тем временем и по хозяйству сообразим. Такая расчудесная жизнь у нас пойдет, что любому-каждому станет ясно — вот какое устройство надобно для всех на земле. А что капиталисты злобятся — так им на роду это писано.

— Всю ночь собака на луну пролаяла, а луне и невдомек, — поддакивал Савелий.

— Луна далеко, а мы и близко, да не укусишь.

Погрузили в вагоны лошадей, которых корпус передавал коллективу «Рассвет». Савелий распрощался, прослезился напоследок:

— Многих ты человеком сделал, дорогой наш командир! Ох многих!

Забрался в вагон, вспомнил что-то и выпрыгнул снова на платформу.

— А что, правда или нет, будто международная буржуазия жалуется: большие, дескать, убытки понесли они в России, что, дескать, очень это им обидно?

— Пишут, восемь миллиардов всадили.

— Еще бы немного — вся Россия — фьють?

— Вроде того.

— Плачутся?

И наклонясь к самому уху командира корпуса:

— Когда волк примется хныкать, жаловаться на горькую волчью судьбу и проливать горячие слезы, держись подальше от волчьей пасти, не заслушайся смотри, сожрет!

— Знаю! — отозвался Котовский. — Я это хорошо знаю!

Савелий с минуту смотрел ему в лицо и, видимо вполне успокоенный и удовлетворенный, снова полез в вагон.

Поезд все не трогался. Савелий подошел к окну. Котовский смотрел на пензенского чудадея, любовался и гордился им.

«Какая цельная натура! Какое сердце! — думал он, улыбаясь. — Кабы не уйма обязанностей, кабы не корпус, не все заботы и неотложные хлопоты махнул бы с ним в деревню и работал бы агрономом! Вот бы свеклицу вырастили! Вот бы поставляли государству хлеба! Такие бы дела заворачивали, что любо-дорого посмотреть, что небу жарко бы стало!»

Савелий как будто догадался, о чем думка у его командира, крикнул из окна:

— Благодать у нас в Уклеевке! Греча цветет! Эх, командир, нам бы с тобой вместе действовать! Ведь земля — она памятная, она благодарственная, она на ласковое слово сторицею воздает. Ты не обижайся на меня, старого болтуна. Любя я! Разве не понимаю, что ты птица большого полета? Очень даже понимаю и чувствую!

Как бы одобрительно отзываясь на слова Савелия, раскатисто закричал паровоз:

— Ого-го-о!

Вагон качнулся, лязгнул и двинулся.

Вторая глава

Тишина... Полная тишина. Советская страна занята мирным трудом: исправляет взорванные мосты, очищает пашни от осколков снарядов. По железным дорогам снова должны мчаться нарядные поезда, на полях снова должны колоситься золотые урожаи.

Россия в эти дни походила на жилище, в котором только что похозяйничала шайка грабителей. Все перепортила, переломала, что могла, разворовала, разграбила и ушла с мешками награбленного, перешагнув через лужи крови, стынущие у порога. Что и говорить, добыча была богатая. В Архангельске передрались из-за складов льна. Англичане ухватили больше, чем американцы. На Кавказе вывезли всю нефть, в Черном море угнали все корабли. Японцы грузили на свои суда что попало: каменный уголь, лес, ценные меха... Ничем не брезговали.

К 1920 году уровень экономики России был низведен до уровня экономики царской России второй половины девятнадцатого столетия.

— Вот с чего приходилось начинать.

Тишина была обманчивой! Коварной была тишина! Правда, уже никто не засылал войска на нашу землю, не выгружал оружие в наших портах. Но там, за рубежом, отливали новые пушки, готовя нападение на Страну Советов, разрабатывали новые планы, вынашивали новые заговоры.

«Русский Рокфеллер», как называли его в парижской прессе, известный в коммерческих кругах фабрикант Рябинин был одним из тех, кто создал в 1920 году в Париже Русский торговый, финансовый и промышленный комитет, так называемый Торгпром. В Торгпром входили бежавшие из России банкиры, промышленники, нефтяные короли. Торгпром располагал огромными средствами. И хотя он объявил, что будет бороться с большевиками на экономическом фронте, на самом деле отнюдь не ограничивался одним экономическим фронтом, участвуя в любом мероприятии, направленном против красной Москвы.

Живя в Париже, Рябинин подчеркнуто говорил только на русском языке, хотя владел и французским, и английским, и немецким. Будучи вхож в самые аристократические круги эмиграции, он с нарочитой грубостью заявлял:

— Вы тут, поди, только по-французски? Ножкой шаркаете? Вот и прошаркали матушку-Россию.

Рябинин — что греха таить — недолюбливал французов, недолюбливал Америку, уверял, что американцы — даже не нация, а так, какое-то ассорти. Но больше всего ненавидел немцев. Считая, что он так богат, что может позволить себе не стесняться в выражениях, Рябинин бранил всех, но упрямо доказывал, что русские правители, русские «хозяева жизни», как он называл, — превосходные, достойные люди. Ведь Рябинин не терял надежды, что в России еще вернутся старые порядки, что Рябинин России еще понадобится.

На званом ужине у какой-нибудь графини Потоцкой или княгини Долгоруковой Рябинин любил произносить длинные тосты. С бокалом шампанского в руках он ораторствовал и не обращал внимания, что кое-кто из присутствующих пожимает плечами. Если это скучно и неинтересно хорошенькой дочке княгини Долгоруковой, то найдутся и серьезные люди... Пусть послушают! Это им полезно!

— Коммунистические ораторы, — пускался в рассуждения Рябинин, уверяют, что все мы дураки. Царь у них болван, министры — кретины, помещики ходят с плетками и лупят крестьян. Для темного народа это, может быть, лестно, что все дураки, а посему — бей буржуазею, товаришши, ура. Но, господа, неверно же это! Вот недалеко от меня сидит Феликс Феликсович Юсупов. Нуждается ли он в ликвидации неграмотности? Да он Оксфордский университет окончил! Вот мы и объединили в Торгпроме наши капиталы и наши сердца, чтобы вернуть Россию, сбившуюся с дороги, на правильный путь — на путь капитализма!

Рябинин говорил на эти темы всюду, где только бывал. Ему казалось, что этим он поддерживает затухающую надежду русской эмиграции. Но Рябинин не ограничивался

одними словами. Недаром он встречался с некими весьма подозрительными субъектами, вроде известного главаря русских эсеров Сальникова, недаром заседал на конференциях различных обществ, комитетов, совещался с председателем Русско-Азиатского банка Путиловым, прикидывавшимся таким рязанским мужичком, со знаменитым миллиардером художавым брюнетом Жоржем Манделем, который известен всему миру как Ротшильд, наконец, бывал даже в таких организациях, как кутеповский «Союз галлиполийцев»...

Вся жизнь Рябинина была посвящена одному: борьбе с непонятным, новым и ненавистным, имя чему — коммунизм.

2

Десятый съезд Российской Коммунистической партии (большевиков) не успел начать своей работы, как пришло сообщение из Петрограда: в Кронштадте поднят мятеж, на город наведены жерла орудий.

Остров Котлин, где находится Кронштадт, с давних пор называли «орешком», который не раскусишь. Остров расположен в двадцати четырех верстах от дельты Невы, в восемнадцати верстах от порта Терриоки. Заговорщики удачно использовали момент. Они выступили, когда сильно поредели старые кадры моряков, ушедших защищать завоевания революции. На смену им во флот попало немало так называемых «жоржиков» и «клешников» самой разношерстной братвы, которую нетрудно подбить на любую авантюру.

В целом план восстания был разработан опытными людьми. Вдохновителями являлись, как выражаются в дипломатическом мире, «некоторые иностранные государства», руководителями — обиженные на революцию царские военные, а подстрекателями — все те же меньшевики и эсеры. Лозунги подобрали подходящие: «Советы без коммунистов», «За свободную торговлю», «Власть Советам, а не партиям». И газеты капиталистических стран кричали, что это не мятеж, это народная революция.

Как оживились некоторые правители, которые места себе не находили со дня установления Советской власти! Как зашевелились эмигрантские круги! Кое-кто распределял уже министерские посты... Торгпром прислал из Парижа два миллиона финских марок, считая, что на такое дело денег не жалко. Проявил трогательную заботу и французский посол в Финляндии. Ведь изменники родины подняли оружие во славу иностранных торговцев, зарившихся на русскую нефть, на русские леса, на русское золото. Иностранцам было глубоко безразлично, кто будет управлять Россией в случае переворота: немудрый царь или плохонький президент, лишь бы они слушались и давали потачку «деловым людям».

Известие о Кронштадтском мятеже не вызвало растерянности у депутатов Десятого съезда: не впервые приходится отражать вылазки врага. По предложению Ленина для ликвидации мятежа были немедленно направлены в Петроград триста депутатов съезда.

Весна в 1921 году была поздняя. В марте на московских улицах было еще совсем позимнему. Но Петроград встретил сырыми туманами, коварной оттепелью.

Делегаты съезда спокойно и решительно приступили к делу. План был разработан еще в Москве. Совещания проходили также в пути, в вагонах. Этим людям казалось, что они не предпринимают ничего необычного, невероятного. Надо штурмовать. А как штурмовать? Только по льду. Выбора-то нет! И никому из них даже в голову не пришло, что подобный штурм многими был бы сочтен немислимым.

Да, они шли по тающему льду Финского залива на штурм неприступной Кронштадтской крепости, расположенной на острове и, казалось бы, недоступной для сухопутных сил. Они шли по тающему льду на штурм крепостных бастаионов острова Котлин — эти неистовые большевики! Они были, видимо, из той породы, о которой гласила надпись на медали, выбитой при Петре в честь славной победы над шведской эскадрой: «Небывалое бывает».

Да, они шли по тающему льду... Иногда лед проваливался. По наступающим били из орудий, били наугад, ночная тьма не позволяла вести прицельный огонь, а те, кто наступали,

облачились в белые маскировочные халаты и двигались одновременно с нескольких направлений: от Ораниенбаума, от Красной Горки, от Сестрорецка, от устья Невы.

Когда снаряду все-таки удавалось попасть в цель и два-три человека исчезали в пробоине, те, кто шли рядом, смыкались, и цепь неуклонно двигалась дальше.

Восемнадцатого марта над Кронштадтской крепостью снова взвился красный флаг. Делегаты съезда, петроградские коммунисты, курсанты военных училищ, красноармейцы 501-го Рогожского полка, 499-го Лефортовского полка, славные участники боев с колчаковской армией и еще многие участники этого штурма, может быть, сами себе не верили, что могли совершить такие чудеса.

3

В дни Кронштадтского мятежа одним из первых прибыл в Гельсингфорс хлопотливый, непоседливый американский резидент Гарри Петерсон. Он за последнее время осунулся, почернел, движения его стали порывистей, скулы острее, голос резче: и борьба, которой он посвятил жизнь, — борьба против Советской России, — пока не давала никаких результатов, и в личной жизни полная неразбериха.

Гарри помнил наперечет все мероприятия, затеваемые за последние годы для уничтожения коммунизма. Нельзя сказать, чтобы эти заговоры, военные походы и восстания были бездарны, непродуманны. Нет! В них было вложено немало тонкого расчета и кругленьких сумм. Разве не достаточно популярны были Керенский и Краснов, и разве плохо их финансировали? А монархическая организация Пуришкевича?

Гарри даже оживился, и нечто, отдаленно похожее на улыбку, появилось на его невыразительном одеревенелом лице.

«Клянусь предками, неплохо было задумано: громить винные склады и, так сказать, на базе „рашен водка“ произвести государственный переворот! Картинно! Помнится, эта организация носила вполне приличное название „Русское собрание“ — ничуть не хуже других. Кстати, ведь это Пуришкевич придумал во времена Николая Второго „Союз русского народа“, который был в действительности „Союзом против русского народа“? Тот же Пуришкевич!»

Петерсон горько призадумался:

«Олл райт! Краснов... Пуришкевич... А какие результаты? Краснов арестован, отпущен под честное генеральское слово, и слова не сдержал. А Керенский? Этот старый дурак удрал, переодевшись — с этакой-то мордой! — в женское платье. Пуришкевича тоже поймали, он прятался в кухне, напялив на себя поварской колпак. И что у них за пристрастие к переодеваниям?»

Гарри откусывает кончик сигары и выплевывает его.

«Какие же выводы? Пункт А: белые вожди не популярны. Пункт Б: использование наемных убийц и ничем не брезгующих проходимцев — лучший способ поддержать пошатнувшийся престиж».

Гарри Петерсон самодовольно ухмыльнулся, очевидно вспомнив кое-какие моменты из собственной практики: может быть, убийцу Урицкого Канегиссера, может быть, выстрелы в Ленина террористки Фанни Каплан... может быть, банды, которые он перебрасывал через границу в Советскую Россию, или предстоящую посылку в Россию полковника Свежинского с заданием убить Ленина.

Так размышлял Гарри Петерсон, скучая в чистеньком номере гельсингфорсской гостиницы, помещавшейся на главной улице — Эспланаде, и поджидая вестей из Кронштадта, где вот уже сутки шло сражение.

Когда надоело торчать в номере, Гарри вышел прогуляться. Погода была отвратительная, с моря дул пронизывающий ветер, налетая какими-то шквалами. Памятник Рунебергу, мокрый и унылый, тускло поблескивал на пьедестале. Прохожие быстро шли по панели в резиновых плащах или с зонтиками, вот-вот готовыми вырваться из рук и взмыть в

безнадёжно-серое непроглядное небо.

Продрогнув, Петерсон вернулся назад. Город ему не нравился, погода не нравилась, все раздражало. Прошел в ресторан, с неприязнью оглядел пустующие столики и потребовал бутылку вермута. Придрался к чему-то и сделал замечание официанту. Пить расхотелось, вернулся в номер, лег на диван, стараясь думать о чем-нибудь постороннем, не относящемся к делу, о чем-нибудь игривом, легкомысленном. Но ничего такого не приходило в голову.

«Я правильно сделал, что включился в кронштадтское мероприятие. Тут пахнет жареным, и надо держать ухо востро, мигом кто-нибудь перехватит самые жирные куски. И в Архангельске, когда там высаживался десант, и в грандиозной ставке на Колчака, и в Одессе — всюду только и гляди, что утянут пол-России из-под носа. Вот и приходилось следить друг за другом, а при случае и подставлять ножку. Где высадились на русский берег французы, немедленно появлялись англичане и американцы, а уж в Омск — кто только туда не понаехал в ожидании дележки! Даже захудалая Турция, даже невесть кто! Все так и не сводили глаз один с другого и правильно делали: никому не хотелось опоздать к пирогу и получить пригорелую горбушку. А как же? Не каждый день представляется случай заглатывать такой лакомый кусочек, как Сибирь! Шуточка сказать — Сибирь! Мигом бы освоили. Разве приятно смотреть Соединенным Штатам, как расхватали подоспевшие раньше пираты всю Африку, Азию — со всеми их алмазами и золотыми россыпями, со всеми бананами, черт их побери! Кто только не нажился! И французы, и англичане, даже, прости господи, голландцы, чтоб им было пусто с их голландским сыром, даже эта мелкоплавающая инфузория Бельгия... А тут — Сибирь... Всемиловитый бог! Мигом бы синдикаты, тресты... Местное население к чертям собачьим... Голова кружится, как подумаешь, какие перспективы намечались! И все шло успешно до самого этого города с трудным названием... как его? Бугу-руслан. А потом... Всем известно, что было потом. Хотел бы я посмотреть, что это за птица — этот красный полководец с трудной фамилией... как его? Фр... Фрунзе. Откуда он только взялся?»

4

Размышления Петерсона прервал стук в дверь. Петерсон все понял, лишь только увидел прищельца: это явился генерал Козловский собственной персоной. У него был несколько обескураженный вид, но свое смущение он старался прикрыть бравадой:

— Милль пардон... Вас, может быть, удивляет столь внезапное вторжение? С корабля, выражаясь фигурально, на бал! Впрочем, не с корабля, а с катера!

Один ус у него был спален. Рука забинтована, он поцарапал руку, прыгая в шлюпку.

— Не рассказывайте! — остановил генерала Гарри Петерсон, едва тот собрался докладывать. — Я сам расскажу, что вы намерены сообщить: все шло сначала успешно, потом неуспешно. В заключение появился какой-нибудь Фрунзе...

— Как! Вы уже знаете? — изумился генерал. — Вот это, милль пардон, по-американски! Да, именно так и было. Первое наступление мы отбили. Они вызвали курсантов, пригласили делегатов какого-то, милль пардон, коммунистического съезда... Насчет Фрунзе — не знаю, а Тухачевский — да, Тухачевский там был. Это у них восходящая звезда... И еще, как его?.. Ворошилов. Луганский рабочий, говорят. И какой-то Фабрициус... Или Фаброниус... У меня имеется полный список, если пожелаете ознакомиться...

— Скажите, пожалуйста! Суворовы!

— Бр-р! Не хотел бы я им в руки попасть!

— А этот... долговязый? Погиб? Бывший командир линкора?

— Вилькен? Мы отбили из Кронштадта в одном катере, и как раз вовремя. Вилькен продрог, потребовал к себе в номер коньяку и принимает, милль пардон, ванну.

Гарри Петерсон сухо попрощался с генералом. Давно ли он так же выслушивал неутешительные вести от Тютюнника?

Собственно говоря, теперь можно было со спокойной совестью уезжать. В этом

скучном городе делать больше нечего. Гарри Петерсон всю ночь проворочался, вздыхая и охая. Он не любил неясности. Он все понимал, все в жизни было для него бесспорно, взвешено, распределено. Он жил безошибочно. Но никак у него в голове не укладывалось одно обстоятельство. Хорошо, скажем так, — Кронштадт восстал. Петерсон добросовестно изучал историю. Он знает, что в 1914 году здесь взорвались на русских минах три германских крейсера и эсминцы. Ничего не могли поделать с Кронштадтом и в годы революции ни немцы, ни английская эскадра. И вдруг русские... Что за дьявольщина? Кронштадт неприступен? Так или не так? Какая же сила заставила этих господ усмирителей бунта идти на верную смерть? Проваливаться под лед? Гибнуть под пулеметным огнем? Выполнять чей-то абсурдный, ни с чем не совместимый безумный план наступления? Петерсон понимает, когда выходят на ринг два опытных профессиональных боксера. Оба отличаются бычьей силой, оба с ограниченным, примитивным умом, но с железными бицепсами. Оба хотят разбогатеть, стремятся получить денежное вознаграждение, выбиться в люди, хорошо есть, хорошо одеваться, щеголять, разукрасив грудь медалями и жетонами, покупать женщин, нанимать репортеров — словом, шикарно жить. Естественно, что при таких условиях они ставят на карту все, идут ва-банк. Это Петерсону понятно, тут есть логика, тут есть последовательность, тут есть смысл. А тем что надо, голытьбе? Допустим, одних перестреляли, оставшиеся завладели Кронштадтом. Что дальше? Какая выгода? Завтра опять тот же скудный паек, те же лишения. Что ими движет? Страху на них нагнали? Поставили позади идущих на штурм пулеметы? Голова может лопнуть от таких размышлений! Ничего не понять! Абракадабра! И все они такие — эти русские. И литература у них не как у людей. Например, Достоевский! Гарри не мог его читать, он чувствовал, что, прочти еще одну страницу — и он станет бросаться на людей или уверять всех, что он — Иисус Христос. Бред! Чистейший бред! Раскольников стоит на коленях... Иван Карамазов запросто беседует с чертом... Нет уж, увольте!

Сейчас Гарри Петерсон штудирует Ленина. Надо! Надо изучать противника, выискивать у него слабые струнки. Агентура добыла обширнейшие материалы — книги, газетные статьи, стенограммы, даже секретные приказы и шифрованные телеграммы. Тоже ничего не уловить. Какое-то неистовство! Дерзость невероятная! Другой давно бы спасовал. Фронты. Подвохи. Измена. Бунты. Кроме того — зверский голод, надо же это понять, — полнейшая разруха — ни патронов, ни топлива — форменным образом ничего, ноль, пустое голое место...

Гарри устал думать, строить догадки. Голова как свинцовая. Главное, сколько ни думай, ничего не понять, все иррационально, дико, в других каких-то плоскостях...

Гарри встает с постели, подходит к окну и прижимается лбом к холодному стеклу, а потом вглядывается в мутную мглу, как в провал, в дыру мироздания.

Кажется, все-таки светает. С трудом, но светает. Нет! Довольно! Сегодня же прочь отсюда! Иначе в самом деле сойдешь с ума. Но он не успокоится, ни за что не успокоится, пока не уяснит все до конца. Именно потому, что он чего-то недопонимает, как, может быть, недопонимают и все, кто борется с этими безумцами, — именно потому и постигают неудачи, преследуют неудачи — подумать только! — их, владык мира, их, всемогущих, их, владеющих людьми, техникой, миллиардами!

5

Перед отъездом у Гарри Петерсона состоялась встреча с Сальниковым, которого он знал ранее и который вдруг вынырнул как из-под земли. Петерсону нравился этот худощавый щеголь с вкрадчивым голосом и холодными глазами, да и не удивительно, что нравился: оба они любили рисковать, оба с увлечением плели бесконечные интриги, оба находили прелесть в темных заговорах и — как это называется в кругах уголовных преступников — в «мокрых» делах.

Петерсон был сдержаннее, пожалуй, бесцветнее. Сальников отличался отчаянной

дерзостью, бурным темпераментом, вел крупную игру, не останавливался перед самыми бесстыдными сделками, полагая, что в борьбе все средства хороши.

Кажется, не было на свете человека, который не знал бы этого, на первый взгляд заурядного имени. Кто-то из журналистов даже называл его в обширных обзорах «авантюрист номер один». Его элегантный сюртук и лакированные ботинки выдвигали в приемных министерств и правительственных учреждений то в Лондоне, то в Париже, то в Копенгагене, то в Вашингтоне. Он внезапно появлялся и так же внезапно исчезал. Для него, казалось бы, не существовало ни пограничных кордонов, ни обязательных виз. То он разгуливал по Москве, то инструктировал мятежников в Ярославле. Сегодня вел конфиденциальную беседу с генералом Гайда, обосновавшимся в Праге после разгрома Колчака. Назавтра оказывался в Италии.

Он бывал всюду, где можно встретить сочувствие борьбе с коммунизмом, его лично знали правители государств, мечтавшие о превращении России в колонию, матерые шпионы, орудовавшие на советской земле, белогвардейские генералы...

Петерсон хотя и не подал виду, но очень обрадовался встрече. Даже скука прошла! Даже этот маленький городишко с большими претензиями, даже эта богомерзкая погода — на все он взглянул другими глазами. Вот когда можно узнать самые свежие новости! Вот когда можно поговорить с человеком своего круга!

Впрочем, маленькая поправка: с человеком своего круга, но отнюдь не заслуживающим полного доверия. Нет, Гарри Петерсон никому не доверяет и придерживается того взгляда, что можно сколько угодно считать всех без исключения честными, но жить среди них следует так, словно все они отъявленные негодяи и мошенники. Гарри даже подумал, приветливо здороваясь с посетителем и как будто бы широко, открыто, доверчиво улыбаясь:

«Нельзя поручиться, что регистрационная карточка на этого субъекта не хранится в секретных сейфах французского Дезьем-бюро... Не исключена возможность, что он связан и с английским Интеллидженс сервис... Но это еще туда-сюда. Однако я надеюсь, что он не состоит агентом Чека? Это было бы уже слишком!»

Для Гарри Петерсона имело большое значение, что Сальников — русский, уже одно это взвинчивало. Что бы Гарри ни говорил, что бы ни делал, в нем всегда сидела, как заноза, мысль о Люси, которая, теперь непонятно даже, была жена его или не жена. Гарри охотно прощал себе, если поступал с кем-нибудь вероломно, и считал это в порядке вещей, даже ставил себе в заслугу. Но чтобы с ним обошлись вероломно! Нет, этого он не мог простить, не мог даже помыслить об этом.

Он помнил каждое слово, каждое движение мускула на лице Люси и на физиономии княгини Долгоруковой в тот памятный день расставания. Он много думал об этом, все взвесил, все расценил. Для него было громом среди ясного неба сообщение, что мать и дочь решили ехать в Париж. То есть как так решили? Кто решил? Предварительно это не обсуждалось, не было ни тени намека на их намерение. Ехать в Париж! Без него! И помимо него, как будто он не был главой дома!

Гарри догадывался, что все это — штучки дорогой мамочки. Люси никогда бы не додумалась. Люси — премиленькая дурочка, и это ей очень к лицу. А чертовой княгинюшке захотелось тряхнуть стариной, покрасоваться в тех сферах, где она как рыба в воде. Чего лучше — Париж! Там русских графов и князей больше, чем правоверных в Мекке. Ну и ехала бы одна, гладенькой дорожки, что называется! Так нет же, и дочку потащила! Видите ли, девочка хандрит, девочке необходимо рассеяться! Чума бы тебя забрала с твоим рассеянием! И он-то хорош! Надо было воспротивиться! Главное, Люси не выпускать из рук, на худой конец даже отправиться с ними, а через недельку княгиню оставить где-нибудь в Марокко, или на Мадагаскаре, или в Конго, где-нибудь в малярийных болотах, а взбалмошную девчонку увезти. Теперь поздно обо всем этом думать, упорхнули птички. И что он скажет патрону? Расхвастался: «Роскошное имение!.. Старинный род!..» Вот тебе и имение! Вот тебе и старинный род! По сей день Гарри не может придумать, как распутать всю эту историю. Как нарочно, все время приходится иметь дело с русскими, говорить по-

русски, да Гарри и сам любит щеголять хорошим произношением, русскими народными поговорками, идиомами... И каждый раз где-то в тайниках его сердца отзывается: «Люси»...

— От всей души сочувствую вашим неприятностям! — любезно улыбаясь и безупречно владея голосовыми средствами, мимикой, интонацией, произнес Сальников.

Гарри вздрогнул, на миг ему почудилось, что Сальников выражает сочувствие по поводу семейных невзгод, а не по поводу неудавшейся кронштадтской авантюры.

— Мои неприятности — это и ваши неприятности, — в тон собеседнику ответил Гарри, вполне овладевая собой.

— Тем более досадно проиграть этот тур. Ведь удалось поднять Кронштадт и одновременно раздуть разногласия внутри коммунистической партии. Этаким «двойной нельсон»! Представляете? Сознайтесь, сделано это умелыми руками.

Гарри усмехнулся. В голосе Сальникова прозвучали горделивые нотки автора, довольного своим произведением.

— А разве плохо была задумана, — возразил Гарри, — например, операция, охватывающая чуть не два материка — Европу и Азию, когда адмирал Колчак ринулся с востока, а с тыла ударила армия Юденича? Было учтено все, вплоть до солдатских портянок. Но какой-то злой рок висит над нами. Всякий раз повторяется одно и то же: прекрасное начало и плачевный конец.

— Сэр, — перешел на английский язык Сальников, — эта гостиница... как вы полагаете, — вполне удобное место для откровенных разговоров?

— Можете быть спокойны на этот счет, — развеселился Гарри, в свою очередь хвастая техникой и предусмотрительностью. — Я всюду вожу с собой специалиста по электрическим установкам и микрофонам, не говоря о том, что смежные номера всегда занимают мои сотрудники, а перед окнами и в коридоре дежурят мои люди.

— В большом ходу поговорка «стены имеют уши». Но чем лучше пол и потолок? Вы меня извините, сэр. Будь это не Гельсингфорс, а ваша постоянная резиденция, я бы никогда не позволил себе коснуться этого вопроса. Но у меня какой-то дурной характер: люблю видеть собеседника в лицо, и мне не нравится, если торчит одно его ухо. Хотя убежден, что болтливые опаснее злых, как гласит народная мудрость, но с вполне серьезным человеком предпочитаю и полную откровенность и полный *tete-a-tete**.

* *Tete-a-tete* — с глазу на глаз (франц.).

Гарри Петерсона такая предпосылка тоже устраивала, он тоже любил беседовать без свидетелей, а в случае надобности применял механическую запись.

Да! Теперь он определенно не жалел, что приехал в этот ужасно приличный и ужасно скучный городок. Накопилось много вопросов, в которых более компетентного консультанта, чем Сальников, он и не желал бы. А так как беседа принимала более интимный характер, Гарри нашел своевременным и уместным извлечь из шкафика бутылку превосходного мартини. Теперь они повели разговор, поудобнее усевшись в неудобных гостиничных креслах и время от времени потягивая ароматный напиток.

Сальников несколько раз пытался перейти на английский, полагая, что Петерсону легче будет на родном языке выражать сокровенные мысли. Но Гарри снова возвращался к русскому языку, показывая, что в совершенстве владеет им и даже не растягивает «а» и вполне справляется с буквой «ч».

— Вы упомянули о разногласиях внутри коммунистической партии. Очевидно, вы имеете в виду «децистов», троцкистов, «буферную» платформу и прочее в этом же духе? Не кажется ли вам, что значение этих разногласий несколько преувеличивается?

— Надо брать весь комплекс явлений в их совокупности, чтобы составить суждение о данной ситуации, — теряя легкость построения фразы, начал тоном лектора Сальников. — Давайте вспомним, что этому предшествовало. Когда Ленин выступал на съезде Советов и совершенно определенно говорил о временном отступлении, то Лев Давидович Троцкий резюмировал, что кукушка прокуковала конец Советской власти. Тут имелось в виду все,

вместе взятое: и голод, и разруха, и восстания в деревне, и усталость. Если уж договорились до таких вещей, то, видимо, речь идет не о каких-то там частных тактических расхождениях и спорах. Троцкий только подытожил, или, как говорится, поставил точку над «и».

— Но ведь господин Троцкий и сам коммунист?

— Троцкий — все что угодно по мере надобности. Когда ему удобно — и коммунист. Был момент, когда бундовцы возлагали на него надежды. Напрасно. Бундовцы для него недостаточно масштабны. Но если будет выгодно, он, не задумываясь, установит для евреев черту оседлости. Троцкий — это прежде всего Троцкий. Я так полагаю, сэр.

— Да, да, я знаю характеристики этого деятеля, сделанные многими, в том числе отзывы Ленина.

— Ленина?! — переспросил Сальников, думая, что ослышался. Он никак не ожидал и со стороны Петерсона ссылки на такой авторитет.

Но Гарри не обратил внимания на вопрос, будто не слышал его, и продолжал, щеголяя памятью и осведомленностью:

— В юности Троцкий ходил по Одессе в синей блузе и писал психологическую драму. В тысяча девятьсот третьем году был меньшевиком. В девятьсот четвертом порвал с меньшевиками, в пятом снова примкнул. Ленин отмечал его ультраревOLUTIONIONНУЮ фразу и отсутствие мировоззрения. А зачем умному человеку мировоззрение? У вас, господин Сальников, есть мировоззрение?.. Но продолжим о Троцком. Блок ликвидаторов. Противник Ленина. Впередовцы. А в девятьсот семнадцатом примкнул к Ленину. В Брест-Литовске поступил вопреки директиве Ленина. Приехав из Брест-Литовска, публично признал свою ошибку. И тут же сколотил оппозицию. И кажется, снова признал ошибку? Или не признал? Мне кажется, эта маневренность говорит в его пользу. Ведь так? В мировой прессе его окрестили «красным Наполеоном». Не кончит ли он островом Святой Елены? А вы какого мнения о нем? Фигура это или не фигура — вот что меня интересует.

— Если вы позволите напомнить, — с напускной скромностью вкрадчиво промолвил Сальников, — один далеко не глупый англичанин выразился примерно так: Троцкий так же не способен равняться с Лениным, как блоха со слоном.

— Я знаю, о каком англичанине вы говорите: Локкарт. Остроумно. Но блохи кусаются.

И Гарри понял, что от Сальникова нельзя ожидать другой оценки Троцкого, так как Сальников сам мечтает стать диктатором России. Он замолк и стал внимательно разглядывать Сальникова, решая вопрос, годится ли в диктаторы этот поджарый джентльмен — хладнокровный убийца, талантливый мистификатор и прирожденный дипломат. Конечно, если его поставить у власти, он, как и Троцкий, откроет границы для предприимчивых людей и быстро превратит Россию в нормальную капиталистическую страну с каким-нибудь страшно революционным названием. В этом Гарри Петерсон не сомневался. Но удержится ли он? На какие слои общества он опирается? Какими приманками снова загонит в стойло вырвавшегося на свободу и нюхнувшего вольного ветра дикого вепря, этот разбушевавшийся не в меру народ?

Сальников в свою очередь изучал Петерсона. Они не в первый раз встречались. Сальников знал, что за спиной Петерсона крупные капиталисты. Но еще Сальникову было известно, что, кроме поддержки любого мероприятия, направленного против советского режима, у Петерсона ничего не было за душой. Сальников старался определить, насколько влиятельны деловые круги, которые представляет этот американец. Денег у него много. Но ведь у голландца Детердинга их еще больше!.. Что касается appetitов, то у всех они хорошие. Пасть, пожалуй, шире всего открыта у немцев... Эти с удовольствием заглotalи бы весь божий мир и запили его кружкой пива.

Так оба долго молчали и обнюхивались, как собаки, встретившиеся на дороге. Сальников при этом осторожно отмечал, что не всякий гриб в кузов кладут, а Петерсон пришел к неопределенному выводу, что *qui vivit, verra* поживем — увидим.

Гарри Петерсон первым прервал молчание:

— Господин Сальников! Вы не обидитесь, если я признаюсь в своих сомнениях

относительно очень популярной в России партии, — я имею в виду эсеров...

Сальников вежливо слушал. Но Гарри заметил какое-то движение, какой-то жест, выражающий протест.

— Знаю о ваших контактах с эсерами, но вы — особая статья: если вам понадобится, вы образуете еще десять таких партий и придумаете для них недурненькие платформы. В сущности, партия — это когда один говорит, а все остальные поддакивают. Не считите за комплимент — я не умею говорить комплименты, — вы из той породы, которая делает игру. Так устроен мир.

Сальников опять шевельнулся, как бы протестуя против слишком откровенной похвалы. Гарри ответил на это афоризмом:

— Скромность — результат опытности, сэр! Так говорят на моей родине. Но продолжим об эсерах. Я по должности изучал русские политические течения и нахожу большое сходство между русскими эсерами и русскими анархистами. Только анархисты призывали убивать всех подряд, а эсеры — на выбор.

— Не совсем так, — лениво процедил Сальников. — Или даже совсем не так.

— Эсеры, — продолжал Гарри, явно вызывая на спор и на откровенность, — это партия, у которой много жертв и мало толку. И потом, согласитесь: в ваших рядах слишком много провокаторов.

— Это характеризует только полицию, а не нас.

— Каляев и Шпайзман повешены, Покотиллов и Швейцер погибли при взрыве, Дулебов и Бриллиант сошли с ума...

— Сэр! Вам следует писать историю революции!

— А провокаторы? Один Евно Азеф чего стоит.

— Азеф — любопытнейшая фигура, если хотите знать. О нем будут писать монографии. Это поэт насильственной смерти. Но разгадка его загадочности прозаически проста: деньги. Он любил цитировать Гейне: основное зло мира то, что бог создал слишком мало денег. За деньги он готов был любого убить, Плеве так Плеве — ему безразлично. Его мировоззрение укладывалось в формулу: Je m'en fiche — плевать. В этом смысле он вполне современен!

— А эта ваша... Жученко? Которую разоблачил Бурцев? Лучше бы вам, мистер Сальников, свою, новую партию создать, чтобы на ней не висели тени прошлого. Как вы думаете?

— Я так и поступил, сэр. Только у меня не партия, у меня армия: зеленые братья. Вы правы, когда говорите, что эсеры — это и устарело и дурно пахнет. Дряхлые Брешко-Брешковские и Марии Спиридоновы — пыльный архив. Я уже не говорю о таких ископаемых, как Авксентьев, Вологодский. Сейчас другие времена, другая тактика, а все эти психопатки — это старо, как диккенсовские дилижансы. К чему такая бравада: спрятать в дамскую сумочку браунинг, подойти, выстрелить и затем терпеливо ждать, когда для тебя намылят веревку.

— Значит, вы отрицаете террор?

— Террор — да, но не политическое убийство.

— Да-да. Я в общих чертах представляю этот новый стиль работы. Например, предупредил поручик Соловьев советские органы о готовящемся перевороте в Ярославле, а через несколько дней Соловьева случайно убили в гостинице. Или комиссар печати Володарский... Кажется, тоже ваша работа?

— Милостивый бог! Вы даже такие мелочи храните в памяти? Но это же обычная вещь! Вы приводите примеры из политических будней. В меню политических деятелей есть такое блюдо: устранение нежелательных лиц. Ничего особенного, все так делают, каждое мало-мальски приличное государство, каждый деятель, даже каждый ревнивый муж. Какой же это новый стиль? В Америке нежелательных наследников упрятывают в психиатрические больницы. В Древней Руси их заточали в монастыри. Не вижу тут принципиальной разницы.

— В какой-то степени вы правы, — примирительно промямлил Гарри. Кстати,

троцкисты тоже не брезгают этим... стилем?

— В политической борьбе, сэр, нет недозволенных приемов.

— Извините, я, вероятно, утомил вас. Но хочется, знаете ли, во всем разобраться. Да! Что я хотел еще спросить... Вы сами лично видели Тухачевского?

— Михаила Николаевича? Конечно. Его, как и Фрунзе, на самые опасные участки посылают. На врангелевском фронте он командовал Первой и Пятой армиями. Я слышал, что его прочат на пост начальника Военной академии. Последнее, что я знаю, впрочем так же, как и вы, что он командовал войсками, взявшими Кронштадт.

— Вот поэтому-то мне и хочется составить о нем полное представление. Фрунзе — тоже бывший офицер?

— Каторжанин. Никакого отношения к военному делу не имеет.

— А кто такой Фабрициус?

— Коммунист. Работал в подполье. Это все, как бы вам сказать, ленинская гвардия. Ленин их выискал, Ленин их воспитал.

— А Котовский? Слыхали о таком?

— Еще бы! Крупный такой мужчина. Я его один только раз видел. В Одессе. Между прочим, друг Фрунзе. Одного поля ягода. Хорош.

— Все они хороши. Скажите, но разве плохой генерал, например, Ханжин? Разве не безумно храбр Каппель?

— Сэр! Плохо глиняному горшку, если на него падает камень. Не лучше, если он падает на камень сам.

— Вы все отшучиваетесь. Но в чем же все-таки тут дело? Мне рассказывали о Шкуро. Это нечто феерическое! Кадр для кино!

— Да, вероятно, это потрясает. Скажут во весь мах на вороных конях, на черном бархатном знамени красуется волчья разинутая пасть, в атаку идут под марши духового оркестра... Черт знает что такое!

— Я допускаю, что пустой номер — Тютюнник, что слаб Пилсудский. Но сколько кричали о Колчаке! Боже мой! Министр Сазонов называл его русским Вашингтоном! Сэр Сэмюэль Хор кричал, что Колчак — джентльмен. Черчилль клялся, что Колчак неподкупен. «Нью-Йорк таймс» воспевала на все лады этого «сильного и честного человека». Где он, этот сильный и честный человек? В какой гниет канаве? И почему, объясните, опытных кадровых генералов колотят и колотят голодные, плохо одетые мужики, которыми командуют агроном Котовский, ссыльно-каторжный Фрунзе и кто еще там? Какой-то Тухачевский? Какой-то Буденный? Примаков? Егоров?

Редко случалось, чтобы Гарри Петерсон приходил в такое возбуждение. А Сальников вежливо улыбался, вежливо слушал, пил маленькими глотками вино и сверкал лакированными ботинками.

Впрочем, вежливо слушая, он думал:

«Вряд ли ты, голубчик, на самом деле взволнован! Мы оба из того сорта людей, которые уже ничего не делают искренне. Мы всегда как на сцене, даже наедине с собой».

Кажется, он был прав. Гарри Петерсон, внезапно успокоившись и вдруг позабыв о печальной участи Колчака, которая за минуту до того его так тревожила, спросил с самым простодушным видом, хлопнув Сальникова по колену:

— Сегодня мы так свободно касаемся любых, даже неприкосновенных тем. Можете не отвечать на мой вопрос — и это последний! — вы ведь не сторонник диктатуры пролетариата?

— Разумеется!

— Но в то же время не сторонник и капиталистической системы? Диктатуры буржуазии?

— Да, эти две силы борются между собой. А я ни с теми, ни с другими. У меня своя линия.

— Вот-вот. Я понял вас. Я потому об этом спросил, что нашел любопытнейшее

высказывание господина Ленина.

— Ценю вашу осведомленность о взглядах этого лица! Что же утверждает советский вождь?

— Он утверждает, что есть два борющихся лагеря и нет третьего, не может существовать третья линия, это иллюзия, обман или самообман. Есть французская песенка «Entre les deux mon coeur balance»². Так вот что я хотел бы, мистер Сальников, с вашего разрешения сказать: раз уж вы ненавидите коммунистический строй — а вы его ненавидите, — значит, ваше сердце с нами, и вовсе оно не балансирует между двумя непримиримыми мирами. Следовательно, и задача у нас с вами одна — свержение Советской власти. Сто фронтов наших разбито, сто надежд рухнуло, сто вариантов не удались? Примемся за сто первый! Так?

6

Генерал Козловский сразу же после ликвидации Кронштадтского мятежа и встречи с Петерсоном отправился отчитываться в Париж. Это вошло в обычай: проиграв очередную кампанию в борьбе с большевиками, являться в Париж с повинной, искать новых покровителей или садиться писать мемуары.

Прежде всего Козловский поехал к князю Хилкову, которого знал еще по Петербургу.

— Победителей не судят, — сказал он вместо приветствия, — а что делают, милль пардон, с побежденным? Браните, позорьте, что хотите делайте, пришел с повинной, не обессудьте.

— Не вы первый, не вы последний, — снисходительно ответил князь. — Вы уже были у Рябинина? Это обязательно. И не откладывайте. Сегодня же. А вечером будьте у княгини Долгоруковой. Если вы ей понравитесь, ваша репутация спасена. У нее политический салон...

И особо доверительно добавил:

— Запросто бывает даже великий князь Дмитрий Павлович... Да вы сами все увидите. Очень милый дом. Чисто русское гостеприимство.

— Да ведь я только что видел в Гельсингфорсе супруга ее дочери, господина Гарри Петерсона! — обрадовался Козловский. — Какая удача! Я могу даже прийти, чтобы передать милейшей Люси горячий привет от муженька!

Но князь Хилков замахал на него руками:

— Не вздумайте! Гарри Петерсон здесь вовсе не упоминается, с ним раз навсегда покончено, а Люси считается девушкой, незамужней, завидной невестой... Нет уж, найдите какой-нибудь другой предлог.

— Ах вот как? Спасибо за предупреждение! Значит, так я и поступлю: никакого Гарри Петерсона не видел, знать ничего не знаю и знать не хочу! Вот уж правда, что, не спросясь броду, не суйся в воду! Ай-ай-ай, какого маху бы я дал, это была бы вторая моя проигранная битва!

Рябинин тоже встретил Козловского довольно благодушно:

— А! Отвоевали? Подробности можете не рассказывать: почтеннейшая французская газета «Матэн» за две недели до начала Кронштадтского восстания уже сообщила подробнее, что восстание произошло, и очень успешно. Словом, выболтала все секреты, как последняя сплетница. Вот после этого и делай невинное лицо, что мы знать ничего не знаем, что восстание вспыхнуло стихийно и никакого генерала Козловского мы не посылали. Ох уж эти мне журналисты и писатели, всех бы я перевешал на одной веревочке!

— Милль пардон, вы сказали — журналистов? Да-да-да!

— Не унывайте, генерал. Вы понесли поражение и славы не стяжали. Зато мы, коммерсанты и промышленники, одержали крупную победу. Только что получены вести из

2 «Entre les deux mon coeur balance» — «Сердце мое между двух балансирует» (франц.).

России: новая экономическая политика! Нэп! Не слышали? Еще услышите. Смена веков, вот что такое новая экономическая политика. Нас, людей дела, вынуждены позвать на выручку! Я всегда говорил, что Ленин умный человек. Он понял, что без нас не обойтись. Теперь вопрос только времени. Будут и иностранные концессии. Все будет. Образумились! Поняли наконец, что без Рябинина у них ни черта не получится!

Козловскому стало ясно, почему Рябинин обошелся с ним милостиво. Новые надежды вселились в Рябинина, новые мечты.

— Теперь можете складывать оружие, не понадобится! — восклицал Рябинин. — Сегодня они приглашают нас торговать, завтра вручат нам министерские портфели... Этого и следовало ожидать. Ну, а при наличии делового правительства и послушного парламента мы даже не против смиренного импозантного монарха... По английской выкройке!

Выслушав все эти горделивые мечтания «русского Рокфеллера», Козловский направился к великолепному особняку Долгоруковой, у Елисейских полей, в центре Парижа.

7

Княгиня Мария Михайловна Долгорукова весьма удачно и ловко увезла свою дочь Люси из Молдавии, от нудного Гарри Петерсона, избавив ее от неудачного замужества, а себя от невыносимой скуки. Теперь она чувствовала себя как рыба в воде.

Мать и дочь Долгоруковы поселились в Париже и быстро освоились с новой обстановкой, блестяще демонстрируя непревзойденное искусство ничегонеделанья. В этом оказывал им посильную помощь князь Хилков, постоянный их спутник и завсегдатай в доме.

Князь Хилков тоже обрелся в Париже в числе эмигрантов, покинувших петербургские гостиные, бросивших на произвол судьбы тульские, рязанские и прочих губерний имения. Так как он был не менее предусмотрителен, чем другие обеспеченные люди его круга, и держал изрядные суммы в заграничных банках, то сейчас ему не было надобности пускаться в сомнительные аферы, работать каким-нибудь официантом или шофером такси. Он и раньше не засиживался в Петербурге — то фланировал по набережной Сены, то обзирал развалины Рима, то вдыхал аромат роз в лучезарной Ницце. Прежде всего заботясь о хорошем состоянии желудка, князь умеренно ругал красных и позволял себе скептически относиться к бесчисленным рецептам спасения России. В эмигрантских кругах осуждали за это князя. Находились и защитники, уверявшие, что он просто бравирует.

На четвергах княгини Долгоруковой князь Хилков охотно выслушивал ретивых сторонников крестового похода против коммунистического мира. Но с не меньшим удовольствием слушал он сонаты и ноктюрны, которые поверхностно, но в общем довольно прилично исполняла на рояле Люси. Он любовался этой ветреной, пустой девчонкой и почтительно ухаживал за ее маман.

При всей своей бесшабашной, разнузданной жизни Люси неизменно сохраняла кроткий ангельский вид и с трогательной наивностью взирала на божий мир фарфорово-голубыми глупыми глазками. К ней никак не подошло бы банальное выражение «меняет мужей, как перчатки». Нет, она меняла их значительно чаще, с тех пор как упорхнула от скучного, вечно занятого Гарри Петерсона. И она благословляла небо, что у нее крайне снисходительная мамочка, которая не только не останавливала, но даже поощряла все проказы дочери.

Марию Михайловну порою коробил вкус дочери. Спору нет, каждому поколению свое. Но, например, этот долговязый швед, с которым Люси не стеснялась появляться в обществе... или — того хуже — этот усатый поношенный адмирал с багровой апоплексической физиономией и зычным басом... Очень моветонно³! Но ведь время такое: столпотворение! Вавилон! Последние дни девочку забавляет вихляющийся поэт из русских эмигрантов... Ну и пусть! Была же Мария Михайловна в детстве по уши влюблена в гувернера? Этот поэт страшно кривляется, напускает на себя томность, картавит... Ни

3 Mauvais ton — дурной тон (франц.).

капельки мужского характера! Подписывает стихи нелепейшим образом: «Жорж Грааль-Шабельский», хотя настоящее его имя — Павел Николаевич Померанцев. Люси зовет его мосье Жорж...

При всей видимости рассеянной светской жизни в доме княгини Долгоруковой вершились и другие дела. Здесь удобно было устраивать полезные деловые встречи. Очень часто, чокаясь хрустальными бокалами, посетители княгини обсуждали новые замыслы, новые походы против коммунистов. Недаром здесь появлялся то мрачный вешатель генерал Меллер-Закомельский, с его пышными усами и подусниками, то какой-нибудь скользкий пронырливый молодой человек, явно связанный с Дезьем-бюро, то рыжеватый немец фон дер Рооп, который прихлебывал из рюмки, словно это был не лафит, а баварское пиво. И ни для кого не было секретом, что Меллер-Закомельский ищет протекции, пронырливый молодой человек назначил здесь кому-то встречу, а фон дер Рооп, всегда считающий единственно правильной только свою точку зрения, хлопочет о поддержке какой-то новой нацистской партии, которая в конце 1920 года приобрела газету «Фелькишер беобахтер», и в этой газете обещает завоевать весь мир.

Мария Михайловна прилагала немало усилий, чтобы ее приемы походили на приемы петербургской знати. Она старалась каждый раз преподнести нечто примечательное: какую-нибудь знаменитость, какую-нибудь сверхкрасавицу. Князь Хилков понимал, что для Марии Михайловны ее журфиксы стали страстью, и тоже делал все, чтобы четверги в доме Долгоруковых были популярны в Париже.

Один раз им удалось залучить балерину Кшесинскую, которая открыла в Париже балетную студию и вообще сумела удержаться на поверхности, не пойти ко дну. Мария Михайловна демонстрировала ее, как выигравшую приз скаковую лошадь.

В другой раз намечено было пригласить Юсупова. Он успел промотать все состояние и теперь открыл в Париже ателье мод. Но все-таки он был персоной: ведь он женат на племяннице Николая Романова! Царя!

Привел как-то князь Хилков и писателя Бобровникова.

— Очень известный романист, — говорил князь. — Выпустил массу книг. Я-то не читал, но по отзывам прессы... Впрочем, прессу я тоже не читал.

Бобровников Марии Михайловне не понравился:

— Почему у него такой не писательский вид?

— Чем незначительнее писатель, тем у него более «писательский» вид, пояснил князь. — А этот, значит, настоящий.

Бобровников присоединялся то к одной группе людей, то к другой, но явно чувствовал себя не в своей тарелке. Какая чепуха все эти пересуды парижских будней, анекдотов, сплетен! И что за таинственные беседы где-нибудь в отдаленной гостиной каких-то подозрительных субъектов? Тоже мне — салон толстовской мадам Шерер!

Бобровников исподлобья разглядывал это сборище разношерстных людей и придумывал, как бы он изобразил их в своем произведении. Если подойти с этой точки зрения — богатый материал для наблюдения!

Все остальные чувствовали себя, как видно, преотлично. Русские фабриканты без фабрик, сахарозаводчики без сахарных заводов и нефтяные короли без нефти разглядывали картины на стенах или оживленно беседовали. Несколько дам, сверкающих вывезенными из России бриллиантами, с преувеличенным вниманием рассматривали, расспрашивали, тормозили очаровательную Люси. Так скучающие гости в ожидании ужина играют с хозяйским котенком.

Вскоре появился великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат царя. Он понимал свое двусмысленное положение, так как и царя уже не было, и сам он теперь не великий и не князь. Он несколько даже переигрывал в скромность и демократизм. Как-то торопливо здоровался, зачем-то усиленно кланялся. Его явно стесняло особое положение, и он передвигался по залу затрудненной походкой, будто внезапно очутился среди толпы совершенно голым и теперь не знал, как прикрыть грешную наготу.

Дмитрий Павлович неоднократно просил не выделять его, не соваться с неуместным в данном случае придворным этикетом. И все-таки дамы млели и дурели в его присутствии, говорили, как на сцене, неестественно громкими голосами, некстати приседали и дарили великого князя преданными верноподданническими улыбками. Мужчины же становились не в меру серьезными, натянутыми и, как на похоронах, говорили вполголоса и грустно.

Только представители делового мира не чувствовали никакого стеснения. Иностранцы откровенно разглядывали августейшего гостя, как редчайший музейный экспонат, добытый при раскопках древнего кургана. А русские промышленники и банкиры попросту не замечали его.

Когда у Долгоруковой впервые должен был появиться Рябинин, Мария Михайловна опасалась, что явится мужичок в поддевке, стриженный под горшок, в русских сапогах со скрипом, — что-нибудь вроде ее подрядчика в имении Прохладное.

Но князь Хилков дал ему блестящую характеристику:

— Если хотите, это аристократ нового типа. Не знаю, насколько он породист, но можете не сомневаться, что это высокообразованный, воспитанный человек.

— Не скажете ли вы еще, что он был в институте благородных девиц, что для него нанимали бонн и гувернеров? — съязвила Мария Михайловна. — Откуда у него возьмется воспитание? Скажите спасибо, если его сапоги не смазаны дегтем!

— Вы угадали, княгиня, у него именно были бонны и гувернеры. Учился он в Сорбонне, денег прорва, сейчас состоит в Торгпроме вместе с самыми что ни на есть воротилами. Словом, фигура. За манеры можно не беспокоиться, владеет несколькими языками, изъездил весь свет. Не скрою, есть у него странности, да кто же из нас безгрешен? Он чуточку — как бы сказать... рисуется тем, что он русский, что может себе позволить удовольствие быть русским и требовать уважения к его русским вкусам, взглядам и привычкам.

— Но это не так уж плохо! Я тоже люблю, например, чтобы на столе у меня были не только французские вина, но и русская водка и малороссийская запеканка с отплясывающим вприсядку запорожцем на яркой этикетке...

— Тем более вы поймете Рябинина. По размаху он вполне бы мог занять место президента в России. При иной ситуации, конечно.

Опасения Марии Михайловны оказались напрасными. Пришел действительно элегантный, прекрасно одетый, представительный человек. Держался он свободно и даже несколько властно.

В дальнейшем Рябинин стал бывать у Долгоруковой запросто. Он хотя и презирал аристократов, но вместе с тем искал у них популярности. И когда явился на этот раз почти одновременно с генералом Козловским, то только и было разговоров, что о перемене курса в России, о новой экономической политике и новых надеждах.

Третья глава

1

Ольга Петровна знала, как заполнены хлопотами и заботами дни ее мужа, какими вопросами он занят, какие дела его волнуют. И все-таки она не смогла бы перечислить всего, что делал Котовский. Ведь он был не только командиром дивизии, или командиром корпуса, или командиром бригады, он еще был коммунистом в полном, глубоком значении этого слова, наконец, он был советским человеком, а ведь это высокое звание ко многому обязывает.

Взять, например, только одно событие: страшный недород, а в результате повальный голод в самых плодородных районах Поволжья, Украины и Северного Кавказа. Непосредственной причиной недорода была засуха, но, если вдуматься, это являлось

следствием войны и интервенции, прошедших орудийными колесами по засеянным полям, проложивших кровавый след по всему российскому приволью.

Хлеба не было. Ели кору деревьев, ели лебеду. Голодало до тридцати миллионов людей. Смерть хозяйничала в этих местах. Встречались целые поселения, поголовно вымершие, от мала до велика. Кто уцелел, в отчаянии уходил в города, но чем могли поделиться с несчастными горожане? Они сами перебивались на скудном пайке.

Душераздирающее зрелище — мертвые бурные поля, окаменевшие комья земли на пашне, голая пустыня, мертвенно-серая полынь да поблекшие плети повилики... Стаи ворон, с разинутыми от жажды клювами, взьерошенные, голодные, перелетали с одного поля на другое, зловеще каркая.

Надо было срочно спасти людей. Надо было накормить их, а также обеспечить зерном будущие урожаи.

Ленин обратился с призывом к украинским крестьянам: надо помочь голодающим, надо поделиться с Поволжьем избытками, надо выручать людей из беды.

Страна еще не оправилась от опустошительной войны, от нашествия. Страна была разорена. И все-таки каждый старался уделить хоть что-нибудь из своего скромного достатка.

Весть о бедствии разнеслась по всему миру.

— Надо помочь русским!

Отовсюду протянулись дружественные руки. Да и как могло быть иначе? Международная солидарность трудящихся нерушима.

Когда весть о постигшем Советскую Россию бедствии достигла Парижа, разные слои общества встретили ее по-разному. Рабочие стали создавать комитеты помощи. Газетчики стали смаковать различные ужасы в связи с голодом и недородом хлеба. Рябинин снова наполнился надеждами и размышлял, как бы лучше использовать сложившуюся обстановку. Не без его влияния создавалась в Париже «Международная комиссия помощи России». Именно России! Не Поволжью, не местностям, пострадавшим от засухи, а России!

— Это звучит! — ликовал Рябинин. — Это впечатляет! Но воображаю, какие условия им поставит Нуланс! Ведь это твердокаменный человек! Человек-монумент!

Рябинин не ошибался. Возглавил Комиссию помощи тот самый Нуланс, который пакостил Стране Советов уже в 1918 году. Это он в числе других ему подобных налаживал тогда блокаду Советской России, а ведь это и привело русский народ в состояние разорения и нищеты, это и привело к голоду.

Рябинин вполне отдавал отчет, какие последствия блокады и интервенции неизбежно настанут. Слова Рябинина, что костлявая рука голода схватит за горло большевистские Советы, были подхвачены белогвардейской печатью. Эти жестокие, живодерские слова стали лозунгом, стали программой. Пусть, пусть они дохнут с голоду, наши земляки, наши братья, наши соотечественники, раз они не хотят жить, как жили! Не давать им ни крошки! Пусть вымрут в своей вольной стране! Все — и малые и старые!

По Парижу ходил забавлявший всех рассказ, как графиня Потоцкая по поручению «своего большого друга» барона Корфа явилась сообщить потрясающую новость Марии Михайловне Долгоруковой. Над этой историей, может быть и приукрашенной, смеялись до слез.

— Можете себе представить хорошенькую графиню Потоцкую в роли докладчика по экономическим вопросам?!

Рассказывали, что графиня прониклась сознанием, будто ей поручено важное дело. Когда она вошла, у нее было странное лицо, напугавшее и Марию Михайловну, и князя Хилкова, или, как его называли запросто в домашнем кругу — «дядюшку Жана».

— Господа! — воскликнула она, войдя и даже не здороваясь. — Господа! У них голод! Это просил вам сообщить барон!

Она стояла в позе оперного трубача, извещающего о выходе принца. Это ей шло. Ей вообще все шло, и она это знала. Знала, как зачаровывают мужчин ее синие с поволокой глаза, ее крохотный ротик и капризный выгиб бровей.

Видя, что никто ничего не понял, она пояснила:

— Да, да, представляете? У них совершенно нет хлеба! Совершенно!

— В самом деле, — неуверенно промолвил дядюшка Жан, — я что-то такое слышал...

На Поволжье.

— Я услала барона по одному своему делу. Он хотел сам все рассказать, а пока попросил, чтобы я поздравила.

— Но если голодают... — не поняла Мария Михайловна, — чего же тогда поздравлять?

— Барон уверяет, что, если мужики начнут голодать, они начнут бунтоваться. И тогда мы сможем вернуться в Россию. Вообще мне тут не все ясно. Например, если нет хлеба, неужели они не могут обойтись? Мне вот доктор категорически запретил есть хлеб.

— Вот видите! — повеселел князь. — И вы все-таки не бунтуете! Вами даже император Николай был бы доволен...

— Пожалуйста, Жан, не затрагивайте хоть его! — простонала Мария Михайловна. — О вас же мне давно известно, что вы неисправимый циник, у вас нет ничего святого!

— Неправда, есть святое: это вы, княгиня! Вы — моя религия!

— Жан!

...Несколько дней графиню Потоцкую нарасхват приглашали во все дома, чтобы от нее самой выслушать эту новость. Таким образом, весть о том, что в районе Волги умирают от голода тысячи людей, обернулась в избранных кругах белоэмигрантов веселым анекдотом.

Тем временем Международная комиссия помощи России заседала, выносила решения...

— Помощь голодающим? Мы ее окажем, но при условии... безоговорочного контроля над действиями Советского правительства! — ораторствовал Нуланс. — Им сейчас некуда податься, они приперты к стене. Только при этом условии контроля будет оказана помощь голодающим! Всем ясно? *Sine qua non*⁴. Мы к ним пошлем экспертов!

Эти притязания были отвергнуты Советским правительством. Тогда по установившейся традиции прибегли к помощи все тех же эсеров, той части, что успела легализоваться и сделать вид, что отошла от своих позиций. Группа представителей эсеров, слегка разбавленная кадетами, предложила создать на общественных началах «Комитет помощи голодающим» — Помгол.

Им разрешили. Однако, зная повадки этих сомнительных радетелей о благе народном, присматривали за ними. Вскоре перед Дзержинским лежали неопровержимые доказательства преступной их деятельности. Нашли у них даже схему... да, да, схему, где уже заранее разрабатывались детали так называемого переустройства России.

Феликс Эдмундович с горечью сказал:

— Вот для чего им понадобился Помгол. Даже народное бедствие эта публика использует для политической борьбы и заговоров. Спят и видят государственный переворот в России. И уже намечается верховный правитель! Все их помыслы только и ограничиваются захватом власти. А как властвовать, как устроить жизнь — это у них вопросы второстепенные.

Дзержинский нахмурился:

— Арестовать! И этого негодяя арестовать, у кого в дневнике нашли запись: «И мы, и голод — это средства политической борьбы»!

2

На Украине решено, чтобы каждые двадцать человек прокормили одного голодающего. Котовский берется за дело. Помощь голодающим рассматривать как одну из боевых задач! И зорко следить, чтобы все, что предназначено для голодающих, срочно доставлялось им, — только им и только срочно!

4 *Sine qua non* — неперемное условие (лат.).

Ведь памятен зловещий эшелон, который год или два назад мчался по рельсам через Страну Советов. Да можно ли забыть то трудное время? Злобное, оцетиненное кольцо блокады. Разутая, раздетая, нетопленная Советская республика. Голодная смерть смотрит в лицо. И вот в Петрограде, где каждый вагон на счету, каждое ведро каменного угля — величайшая драгоценность, формируется эшелон. С какой надеждой смотрят на него изголодавшиеся питерцы! Эшелон — это спасение! Он направится туда, в хлебное приволье, в восточные районы. Там его нагрузят спасительными продуктами, чтобы накормить почерневших от голода питерских рабочих, истощенных, измученных женщин, синевато-прозрачных, трогательно-беспомощных детей...

Свисток. Семафор открыт, жезл вручен, эшелон трогается, разболтанные вагоны ходят ходуном, гремят, грохочут, поезд набирает скорость и отчаянно дымит. Версты, версты... станции, полустанки... Изрытые окопами поля, разбитые водокачки, дважды взорванные и дважды починенные на живую нитку мосты... Ах, скорей бы, скорей бы! Вся надежда на него! Скорей бы он добирался до места!

Но вот эшелон благополучно прибыл на станцию назначения. Там уже ждут его. Криво улыбается начальник станции. У него уже все условлено, все подготовлено.

— Прибыл? Ладненько. Поставить на шестнадцатый путь.

Эшелон стоит на шестнадцатом пути. Стоит неделю, стоит другую. Ветер пронизывает насквозь пустые изношенные вагоны, они обрастают инеем, колеса примерзли к рельсам...

— Стоит? Ладненько. Перебросить его на двадцать второй путь.

Но вот какое-то движение, какое-то оживление. В тулупах, с фонарями в руках идут хмурые заспанные проводники. Прицеплен паровоз. Рывок, еще рывок. Эшелон пятится, ползет сначала назад почти за станцию, в открытое поле, где мигает зеленым глазом семафор. Стоп. Свисток. Эшелон движется теперь уже вперед и оказывается на главном пути, у перрона.

— Отправляется? Ладненько. С богом!

Свисток. Семафор открыт, жезл вручен, эшелон трогается, разболтанные вагоны гремят, грохочут, раскачиваются, поезд набирает скорость и отчаянно дымит...

Версты, версты... станции, полустанки... И наконец, после длительных стоянок, после отчаянных нечеловеческих усилий снабдить его и топливом и подой, пустой эшелон благополучно добирается до голодного, холодного Питера, где так его ждут.

Начальник станции криво усмехается:

— Прибыл? Превосходно. Загнать его на шестнадцатый путь. А затем снова отправить туда, в хлебные районы, и так гонять взад и вперед порожняком, пока господа защитники революции не передохнут с голоду!

Да, Котовский помнит, такие эшелоны гоняли в самое трудное время засевшие в разных «Викжелях» озверелые враги, гоняли порожняком на радость белогвардейщине, на радость банкирам и лордам и всем ползучим гадам, обитающим на земле. Котовскому часто мерещится этот эшелон, мысль о нем преследует его неустанно. Когда он знает, что затрачены впустую государственные средства на никчемное дело, Котовский говорит, бледнея от ненависти:

— Это он, это он, тот самый зловещий эшелон!

Когда путаники, бездельники только болтаются под ногами, замедляя движение, Котовский снова видит пустые вагоны, перегоняемый взад и вперед порожняк.

Бойтесь зловещего эшелона!

3

— Как ты считаешь, Леля, можно жить, если не веришь в человека? По-моему, нельзя. Ведь если не верить, то что же тогда останется?

— Надо верить! — твердо отвечала Ольга Петровна.

Котовский задавал такой вопрос всем. Криворучко на это мрачно отозвался, что

человеку отчего бы и не поверить, а если это не человек, а только притворяется человеком?

Котовский безгранично верил в хорошее, что заложено в каждом, во всех людях. С отвращением и ужасом смотрел на лодыря, негодяя, способного есть чужой хлеб, выискивающего теплое местечко и провозгласившего девиз: «Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать». Котовский недоумевал, глядя на такого нравственного уродя: как это можно продрезать через всю жизнь порожняком, как тот эшелон?

Но у него никогда не опускались руки, он всегда надеялся, что проснется в человеке то хорошее, что ему присуще, он верил каждому человеческому существу.

Сколько, например, возился и нянчился Котовский с Зайдером, человеком с темным прошлым и грязной душой!

Когда в Одессе была установлена Советская власть, Зайдер пришел к Котовскому и попросил принять его в отряд. Кем? Кем угодно! И начал он в бригаде вроде как по снабжению орудовать. И так орудовал, что вскоре на него стали поступать жалобы: там незаконно отобрал, тут незаконно взял словом, мародерством занимается. Несколько раз вызывал его Котовский, усовещал, предупреждал, что так дело не пойдет. Зайдер клялся и божился, что это в последний раз, что больше это не повторится, а если уж пошло на откровенность, то для кого он старался? Овес забрал у мужика? Так ведь сам-то Зайдер овса не ест? Овес-то Орлику достался?

Увы, Зайдер не исправлялся. Опять и опять всплывали на поверхность некрасивые его дела. Посоветовался Котовский с комиссаром. Решили, что нельзя этого человека в бригаде оставлять. Удалось пристроить Зайдера в военизированной охране сахарного завода.

Зайдеру новое назначение понравилось:

— Люблю сахарок. Могу и вам в случае чего подбросить. По старой дружбе. А что?

— Ничего подбрасывать мне не надо, а если это шутка, то плохая. Постарайтесь оправдать доверие на новой работе.

Ушел Зайдер, как всегда, с сознанием своего превосходства, с непоколебимой уверенностью, что уж он-то умеет жить.

А Котовский размышлял после его ухода:

«Скользкий он какой-то. Услужливо-нагловат и наглогато-услужлив. Выгнать бы его в три шеи к чертовой бабушке, но тогда он и вовсе по наклонной плоскости покатится. А тут все-таки при деле, все-таки среди трудового народа. Приглядится, обживется, может быть, и усвоит советский стиль работы».

Всякая несправедливость, всякое пренебрежение в работе и распущенность в личной жизни приводили Котовского в бешенство. После всего пережитого — после тюрьмы и каторги, лишений и гонений, а затем непрерывных боев и переходов — он стал вспыльчивым и несдержанным. Ольга Петровна просила его:

— Если ты вспыхнешь, если почувствуешь, что не можешь сдержаться, поворачивайся немедленно, иди ко мне и на мне израсходуй свою вспышку и свое раздражение.

Иногда Котовский вскипит, разъярится да вдруг вспомнит наказ жены — и сразу отляжет от сердца, только махнет рукой и рассмеется:

— Следовало бы с тобой покуче, да ладно, как-нибудь в другой раз.

Оснований для тревог предостаточно. Хотя и закончилась гражданская война, но и теперь не унимается вражеская рука. То там, то здесь появляются бандитские шайки. Здесь они подожгут ссыпной пункт, там внезапным налетом обрушатся на сахарный завод или ворвутся и перережут весь служебный состав железнодорожной станции.

Котовскому поручена охрана ссыпных пунктов Переяславского уезда, и он отдает приказ послать на каждый охраняемый пункт самых дисциплинированных, самых надежных бойцов бригады.

Центральный Исполнительный Комитет призывает напрячь все силы для изжития топливного кризиса. Объявлен топливный трехнедельник. Воинским частям Украины приказано принять участие в проведении этой кампании.

Насколько серьезно положение с топливом, видно из тех мероприятий, которые

проводятся в армии.

— Топливный кризис принял угрожающий характер, железные дороги Республики остаются без топлива, — напоминает Котовский. — Топливный кризис в свою очередь сказывается на доставке продовольствия голодающим Поволжья. Требуется экстренные меры, чтобы справиться с этой бедой!

Котовский, в то время начальник 9-й кавдивизии, разрабатывает детальный план действий.

Курсанты дивизионной школы на все время трехнедельника переходят в оперативное подчинение чрезвычайной тройки. Курсанты, назначенные десятниками, получают по три пилы и по восемнадцати человек рабочих, обязанных выполнить определенный суточный урок — три кубические сажени дров. Группа курсантов занята точкой и правкой пил. Другие помогают сельским властям подобрать возчиков. Курсанты освобождаются от строевых занятий. Малейшее уклонение от работы рассматривается как невыполнение боевого приказа и ведет к преданию суду революционного военного трибунала.

Можно представить, как дружно начинают фырчать пилы, как звонко отдается в лесных трущобах говорок топоров. Даешь три кубические сажени дров на каждую группу пильщиков! Даешь топливо стране, истерзанной интервенцией и озверелой контрой, но полной молодого задора и неистощимой энергии!

Голод в Поволжье, а находятся такие куркули, что скрывают фактически засеянные площади, показывают меньшие, да и по тем не выполняют нормы продналога.

Снова Котовский круто берется за дело.

— Мы разместим полк в селах, не сдавших продналога! — гремит голос Котовского. — И обяжем эти села довольствоваться полк фуражом до той поры, пока не будет стопроцентной сдачи продналога! Небось тогда поторопятся! О выполнении задачи доносить в ежедневных сводках.

И хотя сейчас не приходится скакать во весь опор под посвист пуль, врубаться во вражеские ряды, но сражения с неуступчивым, въедливым прошлым происходят на каждом шагу. Не так-то легко стряхнуть с наших ног прах старого мира.

Тревожный сигнал: пьянство в дивизии. Котовский отмечает в приказе, что это тем более преступно в настоящий момент, когда Республика бьется в тисках голода, когда от каждого человека ждут сознательности, дружных усилий!

Или как назвать — изменником или глупцом — начсандива, который во время боевой операции против банд оставил всех врачей в тылу, при обозе второго разряда, и отправил с действующими частями только фельдшера да лекпомов?

Сурово спрашивал Котовский. Как тут не прийти в бешенство? Как не принять крутых мер?

Может быть, другому человеку все эти будничные дела показались бы скучными, мелкими. Прославленный легендарный командир — и вдруг: дрова, борьба с пьяницами, наблюдение за действиями начсандива. «Да провались они пропадом! — сказал бы другой. — Подай мне дело по плечу, чтобы действовать — самое меньшее — в мировом масштабе!» Но Котовский был другого склада человек. Он с увлечением занимался самыми обыкновенными, житейскими делами и вкладывал в них всю душу.

Итак, за пьянство и разложение — судить! По делу начсандива назначить строгое расследование!

— А ты, Леля, говоришь — приходи домой и здесь срывай свое возмущение. Тут сама рука хватается за эфес!

— Вот как раз этого и не надо, — спокойно и рассудительно толковала Ольга Петровна. — Ты поступил правильно, что предоставил подыскать меру наказания ревтрибуналу.

О страшном эшелоне, который гоняли порожняком, Котовский узнал от Ивана Белоусова. Белоусов же рассказал, что творилось в Помголе.

Когда кончилась гражданская война, Котовский отправил своего питомца Ивана Белоусова в Одесщину сеять хлеб, налаживать хозяйство. Белоусов часто наезжал к Котовскому — то посоветоваться, то просто повидаться. Котовский любил этого напористого парня. И было радостно сознавать, что весь он, от начала до конца — творение Котовского, его продолжение в жизни, как ветка от основного куста.

Однажды Белоусов сообщил:

— Григорий Иванович! Вступил в партию!

Спеша выложить все наболевшее, Белоусов продолжал:

— Видел я, как проходили выборы делегатов на Десятый партсъезд. Вы даже представить не можете, какие жаркие сражения у нас были. Вот это бои! Я только теперь понял, что Григорий Иванович, направляя нас — ну, меня вот и других — в гущу жизни, оставался тем же командующим бригадой, вы понимаете меня, Ольга Петровна? Мы и теперь наступаем, обходим с фланга... берем в штыки...

— Конечно понимаю. А вы понимаете, Ваня, что такое Десятый съезд партии? Об этом съезде через сто лет будут вспоминать, он войдет в историю. На повестке был вопрос о единстве партии, вот о чем шла речь на этом съезде. Вполне понятно, что на съезд стремились попасть всевозможные троцкисты, анархо-синдикалисты и прочая дрянь. Потому и происходили у вас жаркие сражения. А сами-то вы за кого голосовали?

— Я-то? Какой вопрос! За тезисы большинства ЦК, конечно! За Ленина!

— То-то и есть. Все лучшее — за Ленина. У тех — никого, кроме крикунов и карьеристов.

Котовский умел слушать. Но его кипучая натура требовала немедленного действия, срочного вывода из сказанного. Ольга Петровна, наоборот, была спокойна, уравновешенна, говорила медленно, подбирая нужные слова.

— Крикунов и карьеристов? — подхватил Котовский, еле дождавшись, когда она договорит. — Теперь все, покричали — и хватит! Решение Десятого съезда — покончить с фракциями, очистить партию от неустойчивых.

— Григорий Иванович, кабы только неустойчивые...

— Знаю, есть и похуже. Вот и гнать их от живого дела! Ведь недосуг с ними возиться! Дел по горло, а тут всякая сволочь мешается!

Когда Иван Белоусов снова приехал — слаженный, быстрый, решительный, — он еще на пороге возвестил:

— Григорий Иванович! Не знаю, одобрите или не одобрите: решил работать в Чека. Это в моем характере будет. Что же, смотреть на этих гадов-оппозиционеров?! Вы только подумайте: меньшевики в Одессе выпускают свою газету! Орудуют! Эх, Григорий Иванович, на мой вкус — так не разводите бы с ними антимонии. Ведь они кто? Они похуже будут всяких деникинцев, они верткие. Я думал-думал... Как тут действовать? Шашки наголо? Нельзя. И оставить тоже нельзя... Вот решил в Чека пойти.

Так Иван Белоусов стал чекистом. Прошел специальную школу, с головой окунулся в опасную, напряженную работу. Много узнал такого, о чем раньше и не догадывался. Не раз бывал в переделках, но это для него не ново: ведь у Котовского был разведчиком, и, кажется, не на плохом счету.

Даже внешне Белоусов изменился. Стал сдержаннее, сосредоточеннее. Знал больше, чем говорил. Вообще стал не очень-то разговорчив. О чем так и вовсе умолчит. Упомянет — значит, дело завершено и папки сданы в архив.

— Слово — серебро, а молчание — золото! — приговаривал он.

На все смотрел теперь Белоусов иначе. Появилась умудренность. Горькая складка залегла в уголках губ. Стальные блики появились в серых глазах. Ведь он знал многое, о чем никто вокруг и не задумывался. Жизнь шла своим чередом. Люди трудились, после трудового дня отдыхали, развлекались, ходили в театр и кино, прогуливались в городском саду или

ехали на юг и загорали на пляже. А Белоусов знал, что тут же, по этим улицам, под чужой личиной, разгуливает враг и что ему, Белоусову, поручено найти его и обезвредить. Может быть, именно в этом саду на отдаленной скамейке как бы невзначай очутились рядом двое, и один другому передал незаметно какой-то предмет... И точно ли два беспечных дружка сидят за столиком в пивной и, окуная нос в пивную пену, беседуют о том о сем? Не является ли один из них простофилей, не служит ли ширмой, а второй не выжидает ли назначенного часа, чтобы выстрелить из-за угла в советского деятеля?

Теперь-то Белоусов определенно знал, что война между старым и новым ни на минуту не прекращалась, только принимала иные, еще более коварные и опасные формы. И в этой войне требовались зоркость и хладнокровие, находчивость и специальная подготовка.

В редкие минуты досуга непосредственный начальник Белоусова, бывший матрос, старался на конкретных примерах привить Белоусову умение видеть, сопоставлять, делать умозаключения, по малейшим, для неопытного глаза неразличимым приметам нападать на след.

— Хотите, товарищ Белоусов, расскажу вам забавную историю про один обыкновенный тульский самовар? Давненько это было, то есть давненько в смысле сегодняшних скоростей, когда за несколько дней происходят иной раз события мирового значения. Ведь у каждой эпохи свои скорости.

Белоусов слушал и боролся с острым желанием разглядеть на щеке начальника старый зарубцевавшийся шрам. Вот и об этом шраме бы он рассказал!

— Так вот. Узнали мы адрес конспиративной квартиры антисоветской организации. Снаружи дом — прямо из детективного рассказа о каком-нибудь Шерлоке Холмсе. Мрачный, старый, и стоит на пустыре, особняком. Но внутри нас ждало полное разочарование. Хозяев нет, видно, кто-то предупредил, и они скрылись. Комнаты пустые. Пыль, паутина. Но нельзя сказать, что нежилой дом: в шкафике посуда, на стенах картины висят, на окнах занавески, в спальне — застланная кровать. Да. Так вот, часа четыре мы провозились, осмотрели каждую вещь, простукивали стены, заглядывали за рамы, лазили на чердак — ничего! Чисто-пусто! И вдруг меня осенило. Как же так? Стоит — красуется на кухонном столе полутораведерный тульский самовар. Возле русской печки и труба самоварная, и угли в корчажке, хоть сейчас нащепи лучины, ставь самовар и садись чаевничать. Все это так, а отверстия для самоварной трубы нет. Нет — и баста! Как же так нет? Должно быть! Мигом принялись мы известку отскабливать, глину пробивать — вот оно, отверстие, кирпичом заложено! Вынули кирпич — так и есть: тайничок. А в тайничке свертки. Таким-то образом самовар помог нам организацию раскрыть и обезвредить. Значит, вывод сам собой напрашивается, — заключил свой рассказ старый чекист, — не оставляй без внимания даже самовара. Когда-нибудь я расскажу, как один пойманный шпион все хромал и опирался на толстую трость. Следователю показалась хромота не очень естественной, он внимательно осмотрел палку, оказалось, что внутри нее спрятаны шпионские донесения, списки агентов, конечно, не просто фамилий, — номеров, под какими они числились... В нашей практике много разных разностей бывает...

После таких рассказов Белоусов стал по-другому воспринимать жизнь. Всюду он искал логическую связь, по внешним признакам старался угадать характер человека, которого видел впервые, старался определить его профессию, так же как определяют с первого взгляда возраст, состояние здоровья, даже уровень развития.

Много открытий делал Белоусов, приглядываясь ко всему окружающему. И соображения, которые он высказывал своему начальнику, иногда были трогательно-наивны, но порой своеобразны и полны глубокого смысла.

— Не все, кто ворчит и критикует, обязательно контрреволюционеры, рассуждал он. — И не каждый, кто сыплет революционными фразами, — поборник Советской власти.

— Это подмечено неплохо, — соглашался начальник Белоусова. — Критика, строгая критика для настоящего деятеля — компас, а для выскочки, возомнившего о себе, — кровная обида.

— А еще бывают оговоры, — продолжал Белоусов. — Наклепают на человека, иди и расхлебывай.

— Бывает и так, — посмеивался начальник. — На то нас и поставили на такую ответственную работу, чтобы мы вдумывались и разбирались. В нашем деле нельзя рубить сплеча, но нельзя допускать и прекраснотушия, дорого обойдется. Ленин предупреждает нас, что ни одно глубокое и могучее народное движение в истории не обходилось без грязной пены — без присасывающихся к неопытным новаторам авантюристов и жуликов, хвастунов и горлопанов. Вот вы и посудите сами, какая филигранная работа возложена на нас, чекистов! Ну, мы и вылавливаем авантюристов. А сейчас враги взяли установку на бандитизм.

Начальник усмехнулся:

— Поймали мы как-то тут одного крупного бандита. Отпирается. Тогда мы показали ему карту, которой давно располагаем: на ней нанесены все подпольные белогвардейские организации крупного района... Карта настолько была у них секретной, что и ему показали ее только издали. А у нас она имелаась. Вот так-то, дорогой товарищ Белоусов! Входите во вкус! Интересная наша работа!

5

А в доме Котовских жизнь шла размеренно, своим чередом.

Подъем в пять часов утра. И сразу же гимнастика и тренировка, а после гимнастики и тренировки обязательно облить студеной водой — прямо из колодца, и затем растереть тело мохнатым полотенцем так, чтобы кожа горела и все поры дышали свежим воздухом, струящимся из сада, из открытого окна.

Какое благоухание по всей Умани, особенно когда цветет белая акация! Вся Умань утопает в садах, редко встретишь дом, вокруг которого не красовались бы яблони, не шумели листвою липы, не привлекали глаз нарядные мальвы. А какие тенистые аллеи в Софиевке, и сколько там птиц! Под самой Уманью раскинулся знаменитый Греков лес — с извилистыми тропинками, с солнечными лужайками, с зеленой тишиной.

Григорий Иванович Котовский стоит у открытого окна, глубоко дышит, любуется на белые облака, на лазоревое небо, на могучую сочную зелень, на просторные поля. Хорошая земля в Умани — роскошный чернозем. Недаром Уманский уезд выращивал, как помнят старожилы, одной только озимой пшеницы до пятисот тысяч пудов, да еще и ржи почти столько же. Сеют здесь и ячмень, и просо, и гречиху. И потихоньку-помаленьку начинает налаживаться хозяйство после всех бурь, после кровавых сражений. А давно ли по полям и холмам, не разбирая, что тут посеяно — рожь или гречиха, или ничего не посеяно, ничего не растет, кроме полыни и лебеды, чертополоха и бурьяна, мчалась лихая конница, громыхали тачанки, врезывались в землю глубокие выбоины от тяжелых батарей?..

Котовский смотрит вдаль. Вот прошел мимо товарный поезд. Снова тишина. Выползла во двор разбитая параличом, почти не способная двигаться старая генеральша, дряхлая, седая, с ожесточенными, скорбными глазами. Это бывшая хозяйка дома, муж ее, уездный воинский начальник, погиб во время этих грозных лет, пронесшихся над Россией. Когда дом был отведен городскими властями для командира корпуса Котовского, старуху хотели выселить. Григорий Иванович воспротивился:

— Пускай себе доживает век на своем пепелище. Мне она не помешает, и я ей тоже не досажу.

Так и оставили ее на прежнем месте. Сама генеральша, видимо, не знала, что ее собирались выселить. Она вообще не воспринимала всего происходящего в мире. К тому же она была совершенно глуха. Заговоришь с ней — отвечает невпопад или же вообще ничего не отвечает и смотрит куда-то мимо. Поистине, она была воплощением сгинувшего старого строя — в своей бессильной ненависти, в своей безнадежной глухоте, в своем оцепенении. Какая-то сердобольная женщина приносила ей еду, выводила почти волоком на крыльцо,

затем уводила обратно. Генеральша сидела на крыльце неподвижно, уставив потухший взор в одну точку. О чем она думала? Что вспоминала?

Главное украшение в просторном и светлом кабинете Котовского большая, во всю стену, карта России. Она совершенно необходима Котовскому, он хочет постоянно чувствовать близко, около, рядом всю страну, горячо любимую, славную социалистическую державу, ленинское детище, выпестованное им на радость и на образец всем трудящимся мира. Нужно большое сердце, необъятно широкая, как русские степи, душа, чтобы со всей беззаветностью, не щадя жизни, ринуться в бой, отстаивая ленинскую правду. Недруги кричат: «Отсталая страна!» Разве отсталая, если в каждом ее обитателе — в рязанском, самарском мужике, в полтавском хлеборобе, в винницком незаможнике — в решающий час обнаружилось величавое благородство, неслыханная отвага, готовность по зову Ленина встать рядом с питерскими пролетариями, иваново-вознесенскими ткачами, бакинскими нефтяниками, донецкими шахтерами, рядом с невиданной еще породой людей — коммунистами и не оробеть перед увешанными американским оружием, накормленными английскими галетами белогвардейцами, перед озверелым царским офицером, перед хладнокровными наемными убийцами, надерганными интервентами из четырнадцати государств? Нет, не отсталая! Высокоодухотворенная, достойная подражания, прославленная в веках страна, гордость человечества бессмертное поколение, отстаившее революцию.

Такие мысли рождаются в голове Григория Ивановича Котовского при взгляде на огромную, во всю стену, карту огромной, в одну шестую часть света, страны. Другому бы ничего тут не увиделось, кроме желтых, зеленых, голубых пятен, линий и кружочков, крупных и мелких названий городов и сел. Нет, Григорий Иванович видит иное! Он видит, как движутся по всему необъятному пространству лесов и полей, горных ущелий и цветущих равнин отряды и роты, полки и дивизии, как захлебываются и надрываются пулеметные очереди, ухают орудия, как с винтовками наперевес идет в атаку пехота, как звенят и врубаются во вражеские полчища безотказные клинки.

История огласила смертный приговор преступному капиталистическому миру. Глянув в черную зияющую яму, готовую его поглотить, обреченный цепляется за края могилы, в приступе ярости он хотел бы увлечь за собой все живое, все, чему предстоит жить и красоваться. Он понимает, что новый, коммунистический строй неизбежен, что он несравнимо лучше и что он обязательно придет.

Сначала чудовище пытается задушить прекрасное дитя еще в колыбели. На защиту встает все, что есть лучшего на земле. Тогда изуверу ничего больше не остается, как всяческими ухищрениями замедлять ход истории, всеми способами мешать, всеми приемами вредить. Убивать, тащить все, что подвернется под руку: золото так золото, пшеницу так пшеницу. Угонять из наших гаваней принадлежащие нам корабли, с проворством опытного контрабандиста увозить сибирский лес, драгоценности, даже новые, только что выпущенные советские серебряные рубли и полтинники, даже старинные картины, даже старинную утварь из особняков — и стулья пригодятся!

Но цель тут иная. Сначала взрывать мосты, приводить в негодность паровозы, сжигать города и убивать, убивать все равно кого, все равно за что, лишь бы больше... Топтать посевы, окружать блокадой, стрелять из-за угла... А затем горланить во всю глотку до хрипоты, что вот он — хваленый социализм, вот он — новый строй, видите сами, — ничего у них не получается: голод, нищета, разруха, пещерный быт, развал! Они даже и одеваются не по моде! У них даже нет жевательной резинки! Дикари!

Чем больше вдумывался Котовский, чем усерднее изучал Маркса, Энгельса, чем внимательнее читал и перечитывал творения Ильича, тем ярче вырисовывалась перед ним потрясающая картина страданий, противоречий, рабства и унижения, в которые ввергнуто человечество царством доллара, тем длиннее становился перечень злодеяний, на которые кидается старый мир, понимая, что гибель его неминуема и что ему все равно уже нечего терять.

Да, карту любил Котовский, о многом она ему рассказывала. А гипсовая статуэтка —

Ленин во весь рост — и бюст Карла Маркса на письменном столе довершали убранство строгого делового кабинета комкора.

Котовский твердо знает: надо полностью использовать кратковременную передышку, которую вынуждены дать враги. Все их атаки отбиты, им приходится разрабатывать новые варианты. Пока они там думают и собираются с силами, нужно хорошенько подготовиться к будущим боям.

Из каждой поездки в Киев или Харьков, а особенно в Москву Котовский привозит кипы книг, журналов, пособий, а затем штудирует их со всей напористостью и страстностью своего неумного характера. Все размышления, все открытия, которые он делает, читая «Анти-Дюринг», или Дарвина, или ленинские статьи, он тотчас излагает своим товарищам, а прежде всего Ольге Петровне. Он спешит поделиться всем, что узнал, он не хочет быть скрягой и скопидомом, копить знания только для себя. Всем людям нести свет, всех приобщать к культуре!

Ольга Петровна — первый друг и советчик, неизменная помощница во всех делах, мамаша для всех котовцев, прилежный секретарь, надежный справочник по всем вопросам. Она из тех русских женщин, которые обладают душевной ясностью, обширным умом и удивительным тактом, которые разделяют с мужем все его помыслы и труды, скромно оставаясь в тени и довольствуясь славой и успехами своего избранника. Мягко и деликатно Ольга Петровна указывала мужу, что ему необходимо проработать в первую очередь, к каким источникам прибегнуть. Часто она читала ему вслух. Затем они откладывали книгу в сторону, и начиналось обсуждение прочитанного.

Штудировав какой-нибудь фундаментальный труд, Котовский запоминал особенно понравившиеся ему строки.

— Америка — самая молодая, но и самая старая страна в мире! восклицал он, с завидным аппетитом уплетая свой любимый борщ с перцем или воздавая должное пампушкам с чесноком.

Ольга Петровна выжидательно и понимающе смотрела на любимого человека. Она знала его привычку думать вслух. Но Котовский молчал. Он размышлял над этими словами, почерпнутыми из писем Маркса и Энгельса. Через некоторое время он добавлял:

— Самая старая. Вроде нашей генеральши: все лучшее позади.

6

Утром, еще до гимнастики, Котовский припоминает неотложные дела, которые следует выполнить сегодня, диктует Ольге Петровне, и она записывает в блокнот.

— Проверить ход контрактации свеклы. Записала? А то не проверять, так после наплачешься. Ленин учит, что если ты отдал распоряжение, то обязательно проверь, выполняется ли оно. Иначе ты будешь выглядеть болтуном. А те, кто пренебрегли твоим распоряжением, будут хихикать за твоей спиной.

Ольга Петровна записывает. Солнце светит в окно. Котовский продолжает диктовать:

— Проверить торговлю военно-кооперативных лавок. Как я здорово прижал частных! Одобряешь? Взвинтили цены на мясо так, что мясо стало дороже шоколада. А мы пустили мясо в своих лавках сначала даже себе в убыток. Понимаешь, какой ход? Это все равно что зайти противнику во фланг, ударить конницей по его тылам. Сначала частные торговцы смеялись над нами. Экие простофили, говорят! Однако видят — покупатель толпой повалил к нам. Горят нэпманы! Помнишь, делегация от купцов ко мне приходила?

— Это когда ты их выгнал? Как же! Помню.

— Взмолились, олухи царя небесного! Не губи, говорят, побойся бога. А я им отвечаю: труды Маркса и Энгельса надо изучать, тогда бы вы знали, что ваш бог — вексель, ваш культ — торгашество, а ваша гибель — социализм. Вопросов больше нет? Не забудьте с той стороны захлопнуть двери!

Котовский приступает к гимнастическим упражнениям. Наступает молчание. Ольга

Петровна смотрит в окно, залюбовалась затейливым зеленым убранством сада. Какая свежесть хлынула в комнату! Солнце поднялось уже над деревьями, все сверкает, переливается. Птичий гомон — величайшее музыкальное произведение природы — порождает бодрость, согласованность, наэлектризованность души. И вдруг Котовский что-то вспомнил, прервал упражнения:

— Самое важное! Запиши, Леля, и подчеркни: в президиуме горсовета поднять вопрос о восстановлении кирпичного завода в городе. Ты ничего об историческом прошлом нашей Умани не читала? А я читал. Там только одно не записано — что наша бригада в районе Умани поставила точку разбоем бандитов Грызло и Гуляй-Гуленко. Ну ничего, об этом в следующем издании добавят. А об Умани ты прочитай, занятно. Оказывается, никто не знает, когда Умань основана, знают только, что давно. Зато хорошо известно, что ее частенько истребляли. Один раз всех жителей Умани вырезал гетман Дорошенко, в другой раз приложил руку Гонта. Но это не главное. Истреблять и вырезывать с давних пор водятся мастера. Главное другое: оказывается, до революции в Умани черт-те что было, даже табачная фабрика, можешь представить?! Две паровые мельницы, три вальцовые. Маслобойные заводишки тоже были, а что меня заинтересовало — здесь было шесть кирпичных заводов, мал мала меньше, но шесть. А мы теперь один, да хороший откроем. Кирпич нам вот как нужен! Кстати, запиши, тоже сюда относится: поехать в Бердичев. Записала? Не улыбайся, Леля! Иногда кирпич — первейшая штука, его нам много понадобится. Конечно, нужно одновременно не забывать о пушках и пулеметах, как напоминает товарищ Фрунзе. Иначе, говорит, империалисты кирпича на кирпиче не оставят, это такая публика.

— Я записала: «Поехать в Бердичев». А зачем тебе туда?

— Понимаешь, еду недавно по Бердичеву, смотрю — красноармейцы со всем усердием заводскую трубу разбирают, только пыль летит. «Над чем, спрашиваю, трудитесь, товарищи бойцы?» — «Да вот, товарищ командир, печи будем в казармах ставить, кирпич понадобился». — «А что это за труба?» «Бывший буржуйский кирпичный завод, товарищ командир. Ликвидируем, так сказать. Как в гимне указано, проклятый старый мир надо до основания разрушать». — «Отставить, говорю, разрушать. Восстановим этот завод, тогда не понадобится ковырять старые развалины, нового кирпича наготовим». Я уже поручил это дельце толковому человеку, надо съездить проверить, как там у него подвигается. Если в Умани будет завод да там завод — сумеем кирпичом даже кое с кем и поделиться.

— И как это тебя на все хватает, удивляюсь. Смотри, у тебя целый трест образовался: и лавки, и сахарный завод, и кожевенный, а теперь еще за кирпич взялся.

— Надо, Леля. Ты мне вчера читала, как у Ленина говорится? Что мы нагоним другие государства с такой быстротой, о которой они и не мечтали? Ты веришь в это? Я так ни минуты не сомневаюсь. Американские капиталисты очень спесивы, а спесивых по носу бьют. Надо же было выдумать такую несурязицу, что двадцатый век — это век Америки и монополий! Приятно им или неприятно, но жизнь показала, что двадцатый век — век ленинской перестройки, начало новой эры человечества. Тут никуда не денешься, скоро это поймет весь мир. Особенно крепколобым мы объяснили на полях сражений. Советская власть плюс электрификация! Все! Заканчиваю гимнастику. Иду к колодцу окатываться, только как бы генеральшу не напугать!..

Григорий Иванович выглядывает в окно. Тишина. Никого. Спит еще генеральша.

— Как ты считаешь, Кржижановский ведь большой человек, умница? Я вчера из его статьи выписку сделал. До чего некоторые люди умеют находить слова! Я вот плохо говорю. Ведь плохо, Леля? Или сравнительно ничего? Я рублю сплеча, как клинком. Спасибо, еще ты меня сдерживаешь... Эх, Леля, Леля! Бесценный ты человек! Помнишь, я каждый раз тебя из списков представленных к награде вычеркивал? Награду ты сто раз заслужила, но я не мог допустить, чтобы недруги шипели: «Смотрите, Котовский своей жене ордена на грудь вешает...» Не мог я, Леля, ты должна это понять.

— Да разве я не понимаю!

— Вспыльчив я, черт, не маневрирую, как некоторые. Никто не говорит Ольга Петровна Котовская не только орденов — бессмертной славы достойна! Ты и сама не знаешь, какая ты! Исключительная натура!

— Гриша, — останавливает Ольга Петровна, — ты о Кржижановском начал говорить, что он умница.

— Он из ленинской стаи! И вот он отмечает, что мы живем в особое время, не похожее ни на что другое. С наших глаз спала пелена. Сейчас, говорит, все тайны разгаданы, все стоит перед нами во всей своей обнаженной сущности. Понимают враги и противятся. Понимают друзья и присоединяются к нам. Да, есть один единственно правильный путь ленинский! И с этого пути нас не собьют никакие проходимцы, как бы они ни старались!

— Ты ведь так и сказал на конференции, когда выступал?

— Так и сказал.

— А троцкисты?

— Шумели. Да ведь таких, как я, криком не возьмешь. Итак, приступаю к водным процедурам. Да! Запиши еще, Леля: «Тринадцать ноль-ноль — полковник Ухач-Угарович».

— Что, все-таки согласился работать в корпусе?

— Человек был — ни много ни мало — профессором в Академии генерального штаба! Тоже вроде развалин кирпичного завода! Сто лет как в отставке, а предложил я ему вести занятия, он даже прослезился. Надо верить в людей! Каждый кирпич пустить в стройку! Ухач-Угарович! Фамилия водевильная, а старик хоть куда!

Котовский приступает к водной процедуре. Плеск воды. Фырканье. Уханье. Затем свист туго натянутого полотенца, когда им со всей силой растирают спину, плечи, грудь...

— Помнишь, как меня Троцкий вызвал и перевод в Тамбов предложил? Нехорошо он тогда говорил, на моем самолюбии хотел играть, а у меня самолюбие — не скрипка, чтобы на нем играть. «Вас не ценят! Вас не понимают!» Еле тогда Фрунзе меня вызволил. Ушел я от него и думаю: «Нет, не коммунист Троцкий. Кто угодно, только не коммунист».

Растирание закончено. Кожа горит. Даже шея стала красной. Свежий, бодрый, пружинящей походкой входит Котовский в столовую и садится за стол.

— Как ты считаешь, Леля, хорошо это — на низменных чувствах играть? Я тебе откровенно скажу: дюжину таких проходимцев я бы на одного Ухач-Угаровича не променял.

Завтрак несложен: холодная вареная картошка, крепко посоленное крутое яйцо и холодные, запотевшие, с пупырышками, свежие огурцы — прямо с погреба.

Солнце так и заплескивает, так и хлещет в настесь открытые окна форменное наводнение. И какой крик подняли воробьи в кустах акации!

— Теперь на стадион? — спрашивает Ольга Петровна.

— На стадион. А оттуда в школу младших командиров. Как ты считаешь, Леля: чудесная штука — жизнь?

Четвертая глава

1

Сообщение о том, что родился сын, застало Котовского в отъезде, в Москве. С этого момента Григорий Иванович погрузился в некое сияние, в блаженный туман. Его спрашивают:

— Когда вы сможете приехать следующий раз?

Он отвечает:

— Здорово! Молодец Лелька!

— Простите? — озадаченно смотрят на его счастливое лицо.

— Я что-то невпопад ответил? Видите ли, только что получил известие. У меня сын родился.

— А-а! Тогда понятно! — улыбаются все присутствующие. — Чего же вы не едете домой? Спешите! Поздравляем от всего сердца!

— Сегодня еду. Надо только подарки купить. Ведь событие — сын! Это ведь что-нибудь да значит? Теперь хлопот будет... Например, имя сыну надо выбрать... и прочее, и прочее...

Стоял февраль, дули февральские ветры, гуляли февральские метели, и надо же было случиться, что в дороге произошла непредвиденная заминка: поезд задержали из-за заносов пути. Григорию Ивановичу и без того казалось, что поезд ползет как черепаха, что на станциях он стоит безобразно долго.

— И чего, спрашивается, стоим? — волновался Котовский, поглядывая в окно на пустынный перрон, на станционные постройки. — Наверняка график движения составляли заплесневелые бюрократы! Для такой станции, как эта, вполне достаточно двух минут, а мы стоим уже десять!

Но теперь поезд вообще застрял, на этот раз на неопределенное время. Однако Котовский не из тех, кто может мириться с обстоятельствами и опускать руки.

— Кто со мной ликвидировать заносы?

Отозвался один, подал голос другой. Молодежь всегда за риск, за смелость, за действие, за инициативу.

И уже не один Котовский, а целый отряд принимается за работу. Моментально выискали дрезину и отправили к месту действия бригаду здоровяков, вооруженных скребками, метлами и лопатами. Котовский тем временем орудовал в дежурке. Вызвал узловую станцию, позвонил в депо, выяснил, что снегоочиститель в неисправности и все еще не выслан, что там и не шевелятся. Потребовал к проводу некоего Епифанова, нерадивого начальника, о котором сказали, что все от него зависит. Поговорил с ним так, как умел говорить. Через несколько минут снова соединился с этой станцией. Проверил. Сообщили, что снегоочиститель, оказывается, в исправности и уже отправлен. Подействовало внушение! Подошел снегоочиститель. Стальное чудовище то пыhalo жаром, то обдавало снежной пылью, рычало, лязгало, вздрагивало всем своим грузным чревом, и снежные вихри разлетались от него в обе стороны, освобождая путь.

И вот уже можно двигаться дальше! Скорей же, скорей! Неужели машинист не понимает такой вещи: ведь сын! Ведь надо гнать во всю мочь! На свет появился сын, появился маленький Котовский!

Григорий Иванович не помнит, как он примчался со станции домой, как вывалил на стол игрушечный барабан, плюшевого мишку, зайца, свистульки, домик... и даже картонную коробку с кубиками... даже букварь.

Бледная, похудевшая, но с сияющими, гордыми глазами встретила мужа Ольга Петровна. Очень смеялась над его покупками:

— Да ведь ребенку исполнилась всего неделя! А ты уже — букварь! Смешной ты, право. Пока что понадобятся только соска и побрякушка. Но как говорят в народе — мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь!

— Ничего, со временем все пригодится, — упавшим голосом пробормотал Григорий Иванович.

Он вспомнил, что еще за два месяца до появления сына привез для него из Киева кроватку-коляску, и упрямо повторил:

— Все пригодится: и трехколесный велосипед, и мячик, и ванька-встанька... а со временем потребуются и хорошие книги, и добрый конь, и клинок... А если кое-что я приготовил заранее, так запас мешку не порча, как говорится.

Отплатив жене пословицей за пословицу, Котовский приступил к самому главному: внимательно и придирчиво, восторженно и благоговейно — долго и в полном молчании рассматривал крохотное существо. Сильный, могучий, он боялся причинить боль ребенку и брал его на руки только на подушке, как берут драгоценное ювелирное изделие, любуясь им, но остерегаясь трогать.

— Ничего парень. А? Как ты думаешь, Леля? Малость легковат, мог бы быть

покрупнее, да ведь не все сразу. А? Как ты думаешь, Леля? Вырастет?

Пока ребенок не подрос, Котовский никому не позволял входить в детскую.

— Погодите, подрастет — и сам к вам выйдет поздороваться и поговорить о погоде.

Котовский долго решал, какое дать имя сыну.

— Задача нешуточная, — озабоченно говорил он. — Дать имя просто, а ведь человеку-то с этим именем ходить всю жизнь. Слов нет, не имя решает дело, каждое имя хорошо, если человек хороший. А все-таки есть такие загвоздистые имена на свете, что не выговоришь. Салафиил! Филагрий! Меласипп! Елпидифор! Дашь такое имя, а потом будет сынок недобрым словом вспоминать, вот, скажет, удружил папаша!

— Что это такое — Салафиил! Это уж слишком! — возмутилась Ольга Петровна. — Таких имен и не бывает, это ты сам выдумал!

— Нет, не выдумал! Я в Москве все справочники перерыл, все календари проштудировал. Есть! Есть всякие имена! Некоторые и не выговорить! Варахиил! Не веришь? И Варахиил есть и Истукарий...

— Вот и назови сына Истукарием, — рассердилась Ольга Петровна.

Григорий Иванович после долгого раздумья предложил:

— Знаешь что, Леля... Назовем его Гришей? Если какому-нибудь бандиту удастся когда-нибудь прикончить меня, пусть не радуются враги — вырастет второй Григорий Котовский! Кто знает, может быть, и внук появится на свет, и тоже Григорий... А уж ты позаботишься, чтобы они выросли достойными людьми.

На этом и порешили. Пусть самое имя подскажет сыну, по какому пути следует ему идти. Этот путь прямой, без извилин, путь служения народу, революции — путь коммуниста.

Котовский понимал, что понадобится много еще настойчивости, усилий, чтобы пробиться к цели. Еще не одно поколение будет сосредоточивать всю волю, все способности, чтобы отстаивать каждый свой шаг, чтобы идти и идти — наперекор всем бурям.

Маленький мальчик безмятежно спал. Что ждет его? Какие он найдет перекрестки? Какие совершит поступки? Какую пользу принесет людям? Какие радости всколыхнут его сердце? Говорят, молодость без увлечения так же печальна, как старость без опыта. Какие увлечения будут владеть этим новым, вторым Григорием Котовским? Какие задачи поставит перед ним эпоха? Совладеет ли? Каких отыщет друзей маленький мальчик-загадка? Каких сокрушит врагов?

В одном Григорий Иванович был твердо уверен: что сын его вырастет хорошим, даже очень хорошим. Иначе не может быть.

Григорий Иванович напряженно думал, напряженно вглядывался. А мальчик безмятежно спал и улыбался во сне какому-то своему сновидению. Зачем ему раньше времени задумываться? Все придет. Он спал. Отец стоял у его постели и думал о нем, о будущем. Будущее выковывают те, кто живет сегодня.

«Не беспокойся, сын, мы сделаем что сможем и что успеем».

Что говорить, они с Гришуткой большие друзья! Около его кровати и думается легче, и отдыхается хорошо. Григорий Иванович всегда находит для сына хотя бы минутку.

Но разве у Котовского один сын? У него много сыновей и питомцев. То он подберет заморыша, толкавшегося возле полковой кухни в поисках объедков, то приютит побирушку с улицы. Приведет домой, Ольга Петровна вымоет его, смастерит ему белье, рубашонки, вылечит болячки, и становится он равноправным членом семьи, пока не окончит школу и не выйдет в люди.

Кавалерийский корпус взял шефство над комсомолом Днепропетровска. Где же поместиться комсомольским посланцам, приезжавшим в Умань? Конечно у Котовского. Где же получить вкусный обед приехавшему навестить своего командира бывшему бойцу прославленной бригады? Где же послушать интересные разговоры и самому вставить словцо? У Котовских всегдалюдно и шумно. А за столом зачастую не хватает на всех посуды, и тогда пускаются в дело миски, солдатские котелки.

Жили более чем скромно. Только благодаря искусству Ольги Петровны сводили концы

с концами. Но какая это была наполненная, осмысленная, интересная жизнь! Как люди тянулись к этому хорошему, приветливому, дружному семейству!

2

Митюшку Григорий Иванович заприметил давненько. Это был мальчик на посылках, «коридорный» в гостинице «Красная», в той гостинице, где Котовский останавливался всякий раз, как приезжал в Харьков.

Гостиница была не из образцовых, но старалась быть не хуже других. В номерах пахло керосином и невыветрившимся табачным дымом. В ресторане при гостинице кормили плохо и дорого. Зато здесь было от всего близко: от театра, где ставились и Чехов, и мелодрама «За монастырской стеной», от вокзала, наполненного круглые сутки гамом и шумом, и от квартиры Фрунзе, к которому, собственно, и приезжал Григорий Иванович по делам или просто чтобы повидаться.

Митюшка был невероятно белобрыс, даже ресницы у него были, как у теленка, белые, а космы на голове, никак не поддававшиеся гребенке, походили на овсяный сноп в сильный ветер.

— Митюшка! Одна нога здесь, другая там! Газеты в киоске на углу! Быстренько!

— Мить! Пива! Две! Жигулевского!

— Митрий! Сроду тебя не дозваться! Покличь буфетчика, знаешь? В семнадцатый! Водки пусть еще принесет. Не хватило.

И Митюшка мчался опроретью в киоск на углу, в семнадцатый на втором этаже, на почту и во множество других самых неожиданных и невероятных мест. Он спешил, во-первых, потому, что хотел быстро выполнить поручение, во-вторых, потому, что было как раз самое интересное место в книге, которую он в это время читал. Он всегда читал, как только выгадывалась минутка затишья. Книжки добывал всюду. Выпрашивал у жены буфетчика, у нее были исключительно трогательные переводные романы. Брал в библиотеке, где молоденькая библиотечкаря Таисия Федоровна сама подбирала ему, что читать. Многие, уезжая, оставляли в номере книги, журналы, чтобы не везти лишней тяжести, — это тоже поступало в распоряжение коридорного. Митюшка не читал, а проглатывал все, что удавалось раздобыть.

Вот эта страсть мальчугана к чтению и привлекла к нему внимание Котовского.

— Что это у тебя?

— «Суд идет». Ух и интересно! Не читали? Про Ленку Пантелеева! Про налетчика!

На следующий день Григорий Иванович застал его за чтением стихов Крайского. Крайского сменил Гоголь. Потом «Серебряные коньки» Доджа. Потом географический этюд «Почва и ее история». Потом «Королева Марго». Потом Блок... Невероятная смесь! Читает все, что попадет в руки! И где же ему во всем разобраться, все осмыслить?

В один из приездов Котовский застал Митюшку в слезах.

— Разве вы не знаете? Короленко умер, в Полтаве! Тот самый, который «Слепому музыканта» написал! И как это позволяют, чтобы писатели умирали? Неужели не найдется кого, чтобы умирать?

В другой раз Котовский узнал, что швейцар гостиницы — горький пьяница — угощает Митюшку:

— Ты кто есть? Коридорный. А коридорным по штату положено пить еще со времен Адама.

«Ох, пропадет парень! — с горечью думал Котовский. — А ведь есть в нем искра...»

Как-то он натолкнулся на Митюшку, мчавшегося по улице во весь опор.

— Куда?

— Из шестого номера велели барышень прислать.

— Постой, каких еще барышень?

— Каких! Ну, таких... обыкновенных.

— Вот что, Митя. Погоди, не спеши, разговор будет серьезный. Ты откуда родом?

Беженец из Галиции? Понятно! Отец с матерью у тебя есть? Не имеется? В гостинице не нравится? Вижу. А учиться хочешь? Хочешь человеком стать? Так слушай, малец, мою резолюцию. Завтра я возвращаюсь домой поездом в семь пятнадцать. И тебя захвачу. Поедешь? Сначала мы тебя в порядок приведем, вон какая на тебе рубаха и вообще — вихры, например. С осени отдадим на рабфак. Решено и подписано?

...Ольга Петровна ничуть не удивилась. Не впервые Григорий Иванович подбирал заброшенных, несчастных ребятишек, растил их и выводил в люди.

— Вот тебе еще один сын, — сказал он жене по приезде. — Голодный, поди. Прежде всего накормить надо. Понимаешь, нельзя было его так оставить — что бы из него получилось? В жизни каждого человека бывает момент, когда он останавливается на распутии и не знает, что выбрать. Вот тут-то и надо вовремя подоспеть.

— Ясно, — спокойно отозвалась Ольга Петровна.

Опытным глазом осмотрела Митюшку и определила:

— Начнем с бани. А смену белья конфискуем из запасов Григория Ивановича.

И стало у Котовских одним членом семейства больше.

3

Насчет «запасов» Григория Ивановича было сказано слишком громко. Запасов, собственно говоря, не было. Из года в год шло неравное состязание: Ольга Петровна выкраивала, мудрила, совещалась с начальником снабжения Гусаревым, а позднее, в корпусе, с интендантом Верховским, но все ее усилия разбивались о беспечность Григория Ивановича.

Особенно переживала Ольга Петровна, когда он отдал отличные, мастерски сшитые, совершенно новые, ненадеванные сапоги.

Известно, что сапоги — гордость кавалериста. Красивые сапоги заветнейшая мечта. Это все равно что лента для девушки, «совсем как настоящий» пистолет для мальчишки или трубка вишневого дерева для заядлого курильщика.

И вот после долгих хлопот Ольге Петровне удалось сшить для мужа роскошные, с козырьком, на каблуках сапоги — не сапоги, а загляденье. Котовский был в восторге. Щупал, мял, примерял сапоги, прохаживался по комнате. Решил обновить их в Октябрьские праздники.

Но тут пришел к Котовскому жалкий, оборванный, исхудалый незнакомец, страшное существо, на которое и смотреть-то было мучительно. Оказывается, белый офицер, перешедший на сторону красных. Явление довольно обычное. Перебежчиков проверяли в Чека и отпускали на все четыре стороны. Но человек оказался не у дел, не мог найти ни пристанища, ни заработка, дошел до побродяжничества, после долгих скитаний набрел на Котовского и поведал ему свою печальную историю.

С работой вопрос решен был моментально: Котовский направил просителя делопроизводителем в корпусной совхоз.

— Но как же вы в таком виде явитесь на работу? Знаете что, примерьте-ка вот этот френч. Гм, пожалуй, подойдет. Как ты считаешь, Леля? Только вот на ногах у вас ничего нет... Идея! Наденьте-ка мои сапоги! Впору?

С потерей френча Ольга Петровна еще кое-как примирилась. Но когда она увидела, что будущий делопроизводитель засовывает ноги в шикарные сверкающие сапоги Григория Ивановича, стоившие ей стольких волнений, хлопот и расходов, у нее захолонуло сердце. А что она могла сказать? «Не давай»?

Правда, юноша долго отказывался, уверял, что он «что-нибудь придумает», что в крайнем случае предпочел бы не такие новые, не такие великолепные сапоги, как эти, а что-нибудь похуже...

— А почему похуже? — возразил Котовский. — Надо, чтобы все было получше, а не похуже. Не жмут? Ну и хорошо. И потом, согласитесь, мне все-таки легче достать сапоги!

— Чем я смогу отблагодарить вас за чуткость и заботу?

— Честным трудом на благо советского народа! — ответил Котовский.

Ольга Петровна молча, с отчаянием смотрела, как этот человек преспокойно уходил, солидно поскрипывая великолепными сапогами.

Когда Ольга Петровна и Григорий Иванович остались одни, наступило неловкое молчание. У Ольги Петровны не поворачивался язык, чтобы упрекнуть мужа. А Григорий Иванович понимал, что заслужил в какой-то мере ее упреки, понимал и то, что ей — такой бескорыстной, щедрой! — не сапог жалко, а жалко забот, нежности, которые вложены были в эти злосчастные сапоги. Ведь даже сапожник и тот, узнав, что сапоги шьются для Котовского, превзошел себя, каждый шов делал с любовью и преданностью... Все это так, но ведь и его, Котовского, надо понять. И конечно, она поймет, он это твердо знает...

Григорий Иванович заговорил первым:

— Расстроил я тебя?

— Нет, отчего же.

— Верно. Сапоги, Леля, даже самые добротные, — все-таки мелочь. Как ты думаешь, Леля?

— Тебе-то мелочь. А знаешь, как это трудно?

— Знаю! Но ведь нельзя, Леля. Ты это чувствуешь? Есть такие моменты, когда не следует задумываться, а следует поступать. Например, в бою. Задумайся на секунду — и твое раздумье будет стоить тебе жизни.

— Да сейчас-то не бой, надеюсь?

— Бой. Бой ни на минуту не прекращается. А мы сражаемся-то за что? За справедливость. За человека. Как ты думаешь, Леля?

— Гриша, но согласишься, что сапоги...

— Что сапоги?

— Я понимаю твою мысль. И все, что ты говоришь, — бесспорно. Но посмотри, в какие высокие материи ты заехал. Ведь сапоги все-таки остаются только сапогами, не больше не меньше. И вполне понятно, что я огорчена... Чутьочку, но огорчена. И ты должен меня понять... Это так просто, житейски просто, Гриша.

— Ты не помнишь, был у нас такой в бригаде... Попов, кажется... Или Павлов... Высокий такой, с пышными бровями...

— Ну и что же?

— У нас, ты знаешь, трусы в бригаде не водились. А тут наскочили на нас петлюровцы, а он в бане спрятался. «Что ж ты, говорю, такой-сякой, подкачал? Твои товарищи на врага, а ты в кусты?» — «Я, говорит, товарищ командир, за революцию в огонь и в воду. А тут что? Разве какое решающее сражение? Стычка пустяковая! И без меня справятся, а я сдуру буду голову в петлю совать!»

Выслушала все это Ольга Петровна, рассмеялась и головой покачала:

— Ладно уж. Хорошо, что я еще запасную заготовку кожи уберегла...

И так во всем. Долгое время Ольга Петровна и не подозревала, например, что Григорию Ивановичу причитается великолепный правительственный паек. Большую долю его он раздавал, считая, что ему вполне хватает зарплаты, а паек — это лишняя роскошь.

Случилось однажды, что Григорий Иванович был в отъезде. Гусарев этим воспользовался и весь паек доставил Ольге Петровне. Она даже растерялась, увидев такое количество продуктов.

Впрочем, хитрость Гусарева не удалась. Приехал Котовский, узнал, что паек доставлен на квартиру, и теперь с записочками потянулись к Ольге Петровне.

«Выдай такому-то столько-то муки, очень нуждается. Гриша».

«Прошу тебя, отсыпь сахару подателю сего, у него тетка больная... Постскриптом: и две банки тушенки! Не сердись! Обойдемся и без тушенки! Как ты считаешь? Твой Г.»

Вскоре Ольга Петровна сообщила Григорию Ивановичу, что все роздано, поэтому она просит с записочками больше никого не присылать.

Так оно и было на самом деле. Весь паек был роздан. Ольга Петровна не сердилась.

Можно ли сердиться на Григория Ивановича? Уж такой он человек!

Или история с буркой. Удалось Ольге Петровне раздобыть для Григория Ивановича бурку.

— Это что? Это мне? А не лучше ли пустить это на подстилку Фоксу? предложил Григорий Иванович, упорно не называя бурку и говоря «это». Упомянув о Фоксе, он имел в виду бродячего пса, который самостоятельно выбрал себе хозяев и прочно прижился у Котовских, платя им глубокой собачьей преданностью и любовью.

— Как это Фоксу? — возмутилась Ольга Петровна. — Прекрасная бурка, и тебе она будет очень к лицу.

Долго бурка висела, пылилась, не находя применения, но однажды Ольге Петровне удалось настоять, чтобы Григорий Иванович ее надел: была отвратительная осенняя слякоть, дул холодный ветер, сыпалась с неба мерзлая изморось, а Котовскому как раз предстояло ехать на конференцию в Киев.

Возвращаясь обратно, Котовский понял, что бурка была очень кстати. Хотя снегу еще не было, но земля промерзла, таратайку так и подбрасывало на мерзлых комьях грязи, а ветер неистовствовал, завывал, свистел, взвихривал гриву коня и трепал кожух кучера Алешки.

— Стой! — крикнул вдруг Котовский.

На обочине дороги он увидел пастуха. Парнишка был в одной холщовой рубаше, босиком, и укрыться бедняге было негде — куда ни глянь, голая равнина, черные перепаханые поля да узкие межи и трава, подернутая инеем. Пастушонок прижался к мерзлому суглинку и не двигался. Понуро стояли в поле и не пытались даже щипать траву худоребристые рыжие коровы, сумрачно подставляя бока беспощадному ветру.

— Эй, дружище, поди-ка сюда!

Кучер недовольно наблюдал, что будет дальше. Зачем понадобился командиру несчастный заморыш? И вообще — к чему эта задержка, добраться бы поскорей до места да погреться чайком в жарко натопленной хате!

Однако то, что увидел кучер, привело его в такое негодование, что он забыл про холод: командир сбросил с плеч бурку и протянул ее пастуху. Парень ошалело смотрел на военного и не двигался.

— Бери, а то пропадешь в такую проклятую непогоду.

— Да что вы, товарищ командир! — не выдержал кучер. — Мыслимое ли дело! Что я буду говорить мамаше нашей, Ольге Петровне? Скажет, а ты чего смотрел, дурак?

— Пропадешь, говорю. Надевай без разговоров! — настаивал Котовский.

Пастух наконец решился, взял бурку, хотя все еще не мог ничего понять и осмыслить.

— Трогай, Алеша, а я малость разомнусь, буду бежать рядом, чтобы не замерзнуть. Тут уже недалеко. Ты не серчай, ведь я не какой-нибудь барин-помещик, чтобы прокатить мимо на вороных и глазом не моргнуть: нехай околевает.

— Добрый ты, командир, ох добрый! — сокрушенно вздохнул Алешка, подхлестывая лошадь и подбирая вожжи. — И чего ты такой добрый, не пойму...

— Я не добрый. Я — коммунист. Добрые да жалостливые бывали московские купчихи, что нищих на паперти наделяли. На рубль обманут — на копейку подадут.

4

Вскоре опять приехал Белоусов.

— Дорогой гость! — встретил его Григорий Иванович.

— А, Ванечка! Вот радость! — подхватила Ольга Петровна.

Такая приветливость хозяев сразу располагает и снимает всякую натянутость. Кто бы ни пришел к Котовским, его встречают с открытой душой.

Но Котовский сразу заметил, что у Белоусова какая-то забота: он хмурился, хотя и старался казаться веселым, болтая о всяких пустяках — о дорожных встречах, о погоде, и, видимо, только выжидал случая, чтобы поговорить с Котовским с глазу на глаз.

У Котовских, как всегда, было много народу. Тут был кое-кто из корпусного командования, были и приезжие, явившиеся по самым разнообразным делам. Был и начальник штаба корпуса Владимир Матвеевич Гуков, бывший полковник, окончивший в свое время Академию генерального штаба, замечательный старик и завсегда в доме Котовских.

Белоусов с видимым интересом слушал общий разговор за столом, а когда к нему обратились, охотно рассказал последние московские новости: жизнь налаживается, театры полны, магазины набиты товарами. Рассказал, как был у свердловцев на диспуте между пролетарскими писателями и футуристами. Слушал-слушал и ничего не понял. Но ругаются здорово.

Всех насмешило такое откровенное признание. Шумно, наперебой стали говорить о футуристах, о Маяковском, о литературе.

— Как хотите, а мне Маяковский нравится! Бьет в лоб!

— Не вижу ничего хорошего! «Улица провалилась, как нос сифилитика». Ну к чему это? Поза! Озорство!

— Товарищ Белоусов! А какие там есть у вас в Москве еще эти... центрофугисты, что ли? И еще — вот память проклятая! — шершенисты какие-то?

— Молодо-зелено! — примирительно произнес Гуков. — Перемелется — мука будет.

Белоусов остался ночевать. Поздно вечером они заперлись в кабинете Григория Ивановича. Белоусов почтительно посмотрел на огромную, во всю стену карту, на скромную обстановку, на множество книг.

— Устали вы, наверное, Григорий Иванович, и все же надо об одном дельце потолковать, а утренним поездом я дальше.

Котовский спокойно, внимательно разглядывал Белоусова. Хорош! Подтянутый, движения точные, лицо приятное. Вот только исхудал и синяки под глазами, видимо, мало спит...

— Это что у вас — паренек этот бойкий — новый питомец? — начал разговор Белоусов.

— Новый, — подтвердил Котовский, — из Харькова привез. Ужо отдадим в учение. Думаю, по юридической части пойдет. Заметил я — быстро схватывает и умеет из разрозненных фактов правильное заключение выводить. Аналитический ум.

— Это хорошо, — согласился Белоусов. — Есть у вас, Григорий Иванович, удивительная черта: в каждом человеке ищите хорошее и, ухватив, стараетесь развить.

— Должно быть, садовод во мне сказывается, — улыбнулся Котовский. Все норовлю диким яблоням прививку сделать.

— А меня-то вы как на самом краю пропасти подхватили! Двести лет буду жить — двести лет не забуду! С головы до пят я — ваше изделие!

— Ну-ну, ладно, об этом уже было говорено. Ведь не ошибся же!

— Мне хочется, чтобы на этот раз было так. Стараюсь.

— Ага, в общем, все это только предисловие, как я понимаю. Догадываюсь, речь пойдет о какой-то моей ошибке. Ну, выкладывай.

— Григорий Иванович! — дрогнувшим голосом возразил Белоусов. — Вы не так сформулировали!

— Сформулировал! Ишь какие словечки завел! Раньше так не говорил.

— Григорий Иванович, видите ли, в чем дело... Работа чекистов заключается в том, чтобы знать. Не обязательно всякий раз пресекать, но знать. Сам Ленин признал, что чрезвычайные комиссии организованы великолепно. Надеюсь, и после реорганизации Чека в ГПУ будем на должной высоте.

— Слушай, Белоусов, ты не доклад ли делаешь о задачах чекистов? Говори, в чем дело? Если о хищениях по линии кооперации, то я уже потребовал произвести ревизию, и жулики отданы под суд. Шипит кое-кто, да ведь и гуси — на что птица — и то шипят...

— Григорий Иванович! Я приехал не как следователь, а как преданный вам по гроб

жизни ваш питомец. Какая кооперация? Какие хищения? Ничего этого не слышал! Кто там шипит? Да если когда-нибудь найдется подлец, который хоть одно слово скажет о вас плохое... пусть прахом летит вся моя безупречная служба, но я этого субчика своими руками удушю! Вы не чудотворная икона. Как в каждом человеке, есть, вероятно, и у вас недостатки, хотя лично я никогда их не замечал... но вы человек, живой, настоящий, неутомимый, вы из той породы, о которой будут слагать легенды!

— Ну, завел! Сел на своего конька!

— Нет, серьезно. Не раз еще молодежь возьмет вас за образец, будет стремиться походить на вас. Опять скажете, что я запутался в предисловиях? Ну, перехожу к сути.

— Давай.

— Вы не одного меня поставили на ноги. К вам приходили беспризорники, приходили опомнившиеся люди из стана врагов... Я наблюдал, с каким терпением возились вы с некоторыми. Пьет человек, под пьяную лавочку совершает неблагоприятные поступки, а вы опять и опять тычете его носом на правильную дорожку, опять присылаете к Ольге Петровне: перевоспитывай!

— А! Догадываюсь, о ком речь!

— Нет, я о другом. Честное слово, о другом!

— Слушай, тебе не чекистом быть — агитатором.

— Опять напомню замечательные слова Ленина, что хороший коммунист в то же время и хороший чекист. И быть агитатором тоже каждый коммунист обязан. А как же иначе? Дескать, я праведный, а ты как хочешь?

— Не закончить ли нам на этом разговор и продолжить его завтра утром?

— Когда я сообщу, о ком речь, вы сами будете готовы всю ночь слушать: я хочу поговорить о так называемом «Майорчике».

— О Зайдере? Знаю. Прошное у него неважное.

— Помните, когда вы его взяли в бригаду, на него посыпались жалобы: забирает все, что попадет под руку, грабит местных жителей... угнал лошадей... реквизирует кур... грозил одному человеку какими-то разоблачениями и заставил его уплатить крупную сумму за молчание...

— Да, а сейчас работает начальником охраны сахарного завода. И кажется, неплохо.

— Так как именно вами он рекомендован на завод. Он и поныне бывает у вас?

— Был один раз. А что? Натворил что-нибудь опять? Это на него похоже!

— Изучая один вопрос и совсем по другому делу, не относящемуся к этому разговору, мы узнали подробности о прошлой жизни Зайдера. Вы что-нибудь знаете о том, кем был раньше Зайдер?

— Знаю. В Одессе у него был кабачок «Не рыдай».

— А до Одессы?

— Не спрашивал.

— Слышали что-нибудь о «зухерах»? Зайдер, оказывается, жил в Константинополе и занимался торговлей «женским товаром». Женщинами. Притоны разврата раскинуты по всему миру — там, за рубежом. Это у них в порядке вещей. Стаж обитательниц притонов невелик, через пять-шесть лет их выбрасывают на улицу, и требуются все новые пополнения. Доверчивых девушек заманивали в ловушку разными приемами. Делали публикации с предложением хорошо оплачиваемого места горничной, бонны... Зайдер действовал так: заводил знакомство, женился, но, конечно, по фальшивому паспорту, ехал с молодой женой в «свадебное путешествие» за границу... А затем новобрачная оказывалась где-нибудь в константинопольском гареме или в доме свиданий портового города. Высокая цена на белых женщин держалась в Буэнос-Айресе. В Аргентине за женщину с доставкой платили до двухсот фунтов стерлингов. В царской России они шли по сорок — пятьдесят рублей...

— Ну и гадина! Не знал.

— И сообразителен! Болтает без умолку, но ни слова о себе! продолжал Белоусов. — Я присматривался к нему еще раньше, в бригаде. Мне врезалось в память его лицо —

угодливое и хитрое, пресыщенное и жадное. Он ловок, изобретателен, в этом ему нельзя отказать. Дока! Почти неграмотен, зато может быстро считать. Знает несколько слов по-французски, несколько слов по-турецки, немного болтает по-румынски и, не спотыкаясь, шпарит «по новой фене», на языке блатных. Вот это последнее немножко настораживает... Допустим, что все остальное — это, как вы выразились, давнее дело, но с блатными он якшается и сейчас.

Котовский выжидательно поглядывал на собеседника.

— Вы думаете, я еще что-нибудь скажу? Нет. Я все рассказал, причем и это между нами. Это просто мои личные соображения. Ведь Зайдер ни в чем не замешан, не участвует в каких-либо политических группировках, враждебных Советской власти. Да он и не признает никакой политики. Газет не читает. Он точно формулирует свое отношение к жизни: «Я интересуюсь только за доход».

— Насчет дохода он соображает!

— Вот-вот. Одно, может быть, не совсем вяжется: работает на скромной должности начальника охраны, а живет на широкую ногу. В Одессе у него прекрасная квартира, тихое, почтенное семейство, жена ведет борьбу с ожирением и делает косметический массаж, ходит с прислугой на рынок, у сына гувернантка, в гостиной шредеровский рояль и картина Каульбаха «Мадонна со слезой»...

— Если бы художник изобразил эту мадонну без слезы, она все равно бы прослезилась, попав в квартиру такого проходимца! — рассмеялся Котовский. И сразу опять посерьезнел: — Ладно. Понял. Так считаешь, ошибка это моя, что нянчился с такой дрянью, да? Может, и ошибка... Значит, выгнать его с треском, коли опять ко мне сунется?

— Можно и без треска. Можно и совсем не выгонять, но отвадить. Уж очень нечистоплотная личность. На черта он вам нужен?! Лучше держать его на расстоянии.

— Хорошо, учту твой совет. Спасибо, Иван Терентьевич, — впервые назвал Котовский по имени-отчеству Белоусова. — Большое спасибо.

— За что же, Григорий Иванович?

— Трудная, опасная у вас работа. Куда проще идти в атаку и рубать. Хоть врага видно.

— Это — да. Если бы я стал рассказывать, чего последнее время наслышался, чего насмотрелся, в каких переделках побывал!.. Большую книгу можно было бы написать, и над каждой страницей читатель и слезу бы пролил и крепко призадумался.

Оба помолчали.

— Да, — в раздумье сказал Котовский, — мы говорим — затишье, война кончилась. А ведь у вас нередко и выстрелы слышны?

— Выстрелы! Иногда происходят форменные сражения! Кроме того, обстановка-то какая! Может ли быть на войне, чтобы к командующему фронтом вошел вражеский солдат и выстрелил в командующего? А у нас может! В Петрограде с председателем Чека именно так и произошло. А главное — все свершается невидимо, скрыто. Шифры, пароли, специальные конспиративные квартиры... Да, это особенная война. Кажется, чего тут такого? А ведь не так-то просто взять заговорщиков. Помню, окружили мы дом. Непроглядная тьма. Дождище. По сигналу вошли. За столом их было тринадцать. И черт их знает, как они будут действовать: отстреливаться? убежать? Захватили мы тогда списки, печати, адреса, а главное — подобрали на полу изорванное в клочки письмо. Дзержинский и Лацис целую ночь его складывали по кусочкам, расшифровывали. Мало того, что шифр, набор непонятных слов: «бархат», «треугольник» и прочее в этом роде, да еще и написано все вперемежку на английском и на французском языках...

— Прочитали?

— А как же! Если бы вы знали, кто у них орудует! Кто устраивает все эти заговоры! Кого тут нет! Тут и морские атташе, и епископы, и священники, и генералы... Например, связной у них как-то тут работала жена министра Временного правительства. Или — не угодно ли: артистка Островская... барон Штромберг... Консулы, нотариусы, бывшие полицейские, есаулы... и, конечно, эсеры и, разумеется, анархисты... Можно ли без них? А

главным образом — профессиональные шпионы, всякие розенберги, розенблюмы, пишоны... А есть еще у них небезызвестный Сальников. Попался бы он мне, голубчик, я бы с ним поговорил! А то был такой «дядя Кока», узкую фотопленку под ногтями прятал. Это я говорю только о тех, кто обезврежен. А если бы все рассказать... Страшная бездна!

Видно было, что эта тайная война волнует Белоусова. Он был в сильном возбуждении, но сдерживался.

— Может, ко мне в корпус переберешься, Ваня? Тут проще, а то ведь душа заболит? — ласково спросил Котовский.

— Что вы, Григорий Иванович! Ни за что не уйду! Я ведь вашей школы непреклонный! Сейчас в Одессу еду. Дело там интересное. Я ведь к вам только на вечерок завернул, попутно. Хотелось мне поговорить с вами об этом типе. Давно хотелось!

5

Часто вспоминалась Котовскому ночная беседа с Белоусовым. Да, тайная война. И все-таки — не слышно оружийных залпов, все-таки не то, что было. Кончились жаркие схватки, можно перевести дух, осмотреться. Хоть на некоторое время можно не отбиваться от черной хмары, обступившей со всех сторон. Не нужно разить направо и налево, мчаться под посвист пуль прямо на сомкнутые ряды вражеских полчищ и рубить, рубить, рубить, рассекать наискось от шеи до самого сердца, кромсать, топтать конскими копытами... Теперь пришло время поразмыслить, во всем разобраться. Почистить коня, самому почиститься, широким человеческим взглядом окинуть жизнь.

Григорий Иванович любит прийти домой после трудового дня. Прежде всего он бросается к кровати сына: не вырос ли он за сегодняшний день? Смотрит вопросительно на Ольгу Петровну:

— Кажется, становится здоровяком. Как ты считаешь, Леля?

Отдав должное домашней снеди, которую так вкусно готовит Ольга Петровна, поудобнее усаживается рядом со своей верной подругой.

Григорий Иванович дорожил этими часами. Просил Ольгу Петровну читать ему вслух, закрывал глаза и слушал. Читали русских классиков, читали произведения Ленина. А потом разговаривали. Ольгу Петровну изумляло, какие простосердечные вопросы иной раз задавал Григорий Иванович. Попервоначально его вопрос, бывало, покажется наивным-наивным. А потом выясняется, что не так-то наивно он рассуждает, за самую суть берет, только по-своему, очень своеобразно подходит к любому предмету.

— Леля! Лев Толстой — граф? Ведь граф? У него даже и поместье было? А как он солдатскую душу разгадал, как мужика понимает!

— Гений!

— Гений — это кто задумывается и вглядывается. Пристально вглядывается.

— И трудится.

— И трудится. Согласен. Великие люди — это великие труженики прежде всего.

Оба молчат. Оба думают. Ольга Петровна думает о том, какое выпало ей счастье и какая лежит на ней ответственность: разделять все горести и радости, все труды и заботы с этим необыкновенным человеком.

— Леля! А вот Колчак. Тоже ведь в какой-то степени человек? Скажем, были у него родители, все честь честью. Наверное, даже был женат! А? Как ты думаешь? Был? И имя-отчество — все как у людей. Его Александр Васильевич звали? Сашенька! Саша! Удивительно все-таки.

— Что удивительно-то? — недоумевает Ольга Петровна.

— Удивительно, как он ровным счетом ничего не понимал. Не понимал, да и только! Ведь возьмем, к примеру, монархистов. И у монархистов есть на плечах голова? Так можно же, черт возьми, понять, что всему свое время, что монархия давным-давно свой век отжила, что вслед за ней капитализм одряхлел, осунулся и стал спотыкаться. Ведь все до того ясно,

все до того разжевано! Что они, Ленина не читают?

Ольга Петровна озадаченно смотрит на мужа. Иронизирует он или все это совершенно серьезно? Но на лице Григория Ивановича недоумение, скорбь, даже отчаяние.

— Вообще-то я не о Колчаке в данном случае. Колчак — предатель, а ведь это самое тяжкое преступление — изменить своему народу. Это равносильно тому, что родную мать ножом зарезать. А? Как ты думаешь? Я лично больше всего презираю людей, которые у нас же живут, от нас, можно сказать, кормятся и нас же люто ненавидят, нам же готовы любую пакость подстроить, да еще о нашей некультурности кричат, гады!

— Ладно, ладно, не распаляйся, будет. Ты ведь даже не о том и говорил.

— О том.

— О Колчаке ты говорил!

— Нет, не о Колчаке. Колчак что? Был на Черноморском флоте, революционные матросы предложили ему убраться подобру-поздорову и сдать оружие, а он что? Он свой золотой кортик не пожелал вручить новой народной власти, за борт выбросил. Ну это еще так, это можно простить. Но сесть на облучок в должности лихого кучера и катать заокеанского барина по Сибирскому тракту — это уже, извини, позорно. Продаться иностранцам, русское наше кровное государственное золото раздавать японцам да этим самым... сэрам...

— Какой кучер? Какое золото? — В голосе Ольги Петровны звучит тревога. Уж не заговаривается ли он?

Но Григорий Иванович не заговаривается. Он поясняет, что адмирал был слугой иностранного капитала, если не кучером, так старшим дворецким. И золотой поезд он в самом деле хапнул в Казани и огромные суммы из этого золотого запаса роздал иностранцам за помощь — пудами раздавал, только успевали расписываться в получении...

— Но я не о Колчаке, — продолжает Григорий Иванович. — Колчака чикнули — и ладно. Или там другие: уехали — и борются с нами. Они считают, что их обидели, обездолили — и лезут в драку. Ну это еще туда-сюда. Но уж если ты остался, живешь здесь — так и потрудись по-нашему жить, по-советски. Я так понимаю. Не носи нож за пазухой! Не злобствуй! Не марай гнездо, в котором птенцов выводил! Вот ты мне читаешь, что написал Ленин, а я все думаю. И сколько я ни думаю, вижу, что самая суть ленинского учения — доброта. Ты возразишь, что доброта-то доброта, а ты, мол, голубчик, сколько белогвардейцев зарубил? Но ведь вынуждают, Леля! Совсем как в народной сказке: прут на тебя и прут! Отрубишь гадине голову вырастет две. Деникина рубанули — Врангель выскочил, да тут же и паны пожаловали. А уж всяких петлюр да тютюнников — считать не перечесть. Но их хоть из-за рубежа засылают. А сколько водится в самой нашей стране? Доморощенных? Помнишь, Григорьев какой нам мороки наделал? А полковник Муравьев? Прохвост из прохвостов! С такой публикой один разговор — голову с плеч.

И после некоторого раздумья:

— Прочти, пожалуйста, еще раз это место у Ленина — о диктатуре!

Ольга Петровна послушно отыскивает страницу и внятно, выразительно читает:

— «Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества».

— Вот! Вот видишь? — торжествует Григорий Иванович, хотя никто ему не возражает. — Против старого общества! А новое общество — это что? Коммунизм! А коммунизм? Великая любовь, сообщество счастливых людей...

— Да. И радостный труд и техника, какую трудно даже представить...

— И если Лелечка не пожалеет радостного труда, она накормит меня ужином! — весело заключил Котовский.

Через несколько дней он опять вернулся к этой теме:

— Мне рассказали, Леля, об одном командире линкора, я фамилию не запомнил. Линкор стоял в заграничном порту, когда вспыхнула революция. Командир, несмотря на

уговоры иностранцев, привел корабль в наши воды: «Россия доверила мне линкор, передаю его той власти, которая в настоящее время возглавляет государство». Ему говорят: «Приветствуем вашу сознательность и просим вас остаться на должности командира линкора, как были». — «Нет, отвечает, я не разделяю ваших убеждений и оставаться у вас на службе не могу».

— Так и ушел?

— Ушел. Не знаю, что с ним дальше было. Но ведь честно поступил? Ты как считаешь, Леля? А я хочу сообщить тебе сенсационную новость. Сколько я порубал на своем веку полковников и подполковников царского производства, сколько царевых генералов... А теперь с одним генералом царского времени подружился. Можешь себе представить? Диалектика!

— Это с кем же, кого ты имеешь в виду?

— Федор Федорович Новицкий. Изумительный человек! Достаточно сказать, что его оценил сам Фрунзе!

Котовский некоторое время ждет, что Ольга Петровна выскажет свое удивление такой дружбой, может быть, даже неодобрение. Но Ольга Петровна, видимо, не удивлена, сообщение Котовского не вызвало ее протеста. Тогда Котовский продолжает приводить доводы в пользу своего решения:

— Как ты думаешь, Леля, это что-нибудь да значит, если сам Фрунзе хвалит человека? Уж он-то не ошибется! Что ж такого, что Федор Федорович Новицкий — бывший царский генерал? Это ему простительно.

Пауза. Ольга Петровна молча слушает.

— Если хорошенько разобраться... Например, будь я, скажем, царский генерал. Допустим на минутку, ладно? Но я просто генерал, а не буржуй проклятый, у меня нет имений, фабрик, миллионов в банке на текущем счету. Бывают такие генералы? Бывают. Предположим, что я именно такой. И вот я начинаю здраво рассуждать. Что, думаю я, сделали большевики? Выгнали дармоедов из страны. Хорошо это? Хорошо. Ликвидируют неграмотность. Обидно это моему генеральскому самолюбию? Ничуть. Лучше стало в моей России или хуже от того, что установлена Советская власть? Лучше. Вот и выходит, Леля, что, если любой белогвардеец не дурак и не самая последняя скотина, он придет и скажет: извините, скажет, меня, дубину стоеросовую, заблуждался. Ведь может так быть?

Пятая глава

1

Все волновало в эти годы! Большое дело — одержать победы на всех фронтах, разбить армии Май-Маевского, Сидорина, Врангеля, уничтожить Колчака, выгнать Пепеляева, разбить в пух и прах Пилсудского, вернуть стране леса и степи, города и доли... Но как только образовалась передышка, так обнаружилось столько неотложных нужд, столько сложностей, затруднений!

Об этом велись нескончаемые беседы на квартире Михаила Васильевича Фрунзе, в бытность его в Харькове на посту командующего всеми Вооруженными Силами Украины и Крыма. Да и о чем только не велись там разговоры!

Григорий Иванович Котовский частенько навещался в Харьков. Приезжал он не только по долгу службы, но и по личному влечению к семейству Фрунзе.

— Много вопросов накопилось, — оправдывался Григорий Иванович, появляясь в приветливом доме Фрунзе. — Да и соскучился о всех вас. Уж больно хорошо чувствуешь себя в вашем доме!

— Говори прямо: захотелось сибирских пельменей отведать! — смеялся Михаил Васильевич, радушно встречая гостя.

Удивительное дело: были они большие друзья, по своему складу подходили друг к другу, но, как ни настаивал Фрунзе, чтобы они перешли на «ты», как ни договаривались об этом, даже пили на брудершафт со всей подобающей церемонией, Котовский снова сбивался и называл Фрунзе на «вы», а Фрунзе, раз навсегда признав Котовского верным другом и полюбив его, не мог к нему обращаться иначе как на «ты», что вызывало много шуток и добродушных пререканий.

— Я же понимаю, — подмигивал жене Фрунзе, — ты, Григорий Иванович, не можешь иначе: ведь я как-никак начальство!

— Не в том дело, — возражал Котовский. — Уважаю я вас. Уж на что, кажется, я не тихоня, но не получается у меня. Я вот старше вас на четыре года, а вы мне представляетесь ровно бы старше меня — старшим братом, учителем...

— Довольно вам объясняться в любви, — смеялась Софья Алексеевна, всегда улыбчивая, всегда нарядная, как будто и не возилась целый день то с ребятами, то у плиты. — Пельмени остынут!

Даже и в этом очень сходны друзья: как у Котовского, так и у Фрунзе не переводятся в доме люди — приезжие и местные, старые и молодые, сослуживцы и знакомые. Часто навещались Федор Федорович Новицкий и Сергей Аркадьевич Сиротинский. Бывал и Фурманов.

Так же, как и Котовский, они души не чаяли во Фрунзе и были закадычными приятелями его детей — бойкой Танюшки и солидного, серьезного Тимура. И когда выпадали коротенькие минуты отдыха, в доме царило согласие, щебетали дети, звучал раскатистый смех. Так хотелось, чтобы дети не знали передряг, опасностей, трудностей, с какими сталкивались их отцы!

Командиры, знававшие посвист пуль и грохот оружейной пальбы, сами становились детьми. Начальник штаба Новицкий великолепно изображал слона. Сиротинский с неподражаемым искусством мяукал. И кто бы сказал в этот момент, что солидный усатый папа — это и есть командующий всеми Вооруженными Силами Украины и Крыма! Тимур, восседая на его плечах, был глубоко уверен, что это не папа, а самолет, на котором Тимур мчится в заоблачные выси...

— Осторожнее! — кричала Софья Алексеевна. — Вы всю посуду у меня перебьете!

Не забывали завернуть к «Арсению» и старые товарищи по Иваново-Вознесенскому подполью. Тут начинались восклицания, споры, все говорили враз, смеялись до слез, что-то доказывали...

— А помните, как миллионщик Гарелин на тройке гонял на масленицу? С гармошкой!

— Миллионы аршин тканей изготовляли рабочие — и ни одного аршина для себя!

— Михаил Васильевич! Губком, кажись, помещался в двухэтажном кирпичном здании на Михайловской улице?

— Там. А штаб военного округа в бывших палатах фабриканта Зубкова...

— Помните нашу подпольную типографию?

— А наши собрания за рекой Талкой? Мы их называли университетом!

— А помнишь, Миша, как ты любил квашеную капусту? Бывало, как заглянешь к нам, бабка Пелагея сразу лезет на погреб, чтобы попотчевать тебя!

— Ну, наш истпарт заработал! — заглядывала Софья Алексеевна. — Чай подан, учтите. Наикрепчайший.

Часто присоединялся к этой компании Котовский. И тогда непременно заставляли его рассказать о том, как он организовал отряд мстителей, как совершил побег с каторги, как выбрался из железной башни Кишиневской тюрьмы, как ворвался в Одессу, занятую белогвардейцами, как истребил тютюниковскую банду.

— Ух и ненавидят же тебя во вражеском стане! — с удовольствием отмечал Фрунзе.

— Если враг люто ненавидит, значит, ты правильно действуешь. Верный признак!

— В царское время его выдавали за разбойника с большой дороги, в гражданскую войну старались замалчивать его заслуги, изображали каким-то батькой-партизаном,

анархистом типа Махно... Не любят честолюбцы чужой славы!

Котовский, увлекшись, рассказывал одну историю за другой. Фрунзе ласково смотрел на своего любимца. В заключение Котовский обязательно приводил любимое изречение: «Остерегайся друзей твоего врага, обрушь всю ненависть на врагов твоего друга!»

Доходила очередь до Фрунзе. Но как только он принимался рассказывать о камере смертников, о каторжной тюрьме, тотчас появлялась Софья Алексеевна:

— Пелевельнем? — с лукавой улыбкой спрашивала она мужа.

И если кто-нибудь из присутствующих не знал еще происхождения этого «пелевельнем», ему спешили сообщить.

Дочери Танюшке Софья Алексеевна читала на сон грядущий сказки. Когда девочка стала подрастать, Софья Алексеевна придумала не столь редкий воспитательный прием, к которому любят прибегать молодые матери. Она вкладывала в книжку написанный ею листок, в этой самодельной сказке описывалась некая русоголовая девочка... не Таня, а Тамара или Тася. Из дальнейшего содержания сказки выяснялось, что эта самая Тамара или Тася, подозрительно смахивающая на Танюшку, не слушалась маму, разбила чашку, бегала по садику без пальто и могла простудиться... Наконец терпение слушательницы исчерпывалось. Танюша, хитро поглядывая на мать, мусолила пальчик и предлагала: «Пелевельнем?» — то есть: перевернем эту страницу, где такие противные намеки и такие прозрачные описания.

Это «пелевельнем» вошло в обиход и имело большой успех в семействе Фрунзе. Когда требовалось переменить нежелательную тему, закончить неприятный или утомительный разговор, кто-нибудь из домашних предлагал:

— Пелевельнем!

И тогда общая напряженность рассеивалась, все улыбались и, весело балагурия, шли пить чай.

Хорошо, необыкновенно хорошо дышится в семье Фрунзе. Друзья, соратники Михаила Васильевича любят бывать у него. Даже совсем посторонние люди стараются под каким-нибудь предлогом побывать у Фрунзе и свести с ним знакомство.

2

Местный старожил, профессор-историк Зиновий Лукьянович Кирпичев начал с того, что попросил какую-то книгу. Затем пришел, чтобы ее вернуть. Затем просто зашел «на огонек».

— Книгу-то я у вас брал только ради предлога, чтобы свести знакомство со столь выдающейся личностью, — признался он. — В университетской библиотеке у нас, если угодно знать, давненько перевалило за сто пятьдесят тысяч томов, да и моя личная библиотека — может, когда поинтересуетесь? тоже не из последних.

Кирпичев при этом пристально поглядел на Михаила Васильевича из-под мохнатых седых бровей и отрывисто спросил:

— Командующий всеми Вооруженными Силами Украины и Крыма? Уполномоченный Революционного Военного Совета Республики? Так я понимаю?

— Так, — подтвердил Фрунзе, с любопытством наблюдая посетителя и не понимая, куда он клонит.

— Всеми вооруженными силами! Всеми! Надо же! Простите, я штатский человек... Такое звание ведь будет куда выше звания харьковского губернатора?

— То совсем иное.

— Но масштабы-то, масштабы несоизмеримы? Я к тому, что мы сидим, как ни в чем не бывало, разговариваем, и чаю вы предложили... А князь Оболенский... да разве можно было помыслить... Я к нему как-то обращался по поводу университетской библиотеки... Боже милостивый, какая помпа!

— При чем же тут Оболенский?

— Как при чем? Очень даже при чем! Когда Оболенский был харьковским

губернатором, он задавал такого фасону! Принц! Да что там принц! Падишах! Фараон египетский! Надо, впрочем, признать, что внешность его импонировала. Порода!

Кирпичев был многословен. Это была уже старческая болтливость. Сейчас ему до смерти хотелось рассказать о князе Оболенском. Фрунзе понял, что это непредотвратимо, примирился, уселся поудобнее и принялся за чай, поглядывая то на рассказчика, то на стенные часы, висевшие над головой Кирпичева.

— Да, да, я вас слушаю. Так что же этот Оболенский?

— Я тогда вел уже кафедру. Речь идет о памятном девятьсот пятом. Время, как известно, было смятенное. В городе забастовки, в деревне бунты. Подъезжают, к примеру, мужики к одной тут помещичьей усадьбе. Я и помещика этого знавал — Красильников Петр Евграфович. Лошадьми славился. Вызывают барина: «Как, барин? Может, тихо-мирно, без скандала поделишься хлебом? У тебя много, у нас всего ничего». А барин — известно, барин. Сразу на дыбы: «Частная собственность священна! Частная собственность неприкосновенна! Кесарево кесарю!» Представляете? «Значит, не будет твоего согласия? Так надо понимать? Тогда вот что, барин. Попусту времени не трать, запрягай своих чистокровных — и с богом к чертовой матери, чтобы, не ровен час, не вышло хуже». Что помещику остается? Сел в тарантас — и к губернатору, жаловаться. Мужики тем временем замки посшибали: «Пользуйся, православные!» Кто сколько сдюжил, столько и на воз нагрузил. А ненавистную усадьбу с четырех концов подпалили. Пока мужики по деревням разъезжались, светило им зарево, будто путь указывало, чтобы не сбились.

Все это Кирпичев передавал в лицах, то вскакивая, то опять усаживаясь. Он размахивал руками, изображая то помещика, то бунтующих мужиков.

Фрунзе слушал уже с интересом и больше не поглядывал на часы.

— Да вы, оказывается, занятный! Что бы вам записать все это, так сказать, в назидание потомству?

— У меня и записано. Так разрешите продолжать?

— Прошу вас!

— Прошло несколько дней. И вот в деревни Харьковщины двинулось войско. Маршировали солдаты, скакали казачьи сотни. Было немало и полиции. Возглавлял это войско харьковский губернатор князь Оболенский, потомок князей Оболенских, служивших в свое время и дипломатами, и сенаторами, как изволите помнить. Его предки принимали участие в Куликовской битве, шутка сказать — в Куликовской битве! Его сородич был декабристом, сосланным на каторжные работы. Почетно? Не правда ли? Величественно? А этот бесславный отпрыск вымирающего рода шествовал во главе войска — куда? — усмирять мужиков! А? Характерное падение нравов? Какова деградация?

Кирпичев перевел дух и продолжал:

— Двух-трех расстреляли: речисты. Остальных — розгами, подряд, без разбору, стариков и детей, почтенных отцов семейств и захудалых свинопасов. Князь неизменно присутствовал при экзекуции. Он был любитель сильных ощущений. Приговаривал: «Это тебе тридцать плетей, мерзавец, чтобы не грабил. А еще тридцать — это уж от меня на память, дружище, не обессудь!» Такой шутник был! Словом, что называется, по когтям и зверя знать! Не все выдерживали, случалось, запарывали насмерть. Был в наших краях музыкант и песенник, такой разудалый хлопец Сашко Коваленко, — так наложил на себя руки от позора после порки. Чтобы особо позабавить его сиятельство, хватили девушек на селе, погано хихикая, волокли их к месту расправы, раскладывали, как полагается, на скамье и с особенным рвением полосовали и секли. Попалась в их руки Маруся, кареглазая, складная, сильная, как говорится, кровь с молоком и гордячка страшная, не подступись. Я знавал ее, мы на то село на летние месяцы отдыхать приезжали. Схватили Марусю казаки, приволокли, да как глянула она на них да повела бровью — стало казакам не по себе, жалость заговорила. Пристало ли такую красоту писаную губить? Да лучше самому согласиться, чтобы наказали плетьюми, только бы пощадить Марусю. Прикрикнуло начальство, нечего делать, приступили к экзекуции. Только князь Оболенский живо

заприметил, что замахиваются казаки свирепо, а бьют только для видимости, все норовят по краю скамейки удар нанести. Я вам не буду приводить точные слова князя, но смысл их был тот, что кого, мол, они щадят: изменников царя и отечества. Он-то по-другому выразился, совсем даже неприлично. Выхватил плетку у казака да и давай хлестать. По чему попало. Все даже отпрянули, хотя и зверье оголтелое, а страшно им было на князя смотреть.

Кирпичев замолчал. Видимо, он и по сей день остро переживал эти давние события.

— Ну вот и все, что я имел вам доложить, — прибавил он устало. — Это все факты, милостивый государь, тут ничего не выдуманно.

— Забил насмерть девушку?

— А как же? Сам стал на себя не похож. Лицо перекошилось, хрипит... Офицеры заметили, что с ним неладно, еле оторвали, увели, в постель уложили. Ну ничего, постепенно князь отошел. Даже шутить изволил. А на другой день побрился, подушился и отбыл в Петербург. Там на торжественном обеде господин фон Плеве передал ему от царя орден и поцелуй, так что труды его не пропали даром. Что касается мужиков, то у них остались, так сказать, хорошие воспоминания... Среди сородичей Сашко, свояков, братенников, вряд ли кто испытывал после всего этого нежные чувства к царю-батюшке и шутнику-князю. Не эти ли сородичи в семнадцатом повернули штыки против? Не они ли в восемнадцатом партизанили в тылах Деникина?

— Да-а, — подхватил Фрунзе, — пришли коммунисты и помогли петрам и гаврилам разобраться, где враг, где друг. Взяли тогда петры да гаврилы винтовки и стали гнать взашей оболенских и компанию. Командование фронтом поручено было Александру Ильичу Егорову. Он прежде всего направил рейд конницы в тылы противника. Ну, они там дали жару! Примаков со своей бригадой червонного казачества ударил по корниловской и дроздовской дивизиям, Буденный уничтожил отборные кавалерийские корпуса Мамонтова и Шкуро... Вот какие дела тут происходили. Славные дела! Так что господа оболенские только где-нибудь в Париже опомнились.

Фрунзе смотрел, посмеиваясь, на профессора. Кирпичев нахохлился. Он, по-видимому, вдумывался, соразмерял.

— Я штатский человек, Михаил Васильевич, — произнес он наконец, — но усваиваю все вами сказанное. Раньше я не очень-то разбирался. Вы знаете, когда получаешь более чем скромный паек, с большим трудом добываешь сырые дрова, испытываешь все неудобства, если можно так выразиться, исторически сложившегося переходного периода, то не сразу охватишь умом, что к чему и чем кончится. А сейчас немножко кумекаю. Тут и вы помогли... Но ведь я не рассказал вам конца моей истории.

— О князе Оболенском?

— Да-да. Сделаю необходимое пояснение. Мы с семьей предпочитали летний отдых проводить не на курорте, а в деревне.

— Вы об этом упоминали.

— Разве? И рассказал, что у матери этой самой несчастной Маруси мы покупали кур, сметану, брали молоко?

— Ну и что же об Оболенском?

— Повторяю, я штатский человек. Но как не быть в курсе событий, если завтра может начаться сражение на той самой улице, где вы живете? Врангель. Это имя вам кое-что говорит. Врангель двигался на Харьков. В вагоне на станции Харьков находился, как изволите помнить, штаб Южной армии — вот еще когда надо было познакомиться с вами!.. Однако у вас на лице нетерпение. Надоел? Но без этого экскурса в прошлое непонятен мой рассказ. Буду краток. Казачьим войскам делает смотр сам барон Врангель. Его свита проезжает вдоль выстроенных казачьих полков. Все торжественно. А среди казаков тот самый хлопец, что пожалел когда-то Марусю и только делал вид, что ее бьет. И видит этот казак и глазам своим не верит: во врангелевской свите скачет на коне его сиятельство князь Оболенский! Я не писатель и не в силах изобразить душевного потрясения этого человека. В общем, он вскинул карабин, выстрелил, и мертвый князь Оболенский повис одной ногой в

стремени, тем самым оборвав генеалогическое древо княжеского рода, ведущего исчисление от князей черниговских.

— Это любопытно, — согласился Фрунзе, — не знаю только, насколько правдоподобно.

— Видите ли... — замялся профессор. — При всей этой драматической сцене присутствовал мой сын, тоже в числе врангелевской свиты.

— А-а! — только и мог произнести Фрунзе, никак не ожидая такого признания.

— Но если сын за отца не ответчик, — поспешил добавить Кирпичев, — то и отец за сына — тоже?

— Так он вам и рассказал о конце Оболенского?

— Так точно! — почему-то по-военному ответил Кирпичев.

— Да-а, — в раздумье произнес Фрунзе, — смятенное время! Всякое бывает!

И не стал спрашивать, каким образом сын профессора очутился у Врангеля и какова его дальнейшая судьба.

Кирпичев стал часто бывать у Фрунзе, и вскоре все уже знали и то, что Зиновий Лукьянович любит крепкий чай, и то, что Зиновий Лукьянович тридцать лет безвыездно живет в Харькове, и даже то, что вот уже давно пишет он труд «Харьковский университет, его настоящее и прошлое». Впрочем, в этом труде, как можно было догадаться, содержались не только подробнейшие и прескучные сведения о бюджете университета, о том, в какие годы кто читал там лекции, о том, что Харьковский университет основан в таком-то году, что из стен *alma mater* вышли филолог Потенбня и историк Костомаров, но и о городе Харькове вообще, о его прошлом, настоящем и множество сведений, совсем не относящихся к университету и даже к Харькову.

Узнав, что бывающий у Михаила Васильевича страшно худой и необычайно подвижный Фурманов — писатель, Зиновий Лукьянович проникся к нему особенным уважением, даже показывал ему главы своего сочинения и советовался, куда предложить свой труд для опубликования.

— Дмитрий Андреевич, — доверительно говорил он, отводя Фурманова в сторонку, — уж кто-кто, а мы-то с вами понимаем, что по нынешним временам напечататься — не легче, чем слетать на луну. Сейчас в моде, говорят, устные выступления в кафе, даже есть название: кофейный период литературы.

Фурманов уверял его, что количество выпускаемых книг возрастает и каждая полезная книга найдет своего, издателя.

— Вам легче, — вздыхал Кирпичев, — у вас в «Чапаеве» какие-нибудь триста страниц, а в моей монографии уже сейчас наберется за тысячу...

В общем, Кирпичев не мешал своим присутствием, но и не привлекал внимания. Рассуждения его были старомодны, слог выпрен и витиеват, но, когда он начинал рассказывать про старину, слушали с интересом. Он помнил все названия, все имена, даже кто был игуменом в старинном Покровском монастыре на высоком берегу реки Лопани, даже сколько сажен высоты колокольня Успенского кафедрального собора, даже что харьковский пассаж завещан городу неким Пащенко-Тряпкиным.

3

Котовский и на этот раз, как всегда, ехал к Фрунзе с целым рядом дел и нуждавшихся в согласовании вопросов. Поезд приближался к Харькову. Котовский подошел к окну и смотрел на мелькающие мимо белые хаты, стада гусей, курчавые перелески.

Обычно он в дороге старался все продумать и подготовить для доклада Михаилу Васильевичу. Из вагона он вышел сосредоточенный, все еще соображая, не забыл ли чего.

— Григорий Иванович!

Оглянулся и увидел знакомую фигуру Сиротинского, всегда подтянутого, бодрого и всегда в отличном расположении духа.

— Сергей Аркадьевич! Вот встреча! К нему?

— Ясное дело. Вы тоже?

— Разумеется.

— Какой же план действий составим?

— Сначала в гостиницу, потом в парикмахерскую и затем напрямик туда.

— Прекрасно разработанная экспозиция! Вперед!

Котовский глянул вокруг. Привычная, давно знакомая картина: рельсы, рельсы, бесчисленное количество железнодорожных путей, там и здесь помигивают зелеными огоньками светофоры, где-то с характерным треском переводятся стрелки, маневровые паровозы гукают, шипят, переговариваются на своем железнодорожном языке со сцепщиками вагонов и медленно волокут куда-то далеко-далеко нескончаемые вереницы цистерн, ледников, платформ, груженных сеном, углем, какими-то чугунными колесами, пиленным лесом и кругляком...

— Хорошо! — широким жестом охватил все это Котовский. — Куда лучше, чем были бы они нагружены походными кухнями и всяким военным скарбом!

— Да, неплохо, — согласился Сиротинский, кидая рассеянный взгляд на промасленное, прокопченное, исполосованное рельсовыми путями пространство узловых станции. — Только надолго ли такая перемена?

И обоим вспомнились фронты, воинские эшелоны, горячие схватки за овладение каждым перелеском, каждой водокачкой, каждым селом. Сиротинский, так же как и Котовский, провел все эти годы на войне, работая с Фрунзе. Только последнее время служил в Москве, в Народном Комиссариате по Военным и Морским делам. Жил довольно оседло и тихо, но по-прежнему сохранял с Михаилом Васильевичем самые близкие отношения. В доме Фрунзе его любили и иначе не называли как «Сережа», «наш Сереженька» или «Сереженька Аркадьевич».

Побритые, свежие, благоухающие одеколоном, оба появились у Фрунзе и были встречены дружными приветствиями. С некоторыми из гостей они встречались впервые, но большей частью это были старые знакомые, в основном военные. А вот и редкий гость — брат Михаила Васильевича Константин Васильевич, доктор по профессии и страстный шахматист. Завидев Сергея Аркадьевича, он радостно закивал, тотчас же перешепнулся с ним, и они уютно уселись в уголке за маленьким круглым столиком перед шахматной доской.

— Как проходил шахматный турнир с Михаилом Васильевичем? — деловито спросил Сиротинский.

— Три ноль в его пользу, — пробурчал Константин Васильевич. — Но одну партию не признаю: я зевнул королеву.

Котовский любил бывать у Михаила Васильевича и чувствовал себя здесь как дома. Увидев, что собралось много народу и что деловые вопросы придется отложить до завтра, он, едва перебросившись двумя-тремя словами с хозяевами дома, дал увлечь себя в сторонку Фурманову.

Фурманов приехал на этот раз не один, с ним прибыли два московских писателя из РАППа, и Фурманов поспешил их представить Котовскому.

Оказывается, у Фурманова была затея и привез он своих коллег не случайно. У них неоднократно возникали споры о значении литературы, о писательском деле, о том, как нужно писать и о чем нужно писать. Один из рапповцев, хмурый и молчаливый, одетый неказисто и принципиально не носивший галстука, писал на какие-то заумные темы и отрицал все, что только можно отрицать: сюжет, технику, стиль, идейный замысел. Другой длинный, жилистый и худой — жаловался на бестемье и погряз в задуманной им трилогии из жизни монастырей, причем никак не мог справиться даже с первой частью.

Фурманов ругался с ними:

— Если в наше время нет тем, тогда я уж не знаю, что и говорить! Да вы оглянитесь, товарищи, среди каких людей мы живем, какие дела у нас творятся! Сюжеты просто под ногами валяются! Остановите первого встречного на улице — и пишите о нем роман.

— Да ведь нетипично все это, — пробовали защищаться оба. — Где стержень? Ты подай стержень, чтобы было за что ухватиться!

— Очень часто случается, что писателю хочется поглядеть со стороны, чтобы понять. Нельзя со стороны! Лезьте в самую гущу! — горячился Фурманов.

— Во время войны, — вздохнул тот, что пытался создать трилогию, — там действительно были... того-этого... ситуации... А сейчас? Мертвый штиль!

— Я еду в Харьков, — сообщил им Фурманов. — Хотите, покажу вам людей, да таких, что о каждом можно по книге написать — и не уместится! Например, Новицкий... Представляете — бывший царский генерал...

— Ну-у! Загнул! Это для плаката! — воскликнул первый.

— Новицкий? Что-то не слыхал... — промямлил второй.

— Хорошо, а, скажем, о Фрунзе слышали? О Котовском слышали?

— Это что — военные? Так ты же «Чапаева» написал! Что тут добавишь?

Фурманов забрал-таки с собой обоих, привез в Харьков, познакомил с Михаилом Васильевичем и был страшно возмущен, что Михаил Васильевич не произвел на них особенного впечатления: «Человек как человек».

До чего же обрадовался Фурманов, когда вдруг появился Котовский!

«Если уж и этот не произведет на них впечатления, с его колоритной фигурой, с его обаянием, тогда я просто разочаруюсь в этих парнях!» подумал Фурманов со свойственной ему экспансивностью.

Между тем народу все прибывало. Сначала пришли два молоденьких краскома, — свежее испеченных, как отрекомендовал их Фрунзе. Вслед за ними появился Новицкий.

— Полный кворум! — смеялся Фрунзе. — Только Зиновия Лукьяновича не хватает! — и послал за Кирпичевым одного из свежее испеченных краскомов.

Кирпичев не заставил себя ждать. Перезнакомившись со всеми, кого еще не знал, он быстро включился в общий разговор, и вскоре все присутствующие узнали от смешного, взъерошенного профессора, что на месте Харькова когда-то было «дикое поле», что еще на памяти отца Зиновия Лукьяновича по главным улицам города из-за непролазной грязи не могли проехать экипажи и знатных горожанок на закорках переносили лакеи, что каменный драматический театр здесь построен в таком-то году, а тюрьма — в таком-то...

Упоминание о тюрьме привлекло внимание Котовского.

— И что, хорошая тюрьма? — довольно добродушно спросил он.

— Преотличная! — с жаром воскликнул Зиновий Лукьянович и лишь тогда спохватился: вспомнил, что Котовский только что рассказывал о побеге из кишиневской тюрьмы, значит, тюрьмы напоминают ему не слишком-то веселые страницы его жизни. — Нет, я в том смысле, что историческая, — поправился он. — А так самая обыкновенная тюрьма и ничего из себя не представляет. Да и видел-то я ее только издали, во время загородных прогулок.

— Напрасно извиняетесь, — усмехнулся Котовский, поняв причину смущения Кирпичева. — Что было со мною ли, с Михаилом ли Васильевичем дело давнее. А сейчас тюрьмы предназначены для тех, кто мешает нам строить новую жизнь. И в харьковской тюрьме, вероятно, содержатся какие-нибудь белогвардейские зубры!

— А вы знаете, — воскликнул Фрунзе, с опаской поглядывая на жену, так как коснулся запретной темы, — недавно мы с Григорием Ивановичем установили, что в разное время сидели в одной и той же камере Николаевского централа! Вот и говори после этого, что не тесен мир!

Это восклицание Михаила Васильевича подало Фурманову мысль — устроить своего рода вечер воспоминаний. Редко бывает такая удача, чтобы было в сборе сразу столько интересных людей, так много переживших и перевидавших и большею частью тесно

связанных между собой, можно сказать — однополчан, почти сверстников.

Фурманов сразу загорелся, стал с жаром доказывать, убеждать. Он и сам любил до страсти такие импровизированные душевные беседы, а тут еще пришло столько молодежи. Да и надо же расшевелить собратьев по перу: пусть пройдут перед ними картины незабываемых событий, если и не напишут про Фрунзе, про Котовского, то хоть о монастырях перестанут писать!

Особенно Фурманова изумляло: вот жили два человека — Фрунзе и Котовский — у каждого своя судьба, свой совершенно необычный путь... и в то же время — такая общность! Котовский и Фрунзе... Очень разные, очень непохожие... Но одно у них бесспорное сходство: оба ненавидели царский строй, оба были деятельными, оба были борцами. Фурманову казалось, что, если провести две параллели, сопоставить обоих, сравнить, откроется нечто значительное. Может быть, это даст возможность сделать обобщения, глубже понять свершающееся вокруг? Может быть, поможет что-то уяснить?

— А что, товарищи? — настаивал он, поглядывая то на Фрунзе, то на Котовского. — Давайте попробуем? Повспоминаем? А? Ведь это очень интересно!

— Да разве можно в один вечер рассказать все? — возразил Фрунзе.

— Все и не надо. Можно только вехи наметить, — предложил Новицкий, которому понравилась затея Фурманова.

— Попробуем, увидим, что из этого получится!

— Ох уж эти писатели!

Углубленные в игру шахматисты, почувствовав, что намечается что-то интересное, записали, чей ход, и прислушались.

Фурманов умело и находчиво руководил беседой, а то и просто подсказывал, так как отлично знал Михаила Васильевича, да и о Котовском слышал многое.

— Начнем с золотого детства! — конферировал он. — Михаил Васильевич! Я что-то запамятовал, как фамилия того студента, который подарил вам «Коммунистический манифест»?

Фрунзе, усмехнувшись, рассказал, как на почтовой станции, ожидая лошадей, он беседовал со студентом Затейщиковым и Затейщиков дал ему на прощание «Что делать?» Ленина и «Коммунистический манифест».

— Я был тогда гимназистом, безусым мальчишкой. И надо же было нам встретиться на этой почтовой станции! Как живой, стоит он у меня перед глазами — в потертой студенческой куртке, в выдавшей виды студенческой фуражке... Помнится, он возвращался из ссылки.

— Позвольте! — вскричал Котовский. — Так и у меня был студент! Лохматый, со светлой курчавой бородкой, если только позволительно назвать эти клочки бородой. А фуражки у него не было, он круглый год без шапки ходил. Это я хорошо помню. Он курил махорку, а пепел сыпался ему на грудь. Он говорил, что не надо никакой власти. А потом мы устроили забастовку...

— Какую забастовку? — подал голос Зиновий Лукьянович. — Это школьники-то? Что-то у вас не сходится...

В нем заговорил педагог.

— Школьники! А что ж такого? Мы решили устроить забастовку в знак протеста против грубости надзирателей. И тогда обо мне было сообщено в кишиневское жандармское управление. Надо сказать, что с полицией у меня всегда были нелады. В тысяча девятьсот втором-третьем годах я успел уже два раза посидеть в тюрьме.

— А я в первый раз был арестован в тысяча девятьсот четвертом, подхватил Фрунзе. — Меня выслали. Но девятого января тысяча девятьсот пятого года я очутился на Дворцовой площади. Сколько лет прошло, а у меня до сих пор звучат залпы, это царь стрелял по безоружному народу. Возможно, я именно тогда понял, что народу нельзя быть безоружным. Еще бесспорней это стало для меня, когда я оказался на пресненских баррикадах.

— Но помнится, — не утерпел Фурманов, — вы тогда прибыли в Москву из Иваново-

Вознесенска и ваш отряд был неплохо вооружен?

— Смитт-вессонами? Против пушек и пулеметов? С тех пор вот уже лет двадцать я только и трошу: дайте нам оружие, нельзя сражаться голыми руками! Некоторые утверждают, что мы не должны отставать от капиталистического мира. Нет, друзья! Мы должны быть впереди! И здорово впереди! Настолько впереди, чтоб они, голубчики, запыхались догоняючи, да так и не догнали! Только тогда мы можем быть спокойны.

Фрунзе, затронув эту животрепещущую тему, заговорил горячо, взволнованно и тотчас увидел, что в дверях появился верный страж и ангел-хранитель — любящая, заботливая Софья Алексеевна. Она с тревогой смотрела на него, вот-вот готовая произнести свое табу: «Пелевельнем?» Фрунзе сделал ей успокоительный знак — дескать, можешь не беспокоиться — и продолжал.

— Вы, кажется, улыбнулись, Дмитрий Андреевич? — спросил он Фурманова, хотя тот и не думал улыбаться, а улыбался скептически Зиновий Лукьянович. — Вам странно, что я говорю о нашем превосходстве над капиталистическими странами, когда мы еще очень отстали и очень бедны? Но вспомните — еще на Восьмом Всероссийском съезде Советов Владимир Ильич говорил, что мы догоним и обгоним капиталистов, что Россия покроется густой сетью электростанций, мощным техническим оборудованием и станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии. Образцом! Понимаете это слово? И это говорилось в двадцатом году, когда еще не рассеялся пороховой дым! А сейчас, слава богу, двадцать третий! И если так говорил Владимир Ильич, значит, так и будет. Владимир Ильич в прогнозах не ошибается!

— Что верно, то верно! — крикнул от удовольствия Новицкий.

Фрунзе отхлебнул глоток уже остывшего чая и закончил еще одной справкой:

— На Генуэзской конференции, как вы знаете, мы предложили всеобщее сокращение вооружений. Предложение, казалось бы, разумное: к чему тужиться, кто больше наизготавливает пушек, кто больше истратит средств? Давайте, говорим, сбавим пыл, произведем сокращение в определенной пропорции. Батюшки, какой вой подняли господа империалисты! Ни в какую! Они же считали себя куда сильнее нас, а самой их заветной мечтой было уничтожить нас! Интересно, какую песенку они запоют, когда мы будем несоизмеримо сильнее их? А мы будем! Можете не сомневаться, товарищи! Помяните мое слово!

Тут Фурманов не выдержал и стал бурно аплодировать. Это смутило Михаила Васильевича, он замахал на Фурманова руками, сел и стал сосредоточенно пить чай.

Оба рапповских писателя молчали. Но смотрели пристально и как-то сразу на все, до мелочей.

А Фрунзе неожиданно без уговоров заговорил снова:

— Только в исторической перспективе будет понято все значение ленинского учения и грандиозность всего свершенного Ильичем. Мы, современники Ленина, просто очень-очень любим Ильича, понимаем, что вывел он нас на широкие просторы, и все силы прилагаем, чтобы дело революции подвигалось быстрее.

Фрунзе говорил тепло и как-то очень душевно. Он поведал о том, как делегаты на Стокгольмский съезд партии зафрахтовали плохонький буксир в Финляндии и отправились в путь и как чуть не утонули...

— Можете себе представить, с каким волнением вглядывались мы в пеструю толпу на пристани, когда приближались к Стокгольму! И сразу же узнали Ленина. Ленина трудно не узнать. Он удивительно самобытен. Очень русский и вместе с тем всечеловеческий, всеземной. А до чего различны поведение меньшевиков на съезде с их мелкой суетней и целенаправленность Ильича, ставившего вопросы резко и прямолинейно!

На секунду Фрунзе задумался, припоминая. Серые глаза его устремлены куда-то вдаль. На высоком чистом лбу обозначилась строгая морщинка.

— Да... Ильич... Какие мы счастливицы, что являемся современниками Ленина!

Миг раздумья, сосредоточенного взгляда в себя. И снова перед всеми Фрунзе-

рассказчик.

— Когда Владимир Ильич стал расспрашивать меня об Иваново-Вознесенске, о настроениях рабочих, о Пресне, я ему высказал свои огорчения по поводу недостаточности нашего вооружения и нашего опыта в военном деле. Владимир Ильич изумил меня полной продуманностью этого вопроса: «„Анти-Дюринг“ читали? У Энгельса прямо говорится, что революционер должен владеть военными знаниями». И Ленин дал мне указание изучать военную науку, готовиться: мы должны воевать лучше тех, с кем придется скрестить оружие.

— И разрешите мне закончить мысль, намеченную Михаилом Васильевичем, — поднялся с места Новицкий. — Жизнь показала, что установка Ленина нашла свое воплощение. Разразившиеся бои с белыми армиями, с армиями интервентов выявили незаурядные военные таланты. И вы, Михаил Васильевич, не машите на меня руками, не поможет. Я все-таки не какой-нибудь случайный человек в военном деле, кое-чему учился... А с вами с первых шагов находился рядом, в качестве начальника штаба, поэтому и суждения мои обоснованны, и, думаю, никто не заподозрит меня, так сказать, в угождении начальству...

Раздался веселый смех. Выслушав несколько протестующих возгласов и несколько дружеских острот, Новицкий продолжал, обращаясь главным образом к молодым командирам и к товарищам Фурманова — рапповским писателям:

— Вероятно, не все знают, что Михаил Васильевич с первых же дней своего командования армией, то есть, значит, сразу начав с такой головокружительной карьеры, которая по старому времени приходила только к концу жизни военного деятеля, — он с первых же дней выступил в полном смысле слова блестяще, обнаружив военное дарование, по активному ведению операций напоминающее Суворова...

— Федор Федорович! — простонал Фрунзе. — Честное слово, такие пышные речи уместны только на юбилее! Подождемте хотя бы, когда мне исполнится семьдесят лет! А мне и сорока еще нет!

Однако Новицкий был доволен уже и тем, что успел высказать. Ухмыляясь и потирая руки, он преспокойно принялся за чай.

Все присутствующие оживленно разговаривали, образовались небольшие группки, отдельные островки, одни вспоминали, другие спорили, темы разделились на небольшие ручейки, кто рассказывал о Москве, кто вспомнил какую-то смешную историю... В уголке около круглого столика Сиротинский успел сделать шах огорченному доктору и забрать у него лишнюю пешку.

Фурманов подождал, не утомятся ли все, затем постучал карандашом о краешек вазочки, взамен председательского звонка, и, начав говорить, увлекся и неожиданно для себя увел собеседование куда-то в сторону:

— Внимание! Товарищи! Хочется и мне сказать... Когда я работал над книгой о Чапаеве, я сознавал, что Чапаев, конечно, исключительная натура, это, если можно так выразиться, положительный герой нашего времени. Но я не могу отделаться от мысли, что не только Чапаев, но и каждый чапаевец был человеком-легендой. Разве Иван Кутяков или тот же Сизов — разве это не подлинные герои? Да и весь пугачевский полк, и весь разинский, и домашкинцы... А Иваново-Вознесенский полк, полк рабочих-ткачей? Не зря же белые прозвали его Ленинской гвардией! И какие чудеса на поле брани он вытворял!

— Fortes fortuna adjuvat! — счел уместным вернуть профессор Кирпичев.

Федор Федорович Новицкий отличался необыкновенной деликатностью и всегда спешил прийти людям на помощь в затруднении. Так и на этот раз. Опасаясь, что не все присутствующие знают латинский язык, Новицкий так, словно нечаянно, сообщил перевод.

— Простите, Зиновий Лукьянович, — заметил он мягко, — вы привели латинскую пословицу, которая означает «храбрым судьба помогает». Но не думаете ли вы, что кроме храбрости и кроме судьбы в боях Красной Армии присутствовала еще полная убежденность в правоте? И что обнаружили блестящие качества наших полководцев?

— Конечно, конечно! — смутился Кирпичев. — Я именно это и имел в виду!

Фурманов нетерпеливо выслушал эту маленькую перепалку и продолжал:

— Я вот часто думаю: как суметь рассказать грядущим поколениям о буднях подвига, о непролазных дорогах, о тифозном бреде, о битвах, длившихся сутки подряд... о холодных шинелишках, о лужах крови, о сознании: пусть на смерть, а надо идти. Ради жизни. Как все это рассказать? Как дать почувствовать, что прославленные в веках воины — это живые, с плотью и кровью, люди, так же ощущающие боль, так же любящие жизнь, все ее радости... С вами не бывает такого: вдруг вспомнится человек, которого хорошо знал, с которым рядом шел по дорогам войны... Вспомнится отчетливо, ясно, так, что, кажется, рукой бы потрогал. Где он? Начинаешь напряженно припоминать, как же его звали? Из каких он мест? О чем с ним говорили? И вот из глубин памяти постепенно выплывает все... И как он рассказывал о семье, тосковал о родной деревне... Да, да! Все припомнил! Он убит под селением Татарский Кондыз, там были ожесточенные бои... Или нет? Под станцией Давлеканово, где огрызнулся корпус Каппеля?.. Вам понятно, о чем я говорю?

— Говорите, говорите дальше! — глухим голосом отзывается Котовский. Он понимает Фурманова! И в нем тоже неотступно, даже когда об этом не думает, живут образы погибших в боях: комиссара Христофорова, Няги, папаши Просвирина... и не только этих, но многих, многих, деливших с ним опасность и ратный труд.

— Не знаю, удалось ли мне это, но в своем «Чапаеве» я хотел выразить мысль, что подвиг — это совсем не значит красиво промчаться через поле, а затем принимать овации и улыбки. Подвиг — это большой труд, это служение народу, это опасность, борьба, напряжение всех сил во имя большой цели. Вот что такое подвиг. А Фрунзе и Котовский — пример этому. Вы, Федор Федорович, очень правильно, я считаю, сказали о Фрунзе. А еще ценнейшая черта Михаила Васильевича — умение выискать нужных людей, выдвинуть и смело на них опереться. Это, я бы сказал, чисто ленинская школа. И одной из таких драгоценных находок Михаила Васильевича является Котовский. Недаром у них такая дружба!

Фрунзе задумался и даже не слышал последних слов Фурманова. Надо было видеть его глаза в то время, как говорил Дмитрий Андреевич. Может быть, так смотрит художник на свое законченное произведение, на великолепный холст, в который вложено столько вдохновения? Последнее движение кистью, какая-то незаметная поправка — чуть усилен контраст, чуть изменен оттенок — и все. Художник отходит на некоторое расстояние и долго придиричиво вглядывается. Кажется, хорошо. Больше он не в силах что-нибудь добавить. И тогда сам, как требовательный зритель, окидывает взглядом творение в целом. Вот минута, когда он получает самое большое удовлетворение. Его охватывает восторг, трепет, вместе с тем он испытывает отдохновение, и тут же терзают опасения: дойдет ли? Понятно ли изложил он замысел? Будет ли это так же волнующе для тех, для кого весь этот неистовый труд — для людей?

Фурманов только что говорил, что он, Фрунзе, выискал Котовского. А Фурманова? Ведь это относится и к Фурманову! Фурманова заметил Михаил Васильевич еще в Иваново-Вознесенске, в 1918 году. Михаилу Васильевичу сразу понравился нетерпеливый юноша с приятным открытым лицом.

Фрунзе-пропагандист придерживался того взгляда, что, конечно, полезно выступать перед большой аудиторией, но это не исключает кропотливой работы с несколькими, может быть, даже с одним, заслуживающим того человеком. Выпестовать одного деятельного человека — стоит для этого потрудиться!

Фрунзе проверял Фурманова на работе, давал ему серьезные ответственные поручения. От Фрунзе Фурманов получил рекомендацию в партию. И Фурманов никогда не заставил своего рекомендателя раскаться в этом. Какой человек-то получился! И какой обнаружился у него литературный талант! Сейчас он секретарь Московской ассоциации пролетарских писателей, вершит большие дела!

«Вот только худой очень, — озабоченно разглядывал Фрунзе своего питомца. — Вон какая тонкая шея, какие синие жилки... Наверное, работы прорва, а питается плохо... А эти

двое, тоже писатели, ничего, кажется, народец... Не важничают, слушают...»

Между тем Фурманов снова вернулся к своему замыслу:

— Мы все время отвлекаемся, товарищи, в том числе и я. Но я ведь очень упорный, спросите об этом моих коллег, они знают. И я напому вам, что мы решили сегодня осуществить. Котовский и Фрунзе. Два наших современника. Честное слово, это поразительно: живут два человека, живут в разных районах нашей страны, даже не встречаются до тысяча девятьсот двадцатого года, а сколько общего между ними! Вот вы посмотрите. Фрунзе уже с девятьсот четвертого года в партии и действует во всеоружии марксистских идей. Котовский тоже с оружием в руках вступает в бой с самодержавием. Арест. Каторжные работы и побег из Нерчинска. Он совершил побег в тринадцатом, а Фрунзе — в пятнадцатом году. Фрунзе оказался на военной службе под чужой фамилией. Котовскому заменили казнь и отправили на фронт, в маршевую роту. Оба очутились в армии. Оба приговаривались царским судом к повешению. Фрунзе был на подпольной работе в Иваново-Вознесенске. Котовский — в большевистском подполье Одессы. Фрунзе бьет колчаковские армии. Котовский освобождает Одессу. Фрунзе контужен на Восточном фронте. Котовский контужен в боях с белополяками. Меня просто изумляет такое сходство!

Фурманов, произнося эту речь, посматривал то на Котовского, то на Фрунзе: достаточно ли он разогрел их, чтобы вызвать на воспоминания.

Но, видимо, все уже устали. Софья Алексеевна явно боролась со сном. Шахматисты закончили партию и с шумом укладывали шахматы в коробку. У Фрунзе был утомленный вид. А профессор Кирпичев — тот попросту сбежал. Глянул на часы, ахнул и бочком-бочком выбрался в прихожую.

5

Тут и все начали прощаться. Котовский, поднявшись и делая знак Сиротинскому, чтобы вместе идти, все же не утерпел, чтобы не ответить Фурманову:

— Ваши сопоставления интересны, Дмитрий Андреевич, но, я бы сказал, все-таки у вас перевес берет писатель над военным. Фантазия у вас разыгрывается. Допустим, что и я, и Михаил Васильевич сидели в царской тюрьме и оба мы сражались. На самом-то деле, разве это исключительные явления? Да кто действительно не сидел в царской тюрьме? И кто в наши дни не сражался? А если теперь на нас снова набросятся империалисты, у нас будет, как отметил товарищ Новицкий, талантливый, суворовской хватки полководец Фрунзе и немало красных командиров, в том числе и я. А я со всей ответственностью заявляю: создам такой корпус, такой корпус, от ударов которого не поздоровится врагу! Это будет грозная сила! Ручаюсь! Клянусь! Но, товарищи, когда-то хозяевам надо дать покой? А нас с Сиротинским того гляди не впустят в гостиницу ввиду позднего времени. Сергей Аркадьевич! Пошагали?

Вышли все вместе на улицу, полюбовались на ночное небо и разошлись группами в разные стороны — кто куда.

Фурманов и два писателя-рапповца направились прямо на вокзал. Долго они шагали молча, невольно умеряя шаги и стараясь ступать помягче, чтобы не нарушать тишину, — такое вокруг было удивительное безмолвие.

— Да, — произнес наконец тот, что принципиально не носил галстуков и отличался обычно молчаливостью, — люди большого масштаба, вероятнее всего, войдут в историю... а если так посмотреть — самые обыкновенные... и чай пьют... и ложечкой в стакане помешивают... и вообще...

— Хорошие мужики, что там говорить, — отозвался второй, — и чувствуется в них что-то такое...

Фурманов слушал их, чуть усмехаясь. Он уверен был, что оба они одаренные писатели, может, и толк из них получится. Надо только натолкнуть их, заставить задуматься, надо воодушевить, а главное — пусть смотрят, во все глаза смотрят и сердцем чувствуют.

Видно было, что оба еще не разобрались во всех впечатлениях новых встреч и новых явлений. Ведь Фрунзе как начнет рассказывать — не оторваться, захватит и поведет своими дорогами... А Котовский? Только поглядеть на эту силищу! От него невольно и сам заряжаешься энергией, самому хочется действовать, создавать, орудовать засучив рукава, вмешиваться в жизнь...

Фурманов бросал быстрые взгляды на своих спутников:

«Кажется, проняло их. Не могло не пронять. Не зря все-таки я привез их!»

— Исторических личностей, — продолжал развивать свою мысль тот, что не носил галстуков, — исторических личностей надо изображать монументально, без излишних подробностей. Ты не согласен?

Фурманов подбирал слова, чтобы ответить не слишком резко, но в то же время решительно. Ему хотелось сказать, что крупного масштаба люди обычно бывают просты, скромны, а ходульны только ничтожества, что народ почитает тех, кто ему служит всей душой, что большие дела совершаются зачастую внешне неэффектно, без фанфар...

Вместо этого он сказал:

— Видишь ли... В одном ты прав — это насчет перспективности: конечно, полностью оценят и поймут нашу эпоху только в дальнейшем, следующие поколения. Грандиозно все это, сразу не обозреть!

— А может быть, всегда так? Может, каждую эпоху оценивают позднее? осторожно заметил один из рапповцев.

— Я часто думаю, — заговорил второй, — вы только не придирайтесь к словам, мне очень трудно это выразить... Вот мы всегда говорим, что боремся ради светлого будущего, ради счастья наших детей... Конечно, для будущего! Но будущее-то никогда не переведется? Мы хотим, чтобы следующим поколениям жилось лучше, а как получится? Не придут ли у них новые беды? А? Могут ведь прийти?

— Что-то ты мудреное говоришь и даже сам запутался, — улыбнулся Фурманов. — Ну, ну? Будущее... И что же?

— Я только хочу сказать: мы боремся потому, что не можем не бороться. Так повелевают наши убеждения. И в этом наше — не чье-то, а именно наше счастье. Вырастет новое поколение, и целью у него будет продолжение борьбы за устройство жизни. Значит, опять за лучшее будущее? Ведь так?

«Расшевелил, определенно расшевелил!» — подумал опять Фурманов, почти не слушая и не вникая, о чем его спрашивают. И сказал, следуя своим каким-то мыслям:

— В общем, довольны поездкой? То-то! Но мы уже пришли, и надо справиться, когда будет поезд.

Вышедшие от Фрунзе вместе с писателями Котовский и Сиротинский сразу же распрощались с ними, сказав, что им не по пути.

— Пройдемся немного, уж больно ночь хороша, — предложил Котовский.

И они пошли, звонко печатая шаги по харьковским тротуарам, с наслаждением вдыхая прохладу ночи и тихо переговариваясь.

Была та умиротворенная осенняя пора, когда воздух вкусен, как спелый арбуз, когда выпекают пышный хлеб из нового урожая, когда пахнет антоновскими яблоками, липовым медом и крепким взваром, приготовленным из сушеных груш.

Оба — и Котовский, и Сиротинский — полны были сил, полны желания созидать, устраивать жизнь. Все у них складывалось удачно, у обоих были широкие планы, точные и нужные дела и обязанности. Обоим нравилось жить.

— Как бы они к двухчасовому не опоздали, — прислушиваясь к отдаленным паровозным свисткам, сказал Котовский.

— Не опоздают, народ молодой.

Вокруг было то особенное настороженное молчание, какое наступает после шумного трудового дня. Улицы пустынные. Ни разговор редких прохожих, ни дребезжание пролетки где-то в переулке, ни сонное тьяканье пса — ничто не нарушает торжественности

наступающей ночи.

— А небо-то, небо-то какое! Все в звездах, как грудь старого вояки! залюбовался Сиротинский.

— Нет, для неба это все-таки обидно, — не согласился Котовский.

— Мне понравилось у Гёте: «Чтобы понять, что небо синее, не надо объезжать вокруг света». Теперь я как взгляну на небо, так вспоминаю эти слова.

— А я бы еще так сказал: чтобы понять, как прекрасна душа человека, достаточно побывать у Фрунзе.

— Это вы сами придумали?

— Не Гёте же...

Оба рассмеялись и вошли в подъезд гостиницы.

Шестая глава

1

Когда Марков и Оксана распрощались с Котовскими и сели в вагон, им сразу стало одиноко и сиротливо. Всю дорогу не проходило это чувство, и всю дорогу они были молчаливы.

Но вот и конец путешествия. Поезд остановился. Марков и Оксана вышли из вагона. Петроград!

Перрон был заполнен людьми. Маркова и Оксану подхватил общий поток. Все очень торопились, почти бежали, волоча чемоданы, узлы, баулы, разнообразнейшую поклажу, судя по напряженным лицам и вздувшимся жилам на руках, — тяжелую.

— Не отставай! — командовал Миша, устремляясь вслед за всеми.

Потоком людей их выхлестнуло на площадь. Серое небо, громадные дома, бесконечные улицы и проспекты... Жутко! Оба оробели и стояли, озираясь по сторонам. Вот он — Петроград!

Денек выдался кислый, вроде как собирался дождь, но все никак не мог собраться. Серый, каменный, гранитный — город казался в мутной дымке еще неразгаданной. Не поймешь, хмурится он или спокоен и безмятежен? И есть ли где-нибудь его окончание или он тянется без конца? Что он сулит? Как примет?

Оба не знали, куда ехать, на чем ехать и далеко ли ехать, да и денег у них было не густо. Трамваи мчались в одну, в другую сторону, звякали, громыхали, выбивали электрические голубые искры, а на какой из них садиться — одному богу известно. Как будто еще продолжался перрон. Все та же бешено мчащаяся толпа, те же озабоченные лица, говор, спешка, суета. И полное безразличие к двум существам, которые стояли у стены и широко раскрытыми глазами смотрели на это столпотворение.

По их виду вокзальные завсегдатаи сразу определили, что им нужно.

— Доведем? — предложил хмурый дядя, громадный, заскорузлый, волосатый, похожий на лесного разбойника. Он так свирепо посмотрел, что они сразу согласились.

— Сампсониевский проспект, дом номер шесть, — робея сообщил Миша. — А сколько будет стоить?

— Не дороже денег! — прохрипел верзила и стал складывать пожитки на неказистую, сборной конструкции тележку: колеса — от тарантаса, кузов — из досок, нетесанных, сучковатых, — не кузов, а гроб для похорон по второму разряду.

Погрузив вещи, хмурый дядя с неожиданной прытью помчался вперед. Миша и Оксана ринулись за ним, стараясь не отставать. Тележка дребезжала, взвизгивала и подпрыгивала. Миша перебирал в памяти, что же у них ценного в багаже, но ценного ничего не оказалось. Были сушеные груши, их дала Оксане на дорогу квартирная хозяйка. Груш было довольно много, и это, пожалуй, самое существенное, что они везли. Было ли хотя бы одно одеяло?

Нет, только перовая подушка, и то почему-то одна. Еще были Мишины тетради и два платья Оксаны... И все же это был багаж, и жалко было его потерять. Миша и Оксана мчались следом за этим Соловьем-разбойником, боясь потерять его из виду, и испуганно озирались на толпы прохожих, на нескончаемые вереницы домов.

«Неужели во всех в них живут? — мелькали тревожные мысли у Оксаны. Это сколько же получится народу?»

За всю дорогу не проронили ни слова. Миша и Оксана были подавлены, напуганы, ошеломлены, но Миша и виду не подавал. Он бодро шагал по тротуару.

Вступили на мост, очень красивый, с чугунными женщинами по перилам. Мост показался бесконечным, а Нева сразу понравилась и очаровала, спокойная, уверенная в своей силе. Пройдя мост, свернули влево и вскоре добрались до Сампсониевского проспекта, оказавшегося обыкновенным проспектом, как и все.

2

Вот он, дом. Шесть этажей, не как-нибудь! В таком и пожить интересно! На шестом этаже живет писатель Крутойров. Встретил радушно, действительно был в очках, как описывал Котовский, и действительно был небрит.

— Познакомьтесь. Жена.

Жена оказалась маленькой, шупленькой женщиной, похожей на птичку-невеличку.

Крутойров подумал-подумал и добавил:

— Стихи пишет. — И решил, что теперь-то уж жене дана исчерпывающая характеристика. — А это, — сделал он широкий жест в сторону величественного, толстого кота, — это Бен-Али-Оглы-Мурза-паша Первый, а сокращенно просто Мурза. Лодырь и обжора. Ну, вот вам и все наше семейство, в полном составе.

Квартира Крутойрова была просторна, даже, пожалуй, чересчур. Крутойров бродил по комнатам, как бурый медведь по мелколесью. Он еще не освоился с положением известного писателя и не знал, что делать с деньгами, со славой, со своими книжками.

Маркову с Оксаной отвели комнату — длинную, узкую и не слишком заставленную мебелью. Вскоре вошел к ним Крутойров.

— Ну как? Расположились? Все собираюсь купить мебель, да оно и так ладно, не в мебели счастье. Вот, почитайте. Книги. Я написал. Как там Григорий Иванович? Командует? Чудеснейший человечина, богатая натура и редчайшая душа! Что? Корпус формирует? Дело. Эх, давно надо бы к нему съездить, да никак не соберешься: суета.

Марков, рассказывая о Котовском, осторожно взял в руку книгу Крутойрова в зеленой обложке. «Перевалы». Должно быть, интересная! Оксана смотрела с уважением, она чувствовала, что видит нечто необычное, совсем необычное, здорово ей повезло, если она сама, своими глазами видит живого писателя!

Крутойров был вполне доволен впечатлением, какое произвел на эту симпатичную пару.

— Писатели бывают разные, — пояснил он. — Одни начинают хорошо писать только со временем, когда созревают, другие всегда пишут хорошо, третьи всегда плохо. Я, например, кажется, пишу хорошо, но как кому нравится. А это что у вас? Груши? Дайте-ка попробовать. Хорошие. Я еще возьму.

Марков и Оксана обрадовались, что ему нравятся груши.

— Берите еще, у нас много!

Жена Крутойрова, Надежда Антоновна, была приветлива, но слов произнесла мало, а если сказать точнее, два. Сначала, когда приехали позвали к столу, она сказала:

— Кушайте.

А когда поели, Надежда Антоновна так же приветливо произнесла:

— Отдыхайте.

За вечерним чаем Крутойров разговорился. Ведь и Григорий Иванович просил его в письме «объяснить все» Маркову, вот Крутойров и приступил к пространному изложению,

что такое советская литература и что требуется сейчас от писателя.

Миша слушал, затаив дыхание ловил каждое слово. Оксана не сводила глаз с рассказчика, хотя едва ли знала хоть одно из перечисленных Крутояровым имен.

— Иногда братья-писатели, — ораторствовал Крутояров, — начинали с очаровательных домашних стихотворений, разрабатывающих на все лады незатейливую тему: «Буря мглою небо кроет». Или под руководством гувернантки изготовляли торжественные оды ко дню рождения бабушки: «Поздравляю, поздравляю, много счастья желаю». Первое детское стихотворение Катаева — «Осень». Первая строчка, которую сочинила Инбер, «Угрюмый кабинет, затея роскоши нелепой», а первое произведение Пильняка о чем, как вы думаете? О маме, о диване, о комнатной собачке Ханшо. Мне оно въелось, не только запомнилось!

И Крутояров продекламировал с умышленной утрировкой и расставляя неправильные ударения, как этого требовал стихотворный размер — «за окнами», «сидим»:

Ветер дует за окнами,
Небо полно туч.
Сидим с мамой на диване,
Ханшо, ты меня не мучь.

— А? Какое диванное благополучие! Но, конечно, не это типично для нашего поколения. Какие уж там диваны! Нам и топчан редко доставался! Вы, например, много на диванах разлеживались? Ляшко взялся впервые за перо в тюремной камере. Новиков-Прибой начал писать в японском плену, после Цусимы. Писать принимались поздно, после долгих лет скитаний, после баррикадных боев. Малашкин начал писать на тридцать втором году, Чапыгин на тридцать четвертом, Михаил Волков, помнится, тридцати двух лет... Сергей Семенов написал свой первый рассказ «Тиф» двадцати восьми лет. Но это были насыщенные двадцать восемь лет, двадцать восемь лет нашего современника! Он успел к этому времени побывать на всех фронтах, получить ранение, обрести значительный партийный стаж и участвовать в ликвидации мятежа в Кронштадте. Да-а... Наше поколение прошло через все грозы и непогоды, нас продували все свирепые сквозняки, все порывы ветра. А в детские годы мы если и писали, то о горестях, о нужде. Федор Гладков, например, рассказывает, что в детстве писал стихи, полные проклятий богачам и мучителям. Четырнадцатилетний Бахметьев сам переплел тетрадь и принялся за «роман», который назывался не больше не меньше как «Проклятая судьба».

— А сам-то ты? — вдруг заговорила Надежда Антоновна, и ее малокровное лицо помолодело, посвежело. — Почему не расскажешь о себе?

— Не хочу у биографов хлеб отбивать, — отмахнулся Крутояров.

— Вы знаете, — обернулась Надежда Антоновна к Мише, — у Ивана Сергеевича такая жизнь, такая жизнь... Роман! И потом Иван Сергеевич из тех писателей, которые пришли в литературу без рекомендательных писем от литературных метрдотелей.

Крутояров поморщился:

— Любишь ты меня хвалить!

— Не хвалю, а говорю правду!

— Хорошо, но о себе я как-нибудь в другой раз. Вот состарюсь и напишу мемуары, как лавровым листом, сдобренные отсебятиной. Многие так пишут. Так вот, о чем я говорил? А, о нашем поколении! Удивительное поколение! Литературоведы, возможно, надергают для своего удобства из всей массы десятков имен, у них на все случаи обоймы. Остальных предадут забвению. А между тем о становлении советской литературы можно говорить только целиком, ничего не умалчивая. Я не хочу повторить за Львом Толстым, что критики — это дураки, рассуждающие об умных. Я не согласен с этим. Но не уважаю людей, которые пишут о литературе, а сами не любят ее. А такие есть. И еще: ненавижу недобросовестных!

Крутояров обращался исключительно к Мише и его одного имел в виду, как собеседника. Оксана не обижалась. Уже одно то, что ей разрешается присутствовать при этом

разговоре, казалось ей верхом счастья. Кроме того, все, что относится к Мише, в равной степени относится и к ней: ведь это ее Миша!

Крутойров же, затронув вопросы, которые его волновали, радовался, что имеет дело с неискушенным слушателем. И он торопился выложить все свои соображения, наблюдения, руководствуясь тем, что должен же он ввести в курс симпатичного юношу, кавалериста, приехавшего учиться. И Крутойров, все больше увлекаясь, говорил и говорил.

— Нельзя без волнения думать о рождении новой, советской литературы. Тут все значительно! Я позволю себе высказать одну ересь: мне иногда кажется — может быть, хорошо, что кое-кто бежал от революции за границу. Воздух чище. Хватает возни и с внутренними эмигрантами, честное слово. А на мой характер, так я бы роман написал о писателях двадцатых годов. Получилась бы волнующая книга! Кто самый первый напечатался в первых же номерах «Правды» в семнадцатом году? Я уже теперь не помню. Кириллов? Или Бердников? Нет, пожалуй, Демьян Бедный и Есенин. Какие замечательные биографии у моих современников! Поэт Аросев был командующим войсками Московского Военного революционного комитета, председателем Верховного трибунала. Иван Доронин брал Перекоп. Сергей Малашкин в девятьсот пятом штурмовал жандармов, засевших в ресторане «Волна». Кем только не был талантливый милейший Неверов! А Федин? Ему довелось быть и актером, и хористом... Пришвин работал агрономом, Борисоглебский писал иконы. И разве не познакомился с одиночкой Таганки Окулов? Не сидел в «Крестах» Садофьев? Фадеев бил атамана Семенова, Зоценко был добровольцем в Красной Армии, Фурманов брал Уфу, Александр Прокофьев сражался с Юденичем...

На Мишу Маркова уморительно было смотреть. Он слушал, что называется, взхлеб, смотрел, благоговел, запоминал, все было для него откровением, все казалось именно таким, как изображал Крутойров. Когда Крутойров начал перечислять писателей, Марков выхватил из кармана гимнастерки помятый блокнот, намереваясь все записывать. Но разве успеешь! Столько незнакомых имен! И он оставил это намерение, опасаясь что-то пропустить в рассказе Крутойрова, а сам думал, что все это надо ему непременно прочесть.

— Д-да-а! Таково наше поколение, и вы, Миша, вполне подходите в этом отношении. Разве не великолепно звучит в биографии писателя: «Воевал у Котовского»? Да-да, это решено, вы непременно должны стать писателем. Это по заказу не делается, но попробовать следует, раз есть желание. Писателем стать не так уж сложно, главное, надо писать, работать. Ну и еще кое-что надо, прежде всего глубокое знание языка, а то иной раз читаешь книгу и думаешь: «С какого это языка перевод? И почему такой плохой переводчик?» Кроме языка обязательны образование, кругозор, знание жизни, убеждения...

— Поехал! — остановила Надежда Антоновна. — Зачем человека запугивать? Все приложится, достаточно одного: таланта.

— Вот видишь ты какая? Я умышленно ничего не говорил о необходимости таланта, потому что таланта в гастрономическом магазине не купишь и в литературном институте не приобретешь. В общем, так, дорогой товарищ: программа-минимум — поступаете на рабфак, получаете стипендию, ходите в одну из литстудий (их в нашем городе больше, чем булочных), живете, смотрите, привыкаете, а там — видно будет.

3

Так вот и началась новая жизнь Миши и Оксаны. И какое неоценимое счастье, что с первых же шагов Марков получил опору, помощь, руководство от такого незаурядного человека, как Крутойров!

— Для начала в театр сходите, — наказывал Крутойров. — Слыхали об Александринке? Там Гоголь поставил «Ревизора». Пьеса с треском провалилась, партер был взбешен, автор в отчаянии... Сейчас этот театр на перепутье. «Антония и Клеопатру» ставит... Знаете что? Начните лучше с Мариинки, сходите на «Дон-Кихота». Декорации Головина и Коровина прелесть!

Только что поговорили о театре и Марков записал, как доехать до Мариинского театра, как снова пришел Крутойяров, держа в руках журнал.

— Слушайте, прочитаю стихотворение. Нет, не все, а четыре строчки из середины!
Крутойяров не по-модному, не нараспев, а просто и прочувствованно прочитал:

Распахну окно, раскрою настежь двери,
Чтобы солнца золотая нить
Комнату мою могла измерить,
Темные углы озолотить.

Прочитал, победоносно оглядел Маркова и Оксану:

— Каково? По-моему, превосходно. Крайский. Пролетарский поэт. А уж как на них сейчас всех собак вешают!

— Кто вешает? — удивился Марков.

— Как «кто»? — удивился в свою очередь Крутойяров. — Эти, «многоуважаемые»...

Видя, что Марков в полном недоумении, Крутойяров пояснил:

— Битва сейчас идет. Не затихающая ни на миг битва. В редакциях издательств, на литературных диспутах, да что там: в каждом доме, на каждой улице — всюду. Такие же фронты, как колчаковский и деникинский, только обстановка еще сложнее. Вам, Миша, сразу во всей этой сумятице не разобраться. Но конечно, вам с такими, как Замятин, никак не по пути.

— Замятин? — переспросил Марков. На лице его был написан такой испуг, такая растерянность, что Крутойяров весело расхохотался.

— Замятин, — повторил он наконец. — Это еще дореволюционный писатель. Был когда-то коммунистом, в квартире у него была подпольная типография. А сейчас — шипит. Слушал я его «Сказочку» недавно на одном литературном вечере. Жили-были, говорит, тараканы у почтальона. Считали почтальона богом. Почтальон спяна уронил таракана со стены в свою «скробыхалу».

— Скробыхалу? — удивилась Оксана, слушавшая весь разговор очень внимательно.

— Я тоже не знаю, что это за скробыхала, — признался Крутойяров, — но так у него написано. Так вот, упал таракан в скробыхалу, думал, что погиб, а почтальон взял его да и вытащил. Обрадовался таракан: велик бог! Милосерд!

— И что же дальше?

— А ничего. Вся сказка. И смысл этой сказки таков: смахнула вас революция в скробыхалу, а тут — нэп! Снова вас на стену посадили, живите. Вот вам и весь смысл революции, по мнению писателя Замятина.

— Так это что же? Как же такое позволяют? — негодовал Марков. — И значит, без никаких читают эту тараканью философию на литературном вечере? Как будто так и надо? И ведь не где-нибудь — в Петрограде! Где революция произошла! Где был Ленин!

— Мой мальчик, — усмехнулся Крутойяров, любуясь его молодым задором, это еще что! Замятинские сказочки, говоря на военном языке, — это атака в лоб, а существуют и более хитрые ходы, наносят и фланговый удар, нападают и с тыла. Меня забавляет один приемчик этих недоброжелателей. Когда-то принято было переходить на французский язык, если входит лакей: лакеи не должны принимать хотя бы и безмолвного участия в беседе господ, их лакейское дело — наливать в бокалы шампанское. Настала новая эра. Мы служим народу. А некоторым мнится, что они — избранники, что они хранители — от кого хранители? для кого хранители? — священных устоев культуры. А вокруг них — разгулявшаяся метелица, вылезший из стойла бессмысленный скот — народ. Как же изъясняться им, образованным, изысканным, в присутствии этого быдла? Ах, только по-французски! Только щеголяя туманными терминами и напускной ученостью!

Крутойяров хитровато глянул на Маркова:

— У меня есть заветная записная книжечка, я туда всякие мелочишки заношу, для

памяти и в назидание потомству... Вот я вам прочту несколько прелюбопытнейших выписок...

Он стал быстро перелистывать листочки записной книжки.

— М-м-да... «Не хочу коммуны без лежанки»... Это Клюев изрек в недавно вышедшей книжице. А это его же: «К деду-боженьке, рыдая, я щекой прильну». Это он сейчас щекой прильнул, в годы величайшей из революций! Вот уж поистине — кому что! А ведь талантлив! М-м-да... Не то, не то... Все это не то... Вот дьявольщина! Где же эта цитата у меня? «О том кукушка и кукует, что своего гнезда нет» — пословица мне понравилась, я и записал, пригодится когда-нибудь... «Прочешь Федорченко „Народ на войне“» — это я просто для памяти черкнул, Василий Васильевич Князев хвалил мне очень эту книжку... Но это опять не то... Стоп! Нашел! Вот оно! Есть на свете один страшно эрудированный, страшно образованный литератор, он выпустил в одном частном издательстве (а этих частных издательств наоткрывали сейчас около полутораста!) монографию о Пушкине — толстая такая книга, в роскошном переплете, и цена роскошная... Я купил ее, можете взять почитать, если поинтересуетесь, и тогда узнаете... э-э... сейчас найду выписку... что «дендизм являл одну из попыток придать взбаламученной русской жизни и расплывчатым отечественным нравам законченный чекан и определяющую граненость...»

Прочитав, Крутояров залился смехом.

— Законченный чекан! — выкрикивал он сквозь смех. — Определяющая! Граненость!.. Ох, не могу. Был бы жив Пушкин, он бы его тростью побил! Правда, роскошно? Абсолютно непонятно, совершенно бессмысленно, но роскошно! И расплывчатые нравы тоже недурны! Когда у меня плохое настроение, я достаю записную книжку, читаю этот абзац и хохочу. Вот вам первый совет: никогда так не пишите!

Он смеялся до слез, вытащил носовой платок, вытер слезы и снова заглянул в свою книжечку.

— А вот еще: «речековка словоконструктора». Это состряпал уже другой «гений». На днях вышел альманах, называется «Абракасас». Пышность-то какая! Тоже — чекан и граненость, но эти хоть Пушкина не трогают. В другом альманахе драма в стихах, называется «Нимфа Ата». Конечно, это все шелуха, отпадет со временем. Чехов говорил, что богатые люди всегда имеют около себя приживалок. Русская литература богата, поэтому и приживалок много. И если приживалка не станет говорить «мерси боку», антраша выделывать, шутов гороховых строить, какая же она будет приживалка? Вот она и пыжится, из кожи лезет: «Абракасас! — кричит. — Законченный чекан! Нимфа Ата!» дескать, мы люди образованные, не какое-нибудь мужичье, нам и положено изъясняться непонятно и косноязычно!

Слушая Крутоярова, Миша Марков чувствовал себя невеждой. Очутившись в самой стремнине потока, в самой гуще жизни, полной своих каких-то порывов, устремлений, волной поисков и борьбы, Миша Марков только растерянно озирался, как неуклюжий провинциал, попавший в движущуюся толпу на главной магистрали большого города.

Впрочем, Марков не оробел. Он слушал Крутоярова, слушал руководителя литературной студии — бородатого, авторитетного, слушал сотоварища по студии — вспыльчивого, нетерпеливого Женю Стрижова, который, по-видимому, был в курсе всех дел, все понимал и все знал, — слушал и наматывал на ус.

Возвращаясь домой, хватался за книгу. Читал яростно, запоем. Оксана просыпалась ночью и обнаруживала, что Миша все еще не ложился. Она его укоряла, просила, а он только отмахивался и продолжал листать страницу за страницей.

— Подожди, Ксаночка! Как раз самое интересное место! Ты не беспокойся, я лягу. А ты спи!

— Как же спать, когда свет прямо в глаза?!

— А я газетой загорожу лампочку. Хочешь? Теперь хорошо? Не сердись, пожалуйста, надо же наверстывать! Ведь я, оказывается, ничего не читал, ничему не учился, ничего не знаю! Только на коне умею ездить!

Однажды Крутойяров объявил, что сегодня они отправятся по книжным лавкам. Марков как раз получил стипендию, и у него завелись кой-какие деньжата. А деньги в 1923 году были разные. Ежедневно объявлялся курс только что введенного в обиход советского червонца. То, что получено вчера в старых «миллионах», или, как тогда называли их в обиходе, «лимонах», на сегодняшний день падало в цене. Например, в тот день, когда Марков и Крутойяров отправились по книжным ларям и магазинам, курс червонца был два миллиона семьсот тысяч. И нужно было торопиться тратить старые купюры.

Для Миши это не составляло затруднения: «купюр» у него было не густо, — рад бы тратить, да нечего. Финансовые дела Маркова были на первых порах очень неважные, проще говоря, едва сводили концы с концами. Если бы не помощь Крутойярова и в этом отношении, незаметная, но повседневная помощь то тем, то другим, — туго бы пришлось Мише и Оксане в Петрограде.

— Готов? — заглянул в комнату Миши Крутойяров, уже одетый в новенькое кофейного цвета пальто и полосатую суконную кепку.

Миша быстро накинул выдавшую виды куртку, и они принялись выстукивать каблуками по ступенькам лестницы, из пролета в пролет, все шесть этажей: лифт в доме был, но не работал.

Петроград улыбался по-осеннему, как умеет улыбаться только Петроград. Это было умиротворение, умудренность и вместе с тем комсомольский задор. Ведь город был одновременно и старым, помнящим очень многое, и вместе с тем отчаянно молодым, только теперь начинающим жить. Как сверкало старинное золото! Как переливалась мириадами солнечных бликов могучая многоводная Нева!

Крутойяров острым взглядом окидывал просторы, открывшиеся с Литейного моста. Уходил в голубую высь шпиль Петропавловской крепости. Сверкали на солнце фасады домов вдоль набережной. Почти о каждом строении можно было рассказать много занятного. Здесь отовсюду смотрела история. Вот дом, где жил фельдмаршал Кутузов... Вот решетка Летнего сада и массивные ворота, возле которых Каракозов стрелял в царя... Там, в гуще деревьев, затерялся скромный домик Петра... А вот Марсово поле — место парадов, блеска придворной знати, мундиров и эполет...

Миша слушал, широко раскрытыми глазами глядел вокруг и удивлялся, как много знает Крутойяров.

Какой необыкновенный город! Прислушиваешься, и слышатся голоса промелькнувших столетий. Нужно только уметь слушать. Для Миши в равной степени были реальными и те, кто жил в этом городе, и те, кто на проспекты города сошел со страниц произведений. Разве не всматриваешься, грустя, в черную воду возле Зимней канавки, где утопилась Лиза? Разве не видишь, как наяву, князя Мышкина, который входит с жалким узелочком в руках в парадный подъезд дома генерала Епанчина?..

Миша и Крутойяров начали с букиниста около «книжного угла», на Литейном, недалеко от цирка. Крутойяров зарылся в груды книг и оттуда беседовал с букинистом — старым книголюбом, знатоком книжного рынка и, по выражению Крутойярова, «последним из могикан». Здесь была отложена порядочная стопка книг. Среди них «Гавриилиада» Пушкина — стоимостью в пятьдесят миллионов, Георгий Чулков — стихи и драмы, издание «Шиповника» пятьдесят миллионов и «Homo sapiens» Пшибышевского — сто миллионов рублей.

Затем посетили книжный магазин «Дома литераторов» на Бассейной улице и тщательно обследовали книжные лари в выемке возле Мариинской больницы. После этого отправились на Васильевский остров, на 6-ю линию. И как ликовал Крутойяров, приобретя за двести миллионов «Стихи о прекрасной даме» Блока в издании «Гриф», да еще с автографом самого Блока! Что касается Миши Маркова, то он принес домой словарь рифм, который решил подарить Женьке Стрижову, а для себя выбрал «Лекции по истории русской литературы» Сиповского и был удивлен, узнав от Крутойярова, что Сиповский жив и находится здесь, в Петрограде.

Маркову представлялось почему-то, что писатели, книги которых он встречал в школьной библиотеке, жили когда-то давно, даже очень давно. Отчасти он был прав: ведь с тех пор успела смениться эпоха. Как было представить, что Федор Сологуб, написавший «Мелкого беса», и сейчас здоровствует и даже председательствует в Союзе писателей на Фонтанке, в доме номер 50? А Чарская! Лидия Чарская с ее слащавой «Княжной Джавахой» замужем за бухгалтером и живет где-то около Пяти углов!

4

Вскоре Маркову представилось немало удобных случаев, чтобы недоумевать, восклицать, изумляться. Например, как это могло случиться, что сейчас, в 1923 году, когда Коммунистическая партия отмечает свое двадцатилетие, когда отгремели бои под Вознесенском, очищена Одесса, стерты с лица земли и Врангель, и Колчак, — вот, полюбуйте: на Невском, дом 60, находится «Ложа Вольных Каменщиков» и там недавно состоялся диспут по докладу некоего Миклашевского «Гипертрофия искусства»!

— Какие каменщики? Какая гипертрофия? — спрашивал всех Марков, но вразумительного ответа не получал.

Ходили вчетвером — супруги Крутояровы, Марков и Оксана — на выставку в Академию художеств. Оксана, которая не так часто выбиралась из дому, была потрясена не только картинами, но и видом на Неву, на гавань, и сфинксами перед зданием академии, и университетом, мимо которого проезжали.

— Ой, матенько! — поминутно восклицала она, и черные ее брови поднимались все выше и выше.

В выставочных залах к ним присоединился Евгений Стрижов. Он был как дома.

— Дальше, дальше идемте, — тащил он всех. — Тут чего смотреть: цветы.

— Нет, погодите, — остановил Крутояров. — Взгляните на эту сирень.

— Понюхать хочется! — восхищенно вглядывался Марков.

— Художник не просто так вот решил — дай-ка нарисую сирень. Обратите внимание, какие сильные, сочные гроздья, как много веток сирени, они даже не вмещаются в вазу. Обилие, цветение, торжество жизни! А скатерть на столе какова? Видать, в доме живет рукодельница, видать, в доме совет да любовь, а то и не до цветов бы было!..

— Это вы все выдумываете, потому что писатель, — возразил Стрижов. А для обыкновенного взгляда — сирень как сирень.

— Вы — поэт, и еще молодой поэт, как же это может вас не трогать? Нельзя мимо красоты проходить, надо вглядываться, вопрошать, впитывать!

— Впитывать! И без того нас за красоту поедом едят! Читали Силлова?

— Какого еще Силлова?

— Он из стихов Герасимова надергал цитат: заводские трубы погребальные свечи, город — гроб, синяя блуза — саван, и делает вывод: ага, церковные атрибуты, мистика!

— Гроб — церковный атрибут? — расхохотался Крутояров. — А в чем же самого этого Силлова в землю закопают? Но у нас речь о сирени. Значит, Силлов нас ни в чем не упрекнет.

— Упрекнет! У Герасимова: «Угля каменные горны цветком кровавым расцвели»...

— Ну и что же? Расцвели.

— У Крайского: «Как крылья разноцветные, знамена батраков», у Кириллова: «Звучат, как крепнущий прибор, тяжелые рабочие шаги»...

— Что же ваш Силлов нашел тут запретного?

— Цветок?! Мотыльки?! Прибой?! Значит, у пролетарских поэтов влечение к деревенской мужицкой Расеюшке, значит, ориентация на эсеров!

— Неужели так и написано: Цветы — эсеровщина? Прибой — деревенский образ?

— Я вам и журнал принесу, если хотите. Особенно Крайскому попало: «Родину мою, как Прометея, враги и хищники на части злобно рвут»... Силлов говорит: Прометей — мифологическое сравнение, значит, пролетарская литература — вовсе не пролетарская.

— М-да! — вздохнул Крутойров. — Тут ничего не скажешь... Но мы загораживаем дорогу посетителям выставки и не к месту занялись дискуссией. О вашем Силлове одно можно сказать: дурак и молчит некстати и говорит невпопад.

Этот неожиданный разговор чуть не испортил всем настроение. Крутойров хмурился и как-то странно мотал головой, будто ему что-то мешало. Оксана испуганно смотрела и не знала, как всех успокоить. Марков молчал, но злился. Одна Надежда Антоновна восприняла этот рассказ юмористически.

— А кто такой Силлов? Ноль! И кто станет читать его галиматью? Какие вы, товарищи, впечатлительные!

Вскоре все уже с увлечением разглядывали натюрморты Клевера-сына, воздушные полотна Бенуа.

Оксане понравились «Гуси-лебеди» Рылова.

— К нам летят! — прошептала она. — На родную сторонушку!

Дойдя до «музыкальных композиций» Кондратьева, Крутойров стал рассеяннее, а когда увидел «левое» искусство Пчелинцевой, снова стал чертыхаться, уже по поводу «заскоков» и «экивоков».

— Что это? — тыкал он в картину. — Пятна, волнистые линии... И хоть бы сама придумала, матушка, а то ведь все косится туда, на запад. Озорничать тоже надо умеючи. Иначе начнешь *epater les bourgeois*, а буржуа-то не ошеломятся!

Вскоре после выставки Марков и Стрижов побывали на устном альманахе рабфаковцев «Певучая банда». Голубоглазый, весь в веснушках, с задорным хохолком, Евгений Панфилов читал:

Пусть туман и пуля-лиходейка,
В сердце страх не выищет угла!
Жизнь легка, как праздничная вейка,
И напевна, как колокола!

— Как бы Силлов не услышал, — шепнул Стрижов, делая страшные глаза. Опять церковный атрибут! Будет Панфилову на орехи!

Оба весело рассмеялись и стали дружно аплодировать.

После «Певучей банды» посетили литературный вечер «Серрапионовых братьев». Хлопали Тихонову. Он читал «Брагу». Он сказал: «Меня сделала поэтом Октябрьская революция». Освистали докладчика Замятина. Замятин уверял: «Железный поток» сусален, Сергей Семенов пошл... Только сам себе Замятин нравился!

Посетили затем «Экспериментальный театр» в помещении Городской Думы... Потом слушали лекцию Луначарского...

А однажды Стрижов таинственно сообщил:

— Сегодня ты умрешь от восторга! Пошли!

— Куда?

— А вот увидишь. Пошли, говорю!

Петроградское объединение писателей «Содружество» устраивало по четвергам литературные чтения, они происходили на квартире одного из «содружников». Это тоже было своеобразием тех времен. Каждый четверг вечером в квартире на Спасской улице, дом 5, были гостеприимно открыты двери для всех желающих. Хозяин встречал каждого и провожал в ярко освещенную комнату, где было много стульев, в углу сверкал крышкой рояль, на столе для посетителей был налит чай, тут же предусмотрительно положена стопка чистой бумаги и с десятков остро отточенных карандашей — для заметок при чтении, если кто не запасся блокнотом.

Стрижов, оказывается, знал здесь всех наперечет. Он негромко называл Мише фамилии, а Миша ахал, удивлялся и смотрел во все глаза.

— Видишь, с такой буйной шевелюрой и глубокими пролысинами на лбу? Свентицкий,

критик. Рядом с ним Лавренев, у которого кот на коленях. Читал «Сорок первый»?

— А эта, с челкой? Низенькая?

— Сейфуллина. Неужели не узнал? Ее портреты есть в журналах. А тот, у окна, худощавый, — это поэт Браун, он сегодня будет новые стихи читать. А с бородой, кряжистый — Шишков Вячеслав Яковлевич. Вот мастер свои произведения читать! Заслушаешься! А к нему подошел, разговаривает... видишь, с усиками? Это Михаил Козаков. Рассказы пишет. Рождественского чего-то нет сегодня. Хотя он всегда опаздывает.

— Удивительно все-таки, — вздохнул Марков, — вот состаримся мы и будем вспоминать: такого-то впервые я встретил, помнится, в таком-то году...

— Ну вот еще! — вдруг обиделся Стрижов. — Мы никогда не состаримся!

В этот вечер приятели очень поздно возвращались домой. Стрижов провожал Мишу до самых дверей парадного и непрерывно декламировал: он знал множество стихотворений, особенно современных поэтов.

Улицы были почти безлюдны в этот поздний час. Но завидев шумную ватагу молодежи, наполнившую визгом, гамом, пением всю улицу, Стрижов поспешил с пафосом провозгласить:

И в живом человеческом потоке
Человечье лицо разглядеть!

— Это я знаю, — обрадовался Марков, — это Садофьева!

— Угадал, его. Не все, братец ты мой, наши пролетарские поэты пишут в мировых масштабах, вон они о чем — вглядываются в лица! А это знаешь:

Что же! Смотреть и молчать?
Жить и в борьбу не втянуться?

— Женька! А ведь здорово? Ты мне завтра напости, я себе в тетрадь запишу. Чье это? Александровского? А он где? В Москве? Знаешь, мне ужасно понравилось на «четверге»! Вот уж никак не думал, что Сейфуллина здесь живет!

— На улице Халтурина. Лавренев — на набережной Рошаля.

— А Крайский?

— У Крайского я сколько раз бывал. Он на проспекте Маклина. Он ведь все с молодежью возится.

— А сегодня в «Содружестве»? Там и курсанты были, и матрос один был, студента знакомого я видел...

Марков остановился на Литейном мосту.

— Женья! А ведь хорошо жить! Как ты думаешь... Сейчас у нас двадцатый век. А в двадцать первом коммунизм устроят?

— Чудик! Тоже мне — в двадцать первом! Да он буквально в преддверии! Вот-вот мировая революция грянет. Ты что думаешь — в других странах рабочие дураки? Смотреть будут?

— Я в газете читал — буржуазия у них опять шевелится, опять войну готовит.

— Ну и готовит! Ну и пожалуйста! Одну войну устроят — четверть мира осознает. Вторую войну устроят — все люди осознают. На том песенка капиталистов и будет спета.

— Я тоже уверен. А сами-то они неужели не понимают?

Маркову нравилась решительность Стрижова. И хотя сам он знал все то, что говорил Стрижов, сам был тех же взглядов, но Маркову нравилось слушать. Когда другой приводил эти доводы, Маркову они казались еще несомненнее, еще тверже.

Ночь стояла холодная, на Неве ветер так и пронизывал. Одетые один в плохонькую курточку, другой в перешитое из отцовского нелепого цвета пальто, ветром подбитое, оба голодные (даже не решились выпить чаю с печеньем, хотя им предлагали), оба без копейки в

кармане и без каких-нибудь перспектив на этот счет в ближайшем будущем, с одними только широкими планами и мечтами, они беспрекословно верили в несокрушимость советского строя, в неминуемую гибель капитализма, в мировую революцию. Жизнь была им впору, невзгодами их трудно было напугать — всякое видали, всякого хлебнули. Молодые, но прошедшие уже длинный боевой путь и жесткие испытания, они были полны гордости, уверенности, сознания силы, они вглядывались в беспокойную водную пучину, в сердитое черное небо — и до иступления, до того, что зубы стискивались, кровь прилиwała к лицу хотели поторопить, подтолкнуть время. Скорей же! Ну же, скорей!

Поэтому и сами они торопились. Все увидеть! Все впитать!

Выставка фарфора. Выставка кружев в бывшем особняке Бобринского. Диспут в клубе «Коминтерн» на Невском. Воспоминания о Тургеневе знаменитого Кони в Пушкинском доме. Лекция приехавшего из Москвы Маяковского «А ну вас к черту». Всюду надо успеть. Все захватывает.

На лекции Маяковского было шумно, скандально. Маркову Маяковский понравился, а Стрижов рассердился:

— Очень хамит.

— Прикажешь ему по-французски изъясняться? Дамам ручки целовать?

Стрижов всюду дорогу отыщет и, если Маркову не хочется куда-нибудь пойти, явится на Выборгскую, уговорит, выгащит.

— Все нужно видеть, во всем участвовать! Оксана, правильно я говорю?

И Оксана тоже начнет уговаривать. Не хочешь, да пойдешь.

Марков помнит, как они весь день потратили, участвуя в праздновании пятилетнего юбилея Петрогосиздата. Сначала был парад моряков-курсантов. Парад собрал много зрителей, весь Невский был запружен толпой. Парад начался у Дома книги. Потом направились ко Дворцу труда. Было нарядно, живописно, красочно. Женька Стрижов всю дорогу острил, читал стихи и пел. После митинга перед Дворцом труда карнавальное шествие двинулось на Петроградскую сторону, на Гатчинскую улицу, к типографии «Печатный двор». Вечером было чествование героев труда и в заключение концерт.

Вернулся Марков поздно. Оксана уже спала, но сразу же проснулась, вскочила и стала хлопотать.

— Бедняжечка! Весь день, поди, ничего не ел!

— Ничего не попишешь, — важничал Марков, — праздник-то был наш, писательский.

— Да я ведь ничего не говорю, я понимаю.

5

А потом Марков ездил в Москву. Что было раньше, что было позже, он уже и сам не разбирал. Он все время мчался, летел, торопился, и все впечатления у него сливались в один пестрый водоворот. Но поездку в Москву он отлично запомнил!

Он был ошеломлен, обескуражен, не знал, что думать. Он попал в кафе «Стойло Пегаса». В Петрограде он как-то не сталкивался с нэпманами, с ресторанной обстановкой. И вдруг — «Стойло Пегаса»!

Надо только знать, что такое кафе «Стойло Пегаса»! Можно подумать, что это веселое сборище юных литераторов, что там идут горячие споры по вопросам искусства, доклады, столкновение мнений, оценок, точек зрения. Ничего подобного! Марков в этом хорошо убедился! Там пьяный разгул подозрительных субъектов с испитыми физиономиями, не то бывших фельетонистов из черносотенного «Нового времени», не то матерых спекулянтов шкурками каракульчи. «Стойло Пегаса» — это изобилие спиртных напитков и низкопробных острот, это пристанище вызывающе-пестрых женщин, которые о литературе имеют весьма отдаленное представление, о политике еще меньше и заканчивают житейский путь на Цветном бульваре, вызывая сочувствие какого-нибудь ночного гуляки:

Что вы плачете здесь, одинокая деточка,
Кокаином распятая на бульварах Москвы?
Вашу шейку едва прикрывает горжеточка,
Облысевшая вся и смешная, как вы...

«Откуда эти стихи? Ну конечно, Женька Стрижов декламировал!»

Нет, «Стойло Пегаса» ничем не напоминало Литературной студии или устных альманахов, которые устраивают в Петрограде на шестом этаже в доме 2 по Екатерининской улице. Марков больше бы сказал: это полная противоположность! Там влюбленная в поэзию, боевая, дерзкая молодежь грызущие гранит науки при более чем скромном пайке студенты, рабфаковцы, курсанты, начинающие поэты, молодые, с острым глазом художники, воинственные журналисты. Все бодро отсчитывают ступени на самое верхотурье по плохо освещенной лестнице. И начинается то, чего никогда не забудет, не выкинет из сердца тот, кто хоть раз побывал на этих пиршествах вдохновения. Выходят один за другим поэты, прозаики, критики, литературоведы, читают свои произведения и получают в награду бурные овации. Затем начинается обсуждение. Высказываются смело, открыто, без реверансов, со всей прямоотой и страстностью юности. Спорят до хрипоты. Поднимают очень важные, очень большие вопросы, явно волнующие всех: о форме и содержании, о верности революции, о формализме, о жанрах. Трудно представить, чтобы там мог, осмелился появиться не советски настроенный человек. Нюх у этой молодежи тонкий, непримиримый, безоговорочный. Марков помнит случай, когда выступил на этом устном альманахе ушибленный различными «супрематизмами» дегенеративный юнец — вторично он никогда не появлялся, сразу же получив безжалостный разнос и кучу нелестных эпитетов от горячей, задорной аудитории. Да, это совсем не «Стойло Пегаса»! Ничего похожего. Марков наивно полагал, что в советской действительности немислимы «стойла пегасов», это у Маркова никак не вязалось со всеми его представлениями о жизни.

Он вернулся из Москвы оглушенный, расстроенный и к тому же без копейки денег. Оксана так обрадовалась ему, так слушала его рассказы о Москве, так извинялась, что у нее нечем даже покормить его...

— Понимаешь, «Стойло Пегаса»... это... как бы тебе сказать...

Марков стал довольно туманно растолковывать, что это за Пегас.

— Ну, лошадь такая! Понятно?

Миша рассказывал, а Оксана прикидывала: что, если пойти на кухню и поискать чего-нибудь съестного? Да нет, она же знала, что ничего нет...

У них часто случались денежные затруднения, и всякий раз оказывался один выход: перехватить у Надежды Антоновны. Но Марков приехал из Москвы ночью, Крутояровы уже спали, да если бы и не спали, все равно магазины-то закрыты, не разгуляешься!

Миша продекламировал:

Братья-писатели! В вашей судьбе
Что-то лежит роковое!

И добавил:

— Что ж. Давай натошак ложиться спать. Утро вечера мудренее.

Оксана была в отчаянии. Одна-то она бы перетерпела. Но как это она не догадалась заранее перехватить денег у Крутояровых и держать на случай приезда Миши хотя бы какие-нибудь консервы?

Кончилось тем, что Оксана расплакалась, а Миша стал ее утешать. Он очень смеялся, когда Оксана сквозь слезы причитала:

— Ты такой труд принимаешь, легкое ли дело сочинять из головы... А я тебя го-олодом морю!

И она еще сильнее заливалась слезами.

Они очень любили друг друга. Миша Марков так хотел окружить заботами и нежностью Оксану! Ведь она, бедняжка, совсем-совсем одна на белом свете! Миша должен заменить ей и мать, и отца, и братьев. Хотя у него у самого было мало житейского опыта, все же он брал на себя роль старшего, рассказывал, что такое Петроград, объяснял, как ездят в трамваях, советовал не робеть. Оксана воспринимала все, что он ей говорил, восторженно и благоговейно: какой он умный, все-то он знает, обо всем может рассуждать!

Оксана, со своей стороны, готова была сделать все, чтобы ему было хорошо. Миша слабо сопротивлялся, но она с таким наслаждением стирала его рубашки, с таким торжеством сама отыскивала рынок, сама покупала продукты, сама варила обед!

Так и образовалось само собой, что Оксана мыла полы, стирала, стряпала, бегала в булочную, а Миша ходил на рабфак, в литературную студию и, придя домой, с аппетитом поедал картошку с постным маслом и подробно рассказывал, что видел и слышал за день, какой умный у них «руковод» в студии, что такое ассонанс и что такое новелла.

Оксана не довольствовалась тем, что взяла на себя все заботы по дому. Она выпытывала, что Миша любит, чего не любит, старалась найти у него капризы и причуды.

— Миша терпеть не может холодный чай, — с гордостью докладывала она Надежде Антоновне. — Мише не нравится хлеб из ближней булочной, так я хожу в ту, за углом, бывшую Лора... Миша говорит, надо стирать стиральным порошком, а то белье пахнет мылом.

— Почему вы нигде не учитесь? — спросила Оксану Надежда Антоновна. У вас какое образование?

— Что вы! Когда же учиться? — удивилась Оксана. — Миша приходит когда в пять, когда в семь...

— А хотя бы и в десять! И вы приходите в десять. А потом: я вас ни разу не видела с книгой. Обязательно читайте! Вы приглядитесь: все сейчас читают — в трамваях, в парках — повсюду. А питаться можно и в столовой, ничего страшного.

— Что вы! Миша терпеть не может столовых!

Очевидно, Надежда Антоновна поговорила об этом и с мужем, потому что он однажды предложил:

— Не хотите ли устроить Оксану на работу? Есть место секретарши в Государственном издательстве.

Марков удивился:

— А вы думаете, что ей надо работать? Разве, когда я стану писателем, мы не проживем на мой гонорар?

Логично? Ведь можно прожить вдвоем на гонорар писателя? (Хотя неизвестно еще, получится ли из Маркова писатель...)

И вдруг, как гром среди ясного неба: письмо от Ольги Петровны. На первый взгляд она ничего особенного не писала. Рада, что у Миши и Оксаны бодрое настроение, рада, что они живут в таком замечательном городе, благодарит, что пишут и не забыли о ней и Григории Ивановиче. И так, вроде как между прочим, спрашивает, все ли письма доходят? Что-то ни в одном письме от них не сообщается, а где же учится Оксана и каковы ее успехи.

Ольга Петровна даже не допускает мысли, что Оксана нигде не учится и состоит при Мише в роли стряпухи и прачки! Ольга Петровна скорее готова предположить, что не дошли некоторые письма. В этом и заключалась вся сила удара. Ольга Петровна не писала «ай-ай, как нехорошо», а все только говорила о неполадках на почте: ну как это так — очень важные сообщения, и вдруг письмо где-то запропало! Ох уж эта почта!

Казалось, в письме никаких упреков, никаких наставлений... Миша несколько раз внимательно и придирчиво прочитал от строки до строки письмо... Уж не сообщили ли ей что-нибудь Крутояровы? Вот, мол, как исполняется ваш наказ, дорогая Ольга Петровна!

Марков сделал из Оксаны домохозяйку! Вот, оказывается, каковы ваши хваленые котовцы!..

Миша словно прозрел. Ему представилось, с каким сожалением смотрит на него Григорий Иванович Котовский, как неодобрительно покачивает головой Ольга Петровна: «Не оправдал надежды, подвел, осрамил! По старинке семью строит, не по-советски!»

Живой пример перед Мишей: смотри и учись, какие замечательные отношения у Котовских. Да, Ольга Петровна ведет все хозяйство, умеет так засолить огурцы, что пальчики оближешь. Но Ольга Петровна — врач, у нее большая общественная нагрузка. Мало того — она успевает растить, воспитывать многих и многих, недаром же котовцы зовут ее мамашей.

А как поступил Миша? Вывез из разоренной расстрелянной деревни умную, способную, красивую девушку, можно сказать, спас ее, а для чего? Не для того ли, чтобы она теперь белье ему стирала?

Подумав об этом, Миша немедленно перевернул все вверх дном. Примчался домой, а Оксана как раз с увлечением, с превеликим усердием раскатывала тесто. Она была счастлива, она так любила своего Мишеньку! Она только и думала, чем бы его накормить вкусненьким, какой бы сюрприз приготовить к его приходу, и очень огорчилась, если он сюрприза не замечал, занятый своими мыслями и делами.

— Стряпаешь?! — влетел в кухню Марков. — Хороша, нечего сказать! Полюбуйтесь на нее!

— А что? Що зробылось?

— «Зробылось»! То зробылось, что тебе не пампушками меня угощать, а в морду мне дать!

Оксана не могла понять, что он говорит, почему сердится, чем она не угодила. Она стояла, опустив голову, и машинально сковыривала тесто, прилипшее к рукам. Лицо и волосы у нее были в муке, в другую минуту Миша бы досыта над ней посмеялся. Но сейчас Миша был серьезен.

— Чего же ты молчишь? — продолжал он. — Возмущайся! Я оказался последним подлецом, мне стыдно будет в глаза посмотреть Григорию Ивановичу!

— Что же ты наделал? — всполошилась Оксана. — Говори уж, сознавайся во всем!

— То наделал, что окончательный домострой у нас получился!

— Який домострой?

— А как же? Для того ли я привез тебя в этот город, чтобы буржуазно угнетать и эксплуатировать, как последний сукин сын — буржуй? Нечего сказать: котовец!

— Як же ты меня угнетаешь?

— Очень просто: угнетаю, и все! И еще — извольте полюбоваться гимнастику по утрам делаю, пока ты поджариваешь яичницу с колбасой... Упражнение номер первый — встаньте прямо, раздвиньте ноги на уровне плеч, начинаем! Содействует развитию грудной клетки, укрепляет брюшной пресс! А не угодно ли, господин муж, глубокоуважаемая персона Марков, сбегать на Сытный рынок за картошкой? Очень содействует развитию бицепсов и развивает инициативу! Не желательно ли вам подмести пол — это укрепляет брюшной пресс и вместе с тем успокаивает совесть! Какой дурак выдумал, что стирка белья — женское занятие? Это типично мужское занятие, стиркой занимался даже Мартин Иден, что не помешало ему стать писателем!

Оксана слушала, с ужасом смотрела на Мишу и только всплескивала руками:

— Ой, матенько! Дывьись, як вин расходився! Що ж це таке?

— Подведем итоги! — ораторствовал Миша. — Отныне белье стираю я, а ты его утюжишь, пол подметаю я, а ты вытираешь пыль с предметов домашнего обихода, постель заправляю я, а ты пришиваешь пуговицы. На рынок ходим вместе, стряпаем по очереди.

— Ой, матенько!

— А еще лучше — стряпню отменяем, питаемся в столовке, а постель вообще можно не заправлять, все равно вечером опять ложиться!

— Ой, матенько!

— И наконец, сам напрашивается вывод: ты поступаешь в медицинский институт и,

кроме того, ходишь со мной в Литературную студию! Точка. Таким образом, из тебя получится новая Ольга Петровна — выдающийся врач, образованная, передовая советская женщина, а из меня — пусть хоть не Котовский, а восьмушка Котовского. И то будет славно, и то я буду предвоенен!

— Ты, мабуть, сказывся? То Котовский, то Ольга Петровна, а то мы с тобой! Сравнил!

— А что! Погоди, у нас вырастут еще такие люди — весь мир разинет рот от удивления! И Григорий Иванович тоже говорил, помнишь? Ведь новое общество — это не то что старое! Смотри, сколько еще после революции лет прошло? А у нас уже построена крупнейшая в мире широкоэвещательная радиостанция! А Волховстрой? А разве не начали мы выпускать свои тракторы? Нашему поколению не раз еще придется говорить: «Крупнейшая в мире», «Самая мощная в мире»! А еще — чем черт не шутит, когда бог спит, — может быть, я напишу роман, который прогремит на весь мир и откроет новую эпоху в литературе?!

Наутро Оксана долго и тщательно умывалась, затем так же долго и старательно причесывалась, наглаживала платье раскаленным утюгом, позаимствованным у Надежды Антоновны, и наконец торжественно настроенные Миша и Оксана вышли из дому. По дороге захватили Стрижова, который все знал: и в каком трамвае ехать, и где войти, и где канцелярия фельдшерских курсов...

Вскоре Оксана стала студенткой.

7

И Крутояровы, и Марков с изумлением и восторгом наблюдали за чудом, происходившим на их глазах. А еще говорят, что не бывает чудес. Бывают! Особенно в Советской России!

Чудесное превращение свершалось с Оксаной с тех пор, как они стали строить — по выражению Миши — новый быт. Началось с пустяков: Оксана перестала дичиться, перестала бояться переходить улицу, стала задавать то Мише, то Ивану Сергеевичу Крутоярову, а чаще всего Надежде Антоновне удивительные вопросы:

— Неужели Гоголь сам, своими руками сжег свое сочинение?

— А вы знаете, сколько у человека костей?

— Оказывается, Карл Двенадцатый был совсем мальчишка! Вот не думала!

— Вы не знаете, Мария Петровна Голубева жива?

Относительно Карла Двенадцатого Надежда Антоновна готова была согласиться, но при чем тут Голубева? Какая Голубева?

Оксана возмущалась:

— Карл Двенадцатый — это сам по себе разговор, а Голубева — это уже совсем другое. Значит, вы ничего не знаете о Голубевой? Вот странно! Как же так не знать о Голубевой?

— Но, дорогая девочка, — смущенно оправдывалась Надежда Антоновна, откуда же мне знать о некой Голубевой? Это что, учительница у вас на курсах?

Оксана не верила, думала, что Надежда Антоновна притворяется. Вмешивался в разговор Иван Сергеевич, он тоже не знал.

— Мария Петровна Голубева — такая гордая, непокорная. Глаза серые, прическа гладкая-гладкая, на прямой пробор, взгляд внимательный, взыскующий. Платье глухое, строгое, с белым воротничком. Я на портрете видела. Ведь это известная революционерка, замечательная женщина, большевичка, конечно.

— Где же вы ее портрет видели?

— Нам показывали. Лекция была. В тысяча девятьсот пятом году она жила на углу Большой Монетной и Малой Монетной, и в ее квартире помещался штаб Петербургского комитета партии. Бомбы и револьверы складывали под детские кровати, а прокламации, напечатанные, конечно, на папиросной бумаге, запрягивали в фарфоровые головки кукол...

Слушали Оксану и переглядывались: да что это такое? Как подменили, совсем другая

стала наша Оксаночка! И слова, обратите внимание, другие: «прокламации»... «Петербургский комитет»... «взыскующий»...

Но Оксана не замечала пристальных взглядов, вернее, не относила их лично к себе.

— Так вы, может быть, и о Клавдии Ивановне Николаевой не слышали? Она родилась в Лештуковском переулке, совсем у Невского. Мать у нее прачка, можете себе представить? Мать прачка, а дочь — замечательная большевичка! Вот ведь как бывает!

— Николаеву-то знаем. Она ведь и сейчас видную роль играет.

— А как же иначе? Разве женщины — это второй сорт? Женщины — тоже люди!

Оксана это положение доказывала на практике. Вдруг оказалось, что у нее удивительная память, удивительные способности. На курсах долго не могли понять, откуда эта молодая особа набралась таких знаний? Потом все объяснилось: ведь Оксана работала в госпитале под руководством врача Ольги Петровны Котовской! А Ольга Петровна отнюдь не довольствовалась тем, что заставляла свою помощницу раны бинтовать да измерять температуру. Оксана выслушивала целые лекции, причем по самым разнообразнейшим вопросам.

И помимо обширной практики получала общее образование, Ольга Петровна приносила ей книги, заставляла учить грамматику, физику — и все без лишнего шума, так, будто походя.

И теперь вполне естественно, что Оксана на курсах в числе первых, что к ней обращаются подружки за помощью, за разъяснением непонятных мест, и конспекты Оксаны ходят по рукам.

И уже никого не удивляло, если спрашивали:

— Ксения Гервасьевна дома?

Сначала не понимали: какая Ксения Гервасьевна? Потом догадались: ах, да это наша Оксана! И привыкли: правильно — Ксения Гервасьевна. Так и должно быть! Так оно и есть!

Помогли человеку отмыть руки от теста, расковали скованную мысль, поверили в человека, признали полноценным — и вот расцвело прекрасное существо, залюбуешься.

Марков, когда хвалили Оксану, ликовал, словно превозносили его самого. Но едва ли не больше всех был очарован и потрясен Иван Сергеевич Крутойаров.

— Товарищи! Да вы посмотрите — сердце радуется! Вот, Марков, благодарнейшая тема для писателя: женщина! Советская женщина! Чудеса! Этого там, на Западе, не поймут. Нет! Куда им! Ведь сфера деятельности женщины там очерчена точно и беспрекословно: Kinder, Kirche, Kuche — дети, церковь и кухня, стряпай, молись и стирай пеленки... И вдруг появляются девушки в солдатских шинелях! Женщина-пулеметчица! Женщина — народный судья! Женщина-авиатор! Женщина — секретарь райкома! Вы представляете смятение бюргера? Вопли мещанина? Это никак не вмещается в их головы, кажется каким-то парадоксом. Да и пускай до поры до времени не понимают, когда-нибудь поймут. Ведь полный переворот всех понятий, всех соотношений сил! Счет-то всегда вели на души, и женщина сюда не включалась. Не знаю, отдаете ли вы отчет, какой сюрприз готовится в нашей стране на подбавку ко всем другим сюрпризам? Даже одно то, что население-то у нас как бы удвоится!

Иван Сергеевич часто и неизменно с воодушевлением возвращался к этой теме:

— Баба! Товарищи, вы вдумайтесь: русская баба, русская женщина. Замызгают, зашпыняют, впрягут, как скотину, в оглобли — вези! Окружат презрением, лишат всех прав, взвалят всю самую тяжелую, самую неблагодарную работу — так уж заведено! И она, голубушка, сама верит, что так оно и должно быть, на то она и женщина, такова уж бабья доля! А посему ворочай чугуны, жарься у печки, меси тесто, гни спину над корытом, нянчи ребят, копай картошку, таскай пятипудовые мешки, жни жнитво, поли гряды, носи ведра с водой, пеки хлеб, обихаживай мужа, дои корову... Ведь ты женщина! Сноси побои, рожай, корми грудью, помни: курица не птица, баба не человек.

Заметил, что на него смотрят недоумевая, — дескать, вот до чего договорился маститый писатель: а кто же рожать будет и грудью кормить? И неужто мужчины станут сами пуговицы

пришивать? Чудно что-то! Ведь до того въелось это представление, что не вытравишь. Самая интеллигентная женщина не удержится и воскликнет, увидев, что муж моет посуду или взялся за иголку: «Да что ты срамишь меня? Не твоя это работа». А какая его? Председательствовать? И хотя все тут до очевидности ясно и элементарно, но только в парадных речах, а не в повседневной жизни.

Вскоре Оксана явилась сияющая и сообщила:

— Предлагают в больнице работать. Дала согласие. И учиться, конечно, продолжать, одно другому не мешает.

Совсем незаметно, как-то само собой получилось, что Крутояров стал называть Оксану Ксения Гервасьевна. Только Надежда Антоновна чисто по-родственному, по-матерински называла ее Ксаной, доченькой. Женька Стрижов — тот вообще никак не обращался к Оксане. Обычно, появляясь в дверях, он восклицал:

— Здравствуй, племя молодое, незнакомое!

— Да уж знакомы, — отзывалась Оксана. — А Миша еще не приходил. Мы теперь все записками обмениваемся, заняты оба очень.

— Сейчас все заняты. «В жизни слишком много дела, слишком краток срок. Надо выполнить умело заданный урок!»

— Сами сочинили?

— Нет, Дмитрий Цензор.

— А я думала, вы. Есть хотите?

— Наивный вопрос. Я всегда хочу есть.

— Что, опять на бобах сидите? Говорите прямо — денег нет?

— Денег-то много, да не во что класть.

— А я как раз зарплату получила, могу одолжить.

— Я и без того в долгах, как в репьях. Нет, не возьму. Не искушай меня без нужды возвратом нежности своей. Ого! У вас сегодня и первое и второе на обед? Вот буржуи!

Стрижов усаживался за стол, ел с завидным аппетитом и первое и второе, а когда, хотя и с опозданием, приходил Марков, охотно соглашался и Мише составить компанию.

8

Когда Марков задумался впервые, о чем и как написать, он почувствовал непреодолимое желание написать рассказ о том, как ушел он с отцом из родного дома, когда Молдавию захватили интервенты.

Марков очень часто думал о доме — о матери, о сестре, об отце. Иногда они ему снились, причем обычно во сне было все безмятежно. Миша был еще маленький, над столом поднимались клубы пара от мамалыги, сестренка что-то пищала, а мать была в хлопотах, и было так нестрашно, так славно... Проснувшись, Миша долго еще находился под обаянием сна. И тогда снова и снова рассказывал Оксане давно ей известные вещи о семье и мечтал о том, как Молдавия будет освобождена и Миша повезет молодую жену представить родителям...

— Это ужасно, что я так долго не могу повидать их! Ты знаешь, как они будут тебя любить! Они хорошие, сама увидишь. Странно, что вот и рядом они, кажется, только руку протянуть, и так далеко... как на другой планете! Ни поехать, ни написать — за рубежом...

Да, Мише запала эта мысль — написать рассказ о том, как он уходил из дому — в страшную неизвестность, в темноту, в непонятную жизнь.

В студии они как раз изучали законы сюжета, архитектонику короткого рассказа. Руководитель студии принес книжечку Генри и прочел вслух новеллу «Дары волхвов». Речь там шла о молодых супругах. Они хотели сделать друг другу подарки к Новому году, а денег ни у того, ни у другого не было. И вот муж продал свои часы и купил на эти деньги черепаховый гребень жене. Она же продала свои роскошные волосы и на вырученные деньги купила для мужниных часов прекрасную платиновую цепочку.

В студию в числе других ходили пожилые рабочие электростанции. И вот растерявшийся руководитель и смущенная молодежь увидели, что рассказ потряс этих старых солидных рабочих, они слушали и плакали, форменно плакали и не стеснялись слез. Занятие прошло в теплых, душевных разговорах. И теперь, приступая к рассказу, Марков хотел, чтобы его рассказ тоже потрясал, чтобы он доходил до каждого, а для этого надо передать все, что он чувствовал, всю душу открыть перед читателем, как если бы он поведал о пережитом самому близкому человеку. В то же время Маркову хотелось, чтобы рассказ был написан по всем правилам, с нарастанием действия, с логическим и все-таки неожиданным концом, когда читатель узнает все, лишь прочитав последние строки.

Рассказ написан одним махом, хотя и провел Марков за этим занятием всю ночь напролет. Утром Оксана, вскочив по звонку будильника, увидела счастливого и как будто выпавшегося Мишу.

— Ты уже встал? А я и не слышала.

— Ксана! — торжественно возвестил Миша. — Я написал рассказ!

— Сумасшедший! — воскликнула Оксана. — Он еще не ложился!

Однако рассказ был тут же немедленно прочитан, хотя Миша и опасался, что сюжета он не построил, никаких неожиданных поворотов действия не придумал и Оксана разочарованно заявит, что это просто давно известное ей происшествие с Мишей, а вовсе не рассказ.

Миша испугался, даже замолк и перестал было читать, когда увидел, что Оксана сидит на кровати в одной рубашке и ревя ревет, и вытирает слезы рукавом, а слезы опять набегают, и Оксана не видит Миши, не отдает отчета, что сейчас утро, что ей пора мчаться на курсы, что ей холодно и что ведь ничего на самом деле нет, а есть только одно сочинение.

Осталась недочитанной одна страница, и Миша, сам растрогавшись — не своим рассказом, а растроганностью Оксаны, — дочитал рассказ. Кончил, положил локти на исписанные листки бумаги, ему было ужасно жалко Оксану, и он укорял себя, что так расстроил ее.

Но слезы Оксаны были совсем особого рода. Это было душевное потрясение от художественной правды, совсем отличное от того, если бы Оксана узнала о каком-нибудь действительном печальном происшествии.

Вот она, еще не осушив слезы, босая, непричесанная, с таким теплым после сна телом, с отлежанной щекой, на которой отпечатался узор наволочки, подбежала к Мише, обняла его и стала целовать.

— Да ты у меня и на самом деле писатель! Ой, матенько!

И они еще долго говорили о рассказе, о том, что бесспорно его немедленно напечатают и что как это удивительно, что она, Оксана, — самая обыкновенная, а между тем — жена такого удивительного человека. И Миша наполнился гордостью, торжеством. Да, он и сам чувствует, что рассказ удался!

Впервые за все время учения на фельдшерских курсах Оксана опоздала на занятия.

Самое страшное было впереди. Когда Крутояровы проснулись и за стеной послышалось последовательно шлепанье ночных туфель, потом фыркание около умывальника и наконец звяканье посуды, — рассказ с предисловием, извинениями и оговорками был передан на суд Ивану Сергеевичу.

Оксана уже ушла. В наступившей во всем доме полной и, как казалось Мише, зловещей тишине он не находил себе места, то садился, то вставал и слонялся по своей длинной нескладной комнате.

«Неужели так долго читает? Или вовсе не начинал? Кажется, сел бриться! Как будто трудно было прочесть такой короткий рассказ!»

Но дверь открылась, и Крутояров вошел в комнату. В руке у него была рукопись. Он вошел не спеша, прошагал зачем-то к окошку. Зачем мучить человека? Не решается сразу все выложить! Ясно, рассказ не понравился, да Миша и сам сознает, что рассказ слабоват, что и над языком надо поработать, и сюжет сыроват...

— Ну что ж, — произнес наконец Крутойров, — по-моему, недурственно. Мне понравилось, и Надя говорит, что искренне написано.

— Как! И Надежда Антоновна уже прочитала? — воскликнул Миша, больше из-за того, что неловко было молчать.

— Я вот думал, — медленно заговорил Крутойров, — что в этом рассказе главное? Свежесть? Непосредственность?

Миша молчал.

— Помните, мы были на выставке картин и букет сирени разглядывали? Нам понравилось (он говорил «нам», хотя это именно ему понравилось и он тогда объяснял, почему понравилось), нам понравилось, что в картине есть идея, есть глубина. Не просто букет, ведь букет и сфотографировать можно. Важна мысль! Вот и в вашем рассказе есть большая человеческая скорбь, то, что найдет отклик в сердцах людей, потому что это типично для нашей эпохи. Понимаете? Типично! Пережитое нами десятилетие — это толпы беженцев, толпы изгнанников, спугнутые со своих гнезд стаи, это пепелища, это затерянные на чужбине, это без вести пропавшие, это души, тоскующие в плену...

Крутойров сел было, но сразу же встал, видимо вспомнив о каком-то своем деле.

— Ну, — подошел он к Маркову, — дайте руку. Поздравляю. Хороший рассказ. Я вам после покажу, там есть кое-какие мелочи, как мы называем, блохи. Но это чепуха. Если хотите, я сам отвезу рассказ в редакцию.

В тот же день, только позже, Крутойров снова зашел.

— Давайте рассказ. Надежда Антоновна берется его настукать на машинке. Редакторы не любят читать написанное от руки. Не возражаете, если заодно она кое-что подправит? Чисто стилистическое. И мои замечания учтет. В «Зори» отнесу ваш рассказ. Хороший есть журнал — «Зори»! А Ксения Гервасьевна все учится? Молодчага она у вас. А я-то ее в секретари прочил, чудак! Вообще вы оба молодцы.

Крутойров призадумался. Он молчал не потому, что подыскивал слова, а потому, что вихри мыслей, образов, чувств переполняли его.

— Знаете, Миша... Всякий раз, взглядывая на вас, я невольно представляю Котовского. Вы для меня и сами по себе, но одновременно и как бы посланец Котовского. Я редко встречал человека, который так любит людей. Когда я работал военным корреспондентом, немало мы провели с Григорием Ивановичем бессонных ночей в горячих спорах, в задушевных беседах. Слушал я его и думал, что этот человеколюб, готовый, кажется, подобрать всех беспризорных мальчишек и увести к себе в дом, — в то же время не раз взмахивал могучей ручищей, чтобы наискось разрубить от плеча до сердца встретившегося на поле брани врага. Вот тут и разберись в человеческой натуре! Сложная, брат, штука — человеческая душа! Я это так понимаю: нельзя научиться сильно любить, если не умеешь сильно ненавидеть!

Крутойров совсем уже собрался уходить, но вернулся от двери.

— Хотите, подарю сюжетик? При мне это произошло. Пришел к товарищу Котовскому степенный землероб, когда бригада Котовского стояла в одном тамбовском поселке. Пришел. Жалуется. К Котовскому каждому доступ был, у секретаря на прием записываться не надо. «На что жалоба?» — «А вот, товарищ командир, один тут из ваших меня ограбил, деньги забрал и вещички. Что же получается: белые придут — грабят, красные придут — та же история...» — «В лицо запомнили?» — спросил Котовский, а сам, вижу, потемнел, яростью налился. — «Где его запомнишь, для нас все вы одинаковые... молодой такой...» — «Ладно, разберемся». И ведь разобрался! Вызвал командиров эскадронов, побеседовал с тем, с другим. Нашли.

— И как? — нетерпеливо спросил Марков. — Расстреляли?

— Перед строем. Вам-то приходилось, конечно, видеть подобное. Но я главным образом за Котовским наблюдал. Зубы стискивает, жалко ему парня: молодой, отчаянный, и ясно, что бес его попутал. А сделать ничего нельзя! У Котовского дальний прицел, политический эффект, как он называет. Вопрос в том, чтобы народ знал разницу между

белогвардейцами и красным воинством, знал, что белые народу горе несут, а Красная Армия несет счастье и освобождение...

— Да, я видел, как расстреливают перед строем, — промолвил Марков. Страшно.

— Вот и напишите рассказ. Страшный получится и значительный. Надо, чтобы люди знали. Обо всем знали — и чтобы знали не от злопыхателей, знали из чистых рук!

Седьмая глава

1

Первый написанный Марковым рассказ был напечатан. За ним последовал еще один — из времен гражданской войны. Хотелось Маркову также написать о своей лошади, о той, которую ему вручил Белоусов и которой Миша дал имя «Мечта». Марков часто думал об этом, но не знал, как подступиться к такому рассказу. Смущало и то обстоятельство, что были уже написаны изумительные, недостижимо прекрасные рассказы о лошади — такие, как «Холстомер» или «Изумруд».

Беседы с Крутояровым запоминались, будоражили мысль. Иногда, робея, Марков подумывал о том, что хорошо бы написать книгу о Котовском, но страшно браться за такую сложную работу. Или, например, о Няге. Няга нравился Мише. Или о комиссаре Христофорове... Или о военном враче Ольге Петровне... Какие все характеры!

Размышляя об этих вещах, перечитывая фурмановского «Чапаева», Марков пришел к выводу, что следует написать книгу о самом-самом обыкновенном советском человеке и доказать, что он необыкновенный, достойный прославления человек.

Таковыми путями Марков пришел к решению написать повесть или даже, пожалуй, роман... и написать его — о своем приятеле Женьке Стрижове! С тех пор Марков пристально приглядывался к Стрижову, расспрашивал его, специально «для материалов» заходил к нему домой и беседовал с его матерью, хозяйственной, доброй, приветливой Анной Кондратьевной, женщиной с грустными глазами.

А этот самый-самый обыкновенный Женька Стрижов оказался совсем не таким обыкновенным. Он был неуемным, неуравновешенным, этот Женька Стрижов. У него был беспокойный характер.

— И все ты чего-то шебутишь! — ворчала на сына Анна Кондратьевна. Посмотри, какой Мишенька — серьезный, рассудительный, а ведь вы почти ровесники!

— Ох и любят же матери в пример кого-нибудь ставить! — смеялся Стрижов, обернувшись к Маркову. — А такого и слова-то нет — «шебутить», даже в словарях не найдешь! Впрочем, женщины постоянно придумывают какие-то словечки, особенно о своих детях и о возлюбленных. Каких только названий им не насочиняют!

Маркову нравился Стрижов, нравилась и Анна Кондратьевна. Ее муж, известный хирург, в первый же год гражданской войны уехал с военным госпиталем и не вернулся. Настал черед сына. Евгений восемнадцатилетним студентом-первокурсником записался добровольцем в 1919 году, поехал на Восточный фронт, был ранен под Уфой во время памятной психической атаки белогвардейцев, признан негодным к службе. Так вот и получилось, что в двадцать один год от роду он стал ветераном войны, одновременно молодым и возмужалым. Больше всего он любил стихи. А поступил в медицинский, чтобы угодить матери: ей хотелось, чтобы сын пошел по стопам отца.

Что касается Маркова, этот мечтал стать романистом.

— Нельзя быть хуже старшего поколения, — говорил он. — И кто, кроме нас, расскажет об этих удивительных людях, умевших побеждать? Пройдет каких-нибудь пятьдесят — шестьдесят лет — и придется копаться в архивах, стараясь понять то, что нам, современникам и очевидцам, так досконально известно!

Марков мог без конца говорить на эту тему, но Евгения и убеждать не требовалось, он

только вносил поправку, что очевидец — самый ненадежный свидетель, потому что каждый видит по-своему, а если это к тому же еще и участник, то у него обязательное смещение перспективы и непоколебимая уверенность, что он-то как раз и является главным действующим лицом, центром всех событий. Кроме того, Евгений считал, что наряду со строителями революции необходимо показать в литературе и мерзкий облик врагов.

— Это зачем же? — удивлялся Марков.

— А попробуй одной белой краской написать картину, — отстаивал свою мысль Евгений, — ничего не получится. Должны быть свет и тени.

— Надо изучать, знать подноготную, иначе и не разберешься, озабоченно размышлял Марков, мысленно уже написавший эпопею о революции.

— Не бойся, врага ты сразу узнаешь! Как ни вертись собака, а хвост все сзади.

— Так-то так, но часто поджимают хвосты.

— Главное — иметь мировоззрение! — авторитетно заявлял в заключение Евгений, не замечая, как со многими в жизни случается, что повторяет мысль, которую часто слышал от отца.

Споры молодых людей никогда не переходили в ссору. В сущности, они придерживались одинакового мнения во многих вещах. Споры их были скорее совместным обсуждением одного и того же предмета.

Евгений хотел бы написать поэму о новой эре человечества, только не знал, как приступить. Иногда ему думалось, что это произведение будет посвящено его отцу. Тогда он вглядывался в очертания родного лица на портрете в золотой овальной раме, висевшем в столовой, около стенных часов. Спокойные глаза, высокий лоб, русая докторская борода. Самое обыкновенное лицо, а герой! Припоминалось при этом много мелочей, которые и составляют непередаваемое чувство близости.

Евгений понимал мать, которая после страшного известия об утрате так и не вернулась к прежнему спокойствию и равновесию. Сам Евгений тоже навсегда запомнил все, что связано с этим потрясением. Рана не зажила, и осталась какая-то незаполненная пустота. Каждая вещь в доме напоминала об отце. Его пепельница. Книга, которую он читал перед самым отъездом. До сих пор стоит в углу в прихожей — как поставил отец — его зонтик. А на письменном столе карандаши, заточенные еще отцом, чернильный прибор, подаренный отцу его сослуживцами, мундштук и перекидной календарь, на котором сохранились отцовские пометки...

2

Евгений много-много раз как бы заново восстанавливал в памяти подробности злополучного дня. Откуда он тогда возвращался? То ли от школьного товарища Киры Рукавишниковой, то ли из библиотеки...

Нигде вы не встретите таких пленительных зимних дней, какие бывают в Петрограде под самый Новый год. Легкий морозец пощипывает уши и наполняет все существо неизъяснимой бодростью, и вы вдруг ловите себя на мысли: «Эх, хорошо бы сейчас на лыжах... где-нибудь в Кавголове... По мелколесью, по ельнику!..»

Город сказочно красив! Город удивительно наряден! Пушит снег. У прохожих засыпаны снегом воротники, шапки. Все женщины сегодня как на маскараде: и узнаешь и не узнаешь. По Неве метет поземка, швыряя в морды гранитных сфинксов пригоршни снега.

Сквозь мелькающие снежинки проглядывает дивный облик города: то на какой-то миг возникнет силуэт Адмиралтейства и памятник победы над Наполеоном — величайший в мире гранитный монумент — Александровская колонна, почти пятидесятиметровая громадина, свободно поставленная на пьедестал, ничем не прикрепленная, так что держится она исключительно своей тяжестью; то явственно обозначится колоннада Казанского собора, как хоровод исполинов. И тут же — бывший Зингеровский магазин швейных машин, с его нелепым шишом над крышей.

Вдруг попадает в поле зрения реклама: «Перуин для ращения волос»... «Пейте какао Жорж Борман»... А затем яркие пятна бесчисленных синемаграфов: «Мулен-Руж»... «Паризиана»... «Пикадилли»... «Фоли-Бержер»... наряду с вывесками нотариусов, мастерскими корсетов, «coiffeur» и кондитерских. И снова очертания величественных зданий: тяжеловесного Строгановского дворца, несравненного ансамбля Александринского театра, монументальной Публичной библиотеки...

Евгений Стрижов очень бы удивился, если бы его спросили, любит ли он свой город. Он не отдавал себе отчета в том, как привязан к нему. Чтобы понять, как любишь, надо разлучиться.

Снег мельтешит. И в этом мелькании все становится неожиданным, эфемерным. Что это? Кони Клодта на Аничковом мосту? Смешались видения прошлого с явью сегодняшнего, подлинное с вымыслом. Евгений не удивился бы, если бы натолкнулся на Акакия Акакиевича, бредущего с поднятым воротником шинели, не был бы озадачен, если бы в легких санках с медвежьей полостью промчался мимо гуляка и бретер блестящий граф Шувалов в свой особняк на Фонтанке. А это что? Не вышли ли из дома купца Лаптева на углу Невского и Фонтанки часто бывавшие здесь Белинский и Панаев? Не звонит ли в снежной пурге тяжелый колокол Исаакия, отлитый из старых медных монет с прибавлением двадцати фунтов золота и пяти пудов серебра?..

Да, он очень любил свой город, восемнадцатилетний Стрижов. Любил и знал. Его неизменно потрясало, что вот здесь, на месте Адмиралтейства, была некогда русская деревня Гавгуева, состоявшая из двух дворов, и хотя это было до основания Петербурга, но Евгению казалось, что он сам видел эту деревню! Ему нравилось, что река Карповка называлась «Еловой речкой», Фонтанка — «Безымянным Ериком», а Васильевский остров именовался «Оленьим островом». И Евгений шептал эти названия: «Еловая речка! Безымянный Ерик! Олений остров!» И это доставляло ему неизъяснимое наслаждение.

По глубокому убеждению Стрижова, в родном его городе все особенное: все запахи, все звуки, все оттенки — и грусть белых ночей, и благоухание антоновских яблок на «Щукинском дворе», и прохлада «Стрелки» на Островах, и опрокинутые отражения домов в Екатерининском канале, и ослепительные лужайки в Михайловском саду.

А снег все идет и идет... мельтешат и мельтешат снежинки... Евгений Стрижов вдыхает полной грудью холодный воздух. Хорошо так вот брести по Невскому проспекту и грезить... в объеме познаний гимназического курса! Хорошо мечтать, особенно если тебе восемнадцать лет!..

Юность Евгения Стрижова настала вместе с юностью страны. Евгения не смущали трудные времена. В юности даже трудное не бывает трудным.

Еще не был отремонтирован фасад Зимнего дворца, поцарапанный шрапнелью. Особняки аристократов, бежавших за рубеж, зарастали инеем и паутиной. Был на исходе 1918 год. Белели необрунные сугробы на улицах, дымили костры на перекрестках. Проходили, поправляя на плече ремень винтовки, матросские патрули, маршировали рабочие отряды, строгие, направлявшиеся куда-то деловым твердым шагом людей, знающих, чего они хотят.

Стрижов все это видел, все это впитывал в себя — и все принимал.

Да, молчат паровозы на вокзалах. Это понятно: нет угля. И еще — нет хлеба. Голодный тиф косит людей. Почти остановились заводы. Кажется, вот-вот совсем замрет жизнь. Но нет! Город и не думает умирать! Напротив, только теперь он и начинает жить по-настоящему!

Стрижову не только мерещились картины прошлого, канувшего в вечность, ему виделось и будущее, заманчивое будущее — ведь вся жизнь впереди.

...Евгений чувствовал, что пора бы вернуться домой. Он проходил по Аничковому мосту, но не сворачивал на Фонтанку, к своему дому. Было так хорошо, что не хотелось уходить. И он бродил без усталости, слушая шорох падающего снега и мягкие шаги прохожих. Может быть, инстинкт подсказывал это желание продлить безмятежное неведение, эту блаженную тишину? Падает снег... Тихо... Ясно на душе...

Стрижов воспринимал все как должное, как естественно связанное с ним. Так было, так будет: будет мама, будет подарок ко дню рождения, будет веселый шутник папа, будут тополя на Фонтанке и манящий чудесами клоунады и дрессированных слонов цирк Чинезелли. Это извечно, это составная часть его существа, это такое же свое, как своя рука.

3

Наконец Евгений устал и решительно направился на Фонтанку, к дому, большому, пятиэтажному, с темной подворотней и длинным проходным двором, пахнущим дровами и помоями.

Долго не открывали: это Анна Кондратьевна старалась привести себя в равновесие и скрыть следы слез. Наконец она впустила сына. Он сразу же почувствовал что-то неладное, а когда вошел в столовую, понял, что свершилось то непоправимое, чего в глубине сознания давно опасался, но всякий раз отгонял даже самую мысль.

Анна Кондратьевна молча показала на распечатанное письмо, лежавшее на столе, на холодной клеенке, на которой еще сохранились коричневые пятнышки от папиросы, которую отец клал рядом с собой, читая газету.

Прежде чем взять в руки письмо, Евгений взглянул на портрет в овальной раме. Все такие же глаза, все та же добрая русая борода. Да, на портрете отец был все так же спокоен... а ведь его уже не было на свете!

Почему-то Стрижову долгое время казалось, что стоит написать поэму, страшную в своей простоте (как то фронтовое письмо, присланное начальником госпиталя, извещавшее о гибели доктора Стрижова при обстреле госпиталя), стоит рассказать, как Евгений вернулся домой в зимний нарядный день и увидел заплаканное лицо матери, — и встанет перед взором читателя во весь рост страшная и величественная эпоха — эпоха борьбы, неисчислимых жертв, эпоха обвалов, катастроф и побед, добытых ценою крови.

4

В декабре 1918 года пришло извещение о смерти отца, а в апреле 1919-го Стрижов записался добровольцем.

Это было время, когда Советское правительство объявило Республику военным лагерем, когда был создан Совет Рабочей и Крестьянской Обороны. По Москве маршировали курсанты. Ленин благодарил ижевцев за то, что они стали изготавливать тысячу винтовок в сутки, приветствовал тульских металлистов, решивших вдесятеро увеличить выпуск оружия. В Сормове строили тяжелый бронепоезд особого назначения. Ленин приказал ввести ночные работы для срочного ремонта военных судов на питерских верфях. Луганский патронный завод расширял изготовление патронов. Из всех городов ехали на фронт коммунистические полки, комсомольские отряды.

Именно в эти дни Евгений Стрижов вместе с тысячами питерских рабочих, студентов, молодежи слушал, затаив дыхание, замечательное по силе, по твердой вере в пролетарскую сознательность письмо Ленина к петроградским рабочим.

Молодежь! Порывистая, отзывчивая! Не ты ли всегда впереди, не ты ли первая бросаешься туда, где всего настоятельнее требуется отвага, дерзание, где нужно приложить энергию, может быть, пожертвовать жизнью?

Ленин с тревогой сообщал в письме, что положение на Восточном фронте резко ухудшилось, взят Колчаком Воткинский завод, под угрозой Бугульма.

«Мы просим питерских рабочих *поставить на ноги все, мобилизовать все силы* на помощь Восточному фронту».

Могла ли молодежь не отозваться на этот призыв?! Ораторы рассказывали: в

приволжском городе Покровске профессиональные союзы сами призвали в армию пятьдесят процентов всех своих членов; объявлена в стране мобилизация возрастов от двадцати до двадцати девяти лет; решено всех мужчин-служащих заменить женщинами; отправленным в Поволжье красноармейцам разрешается посылать продуктовые посылки семьям.

«Вот и я пришлю маме!» — восторженно решил Стрижов.

Еще он узнал, что дано распоряжение временно закрыть или же резко сократить штаты таких учреждений, без которых можно в крайнем случае обойтись, а служащих отправить на фронт или на тыловые работы. Украина шлет на Восточный фронт сто грузовиков. Формируются новые артиллерийские батареи. Решение создать миллионную армию перекрыто. Укрепляется Волжская флотилия.

«Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной», — телеграфирует Ленин Реввоенсовету Восточного фронта.

Евгений Стрижов записался в отряд одним из первых. Заставила болезненно сморщиться мысль: «А как мама?» — но тут же пришла уверенность: «Поймет!»

Как все стремительно произошло! Весь мир стал выглядеть иначе. Резкой гранью отгородилось сегодня от вчера. Вчера был просто юноша Евгений Стрижов. Вчера он мог прогуливаться хотя бы вот там, вдоль канавки у Летнего сада. Вчера он был совсем другой, совсем другой! А сегодня...

Из окна Павловских казарм видно огромное пространство Марсова поля. Вдали Летний сад. Казалось бы, он совсем близко, но нет, он недостижимо далеко, а прогулки возле него кажутся невыносимыми, нелепыми. Слева можно увидеть краешек Мраморного дворца и уходящий на Петроградскую сторону Троицкий мост. Вероятно, там уже липы набрали почки... Если высунуться из окна и посмотреть направо, можно увидеть шпиль Инженерного замка и угадать очертания Лебяжьей канавки...

Короче говоря, — казарменное положение. Голые стены Павловских казарм, усиленные занятия, маршировка, разборка и чистка винтовки. Ездили в Стрельну, стреляли в мишень. Солдатская жизнь! А мама действительно поняла и только сказала:

— Сыночек мой!

Ожидали каждый день и все же неожиданно прозвучало: завтра отправка. И завтра настало. Построились. Старались держаться молодцами. Лихо прошагали мимо чугунной решетки с черными царскими орлами, около Летнего сада, перешли Фонтанку по одному из пятисот петроградских мостов. Слева школа Штигилица поблескивает стеклянной крышей. Церковь святого Пантелеймона хмурится и смотрит подслеповатыми окнами на шагающую молодежь.

Ясный погожий денек. На Литейном — толпа любопытных. Тверже шаг! На улице уже зима, питерская — без снега.

Духовой оркестр сразу рванул и начал отчетливо, маршевым темпом выговаривать военный марш. Удивительное действие оказывает музыка! Под военные марши ноги сами идут туда, куда послала родина: на неприступные кручи Шипки, на оцетиненные стены крепости Измаил, на равнину Полтавщины, чтобы разбить наголову заносчивого короля Карла Двенадцатого, на Бородинское поле, чтобы сбить спесь с Наполеона.

Молодцеватые музыканты со всем усердием дули в медные трубы, барабанщик, отбивая такт, победоносно поглядывал по сторонам. Тромбоны рявкали, оглушая прохожих, корнеты задорно выговаривали мелодию. Раз-два! Раз-два! — призывала к четкому шагу музыка. Тут нельзя было сбиться. Лево-правой шагали за оркестрантами лихие добровольцы, отправлявшиеся на Восточный фронт.

Они прошли стройными рядами по Литейному проспекту — проспекту букинистов, книготорговцев, проспекту, помнившему о былых своих обитателях — Некрасове и Салтыкове-Щедрине. По обеим сторонам шествующей на фронт колонны с узелками, сверточками, озабоченные и гордые, спешили, старались не отстать родственники. А безусые курносые защитники революции шагали с серьезным видом: винтовка на ремне через плечо, походные вещевые мешки за спиной — левой, левой, левой!

И Евгению Стрижову не казался тяжелым вещевой мешок, и он вместе со всеми браво отбивал шаг — левой, левой, левой!

Вот и Невский проспект — пятиэтажные дома, зеркальные стекла витрин, вывески, рассказывающие о прошлом. На перекрестке Невского и Литейного, который по ту сторону уже становится Владимирским проспектом, высится домина, напоминающий сразу о трех богатеях: Палкине, с его рестораном, Соловьеве, с его торговлей, и Филиппове, с его кондитерской и «филипповскими» пирожками. Стрижов особенно хорошо был осведомлен о последнем — о пирожках.

Нет больше филипповых, нет палкиных и соловьевых. Ничего, что сейчас опустели витрины магазинов! Ничего, что окна забиты фанерой! Здесь еще расцветет, закрасуется невиданный город! За то, чтобы непременно, во что бы то ни стало сбылись все чаяния, идет сражаться славная питерская молодежь.

— Раз-два! Раз-два! Тверже шаг!

По Невскому свернули влево, направляясь к Николаевскому вокзалу.

— Раз-два! Правое плечо вперед — шагом марш!

Эх, жаль, что Кира Рукавишников не видит в этот момент Евгения!

С того момента как молодые люди перешли на казарменное положение, они как будто вступили в свой, отличающийся от всего остального, особенный мир. Та жизнь, которая складывалась до казармы, вдруг отодвинулась и стала бестелесным видением, смутным воспоминанием. Да, это, конечно, было: и мама, и университетские коридоры, и встречи с друзьями. Например, Кира Рукавишников. Конечно он был! Стрижов помнил его улыбку, его вихор, который покачивался, когда Кира играл на гитаре вальс «Лесная сказка». Но все это казалось теперь чем-то давним, похожим на блески далекого детства.

Начиналась большая, суровая, подлинно взрослая жизнь. И все эти юноши вдруг возмужали, немного загубели, стали мужчинами. Строевые занятия, целые дни на воздухе. Солдатская пища. Нары. Всегда одни и те же люди вокруг, свой мирок, свои казарменные шутки, разговоры. Да, конечно, они стали мужчинами!

Колонна шагала, оркестр громыхал. Никогда еще Стрижову не казался таким прекрасным этот город, его город, город, где он родился, где оставались все его привязанности, город, который он покидал.

Выйдя на площадь перед вокзалом, отряд по знаку командира грянул «Все тучки, тучки повисли». Пели не столько стройно, сколько молодо и задорно. Некоторые хотя и пели со всем усердием, но безбожно ввали. Однако это нисколько не испортило торжественности.

На вокзал к отправке эшелона прибыли представители от городского комитета партии, от военного командования.

Панюшкин в своей речи сказал:

— Мы верим, что вы не опозорите красного Питера, колыбели революции. Мы посылаем лучших сынов для полного разгрома наймита международной реакции — махрового мракобеса Колчака. Он держится только подачками империалистов и жиреет на чужих кормах. Но помните, товарищи красноармейцы, чем больше свиньи жиреют, тем ближе они к гибели. Смерть Колчаку! Ура!

Питерские железнодорожники превзошли себя: поданные для воинов теплушки были прибраны, благоустроены.

— Смотрите, ребята, и трубы дымят! — восторженно переговаривались юные добровольцы. — Теплушки-то отапливаются! Здорово!

В самом деле, в холодном, прозябшем Петрограде это было верхом заботливости и любви — обеспечить топливом вагоны.

Стрижов страшно смутился, когда Анна Кондратьевна, пробравшись к нему, сунула сверточек с фуфайкой и домашними постряпеньками и на дорогу торопливо перекрестила его дрожащей рукой.

— Храни тебя бог!

— Ну что ты, мама!

— Береги себя, тут отцовская фуфайка, ты ведь чуть что — и простужаешься! Неженка! «Как она постарела и сморщилась!» — горестно подумал он.

— По вагонам! — раздалась команда. — Шагом марш!

Множество рук поднимается и машет отъезжающим. Паровоз пыжится, шипит, выбрасывает клубы дыма — и дергает состав.

5

Все эти переживания Стрижова были вполне понятны Маркову, поэтому он мог бы их изобразить. Даже то обстоятельство, что сам Марков родом из маленького Кишинева, а детство Стрижова прошло здесь, в столичном гомоне и шуме, — и это не смущало юного романиста. Теперь он знал Петроград, хорошо знал и успел полюбить этот удивительный, какой-то вдохновенный, песенный, с горделивой осанкой, с широтой и размахом и, несмотря на старинные здания, архитектурные ансамбли, памятники, — неиссякаемо молодой город. Поэтому ему не трудно будет поместить героя своего будущего романа в доме на Фонтанке и самому как бы превратиться в питерского паренька.

Но дальше Маркову встретились, кажется, непреодолимые трудности. Уж он ли не испытал все, что человек испытывает в обстановке боя! Он ли не был участником отчаянных атак, осторожных обходных операций, тяжелого похода, когда они прорывались из окружения... он ли не наблюдал изо дня в день, как талантливо, вдохновенно ведет свою бригаду на врага и одерживает победы Котовский! А вот представить и живо, достоверно, убедительно изобразить самарскую степь, каппелевский корпус, Уфу, Башкирию он никак бы не решился.

Кроме того, Маркову понятнее и ближе была душа кавалериста, а ведь там, на Восточном фронте, бесспорный перевес в кавалерийских частях был на стороне противника.

Кое-что Марков уже знал об обстановке на Восточном фронте в те годы. Он начал собирать газетные и журнальные статьи, касающиеся этого периода, а также военные обозрения и воспоминания участников, которые начали появляться в печати. Марков знал, что к началу марта 1919 года у нас было «8984 сабли», как выражались военные специалисты, говоря о кавалерийских частях, а Колчак располагал 31 920 саблями, в основном казаками.

Маркову случалось бывать в пешем строю. Особенно ему врезалось в память одно туманное утро, когда он лежал в окопах на берегу реки Здвиж рядом с Савелием Кожевниковым, ожидая сигнала атаки. Но, странное дело, он никак не мог вжиться в образ Чапаевца, не представлял себя на месте Стрижова, а если начинал думать об этом, невольно сбивался на те зарисовки, которые даны в книге Фурманова.

Между тем замысел у Маркова был совсем иной. Главное же, Марков совсем не намеревался да и не решился бы делать литературный портрет Чапаева. А что он намеревался показать? В том-то и дело, что сам он этого твердо не знал.

— Погрузили вас в воинский эшелон, и вы поехали, — выспрашивал Марков у своего предполагаемого героя. — А что потом?

— Приехали в Самару, — охотно пускался в воспоминания Стрижов, — а там «веселенькая» картинка: искалеченные артиллерийским обстрелом дома, забитые фанерой окна, черные головешки пожарищ... Одним словом, война. У войны ведь безобразная морда. Помню, куда ни поглядишь, — мотки колючей проволоки, наполовину засыпанные снегом. На берегу реки Самары, на Хлебной площади в центре, на дамбе напротив элеватора и вообще везде — поперек улиц и площадей — борозды окопов, иди да гляди под ноги. Ведь только что здесь шел бой, прямо на улицах. На той стороне белогвардейцы-учредилловцы, на этой — недавно сформированные части Красной Армии... Пальба, кровь, трупы валяются... Кипящий котел! Старые царские чиновники саботируют, эсеры устраивают восстания... Сегодня мы, завтра они — так и переходило из рук в руки. Просто сказать: одержали победу! Каждый дом — неприступная крепость, из каждого куста — пулеметная очередь. А что

творили там анархисты — уму непостижимо! Однажды они взорвали здание, где заседал ревком. Половина дома взлетела на воздух, а во второй половине, в той, что не взлетела, как раз и находились ревкомовцы. А тут Дутов. А тут разагитировали братишечек — матросскую часть какую-то, и пошла потеха. Выпустили из тюрьмы уголовников — представляешь, как они гульнули?

— Не очень, но представляю, — пробормотал Марков. — А рассказываешь ты — дух захватывает, так и видишь всю картину. Жаль, что ты стихотворец, у тебя бы в прозе получалось!

Стрижов был польщен.

— Так вот. Захватили анархисты телеграф, телефонную станцию. Но больше грабили, чем воевали. Наш штаб находился на Заводской улице, в клубе коммунистов. Подоспели железнодорожники со станции Кинель. Ну, тут бунтовщиков разоружили. Только порядок наладили — а в это время подступила к Самаре десятитысячная чехословацкая дивизия...

— Десятитысячная?! — воскликнул Марков, увлекшись повествованием и совсем забыв, что собирает материалы для романа.

— Десятитысячная! Самое меньшее! А у нас и трех тысяч на всем протяжении от Самары до Сызрани не наберется. Представляешь, какая музыка получается? Сколько тут погибло дружинников под пулеметным огнем, сколько потонуло в речушке Татьянке, никто не подсчитывал. Разве подсчитаешь?

— Ты сам-то Куйбышева видел?

— А как же? Вот так он, вот так мы. Нас ведь, как прибыли, на пополнение пустили. Одних в пятую армию, а я попал в ту партию, которую определили в двести двадцатый полк, ткачи там, иваново-вознесенцы. Шикарное знамя у них, им иваново-вознесенские мастерицы золотом и шелками его разузорили.

— А еще кого видел? Фрунзе видел?

— Да. На переправе. Но там некогда было разглядывать. Лошадь у него была красивая. Лидка. Убило ее.

Стрижов призадумался. Углы губ у него страдальчески опустились, глаза подернулись слезой.

— Сколько лошадей за войну погибло! Люди дерутся, а лошади чем виноваты? Жалко лошадей.

— А людей?

— И людей, конечно...

Разговоров было много, но с собиранием материалов в общем не получалось. Нельзя же считать достаточным для того, чтобы писать роман, увлекательных, но крайне сбивчивых рассказов Стрижова. О Бугуруслане он сумел сообщить только, что этот город стоит на высоком утесистом берегу, что в Бугуруслане и в Бугульме раньше были женские монастыри, но монахини все разбежались. Рассказал еще кое-что, но отрывочно, бессвязно. Что у красноармейцев была поговорка, когда белые отступили в Уфу, стоящую на берегу реки Белой: «Белые спрятались за Белую». Что в городе Пугачевске был сформирован полк имени Красной Звезды. Что у белых в корпусе Каппеля было много тяжелых орудий, были бронепоезда, самолеты, а также особые «ударные» батальоны, почти целиком состоявшие из офицеров. Что по-башкирски река Белая — Ак-исыл.

6

Марков понял, что ему придется изучать военное искусство, чтобы толково рассказать о скромном красноармейце Стрижове. Марков записался в Публичную библиотеку, стал проводить в ней целые дни, полюбил ее громадные залы, шелест страниц, и необыкновенную, совсем особенную тишину, и стеклянные шкафы, наполненные книгами, строгие, думающие свою думу, хранящие много тайн, много разгадок, множество формул, справок, исповедей и творческого вдохновения.

А Стрижов — Женька Стрижов, неунывающий парень, вечно бормочущий стихотворные строки, шумный и непоседливый, — жил прежней жизнью.

Если у Маркова помещали в каком-нибудь журнале рассказ, они шли со Стрижовым в столовку или даже в «Кафе де гурме» на Невском, где были сбитые сливки со свежей земляникой, кофе и горячие пирожки, которые подавала хорошенькая официантка — не официантка, а живая реклама новой экономической политики, как утверждал Стрижов.

Стрижов восклицал, усаживаясь за мраморный столик:

— Гарсон! Сымпровизируй блестящий файв-о-клок!

Официантка улыбалась, а Марков вглядывался, вглядывался в своего избранника, будущего героя ненаписанного романа.

Веселый парень. Его ничуть не портит маленькая хромота — результат ранения. Стихов пишет мало, еще меньше его печатают. Он не унывает. Говорит, что мать делает какие-то вышивки и продает. На это они в основном и существуют.

— Михаила Кузьмина тоже мало печатают, — беспечно философствует Стрижов. — Что поделаешь? Не все годится, в каждую эпоху различный спрос.

И Стрижов декламирует:

Я старика не корю:
Что тут поделаешь, если
Не подошли Октябрю
Александрийские песни!

— Это — о Кузьмине? А о тебе?

— Обо мне тоже есть:

Не пиши ты ни элегий,
Ни стихов про небеса;
Пропадай твоя телега,
Все четыре колеса!

— Женька! А ты разве про небеса пишешь?

И тут, за столиком кафе, доедая третью порцию сбитых сливок, облюбованный Марковым герой вдруг обнаружил какую-то трещинку. Это встревожило Маркова. Его герой явно сворачивал куда-то не туда. Что за меланхолия? Что за мрачные нотки? Что за жалобы на эпоху? Сказано: не пицать!

Они расплатились (то есть Марков расплатился, у Стрижова, по обыкновению, не было ни гроша) и вышли на улицу.

Было весеннее время, и земляника в кафе, видимо, была оранжерейная, потому и дорогая. А весенний город улыбался, запахи талой земли и тугих набухающих почек тревожили, призывали к бродяжничеству, к лесным тропинкам, будили смутные устремления, в которых никак не разобраться. На улицах продавали пучки верб и ярко-желтые веточки мимозы, пахнувшей сладко и томительно.

Стрижов продекламировал:

Вербы распутившуюся ветку,
Улыбаясь, носим мы в руках.

— Нет, — несговорчиво промолвил Марков, — ты погоди с вербами, ты мне насчет пропадающей телеги объясни. Для меня это ново, что ты кислятину разводишь и с эпохой в разладе!

Стрижов неестественно громко рассмеялся:

— Всякое бывает. Ты романистом собираешься стать, а как стать романистом без

конфликтов?

И Стрижов долго, путанно и как-то надрывно говорил, что вот этой улыбающейся официантке и жирной бабище у кассы, хозяйке кафе, он бы с удовольствием по физиономии съездил.

— Купцы! Спекулянты! Хари самодовольные! Тебе что! Малюешь одной краской — розовой — и пребываешь в некоем кудрявеньком облачке, как херувимчик на иконостасе. Не видишь разве, что вокруг творится? Впрочем, конечно, не видишь и не слышишь — на глазах шоры и уши ватой заткнул...

Марков слушал с ужасом — его герой, как плохой актер, перехватывал чьи-то чужие реплики. Весь замысел романа летел в тартарары! И что с ним случилось? Ведь всегда они были едины во взглядах и настроениях?!

Стрижов говорил, говорил... Они прохаживались по Невскому, мимо Екатерининского сквера, мимо Сада Отдыха, мимо Аничкова дворца и затем по мосту с клодтовскими конями, доходили до Владимирского проспекта — до бывшего ресторана Палкина — и поворачивали назад. Весеннее солнце пригревало, носились терпкие запахи мимозы и тополей, в сквере капали вешние капли с мантии Екатерины Второй прямо на Дашкову, на Потемкина, на Румянцева... А приятели все бродили и бродили.

Марков больше слушал, и ему начинало казаться, что, может быть, в чем-то Стрижов и прав? Очень уж не вяжется новый облик города с тем, что они привыкли видеть в годы фронтовой жизни, в годы гражданской войны. И действительно, противная харя у хозяйки кафе, это он тоже заметил. Чье это стихотворение «Черная пена» продекламировал Стрижов? И где слышал Марков стереотипную фразу, которую Стрижов настойчиво повторял: «За что боролись?» И откуда у него эти поговорки, которые он произносит с надсадной злостью: «Хорошо затянул, да осекся» или «Спросили бы гуся, не зябнут ли ноги»... Это он к чему же? И что это вдруг в прозе заговорил?

7

Миша Марков стал с некоторых пор Михаилом Марковым и даже Михаилом Петровичем Марковым, начинающим писателем, автором небезызвестного рассказа «Отчий дом», который так понравился Крутоярову.

Однако, несмотря на то что он был Михаил Петрович и автор небезызвестного рассказа, ему здорово попало от того же самого Крутоярова.

Откровенно говоря, и стоило. Маркову вовсе не свойственно было унывать, хныкать, его никогда не обуревали сомнения. Он и теперь не имел в виду себя, а пустился в рассуждения вообще и в частности:

— Хорошо тем, кто участвовал в гражданской войне! Вот когда можно было совершать сколько угодно подвигов и моментально сделаться героем! А попробуй проявить героизм сейчас, во время нэпа! Разве что прославиться как лучшему директору универсама?

— Ничего подобного! Абсолютная чушь! — сразу вспылел Крутояров. Вообще нет такого времени, когда человек не мог бы совершать славных, полезных дел. А уж сейчас тем более. Ведь это только говорится, что настало мирное время. Ни черта оно не настало! Идет самая ожесточеннейшая схватка нового и старого, и, как говорится, с переменным успехом.

— Да какая же это схватка, Иван Сергеевич, — взмолился Марков, — если уж дошло до того, что прежних лавочников пригласили развертывать торговлю!

— Милейший, да ведь это же маневр! Как не понять этого? А еще военный! Чистейшей воды маневр, обходное движение: заставить самого врага собственными же руками подкрепить силы революции, залатать дыры, образовавшиеся за годы войны, привлечь на свою сторону мужичка с его двойственной натурой... Вряд ли за всю историю человечества совершался более мудрый государственный акт. Вместе с тем нэп — хо-орошенькая проверка. Если в тебе жива обывательская закваска, ты сразу клюнешь на нэповские калачи!

— А если не клюнешь? Какие же подвиги совершать? Поругивать нэпманов?

— Строить! Воспитывать! Господи боже мой! Прорва дел! Не воображаете же вы, что у нас одни пресвятые угодники, что за границу уехали все контрреволюционеры, все подхалимы, все взяточники? Предостаточно осталось и здесь! И элементарных дураков немало, и пришипившихся вражин, и полный комплект обывателей, мелкой буржуазии... А сколько таких, вроде бы и не плохих, да старые навыки у них навязли в зубах? Не выковырять! Эх, Марков, Марков! Тут еще десятилетиями придется пни выкорчевывать! И опять же не могу не вспомнить Котовского. Вот человек действия! Он не пускается в рассуждения, он действует. Не дожидается каких-то гигантских сверхмероприятий, с жаром берется за всякое дело, если видит в том пользу, или, как он называет, политический эффект. С этой точки зрения он и есть новое явление, новый человек. А для нашего брата писателя не первейшая ли задача подмечать, подхватывать ростки нового и новое прославлять? Каков облик старого? Или Обломов — воплощение добродушной лени, инертности, или Штольц — мелкая душонка, пустодел, эгоист, узколобий предприниматель. Пришло время обломовых будить от спячки, а штольцев гнать поганой метлой. Я наблюдал одного этакого Штольца. Всю жизнь он комбинировал, соблюдал свою маленькую выгоду и втихомолку хихикал в кулак: пусть другие лезут на рожон, записываются добровольцами, прут под пули, ворочают самую тяжелую работу — плавят сталь, сеют хлеб, строят дома, защищают родину, а он при всех ситуациях уцелеет, ухватит кусочек булки со сливочным маслом! Призывали в армию — он дал кому-то взятку. Хотели куда-то перевести — он представил тысячу справок. И так без конца — махинации, махинации... А смотрит на всех свысока и строит благородное трудящееся лицо, мразь этакая! Так вот, дорогой дружище, никто вас не назначает директором универсама, и не так просто быть директором универсама, как вам представляется. К вашему сведению, сейчас многие командиры-коммунисты пошли на хозяйственные посты. Да и Григорий Иванович, я слышал, пооткрывал корпусные лавки, наладил кожевенный завод, изготавливает сахар и даже делает кирпичи. Стыдно ничего не делать, а делать полезное — почетно!

Долго отчитывал Мишу Крутояров. Миша молчал и сгорал от стыда. Вот так романист! Меж двух сосен запутался, чуть не оказался на поводу у своего предполагаемого героя! Вот так котовец! Растерялся перед нэпманшей из «Кафе де гурме»! Не разобрался в обстановке! Надо читать, голубчик, газеты надо читать, подковываться надо! Сам же Стрижов как-то говорил, что человек должен иметь мировоззрение. Какое у него мировоззрение? Куда его повернуло? Ведь это троцкисты кричат, что революция перерождается. Ведь это эмигранты потирают раньше времени руки.

После разговора с Крутояровым Марков стал настороженно относиться к приятелю. Тот почувствовал сразу, что между ними пробежала черная кошка. Они стали реже встречаться, меньше беседовать. Стрижов при встрече не стал громогласно читать стихи.

А однажды Марков сделал еще одно неприятное открытие: когда они сидели рядом в литстудии, от Стрижова пахло водкой.

Все более в отношениях Маркова и Стрижова нарастал холодок.

Восьмая глава

1

Казалось бы, все складывалось как нельзя лучше у Николая Лаврентьевича Орешникова. Он мог быть доволен своим служебным положением. Сокращение Красной Армии и демобилизация его не коснулись. Он так и остался, как был, командиром полка. В полк пришли новобранцы, и Орешников с увлечением занялся настойчивым воспитанием молодежи.

Большой радостью было узнать, что и родители Орешникова живы-здоровы, как жили, так и живут в Петрограде, на Васильевском острове, на 3 линии, недалеко от кирки. А сестры

повыходили замуж и разъехались в разные города.

Орешников даже ездил в Петроград навестить стариков. Мать плакала от радости, отец делал «гым-гум», которое у него принимало разные оттенки и могло выражать удивление, удовольствие или сомнение, неодобрение. Николай Лаврентьевич рассказал им не очень подробно, выбирая не самое страшное и трудное, о своей мятежной жизни: о том, каким образом попал в деникинскую армию, о том, какая была в то время Одесса, о том, как у него произошли встречи со знаменитым Котовским, подпольщиком и революционером, а затем, совсем уже кратко, как попал в плен и был спасен от расстрела тем же Котовским.

— Совсем как в «Капитанской дочке» Пушкина, гым-гум, — подал голос отец.

А мать нашла вполне подходящим момент, чтобы снова расплакаться. Она, как никогда вообще, так и до сих пор, ровно ничего не понимала в происходящем вокруг. И зачем это русские сражаются с такими же русскими? Отчего это вдруг стало мало продуктов, куда они подевались? Отчего это снова стало много продуктов, но денег стало мало? Она была очень старенькая, и весь круг ее интересов сосредоточивался на «папе», как она называла супруга: почему это у него стал плохой аппетит... и вот опять кашлять стал больше, наверное, под форточкой сидел... (Надо сказать, что папа кашлял всю жизнь, но жена по каким-то неуловимым признакам определяла, что кашель то становился больше, то уменьшался или не уменьшался, но делался мягче, без надрыва).

В общем, Орешников был рад, что мать и отец живы, что даже мебель в квартире как стояла до революции, так стоит и сейчас, только одну комнату присоединили к соседней квартире, пробив к стене дверь и замуравав отсюда.

— Так даже лучше, — примирительно говорила скороговоркой старушка, дров меньше идет, а то ведь не напасешься. Двух комнат нам предостаточно, танцевать не приходится. В одной комнате мы студентку поселили, куда ж ей деваться? Да и очень за нее Красовские просили. А в другой мы с папой. Танцевать не приходится.

Орешников познакомился с квартирницей-студенткой, белокурая такая. Раз они поговорили, два поговорили, а когда отправились вместе в театр, тут Капитолина Ивановна и догадалась:

— Папа, никак нам свадьбу в доме играть, а у меня и рюмки все мухами засижены.

Она не ошиблась. Еще отпуск у Николая Лаврентьевича не кончился, когда он сообщил, будто случайно, за столом, передавая тарелку с хлебом:

— Дорогие родители, можете поздравить нас, мы с Любашей записались сегодня в загсе.

Женитьба принесла много радостей Орешникову, а еще больше Капитолине Ивановне. И с детьми ждать ее молодожены не заставили. Родился Вовка, беловолосый, в мать, глаза голубовато-серые, голос пронзительный, даже через замурованную дверь к соседним жильцам проникает, и там всегда знают, спит Вова или бодрствует.

Орешников бывал дома наездами. Любаша не хотела бросать университет, а бабушка не хотела расстаться с внуком. Тем не менее семья у Орешникова получилась дружная, и все было хорошо.

Но все-таки, все-таки была у него ссадина на душе: все ему казалось, что он пасынок в армии, что ему не доверяют. Пленный! Белогвардеец! Золотопогонник! Военспец! Чужой! А какой черт чужой? Отец — старый интеллигент, ни своих магазинов, ни своих имений у них не заветалось. Нашли эксплуататора! Всю жизнь лямку тянул... А сам Орешников? Недоучка, скороспелый офицер... Швыряло его как щепку. Разве он по своей воле покинул Путьский институт? Забрали и отправили в школу прапорщиков! Разве он пробирался, переодетый, к Краснову или еще куда-нибудь, на Дон, на юг, в стан очередного незадачливого белого генерала? Ничего подобного, всех офицеров, под метелку, забирали тогда в ряды белых. Но даже если бы сам пошел? Ведь простили? Сколько же раз судить за одну и ту же вину? Разве не доказал он с тех пор всей своей деятельностью, что служит и будет служить новой России, не изменит, не продаст, не совершит ни одного бесчестного поступка? Так зачем же косые взгляды, недомолвки, уколы самолюбия на каждом шагу, постоянное

отгораживание: вот здесь вы, а с этой черты мы, просим не смешивать!

Иногда Орешников придирчиво проверял себя: но излишняя ли мнительность у него развилась? Не выдумывает ли он все эти уколы и недомолвки? Нет, не выдумывает! И необычайно болезненно воспринимает! Становится неестественным, постоянно настороженным. Становится обидчивым, самолюбивым, становится не самим собой, а вследствие этого еще более отчужденным. Постоянное ощущение, что ты чужой, что ты — кто тебя знает, может быть, примазывается, может быть, затаился? — все это изводило Орешникова.

2

Узнав, что Григорий Иванович Котовский формирует корпус и постоянно проживает в Умани, Орешников решил поехать к нему, чтобы поговорить обо всем начистоту, со всей прямоотой и откровенностью, отвести, что называется, душу.

Котовский встретил радушно, оставил у себя ночевать, потчевал обедом, даже показал сына, чего не каждый достаивался.

— Вот, брат, растет смена!

— Да ведь и у меня, Григорий Иванович, сын.

— Неужели! Поздравляю! Что же вы не известили хотя бы письмом? Леля! Слышишь, какая новость? У Николая Лаврентьевича сын! Сколько же ему? Леля! Ты слышишь? Уже скоро четыре года! Молодец! Имя какое выбрали? Леля! Ты слышишь? Вовка у них! Удивительное дело все-таки... Представляете, пройдет столько-то лет, нас уже не будет, Вовка будет уже не Вовка, а Владимир Николаевич, мой Гришутка будет уже не Гришутка, а Григорий Григорьевич... И будет у них своя какая-то жизнь, своя судьба, может быть даже не предусмотренная нами, своя собственная... Встретятся, скажут: «Кажется, наши отцы знали друг друга? Постоите-ка, давайте разберемся — значит, и мы с вами через отцов вроде как знакомы? Не правда ли?» И ничего плохого о нас не скажут, даже, может быть, похвалят: дескать, папы у нас были что надо! Удивительно все это получается!

— Немножко не так, — поправил Орешников. — Ваш-то, безусловно, скажет: «Славную жизнь прожил мой отец, с благодарностью вспоминают его люди!», а мой Вовка вздохнет и виновато признается: «А у меня отец, знаете ли, из белогвардейцев, чуждого класса. Но был помилован великодушной Советской властью».

Котовский пристально посмотрел на Николая Лаврентьевича, и мечтательная улыбка растаяла у него на лице. Ах вот оно что! Ущемлен человек, что-то у него не клеится!

— Что-нибудь случилось? Обидел кто? Давайте, давайте, выкладывайте без обиняков.

Орешников стал рассказывать. И как только стал рассказывать, самому вдруг представилось все таким мелочным, пустяковым. Даже неловко было ради чего же он специально приехал к Котовскому? На что жаловаться? Где факты? Ничего конкретного нет! И на хорошем счету, и орденом награжден...

Но Котовский понял, не нашел жалобу Орешникова мелочной, уловил даже то, что осталось невысказанным в сбивчивом и взволнованном его рассказе.

— Есть! Есть это у нас! — с огорчением говорил Котовский, морщась, как от боли. — Есть это комчанство и хвастание пролетарским происхождением! Отвратительная черта! Слава богу, от души поздравляю, очень за тебя рад, если ты родился в семье свинопаса, или молотобойца, или волжского грузчика. Это похвально, это ценно. Но расскажи еще, что ты делаешь для революции, как ты живешь? Не шкурничаешь ли? Не пьешь ли запоем? Не бьешь ли смертным боем жену? Да, рабочий класс в содружестве с крестьянством ведет нас к победам. Это факт. Но если человек и из чуждого класса встал на сторону революции, зачем же упрекать его происхождением?! Недавно я в Москве с Куйбышевым встретился — какой деятель, какой революционер! А происхождения непролетарского. Или Коллонтай — дочь генерала, а мы ее полпредом в Норвегию послали. Мало ли таких? А вот я другого знаю — командир, коммунист, и происхождения отличное, а копни глубже — дрянцо порядочное. Как

видите, здесь нужен сугубо индивидуальный подход.

— Это-то верно, — грустно согласился Орешников. — Я и другие примеры знаю. Болезненное самолюбие приковывает мое внимание к любому факту, если этот факт говорит в мою пользу.

— Николай Лаврентьевич! Меня-то вы не убеждайте! У меня начальник штаба корпуса — в прошлом царский полковник, а как работает! Что вы мне доказываете? Товарищ Фрунзе организовал в Харькове общество ревнителей военных знаний, и там есть бывшие царские офицеры...

— Обидно читать, когда нашего брата, военных специалистов, обзывают «холопами всякой власти» да говорят, что нас можно использовать только в роли денщиков!

— Где это вы вычитали?

— Отец подшивает комплекты газет. Он и показал мне «Петроградскую правду». Кажется, Лашевич и Зиновьев обрушиваются.

— Так это давнишнее дело! За какой год подшивка? За восемнадцатый? Вот это вы удосужились прочесть, а как Ленин высказался на этот счет в письме ЦК, где призыв на борьбу с Деникиным, — этого не знаете? А там прямое осуждение такого неверного тона по отношению к военспецам и заявление, что партия будет исправлять эти ошибки. Так вот, Николай Лаврентьевич, всем, кто хочет добросовестно у нас работать, широко открыты двери. И мне все-таки кажется, что вы немножко предвзято смотрите на отношение к вам. Конечно, со временем Красную Армию постараются обеспечить командирами из народа. Это ведь вполне законное стремление. Но многие царские офицеры служили и служат в Красной Армии. А уж вас-то, я не знаю, кто мог чем-нибудь попрекнуть?

— Как! А служба в белой армии?

— Я-то об этом лучше других знаю!

— Потому что взяли меня в плен?

— Нет, не поэтому. А потому, что белый офицер Орешников узнал переодетого подпольщика Котовского и не подумал даже выдать его! Даже глазом не моргнул, хотя ехал с ним в одном вагоне и беседовал всю дорогу на возвышенные темы!

— Ах, это? Но ведь у интеллигенции есть особый род предрассудка: стыдно доносить. Даже в школьные годы у нас никто так жестоко не преследовался, как ябеды и фискалы.

— Хорошо. А какой предрассудок заставил вас выручить меня, когда я отбивался от деникинского патруля в Одессе? Какие соображения подсказали вам предупредить меня на званом обеде у французского военного атташе? Нет, Николай Лаврентьевич, не преуменьшайте ваших достоинств. И не проявляйте излишней скромности. Что вы мне твердите про белую армию?! Выводы: сейчас мы познакомимся с кулинарным искусством Ольги Петровны, а затем, если не возражаете, махнем в Харьков, к Михаилу Васильевичу Фрунзе.

— Что вы! Это неудобно...

— Что именно неудобно? Позавтракать? Или поехать к Фрунзе? Так позвольте вам сказать, что и то и другое и удобно, и приятно, и необходимо.

3

И они отправились после завтрака на вокзал, предварительно изучив расписание поездов. Орешников отговаривался и по мере приближения к цели все более смущался.

— Ну что я ему скажу? Зачем явился?

— Я буду говорить.

Однако тотчас, как очутились они в уютной квартире Михаила Васильевича, смущение прошло, осталось лишь светлое чувство радости, ощущение семейного согласия, атмосферы деятельности и творческого горения.

У Котовского было достаточно такта, чтобы не поставить человека в неудобное положение, когда в его присутствии рассказывают о его же добродетели и благородных

поступках.

— Познакомьтесь! Мой старый друг, заядлый рыболов, знакомы еще по Кишиневу. Николай Лаврентьевич Орешников. Прошу любить и жаловать.

— Очень приятно познакомиться, — отозвался, улыбаясь, Фрунзе. Рыболов, говорите? Чудесное занятие! Если рыболов, значит, и природу любите, значит, знаете, что такое роса на траве, полосы тумана, сонная гладь реки... и этакая свежесть пронизывает... Я люблю предрассветные часы в лесу — я, к вашему сведению, заядлый охотник.

— Мы приехали разрешить спорный вопрос... — продолжал Котовский.

Орешников покраснел, полагая, что вот сейчас и начнется повествование о том, как благородно поступил Орешников, как выручил из беды подпольщика Котовского-Королевского.

— Сделаю все, что в моих силах! — отозвался Фрунзе, пока еще ничего не понимая, но заметив, как вспыхнул Орешников и как готов был протестовать.

Котовский продолжал с самым серьезным видом:

— Вот уже несколько лет мы с ним спорим и не можем прийти ни к какому решению. Скажите, Михаил Васильевич, когда рыба лучше клюет — перед дождем или после дождя?

От неожиданности расхохотались и Фрунзе, и Орешников, а вошедшая в этот момент Софья Алексеевна с благодарностью посмотрела на Котовского и с удовольствием на мужа.

Сразу исчезла напряженность, всем стало просто и приятно. Орешников разговорился и рассказал о рыбной ловле множество наблюдений и примет. И так же беззаботно рассказал Котовский о своих встречах с Орешниковым, пересыпая рассказ смешными словечками, острыми характеристиками.

Фрунзе все понял, это видно было по его умным глазам, в которых искрилось веселое лукавство.

— Ну что ж, товарищи рыбаки, мы все это обсудим. А мне тоже кое о чем надо посоветоваться...

И завязался оживленный обмен мнениями. Фрунзе рассказывал о перестройке Красной Армии, Котовский — о жизни 2-го корпуса, Орешников — о новом призыве в ряды армии, об удачах и неполадках, о перевооружении, о военной технике.

Когда Орешникову было представлено младшее поколение семьи — Танечка, смотревшая на незнакомого человека исподлобья, и беззаботно-оживленный Тимур, — Котовский немедленно сообщил, что у Орешникова тоже сын четырехлетний Вова.

— А где он? — заинтересованно спросил Тимур, на что Танюша по-взрослому, с той снисходительностью, с какой девочки разговаривают с младшими братьями и сестрами в присутствии старших, пояснила, что дядя здесь не живет, приехал из другого города — ту-ту-ту! — и поэтому Вова не может прийти к ним в гости.

— Пусть он приедет на поезде! — безапелляционно решил Тимур.

Всем понравилась железная логика его рассуждений.

— У них на все своя точка зрения! — воскликнул оживившийся Орешников. И не утерпел, чтобы не рассказать о своем Вовке: — Недавно моя жена (она студентка) растолковывала за обеденным столом всем домашним, какое будет устройство в коммунистическом обществе. Бабушка наша недоверчиво поджимала губы, отец издавал неопределенное «гым-гум» (такая у него привычка), а Вовка слушал крайне внимательно, видимо ухватывая самую суть. И вдруг он спросил: «И все будут давать бесплатно?» — «Да, Вова, — с гордостью ответила Люба (это моя жена), — и ты это время увидишь». — «И хлеб бесплатно? И ездить в трамвае бесплатно?» Мы смотрели на Вову с любопытством и с некоторым самодовольством подтвердили: «Ну конечно, Вова! И в театр бесплатно, и квартира бесплатно, и одежда бесплатно». Наш Вова был в полном восторге. С минуту он мысленно прикидывал и вдруг выпалил при общем молчании; «Вот здорово! А деньги копить будем!»

— Черт возьми! — хохотал Фрунзе. — Вот это сказанул! А вы говорите!

— Что-что? — вернулась из кухни Софья Алексеевна. — Я немножко недослышала...

Как он сказал? Что копить?

Орешникова заставили повторить все сначала, и снова все от души смеялись.

Тимур, заметив, каким успехом пользуются рассказы Орешникова, проникся к нему доверием.

— Дядя, а ты умеешь сказки рассказывать?

Но детей отправили спать, и разговор снова принял другое направление. Котовский, высказываясь от своего лица, а отнюдь не ссылаясь на Орешникова, изобразил Михаилу Васильевичу двусмысленное положение военспецов, находящихся в рядах Красной Армии.

— Почему, собственно, они должны быть пасынками? — с обычной горячностью и напористостью говорил Котовский. — Право умирать рядом с нами в бою мы им предоставили, тем самым они стали с нами вровень, нельзя их пускать вторым сортом, нельзя допускать уколов их самолюбия!

— Конечно, — согласился Фрунзе. — Тем более, что число их не такое маленькое. В печати приводились данные. С июня тысяча девятьсот восемнадцатого года по август тысяча девятьсот двадцатого в Красную Армию влилось что-то, дай бог памяти, около пятидесяти тысяч офицеров, больше двухсот тысяч подпрапорщиков, фельдфебелей и унтеров, да еще немало военных чиновников, врачей, лекомов. Старые кадровые офицеры, офицеры царской армии, в наших рядах, бок о бок с нами боролись за утверждение диктатуры пролетариата. Сейчас нам нужно стремиться, чтобы военные специалисты, как таковые, как обломок какого-то отмершего государственного строя, прекратили свое существование, чтобы их не было у нас, а были только военные работники, одни — партийные, другие — беспартийные, но все являлись бы военными работниками Рабоче-Крестьянской Красной Армии, верными интересам пролетарской государственности. Я об этом говорил и говорю, да так оно и будет в ближайшем будущем.

Фрунзе нет-нет и вспомнит рассказ Орешникова о Вовке:

— Так, говорит, деньги копить будем? Замечательно!

При этом он так заразительно заливался смехом, что заставлял смеяться и других.

— Ваша жена студентка? Небось и вам приходится подтягиваться и знакомиться с марксизмом? Ведь рискованно попасть впросак, как попал Вова?

— Конечно, наверстываю упущенное. Иначе нельзя.

— Особенно в наше время!

— У нас в корпусе, — добавил Котовский, — вовсю идут занятия по ликвидации неграмотности.

— Как же иначе? Каждый красноармеец должен быть вполне грамотным. А скоро мы будем требовать, чтобы он был образованным, всесторонне развитым, политически подкованным, а по части военного дела — опытным человеком, с максимальной военной квалификацией.

Софья Алексеевна, то накрывая на стол, то возясь в кухне, все время в хлопотах, поминутно входила и выходила, но не теряла нити разговора.

— Ну, товарищи, вы теперь пропали! — объявила она, услышав последние слова мужа. — Теперь вам придется выслушать доклад о единой доктрине, о реорганизации армии, это у нас целые дни до глубокой ночи, а затем Михаил Васильевич закрывается в кабинете, и это уже до утра... О единоначалии не говорили? Подождите, будет и о единоначалии!

Михаил Васильевич разводил руками и виновато улыбался:

— А как же иначе, Сонечка? Ведь животрепещущее!

И пояснил Орешникову и Котовскому:

— Она по-своему права, все заботится, чтобы я не утомлялся. А не получается. Нельзя, не можем мы с прохладцей действовать, не такое время!

— Я сейчас особенно остро чувствую, что остался недоучкой, признался Орешников.

— Все мы учимся, наверстываем упущенное. Взять Григория Ивановича. С корпусом работы невпроворот, хватает дел и по общественной линии. Ведь Григорий Иванович, учтите, государственный деятель, без него не проходит ни одной конференции на Украине, ни одного

совещания. А он — заочник Военной академии. Тоже не шуточки. Кстати, как идет учеба, Григорий Иванович?

— Идет! — вздохнул Котовский. — Если бы не моя закалка, не гимнастика по утрам, ни за что бы не выдержал. Сейчас начал прорабатывать «Капитал». А без этого как? Легче без весел по океану плавать.

Орешников слушал их и все наматывал на ус.

Фрунзе лукаво посмотрел на жену:

— Софья Алексеевна не ошиблась, о единоначалии я не могу не заговорить. Казалось бы, дело очевидное, а сколько споров, сколько шумихи вокруг этого вопроса, и все под маркой блюстителей революционности!

— Троцкий, конечно? — спросил Котовский отрывисто и хмурясь.

— Да, и он. Все норвят Ленина подправить и свои куцые идейки протащить! Приглядишься — и что же видишь? Оказывается, с кем эта публика солидаризируется — с реакционерами, выступавшими на страницах покойного журнала «Военное дело»! Ведь и они, как Троцкий, утверждали, что мы плохо воевали, то есть не по тем правилам, которые преподавали в Академии генерального штаба при царе.

— Плохо воевали, а морду всем набили, и баронам и адмиралам, проворчал Котовский.

— Дореволюционным военным кругам, — напомнил Орешников, — было присуще поклонение иностранным образчикам, особенно немецким. Только лучшая часть русского офицерства училась военному делу у Суворова и Кутузова, у Румянцева и Петра Первого.

Орешников затронул вопрос, волновавший Михаила Васильевича.

— Я изучал постановку военного дела за рубежом. Основа германской военной доктрины — ярко выраженный наступательный дух. Это хищническое государство готовит армию для захвата, для грызни с конкурентами. В упоении германская военщина утрачивает чувство реальности. Клаузевиц полагал, что военный успех зависит исключительно от разума полководца. Но ведь есть еще экономика, техника — тоже немаловажные факторы! А народ?! Недооценка противника, преувеличение роли внезапности, излишний апломб вот порочная сердцевина германской доктрины. А для Франции характерны неуверенность в своих силах, неспособность смело искать решения боя. Надо отметить переобременение французской армии новой формации элементами техники. Батальонам придаются танковые взводы, ротам — огромное количество пулеметов... И это не случайно: капиталисты больше надеются на мертвую технику, чем на живых людей, — кто их знает, этих людей, каковы их чаяния и надежды! По тем же соображениям французскую армию намечают в значительной мере укомплектовать африканцами. Только призадумались бы господа капиталисты: а вдруг и чернокожие начнут кое в чем разбираться? Очень своеобразно решает военный вопрос Англия. У нее установка — иметь флот, равный соединенным флотам двух сильнейших морских держав. С появлением на мировой арене такого соперника, как Соединенные Штаты, Англии придется придумывать что-нибудь новое.

— Если будет перечислена еще одна держава, — вмешалась в разговор Софья Алексеевна, — то твои гости умрут с голоду, а ты будешь за это отвечать.

— В самом деле, товарищи, — спохватился Фрунзе, — чего это мы стоим? Идемте к столу!

И тут же стал оправдываться и доказывать свою правоту:

— Но это же естественно, Соня! Если повстречаются, скажем, любители природы... Разве им наскучит говорить о грибах, о том, будет ли дождливым лето... Музыканты, собравшись вместе, поведут свои разговоры... А мы о своем. У кого чего болит, тот о том и говорит. Вопросы боеготовности волнуют каждого, не только военных. Пока есть хоть одно жерло пушки, наведенное на нас, мы обязаны заботиться, чтобы все было наготове. И помоему, нет почетнее воинского звания! Ведь если некому охранять наш дом, наш мирный труд, наши богатства, тогда бессмысленно и огород городить!

— О единоначалии, Софья Алексеевна, мы действительно поговорили, рассмеялся Котовский.

— Мало! Не надейтесь, что это все! Михаил Васильевич на эти темы может говорить часами. Продолжение, вероятно, еще следует!

Предсказание Софьи Алексеевны сбылось: Михаил Васильевич вернулся к этому разговору. Он рассказал о том, что еще в 1920 году Ленин решительно высказывался за переход армии к единоначалию, как единственно правильной постановке работы. Коснулся Михаил Васильевич и споров с оппозиционерами. Наконец сообщил, что единоначалие в Красной Армии — вопрос решенный.

— Ведение боя, — говорил он с убеждением человека, выносившего свои идеи, — есть в конце концов творческий акт, который только тогда наиболее продуктивен, когда командиру, получившему приказ вышестоящего начальника, обеспечено единство командования, полнота власти над подчиненными.

— А если командир беспартийный? Как же быть с политическим руководством? — настойчиво спрашивал Орешников, имея в виду, конечно, себя.

Фрунзе ответил не сразу. Видимо, взвешивал, насколько серьезно отнесется Орешников к такому пояснению.

— Партия играла и будет играть руководящую роль во всей нашей военной политике, — медленно начал он. — Кто как не Коммунистическая партия является организатором наших побед? Кто вносил элементы порядка и дисциплины в ряды красных полков? Кто поддерживал мужество и бодрость бойцов? Кто налаживал тыл армии, создавая там советский порядок? Кто разлагал ряды врага? Это делали политические органы партии, и делали блестяще. Политическая работа в армии и впредь сохранит свое первостепенное значение. В этом и сила и отличительная особенность нашей армии.

Фрунзе внимательно посмотрел на Орешникова.

— Вы спрашиваете о беспартийных командирах? Но ведь советских? Но ведь наших? Но ведь пополняющих знания и, значит, изучающих марксизм?

— Да! — искренне рассмеялся Орешников. — Вы очень хорошо ответили на мой вопрос! А вот о военной доктрине почти ни слова, хотя Софья Алексеевна предупреждала, что без этого не обойдется.

— Представьте, Николай Лаврентьевич, выступаешь иной раз на совещании, присутствует исключительно командный и комиссарский состав, а приходится защищать, казалось бы, бесспорное положение: что для командного состава необходимо единство взглядов. А ведь это и есть единая военная доктрина.

— Понятно!

— Некоторым слово «доктрина» не нравится. Но дело-то не в названии? Как вы думаете?

— Как же назовешь иначе? Я под единой военной доктриной подразумеваю определенный выработанный взгляд на весь комплекс порядков, методов, задач армии, принятый в том или ином государстве.

Сказал это Орешников и смутился.

— Как? Как вы сказали? — оживился Фрунзе. — Чутьочку скомкали, но в основном, кажется, верно. У Германии свои установки, у Франции свои. А наша единая военная доктрина тем более должна существенно отличаться от других, ведь и Советская держава — государственное образование совершенно нового типа!

Фрунзе рассказал, какие споры поднимались по этому поводу, как некоторые люди договаривались до того, что никаких доктрин нам не надо и что вообще военной науки не существует...

— Да уж, не существует! — проворчал Котовский. — Я вот корплю иногда целыми ночами, хотя всего лишь заочник... Легче легкого безответственные фразы запускать!

Беседа перекинулась на другие темы. И вдруг, без всякой видимой связи, Фрунзе обернулся к Орешникову и спросил:

— Вы бы не возражали, Николай Лаврентьевич, против перевода вас в Петроград? Тем более что и семья у вас там...

Орешников даже вспыхнул от столь неожиданного и лестного предложения, особенно когда Фрунзе назвал при этом довольно высокий пост.

— Но ведь я беспартийный...

— Об этом мы, по-моему, уже толковали. У нас сейчас очень высокий процент партийных среди командного состава. Но о многих беспартийных, которые работают с нами, смело можно сказать: хорошо было бы иметь побольше таких партийцев, как эти беспартийные!

И в эту минуту Орешников понял, что — помимо общих рассуждений о военной доктрине, о кадрах — между Котовским и Фрунзе шел еще другой разговор. Котовский «между строк» рассказал о всех переживаниях Орешникова и дал свою рекомендацию, а Фрунзе тотчас прикинул, где и как можно использовать толкового и приемлемого идеологически офицера. Орешников был восхищен и этим тактом и этой оперативностью.

4

Под большим впечатлением от всего виденного и слышанного покидал Орешников гостеприимный дом Фрунзе. Все ему понравилось: и бойкие ребятишки, и душевная Софья Алексеевна. Но особенно — Фрунзе.

Когда они с Котовским вышли на улицу, уже стемнело. Харьков переливался бесчисленными точками освещенных окон и уличных фонарей. Каменные фасады, асфальт, даже перила мостов все еще не остыли после знойного дня и дышали теплом. А от густой листвы деревьев и от реки наплывала благоуханная прохлада.

Котовский шумно набрал полную грудь этого вкусного воздуха. Делая выдох, воскликнул:

— Экая благодать!

Он, конечно, сразу заметил, какое впечатление произвела на Орешникова встреча с Фрунзе.

— Все понял с одного намека! — удовлетворенно подытожил он. Редчайший человек, такие делают эпоху. Увидите, он перевернет все сверху донизу и создаст вполне современную армию. Если он за что берется, можно считать, что дело сделано. А вас я поздравляю. Поезжайте в свой полк, укладывайте чемодан, сидите на нем и ждите приказа о переводе.

— Даже не это главное, — ответил глубоко взволнованный Орешников. Главное, он видит в человеке человека. А ведь обычно начальство имеет в виду подчиненных, а не людей. Если бы меня даже никуда не перевели и вообще мною больше не занимались, я все-таки счастлив, что познакомился с редкостным человеком.

— Может быть, вы скажете, что я Козьма Прутков и говорю о том, что Волга впадает в Каспийское море, но я не перестаю удивляться: до чего легко и до чего выгодно быть хорошим! Гораздо приятнее и выгоднее, чем плохим!

Орешников мягко улыбнулся и не сразу ответил:

— Да, но не у всех это получается.

Девятая глава

1

Маркову было странно, что никто не догадывается об удивительном происшествии, о великом событии, которое совершилось в природе. Такие же будничные лица у прохожих, так же обыкновенно, спокойно жужжат трамваи, так же судачат на скамейках в сквере няни, предоставив самим себе нарядных ребятишек. А у него, у Маркова, напечатана книжка, первая книжка!

Марков вышел из издательства «Прибой». Во всем его существе было смятение, в

сознании полный кавардак. Марков остановился, зажмурился от солнца, бывшего прямо в глаза. Под мышкой у него была довольно солидная кипа: издательство выдавало автору бесплатно двадцать пять экземпляров книги — авторские экземпляры.

Марков оглянулся направо, налево.

«Как же это они не знают, что у меня издана книжка?! Не в журнале, не в сборнике среди других мой рассказ, а целая книга моих рассказов, моя собственная книга! Вот она, даже типографской краской и керосином пахнет. „Крутые повороты“. Рассказы. 237 страниц. Моя!»

В трамвае Маркову казалось, что пассажиры на него с любопытством поглядывают, а кондукторша с особым почтением дала ему сдачу и оторвала билет. Догадываются все-таки! Марков силился соорудить скромное, заурядное лицо — дескать, мне что, мне не привыкать-стать выпускать книги! Но физиономия сама собой расплывалась в счастливую улыбку. Трамвай громыхал. Так они и ехали через весь солнечный город: начинающий писатель Марков и будущие его читатели.

Едва ли не самым чутким, отзывчивым и благодарным читателем была Оксана. Сначала она долго переворачивала во все стороны книжку, посмотрела и на корешок, и на титульный лист, хороша ли бумага, хороша ли обложка, прочитала, в какой типографии напечатано.

— Так! — сказала она удовлетворенно. — Теперь, значит, читаем!

— Да ты все читала, все как есть!

— Мало ли что. Читала просто так, а это в книжке напечатано. Ой, матенько! Михаил Марков! Неужели это ты?

2

Крутоярову была вручена книга с трогательной надписью автора. Надежда Антоновна получила книгу отдельно.

Крутояров понимающе усмехнулся, глядя на растерянное от гордости и счастья лицо Маркова.

— Первая книга! — вздохнул он чуточку с завистью. — Это, брат, как первая любовь.

Ушел к себе читать книгу, а потом долго расхаживал по квартире, то останавливаясь перед этажеркой и машинально поправляя на ней салфеточку, то сосредоточенно разглядывая что-то в окно.

В этот вечер Оксану и Мишу пригласили поужинать вместе. Пока Надежда Антоновна гремела тарелками, Крутояров тихо, задумчиво рассказывал о работе, о себе, о том интимном, о чем никогда не говорится, разве только вот так, нечаянно, под настроение.

— Я не знаю более глубокого наслаждения, чем работа за письменным столом, чем часы творчества. Я страшно люблю свою работу, без нее не знал бы, как и жить. Уже много лет изо дня в день, без праздников, без выходных, никогда не давая себе спуска, тружусь и тружусь с напряжением всех сил, а уж если говорить точнее, работаю всегда, даже гуляя по улицам, даже беседа с друзьями, даже во сне...

Все слушали Крутоярова с острым вниманием. Оксана была вся переполнена безудержной гордостью, что в конце концов и она тоже не лыком шита, тоже жена настоящего писателя. Оксана даже и сидела как-то неестественно выпрямься, в неудобной позе. И лицо у нее было надменное, что ей вовсе не шло. Она только выжидала удобный момент, чтобы со своей стороны вернуть словечко — насчет того, что вот и Миша тоже... Впрочем, не Миша — зачем Миша?! — вот и Михаил Петрович тоже... и так далее... что-нибудь о том, как Марков сидит ночи напролет, а утром розовый, свежий, как будто хорошо выспался... или о том, как собирал-собирал материалы об Евгении Стрижове, а Стрижов вдруг испортился...

Крутояров продолжал свой задушевный рассказ:

— Литературный труд — это подвиг, это труд, помноженный на умение сосредоточиться, подобно тому, как полководец на определенном участке сосредоточивает

основные силы и прорывает фронт. Ну, и плюс еще умение воплощаться в различнейших людей, проникать в помыслы и стремления старика, ребенка, женщины, отставного генерала, бюрократа-чиновника, труса и рубаки, шпиона и сенатора... Я знал одного гипнотизера... некий Михаил Михайлович Лединский... он жаловался, что ему страшно среди людей: они перед ним как стеклянные, он видит все их побуждения, читает все их мысли... Нечто похожее испытывает писатель. Даже очень похожее! Странно, что это не приходило мне в голову раньше... Я понял это сейчас, в этот момент...

Так как Крутойяров замолк, призадумавшись, Оксана нашла уместным вернуть:

— Вот и Михаил Петрович тоже...

Марков так взглянул на нее, что она прикусила язык, даже не окончив фразы.

— Надо будет это когда-нибудь написать, — продолжал Крутойяров, кажется не заметив маленькой супружеской сцены. — Это ведь необычно, своеобразно. Только как передать? Трудно выразить словами... Композитор, пожалуй, мог бы изобразить...

Он вынул записную книжку, с которой никогда не расставался, и что-то записал в ней. Потом заговорил опять:

— Шесть часов утра, а я еще не ложился. Склоняюсь над белыми листами бумаги. Быстро ходит перо. Затем откидываюсь на спинку кресла и думаю, думаю, весь наполненный неистойвой любовью, или щемящей жалостью, или ненавистью, которая душит меня, или терпким презрением... И по мере того как я вглядываюсь в них, моих героев, завеса приподымается предо мной, и я вдруг догадываюсь о некоей сущности, о силах, которые двигают этими людьми, о непреложности их поступков... Не подумайте, что могу распоряжаться их судьбами по своему произволу: хочу — замуж выдам, хочу повешу. В романе никто даже улыбнуться не может, если ему не положено. В романе, брат, строго! Но давайте-ка ужинать, а то я тут растекаюсь мыслию по древу и гоняю вас по лаборатории творчества, а у Надежды Антоновны непременно что-нибудь пригорит, и я виноват буду.

— Ты шуточками не отделявайся, — остановила Надежда Антоновна, начал, так рассказывай. — И обернулась к Маркову и Оксане: — Вам не скучно?

— Что вы! Что вы!

Крутойяров растрогался, воодушевился и стал с еще большим чувством рассказывать о ночных часах работы. А Марков раздумался о Надежде Антоновне. Почему он раньше не приглядывался к ней? Она ухитряется всегда остаться в тени. Например, почему она ни разу не предложила почитать ее книги стихов? Да и Марков не попросил у нее книгу... Удивительные существа эти женщины! Они могут жертвовать своим тщеславием ради тщеславия любимого. Они довольствуются тем, что самый дорогой для них на свете человек блистает талантами, умом, благородством — ведь мужчины так падки на почет и одобрение!

Занятый своими наблюдениями и открытиями, Марков упустил нить повествования Крутойярова. Кажется, он рассказывал все о том же — о ночных встречах с героями своего произведения.

— Тишина, — говорил он, — она изумительна в таком громадном городе. Еще я заметил: если тишина звенит, это сигналы мозга — усталость. Тогда надо подняться, пройтись из угла в угол, сделать несколько энергичных движений, а еще лучше — распахнуть настежь окно. Все это занимает несколько минут, а мысль все работает, связывает какие-то нити, находит образы, слова... Можно приниматься за перо! Зеленый абажур, как светофор, приглашает: «Путь открыт! Двигайся дальше!» Я дружу со своим рабочим столом. Мерно отсчитывают минуты настольные часы в чугунной рамке. Они, как метроном музыканту, не дают сбиться с такта. Веточка мимозы в вазе это Надя принесла с Невского. Рядом с мимозой бокал, наполненный множеством пестрых карандашей, среди них и цветные — зеленые, красные, коричневые, они удобны для пометок, для обозначения глав, для вставок или для правки рукописи, когда уже негде вписать хотя бы одно слово, а необходимо выделить какую-нибудь мысль. Непременно купите цветные карандаши, Миша! Или, еще лучше, у меня есть запасные, я вам подарю!

Крутойяров тут же помчался в кабинет, принес коробку цветных карандашей, а затем все

уселись ужинать. И только тут у Миши мелькнула догадка, что Крутойяров нарочно рассказывал о творческой работе, о карандашах и абажуре, чтобы избежать банальных восклицаний по поводу выхода Мишиной книги: «В добрый час!», «Лиха беда начало!», «От души поздравляем!» и все в этом же роде. За ужином больше говорили о том, что у Надежды Антоновны плохой аппетит, что севрюгу купили в Елисейском очень удачную, что, пожалуйста, передайте мне соль и что надо улыбаться, когда передаешь соль, иначе может произойти ссора...

Надежда Антоновна нашла все же неудобным ничего не сказать о выходе книги, об ее авторе.

— Приятная книга, — просто и доброжелательно промолвила она. — Вам нравится писать короткие рассказы? А нет желания попробовать силы над чем-нибудь монументальным?

— Роман! Роман! Обязательно надо писать роман! Сейчас время больших полотен! — воскликнул Крутойяров.

Маркову нравилось, что его не похлопывают по плечу, не корчат из себя наставников, покровителей, а разговаривают как с равным. Вообще Маркову сегодня нравилось все: и Крутойяровы, и гордая за своего Мишу Оксана, и севрюга горячего копчения, и крепкий, «покрутойяровски» чай.

Когда уже прощались и желали друг другу спокойной ночи, Крутойяров объявил:

— Вы так просто, молодой человек, не отделаетесь! Что это? Человек выпустил книгу, а все ограничится холодной севрюгой и чаепитием? Нет, нет, мы отправимся всей честной компанией в самый шикарный ресторан и будем пить шампанское! Возражений нет? Принято единогласно!

3

— Орешникова знаете? — спросил Крутойяров Мишу на другой день.

— Орешникова? Нет, не встречал.

— Как же так? Он говорит, вы в плен его брали.

— Я?!

— Не вы лично, но котовцы.

— А! Тогда другое дело! Может быть. Мы многих брали в плен... из тех, кто оставался в живых.

— Встретил его сегодня. Да разве вы его не знаете? Такой симпатичный, с усиками.

— С усиками? — силился припомнить Марков, но ничего не припоминал.

— «Как! — говорит. — Из бригады Котовского? И книгу выпустил?!» Одним словом, пришлось его пригласить. Так что вы того... надпишите ему книжечку и преподнесите. Зовут его Николай Лаврентьевич.

— А куда вы его пригласили? — все еще не понимал Миша.

— Как куда! Вот это вопрос! Пригласил в ресторан «Кахетия». На дружескую встречу по случаю выхода вашей книги. Чего вы таращите на меня глаза? Имейте в виду, что все дальнейшие книги, какие вы издадите, будут просто книги, а эта, одна эта — первая! Григорию Ивановичу, надеюсь, послали?

— Нет. Хочу сам отвезти.

— Одобряю. Непременно отвезите. Если не возражаете, и я с вами увяжусь.

— Вы? Неужели?! Вот было бы расчудесно! Только вряд ли вы соберетесь...

— Соберусь, вот увидите — соберусь. Вы меня не знаете, Михаил Петрович, я прирожденный бродяга, страшный непоседа и легок на подъем. Я вот скоро вообще из Питера уеду, подамся в Москву.

— Как?! — испугался Марков. — Совсем?

— Совсем. А вам эту квартиру оставлю. Чем плохо? И вид на Неву, и вообще. Но это пока лишь в проекте. Так не забудьте о сегодняшнем. Думаю, все гуртом и отправимся.

Орешников спрашивает, когда, я отвечаю, что часов в девять вечера. «Двадцать один ноль-ноль, — повторил он на свой лад. Буду точно». Стало быть, и нам нельзя опаздывать.

«Кахетия» находится на Невском, рядом с Казанским собором. Вход ярко освещен, три ступеньки вниз — и вы оказываетесь в своеобразном помещении: сводчатые потолки, стены расписаны масляной краской, ковры, картины, люстры, задрапированный яркой материей помост для оркестра и сольных выступлений, на помосте рояль.

Оказывается, под руководством Надежды Антоновны Оксана сшила специально к сегодняшнему вечеру платье — голубое, шелковое. Оксана как облачилась в него, так даже походка у нее стала другая и вся она стала непохожей на обычную Оксану. Марков смотрел восхищенно, растерянно. Грызла совесть: как это он первый не догадался, что Оксане следует сшить новое платье, ведь додумалась же сделать Надежда Антоновна?!

— Когда вы успели? В один день?

— Что вы! — рассмеялась Надежда Антоновна. — Книга еще только пошла в набор, а у нас уже было совещание, как отпразднуем ее выход.

Не успели они войти в общий зал, как навстречу им двинулись два щеголеватых краскома. Тут произошла некоторая толчея, все познакомились, здоровались. Марков убедился, что еще раз не проявил достаточной распорядительности: оказывается, Крутояров заранее заказал столики — вот как это делается! Два столика сдвинуты рядом, официанты только и ждали их появления, тотчас принесли меню в красивых, специально отпечатанных книжечках, и Крутояров таинственно стал совещаться с официантом, а тот понимающе кивал головой:

— Так-так-так. Понятно. Не беспокойтесь! Сегодня у нас цыплята чудесные. Так-так-так.

— Почему же не пришла ваша супруга? — спросила между тем Надежда Антоновна.

— Любаша у меня дикарка, никак не мог уговорить ее пойти. Зато вот брата притащил. Он у Блюхера, на Дальнем Востоке, приехал всего на несколько дней, а мы не виделись... Володя! С каких это пор? Пожалуй, с тех пор, как ты уехал из госпиталя, куда тебя устроила некая покровительница...

— Не понимаю, кому нужны подробности о моем поступлении в госпиталь, — пробормотал Орешников-старший.

Братья не походили друг на друга. Старший был выше ростом, черноволос и как бы картинно-красив, а младший был белокурый, голубоглазый и казался более душевным.

— Ты прав, подробности не нужны. Последняя весточка от тебя была из Челябинска. Но какой же ты молодчага, что жив и даже мало изменился! Впрочем, еще успеем наговориться. Сейчас мы с тобой, я уже тебе объяснял, в писательской среде. С Иваном Сергеевичем Крутояровым я познакомился, когда он приезжал к нам в часть на литературный вечер. А потом вот в Петрограде встретились. А это Марков — виновник сегодняшнего торжества. Михаил Петрович прошел весь путь со знаменитым Котовским. А сейчас писатель. Пишет. Вот и мне книгу преподнес. Надежда Антоновна тоже выступала на литературном вечере. Со стихами. Уж так мне понравились ваши стихи, Надежда Антоновна! А раньше, каюсь, не встречал, невежда. Есть у нас такой грешок: дальше носа ничего не видим. Инженер уткнулся только в технику, наш брат военный ушел с головой в военную учебу... Фрунзе не такой! О чем ни заговори — всем интересуется, за литературной жизнью следит, технику любит.

— Вы знакомы с Фрунзе? — подала голос Надежда Васильевна.

— Как же! Мне вообще в жизни везет: с Котовским встречался, с Фрунзе, теперь с писателями свел знакомство. По сути дела, следовало бы мне вести записи... До того богатые впечатления! Впрочем, у кого сейчас впечатления не богатые? Вот и мой братишка. Чего, поди, не повидал! А если бы знали, какой ветренный и пустой был мальчишка! Только и делал, что за юбками гонялся!

— Опять, Николай? Смотри — встану и уйду. Неудобно же.

— А чего тут неудобного? — поспешила примирить братьев Надежда Антоновна. —

Быль молодцу не укор!

— И вправду, ну что тут такого? — оправдывался Орешников-старший. Было такое дело. А сейчас начал бы рассказывать о Василии Константиновиче Блюхере — всю ночь бы слушали и слушать не устали! Разное время — разные песни, если говорить пословицами, как уважаемая Надежда Антоновна.

Крутойров как раз кончил совещаться с официантами, и на стол начали ставить приборы, рюмки, бокалы, хлеб. Услышав, что разговор идет о Блюхере, Иван Сергеевич тотчас и сам вставил словцо:

— Вы знаете, в белой печати распространяли слухи, что Блюхер немецкий генерал, нанятый за бешеные деньги Совнаркомом. Как будто немецкий генерал способен побеждать, как побеждал наш народный герой!

— Василий Константинович — рабочий Мытищинского завода, русский человек на все сто, — дал справку Орешников-старший.

— А если бы даже и немец? На сторону Октября встают честные люди всех национальностей.

— В девятнадцатом году Блюхер с пятьдесят первой стрелковой дивизией прошел всю Сибирь, очищая ее от Колчака.

— А в двадцать первом сражался с атаманом Калмыковым и генералом Молчановым, — вставил Марков, уже подумывая, не стоит ли ему написать Сибирскую эпопею.

— Волочаевка даже в песнях воспета!

— Занятно, что белогвардейский полковник Аргунов, обращенный нами в бегство, вынужден был заявить, что всем красным героям Волочаевки он дал бы по Георгиевскому кресту.

— Вот это объективность!

— Чем объяснить, что наша эпоха породила столько героев, столько удивительных людей?

4

Крутойров только что собирался дать обстоятельный ответ на этот вопрос, но принесли цыплят, а Николай Лаврентьевич стал наполнять рюмки.

Оксана давно уже смотрела с нескрываемой враждебностью на нарядные бутылки. Особенно ей не нравилась большая, с серебряной головкой, завернутая в салфетку и поданная в специальной серебряной посудине. Оксана в жизни не сделала глотка спиртного. В деревне у них, правда, пили горилку, но больше дядьки. Оксана считала мужчин слабыми, неустойчивыми существами, падкими на соблазны. То примутся курить поганый табачище и уверяют, что никак не могут бросить, то начнут пить запоем. Однако Оксана уважала Ивана Сергеевича и очень доверяла Надежде Антоновне. Если они ничего, то и она — ничего. Кроме того, нельзя же портить компанию!

Все взяли рюмки в руки, взяла и Надежда Антоновна, взял и Миша. После короткого колебания взяла и Оксана. Была не была!

Крутойров произнес несколько теплых слов, все заулыбались Маркову, Марков сконфузился и немножко пролил из рюмки, чему Оксана порадовалась: все меньше в рюмке останется, значит, меньше выпьет, меньше опьянеет.

Мужчины выпили сразу до дна. Надежда Антоновна только отхлебнула. Оксана покосилась на нее, вытянула губы трубочкой и тоже потянула в себя красную прозрачную жидкость. Ничего! Даже вкусно! Оглянулась — а у Миши рюмка уже пустая.

На вырчку Оксане пришла опять-таки Надежда Антоновна.

— Ничего, — шепнула она, — вино хорошее и некрепкое. Много мы пить не будем. Ничего!

В дальнейшем Надежда Антоновна разрешила их рюмки дополнить, но больше не

наливать.

— Как? — удивился Орешников-старший. — Совсем не пьете?

— Совсем.

— Фантастика!

Вскоре разговором завладел Крутойров. Развивая мысль о том, что наша эпоха знает много выдающихся людей, он доказывал, что, спору нет, революция разбудила дремлющие силы, но он такого мнения, что на Руси и всегда было немало талантов, только многие гибли в условиях царского гнета, а даже и тех, кто выбивался, мы зачастую пренебрежительно предавали забвению.

— Однако Льва Толстого и Достоевского чтит весь мир? И где не звучит волнующая музыка Чайковского? — возразил Орешников-старший, у которого брат неоднократно отодвигал уже рюмку.

— Еще бы! А вот кто из вас ответит: кем создан памятник Пушкину, что в Москве на Тверском бульваре? Чье творение памятник тысячелетию России в Новгороде? Что создал русский скульптор Орловский? Как фамилия первого русского авиатора? Жив ли русский изобретатель радио и как его зовут?

Крутойров еще долго перечислял загадки своеобразной викторины. Надежде Антоновне он не позволил отвечать:

— Нет, ты погоди, дай молодежи высказаться.

Николай Лаврентьевич назвал фамилию изобретателя радио Попова, но имени-отчества его не помнил, жив ли он или умер — тоже не знал. Владимир Лаврентьевич сообщил, что Орловский изваял ангела на колонне на Дворцовой площади. Ни скульптора Опекушина, ни живописца и соорудителя скульптурных монументов Микешина они не знали.

В отместку Николай Лаврентьевич в свою очередь задал вопрос, припомнив свое пребывание в Путейском институте:

— А кто был Мельников? Кербедз? Тимонов?

— Кербедза-то знаю... — неуверенно пробормотал Крутойров.

— А что вы расскажете о Вострецове? — поднял одну бровь и уставился на Крутойрова Орешников-старший.

— Братья Орешниковы перешли в наступление! — вскричал Марков несколько громче, чем следовало бы, очевидно под влиянием выпитого.

— Вострецов? Гм... Это я что-то читал!

— Степан Сергеевич Вострецов, — нравоучительно пояснил Орешников-старший, — это Вторая Приамурская дивизия. Это Спасск. Это мастер внезапного удара. Это тот, кто живьем взял в плен Пепеляева.

— Здорово вы меня в переплет взяли! — расхохотался Крутойров. Вдвоем на одного! Так не пойдет! А вот кто из вас знает, кто сочинил стихи про москвичей и питерцев...

И Крутойров прочитал:

И здесь не реже
Газет грехи,
Романы те же,
И те ж стихи,
Журналы, книги,
Слова, слова,
И те ж интриги,
И та ж молва...

Крутойров споткнулся, припоминая, и вдруг за соседним столиком задорный голос продолжил:

Те ж драматурги,

Звон медных фраз,
Как в Петербурге,
Так и у нас!

— Мятилев!

Крутойоров и все остальные оглянулись. За соседним столиком в компании излишне развязных мужчин и пестро одетых женщин сидел пьяный, взъерошенный, с горячно-красным лицом и дико блуждающими глазами Евгений Стрижов.

5

Только тут участники импровизированного банкета, собравшиеся чествовать Маркова, отвлеклись от своих рюмок, суфле, цыплят и гарнира. Они увидели, что обстановка вокруг совершенно изменилась. И публика за столиками была совсем иная, и цены на вина и закуски иные. Появились обрюзглые физиономии не то «бывших», не то «концессионеров». Требовали их ублажать (чего душа хочет!) разбогатевшие гостинодворцы, шептались, сдвинувшись в кучку лбами, юркие спекулянты, хлынули в ресторан и соответствующего сорта женщины, как морские чайки, с криком летящие за нэпмановским кораблем, чтобы подобрать крошки.

А вот и на эстраде началось оживление. Сначала вышел какой-то кривой сумрачный субъект и разложил по пропитрам ноты. Потом потянулись и музыканты, кашляя, сморкаясь, топая по сколоченным начерно ступенькам, ведущим на сцену. Пианист с сизыми непробритыми щеками и глазами с поволокой тихо переругивался с контрабасом — громадным мужчиной с отвислыми брылами, изобличающими склонность к спиртным напиткам.

Музыканты разместились, тупо посмотрели на жующих, чокающихся посетителей ресторана и рывкнули нечто бурное и нестройное, работая разом на всех инструментах и извлекая из них все, на что они способны. Наконец, последний рев, и оркестранты замолкли, стали вытирать пот со лба.

— Вот это отчубучили! — в наступившей тишине отчеканил Стрижов.

Возглас был покрыт развеселым хохотом всего зала. Нэпманы веселились.

Тогда откуда-то из глубины ресторана возник директор — прямой, несгибаемый, во фраке, но с непристойной богомерзкой обличиной. Возник и исчез. Полного скандала нет? Нет. Смеяться не возбраняется.

На эстраду вышел завитой крупным барашком нарумяненный брюнет.

— Ich kusse Ihre Hand, madam!⁵ — запел он вкрадчивым, сладким голоском, в точности подражая граммофонной пластинке.

На столик Крутойорова тем временем подали пломбир. И всем показалось, что он переслащен.

Затем был, как кто-то выкрикнул, «фоксик». Между столиками танцевали. Одна девица пришла в недостаточно короткой, не по моде, юбке, закрывавшей колени. Весь вечер был для нее испорчен. Она прятала ноги под столик и со слезами в голосе отказывалась танцевать, уверяя, что ей не хочется.

После «фоксика» на эстраду вышел оборванец со взъерошенной копной волос. Он пел, изображая вора, бандита, налетчика:

Ремеслом избрал я кражу,
Из тюрьмы я не вылажу,
Исправдом скучает без меня!

⁵ Ich kusse Ihre Hand, madam! — я целую вашу руку, мадам (нем.).

Элегантно одетые в шевиот и коверкот, чисто выбритые, попрысканные одеколоном «Эллада» воры, бандиты и налетчики сидели за столиками, кушали тетерок и зернистую икру, снисходительно улыбались и переглядывались беглыми неуловимыми взглядами.

Хлопнула пробка шампанского. Оксана вскрикнула. Официант принес фрукты. Крутояров расплачивался. Марков и Орешников с ним спорили, требуя, чтобы и они приняли участие, но Крутояров настоял на своем.

Вечер можно было считать удачным. Даже Женька Стрижов не испортил его, не подошел и вообще не совал носа, если не считать его декламации. Но в самую последнюю минуту произошло нечто неожиданное.

Сначала пианист — он же конферансье — объявил, что будет исполнена «Авиа-Мария», вместо «Ave Maria», чем насмешил Крутоярова до слез. Затем оркестр приготовился преподнести публике очередной опус, но вдруг пьяный голос прорезал воздух:

— М-маэстро! Сыграй мне «П-па-аследний нонешний денечек»! Вот! Гонорар!

И все увидели военного, нетвердой походкой направившегося к музыкантам.

Нэпманы даже перестали жевать. Что ж. Неплохо придумано. Почему же человека не уважить, не сыграть на заказ? Смутила всех только слишком толстая пачка бумажек. Видать, очумел человек.

Музыканты же, видя, что куш предвидится порядочный, колебались: любезно согласиться или с негодованием отвергнуть!

Оба Орешникова и еще двое-трое военных, находившихся в зале, готовы были вмешаться, но надеялись, что как-нибудь все уладится.

И вдруг Марков прошептал:

— Да ведь это Мосолов! Он приезжал к Григорию Ивановичу и хвастался, что у него дома квас отличный готовят!

— Какой квас? Какой Мосолов? Вы, наверное, что-нибудь путаете!

— Ничего не путаю. Командир полка. Григорий Иванович так его разделал, что Мосолов поспешил ноги унести, говорит, к поезду опаздываю.

— А что, если его вызвать в раздевалку и посоветовать уйти? предложил Николай Лаврентьевич.

— В сущности, он ничего такого не делает, — примирительно пробормотал Орешников-старший. — Захотелось человеку русскую песню послушать. По-моему, так пожалуйста.

— Деньгами сорит. Пьян до бесчувствия.

— Его деньги. Хочет сорить — и сорит.

Мосолов будто услышал их спор и решил внести полную ясность:

— Слушай, маэстро! Как человека прошу! Финита комедия! Смекнул? Отгулял Павел Архипович! А деньги бери, не стесняйся — казенные! Четыре дня пропивал — пропить не мог! Во, валюта!

— Ну и нализался! — взвизгнула девица в немодной юбке. — Как бэгэмот!

— Дело-то, кажется, совсем дрянь. Не позвонить ли в комендатуру? нервничал Николай Лаврентьевич.

Музыканты пошептались, пианист скроил улыбку, сделал ручкой, взял пачку у Мосолова и сунул в карман. Затем дал тон — и оркестр, привирая, с грехом пополам начал мотив заказанной песни, а Мосолов сел на краешек эстрады и заплакал.

Эти слезы воодушевили музыкантов. Они уже более слаженно стали выводить: «А завтра рано чуть светочек». Скрипка так буквально рыдала. Но в целом оркестр не мог преодолеть привычного фокстротного ритма, настолько четкого, что две-три пары попробовали даже танцевать.

— Все! — вдруг выкрикнул Мосолов и ринулся к выходу.

— Слава богу, догадался! Давно пора! — облегченно вздохнул Николай Лаврентьевич. — Проспится, а наутро, если и впрямь нагрешил, явится по начальству и доложит.

— Не пора ли нам домой? — предложила Надежда Антоновна. — Оксана совсем раскисла.

— «Давай пожмем друг другу руки — и в дальний путь, на долгие года!» — попробовал петь Орешников-старший и допил шампанское в своем бокале.

В это время прозвучал выстрел. Один. И какой-то непохожий, как в театре. Но многие вздрогнули.

— Он! — сразу догадался Марков.

Оба Орешникова и еще несколько военных быстро вышли из зала. Почти бегом проследовал через зал директор.

— Grimасы нэпа, — вздохнул Крутойаров.

«Надо написать Котовскому», — подумал Марков.

Публика толпилась между столиками. Лица были не столько встревоженные, сколько любопытные.

— В висок! — сообщил кто-то, успевший побывать на месте происшествия.

Один только Стрижов ничего не слышал. Уронив голову на стол, он спал крепким сном. Его соломенного цвета вихры обмакивались в соус провансаль. Он спал и даже посапывал.

Маркову вдруг стало жалко его.

«Парень свихнулся, а я сразу отвернулся от него, бросил его в беде... Отвезу ему завтра книжку с дружеской надписью!»

6

Когда они выходили из «Кахетии», никаких следов происшествия уже не было. Труп увезли, приборку сделали, директор ресторана медленно удалился во внутренние помещения, величественный швейцар и излишне любезные дяди на вешалке шепотом рассказывали наиболее настойчивым, «как это было».

Вышли на улицу — и замерли. До чего красива ночь! Как хорош Невский проспект! Луна над зданием Главного штаба светит серебряным светом во всю мочь. Дома кажутся полупрозрачными, а небо, подернутое легкими облачками, такое, что смотрел бы и смотрел на него, не отрываясь.

Решили идти пешком.

— А как Ксения Гервасьевна? — спросил Крутойаров.

— А что Ксения Гервасьевна? Ксения Гервасьевна хоть куда! Ксения Гервасьевна как стеклышко! — отозвалась Оксана, хотя была далеко не «как стеклышко», напротив, плавала в странном блаженном тумане, все время улыбалась, а шагала с особенным старанием, доказывая, что она молодцом.

До Марсова поля добрались по бывшей Миллионной, а там пошли по набережной, где лунная ночь особенно сверкала и переливалась, а город за рекой тонул в голубоватой дымке.

Надежда Антоновна чувствовала, что за весь вечер мало внимания было уделено виновнику торжества. И теперь она подхватила Маркова под руку и повела разговор о стиле, о ритме, о том, что ей нравится музыкальность Маркова, о том, что в прозаическом произведении сохраняются все требования, предъявляемые к стихам, за исключением свойственных стихотворным произведениям всевозможных ямбов и хореев и еще за исключением рифмы.

Марков слушал и иногда произносил:

— Да... Да-да... Совершенно верно.

Оксана брела сама по себе и бормотала что-то блаженное, но невнятное, а Крутойаров всю дорогу молчал, видимо занятый какими-то своими мыслями.

Поднявшись на шестой этаж и войдя в прихожую, все почувствовали, что, несмотря на поздний час, не хочется расходиться по своим комнатам.

— А что, если мы выпьем по стакану крепкого чая? — предложил Крутойаров. — Неплохая мысль? Честного, настоящего, домашнего чая!

Все четверо вошли в столовую. Иван Сергеевич собственноручно включил электрический чайник и накрыл на стол.

Чай действительно был крепкий и вкусный. А после прогулки обнаружилось, что все хотят есть. Извлекли откуда-то колбасу, сыр, копченого сига, шпроты и принялись за обе щеки уписывать всю эту снедь, смеясь над собой, что из ресторана да сразу за еду.

Крутойров выпил только чай, встал из-за стола и начал прохаживаться взад и вперед, так что Марков подумал, не находится ли он под впечатлением этого самоубийства, и готовился рассказать о Мосолове все, что знал сам.

— Надюша, — остановился перед женой Крутойров, — не припомнишь ли ты, чей это рассказик был еще в дореволюционное время, он вызвал много шума... Вертится в голове фамилия... Не то Анатолий Каменский, не то Арцыбашев...

— Да о чем хоть рассказ-то? Как называется?

— Не совсем к месту за ужином... Рассказ о том, как школьник идет вечером по улице — и вдруг бочки, ассенизационный обоз, «золотари» их тогда называли...

— Фу, какая мерзость! Что это тебе вспомнилось?

— Так вот, тянется по улице обоз, а гимназистик, подросток, испытывает какое-то извращенное наслаждение от хлынувшего зловония. Он бежит за обозом вслед и нюхает, и втягивает в себя омерзительный запах...

— Неужели был такой рассказ? — удивился Марков.

— Был. Скорее всего Анатолия Каменского. Но не в авторе дело.

— В чем же? — Надежда Антоновна встревоженно смотрела на мужа — не опьянел ли от кахетинского? Но поняла, что у него еще там, за столиком в ресторане, зародилась какая-то мысль, и она ему представляется значительной — вот почему он и заговорил об этом.

Нечто подобное ей не раз приходилось наблюдать. Например, проснется и скажет:

— Надюша! Я придумал рассказ!

— Когда же?

— Вот сейчас, сию минуту.

Надежда Антоновна поняла, что предстоит большой разговор, между тем Оксана уже попросту спала, сидя на стуле. Оксану услали спать, Марков ее проводил, а затем Крутойров стал рассказывать:

— В «Кахетии» меня поразили девушки. И молодые люди. И оркестр. И завитой болван, который пел «Ich kusse Ihre Hand, madam». А живопись? Вы обратили внимание, как расписаны стены в «Кахетии»? Кубизм! Пуантелизм! Бурлюковщина! Словом, меня поразила ночная жизнь в ресторане. Охвостье, которое сидит у нас, в стране дерзновенных исканий, в стране рождающегося нового, но с наслаждением принохивается к ассенизационным бочкам Запада! Добро бы нэпманы! Нет! Молодежь!

— По-моему, ты не прав, Ваня. Надо разобраться, какая молодежь. Нэпманчата? Отщепенцы? Порченые сынки?

— Главное, ведь они как все изображают? Отцы устарели. У отцов узкая дорожка. Они, видите ли, рвутся в неизведанное, туда, где синют горы! Какие горы? Где синют? Новое здесь, у нас, повсюду, на каждом шагу, а там, за этими самыми горами, угасает, но никак не дает закрыть крышку гроба старый дряхлый мир, который ничего нового уже не создаст, нового стиля не придумает, от него уже тянет смрадным душком разложения! Заткните нос, господа псевдо-новаторы!

Крутойров разгорячился, говорил зло и выразительно.

— Здорово чехвостит! — шепнул Марков Надежде Антоновне. — Только клочья летят!

— Что толку? — тоже вполголоса ответила Надежда Антоновна. — С них как с гуся вода.

— Конечно, как с гуся вода, — услышал ее реплику Крутойров. — Потому что цацкаются с ними, миндальничают!

— Они уверяют, что в искусстве должно быть многообразие изобразительных средств, — примирительно сказала Надежда Антоновна и тут же пожалела об этом.

Лицо Крутоярова исказилось гневом, и Надежда Антоновна уже не помышляла больше о судьбах искусства, а только старалась припомнить, где стоит пузырек с сердечными каплями, прописанными Ивану Сергеевичу.

— Многообразие?! — закричал Крутояров. — Пожалуйста! Будьте настолько любезны! Желаете сказ? Фантастику? Юмор? Но вражеские десанты, парашютисты под флагом свободного искусства — этот номер не пройдет! Не для того революцию делали!

Крутояров увидел испуганное лицо жены, понял, что сейчас она предложит ему принять лекарство, и сразу утомился. Он терпеть не мог сердечные капли.

Часы в столовой, большие, в дубовой оправе с затейливой резьбой, показывали без четверти три. Не бессовестно ли ему благородно негодовать по поводу каких-то там хлюпиков, проходимцев, не замечая, что жена утомлена, что о Маркове, у которого сегодня большой праздник, все и думать забыли?

— А вообще-то, — подытожил Иван Сергеевич, — черт бы их всех побрал, диверсантов, мечтающих пролезть через форточку искусства! Давайте, друзья, спать. Извините, что нашумел, что, по своему обыкновению, говорил длинно и бессвязно. У Владимира Ильича надо учиться, у него регламент: пять минут и очисти место для следующего оратора!

Марков поднялся, встала и Надежда Антоновна. У всех были зеленые, усталые лица. Марков стал благодарить, уверять, что этот день навсегда останется у него в памяти...

— Ладно уж... Чего уж там... — оправдывался Крутояров. — Вышло не так, как хотелось бы... Пожалуй, и Орешниковы были в данном случае ни к селу ни к городу, зря я пригласил. Позвать бы двух-трех писателей... Например, Чапыгина — обязательно познакомьтесь с ним! Или Борисов интереснейший писатель! Хотя к нему и применяют метод замалчивания — в «обойму» не входит. Мне правится, как он прокладывал путь в литературу: напечатал в двадцать первом году на машинке восемьдесят пять экземпляров сборника своих стихов — так сказать, издал своими средствами. И что же? Рецензии были! В магазинах на прилавке лежала! Разве не замечательно? Какая впоследствии библиографическая редкость будет! Вот пригласить бы его... Ну, ничего. Как вышло, так и ладно. Еще будет у вас впереди достаточно и банкетов и юбилеев, даже надоест. А сегодня в домашнем кругу отпраздновали — тоже неплохо.

Марков растрогался. До чего же милые люди! И какое счастье, что он повстречал их! А все Григорий Иванович. Обязательно надо к нему поехать, просто не хватает его для такого торжества.

Марков на цыпочках, стараясь не разбудить Оксану, пробрался в свою комнату, быстро разделся и улегся в постель. Как только он погасил электрическую лампочку, в окно хлынул такой лунный свет, что даже удивительно было, как способна светить и сиять одна-единственная луна. Уж не высыпало ли их на небо сразу с десяток?

Десятая глава

1

Болезнь Владимира Ильича наполняла сердца скорбью. Об этом избегали говорить, но постоянно, неотступно думали.

Врачи потребовали переезда Владимира Ильича в Горки, в Подмосковье. Разные вести прилетали оттуда.

Вот заговорили об ухудшении. Неужели это конец? Котовский сумрачно говорил: «Жизнь бы отдал, лишь бы он не болел!»

Затем пришло сообщение, что Ильичу лучше. Он боролся. Он делал упражнения, чтобы восстановить речь. Научился писать левой рукой, так как правая парализована. Если не мог писать — диктовал. Он считал, что не все еще выполнено им. У него был составлен план

неотложных дел. Во что бы то ни стало, но все эти дела должны быть сделаны!

И Владимир Ильич продолжал работать. За семьдесят пять дней болезни, со 2 октября по 16 декабря 1922 года, он написал 224 деловых письма, принял 171 человека, председательствовал на 32 заседаниях Совнаркома, Совета Труда и Оборона, Политбюро. В печати появлялись статьи Ленина, каждая была путеводной звездой, каждая была программной.

И эта победа Ленина над тяжким недугом, может быть, над самой смертью — одно из самых потрясающих, полных драматизма явлений, какие знает история. Сила воли, сознание долга оказались сильнее смерти! И как все истинно-величавое, эта победа была одержана Лениным просто, обыденно. Прежде чем уйти, он проверял: все ли необходимое сделано, предусмотрено ли все, что понадобится людям для строительства новой жизни, для борьбы.

Однажды Владимир Ильич вызвал стенографистку.

— Я хочу продиктовать письмо к съезду.

Все, что он диктовал, перепечатывалось на машинке в пяти экземплярах: один для него, три для Надежды Константиновны, один для секретариата. Особо секретные записи хранились в конвертах под сургучной печатью, на них по желанию Владимира Ильича делалась надпись, что вскрывать их может лишь В. И. Ленин.

— А после его смерти Надежда Константиновна, — добавил он.

Но эти слова на конвертах не стали писать: рука не поднималась писать слово «смерть».

Статьи Ленина в «Правде» Григорий Иванович Котовский читал и перечитывал. Иногда их читала ему Ольга Петровна. «Странички из дневника», «О кооперации», «О нашей революции», «Как нам реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше» обсуждались сначала в семейной обстановке, затем в партийной организации корпуса и у Фрунзе.

— Эти статьи, — говорил Фрунзе, — единый гениальный труд, где суммарно изложена программа социалистического преобразования России. Это руководство к действию.

Было отрадно сознавать, что Ленин еще полон сил, что он с удивительной прозорливостью смотрит вперед на десятилетия, заботливо предуказывая, как действовать, как поступать, как жить. Значит, возвращается к нему здоровье! Значит, не так плохо обстоит дело! Немногие знали, какого напряжения воли стоили Ленину эти статьи.

Григорий Иванович постоянно думал о Ленине. Москва и Ленин сливались в его сознании воедино. Так и на этот раз, направляясь делегатом на съезд, Котовский думал об Ильиче. Как-то он? Поправляется ли?

Москва жила наполненной, быстрой, вдохновенной жизнью. Открывая 19 января 1924 года съезд Советов, Калинин сообщил под оглушительные аплодисменты и возгласы «ура», что лучшие специалисты, видные профессора, опытные врачи, которые наблюдают за состоянием здоровья Ленина, выражают надежду на возвращение Владимира Ильича к государственной деятельности.

А в шесть часов утра 22 января радио оповестило о смерти Ленина. Газеты вышли в траурных рамках. И вдруг словно оборвалось что-то внутри. Умер! Ильич умер!.. Григорий Иванович смотрел на черные буквы, слагавшиеся в страшные слова, и не мог осмыслить написанного.

Нет Ильича... Как же тогда жить?! Между тем жить обязательно надо. Об этом говорилось и в правительственном сообщении о смерти Ленина:

«...Его дело останется незыблемым... Советское правительство продолжит работу Владимира Ильича...»

Об этом шла речь и в обращении ЦК к партии, ко всем трудящимся:

«Никогда еще после Маркса история великого освободительного движения пролетариата не выдвигала такой гигантской фигуры, как наш покойный вождь, учитель, друг... Никакие силы в мире не помешают нашей окончательной победе...»

— Да! — сказал Котовский. — Никто нас не остановит! Никто!

И как присягу, повторял слова воззвания, выпущенного Исполкомом Коммунистического Интернационала:

— Боритесь, как Ленин, и, как Ленин, вы победите!

И разве не эти же чувства охватили весь трудовой народ? Разве не о том же думали коммунисты, собравшиеся около гроба Ильича?

Туда, в Горки, приехали друзья, соратники, старые и молодые, коммунисты и беспартийные. Ленин лежал в гробу в той комнате, где он умер. Приехали делегаты съезда, среди них Фрунзе и Котовский. Они стояли потрясенные, убитые горем. Смотрели на дорогое лицо умершего, и одинаковые мысли волновали их: «Ни шагу не отступать. Еще много боев впереди. Клянемся!»

Вышли на крыльцо. Безмолвная толпа собралась из окрестных деревень. Слышались приглушенные рыдания. А кругом раскинулись пустынные снежные поля, стыли в мерзлом безмолвии голубоватые искрящиеся сугробы. Стояло морозное утро, было более тридцати градусов ниже нуля. Природа замерла в глубоком раздумье. И эта ледяная безмятежность, это гигантское равнодушие делали еще острее боль утраты. И слезы навертывались на глаза.

— Вот какое довелось пережить! — горестно произнес Фрунзе.

— Да, страшнее горя я, кажется, не знал... Но если кто надеется, что это даст им перевес, то напрасно! — угрюмо отозвался Котовский.

— Бедная Надежда Константиновна! — вздохнул, помолчав, Фрунзе. — На нее без содрогания невозможно смотреть.

Тут они услышали полусшепот. Оглянулись — две женщины неподалеку: какая-то пожилая крестьянка и Смирнова, которая присутствовала при последних часах Ленина. Ей, работнице золотошвейной фабрики в Москве, предложили работать по дому у Владимира Ильича. Сначала Смирнова отказывалась, боялась, что не справится. А потом согласилась. И всем сердцем полюбила эту семью, особенно Владимира Ильича. Теперь она рассказывала монотонным голосом, наполненным такой тоской, такой жалостью... Фрунзе и Котовский видели, как течет скупая слеза по обветренному лицу крестьянки, которая ловила каждое слово Смирновой и все качала-качала головой, закутанной в деревенский желтый полушалок.

— Утром подала ему кофе, — тихо, срывающимся голосом рассказывала Смирнова, — а он наклонился приветливо так и прошел, пить не стал, ушел и лег у себя. Я все надеялась — выпьет. Ждала. А ему уже плохо стало... Сказали мне, чтобы горячие бутылки несла. А какое — они уж не нужны ему были... Вбежала я наверх — Мария Ильинична стоит сама не своя, черная какая-то. Тогда я прямо к Владимиру Ильичу в комнату. Вошла, а Надежда Константиновна возле постели сидит и держит его руку. Санитары приехали, навзрыд плачут, не стесняются. Доктора бледные стоят. Вот, голубушка, горе-то у нас какое...

Этот бесхитростный рассказ как-то особенно потряс двух бывалых солдат, закаленных, многое повидавших — Котовского и Фрунзе. И позднее, стоя в почетном карауле у гроба Ленина в величественном зале Дома Союзов, они все еще были заполнены этим большим чувством всенародного горя, а в ушах у них звучали слова Смирновой: «Вот, голубушка, горе-то у нас какое...»

2

Беспартийные рабочие и служащие Московского депо Рязано-Уральской железной дороги однажды отремонтировали в неурочное время паровоз. Впереди к паровозу прикрепили надпись: «Беспартийные — коммунистам». И решили послать паровоз в Горки, Владимиру Ильичу. Приложили письмо, где сообщали, что на собрании единогласно постановили избрать дорогого Владимира Ильича почетным машинистом. И далее в письме говорилось:

«Вручая тебе паровоз, рабочие и служащие не сомневаются, что ты, Владимир Ильич, как опытный машинист, привезешь нас в светлое будущее».

Владимир Ильич был доволен подарком, оценил и послание. Единственно, что его озадачило, — как поступить с паровозом. Когда ему присылали продукты, он отправлял их в детский дом. Но ведь не пошлешь в детский дом паровоз!

Это было в 1923 году... А теперь, ровно через год, именно этот паровоз доставил в Москву траурный поезд, в котором находился гроб с телом Владимира Ильича.

3

Громадный зал обтянут крепом. Стоит строгая тишина. Звонко отдаются под сводами шаги сменяемых в почетном карауле.

Мария Ильинична и Надежда Константиновна. Дзержинский и Ворошилов. Фрунзе и Егоров. Постышев и Тухачевский. Котовский и Орджоникидзе. Киров и Блюхер...

Нескончаемо шествие народа. Несмотря на мороз, длинная вереница людей не уменьшается ни днем ни ночью. Разводят костры, чтобы погреться. Но никто не расходится. И надо видеть лица людей — женщин, мужчин, детей, стариков, пришедших проститься с Ильичом, чтобы понять, как велика их любовь. А поминутная смена почетного караула у гроба Ильича превратилась в демонстрацию силы и единства ленинской партии. И сколько промелькнуло у каждого неизгладимых воспоминаний, сколько мыслей возникло в эти несколько минут!

Феликс Эдмундович Дзержинский думал о том, что отравленными пулями в Ленина стреляла не одна фанатичная террористка Каплан. Ему было известно многое такое, о чем другие могли только догадываться. И Дзержинский готовился к дальнейшей беспощадной борьбе, к отстаиванию ленинских позиций.

Дзержинский не ошибался. Ведь именно сейчас, в эти дни, когда советские люди так глубоко скорбели об утрате, за рубежом лобызались и поздравляли друг друга. Даже наиболее дальновидные и сдержанные из эмигрантов поддались общему психозу.

Рябинин повстречал как-то великого князя Дмитрия Павловича. Великий князь ходил теперь в гольфах, имел спортивный вид и прилагал все усилия, чтобы никто не принимал его за представителя царской фамилии. Но на этот раз у него не хватило выдержки. Он обнял коммерсанта Рябинина и воскликнул:

— Христос воскресе, дорогой Сергей Степанович! Думаю, что не ошибусь, если скажу: это все!

— Будем надеяться! Будем надеяться!

Более они не добавили ни слова, но оба отлично поняли, что речь идет о смерти Ленина, о том, что с его уходом, по их расчетам, рухнет все здание социализма.

Дзержинскому было достаточно хорошо известно о таких настроениях в кругах белой эмиграции. Иного нечего было и ждать. Но кроме того, Дзержинский еще знал о поведении некоторых оппозиционеров, о подозрительном совпадении во взглядах с эмигрантами у одного человека, числившегося в рядах Коммунистической партии.

В день смерти Ленина Троцкий отдыхал на Черноморском побережье, в Сухуми. Цвели розы, плескалось бирюзовое море, было много солнца, густели ароматы тисса и магнолий.

Радио сообщило о смерти Ленина. Затем пришли и газеты. Троцкий небрежно просмотрел их. Обращение ЦК нашел слишком длинным, а воззвание Исполкома Коминтерна выпрепненным.

На похороны Троцкий не поехал. Он проводил дни, лежа на балконе, откуда открывался прекрасный вид на море, на горные вершины. Иногда он совершал прогулки. Садился где-нибудь около баобаба и смотрел вдаль, на Клухорскую тропу, на развалины генуэзской крепости.

«Все начинается и все кончается, — размышлял он. — Надо не забыть записать это изречение...»

Нет, он не забыл. Он заранее подготавливал мемуары. В эти дни им было записано:

«Вдыхая морской воздух, я всем существом ощущал уверенность в своей исторической правоте».

На что надеялся Троцкий? Что выжидал? Не думал ли он, что к нему явится делегация от ЦК партии и будет просить его принять всю полноту власти? Во всяком случае, он

намеревался на ближайшем съезде партии поставить на голосование тезисы своей «платформы».

При жизни Ленина он, конечно, не решился бы на это. Но и сейчас не учитывал сплоченности, монолитности партии, которая сумеет дать отпор любому оппортунисту, любому фальсификатору ленинских идей!

4

Строгая тишина в огромном зале Дома Союзов. Траурные полотнища... Боевые знамена революции... Восковое лицо уснувшего навеки Ильича...

Встав в почетном карауле, Михаил Васильевич Фрунзе вспомнил свои встречи с Лениным. В его сознании Ленин оставался живым. Он никогда не разлучался с Лениным. И тогда, когда лично беседовал с ним, и тогда, когда воевал, изучал, выполнял очередные задачи. Фрунзе неизменно чувствовал его присутствие, руководствовался его учением.

Разгромив армию генерала Ханжина, Фрунзе продолжал преследовать белых, стремясь захватить Уфу и прогнать их за Урал и дальше — из Сибири. Когда по указанию Троцкого попытались приостановить это наступление, Фрунзе обратился непосредственно к Ленину. ЦК и лично Ленин дали указание: никаких передышек в наступлении на Колчака! 29 апреля 1919 года на рассвете Фрунзе начал контрнаступление. 9 июня красные заняли Уфу.

Какое счастье было сообщить об этом успехе Ленину! Ведь этот успех решал в основном вопрос «кто кого» и прославлял ленинскую стратегию! Фрунзе и сейчас помнит свое душевное состояние в те дни, он думал: «Ильич будет доволен».

Очередной задачей было освобождение Туркестана. И снова — зоркость Ленина, указания Ленина. Пленум ЦК назначает Главкомом Сергея Сергеевича Каменева, а командование Туркестанским фронтом поручает Фрунзе. Начав наступление на армию генерала Белова, Фрунзе загнал ее в безводную степь. К 13 сентября белая армия перестала существовать. А вскоре бежал эмир Сеид-Алим. Поспешили убраться восвояси и его иностранные приспешники. Ленин радиogramмой приветствовал Красный Туркестан.

Затем Фрунзе был в Москве на заседании Совета Труда и Оборона. Заместитель Председателя Реввоенсовета Республики Склянский, не дождавшись конца заседания, ушел. Владимир Ильич, узнав об этом, сказал: «Ну что ж, решим без него». И Фрунзе утвердили командующим Южным фронтом.

Был поздний час, когда Ленин и Фрунзе вышли на улицу. Ленин заговорил о том, что хорошо бы ликвидировать врангелевский фронт до зимы, зимняя кампания крайне нежелательна, народ устал, люди измучены. Вместе с тем Ленин напоминал, что врангелевская армия отлично вооружена, драться умеет. И после такого предисловия Ленин спросил:

— Как вы полагаете, Михаил Васильевич, когда закончите операцию?

Фрунзе восхищенно смотрел на Ленина: Ленин даже мысли не допускал, что Врангель не будет разгромлен! И хотя Ленин не приказывал, а только спрашивал, когда Фрунзе надеется закончить эту операцию, но ведь все до очевидности ясно, и решение напрашивается само собой.

Спрятав улыбку в усы, Фрунзе прикинул, подсчитал, подумал и сказал:

— В декабре, Владимир Ильич.

— В декабре, — повторил Ленин. В голосе его прозвучало разочарование: ведь декабрь — это уже зима.

— К декабрю! — поспешил поправиться Фрунзе.

Тогда Ленину подумалось, нет ли в таком поспешном ответе некоторой бравады.

— Не слишком ли быстро, Михаил Васильевич? Ведь сейчас конец сентября?

Фрунзе пояснил, что, раз нельзя допускать зимней кампании, значит, так оно и должно быть. И решительно заключил:

— К декабрю все будет кончено, Владимир Ильич.

Была ли это опрометчивость? Нет, это был расчет полководца плюс политическая дальновидность коммуниста. Как коммунист Фрунзе понимал, насколько справедливо утверждение Владимира Ильича, что зимняя кампания легла бы на нас тяжким бременем. Как полководец он уже продумал основные моменты ликвидации врангелевского фронта. Он знал, что западная военная печать называет перекопские укрепления новым Верденом. У них ведь одна мерка — Верден. Знал он, что такое Перекоп, Чонгарский перешеек и Турецкий вал, что такое Юшуньские позиции с шестью линиями окопов. Он уже получил данные нашей разведки. Строили эти укрепления русские и французские военные инженеры. Тут были и бетонированные орудийные заграждения в несколько рядов, и фланкирующие постройки, и окопы... Но он знал и другое: боевой дух красных воинов, общее настроение страны, желание поскорей покончить со всеми фронтами и перейти на мирные рельсы...

Стоя в почетном карауле у гроба Ленина, Фрунзе думал о том, что честно выполнил тогда слово, данное Ильичу, и покончил с Врангелем до наступления зимы.

Фрунзе тяжело переживал смерть Ленина. Но не в его характере было поддаваться горю. Ведь даже в камере смертников, приговоренный царским судом к повешению, он не терял самообладания и занимался английским языком. И сейчас, стоя в почетном карауле, у гроба любимого Ильича, Фрунзе прикидывал, что в данный момент неотложно из намеченного ленинского плана на ближайшие десятилетия? И для Фрунзе было несомненно, неоспоримо: нужно бороться за монолитность партии — это главное. И столь же обязательное: охранять детище Ленина — первое в истории социалистическое государство от всяких покушений извне, то есть создать такую армию, о твердыню которой разобьются все усилия политических бандитов и захватчиков.

5

Котовский раньше не видел Ленина. Когда бригаду направили на Петроградский фронт, Ленин уже переехал в Москву. А позднее — непрерывные бои, переходы, атаки... Да и по окончании гражданской войны оказалось немало дел. Ленин заболел... И хотя Григорий Иванович принимал живейшее участие в политической и общественной жизни, ему так и не удалось видеть Ленина, слышать его голос, его выступления.

И вот теперь впервые Котовский стоял совсем близко, совсем рядом с Ильичем и пристально, неотрывно смотрел на бледное, заострившееся лицо вождя.

Котовского охватывало горе, почти отчаяние, ему казалось, что такие люди, как Ленин, вообще не должны умирать. Вместе с тем в нем все больше укреплялась уверенность, что это вовсе и не смерть, а переход в некое новое состояние, может быть, даже более высокое, так как это ведь бессмертие. Пройдут годы, пройдут десятки и сотни лет, а люди будут все так же любить Ленина и знать его. Они скажут: «Мы живем в новой эре, пришедшей в третьем тысячелетии. Первые два тысячелетия были всего лишь подготовкой, предысторией. Два гениальных деятеля — Маркс и Ленин вручили изумленному человечеству ключи от царства свободы и разума».

Ощущения Котовского походили на состояние, какое бывает перед атакой. Наивысшее нервное напряжение, собранность. Обостренная зоркость. Все видно. Все отчетливо впечатывается в мозг. Горячее убеждение, что победа будет. Готовность к неизбежным потерям. Боевой дух. Ведь в атаку идут люди, обыкновенные люди, здоровые, жизнерадостные, полные сил. Их грудь защищена только гимнастеркой. А они идут. Идут навстречу огненному шквалу, навстречу пулям.

Так к щемящей боли, к острому глубокому горю присоединялись гордость и торжество. Гордость потому, что он, Котовский, современник Ленина, что он в отряде ленинцев ведет разведку боем в неизведанное будущее. И торжество: Ленин бессмертен, ленинизм победит!

6

Когда кончился съезд, Котовский вместе с Фрунзе поехал в Харьков. Всю дорогу они говорили об Ильиче, силились разобраться в смятенных мыслях и чувствах, обсуждали вопросы, вдруг ставшие необычайно острыми и ответственными, так как не было уже мудрого друга и руководителя, нельзя было рассчитывать на его советы, а приходилось все решать на свой страх и риск.

Поезд набирал скорость. Ехали на юг, но на окне все еще были ледяные узоры. Там, за окном, виднелись снежные равнины и деревья, опушенные инеем.

— Серьезная зима, — сказал Фрунзе, поживаясь. Ему что-то нездоровилось, немножко знобило, но он, как всегда, бодрился.

— Сколько Тимуру лет? — спросил Котовский, подумав о Гришутке, о том, что уже соскучился по сыну.

— В армию еще рано, — пошутил Михаил Васильевич, и глаза его сразу потеплели, улыбка заиграла на губах. — А все возится с игрушечными пушками и клеит из картона самолет. Может быть, пойдет в летчики, кто его знает?

Оба призадумались о детях, о будущем. Будущее было очень неясно и тревожно.

— Не дают нам спокойно жить, — как бы отвечая на общие мысли, промолвил Фрунзе. — Бельмом мы у них на глазу!

— Они у нас бельмом! — пробурчал Котовский и добавил сердито: — Черт бы их побрал.

И опять начался разговор о корпусе Котовского, о том, какие задачи предстоит разрешать в связи с перестройкой и перевооружением армии.

— Говорят о новом моем назначении, — сообщил Фрунзе.

— Да, я слышал, — отозвался Котовский. — Заком наркома по военным и морским делам.

— Это делается для того, чтобы я мог вплотную заняться военной реформой. Все надо в корне перестраивать. А главное — техника, техника нам нужна! Пока что мы хромаем на обе ноги. Но вот посмотришь, чего мы добьемся в ближайшие годы! Наши моторы должны быть лучшими в мире, наша броня — самой прочной, наши пушки — самыми дальнобойными, наш флот — самым боевым!

— И наш солдат — самым храбрым и самым умелым! — закончил Котовский.

— О красноармейце хорошо сказал Сергей Сергеевич Каменев, — все так же серьезно продолжал Фрунзе. — Он сказал, что красноармеец не только боец, но боец и плюс еще революционер, и с таким необычным противником сталкиваются солдаты капиталистических стран. Каменев прав, отмечая, что эта черта ставит Красную Армию в несравнимое с армиями капитализма положение. А если добавить, что нашей армией будет фактически весь народ, что все население будет подготовлено, обучено, даже юноши, даже женщины в любую минуту сумеют взяться за пулемет, занять место в кабине самолета или повести в бой танк — тогда будет ясна вся картина.

Софья Алексеевна с нетерпением ждала мужа и бросилась ему навстречу. Обрадовались приезду папы и «дяди Котовского» дети. Надо сказать, что Котовского вообще любили дети и сразу находили с ним общий язык, а дети не любят плохих людей.

Фрунзе и Котовский подробно рассказали Софье Алексеевне о днях, проведенных в Москве. Вечером читали письмо Надежды Константиновны Крупской, напечатанное в «Правде». Письмо слушали и взрослые, и дети, и приехавшие накануне в Харьков военный инженер Карбышев и Дмитрий Андреевич Фурманов. Читал письмо Михаил Васильевич. В комнате стояла глубокая тишина. Все снова переживали потерю Ленина, думали о Ленине.

— «Товарищи рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки! Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности...»

Голос Фрунзе звучал вначале глухо, но по мере чтения крепнул и становился звонче, призывней:

— «Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память. Всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим.

Помните, как много еще нищеты, неустройства в нашей стране. Хотите почтить имя Владимира Ильича — устраивайте ясли, детские сады, детские дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы, дома для инвалидов и так далее и самое главное — давайте во всем проводить в жизнь его заветы...»

— Давайте проводить в жизнь его заветы! — повторил в возбуждении Фурманов.

— Давайте проводить в жизнь его заветы! — повторил и Котовский.

— Народ, — продолжал Михаил Васильевич, — так и понимает свой долг. Почитайте, какие резолюции выносят на заводах, в воинских частях, в деревне, в научных учреждениях, в организациях писателей, в школах! «Клянемся следовать его примеру!», «Будем свято хранить его заветы!», «Пусть не злорадствуют враги: Ильич мертв, но живы рабочий класс и Коммунистическая партия!» Не беспокойтесь, народ все понимает! Народ не ошибется!

— Вы, конечно, слышали, какой приток начался в ряды партии? взволнованно говорил Фурманов. — Тысячи и тысячи заявлений кадровых, квалифицированных пролетариев, лучших представителей интеллигенции!

— Ленинский призыв! Как это многозначительно, как это ценно! подчеркнул Фрунзе.

Все были в приподнятом настроении. Посыпались рассказы о виденном и слышанном за эти дни, о высказываниях самых разнообразных людей, о различных газетных сообщениях и сообщениях радио.

— В Кантоне объявлен трехдневный траур.

— В Берлине, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке — повсюду траурные собрания и манифестации. Весь мир скорбит! Никакие репрессии не могут помешать честным людям выразить чувства солидарности с нами!

— Какое победное шествие ленинских идей!

— Да, но есть и толстокожие...

— А как же? Не без того! Без них никак не обойдется. Шкуры барабанные!

— По-моему, каждый коммунист, — задумчиво произнес Фурманов, — каждый коммунист и своей жизнью, и своей смертью должен призывать к победе, к счастью, к устроению жизни. Как Ленин.

7

Остро переживал смерть Ленина и Иван Сергеевич Крутойяров, тем более остро, что он вообще был необычайно впечатлителен. Он воспринимал все по-своему. Воспринимал и помещал где-то в картотеке мозга, в огромном образохранилище, до востребования. Чего только не хранилось здесь бережно, нетленно: и какие-то детские истории, и факты, наблюдения, зарисовки из школьной жизни. Рядом с громадными замыслами, построениями каких-то произведений, может быть, романов, которые никогда не будут написаны, рядом с запасами излюбленных афоризмов или подхваченных на лету крылатых словечек, рядом со всем этим — тонкие, почти неуловимые, но вместе с тем немеркнущие яркие и выпуклые записи каких-то запахов, какой-то тишины, какой-то тропинки, по которой когда-то шел и вдруг увидел у самой дороги ядреный белый гриб... какого-то дождя, и как тогда пахло мокрыми листьями березы...

Крутойяров садился за письменный стол поздним вечером. В доме воцарялась тишина, давно уже все спали. Только сытый кот Мурза, с тигровыми рыжими полосами, пышным загривком и белоснежными лапками, — с сознанием не только права, но даже и долга — располагался прямо на рукописях, под самой лампой с зеленым абажуром. И начиналась творческая работа. Оживали на белом листе бумаги и жили своей особенной жизнью герои романа. По непреложным законам сюжета, осторожно, но твердо направляемые путями творческого замысла, они шли к завершению своей судьбы. Неожиданно давний и, казалось бы, начисто забытый дождь вдруг срочно требовался со всеми своими мельчайшими приметами, не дождь вообще, а именно этот, конкретный, бережно хранимый в архивах памяти дождь. И теперь этот дождь промачивал насквозь героя романа и даже содействовал

движению событий, раскрытию определенных черт, выявлению образа героя...

Однако уже скоро утро. Надо ложиться спать. Кот Мурза поднимает голову, щурится и смотрит недовольными зелеными глазами: «Что случилось? Что за беспорядок?»

Удивительное дело: Крутойяров крепко спал, а мозг, видимо, продолжал свою работу — сопоставлял, анализировал. В момент пробуждения Крутойяров, оказывается, отлично все знал и помнил, что-то сочинил, что-то исправил и бесповоротно решил, чем кончится глава, написанная ночью.

Даже какой-нибудь мелкий, казалось бы, незначительный случай — или мимолетный трамвайный разговор, или виденная на улице сценка, или сообщение, вычитанное в газете, — прочно врезались в его память, и долго ходил он под впечатлением этого, обдумывал, додумывал то, что осталось, так сказать, за рамками наблюдения, сочинял на этой почве целую историю и сам же бывал ею потрясен.

Что же сказать о крупных явлениях, о больших травмах?

Случаются в жизни человека события, которые производят полное опустошение, оставляют тяжелый, неизгладимый след. Такие раны долго не зарубцовываются. Иногда в результате подобной катастрофы изменяется весь ход мыслей, вся направленность, человек как бы прозревает, приобретает умудренность, переоценивает многие свои прежние взгляды. Некоторые под тяжестью неизбывного горя сгибаются, теряют душевное равновесие и больше уже никогда не могут оправиться от удара. Другие, наоборот, встречают испытание судьбы с гордо поднятой головой и в ответ дают клятву идти еще тверже, бороться еще настойчивей.

Крутойяров обладал устойчивой психикой, но все в себя впитывал, все остро переживал и до осязаемости воплощался в тех, кто не сдается, в тех, кто падает духом, и таким образом жил тысячами жизней и радовался и терзался тысячами сердец.

События, которые охватили все огромное пространство Российской империи с первых же дней, с первых десятилетий двадцатого столетия, не оставили непричастным ни одного человека. Войны, революции, битвы, казни... Неслыханные подвиги и невиданные жестокости. Вершины благородства, самоотверженности и примеры небывалого предательства. Разлуки и находки, взлеты и падения. Бесчисленные случаи раздирающих душу драм и величавого, гордого проявления гуманизма. Расцвет дарований. Пробуждение народного гения. Утро страны. Утро человечества.

Вот в какое время жил Крутойяров. Вот какая эпоха прошла перед его взором. Он видел, как от каждого вдруг потребовались усилия в десять раз большие, чем, казалось бы, он мог. От сознания, что борьба идет за самое существование отчизны, за переустройство мира, у людей вырастают крылья и становятся до того наполненными до краев дни, что по деяниям, переживаниям каждый успевает за одну жизнь прожить десять, двадцать жизней, сто.

Крутойяров считал святым своим долгом запечатлеть все виденное, сохранить для будущих поколений правдивый, выпуклый облик эпохи, воплощенный в точные, сильные слова, в типическое, в обобщенные характеры. Размышляя над своими творческими планами, Крутойяров понимал, что предстоит ему огромный сверхчеловеческий труд, но думал об этом без боязни, без колебаний. «Должен. Сделаю», — говорил Крутойяров себе. И, мысленно окидывая взором эти пламенные, мятежные десятилетия, всегда догадывался, что, если попробовать выразить всю суть в одном слове, слово это будет «Ленин».

Смерть Ленина была потрясением, горем — таким, какое накладывает на лицо глубокие морщины и проступает седой прядью волос. В траур облачилось все, что способно чувствовать, мыслить, все прогрессивное и честное на земле.

В доме Крутойярова горе было немногословно, таким и бывает настоящее глубокое чувство. Не стыдно было и не трудно быть всем вместе — и Надежде Антоновне, и Ивану Сергеевичу, и Маркову с Оксаной — быть вместе и молчать и думать горькую думу.

Читали вслух обращение ЦК. Слушали радио.

— Ведь знали, что это неизбежно, — проговорил Крутойяров, может быть даже не сознавая, что произносит вслух, — знали... А как невыносимо тяжело, когда это все-таки

случилось...

Снова молчание. Снова погруженные в себя, в свои мысли сидели все, собравшись в столовой, но сидели не за общим столом, а кто где.

— До чего же мы бессильны, до чего маломощна медицина! — снова заговорил Крутойров. — Такого человека не сохранить! Ведь всего пятьдесят четыре года... А какая-нибудь мозолящая глаза ничтожность тянет до столетия!

— Не умеем мы гениальных людей беречь, это правда, — согласилась Надежда Антоновна. — Убивать придумали тысячи приемов, а вот жизнь отстоять...

— Довели его, — охрипшим голосом сказал Марков. — Сверхчеловеческий груз поднял. Разве можно вынести?

Крутойров не мог оставаться дома. Бесцельно слонялся по улицам, вглядываясь в каждое встречное лицо и стараясь угадать: радуется втайне этот человек или наполнен большой скорбью и горечью? Все лица были печальными.

Крутойров, остановившись, слушал приглушенные шумы города. Как будто город ходил на цыпочках и говорил вполголоса в эту горестную минуту. Врезались в память рубленные строчки стихотворения, напечатанного в эти дни в петроградской «Красной газете»:

Город дрогнул. Гудки окраин
Провожали тело Ильича.
Город кричал, словно больно ранен
Был в этот час.

Стихи выражали чувства, охватившие Крутойрова, и он все повторял:

Город кричал, словно больно ранен
Был в этот час...

«Да, город ранен. Но раны зарубцуются, а воля к победе станет непреодолимей!»

Вечером Крутойров выехал в Москву.

Первым, кого встретил, выйдя в Москве из вагона, был Марков. Оказывается, они приехали одним поездом.

— В таком случае, пошли, — предложил Крутойров.

И они пошли рядом, молча, вглядываясь в лица встречных.

А потом оба были на Красной площади.

В этот день гроб с телом Ильича был перенесен из Дома Союзов на Красную площадь. Там гроб поместили на особом постаменте. Прощаясь с Ильичем, проходили мимо в скорбном молчании москвичи, и делегации, и просто люди, которые так же, как Марков и Крутойров, не размышляя, бросив все, приехали в Москву.

В четыре часа дня объединенный оркестр грянул душераздирающие аккорды Чайковского, ухитрившегося заглянуть в глубины души человека, в самые заповедные тайники.

Одновременно с оркестром тысячи гудков фабрик и заводов слились с залпами прощального салюта орудий. На пять минут остановились автомобили и пешеходы, заводские станки и поезда. Пять минут молчания. Пять минут горького раздумья.

Гроб с телом Ленина перенесен в Мавзолей.

Ночным экспрессом Крутойров и Марков вернулись в город, отныне носящий имя Ленина. Вышли на обширную площадь перед вокзалом. Здесь когда-то стояли приехавшие из Умани Марков и Оксана. Не так много времени прошло с тех пор, но как все изменилось. И город не казался теперь Маркову страшным и непонятным. Марков знал его и любил.

Было утро. Холод и по-утреннему прозрачный и ясный воздух вливали бодрость в дряблкое, уставшее после дороги тело.

Крутойров остановился, приглядываясь, прислушиваясь. Город погрохатывал, жил,

шумел.

— Вот так-то, Михаил Петрович, — громко, отчетливо произнес Крутойяров. — Что ж, будем продолжать жить.

Человек не может долгое время находиться в состоянии безумного отчаяния, болезненно-неистового возбуждения, даже сосредоточения и внимания. Наступает реакция. Приходит утомление. Организм отключает переживание, которое было бы пагубным, если бы еще его продлить. Нельзя упрекнуть близких людей умершего, если в их отчаянии происходит перелом. С кладбища родные и близкие возвращаются печальными, но умиротворенными. Скорбь об утрате должна выливаться в деятельность: в служение тому делу, которое не закончил умерший, в заботы об увековечении его памяти.

— Будем продолжать жить, — повторил Крутойяров.

Мимо них хлынул поток людей. Очевидно, прибыл какой-то поезд. Люди спешили, оживленно о чем-то говорили, несли сумки, свертки, чемоданы. Вымахнув из здания вокзала, они веером растекались в разные стороны: кто пешком на Старый Невский, кто в сторону остановки трамваев на Лиговке, кто прямо — на Невский проспект.

Крутойяров внимательно смотрел на людской поток, на соотечественников, на братьев, на жителей прекрасного города прекрасной страны. Это были его современники, однополчане, те, с кем рядом он шел по дорогам войны и по дорогам свершений. Вот они — простые и в то же время необыкновенные, казалось бы, самые будничные и заурядные, но между тем способные творить чудеса.

Вглядываясь в их лица, в их уверенные движения, вслушиваясь в их говор, в их бодрые голоса, Крутойяров осознал в этом что-то значительное, что отвечало на самые трудные, недоуменные вопросы бытия — вопросы смерти и жизни, мимолетности и вечности.

— Жизненный процесс как эстафета, — медленно произнес Крутойяров. Те, кто уходят навсегда, передают наказ оставшимся: продолжать жить, завершать незаконченное, продумывать новое, искать неотысканное...

Марков молчал. Он понимал, что Крутойяров в раздумье, и боялся ему помешать.

...Прошел январь 1924 года. За январем промелькнул коротенький февраль... Мир жил, хлопотал, боролся...

Одиннадцатая глава

1

Писатель Бобровников вдруг стал темой номер один, знаменитостью, о нем заговорил весь эмигрантский Париж. И не потому, что он написал замечательный роман или поставил в театре экстравагантное ревю. Тут было другое: он уезжал в Россию, в Советскую Россию, кажется, уже получил визу, словом, сам лез в пасть ГПУ. Одни бранили его, обвиняли, позорили, другие втайне завидовали. Всем интересно было, что из этого получится. Расстреляют? Или простят?

Мария Михайловна Долгорукова уже не говорила о Бобровникове, что у него неписательский вид, что он ей не нравится. Теперь он ее интересовал, и она даже требовала, чтобы князь Хилков во что бы то ни стало привел его, только как-нибудь так, вроде бы случайно, и чтобы без лишних свидетелей неудобно все-таки, переметнулся на ту сторону. Но у Марии Михайловны есть к нему одно дело... думаете, насчет «Прохладного»? Нет, совсем другое, очень личное и очень важное, очень.

У князя Хилкова была маленькая тайная страстишка: он любил посещать кабачки, низкопробные кабаре. Ему нравилось смотреть на пьяных, разухабистых женщин, на шумных собеседников за столиками, уставленными бутылками... За последнее время он особенно пристрастился к одному из бесчисленных русских кафе, какие пооткрывали бывшие сенаторы, бывшие помещики, бывшие врангелевские полковники, стремясь

заработать хлеб насущный.

Это кафе носило название, которое сразу привлекало внимание: «У самовара я и моя Маша», и около названия на вывеске был изображен сверкающий медью самовар — бокастый, с кружевной конфоркой и расписным чайником, со струйкой пара, поднимающейся вверх. Словом, не хватало только связки бубликов, чтобы представить былую российскую «обжорку», канувшую в Лету вместе с царским двуглавым орлом, хоругвями и крестными ходами.

Сюда-то и приходил князь Хилков, усаживался где-нибудь в уголке и, рискуя испортить желудок, заказывал порцию гречишных блинов или московские расстегаи.

И вот как-то, пробираясь между столиками и разглядывая скатерти, вышитые петухами, князь набрел на Бобровникова. Если бы не настоятельные просьбы Марии Михайловны, он бы сделал вид, что не узнал писателя, или же ограничился бы легким поклоном и быстро ретировался. Но теперь он принял другое решение. Вот когда он сумеет выполнить поручение Марии Михайловны и под каким-нибудь предлогом пригласит Бобровникова!

С непринужденностью, какая вырабатывается годами светской жизни, князь Хилков приветствовал романиста, с подчеркнутым удовольствием принял приглашение «разделить компанию» и несколькими удобными, обтекаемыми, ничего не значащими фразами устранил неловкость, которую заметил в Бобровникове, так как тот восседал один на один с наполовину опорожненной бутылкой водки, по внешнему виду в точности такой, какой была царская сорокаградусная с белой головкой.

— Тоже любите заглянуть в эти злачные места? — игриво спросил князь Хилков, ничем не показывая, что сервировка столика ему не по душе.

— Завсегда этих «стиль рюсс»! — ответил Бобровников. — Только предупреждаю: водка здесь форменная дрянь. Не советую.

— В самом деле? — спросил озабоченно князь, хотя отнюдь и не собирался заказывать водку. — Тогда я рискну, если позволите, потребовать бутылочку шабли? Рад встретиться, слышал, что уезжаете? Надеюсь, придете попрощаться? Мария Михайловна уполномочила меня передать, что будет рада вас видеть. Например, что вы скажете, если во вторник, часов в одиннадцать?

Бобровников не удивился приглашению. За последнее время он только и делает что встречается, выслушивает предостережения, отвечает на расспросы, огрызается, когда начинают бранить, и повертывается спиной, услышав угрозы.

— Во вторник? Зайти, конечно, могу, только чего это я понадобился княгине? Мода! Вы думаете, зачем я здесь сижу? Удостоился приглашения от самого Сергея Степановича Рябинина. Вот как у нас! «Не угодно ли вам будет посидеть со мной за рюмкой вина?» — «С превеликим удовольствием!» «Хотелось бы, знаете ли, в тихом уголке, где нам никто не помешает, поболтать о том о сем!» — «Помилуйте, в Париже таких уголков множество!» и предложил я ему вот это самоварное захоlustье, нарочно выбрал самое невзрачное, — это миллионеру-то! Воротиле российскому!

— Я, кажется, буду не совсем кстати...

— Напротив, поприсутствуйте, получите феноменальное удовольствие. Я Рябинина знаю еще по Петербургу, он там журнал издавал, на веленовой бумаге, с виньетками. «Эллада». Курс на разбогатевших лавочников и присяжных поверенных. И платил, сукин сын, хорошо. Созвал как-то раз писательскую братию, не кое-каких — маститейших. Ему чего церемониться? У него деньги! Усмехнулся наглецки и вылепил нам в глаза: «По-моему, что писатели, что продажные твари — разницы никакой. У них товар — у нас деньги. Заплати — и будьте любезны, что прикажете». Оскорбились мы тогда, хотели бойкотировать его «Элладу», да так как-то не получилось, не собрались. Вот вы — человек из другого мира, только кораблекрушение выбросило нас на один остров... Скажите объективно: разве хорошо так оскорблять? Ведь он нас с грязью смешал! А мы молчали... Чувствовали, видимо, что грубо, а какая-то доля правды в его словах все-таки есть... Есть или нет? Вы режьте начистоту, по-русски. Ну?

— Если хотите знать мою точку зрения... — замялся князь, — я вообще невысокого мнения о человеческой породе. Например, собаки, на мой взгляд, куда интеллигентнее. Умные, честные. Не предадут. А слоны? А лошади? Особенно лошади!

Князь Хилков мечтательно задумался, но тут же спохватился и стал отнекиваться:

— Парадоксы! Не обращайтесь на меня внимания... Я ничего не смыслю, ничего не знаю, а главное — не стремлюсь знать.

— Но что вы скажете о Рябинине? — настаивал Бобровников. — Не уваливайте от прямого ответа.

— Господин Рябинин, как мне кажется, узко поставил вопрос. Судите сами, разве по сути вопрос поставлен неправильно? Все мы продажные твари! Все на свете продается, только цены разные. Но боже упаси, я не отнимаю вашего права считать писателей существами особенными! Я только думаю, что писательская профессия тяжелая, но не тяжелее, чем другие. Разве легче продавать себя для работы в угольной шахте? По-моему, так ужасно! Или служить тюремным надзирателем... А? Как вы думаете? Или работать на бойне... Бр-р! Все эти кишки... Однако этот разговор не по мне. Я совершенно не гожусь в философы.

— Д-да-а! — выдохнул Бобровников, отодвигая рюмку и почти с ужасом разглядывая князя. — Вот вы какой! Не зна-ал. Простите за откровенность считал вас пустым местом... Эх, Рябинин не слышал! Нет уж, вы, пожалуйста, не уходите. Имейте в виду: Рябинин умен! Какой он там ни есть, а умен, чертушка. Кстати, вот он и сам пожаловал, теперь уж вам этикет не позволит испариться.

2

Рябинин вошел хмурый, сосредоточенный. Он привык, где бы ни появился, вызывать шумный восторг и теперь только досадливо отмахнулся от хозяина этой чайнушки, забывшего о своих орденах, какие он носил в былые времена, о своем полковничьем чине и превратившегося в безобидного хлопотливого хозяйчика, раболепно встречающего богатых клиентов.

— Лестно, весьма лестно! Конечно, у нас не «Пайяр», не «Ларю», зато все русское! — бормотал он, мельтеша перед Рябининым и мешая ему пройти. Добро пожаловать, Сергей Степанович! Удачно! *Par excellence*⁶ сегодня, к блинам! *Faute de mieux*...⁷

— Бобровников не приходил? — не здороваясь, спросил Рябинин, но тут же увидел писателя и направился к нему.

Ничуть не удивился присутствию князя Хилкова. Выражение его лица говорило: «Хилков так Хилков. Какая разница». Но галантно подскочившего и звякнувшего шпорами завитого и нафабреного гусара без всякого стеснения прогнал:

— Ладно, ладно, без тебя обойдется. Не мешай.

— Виноват, Сергей Степанович... Я только хотел...

— Проваливай, проваливай, брат. У нас тут дело... Развелось этой шушеры! — обернулся Рябинин к Бобровникову и Хилкову. — Нигде не укрыться! На Невском у Палкина и то было сподручнее... Так как? Едем? — глянул он на Бобровникова. — Уже были и на Рюде-Гренелль? В полпредстве? У Красина?

— Еду, Сергей Степанович. Завтра иду визу получать, и — на Северный вокзал!

— Выходит, перебежчик?

— Нет, это называется по-другому: возвращение блудного сына. С меня довольно, не могу больше на это гнилое болото глядеть. Такая мерзость. Думал, так и пропаду. И вдруг — как солнце брызнуло. Пускают! В Россию!

⁶ *Par excellence* — в особенности (франц.).

⁷ *Faute de mieux* — за неимением лучшего (франц.).

— России нет. Есть Совдепия.

Рябинин сел напротив, долго молча тяжелым взглядом смотрел на Бобровникова, потом без злорадства, даже с грустью добавил:

— Расстреляют они вас. Как пить дать расстреляют. А эти наши молодчики — из кутеповского «Союза галлиполийцев», — эти ерунду придумали. Пойдем, говорят, на вокзал и морду ему набьем. Это вам то есть. Мальчишество. Ведь не гимназисты. Я, собственно, и пришел об этом вас предупредить. Но коммунисты — серьезный народ. Вот увидите — обязательно расстреляют.

Бобровников молчал. Рябинин тоже замолк, молча придвинул бутылку водки, хозяин чайнушки мигом распорядился подать ему рюмку из особого для почетных гостей — советского хрустального сервиза, купленного в 1923 году в Лионе, на международной ярмарке в советском павильоне. Рябинин налил, выпил и чертыхнулся:

— Ну и мерзость. Дайте-ка коньяку.

Князь Хилков, прямой, вежливый, внимательный, сидел, как в театральной ложе, слушал и поочередно смотрел то на Бобровникова, то на Рябинина. Его не тяготило, что он молчал. По-видимому, он чувствовал себя превосходно и слушал с нескрываемым удовольствием, так и казалось, что вот-вот он заплодирует.

Принесли бутылку коньяку и еще три рюмки. Рябинин повертел рюмку в руках:

— Завод имени Ломоносова? Понятно. Бывший императорский. Помню.

Опять молчание.

— Почти достигли довоенного уровня? Я говорю о Советской России. Допустим. Но чем? Ограбили банки. Потом ограбили церкви, даже колокола стибрили, даже ризы с икон содрали. Что дальше? Наладили промышленность? Ну, это туда-сюда, но доходы-то кому? Государству? Наладили дело на приисках — все золото опять государству, весь уголь, никель, все железо, вообще все, даже прибыль от каждого фунта сахара — все в одни руки... Это, конечно, один-ноль в пользу Советской власти, не спорю. М-да. Тут есть над чем задуматься. Для них один-ноль, а для меня? Нет! Не приемлю! Верую, господа, помоги моему неверию! При социализме полная возможность государству лезть в любой частный карман. С кем спорить? На кого жаловаться? Дери прямые, дери косвенные налоги, устанавливай какой вздумается нищенский оклад — все сойдет, все стерпят. В природе человека в свою пятерню загребать, копить, наживать, а у них как? В общий котел? Да тогда на какой ляд и работать? Тогда и воровать не стыдно, казенное всегда тянут. Тогда — извините, пожалуйста, — пусть другие работают, работа дураков любит, а я уж погожу... Нет, не понимаю я этого, честно говорю, не понимаю! Человек — хищное животное, ему хочется живое мясо рвать, а тут его пичкают травкой социализма. Ничего у них не получится с социализмом! А чтобы наверняка не получилось, мы со своей стороны тоже постараемся. Где под руку подтолкнем, где в бочку меду ложку дегтя прибавим. Теперь, без Ленина, это будет проще, легче. А как же, господин... то бишь товарищ Бобровников? Сочтем своим долгом! Мы должны это делать. Если не это... тогда что же остается?

— У вас безвыходное положение, вот и злобствуете. Вы — макулатура. Знаете, тряпичники собирают обрезки, всякий хлам, и это идет в перемол, на бумажную фабрику...

— Заговорил! — усмехнулся Рябинин, подмигивая князю Хилкову. — За живое задело!

Бобровникова и вправду задело. Он подумал, слушая Рябинина, что хватит, почитал Рябинин мораль в былое время в Петербурге. И чего примчался? Чего ему надо? Предупредить, что морду хотят набить какие-то молодчики? Вряд ли. Это предлог. Утешения для себя ищет! На душе-то скребет, вот и мечется. Так получай же, почтеннейший издатель «Эллады»! Кушай на здоровье!

— Ваша дочь, господин Рябинин, вышла замуж за норвежца. Пройдет несколько лет — и она разучится говорить по-русски. Да и вы-то сами по-русски разучитесь, по-французски не научитесь... Вы... как бы это сказать... рассосетесь, сойдете на нет. Это ваша величайшая трагедия, вы не меньше, чем я, тоскуете по родине, наверное, плачете по ночам, во сне Литейный проспект снится да Адмиралтейство, локти кусаете, но вот какая оказия: я могу

вернуться, а вы нет, вы вышвырнуты навечно. Я нагрешил, наделал глупостей, въелось рабское угодничество в меня, казалось, как же так, могу ли я жить не в вашей лакейской? Могу! И все, что наделал, поправимо. Меня примут, мне поверят. И Куприн может вернуться, даже Бунин может! А вам пути отрезаны, батенька, и, конечно, вам это невыносимо, мучительно, больно. Скоро я буду в другом мире, недоступном даже вашему пониманию, в другом, совсем, окончательно другом, я это чувствую, хотя еще плохо разбираюсь. А колокола... что ж? Они сделаны народом, он хозяин, хочет — на колокольне их вешает, хочет — переплавит на снаряды, чтобы по вас бить...

Упоминанием о дочери Бобровников попал в самое больное место. Рябинин так и взвился, но тотчас овладел собой, сел, даже весь багровый стал и жилы надулись. Рябинин больше всего боялся, что его дети забудут Россию, родной язык. В доме Рябинина полагалось говорить только по-русски. И книги у него в шкафах были русские. Но улица, театр, товарищи — все вокруг было иное. И мальчики тайком от отца встречались с французскими девчонками, с французской молодежью, и нет-нет да и дома срывалось у них с языка французское словечко, а то еще брякнут что-нибудь на арго, это и вовсе приводило Рябинина в бешенство. Ведь Рябинин верил (или притворялся, что верит?) в скорое возвращение, в скорое падение советского режима. Ударом для Рябинина было бегство из дому дочери. Она оставила записку: «Папочка, не сердись, ты же не хочешь, чтобы твоя дочь отказалась от счастья. Мы любим друг друга, твоих денег нам не надо. Мы уже повенчаны, а когда ты сменишь гнев на милость, мы оба — Ивар и я — придем просить у тебя прощения за самовольство. Твоя Лидия».

Вся эта история обсуждалась и пересуживалась всюду, о романтической любви Лидочки знали в самых широких эмигрантских кругах. И нельзя сказать, что Лидочку осуждали. Графиня Потоцкая — та была прямо в восторге. Поговаривали даже, что первую ночь влюбленные скрывались именно у нее.

Рябинин был достаточно умен, чтобы не поднимать скандала. Напротив, он немедленно узнал адрес молодоженов и написал, что удивляется, зачем понадобилась такая конспирация, что он не какой-нибудь самодур, чтобы навязывать детям свои вкусы. Рябинин перевел на имя дочери значительную сумму, после чего молодые преспокойно уехали в Осло.

В сущности, дочка пошла вся в отца, была такая же взбалмошная и порывистая. Рябинину не на что было жаловаться. Взять даже и сегодняшний случай: ну зачем понадобился Рябинину Бобровников? Но Рябинин не привык ни в чем себе отказывать. Вздумалось посмотреть на вновь испеченного советского гражданина — выполнил свой каприз.

Бобровников не первый, кто возвращался из эмиграции в Советскую Россию. Это стало распространенным явлением. Но Рябинин читал резкие антисоветские статьи Бобровникова. Что же случилось? Изменились взгляды? Ведь никто Бобровникову не предлагал каких-то особенных материальных выгод, никто не уговаривал его, напротив, сам он каялся и проклинал день, в который решился покинуть родную страну, не разобравшись, что в ней происходит. Рябинин внимательно прочел новые выступления в печати Бобровникова. Как будто они искренни. Бобровников старается во всем разобраться, ничего не замалчивает, ничего не скрывает и с какой неприязнью пишет об эмигрантах!

Прочитав эти саморазоблачения, Рябинин спросил себя, мог бы он, Рябинин, отказаться от своих взглядов, убеждений и пойти работать в Советской России, где-нибудь в ВСНХ? Никогда! Сколько он будет жить на свете, столько будет бороться всеми доступными ему средствами против коммунистов! Рябинин во многом разделял мнение Бобровникова, когда речь шла об эмигрантах. Рябинин и сам презирал всех этих ни на что не способных графов и князей, сам считал бездарью белых генералов, так позорно проигравших все до одной кампании. Но Рябинин считал, что борьба не кончена. Все впереди. Еще будет сказано последнее слово.

Писатель Бобровников талантлив и пишет только то, в чем убежден. Рябинину хотелось добиться в сознании этого писателя этакой трещинки. Пусть сядет за письменный стол в

нетопленной квартире в Петрограде (то бишь теперь в Ленинграде!) и, задумавшись, вспомнит некоторые соображения Рябина, делового человека, практика, убежденного сторонника капитализма, может быть, с поправками, но капитализма.

Все эти мысли вихрем пронесли в голове Рябина, и к нему вернулась обычная самоуверенность.

Дал высказаться Бобровникову, нетерпеливо махнул рукой некоторым субъектам за соседними столиками, чтобы не навостряли уши и не вмешивались. Затем сказал:

— А может быть, вас и не расстреляют большевики, с писателей спрос невелик, но мы, когда придем в Россию, уж обязательно вас повесим.

— Я и не сомневаюсь, что вы повесили бы. Что делать! От смерти не посторонишься. Только очень сомневаюсь, что вам удастся прийти. Кто вам поможет? Антон Иванович Деникин? Но он уже мемуарист — сидит пишет исповедь. Или Врангель? Кажется, всех перепробовали.

— Понадобятся, как видно, иностранные штыки.

— Кто же? Немцы?

— Хотя бы.

— Это вы, Сергей Степанович, только сгоряча могли сказать. Даже отпрыск царской фамилии, великий князь Дмитрий Павлович — уж его-то заподозрить в симпатиях к коммунистам трудно — и тот заявил, что в случае войны с Германией эмиграция должна встать на сторону Советской России.

— Мы немцев только используем.

— Ой ли? Смотрите, как бы они не обвели вас вокруг пальца. Вообще же... — Бобровников вдруг споткнулся, пораженный какой-то мыслью, и замолк.

Рябинин выжидательно смотрел. Князь Хилков был невозмутим и явно не намеревался и в дальнейшем произнести хотя бы слово.

Наконец Бобровников сформулировал осенившую его мысль и уже без запальчивости, даже как-то устало произнес:

— Собственно, зачем спорить? Зачем весь этот разговор, да еще в таких нервных тонах? Не собираемся же мы в чем-то один другого убедить? Вы меня не поймете, я вас. Больше скажу, я и сам-то себя не понимаю. Получил недавно письмо — оттуда, из города на Неве, от Крутоярова — слышали про такого? Писатель, выпустил не один десяток книг. Так вот пишет он мне, словно я несмышленный и, как говорят, трудный младенец. Он старается доступно объяснить мне, что оторваться от родины для писателя — смерти подобно. Ничего, говорит, вы не напишете, если немедленно не приедете сюда. Объяснять, говорит, долго и сложно, сами поймете, когда приедете. Нельзя, говорит, русскому писателю в такое время не быть на Родине. И так он написал, что у меня все нутро перевернуло. Ведь мы ничего не знаем о том, что в России свершается, ничего. Вся эта писанина эмигрантской прессы только мозги засоряет. А поэзия? Боже мой! Даже те, кто покрупнее и, как говорится, смолоду захвалены, помилуйте, какой пишут несусветный вздор! «Я ненавижу человечество, я от него бегу спеша». Глупо! Беспомощно! И не самостоятельно: Шопенгауэр! Иные не без таланта, но и талант не выручает, как на Руси, бывало, случалось: сеяли рожь, а косим лебеду. Я уж не говорю о Нине Берберовой, Вере Лурье — вам попадалось поэтическое повидло этих дамочек не то в берлинских «Днях», не то в «Руле»? Мерзость! Грехопадение! Бежать, бежать отсюда без оглядки! Я русский, понимаете вы это? И я хочу отдать своему народу все силы, все способности. Я ничего не знаю об Октябрьской революции, о новой России. Вероятно, мои убеждения наивны, но и того, что я понял, достаточно, чтобы любить эту новую Россию. Вы вот сказали, что готовы усмирять революцию германскими штыками. А знаете, какой роман я издам, приехав в Москву? Называется — «Бескровное вторжение», я и материал собрал, шесть глав написано. Из вороха газетных вырезок, очерков, монографий в роман войдет сотая доля. А жаль! Авторам исторических романов следовало бы одновременно с самим романом издавать все собранные для работы выписки, заметки, справки — какое было бы богатство для изучающего ту или иную эпоху!

— Вы бы без предисловия рассказывали о своем романе, ведь вам именно этого хочется.

— Я и расскажу, вам это полезно послушать. Мой роман «Бескровное вторжение» — это суровое обвинение вам, властителям предреволюционной России. Место действия — Питер, провинция, фронт. Время действия четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый годы.

— Да? В советских издательствах не напечатают. Им подавай революцию. Придется вам романчик-то сюда прислать, мы издадим.

— Вряд ли он вам по нутру придется. В нем речь о том, как вы продали Россию, всю, с потрохами. О том, как у русской императрицы, истощенно ненавидевшей Россию немки, были в руках все государственные тайны. Выпускалась тогда секретная военная карта с обозначением расположения наших войск. Выпускалась в двух экземплярах — один лично для Николая, другой — для начальника штаба генерала Алексеева. А впоследствии нашли в бумагах царицы эту карту, оказывается, у нее каким-то образом очутился третий экземпляр! Это у немки-то, родственницы Вильгельма!

— Да это же всем известно, это в мемуарах Деникина напечатано!

— А известно ли вам, что Прибалтийский край немцы называют попросту «Erste deutsche Uberseekolonie»⁸, что им покою не дает идея: «Das grossere Deutschland»⁹, что они ко времени мировой войны тысяча девятьсот четырнадцатого года успели уже захватить ключевые позиции в царской России, завладели русской нефтью, русскими железными дорогами? Куда ни ткнись — немец! Генералы и полковники — немцы, аптекари — немцы, продавцы в магазинах, музыканты, фабриканты, зубные врачи — немцы, немцы, немцы...

— Известно, — с деланно-безразличным видом отозвался Рябинин. — Все это известно. Боюсь, что ваш роман будет скучноват.

— Известно ли вам, что помещение у нас германских капиталов носило завоевательный характер? Что вместе с капиталом засыпались и банкиры, чтобы захватить все сферы влияния?

— Но это же азы! Все капиталистические страны так действуют!

— Известно ли вам, что, засылая к нам немцев, Германия давала им наказ: «Говорите по-немецки за границей, не забывайте, что вы немцы, иначе Германская империя никогда не осуществит своего мирового назначения». А как они Польшу заселяли? Как выкачивали из России денежки? Как завладели семьюдесятью процентами газовых предприятий в России, почти всей электрической промышленностью и половиной химической? Все эти заполонившие Россию Коппель, Кертинг, Вальдгоф и прочие свои отчеты составляли на немецком языке! А швейные машины «Зингер»? Вот образец легальной контрабанды! В военное время компания Зингер оказалась разветвленной шпионской организацией, и в нелепом шаре над зданием Зингера на Невском проспекте была запрятана шпионская радиостанция. А графиня Клейнмихель, приятельница императора Вильгельма? А вдова великого князя Владимира Александровича, урожденная немецкая принцесса и прирожденная шпионка Мария Павловна? А немецкие пасторы, вертевшиеся в Царском Селе? А этот — как его? — гофмейстер двора, член государственного совета? Из его имени на острове Эзель передавались световые сигналы о движении наших кораблей. Барон Пиляр фон Пильхау создал целую шпионскую сеть, камер-юнкеры Брюмер и Вульф шпионили под ширмой лазаретов Красного Креста... Когда эту публику привлекали к ответственности, поступал запрос из канцелярии императрицы Александры Федоровны и шпионы снова оказывались на свободе. Они лезли во все щели, все эти фон-бароны, наглея с каждым днем!

Бобровников перевел дух и собирался обрушить новый поток фактов. Видимо, в нем еще не перекипели собранные для романа и еще полностью не осмысленные материалы, раз

⁸ Erste deutsche Uberseekolonie — первой немецкой колонией (нем.).

⁹ Das grossere Deutschland — Великая Германия (нем.).

он так разговорился. Но он увидел скучающее лицо Рябинина и полное невозмутимого равнодушия пергаментное лицо князя Хилкова и замолк, рассмеявшись неожиданно добродушным и извиняющимся смехом.

— Эка прорвало меня. Но я вам объясню. Я вижу большой глубокий смысл во всем этом. Судя по тому, какую ярость вызывает новый строй России в сердцах американских, немецких и прочих и прочих правителей, этот строй сулит им мало хорошего. Но если взять только одну сторону — освобождение России от всяческих бескровных завоевателей, от иностранного ига и пробуждение ее национальных сил, то и это одно на веки вечные прославит советских освободителей. Вы, господин Рябинин, бьете себя в грудь и клянетесь, что любите Россию. Но вы повинны в тяжком преступлении, вы продали Родину, разбазарили ее, если не сами, то попустительствовали этому, а новые правители России вернули народу все, что у него было раскрадено. Вот это и будет идеей моего романа.

— Bravo! — не выдержал наконец князь Хилков. — Крепко сказано! Брависсимо!

— Да обвинение-то прокурора в равной степени относится и к вам! раздосадованно крикнул Рябинин.

— Я не участвую в человеческой комедии, разыгрывающейся на земной планете, — галантно пояснил князь Хилков. — Я только зритель.

3

Перед отъездом в Советскую Россию Бобровников, выполняя обещание, побывал у Марии Михайловны. Она встретила его с меланхолическим видом, пояснила, что ей нездоровится, грустным голосом предложила чаю. Кроме Бобровникова, никого не было. Ему подали чай. В доме была какая-то гнетущая тишина. В огромных комнатах холодно и неудобно. Мария Михайловна говорила тихим упавшим голосом, куталась в пуховый платок, глаза ее припухли, будто она только что плакала.

— Очень любезно, что вы не отказались навестить несчастную одинокую женщину. Ваш отъезд всколыхнул в памяти давнее прошлое. Так странно, что вы спокойно сядете в поезд и поедете... туда! Мне всегда представлялось, что там давно уже ничего нет, пустота, провал... Мне как-то в голову не приходило, что туда можно вот так запросто — сесть в купе и поехать. России нет... То есть я имею в виду — той, нашей России. Та Россия, как град Китеж, погрузилась на дно озера, сгинула, исчезла...

Она говорила медленно и не очень связно. Как будто бредила. Она еще не опомнилась от недавнего сильного потрясения.

Приехал в Париж московский Большой театр — советский балет и советская опера. Мария Михайловна сидела в ложе. На сцене помещичьи девки собирали малину и пели «Девочки-красавицы»... На сцене варили варенье... и Татьяна Ларина назначала свидание Онегину... Прекрасные голоса, изумительная музыка Чайковского... Зрительный зал был наполнен разнаряженными женщинами. Сверкали кольца, серьги, браслеты, кулоны, которые каким-то чудом еще уцелели от прежних времен... Сверкали лысины мужчин, неуклонно стареющих, доживающих дни здесь, в эмиграции, не у дел, в настоящей, на холостом ходу вертящейся жизни... Мария Михайловна, потрясенная, растерянная, сидела в ложе и плакала, плакала неутешно, горько, обиженно. У нее было впечатление, что она из загробного мира, из могильного склепа ухитрилась подслушать явственно долетающие до нее звуки той, настоящей, благоухающей жизни.

Не ходи подслушивать,
Не ходи подглядывать
Игры наши девичьи...

— пели помещичьи девушки.

Сердце разрывало это стройное пение. Нет больше помещичьих девушек! Нет больше

добрых нянь и соседей-помещиков! Ничего нет, миф, мираж, пустота...

Этот спектакль был рубежом в жизни Марии Михайловны. На следующее утро она поняла как-то сразу, внезапно, что пришла ее старость, что она безнадежно постарела, что не стоит больше притворяться и обманывать себя несбыточными надеждами, пудрой и косметическим массажем...

Люси теперь почти никогда не бывала дома. Она пропадала у графини Потоцкой. Друг дома неизменный корректный князь Хилков, дорогой Жан, по-прежнему приходил, с тревогой смотрел на Марию Михайловну, понимал ее переживания, но избегал затрагивать большую тему.

Мария Михайловна стала испуленно-религиозной. В доме появились какие-то тихие черные женщины. Мария Михайловна не пропускала ни одной службы в церквушке на Рю-Дарю. И вот в ту пору ее стала преследовать мысль, что нельзя допустить, чтобы на крышку ее гроба сбрасывали комья чужой, французской земли...

Напоив чаем Бобровникова, она сразу приступила к делу.

— Вы вправе пренебречь моей просьбой, господин Бобровников, но если бы вы знали, как это для меня важно... Это, пожалуй, уже последнее, что я хочу получить от жизни...

— Вы хотите что-нибудь послать со мной в Россию? У вас там есть родственники? — попытался помочь княгине Бобровников, видя, в каком она затруднении.

— Напротив. Я хотела бы получить оттуда... землю. Мою землю.

— Позвольте, — совсем растерялся Бобровников, с опаской поглядывая, не рехнулась ли эта светская старуха, — но всем известно, что помещичьи земли в Советской России конфискованы, переданы народу!

— Вы не поняли меня. Мне нужно совсем немного земли, горсточку, какой-нибудь, знаете ли, мешочек...

Бобровников все еще ничего не понимал.

— Горсточку? То есть как горсточку?

Когда княгиня Долгорукова пояснила, сколько ей нужно земли — родной священной русской земли — и для какой цели, Бобровников смутился, растрогался и долго уверял, что выполнит эту необычную просьбу.

— Обязательно пришлю! Сочту долгом! — повторял он, уже прощаясь.

Он и на самом деле не забыл о своем обещании. Опомнившись от первых встреч и первых впечатлений в Ленинграде, Бобровников отправился однажды к Таврическому саду. Там, почти на углу Шпалерной улицы, которая именовалась теперь улицей Воинова, он нашел маленький магазинчик, где продавали цветы, саженцы, а также землю специально для комнатных растений.

— Будете довольны, товарищ! — приговаривала розовощекая бойкая бабенка, наполняя землей принесенный Бобровниковым холщовый мешок. Чудная земля, вы только потрогайте — пух! Мы ее готовим по всем правилам, под руководством садовода!

Бобровников не сразу нашел способ, как переслать свою посылочку в Париж. И как же обрадовалась подарку Мария Михайловна! Как благодарила!

4

Слух о том, что княгиней Долгоруковой получена подлинная русская земля, с быстротой молнии разнесся по Парижу. В дом Долгоруковой потянулись породистые, чопорные, элегантные старухи, сухощавые, еле передвигающие ноги, усохшие, с обвислыми щеками, с тусклыми пустыми слезящимися глазами.

Мария Михайловна особо держала неприкосновенный запас — исключительно для себя. Выделила малую толику и на богоугодные благотворительные цели. А самым близким и самым именитым — столбовым дворянам, внесенным в «Бархатную книгу», сенаторам, предводителям дворянства, Рюриковичам, гедеминичам — выдавала, как особый дар, щепотку земли, отмеривая ее старинной серебряной ложечкой, с вензелем и короной.

Только и слышали в эти годы сообщения: умер такой-то, скончалась такая-то...

— Вы, конечно, уже знаете, — говорили при встрече, — вчера вечером похоронили милейшую княгиню Голицыну. Я ее помню во всем блеске. Красавицей.

— Как же, ведь она была обер-гофмейстериной императрицы! Ей не так много было лет. Другое дело — Воронцов, ему уже в празднование трехсотлетия дома Романовых было за семьдесят.

— А что старуха Клейнмихель? Она ведь ездила лечиться на воды?

— Помилуйте, она еще в прошлом году умерла.

— Разве? А какие балы она задавала у себя, на Сергиевской, в Петербурге! Помните?

— Я сам присутствовал в четырнадцатом году на костюмированном бале в ее доме. Как оттанцовывала тогда кадрили княжна Кантакузен, внучка великого князя Николая Николаевича-старшего!

— Кстати, она жива?

— Что вы! Она погибла при автомобильной катастрофе. Это случилось в том году, когда утонула, катаясь на яхте, принцесса Альтенбургская, та самая, у которой был дворец на Каменноостровском...

Это стало постоянной темой разговоров: смерть, смерть, смерть. Дошла очередь и до князя Хилкова. Он умер как-то нечаянно, мимоходом, только что собираясь побриться. Его нашли мертвым и уже заочневшим, с одной намыленной щекой.

После его смерти Мария Михайловна стала совсем придурковатой, замечали даже, что она заговаривается. Жила теперь она совсем одна в огромной и холодной, как склеп, квартире. Люси укатила в Америку. Она после многих и многих приключений, переуступив нелепого мосье Жоржа графине Потоцкой, вышла замуж за американского архимиллионера, поставляющего в армию бомбардировщики.

Зачастил к Марии Михайловне некий Рихард Гук. Он говорил на нескольких языках, и на всех с акцентом. Одни думали, что он тайный немецкий агент, другие намекали на его связи с неким засекреченным учреждением Соединенных Штатов.

Рихард Гук способен был часами доказывать Марии Михайловне бессмысленность человеческой жизни, полной тревог и обманов, тем более что видимого мира попросту нет, все существующее — только плод нашего больного воображения. Рихард Гук клятвенно уверял, что для человечества было бы выгоднее всего погибнуть в пламени войны. И быстро, и надежно! А если так, то почему бы не начать поход против коммунизма? И почему бы ей, Марии Михайловне, не завещать свое состояние на это дело?

Рихард Гук убеждал Марию Михайловну вложить капитал также в издание философских трудов его, Рихарда Гука, особенно его трактата «Нет морали!» и его научного исследования «Стыдно ли быть кровожадным?».

Мария Михайловна слушала странного проповедника со смутной тревогой, смешанной с религиозным восторгом. Но она никак не могла запомнить мудреного названия этого нового учения: экзистенциализм.

Рихарду Гуку начинало казаться, что его работа не пропадет даром, что он достаточно обработал эту чертову куклу — русскую княгиню и можно приступить к оформлению по части денежных дел. Однажды Рихард Гук пришел не один, а в сопровождении некоего джентльмена.

— Тысяча извинений! — расшаркался Рихард Гук. — Осмелился без особого на то разрешения прихватить с собой мосье Кадо, юриконсультанта нашей фирмы.

— Вашей фирмы? — переспросила Мария Михайловна, бесцеремонно разглядывая юриконсультанта. — Ага, вашей. Я не слыхала, что вы имеете отношение к какой-то фирме.

— Осмелюсь напомнить о вашем, княгиня, искреннем желании принять посильное участие в крестовом походе против антихристов двадцатого века коммунистов...

— Кхе-кхе, — издал неопределенный звук мосье Кадо.

— Участие? — удивилась Мария Михайловна. И вдруг, переходя на «ты», отчеканила: — Да ты, никак, очумел, милый человек! Никак, ты меня полковым командиром хочешь

сделать!

— Виноват, — обиженно поднял брови Рихард Гук. — Я про деньги...

— Ах про деньги?! Вот что я тебе скажу. Проповеди ты читаешь хорошо, вроде как про второе пришествие и что все погибнут в геенне огненной... А денег я тебе не дам. Не обессудь.

И княгиня встала, показывая, что разговор окончен.

— Дура дурой, а к денежкам не подберешься! — злился Рихард Гук, направляясь в прихожую. — Зря только время на нее потратил!

— Кхе-кхе! — отозвался на эти сетования мосье Кадо.

Двенадцатая глава

1

Виталий Павлович Сальников был поистине неутомим. Внешне невозмутимый, корректный, готовый каждого выслушать, ни при каких обстоятельствах не терявший самообладания, он был снедаем всепожирающей страстью. Он был жертвой дьявольского честолюбия, а ведь это страшнее, чем картежная игра или рулетка! Сальников равнодушно взирал на все земные блага. Он не обнаруживал пристрастия к вину, равнодушно смотрел на женщин, не был прихотлив, привередлив, не был разборчив в еде.

— Это все потом, это еще успеется, — останавливал он себя всякий раз, как возникали в нем смутные вожеления, интерес к такому, что могло его отвлечь и увести в сторону.

Нет, он вовсе не был аскетом! Напротив, в душе он был жадный гурман, неистовый кутила и развратник, он бесстыдно, отчаянно любил извращенность, излишества, наслаждения, иногда его воображению рисовались самые разнузданные оргии, самое безудержное мотовство. И тогда у него судороги, как молнии, проходили по лицу. Он мертвенно бледнел, полузакрытые глаза его тускнели, на щеках вспыхивал нездоровый румянец.

Усилием воли он стряхивал наваждение. И снова, согласно разработанному графику, мчался в экспрессе, назначал встречи, домогался аудиенции, снова и снова плел политическую паутину, как упрямый паук.

Казалось бы, ну для чего ему было ехать в Японию? Но Сальников, не задумываясь, пустился в это утомительное путешествие.

— С тех пор как страна Восходящего солнца ступила на дорожку империализма, — пояснил Сальников своему ближайшему помощнику, давая ему инструкции на время своего отсутствия, — она из кожи лезет вон, чтобы выбиться в люди. Нельзя забывать об этом. Даже немцы считаются с этой страной, говорят: «Японцы — пруссаки Востока».

— Все лезут из кожи, — меланхолически отозвался собеседник Сальникова. — Время такое.

Какое знал Сальников волшебное слово, что перед ним гостеприимно открывались двери всех властителей мира? Он был немедленно принят генералом Танака, маленьким, щуплым, с пронизывающим взглядом и приторно-любезной улыбкой.

— Для того чтобы покорить мир, — с притворным простодушием толковал премьер-министр Сальникову, — мы прежде всего должны покорить Китай. Вы как полагаете?

— Мысль вполне зрелая, — невозмутимо ответил посетитель.

— А как же? Тогда все остальные страны южных морей испугаются нас и капитулируют, и весь мир поймет, что Восточная Азия принадлежит нам. Как вы полагаете?

— Для двадцатого века, сэр, характерно, что все хотят завладеть всем миром. Меньше, чем на весь мир, никто не согласен.

— Это не только в двадцатом. Это всегда.

— Вы правы, сэр. Но вы не dokonчили ваших вполне продуманных и крайне

интересных наметок будущей вашей экспансии...

— Наш разговор, конечно, носит частный характер, — осклабился премьер-министр, — однако я не делаю тайны из своих намерений, тем более что они подробно изложены и пересуживаются всей мировой прессой раньше, чем я успел произнести хоть одно слово.

— Господин премьер-министр! В газетах публикуется столько сенсаций, что им никто уже не верит. А фантазия журналистов неудержима.

— А если бы и поверили? Как они могут помешать? Европейцы исчерпали свои возможности, они сами осознали, что наступил закат Европы, их закат. Завтрашний день принадлежит — кому? Как вы думаете? Первый шаг — Китай. Располагая ресурсами Китая, можно двинуться дальше. Но нельзя уверенно действовать, пока под ногами болтаются Соединенные Штаты. Как вы полагаете?

Не давая премьер-министру произнести окончательный приговор Европейскому континенту, Сальников вежливо справился, не беспокоит ли господина Танаку новый порядок, установившийся в России.

Танака перестал улыбаться. В его голосе прозвучало раздражение:

— И здесь Соединенные Штаты! Везде суют нос Соединенные Штаты! Если бы не они, мы давно бы навели порядки в Сибири, на всем пространстве вплоть до Урала! Но янки боятся нашего роста. Хоть бы в Азии предоставили нам самим решать, как поступать! Как вы думаете?

«Еще один одержимый! — размышлял Сальников, покидая Токио. — Но с этим можно еще поторговаться. До Урала — это он лишнего хватил. Танака мечтает захватить Россию до Урала с восточной стороны, немцы о том же мечтают, но уже ударом с Запада. Но тогда что же останется мне? Достаточно с него будет концессий на рыболовство!»

Сальников повидался в Японии с различного рода людьми. Обещали многое. Сальников тоже многое обещал. Расстались вполне довольные друг другом, и каждая сторона считала, что ей удалось получить значительную выгоду при переговорах.

Возвращаясь из Японии на океанском пароходе, Виталий Павлович ухитрился не заметить ни величия океана, ни волшебных переливов темно-зеленых, а порою коричневых набегающих волн, он не увидел ни необъятного неба, ни белоснежных кителей моряков, ни загадочных взглядов незнакомки, совершающей прогулку на том же пароходе. Он был погружен в свои мысли, в свои планы, в свои дела. Он грезил о завтрашнем триумфе.

Сколько сил, изобретательности, денег, красноречия затратил он на подготовку грандиозной акции! Как тщательно все продумал! Взять только одну схему антисоветской организации, созданную им: все действуют, но никто никого не знает. Существуют звенья, пятерки, каждые пять человек знают только друг друга, руководитель пятерки тайно связан с одним, только с одним из другой пятерки. В случае провала выходят из игры пятеро, но в целом организация остается нераскрытой. И только у одного Сальникова хранится строжайше зашифрованный список всех точек на территории Советской России.

Сальников пришел к убеждению, что государственный переворот возможен только изнутри. Восстание начинается одновременно в нескольких районах. После захвата хотя бы небольшой территории Сальников объявляет себя диктатором Новой России и обращается за дружеской помощью к иностранным государствам. Те признают Сальникова и двигают заранее подготовленные войска, чтобы поддержать «фактического правителя России».

«Гениально? — спрашивал сам себя Сальников и сам отвечал: Гениально!»

Проникая на советскую землю, Сальников всякий раз испытывал особенное чувство. Вот он идет с подложными документами, с преображенной внешностью по улицам Москвы. Вот он мчится в советских поездах, переезжает из города в город, там и тут встречается со своими сообщниками... Он действует крадучись, его повсюду стережет опасность. Он рыщет, как волк, забравшийся ночью в деревню. Малейшая оплошность — и конец. А ведь так для него бесспорно, что в самом ближайшем будущем он будет проезжать здесь же, по этим самым местам, в элегантном открытом автомобиле, и восторженная толпа будет приветствовать его появление, женщины будут бросать ему цветы, дети будут протягивать к

нему ручонки... Все так хорошо знают теперь его приятное, красивое, властное, всем дорогое лицо! И он с благосклонной улыбкой отвечает на приветствия своего народа и следует в свою роскошную резиденцию, сопровождаемый свитой... И куда ни взгляни, всюду его портреты, портреты...

На какое-то мгновение Сальников теряет сознание, даже пошатывается... Но в следующий миг он снова весь собран, весь наэлектризован, готов к любым неожиданностям, полон непоколебимой уверенности в себе.

Океан был величав. Сальников выходил на палубу, подставлял соленому морскому ветру пылающее лицо и досадовал на медлительность комфортабельного парохода.

2

В Италии Сальникову был оказан самый радушный прием. Обещали всяческое содействие, выразили готовность обеспечить в случае надобности даже итальянским паспортом, предлагали любую помощь, какую только способна оказать итальянская тайная полиция ОВРА.

Но Сальников спешил. Предстояли важные встречи и переговоры. Этот лысоватый, отменно вежливый господин, в безукоризненном, отлично сидящем сюртуке, в сверкающих лакированных ботинках, походил, скорее, на директора банка или нотариуса, и никак нельзя было по внешнему виду предположить, что его прочат в диктаторы России.

А его прочили! В него верили! Поэтому Сальников был несколько обижен и раздосадован, когда его не пожелал видеть не какой-нибудь премьер, а всего лишь глава нефтяного концерна «Ройял Датчшелл» Генри Вильгельм Август Детердинг.

Сальников был в курсе всех и деловых и даже семейных обстоятельств этого магната. Он знал, что Детердинг болеет язвой желудка, знал о его неудачной женитьбе на русской аристократке, знал, что этот голландец, принявший английское подданство, ухитрился скупить акции на все крупные нефтяные промыслы Советской России. Скупив акции, Детердинг объявил Советскую власть не больше не меньше как вне закона. «Вот они, акции, похвалялся он, — нефть моя! И потрудитесь мне ее предоставить! Подайте ее сюда!»

Сальникова принял поверенный нефтяного короля.

— Не придавайте значения, что вас не смог повидать сам патрон. Я облечен полным доверием и могу самостоятельно решать любые вопросы. А те вопросы, которые вас интересуют, как раз стоят у нас на повестке дня. Дело в том, что я могу вам конфиденциально сообщить, так как завтра это получит уже огласку: мы объявляем войну Советской России.

— Кто объявляет? — опешил Сальников. — Великобритания? Или Голландия? (Сальников знал, что Детердинг — одновременно двух подданств.)

Поверенный — пухлый, рыхлый, с маленькими медвежьими глазками, с подбородком, напоминающим грудку сосисок — такое тут нагромождение складок одна на другой, — был, видимо, прирожденный весельчак. Услышав возглас, вырвавшийся у Сальникова, он залился счастливым беззвучным смехом и долго булькал, не произнося ни слова. Вдоволь насмеявшись, он наконец выдавил из себя:

— Как вы сказали? Ве... Великобритания?! Да нет же! Мы сами объявляем войну Советской России, мистер Детердинг объявляет войну этой стране.

— Сам? Один?

— У нас недостаточная армия наемных... э-э... ландскнехтов... А если вы помните, один австрийский фельдмаршал еще в семнадцатом веке определил, что для успешного ведения войны нужны, во-первых, деньги, во-вторых, деньги и, в-третьих, деньги. Денег у нас хватает, Езус-Мария!

Тут на лице Сальникова отразилось некоторое внутреннее смятение:

— Помилуйте! Так нам с вами по пути! Нам очень по пути!

Дальнейшие переговоры они вели при плотно закрытой двери, вполголоса, прибегая к иносказаниям, намекам, но достаточно понимая один другого.

Видимо, переговоры были успешны, так как Сальников вышел от толстяка предовольный. Он потирал руки и нащупывал в кармане солидный чек. И мысли Сальникова были теперь особенно лучезарны, особенно игривы.

«Если Чичиков додумался, чтобы скупать мертвые души, — потешался Сальников, — то что же можно сказать о деловом человеке, может быть, самом богатом человеке в мире, который скупает акции на предприятия, хотя они давным-давно не принадлежат их владельцам? Что-то Манташов не потрудился поехать на Кавказ и показать свои нефтяные владения покупателю?! Руки коротки! Мертвые акции... Мертвые души... А вот чек, который мне вручен, это нечто осязаемое! Это вам не Елизавет Воробей, которую всучил Чичикову Собакевич!»

С такими веселыми размышлениями Сальников отправился в Париж. Нужно было повидаться с грузинским меньшевиком — таким же, впрочем, меньшевиком, как сам Виталий Павлович — эсер.

Ной Жордания являлся одним из звеньев задуманной аферы. Виталий Павлович считал, что ничем брезговать не следует. Привычка этого крикливого человека на каждом шагу клясться, божиться, брать обязательства, заверять нравилась Сальникову: ведь это свойство людей с шаткими понятиями о чести. А поручение, которое возлагалось на Ноя Жордания, не требовало чистоплотности.

Сальников знал о прошлом Ноя Жордания ровно столько, сколько необходимо. Знал, что это и не Ной и не Жордания. Знал его подлинное имя. Знал, что в 1918 году он служил немцам, возглавляя на Кавказе мифическое правительство. Но вот англичане вытеснили немцев. Англичане так англичане, какая разница! Жордания стал возглавлять Закавказскую республику уже под английским контролем. И это продолжалось не долго. Жордания быстро вылетел в трубу и очутился в Париже, ошеломляя парижан своим экзотическим «кавказским» видом и показной расточительностью.

Казалось бы, его карьера кончена. И вдруг он снова пригодился. Ему поручалось руководить восстанием на Кавказе. Оружие? Оружие найдется. Конечно, Ной сам понимает, что Кавказ надо занимать по самый Баку, по самые нефтяные вышки. Ведь не ради шашлыка затевается дело! Щедрое французское правительство выделило Жордания субсидию — чистоганом четыре миллиона франков. Что делать? Хочешь ловить рыбку в мутной воде — не бойся замочить руки!

Ной Жордания согласился не задумываясь. Как зарвавшийся игрок, он готов был обещать все. Желаете Баку? Могу и Баку! Желаете вместе с вышками? Будут и вышки!

И отправился жечь, громить, убивать: благословясь на грех, как сказал один закоренелый убийца.

Откровенно говоря, Сальников не слишком-то верил в военные таланты Жордания. Ну да бог с ним! Легковерные французы надеются — этого достаточно. Если же задуманная акция осуществится и Сальников вымахнет одним броском на вершину власти, он этого Жордания прикажет повесить под каким-нибудь благовидным предлогом или даже без всякого благовидного предлога. А пока и Жордания полезен, с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Виталий Павлович Сальников несколько не заблуждался в отношении белой эмиграции. Единственное, на что они способны, считал он, это слать проклятия на голову коммунистов да скулить о погибшей России. Как никчемны были все эти князья, светлейшие и несветлейшие, зачастую потомки деятельных и одаренных людей! Сальников помнит, что который-то из Шереметевых сражался со шведами, один из Шуваловых участвовал в штурме Очакова, один из Гагариных открыл в Париже «Musee Slave», а кто-то из Волконских был основателем русского генерального штаба. А эти, что образовали так называемую русскую за границу? Вздорные, бездеятельные, не способные не только отстаивать свои права, но даже натянуть штаны без помощи лакея, — они просаживали свои состояния и ждали, когда им преподнесут на блюде в готовеньком виде снова, как прежде, покорную и безответную Россию.

А вся эта военщина, примчавшаяся оттуда, с фронтов? Им бы только обивать пороги «союзников»! Сальников встречался с Меллер-Закомельским. Незамысловат генерал!

— Установить виселицы от Москвы до Владивостока... Без царя и земля вдова! — вот и вся его программа, вся философия.

Бурцев в Париже, Мережковский в Варшаве, Набоков в Берлине тратили много чернил, призывая к интервенции. Но так медленно раскачивались иностранцы! Они ведь пробовали — ничего не получилось. А как известно, ожегшись на молоке, дуешь на воду.

Сальников надеялся только на себя да на свою зеленую гвардию. Эти не подведут! Эти способны на все! Головорезы! Не чета всевозможным присяжным поверенным и банковским служащим, напозвшим во все щели малых и больших европейских полатей.

Беседовал Сальников с одним таким субъектом в Праге, в ресторане «Золотой Гусь». Тот с сознанием полной правоты рассказывал:

— Знакомые, услышав, что я решил дунуть из Москвы «туда», обиделись: «Разве вы не верите в приход Колчака и Деникина?» — «Верю, но вопрос, когда это совершится? Если они придут скоро, превосходно, значит, я раньше вернусь. Затянется дело — опять хорошо! Я могу дожидаться их победы в спокойной культурной обстановке, в комфортабельной квартире, и чтобы бутылка белого вина стоила один франк, и чтобы были бриоши и крутоны из ослепительно белой муки...»

— Каким же образом вам удалось уехать из Советской России? — спросил Сальников.

— Стал хлопотать, выхлопотал назначение в Минск, а Минск, как известно, вблизи границы... Там таких, как я, собралось достаточно. И мы ждали, пока Минск займут поляки. Они-таки заняли Минск, и, понимаете, не я перешел границу, а граница перешла меня! De facto я оказался за границей! Ну, и у меня были маленькие сбережения...

Сальников возмутился:

— А почему вы у них хоть какой-нибудь склад не взорвали? Почему не помогали бороться с большевиками? Так вот просто сидели и ждали, когда чужой дядя все сделает? Вы-то, сами вы за кого? За нас или за них?

— Он спрашивает! Разумеется, за вас!

После таких бесед Сальников падал духом. Но не надолго. Может быть, даже выгодно, чтобы водились такие? Особенно если ему, Сальникову, придется управлять страной. Бриоши он постарается обеспечить! А может быть, таким любителям бриошей запретить возвращение?

3

Поистине Сальников был сыном своего века. И почему бы Сальникову не претендовать на роль русского диктатора, формирующего с помощью иностранных штыков новую, вполне приемлемую для делового мира Россию?

Ведь это было время, когда нефтяной промышленник Детердинг один, самолично объявлял войну Советской стране — огромному, многомиллионному государству, строй которого, видите ли, ему не нравился. Ведь это было время, когда несколько никому не известных молодых, необразованных, морально неустойчивых людей в Германии готовились не больше не меньше как захватить весь мир и орали об этом во всех пивных Мюнхена. Ведь это было время, когда в Японии вынашивались сумасбродные планы о некоем азиатском веке, грядущем на смену нынешнему. Когда американские бизнесмены откровенно заявляли, что согласны зачислить Европу в качестве еще одного штата в состав Соединенных Штатов Америки. Когда капитулировавшая Германия у всех на виду вооружалась, вопреки условиям мира, и фирма Борзиг в лесу под Берлином открыла секретную лабораторию, где готовили оружие для новой войны. Их смертоносные творения вскоре должны были предстать перед ошеломленным человечеством.

Казалось, мир неудержимо приближается к страшной катастрофе, готовой смести все накопленные веками материальные и духовные ценности.

Капиталистический мир буксует, работает на холостом ходу. Колеса вертятся, государственные мужи заседают, рабочие трудятся, ученые проводят бессонные ночи — и все впустую. Ведь оттого, что будет изготовлено еще столько-то снарядов, народ не станет лучше жить.

Старый мир, как неудачный наследник, просаживающий отцовские накопления, живет за счет прошлого. Давно минула его пора! Склеротическая старость сковывает движения. Слабеет рассудок. Все чаще случаются просчеты. Тускнеет взор. Уже не видит капитализм того, что впереди. Тычется невпопад. В припадке ярости наносит удары вслепую, отрицает даже то, что очевидно, восстает против здравого смысла и никак не может поверить, что пришел его конец.

Но разве видел и понимал это Сальников, ослепленный всепоглощающей манией величия, охваченный жаждой власти? Поистине он был сыном своего века, когда из небытия, из неизвестности, путем одних интриг и вздорных деклараций выскакивали, как мыльные пузыри, диктаторы, «батъки», «спасители России», чтобы тут же бесследно исчезнуть. Каждому из них казалось, что те, до него, — бездарные выскочки, неудачники, а он — совсем другое дело.

Вот и Сальников непоколебимо верил в свою звезду.

4

В Париже первым, кого встретил Сальников, был фон дер Рооп.

«Что это? Случайность или предзнаменование?» — размышлял Сальников.

Фон дер Рооп просил устроить ему свидание с господином Рябининым. Сальников охотно согласился: если к его посредничеству обратились, значит, он будет присутствовать при встрече, а Сальников любил знать все тайные нити, весь клубок интриг.

— Все шпионят, — говаривал он в кругу сообщников. — А мы должны перешпионить всех. Отсталого и собаки рвут.

Виталий Павлович никогда не выкладывал все, а этак пятьдесят шестьдесят процентов. Так и на этот раз он умолчал, что знает все и о своих сообщниках, и о тех, кто поставляет ему сведения о его сообщниках. Недаром Сальников даже Гарри Петерсона порой удивлял своей осведомленностью.

Сейчас перед Сальниковым стояла загадка: чего домогается фон дер Рооп? Денег хочет выпарапать? Прощупать настроение торгпромовских кругов? Заручиться согласием Рябина на участие в какой-нибудь новой аванюре?

Рябинин, выслушав Сальникова, не выразил особого восторга:

— Чего они там? Полковник Вальтер Николаи что-нибудь выдумывает? Деньги понадобились? Обеднели Крупп и Тиссен? Фирма Борзиг обанкротилась со своей секретной лабораторией под Берлином?

«Оказывается, знает о лаборатории!» — с удовольствием отметил Сальников.

Рябинин был его маленькой слабостью. Сальников считал его очень и очень толковым, даже намечал на министерский пост в своем будущем российском правительстве.

— На каком языке будем разговаривать? — спросил Рябинин, когда они расположились в роскошном раззолоченном салоне гостиницы «Континенталь», так сказать, на нейтральной почве.

Фон дер Рооп пробормотал:

— Entschuldige... — И посмотрел вопросительно на Сальникова.

Сальников поспешно пояснил:

— Господин фон дер Рооп предпочитает говорить по-немецки, он об этом меня просил, но готов перейти на французский или английский, как будет удобнее вам, Сергей Степанович.

— Я буду говорить только по-русски, — отрезал Рябинин, — и я не помню, чтобы я выражал пылкое желание встретиться с... э-э... с мосье... Напротив, он хотел меня видеть.

— Я буду переводить, — усмехнулся Сальников, — для меня это не составит никакого труда.

Фон дер Рооп начал с комплиментов. Он много слышал о деятельности Рябинина, об уме Рябинина, о высоком положении Рябинина. Он счастлив, что Рябинин был настолько любезен... и так далее и так далее.

Сальников с большой тщательностью переводил, но не придерживался дословного перевода, сохраняя только общий смысл.

Рябинин слушал с чуть затаенной насмешкой. Его вид говорил: «Слыхали мы эти штучки. Выкладывал бы сразу суть».

Но фон дер Рооп поспешно заявил, что ничьих поручений не имеет, не предполагает ни о чем просить, а хотел бы только проконсультроваться по некоторым вопросам и выслушать авторитетное... компетентное... ценное... мнение высокоуважаемого, выдающегося, достопочтенного герра Рябинина...

Тут Рябинин специально для Сальникова, но отнюдь не для того, чтобы это было переведено, повернул:

— Лай не лай, а хвостом вилай. Так, что ли, получается?

— Was? — переспросил фон дер Рооп, осекшись.

Сальников опять усмехнулся и перевел, что господин Рябинин привел русскую поговорку, суть которой заключается в том... тут Сальников на какой-то миг приостановился и бодро закончил, что суть поговорки приблизительно такова: «Всякая встреча начинается с приветствий».

— O! Bitte schon! O! Kolossal!.. — закивал фон дер Рооп, чем сильно насмешил Рябинина.

Далее начался более содержательный разговор. Фон дер Рооп стал излагать достаточно известную и достаточно нелепую теорию о том, что на Германии лежит некая историческая миссия спасения цивилизации, что неравенство — закон природы, что история — это борьба рас и сильная раса должна господствовать над слабой, что материализм — философия низших классов, что жизнь есть воля к власти и что рабство необходимо.

— Простите, — прервал его наконец Рябинин, — не думаете ли вы, герр фон дер Рооп, убедить меня, чтобы я вступил в вашу партию?

— O! Bitte schon! O! Kolossal!.. — пришел почему-то в восторг фон дер Рооп, но продолжал развивать те же общеизвестные положения о том, что объективная истина — один из философских предрассудков, что можно только говорить — полезна ли данная истина для меня или вредна, а отсюда вытекает оценка фальсификации, вымысла, лжи.

— Взять такое понятие, как клевета, — глубокомысленно рассуждал фон дер Рооп. — Клевета — одно из ценнейших средств, я бы сказал сильнодействующих средств политики. Зачем же неискренне отрицать пользу клеветы, притворяться?

— Это нам известно, — проворчал Рябинин, опять-таки не для перевода фон дер Роопу, — я давно наблюдаю, как немцы фальсифицируют русскую историю, издавая псевдонаучные труды якобы разоблачения, из которых явствует, что в России все плохо, что Петр Великий был сифилитик, Екатерина Великая — развратница... То же самое проделывается и в отношении других стран. Я читал изданную в Германии искаженную историю Соединенных Штатов — недобросовестную подборку всего отрицательного...

Рябинин не обращал внимания, переводят фон дер Роопу его слова или не переводят. Рябинин не привык считаться с чужим мнением и вообще не любил в чем-нибудь стесняться себя. И он принялся с большим удовольствием поносить немецкие нравы, ругать немецкую политику.

Фон дер Рооп смотрел с явным интересом, Сальников забыл об обязанностях переводчика и тоже внимательно слушал.

— Вам самим кажется, что вы очень хитрые. А ведь все у вас белыми нитками шито. Бросились вы вслед за другими живоглотами прибирать к рукам африканские земли и рвать друг у друга из рук золотые россыпи в верховьях реки Фоле, алмазы в нижнем течении

Вааля, всяческие Занзибары, Камеруны и Сомали... Тотчас нашлись у вас почтеннейшие профессора, которые, как снисходительные исповедники, дали вам отпущение грехов. «Вы безжалостно истребляете негритянские племена? — вопрошали они. — Ничего, это можно, ведь негры даже не люди. Иначе ими не торговали бы, как всяким другим товаром — слонами, бананами, лошадьми». И вот уже вам кажется, что ничего преступного нет в истреблении негритянских племен: ведь это оправдывает этот... ваш профессор... Иоганн-Фридрих Блюменфельд!

— Не Блюменфельд, а Блюменбах, вы хотите сказать? — вдруг на чистейшем русском языке поправил фон дер Рооп.

— Пусть Блюменбах, — согласился Рябинин. — Но какого лешего вы прикидывались, будто не говорите по-русски? А вы, Виталий Павлович, напустился он на Сальникова, — разве не знали, что господин фон дер Рооп владеет русским языком?

— Конечно знал, — невозмутимо ответил Сальников. — Как же не знать, если мне известно, что господин фон дер Рооп родился под Ревелем, учился в Петербурге и только в девятнадцатом году стал, так сказать, иностранцем.

— Как?! — в свою очередь удивился фон дер Рооп. — Вы помните моего отца?

— У меня такая работа, — уклончиво пояснил Сальников. — Приходится быть как можно более осведомленным.

— Если вас не затруднит, — обратился фон дер Рооп к Рябину, — может быть, вы продолжите ваши любопытные экскурсии в историю? Мы остановились на Иоганне-Фридрихе Блюменбахе... Что же этот Блюменбах?

— Блюменбаху уплатили, и он старается лгать на всю уплаченную сумму. Он готов заявить что угодно, даже что все расы, кроме белой, зря обременяют землю.

— Может быть, так оно и есть?

— Дело в том, что у вас этот прием повторяется. Сейчас вам хочется слопать Францию, поэтому вы в своих псевдонаучных сочинениях утверждаете, что французы — это помесь негра с евреем... По тем же соображениям вы клянетесь, что чехи и поляки неполноценны, что русских следует истребить... Вы посмотрите на себя в зеркало — я не хочу ничего обидного сказать о вашей наружности, но не можете же вы отрицать, что вы самый, что называется, брюнет, а как же быть с выкриками ваших единомышленников в Германии, что историю творят блондины?

Видимо, фон дер Роопу трудно было привести в замешательство. Он снисходительно улыбнулся и стал объяснять Рябину, как непонятливому ученику:

— Но боже мой! Ведь вы же, господин Рябинин, умный человек! Да, мы проповедуем, что представители северной германской расы высоки и стройны, ноги у них длинные, но не слишком, глаза голубые или серые... Что германская раса — носитель культуры, что низшие расы не способны подняться на высшую ступень развития, что древний германец — вот высокий идеал... И что же отсюда вытекает?

— Да, именно, что отсюда вытекает?

— Вытекает то, что ничего не вытекает! Теория — одно, практическая политика — другое. Истины, которые мы провозглашаем, святы для толпы, не подлежат обсуждению и должны бездумно приниматься чернью. Но не считаете ли вы нас такими идиотами, чтобы серьезно верить, будто французы никуда не годятся, будто русские не создали величайшие ценности культуры... Это все пропаганда. Массы в общем ограничены, тупы, им надо давать броские, ошеломляющие лозунги. Если мы начнем немцам растолковывать, что русские ученые, писатели, художники, музыканты, полководцы, мореплаватели гениальны, что без таблицы Менделеева ни один ученый в мире не садится завтракать, что Лев Толстой едва ли не величайший писатель мира, что Суворов и Кутузов не знали поражений, а Глинка и Чайковский владеют сердцами человечества, если мы все это начнем говорить, то как же мы заставим наших солдат убивать детей, женщин, стариков — все подряд население России?

— А вы хотите их заставить делать это?

— Хм... Э-э... — спохватился фон дер Рооп, сообразив, что беседует с двумя русскими, а не сидит за кружкой пива в кругу мюнхенских друзей где-нибудь в Аугустинербрау или Францисканербрау. Но тут же с чисто немецкой невозмутимостью продолжал: — Глубокоуважаемый господин Рябинин! Будем называть кошку кошкой. В конце концов разве вы сами не даёте указание какому-нибудь Деникину или Колчаку, Иванову-Ринову или Калмыкову безжалостно убивать ваших соотечественников? А вы, господин Сальников, разве не стреляете в своих земляков из-за угла? Убивать — это природное свойство человека. Убивать — это благородно. Война — самая захватывающая из страстей. Совесть, свобода, обоснованность, цель, прогресс — это все пугала, выдуманные самими же нами и перепугавшие прежде всего нас...

— Когда я думаю о немцах, я всякий раз вспоминаю обгорелые спички, откровенно в лицо фон дер Роопу расхохотался Рябинин, ничуть не затронутый рассуждениями и парадоксами собеседника.

— Спички? — не понял фон дер Рооп. — Какие спички?

— Обгорелые. Во время войны четырнадцатого года все страны облетел рассказ о немецкой обгорелой спичке, в английской газете «Daily Mail» даже поместили снимок этой спички и пояснили: «Вот урок, достойный подражания!»

— Что-то не помню...

— А как же? Даже обгорелые спички не пропадают в Германии даром! Немец, закулив папиросу, не выбросит потухшей спички, а спрячет ее бережно в коробочку, чтобы спичечные фабрики приделали к ней головку и пустили бы вторично в оборот...

— О! Kolossal! — завопил фон дер Рооп. — Теперь я припоминаю! Поучительный урок!

— А я своим слабеньким умишком прикидываю: если уж ты такой сознательный, если такой патриот — какого дьявола тебе собирать обгорелые спички? Перестань курить! Вот тогда ты сэкономишь миллионы плюс сэкономишь здоровье! Призадумайся, сколько расходует государство на покупку табака, на его обработку, на транспортировку, сколько рабочих рук ты освободишь, бросив курить! А спичечные коробки! Тоже целое производство! А мундштуки? А портсигары? Но куций германский патриотизм — увы! — способен только собирать обгорелые спички.

— Вы строго судите нас, — вздохнул фон дер Рооп, закатывая глаза, — а ваша проповедь против курения дышит таким задором. Я даже подумал, уж не баптист ли вы!

— Мы же условились называть кошку кошкой? Не надо сердиться, фон дер Рооп. Правда глаза колет, но, хотя вы и рекомендуете ложь, для приправы можно положить в вашу густую похлебку и ломтик правды.

Сальников наблюдал эту перепалку с невозмутимым спокойствием. Но чтобы разрядить сгушавшуюся атмосферу, решил увести беседу на нейтральную почву:

— Господа! Вы мне доставили неизъяснимое удовольствие остроумными и, я бы сказал, острыми суждениями. Позвольте и мне напомнить два момента, тоже о роскоши и экономии.

— Пожалуйста! — быстро согласился фон дер Рооп, в расчеты которого не входила ссора с русским промышленником.

— Воображаю, какой номер отколет нам Виталий Павлович! — развеселился Рябинин, полагая, что и Сальников проедется насчет пресловутой немецкой аккуратности.

— Один пример из жизни англичан, если позволите, — начал вкрадчиво Сальников. — В годы той войны, о которой вспомнили вы в связи с курением, в Англии леди Корнелия Уимборн основала женскую лигу военной экономии «Women's War Economy League». В лигу вступили самые богатые женщины Англии, такие, как герцогиня Сутерлэнд, герцогиня Бьюфорт, маркиза Рипон. Они решили носить старомодные платья, ходить пешком, не приглашать никого к обеду, не покупать заграничных товаров и рассчитать лакеев и дворецких. Жест?

— Воображаю, как они топали, бедняжки, пешком! — рассмеялся Рябинин. — И все-таки это кое-что, особенно если сэкономленное они отдавали на военные нужды.

Фон дер Рооп молча выслушал рассказ. Сальников покосился на него и продолжал:

— Иначе обстояло в России. Там где-то война, а в Петрограде рождественские балы, маскарады — под предлогом благотворительных сборов и без всякого предлога. Пасхальные визитеры, сдобные куличи — пир горой, море разлитое. Пасха празднуется неделю. Троица три дня, а потом еще воздвиженья, вознесенья, царские дни... Словом, пир во время чумы. Вы говорили о спичках. Пачка спичек стоила до войны десять копеек, а в шестнадцатом году — пятьдесят. Хлеб вместо четырех копеек за фунт стал шесть копеек. Сахар вместо семнадцати копеек стал по двадцать две...

— Вот она, эсеровская закваска! — воскликнул Рябинин. — Все цены помнит назубок!

— Я цены мимоходом упомянул. Я коллекционирую редкостные документы и храню, между прочим, реестр доходов брата царя великого князя Владимира...

— Неужели доходы у него были больше моих? — не утерпел и похвастался Рябинин.

— А вот считайте. Как великий князь он получал два с половиной миллиона ежегодно. Его собственные земли, рудники давали еще полтора миллиона. Двадцать четыре тысячи он получал за генеральский чин, пятьдесят — как начальник петербургского военного округа, сорок — как член Государственного совета, ну и еще по мелочам наберется. Такие, как он, не увольняли своих дворецких в годы войны, пешком не ходили, вообще чихать хотели на патриотизм.

— Вот и прочихали страну, а господин фон дер Рооп собирается и то, что уцелело, выкорчевать.

— Да-да! — согласился фон дер Рооп. — И рассчитываю на вашу помощь. Наши интересы совпадают.

— Читал, читал вашу «Фелькишер беобахтер»! Бойкая газетка! «Настанет день — и грянет гром у восточных границ!» «Наше дело — выставить сотню тысяч человек, готовых пожертвовать жизнью»!.. Звучит, как пророчества Иеремии... или Иеремия не пророчествовал?

— Вы помните, еще на конференции в Рейхенгалле, в Баварии, было решено восстановить в России монархию. С тех пор прошло четыре года.

— Да. И монархи что-то перевелись.

— Господин Рябинин! За этим дело не станет! Но вы не можете отрицать, что без войны тут не обойтись. А если без войны не обойтись, как вы обойдетесь без Германии? Понятие войны вечно.

— Это все так, господин фон дер Рооп. Только если оглянуться на историю, у вас часто случается просчет. И еще имейте в виду: вам до зарезу хочется завладеть миром — а кому этого не хочется? Америке приспичило создать империю, Японии тоже, все спят и видят зацапать вселенную. Поэтому возможны самые невероятные вещи. Нет, серьезно! Ну кто вам позволит лезть до самого Томска, заглотать такой кусок? Не испортите желудка, герр фон дер Рооп!

Рябинин все ждал, когда же немец попросит у Торгпрома ссуду. Но тот так и не попросил, а Рябинин так и не понял, зачем он ему был нужен.

Свиданием остался доволен один только Сальников. Он учел, что немцы новейшей формации щупают почву, примеряются, прежде чем ринуться в очередную военную авантюру. Он понял, что торгпромовские воротилы не слишком жалуют немецких искателей «пространства». Сальникову казалось, что ни тот, ни другой не имеют ясного представления о Советском Союзе, о состоянии Красной Армии, о готовности русских к войне. Только он, Сальников, учитывает все возможности. Только он все знает.

Фон дер Рооп откланялся и оставил Рябинина и Сальникова продолжать беседу вдвоем.

Рябинин был задумчив. Весь вечер ему вспоминался разговор с Бобровниковым, и он чувствовал, что насчет немцев тот был прав.

— Да-а, с одной стороны, конечно, без них не обойтись. Но пусть не воображают, что приберут завоеванную Россию к рукам. Вооруженная борьба за освобождение России будет отнесена к одной из справедливейших и наиболее полезных войн. Но время, по-видимому, еще

не настало. Сейчас специалисты берутся осуществить всю операцию в шесть месяцев с армией в один миллион человек. Нерентабельно! Расходы в таком случае выльются в кругленькую сумму — в сто миллионов английских фунтов! Согласитесь, Виталий Павлович: дорогогато.

— Но внутренний плацдарм, который я берусь обеспечить, — возразил Сальников, — разве это не упростит задачу? Не удешевит предприятие?

— Наивный народ! У всех у вас путаница в голове. Вы смешиваете то, что вам хотелось бы, с тем, что осуществимо. Немцы заладили свой «блинц». Вы тоже надеетесь на какое-то чудо. Скажите откровенно, сколько времени, по вашему мнению, потребуется вам, чтобы где-то там, в некоем районе, при самых благоприятных обстоятельствах захватить солидный, как вы изволили выразиться, плацдарм? Захватить, укрепиться на нем и объявить себя верховным правителем, с которым иностранные державы могли бы установить дипломатические отношения?

— Сейчас трудно сказать... Может быть, год... или два...

— Год или два? Реально! И это изменит весь расчет. Вероятно, пятисот тысяч человек и трех-четырёх месяцев будет тогда достаточно для окончания работы вчерне. Я человек коммерческий, и деятели Европы — тоже люди здравого ума. Никто никогда не пойдет на заведомо нерентабельное предприятие. Донкихотов в деловом мире нет. Ну что ж. Действуйте, Виталий Павлович, с богом, как говорится. Я со своей стороны буду ратовать за вас. Я так считаю: затратив один миллиард рублей, человечество получит доход не менее чем в пять миллиардов, а ведь это пятьсот процентов годовых. Дело доходное. Я не могу представить такого дельца, который отказался бы от пятисот процентов прибыли. Единственная опасность, которую я предвижу, это драка из-за дележа шкуры еще не убитого медведя. Такая драка неизбежна — кому не захочется получить побольше? Вы, надеюсь, отдаёте себе отчет в том, что Россию обкарнают в случае интервенции? Придется попуститься многим, ох многим, Виталий Павлович! Отхватят и с юга, и с востока, и с запада. Вероятно, из России получится некая Русь допетровского образчика. Оставят нам с гулькин нос. Кавказ в первую очередь откромсают. Крым, видимо, тоже. Сибирь... Как вы думаете насчет Сибири? Урал, Урал бы сохранить, хотя бы даже при условии концессий! Боюсь, что и Петербург от России отпадет (тьфу, черт! Никак не привыкну говорить Ленинград!) и вообще Балтика, так что снова придется впоследствии ногою твердой становиться у моря. Выкроят из матушки-России нечто вроде Люксембурга...

— Какие мрачные мысли! Какая безнадежность! Я думаю, все ограничится концессиями. Петроград?! Что вы! Петроград не отдадим! И не привыкайте называть его Ленинградом — он Петроградом и останется!

На следующий день Сальников присутствовал на сверхсекретнейшем совещании представителей деловых кругов и некоторых военных.

«Кажется, все. Теперь действовать!» — сказал Сальников, возвратясь с совещания к себе в отель и разглядывая в зеркало свое лицо, бледное, напряженное, с синими тенями под глазами.

Тринадцатая глава

1

Отправляясь по делам службы в Киев, а затем на съезд Советов в Москву, Котовский временно возложил командование корпусом на начальника штаба Гукова. А тут как раз выдалась очередная годовщина существования отдельной кавбригады Котовского, вошедшей в состав 3-й кавалерийской дивизии, как 1-я Бессарабская кавалерийская бригада.

Дивизия торжественно отпраздновала этот юбилей. В специальном приказе отмечались заслуги бригады, говорилось, что ее путь — это путь побед, что неувыдаемая слава котовцев

вышла за пределы Союза Республик.

Владимир Матвеевич Гуков не упустил случая сказать теплое слово о Котовском, которого боготворил, а приказ был прочитан во всех эскадронах, батареях и командах корпуса.

Вернулся Григорий Иванович только 24 февраля. Вернулся совсем особенный: в голосе стальные нотки, движения четкие, как будто вот-вот взорвется ракета — сигнал атаки.

— Они там ничего не знают, — говорил он встретившим его командирам. Они думают, мы после смерти Ильича руки опустим. А мы стиснем зубы, проглотим слезы и будем еще крепче!

Командиры молчали. Кто «они», которые «ничего не знают»? О ком говорит Котовский? Ну да, это там, за рубежом, те, что все еще надеются задушить советский строй.

— Товарищи! — гремел голос Котовского, и его соратникам чудилось былое: «Вперед, орлы!» — Делом, и только делом, мы можем выразить нашу скорбь. Не хныкать! Действовать! Жить! Искать новые скорости! Шагать!

И он был полон жизни, полон энергии.

— Что тут был за юбилей? — спросил Котовский Гукова.

И уж, конечно, попало старику Гукову за чрезмерное восхваление комкора.

— Вы же сами всегда говорите, что нужно учитывать политический эффект, — оправдывался Гуков. — В данном случае он несомненен. И бойцам полезно послушать, как воевали в наши дни.

Возражение было веское. Котовскому оставалось только рассмеяться и передать приглашение на обед.

— Нет-нет, — отговаривался Гуков, — никак не могу, благодарю покорно, но, с вашего разрешения, воздержусь.

— Да почему же?

— Занят. Ужасно занят! Передайте уважаемой Ольге Петровне мою сердечную признательность и прочее подобное...

— Кстати, не сказал самое главное: Ольга Петровна просила сообщить, что бабкой нас сегодня угостит.

— Бабкой?

Гуков озадачен. Отказывался он из скромности. Слишком уж, дескать, зачастил к Котовским, днюет и ночует у них, намозолил глаза, надо же, дескать, Григорию Ивановичу хоть по приезде отдохнуть без посторонних... Но бабка... Это любимое его блюдо...

И Гуков сдается:

— Если бабка, то дело в корне меняется. Не смею отказаться, характера не хватает. Во сколько прикажете? Часиков в пять?

— В семнадцать ноль-ноль.

— Есть, в семнадцать ноль-ноль, товарищ командир!

Впрочем, кроме вкусной румяной бабки предстояли и важные разговоры. Котовский рассказывал о Москве, о съезде, о том, как встречена была весть о кончине Ленина, о поездке в Харьков к Фрунзе, о том, как много потребуется от них всех, чтобы одержать победу. Котовский говорил:

— Когда ты берешь в руки лопату, чтобы вскопать гряды, когда ты встаешь у станка, выезжаешь в поле на тракторе, открываешь учебник, сидя за партой, когда ты строишь дом, или готовишь обед для артели, или просто подметаешь улицу, или судишь преступника, или ведешь в открытом море торговое судно, или испытываешь новой конструкции самолет, — помни, ты строишь новое, социалистическое общество! — Помолчав, он заключил: — Ну, а теперь давайте рассказывайте, как и что у вас?

Котовский входил во все дела корпуса, его интересовало все без исключения, он не упускал ни одной мелочи. Да и существуют ли мелочи в таком ответственном деле, как военная выучка? Слишком дорого может обойтись впоследствии малейшее упущение. В военном деле мелочей нет.

Григорий Иванович с удовольствием беседовал с Гуковым. Вот бесценный старик! Работает азартно. Дело знает. С таким легко и спокойно: не подведет. Гуков обстоятельно излагает самую суть. Из его доклада видно, что он вникает во все стороны корпусной жизни, знает порядок, знает людей, а главное — относится к делу не по-казенному.

«Хороший старикан!» — думает Котовский, любуясь им. Однако вслух этого не произносит. Знает по себе, как неприятно выслушивать похвалы. Котовский так рассуждает: нельзя хвалить за то, что ты хороший, честный, храбрый, что ты выполняешь долг. Ведь все это — обязательные качества человека.

Выслушав доклад, Котовский сказал:

— Значит, опять эскадрон связи подкачал? Снова отлынивает от физической подготовки?

Физическую подготовку, ежедневную гимнастику Котовский считал неизменным условием военной учебы. В корпусе он начал с того, что отобрал по несколько человек из каждой дивизии и стал заниматься с ними, приглашая к себе, знакомя их с литературой по физическому воспитанию, объясняя значение спорта и гимнастики, рассказывая о своей личной практике и демонстрируя перед ними весь цикл упражнений по системе доктора Анохина.

Таким образом удалось подготовить первых инструкторов в корпусе.

В гимнастическом зале корпусной школы ежедневно происходили занятия. Гимнастика и спорт были обязательными предметами. Зимой по указанию Котовского постепенно снижали температуру в гимнастическом зале. Когда курсанты были достаточно подготовлены и закалены, гимнастику перенесли на свежий воздух, стали делать упражнения, стоя на снегу, в трусах и тапочках. Котовский показывал пример. Надо сказать, что на курсантов школы можно было полюбоваться, это были здоровяки на подбор, с отличной мускулатурой и отличным настроением. Котовский настойчиво подчеркивал, что не наблюдалось ни одного случая простудного заболевания среди молодежи.

— Вот что значит закалка! — торжествовал он. — Вам никогда не понадобятся порошки от кашля!

Особенно привилось физическое воспитание в артиллерийских частях, стоящих в Умани. И отдельная 37-миллиметровая батарея, и артшкола были лучшими. Котовский приказом объявил им благодарность за постановку физического воспитания. Относительно же эскадрона связи Котовский говорил:

— В семье не без урода. Но будем надеяться, что и наши связисты поймут значение спорта.

— Они говорят, — усмеялся Гуков, — что и так никогда не простужаются.

— Вот в этом и коренится их ошибка! Разве значение спорта и физического воспитания исчерпывается тем, что избавляет людей от насморка? Связисты говорят, что они и без гимнастики не простужаются. Можно также решить, что незачем мыть руки, и так чистые! Правда, всегда считалось, что самые развитые и толковые в армии — артиллеристы. Но времена-то сейчас другие. Разве саперам не требуется такая же серьезная подготовка? А связисты в наше время? А что вы скажете об авиации? Разве мало требуется от разведчика? И разве теперь не должен каждый боец, а особенно командир, знать не только свою, но и другие отрасли военного дела? Быть знакомым со всякого рода оружием? Изучать самым основательным образом связь всех родов войск между собою и их взаимодействие?

— Само собой разумеется, — охотно соглашался Гуков, — теперь это становится азбучной истиной.

— Вы знаете, Владимир Матвеевич, я убежден, что физическое воспитание — это первый шаг к воспитанию характера, к воспитанию вообще. Это самодисциплина. С этого начинается человек. Вежливость, внимание к людям, уважение к женщине, добросовестность во всех делах и поступках, привычка быть хозяином своего слова, обязательность — все это, вместе взятое, и есть, по сути, привычка мыть руки перед едой и привычка начинать день с гимнастики. Это все равно что не забыть утром завести часы: забудешь останутся. А

можно ли ждать от неаккуратного или нечистоплотного человека, что он окажется хорошим гражданином? Что он не свихнется? Что он не напутает?

— Ого, куда вы повели! Но, пожалуй, вы правы. Человек, который задолжал вам и не отдал рубль, может подвести и на тысячу, — согласился Гуков.

— Эскадрон связи пренебрегает физическим воспитанием. Хотите, пойдем и посмотрим, не отразилось ли это на всем их отношении к своим обязанностям?

— Я хорошо знаю связистов. Приличный народ. Думаю, у них все в порядке.

— А вот мы сейчас и убедимся.

2

Слово Котовского не расходится с делом.

До эскадрона связи рукой подать. Котовский появился в конюшнях эскадрона рано утром.

— Свалился как снег на голову! — рассказывали потом связисты. — Знали бы, что придет, все бы сверкало, как стеклышко!

От Котовского ничто не ускользнуло. Сопровождавший его начальник штаба еле успевал записывать:

— Лошади вычищены скверно, шерсть забита пылью. Записали? Не стыдно ли так обращаться с лошадьми, ведь лошадь — первейший наш друг в бою! Это записывать не нужно, и так ясно... А стремена, видели стремена? Ржавчина!

— Да, это же просто глина, товарищ комкор! — обиделся командир эскадрона.

— И глины хватает, и ржавчина. Значит, после езды, как было, так и бросили. Хороши голубчики! На коже слой пыли толщиной с палец, можно подумать, что седла лежат без движения со времен похода Александра Македонского на Персию.

— Уж и с палец! — протестовал комиссар эскадрона. — Так себе, просто налет. В нашем деле разве обойдешься без пыли?

— Вот еще обратите внимание, — продолжал осмотр Котовский, — днища кормушек проедены, железная обивка отстает, а эти гвозди — они же могут поранить лошадей!

— Уже приняты меры, — вступился командир эскадрона. — Не верите? У меня уже и отношение написано, после того как дневальный доложил.

— Кстати, где дневальный? Кто может ответить на этот вопрос?

Выяснилось, что дневальный до того увлекся чтением, что не заметил прихода командира корпуса.

— Конечно, не порядок, — примирительно пробормотал Гуков, — но в пользу дневального говорит, что он не спал, не играл в «козла», а читал книгу. Ведь мы именно сейчас проводим кампанию по внедрению в армию книги.

Это замечание вызвало смех. Рассмеялся и Котовский. Установили, что дневальный читает «Королеву Марго».

— Эх ты, тютя! — расстроился комиссар эскадрона. — Нет чтобы читать «Азбуку коммунизма»! Учишь вас! На кой ляд сдалась тебе эта «Королева»!

— «Королева Марго» — тоже неплохо, — решительно заявил Котовский. Погоди, я тебе «Анну Каренину» пришлю. Не читал? А эту, как прочтешь, товарищу комиссару передай, пусть и он прочтает, а после мне доложит, что там написано. Ясно? Я, например, так зачитался этой «Королевой» — всю ночь напролет читал, пока не кончил... Только я-то читал не в рабочее время и тем паче не на дежурстве. Ясно? Дайте ему три наряда вне очереди, чтобы у него было время обдумать мои слова.

Осмотрев конюшни эскадрона, прилегающие к Торговой улице, отправились на улицу Октябрьской революции, в помещение канцелярии эскадрона. Командир эскадрона и комиссар только переглянулись при этом.

— А? — чуть слышно произнес командир.

— Плохо! — прошептал комиссар и развел руками.

Гуков снова взялся за карандаш.

— Смотрите! — вскричал Котовский. — Смотрите, что делается у них в общежитии сотрудников канцелярии эскадрона! Грязища, немытая посуда! Вот этот котелок с остатками вчерашней каши мы захватим с собой! Экспонат! А ведь докладывают мне, что в эскадроне все в должном порядке! Чуть было не объявили их образцовой частью! Вот какие ловкачи... И уж конечно, пронюхай они, что к ним комкор с начальником штаба собираются, — букеты бы на столах расставили, коврики бы разостлали... Видимо, очковгирательство еще бытует в нашем эскадроне связи, как вы полагаете, товарищ начальник штаба?

После такого конфуза в эскадроне три дня и три ночи скоблили и чистили. Дневального, зачитавшегося книгой, так и прозвали «Королевой Марго». Командир эскадрона, получив в приказе выговор, ходил к командиру корпуса и выпрашивал обратно котелок, в который заглядывали поочередно все краскомы, даже те, что приезжали из Гайсина и Тульчина, из Бердичева и Киева.

3

Весна победоносно шествовала по Киевщине, по Подолии. Все цвело. Все ликовало. Солнца было столько, что им захлебывались долины и рощи и расплескивали его через край.

Настроение было такое, что никак не могло прийти в голову, что окажется что-нибудь не так, что-нибудь плохо. Поэтому случившаяся неприятность чуть не застала врасплох.

Когда в корпусе заболело большое количество лошадей, Котовский связал эту беду с прохладным отношением некоторых командиров к своим прямым обязанностям.

— Помните случай с эскадрона связи, как он манкировал уроками гимнастики? — говорил он Гукову. — А вслед за тем мы с вами воочию убедились, что лошади у них в запущенном состоянии. А теперь, извольте ли видеть, лошади чахнут и болеют, подозрение на сап, изолировали, намереваются пристрелить.

— Кажется, полагается пристреливать? — осторожно напомнил Гуков.

— Лечение сапа запрещено санитарным законодательством всех стран, это-то я знаю, — возразил Котовский, — знаю, что лошадей, заболевших сапом, полагается убивать. Но я не убежден, что наши лошади больны сапом, вот в чем дело. И я пока что запретил убивать лошадей.

Ветеринары негодовали. А Котовский поехал в Москву и привез чемодан книг, учебников и справочников по ветеринарии: и Тартаковского, и Потапенко, и Фридбергера в переводе Светлова, и Nocard'a на французском языке.

В доме Котовских шли дискуссии о маллеине и его диагностическом значении для определения сапа у лошадей, о разновидностях сапа, о кислом растворе сулемы, применяемом для дезинфекции помещений... Котовский уже знал, что сап очень распространен в Лондоне, что наиболее восприимчивы к сапу ослы, что сап различают носовой, легочный и кожный, который носит еще название «лихой», или «гильчак».

— Где вы видите истечения из носа? Где тут сап?! — кричал Котовский на ветеринаров, осматривая вместе с ними больных лошадей.

— Истечения нет, это не острая форма, — возражали ветеринары, — а при хроническом сапе лошади кажутся почти здоровыми. Предупреждаем, что мы вызовем из Москвы специальную комиссию, если вы не разрешите уничтожить зараженных лошадей. Мы не можем рисковать.

Лошади, приговоренные ветеринарами к смерти, стояли понурые, со взъерошенной клочковатой шерстью, покрытые болячками и лишаями.

И все-таки точка зрения Котовского восторжествовала. Прибывшая из Москвы комиссия сапа не нашла. Взались за лечение, выходили коней, вернули их в строй.

Все были довольны, только ветеринары ворчали:

— Подумаешь, большая беда пристрелить дюжину хворых лошадей! А подняли такую бучу, будто весь свет провалится!

— Надо разбираться, — спорили с ветеринарами кавалеристы, — никогда не следует торопиться в землю закопать. Наш комкор — человек справедливый, а вы кто? Настоящие живодеры! Если бы проверить, сколько вы так-то ухлопали зазря, по одному подозрению?

— Да уж, — раздавались голоса, — видать, верно старые люди говорят, что иные прочие и живут-то только для того, чтобы другим от них житья не было.

— Чего вы взъелись, ребята? — шли на попятный ветеринары, видя, что разговор оборачивается против них. — Мы же согласно инструкции, там ясно сказано... Мы — люди науки.

Кавалеристы корпуса крепко запомнили этот урок. Стали уделять больше внимания чистоте, уходу за лошадьми. Что и говорить, техника идет вперед, кое-кто уже называет танковые колонны конницей будущего. И в составе кавалерийского корпуса есть уже танковые и авиационные подразделения, но коню еще предстоит принять участие в битвах, а кавалеристы любят и свою профессию, и коня.

4

Было совершенно очевидным, что работа Котовского не пропадает даром. Корпус по справедливости можно было назвать образцовым. И когда на осенних кавалерийских маневрах в Подолии проносились в строю бойцы 9-й Крымской дивизии в фуражках с желтым околышком и синим верхом, когда выполняли сложные перемещения бойцы 3-й Бессарабской в фуражках с желтым околышком и красным верхом, Котовский любовался своими питомцами.

«Посмотрел бы на это зрелище дорогой, незабвенный друг комиссар Христофоров! — думал Григорий Иванович. — И какой крик поднял бы Няга, если бы узнал, как работает нынешняя молодежь, какая посадка, какая дисциплина и сознательность, как владеет конем!»

Харьковская газета «Коммунист», сообщая об этих маневрах, отмечала хорошую подготовленность корпуса. В отчетной статье подчеркивалось, что во время маневров совершались стоверстные переходы и ни одна лошадь не вышла из строя, что сбор конно-пулеметного эскадрона производился в четыре минуты, а сбор кавалерийского полка в шесть минут.

Эту статью Ольга Петровна знала наизусть, потому что при появлении в доме каждого нового человека Григорий Иванович якобы случайно вспоминал о маневрах и просил Ольгу Петровну прочесть статью.

— Только, пожалуйста, читай внятно, не скороговоркой. Статья не такая уж длинная, пусть человек послушает... Как ты считаешь, Леля, ведь хочется человеку знать, достаточно ли подготовлена Красная Армия?

Статья прочитана со всей выразительностью и подчеркиванием некоторых мест.

— Ну как? — спрашивает Котовский.

— Замечательно! — обычно отвечает слушатель. — Только вот когда вы сами рассказывали об этих маневрах... у вас, Григорий Иванович, честное слово, получалось живее и интереснее!

В Умани не одни деловые будни, случаются и праздники. С какой помпой происходило, например, вручение корпусу Почетного знамени! На Соборной площади состоялся парад частей корпуса с участием всеобуча. Торжество было назначено на летний день, когда улицы Умани полыхали жаром, а сады, цветники, клумбы изнемогали от неги и пышного цветения. Как красовались на конях кавалеристы! Как сверкали медные трубы! Как визжали от восторга босоногие мальчишки!

Так протекали дни Григория Ивановича Котовского. Это была кипучая, полная смысла жизнь. Все делал он с увлечением. И столько живых нитей связывало Котовского с людьми, к нему ехали, шли, к нему тянулись, от него получали заряд бодрости, как из благостного колодца, открытого для всех, черпали воодушевление.

У Котовского была огромная переписка, ею ведала Ольга Петровна. На ее обязанности

было помнить все адреса, фамилии и следить, чтобы ни одно письмо не осталось без ответа.

— Ты не помнишь, Леля, мы ответили Савелию Кожевникову? Он спрашивал мое мнение об удобрениях?

— Как же, ответили и книгу послали.

— Пионеры прислали письмо, просят рассказать о лошадях. Не поручить ли Гукову?

Гуков охотно берется за поручение. В чем другом, а в лошадях он толк понимает. Он посылает пионерам форменную диссертацию. Пускаясь в рассуждения о «глубине подпруги», о «длине заднего окорока», давая характеристики шотландских тяжеловозов и американских рысаков, Гуков писал:

«Милые, дорогие ребята! Когда вы станете большими, возможно, что лошадку сменит мотор. Уже сейчас ямщики и извозчики известны больше в песнях. Может быть, и кавалерия когда-нибудь станет старомодной, кто знает. Но мы, ребятки, очень любим лошадь, мы с нею неразлучны. И то сказать: красивое животное! Умница! С нею мы бороздим поле, с нею бросаемся в атаку на врага. Каждому свое. Не знаю, на чем вы будете мчаться, друзья. Но, вспоминая о нас, вспомните и о лошади, нашем верном друге!»

Дальше Гуков рассказывал о лошадях, которых сам он выращивал, выезжал, наблюдая их повадки, изучая их характеры.

Котовский прочитал послание Гукова и пришел в восторг, велел размножить на пишущей машинке и раздать командирам для чтения и руководства. К Гукову стали обращаться за справками, советоваться о рационе лошадей, о значении того или иного названия.

— Откуда вы все это знаете, товарищ Гуков? — спрашивали с завистью и удивлением.

— Во-первых, читал. О лошадях много написано. Во-вторых, у меня у самого в былые времена имелись конюшни. В русском офицерстве считалось неприличным не уметь ездить верхом. У меня были недурные верховые лошади.

На этом вопросы обычно обрывались. Неудобно напоминать человеку о его происхождении, если и без того было ясно, что он дворянин. В дореволюционной России существовало обидное выражение «незаконнорожденный». Вот так же неприлично было теперь намекать человеку, что он «дворянскорожденный». Коли человек свой, работает на Советскую власть добросовестно, значит, не следует его прошлое ворошить, незачем его конфузить, что было, то прошло и быльем поросло, а мы незлопамятны.

Так рассуждали эти простые люди. Гуков понимал по выражению их лиц, что они деликатно обходят вопрос о его социальном происхождении, и добродушно усмехался. В анкетах у него черным по белому записано: ни в каких партиях не состоял, против Советской власти не боролся, связи с границей не имеет, в рядах Красной Армии находится со дня ее существования.

О Гукове в корпусе говорили:

— Скажи, пожалуйста, вот ведь и бывший полковник царского времени, и сам буржуазного происхождения, а человек как человек! Бывают чудеса на свете!

Так рассуждала молодежь. Те, кто прошли через гражданскую войну, знали две окраски: белый — это тот, кто в тебя стреляет, красный — это тот, кто в одном строю с тобой, плечо к плечу, идет в атаку.

Григорий Иванович, ежедневно встречаясь с Гуковым по делам службы, часто беседа с ним в домашней обстановке, не подозревал, что Гуков разбирается в лошадях. Сам Гуков на эту тему не высказывался. Котовский считал Гукова большим военным специалистом, хотя и старой закалки. Но лошади... Нет, это было полной неожиданностью, это было открытием. Гуков неизмеримо вырос в глазах комкора.

— Выходит, вы немало побыли в седле? Выходит, вы любите коня? Ты слышишь, Леля, какой у нас Владимир-то Матвеевич скрытный? Знаток лошадей — и помалкивает!

— Разговору как-то не заходило... И помилуйте, какой же я знаток? Мой кучер и тот был больше знаток, чем я. Или мой тренер по верховой езде это действительно виртуоз. Правда, я в спортивном обществе состоял, это, конечно, давало кое-какие знания, некоторую

сноровку...

— Вот-вот, — ухватился Котовский. — Спортивное общество, говорите? А ну-ка, садитесь поближе и рассказывайте. Вот и я утверждаю: спорт — это венец физической подготовки!

5

Спорт — это венец физической подготовки. Об этом и шла речь в приказе по корпусу, о постановке физической подготовки в частях и организации конно-спортивных и стрелковых кружков.

Это и Фрунзе одобрил:

— Дело нужное, это мы везде введем, в обязательном порядке. Это привьется не только в армии, этим духом будет пронизано все воспитание молодежи. Нам нужно здоровое, бодрое поколение, сильные, волевые люди, а не размазни и хлюпики!

Котовский объяснял, что в коннице круг деятельности физкультуры значительно расширяется, так как здесь объектом являются и конь, и человек, и то, что мы называем всадником, — то есть сочетание человека с конем.

— Но и это не все! — добавлял Фрунзе, подхватывая мысль Котовского. Всадник, который готовится стать боевым кавалеристом, должен вырабатывать особые, свои специфически военные навыки.

— Об этом и разговор! Физкультура в частях корпуса должна слагаться из физической подготовки бойца — гимнастика, легкоатлетика и тому подобное — плюс физическая подготовка коня к условиям боевой службы в поле. И далее — подготовка всадника-спортсмена, спортсмена-стрелка, отважного спортсмена-охотника...

— Так-так! Парфорсная езда, парфорсная охота!..

— А все, вместе взятое, дополнит боевую подготовку кавалерийской части в целом.

Фрунзе посоветовал, прежде чем развертывать это дело, хорошенько изучить материалы, подготовить базу.

— У меня есть помощник и советчик, — похвастался Котовский. — Золото, а не человек! Начальник штаба корпуса. И лошадей любит.

— Ну, если лошадей любит, значит — все! — рассмеялся Фрунзе, знающий, как относится к лошади Григорий Иванович.

Котовский взялся за новое дело с обычным жаром. Он сам во всем показывал пример. В конно-спортивных кружках проводятся состязания. Владение холодным оружием. Сменная фигурная езда. Конкурсная езда. Состязания на выравнивание аллюров на отмеренной версте разными колоннами и развернутым строем. Полевые галопы без препятствий и с препятствиями. Парфорсная охота.

Конный спорт становился на новые основы.

— Совершенно отказаться от скаковых конюшен и жокейских скачек, приказывает Котовский. — Скаковые конюшни расформировать, и лошадей в виде поощрения передать лучшим наездникам из комсостава по усмотрению командиров дивизий. В круг работы конно-спортивных кружков включить подготовку строевого коня, подъездку, выездку, правила ухода, корма и воспитания лошади.

«Конечно, — думал Котовский, — такие кони, как мой Орлик, редко встречаются. С них только рисовать картины. Но вырастут, должны вырасти новые Орлики... а может быть, и не Орлики? Может быть, стальные кони? Бронетанки? Самолеты? Сверхмощные! Сверхскоростные! Ведь техника стремительно идет вперед. И тогда мы, кавалеристы, станем лишь символом, красивой сказкой для воодушевления молодежи...»

Котовский все свои планы, замыслы, размышления, о трудностях, о радости успехов — все это излагал дома внимательной слушательнице Ольге Петровне, Григорий Иванович перед ней развивал мысли о необходимости учебы кавалеристов, о значении стрелкового спорта, о твердом его решении сделать кавалерийский корпус стальным. Отличнейшим!

Безупречнейшим!

Григорий Иванович бросал на стол ложку, забывал о супе, который стынет в тарелке, и, вскакивая и начиная кружить вокруг стола, горячо доказывал:

— И он будет отличный, будет безупречный, будет стальной! Ты веришь этому, Леля?

Леля верила. Но она хотела, чтобы муж хоть изредка отдыхал и уж во всяком случае съел суп, пока он еще окончательно не остыл.

— Верю, но высказывай свои надежды не так громко: Гришутка спит.

— И Гришутка у нас будет отличный! Как ты думаешь, Леля?

Сыну исполнилось два года.

— Вот вырастешь — и тебя посажу на боевого коня, — говорил ему Григорий Иванович, — и будешь ты скакать галопом навстречу ветру. Может быть, к этому времени мы уже победим всех врагов? Или еще не победим? Как ты думаешь?

Маленький Гриша смотрел на отца серьезно и внимательно, как будто и в самом деле обдумывал этот сложный вопрос.

Затем начинались игры. Все летело вверх дном в квартире! Григорий Иванович изображал тигров и леопардов, великанов и людоедов, они устраивали показательные бои, маленький Гриша визжал от восторга. Но трудно было решить, кто получал больше удовольствия и кто сильнее увлекался забавами — маленький Гриша или большой.

6

Никогда не покидало Котовского чувство ответственности за судьбу человека. Если Григорий Иванович видел голодного, раздетого, несчастного, обиженного, он страдал, ему было невыносимо зрелище унижения человека. Как можно преспокойно есть, если рядом с тобой умирающий голодной смертью? Как можно безучастно относиться к совершаемой по отношению к кому-то несправедливости?

Ольга Петровна и сама такая и любит Григория Ивановича именно за его порывистость и отзывчивость. Однако добавляет, что все-таки нужны преобразования, а не частная благотворительность.

— Мы говорим, Леля, о разном. Конечно, нужна речная охрана, но если человек тонет — бросайся спасать, а не звонить по телефону в Общество спасения утопающих! Я — советский человек? Значит, я отвечаю за все! За то, что вот этой женщине задержали зарплату. За то, что вырос плохой ребенок. За то, что завод не выполнил план. Какой бы ни был завод, любой, все они мои! Мне стыдно, если что-нибудь плохо. Невыносимо стыдно!

Когда пришел к Котовскому ободранный, босой человек, Григорий Иванович вовсе не из желания покрасоваться схватил и отдал ему свои новешенькие сапоги. Ничто не могло его остановить. Он был гражданином во всей полноте этого слова. Он любил людей, ему нравилась эта смятенная, озаренная солнцем и обвеваемая бурями эпоха. Ведь именно сейчас встало во весь рост убеждение, что самое главное, самое ценное и прекрасное на земле — человек.

Сравнительно легко было разрешить вопрос с жизнеустройством таких людей, как Савелий, Марков, Гарбарь, Криворучко, Белоусов. Но куда денутся, где преклонят головы после демобилизации те бобыли, которые и семью за войну потеряли, и дом у них сожжен, да и все селение исчезло, выгоревшее дотла? Специальности никакой, единственно что они умеют — сеять хлеб, пусть дедовскими приемами, с сохой и лукошком, но все же умеют. Только ведь у них нет и земли! А те, что пришли из Молдавии? Их родина захвачена врагами. Их землю топчут сапоги интервентов. Что делать им? Куда податься?

Григорий Иванович придумал кое-что, но сначала решил посоветоваться с Фрунзе.

Фрунзе выслушал его со вниманием. Григорий Иванович видел, что он одобряет, что ему нравится затея.

— А что? — воодушевился Фрунзе. — Пусть трудятся и вместе с тем пропагандируют новое социалистическое земледелие! По-моему, прекрасная мысль! Только необходимо,

Григорий Иванович, так подготовить коммуны, чтобы не оскандалиться на первых же шагах. Вот что. Я поговорю в ЦК, а ты, Григорий Иванович, продумай, подготовь, ты агроном по образованию, все прикинь: что и как, откуда изыскать средства и все такое.

— Средства? — подхватил Котовский. — У меня уже все обмозговано! Средства корпус предоставит, поддержим, пока не встанут на ноги! Главное политический эффект! Вокруг крестьянство, мелкие, единоличные, раздробленные хозяйства — и вдруг коммуна! Все вместе, сообща... Это знаете какое впечатление произведет? Куркули взбесятся, беднота призадумается.

В ЦК одобрили замысел группового трудового устройства демобилизованных бессарабцев. А Котовский уже и место присмотрел: в Подолии, поблизости от городка Тульчина, еще ближе к городку Бершадь.

Оба эти городка ничем не примечательны, если не считать, что в Тульчине при раскопках нашли зубы мастодонта, а под Бершадью в лесу построен заштатный монастырь.

Подолия — цветущая земля. Рекою Збруч она отделяется от Галиции, южнее, за Днестром, лежит Бессарабия. Заливные луга, сады, пасеки, виноградники — вот что такое Подолия. По откосам ее рек рдеет темно-красный кизил. Над лугами жужжат хлопотливые пчелы. Кто же не едал ущицкого чернослива и не курил местных сортов деруна-бакуна и забористой махорки? В Балтском уезде выращивают айву. В Ольгопольском мастерят глиняные горшки и макитры. А в Ободовке, которую Котовский наметил для Бессарабской коммуны, жили колесники, делавшие обода для колес.

Вплотную примыкал к Ободовке холм Кучугуры, где было родовое имение помещика Собанского, ведущего свой род от шестнадцатого века и получившего от папы Льва XIII графский титул. Собанский построил в своем имении дворец — с верандой, импозантным подъездом, с зубчатой башней, — словом, в полном соответствии с родовитостью хозяев. У главного входа во дворец, на видном месте, так, чтобы каждый обратил внимание, прикреплен мраморная доска, на которой золотыми буквами высечено, что дом этот построен Феликсом Собанским в 1763 году и реставрирован Михаилом Собанским в 1840 году для потомства.

Это потомство в лице коммунаров-котовцев пришло сюда строить новую жизнь. Здание отремонтировали, конюшни, надворные постройки привели в порядок.

Коммуна получила от военсовхоза шестьсот десятин земли, жилые и хозяйственные постройки, небольшой запас овощей, зерна и фуража. Помимо двадцати двух лошадей коммуна получила быка-производителя, корову Царицу и кровного рысака Бандита.

Так и начала свое существование 6 августа 1924 года Бессарабская сельскохозяйственная коммуна — детище Котовского.

Кажется, не было в этих краях пяди земли, где бы не лилась кровь, не разгоралась битва с лютыми врагами Советской страны, где бы не промчались отважные конники Котовского, то отбиваясь от петлюровцев, то отгоняя прочь пилсудчиков, то вылавливая бандитские шайки Грызло и Гуляй-Поле, Хмары, Подковы и Волынца.

Теперь требовалось другое: нужно было знанием, умением и упорным трудом отвоевывать один за другим редуты у постылого прошлого.

Как радовался созданию Бессарабской коммуны Котовский! Как торжествовал! Что ни маленькая победа коммунаров, то ликование Григория Ивановича:

— Электростанцию пустили! Вот молодцы! Пусть поглядывают куркули из окрестных деревень: светится, сияет хозяйство коммуны!

Проходило еще некоторое время.

— Леля! Ты слышала? Наши-то в Ободовке купили тридцать коров! Представляешь, как это важно и своевременно?

Вот тогда и родилась мысль у Котовского, что новому хозяйству нужна и новая техника, об этом и Ленин всегда говорил. Эта мысль не оставляла Котовского ни на минуту: обобщественное ведение сельского хозяйства требует перевооружения — нужен трактор.

Котовский выяснял, наводил справки... В то время своих тракторов еще не было, они

выписывались из-за границы. Котовский и это учел. Он стал навещать в Одессу. И вскоре в Ободовку пришла телеграмма: Котовский предлагал срочно выехать в Одессу председателю коммуны Виктору Федоровичу Левицкому, а также старшему бухгалтеру и механику.

Они зачарованно смотрели, как разгружаются в Одесском порту тракторы, а затем оформляли через банк получение коммуной трех тракторов.

Настал долгожданный день. Все население высыпало на улицу, чтобы полюбоваться необычным зрелищем. Школьники Ободовки в этот день были освобождены от занятий. Оркестр грянул марш, когда показались добрые чудовища, спокойные, уверенные в своей силе.

Был митинг, был праздник. А уж разговорам, пересудам не было конца. И лошади посматривали из конюшен на свою смену, на трех стальных коней, пришедших на поля громыхая, скрежеща, возвещая о новой эре.

7

А нетерпеливая мысль Котовского шла дальше и дальше. Котовский уже зондировал почву относительно создания Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики на левом берегу Днестра, под боком у поработанной чужеземцами Бессарабии.

— Пусть наша Автономная Молдавская республика светит, как маяк, призывает тех, что за Днестром, к борьбе, к счастью! — говорил Котовский, подавая докладную записку в ЦК партии.

Так он мечтал, так он государственно мыслил и всегда встречал поддержку и одобрение у своего друга и вдумчивого руководителя — Михаила Васильевича Фрунзе.

Одна цель объединяла их, так же как и всю славную ленинскую гвардию ленинский ЦК, ленинскую партию и выращенную ими молодежь, боевую комсомолию, и выпестованных ими непреклонных, закаленных в боях рабочих, и весь твердо вставший под красными знаменами непобедимый народ. Эта цель создание сильного государства, построение социалистического общества, построение коммунизма.

Сознание этой большой цели пронизывало каждого, кто бы он ни был, слесаря и учителя, свинарку и академика, пограничника и директора банка, землероба и землекопа, шахтера и летчика-испытателя, инженера и домохозяйку. Может быть, не все они сумели бы объяснить, чего добиваются, ради чего терпят лишения, жертвуют сном, покоем, даже жизнью! Но они доподлинно, безошибочно знали: пусть бывают несурезицы, пусть бывают нехватки, неполадки — пусть! Все-таки основное — это движение к высокой цели, на благо народа, на благо человечества, на благо всех живущих на земле.

Были изумительны дела людей в годы гражданской войны, когда наперекор всему, опровергая все теории, все нормы, все расчеты вражеских стратегов и политиков, они упорно шли к освобождению. Плохо одетая, полуголодная Красная Армия одерживала победы над щеголеватыми, сытыми, обученными полчищами белых. Красные полководцы, вдруг появляясь из толщ народа, обнаруживали и военные знания, и талант. Красные заводы работали на полную мощность, несмотря на изношенную устарелую технику, на голодный паек.

Но и позднее, в двадцатые годы, совершалось в нашей стране нечто необыкновенное, чего никак не могли понять люди старой формации. Они подходили не с той меркой! Они судили поверхностно и однобоко! Они человеко-единицы множили на доллары. И в итоге получался просчет. Все дело в том, что в стране социализма были разбужены невиданные доселе новые силы, открыты новые скорости. И до чего же нелепо звучали претензии империалистов, то объявлявших крестовый поход против коммунизма, то решавших взять нас измором, то подсылавших наемных убийц, то угрожавших интервенцией.

В те годы еще были крыты соломой крестьянские избы. В те годы у нас еще не было своего трактора, своего автомобиля, своих самолетов. Разоренная, истерзанная страна возрождалась из пепла. Она не прожектерски, по-деловому принималась перестраивать

хозяйство на новый лад, технически перевооружаться, она приступила к электрификации — словом, осуществляла вторую революцию. Это-то больше всего и бесило наших врагов. Они начинали нервничать, суетиться, торопиться, назначали сроки окончательной нашей гибели, сроки эти переносили по независящим от них обстоятельствам с одной даты на другую.

Каждый выигранный нами год лил воду на нашу мельницу, только на нашу мельницу! Вот это и есть основное, что характеризует памятные, славные, гордые двадцатые годы: стиснув зубы, напрягая все силы, люди яростно учились, иступленно строили, всесторонне готовились к столкновению с оголтелым, озлобленным, похожим на ослепленного в ярости быка, опасным и сильным, хотя и смертельно раненым врагом.

И какое же нетерпение охватывало каждого советского человека засучив рукава, восстанавливать, строить, налаживать! Работы непочатый край!

Так и у Григория Ивановича Котовского. Жадно набрасывается он на каждое дело. Рождается за проектом проект.

Создать Автономную Молдавскую республику у самой границы, перед самым носом империалистических держиморд — разве это не блестящая идея? И какой смелый эксперимент — устройство сельскохозяйственной коммуны! И когда — в 1924 году!

Корпус шефствует над комсомолом Днепропетровска. Корпус открывает свои мастерские, заводы, совхозы, «лавки Котовского» уверенно выбивают из седла частных торговцев, и те просят пощады, так как не могут по тем же ценам продавать — себе в убыток.

На все Григорий Иванович Котовский находит время, во все вкладывает душу.

Приехал в Умань Карп Андреевич Кулибаба, встречавшийся с Котовским в подполье Одессы в девятнадцатом году. Нашел и для Кулибабы теплое словечко Григорий Иванович. Ольге Петровне представил: «Этот человек спасал мне жизнь в Одессе, прошу любить и жаловать». Вместе сели обедать, вместе пошли осматривать город, и Кулибабе запомнилось, как на улице Котовского окружила гурьба мальчуганов, закадычных его приятелей...

Создавая Бессарабскую коммуну, Котовский не ограничился тем, что издал приказ: таким-то демобилизованным явиться для инструктажа. Нет, Котовский беседовал с каждым будущим коммунарком, расспрашивал о семье, справлялся, что намерен делать после демобилизации, объяснял, что такое сельскохозяйственная коммуна и как нужно там работать и жить, чтобы заслужить уважение окрестных селян.

Как бережно выращивал Котовский людей! Выращивал, и сам рос вместе с ними, никогда не стеснялся поучиться.

8

Много надежд возлагал Котовский на хорошего командира и фантастического храбреца Криворучко.

— Мы сделаем из него такого командира, какого еще свет не видывал! уверял Котовский, отправляя его учиться.

Но отослали Криворучко в Москву не сразу. Сначала он был передан на попечение Ольги Петровны. Ей не впервой устраивать школу на дому, через ее руки прошло много людей. Обучала она и Оксану, подготавливала к поступлению на рабфак Митю Пащенко... Бывало, свихнется человек, натворит чего-нибудь — Котовский и его вручает Ольге Петровне: перевоспитывай, научи уму-разуму.

С Николаем Николаевичем Криворучко пришлось начинать с грамматики. Надо отдать справедливость, это был прилежный и выносливый ученик. Иногда он удивлял неожиданными ответами. Особенно запомнился Ольге Петровне случай, когда Криворучко слово «аппетит» написал «опятит».

— Ну, знаете, всякие ошибки делают в этом слове, но такое коверканье встречаю впервые!

Криворучко был страшно удивлен:

— А как же, Ольга Петровна? Это слово что означает? Опять и опять хочется есть.

Значит, и писать надо «опятит».

Об этом споре Ольга Петровна любила рассказывать, когда хотела развеселить компанию. Если разговор происходил в присутствии Криворучко, он добродушно усмехался и уверял, что со словом «аппетит» до сих пор не примирился.

Ольга Петровна не сердилась, но и не поднимала на смех упряма. Она терпеливо и настойчиво объясняла:

— Человеку всегда трудно отказываться от своих ошибок. Это и не удивительно. Жил-жил, ошибался-ошибался — и вдруг надо отвыкать, надо перестроиться на новое! Я по себе знаю, как трудно.

— А разве нельзя сделать так, что если удачная ошибка, то и принять ее на вооружение?

— Что же тут удачного? Исковеркал слово и думает, что реформу языка произвел!

Криворучко оправдывался:

— В народе непонятные слова приспособливают часто. Мне довелось, например, слышать, как один дядя вместо «критическое положение» говорил «кряхтическое положение». А что? Разве плохо? Именно кряхтическое!

Другие предметы давались Криворучко легко. Особенно любил он историю. Ольга Петровна поражалась его памяти: раз прочтет — и на всю жизнь запомнит. Отличная память!

Закончилась подготовка, отправили Криворучко в Москву, как будто все получилось — лучше не надо. Котовский заранее провел все переговоры, даже комнату нашел для своего питомца. И вдруг Криворучко прислал Ольге Петровне отчаянное письмо: «Передайте, мамаша, комкору, чтобы отозвал меня отсюда, а не то я застрелюсь».

Это письмо всполошило все семейство. Отличительной чертой и Ольги Петровны, и Григория Ивановича было то, что они не умели любить наполовину. Уж на что Григорий Иванович обожал сына, восторгался им, любовался, высказывал всяческие предположения, кем будет сын, когда вырастет, но с таким же пылом он любил и Николая Криворучко, и Ивана Белоусова, и Маркова, и Гарбаря, и коммунаров из Бессарабской коммуны, и Митю Пашенко, и Оксану. Разве садовник, выращивая яблони, меньше отдает внимания кустам смородины или сирени, грушевому дереву или каштану?

Вот тогда и вызван был на семейный совет Владимир Матвеевич Гуков, начальник штаба корпуса. Он ничуть не удивился, что с ним обсуждают вопрос о том, как поступить с неким Криворучко, который не хочет учиться и угрожает пустить себе пулю в лоб, если его не вернут обратно, в Умань, во вновь обретенную им семью.

— Что делать, Владимир Матвеевич? — спрашивала Ольга Петровна. Застрелиться он не застрелится, а бросить учебу и сбежать может.

— Нельзя этого допустить. Надо учиться. Обязательно надо учиться! хмурился Котовский. Он не любил, когда его планы рушились.

Владимир Матвеевич понимал, что, если к нему обращаются с таким вопросом, значит, именно он может спасти положение. Уговаривать старика не понадобилось.

— Все ясно, — решительно произнес он. — Парень не в силах справиться один. Надо спасать! Спасать могу только я, ведь не напрасно же я оканчивал когда-то Академию генерального штаба. Один полковник-шутник в старину говаривал: академия — это нечто среднее между институтом благородных девиц и иезуитской коллегией. Короче говоря, когда прикажете выехать? Помните, Николай рассказывал, что кто-то выразился «кряхтическое положение»? Мой диагноз: у Николая Криворучко кряхтическое положение! Завтра поездом ноль пятнадцать выезжаю.

Сначала, как сообщал Гуков, дело у них не ладилось. Криворучко фырчал, брыкался, жаловался на генералов, которые важничают на высших академических курсах, на ВАКе, как они в практике именовались. Однако с таким человеком, как Владимир Матвеевич, трудно было не поладить. У него был удивительно мягкий характер и достаточно обширные знания по военным вопросам. Когда Криворучко жаловался на преподавательский состав, Гуков принимался рассказывать про свою учебу:

— То ли еще, Коленька, было в наши времена! Помню, тактику у нас преподавал

толстый краснощекий генерал Кублицкий Петр Софронович, царство ему небесное. Он читал лекции сидя, нужные места на карте показывал ногой. Наполеоновские войны читал сахарозаводчик Баскаков. Не знаю, как у него обстояло с сахаром, а наполеоновские войны ему были явно ни к чему. А еще был генерал Макшеев. Не Макшеев, а горе луковое! Читал он военную администрацию европейских армий. Мухи дошли на его лекциях! А сам глухой, принимал доклады слушателей через рупор. Представляете такую картинку?

Криворучко вздыхал и ничего не отвечал. Однако слушал с интересом.

— Да-с, Николай Николаевич!.. Теперь что? Благодать! Бывало, как заведет полковник Золотарев свою волынку, начнет перечислять речушки мелкие, речушки покрупнее, ручьи и болота в пограничной полосе с Германией и Австро-Венгрией... Силы небесные! Тощица! А вынесли? Все вынесли! Он военную статистику читал. Вообще же главная беда той, старой, царского времени Академии генерального штаба в том, что зачастую мы слепо принимали принципы германской доктрины... «Успех, достигаемый силой, есть высший критерий справедливости!» Сколько лет прошло, а помню! Это вот и есть одна из установок германского генерального штаба. Но при всех недостатках и старая академия закладывала какие-то основы. Во всяком случае, следует изучать все, что было разработано русской военной мыслью... А сейчас и время такое — только учиться! Нет, Николай Николаевич, вам унывать и отчаиваться никак нельзя! Давайте вместе разберемся, если что вам кажется непонятным. Ну-те-ка, покажите, какая у вас задача?

Криворучко еще раз вздыхал, и занятия начинались.

Зимой Владимир Матвеевич приехал в Умань отчитываться. Прежде всего извлек из старомодного, с какими-то медными застежками чемодана два свертка.

— Это, Ольга Петровна, вам. Московские гостинцы.

Ольга Петровна развернула пакет, поворчала, зачем так тратиться, но от коробки шоколадных конфет и флакона духов «Ideal Reve» была в восторге.

— А это ваше, Григорий Иванович. Часть вновь полученных из ВАКа программ, а также работа товарища Криворучко по обороне: соображения комдива седьмой стрелковой дивизии по обороне позиции на фронте Юраши Рацево и приказ седьмой стрелковой дивизии. Работа выполнена при моем участии, но и он попотел, бедняга.

Котовский потащил Владимира Матвеевича к себе в кабинет и тут же стал разглядывать материалы.

— Как я уже писал вам, задача по обороне будет решаться продолжительное время, причем каждый слушатель ВАКа должен пройти роли комкора три, комдива семь — правофланговая дивизия на участке корпуса, командира правофлангового полка седьмой дивизии, командира одного из батальонов этого полка и в конце концов командира одной из рот.

— Ясно!

— При этом необходимо детально изобразить на участке батальона и роты решительно все части до отдельных постов включительно. Представляете?

Владимир Матвеевич смаковал все эти перечисления. Он постепенно выкладывал из свертка материалы, с таким трудом добытые в ВАКе, при этом хитро подмигивал и хихикал:

— Вот, видите? Карта-одноверстка Юраши — Сокола и план северной части этого участка в масштабе сто сажен в дюйме в горизонталях. Представляете? И карта, и план — секретные, еле выпросил для вас под личную расписку. А как без них обходиться — подумали бы они!

— Спасибо! Это я сразу же под замок.

— Как я писал, первый семинарий закончился обслуживанием того размещения тыла тридцать первой стрелковой дивизии, какое я вам прислал с нарочным.

— Как же, как же, получил! Прорабатываю.

— Криворучко говорит, что руководитель признал его размещение вполне отвечающим данной обстановке. Вообще Криворучко не узнать. Стал относиться к нашим занятиям с несомненным интересом.

— Стреляться больше не собирается?

— Не скрою, трудновато ему приходится. На езду много времени уходит. А вообще — молодец.

Гуков деликатно, исподволь указал Григорию Ивановичу, какими источниками следует пользоваться для работы.

— Заочникам куда сложнее! Вот даже и книги, ведь не все вы найдете в Умани. Напишите, пришлю из Москвы. А еще лучше — сделаю выборки самого главного.

Помолчал-помолчал и добавил:

— Удивительный вы человек. Такую нагрузку, как у вас, не всякий выдержит.

Котовский побарабанил пальцами по письменному столу, видимо придумывая, как перевести разговор на другое: он не любил, когда его хвалили.

— Сына хотите посмотреть?

— Ого! Не все достаиваются такой чести!

— Вы знаете, растет не по дням, а по часам. Я что-то думаю, обязательно ли ему быть военным? Может быть, пойти ему по научной части? Ближайшие десятилетия у нас — это техника, и только техника...

— Да, — грустно согласился Гуков, — если только не помешают... Кстати, не рановато ли решать вопрос о профессии, о призвании, когда у человека, в сущности, еще молочные зубы? А? Представляете?

— У меня самого во многих отношениях еще «молочные зубы», — вздохнул Котовский. — Наверстывать упущенное, осваивать новое... Главное, ведь военное дело — такая штука, что никогда нельзя захлопнуть книгу и сказать: «Теперь все!» Как только захлопнешь книгу, перестанешь следить за новинками, так и окажешься в обозе!

— Даже относительно обоза нужно многое знать.

Так они тихо обменивались мыслями, стоя около кровати, в которой безмятежно спало еще ничего не ведающее, ничем не озабоченное существо.

9

Когда приехал Белоусов, Григорий Иванович и Ольга Петровна очень ему обрадовались.

— Не забываете нас, — приговаривала Ольга Петровна, наливая ему чаю.

— Ну что вы, Ольга Петровна! Вы для меня все — и родители, и воспитатели, и самые дорогие на свете люди!

Выглядел Белоусов превосходно. Правда, на лбу появилась глубокая морщина, скулы выдались, но в целом он производил впечатление здоровяка. Шла ему кожаная куртка, хотя Котовский и пошутил:

— Вы, Иван Терентьевич, как из романа Пильняка, ведь он коммунистов изображает каменными, саженого роста и обязательно в кожаной куртке, откуда столько кожи-то берут!

— И непременно еще метелица, — подхватил Белоусов. — Революция у него — метелица, дескать, подует-подует да и утихнет.

И добавил, усмехнувшись:

— Публика!

А потом уже другим тоном пояснил, что для его работы кожаная куртка незаменима.

— Ездить много приходится, — вздохнул он, — вся жизнь на вагонных лавках, и никогда не знаешь, в какую погоду попадешь. Выедешь зимой, вернешься летом.

— Либо дождик, либо снег! — засмеялась Ольга Петровна.

Любила она этих возвращенных Котовским крепышей, без хитростей, без претензий, верных, надежных и очень человеческих. Но среди всех любимцами у нее были Марков и Оксана да вот Ваня Белоусов, который, видите ли, стал уже Иваном Терентьевичем, не как-нибудь.

Белоусов поддержал шутку:

— Вот именно! Правильно вы сказали: либо дождик, либо снег, а то в одну поездку застанет и снег и дождик.

— Как ты думаешь, Леля, не прочитать ли Ивану Терентьевичу статью о маневрах? — с невинным видом спросил Котовский.

Ольга Петровна покорно извлекла с полки статью и прочитала ее насколько могла с выражением.

— Здорово! — сказал Белоусов и рассмеялся.

— Вы чего смеетесь? Плохо читала?

— Нет, не хуже, чем в прошлый мой приезд.

— Значит, вы уже знакомы с этой статьей? Чего же молчали?

— Приятно и второй раз послушать, результаты учебы, как видно, прекрасные, корпус — хорошая боевая единица. Только разве так надо писать о Котовском? Погодите, о Котовском легенды будут слагать, поэмы писать, художники станут изображать Котовского — на коне, во всем великолепии, а дети на вопрос, кем ты хочешь стать, будут отвечать: «Хочу быть Котовским».

— Ну ладно, ладно, Иван Терентьевич! Лишнячку хватили! Пейте лучше чай.

— Ничего не лишнячку! Я ведь так понимаю это: «хочу быть Котовским» означает — хочу быть таким ленинцем, как Котовский, хочу быть храбрым, хочу побеждать врагов.

— Так и говорите. Вся молодежь в нашей стране хочет походить на своих отцов и продолжать их дело. У вас, наверное, и чай остыл, Иван Терентьевич. Леля, налей ему свеженького.

Разговор переключился на международные темы и увлек постепенно всех собравшихся.

— Соединенные Штаты, — принял участие в разговоре и Белоусов, — с удовольствием скушали бы нас даже без соли, да, видно, кусок не по зубам. Изоляция Советского Союза тоже у них не получается. С Германией-то торговый договор заключили? Форд уж на что мракобес, а тракторы нам все же продает? Значит, у них рынок узковат, поджимает!

— Такая у них установка, — добавил и Гуков, который без газеты не мог дня прожить, следил за международным положением и любил говорить на эти темы.

— Какая? — спросила Ольга Петровна, видя, как Гукову не терпится высказать свое суждение.

— Известно, какая: каждый за себя и к черту остальных.

— Позвольте, так этого же придерживаются и французы! — воскликнул оживившийся Белоусов: — У них тоже чужие интересы — это *quantite negligeable*. — И обернулся к Гукову: — Так, кажется? Или я что-нибудь переврал? Я с французским-то не очень.

«Ого! — отметил мысленно Котовский. — Парень-то, кажется, стал изучать языки! Молодец!»

Народу за столом было, по обыкновению, немало. Все собравшиеся — в основном командиры и политработники — достаточно знали об Америке, о злобном шипении реакционеров в капиталистических странах, о плане Дауэса, о подготовке вооруженного нападения на Советский Союз.

— Нынешний президент Кулидж со всей откровенностью заявил: дело нации — бизнес.

— А золотишка-то Соединенные Штаты изрядно нагребли, чуть не половину мировых запасов!

— Разжирели на войне!

Вероятно, еще долго бы толковали на эту тему, если бы кто-то не взглянул на часы.

— Товарищи! Пора и честь знать!

— Мне завтра в шесть утра вставать!

— Ольга Петровна! Что же вы нас не гоните?

— Разрешите, я покажу пример... Спокойной ночи! Спасибо за проведенный вечер!

— И за восхитительную бабку! (Это, конечно, Гуков!)

Вскоре комната опустела. Остался только Белоусов, который приглашен был переночевать. Он отодвинул от себя недопитый чай. И когда Ольга Петровна и Григорий

Иванович взглянули на него, сразу поняли, что приехал он, как всегда, неспроста и хочет сообщить что-то важное. Лицо его стало строгим, глаза колючими. Теперь это был не приятный собеседник за приятным ужином, а вдумчивый, готовый ко всяким неожиданностям, бесстрашный и суровый чекист.

Котовский снова остался им доволен. Прийти с каким-то важным сообщением и виду не подать — все это понравилось Котовскому.

«Вот это выдержка! — промелькнуло у него в голове. — Видать, хорошую школу прошел у Дзержинского. Приятно, когда звание человека соответствует его призванию!»

Белоусову не понадобилось проверять, нет ли поблизости посторонних ушей: он приехал не один, и было кому позаботиться, чтобы разговора никто не слышал. Поэтому Белоусов без предисловия приступил к самой сути:

— Григорий Иванович! Я приехал с довольно неприятным делом. Однако нами своевременно приняты меры.

— Понятно! — произнес Котовский. — Какое же это дело?

— Ольга Петровна, я попрошу и вас послушать, дело серьезное и касается нас троих.

Ольга Петровна заметила, что правая рука Котовского то сжимается в кулак, то разжимается. Это было дурным признаком. Ольга Петровна подчеркнуто спокойным голосом ответила:

— Ну что ж, послушаем, что у вас за новости.

Белоусов сжато, точно сообщил, что органами ГПУ дважды задержаны диверсионные террористические группы, заброшенные из-за рубежа с заданием убить Котовского.

Сообщение было выслушано молча. Ни реплик, ни восклицаний. Только рука Котовского машинально еще энергичнее заработала, как бы хватаясь за эфес, а Ольга Петровна сидела бледная, с плотно сжатыми губами.

— Эта наемная рвань, — продолжал Белоусов, — долго не запиралась и все нам выложила: кто посылал, и какие указания давал, и сколько обещано за работу, и какие явки и пароли были сообщены. Мы проверили, действительно все так, как они говорят, и нам удалось, используя их пароли и адреса, выловить и их сообщников.

— Понятно! — снова промолвил Котовский. — Жаль, что они не добрались до Умани. Я бы с ними поговорил по душам.

— Хорошо вести прямой разговор в бою, лицом к лицу с противником, возразил Белоусов, — а эти подонки рода человеческого стреляют из-за угла.

— Не отлита еще та пуля, которая сразит Котовского, — ответил Григорий Иванович, все более наполняясь гневом. — Сунулись бы в дом — я бы их перестрелял, как рябчиков.

— Только этого не хватает! — всполошилась Ольга Петровна. — Ты забыл про Гришутку, ведь можно насмерть перепугать ребенка! Поднять стрельбу!

— Ничего, ему надо привыкать, на его век еще хватит выстрелов.

— Да ведь это теперь отпадает, — примирительно остановил их спор Белоусов. — Бандиты пойманы и получают по заслугам. Но я приехал, во-первых, рассказать о том, что было, во-вторых, для принятия, так сказать, профилактических мер.

— Вы думаете, что это еще не все? — насторожилась Ольга Петровна.

— Разве можно ручаться за эту... за этих паразитов? У них же ассигнования! На подлость, на убийства — на все ассигнования. Раз уж деньги ассигнованы, их нужно тратить. Ведь так? Ну а наша задача смотреть в оба.

— Смотреть! Ведь Григория Ивановича не удержишь, он повсюду разъезжает, повсюду бывает...

— Задержанные в один голос заявляют: нам дали адрес. Они даже знают, что это каменный дом и при доме сад. Довольно точное описание. Ну и револьверы, деньги у них, конечно... даже фотокарточка Григория Ивановича...

— Ужасно! — вырвалось у Ольги Петровны.

— Они там, за рубежом, не учитывают, что теперь не восемнадцатый год, границы мы охраняем, не разгуляешься. А все-таки надо предусмотрительными быть. Вдруг проскочат?

Вот мы и решили около вашего дома специальный пост установить.

И, заметив протестующий жест Котовского, поспешно добавил:

— Временно, Григорий Иванович. Для проверки...

Белоусов замялся было, затем пояснил:

— Один из них проговорился, что сформирована еще одна группа. Может быть, врет, скорее всего, что врет, никто ему не стал бы докладывать, что там сформировано. Его дело маленькое: нанялся — выполняй. Но так как намек все-таки был, мы обязаны подготовиться. Ну и пограничникам даны указания, и еще некоторые меры приняты.

— На меня и в Жмеринке нацеливались, как вы, вероятно, помните... И с самолетов сбрасывали угрожающие записки, — рассмеялся Котовский. — А зачем? Я ведь не прятался, я был на виду — милости просим, пожалуйста в бой, там всегда представится случай повстречаться. Все, Иван Терентьевич. Спасибо за предупреждение. Отрадно, что чекисты у нас службу знают. А теперь давайте-ка спать.

— Григорий Иванович! — настойчиво заговорил Белоусов. — У меня есть приказ, я должен его выполнять. Вы разрешите установить наблюдательный пункт. Временно, может быть, недельки на три... Мы наведем справки... уточним — и если окажется, что все в порядке, то и слава богу.

— Что с вами делать! Устанавливайте, я не могу вмешиваться в ваши дела. Но мнение-то я могу иметь? Считаю, что напрасная трата трудов и времени.

— Спасибо, Григорий Иванович, — облегченно вздохнул Белоусов. Значит, с этим утрясено, улажено. А я и ребяток с собой привез. Фактически пост уже установлен. В саду. Никто и знать ничего не будет.

Перед сном Белоусов и Котовский вышли на крыльцо, хотелось полной грудью вдохнуть напоенный запахами цветов и трав благодатный уманский воздух. Составил им компанию и Фокс — самый серьезный пес, какие только водились на свете.

Ночь была великолепна. Сверкало в небе такое количество ярких, как бы мигающих звезд, как будто прибыло новое пополнение. Деревья стояли темные, недвижные, не шелхнувшись ни один листок. Задумались они о чем или спали?

— Когда только люди научатся пользоваться такой благодатью! Ведь красота-то какая! — тихо, будто боясь разбудить уснувшие деревья, произнес Белоусов.

— А все-таки они там, значит, обо мне помнят, — удовлетворенно пробасил Котовский. — Специально засылают, так сказать, именные банды диверсантов. Лестно.

10

И жизнь пошла своим чередом. Сады цвели, люди трудились, отдыхали, строили планы, мечтали, любили, радовались, печалились, растили детей, сооружали дома, прокладывали дороги, жили.

Как всегда, Котовский просыпался в пять утра. Делал гимнастику, обливался водой. Затем отправлялся на городской стадион, построенный по его настоянию и при его живейшем участии. По дороге не пропускал ни одного дома, где жил или штабной работник или служащий уманских учреждений.

Котовский стучал в окна и торонил:

— Засони! Все на свете проспите! Давайте, давайте, жду на стадионе, пора делать гимнастику! Смотрите, какая погодка! А вы и окна позакрывали, как только терпите такую духотищу!

— Встаем, Григорий Иванович, — отзывались заспанные голоса. — Ох уж этот Григорий Иванович! Как петух на заре поет! Идем, идем, Григорий Иванович! Одна нога здесь, другая там!

Так начинался день в Умани. А потом шло одно за другим — и все казалось срочным и неотложным. Котовский следил за ходом обучения призывников, навещался и на курсы штабной службы, где подготавливались штабные работники. Не оставалась без внимания и

корпусная школа младшего комсостава. Котовский шефствовал над школой сельской молодежи под Уманью. Настойчиво советовал им изучать агрономическую науку и цитировал высказывания Ленина относительно перестройки сельского хозяйства на социалистической основе...

Словом, дел хватало, и все дни были заполнены до отказа. И никогда не видели Котовского усталым, невнимательным, бездеятельным. Он все делал со страстным увлечением и своей стремительностью увлекал других.

Ольга Петровна всегда умела улучшить момент, чтобы позвать к себе домой и покормить дежуривших посменно круглые сутки военных, одетых в штатское. Белоусов же поселился в общежитии красных командиров, питался в столовой повторных курсов и старался как можно реже появляться у Котовских.

Через некоторое время он пришел сияющий и довольный. Им получено приказание пост снять, оставить только наблюдение за приезжающими в Умань лицами, поручив это местным работникам.

Как будто инцидент можно было считать исчерпанным. Но тревога осталась. Особенно беспокоилась Ольга Петровна. И главное, она чувствовала свое полное бессилие. Что она может сделать? Что предпринять?

А Григорий Иванович вскоре перестал и думать о сообщенном Белоусовым. Допустим, что банды засылались. Ну и что ж такого? Их выловили. Да и сам Котовский достаточно владеет оружием. А если говорить про опасность, так она сопровождала Котовского неизменно. Вся его жизнь — опасность. Нельзя же поминутно оглядываться.

— Если так рассуждать, — говорил Котовский, — то вообще нет человека на свете, которого не подстерегает опасность. Как ты считаешь, Леля? Тебе это особенно видно, ты врач. Идет человек, споткнулся, вывихнул ногу.

— Положим, это еще не смертельно.

— Да, но с вывихнутой ногой он или попадет под машину или не успеет эвакуироваться... За каждым углом нас подстерегает какая-нибудь зараза, бактерия какая-нибудь, на первый взгляд — тьфу, мелочь, не стоит обращать и внимания, а конец будет неизвестно еще какой.

— Для того-то и существует профилактика, — наставительно пояснила Ольга Петровна.

— Ваш брат — медицина — на все случаи придумает словечки. Профилактика, диагностика... Я ведь только хочу сказать, что на каждый чих не наздравствуешься. А думать об этом да ждать — это все равно что на фронте каждой пуле кланяться: обязательно и убьет.

Поговорили, и ладно. Жизнь шла своим чередом. Сады цвели, люди трудились.

Четырнадцатая глава

1

Немало времени прошло с тех пор, как Марков увидел бывшего своего друга Женьку Стрижова в ресторане «Кахетия», увидел — проникся к нему жалостью и решил непременно побывать у него и попробовать наладить отношения.

«Надо отремонтировать нашу дружбу! — неоднократно говорил себе Марков. — Может быть, даже наложить заплаты, но так вот отмахиваться, вычеркивать человека нельзя».

Однако всякий раз, как намечал он это несложное мероприятие, обязательно что-нибудь мешало. А ведь так просто — пойти на Фонтанку, войти в знакомый-презнакомый двор, где столько раз бывал, где знает и помнит все-все: и ржавые брусья, сваленные в углу рядом с кучей битого кирпича, и поленицы дров — много и каждая на особицу, потому что каждая принадлежность такого-то жильца такой-то квартиры... Марков даже знал, что, если пройти этим двором, окажется поворот, затем как бы вторые ворота уже другого дома, затем

площадка, где выбивают ковры, сушат матрасы и стеганные одеяла, затем опять длинный узкий двор, по которому выйдешь совсем неожиданно к Александрийскому театру. Марков помнил все изгибы и повороты этого проходного двора, так же отлично помнил темную лестницу, пахнущую котами, дверь, обитую клеенкой...

Настал 1924 год. И тут отодвинула все другие дела и помыслы смерть Владимира Ильича Ленина. Неожиданная встреча на Московском вокзале с Крутояровым, траурный день, проведенный ими в Москве... а затем томительный вечер в столовой у Крутояровых... Грустили, говорили о Ленине... Все это сроднило Маркова с Иваном Сергеевичем... и опять заслонило воспоминания о Евгении Стрижове, о тех днях, когда они, бывало, не разлучались.

Напомнила о Стрижове, и весьма решительно, Надежда Антоновна:

— Что это у вас не видно того симпатичного паренька, он у вас часто бывал. Уехал куда-нибудь? В командировке?

Спросила и так посмотрела на Маркова, будто насквозь пронзила. Казалось бы, вопрос самый невинный, но почему же Марков вдруг покраснел?

— Видите ли... — хотел он объяснить, но ничего не придумал веского, убедительного: он ведь и сам не разобрался, что произошло. Ах да! Нэп! Но как объяснить это Надежде Антоновне, ведь она, как хороший музыкант, малейшую фальшь в интонации почувствует.

Марков, смутившись и покраснев, возмутился своим криводушием:

«Что я, трус? И разве я не прав, что порвал со Стрижовым?»

— Видите ли, Надежда Антоновна...

— Да?

— Он водку стал пить... а я не выношу пьяных...

— Водку стал пить? С чего бы это?

— Тут сложная история... Если в двух словах — он в революции разочаровался.

— Что-о? В революции?! Ничего не понимаю. Да ведь он, Оксана рассказывала, участник гражданской войны? Участвовал в разгроме Колчака? Воевал в рядах чапаевцев? Почему же разочарование в революции?

— Нэп, нэп его возмутил... Не нэп, а нэповщина. Он, знаете, впечатлительный, ему показалось...

— Да вы приведите его сюда! Потолкуем, Ивана Сергеевича пустим в ход — тяжелую артиллерию... Когда вы его видели в последний раз, этого чапаевца?

Марков всегда считал себя честным, правдивым. Но тут он покривил душой:

— Да в тот самый день, когда мы праздновали выход моей книги.

Это была явная ложь. Он понимал: Надежда Антоновна спрашивала не о том, а о его разладе со Стрижовым.

На следующий день Михаил Марков шагал по набережной Фонтанки, любясь на кроны тополей, хорошеньких, подстриженных ершом, похожих на кокетливых краснофлотцев, собирающихся на танцевальный вечер. Из кармана Маркова торчала книга, его собственная, с заранее заготовленной надписью наискось на титульном листе: «Дорогому Евгению Стрижову от автора. Дружба не ржавеет».

Марков шагал по набережной Фонтанки и размышлял о разных разностях: о том, что надпись на книге звучит иронически, так как дружба у них изрядно проржавела... о том, что неизвестно, как его встретит Стрижов, не покажет ли ему на дверь.

«Как должен я поступить в этом случае? Повернуться и уйти? Пробовать урезонить?»

Марков решил, что если Стрижов выгонит его, то он не пойдет на ссору и скажет по возможности мягко: «Евгений! Я ухожу, но считаю тебя по-прежнему другом». Нет, глупо! Лучше так: «Евгений! Не забывай, что мы, кроме всего, сверстники и участники незабываемых боев гражданской войны...» Тоже неудачно и невероятно длинно, надуманно, книжно! Самое разумное крикнуть: «Женька! Не дури! Все равно ведь придешь извиняться...»

Так, ни на чем не остановившись, Марков подошел к клеенчатой двери и позвонил.

— Кого я вижу! Мишенька! Сколько лет, сколько зим! До чего же я рада вам!

Анна Кондратьевна захлопотала, заохала, уж она и разглядывала Маркова со всех сторон, и похлопывала его, и восхищалась его костюмом, прической, уверяла, что он возмужал, похорошел, и все это со всей искренностью, со всем радушием.

«Какой я был идиот, что столько времени сюда не шел! И что за дрянная привычка считаться только с мужчиной, „главой дома“, и уж если ты порвал с „главой“, то само собой разумеется, что ты порвал со всеми его чадами и домочадцами. А разве у меня нет самых сердечных отношений с чудесной Анной Кондратьевной? Но мне и в голову не пришло навестить ее, хотя бы послать открытку и поздравить, допустим, с Новым годом. Скотина я, вот кто!»

Марков уселся в очень знакомое, в каком не раз сиживал, старомодное кресло, вероятно, еще из приданого Анны Кондратьевны, и заговорил о своих делах.

Опять взрыв восторгов, одобрения, похвал. Но странно, она ни слова не сказала о Евгении.

— А что, — осторожно спросил наконец Марков, — Евгений еще в институте? Все человеческие недуги изучает?

— На заводе он! Какие там недуги, он давно уже медицинский-то бросил. А вы что, разве не знали?

— Видите ли... мы с ним давненько не встречались...

— А-а! Тогда вы ничего не знаете. А у нас много всякого было.

Анна Кондратьевна придвинулась ближе и громким шепотом стала рассказывать:

— Совсем ведь было свихнулся парень, пить начал, сколько я слез пролила. Никогда у нас в роду такого не водилось. Пить, пить стал, самым настоящим образом! Придет пьяненький и начнет каяться да всякую ересь молотить...

— Вы знаете, Анна Кондратьевна, из-за этого у нас и дружба пошла врозь, откровенно говоря. Неприятно как-то...

— Вполне понимаю вас! Кому удовольствие с пьянчужой да забулдыгой якшаться? А я — мать...

— И во взглядах у нас несогласие. Он говорит, у него разочарование в революции получилось, что революция на попятный пошла, перед буржуазией капитулировала. Анна Кондратьевна, каково мне было слушать? Я хоть и недоучка, может, в чем и не разбираюсь, но я вырос на том... Понимаете, Анна Кондратьевна? Для меня Родина — революция, а революция — Родина. В общем, трудно это объяснить...

— И объяснять не надо, я и так понимаю. Что-то святое должно быть у человека. Устойчивость.

— Совершенно верно. И вот — так все и случилось. Спорить мы не спорили, да я и не умею. А стало нам не о чем говорить... все реже стали видеться... так и оборвалось...

— Вот оно что! А мой-то ведь молчал. Ничего про то не рассказывал... Вон какая история!

— Да... Так и шло...

Маркову удивительно легко было рассказывать и во всем признаваться этой милой женщине с грустными глазами. Даже легче, чем Евгению. И Марков испытывал удовольствие от того, что говорил со всей прямоотой, не щадя ни Евгения, ни своего самолюбия. Некоторые обстоятельства ему самому стали ясны только теперь, когда он объяснял другому.

— Меня упрекали, — продолжал он свою исповедь, — говорили, что нельзя отдергивать руку, если человек падает в пропасть. Справедливый упрек. Малодушие? Малодушие! Но видите ли, Анна Кондратьевна, здесь есть еще одно обстоятельство, которое мне трудно вам объяснить...

Марков имел в виду свой творческий замысел. В самом деле, этого не объяснить, не рассказать. Для самого-то Маркова было тут много неясностей. Он часто размышлял об этом.

Считал первой своей ошибкой, что надумал конкретного человека, живущего рядом, подвергающегося всяким случайностям, мало того, далеко еще не сложившегося, — вдруг сделать героем книги. Какая наивность! Какая неопытность! Стрижов может, например, простудиться, заболеть и умереть. Может попасть под трамвай. Может утонуть, купаясь в реке. Между тем герой художественного произведения хотя и совсем настоящий, совсем такой, как в жизни, но вместе с тем совсем не такой! Писатель — вовсе не фотограф, и писательский труд куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это Марков почувствовал, приступив к писательской работе!

И еще было одно соображение: Марков страшно обиделся, что его герой ведет себя не так, как должен вести по замыслу автора. Марков хотел изобразить Евгения Стрижова совсем-совсем обыкновенным. Мальчик. Читает книжки, взятые из библиотеки. Катается на коньках. Огорчает маму, нахватав троек по геометрии... И вдруг этот почти еще мальчик — становится мужчиной, едет на фронт, никаких особенных подвигов не совершает, но не хуже других сражается, не менее других храбр, воодушевлен. Происходит сражение, о котором впоследствии будут писать, которое войдет в историю. Герой Маркова опять ничем особенным не выделяется. Такой, как все. Маркову именно хотелось провести эту мысль: не хуже и не лучше, но всем им безыменным, обыкновенным — вечная слава и благодарность народа, потому что все они — безыменные, обыкновенные — удивительные герои, вставшие на защиту правды на земле. Презренны те, кто попрятался в норы, кто отсиживался, уверяя, что не в его характере рисковать собой. Таков был первоначальный план Маркова. И весь этот план перечеркнул сам герой произведения, сам Женька Стрижов, споткнувшись, оказавшись неустойчивым, принявшись бить себя в грудь кулаком и кричать: «За что боролись!»

Время шло. Разочарованный романист порвал со своим героем. А мысль работала. Ее не остановить. Вдруг, неожиданно для самого себя, Марков подумал:

«А почему бы мне не взять Стрижова от сих до сих, а дальше сделать своего Стрижова, какой мне кажется наиболее типичным для нашего времени? Могу же я делать такого Стрижова, какого мне надо, а не списывать в точности, буква в букву, с житейского подстрочника?! С другой стороны, почему бы моему герою и не ошибиться? Чего я, собственно говоря, так переполошился? Почему у него не может быть какого-то изъяна? Разве все сразу разобрались что к чему? Может быть, именно это и поможет создать убедительный образ? Может быть, именно это и будет типично?»

Одним словом, Марков много раз обмозговывал все то, что являлось предметом споров в литературной среде того времени. Там тоже говорили о положительном герое. Некоторые настаивали, что надо обязательно показать какую-нибудь червоточинку, потому что не существует идеальных людей, следует избегать лакировки, нельзя писать двумя красками — черной и красной, и так далее в этом же роде. Другие им возражали.

Итак, Марков готов был принять облюбванного им героя со всеми его недостатками и приговаривал:

— Полюбите нас черненькими. Беленькими-то всякий полюбит.

Но тут же сам себе возражал:

— Не люблю черненьких! И не буду любить. С какой стати?

Дальше шли его размышления:

«Вот взялся бы я, например, написать роман, где главное действующее лицо — Котовский. Неужели понадобилось бы выискивать, нет ли чего-нибудь в этой светлой личности плохого, хотя бы маленьких отрицательных черточек? Некоторые упрекали его в партизанщине, другие отмечали его вспыльчивость. Но я-то сам прошел все военные дороги под водительством Котовского, сам наблюдал повседневно этого удивительного человека — и не могу сказать о нем ничего плохого. Дай бог каждому походить на него! Водятся на свете такие соглядатаи, мелкие душонки, которым нет большего удовольствия, как сказать пакость про хорошего человека. „Иван Иванович, говорите, премилый? Да от него жена сбежала. Петр Петрович талантлив? А как он пьет! Мопассан? А чем он был болен? Достоевский?»

Читал я, как он в рулетку проигрывал женины браслеты!“»

...Анна Кондратьевна смотрела на Маркова благожелательно, слушала, говорила со всей искренностью. Марков тоже хотел быть вполне искренним, но оказался в затруднении: он не сумел бы пояснить ей всех своих сомнений, может быть, несколько смешных поползновений не попросту дружить с Евгением, а рассматривать его как некий экспонат и сердиться, что Евгений не совпадает с эталоном. Да и вряд ли она поняла бы его путанные рассуждения. И он просто сказал:

— Можно сердиться, можно спорить, но дружбой кидаться нельзя. Я кругом виноват. Разыгрываю чистоплюя! Не нравится что — скажи. Пьет? Ругай его. Ты не поп, чтобы отпускать грехи, но и не прокурор, чтобы клеймить преступника. Вы видите, я и сам-то себя не понимаю. Но Женька мне друг, и я, несмотря ни на что, пришел. Вот. Книгу принес. С автографом. Мою.

— Спасибочко. Сами написали? Подумать только! Мне бы сроду не написать. Заявление писала недавно в жакт, что дрова у нас крадут, и то намучилась.

— Да. Так вы говорите, медицинский бросил? Ушел на завод? Плохо.

— Уж не знаю, плохо или хорошо. Мне-то хотелось, чтобы он по стопам отца шел. А детки не всегда по стопам-то ходят.

— Что ж это он? Без специальности? Чернорабочим?

— Что вы, голубчик мой! — замахала Анна Кондратьевна на Маркова руками. — В технику ударился, днем работает, вечером учится. Да он сам все расскажет, вот-вот обедать прибежит.

— Как же его держат на заводе, если вы сами говорите, что он пьет?

— Я говорю? Очкнитесь, батюшка! Женья в рот не берет проклятушей этой водки. И в доме не держим.

— Вот те на! Да вы только что сами же сказали...

— Сказала. Пил. Вы что же, совсем ничегошеньки не знаете? Называется, дружок! Пил, безобразничал, с отпетой шпаной водился. «Все равно, мама, жизнь пропала!» А я ему все нашатырного спирту нюхать давала, не нравилось, отворачивался, а я ему: «Нюхай, несчастный!» И все это шло до самого дня, когда нас горе постигло.

— Горе? — дрогнувшим голосом спросил Марков.

— Горе. Владимир Ильич скончался. Великое горе. А надо сказать, Евгений-то сильно Ленина уважал. Как громом нас ударило. Опасалась — руки на себя наложит. «Мама, кричит, презирайте меня, предатель я, последний я человек». Думала я, ну, теперь окончательно покатится сынок под горку, не остановишь. А вышло наоборот. Весь день где-то шатался, я, конечно, по своей дурусти полагала — по кабакам. Пришел серьезный такой, молчаливый. «Мама, я в партию записался. Многие сейчас в партию вступают, Ленинский призыв». — «Ну что ж, говорю, сыночек, поступай, как совесть подсказывает, только привычки-то у тебя больно беспартийные». — «С этим, мама, покончено. Дурь, говорит, на меня напала, а теперь все выветрилось». Пришли его «жоржики» приглашать на танцульку, а он их за дверь выпроводил: «Я, говорит, больше вам не компания»... Вот как у нас!

Марков сидел в оцепенении. Всего он ожидал: и жалоб, и слез, и проклятий по адресу непутевого сына, но только не того, что рассказала Анна Кондратьевна. Она замолкла, смотрела на него торжествующе и была несколько обижена, что он не выразил радости по поводу внезапного превращения Жени.

Наконец Марков пришел в себя. Буря мыслей, чувств пронеслась у него в голове. Он бросился к Анне Кондратьевне, обнял ее, расцеловал и только бормотал:

— Анна Кондратьевна! Анна Кондратьевна! Что же это такое?..

— Значит, рады?

— А как же! И главное, Анна Кондратьевна, какой сюжетный поворот, это же чудо! Самому бы никогда не выдумать.

Может быть, Марков долго бы еще кричал, вопил и силился объяснить Анне Кондратьевне законы сюжета и значение сюжетных поворотов, но в этот момент раздался звонок.

— Батюшки, а я и суп не поставила подогревать, заговорила с вами... Пришел, пришел мой сыночек! Ключ, что ли, забыл? Чего звонит?

С этими возгласами Анна Кондратьевна бросилась открывать дверь, но вместо Евгения в квартиру ввалилась шумная компания юнцов.

— Куда вы? Куда вы? Говорю же, нет его дома!

— Ничего, бабуся, над нами не каплет, обождем.

— И ждать нет никакой надобности!

— Как же вы говорите, его нет, а это кто за столом сидит?

— Эжен! Или это не он? Пардон, боку бонжур, фрикасе! Ха-ха-ха!

Вся орава ввалилась в комнату и стала поочередно представляться Маркову:

— Ричард.

— Роберт.

— Мэри.

— Познакомимся: Марков.

— Не сердитесь, бабуся. Но Эжен нам нужен как воздух. Не обращайтесь на нас внимания, занимайтесь своим хозяйством, штопайте чулки и тэ-дэ и тэ-пэ. Мы как-нибудь займемся сами!

Марков разглядывал их. Их было пятеро. Две девушки, обе молоденькие, тоненькие, обе поражали обилием косметики на лице и противоестественными манерами. Можно было подумать, что они пародируют кого-то или невозможно переигрывают, изображая отрицательных, идеологически невыдержанных героинь из современной пьесы. Прически у них были ошеломляющие, с челкой и крутыми зачесами на ушах, походка вихляющаяся, платья до того короткие, что нельзя было ни нагнуться, ни сесть. Вначале Марков не расслышал, но из разговора понял, что одна из них — Мэри, а другая — Зизи. Двое молодых людей отрекомендовались Ричардом и Робертом, а третий оказался и вовсе без имени, он отзывался на кличку «Мабузо».

Марков смотрел на них с откровенным изумлением, ему не случалось встречать ничего подобного. Мабузо, в желтом свитере, в ярко-желтых ботинках, с подбритыми бровями на мелком незначительном лице, произвел на Маркова особенно сильное впечатление. Он ломался, неизменно награждаемый дружным смехом, коверкал русские и иностранные слова, придумывая какой-то «запрокидончик», «дундук», вместо *tete-a-tete* говоря «теточка с теточкой», а вместо «здравствуйте» — «дайте пять».

Роберт — долговязый, прыщавый — сам ничего не выдумывал, и роль его ограничивалась тем, что он при каждом трюке Мабузо дико хохотал. Ричард же молча, сосредоточенно щипал девочек и с удовольствием слушал, как они визжали.

— Do you smoke? — обратился Мабузо к Маркову.

— Вы спрашиваете, курю ли я? Нет, не курю.

— Какое разочарование! — паясничал Мабузо.

Долговязый Роберт дико захохотал, схватил яблоко из вазы, стоявшей на столе, и стал его грызть.

— Смотрите, смотрите, он ест яблоко! — вскричала Зизи.

Долговязый Роберт схватил книжку Маркова, прочел надпись, строго спросил:

— Писатель?

И, не дожидаясь ответа:

— Мабузо! Честь имею представить: твой коллега.

— Интэрэсно! — отозвался Мабузо. — В самом деле?

Повертел в руках книжку Маркова:

— Дивно! Сколько получили монет?
 — Существуют ставки, — нехотя ответил Марков.
 — Сек-рет? I understand you! Понятно!
 — Хо-хо-хо! Уж Мабузо скажет так скажет!
 — А вы стихов не пишете? — полюбопытствовала Зизи.
 Ричард ущипнул ее, она взвизгнула.
 — Милорды! А мы опаздываем! — посмотрел на часы Мабузо. — Эжен Эженом, а нам пора маршеном!
 — На дорожку прочел бы свои стихи. Вот и товарищ бы послушал.
 — Нет настроения.
 — Вам нравится Шершеневич? — снова обратилась к Маркову Зизи.
 — De gustibus disputandum! — пожал плечами Мабузо и специально для Маркова перевел: — О вкусах не спорят.
 — По-моему, спорят, — ответил Марков.
 — Например, вы за что: за примат формы или за примат содержания? Сейчас требуют поэзии пресса и молота. Вы согласны, что литература гибнет?
 — Не согласен.
 — Все ясно, как апельсин. I understand you! Деточки! Потопали! Бабуся, передайте вашему отпрыску, что, если надумает, сегодня у Шаповаловых сбор. Скажите, и Стелла будет.
 Как появились внезапно, так внезапно и исчезли. Несколько минут с лестницы доносились визги, крики, дикий гогот долговязого Роберта. Потом все затихло.
 Марков и Анна Кондратьевна некоторое время молчали, ошеломленные этим вторжением. Потом Анна Кондратьевна подняла с пола огрызок яблока, брошенный Робертом, и положила его в пепельницу.
 — Шалые, — вздохнула она. — Вот уж шалые!
 — Это что же, бывшие приятели Евгения? — спросил Марков.
 — Эти еще не из худших, тут к нему и вовсе никудышные ходили, по-моему, даже и из тех... Я все за шубы боялась, что шубы стащат.
 — Почему у них имена какие-то странные?
 — Ничего не странные, напускают они на себя. Например, Зизи. Вовсе она даже и не Зизи, а Зинаида Куропятова, я и ее мать знаю. А вторая так, потерянная душа. И Роберт не Роберт, а Федя Миронов, сын гостинодворца.
 — А Мабузо?
 — Мабузо — это Игорь Стеблицкий. Не как-нибудь, сын известного профессора...
 — Что, правда он стихи пишет?
 — Да какие это стихи? Срамота одна. «Шулы-булы, карабулы»... Наслушалась я их. И до чего народ упрямый. Женя их сколько раз выгонял, все лезут! Особенно Игорь, этот самый Мабузо. Я, кричит, новатор, новое течение изобрел! А Евгений книжку вытащил: вот, смотри, где твое изобретение — в девятнадцатом веке сделано! Очень сильно объяснялись они.

4

— О чем шумите вы, народные витии? — вошел Евгений Стрижов, совсем не тот, что был, совсем непохожий Стрижов. — Я еще на лестнице слышал...
 Друзья обнялись, никаких объяснений у них не последовало, заговорили так, будто вчера только расстались. Марков сел с ними обедать, а уж до чего Стрижов книжке обрадовался:
 — Вот это да! Вот это отколос номер! Я видел, читал, даже купил твою книжечку — вот она! Но это совсем другое дело — с надписью! А я ведь часто о тебе думал. О том, какую книгу следует тебе написать. Конечно, трудно будет, но если поднатужиться, потрудиться в поте лица...
 — Ты разговаривай, а сам ешь в поте лица, — пододвинула ему тарелку Анна

Кондратьевна.

— Какую же книгу?

— О самой сути: о всех нас.

— Хватил! О всех нас еще сто лет писать будут и материала не исчерпают.

— Пускай себе пишут, в добрый час. А ты не через сто лет, а сейчас, не откладывая, напиши. Мама, я супу больше не хочу, не подливай. Что у тебя еще? Котлеты? Вот это дело! Я тебе очень советую, послушайся меня.

— Советуешь, а сам даже рассказать не можешь, о чем же советуешь написать. Разве так советуют? Хочешь, сознаюсь? Я уже давно задумал — о тебе роман написать.

— Ну-у, брат!..

— А что? По-моему, так интересно.

— Нет, брось ты чудить, давай серьезно. Слушай меня. Значит, так. Я тебе все с самого начала. Наша эпоха. Ленин. Понятно? Или нет, я начну издалека. Вот Михаил Васильевич Фрунзе. Почему он разгромил Колчака? Изучил обстановку. Все продумал. Сосредоточил всю силу в один пункт, в одну точку. Так?

— Так.

— И нанес сокрушительный удар. Вот и книгу назови «Сокрушительный удар».

— Никто и читать не станет книги с таким названием!

— А как лучшие произведения называли? Самым простейшим образом: «Дым», «Обрыв», «Война и мир», «Маскарад». Чем хуже — «Сокрушительный удар»!

— Значит, ты предлагаешь написать роман о Фрунзе? Я так тебя понял?

— И так и не так. Я тебе один пример привел. А вот второй: Котовский с горсточкой людей захватывает Одессу, десятками берет в плен генералов, тысячами солдат и офицеров...

— Понимаю, не объясняй: произвел разведку, установил обстановку, точно рассчитал и нанес сокрушительный удар. Так?

— Так.

— Значит, ты мне рекомендуешь еще раз написать «Искусство побеждать»?

— Ни черта ты не понял. Знаешь, как Ленин предупредил ЦК партии: двадцать четвертого октября совершать переворот слишком рано, двадцать шестого октября — слишком поздно. Было выбрано двадцать пятое октября семнадцатого года. Теперь я все тебе сказал. Напиши роман о коммунистах, роман о советском народе, об Октябре, о новой эре человечества.

— И все сразу охватить? Этого не сумел бы сделать даже Лев Толстой.

— Он, конечно, не сумел бы. А ты должен суметь.

Такая решительность рассмешила не только Маркова, но и Анну Кондратьевну. Евгений посмотрел-посмотрел на обоих и тоже начал хохотать, даже вилку уронил на пол.

Но вот он перестал смеяться. Марков еще раз выслушал рассказ о том, как смерть Ленина заставила Стрижова одуматься, понять свои заблуждения и резко изменить жизнь.

— Не могу себе простить, что был таким дураком, не разобрался в очевидно ясной вещи! Ну ничего. Бывает. Ум за разум зашел. Теперь все. На всю жизнь. И знаешь: я счастлив.

— Ты мне еще не рассказал, на каком заводе работаешь.

— На ленинградском.

— А-а, понимаю. На энском?

— Вот-вот.

— И делаете вы энские изделия для военных целей. Понял, больше вопросов нет.

— Нас недавно Фрунзе навещал. Хвалил.

— Анна Кондратьевна, а что же вы поручение не выполняете?

— Какое еще поручение?

— Мабузо наказывал.

— Мабузо? — нахмурился Стрижов. — Опять они приходили?

— И просили тебе сообщить, что сбор сегодня у Шепетиловых или Шепталовых...

— Ну-ну. У Шаповаловых.

— И что будет Стелла.

Марков нарочно все это преподнес, чтобы посмотреть, как отнесется Евгений и прочен ли его разрыв с этой компанией.

— Ничего у них не выйдет, не пойду. Да и некогда мне, у меня курсы.

— А Стелла? — посмотрел Марков испытующе на друга.

— Стелла подождет. Кстати, никакая она не Стелла, а Сима, значит, Серафима. Ерундят ребята.

Марков заметил, что Анна Кондратьевна при упоминании Стеллы поджимает губы и осуждающе молчит — дескать, я не одобряю, а там дело твое. А Стрижову явно не безразлична Сима-Стелла, видно по всему, хоть он и старается не показать это. Марков усмехнулся: кажется, попал в точку. Что ж, если Стелла хороша и нравится Евгению, так тут возразить нечего, а матери... матери всегда считают, что все жены не достойны их прекрасных сыновей.

Стрижову пора было отправляться на курсы.

— Технику изучаю. Нашел свое призвание.

Марков проводил приятеля, и тот по старой привычке всю дорогу декламировал.

— Значит, стихам не изменил?

— Я не понимаю людей, которые уткнутся в технику и отрицают поэзию, литературу, музыку. Где же еще и учиться взлетам фантазии и вдохновению?.. Ну, так тебе куда? Направо? Жму руку, дружище. Скоро навещу.

5

Он сдержал слово и вскоре появился на Выборгской, в квартире Крутоярова. И пришел не один. С Орешниковым!

— Где вы познакомились? — встретил их Марков.

— Как где? Вот это вопрос! Николай Лаврентьевич? Да он у нас на заводе как дома, их заказы-то выполняем. А Иван Сергеевич дома?

— Сейчас выясним. Оксана! Принимай гостей!

В комнате послышался голос Оксаны: «А-а, пропадающая душа! Ну-ка, ну-ка, где вы тут?» А Миша пошел к Крутояровым.

Надежда Антоновна встретила его у порога и шепнула:

— Ну как? Будем перевоспитывать юного чапаевца?

— Да нет, он уже, кажется, выправил линию. Все в порядке.

Иван Сергеевич, видимо, прилег вздремнуть на диване (он говорил: «Люблю спать в неудобной позе и невзначай!»), но услышал голоса и явился в своем великолепном, с кисточками, халате.

За ним, важничая и лениво потягиваясь, проследовал почтеннейший кот Мурза. Он щурил глаза и всем своим видом выказывал недовольство, что их с Иваном Сергеевичем потревожили.

И конечно же, всех потащили в крутояровскую столовую, за большой овальный стол с низко висящим над ним сиреневым абажуром. И конечно же, Надежда Антоновна быстро организовала чай.

Стрижов улучил момент, чтобы сообщить Маркову:

— Нарочно притащил этого человека. Видал он всего перевидал! Ты непременно познакомься с ним — материалов получишь кучу!

— Ты чудак, Евгений, — так же тихо ответил ему Марков. — Николая Лаврентьевича я, наверное, лучше, чем ты, знаю. А насчет материалов — так разве же я сумею охватить такие горизонты?

— На это, милый человек, всегда отвечают: «А разве Лев Толстой был женщиной, а какая у него Каренина?! Разве Жюль Верн плавал под водой?»

— Ничего себе мерка: меньше, чем Толстой, ты и не представляешь размаха!

— Дерзать надо!

— Чего вы там шепчетесь?

— Ругаю его, — пояснил Стрижов, — и велю дерзать.

— Дерзать? Надо! — подхватил Крутойяров и с увлечением стал развивать эту мысль.

Затем общим вниманием завладел Орешников. Он рассказывал о Деникине, о белых. У него был острый глаз и большая наблюдательность, рассказы его захватили всех. Крутойяров буквально набросился на него, выспрашивая, выпытывая, поощряя.

— Да у тебя тут конкуренты, — встревоженно пробормотал Стрижов, наклоняясь к Маркову. — Пока ты думаешь да примеряешь, Иван Сергеевич уже двадцать раз напечатает рассказ...

Но вскоре Стрижов пристыженно переглядывался с приятелем. Никогда не следует спешить с выводами! Крутойяров прямо обратился к Маркову:

— Михаил Петрович! Ваша тема, мотайте на ус!

Орешников смутился и сразу стал менее красноречив, стал говорить вычурно, тщательно подбирать слова. Вскоре всем стало неинтересно и даже неловко за рассказчика.

Крутойяров знал, как рискованно говорить людям, что их слова, их жизнь, их непосредственные живые рассказы могут превратиться в материал для художественного произведения. Часто бывает достаточно сообщить, что здесь присутствует писатель, чтобы нарушить всю прелесть беседы.

Крутойяров попробовал исправить свою оплошность:

— Вы не совсем правильно поняли меня, Николай Лаврентьевич. Марков не собирается идти по стопам Булгакова и писать «Дни Турбиных». Но он, вероятно, соберется когда-нибудь написать о Котовском. И ему полезно послушать ваши интересные рассказы об Одессе, о белогвардейщине, а также о ваших встречах с Григорием Ивановичем.

— Я так и понял, — скромно ответил Орешников и стал рассказывать о своем Вовке, который каждый день удивлял все семейство необыкновенными суждениями и поступками.

Крутойяров видел, что Орешников умышленно перевел разговор на другое, и тогда начал сам рассказывать о своих поездках на фронт, о встречах с самыми разнообразными людьми. Рассказал, как они однажды напоролись на разъезд белых. И незаметно тоже добрался в своих повествованиях до Котовского.

— Закон войны: старайся, чтобы тебя не убили и чтобы побольше убить врагов. Но в гражданской войне появился новый вариант. Я сам присутствовал при удивительной сцене, когда привели пленного деникинца и Котовский стал на него кричать: «Ты в кого же стрелял, такой-сякой? В такого же, как ты, бедняка? Может, в соседа, с которым каждый день сиживал под яблоней? Кого защищал? Пана-помещика? И не совестно тебе нам в глаза смотреть?» Что же вы думаете? Дали парню коня да клинок, и стал он заправским красным кавалеристом.

— Таких случаев сколько угодно было, — поддакнул Марков. Действительно новый вариант.

— Этому варианту и я — подтверждение, — улыбнулся Орешников.

Затем Стрижов рассказал, как его ранили, а он все порывался вернуться в строй, неловко было, что другие воюют, а он на койке валяется.

Потом стали говорить о литературе. Стрижов возмущался, что становится хорошим тоном ругать пролетарскую поэзию времен военного коммунизма. Она, видите ли, отвлеченна, она агитка, пустоцвет!..

— Неверно, ну неверно же это! — горячился он. — Она очень хорошо отражала настроение этих лет. Правда, она мыслила в мировом масштабе. Но и мы мыслили в мировом масштабе. Не забывайте, что мы подумывали об уничтожении денег, пробовали распустить налоговое управление, вводили бесплатность почтовых услуг... Это была романтика. Мы жили в розовом тумане, усталые, нестриженные и небритые, мы были чисты мыслью и сердцем. Как же можно так быстро забыть все это? И поэзия была такая же, она отражала наши чувства, порывы, чаяния. Она не знала серого неба, не признавала полутопов. Честь ей

и слава. Пришли другие дни. И правильно Алексей Николаевич Толстой призывает нас изучать революцию, предлагает художнику стать историком и мыслителем. Говоря словами поэта, «больше гордого дерзання!». Это я, Миша, адресую к тебе.

По-видимому, Орешников и Стрижов достаточно хорошо узнали друг друга, общаясь на работе. Орешников благожелательно слушал Евгения и подбадривал его восклицаниями: «Так-так, Женя! Молодец, Женя!»

Крутоярову тоже понравилась защитительная речь Стрижова.

— Это все ничего, — говорил он, — это все утрясется, это все на пользу.

— Какая же польза цыкать друг другу и хватать за волосы? Дошло до того, что тридцать шесть писателей направили в адрес отдела печати ЦК протест против вздорного толкования слова «попутчик»!

— Да, и ЦК опубликовал предостережение не относить огулом всех попутчиков в лагерь буржуазной литературы.

— А вы читали статью Зоценко «О себе и еще кое о чем»? А «Отрывки из дневника» Пильняка?

— Два лагеря. Ну, и в запальчивости не разбирают, по какому месту ударить, лишь бы больней. Беседовал я как-то с Фадеевым. Молодой, высокий, говорит как в трубу трубит. А слова прочувствованные: «Нам, говорит, нужно выбирать, на чью сторону стать. Выбирать нужно потому, что этого требует совесть». Хорошо сказал. В пролетарские писатели зачисляются, как бойцы вступают в партию перед боем: «Прошу в случае моей смерти считать меня коммунистом». А тут еще Троцкий подsunул словечко «попутчик». Нехорошее слово, наделавшее много путаницы и вреда! Попутчик — значит, до поры до времени? Разве Алексей Николаевич Толстой до поры до времени? Шишков — до поры до времени? Федин — до поры до времени? И им, конечно, обидно. Тогда начинаются скидки, поправки: этот — левый попутчик, тот — поправее. Я вот, — несколько смущенно добавил Крутояров, — в левые попутчики попал. А кой-кого прямо в грязь топчут. Этот «буржуазный», тот «мелкобуржуазный», «сменовеховец». Некоторые крикуны доболтались до того, что вообще все культурное наследие нужно побоку... А в том лагере ударились в противоположную крайность: «Талантов много, только литературы нет!», «Будущее нашей литературы — это ее прошлое!» Или еще того беспринципнее: «Ни одна партия нас не привлекает. С коммунистами или против коммунистов? Ни так, ни этак, мы сами по себе!» Или еще: «Вредная литература полезнее полезной!»

Крутояров умел заразительно смеяться. А ведь умение смеяться — это тоже талант. Если он смеялся, то всласть, с наслаждением, и невольно все вокруг тоже начинали посмеиваться, каждый на свой лад, кто как умел.

Вдосталь нахохотавшись, так что слезы выступили на глазах, Крутояров добавил уже серьезно:

— Жизнь в двенадцать баллов, так и перехлестывает через край. Бывало и голодно, и холодно, и невоготу, только я ни на какую другую эпоху наше время не променял бы!

Крутояров призадумался, как будто прикидывая, действительно ли нравится ему сейчас жить.

— Пройдет лет пятьдесят, и будут читать о наших днях, как о необузданной фантастике, не все и поверят, скажут: да разве можно выжить, получая осьмушку — восьмую часть фунта! — хлеба? Разве не анекдот, что в Петрограде на Выборгской однажды возникла группа коммунистов-футуристов «Ком-Фут» и они настаивали, чтобы этот самый «Ком-Фут» был зарегистрирован как партийная организация?! Может быть, будут смеяться, узнав, что комсомольская молодежь отказывалась носить галстуки, так как галстук есть украшение буржуа? Что чапаевцы отказывались от орденов, заявляя, что все они равны и в победе и в смерти?

Крутояров окинул всех торжествующим взглядом:

— А? Ведь хорошо? В замечательное время, товарищи, мы живем! В неповторимое! В чудесное!

— А дальше? — вдруг включилась в разговор безмолвствовавшая до сих пор Оксана. — А дальше хочется посмотреть? Дальше тоже хорошо будет, даже лучше.

— А мы и посмотрим! — бодро воскликнул Крутойяров. — Даже я посмотрю, при моем почтенном возрасте. А уж вы-то... господи боже мой! — вы-то таких чудес насмотритесь! Завидую ли я? Завидую! Ну что ж делать!.. Еще в древности было сказано: как басня, так и жизнь, ценятся не за длину, а за содержание.

Восклицание было полно бодрости, но упоминание о короткой, как басня, жизни отнюдь не располагало к особенному оптимизму. Молодые почувствовали некоторую неловкость и даже вину, что они молоды и здоровы. Орешников сказал:

— Сколько я знал безусых прапорщиков, совсем мальчишек по сравнению со мной, оставшихся лежать на полях сражений. С тех пор я отбросил прежнюю мерку жизни — возраст и здоровье. В наше время наибольшему риску подвергаются как раз самые молодые и здоровые.

— То есть призывники! — уточнил Стрижов.

Надежда Антоновна молчала. Беседа разладилась. Единодушно побранили ленинградскую погоду, обменялись мнениями о премьерах в театрах, о вышедших из печати произведениях и разошлись по домам.

6

Вот когда Марков понял, что такое писательский труд. Все казалось невероятно сложным. Марков часто приходил в отчаяние и намеревался все бросить и отказаться от своего замысла.

Целыми днями просиживал в прохладных тихих залах Публичной библиотеки. Со всех полок на него смотрела история. Давнее прошлое, седая старина соседствовала там с трепетными бурлящими днями нового времени. Многолетние и многотомные труды пребывали рядом со скорописью исповедей, объяснительных записок, опровержений...

Марков казался себе микроскопическим существом перед всей этой громадой ума и вдохновения. Выписки, цитаты... новые и новые книги... новые и новые названия... уточнения... разноречивых мнений и оценок... факты, факты, какое множество фактов! Ими захлебываешься, и начинают расплываться контуры первоначального плана.

Несколько раз Марков изменял всю структуру задуманного романа. Попробовал составить список действующих в романе лиц. Вспомнил, как поступал Золя, сочиняя о каждом даже незначительном лице подробнейшие биографические очерки... Но это увело в такие дебри, что пришлось бросить затею.

Встречаясь со Стрижовым, Марков непременно принимался обсуждать свой план, свои намерения. Но Стрижов предъявлял какие-то странные претензии, говорил общими фразами и, пожалуй, даже сбивал с толку.

Например, его мысль о сокрушительном ударе. Стрижов считал, что этой стратегией концентрации сил на важнейшем участке пронизана вся революционная жизнь, вся советская действительность. Ударные стройки. Ударные бригады. Нацеливание всех усилий на ту или иную важнейшую в данный момент область производства... В таких выражениях Стрижов излагал свою заветную мысль. А попробуй воплоти это в романе!

— Понимаешь, это — ленинский стиль работы, — объяснял Стрижов, ленинский метод руководства, ленинская стратегия и тактика.

Марков понимал. Но от понимания до воплощения идеи в образы, в поступки героев было огромное расстояние.

Крутойяров, если с ним заговорить о своих замыслах, невольно начинал сам фантазировать и сочинять. Это были талантливые экспромты, но Марков совсем иначе чувствовал и иначе все представлял.

Всего легче было говорить о будущем романе с Оксаной. Ей все нравилось, ее все восхищало. Она, увлекаясь, подсказывала вдруг такое простое и правильное разрешение

задачи! Она не умела отвлеченно мыслить, сразу же все переводила на людей, на повседневное и даже приводила примеры из собственной жизни или из того, что попадало в поле ее зрения в поликлинике, в школе. Марков любил с ней советоваться, слушать ее.

Оксане жалко было беднягу: сидит ночи напролет, утром лицо вытянутое, глаза красные от утомления. Оксана спросит осторожно:

— Ну как?

Марков молча покажет на корзину для мусора, доверху наполненную скомканными листами.

— Вот. Тут вся четвертая глава. Ты помнишь Торопова? Я тебе рассказывал, у меня в романе будет такой Торопов. Комбат.

— Ну-ну. Конечно помню. Ты рассказывал, как он женится на телеграфистке, они встретились на фронте.

— Так вот, я хотел его женить, а теперь вижу, что не женить его, сукина сына, а расстрелять перед фронтом, ведь он какое дело прогляпил!

— Какое? — испуганно спрашивает Оксана.

— Там, по ходу действия, долго рассказывать. Замучился я с Тороповым. Главное, и мужик-то он неплохой...

Все эти муки и поиски, вся эта изорванная в клочья четвертая глава, все эти тревоги за несуществующего, выдуманного им же самим Торопова, все эти бессонные ночи, то отчаяние, то удачная находка, — все это и составляло теперь непередаваемое, ни с чем не сравнимое, огромное, как мир, счастье Михаила Маркова.

Пятнадцатая глава

1

Михаилу Васильевичу последние месяцы нездоровилось. Он крепился, не подавал виду, но особенно трудно было обмануть Софью Алексеевну. Михаил Васильевич преувеличенно громко смеялся, вовсю шутил, даже ел то, что врачи запрещали, чтобы показать, до чего он отлично себя чувствует. Абсолютно здоров! Но нет-нет да и морщился от боли.

Хворать было нельзя. Не хватало времени на хворь. Каждый час был дорог.

Троцкий не прекращал антипартийную возню. На XIII партийном съезде в мае 1924 года он поставил на голосование свою платформу. Не получил ни одного голоса. Ни одного! Хотя на съезде присутствовало 748 коммунистов. Но Троцкий не успокоился. Он сколачивал блок, устраивал секретные, подпольные совещания, мутил воду и никак не унимался.

В январе 1925 года Объединенный пленум ЦК и ЦКК собрался, чтобы обсудить поведение Троцкого. Пленум осудил новую вылазку Троцкого, всю его деятельность квалифицировал как попытку подменить ленинизм троцкизмом.

Выступления на пленуме были одно другого резче. Терпение коммунистов иссякало.

— Не хватит ли, товарищи? — говорили ораторы. — Не пора ли делать выводы?

И пленум снял Троцкого с работы в Реввоенсовете. Вместо него председателем Реввоенсовета СССР был назначен Михаил Васильевич Фрунзе.

Он переехал в Москву и немедленно включился в работу.

Москва была шумная. Михаилу Васильевичу она пришлась по нутру. Как ни был он занят, а все же понимал, что нельзя жить в Москве и не побывать в Третьяковке, нельзя хотя бы мимоходом, между двумя совещаниями, не махнуть на Тверскую, не посидеть за чашкой кофе на красном бархатном диване в кафе «Бом».

Однажды Фурманов привел к Михаилу Васильевичу Фадеева. Высокий, угловатый Фадеев носил кавказскую рубашку с ремешками и часто насаженными пуговками. Михаилу Васильевичу он понравился. Взглянешь на него — и поверишь, что может писать хорошо.

С актерами, художниками встречался Фрунзе. Был у Василия Каменского. Серdito

слушал его «Танго с коровами», сердито спросил:

— А зачем, собственно, вы ломаетесь? Ну что это такое: «Жизнь короче визга воробья»? При чем тут «оловянное веселие» и что это за собака плывет на льдине? Бред сумасшедшего! Писали бы просто.

— Нельзя, — ответил Каменский, подумав. — Ведь я все-таки футурист.

Фрунзе понравилось, как Каменский играет на баяне. Лицо становится задумчивым, голова наклонена набок, а тонкие пальцы так и порхают по клавиатуре.

Был как-то Фрунзе на «Жирофле-Жирофля» у Таирова. Весело, пестро, нарядно, глупо. В общем, ничего. Но Фрунзе больше любит оперу. «Пиковую даму» готов слушать снова и снова.

Как и в Харькове, у Фрунзе постоянно бывают его друзья и соратники. Приезжал Котовский, завсегдатаями были Федор Федорович Новицкий и Сергей Аркадьевич Сиротинский. А вообще у Фрунзе всегдалюдно, всегда интересно и весело.

Давний друг — Демьян Бедный — обычно требовал, чтобы ему налили покрепче чаю.

— Знаете, настоящего. Чтобы действительно был чай.

И пускался в воспоминания:

— Помните, на Врангеля вместе ехали? Меня тогда послали вроде как пушку, на вооружение.

Фрунзе просил прочесть «Манифест барона Врангеля». Демьян Бедный умел читать свои произведения. Фрунзе подсаживался поближе и, слушая, смеялся так заразительно, что Демьян Бедный просил его всегда бывать на его выступлениях.

— У вас и так успех обеспечен!

Особенно нравились Фрунзе в «Манифесте» строчки:

Вам мой фамилий всем известный:
Их бин фон Врангель, герр барон.
Я самый лючший, самый местный
Есть кандидат на царский трон...

— Знаете, — говорил Фрунзе уже серьезно, — Врангель был одним из самых способных представителей белого лагеря. Сделавшись главнокомандующим, он развернул в Крыму колоссальнейшую работу. Расправился с конкурентами, соперниками, тоже метившими в «правители». Перевел из тыловых учреждений в строй все кадровое офицерство. Перевешал офицеров, чиновников и солдат, проявлявших неповиновение. В результате создал внушительную боевую силу, приблизительно в тридцать тысяч штыков и сабель. И воевал неплохо. Вообще не следует думать, что среди наших врагов одни олухи и дураки. И Ленин об этом не раз говорил.

— Правильно! — отозвался Демьян Бедный. — Они не дураки, но бить их надо.

— Бить, конечно, надо, — подтвердил Фрунзе, — и «самых лючших» и не самых «лючших». Просматривал я сегодня иностранные газеты. Там все время идет антисоветская возня. Вы слышали что-нибудь о некоем Арнольде Рехберге? Бывший личный адъютант кронпринца, крупный промышленник, кажется, связан с германским калийным синдикатом... Бредит мировым господством! А уж бонапартиков развелось — невероятное количество! И все наперебой предлагают спасение от большевизма.

— А что такое с этой комиссией по обследованию Красной Армии? Что-нибудь серьезное?

— У нас идет сейчас очень большая перестройка Красной Армии. Комиссию мы действительно назначили, она произвела обследование и доложила пленуму ЦК партии о результатах. Результаты малоутешительные. Материальные средства нас поджимают. В стремлении облегчить для населения военное бремя мы дошли до крайних пределов. Достаточно сказать, что царь держал под ружьем полтора миллиона, да и у нас в двадцатом году было три миллиона, а сейчас мы оставили пятьсот шестьдесят тысяч.

— Маловато! — расстроился Демьян Бедный. — Ведь сами говорите — тучи вокруг ходят!

— Фронтов нет, нэп у нас, товары появились... и создалось у некоторых людей излишнее благодушие. Дескать, ниоткуда опасность не угрожает, можно не волноваться. А там — шуруют! Армии перевооружают, новые военные планы разрабатывают...

— Сегодня разрабатывают, завтра разрабатывают, а там и грохнут. Злят меня еще эти троцкистские выкормыши! Ведь они совершенно откровенно считают, что не будет большой беды, если интервенты захватят страну: все равно, дескать, надо идти с повинной, в ножки поклониться капитализму.

— Вам не чудится в этих капитулянтских нотках страшно знакомая мелодия? Кто это говорил когда-то еще очень давно и очень похожее? Струве! Конечно он! Идти на выучку к капитализму! Вот с кем сошлись взгляды людей, осмеливающихся именовать себя коммунистами! Понятно, люди с подобными взглядами отнюдь не содействуют укреплению армии.

— Черт возьми! Так ведь требуются экстренные меры?

— А как же! Вот на меня и возложили эту ношу.

— Вызовите?

— Вызовим. Я ведь не один. Уже кое-что сделано. Вот создали полевую артиллерию... Сейчас ведем переговоры с Францией о возвращении наших судов, которые угнал Врангель. Суда находятся в настоящее время в Бизерте: линкоры «Воля» и «Георгий Победоносец», крейсера «Кагул» и «Алмаз», с десятков эскадренных миноносцев да сотня транспортов и пароходов. Главное же — готовим новые кадры, налаживаем военную промышленность. За какой-нибудь год армия будет неузнаваемой. И до троцкистов доберемся!

Демьян Бедный молча разглядывал открытое, смелое лицо Михаила Васильевича: да, пожалуй, этот сделает.

И на самом деле выбор ЦК был удачен. Фрунзе понимал, что надо немало труда вложить, чтобы достичь желаемого. Что ж. Раз надо, значит, надо. У нас есть только остов будущей армии. Подготовка страны к обороне должна стать делом всей страны, всего советского аппарата. С этого и начать: расшевелить, довести до сознания. Армия у нас будет, и еще какая!

— Товарищи рабочие, берегитесь! — встревоженно предупреждал Фрунзе. Враг окружает нас и зорко следит за каждым нашим шагом! Время отдыха и спокойного труда для нас еще не настало! Смотрите, какая идет перестройка вооруженных сил в капиталистических странах. У нас, например, нельзя даже серьезно считать воздушным флотом те несколько сот аппаратов, которые среди летчиков известны под названием «гробов», а в той же, например, Франции воздушный флот насчитывает тысячи аэропланов... существуют аэропланы, вооруженные артиллерией... Сделано кое-что и у нас в этом отношении, но мало. А мы должны не только не отставать, но и быть впереди.

Об этом речь шла на съезде партии. Лучшим представителям военного командования было поручено сколачивать боеспособную армию, позаботиться об оснащении армии новейшей техникой. Это было ответственнейшее дело, то, от чего зависело, может быть, даже существование Советского государства. И Фрунзе вместе с другими боролся с беспечностью, с легкомысленным отношением к вопросам нашей обороны.

Надо сказать, что дело у Фрунзе ладилось. Каждый месяц давал ощутимые перемены к лучшему. Когда Фрунзе наткнулся на сопротивление, даже на попытки сорвать проводимую работу, он беспощадно разоблачал троцкистов и их подпевал. Это было довольно щекотливое мероприятие: очистить армию от всех разлагающих элементов. У Фрунзе не было еще случая, чтобы дрогнула рука. Начав, он доводил дело до победного конца. Придя к решению, он уже не отступал, пока все не выполнит.

Троцкисты жаловались, вопили, бегали по инстанциям, обвиняли Фрунзе во всех смертных грехах. Это не останавливало Фрунзе. Он спокойно делал задуманное. Гнал их беспощадно. Гнал и тогда, когда сам их обнаруживал, гнал и в тех случаях, когда поступали

соответствующие сигналы.

Однажды приехал Котовский и сразу, с места в карьер, еще в прихожей, не раздевшись, заговорил о самом больном:

— Михаил Васильевич, да уберите вы у меня этих чертовых троцкистов! Я призываю красноармейцев и командиров к культуре, напоминаю, что надо изживать нашу привычку ругаться последними словами, но с этой публикой я не ручаюсь за себя, я могу и выругаться! Кого угодно выведут из терпения!

— Одной руганью не поможешь, — нахмурился Фрунзе. — Гнать их надо поганой метлой из армии, оздоровить надо наши ряды. Вот она — мирная, тихая жизнь! Твердим, что фронтов нет, что выдалась передышка, а какая там передышка? Незатихающие сражения, только война приняла более сложные формы, а враг стал более вертким, да стратегия его стала хитрей... Пока на земле есть хоть одно капиталистическое государство, не будет покоя.

Оба озабоченно призадумались. Невесело было на душе. Котовский предложил:

— Нагрузить бы ими воз — да туда, за рубеж, к их хозяевам, вывалить всю кучу во двор буржуазии! Получайте!

— Там-то их встретили бы с распростертыми объятиями!.. Нет, Гриша. Здесь, у себя, повоюем с ними!

2

Год назад Фрунзе был по совместительству назначен начальником Академии генерального штаба. По своему обыкновению, он, вступая в эту должность, прежде всего изучил историю академии со дня ее основания, то есть с 1832 года.

Слов нет, из Академии генерального штаба вышло немало видных военных деятелей. Но какая рутина! Какая затхлость! Это и немудрено, если властителями умов и законодателями военной науки в царское время были древние мумии, если там насаждались германские доктрины, на практике ни разу не оправдавшие себя!

Фрунзе раздобыл тома Леера, снова перелистал страницы Мольтке, Шлиффена, извлек даже творения Михаила Ивановича Драгомирова... Теперь все друзья Фрунзе — и невозмутимый Новицкий, и сдержанный Карбышев, и быстро воспламеняющийся Фурманов, и столь же горячий и вспыльчивый Котовский все должны были прослушать цикл лекций на тему «История русской военной мысли», как удачно определила Софья Алексеевна. Вскоре подготовительная работа была закончена, и Фрунзе решил посетить академию.

Он, конечно, знал, в каком сейчас состоянии академия. Это был своего рода осколок, островок былого, уцелевший каким-то чудом, несмотря на все очистительные грозы и штормы Октября. В стенах этого здания сохранялся еще прежний душок. Преподавательские и профессорские посты и даже чисто хозяйственные должности занимали старые кадры, генералы и офицеры царского генерального штаба. Можно представить, с какой тревогой ждали они появления старого большевика, известного своей решительностью и принципиальностью, — «красного генерала» Фрунзе!

Их опасения были не напрасны. Фрунзе не любил полумер. Пришел он в академию не робким новичком, который был бы подавлен величием генеральских бород, премудростью военной науки, которую господа генералы, спасибо им, вбивают в головы присланных сюда красных командиров, иногда воевавших не совсем по правилам военной науки, хотя нельзя сказать, что безуспешно. Генералы знали, кто такой Фрунзе. Блестяще проведенный им контрудар на Восточном фронте, поистине сказочная оперативность, когда он в месячный срок разгромил армию генерала Белова, а затем ошеломивший весь военный мир удар по Врангелю... Вряд ли у кого-нибудь повернулся бы язык утверждать, что Фрунзе не умеет воевать. Как военного теоретика Фрунзе тоже знали. Иногда пытались полемизировать с ним, вносить поправки, но и только.

По предложению Фрунзе академия стала называться Военной академией Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Может быть, кому-нибудь не по душе были слова «рабоче-

крестьянской». Однако потребовалось немного времени, чтобы убедиться, что наименование соответствует и содержанию. Остряки говорили конечно, шепотком! — что Фрунзе взял штурмом неприступные стены старой академии. Дореволюционный душок был выветрен. Окна были распахнуты настежь. Академия стала подлинно советским учреждением, как и должно было быть. Впрочем, все военные специалисты, пожелавшие работать при такой установке, были сохранены, их престиж не был подорван, их опыту и знаниям воздавалось должное. Академия обрела четкое политическое лицо, она стала отличаться чисто большевистской слаженностью, пронизывающей ее жизнь сверху донизу. Да и задачи академии расширились. Академия должна была возглавить всю военно-научную работу в Советском Союзе, в первую очередь работу по оснащению армии, по превращению ее в несокрушимый оплот революции.

Фрунзе не упускает ни одной возможности, чтобы напоминать, напоминать и доказывать, что без сильной, хорошо оснащенной, сознательной, дисциплинированной армии мы рискуем потерять все завоевания Октября, все дорогой ценой завоеванные нами позиции.

На Всесоюзном учительском съезде Фрунзе обращается к учителям с горячей просьбой.

— Мне хотелось бы, — говорит он, — чтобы к осени двадцать пятого года вы проделали такую работу, чтобы ни один новобранец, явившийся в ряды наших красных полков, не оказался неграмотным, ни в смысле культурном, ни в смысле политическом. Этим вы сослужите колоссальную службу делу обороны страны.

Перестройка в стенах академии позволила говорить с деятелями академии о самых серьезных вещах. Фрунзе выступает на заседании Военной академии в годовщину смерти Ленина с блестящим докладом на тему «Ленин и Красная Армия». Он отмечает связь между военной деятельностью и деятельностью политической, говорит о глубоком проникновении в самое существо всех явлений, которое характерно для Ленина, и указывает, что Ленин был гениальнейшим стратегом и тактиком. Фрунзе напоминает положения, выдвинутые в статье «Лучше меньше, да лучше» и в ряде других произведений Ленина. Далее Фрунзе отмечает, что успехи Советского государства вызывают ярость в империалистических кругах, а это заставляет нас особенно насторожиться и все усилия направить на укрепление нашей военной мощи.

Все недюжинные способности Фрунзе отдавал одной идее. Он упорно бил, бил в одну точку. Непрерывно расширяя свои знания, кропотливо, как самый прилежный ученик, изучая военную науку, он в то же время выискивал новых и новых поборников своих взглядов. Это был поистине титанический труд. Он брал пример с Ленина, у которого каждая минута была на счету, учился у Маркса, который установил себе норму десятичасового рабочего дня для работы в Британском музее.

Однажды Михаилу Васильевичу понадобилось срочно посоветоваться по какому-то вопросу с Александром Ильичом Егоровым, членом комиссии по реорганизации армии, и он направился к нему на квартиру.

В комнатах звучал рояль, играла жена Александра Ильича, прекрасная пианистка.

Фрунзе был поражен. Он весь с головой ушел в работу, был ею захвачен, даже по дороге сюда был занят исключительно деловыми мыслями... и вдруг музыка! Это было так неожиданно, так странно, словно он попал в какой-то другой мир.

Фрунзе сразу узнал — Чайковский. Открывшая ему дверь хорошенькая девушка спрашивала о чем-то, а Фрунзе стоял в прихожей и безмолвствовал, весь превратившись в слух.

Девушка поняла. Она постаралась не мешать этому военному слушать музыку и тихо удалилась. А Михаил Васильевич машинально нащупал стул, сел здесь, около вешалки, и унесся вслед за трепетными аккордами, за мелодией, так и хватающей за душу.

Пианистка, видимо, любила этого композитора и безукоризненно передавала всю взволнованность Чайковского. Михаил Васильевич не шевелился, не двигался. Он весь отдался порыву, весь погрузился в прозрачный очистительный поток.

Чайковский рассказывал о том, как хочется человеку необычайной, какой никогда еще

не бывало, очень счастливой жизни. Только бы вырваться из тесного мира насилия и произвола. И чтобы не было слез. Это будет, это настанет! Зачем черные тучи загораживают солнце? И как предугадать очертания грядущего золотого века, которого так неотступно жаждет человек?

Да, да. Разве не того же добивается Фрунзе? Разве не за эти же идеалы борются большевики? Оказывается, это вовсе не какой-то особенный мир музыка говорила о том же, о чем думал и чем жил Фрунзе!

Если бы музыка не захватила так врасплох, Фрунзе, может быть, и не поддался бы ее чарам. Но тут он капитулировал. Он полностью отдался наслаждению, и кто, как не Чайковский, мог так потрясти, растревожить, проникая в самую глубину чувств, к самому заветному в человеке!

Фрунзе подумалось, что он мог бы чаще делить досуг с Софьей Алексеевной, чаще бывать с детьми... Вот и музыка... Ведь можно бы и музыкой заниматься... Как же преоотлично, интересно, разнообразно можно было жить, если бы не мешали недруги, если бы не злобные пасти ощерившихся орудий, направленных на нас из-за рубежа! И дети росли бы иначе, и достаток у людей был бы иной... Жить бы да радоваться... Сколько прекрасных вещей существует на свете, сколько необыкновенного, чудесного можно увидеть, узнать, испытать! И ведь будут же когда-нибудь жить так беспечально, так заполненно, так необыкновенно?!

Рояль захлебывался наплывающими, нарастающими звуками. Рояль плакал, кричал, протестовал, требовал. Рояль рассказывал о дерзаниях, о поисках. Это был крик души! Это был взрыв!

Бледный, потрясенный, Фрунзе сидел на стуле в прихожей и слушал.

Вот иссякло, ушло далекими грозowymi раскатами это исступление хроматических гамм, но не для того, чтобы сдать. Маршевые четкие ноты говорили о настойчивости, о решимости не сдаваться.

Фрунзе сделал глубокий вдох. Страхнул оцепенение. Выпрямился. Вот так. Держать себя в руках. Жизнь в борьбе. Он счастлив. Все ясно. Он выбрал такой путь, какой ему по вкусу. Шаг его тверд. Он берет от жизни все, потому что отдает жизни все.

В дверях показался Александр Ильич, такой славный, такой понятный и близкий, со своей светлой покоряющей улыбкой.

— Вы что же это не проходите, дорогой Михаил Васильевич?

3

И опять работа, и опять напряжение всех помыслов и сил.

Вот Фрунзе озабочен подготовкой командного состава во вневойсковом порядке. Он знает, как широко поставлена такая подготовка в Соединенных Штатах, во Франции. Знает, что в Японии сейчас обсуждается проект военизации средней и высшей школы.

Вот он принимает ряд мер для улучшения социального состава командиров. Уже созданы солидные кадры красного Генерального штаба и произведен ряд выпусков квалифицированных красных специалистов по артиллерии, инженерному делу, связи, авиации, химии. При непосредственном участии Фрунзе разрабатываются правила прохождения службы командным составом, основные положения об отбывании воинской повинности.

Вот он борется с беспринципным подыгрыванием красноармейской массе, с демократизмом в кавычках. Водились кое-где такие неправильные взгляды на воспитание и обучение в Красной Армии.

Фрунзе пояснял:

— Товарищи! Не перегибайте палку! Приказ есть приказ. Уговаривания и увещевания к выполнению приказаний сами по себе суть грубейшие нарушения дисциплины!

То, чего Советское государство добилось в какие-то два года, при других

обстоятельствах потребовало бы, возможно, десятилетий. Медлить нельзя, время не терпит, нужно действовать чисто ленинскими методами, воодушевляя, мобилизуя. И Фрунзе горел, выполняя волю партии, борясь за ее принципы. А люди у нас были такие, что с ними можно горы vorочать.

— Мы, военные работники, — говорил Фрунзе, — должны усвоить лозунг юных пионеров. Так же, как они, на призыв «Будьте готовы!» отвечать твердо и уверенно: «Всегда готовы!»

И добавлял:

— Ведь на самом деле наш Советский Союз вместе с Красной Армией является своего рода пионером. Мы вторглись в старый мир как новое, страшное для него явление. Самим фактом нашего существования мы подрываем его основы, разрушаем устойчивость. Конечно, это приводит его в ярость. Можно ли ожидать, чтобы старый трухлявый пенек любил острый топор, принявшийся за расчистку пустоши для молодых посадок? Горько трухлявому пню! Обидно! Ведь он искренне убежден, что является украшением жизни, что трухлявые пни самим богом поставлены на вечные времена!

Большие требования предъявляет Фрунзе к командиру:

— Наш командир должен стоять на недостижимой высоте, как командир совершенно своеобразной армии социалистической революции. Для этого нужно, чтобы он в совершенстве овладел методом марксизма-ленинизма.

Фрунзе настойчиво повторяет:

— Стратегия, являясь высшим обобщением военного искусства, должна учитывать не только чисто военные элементы, такие, например, как численность армий, но должна учитывать и моменты политического характера.

Растут новые кадры. Фрунзе учит, что Красная Армия — армия нового типа, она должна поэтому создать новую тактику и новое оперативное искусство. В отличие от буржуазных армий, лживо провозглашавших принцип «армия вне политики», вручавших политическую направленность лишь руководящей верхушке, — мы всю силу нашей Красной Армии строим как раз на широко поставленной политпросветительной работе.

Вместе с тем Фрунзе требует внимания и к организации тыла. Без налаживания правильного питания фронта всем необходимым, без точного учета перевозок, без организации эвакуационного дела немисливо ведение больших военных операций.

В Военной академии создан снабженческий факультет. Фрунзе говорит, что царская армия представляла собой, употребляя экономический термин, замкнутое домашнее хозяйство, она все должна была готовить сама. Опыт показал полную недостаточность ресурсов одного военного ведомства. Подготовкой должен заниматься весь наш тыловой гражданский аппарат.

Так звено за звеном подготавливает Фрунзе полную реорганизацию военного дела. В те годы подобные взгляды были новшеством, а внедрение их требовало настойчивости, требовало полного напряжения сил.

Страна меняла облик. Увеличивалась посевная площадь, строились Каширская, Шатурская электростанции, росла промышленность, налаживались дороги. Людям так хотелось жить в довольстве, в благополучии: спокойно трудиться, читать, ходить в театр, хорошо одеваться, вкусно и сытно есть... Но постоянно грызла тревога, не покидало сознание, что у самых наших границ непрерывно идет возня и подготовка, что в странах, которые мы не трогаем, не задеваем, то и дело раздаются призывы: «Сокрушить!», «Истребить!». Так как же нам не держать порох сухим?

Отставание, медлительность были совершенно нетерпимы. Военное дело развивалось с необычайной быстротой. Много голов работало над новыми схемами, над новым вооружением. Приходилось следить за тем, что делается в этом направлении и у нас, и в других странах. Нельзя было довольствоваться одним опытом гражданской войны. Нужно было учиться и переучиваться.

Вот почему наряду с высшими школами дополнительной подготовки решено было

создать еще высшие курсы усовершенствования, задача которых освежать познания комсостава, держать его на уровне всех современных требований.

Может быть, самым острым вопросом становилось налаживание высоко развитой, передовой военной промышленности. Это было самое больное место. Фрунзе был крайне озабочен тем, чтобы мы не только освободились от ввоза изделий из-за границы, но и научились сами изготавливать безупречные изделия. Недаром же в кабинете Фрунзе так часто появлялись военные инженеры, конструкторы, изобретатели.

— Какая жалость! — говорил, беседуя с ними, Фрунзе. — Нет уже в живых Николая Егоровича Жуковского! Владимир Ильич называл его отцом русской авиации. Это почетное звание, и хорошо, что отец вырастил достойных детей.

— Мало того, оставил детям приличное наследство, — добавлял кто-нибудь из присутствующих, — более ста семидесяти работ по теоретической и прикладной механике и математике. Шутка сказать!

— Да, товарищи, — волновался Фрунзе, — военно-техническое оснащение нашей армии — это фундамент, на этом зиждется наша мощь. Не секрет, что исход будущих столкновений зависит теперь от людей чистой науки даже в большей степени, чем от командования.

Конструктор Поликарпов, участвовавший в этом разговоре, скромно произнес:

— Люди чистой науки не заставят себя ждать.

Присутствующие посмотрели на его многозначительное лицо и дружно рассмеялись: все они так же верили, что ждать они не заставят и сделают все от них зависящее.

— Одно крупное изобретение или открытие в области военной техники сразу дает колоссальное преимущество, — продолжал Фрунзе.

— Если даже одно крупное изобретение дает такой перевес, то нужно дать сто крупных изобретений! — предложил молодой изобретатель, пришедший вместе с Поликарповым.

— Всем известно, какими семиверстными шагами идем мы вперед, любясь юношей, сказал Фрунзе. — Вот вам цифры: в двадцать втором году мы покупали за границей девяносто процентов самолетов для наших нужд, в двадцать третьем — только пятьдесят процентов, а сейчас, в двадцать пятом году, вовсе не покупаем, стали делать свои! Нужно ли пояснять, как это важно?

— То ли еще будет! — сказал Поликарпов, кое-что знавший о новых работах Чаплыгина, Туполева, инженера Ветчинкина.

— Как дальновиден был Владимир Ильич, когда говорил, что без новых научных открытий мы коммунизма не построим!

— Он еще утверждал, что дюжина наших, советских учреждений стоит меньше, чем одна хорошо работающая лаборатория. Так, кажется?

— Совершенно верно. Не помню слово в слово, но мысль была такова.

— Но если одна лаборатория представляет ценность, — снова не выдержал юный изобретатель, — то еще лучше, если мы откроем тысячу лабораторий.

— Ты, Вася, прав, — серьезно отозвался Поликарпов, — тысяча в тысячу раз больше единицы.

Молодой человек не был обижен, когда эта шутка вызвала общий смех. Эти люди были дружной семьей, и в этом был залог успеха. Ни конкуренции, ни происков, ни подсиживания. Ведь в основе их труда не было стремления личного возвеличивания, карьеры или обогащения. Ими двигали высокие чувства патриотизма. И они так любили свое дело! Это были неисправимые энтузиасты. А когда человеком владеет вдохновение, он может совершать даже невозможное, так как известно, что «тот, кто верой обладает в невозможнейшие вещи, невозможнейшие вещи совершить и сам способен».

«Километр над землей, десять километров над землей... Но и это не предел? Ведь не предел? Вот безграничная сфера деятельности для будущих Колумбов!»

Фрунзе вглядывался в синие глубины небосвода, и ему уже рисовались будущие воздушные бои, будущие воздушные трассы... Фрунзе предугадывал большое будущее наших авиационных сил. Из небольшой, созданной по указанию Ленина «Летучей лаборатории» вырос солидный аэрогидродинамический институт, именуемый сокращенно ЦАГИ. Здесь Фрунзе был частым гостем. И какой радостью наполнялось его сердце, когда он любовался фигурами высшего пилотажа при испытании первого советского истребителя, созданного конструктором Поликарповым и испытываемого отличным летчиком Владимиром Филипповым! Самолет был послушен в его руках.

— То ли еще будет! — басил стоявший рядом с Михаилом Васильевичем Поликарпов, скромник и труженик.

И он был прав. Усилиями Фрунзе дан толчок, поставлено дело на правильные рельсы. Теперь оно пойдет, теперь не остановишь!

Группа летчиков стояла невдалеке от Фрунзе. Они делились впечатлениями.

— Хорош, что и говорить!

— Уж во всяком случае не хуже заграничных! — прозвучал чей-то сочный голос.

Фрунзе прислушался. Это оценка Российского, одного из славных зачинателей летного дела в России. Он зря не скажет!

«И все до последнего винтика — все наше, отечественное! — размышлял Михаил Васильевич. — Те капиталистические страны, которые упорно не желали нам ни в чем помочь, оказали нам большую услугу: поняв, что нам рассчитывать не на кого, мы поднатужились, приналегли и сами стали налаживать все необходимое. И то сказать — богата наша страна, все у нас есть, потому и в будущее смотрим мы бодро. Тысячу раз прав товарищ Поликарпов: то ли еще будет!»

— Вы чего-то улыбаетесь, товарищ Фрунзе, — подошел летчик Громов и показал в небо на делающий мертвую петлю самолет. — Неплохо, а? Одобряете?

— То ли еще будет! — повторил Фрунзе понравившиеся ему слова Поликарпова.

— А как же! — отозвался уверенно Громов, поняв, о чем идет речь. Это обязательно!

Фрунзе видел, что их обоих наполняет одно чувство: гордость достигнутым и нетерпение двигаться дальше, дальше, ведь нет предела для человеческих устремлений, а счастье человека в том, чтобы созидать, доискиваться, творить.

Оба сильные, оба воодушевленные торжественностью минуты, летчик и любимый народом нарком стояли и молча любовались самолетом, который по воле пилота то падал камнем, то взмывал ввысь, то кружил и кувыркался, как жаворонок, упоенный простором и солнцем.

5

Дела, дела. Нужно обладать кипучим характером Фрунзе, чтобы успевать повсюду и не суетиться. Ведь это он принимал самое живейшее участие в разработке плана первой пятилетки. Ведь это он разъезжал по стране, проводя инспекторские смотры, он нанес визит Германии, прибыв в Кильскую бухту на линкоре «Марат». Он присутствовал при передаче авиаэскадрильи имени Дзержинского в распоряжение Военно-воздушных сил.

— Редко нам удастся видеть папу, — говорит Софья Алексеевна, когда Тимур и Танечка забираются на колени отца.

— Соскучился я по вас, — признается Фрунзе, — но что же делать? Надо. Время такое. Вот в Ленинград на днях поеду. Ведь надо?

24 февраля 1925 года Фрунзе выступает на торжественном заседании расширенного пленума Ленинградского губисполкома. Заседание посвящено 7-й годовщине существования Красной Армии.

Настроение у всех приподнятое, праздничное. Как там ни говорите, а дела идут

успешно, усилия всего народа, всей страны не напрасны. И всем без исключения нравится этот коренастый, деловитый, без всякой позы и аффектации человек.

Как тепло он говорит о Ленинграде:

— Каждая улица, каждый камень на его мостовых являются свидетелями величайших событий и могут многое рассказать нашим грядущим поколениям.

Да! Конечно! Все ленинградцы любят свой город и любят, когда о нем говорят хорошо.

Фрунзе напоминает о некоторых этапах истории Ленинграда, говорит о тех днях, когда армия Юденича появилась на подступах к городу и встретила достойный отпор. Он выражает надежду, что и в будущих столкновениях, если таковые произойдут, Ленинград будет стоять несокрушимым форпостом на крайнем фланге наших войск.

— Сейчас в заграничной прессе немало шума, призывов к крестовому походу против коммунизма. Мы знаем, что лягушки квакают к дождю, поэтому принимаем кой-какие меры, чтобы дождь не застал врасплох.

Заканчивая речь, Фрунзе с большим подъемом провозглашает здравицу:

— Вашему городу, стальному городу Ленина, живому горячему сердцу революции, оплоту и надежде наших октябрьских заветов — слава и наш братский привет от Красной Армии!

Умеет Фрунзе затронуть большие чувства в душе человека, умеет воодушевить. Среди присутствующих и Николай Лаврентьевич Орешников, уж ему-то больно по душе слова Фрунзе.

Крупными мазками набрасывает Фрунзе облик страны, определяет задачи Красной Армии. Затем делает обзор международных событий.

До чего хотелось бы Орешникову поговорить с Фрунзе! Но куда там! До Фрунзе и не добраться! Его окружили, его засыпали вопросами, его куда-то увезли, кажется, выступать на заводе или в воинской части.

Орешников уже примирился с тем, что не удалось побеседовать с Фрунзе или хотя бы поблагодарить его за выполненное обещание: за перевод в Ленинград.

И вдруг — на следующий же день после собрания — звонок в дверь, и на пороге появляется коренастая фигура Фрунзе.

В квартире поднялся переполох. Быстро подхвачено и унесено какое-то белье, висевшее на спинке стула, ловким движением ноги задвинут под кровать детский горшочек. Любовь Кондратьевна сбросила передничек, который надевала, когда мыла посуду, а Лаврентий Павлович натянул на плечи заслуженный, сшитый еще в 1912 году, синий в полоску пиджак.

— Показывайте, показывайте вашего Вову, который решил копить деньги при коммунизме! — слышался голос в прихожей. — Знакомьтесь, никак не мог доказать, что найду как-нибудь Васильевский остров и без сопровождающего, сам когда-то на Васильевском жил...

Фрунзе сопровождал чистенький, молоденький военный из управления. Сначала с Фрунзе намеревался охоть командующий военным округом, но Фрунзе решительно запротестовал, объяснив, что хочет посетить знакомых не как нарком, а как обыкновенный смертный.

Выражение «обыкновенный смертный» вызвало дружный взрыв смеха и возгласы одобрения. Однако сопровождающего все-таки подкинули, уверяя, что он и город знает и что вообще невежливо бросать высокого гостя на произвол судьбы.

Сопровождающему, бойкому молодому краскому Пете Соломинцеву, успели шепнуть, чтобы посмотрел, что там и как, не нуждается ли в чем этот самый Орешников, как оказалось, личный знакомый Фрунзе.

Николай Лаврентьевич обрадовался гостю. Он суетился, за что-то извинялся, глазами показал жене на тарелку с недоеденной манной кашей — и тарелка моментально исчезла.

— Извините за беспорядок... Знакомьтесь, пожалуйста... Это мой отец.

— Лаврентий Павлович Орешников! — отрекомендовался сам глава семейства. — Гым-гум!

— Это мама. А это жена. Любовь Кондратьевна.

— Как же, как же, сразу узнал по описаниям. Учебу закончили? Нет еще? На последнем курсе? Вот как!

В кухне столпотворение. Ставили на примус чайник, нарезали хлеб, затем Любаша ловко проскочила в прихожую и помчалась в ближайший магазин за печеньем, пирожными, колбасой и сыром.

Капитолина Ивановна извлекала тем временем из старомодного буфета с резными узорами, разноцветными стеклышками парадный, голубой, с золотой каемочкой, гостевой чайный сервиз, из которого пили чай еще на ее свадьбе.

— Вас-то как звать? Михаил Васильевич? Чайку с нами не откушаете? Какое варенье больше любите? Малиновое уважаете? Да я лучше всякого положу.

— Тесновато что-то у вас, — обзиревал жилище Петя Соломинцев. — Две комнаты — и все?

— Нам не танцевать, — примирительно говорила Капитолина Ивановна. Раньше-то у нас три комнаты было, да куда нам? Одну соседней квартире отдали, вон и дверь кирпичом замуровали. И правильно, ничего особенного, нам хватает...

— Какое хватает! — великодушно начал Петя Соломинцев, входя в роль квартирной комиссии. — Надо что-то придумать...

Капитолина Ивановна полностью завладела Михаилом Васильевичем, который ей с первого взгляда понравился. Она уже успела показать ему семейный альбом с портретами дедов, прадедов, тетушек еще невестами, тетушек уже замужем, скромненьких племянниц, дочерей и пучеглазых внуков голышом.

Вернулась запыхавшаяся Любаша со свертками, звякали тарелки на кухне, затем произошло торжественное представление гостям белобрысого, с румянцем во всю щеку, упитанного, весьма самостоятельного Вовы, вернувшегося с прогулки.

И тут все наперебой стали рассказывать о проделках Вовы, о словечках Вовы, о различных с ним случаях, с несомненностью доказывающих, что он чудо как хорош, что он — необыкновенный ребенок и что, конечно, будет из него толк.

Вова отрекомендовался, протягивая Фрунзе ручонку:

— Владимир Николаевич Орешников, сын собственных родителей.

Может быть, его этому научили, может быть, кто-нибудь в шутку сказал это при нем, но он всегда так говорил, если приходили незнакомые.

Фрунзе смеялся:

— Сколько же тебе лет, сын собственных родителей?

— Пять лет и пять месяцев! — с гордостью ответил Вова.

Тут разговор коснулся Котовского. Орешников и Фрунзе в два голоса начали восхищаться его энергией, его кипучей натурой, его талантами. Петя Соломинцев наострил уши: «Эге! Да этот Орешников, видать, незаурядная личность! С какими людьми знается!»

Чаепитие прошло великолепно. Фрунзе с удовольствием ел бутерброды и печенье, шутил, Петя Соломинцев рассказывал анекдоты, Лаврентий Павлович сначала ограничивался своим «гым-гум», а потом оживился и, поняв из разговора, что гость прибыл из Москвы, рассказал много интересного о московской старине: о том, что под Новодевичьим монастырем в былые времена были луга, где паслись государевы кони, а на Остоженном дворе заготавливалось в стогах сено, что славились в Москве трактир Тестова, егоровские блины и Сандуновские бани, что Кунцево — бывшее имение Нарышкиных, Архангельское Юсуповых, а Останкино — Шереметева... Лаврентий Павлович так и сыпал названиями, сообщил, сколько раз Москва выгорала, перечислял храмы, музеи, имена актеров, губернаторов... Фрунзе по удивленным лицам всех домашних понял, что они в первый раз в жизни слышат, во-первых, что Лаврентий Павлович может быть словоохотлив, во-вторых, что он, оказывается, когда-то жил в Москве, видимо, еще до женитьбы, и даже изучал ее историю.

Впрочем, за столом все говорили много и охотно. Любаша рассказала об

университетских делах, Капитолина Ивановна — о том, как Любаша и Коленька ходили-ходили в кино да и поженились...

В двенадцатом часу сердечно распрощались, Петя сбегал узнать, на месте ли шофер, и они уехали.

— Молоденький-то так себе, — сказала очень довольная, сияющая Капитолина Ивановна, убирая со стола посуду.

— Пустозвон! Гым-гум.

— А вот который с бородкой — приятный человек. Это кто же он будет, Коленька? Твой сослуживец?

Орешников расхохотался:

— Да это же министр, мама, по-нынешнему, нарком. Это Фрунзе!

Капитолина Ивановна отмахнулась:

— А ну тебя, никогда серьезно с матерью не поговоришь, все шуточки да прибауточки. Любаша, кто же это он, Михайло-то Васильевич? Да вы что, ребята! Вправду министр? Мать пресвятая богородица! Да что же вы меня не предупредили? Слышишь, Лаврентий Павлович? Министр!

— Гым-гум...

— А я-то его вареньем потчевала!

— Что ж, и министры варенье едят. Фрунзе — человек умный, а главное воспитанный, словом, интеллигентный. Так-то рассуждать: что особенного, что в гости пришел? Обыкновенная вежливость...

— И порядочность, гым-гум...

— Да, и порядочность. Мы знакомы, я у него и дома бывал. Теперь он приехал в Ленинград, знает, что я в Ленинграде, — хорошо получилось бы, если бы он пренебрег? Поважничал?

Но Орешников говорил это, убеждая себя, а в душе ликовал и восторгался: вот это человек!

Тут и Любаша и Лаврентий Павлович стали уверять, что они сразу поняли: человек этот необыкновенный, выдающийся человек.

И еще долго не ложились спать, беседовали, смеялись, припоминали, как все было, как Любаша сбегала в магазин, как убрали недоеденную манную кашу...

— А Вовка ему понравился.

— Еще бы!

— Гым-гум! Приятно, когда в правительстве люди как люди! Очень хорошо побеседовали!

А Фрунзе наутро побывал еще на одном номерном заводе военного ведомства. Продукцией, выпускавшейся на этом заводе, остался доволен:

— Преподнесем сюрпризик, если кто сунется к нам! Сразу получают от чужих ворот поворот!

Так как до поезда осталось немного свободного времени, Михаил Васильевич решил хотя бы взглянуть на памятные места города, места, связанные со светозарной юностью, с теми годами, когда Фрунзе приехал двадцать лет назад в Петербург, тем более что комендант города предоставил в его распоряжение машину.

— Куда теперь, Михаил Васильевич? — спросил шофер, видать, толковый парень, с военной выправкой и несколько панибратскими ухватками, в кожанке, чисто выбритый — словом, типичный «личный шофер».

— Начнем с Выборгской, — предложил Фрунзе. — Катнем напрямиком к Политехническому?

— Понятно! — сказал шофер и газанул по Литейному.

До Политехнического было далеко. И Фрунзе, поглядывая на постройки Финляндского вокзала, озирая рабочие кварталы, вспоминал студенческие сходки, лекции — накаленную атмосферу 1904 года...

На обратном пути свернули после Литейного моста вправо, миновали Марсово поле и по Миллионной выбрались на Дворцовую площадь.

— К Медному Всаднику? — лаконично спросил шофер.

— Остановимся на площади. Здесь было первое сражение народа с царизмом.

— Штурм Зимнего?

— Раньше. Кровавое воскресенье.

— А-а! Разве это сражение? Чистая бойня.

— Что верно, то верно. И я тогда получил царапину.

Фрунзе задумчиво смотрел на громадину Зимнего дворца, на величавую арку. Денек был кисленький. Типичная ленинградская погода.

— Действительно, каждый камень здесь история! — вздохнул Фрунзе.

— Дальше некуда! — отозвался шофер.

И они, навестив Медного Всадника, отправились на Московский вокзал.

6

Чего совсем не умел Фрунзе — это сидеть в кабинете и отдавать распоряжения. У него и кабинет был местом споров, совещаний, разработки проектов. А вообще — Фрунзе любил все видеть сам, все ощупать, представить, а главное — поговорить с людьми, понять людей и поверить им. А поверив, проверить и поторопить.

То он выступает на заседании, посвященном двухлетию Общества друзей Воздушного Флота, то проводит совещание кавалерийских начальников армии и еле успевает перекинуться двумя-тремя словами с Григорием Ивановичем Котовским. А там — совещание Военно-научного общества, где Фрунзе говорит о характере будущей войны, о значении психотехники, о подборе наиболее пригодных людей во все рода войск, так как не всякий может быть, например, летчиком или моряком...

Разве можно не побывать на заводе «Икар», где изготавливается первый советский авиационный мотор? А бронетанковые части? И он, и Егоров уделяют им много внимания, в то же время приветствуя советское тракторостроение: пусть трудятся наши тракторы на полях в мирное время, а придет война — из них получатся прекрасные тягачи.

Еще одно нововведение: полковая артиллерия. Насколько сильнее стала пехота! И как это пригодится в случае войны!

Но нельзя не позаботиться также о пулемете. Не пора ли избавиться от заграничных пулеметов Максима и Дризе, которые с давних пор на вооружении нашей армии? Не пора ли создать свой, отечественный, русский пулемет, и чтобы он был не хуже иностранных?

Фрунзе вызывает к себе известного конструктора-изобретателя стрелкового оружия Дегтярева и конструктора-оружейника Федорова, двух друзей, работающих сообща и безраздельно.

— Догадываетесь, зачем я вас пригласил?

— Думаю, что потолковать о том же, о чем думка и у нас самих.

— Что нужно сделать, чтобы работа у вас шла успешнее?

— Сказать по правде, у меня и чертежи уже сделаны...

— Пулемета?!

— Пулемета.

— Значит, понимаете, как это нужно? Разве не обидно, что до сего времени кафтан-то с чужого плеча носим? Добро бы хоть не умели. Умеем! Еще как умеем! Недавно я вычитал: парашют-то — чье изобретение? Котельникова! Чать, и вы тоже не слышали об этом? И никто не знает. А почему? В таких вещах скромность неуместна.

— А радио? А электрическая лампочка? — стал перечислять Дегтярев. Кто о Попове знает? О Яблочкине? Мы-то по-человечески подходим, без торгашества, а там, у капиталистов, все на рубли переложено: талант на рубли, ум на рубли, совесть...

— Ну, совесть-то у капиталистов дешевле.

Фрунзе обращался то к Дегтяреву, то к Федорову, расспрашивал их, рассказывал сам. Завязался интересный разговор. Михаил Васильевич позвал их к себе домой. Квартира у него просторная, солнечная, и место хорошее у самого Кремля. А в квартире все шкафы, шкафы наставлены, снизу доверху книгами заполнены, а книги все больше по военному делу.

Пили чай. Обсудили, прикинули. А когда вышли от наркома, переглянулись и видят: у того и у другого глаза горят, лица помолодели. Раззадорил их Фрунзе!

— Сделаем пулемет, — сказал Дегтярев.

— Сразу надо приниматься, — согласился Федоров. — Сегодня же, не откладывая.

— Да не просто пулемет, а чтобы у этого Дризе глаза лопнули от зависти!

— Не для буржуазии делаем, для народа. Надо постараться.

Так они толковали, остановившись перед домом, где жил Фрунзе. Щурились от яркого солнца и блеска кремлевских куполов, говорили кратко, отрывисто, по-деловому.

А там, у Фрунзе, как только распрощались изобретатели и ушли, произошел другой разговор.

— Не щадишь ты себя, — сказала Софья Алексеевна, подсаживаясь на кресло к мужу. — Не щадишь, а у меня язык не поворачивается попрекнуть тебя и остановить. Да и бесполезно. Сколько я знаю тебя, еще с Читы, всегда ты такой неугомонный. Отдаешь без меры, любишь без оговорок... Хороший ты у меня!

У Фрунзе начинался приступ болезни, он готов был кричать от боли, но улыбнулся и сказал:

— И ты у меня — самая лучшая женщина на свете!

Шестнадцатая глава

1

Очень много работы. Уйма работы. Михаил Васильевич справляется со всем только благодаря умению распределять время. Иные суеются, а дело ни с места. Это происходит от разбросанности мыслей, от беспорядка в доме и в голове. Часы и недели утекают, как песок из пригоршни, а ведь известно время никого не ждет. У Михаила Васильевича непоколебимая дисциплина труда, железная воля. Поэтому он никогда не торопится и все успевает.

Много значит дружная семья. Все приспособлено, слаженно, все вещи знают свое место. Как бы ни устал, как бы ни растревожился — дома встретит неизменно привет и ласку, дома услышит спокойный голос жены, найдет внимательного слушателя, вдумчивого собеседника, верного друга. А это так важно, так нужно, чтобы собраться с силами для нового наступления, для новых боев.

Софья Алексеевна окружила мужа заботами, создала ему соответствующую его напряженной жизни обстановку. Легко и просто разделяла с ним все тяготы и заботы, причем никогда не показывала вида, что устала, что ей неважно. Она жила талантливо, так, как танцует талантливая балерина: вкладывая много труда и умения, но сохраняя при этом непринужденность и легкость, простую и светлую улыбку.

Познакомились они в далекой Чите. Софья Алексеевна помогла тогда некоему Владимиру Григорьевичу Василенко. Документы на имя Василенко Фрунзе получил при содействии партийной организации после побега из ссылки. Под этим именем Фрунзе поступил на работу в статистическое управление Читы. Там он и познакомился с сотрудницей статистического управления Софьей Алексеевной Поповой. Когда полиция напала на след, Фрунзе переменял документы и под фамилией Михайлова уехал в Москву. Всю дорогу он изображал тяжелобольного, а подруга Софьи Алексеевны взялась сопровождать его в качестве сиделки.

Снова встретились Фрунзе и Софья Алексеевна уже в революционные годы, встретились, чтобы больше не разлучаться. Теперь Софья Алексеевна ни на шаг не отставала

от мужа, куда он, туда и она.

Кончились битвы с интервентами, сгинули и Врангель и Колчак. Но не убавилось работы. Выяснилось, что суворовское правило «Сначала ознакомься, изучи, а потом действуй» приложимо в равной степени к военным операциям и к любой деятельности в мирное время. Да и можно ли назвать мирным временем тревожные двадцатые годы?

День заполнен до предела. Тут и поездки в воинские части, и чтение лекций, и бесчисленные приемы, требующие внимания, указаний, советов, принятия мер... Ночь предназначена для учебы, для углубления знаний, для изучения военного дела. Конспекты, писание статей, руководств... Почему-то всегда оказывается что-нибудь срочное — то подготовка выступления о задачах академиков в армии, о военно-политическом воспитании Красной Армии, о фронте и тыле будущих войн, то срочные статьи о военной технике, о воздушном флоте, о единой военной доктрине в Красной Армии.

Ночь. Тишина. На полках, на столе — книги, книги, книги — молчаливые друзья и добрые советчики. стакан крепкого холодного чая. Удобное кресло. Зеленый абажур проливает мягкий свет, бросает блики на стены, на потолок, располагает к вдумчивости, к размышлениям...

Все понять. Все оценить. Составить план действий и тогда только действовать. Здесь нельзя размышлять об отвлеченном. Мысль должна быть точной, как наводка артиллерийского орудия. Ошибаться нельзя. И когда будут сделаны вычисления, можно подать команду — «Огонь!».

В открытое окно веет прохладой. Чуть-чуть пошевеливается край занавески. Как любит Михаил Васильевич эти ночные часы работы! Весь он безраздельно принадлежит партии, он отдал жизнь, сколько бы она еще ни длилась — год или десятилетия — отдал всю целиком служению народу, И сознание, что выполнит все, что требуется выполнить, создает полную согласованность, полную гармоничность всего существа.

Он счастлив.

Работается хорошо. Мысли на редкость четки и стройны. Продумано и записано все, что нужно будет сказать в выступлении.

Закончив работу над докладом, Фрунзе откинулся в кресле. Мигом обступили видения пережитого, незабываемые картины борьбы, исканий и побед...

После поездки в Ленинград особенно часто вспоминался 1905 год.

2

В тот памятный год царь дал сражение безоружной толпе из-за охватившего его животного страха, из-за туманящей мозг жгучей ненависти. Он стрелял, а у самого поджилки тряслись. Он боялся даже безоружных!

Расправа с народом была преднамеренной. Сговорившись, расставив войска, притаились и ждали. Притворялся граф Витте, что ровно ничего не знает, и пожимал плечами, когда к нему пришла делегация интеллигентов и просила предотвратить кровопролитие. Притворялись бессильными что-нибудь сделать эсеры. Умывали руки сюсюкающие меньшевики. А царские генералы и полковники сидели в засадах и готовились ударить по «внутреннему врагу».

Думал ли тогда Фрунзе, что ему придется еще не раз встретиться с этими господами на ратном поле?

Вел толпу поп Гапон.

По знаку самодержавного убийцы полковник Дельсаль приказал открыть огонь по народу, шедшему к Дворцовой площади. Дельсалью мерещились награды, повышения в чине, почетная старость и немеркнущая слава в веках!

Фрунзе был на Дворцовой площади, когда войска открыли огонь по безоружной толпе, несшей иконы и царские портреты. Он шел с путиловскими рабочими.

Большевики пытались предотвратить шествие, уберечь народ от кровавой расправы, от

напрасных жертв. Но поняв, что манифестация все-таки состоится, они хотели превратить ее в рабочую демонстрацию. И в знаменитой петиции, которую предполагалось вручить царю, содержались требования о сокращении рабочего дня, об улучшении жизни рабочих.

Фрунзе оказался среди манифестантов не случайно. Он хотел разделить с рабочей массой опасность, все превратности судьбы.

Удивительно, что манифестанты, несмотря на преграды, все-таки прорвались на Дворцовую площадь. Но здесь толпу расстреливали в упор.

Сначала Фрунзе не поверил, что солдаты стреляют боевыми патронами. Но вот он увидел, как упал простосердечный старый рабочий, наивно хранивший надежду на доброту царя-батюшки и теперь столкнувшийся лицом к лицу с жестокой правдой. Старик нес, как носят икону в престольный сельский праздник, портрет царя в тусклой золоченой раме. Сусальный царь на портрете выглядел добродушным и совсем не походил на подлинного царя, осторожно выглядывавшего из окна своего дворца. Пуля попала в портрет, в самую физиономию самодержца, пробила картон и вонзилась в сердце доверчивого рабочего. Он упал. Кровавое пятно расплылось на портрете. Царскую бородку смочила рабочая кровь.

Фрунзе наклонился над рабочим, и в это время другая пуля ранила его самого. Рана была легкая, пуля не задела кость. Все же это была рана. Фрунзе пришел в себя лишь в приемном покое, где ему забинтовали руку. Первое, что он увидел, — участливое лицо врача, приговаривавшего: «Легко отделались, молодой человек! Поздравляю, вам еще повезло!»

Как и всякий другой, день 9 января 1905 года кончился. Стемнело. Настала черная тяжелая ночь. Стрельба прекратилась. Повсюду на улицах валялись необрунные трупы, безмолвно кричавшие об отмщении. А в больницах до утра работали операционные. Непрерывно двигались носилки. Кого несли на больничную койку, кого — в морг. Царь мог подвести итоги: тысяча убитых, пять тысяч раненых. Это ли не успех!

Забрызганы кровью стены дворцов, залита кровью торцовая мостовая. Каждый убийца стремится замести следы преступления, отмыть пятна крови на рукавах. Глухой ночью, крадучись, строго наблюдая, чтобы никто ничего не увидел, развозили по кладбищам мертвецов. Грузили на подводы без разборки, навалом. Грузили молча. Приказано было шума не производить. Рассеяли толпу, собравшуюся у Александровской больницы, — нечего глазеть. Разогнали и родственников. Но Фрунзе все видел.

В два часа ночи везли трупы на Смоленское кладбище. В следующую ночь вывезли трупы из Обуховской больницы. Их на скорую руку закопали на Преображенском кладбище. Тут надо было обеспечить следование подвод до Николаевского вокзала. Генерал-майор Лангоф рапортовал о выполнении этой малопочетной задачи. Генерал-майор барон Неттельгорст позаботился, чтобы оттеснили толпу, собравшуюся на кладбище. Барон службу знает! Энергично действовал и генерал-майор барон Гернгрос, не жалея ни сил, ни времени. На Охтенском кладбище учащаяся молодежь хоронила своего товарища студента. Конная полиция следила, чтобы не пели «Вы жертвою пали».

Много хлопот с покойниками, еще больше с живыми. На заводах разместили улан. Рота под командой штабс-капитана Лимберга наводила порядок в Василеостровском конно-железнодорожном парке. На ликерном заводе Бекмана 60 тысяч ведер спирта. Войска несут цареву службу около спирта, оберегают ликерную территорию, даже ходят провожатыми штрейкбрехеров, чтобы тех не побили, когда они возвращаются домой. На меднопрокатный завод Розенкранца пристав Шолтинг тоже вызвал эскадрон драгун. Для спокойствия.

Палачам и убийцам было не по себе, их преследовали призраки убитых. Среди ночи вскакивает с постели в холодном поту великий князь Сергей Михайлович, названивает по телефону и истерическим голосом отдает приказ немедленно привести в боевую готовность кавалергардский полк. Скачут отборные войска по пустым безлюдным улицам, по Литейному мосту, по Дворцовому мосту, вдоль Малой Конюшенной, по Лиговке, по набережным Невы... Охраняют фабрику Лаферм, оружейный завод Шафа, лицейстов, институты благородных девиц, керосиновые склады на Обводном канале...

Фрунзе ночевал в квартире знакомого рабочего. Там уже знали все новости.

Рассказывали, что Николай II сразу же сбежал в Царское Село, наглухо заперся в Александровском дворце и дрожал мелкой дрожью. Окружив дворец самыми надежными войсками, он решил постоять за себя. Вся округа поднята на ноги. Всё на военном положении. Разъезды, приказы, рапорты. Вот скачет во главе своих кирасир полковник Раух разгонять почудившиеся в ночном мраке народные массы. Никого не обнаружив, кирасиры возвращаются назад. Вот отправляется в разведку поручик Старженецкий-Лапп. Вот по боевой тревоге некий грозный генерал атакует деревню Пулково, полагая, что там собралась вооруженная разгневанная толпа. Дежурят ночи напролет. Звонят по телефону. Назначен пост даже возле Чесменской богадельни!

3

Большие события в жизни человека никогда не стираются, врезаются в мозг, постоянно хранятся где-то в архивах памяти. В минуты раздумья или затронутые случайным словом в разговоре, они вдруг всплывают во всей полноте и яркости, как будто все это произошло только вчера.

Так прочно запечатлелся у Фрунзе поход рабочих к царскому дворцу. Врезался в память сраженный пулей старик рабочий, раскинувший руки на мостовой, а рядом простреленный царский портрет, обогранный рабочей кровью...

Этот день решил дальнейшую судьбу Фрунзе. Все, что он видел на Дворцовой площади, а затем в приемном покое, до глубины потрясло его. И, шагая по опустевшим улицам Петербурга, Фрунзе поклялся до конца своих дней бороться с властью царей, со всеми врагами народа.

Вскоре он очутился под надзором полиции, затем был выслан... Партия направила его на подпольную работу в славный революционными традициями Иваново-Вознесенск. Началась полная опасностей жизнь подпольщика...

...Зеленый свет абажура мягко ложится на стены. стакан чаю отбрасывает лучистых зайчиков на потолок. Чуть колышется светло-зеленая штора на открытом окне. Какая замечательная ночь! Доносится равномерный гул, мощное дыхание Москвы. Пахнут тополя. Удивительные стоят деньки. В полдень жарко, а в полуночные часы — упоительная свежесть и прохлада.

Фрунзе откинулся в кресле. Он думает. Он вспоминает. И перед его взором проходят одна за другой памятные картины...

В лесных чащобах, на затерянных среди ельника полянах шуйские и иваново-вознесенские рабочие учатся стрелять из винчестеров и револьверов. Серьезно и деловито готовятся они к предстоящим боям. Руководит обучением Фрунзе. Оружие доставать трудно. Вооружались своеобразно: ночью дружинники подстерегали городских и, пригрозив револьвером, отнимали у них оружие. Так предложил Фрунзе.

— Это только восстанавливает справедливость, — смеялся он. — Оружием, предназначенным для нашего истребления, мы сокрушим самодержавие.

Фрунзе тоже усердно учился стрелять и вскоре стал отличным стрелком. Когда звуки выстрелов долетали до постороннего уха, всегда находился человек, который пояснял с самым невинным видом:

— Не иначе как по уткам стреляют. Сейчас самая охота на дичь.

Но утки могли спокойно плавать в озерах, среди густого ивняка и кустов черемухи. Никто не покушался на их спокойствие.

— Рабочему вот как пригодится военная подготовка, — радовался Фрунзе. — Ведь никто нам добровольно власти не уступит.

По всей России шли ожесточенные сражения. Новое сражалось со старым.

Некоторые отставшие от жизни политические эмигранты заявляли, что это «вспышкопускательство», что не надо было начинать. Нет, дело было посерьезнее. Недаром даже самые заядлые реакционеры кляли в эти дни Николая и, не мысля России без царя,

прочили на престол великого князя Дмитрия Павловича. В кадетских кругах, представлявших революцию по образчику буржуазных революций Западной Европы (так же мыслили и меньшевики!), прочили в президенты своего ставленника. Все это свидетельствовало о смятении умов, о том, что трон зашатался, что Россия была накануне государственного переворота.

Революция 1905 года открыла новую страницу в истории. Таких революций еще не происходило. Это сразу же понял Ленин, утверждая, что победа буржуазной революции в России невозможна как победа буржуазии. Этого так и не поняла отсталая русская буржуазия, не уразумели выездные лакеи буржуазии — меньшевики.

Революция выявила расстановку сил. Стали ясны чаяния буржуазии. Полностью разоблачили себя меньшевики, вполне заслужившие резкую, но точную оценку Ленина, который назвал их ликвидаторской сволочью.

Нет, не пропали даром усилия, не были напрасными жертвы! Вспоминая об этих стремительных днях, Фрунзе и сейчас еще испытывает волнение. Глаза загораются, кровь приливает к лицу. Презрительно усмехается, когда приходят на ум все дешевые отговорки ликвидаторов: рабочий класс-де не созрел, надо, мол, с социалистической революцией смиренно ждать до тех пор, пока пролетариат в результате экономического развития общества не станет большинством нации.

— С этой дрянью, — бормочет Фрунзе, щуря глаза, — с этой увертливой публикой еще придется повозиться! Тысячу раз прав Ильич, что считал этих маневрирующих мещан более страшными, чем Деникин!

Фрунзе глубоко верит, что вслед за нашей разразятся революции в других капиталистических странах и отжившему старому устройству мира несдобровать.

Кто следующий?! Учтите опыт 1905 года и победы Октября! России пришлось прокладывать путь по неизведанному. Запомните все! Не повторяйте отдельных наших ошибок! Предусмотрите все неожиданности! Выберите подходящую обстановку, используйте колебания во вражеских рядах, подхватите воодушевление в народных массах! Больше смелости!

«Да! — размышляет Фрунзе, досадуя. — Нам бы опыт, который есть сейчас, нам бы единство партии, какого добиваемся мы сейчас! Непростительно, какие в 1905 году упускались возможности. Не использовать восстания Ростовского гренадерского полка, расквартированного в Москве! Ведь они предлагали передать нам весь арсенал, даже только что появившиеся в России пулеметы! Была бы совсем другая картина! Не понадобилось бы из ломаных диванов и поваленных киосков с прохладительными напитками сооружать живописные, но ни от чего не защищающие баррикады! Что делали тогда московские руководители? Заседали! Ох, дорого нам обходятся заседания и бумажная писанина! Восстание Ростовского полка было подавлено, а мы все еще „ставили вопрос“, голосовали, хотя рабочие давно уже были „за“! Когда же раскачались в конце концов и начали всеобщую забастовку, не сумели уберечь руководивший восстанием федеративный комитет, и он был арестован. В эти же дни арестован был и Петербургский Совет...»

Фрунзе помнит все. Да и впоследствии он внимательно изучал минувшие годы. Изучал, чтобы извлечь практическую пользу, чтобы, зная прошлое, правильно ориентироваться в настоящем. Может быть, по той причине, что сам он был участником этой борьбы, Фрунзе не мог относиться к пережитому со спокойствием историка. Он принимал близко к сердцу каждое упущение, проникался ненавистью к тем, кто был помехой, преисполнялся гордостью, думая о беззаветной храбрости, о гордой неподкупности рабочих, сражавшихся на баррикадах со своими жалкими «бульдогами» и смитт-вессонами против пулеметов и артиллерии.

Послали тогда в Бельгию за оружием, и деньги на это нашли. Но когда послали? Только в октябре, когда все события уже шли полным ходом! А ведь известно, что после драки кулаками не машут. Бомбы петербургской лаборатории специально предназначались для Москвы, но изготовлены были к самому концу восстания и так до места и не доехали. И не

возмутительна ли преступная медлительность с разрушением железнодорожных путей между Москвой и Петербургом? Николаевская железная дорога не бастовала. Но почему же не бастовала? Почему не нашлось убедительных слов для этих железнодорожников? Почему не подумали об этом раньше? Но если так, то следовало взорвать мосты, железнодорожное полотно. Кто медлил? Кто не выполнил это важное поручение? В результате Семеновский полк благополучно проследовал из Петербурга на усмирение. Как же можно было допустить, чтобы этот чертов полк преспокойно разместился в вагонах, погрузил с собой и пушечки и, прибыв в Москву, принялся планомерно истреблять революционных рабочих?

Фрунзе сжимает кулаки, стискивает зубы.

Опять все те же меньшевистские штучки! Опять все та же половинчатость, нерешительность, несогласованность! 10 декабря в центре Москвы начался оружейный обстрел, а на Пресне все еще митинговали, все еще ждали каких-то указаний. Только 11-го была наконец напечатана в «Известиях Московского совета» инструкция.

На улицах уже дрались. Удалось даже отбить у драгун пушку. Замечательный народ у нас в России! Сколько бы ни злословили недруги и вероломные псевдодрузья, никак им не опровергнуть того факта, что у нас совершенно особенный, вызывающий гордость и восхищение народ! Он еще не раз удивит весь мир, не раз еще выручит из неминуемой беды человечество, не раз еще покажет пример щедрости души, благородства и доблести!

Фрунзе до сих пор помнит и всю жизнь будет помнить красивые, мужественные лица защитников Пресни, участников уличных боев.

Помнит он и еще один эпизод того времени.

Захватили лысоватого жирного начальника охраны Войлошников. Он был расстрелян на фабричном дворе Прохоровки. Когда его вели к месту казни, он мелко дрожал, лязгал зубами. Потом сдавленным, лающим голосом говорил о каком-то выкупе, клялся, что у него много денег и он заплатит, им же будет выгоднее, для них же лучше... Увидев кирпичную стену, понял, что здесь все и произойдет. Он слишком хорошо знал технику этого дела! Не раз ему случалось видеть, как вышибают скамейку из-под ног приговоренного к повешению, как бьется в конвульсиях тело расстрелянного. Ему всегда представлялось, что, убивая или приговаривая к смерти, он тем самым обеспечивал себе лишний кусочек жизни. И вдруг теперь осознал, что это он, он будет через несколько минут просто-напросто падалью, ничем, и, сколько бы над землей ни промчалось времени, хотя бы миллионы миллионов лет, он, чиновник департамента полиции Войлошников, он, такой значительный, важный, облеченный такой властью, никогда уже не появится, не будет пить чай, не будет ходить в баню, не будет получать награды... И тут он завизжал, стал упираться, брыкаться, так что пришлось его волоком тащить и, кое-как прислонив к стене, прикончить.

Рабочий, распорядившись всей процедурой, даже сплюнул от досады.

— Жили похабно, — пробормотал он, — и умереть по-человечески не умеют! Пошли, ребята!

И они даже не оглянулись, бряцая винтовками, направляясь туда, где сражались с драгунами, сыщиками, черной сотней отважные их товарищи.

4

В Москву Фрунзе приехал со своими боевиками. Иваново-Вознесенский комитет большевиков, узнав, что Москва строит баррикады, решил послать на помощь москвичам отряд боевой дружины. Дружинники были вооружены, обучены, полны готовности сражаться.

Отряд построился и, не обращая внимания на жандармерию, погрузился в вагоны. Дружинники были в приподнятом настроении. Ведь им в первый раз в жизни предстояло участвовать в настоящем сражении. Впрочем, пока никто ясно не представлял, что их ожидает.

В вагонах было шумно. Кто шутил и смеялся, кто рассказывал друзьям о своей жизни.

Поезд мчался, не останавливаясь на промежуточных станциях, всюду были предупреждены железнодорожные комитеты, всюду знали, какой поезд следует в Москву.

На баррикады! Врагам нет пощады!

Дружно выговаривали бодрые слова революционной песни. Паровоз дымил, вагоны мерно раскачивались. Мимо мелькали поля, строения, березняки.

Сразу же, с места в карьер, пришлось вступить в бой. У Николаевского вокзала делали перебежки, и Фрунзе взял на мушку нахального усатого штабс-капитана, который так раскричался на медливших со стрельбой солдат, так размахивал руками, что был отличной мишенью.

На Триумфальной площади отряд залег за баррикадой, построенной еще ночью при деятельном участии дворников, кухарок, при живейшей помощи курсисток, мастеровых. Здесь по восставшим был открыт жестокий огонь. Баррикады плохо защищали, один за другим падали дружинники. Убитые так и лежали, распластавшись возле нелепого сооружения из домашней рухляди. Раненым тоже некуда было деваться. Пока они пытались ползком добраться до какого-нибудь укрытия, их настигала пуля. Вообще некуда было отступать. Необходимо пробиться к Пресне, туда есть только один путь — по Садовой. Но Садовая простреливается пулеметными очередями, и двигаться по ней — значит идти на верную смерть.

Может быть, это был первый маневр будущего полководца: Фрунзе учел обстановку, понял, что единственный выход из положения — прекратить пулеметный огонь. Он выбрал для задуманной им операции двух самых отчаянных смельчаков из дружины и вместе с ними отправился в путь, где ползком, где перебегая от одного угла дома до другого. По задворкам, по чьим-то садочкам, между какими-то сараями пробрались к тому месту, откуда видны были вспышки при стрельбе из пулемета. Войдя в чистенький, подметенный двор двухэтажного дома и взобравшись по пожарной лестнице, увидели пулеметчика. Это был высокого роста человек в солдатской шинели, с лычками на погонах.

Фрунзе одним прыжком очутился около него. Схватка была короткой. Здоровенный детина рухнул на земляной пол чердака.

— Хороший трофей! — пробормотал Фрунзе, разглядывая пулемет. — А ведь таких игрушек могло быть у нас около десятка, если бы мы захватили арсенал!

...Тысяча девятьсот пятый... Романтика... Баррикады из сломанных стульев... Смит-вессоны... И тогда была настоящая, живая кровь, священная кровь, обагрившая мостовые!

Может быть, вспоминая об этом сражении, так же как и о дальнейших крупных военных операциях и битвах, Фрунзе впоследствии говорил, что победит лишь тот, кто найдет в себе решимость наступать. Сторона, только обороняющаяся, неизбежно обречена на поражение. Но в некоторых случаях и маневренные отступательные операции разумны и являются в конечном счете наступлением.

Уже гремели по рельсам Николаевской железной дороги вагоны, наполненные муштрованными семеновцами — опорой царя. Солдаты орали песни, полковник Мин — выкормленное на народных харчах бесчувственное животное равнодушно смотрел в окно вагона на мелькающие деревья, на станционные постройки. Любань... Малая Вишера... Бологое...

Для того ли трудились русские строители, сооружая эти насыпи, виадуки, мосты, для того ли талантливый инженер Мельников решал сложные задачи, проверял рабочие чертежи, объезжал все участки стройки, чтобы теперь по великолепной дороге, может быть, лучшей в России, мчался в воинском эшелоне этот убийца, храбрый, когда приходится сражаться с безоружными?!

Поезд гроыхал по стыкам рельсов, паровоз раскатывал басистый крик по просторам, паровозный дым застревал в сучьях берез, стлался по низине.

Не мучила ли совесть машиниста, ведшего этот состав? И не мерещилось ли в ту ночь полковнику Мину дуло револьвера Коноплянниковой, которая убила полковника спустя всего каких-нибудь восемь месяцев?

Машинист, машинист! Когда ведешь паровоз, думай, кому ты служишь. И если делу свободы — прибавь ходу, машинист! Прибавь ходу во имя всего светлого и справедливого! А если для черного дела...

5

— Милый! Ты что-то очень засиделся!

Софья Алексеевна входит в кабинет с заплетенными в косу волосами, с не совсем еще проснувшимися глазами, в домашнем капоте и с зажженной свечой.

Михаил Васильевич рассеянно улыбается, все еще находясь во власти нахлынувших видений.

— Смотри, уже рассвело, можно даже погасить свет.

— Я уже закончил доклад. По-моему, получилось четко и вразумительно.

— Отлично. Но почему же ты не ложишься спать? Надо же и отдыхать когда-нибудь. Ведь у тебя только что был приступ!

— Сейчас лягу. Честное слово, лягу. Немножечко замечтался, задумался. Мы, старики, любим вспоминать давние времена.

— Что же вспоминал «старик», которому еще нет сорока лет от роду?

— Вспоминал ту, первую революцию. Удивительное дело, Сонечка, кажется, все бои позади, бесследно исчез царизм, разбиты вдребезги одна за другой армии интервентов и контрреволюции...

— Ну и что же? И очень хорошо.

— Да, но сражения не затихают. Я не говорю уж об опасности извне. Но и здесь, внутри страны, приходится давать бои на каждом съезде, на каждом совещании!

— Вчера я мыла бутылку из-под масла, — спокойно проговорила Софья Алексеевна, погасив свечу и усаживаясь около мужа.

— Какую бутылку?!

— Из-под масла. Я же тебе объясняю. Налила я в бутылку теплой воды. Масло всплыло, но не все, на стенках тоже остались масляные следы. Пришлось насыпать песку да ежом, ежом хорошенько тереть? Очень трудно отмывать бутылку из-под растительного масла!

Фрунзе внимательно слушал. Веселые искорки прыгали у него в глазах. Он сразу понял, что хочет сказать Софья Алексеевна.

— Умница ты у меня! Ты, конечно, права, не бывает так, чтобы до пограничного столба жили одни только праведники от социализма, а за пограничной чертой одни только злые упыри и колдуньи капитализма. Пока существует капиталистический строй, не переведутся и его подпевалы даже у нас, в социалистическом лагере. Единственно — это они будут менять личины и пользоваться разными приемами беспощадной, незатихающей борьбы.

— На этом и постановим! — поднялась с места Софья Алексеевна.

Семнадцатая глава

1

Новый, 1925 год в Умани встретили весело, доверчиво, дружно. Строго по-военному и тоже радостно отмечали Новый год в частях корпуса, размещенных в Бердичеве, Гайсине, Тульчине.

Эти небольшие местечки вряд ли помнили свое пышное прошлое, с балами и выездами, с кровавой резней и звонкими титулами их властителей.

В Бердичеве был когда-то монастырь кармелитов, монашеского ордена, по преданию, основанного самим пророком Ильей. Кармелиты свой монастырь окружили рвами и высоким валом, поставили пушки, прорезали в стенах амбразуры... В подземной церкви здесь был

когда-то заключен Мазепой известный гетман Палий. Одно время город был личной собственностью княгини Элеоноры Радзивилл. Впоследствии и монастырь упразднили, и рвы засыпали, и стал этот городок на берегу реки Гнилопят самым заурядным уездным захолустьем.

Котовский восстановил старые казармы на Лысой горе, сам обдумывал расположение и размещение, сам чертил планы конюшен. К казармам проложили узкоколейку. Устроили гимнастические залы с брусьями, трапециями и шведскими лестницами. И началась здоровая, трудовая жизнь. Учились, строго придерживались распорядка, осваивали трудную военную науку, вырабатывали силу воли и силу мышц.

Гайсин, соседствующий с Уманью, особенно ничем но примечателен. Почва в этих местах черноземная, местность преимущественно степная. Встречается, впрочем, красавец граб, с сережками соцветий и светло-серой гладкой корой ствола, да кое-где кудрявятся дубовые рощи.

Тульчин — большое промышленное местечко. Здесь до революции были провиантские магазины, паровая мельница, каретная и табачная фабрики и кожевенные заводы. В стародавние времена здесь граф Потоцкий собирал свое войско.

Пришла другая эпоха. В городе разместился 2-й кавалерийский корпус. Кавалеристы не готовились к завоевательным походам, не мечтали о грабежах и легкой наживе в чужеземных городах. Это были настоящие воины, готовые постоять за родные края. На их стороне была маневренность, инициатива, все новейшее оснащение армии, неисчерпаемые ресурсы, организованный тыл и единоподушие всего народа.

Котовский хотел как можно лучше воспитать новые кадры армии. Да и сам он был воплощением силы, смелости, инициативы. Он видел, что молодежь растет боевая, напористая. Он любовался ею, старался помочь ее росту. Он сердился, когда ему толковали об отцах и детях, о том, что дети отказываются от наследия отцов и непременно норовят сделать все по-своему, пускай плохо, лишь бы наперекор.

— Вранье все это! — решительно объявлял он. — Впрочем, я не берусь судить о старом отжившем мире, там во всем разноробой. А в Советском государстве, если отец падает, сраженный пулей, сын подхватывает его винтовку. Разве у безусого комсомола свои, особые знамена? Где-то я вычитал, что не обязательно быть богатым, великим или ученым, но честным быть обязательно. Мне часто случается беседовать с молодежью, и я говорю им: «Обязательно будьте честными! Но кроме того, обязательно будьте богатыми, обязательно будьте великими, обязательно будьте учеными. Весь мир — для вас. Устраивайте его. А хотите, все выскажу в одном слове? Будьте ленинцами!»

Об этом настойчиво говорил Котовский командному составу корпуса, об этом толковал красным бойцам, об этом шла речь и на съезде комитетов незаможных селян, и на съезде Советов Киевщины, и в обращении к студенчеству, и в страстном призыве к молодежи в статье «Мой завет».

2

В апреле 1925 года состоялся Первый съезд Общества бессарабцев. И конечно же, на съезде был Котовский, был и выступил с такой речью, что весь зал долго грохотал аплодисментами.

На съезде присутствовало немало борцов с захватчиками Бессарабии. Съезду было сообщено о незатихающей борьбе бессарабцев за свою свободу.

Котовский хорошо помнил, как он, теснимый интервентами, переправлялся с отрядом через Днестр. С тех пор как в 1918 году в Бессарабию вторглась боярская Румыния, поддержанная всеми империалистами, с тех пор как по самый Днестр была захвачена солнечная Бессарабия, не переводились там смелые люди, не прекращалась борьба.

Хотинских повстанцев усмиряли французские войска. Об этом рассказал на съезде один из участников восстания:

— На рыночной площади Хотина интервенты из пулеметов расстреляли пятьсот человек, а в общей сложности в Хотине было убито свыше одиннадцати тысяч.

И закончил он выступление так:

— Попили они нашей крови всласть, а любви народной этим не стяжали. Да будет проклят каждый усмиритель и палач, который поднимает руку на угнетенных! Товарищи! Смерть палачам! Да здравствует международная солидарность трудящихся!

Затем выступил Котовский, а после него один из подпольщиков Бессарабии. Он рассказал, как коммунисты выпускают воззвания, даже издают в Кишиневе подпольную газету. Еще он рассказал, как сигуранцей были убиты некоторые виднейшие большевики Бессарабии, как начались аресты и состоялся известный «процесс двухсот семидесяти».

— Это еще до восстания в Татарбунарах. Восстание в Татарбунарах началось в сентябре тысяча девятьсот двадцать четвертого года, как вам известно. Мы так рассудили, что лучше погибнуть в бою, чем жить в унижении. На подавление восстания интервенты бросили девять полков. Как видите, дело крупных масштабов. Конечно, нам было трудно: у них и кавалерия, и тяжелая артиллерия, и военные корабли дунайской флотилии... Повстанцев окружили в районе Вилкова. Кого захватили живыми, топили в реке Прибойне, в озере Кундук... Говорят, они собираются устроить «процесс пятисот». Значит, еще будут расправы. Но разве убьешь целый народ? Даже у завязтых живодеров сил не хватит! Мы не успокоимся, пока вся Бессарабия не будет свободна. Перед нами — пример и образец Молдавской автономной республики! Маяк, который нам светит!

Этот сдержанный, деловой доклад выслушали в тяжелом молчании. И долго еще в зале стояла тишина.

На Котовского было страшно смотреть. Невыносимо было ему, с его деятельной, кипучей натурой, слушать рассказ о вопиющей несправедливости, о бесчеловечности, слушать и ничего не предпринимать, не выхватить клинок из ножен, не броситься на обидчика! Эх, если бы только сделан был знак, только было бы сказано, что терпение иссякло, что довольно дипломатических переговоров, должны наконец понести заслуженную кару румынские помещики за замученных, расстрелянных, потопленных!.. Красная конница по первому сигналу перемахнула бы одним прыжком через Днестр и, напоив коней в реке Прут, двинулась бы дальше, неся знамя свободы...

Со съезда Григорий Иванович вернулся мрачным, подавленным. Перед его глазами стояли эти душераздирающие сцены, будто он сам наблюдал, как озверелые солдаты бьют, топчут, сбрасывают в воду — там, в Татарбунарах, и только за то, что люди не хотят быть рабами.

И разве только в Татарбунарах? Сколько еще людей томятся в бесправии, надрывно работая и влача жалкое существование только для того, чтобы жирел ненавистный капиталист! Вероятно, половина человечества живет впроголодь... И сколько тюрем переполнено отважными борцами за счастье народа! И сколько честных, самоотверженных, справедливых людей замучено и казнено!

— Мне что-то не по себе, Леля, — только и сказал он дома. — Не обращай внимания, пройдет.

Никогда Ольга Петровна не видела Котовского таким удрученным. А тут еще поехал он в Киев по делам корпуса, и там у него случился приступ желудочно-кишечных болей. Профессор Яновский, предположив язвенную болезнь, предложил Григорию Ивановичу лечь в клинику на исследование.

Но не так-то просто было уложить Котовского на больничную койку. Приступ прошел, нахлынули дела, заботы — какая уж там клиника!

Ольга Петровна решила не уступать. Она считала, что как врач обязана принять меры, сделать все от нее зависящее. Котовский и не подозревал, что она действует в этом направлении. Он едет на губернский съезд Советов. Он объезжает части корпуса, посещает Повторные курсы для командного и начальствующего состава, открытые в Умани. Он занят непрерывно. Он бодр, полон энергии. И только порою набегают тень на его лицо, его

преследуют образы замученных, казненных там, по ту сторону Днестра, там, по ту сторону границы. Между тем Ольга Петровна сообщила о состоянии его здоровья Михаилу Васильевичу Фрунзе, предупредив, что делает это в строжайшем секрете от мужа и просит ее не выдавать.

Котовский был удивлен, когда получил в приказном порядке предложение выехать в Москву для обследования состояния здоровья.

— Наверное, профессор Яновский поднял бучу, — строил догадки Григорий Иванович. — Уж он меня и так и этак уговаривал лечь на исследование, а я ни в какую. Вы что, говорю ему, смеетесь? Что я, инвалид? Я здоров, дай бог каждому. А что поболело у меня — ну, значит, съел что-нибудь неподходящее... Вот он мне и отомстил.

Котовский не догадывался, что виновник вызова — вот он, сидит рядом. Ольга Петровна же усиленно поддакивала:

— Конечно Яновский! Непременно он. Только сердиться на него не следует, ведь он добра тебе желает, заботится о тебе. И почему бы нам не съездить в Москву? Давай, давай, приготовься, отдай все распоряжения, и поедем вместе, у меня уже и вещи уложены.

Две недели ходил Григорий Иванович по медицинским учреждениям. Рентген, всесторонние исследования, консультации профессоров, анализы... Ругался Григорий Иванович страшно, однако все терпеливо выполнил.

Ольга Петровна сама отправилась получать результаты проверки, выслушать выводы. Профессор — тучный, сам, по-видимому, не блещущий здоровьем, страдающий одышкой, — встретил приветливо. Врачи любят сообщать пациентам что-нибудь утешительное.

— Так вот, коллега, что я вам сообщу относительно вашего мужа: язвенная болезнь исключена, это отпадает категорически. Ни операционного вмешательства, ни специального лечения по этой линии не требуется, и я могу вас поздравить. Но установлено другое, и тоже серьезное заболевание невроз кишечника как проявление тяжелой неврастении.

Ольга Петровна хотела пояснить, как протекала жизнь Григория Ивановича, рассказать о тяжелых его переживаниях, о тюрьмах, о постоянном напряжении, о смертном приговоре, о каторге, об одесском подполье, о военных передрыгах, но профессор ее остановил:

— Знаю. Все знаю, уважаемая Ольга Петровна. Тут не только неврастения, тут с ума можно сойти. Мы все изумлялись атлетическому сложению и феноменальному здоровью товарища Котовского. Но всему есть предел! Нельзя требовать от организма больше, чем возможно. Французы говорят, что даже самая красивая девушка не может дать больше, чем она имеет. Неврастения у Григория Ивановича в весьма тяжелой форме. Требуется отдых, отдых и еще раз отдых. Нельзя издеваться над своим организмом. Представьте себе, что мы натягиваем очень прочную стальную струну. Сначала она звенит все тоньше и тоньше, издает чистый серебряный звук. Но если продолжать ее натягивать, она лопнет. Я так и доложу командованию. Требуется санаторное лечение, абсолютный покой, длительное отстранение от всякой деловой обстановки.

— На это он не пойдет... Я знаю его. Если бы удалось заставить его хотя бы взять отпуск, он и отпуск никогда еще не брал.

Профессор развел руками:

— Тут я уже ничего не могу сказать, сударыня. Болезнь хорошо лечить, пока она не запущена, *in statu nascendi*. А если у человека сегодня потрясение, завтра потрясение и так — бесконечное испытание прочности нервов, то, сами понимаете, даже *gutta cavat lapidem*, капля долбит камень. Я поговорю с Михаилом Васильевичем Фрунзе, хотя ему о своем здоровье надо бы подумать, но он принимает горячее участие в судьбе Котовского. Наш общий долг — поддержать этого человека, вернуть ему силы, равновесие, он еще многие-много лет будет служить народу, находясь в армии, этом *sancta sanctorum* государства.

— Все равно я оттуда на другой же день сбегу. Смотреть на эти постные, кислые физиономии, глотать таблетки, ложиться спать по звонку и питаться всяческой диетической гадостью... Нет, сделайте со мной что хотите, но увольте от такого бесчеловечного наказания! Я просто не влезу в санаторный халат! По мне лучше каторга, чем санаторий!

Тогда Фрунзе предложил ему взять месячный отпуск и ехать с семьей в военный совхоз Чебанку, под Одессой.

— Прелестное место, я сам жил там прошлое лето, — убеждал Фрунзе. Тут тебе и море, и тишина, а главное, Одесса рядом... Кормят там хорошо, а у вас домик будет отдельный, веранда, сад... Чего еще надо человеку? Рай земной!

— Ну, если рай, — улыбнулся Котовский, — можно попробовать, я всю жизнь больше по преисподням слонялся.

В отличном настроении приехал Котовский в Умань, и начались сборы в дорогу. Все складывалось как нельзя лучше. И корпус было на кого оставить, и Григорий Иванович радовался за сына — пусть подышит морским воздухом, да и Ольге Петровне совсем не мешает отдохнуть.

Порадовали Котовского и коммунары. Приехал из Ободовки председатель коммуны Левицкий, рассказывал, как хороши у них дела, привез с собой показать Котовскому новое пополнение — двух демобилизованных красноармейцев, принятых в коммуну.

Котовский обо всем расспрашивал, даже о том, сколько у них молодняка и каковы надои молока.

Виктор Федорович подробно обо всем докладывал. Вид у него был превосходный, он загорел, от него веяло здоровьем, полем, благополучием. Такие же были и его помощники.

— Дорогие товарищи! — любовался на них Котовский. — Очень рад слышать о ваших успехах. Рад, что вы оправдали все ожидания и надежды, даже перешагнули за них. Ваша коммуна становится предметом внимания всего Союза, и это должно вдохновлять вас. А ведь в Советском Союзе все должно стремиться стать образцовым, самым что ни на есть лучшим. В этом и заключается счастье. Метко сказал кто-то из классиков, что счастье — как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть.

— Да, — согласился Левицкий, — пока что дела у нас идут в гору, не нарадуемся.

— Я думаю, дорогие друзья, ввиду того, что ваши акции поднимаются, не мешает осенью или зимой, когда я буду в Москве, поднять вопрос о передаче вам Ободовского сахарного завода. Справитесь?

— Чего не справиться! Нам только было бы к чему руки приложить!

Котовскому хотелось еще и еще сказать им что-то приятное, подбодрить и воодушевить. Он не привык хотя бы на один день приостанавливать работу. И теперь, уезжая в отпуск, старался все предусмотреть, всем дать наказ, чтобы успешнее шла работа, чтобы чего-нибудь не напутали тут без него.

— Кооперацию, — рассказывал он коммунарам, — я рубль за рубль передал Молдавской республике. Конечно, мы пошли на жертву, но ведь надо же учитывать политический эффект. Следует поддержать их на первых шагах, создать материальную базу для нашей молодой Республики.

Коммунары одобрили это решение:

— По-государственному решаете, — сказал Левицкий, — с пользой для дела.

— Вот так-то, — продолжал Котовский. — Дела как будто бы идут хорошо, все радуется, все будит надежды. Вот увидите, товарищи, пройдет каких-нибудь десять — пятнадцать лет — и мы построим социализм. Уж больно народ-то у нас хороший.

Прощаясь с ободовцами, Котовский крепко пожимал им руки:

— Я еду полечиться, осенью непременно загляну к вам. До того хочется, чтобы все шло успешно, так бы, кажется, сам всюду вмешался и подсобил!

— Спасибо, спасибо, Григорий Иванович! Чувствуем это, чувствуем вашу поддержку. Наказ ваш выполним, не беспокойтесь.

— Будьте сильны и здоровы! Всей душой с вами! Передайте мой привет героям и

героиням, славным коммунарам!

Уехали ободовцы, а Котовский все ходил и улыбался.

— Хороший народ! Как ты считаешь, Леля?

— Хороший.

— Знаешь, какая у меня идея? Что, если нам никуда не поехать, ни на какой отдых, ни в какую Чебанку?

— Ты что, смеешься? Я уже и подорожников напекла!

— С подорожниками управимся и без дороги! Нет, давай поговорим серьезно. Исследование уважаемые профессора сделали? Сделали. Никаких язвенных болезней у меня не нашли? Не нашли. Я же говорил тебе: здоров и полон сил, чего и вам желаю! А к этой самой Чебанке-Кабанке, или как там ее, у меня просто душа не лежит. Ну как это я буду там ничего не делать? Не умею я ничего не делать!

Ольга Петровна сделала строгие глаза:

— Как! Ты, значит, ничего не понял? Тебе нужно очень серьезно отнестись к советам врачей, тебе необходим покой, полный отдых — ведь слышал же, что говорил профессор? Хорошо, я согласна, не ездю в санаторий, тебе санаторный режим претит. Но пожить на лоне природы... чтобы было море, были сады...

— Ну ладно, — вздохнул Котовский. — Тогда вот что: я возьму с собой «Капитал» Маркса и буду его изучать.

— А если просто отдохнуть? Без всяких заданий? Можно это позволить себе хоть раз в жизни?

Котовский молчал, он обдумывал. Наконец ответил:

— Раз в жизни? Как ты считаешь, Леля? По-моему, и раз в жизни нельзя.

4

Так они попали под Одессу, в совхоз Чебанка, где был также дом отдыха на тридцать человек, так что у Котовских не было заботы и о питании. Ольга Петровна взяла с собой сестру, Елизавету Петровну. Елизавета Петровна была привязана к маленькому Гришутке, крепко дружила с сестрой и благоговейно относилась к Григорию Ивановичу.

Разместились хорошо. Спать Григорий Иванович решил на веранде. Все было бы превосходно, если бы не смутные тревоги и опасения, преследовавшие Ольгу Петровну. Но она приписывала это своей беременности. Вообще же в Чебанке было все, чего хотела Ольга Петровна: развесистые яблони с душистыми румяными яблоками, которые с легким стуком падали на землю и ждали здесь, на горячем припеке, не захочет ли кто-нибудь полакомиться ими... тихие, поросшие травой улицы, хорошенькие домики, рыбацьи лодки на морском берегу... солнце и море — золото и бирюза... и душные горячие южные ночи, наполненные запахами моря и трав...

В день приезда Котовский действительно полностью отдыхал, может быть, впервые в жизни. Он лежал в шезлонге перед окнами домика. Прошелся к морю. Разговаривал с сыном, отвечая на его вопросы: зачем устроено море, зачем оно соленое, везде ли растут деревья и кто их сажает, почему рыба живет в соленом море, а сама не соленая. Ольга Петровна была в восторге, что муж все-таки по-настоящему отдыхает. Она даже уговорила его вздремнуть часок после обеда:

— Ведь и в санаториях устраивают мертвый час!

Со следующего дня все пошло иначе. Котовский, по обыкновению, вставал в пять часов утра, делал гимнастику и шел на море купаться. После завтрака он усаживался за «Капитал». Читал, делал выписки и отмечал, какие книги ему понадобятся дополнительно в ближайшее время. Почувствовав, что устал, он отправлялся в совхоз. Знакомился со служащими, выслушивал добрые советы и сам делился опытом и знаниями. После обеда снова занимался. А вскоре в Чебанку стали приезжать с докладами корпусные работники, так что фактически Котовский и здесь продолжал руководить корпусом.

Киевская объединенная школа командиров отмечала шестилетие существования. Котовский порывался поехать на торжество, но Ольга Петровна так решительно протестовала, что Котовский ограничился письмом. В письме он высказывал пожелание, чтобы школа всегда оставалась такой же образцовой и выпускала полноценных красных командиров. Котовский советовал уже теперь, в стенах школы, повести беспощадную борьбу с одной из застарелых язв, бытующих порой в Красной Армии, — с показной парадностью и очковтирательством, а также не самообольщаться своими якобы большими знаниями в области военного искусства. Требуется многие и многие годы, чтобы вполне овладеть им, оно чрезвычайно сложно и постоянно претерпевает коренные изменения в связи с прогрессом техники. Наконец Котовский настойчиво советовал обратиться к спорту, так как каждому бойцу Красной Армии нужны сильная воля и стальные нервы для осуществления задач, поставленных перед ним самой историей.

Котовский писал с присущей ему страстностью, писал так, как будто давал наказ родному сыну, завещая ему быть достойным преемником.

Ольга Петровна заметила, что он целый день сидит за письменным столом.

— Что это ты пишешь?

Котовский объяснил, что хочет высказать свои пожелания курсантам.

— А если бы ты их высказал после отпуска, месяцем позже? — сдерживая досаду, спросила она. — Человечество что-нибудь потеряло бы от этого?

— Да ведь юбилейная-то дата у них сейчас, а не через месяц? Человек ничего не должен откладывать, нужно всегда поступать так, как будто завтра ты умрешь. Тогда уж непременно будешь добросовестен в делах и поступках! И тогда все успеешь! Ты как считаешь, Леля?

Ольга Петровна не могла долго на него сердиться. И разве она не знала характера Котовского? Хорошо хоть вечерами он не работает. Соберет обитателей дома отдыха и начнет рассказывать о подполье Одессы, о боевых делах. Или отправится в соседнее село и ведет степенные беседы со стариками. А по воскресеньям созывал молодежь на просторный совхозный двор — и допоздна шли тогда танцы, игры и веселье. Создал хор и сам руководил им, разучивая народные напевы и удалые солдатские песни.

Вот такие вечера Ольга Петровна любила. Да и Елизавета Петровна выползала на крылечко послушать молодые голоса.

Подоспела уборка хлебов. Где же было повстречать теперь Котовского, если не на полевых работах? То он лазит под локомобиль, что-то винтит ключом, что-то подкручивает и возвращается домой весь перемазанный мазутом. То хлопочет, командует, суетится, помогая наладить косилки. То ходит с директором совхоза, осматривает поля и ведет дискуссию, будет ночью дождь или туча пройдет стороной.

Однажды Ольга Петровна увидела, что Котовский куда-то собирается и все посматривает на нее виновато. Она сразу заподозрила что-то неладное.

— Ты куда?

— Видишь ли, Леля...

— Вижу, вижу, ты уж выкладывай начистоту, куда собрался? Ах, Гриша, Гриша, неугомонный ты человек!

— Лучше ты мне ответь на вопрос: председатель я ревизионной комиссии Центрального управления промсовхозов или не председатель?

— Нет, не председатель. В данный момент по крайней мере. Ты отдыхающий. Вот ты кто.

— Но как ты думаешь, ничего не случится, если я съезжу в Николаев, сделаю проверку военсовхоза и вернусь?

После слабых попыток удержать его Ольга Петровна сдалась, только настаивала, чтобы он хотя бы не задерживался долго.

А там в Чебанку приехали из Одессы кинооператоры и постановщики картины, в которой, согласно сценарию, должны были сниматься Котовский и вся его бригада. Они

устроили форменное совещание, спорили, на ходу сочиняли, консультировались, говорили слова «кадр»... «наплыв»... «массовочка»... и утомили Котовского ужасно.

Как везде и всюду, за короткий срок у Котовского завелись закадычные друзья и приятели — подростки со всей округи. Они оказались надежными союзниками Ольги Петровны, потому что частенько срывали занятия Григория Ивановича, появляясь гурьбой и дружным хором упрашивая дядю Котовского отправиться куда-то в экскурсию, о чем он давал обещание, если только не сам же и затеял эту прогулку.

— Капитулирую! — кричал, поднимая вверх руки, Котовский. Смеясь, захопывал книгу, убирал в стол конспекты, выписки, наброски, и они уходили в степь охотиться на змей.

— Вот спасибо ребятишкам! — радовалась Ольга Петровна. — Одна такая прогулка принесет больше здоровья, чем десять длинных рассуждений директора совхоза об азотистых удобрениях, хотя Григорий Иванович и уверяет, что эти беседы действуют на него, как снотворное, следовательно, полезны.

Котовскому продлили отпуск, но он решил, что довольно. В военных кругах упорно ходили слухи, что Котовского куда-то выдвигают, что Котовского очень ценит Фрунзе и, кажется, намеревается сделать его не то своим помощником, не то назначить заправлять бронетанковыми силами Красной Армии. Во всяком случае, дел накапливалось все больше, а нетерпение Котовского все росло. И в Москве надо было побывать, и о корпусе соскучился и в Ободовку обещал съездить.

И еще одно обстоятельство заставляло Котовского торопиться: Ольга Петровна скоро должна родить, и нужно заблаговременно подготовиться к появлению на свет сына или дочери.

Назначили отъезд на утро шестого августа, с тем чтобы в Одессе сразу же сесть в поезд. Котовский повеселел, все время говорил о своих планах, о новых проектах и намерениях. Мысленно он был уже там — в гуще дел, на самой быстрине полноводной жизни.

Вызвали «оппель» — у Котовского была своя машина, ее подарило ему правительство. Шофер прикатил из Одессы немедленно, пятого же числа, и зачем-то привез Майорчика-Зайдера.

— Прямо навязался, — оправдывался шофер.

Этого субъекта — Майорчика — вообще-то не выносили у Котовских. А после всего, что рассказал Белоусов, особенно.

Пятого августа Котовского пригласили пионеры Лузановского пионерского лагеря на костер. Он рассказал им о Матюхинской операции, рассказывая, сам заново пережил все и, конечно, устал.

— Вот какие на свете бывают истории! — закончил он свое повествование. — А вы, ребята, запомните мой рассказ. Возможно, что в ваше время матюхины уже переведутся, но матюхины живучи, не в той, так в другой личине явятся. Ребята, мы в Чебанке дружной компанией ходим охотиться на змей, и я научил совхозовских ваших сверстников обезвреживать этих гадин. От всей души желаю вам, чтобы вашу цветущую жизнь не омрачали никакие тучи. Но на всякий случай — кто знает, как все сложится? — на всякий случай возьмите за правило: змеиное жало с корнем вырывать. Делайте это решительно, но не сосредоточивая на этом внимание. Жить надо не для ненависти — для любви. Эх, ребята! Ведь у вас все впереди! И каких чудес вы только не насмотритесь, ведь вы живете в замечательное время! Только чур — не робеть, пионеры! Дерзайте! Вперед! Есть хорошая поговорка: многие умеют храбро умирать, но немногие умеют храбро жить!

Пробыл у пионеров Котовский долго, вернулся поздно. Тут бы ему и отдохнуть, но в совхозе и доме отдыха затеяли проводы, причем с ужином, тостами и речами...

Пока Котовский был в Лузановке у пионеров, Ольга Петровна укладывала вещи. А тут этот назойливый, какой-то липкий Майорчик! Он очень много говорил, предлагал Ольге

Петровне остановиться у него, когда будут в Одессе. С какой стати остановиться? И с какой стати у него?

Ольга Петровна даже не удостоила его ответом. Тоже, объявился друг-приятель! «Остановиться у него!» Вон до чего договорился! Сроду у него не бывали, да и его-то отвадить следовало!

Зайдер не обиделся, когда Ольга Петровна бесцеремонно выпроводила его. Но он не ушел, лишь вышел на крыльцо. Слышен был его неприятный визгливый голос. Он уже болтал с шофером, над чем-то раскатисто хохотал и напевал дурацкую блатную песенку, подражая воровской манере: коверкая слова, пришепетывая и завывая.

Завтра я эдэну мэйку гэлубую,
Завтра я эдэну брэки клеш...
Д-две пути-дэроги, взб-бирай лэбую,
Эт тэрьмы дэлеко н-не уйдешь!

Не успела оглянуться Ольга Петровна, а он опять тут. Лыстил, улыбался, лез со своими длинными и неумными рассуждениями. Ольга Петровна сердилась: и чего Григорий Иванович деликатничает? Гнал бы прочь этого фигляра и болтуна! А уж шоферу Сережке она непременно даст нагоняй, чтобы не привозил, кого вздумается, без разрешения.

Досадовала Ольга Петровна и на то, что даже в последний вечер перед отъездом Григорию Ивановичу подсунули мероприятие. Можно бы хоть на этот раз его не эксплуатировать!

Зайдер жужжал и жужжал, как назойливая муха. Непонятную неприязнь испытывала Ольга Петровна к этому человеку. Даже, пожалуй, отвращение. Она сама не могла еще разобраться. Отталкивающее впечатление производила на нее и эта грубая лесть, и эти ужимки: он умышленно играл в «блатного», щеголял словечками «ксива», «кнокать», «шамовка».

«Нехороший у него взгляд, — думала Ольга Петровна, — не верю я ни одному его слову. И чего ему надо? И самолюбия ни на грош. Он держится так, будто хочет чего-то добиться, о чем-то просить».

— Ольга Петровна! Благодетельница! — кривлялся Майорчик. — Я вижу, вы меня презираете. Еще бы! Что я — и что вы! Ольга Петровна! Дорогуша!

— Кажется, я просила вас уйти? Вы мне мешаете и страшно надоели.

— Вы наша в некотором роде мамаша! Я, не думайте, я не «нотный», вот она, вся моя душа на ладони! Запомните: я не негодяй, но я ничтожество, я ноль. А вы? Вы наша благодетельница, Ольга Петровна!

— Не люблю таких разговоров. Ради чего вы мне льстите?

— Вы слышали? Она меня спрашивает — ради чего! Не видать свободы!..

— Опять вы свои словечки!

— Позвольте. А кто хранит как зеницу ока знаменитость Молдавии, гордость революционного движения? Я говорю за легендарного Григория Ивановича... Это, знаете, заслуга перед историей человечества, это, как хотите, один — ноль в вашу пользу.

— Оставьте в покое историю и меня.

— Я знаю, вы раздражаетесь, потому что все треплют нервы комкору Котовскому. Что делать? Популярность! Вот, например, меня — меня никто не беспокоит! А тут, пожалуйста бриться, сегодня создавай орган Советской власти, завтра агитируй, выступай, гони речугу... Тяжелый случай!

Ольга Петровна не слушала, а он говорил, говорил, даже в каком-то возбуждении и что-то несвязное, так что она подумала, не выпил ли он или, скорее всего, не сделал ли укол: в блатном мире в большом ходу кокаин, пантопон и морфий...

Григорий Иванович не шел и не шел. Она поминутно поглядывала на часы. Она подумывала позвать шофера и распорядиться, чтобы он вывел этого субъекта.

Быстро темнеет на юге. Августовская ночь мерцает, синяя-синяя. Пахнет яблоками. Вот сверкнула, покатила, черкнула по синему небосклону и погасла падающая звезда...

Почему стало так тихо? Оказывается, Зайдер ушел. Ушел как-то внезапно. Оглянулась — нет его, растаял в сумерках, как дурной сон.

Слышно, как шофер Сережа храпит в машине. У него это отличительное свойство — мгновенно засыпать и мгновенно просыпаться, в зависимости от обстановки.

6

Но вот Ольга Петровна услышала знакомые торопливые шаги.

— Наконец-то! Так задержали?

Котовский пришел хмурый, недовольный.

— До зарезу не хочется идти на эти проводы! Не могут, чтобы не закатить банкет!

— Может быть, принесем извинения?

— Неудобно, люди от всего сердца... традиция... Главное, хотя бы попросту пожали руку, попрощались — и все, а то ведь начнут выступать ораторы... Послушать их — говорят все правильно, а слушать невозможно.

Котовский не ошибся. Собрались поздно, около одиннадцати часов. Столы были накрыты, женщины разнарядились, мужчины были при галстуках. Все эти люди искренне любили и уважали Котовского, и сами были хорошие, дельные люди, и чувства, которые они старались выразить в речах, были настоящие, хорошие, искренние чувства. Но стоило одному из них встать, неловко задеть скатерть, чуть не опрокинуть стул и высоко поднять бокал с местным вином, как вдруг язык у него костенел, лицо становилось необычайно глупым, он начинал заикаться и из всех человеческих слов выбирать самые поношенные, самые бесчувственные: «Да позволено будет»... «Паче чаяния»... «В сей достопамятный день»...

Вечер определенно не клеился. Котовский сидел ссутулясь, серый, мрачный. Ему было жалко этих людей, занятых непривычным для них делом, а главное — неприятно, что все так неумеренно расхваливают его, с каждым новым оратором все больше поддавая жару, так что еще немного — и может оказаться, что один Котовский и всю революцию сделал и всех врагов истребил.

Наконец хорошенькая жена директора совхоза не выдержала:

— Товарищи! Второй час ночи, мы все ужасно любим Григория Ивановича, но давайте же ужинать!

Даже и на этом все испытания не кончились. Приехал старший бухгалтер Центрального управления военно-промышленного хозяйства, подсел тут же, среди пиршества, к Котовскому, развернул казенные папки и повел разговор на языке цифр, оправдываясь, что это срочно нужно. Уже и банкет кончился, все стали расходиться, а он все сидел и сидел, не отпуская Котовского.

Тогда решено было, что Ольга Петровна пойдет домой и пока что приготовит постели. Дома было необычайно тихо. Тишины не нарушало ни похрапывание шофера, ни монотонное пение цикад.

Ольга Петровна с особой нежностью взбила подушки и новую прохладную простыню подоткнула со всех сторон. А Григорий Иванович все не шел. В открытые окна залетали на огонь ночные бабочки. Маленький Гриша разметался в постели, розовый, пухлый...

Мысли были рассеянные: не забыть бы термос, в вагоне понадобится... какой противный этот старший бухгалтер из учреждения с длинным названием... хорошо, если бы родилась дочка, сын уже есть, а дочь — это было бы славно... и Григорий Иванович хочет дочь... Ольга Петровна улыбалась, думая о муже. И так жалко было, что его задерживают!

Впоследствии она никак не могла вспомнить, когда это произошло. Во всяком случае, уже глубокой ночью. Вдруг выстрел. Второй. Негромкие. Щелкнули — и все замерло. Даже цикады молчали. Ольга Петровна вздрогнула. Что-то подсказало ей страшную мысль. Впрочем, она даже не думала. Она не помнила, как выбежала из дому. Дверь осталась

настежь открытой. В нее длинной полоской лился свет и ярко освещал гамак, яблоню, песчаную дорожку...

Ольга Петровна в один миг оказалась за калиткой. И вот она увидела что-то темное. Но она уже знала, она догадывалась, она поняла. Возле угла главного корпуса отдыхающих на еще теплой от дневного пекла земле лежал Котовский, ничком, лицом вниз. Ольга Петровна бросилась к нему, стала нащупывать пульс. Пульса не было. Разорвала ворот рубашки. Кровь.

Она не помнит, кричала ли она, звала ли на помощь. Кажется, звала. Появились люди. Первым прибежал шофер Сережа. Вместе с совхозным агрономом и теми, кто только что произносили задравные тосты, перенесли тело в дом.

Какая-то незнакомая женщина плакала. Мужчины подробно рассказывали, как они ничего не думали — и вдруг выстрел... И они повторяли свой рассказ несколько раз на все лады и с жалостью и страхом поглядывали на безмолвное тело.

Хорошенькая жена директора накапала Ольге Петровне валерьянки. Ольга Петровна отстранила мензурку:

— Спасибо, не надо. Идите отдыхайте, Марианночка, тут уже ничего нельзя сделать. Ранка маленькая, но смерть наступила мгновенно, пробита аорта.

— Нашли кобуру, в кусты была заброшена! — сообщил шофер Сережа, искавший, куда бы применить свои силы, испытывая потребность что-то сделать для Григория Ивановича.

Если бы не холодная мертвенная бледность, которая разливалась от шеи, по щекам, по лбу Котовского, можно было бы подумать, что он просто закрыл глаза, что вот он сейчас поднимется и скажет: «Ну, давайте рассказывайте, как у вас дела!»

Ольга Петровна ничего не видела и не слышала, делала все машинально, сознание было затемнено. Села на стул возле него, возле своего дорогого Григория Ивановича. Смотрела в одну точку перед собой. Она не плакала. Она окаменела от горя.

Елизавета Петровна, напротив, суетилась, то и дело громко всхлипывала и только все старалась, чтобы не проснулся Гришутка.

Постепенно все, кто находились в комнате, почувствовали, что они здесь лишние, и по одному стали расходиться, вздыхая, выражая каждый по-своему глубокое сочувствие. Ни у кого и мысли не было лечь спать. Собирались кучками, вполголоса толковали о происшествии. И тут родилось гневное слово.

Кто?! Кто этот изверг, изувер, низкая душонка? Чья рука поднялась на такого человека?

И стали выясняться странные вещи, одна за другой стали возникать улики. Кто был с Котовским в последний момент? Оказывается, услышав выстрелы, директор совхоза сразу же выбежал из дому и тут натолкнулся на Зайдера.

— Что за выстрелы? Не знаете?

— Не знаю, — ответил тот. — Наверное, Котовский проверяет оружие.

Но этот же Зайдер уверял шофера, будто слышал приглушенный голос: «Товарищи, я сам себя убил». Эта версия была до того неестественна, что подозрения сразу пали на этого вертлявого человека, видимо заблаговременно выдумавшего свою жалкую ложь. Чтобы Котовский, истинный коммунист, наполненный жизнью, энергией, оптимизмом, вдруг ни с того ни с сего покончил самоубийством? Никогда!

И действительно, судебная экспертиза установила, что он вообще не мог ничего произнести после выстрела, смерть наступила мгновенно, и сразу хлынула кровь. Но и в первый момент у людей сразу мелькнула догадка: Зайдер! Зачем он приехал в Чебанку? Зачем болтался ночью по совхозу?

Но где же он? Шофер Сережа первым бросился искать.

Между тем Ольга Петровна сидела наедине с безмолвным Котовским и смотрела, не видя, подавленная горем. Пришла она в себя, услышав какой-то шум. Дверь приоткрылась, и в комнату проскользнул откуда-то взявшийся Майорчик-Зайдер.

Ольга Петровна все еще не могла понять, что происходит. Она даже на минуту представила, что это еще вечер, она укладывает вещи, Зайдер назойливо вертится около нее, а Котовский все не идет, не идет из Лузановки. Она поминутно смотрит на часы и

подумывает, не позвать ли Сережу, чтобы он выгнал вон этого субъекта...

Но тут же она все вспомнила. Котовского нет на свете. Но что же делает здесь этот человек? Зачем он?

Поведение Зайдера было необычно. Он прислушивался, стоя у двери, и бормотал:

— Благодетельница... Мать обездоленных... Они разорвут меня! Разорвут!..

На веранде послышался говор, топот ног. Майорчик взвизгнул, как подстреленный заяц, и выпрыгнул в окно.

— Убийца! — закричала Ольга Петровна, пораженная осенившей ее догадкой.

У нее только хватило сил показать на окно вошедшим людям.

— Не уйдет! — прошептал Сережа.

Через минуту послышалось конское ржание, а затем цокот копыт. Погоня была отправлена по всем направлениям. Скоро привели и Зайдера. Его нашли шагающим по дороге к Одессе.

Его вели, а вокруг слышались проклятия, и чей-то надсадный голос призывал:

— Будьте благоразумны! Граждане! Он ответит! Будьте благоразумны! Передадим его в руки правосудия!

Прибыл секретарь обкома, приехали следователи. Зайдер плел новую историю: будто бы Котовский выхватил у него, Зайдера, револьвер, ударил им Зайдера и потом застрелился...

— Где ударил? По какому месту? — спросил следователь. — Ведь удар револьвера оставил бы след...

Судебной экспертизой и эта версия была отвергнута.

С каждым днем всплывали новые доказательства виновности Зайдера. Пришли незнакомые женщины к следователю и рассказали, что они живут в Одессе и видели, как Зайдер в своем саду тренировался в стрельбе по цели.

— Каждый день как на службу выходил! — сказала одна.

Вторая добавила:

— Нарисовал на заборе человека во весь рост. Выстрелит и смотрит, где отметина. Мы еще говорили: «Смотрите, Майорчик в охотники записался». А он вон куда целил!

Было еще утро, а уже вся Одесса знала о свершившемся злодеянии: дурные вести быстроноги. Город оделся в траур. С балконов свешивались траурные ленты, на фонарях появились флаги с траурной каймой. И уже шли по дороге в Чебанку через Пересыпь встревоженные толпы народа.

— Убит! Убит! — передавалось из уст в уста.

Тело Котовского перевезено в медицинский институт и бальзамировано. К зданию института идут со знаменами части одесского гарнизона. Молча, в глубоком раздумье, шагают рабочие делегации. Прибыли пионеры из Лузановки, приехали коммунары из Ободовки с венками, сплетенными из колосьев. Приехали представители корпуса, Криворучко, Белоусов. Прибыла делегация Реввоенсовета во главе со старым соратником Котовского — Семеном Михайловичем Буденным.

7

Михаил Васильевич Фрунзе не мог приехать на похороны. В июле он попал в две автомобильные катастрофы, после чего его самочувствие резко ухудшилось, боли теперь уже не отпускали, между врачами шел спор, делать ли операцию немедленно или повременить. А тут пришло это сообщение, как громом поразившее Фрунзе.

Софья Алексеевна испугалась, увидев лицо Михаила Васильевича, когда он повесил телефонную трубку.

— Что? — спросила она коротко, готовая принять и разделить с ним любой удар, любую страшную весть.

— Котовский убит. Только что пришло сообщение. Надо идти.

— Что ты! Куда ты пойдешь? Врачи что сказали?

- Тогда вызови стенографистку.
- Как он убит? Несчастный случай?
- Война. Как убивают на войне?.. Политическое убийство.

Софья Алексеевна ничего не поняла из такого объяснения, однако не решилась настаивать на более подробном рассказе. Стенографистку вызвали. Фрунзе ушел с ней в кабинет и плотно закрыл за собой двери.

Софья Алексеевна прислушивалась к голосу мужа, то громче, то тише звучащему за стеной. Дети присмирели. За последние дни редко раздается в доме смех. Стали часто навещать врачи, профессионально бодрые, профессионально шуточные, но не приносящие веселья.

— Ну-ка! — приговаривал один из них, всегда надушенный, всегда благовоспитанный от пят до холеной бороды. — Молодцом! Сегодня мы молодцом! — неизменно здоровался он с пациентом.

Молоденькая застенчивая стенографистка Ниночка поместилась за предназначенным для нее столиком и стала аккуратно раскладывать остро отточенные карандашики, озабоченно поглядывая на Фрунзе, который сегодня не сказал, как обычно, приветливых слов, а только поздоровался и поблагодарил за то, что пришла так быстро. Ниночка видела, что он расстроен, но чем? Текст, видимо, будет не из веселых.

Но Фрунзе понял ее вопросительные взгляды и подумал, что ведь это не автомат для записи человеческой речи, а человек, хороший советский человек, милая старательная девушка.

— Мы составим, Ниночка, — пояснил он мягко, — очень печальное письмо. Убит Котовский...

— Григорий Иванович?! — взметнулась Ниночка. — Боже мой! Я его видела и отлично помню. Такой здоровяк. Большой такой... Красивый...

Фрунзе прохаживался по кабинету, обдумывая, что будет диктовать. Ниночка приумолкла и приготовилась стенографировать. Она раскаивалась, что сказала больше, чем полагалось бы в служебное время. Никто ее не спрашивал, какая наружность была у товарища Котовского и был ли он красив.

— Это, Ниночка, пойдет телеграммой. В адрес Второго кавалерийского корпуса.

И Фрунзе, помолчав, снова заговорил, но сделал знак, что еще не начал диктовать:

— Мы, военные люди, никак не привыкнем, что если не гремит орудийная канонада, не поступают сводки, то это еще не значит, что нет войны. Война идет непрерывно, только принимает различные формы. Может быть, самая подлейшая из них — тайная война. На этом фронте мы и понесли сегодня урон, потеряли Григория Ивановича...

Фрунзе взглянул на Ниночку.

— О чем я сейчас говорил, об этом мы с вами писать не будем. А напишем так. Давайте!

Ниночка приготовилась.

— Сегодня мной получено донесение о смерти Котовского, — диктовал Фрунзе. — Известие это поражает своей неожиданностью и бессмысленностью. Выбыл лучший боевой командир всей Красной Армии. Погиб бессмысленной смертью, в разгаре кипучей работы по укреплению военной мощи своего корпуса и в полном расцвете сил, здоровья и способностей.

Ниночка писала и страх как боялась, что расплачется. И наверное, расплакалась бы, если бы не вспомнила, как ее дома зовут «ревой» и «плаксой». Тогда собралась с силами и только нахмурила ниточки-бровки.

— Знаю, что ряды бойцов славного корпуса, — продолжал Фрунзе, охвачены чувством скорби и боли. Не увидят они больше перед собой своего командира-героя, не раз водившего их к славным победам. Умолк навек тот, чей голос был грозой для врагов советской земли и чья шашка была лучшей его оградой.

Фрунзе заметил, что Ниночка как-то ежится.

— Я не слишком быстро говорю? Успеваете?

— Нет, ничего.

— Вот, Ниночка, говорят, что у нас воинственный дух, что мы стремимся завоевать весь мир. Неверно это. Мы любим землю пахать, дома штукатурить. Вот это мы любим. А войны никогда не хотели и не хотим. Кто хочет достоверно убедиться, хотим ли мы войны, пусть наведут об этом справки у тевтонских рыцарей, возлежащих на дне Чудского озера во всем своем кольчужном великолепии. Ведь потопили-то мы их здесь, у себя, значит, не мы лезли на рожон! На черта нам война, у нас и мирных дел не оберешься. Кому угодно уяснить, хотим ли мы войны, могут об этом справиться у наполеоновских гренадеров, обморозивших морды при переправе через Березину. Ниночка, но река Березина на нашей земле? Так, кажется? Я не ошибаюсь? Так кто их звал сюда? О нашем миролюбии мог бы порассказать и шведский король Карл Двенадцатый, который развил бешеную скорость, нахлестывая коня от самой Полтавы и до границы. Да и генерал Жанен и генерал Пуль могли бы подтвердить, что воевать мы не любим, хоть и умеем. Так оставьте нас в покое, дьявол вас поберет!

Фрунзе совсем забыл про стенограмму. Ниночка притихла и слушала. И только когда послышался в дверях голос медицинского светила, произносившего свое излюбленное: «Нуте-с, где наш больной...» — Фрунзе оторвался от своих мыслей вслух, крикнул:

— Одну минуточку!

И додиктовал письмо, адресованное кавалерийскому корпусу:

— Рука преступника не остановилась перед тем, что она поднимается против лучшего из защитников Республики рабочих и крестьян. Она решилась на позорнейшее, гнуснейшее и подлейшее дело, результат которого будет на радость нашим врагам.

Фрунзе диктовал быстро, резким, отчетливым голосом. Когда он сделал небольшую паузу, Ниночка переменяла карандаш.

— Вся Красная Армия переживает те же чувства тяжелой утраты и боли. От имени всех бойцов Красной Армии и Красного Флота, от имени рабоче-крестьянского правительства Союза ССР выражаю осиротелым бойцам корпуса горячее братское соболезнование. Пусть память и славное имя почившего героя-командира живут в рядах бойцов его корпуса! Пусть и в мирное время и в грозный час военных испытаний служит оно путеводной звездой в жизни и работе корпуса. Почившему комкору два — вечная слава!

Ниночка подождала. Но Фрунзе молчал. Все? Ниночка подняла голову и увидела, что Фрунзе плачет. Это очень страшно, когда плачет мужчина.

Восемнадцатая глава

1

Оксана взяла отпуск на август. Марков в конце июля сдал наконец новую свою повесть, которую должен был по договору сдать издательству еще в июне. Крутоярова тянуло куда-то поехать, где-то побродить, на него находили такие настроения, и ему понравилась идея, возникшая у Маркова. В общем все благоприятствовало решению поехать в Умань к Котовским. Оксана отчитается в своих успехах Ольге Петровне, Марков преподнесет книгу, а Крутояров отведет душу в воспоминаниях о «гражданке» и фронтовой жизни.

Разве не возмутительно, что Миша Марков до сего времени не удосужился это сделать? Считая, что первую свою книгу нельзя посылать Григорию Ивановичу по почте, а следует отвезти и вручить лично, Марков откладывал и откладывал поездку, все находились какие-то неотложные дела.

— Уж лучше бы ты сразу послал книжку, — отчитывала Маркова Оксана. Стыдобина в глаза посмотреть Григорию Ивановичу, Ольге Петровне: вот, скажут, хороши деточки — с глаз долой, из сердца вон!

— Ладно уж ты, я и сам понимаю, что свинство. Но ведь и ты немножко виновата. У

тебя связано с отпуском, а я не мог двигаться, пока не кончу повесть. Отсылать же книгу по почте было бы непревзойденным хамством. Книгу по почте допустимо посылать в редакции, на рецензию, но никак не друзьям и ни под каким видом Котовскому. Ведь он нас растил, он нас венчал... Словом, сама понимаешь.

— Понимать-то понимаю, а как подумаю: два года глаз не кажем! Ой, матенько!

Подарки, гостинцы покупались под непосредственным руководством Надежды Антоновны. Но когда чемоданы были уложены, вмешался Иван Сергеевич.

— Это что за поклажа? Вы что это, к тетеньке в Пензу едете? Давайте-ка посмотрим, чего вы там натолкали. Два костюма Михаилу Петровичу? Оба вынимайте. Что это за парад? И затем: не на Северный полюс едем, консервы долой. Надо везти такое, чего там нет, чудачки вы этакие, вы еще луку захватите да шубы про запас! Пять платьев? Милочка, мы едем не на бал. Возьмите два, и то учитывая женское кокетство и безрассудство. А зеркало зачем? В сумочке есть зеркальце — и достаточно. Вы бы трюмо еще упаковали!

После горячих споров вес чемоданов вдвое уменьшился. Сам Крутойяров, показывая пример, ехал с одним маленьким легким чемоданчиком: бритва, носки и смена белья.

Впрочем, последнее слово было все-таки за Надеждой Антоновной. Потихоньку от мужа она вручила Оксане «на всякий случай» свитер Ивана Сергеевича, так как может быть похолодание, а также массу мелочей: рубашки, галстуки, носовые платки, целую походную аптечку, предусматривающую все случаи заболеваний.

Но какая это удача, что опять задержались с отъездом! Оксана послала заблаговременно открытку Ольге Петровне, извещая ее об их приезде. Она просила Ольгу Петровну не беспокоиться, не настаивать на их размещении с ночевкой, они найдут пристанище, а то нагрянет такая ватага, будет не радость встречи, а только волнения и хлопоты. Ну и что еще напишешь в открытке? Приветы, раскаяние, что так долго не могли выбраться, уверения, что есть что порассказать и что Оксана и Михаил любят Котовских по-прежнему и на этот раз уж обязательно приедут. Одновременно Оксана написала открыточку и бывшей своей квартирной хозяйке в Умани. Просила приютить, слала привет, намекала, что везет подарочек... Если бы не задержка (теперь по вине Крутойярова, утрясавшего свои дела), конечно, ответа на обе открытки они не успели бы получить до отъезда. А тут сразу пришло два письма.

Квартирная хозяйка писала, что, какой может быть разговор, Оксана для нее как родная дочь, а Оксаниного мужа она отлично помнит, так что просит приезжать без церемоний и жить у нее хоть целый год, слава тебе господи, места хватит.

На вторую же открытку, посланную Ольге Петровне, пришел ответ, написанный незнакомым почерком и подписанный так неразборчиво, что все четверо так и не выяснили, кто им отвечал. Ответ менял всю картину. Почему это никому и в голову не приходило, что Котовские могут быть в отъезде? Самое слово «Умань» вызывало представление о прочной, налаженной жизни, о кирпичном домике, всегда шумном, всегда радушном и гостеприимном, домике, в котором Ольга Петровна талантливо, умно распоряжалась всем ходом событий, домиком, где Григорий Иванович рассказывает занятные истории, дает советы, руководит, заражает своей кипучестью всех, кто с ним соприкасается. Ответ же гласил, что Григорий Иванович с семьей уехал в отпуск в дом отдыха под Одессой и что на всякий случай адрес его такой-то.

— Что же нам делать? — в отчаянии спросил Марков, усевшись на уложенный чемодан. — Два года собирались — и такая неудача!

— Знаете что? — сказал Крутойяров. — У меня блестящая идея: мы и поедем не в Умань, а в эту самую Чебанку! А? Скажите после этого, что у меня не светлая голова?

— Тогда и Одессу повидаем! — воскликнула Оксана.

— Только не позволяйте Ивану Сергеевичу купаться, — сразу встревожилась Надежда Антоновна. — У него сердце!

Крутойяров запел пошлейший фокстротный мотив:

У меня есть сердце,
А у сердца песня,
А у песни тайна,
Тайна — это ты!

— И все переврал, — наставительно сказала Надежда Антоновна, а сама улыбалась. — Сначала тайна, а потом песня.

— Нет, сначала песня, — начал было спорить Крутойяров. — А впрочем, это все равно, от перестановок слова не сделаются еще глупее.

Маркову нравился новый маршрут.

— Мы вам и Одессу покажем, все-все, и откуда Котовский ворвался в город, и где были конспиративные квартиры во время оккупации... и знаменитую лестницу, и гавань, и памятник Ришелье!..

— Может быть, послать телеграмму в Чебанку? — предложила рассудительная Надежда Антоновна.

Но ее предложение было отвергнуто дружно и единодушно.

— Никаких телеграмм! Нагрянем как снег на голову!

— А купаться я буду! — шепотом сообщил Иван Сергеевич, когда Надежда Антоновна вышла из комнаты. — Я еще не такой идиот, чтобы у Черного моря и не купаться!

— Миша! Иван Сергеевич! — важничала Оксана. — А хороши бы мы были, явившись в Умань! Все-таки признайтесь, что я умно поступила, послав Ольге Петровне открытку!

— Позвольте, а кто же отрицает это? Покажите мне этого наглеца!

— Ты вообще умница и прелесть! Ты чудо, Оксана!

— Предлагаю крикнуть в честь Оксаны трехкратное «ура»!

— Ура! Ура! Ура!

2

В тот же день были куплены билеты. Надежда Антоновна поехала провожать. На вокзал явились заблаговременно, так что отъезжающие успели получить от Надежды Антоновны множество полезных советов и добрых пожеланий.

Когда поезд тронулся, все облегченно вздохнули. Нет ничего томительнее предотъездных минут. Но тут-то, по обыкновению, вспомнили самое важное: Надежда Антоновна спохватилась, что не положила для Ивана Сергеевича плащ на случай проливных дождей, Оксана жалела, что не позвонила подруге и не поручила ей поискать необходимую книгу по акушерству, Марков только сейчас сообразил, что следовало взять не один, а несколько экземпляров своего сборника «Крутые повороты», так как повстречается много друзей, однополчан, товарищей, которым захочется преподнести свой труд, а Крутойяров забыл напомнить Надежде Антоновне, чтобы она отнесла в издательство корректуру.

Что же делать! Теперь поздно обо всем этом думать. В окнах вагона мелькают заводские трубы, пустыри, кустарники, железнодорожные будки и телеграфные столбы. Оксана с важностью и сознанием ответственности достаёт сверточки, кулечки, накрывает на стол.

В купе три места принадлежат им. Оксана на нижней полке слева, Крутойяров на нижней полке справа, Марков наверху. Четвертое место занимает великий молчальник. Как только поезд тронулся, этот пассажир забрался к себе, как он выразился, «на верхотуру», повернулся к стене, моментально уснул и, к изумлению всех, так и проспал всю дорогу. Изредка только вскакивал, наклонял вниз взъерошенную голову, таращил заспанные глаза, хриплым голосом спрашивал:

— Эт-то чего? Эт-то какая станция?

И, не дожидаясь ответа, валился на постель и уже посапывал носом.

— Феноменально! — показывал на него глазами Крутойяров.

— Хоть бы покормить его, — тревожилась Оксана. — Товарищ, хотите чаю?
Молчание. Никакого ответа, никакой реакции. И только через большой промежуток снова появляется взъерошенная голова:
— Эт-то чего это? Эт-то какая станция?
— А вам какую надо-то? — справляется Марков.
Никакого ответа. Никакой реакции. Пассажир уже спит.

3

Поездка сулила быть замечательной. Какой у всех аппетит! Как остроумен и весел Крутойяров! Как заботлив и внимателен Миша!

По мере приближения к Киеву, ко всем этим памятным местам, как будто сохранившим отзвуки гремевших здесь залпов, все трое все больше приходили в возбуждение. Марков поминутно бросался к окнам. Даже ночью вглядывался, вглядывался в темноту.

— Интересно, мы проезжаем Жмеринку? Если бы вы только видели, Иван Сергеевич, что тут творилось! Неужели мы ночью будем проезжать Казатин? От Казатина как раз идет ветка на Умань... Там было депо, от него после боев кирпича целого не осталось...

Днем Марков высовывался из окна чуть не по пояс, и Оксана держала его за полы пиджака, опасаясь, что он вывалится.

— Оксана, смотри, ведь это Фастов? Сколько раз он переходил из рук в руки! Иван Сергеевич, ведь это здесь курган, именуемый «Острая могила»? Как вспомнишь эти места сразу после боев, после отхода противника... Валяются конские трупы... Ни одного уцелевшего здания, битое стекло, груды кирпича, тлеющие головешки... Кладбище вещей! Лафеты, пушки, обломки повозок... На железнодорожных станциях полыхают ярким пламенем пакгаузы, эшелоны... Поминутно взрываются сложенные в вагонах снаряды... Никогда это не выветрится из памяти! Это походит на конец света! Хрустишь по битому стеклу, перемахиваешь через огонь, через трупы — некогда разглядывать. Дана команда преследовать отступающего врага. Лошади в мыльной пене... У некоторых бойцов головы завязаны окровавленным бинтом... Вперед! Только звенят копыта... Были дела!

— А нам, военным корреспондентам, не полагалось оружие. Блокнот и карандаш... и забубенная головешка. Чтобы доказать, что мы не какие-нибудь «цивильные», не тыловые крысы, мы лезли на рожон, обязательно увязывались в разведку, шатались по линии огня и боже упаси, чтобы мы поклонились летящей пуле! — вспоминал Крутойяров, и начинались рассказы, приводились случаи, назывались имена, все трое перебивали друг дружку, все трое говорили враз.

Оксана не отставала от мужчин, ей тоже было что порассказать. Много насмотрелась она в лазарете. После каждого сражения ни одной койки свободной и не успевают выносить в морг... Это там, в строю, война выливалась в бешеную скачку, в грохот орудий, татаканье пулеметов, раскатистое «ура» и звуки горна. Оксана видела изнанку войны: клочья мяса, тазы с кровью, лица, искаженные от боли, ноги, завернутые в простыню, выносимые из операционной...

Поезд мчался среди полей пшеницы и гречи, мимо живописных сел Подолии.

— Иван Сергеевич! Скорее, скорее, ведь это же Белая Церковь! Восьмого июня — в двадцатом году — мы ворвались на полном аллюре в город... Это почти в такое же время года, как сейчас! Вы представляете? Все цветет, благоухает... И конница мчится, и, может быть, люди и сами не замечают, что они кричат, кричат «ура», кричат «бей!»... и все сметают на пути... Сверкают клинки на солнце... Как странно, что никакого следа, ни одной вмятины! Купола церквей... ветряки... женщина идет, несет полные ведра воды на коромысле...

— Да-а... Белая Церковь... — в раздумье произносит Крутойяров. — На этом месте стоял когда-то древний город Юрьев... Да-а... Все цветет. Все забывается. Всему черед.

— Вот здесь, кажется, смертельно ранило папашу Просвирина... Или не здесь?.. Иван Сергеевич! Скорее! Что это? Как будто станция Вапнярка? Да, она. На этой станции эскадрон

Криворучко, помню, захватил эшелон с обмундированием. Вот было дело! Все раздетые, разутые, и вдруг — целый эшелон! Одних валенок два вагона! Хотел бы я побывать на реке Тетерев, на реке Здвиж... Прийти и постоять на берегу... Течет река, журчит река и все былое смывает. Помню, я лежал рядом с Савелием, мы ждали сигнала атаки. Туман был, можете себе представить, в двух шагах ничего не видно. Оттого ли, что приходилось лежать неподвижно, но пробирало до костей. Даже сейчас хочется поежиться... Правда, странно все это? Вот и туман рассеялся, и бои кончились, и хлеба на полях убирают, а я еду в поезде, в отдельном купе... и на столике у нас пирожки с рисом, с яйцами...

— Миша, расскажи про голубей, — попросила Оксана.

— Да, это действительно забавно. Голуби сопровождали нашу бригаду во всех походах, куда мы — туда и они. Все-таки у нас не переводился овес, и вообще бойцы любят птиц. И знаете до чего привыкли голуби к боевой жизни! В пору хоть зачислй в эскадрон. Нас они абсолютно не боялись, клевали крошки хлеба с ладони, знали, когда кормят лошадей — значит, и им перепадет, сидели на повозках, как в городах сидят на карнизах крыш. Начнется бой — голубей как языком слизнет, как будто их и не было. И знаете почему? Прятались в ящиках пулеметных тачанок. Ведь до чего сообразительны! Это был у них блиндаж, боевое укрытие. Очень смешные птицы!

4

Чем ближе подъезжали к Одессе, тем больше было воспоминаний и рассказов. Однако неизвестно, когда, с какого момента, в вагон стала проникать какая-то тревога, какое-то предчувствие неминуемой беды — той, о которой скептики говорят, что, если тихо идешь, беда догонит, а шибко идешь — беду нагонишь.

Все трое — и Оксана, и Крутойров, и Марков — были неисправимые оптимисты, любили жизнь, верили в добро и всячески старались стряхнуть с себя необъяснимую задумчивость, странные, ничем не оправданные предчувствия. Но почему это у железнодорожника, который стоит на платформе, такое хмурое лицо? О чем там возбужденно толкуют, собравшись в кучку? Мало ли о чем. Но видимо, были уже неуловимые признаки чего-то, взволновавшего всех.

Первым увидел траурный флаг Марков. Все трое молча переглянулись. Мысли всех троих унеслись в Москву. Никто из них не назвал ни одного имени. Но некоторые дорогие, привычные имена мелькнули в сознании. Ведь если траурные флаги на вокзале, значит, умер какой-то крупный деятель... На лицах всех троих было написано: «Кто?» Ни одному из них и в голову не приходило, что произошло в действительности.

— Что это означает? Флаги... — спросил Крутойров проходившего мимо военного.

— Вы что, не знаете? Убит Котовский.

5

Померкло небо. Померкла радость. Так весело начавшееся путешествие окончилось столь неожиданно и печально. Кто бы мог подумать, что ехали на свидание, а попали на похороны?!

Все трое стояли у гроба. Крутойров был молчалив и задумчив. Сверкали ордена. Боевое оружие было возложено на гроб. Рядом темнели кандалы — те самые, что когда-то бряцали, сковывая руки и ноги славного борца за свободу.

Как осунулся и сразу постарел Крутойров! Какая бледная стала Оксана! На ней лица нет. Марков был в состоянии окаменелости. Известие о смерти Григория Ивановича оглушило, как самый жестокий удар. Как в тумане воспринималось все происходящее вокруг.

Марков молча пожимал руки съехавшимся отовсюду котовцам. Как много дорогих, знакомых, близких! Вот и Криворучко. Вот и Белоусов. А это кто? Костя Гарбарь? Встретил бы на улице, прошел бы мимо, так он изменился, повзрослел.

С каждым поездом прибывают все новые и новые лица. Делегация от курсантов... Делегация от пионеров... Делегацию Реввоенсовета возглавляет Буденный. Мужественное, овеянное ветрами степей лицо славного полководца нахмурено. А вот в уголке отвернулся и плачет старый вояка, конник-котовец, тысячу раз глядевший смерти в глаза...

Марков знал уже подробности убийства. Рассказал Белоусов. Рассказывал с паузами, замолкнет, страшным усилием воли овладеет собой и продолжает хриплым голосом:

— Недосмотрели. Обо всем подумали, а вот это... что найдется продажная гадина, — вот этого не учли...

На Белоусова страшно смотреть. Стиснуты зубы, глаза полыхают черным пламенем ненависти. Лицо искажено судорогой. Скулы заострились. И голос стал какой-то другой.

— Я ведь с первого взгляда понял, что этот меняла, этот грязный комбинатор и аферист не наш человек, чужак, по всему складу чужак. Кабатчик был, кабатчиком и остался. А Григорий Иванович беспредельно верил, что в самой отпетой душе сохраняются какие-то человеческие зачатки...

Белоусов опять замолк, захлебнулся душившей его яростью, мучившей его скорбью.

— Да. Так вот. Никто не обманывался относительно Зайдера. Но на такое дело я никак не считал его способным. Ей-богу, что-что, а это даже в голову не приходило. Ведь помимо всего трус он паршивый! Я считал его неисправимым, а Котовский все надеялся, что в обстановке советской трудовой семьи он обживется, поймет, что со старыми, грязными ухватками сейчас не проживешь...

— Да ведь кто, как не Григорий Иванович, его и на работу пристроил? От таких выродков благодарности не жди.

— Те, кто засылали диверсантов с заданием убить Котовского, — а это было, теперь скрывать не приходится, — так те отчаялись добиться своего, две группы мы проследили и выловили...

— Значит, было и это? — прошептал Марков, пораженный таким сообщением.

— Мы установили, хотя, конечно, без полной гарантии, что там, за рубежом, была команда «Отставить». А они, оказывается, вон какой путь выбрали... Они эту мокрицу пустили в ход! Вы знаете, какое у него было оружие? Браунинг номер два! И пульки-то как семечки!..

Белоусов застонал и замолк. Больше он не мог говорить.

Марков и Оксана ходили в родильный дом навестить Ольгу Петровну. От потрясения у нее начались преждевременные роды, это было в воскресенье, с трудом нашли нужных людей, чтобы открыли родильный дом. Она даже не могла быть на похоронах мужа, сразу после трагического события попав в больницу. Теперь она лежала бледная, измученная, одновременно познавшая утрату самого близкого человека и появление на свет самого близкого существа, какое может быть для матери: родилась дочь, раньше срока, но здоровенькая, на радость всем.

— Назовем Еленой, — слабым голосом говорила Ольга Петровна. — У Григория Ивановича была любимая сестра Елена. В честь нее.

Двойственное было у нее чувство: там в гробу лежит отец новорожденной... он никогда не увидит своего ребенка... ребенок никогда не увидит отца... Жизнь и смерть поместились рядом. Жизнь утверждала свое. Жизнь продолжалась. И какое нужно самообладание, какая сила характера, чтобы испытывать невыносимую боль утраты, но твердо помнить, что святая обязанность матери — вырастить детей, что роженице не позволено волноваться, огорчаться, плакать, иначе испортится молоко. В определенный час принесут в палату беспомощное существо, розовое, нежное, с таким победным плачем.

— Мы хотим есть! — скажет медицинская сестра, подавая батистовый сверток матери.

Что можно на это возразить?

Маркова быстро выпроводили из родильного дома. Оксана осталась. В больничном халате ее было не узнать. Пришло время и ей оказывать помощь Ольге Петровне, заботиться, ухаживать, строго останавливать: «Вам нельзя так много говорить»... поправлять подушку,

подавать ребенка...

— Григорий Иванович хотел, чтобы родилась дочь. А то, говорит, вдруг родится сын и окажется лучше Гришутки, я не хочу...

Новорожденной любовались все: и врачи, и весь персонал родильного дома. Оксана же особенно бурно выражала свои восторги:

— Господи, да какая же она хорошенькая! Смотрит, смотрит! Честное слово, она вас уже узнает!

Только женщины умеют так восхищаться крохотными новорожденными существами.

6

Потрясенный, убитый горем, стоял Марков вблизи знаменитой одесской лестницы и невидящим взором смотрел куда-то перед собой — на бирюзовое море, на бесчисленные суда, столпившиеся возле гавани, на безучастно улыбающиеся легкомысленные облака, такие безразличные к переживаниям Маркова и ко всему происходящему на земле.

Марков думал о командире, о славном Котовском, своем воспитателе, учителе, втором отце. Нет Котовского! Котовского — такого прочного, такого несокрушимого, наполненного до краев смелыми мыслями, доблестными делами, и вдруг его нет — совсем нет!

Даже взять хотя бы этот город — ведь весь он насыщен незабываемыми, один другого удивительней подвигами Котовского.

Марков жмурился от яркого солнца. Море переливалось муаровыми складками, нежилось, ластилось. Белые здания южного города были ослепительны, а деревья устали от зноя, листва поникла, от раскаленных двухсот мраморных ступенек великолепной лестницы струился нагретый воздух.

Одесса была даже как-то вызывающе красива. Но Марков старался не замечать этой красоты, она причиняла ему боль. Так бывает неприятно, когда в присутствии покойника громко смеются и вообще непристойно себя ведут.

Марков отыскал тенистое уединенное место, сел на скамейку и задумался. У него уже выработались навыки писателя — не просто вспоминать, не просто наблюдать, а тотчас же все воплощать в еще бесформенные наброски сюжетов, сценок, главок еще не выдуманной и не написанной повести. И теперь он то представлял, как скачут котовцы по одесским улицам, наводя панику на белогвардейцев, то как идет, не прячась, бесцеремонно оглядывая вражескую толпу, переодетый, перевоплотившийся Котовский по оккупированной Одессе... Какая удивительная все-таки личность, какой близкий русскому сердцу человек! Именно такими бывают любимые наши герои, именно такими запечатлеваются в памяти и отливаются впоследствии в былины и сказки. Быстрый, стремительный, беспощадный к врагу и полный неисчерпаемой доброты и участия ко всем обиженным. В каких только передрыгах не видел Марков Григория Ивановича, и всегда он молниеносно избирал верный ход, а решение у него неизменно совпадало с действием. Недаром в его блокнотах записано: «Хотеть — значит мочь», он сам показывал это Маркову, провожая его в Петроград. А его любимой поговоркой было: «Остерегайся друзей твоего врага, обрушь всю ненависть на врагов твоего друга».

Марков делает это девизом своей жизни. И если суждено ему стать писателем, он и в своих произведениях будет проводить эту мысль: остерегайся друзей твоего врага, обрушь всю ненависть на врагов твоего друга. Это глубоко верно: ведь враги твоего друга — твои враги, а друзья твоего врага еще опаснее, они нападают с фланга.

Здесь, в прохладе, деревья сохранили свежесть, и под их благоухающей тенью мысли становились свежими. Марков грезил наяву, вдруг припоминая многие сгладившиеся в памяти происшествия.

Вспомнилось опять, как он и отец вышли из родного дома, чтобы никогда не возвращаться сюда. Вспомнилась длинная печальная дорога и наивная детская уверенность, что стоит встретиться с Котовским — и разрешатся все трудности пути. Вспомнилась первая

встреча с Котовским и живописные села, через которые проходил маленький отряд — горсточка непреклонных людей. Даже стук копыт по дорогам Молдавии, даже переправа через Днестр и запах водорослей с выпуклой отчетливостью припомнились Маркову в этот солнечный и мрачный, сверкающий и траурный день.

Марков не заметил, как рядом с ним на скамейке очутился невзрачный сутулый человек. Возможно, что они сидели долго, оба не произнося ни слова. А когда незнакомец заговорил вкрадчивым и скрипучим голосом, Марков машинально поднялся, порываясь уйти. Встал и незнакомец. Но Марков все еще его не видел, погруженный в свои светлые грезы.

— В жизни все наоборот, — скрипел незнакомец, жестом стараясь удержать Маркова. — Солнце радуется, а знаменитый воин в гробу. Только, извиняюсь, на солнце пятна не мешают излучать свет, а как быть с пятнами на совести? Две большие разницы, как говорят у нас в Одессе.

Марков мысленно мчался на норовистой Мечте, и был знойный полдень, и был трудный переход через пески и голую степь...

Марков не слушал. Он все еще находился в мире своих грез, все еще жил воспоминаниями о днях минувших битв и стоял, задумавшись, и смотрел на незнакомца ничего не видящим и ничего не понимающим взглядом.

А незнакомый непрошенный собеседник скрипел и скрипел. Вздыхал. Закатывал глаза. Кому-то соболезуя, покачивал головой:

— Нехорошо! Ай-ай-ай! Нехорошо!

Марков наконец очнулся от своих дум, прислушался. Что он бормочет? Кто он такой? Что ему надо?

— Вы меня извините, но у меня сейчас нет никакого желания разговаривать.

— Ради бога! Не настаиваю! Всего лишь мысли вслух, — прокрипел незнакомец. — Раздумья над превратностями судьбы... Тысяча извинений!

— Какие превратности?

Только теперь Марков вдруг понял, о чем говорит этот тип...

Для Маркова все, что связано с его командиром, свято. И если Котовский не может сейчас сам выхватить клинок из ножен, чтобы достойно ответить на обывательские сплетни, это сделает он, конник Котовского Миша Марков.

Никому не удастся очернить славное имя героя, как никому не удастся и приписывать себе доблесть Котовского, дела Котовского, победы Котовского! Пусть остерегаются клеветники и хулители, им несдобровать!

— А ну-ка, повторите... — тихо, потому что нахлынувшая ярость мешала говорить, сказал Марков.

— Повторить? Я и так вам битый час растолковываю! Извиняюсь, вы иностранец?

Марков всегда отличался застенчивостью, тихим, смирным характером. Он сам впоследствии не мог понять, как у него все получилось. Суровая школа походной жизни, видимо, повлияла на него, а привычка делать гимнастику и обливаться холодной водой явно содействовала развитию мускулатуры и слаженности движений. Об этом можно было судить хотя бы по тому, что от полученной затрецины клеветник и злопыхатель пташкой перелетел через садовую скамейку и исчез, как дым, со сверхъестественной быстротой, словно его никогда и не было.

Марков с минуту стоял в оцепенении и потирал ушибленный кулак.

— Гадине повезло, — усмехнулся он наконец, мысленно восстанавливая всю сцену с самого начала. — Будь на моем месте Криворучко... или еще какой из богатырей-котовцев — ему бы и вовсе несдобровать!

Вокруг не было ни души. Но Марков все озирался, все чудился ему пакостный скрипучий шепоток. И разве это не установившаяся издавна ухватка убийц, карабкающихся к власти карьеристов, подлых интриганов, политических шулеров: сначала убить, а потом еще осквернить могилу — пустить какой-нибудь грязный слухок, памятуя, что от клеветы всегда что-нибудь остается?

И Марков, крепко сжав кулаки, грозно, как проклятие, торжественно, как зарок, внятно произнес:

— Во все времена, сегодня или завтра или в любое время, даже по прошествии многих лет — помните, люди: если услышите шепотки и наговоры, кривые улыбки и пошлые намеки, порочащие светлую память Григория Ивановича Котовского, знайте, что перед вами убийцы или сообщники убийц!

Честь? У них нет чести! Ужас перед судом истории? Но им нечего терять! Они подсыпят в кушанье яду, состряпают подложные документы, они будут в отлично оборудованных типографиях на роскошной бумаге печатать любую мерзость, любую неуклюжую клевету. Они будут пытаться, истязать, упрячивать честных людей в казематы и тюрьмы. Не сами. Они любят комфорт и душевное равновесие. Они найдут в клоаках и притонах любого города готовых на все исполнителей. С давних пор повелось у них опираться на грязных подонков, на моральных уродов.

Маркову вспомнился жуткий рассказ Мопассана «Мать уродов». «Это гнусная баба, сущий дьявол. Каждый год эта тварь умышленно рождает уродливых детей, отвратительных, страшных чудовищ, и продает их содержателям паноптикумов». Как она это делает? Стягивает себе живот изобретенным ею жестким корсетом из дощечек и веревок. Она научилась придавать разнообразную форму своим уродам, рождает и длинных, и коротких, и похожих на крабов, и похожих на ящериц, со сплюснутым черепом, с выпученными глазами. Доходная статья!

Когда Марков читал этот рассказ, ему было невыносимо страшно. А сейчас он догадался: да ведь писатель изобразил больше, чем хотел! Он рассказал о капиталистической системе! Это она фабрикует профессиональных убийц, усердных шпионов, узаконенных разбойников... Да, да, капиталистические уродцы! Как это Марков раньше этого не понимал? Ведь все это написано безжалостно, беспощадно, без умолчаний!

Михаил Марков размышлял о фабрике уродов, делал литературные сопоставления. Он хотел осмыслить, поставить на места представшие перед ним сумбурные явления жизни. Если этого не сделать, можно сойти с ума. Всему найдется ясное, точное определение, если проследить основные пружины — то, что двигает стрелки истории.

Маркову было трудно. Изволь осмысливать, когда сердце разрывается от отчаяния, когда хочется кричать, выть, биться головой о стену!

Нет Котовского. Оказывается, можно так вот, запросто, подойти и убить человека. Не в запальчивости, а выполняя свой план. Это было бы непонятно по своей чудовищности, если бы не знать, что такое наша эпоха, не знать ее железных законов. А что она такое, если сказать в двух словах? Перелом. Крушение старого мира — казалось бы несокрушимого. Приход новой эры, очертания которой давно уже грезилась человечеству и которая вступает наконец в свои права. Борьба. Непрекращающаяся, жестокая. Яростное сопротивление старого мира этому новому. Настоящая война. И смерть Котовского, с которой никак не хочет примириться разум, — один из моментов этой войны.

Когда Марков понял, уяснил это, ему стало легче.

Люди растут толчками, не миллиметр за миллиметром, час от часу становясь умнее, опытнее, образованнее, взрослее. Какой-то толчок извне, какое-то запавшее в душу слово, встревожившая сердце книга, пьеса, картина, или происшествие, или сильное переживание — и вдруг умная учительница Жизнь переводит человека из четвертого класса в пятый.

Так случилось и с Марковым. Из сквера с уединенной скамейкой в тени платанов и белых акаций он вышел новым, иным человеком, с горькой складкой около губ, с прямым взглядом пронизательных строгих глаз, с умудренностью, с твердым решением не сдаваться, не отступить.

тенистых аллей, можно бы, кажется, воспламениться от такого жара. Белоснежные здания, старинные особняки, театр, биржа, публичная библиотека — все сверкает, слепит глаза.

Крутойров приобрел белую войлочную шляпу с бахромой. Его уверяют, что он походит в ней на бедуина.

— Разве бедуины такие? — коварно спрашивает Крутойров. — В самом деле, какие бедуины?

Теперь Оксану они совсем не видят, она поселилась в помещении при родильном доме и будет сопровождать Ольгу Петровну, когда врачи разрешат ей ехать.

Крутойров и Марков много бывают вместе. Крутойров видит тяжелое состояние Миши и делает все, чтобы отвлечь его мысли, поднять его дух. Марков понимает, с какой целью Крутойров заводит разговоры о бедуинах, о температуре воздуха, о красоте белых акаций — о чем угодно, только не о том, о чем неотступно думает Марков.

— Вы знаете, Михаил Петрович, какой был герб у Одессы? Щит, разделенный пополам. Верхняя половина золотая, и на ней изображен орел. Нижняя половина червленая, и на ней серебряный якорь. Не знаю, что это должно было означать раньше. А сейчас я бы так объяснил эту символику: орел — гордое парение ввысь, якорь — надежда.

Марков слабо улыбается.

— Одесский порт раньше называли пшеничным городом. Мы посылали хлеб в Великобританию, в Голландию, в Германию...

Крутойров говорит с жаром, с увлечением, как будто его больше всего на свете занимает хлебная торговля России. Марков отлично видит, что это все напускное, но побуждения Крутойрова самые хорошие. Марков не сомневается, что сейчас ему будет сообщено, что давнее название Одессы Хаджибей, а также о деятельности герцога Ришелье и князя Воронцова... Но Крутойров чувствует, что усилия его тщетны, и уже без всякого азарта сообщает, что до революции широко славились одесские арбузы, которые почему-то называли «монастырскими»...

Махнув рукой на свои ухищрения, Крутойров начинает говорить о том, что только и занимает сейчас их обоих: о Григории Ивановиче Котовском, о каком-то слове, сказанном Григорием Ивановичем, о каком-то случае, разговоре...

— Странно устроен человек, — говорил Марков, — ведь только что мы проезжали станцию Бирзула. Помните, Оксана помчалась покупать яблоки, а мы смотрели на гусей, грозно вытягивающих шеи, чтобы напугать чумазого мальчишку, и я вам рассказывал, как в один из августовских дней мы начали именно отсюда тяжелый поход, решив пробиться на север, на соединение с частями Красной Армии...

— Это я помню. Значит, именно там Куценко взрывал свой бронепоезд?

— А завтра мы отправимся в Бирзулу хоронить Котовского...

— Мне понравилось чье-то размышление, я даже записал его в своей записной книжке...

— Ваша записная книжка — настоящая кладовая.

— Вот это размышление или изречение, как хотите называйте: «В метрических свидетельствах пишут, где человек родился, когда он родился, и только не пишут, для чего он родился». А ведь это немаловажный вопрос. Но когда думаешь о Котовском, такой вопрос не возникает. Вот когда бесспорно ясно, кому отдал человек каждую каплю крови, каждый помысел, каждое усилие! Он служил большой правде, он боролся за счастье на земле. И этого не отнимет никакая подлость, никакая пуля, никакой заговор. Люди, которые рассчитывают выстрелами остановить ход истории, — это окончательно отчаявшиеся люди. История не из пугливых. А методы террора были скомпрометированы еще эсерами. Не понимаю, чего за них цепляются империалисты?

Марков рассказал Крутойрову о своей встрече в приморском парке и о финале этой встречи.

— Эх, жаль, что там не было меня! — вздохнул Крутойров. — Уж я бы его так не выпустил! Таких подлецов надо учить!

— Вам вредно, у вас сердце. Но можете мне поверить, я не оплошал.

Вечерами, когда немного схлынет жара, они медленно прогуливались по улицам, прислушиваясь, как камни потрескивают остывая. И снова говорили о Котовском, о его самобытности, о его яркой жизни. Все в этом городе напоминало о подвигах, о боях, об опасной подпольной работе... Марков запомнил многое, о чем рассказывал Котовский. И теперь они сообща пытались отыскать бывший кафе-ресторан «Дарданеллы» в Колодезном переулке — славную явку французской группы «Иностранной коллегии», часовую мастерскую на Большом Фонтане, где работал коммунист-подпольщик, дом номер одиннадцать на Провиантской улице, где Котовский встречался со связным Кулибабой...

Какое бесстрашие! Какая самоотверженность! Великая честь быть в числе таких деятелей, как Иван Федорович Смирнов (Николай Ласточкин), Жанна Лябурб и Елена Соколовская!

Но Марков больше мог рассказать о другом: о том, как в февральскую оттепель в 1920 году Котовский первым влетел на коне в Одессу со стороны Пересыпи — с той же стороны привезли его прах теперь, через пять лет... Марков и Крутойяров посетили и Пересыпский мост, побывали и на Нарышкинском спуске. Утомленные, они возвращались поздней ночью в гостиницу и засыпали сразу же, как только добирались до постелей, ныряя под прохладную простыню.

Пришел день похорон, одиннадцатое августа. Поезд с останками Котовского двигался медленно. На всем пути стояли толпы народа, на всех станциях происходили траурные митинги. Эскадрилья самолетов сопровождала траурную процессию. Шум моторов без слов говорил о том, что заботы Котовского об укреплении Красной Армии увенчались успехом.

Могила Котовского — у самого полотна железной дороги — быстро превратилась в холм живых цветов, венков из колосьев и муаровых лент с отпечатанными на них прощальными словами.

Рыдал военный оркестр аккордами траурного марша. Костя Гарбарь попросил у одного музыканта инструмент и занял место в оркестре, чтобы, как положено, проститься с командиром.

В телеграмме Совета Народных Комиссаров Украины было напоминание о том, что бои с черными силами мировой реакции еще не миновали.

«Крепче сплотим наши ряды!» — призывал Центральный Исполнительный Комитет молодой Молдавской автономной республики.

И твердым голосом закаленного воина, старого солдата произнес прощальное слово над могилой Котовского Семен Михайлович Буденный:

— Никто не сломит нас, дорогой товарищ Котовский. Ты ушел, но мы выполним заветы и задачи, завещанные нам Лениным, которые и ты честно выполнял до конца.

Медленно расходились люди. Одним из последних оторвал взгляд от могилы старый конник, не раз ходивший в строю на врага.

— Вот... — произнес он в недоумении, в горести, — только холм в Бирзуле... и много цветов... и тяжесть на душе... и нет его, нашего дорогого... нет Григория Ивановича... Нет Котовского! И никогда уже мы не услышим его могучий голос: «Орлы! Вперед! К победе!»

Марков стоял рядом. Он ответил:

— Это верно, конечно. Но если присмотреться ко всем, кто прощался с Котовским... Разве не запечатлен в каждом сердце этот призыв: «Орлы! Вперед! К победе!»

Старый конник посмотрел на Маркова грустными слезящимися глазами и ничего не сказал в ответ.

— Кто это? Из бригады Котовского? — спросил Крутойяров.

— Я узнал его в лицо, только ни фамилии, ни имени не помню... Одну минуту! Товарищ!

Но старый кавалерист уже ушел и затерялся в толпе.

В обратный путь ехали вдвоем. Маркову чего-то не хватало без Оксаны, он привык, чтобы она всегда была рядом, внимательная, ласковая. Он даже удивился, до чего они успели сродниться. Он поминутно спохватывался: где же она? И вспоминал, что она осталась с Ольгой Петровной, что она приедет позднее.

Повсюду на Украине стояла изумительная погода. Шла уборка хлебов. По всему степному пространству можно было видеть снопы, женщин в пестрых одеждах, тяжелые возы, плывущие, покачиваясь, вдоль полей. А на станциях было много ребятишек. Они не помнили и не видели войны. Вероятно, они так и считали, что войны не бывает, о ней только рассказывают словоохотливые старики. Они смотрели доверчиво и с любопытством на огромный мир и были уверены, что в небе полагается летать только ласточкам, а по земле полагается ездить только в город на базар.

Насколько были оживленны разговоры, когда выезжали из Ленинграда, настолько они были пронизаны светлой грустью теперь.

— Любар... — вспомнил Марков. — Он дорого нам обошелся... И поблизости Горинка, где Григорий Иванович был контужен...

— Разве он не ранен был?

— Нет, контужен. Мы тогда думали, что уже конец... А ранили его после, когда матюхинская операция была... Иван Сергеевич, а где тут Проскуров? Помню, он весь окружен холмами... и все овраги, овраги, речушкам счету нет, одна другой мелководней, и повсюду бьют родники из-под земли... Но нет на свете города лучше Житомира. Это было первое место, где можно было сесть за стол, настоящий, как полагается, со скатертью стол... Житомир был первый город, когда мы выбрались из окружения. Только тогда, когда весь кошмар был уже позади, мы поняли всю отчаянность нашего положения... И опять Котовский. Он вызволил нас из беды, он поддерживал, он подбадривал. Что это был за человек!..

Сказал эти слова Марков и удивился:

— Вот уже привычно произносится — был человек... Был! Никогда, кажется, не поймешь этой загадки!

Крутояров терпеть не мог говорить о смерти. И когда затрагивалась эта болезненная для него тема, он всегда прятал свое волнение под шуткой, каламбуром и уходил от копания в душе, как он это называл.

— Если бы не оставалось уже ни одной загадки, пресновато было бы жить, — возразил он Маркову. — Человечество до безумия любит решать кроссворды. А я сейчас пытаюсь решить загадку: удастся нам или не удастся купить на ближайшей станции вареную курицу. Чертовски хочется есть.

Перед самым Ленинградом Миша полез зачем-то в чемодан и обнаружил свою книгу, так и не преподнесенную Григорию Ивановичу. Он даже вздрогнул, нащупав ее.

— Что же вы не вручили ее Ольге Петровне?

— Счел нетактичным. Надпись-то сделана живому Котовскому. Понимаете?

— Да, пожалуй. Но мы непременно навестим Ольгу Петровну и постараемся на этот раз не затягивать поездку до бесконечности. Однако подъезжаем к Ленинграду. Первое, что мне предстоит, — это взбучка от Надежды Антоновны, что не прислал телеграммы. Она не любит провожать, а встречать для нее первое удовольствие.

Милый, милый Ленинград! Как приятно смотреть на твои дома, на твои улицы и угадывать малейшие происшедшие за короткий срок перемены! Вот здесь не было булочной, а теперь открыли. Хилые деревца вдоль фасадов домов... их только что посадили. Привьются ли? Мы так не бережливы к природе, к очаровательной живности! Например, воробьи. Как

скучно было бы без разудалых крикливых воробьев! Какие были бы несчастные, мертвые городские площади, если бы над ними не мелькали крылья! Побольше птиц! Белки должны быть ручными и прыгать с ветки на ветку в Александровском саду! Побольше цветов и деревьев!

Так размышлял Марков, когда они с Крутояровым ехали по родному городу. Крутояров-то был в самом деле старожилом. Но и Марков считал себя коренным ленинградцем. Ведь он здесь уже два года — и каких два года, каждый стоит десяти!

— Какой ужас! — встретила их Надежда Антоновна. — Так неожиданно и трагично! Представляю, что переживает бедная Ольга Петровна! Ах, вы оставили с ней Оксану? Умно поступили. В таких случаях так нужна дружеская рука! Расскажите же, как это было, в газетах очень скупо излагаются факты.

Рассказывая последовательно и подробно, и Крутояров и Марков пережили все заново. Надежда Антоновна слушала с широко раскрытыми глазами. Особенно потрясло ее то, что в момент похорон отца появилась на свет его дочь.

— Представляю всю эту обстановку! — шепотом произнесла она и снова переспросила: — Он еще не погребен, а появилось уже новое существо, продолжение его жизни?

Как пустынно в комнате Миши! Все вещи на своих местах. И оттого, что все вещи на местах, с особенной отчетливостью возникло в сознании, что Котовского нет на свете, что Миша так и не повидался с ним со времени отъезда из Умани.

Воспользовавшись тем, что Оксаны нет дома, Миша забился в угол и дал волю своему горю. Он плакал горячими слезами, не стесняясь, не думая о том, годится ли плакать старому котовцу, бравому кавалеристу.

Вошел Крутояров, как будто почувствовал, в каком состоянии Миша. Вошел, не обратил ни малейшего внимания на слезы и всхлипывания, как будто бы это самое обычное дело. Стал прохаживаться по комнате, крупными шагами отмеривал ее во всю длину. Миша видел сквозь слезы, как Крутояров лучился, дробился на куски. Он был широкоплеч, массивен и самим своим видом действовал успокаивающе.

Косматые брови его были сдвинуты, лицо, как бы вылепленное смелым ваятелем, неподвижно. Седая грива волос рассыпалась волнистыми буграми, как взбаламученное море. У Крутоярова был скорее грозный, чем подавленный и опустошенный вид.

Миша постепенно переставал плакать и бездумно, автоматически следил за движениями Крутоярова. Оба долго и без неловкости не произносили ни слова, думая вместе и об одном и том же, поэтому как бы мысленно беседуя.

Затем Крутояров заговорил. Голос у него был строг, звучал как сигнал атаки. Миша недоверчиво, настороженно слушал, сначала даже не вникая еще в смысл, улавливая только самый звук и по звучанию чувствуя уверенность, силу убеждения.

— Народ не ошибается в своих избранниках, — говорил Крутояров, как бы произнося надгробное слово. — Котовского любят и будут любить. Уж очень он нам по духу, уж очень он наш, русский — с широкой, открытой всему хорошему, светлой душой. Вот уж у кого никогда не было задней мыслишки, мелкого расчета! Удивительный человек!

Постепенно у Миши Маркова просыхали слезы и прояснялась мысль. Теперь он слушал — и как слушал! Крутояров шагал по комнате, останавливался порой, подыскивая нужное слово, и снова говорил. Иногда его речь становилась путаной, шероховатой, но это оттого, что мысли, образы переполняли его, шквалом налетали, обгоняя друг друга, Крутояров еле успевал воплощать их в слова:

— Я люблю русский народ, люблю самозабвенно, неистово. Часто думаю, сколько же выпало на его долю испытаний, а он не сгибался, не утрачивал своих благородных качеств, оставался все тем же — добрым, талантливым, сильным. Вы не задумывались о заслуживающих громкой славы, достойных преклонения, почестей, удивления, но безвестных героях? Ну, объясните мне, пожалуйста, какая убежденность заставляла некоего Петра, некоего Василия, Андрея, Акима, Поликарпа обнять жену, поцеловать детей и без пышных слов, без позы, просто и деловито отправиться из своей Касьяновки, Михайловки,

Малковки сражаться с чужеземцами, с вражеской тучей, со всеми врагами революции? Сражаться — и, может быть, умереть! И лечь в ряду с однополчанами в братской могиле... Вы русскую историю знаете? Кого ни возьмите... Например, Дмитрий Донской... помните? В те времена на шее нашего народа сидели очередные прихлебатели — Золотая Орда. Угрожая смертью и разорением, они требовали выплаты дани. Что делать? Приходилось терпеть и платить. И вот — представляете? — являются посланцы за получкой; причитается с вас столько-то и столько-то, просим поторопиться, ждать нам некогда. Дмитрий Донской берет эту собачью ханскую грамоту, рвет ее в клочья и топчет: хватит, посидели на нашей шее, убирайтесь подобру-поздорову, и больше чтобы ноги вашей не было. Воображаю, как взбеленились эти самые чингисхановы полпреды! Ладно же, думают, мы тебя научим повиновению! Прискакали к своему хану, докладывают, а тот как топнет ногой — и сразу начинает собирать в поход своих чингисханских тех времен колчаков и Деникиных, всяких гревсов и тому подобных пилсудских. Не тут-то было! Искрошили русские петры и поликарпы в крошево разъевшихся кровопийц, намеревавшихся вечно жить на чужой счет, грабежом и насилием... Вот она какова, история нашего народа. Печенеги с Востока, печенеги с Запада, печенеги свои собственные, доморощенные... только и успевай отбиваться да отмахиваться.

— Иван Сергеевич! А это когда было? — сбитый с толку своеобразной манерой рассказчика, спросил озадаченно Марков. — Это было очень давно? В древности?

— Это всегда было. Это характерно для всей истории нашего народа. А то, что произошло в семнадцатом, этого до той поры никогда не было. Возможно, что впоследствии и летоисчисление будут вести с семнадцатого года. Сейчас значение свершившегося нам, современникам, заслоняют разные детали, мы из-за деревьев леса не видим. Рассеется пыль, поднятая рухнувшими стропилами прошлого, со всеми его трухлявыми междуэтажными перекрытиями, и тогда откроется перед народами изумительная панорама...

— Григорий Иванович этого уже не увидит.

— Не увидит? Может быть, и мы с вами не увидим. Но всего не пересмотришь, мой мальчик. Да и неправильно вы говорите. Григорий Иванович все это видел, чувствовал, осознавал. Ведь он был ленинцем. А Ленин открыл перед нами такие просторы — только ослепленные яростью не видят, а вообще-то нельзя не видеть. Немыслимо! Невозможно!

Пока Крутойяров говорил вообще о России, вообще о смысле жизни, он оставался сравнительно спокойным. Но по мере того как разговор сосредоточивался на главном, что его сейчас волновало — на смерти Котовского, — он все больше распалялся, всё убыстрял шаги, а голос его становился все резче и раздраженней. И тогда — на какой-то паузе в его гневной речи — в дверях появилась Надежда Антоновна со стаканом воды и пузырьком лекарства.

Крутойяров взглянул на жену и сразу сбавил голос:

— И что ты все выдумываешь, Надя? Никто не волнуется и не выходит из себя. А всякое лекарство от частого применения перестает действовать, как тебе известно, появляется иммунитет...

Крутойяров говорил, доказывал, а Надежда Антоновна молча капала капли. Тогда Крутойяров махнул рукой, схватил стакан и выпил его содержимое одним залпом.

Когда Надежда Антоновна ушла, полная сознания выполненного долга, Крутойяров сказал:

— Оскорбительная вещь — надвигающаяся старость. Вам этого не понять. Когда мне без лишних разговоров капаят эти проклятые капли, у меня такое чувство, как будто мне дали отравы. А тут как-то я ехал в трамвае... и вдруг маленькая девушка вскакивает со своего места и уговаривает меня сесть... Лучше бы она меня ударила! Миленькая такая, в голубом берете под цвет глаз. Я ей говорю: «Что вы, девушка, с какой это стати я буду занимать ваше место?» — «Нет, уж вы, пожалуйста, все равно мне скоро выходить». Черт бы тебя побрал, душечка, с твоей любезностью! Весь вагон смотрит с этаким, знаете ли, одобрением, дескать, правильно она поступает, надо старичку уступить место, есть же у нас сознательная молодежь, не перевелись еще воспитанные девицы. А мне бы в пору на ходу выпрыгнуть из

трамвая, от стыда, от обиды, от ущемленного, знаете ли, мужского самолюбия. Главное, и ругаться нельзя, все вежливо, деликатно, от души... Вот, дорогой Михаил Петрович, такая-то история. Когда состаритесь, мой друг, ходите лучше пешком, дело-то вернее будет. Без сочувствия.

Крутояров говорил, по своему обыкновению, весело, с усмешкой, хотя у него кошки скребли на душе. Марков, только было рассеявший тяжесть, только было осушивший слезы, теперь снова готов был прослезиться от жалости, от горячего сочувствия. Так, мимоходом, к случаю, из-за этих чертовых капель, Крутояров приоткрыл перед Марковым тайное тайных, сугубо личное, и тоже в конце концов большую трагедию. Она разыгрывается вот тут, рядом, бок о бок с ним, но Марков почему-то о ней и не подозревал.

«Молодость эгоистична, — размышлял он. — Ей только до себя. Зачем заранее задумываться, заранее портить себе настроение? Восемнадцатилетнему тридцатилетние кажутся стариками. И тридцатилетние считают, что тот, кто перевалил за полвека, отжил свое. Но вот передо мной человек, переваливший за пятьдесят: Крутояров. Какая восхитительная зрелость, какое богатство души, какая высоковольтность! Видимо, он не терял понапрасну времени и за прожитые десятилетия во многом разобрался, многое постиг, продумал, да и сделал на своем веку предостаточно, но, как выяснилось, только сейчас в полную меру овладел мастерством, только сейчас достиг зенита в творчестве. Да, зенита. А сердце-то пошаливает? Как болезненно он воспринимает даже намек на приближающуюся старость, как протестует, негодует, возмущается при одном только предположении, что скоро будет немощен, слабосилен, дряхл, никому не нужен... пригоден разве только на то, чтобы еле ползать, кряхтеть, кашлять, жаловаться на боли в пояснице, охая, усаживаться на скамейку, которую ему снисходительно и любезно уступила в трамвае девчонка!..»

Крутояров заметил, какое впечатление на Маркова произвели его слова. Того гляди бедняга опять расхлюпается. И дернула же нелегкая затронуть этот болезненный и щепетильный вопрос!

Крутояров снова стал совершать рейсы от книжной полки до окна и от окна до книжной полки.

— Да-с, милостивый государь, — остановился он вновь перед Марковым, смена поколений. Эстафета жизни. Это закономерно и естественно. Диалектика! Непрерывный процесс возникновения и уничтожения, бесконечное восхождение от низшего к высшему. Это еще Маркс открыл. Вот мы с вами рассуждаем о высоких материях, вы сидите в кресле, я расхаживаю по комнате. А в это время в нас свершаются чудеса. Сердце ежесекундно прополаскивает нас, как бутылку из-под молока. Желудок, печень, легкие, всевозможные железы работают со всем усердием. Клетки, кирпичики всего сооружения, погибают, отмирают, на их место изготавливаются новые, и мы к концу нашей приятной беседы в значительной мере... гм... обновимся, будем уже не те, кто начинал разговор. А ведь это всего лишь клетки. Что же происходит в обществе? Как обстоит дело с человечеством? Дарвин открыл закон развития органического мира, Маркс открыл закон развития человеческой истории, — об этом говорил еще Энгельс в речи на могиле Маркса, а сейчас это говорят на уроках школярам.

«Все, что он сейчас говорит, правильно, — думал между тем Марков, но рассказ о девушке, уступившей ему место в трамвае, потрясающ».

Крутояров с преувеличенным усердием развивал мысль об эволюции, о смене эпох... Марков понимал, что о страхе перед надвигающейся старостью Крутояров проговорился нечаянно, и теперь Марков с интересом наблюдал, как Крутояров петляет, стараясь увести подальше от этой темы:

— Когда я родился, не было еще автомобиля. Радио еще не звучало. Не было кино. Все было накануне своего свершения. Академик Павлов приближался к мысли о рефлексах, Александр Степанович Попов докладывал об изобретенном им радиотелеграфе. Яблочков освещал улицы изобретенными им электрическими свечами. Зарницы будущего! Отец русской физиологии Сеченов только что написал свои замечательные «Психологические

этюды». Весь устремленный в завтрашний день Циолковский разрабатывал теорию реактивного движения и грезил о звездоплавании. Возникла электронная теория материи, породившая растерянность и смятение умов. Ленин разрабатывал программу той партии, которой суждено открыть новую страницу мировой истории. Таким образом, в недрах девятнадцатого века вынашивалось то новое, что двадцатому веку надлежит претворить в жизнь. И если взглянуть на вещи так, отмирание мельчайших клеток общественного организма покажется не столь ужасным. Но что меня приводит в ярость, когда подумаю о гибели Котовского, — это не смерть, смерть — она что же — обязательна. Но этот беспардонный разгул жалких шавок! И на кого поднимают руки! Сколько Котовскому было лет? Сорок четыре? Здоровый, полный замыслов, энергичный... и вдруг является такая тля, что и мизинца Котовского не стоит со всеми своими предками и потомками, — и обрывает жизнь! Я понимаю, конечно, у нас такие уж установки — гуманность и все прочее подобное... Но я бы... На мой бы вкус... Убить — мало! Вы помните такую фамилию: Муравьев? Из эсеров, командовал Восточным фронтом и переметнулся на сторону врагов. Какое воззвание написал тогда Ленин!.. Заканчивалось оно так: «Бывший главнокомандующий на чехословацком фронте левый эсер Муравьев объявляется изменником и врагом народа. Всякий честный гражданин обязан его застрелить на месте». А? Как вам нравится? По-моему, великолепно. Что в самом деле? Кичаться с ними? Я за гуманность. Бывает, когда самое гуманное — на месте застрелить подлеца.

— Вы, Иван Сергеевич, выстрелили хоть раз в жизни?

— Не случилось. Белобилетник. Но тут я бы не утерпел. Это был бы, очевидно, первый мой выстрел.

Девятнадцатая глава

1

Рябинину стукнуло шестьдесят. Он смертельно боялся адресов, поздравлений, тостов и тщательно скрывал эту дату, даже пустил слух, что уезжает не то в Австралию, не то на Алеутские острова, причем на длительный срок, так что и неизвестно, когда возвратится.

Следовательно, опасность визитов отпала.

Но все-таки он ждал, что его поздравят хотя бы его собственные дети. На это-то он мог рассчитывать? Но они, видимо, забыли, так-таки взяли и забыли.

Рябинин приказал накрыть роскошный праздничный стол, весь дом устали живыми цветами, лакеи, похожие на сенаторов (поскольку и сенаторы ходят на лакеев), сверкали белоснежными манишками, горничные полны были тошнотворной преданности и безграничного усердия, прямо пропорционального полученным чаевым.

Рябинин проснулся в этот день в отличном расположении духа, напевал что-то такое из «Сильвы» и придумывал поучительные нравоучения, которые преподнесет детям. Но дети не пришли.

Рябинин постепенно становился задумчивым, обиженным, затем раздраженным и язвительным и с каждым часом все более свирепел.

Прелестная дочка, выскочившая за этого норвежского кретина, от которого воняет треской, могла бы на худой конец прислать поздравительную телеграмму, если уж ей никак нельзя выбраться поздравить отца, если никак невозможно на три каких-нибудь дня расстаться со своей Норвегией, чтобы ей ни дна ни покрышки, чтоб она провалилась в тартарары.

А сыновья — бог им судья, — у них, видите ли, банкет в чертовой Ecole normale, военной академии в Париже, где придумали готовить к войне — с кем, спрашивается, и за кого? — сынков белых офицеров и сынков белой знати, пригодных разве на то, чтобы играть в бридж. Не могли сыночки пожертвовать банкетом ради отцовского юбилея!

На всякий случай Рябинин припарадился, хотя и не любил фрак и всякий раз, натягивая его, думал, что делает кому-то уступку, а мог бы при своих-то капиталах плевать на все моды и на этикет.

Видя во всех зеркалах свое отражение, Рябинин отводил душу, проклиная весь свет, и в то же время никак не мог отделаться от привязавшегося с утра мотива, который так и вертелся в уме.

«Уж не думают ли они, что из-за празднования юбилея этой дурацкой академии их отец перенесет свой день рождения на более удобный для них срок? Дождитесь! На третий год, когда черт умрет! („Сильва, ты меня не любишь...“). Вскормил на свою беду остолопов! Ах, им нужно усиленное питание! Ах, их нужно вывести в люди! Тут няньки, тут мамки. Не все княжеские отпрыски такое воспитание получали. Вот теперь любуйся! Воспитал!»

Во фраке Рябинин выглядел молодежлив. Никаких мер не принимал, а вот не отрастил брюшко. Хорош. Хоть сейчас жениться. Черта с два, как бы не так!

Поразмыслив, Рябинин решил, что по случаю торжества сыновей, конечно, не могли отпустить из академии. Стало быть, они отпросятся только вечером и останутся дома ночевать.

Настал вечер. Сыновья не являлись.

Отлично, он может отпраздновать свой день и один. Да и кому, кроме него самого, интересно, что некий русский промышленник и миллионщик Рябинин родился ровно шестьдесят лет назад, прозябает теперь в изгнании, злится на весь мир и все никак не соберется покинуть эту плачевную юдоль, променяв ее на вечное блаженство?

Разумеется, Рябинин не пошел на торжество, на кой ляд сдалась ему Ecole normale вместе со всеми лягушатниками да и всей стаей шакалов, которые лязгают зубами вокруг России. Говорят, сегодня там предстоит полное собрание иконописных епископов, породистых русских князей и княгинь, из тех, что все еще не профершпилились, живя на широкую ногу в Париже, а также храбрых русских генералов, проигравших большевикам все сражения. Конечно, не обойдется и без нефтяной цистерны — сэра Детердинга, вообразившего почему-то, что русские дела лично его касаются («Сильва, ты меня за-гу-бишь!»).

Рябинин изнывал от безделья. Входил в роскошно убранную столовую, отделанную деревянной резьбой под боярские хоромы и как будто скопированную с полотен Васнецова. Входил, фыркая, озирая батареи бутылок и сверкающий голубыми, розовыми, рубиновыми искрами старинный хрусталь. Стол был накрыт на двенадцать персон, сыновья могли привести своих приятелей.

«Да у меня тут не хуже Ecole normale!»

Рябинин, обращаясь к фужерам и графинам, восклицал:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Рад вас приветствовать в день моего рождения!

Шутка не удалась, получилась довольно кислой. А уж до того хотелось Рябинину отколоть какую-нибудь экстравагантность! Например, посадить за стол всю прислугу — поваров, шофера, горничных — и чокаться с ними: «Ваше здоровье!» Или нагнать с бульваров дюжину шлюх и напоить их до бесчувствия...

А не спокойнее ли будет сесть одному за стол, плотно поужинать, выпить бокал шампанского и лечь спать? Зачем шуметь? Чтобы безобразничать, нужно быть чуточку моложе.

Рябинин бродил, как неприкаянный, по огромной безмолвной квартире. Не пойти ли гулять? Говоря откровенно, ему опротивел Париж, с его пустопорожней болтовней и неинтересными притонами, с его птичьим рынком на набережной De la Cite, с птичьей политикой, птичьими нравами и птичьими глазками проституток. Его раздражало все: и русские кабачки, и Наталья Лысенко на кинорекламах, и нудные споры, кто лучше — Кирилл Владимирович или Николай Николаевич. Все тут омерзительно. Климат дрянной. Людишки мелкие. Герб Парижа — корабль. Только куда он плывет? Чего стоят одни продавцы устриц,

креветок, каштанов, порнографических открыток и «*petites filles*»!

«Да, я люблю Россию, — размышлял Рябинин, любясь коллекцией расписных матрешек, палехских шкатулок, ярмарочных свистулек, резьбой по кости — кустарными русскими поделками, приобретенными за бешеные деньги. Но что такое Россия? И люблю ли я русский народ? Смотря какой. Русский народ с красными флагами? Сидели бы, делали палехские шкатулки!»

Эти мысли Рябинин переворачивал так и сяк, постоянно к ним возвращался, и они ему осточертели не меньше, чем парижские устрицы. Все было ясно. Россию любит, коммунистов ненавидит. Стоит ли толочься на месте? Допустим, что так. Россию любит, коммунистов ненавидит. Успел вовремя ретироваться и не побывать на Лубянке. И все. Слава богу. *Tout est bien, qui finit bien...*¹⁰

Заметив, что «французит», за что сам же постоянно шпыняет сыновей, Рябинин рассвирепел, выругался (на этот раз по-русски) и решительно направился в столовую.

В доме на правах экономки была такая Анастасия Георгиевна, из бывших.

— Покормите меня, — обратился к ней Рябинин, делая вид, что ничего нет особенного в том, что он в такой день садится за стол один. — Нет чтобы напомнить, что пора ужинать!

— Я думала, Сэргэй Стэпаннович... — начала было она (от ее прошлого у нее ничего не осталось, кроме этого, как она воображала, французского прононса).

— Не знаю, что вы там думали. Распорядитесь, чтобы подавали.

В этот самый момент раздался звонок. Рябинин так и просиял. Против воли на лицо напознала глупейшая счастливая улыбка. Пробовал хмуриться, ничего не получалось.

«Примчались-таки мальчишки! Сейчас начнут оправдываться, совать мне сувениры и рассказывать, как сэр Детердинг двигал вставной челюстью и призывал их к войне с коммунизмом. Ну, и задам же я им перцу, паршивцам!»

— Господин фон дер Рооп, — доложила горничная.

Рябинин опять выругался, но по-французски:

— *Canail sot espes!* Что надо этой немецкой обезьяне? Не слишком ли он теряет представление о расстоянии между нами, чтобы запросто лезть в мой дом?

И все-таки Рябинин сказал стереотипное:

— Проси.

Уж очень ему тоскливо было ужинать в одиночестве.

2

Фон дер Рооп прежде всего рассыпался в извинениях:

— Если бы не исключительные обстоятельства... Если бы не известие о вашем отъезде... Сознаю, что с моей стороны слишком смело... — и так далее, и так далее.

Затем начались комплименты:

— Какое великолепие! Какой вкус! Буквально музей! Бог мой! А коллекция! Надо отдать справедливость — русские большие мастера. А это кто? Коровин? Во Франции его не понимают. Какие смелые мазки, какая игра тонов!

Рябинин подумал не без ехидства:

«Когда дурак вас похвалит, он не кажется уже вам таким глупым. Верно подмечено. Вот и фон дер Рооп мне начинает нравиться».

И неожиданно для себя пригласил посетителя отужинать.

Новые возгласы восторга и удивления:

— О-о! Столовая... это сказка! Билибин! Честное слово, Рерих и Билибин! Но что я вижу: такой стол... Кажется, я все-таки не вовремя? Вы кого-нибудь ждете?

— Особенно никого. Сегодня праздник в *Ecole normale*, решил порадовать мальчиков.

— Ах так? Приятно. Польщен. Мне просто везет.

¹⁰ *Tout est bien, qui finit bien* — все хорошо, что хорошо кончается (франц.).

«Вот и Ecole normale пригодилась», — подумал Рябинин. А вслух пояснил:

— Они придут очень поздно, когда мы уже будем спать-почивать. Молодежь, знаете ли! Они еще зайдут по пути домой в два-три ночных бара. Словом, это не должно нас беспокоить.

Говоря это, Рябинин все еще надеялся, что сыновья, хотя и с запозданием, придут. Вот тут-то и пригодится этот «фон». Они увидят, что никто их не ждет и за них не волнуется.

Минуты шли. Их с важностью и неторопливостью отсчитывали огромные часы в столовой, массивные, похожие на великолепное надгробие, под которым погребены останки времени.

«По-видимому, они совсем не придут... Щенки! Вертихвосты! Хотя бы позвонили!»

Рябинин снова свирепел. Щеки его стали малиновыми. Он жевал, кхекал, кряхтел и орудовал ножом и вилкой так, будто кромсал своего врага.

Что-то ему показалось не так, что-то не так подали, он швырнул салфетку, оскалился, но заметил взгляд фон дер Рооп, сдержался и только тихо зарычал.

— Да-с, господин фон дер Рооп... М-м-да. Сегодня будем говорить без переводчика, не так ли?

Фон дер Рооп всплеснул руками, изобразив, что принял эту шпильку как забавную шутку.

— Пфе... пфе... Клянусь, хорошо сказано. О да! Совсем без переводчика. И почему бы нам не говорить по-русски? Мы оба русские и оба в изгнании.

Отплатив таким образом щелчком за щелчок, фон дер Рооп и глазом не моргнул и продолжал восторгаться:

— О-о! Пфе-пфе! Тогда сначала я немножко притворялся, что не понимаю по-русски, потом вы немножко притворялись, что не знаете немецкого языка. Это очень смешно!

— Вы хотели сказать, мы оба родились в России, а не хотели сказать, что мы оба русские, — поправил Рябинин. — Ведь если кошка окотилась в конюшне, нельзя же утверждать, что котята лошади.

Замечание было справедливо, хотя и не слишком любезно. Однако фон дер Рооп пропустил его мимо ушей. Он пришел не для того, чтобы ссориться. Он точно установил, что Рябинин — один из самых состоятельных русских эмигрантов. А так как он и один из самых яростных врагов коммунизма, то они могут найти общий язык.

Кто бы ни приходил к Рябинину, первой мыслью его было — не хотят ли попросить денег. У всех у них на уме деньги. Тогда только и вспоминают о Рябине, когда приспичит. Говорят, бедный имеет мало, скупой того меньше. Рябинин не был скуп. Но он терпеть не мог швырять деньги на ветер. Если давал, значит, считал выгодным, пусть выгодным не в узком смысле слова, но в каком-то отношении полезным для себя.

Ротшильду приписывают слова, что недостаточно любить деньги, надо, чтобы и деньги любили тебя. Деньги любили Рябинина. У него их было слишком даже много. Рябинин жил в убеждении, что так оно установлено природой, деньги считал своей добродетелью и, как творец вселенной, взирая сверху, награждал праведных, лишал своей милости неправедных, вершил страшный суд.

Все у него подчинено мысли, что он безошибочен, что он вправе управлять судьбами людей. Он избранник, а смотрите, как прост в обращении! Как скромнен в личной жизни!

Рябинин стремится говорить только по-русски: ведь он — русский бог. Что? Для капитала не существует национальных границ? Неправда, капитал разбирается, где чужое, где свое. Свое он присваивает, чужое заглатывает. Деньги — заядлые политиканы, в том-то и дело.

Рябинин во всем подчеркивает, что он русский, русский. Любит русские простонародные выражения, другой вопрос, искренне ли, но утверждает, что нет для него ничего вкуснее, как русские щи да каша: щи да каша — пища наша. Он и носил в былое время в Петербурге русскую косоворотку, сапоги со скрипом, щегольской купеческий кафтанец, а зимой как прокатит по Невскому в шубе на лисьем меху с бобровым воротником,

в бобровой шапке с бархатным верхом — все знают: Рябинин.

Обычно же ходил пешком, хоть и рысаки у него отменные и машины лучших зарубежных марок. Церковь посещал, но больше для форсу. Он чуточку играл в протаска, в Тита Титыча, при всей своей образованности.

Как переехал в Париж, эти причуды пришлось свести до минимума, чтобы не прослыть чудачком. После домашних сцен махнул рукой и на детей: они уже говорили по-русски с ошибками и заметным акцентом. Иностранцы!

Так шаг за шагом сдавал одну позицию за другой. Остались в утешение одни ярмарочные матрешки, как у экономки Анастасии Георгиевны ее произношение в нос. Одиночество! Даже Сальникова нет с его цинизмом. Даже Бобровников уехал, не с кем о бескровном вторжении потолковать. Соратников по Торгпрому Рябинин недолюбливал: ни ума, ни воображения. Дерьмо. Вот и докатился, можно сказать, до ручки, в день шестидесятилетия сидит один с этим, прости господи, представителем «высшей расы».

Эти безрадостные мысли промелькнули у Рябинина, пока он подкладывал себе на тарелку маринованных грибов.

— Ну-с, — произнес он наконец, охотясь за ускользящим грибом, — о чем будем говорить? О Ницше? О разведении блондинов? Читал, читал сочинение Германа Бальтцера! Чувство любви — гуманитарное суеверие, женщина — родильный агрегат. Создать случайные пункты, взять на учет белокурых девушек и выводить от них белокурую породу, скрещивая их с брюнетами.

— Вы все шутите, — сдержанно отозвался фон дер Рооп, — а мне хотелось бы говорить о серьезных материях и с предельной откровенностью, какая только возможна между единомышленниками и деловыми людьми.

— Какие уж шутки! Вы говорите так, словно это я издал книгу Бальтцера «Раса и культура». А ведь издали-то ее вы. Или еще один шедевр: «Давать образование неграм — преступная насмешка...»

— У вас завидная память. Но об этом ли надо говорить в исторический момент, переживаемый нами?

— Все моменты — исторические. Например, этот процесс фальшивомонетчиков у вас в Германии...

— Что же в нем исторического? Обыкновенное уголовное дело. Грузинские меньшевики Карумидзе и Садатирашвили изготовили целые кипы фальшивых советских червонцев...

— И все? И это вы призываете к предельной откровенности? А как же быть с внезапной смертью генерала Макса Гофмана? Не следует лгать больше, чем это вызывается необходимостью!

— Не отрицаю, Гофман был замешан, как и сэр Детердинг.

— Кто еще?

— Если вы знаете, зачем же спрашиваете?

— Замешано верховное германское командование?

— Возможно. В общем, дело замяли, признали, что соучастники действовали по бескорыстным политическим мотивам и заслуживают оправдания.

— Вот и говорите после этого, что деньги — не квинтэссенция политики!

— Именно потому я и удивлен, что вы держите деньги мертвым капиталом. Крепя сердце, новая Германия, мы, нацисты, берем деньги у Америки. Кто знает, не настанет ли пора, когда мы схватимся с заокеанскими акулами... Но сейчас деньги приходится брать — вы, например, ведь не даете? Приходится использовать Америку для своих целей.

— Все воображают, что кого-то использовали. Америка рассчитывает сравить Германию с Россией и обескровить обе стороны. Англия и Франция давным-давно заключили L'accord Franco-Anglais относительно разделения зон влияния после захвата России: Англия получает кавказскую нефть и Прибалтику, Франция — Донбасс и Крым...

— Донбасс? Как бы не так! — взметнулся фон дер Рооп и даже перестал жевать. —

Любят они, чтобы чужие дяди доставали им каштаны из огня! Посмотрим, как они заговорят, когда германские войска хлынут на русские равнины! Тогда и разберемся, где чья зона!

— Я слышал, опять решили отложить начало войны?

— Будто бы французы еще не готовы. Вранье! Сэр Детердинг категорически заявил, что война начнется летом тридцатого года.

— И конечно, это будет уже не бескровное вторжение? — усмехнулся Рябинин, вспомнив о романе Бобровникова.

— О нет! Крови будет много, — оживленно возразил фон дер Рооп. Сейчас как раз и стоит на повестке задача о механизации убийства. В старину, чтобы казнить одного, воздвигали помост, наряжали палача в красную рубаху, пригоняли на площадь войска, выстраивали караул, приказывали барабанщикам отбивать дробь — и тогда только отрубили одну-единственную голову. Теперь будет не так. Совсем не так! О-о!

Рябинину показалось странным необыкновенное оживление фон дер Роопа. Он посмотрел внимательнее и понял: фон дер Рооп был пьян.

3

В конце 1929 года все было наконец утрясено, согласовано, вот-вот должны были все капиталистические страны обрушиться на Советский Союз, оставалось утрясти кой-какие разногласия.

— Освобождение России может произойти гораздо скорее, чем мы все думаем! — вещали заправилы политической жизни.

Дивизии были укомплектованы, дула орудий наведены...

И вдруг из-за океана прилетели потрясающие сообщения, которым никто не хотел верить: там, на Уолл-стрит, на Нью-Йоркской бирже, голубые экраны взбесились, выскакивающие на них значки и цифры вышли из повиновения, все рушилось, все падало, разлеталось на куски. Лопались банки, разорившиеся фабриканты пускали пулю в лоб или выпрыгивали из окна, выбирая повыше небоскребы.

Рябинин только что прочитал в «Нью-Йорк таймс» заявление президента «Нейшнл сити бэнк», что положение в США является фундаментально прочным, и, представив при этом самодовольную жирную физиономию банкира, подумал с раздражением: «Вам-то что! Вы и в ус не дуете!» И вдруг — все полетело вверх тормашками!

Рябинин внимательно следил за газетами. Недурно бы сейчас взглянуть на главный зал биржи сверху, с галерки, куда пускают широкую публику. Любопытное зрелище — поглазеть на ошалелых, вытаращивших глаза, что-то выкрикивающих, мечущихся около стоек, топчущих обрывки бумаг биржевых игроков, на выносимые оттуда трупы разорившихся самоубийц.

Продано в один день тринадцать миллионов акций!

Продано в один день шестнадцать миллионов акций!

Застрелился Кребс! Знаменитый Сидней Кребс! Покончил с собой Ричард Рамсэй!..

Кукурузу зарывают в землю! Кофе пускают на растопку печей! Транспорты рыбы выбрасывают обратно в море!

— Это все, — мрачно говорил Рябинин, откладывая газету. — Мир сошел с ума.

Кабинет Гувера — правительство миллионеров, как его именовали, совещался. Давно ли Гувер провозглашал «вечное процветание»? Где оно, вечное процветание? Кризис перекинулся и в другие страны. Сам Бенито Муссолини вопит. Американский биржевой крах он расценивает как взрыв бомбы.

— Мы поражены не меньше, — вещал он, — чем был поражен весь мир смертью Наполеона.

Прочитав эту фразу, Рябинин спросил:

— При чем тут Наполеон?

Гораздо более встревожили Рябинина мрачные прогнозы директора английского банка

Монтегю Нормана: в этом банке лежали деньги Рябинина. Но в конце концов все эти бури его мало касаются. Море бушует, а его шхуна прочно сидит на мели.

Когда к Рябинину в дом ворвался растрепанный, полупомешанный, с мутными глазами все тот же фон дер Рооп, Рябинин не только не пригласил его к ужину, но еле поздоровался и не предложил сесть.

— Я вас слушаю.

Фон дер Рооп без всякого приглашения упал в кресло:

— Я погиб. Я разорен.

— Вот как? И вы были настолько любезны, что пришли сообщить мне об этом?

Фон дер Роопа не образумили ни ледяной тон, ни жестокие реплики. Он был невменяем.

— Господин Рябинин! Мне не к кому больше обратиться... Спасите меня! Под любые проценты!.. Я из осторожности, не зная, что ждет еще Германию, вложил капиталы в одно итальянское предприятие. Оно лопнуло. Но есть еще шанс сохранить его... Господин Рябинин!..

— Я не совсем понимаю, при чем тут я. Даже если бы мы были родственниками. Но мы и не родственники, насколько я знаю.

Наконец до сознания фон дер Роопа дошли слова Рябинина. Он бы разразился упреками, проклятиями, но у него не было сил и на это. Он встал, повернулся и, пошатываясь, побрел к двери.

— Больше этого господина не впускать. Надеюсь, вы его запомнили?

Только сейчас понял Рябинин, как ненавидит этого человека.

Когда закрылась дверь за этим прогоревшим коммерсантом, Рябинин сначала радовался, самодовольно посмеивался, припоминал подробности разговора, а главное, свои реплики. Они казались Рябинину верхом остроумия. Рябинин уж так-то был доволен, что отбрил этого «фона»! Вот бы рассказать кому-нибудь, как все это произошло! Вот бы посмеялись!

Рассказывать, оказалось, некому. У Рябинина не водилось друзей. А теперь даже собственные сыновья — и те нос задрали. Вот и верь после этого, что яблоко от яблони недалеко откатывается!

Настроение Рябинина резко упало. Особенно было ему досадно, что не на ком сорвать злость, некому ни пожаловаться, ни поплакаться.

«Поплакаться?! — все больше распалился Рябинин. — Ну нет, этого они от меня не дождутся!»

«Они» — это, конечно, сыновья с их чертовой Ecole normale, в которой они пропадают.

И Рябинин, расхаживая по пустынным залам своей огромной квартиры, придумывал самые изощренные козни и каверзы, какими он отомстит неблагодарным детям.

О дальнейших поступках Рябинина было немало пересудов. Многие были даже склонны объяснять все это или старческим слабоумием миллионера или состоянием аффекта.

В самом деле, ну к чему было покупать какой-то там остров, затерявшийся в водах Тихого океана?

Конечно, экстравагантных выходов архимиллионеров и без того предостаточно. Все бульварные газеты переполнены описанием то безумной роскоши пиршеств известных магнатов, то перечислением самых невероятных причуд. Чего стоят одни модные мастерские, салоны, парикмахерские, специально обслуживающие болонок и фокстерьеров богачей! А баснословные цены конюшен и прогулочных яхт?

Очевидно было одно: Рябинин во что бы то ни стало хотел растратить свои миллионы, ничего не оставив в наследство сыновьям.

Сначала выходы Рябинина доставляли богатый материал журналистской братии. Но затем и они сбились с толку.

Ходили слухи, что Рябинин на необитаемом острове строит православный храм, точную копию московского храма спасителя. Ходили слухи, что в этом пустом храме

непрерывно будет идти богослужение, а колокол, которого никто, кроме акул, не сможет слышать, непрерывно будет звонить.

Почтительный и одновременно наглый поверенный в делах Рябинина сказал:

— Вот, как говорится, и сон в руку: то вы пустили слух, что уезжаете на Алеутские острова, чтобы не одолевали визитеры, а теперь, видимо, всерьез решили проветриться?

— Теперь всерьез. Потянуло на экзотику. Хочу, чтобы тропики, обезьяны, апельсины всякие. Это в нашем русском характере есть: грешим-грешим, а потом в монастырь ударимся да в схимники. Вот если бы кто воевать с Германией стал, составил бы я дарственную на энную сумму, чтобы на нее изготовили парочку снарядов и пустили их в некоего фон дер Роопа. Прямой наводкой. В лоб. Ладно, пустое это. Выхожу из игры. А снарядов и без меня наделают.

Но Рябинин не выходил из игры. Известно, что он оставил миллион «тому, кто когда-нибудь ворвется в красную Москву во главе войска». Оставил и сказал с досадой:

— Пропал миллион. До сих пор не сумели, так уж, видать, и дальше не получится.

Еще вложил крупную сумму в издательское дело — для расходов на выпуск пасквильных сочинений, унылых и непригодных для чтения, но предназначенных, как уверял Рябинин, «для изничтожения всех коммунистов на земле»...

Затем, считая, что все выполнил, и сам Рябинин исчез. Сыновья пробовали его разыскивать, но безуспешно.

4

В эти дни последнюю ставку делал и Гарри Петерсон.

Все началось как будто с пустяка — с нервного расстройства. Доктора уверяли, что ничего особенного, просто переутомление. И все, кто знал Гарри, говорили, что он отлично выглядит, что у него прекрасный цвет лица.

«Может быть, цвет лица и прекрасный, — думал Гарри, — но самочувствие препакостное и хандра».

Стал принимать какие-то патентованные пилюли. Взял за правило прогуливаться. Вскоре выкинул за окно пилюли и прекратил прогулки.

«Хандра у меня от бездеятельности. Сколько средств, сколько изобретений — и какие плачевные результаты!»

Служащие «оффиса» жаловались, что с шефом стало трудно работать. Он стал придиричив, раздражителен, а главное — никому не доверял и всех в чем-то подозревал.

— Вы говорите, что сами лично побывали в Москве? А как вы переходили границу? — придирился он. — А почему вы не повидали дядю Коку? Ах, арестован? А от кого вы узнали, что он арестован?

Ночами ему было особенно тошно. Гарри лежал с открытыми глазами и вглядывался в темноту. В последнее время он стал плохо спать. Не помогали никакие снотворные. Он стал избегать спиртных напитков, зато пристрастился к кокаину. Однако это увлечение его пугало. Ведь так можно сойти с ума.

Сколько он уже лежит не засыпая? Час? Два часа? Или несколько минут? Чего проще — зажечь свет и посмотреть на часы. Но у него появился странный разлад с самим собой. Присмотрелся — и медлит. Изменит намерение, а потом все же поступит так, как думал раньше. И еще — выработалась привычка некоторые слова произносить вслух и как бы разговаривать с самим собой.

Вот и сейчас Гарри Петерсон вслух произнес:

— Все дрянь. Все.

Произнес и засмеялся. Но тут же ему стало не по себе, ему не понравился свой смех, ему показался страшным свой смех. Однако он не удержался и снова произнес внятно, с упрямой настойчивостью:

— Я сказал, все дрянь. Кто дрянь? Люди.

Гарри Петерсон стал размышлять о своей жизни. Да, надо признаться, жизнь не удалась. Кто виноват? Во всем виновата одна Люси. Да, и она, и все остальные.

Гарри Петерсон поймал себя на осторожной юркой мыслишке: а что, если эту самую Люси... Почему бы нет? Даже нанимать не надо, это охотно выполнит любой из его агентов? Чик — и готово. Вот ведь могу я поступать так, как хочу. Хотелось мне опять произнести вслух «чик — и готово», однако я не разрешил себе произносить вслух «чик — и готово» — и не произнес!

Гарри Петерсон подробно рисует перед собой всю эту картину: вот он посылает своего агента, агент знакомится с Люси, проникает в ее дом, втирается в доверие, затем находит удобный случай, чтобы подсыпать ей в бокал вина этакое — ха-ха! — сильнодействующее снотворное... от которого не просыпаются...

А собственно, зачем? Пусть себе живет! Если честно сказать (а он может сам себе честно, совсем честно, начистоту сказать) — дело вовсе не в Люси. Да и нужна ли ему Люси? Что ему, женщин не хватает?! Не выдумал ли он всю эту мерихлюндию: любовь, брак, старинный княжеский род, родовое имение?.. На черта ему нужна Люси, пропади она пропадом вместе со своей стервой, молодящейся ведьмой-мамой!

Гарри Петерсон все больше распаляется, наливается ненавистью, злобой и некоторое время выискивает самые отвратительные ругательства, самые гнусные выражения, самые оскорбительные эпитеты по адресу своей бывшей жены. И не сразу замечает, что всю эту грязную ругань опять-таки произносит вслух, даже выкрикивает ее, даже визжит при этом.

Вспышка утомила. Некоторое время Гарри лежит неподвижно, в полузабытьи.

«Не думать. Не думать. Спать!» — приказывает он себе и тотчас, вместо того чтобы спать, начинает думать, думать, перебирать в памяти все подробности своей непрекращающейся ожесточенной борьбы с неким многоликим, многоголовым, все растущим, разрастающимся, все больше набирающим силы врагом — с коммунизмом. Вот чему посвящена жизнь Гарри Петерсона. И сколько усилий, сколько планов, сколько кровавых затей!

Гарри пристально смотрит в темноту.

Вот что истрепало мне нервы! Переходы от надежды, от предчувствия полного успеха к полному отчаянию и разочарованию... Другие люди живут обыкновенной, простенькой, как дешевые обои, жизнью: женятся, заводят детей, служат, торгуют, гастролируют, изобретают... и еще — ходят в кино, в гости, путешествуют, дают чаевые, соблюдают режим в санаториях... А что он? Гарри Петерсон? Он изо дня в день встречается с наемными убийцами, шпионами, авантюристами... осторожно выведывает... дает задания... знает всю подноготную, все тайные сговоры и интриги, всю засекреченную международную возню... Он знает о таких злодеяниях, о таком предательстве, что давно утратил веру в искренность и человечность, в хорошие побуждения и честные поступки. Он подозревает всех. Он принюхался к запаху крови. Он воспринимает расправу, резню, смуту, науськивание одних на других — все, что служит его затее, — какой-то сатанинской шахматной игрой.

— Скажите, а кому можно верить? — отбросив всякую осторожность и осмотрительность, снова вслух спрашивает Гарри Петерсон. И даже обращается к себе на «вы».

Хе-хе! Вчера он встречался опять с этим немцем. Они сидели в кафе, разумеется, в отдельном кабинете, и каждый из них, разумеется, позаботился, чтобы их не могли подслушать. Фон дер Рооп говорил исключительно парадоксами. Он уверял, что правда — понятие условное и у каждого своя правда, что правильность любой политической идеи вообще недоказуема и никакого значения не имеет, противоречиво ваше учение или содержит зерно истины.

— Поменьше научных обоснований! — кричал, вытаращив глаза, фон дер Рооп. — Поменьше логики! Не забывайте, что народ — дурак, накачивайте его, воздействуйте на настроение толпы, взвинтите — и толпа ринется за вами!

Гарри Петерсон слушал, невыразительно улыбался, а сам думал:

«Тебя, милый мой, интересует другое. Тебе хочется, чтобы Америка, Англия, Франция и вообще любой добрый дядя помогли тебе встать на ноги, окрепнуть, а тогда ты под соусом борьбы с коммунизмом заодно сожрешь и нас. Все ненавидят всех. Господину фон дер Роопу нравится, что я специализировался на подрыве мощи Советской России. Фон дер Рооп тоже хочет ее гибели. Он мечтает завоевать Советскую Россию, поэтому старается внести раздор, усыпить подозрительность, развалить сельское хозяйство, использовать там каждую страстишку, каждую порочную склонность — но с какой целью? Чтобы стать самым сильным и поработить весь мир. Пой, ласточка, пой! Гарри Петерсону все эти ходы вот как известны-переизвестны. Но ради чего? Конечно уж, не для того, чтобы, черт возьми, русская нефть, русское железо, русский хлеб помогли этому пивному выскочке, этому тупоумному фон-баронишке прижать к ногтю могущественные Соединенные Штаты! Мы еще посмотрим, кто кого!»

Петерсон знал, что фон дер Рооп разорился, говорили даже, что он хотел выброситься из окна девятого этажа. Видимо, какая-то добрая душа вызволила. А жаль. Очутился бы там Гарри, он бы даже помог ему взобраться на подоконник.

5

Утром Гарри Петерсон встал поздно и в дурном настроении. Нехотя принял ванну, нехотя сел завтракать, вяло просматривал газеты.

Что такое? Не мерещится ли ему? Еще и еще раз перечитал газетную заметку лондонской «Таймс». Вот это новость! Арестован — кто бы вы думали? — Сальников! При попытке перейти советскую границу! В тюрьме он выступил с заявлением, что полностью признает вину, полностью раскаивается и готов рассказать о всех своих заграничных связях и контактах. Английская газета негодовала и решительным образом опровергала все от начала до конца. Она делала предположение, что этот авантюрист Сальников действительно пытался перейти русскую границу и был убит пограничной стражей, а теперь русские хотят инсценировать судебный процесс, на котором будет в качестве подсудимого выступать подставной агент ГПУ и разоблачать иностранную разведку.

«Может быть, дело обстоит так, может быть, иначе, — усмехнулся Петерсон. — Одно несомненно, что Сальникову капут, а ведь я только что собирался сделать на него ставку!»

Сообщение газеты подействовало лучше, чем стакан крепкого кофе. Вялости и хандры как не бывало. Снова Гарри Петерсон готов был хитрить, интриговать, подсылать своих людей, выслушивать донесения... А так как он намеревался не впрягаться в телегу германской разведки, а проводить самостоятельную линию, то вскоре пришел к выводу, что ему необходимо лично побывать в Советской России и на месте дать указания своим агентам, успевшим там акклиматизироваться.

Ближайшие сотрудники Петерсона советовали ему поостеречься, выяснить сначала все, касающееся провала Сальникова, и тогда только переправляться через русскую границу.

— А вы уверены на все сто процентов, что Сальников не был чекистом? спросил Петерсон, ехидно усмехаясь. — В нашем положении, сэры, ни за кого нельзя ручаться и во всяком случае следует всегда быть готовыми иметь дело с двойником. Святая Мария, до сих пор наши агенты без особенного риска пробирались в Петроград, в Москву и снова возвращались к нам с добрыми материалами. Не знаю, что там случилось с этим самым Сальниковым. Убит ли он, как клянутся английские газеты, или поныне здравствует... Я не удивлюсь, если он даже не Сальников... Но я допускаю и тот вариант, что он в самом деле арестован. Но может быть, арестован по плану? По предварительной договоренности? Тут все варианты возможны!

Сотрудники Гарри Петерсона с некоторым скептицизмом слушали рассуждения своего патрона. Обычно он был не столь многословен. Что касается высказанных им положений, тут спорить не приходилось, они и сами знали, что в той дьявольской игре, в которой они участвовали, в этом политическом покере самая суть заключается в том, чтобы перехитрить,

тем более что игра идет втемную.

И вот Гарри Петерсон стал собираться в дорогу. Настроение у него было приподнятое, он что-то напевал, обдумывал, как одеться, придирчиво изучал приготовленные для него подложные документы, разглядывал себя в зеркало, не слишком ли у него «заграничный» вид. Решил, что явится в страну социализма не то чтобы небритым, но небрежно побритым. За свое произношение он не беспокоился. Русские, беседуя с ним, всегда удивлялись, что он говорит без акцента и правильно ставит ударения. На всякий случай в документах значилось, что предьявитель сего — польского происхождения. И фамилию он выбрал соответствующую: Бухартовский. Вячеслав Иванович Бухартовский. Каждый мог сообразить, что «Иванович» — это переделанное на русский лад «Янович». Итак, он будет якобы обрусевший поляк. Родители жили в Привислянском крае, погибли в 1915 году. Семейное положение — холост. И тут Петерсон с мимолетным раздражением подумал, что эта-то рубрика вполне соответствует действительному положению, поскольку жена сбежала. Род занятий? В советских документах есть расплывчатое обозначение «служащий», что означает приблизительно, что ты хотя и не рабочий (это было бы почетно!), но и не какой-нибудь окаянный нэпман и буржуй. Так вот Петерсон и будет по документам «служащий». А если понадобятся подробности, он может рассказать, что перебивается случайными заработками и ищет работенку по вкусу.

Наконец все было готово к отъезду. Гарри Петерсон отдал последние распоряжения, сел в машину и через минуту был уже далеко.

Машина мягко взяла поворот, вымахнула на шоссе и набрала бешеную скорость. Гарри любил быструю езду. Он даже не оглянулся на сотрудников, высыпавших на крыльцо, чтобы помахать платочком и проявить преданность. Он уже мысленно был там, в чужой стране, в дела которой так бесцеремонно вмешивался.

Он перебрал в памяти пароли и условные знаки, которые должны были открыть ему двери и сердца его приверженцев. Все в порядке. Память у него превосходная. Русский язык знает безукоризненно. Да и что говорить, ведь он — старый воробей, о котором русская пословица говорит, что его на мякине не проведешь...

«Гм, а что такое, собственно, означает русское слово „мякина“? — стал экзаменовать себя Гарри. — Это отходы при молотье, скот ест ее неохотно, разве что только в подболтке, с добавкой отрубей и соли... Знаю! Все знаю!»

Однако он чувствовал, что неясно представляет себе многое. Даже улицы Питера, улицы Москвы... Невский проспект, например. Сколько разглядывал его на гравюрах и фотографиях, а все-таки... Или этот, как его... Охотный ряд...

За благополучный переход через границу Гарри не волновался. Он никогда не пользовался чужими средствами, у него были свои, испытанные люди, которых он держал на окладе, хотя они еще больше зарабатывали на контрабанде — это уже приватно, по их собственной инициативе. С ними переход через границу — обыкновенная загородная прогулка. Они сотни раз уже побывали по ту сторону и снова возвращались на эту.

Конечно, сейчас стало труднее. В 1918 году, кто хотел эмигрировать из России, запросто приезжал в пограничный город Белоостров под Петроградом и там напрямик по мостику через реку Сестру уходил в Финляндию и следовал далее, до Брюсселя, Парижа — куда угодно, это требовало только хороших денег. Когда была создана знаменитая ЧК, стало, конечно, опаснее работать, Петерсон почувствовал это сразу. В конце двадцатого года в ЧК был создан Особый отдел по охране границ. Петерсон помнит, что именно тогда у него нарвались на границе два сотрудника. Сами виноваты: привыкли открыто разгуливать, не принимая мер предосторожности. С 1922 года ЧК упразднена. При Народном Комиссариате Внутренних Дел создано Государственное Политическое Управление, ему и поручена в числе других обязанностей охрана границ и борьба со шпионажем. Что ж, ГПУ так ГПУ. Не нами придумано, не нам перестраивать заведенный порядок: в каждом государстве ловят шпионов, а шпионы не переводятся, шпионаж все растет, кадры шпионов обучают в специальных заведениях, изобретатели ломают голову над новейшими видами фотоаппаратов, тайнописи,

микрофонов, сигнализации, придумывают сложнейшие коды, используют все достижения техники... Так уж устроен этот лучший из миров. Тут ничего не поделаешь.

Гарри Петерсон улыбается. Его вполне удовлетворяет такое устройство лучшего из миров.

6

Гарри Петерсон улыбается. С этой горделивой улыбкой на стандартном невыразительном лице Гарри Петерсон — после нескольких пересадок и смены автомобиля на экспресс, экспресса на морское судно — добирается наконец до Гельсингфорса и из Гельсингфорса до порта Териоки. Какая удача: все на местах. Гарри Петерсона просят только набраться терпения — нужно собрать кое-какие сведения, навести кое-какие справки, и тогда можно отправляться в путь.

«Святая Мария, — удивляется Гарри Петерсон, — кажется, я волнуюсь? Не потому что опасно. Ведь существует же поговорка, что умереть сегодня страшно, а когда-нибудь — ничего. Если я и боюсь, то только за успех дела».

Он волновался, конечно, но и виду не подавал. Он встретился в Териоках с представителями антисоветской организации. Это были чрезвычайно образованные, чрезвычайно любезные люди, и главный из них производил особенно сильное впечатление: был толст, солиден, авторитетен, говорил на нескольких языках, и на каждом одно и то же: что гибель советского строя неминуема и что «у них», то есть у этой организации, «все готово и даже намечены точные сроки».

Выяснилось, что этот толстяк присоединится к Гарри. Ему тоже необходимо пробраться в Советскую Россию, он везет деньги, инструкции, явки, планы...

— Помните, мистер Петерсон, этот день, — говорил он, грассируя и лениво цедя слова сквозь зубы, — этот день будет памятной датой: с этого дня начинается новая Россия!

«Судя по его массивному животу, — определил Гарри Петерсон, — он из кадетской партии».

На следующий день они были доставлены к самой границе, их сопровождала специальная финская охрана, любезно предоставленная маннергеймовским правительством. До наступления темноты они укрылись в пакгаузе на берегу пограничной реки. Затем специалисты по переходу границы — угрюмые, неразговорчивые люди — переглянулись, что-то пробормотали понятное только им — и скрылись в темноте.

— Проверяют, нет ли поблизости красного патруля, — пояснил Гарри толстяку, предсказывавшему рождение новой России. — Они тут, как у себя дома, знают каждый куст.

Ждали долго. Но вот угрюмые проводники вернулись, старший махнул рукой, приказывая следовать за ним. Гарри жестом показал на губы: «Ни звука, соблюдать полную тишину».

Старший проводник спустился к воде и стал вброд переходить реку. За ним последовали остальные. Ступали осторожно. Толстяк пыхтел и отдувался. Гарри Петерсон опасливо думал, что в результате такого путешествия заработаешь, чего доброго, ревматизм.

Но вот и противоположный берег. Кажется, все.

Проводник молча шагает к кустарнику. Нет, не все. Оказывается, предстоит еще продираться по болотистой местности, раздвигая мокрые ветки.

Было так темно, что трудно было определить, где кончаются кусты, где начинается небо. Гарри Петерсон в абсолютной темноте шагнул, зацепился за корягу и выругался на чистейшем английском языке — когда спотыкаются, то не пользуются чужим наречием.

Именно в этот момент Гарри услышал окрик, но уже на русском языке...

7

Иван Терентьевич Белоусов сам попросился в пограничные войска сразу же после

трагической кончины Котовского.

— Была бы сейчас война, пошел бы на фронт — уж очень руки чешутся за Григория Ивановича отплатить, — объяснял он свое желание. — Ну хоть на границе подстрелю какого-нибудь гада, все легче на душе станет.

— Так сразу и подстрелишь?

— А что? Свинье одна честь — полено.

— У пограничника задача — захватить, не выпустить да спросить, зачем пожаловал.

— Знаю. Но уж если он попытается скрыться, неужели пули на него пожалеешь?

Службу Иван Терентьевич Белоусов нес исправно, всегда был на лучшем счету. Что всех удивляло — рвался на дежурство, хоть в очередь, хоть не в очередь, позволь ему — так он, кажется, не сменялся бы, вовсе бы не уходил с поста.

Командир погранотряда вот как понимал его, но ведь нельзя забывать, что у чекиста, как говорил товарищ Дзержинский, должны быть горячее сердце, холодный ум и чистые руки. Так будем сохранять хладнокровие! Спокойно!

Командир неоднократно заводил разговор на эту тему. Главное, что и осуждать Белоусова не за что. Ведь Котовский-то был для него отцом, вырастил его, выпестовал, человеком сделал. Как же ему быть спокойным?

— Я, товарищ Белоусов, тоже большой счет могу предъявить врагу, — со сдерживаемой горечью говорил командир. — Да у кого из нас нет такого счета? У кого не осталось шрамов, незаживающих ран?

Белоусов смотрел на преждевременную седину командира, на глубокие складки, которые залегли у его губ. Да, вероятно, многое пережил этот мужественный человек на своем веку.

— А Григорий Иванович Котовский, — продолжал командир, — разве он только ваша утрата, товарищ Белоусов? Нет у нас человека, который бы простил это преступление, который бы искренне не любил Котовского. И можно ли, не помня об этом, ходить по земле, где на каждом шагу — именно на каждом! — на любой лесной поляне, на любой опушке леса, на каждой улице города, в каждом селе — всюду свистели пули, всюду лилась кровь, всюду дымились пожарища, всюду шел бой и неизменно находились защитники, которые отбивали натиск врага?! Сколько жертв! Сколько славных дел! Нет! Никогда мы не простим! Никогда не забудем!

— Вот и я не прощаю, — горячо согласился Белоусов.

— Да, но спокойно, спокойно. Вот что главное.

— За это ручаюсь: не дрогнет рука.

Любил Белоусова командир, любил его душевность. На самые трудные участки посылал. Впрочем, где у пограничников не трудные участки? У них все участки трудные.

И вот пришла удача Белоусову за его долготерпение и настойчивость. Именно в час его дежурства он и его четвероногий товарищ — награжденный медалями, заслуженный, незаменимый пес Руслан — услышали шорох. Другой бы на их месте ничего не услышал, но у пограничника, как сказали бы музыканты, абсолютный слух. Белоусов услышал не только шорох, но и хруст... а вот ветка обломилась... а вот после длинной паузы еще долетел какой-то звук — не то шепот, не то звякнуло что-то, не то хлопнула вода...

Белоусов и Руслан переглянулись. Руслан как бы спрашивал: «Тебе все ясно?» Оба понимали, что теперь нужно быть готовым, вот так вот готовым, каждым мускулом, каждой клеточкой мозга: ведь в таком серьезном деле все решают секунды.

Для обыкновенного человека темнота — это значит ничего не видно. Для пограничника темнота состоит из многих оттенков. Например, если сам пограничник находится в кустарнике, то открытое место у реки или лесная поляна кажутся ему достаточно освещенными, чтобы различить, один там нарушитель или их несколько.

Больше медлить нельзя.

— Стой! Стрелять буду! — раздаются стереотипные слова, которые, однако, безобидно звучат только в спектакле.

Когда дана такая команда в пограничной зоне, шутки плохи, а на размышление дается всего несколько секунд.

Нарушители не подняли руки, вместо того они бросились бежать. Гарри Петерсон проявил при этом необычайную прыть и чертовскую натренированность. Он ловко перепрыгнул через муравейник, шарахнулся в сторону, чтобы не наскочить на осину, если только это была осина — разве разберешь в темноте. Выстрела он не слышал. Он только успел подумать, где же у него документ на имя Бухартовского, да, да, во внутреннем кармане пиджака, это он отлично помнит, его надо сразу же предъявить... И еще он, кажется, подумал о Люси... и еще о том, что в следующий раз не полезет на рожон сам, а пошлет наемного агента... Зачем рисковать собой?

Но Гарри Петерсону уже не предстояло никого засылать в чужую страну и вообще соваться в дела, которые его абсолютно не касались. Гарри Петерсон лежал на мокром мху возле конусообразного муравейника. Пуля попала в голову. Одна рука Петерсона неловко подвернулась под рухнувшее тело, другая беспомощно повисла над лужицей лесной воды. А ноги все еще делали слабые движения, видимо, Петерсону все еще представлялось, что он бежит, бежит во весь дух и непременно успеет скрыться.

На выстрел Белоусова спешили пограничники. Заслуженный, награжденный медалями, сильный, широкогрудый Руслан трепал толстяка, мечтавшего о свержении Советской власти, и цепко держал его за шиворот, как и полагается умному сторожевому псу.

Двадцатая глава

1

В приемной Вячеслава Рудольфовича Менжинского сидел необычного вида человек. На вопрос секретаря о цели прихода он кратко ответил:

— Пришел по долгу советского гражданина.

— Как о вас доложить?

Посетитель огляделся вокруг, как будто и здесь, в приемной председателя ОГПУ, опасался чужих ушей.

— Профессор Кирпичев, — вполголоса сказал он. — Зиновий Лукьянович. Из Харькова.

Менжинский сам вышел из кабинета, поздоровался с ним и увел к себе. Проницательные глаза наркома раза два скользнули по профессору. Кажется, предстоит услышать нечто стоящее внимания.

Менжинский усадил профессора в удобное кресло, предложил папиросы.

Кирпичев хотел было отказаться, но потом порывистым движением схватил папиросу. Вячеслав Рудольфович поднес ему зажигалку, сам тоже закурил, и некоторое время оба сосредоточенно молча курили, один собираясь с мыслями, другой готовясь выслушать все: в этом кабинете не существовало невероятного, здесь часто приоткрывались завесы над самыми непроницаемыми тайнами, разгадывались самые замысловатые ходы.

Заметив, что Кирпичев ждет вопроса, поощрения или разрешения говорить, Менжинский предложил:

— Пожалуйста, Зиновий Лукьянович. Я вас слушаю.

Кирпичев погасил папиросу, положил ее в пепельницу.

— Заранее хочу предупредить: не умею быть кратким. Вы располагаете временем?

— Об этом не беспокойтесь!

Кирпичев пристально посмотрел из-под своих седых косматых бровей и понял, что этот человек, сидящий перед ним, вероятно, не спал уже несколько ночей подряд.

— Я понимаю, у вас работа не из легких, но если я начну спешить, комкать, то и вы ничего не поймете, и я окончательно сойбюсь. Возраст, знаете ли. Конечно, я не Фонтенель,

который ухитрился прожить ровно сто лет, и не Тициан, который протянул до девяноста девяти, и не автор «Общей риторики» Кошанский — тот тоже отмахал сто лет без одного дня. Но и мне, с вашего позволения, далеко перевалило за возраст, о котором говорят «пора и честь знать».

— Ну-ну, не напрашивайтесь на комплимент. Если вы не убоялись такой прогулки, как Харьков — Москва, и послушны долгу гражданина, значит, еще молода у вас душа.

— Душа — да. Она у меня такова *post nimum memoriam*... А, черт! Сорвалось! Проще говоря, с незапамятных времен.

— Что сорвалось?

— Латинская поговорка. Когда ехал сюда, давал себе торжественную клятву — ни одной латинской пословицы в разговорную речь не совать.

— Это почему же?

— Старит, делает смешным. А дело-то... не до смеха.

— У пословиц есть и преимущество, Зиновий Лукьянович, *non multa, sed multum*.¹¹

Странное дело, как только Менжинский ответил на латинскую поговорку латинским изречением, Кирпичев почувствовал себя проще, язык у него развязался, и он стал говорить свободно и легко.

Он рассказал, как познакомился с Михаилом Васильевичем Фрунзе и всем его семейством.

— Вы, Вячеслав Рудольфович, знали его? Ну конечно! Неуместный вопрос!.. Я всем старческим сердцем полюбил его, а еще того больше — часто бывавшего у него Григория Ивановича Котовского, этого я считал как родного...

Кирпичев помолчал, сиюсь побороть внутреннее волнение.

— Товарищ Менжинский! Вы верите в святые чувства долга, чести, дружеских обязательств, то есть обязательств, накладываемых дружбой? Нет в живых Фрунзе, нет Котовского. Но Кирпичев был и останется их верным другом. Так каково мне было видеть, что убийца Котовского преспокойно разгуливает по улицам Харькова на свободе и даже не всегда этак, знаете ли, в трезвом виде?

Лицо Менжинского из просто вежливого и участливого стало заостренно-внимательным.

— Убийца Котовского по суду получил десять лет и отбывал наказание в Одесской тюрьме, — сказал он.

— Откуда по чьему-то указанию переведен в Харьков. Какая-то бабушка ему ворожила. А в Харькове нашли возможным вскоре и совсем его выпустить. Если можно так выразиться, спрятали в тень. Он работает сейчас на вокзале сцепщиком вагонов. Удовольствие, знаете ли, ехать в вагоне, который прицепил к составу убийца Котовского!

— Понятно, — сказал Менжинский, делая запись в блокноте.

— А почему он получил десять лет, позвольте вам задать вопрос? Почему не пристрелили его, как бешеную собаку?

— Видите ли...

— Я отвечу сам. Ему дали вместо высшей меры десять лет, потому что судья изобразил убийство как уголовное. Между тем оно политическое! Это и Фрунзе говорил!

— Понятно, — повторил Менжинский. Ему нравилась запальчивость профессора.

— Но это еще не все, что я хочу рассказать. То, что я сейчас вам открою, — видимо, первый случай в истории человечества, когда отец доносит на преступные действия родного сына.

2

Много трагедий разыгралось перед глазами Менжинского за годы работы чекистом, и

¹¹ *Non multa, sed multum* — немного (слов), но многое (лат.).

когда он был заместителем Дзержинского, и когда после его смерти возглавил ОГПУ. Не раз он видел припертого к стене неопровержимыми фактами лютого врага, когда кипела в змеином враждебном сердце бессильная ярость и туманила взгляд смертельная тоска. Не раз случалось распутывать сложнейшие узлы, созерцать предельное человеческое падение, низость, продажность. Не раз приходилось наблюдать, как преступник извивается ужом, лжет, недоговаривает, а потом, махнув на все рукой, выкладывает все карты на стол, называет сообщников, зарубежных хозяев, выдает явки, пароли лишь бы сохранить свою подленькую жизнь.

А сейчас перед Менжинским раскрывалась большая драма. И Менжинскому становилось понятно, почему профессор Кирпичев не обратился в местные органы политуправления: он изверился, он уже не доверял у себя в Харькове никому, после того как увидел убийцу Котовского на свободе, а своего сына участником какого-то заговора.

— Значит, у вас есть сын, — помог Менжинский, так как Кирпичев опять замолчал, видимо переживая свое горе, видимо захлебнувшись своими страшными по сути словами. — Взрослый? Я говорю: взрослый у вас сын?

— Врангелевский офицер. Вернулся — молчком, и я не лез с расспросами. У каждого, знаете ли, свое. Вернулся — и слава богу. Документы в порядке, не то чтобы скрывался как-нибудь. Ну, думаю, или взяли в плен и отпустили на все четыре стороны, или сам не захотел забираться в чужие края. Словом, кто старое помянет, тому глаз вон. Мы с ним никогда и не поминали и этой темы не касались. Поступил он на службу — старшим счетоводом. Ну, думаю, и то хлеб, счетоводом так счетоводом, не о такой его карьере, конечно, я мечтал, да ведь что делать-то. Так уж получилось.

— Отношения у вас отдаленные? О чем-нибудь вы все-таки разговариваете? Как он дальше планировал свою жизнь?

— Меня называет «папахен», считает, что я выжил из ума. Начнешь с ним по-серьезному разговаривать, а он давай всякую белиберду молоть: тирли-мирли... трум-бум-бум... — дескать, о чем с тобой, старым ослом, толковать? А не то скажет: «Вот что, пупсик! Воспитывать меня надо было раньше, этак четверть века назад. Сейчас мне, мил человек, тридцать с гаком, сам как-нибудь о себе подумаю».

— Нехорошо. Это он в армии огрубел?

— У него такая точка зрения: родители — это бросовый хлам, самое подходящее место для них — на кладбище, совесть, справедливость, свобода и так далее и так далее — это все пугала, чтобы народ в страхе держать, это все боженьки, на которые лоб крестят. «А что же есть?» — спрашиваю. «Есть я, говорит, мой живот, который требует пищи, мой мозг, который должен смекать...»

— Нахватался! Импорт, сплошь импорт! Сначала я так понял, что у вас чисто семейные разногласия. Оказывается, дело обстоит значительно хуже. Но пока — я вижу одни слова.

— За словами следуют и дела. Если бы он не презирал меня да не был уверен, что я из чисто животной привязанности к своему детищу не пикну, он был бы осторожнее. А то придут к нему какие-то темные личности, покажут глазами на меня, а он только бросит: «Папахен». Те сразу и успокоятся одного, мол, поля ягода, sapienti sat. Правда, после того уйдут в комнату сына и двери закроют. Но оружие-то я видел, как они в университетский подвал возили. Расчет у них тот, что кому придет в голову университет подозревать? А у меня квартира, видите ли, при университете. И еще кое-что видел. Дома-то боялся писать, а уже здесь, в Москве, на вокзале притулился в почтовом отделении, будто телеграмму составляю, и вкратце набросал.

— Хорошо. Спасибо. Я ознакомлюсь.

— Я, знаете ли, интеллигент старой формации, у меня все сложно получается. Думал, думал, прикидывал и так и сяк и решил, что молчать не могу. Кто знает, может быть, потому и убийца Котовского на свободе, что там эта шайка орудует? Может быть, все это связано одно с другим?

— Понимаю, как вам было трудно. Поступили вы правильно, честно. Только вот... не

лучше ли вам повременить с возвращением домой? Все никуда не ездили и вдруг катнули в Москву! А? Они не будут ничего уточнять, малейшее подозрение — и вам будет худо. Как вы думаете?

— Я уехал, никого не извещая. Сказал только соседке, что еду лечиться, подозреваю рак.

— Ну так это же блестяще! Умница! Вот мы и положим вас в больницу на исследование.

— Стоит ли труса праздновать? Я ведь не из робкого десятка. Вы не смотрите, что выгляжу рамоли. Я спортом занимаюсь. Не боюсь я их. Ей-богу, не боюсь.

— Видите ли, народная мудрость гласит, что богу молись, а к берегу гребись. Да и для нас, Зиновий Лукьянович, удобнее, если мы будем знать, что вы в безопасности.

— Если для пользы дела, я готов. Но вы прикиньте-ка: не встревожит ли эту публику длительный мой отъезд? Не поспешат ли они попрыгать концы в воду?

— Конечно, можно послать вашему сыну письмо главного врача... Нет! Вот что я скажу. Поезжайте и везите с собой справку из больницы — это мы приготовим, — справку, что вы нуждаетесь в операции. Приедете, покажете, посоветуетесь: боюсь, мол, под ножом умереть, не знаю, как и поступить...

— Сын скажет: «Надо быть дураком, чтобы что-то еще думать! Раз врачи говорят, значит, ложись». Да. Звучит убедительно. Еду.

Они еще долго беседовали. Менжинский вызвал двух своих помощников. Уточняли адреса, имена. Внимательно разобрали заявление, составленное Кирпичевым. Тем временем принесли и справку из больницы — на больничном бланке, все как полагается.

— Переночевать есть где?

Оказывается, у Кирпичева в Москве родня. Кирпичев сообщил и адрес.

— Совсем хорошо. От родни надо взять записочку для сына. Не забудете?

Когда все было переговорено и стали прощаться, Кирпичев почувствовал, что невероятно устал, совсем выдохся.

— Вы, поди, ничего еще не ели? — всполошились чекисты. — Идемте к нам в столовую! И мы тоже хороши, не спросим, не догадаемся...

— Как у вас с деньгами? — заботливо справился Менжинский. — Ведь вы собрались так внезапно...

— Во-первых, деньги у меня есть, — ответил Кирпичев. — Во-вторых, если бы и не было ни копейки, ни за что бы у вас не взял. Что вы хотите? Интеллигент! Со всеми свойственными предрассудками! Гражданское мужество и денежное вознаграждение — нет, никак это несовместимо.

— Ладно, ладно! Вас не переупрямишь. Но руку пожать уж разрешите. Мы обязательно еще увидимся, дорогой товарищ Кирпичев.

Был уже вечер, когда Зиновий Лукьянович вышел из большого здания на Лубянке, бывшего страхового общества «Россия». Был август. Августовский звездопад. На московских улицах былолюдно. На московских бульварах слышался женский смех, чье-то пение, говор, постукивание каблучков. Ярко светились рекламы кино, витрины магазинов.

3

На вокзале Харьков-Пассажирский суета. На путях — нет счета рельсовым переплетам, тупикам, стрелкам, будкам с крохотными окошечками. Куда только не отправляются поезда! Откуда только не приходят!

В залах ожидания у буфетной стойки пьют пиво и лимонад. На покрашенных желтой масляной краской скамьях женщины с грудными младенцами, узлы, крошки хлеба и корки арбуза... У билетной кассы — тесная очередь и вежливый рассудительный милиционер.

— Не присобачивайтесь сбоку, молодой человек, — просит милиционер. Всем хочется поскорей. А ты, тетка, не толкшись, чего толкшиться? Командировочные?

Командировочные в кассе номер два, будьте любезеньки.

Востроглазые девушки грызут семечки, складывая шелуху в карман. Хлопцы в заломленных набекрень бараньих черных шапках отпускают такие забористые шутки, что дряхлый дед слушал-слушал, плюнул и отошел.

Был август. Августовский звездопад. Синее небо томилось, ветер еле-еле шевелил листья пирамидальных тополей в привокзальном сквере. Падающие звезды чиркали по небу. Во мраке нескончаемых путей гукали маневровые паровозы, ползли взад и вперед товарные составы — то платформы, то крытые вагоны с пломбами, то вереницы промасленных цистерн.

Где-то не то на шестнадцатом, не то на девятнадцатом пути беззаботно посвистывал сцепщик вагонов с зажженным фонарем в руке. Помашет — и далеко-далеко отсчитает короткими гудками шестнадцатый или девятнадцатый путь маневровый паровоз, лязгнут тормозами вагоны, медленно поползут и стукнутся на тихом ходу об цистерны — прицепляй, сцепщик вагонов, и снова давай сигнал!

А вот на который-то путь прибыл пассажирский. Приезжих не так-то много. Не больше, не меньше, чем обычно. Среди приезжих двое ничем не примечательных людей, таких, что пройдешь мимо и не оглянешься — мало ли встречных и поперечных.

Двое приезжих почти не разговаривали. Видно, все у них уже говорено-переговорено. Прошли в буфет, что-то заказали, съели, затем выпили по кружке пива. Мало ли кто выпивает кружку пива, слоняясь по харьковскому вокзалу?

Двое приезжих посматривали на часы. Но тоже так, без особенного интереса. Почему не посмотреть на часы, если они сами лезут в глаза, пощелкивая электрическими щелчками?

— Пошли, — сказал один из приезжих.

— Да, пожалуй, — согласился второй.

Видимо, им было недалеко, потому что они не подумали занимать очередь на трамвайную или автобусную остановку. Они пошагали куда-то в темноту, вдоль рельсовых путей. Оба были неразговорчивы. Оба скрылись во мраке, который казался еще черней после яркого освещения вокзала.

В этот вечер в 18.00 по московскому времени вступил на дежурство сцепщик вагонов Зайдер. У сцепщика вагонов работа какая? Дай свисток, помаши фонарем и жди, когда подползет товарняк, лязгнут тормозные тарелки, а тогда делай прицепку и снова давай сигнал. Дело несложное, нужна только сноровка. Вообще же — ничего особенного.

Так было и на этот раз. Машинист видел, как сцепщик помахал фонарем. Отозвался на этот сигнал, повернул рычаг, и состав пополз, кряхтя и позвякивая...

Толчок. Стоп! Коротко гукнул паровоз...

Сцепщик не отвечает.

Маневровик подождал и гукнул второй раз.

Никакого ответа.

Какого лешего он там возится, этот свистун?

Слышал машинист крик или не слышал? Убей бог, он не сумел бы ответить на этот вопрос! Кажется, что-то такое слышал... А скорее всего — нет, не слышал... Какое там! Мог ли слышать, ведь в составе-то по меньшей мере до тридцати платформ!

Однако машинист понял, что какая-то неполадка. Молчит сцепщик, нет сцепщика. Что он там замешкался? Вечер августовский, темно-темно!

— Ну чего там? — крикнул в темноту машинист.

Вот, пожалуй что, в этот момент мелькнуло у него подозрение: уж не случилось ли чего?

— Сашко! — еще через некоторый промежуток времени произнес машинист.

— Чего, Иван Никанорыч? — отозвался с тендера чумазый кочегар.

— Пожалуй, надо тово... сходить бы надо. Сигнала нет... ничего нет... А? Как ты думаешь?

— Раз так, то конечно, — согласился кочегар. — Мне, что ли, пойти?

— Пожалуй, надо тово... обоим вместе. Для точности.

Труп извлекали из-под вагона в присутствии официальных лиц: дежурного по вокзалу, милиционера, представителя ГПУ.

Отмечено было, что фонарь сцепщик уронил далеко от вагона. Кроме того, и кепка сцепщика тоже была найдена метрах в десяти.

Но никому не хотелось раздувать истории. Начнется следствие, примутся строчить протоколы, вести дознание... А чего тут дознаешься? Дело ясное: раздавило колесами. Может быть, сцепщик был пьян и с пьяных глаз сунулся под колеса вагона? Или просто не рассчитал?

Акт был составлен в трех экземплярах: «Числа такого-то... Мы, нижеподписавшиеся... Труп был извлечен в мертвом состоянии. Голова целиком и полностью отделена от туловища... Что и удостоверяется...»

Подписали акт в глубоком молчании.

— Все, товарищи, — сказал уполномоченный. — Можете идти.

— М-да, — сказал машинист Иван Никанорович уже тогда, когда очутился на паровозе. — Кепка-то где лежала? А? Сашко! Выходит так, что он сбросил кепку и полез делать сцепку? Или как? Нас это, конечно, не касается, но кепка... и вообще... Наводит меня на разные мысли...

— Дело ясное, что дело темное! — согласился чумазый кочегар.

В местной газете в отделе происшествий было набрано петитом:

«Погиб при исполнении служебных обязанностей».

4

Профессор Кирпичев крепко спал после утомительной дороги, после всех переживаний да еще после обильного ужина, каким угостила его двоюродная сестра, женщина примерно его же возраста.

Он остановился у нее, объяснил, что бросил все и примчался, чтобы показаться лучшим докторам, потому что боится ракового заболевания.

Сестра посоветовала ему непременно идти к доктору медицины Лихачеву, он и ей помог и вообще славится тем, что буквально воскрешает мертвых.

— Докторов-то хватает, — проворчал Зиновий Лукьянович.

Тут на него посыпались советы, что нужно есть, чего не нужно есть, что некоторые рекомендуют чеснок, а один знакомый уверяет, что все спасение в лимонах. Она же сама стоит за алоэ.

— Алой! Алой надо выжимать! — кричала родственница Зиновия Лукьяновича. — Хочешь, уступлю два горшка алоя?

Она была глуха и поэтому сама говорила очень громко.

Профессор Кирпичев крепко спал, когда раздался звонок в дверях и встревоженная сестрица сообщила, что спрашивают его, а кто — она не расслышала. Ах да, кажется, это самое, — из больницы!

Из какой больницы?

Зиновий Лукьянович тотчас узнал одного из помощников Менжинского, хотя он и был теперь в штатском.

— Здравствуйте! Вы товарищ Кирпичев? Вы просили подать машину в десять ноль-ноль. Машина у подъезда. Прием у профессора начнется через полчаса.

— А-а! Да-да! — сообразил Кирпичев. — Видишь, Маша, какая забота о человеке! И машина, и принимают вне очереди как приезжего!

— Не забудь сказать, что у тебя ломота в пояснице!

Когда сели в машину, чекист пояснил:

— Мы боялись, что вы успеете уехать утренним поездом, а есть важное сообщение.

— Сообщение? Уже? — Кирпичеву почему-то представилось, что его сын уже

арестован.

— Не то, что вы думаете.

Менжинский и в эту ночь почти не спал. Но он принял душ и был свеж, бодр и деятелен.

— С постели подняли? Не стыдно ли, какой соня! А говорите — спортом занимаетесь.

Опять тот же знакомый кабинет. И кресло, в котором, казалось, только что сидел, а ведь прошла ночь, прошла почти половина суток.

— Садитесь, пожалуйста. Папиросы.

— Кажется, вы уже предприняли некоторые шаги?

— Мы нет. Но они — предприняли.

— Кто они? Эта самая компания? Сын в том числе?

— Пока нет. К этому мы тоже присмотримся. А пока другое. Нам приходится зачастую решать крайне запутанные ребусы. Вот вчера вы возмущались, что убийцу Котовского неправильно судили, как обыкновенного уголовного преступника. Ваше возмущение вполне понятно. Но давайте разберемся во всей этой истории. Что такое Зайдер? Продажная тварь, мелкая гадина, наемный убийца. Так?

— Так!

— Если мы согласимся на том, что он наемный убийца, значит, его кто-то нанимал?

— Логично.

— Так кто же? Этот вопрос стоял перед нами. Мы обратили внимание на мягкий приговор убийце. Далее, мы выясняли, кто именно и какими каналами действует, добиваясь перевода Зайдера в Харьковскую тюрьму. После этого мы проследили, каким образом преступник вопреки букве закона остался на свободе. Надо было выявить его связи. Но Зайдер, видимо, распустил язык, в пьяном виде говорил лишнее. Кой-кому не понравилась его болтливость, да и сам наймит был им больше не нужен. И вот вчера мы получили сообщение, что Зайдер убит.

— Убит?! Значит, бог есть! Ф-фу! Даже от души отлегло!

— Да, убит. Его подсунули вечером под маневровый поезд.

— Вот оно что. Грешно, но радуюсь. Я сейчас в таком месте нахожусь, где сознаются. Так сознаюсь, я даже думал на старости лет не погнушаться и самолично пристукнуть эту гадину. Говорят, паука раздавить — сорок грехов прощается. Кто же оказался, как вы изволили выразиться, «кое-кто»?

Кирпичев сгоряча задал этот вопрос и по вежливым, непроницаемым лицам чекистов — чекистов школы самого Феликса — понял, что спросил лишнее.

— Извините, опять все та же интеллигентская закваска: подай да выложи. Зайдер убит — и, значит, с этим все. Может быть, я не прав, но на мой взгляд необходимо, чтобы такие подлые имена, как, например, эта самая Каплан, стрелявшая в кого — в самого Ленина! — или тот же Зайдер — такие имена должен знать весь народ, чтобы на веки вечные предавать их проклятиям, чтобы их имена были ругательным словом, чтобы они постоянно напоминали: беречь, беречь жизнь каждого советского человека, а тем более лучших из лучших!

— Для истории все будет записано, — с уважением выслушав профессора, заявил Менжинский, — никому не удастся ускользнуть. Но пока... некоторые факты было бы преждевременно опубликовывать. Иначе нити повели бы нас слишком далеко. Да и вообще полезно знать больше, чем это представляется врагу. Учтите: вы тоже ничего не знаете об обстоятельствах гибели Зайдера. Все это сугубо между нами. Вы вообще ни о чем не знаете, ни о чем не догадываетесь, сына ни в чем не подозреваете — так? У нас вы не были, заняты исключительно своим лечением и делами своей двоюродной сестры так, кажется, она вам приходится?

Тут Кирпичев почувствовал, что нельзя больше злоупотреблять временем этих перегруженных работой людей. Распрощался, взволнованный, взбудораженный, но и в то же время успокоенный, вернулся к сестрице и, присоединив к справке врача тысячу добрых

советов старой девы, увесистый пакет с гостинцами и нежнейшую записочку «противному мальчишке, который не хочет нас знать», отправился на вокзал к дневному поезду на Харьков.

«Сумбур! Полный сумбур!» — размышлял он дорогой.

Стал припоминать: что случилось радостное, от чего даже сердце трепещет? Две вещи: выполнил долг. Это относительно сына. И что-то еще? Ах да, убит убийца... Ничего себе радости у вас, профессор! Передали в руки правосудия сына и узнали об убийстве! Ну и что из того? Правильно радуюсь! Правильно поступил! И совесть у меня чиста. Одно грустно — что нет уже в живых Котовского, нет Фрунзе... Молодые! Полные сил! И зачем было Михаилу Васильевичу ложиться на операцию? Так все нехорошо вышло... Крепись, Кирпичев! Нельзя нос на квинту! Как говорил Котовский? Не хныкать! Вперед! Орлы!..

Уже подходя к вокзалу, Кирпичев, остановился посреди улицы и громко произнес:

— Кто сказал, что профессор Кирпичев беспартийный? Вздор! Самый настоящий партийный! Прошу учесть!

Прохожие с удивлением оглядывались. Кирпичев четко, по-военному прошагал в помещение вокзала и отчеканил кассирше:

— Один билет до Харькова! Благодарю!

Двадцать первая глава

1

Шли недели, месяцы, казалось бы, давно все вошло в норму, а Крутойяров все еще переживал дни, которые пробыл в Одессе. Крутойяров снова и снова подходил к гробу Котовского, снова и снова смотрел на ослепительные одесские улицы, на лениво играющее переливами бирюзы спокойное, самоуверенное море. Крутойяров видел, как ничтожество, жалкий трус, мизерный вертлявый человечек подходил к богатырю, силище, массивному, ладно скроенному Котовскому и стрелял в упор... Это Крутойярову мерещилось много раз, и он настолько воплотился в облик Котовского, настолько стал им, что явственно чувствовал: это в него, в Крутойярова (вместе с тем не Крутойярова), стреляли в упор, это он, Крутойяров (но не Крутойяров), падал навзничь с пробитой аортой, и кровь лилась у него изо рта... Чрезвычайно сложное ощущение раздвоенности и в то же время слитности!

Никого не касалось то, что переживал Крутойяров, это был его внутренний мир, его капище, куда никому нет входа. Даже Надежде Антоновне не положено было этого знать. Это писательское, это то, что впоследствии воплотится в трепещущие страницы произведения и будет вручено людям хозяевам всего на земле.

А так, если посмотреть со стороны, Крутойяров жил, как живут обычно: пил крепкий чай, добродушно выслушивал рассуждения Надежды Антоновны о том, что вредно и что полезно, охотно обсуждал ее новые стихи, беседовал с Марковым, с Оксаной, с Орешниковым, с теми писателями, которые были вхожи в его дом и которых он любил. Что еще? Бродил по ленинградским улицам, рылся в книгах у букинистов, ходил в цирк и театр, смотрел в кино «Кабинет Калигарри».

Только иногда прорывалось у него в разговоре то, что было продуктом его размышлений, осмысливания. А так как он никого не впускал в свой внутренний мир, многое, что он говорил, казалось бессвязным, неожиданным.

Опуская ломтик лимона в чай и наблюдая, как ломтик погружается на дно стакана:

— Хм... Всемирная история... М-да-а...

Надежда Антоновна выжидательно смотрит.

— Я о Гейне. «Под каждой могильной плитой лежит всемирная история». Конечно, лежит. А зачем? Надо, чтобы она не лежала. Надо, чтобы она служила. Чтобы люди знали, как обстояло дело раньше и куда двигаться теперь.

— Так и есть, — пожимает плечами Надежда Антоновна. — Историки пишут историю, а школьники готовят уроки по истории и получают пятерки.

— Хм... да... пятерки. Историю писать должны писатели. Что они там насочиняют, эти историки? Или же историки должны быть писателями.

— А писатели историками. Тебе налить еще чаю?

Беседа с Марковым:

— Вероятно, в будущем появятся еще удивительнее люди. Даже наверняка. Но посмотрите, что за народ у нас сейчас. Я уж не говорю о больших деятелях. Куйбышев, Киров — какие индивидуальности, какие судьбы! Помните восстание чехословацкого корпуса на Волге, спровоцированное иностранцами? Куйбышев, Тухачевский, Блюхер, Сергей Сергеевич Каменев — какие все блестящие имена! — им было поручено предотвратить смертельную опасность. Они успешно действуют. И вдруг страшная весть: покушение на Ленина. Что же делает Валерьян Владимирович? Рыдает? Заламывает руки? Нет, он и этот удар оборачивает успехом: «Освободим родину Ленина — Симбирск! Отомстим врагу за нашего вождя!» А? Гениально? Все потрясены сообщением из Москвы, все жаждут мести. И вдруг этот лозунг. Он попал в самую точку. Все ринулись в бой. Помоему, это потрясающе. Через три дня Ленину можно было отправить телеграмму: «Дорогой Владимир Ильич! Взятие вашего родного города — это ответ за вашу одну рану, а за вторую — будет Самара!»

— Да, это здорово! — отзывается Марков. — И взяли Самару, слово сдержали.

— Так происходит повсюду. Так поступает каждый, самый, казалось бы, заурядный человек, потому что нет уже заурядных, разбужены невиданные силы, расщеплен атом народного гения, раскованный Прометей и в сотой доле не выражает того, что сейчас свершается у нас на глазах. С каким трепетом будут узнавать об этом грядущие поколения, как бережно будут собирать каждую крупинку, как восторженно и благодарно будут читать каждую правдивую строчку об этих днях! Записывать, записывать надо. Ведут ли сейчас дневники? Вы, например, не обзавелись дневником?

— Обзавелся-то я давно, еще в армии. Очень любил дневник, все-все туда записывал, еще Григорий Иванович, помню, удивлялся. А теперь забросил...

— Забросили? Нехорошо. Обязательно продолжайте, Михаил Петрович! Это надо.

— А вы, Иван Сергеевич?

— Как вам сказать. Купил тетрадку, красивую, в клеенчатой обложке. Вывел красивым почерком: «Тысяча девятьсот такой-то год». На этом кончилось.

— Вот видите!

— Ничего не вижу. И себя осуждаю: писать надо. Мы живем в чудесное время. Мы прокладываем первую борозду. Почетно? Почетно. И скажите, какая другая эпоха могла бы продемонстрировать подвиги не одного, не тысячи, а ста миллионов героев? Разве мы, современники, не обязаны рассказать об этом? Если сто миллионов героев, то о всех ста миллионах и рассказать! Разве они этого не заслуживают?

Для всех эти длинные рассуждения или отрывочные возгласы, то полные яда, то восторженные, были всего лишь случайными репликами писателя Крутоярова. А в нем происходил мучительный процесс, он сопоставлял, вникал, за частным случаем искал типическое, за плоским голым фактом высматривал глубину, социальный смысл.

Пигмей стреляет в исполина. Но ведь в этом-то и суть нашего времени. Изверился в своей правоте старый мир. У него дредноуты, пушки, воздушная флотилия... А правоты нет. Нет правоты, да и только. Ноль целых, ноль десятых. Вот почему он не брезгует последней дрянью. Берет в союзники ничтожество. Неужели он воображает, что, убив Котовского, сделает Красную Армию беспомощной? Нет, он не так глуп, чтобы думать это. Но что же ему остается?

Мысль Крутоярова работает дальше. Убийца Котовского не заслан из-за рубежа. Правда, он выходец оттуда, правда, он своего рода космополит. Но ведь жил среди нас? Ходил по улицам наших городов? Ел наш хлеб? Сидел рядом с нами в театре, в трамвае, на

скамейке парка?.. Вывод: присмотрись к соседу. Только помни предостережение: будь осторожен, но без подозрительности. Наивно думать, что все враждебные нам люди отбыли в чужеземные края, остались и здесь. Кто заблуждался — и оттуда вернутся, вернулся же Бобровников. А эти, если бы и уехали, — не жалко.

Крутояров ходит на шахтера, который глыба за глыбой откалывает пласты. Так он будет корпеть и корпеть, пока раздумья не воплотятся в героев, наделенных плотью и кровью, вкусами, мировоззрением, биографией. И тогда явится потребность написать. Но и это не все. Понадобится еще дать чертежи, построить здание будущего произведения, а здание художественного произведения, как и обыкновенное, не допускает просчетов. Нельзя один угол построить выше, другой ниже, так и крыши не возведешь и дом упадет.

Беспокойство владеет Крутояровым. Придет в комнату Маркова:

— Не помешаю?

— Что вы, Иван Сергеевич!

И тогда все пойдет по установившемуся шаблону. Крутояров начнет по своей привычке прохаживаться по комнате. Марков отложит книгу. Он понимает Крутоярова — тоже познал муки творчества, тоже пьет из этого родника. Каждая встреча с Крутояровым будоражит, наэлектризовывает, но при всем глубоком уважении к Крутоярову, при всем признании его таланта Марков идет своим путем, он и не может иначе, у него по-своему думается, пишется, говорится.

Вот Крутояров остановился. Космы его седеющих волос спутаны, брови сдвинуты. Он пришел не советоваться, но и не вещать. Просто ему необходим слушатель.

— Основной постулат энергетики, — гремит его голос, — при минимуме затрат максимум результатов. Согласны? Но не формула ли это вообще для человеческой деятельности? А? То-то и оно.

Марков говорит, улыбаясь:

— Я не о вас, просто хочу рассказать без связи с нашим разговором. Я сейчас читаю занятную статью о трудовом процессе писателей. Оказывается, Куприн напечатал «Молоха» еще в тысяча восемьсот девяносто шестом году. Через шестнадцать лет, выпуская «Молоха» отдельной книгой, Куприн сделал правку и заменил: слово «гигантский» словом «огромный», «ритмические звуки» — «размеренными звуками», заменил слова «мистифицировать», «дебаты», «процессия»...

— Ерунда, — отрезал Крутояров. — Мистифицировать — это и есть мистифицировать, слово обжилось и нечего его чураться. Дебаты тоже. А впрочем... конечно, не следует сорить у себя в произведении. Это было бы неряшливо.

И вдруг расхохотался:

— А-а, понимаю, это вы меня за мой «постулат» прохватили? Ловко! Но ведь мы с вами не роман пишем, а так, разговариваем. Попробуйте стенографировать обыденные разговоры — мы все очень коряво говорим.

Снова хождение по комнате. Взад и вперед. Взад и вперед. И совсем неожиданно:

— Зря вы вчера в театр не пошли.

— Не мог.

— Почему вы не пишете пьесы? У нас бе-едно с пьесами! Режиссеры вопят. Вот вам сюжет. Дарю! Ставят пьесу о бюрократе, а бюрократ сидит в первом ряду, смотрит и аплодирует: «Актуально, говорит, дельно, говорит, правильно автор сигнализирует. Отреагировано! Будем, говорит, изживать на данном отрезке времени пятна прошлого!» И не догадывается, каналья, что он-то и есть это пятно!

— Это, скорее, годится для фельетона, — смеется Марков.

— О бюрократизме и Ленин предупреждал. А разве не страшная штука пошлость? Она просачивается, липнет. Замечено, что посредственность предприимчива и плодovита. Но у нее и еще свойство: скользит, никак не ухватишь... Но что я вам хотел сказать? Специально за этим шел и забыл... Ах да: помните, как осталась непреподнесенной книга Котовскому? Ничего не откладывайте. Поезжайте навестить Ольгу Петровну. Если у вас есть друзья,

съездите к ним, проведите. Не обижайтесь, что лезу с советами. Хороший тон рекомендует давать советы не раньше, чем тогда, когда к вам за ними обратятся. Но не могу утерпеть!

— Вы не оправдывайтесь, верно говорите. Никак не научусь владеть временем. Захлестывает — и ничего не успеваю. Вот узнаю адреса и поеду. Ничего тут сложного нет. Только наверняка опять не раскачаюсь. К Стрижову, на что он живет здесь же, на Фонтанке, полгода собирался! Тяжел на подъем. Нехорошая это черта, вы правы. Надо перевоспитать себя. Вот освобожусь немного и займусь собой. А знаете, какая главная причина моей медлительности? Творчество! Творчеством заболел! Никогда не предполагал, что к этому зелью можно так пристраститься. Хуже водки! Тянет и тянет. Хожу как сомнамбула. Оксана спросит: «О чем думаешь?» — «О Марианне». «Какой еще Марианне?» — «Ну, ты не знаешь, из рассказа...»

2

В сентябре Марков решил поехать повидаться с Ольгой Петровной, посмотреть на памятные места.

Ольга Петровна поселилась с детьми и сестрой в Киеве. Марков нашел ее спокойной, задумчивой. Она стойко переносила постигшее ее несчастье. На лице ее появилось выражение непреклонности. Взгляд был наполнен затаенной, запрятанной в себя болью и вместе с тем подчеркнутой гордостью. Нет, она не порадует врагов слезами и отчаянием!

Она по-прежнему сохраняла самые сердечные отношения с котовцами. К ней обращались. Ее слово было решающим при всех обстоятельствах.

Побывала она и в Ободовке. Встречали ее коммунары с почетом. И Ольга Петровна радовалась, что дело у них ладится, обещает разрастись.

Там, в Ободовке, доживал свои дни боевой конь Котовского Орлик. Его не заставляли работать. Он свободно разгуливал по всей территории коммуны и осторожно, одними губами брал кусочек сахара, если угощали.

Ольга Петровна и рада была видеть его, и в то же время это было для нее мучительно. Сердце болезненно сжималось, слезы навертывались на глаза. Уж очень живо все вспоминалось, никакого самообладания не хватало, чтобы и тут сохранить хотя бы внешнее спокойствие. Зато маленький Гришутка радовался Орлику шумно, беспечно и очень любил его.

Марков быстро добрался в Киеве до безмятежного зеленого Десятинного переулка и сразу нашел квартиру Ольги Петровны на третьем этаже. Перед домом шелестели деревья, и, если выйдешь на балкон — на один из трех балконов в квартире, — оказываешься как в саду. Хорошее место. Улица, по которой никто никогда не ездит. Улица, на которой пасутся козы, как на лугу. Рядом — живописная церквушка. А когда Марков выпрашивал у прохожих дорогу, ему отвечали: «Десятинный переулок? Да то ж перед самой-самонькой Гончаркой! Туточки и идите».

Встретили Маркова как родного. Да и никто еще, кажется, не уходил из этого дома не обласканный, не накормленный, не получивший здесь и ночлег, и внимание.

Сразу начались рассказы о том, что сегодня сказал Гришутка, какие игрушки купили Леночке, как все ходили гулять в сквер и каким вкусным борщом угостит Ольга Петровна.

Во всех этих разговорах принимала участие и Елизавета Петровна. Она разделяла с семьей все радости и невзгоды, молча и безропотно выполняла все ей порученное, являясь как бы запасными руками Ольги Петровны. Надо ли доглядеть за детьми, надо ли вскипятить молоко или спутешествовать в булочную — все моментально делалось, без суеты, без канители. Вместе с тем она ухитрялась всегда оставаться незаметной, хотя и обязательной.

Марков с гордостью отметил, что сумел завоевать здесь общее расположение. Маленький Гриша доверчиво поручал ему подержать ружье, пока сам орудует ключом заводного автомобиля. Елизавета Петровна смотрела на него ласково и доброжелательно. Ольга Петровна давала поручения и даже доверяла повести гулять Леночку и Гришутку.

— У нас теперь девочка, — сообщил Гриша. — Только она еще маленькая и ничего не умеет.

Марков понял, что в этом доме поставлена благородная цель — вырастить двух полноценных людей, поднять их на ноги, воспитать, взлелеять, дать им образование, обеспечить их самым основным капиталом человека — хорошим здоровьем и хорошей душой — и вручить затем советскому обществу: получайте двух сограждан, вклад щедрого наследства Григория Ивановича Котовского. Этой цели было подчинено все в доме. Делалось это дружно, прилежно, единодушно. И Марков сразу сумел приспособиться ко всему укладу этой семьи.

Ольга Петровна ходила на работу, она заведовала хирургическим отделением больницы. Когда она возвращалась домой, ей докладывали о всех событиях. А после обеда обычно начинались воспоминания. Начинались сами собой, без просьб, без упрасиваний. Ольга Петровна была беспристрастна, как летописец, взволнованна, как борец за справедливость, как подлинно советский человек. Она помнила всех, была в курсе всех дел и по-прежнему была для всех заботливой мамашей. Вот и теперь: узнав, что Марков собирается в Умань навестить Криворучко, она попросила его передать гостинцы Николаю Николаевичу.

— Трудно ему. Принять корпус после Григория Ивановича! Ведь он назначен командиром корпуса, вы этого не знали? Поезжайте, тут рядом, он очень обрадуется вашему приезду. Он славный, лучшего преемника Григория Ивановича, чем Криворучко, я и не желала бы.

Хорошая человеческая улыбка озарила ее лицо.

— И еще одна просьба, Мишенька. Тут Савелий письмо прислал... Лиза, где у нас письмо Савелия? У них там очень сложно, вот прочтите сами. Вы ведь близко знаете Савелия. Он совсем особенный, правда? А уж язык у него такой цветистый, такой сочный, я бы сказала — почвенный.

— Да, его заслушаешься! — оживился Марков. — Он как-то по-своему воспринимает каждое явление. Стало быть, жив и здоров? Вот кого я хотел бы повидать!

— А я о чем говорю? — обрадовалась Ольга Петровна. — Я как раз и говорю, что надобно бы его повидать. Тут и адрес есть на конверте. Что вам стоит — молодой, бывалый, не такие переходы делали. Лиза! Отпустим его? Пусть от нас поклонится и садам Умани, и полям Пензы. Значит, ты «за»? Постановлено единогласно!

Не успел Марков оглянуться, как все было решено и подписано. И пирожков ему на дорогу напекли. Но, конечно, не сразу выпроводили, погостил недельку. И все семь дней проговорили о Григории Ивановиче, о военных дорогах и передрягах, о корпусе, о боях. Повспоминали тех, кого уже нет на свете, и тех, что живут полной жизнью и сейчас...

— А вы помните, Ольга Петровна, мою Мечту? Вот была лошадь! Как я любил ее! И разве можно было ее не любить!

— Сначала-то у вас нескладно было в этом отношении. Григорий Иванович так за вас переживал — наделили клячей на посмешище всем кавалеристам! Григорий Иванович понимал, что вы мучаетесь.

— Григорий Иванович все понимал.

— Да, глаз у него наметанный... А как вы с Оксаной встретились? Помните? Мы тут много о вас говорили. Какое романтическое знакомство! На пожарище, в дебрях лесов! А здорово она вас тогда огрела? Затравлена была, бедняжка... А сейчас-то, сейчас как распушилась-расцвела, любо-дорого посмотреть. Правда, Лиза, нашу Оксаночку не узнать? Приедете домой большой привет ей.

— Да, Ксаночка сильно изменилась. И к лучшему!

— Вот видите, и Елизавета Петровна это находит. Орлика я недавно видела. На покое, в сельхозкоммуне живет. Постарел.

— Неужели еще жив?

Марков не представлял Орлика без Котовского.

— И почему об Орлике никто книжки не напишет? Впрочем, и написать, так не поверят. Разве правдоподобно, что конь принимал живейшее участие в сражении? Нападал, кусался, сбивал, а в минуту опасности выносил из пекла, инстинктом угадывая, куда мчаться. Совершенно необыкновенный конь.

— Как и всадник, — напомнил Марков.

— Как и всадник, — повторила Ольга Петровна. — Просят тут меня воспоминания о Григории Ивановиче написать. Сейчас еще не могу, трудно, не зарубцевалось. Но напишу, обязательно напишу.

3

Марков нашел время, чтобы побродить по городу. Город был прекрасен. Марков прошелся по Крещатику, побывал в садах и парках, любовался во Владимирском соборе росписью кисти Васнецова и Нестерова. Был несколько разочарован Аскольдовой могилой. Он представлял некий холм, заросший ковылем. Оказалось, что могила находится под церковью, в подвальной помещении. Это какой-то древний саркофаг. Когда-то здесь была крохотная деревянная церковь, это, вероятно, выглядело живописнее. Поражала только старина: уже было отмечено тысячелетие со дня убиения витязя Аскольда.

Марков размышлял о том, что мы привыкли оперировать десятилетиями, сто лет вызывают у нас уже почтительный трепет... Но ведь пройдет когда-то и тысяча лет со дня убийства Котовского. Будут ли люди помнить об этом? И какие это будут люди? Не похожие на нас? Или что-нибудь вроде? Может быть, окажется, что человек двадцатого века — только черновой набросок будущего человека? Нечто вроде троглодитов, обитателей каменного века, чьи пещеры обнаружены под Киевом? И только лучшая часть человечества наших дней приближалась к совершенству, обгоняя бег времени? Так сказать, перевыполняя план?

Однажды Марков вернулся из своих скитаний по городу и стал настойчиво расспрашивать Ольгу Петровну, не знает ли она, где здесь музей, когда-то открытый при киевской духовной академии. Ольга Петровна удивилась:

— При духовной академии? Собственно, зачем вам? Хотите поклониться мощам? Так идите в Софийский собор, там, говорят, хранилась часть крови господней в серебряном сосуде, часть ризы господней, видимо, в каком-нибудь ларце или сундуке...

— Да что вы, Ольга Петровна, зачем мне риза! Я читал, что в этом музее был крест, которым благословляли Дмитрия Донского.

— Ну и что же?

— Как, — ну и что же? Дмитрий Донской воевал по всем правилам стратегии, с Мамаем покончил. А ведь от мамаев нам сроду житья не было.

Ольга Петровна молча смотрела на Маркова. Растут мальчишки! О мамаях уже рассуждают, историей интересуются...

— Вряд ли музей уцелел, Миша, — ответила она после долгого раздумья. — А что касается креста... сами знаете, нет в нашей стране ни поселения, ни города, который бы не подвергался поголовной резне и грабежу. Если нравы и изменились за тысячу лет, то мамаи все еще не вывелись. Да ведь дело-то не в том, что Дмитрия Донского благословили, а в том, что он победу одержал.

Марков много переделал всяких дел в Киеве. Оставалось еще одно, самое неотложное. С вечера он засобирался, захлопотал, предупредил, чтобы завтра его не ждали ни к обеду, ни к ужину.

— Куда вы опять, непоседа? — встревожилась Ольга Петровна.

Маркову не хотелось говорить о своей затее, но пришлось пояснить, что отправится на реку Здвиж.

— Чего вы там не видели? Порыбачить хотите?

— Мост. Там есть один мост.

— Мишенька, зачем же выдумывать? Хотите ехать, езжайте, никто вас не удерживает.

Но к чему приплетать какой-то мост, на что он вам сдался?

— Как на что? Я хочу посмотреть, цел ли тот мост. И вообще посмотреть. Тогда, как сейчас помню, клубами перекатывался туман. Ну вот, верите, ничего не было видно, одна сырость. А потом Няга подал сигнал. Часового у моста сняли, он и не пикнул. Что было потом — помню смутно, в отрывках. Это был жестокий бой, другого такого мне не случилось видеть. Пожалуй, из дроздовцев мало кто уцелел.

— Ну и что?

— Больше ничего. Тянет меня туда, давно тянет. А ведь тут рядом, я быстро обернусь, вы не беспокойтесь. А потом в Умань.

— Конечно поезжайте. У мужчин все как-то недуром. Они, видите ли, много наубивали на этом месте, так дайка поеду посмотреть. Сроду бы в эти места не заглянула, — ворчала Елизавета Петровна.

— А вы родные свои места хотели бы посетить?

— Еще бы. Конечно хотела бы. Так то родное.

— Вот то-то и оно. Моя родина далеко. Кишинев для меня сейчас дальше, чем какой-нибудь Сатурн. Тот хоть в телескопы разглядывают. И я не хочу тревожить больное место, стараюсь даже не думать о Кишиневе, о крыльце с двумя ступеньками, о курносой сестренке Татьянке... Сколько же ей лет сейчас? Много уже, наверное! Придет время, освободим Молдавию, и повезу я Оксану в Кишинев... Вот, скажу, родители, познакомьтесь: моя любовь, моя зазноба, моя женушка дорогая, прошу любить, как свою дочь. А пока... пока у меня заветные места — это те, где выстрелы гремели, клинки сверкали на солнце, кони ржали, падая наземь с распоротыми животами... На Здвиже-то сколько я дружков оставил поколотых-побитых! Скольких однополчан там не досчитался! Если мы с Савелием остались живы, так это чистое недоразумение...

— Ой, Мишенька, не надо об этом, пожалуйста, не надо! Поняла я теперь. Поклониться хотите, подумать о тех, кого уже нет. Как на кладбище ездят, «родительская» у нас называется...

Марков, оказывается, и попутчика высмотрел. Ранним утром, чуть рассвело, по холодку они и выехали. А там, на месте, Марков самостоятельно бродил по убраным полям, по глинистому берегу.

Он отыскал три моста. У которого же из них была переправа? И где тут ложбинка, в которой ночь напролет провел он рядом с Савелием? И где тут открытое поле, по которому Марков бежал и до хрипоты кричал «ура»?

По плану, разработанному Котовским, офицерский полк заставили отступить к реке, а там их ждали установленные наши пулеметы. Да, да, Марков помнит, как офицеры прыгали в воду, больше им ничего не оставалось. Туман рассеялся, настало ослепительное, бодрое утро. Фыркали лошади, вплавь переправляясь через реку, так как мост был поврежден... Течение было быстрое. Трупы на минуту задерживались, зацепившись за устои моста, а затем их уносило течением дальше...

Но все это лишь в памяти Маркова. А так, если оглянуться вокруг, сейчас была умиротворенная, деревенская тишина, выводок уток плавал возле самого берега. Они добродушно, хозяйственно крякали и ныряли за рыбешкой. На той стороне реки возле опрокинутой лодки стоял, застыв и окаменев, рыбак в соломенной шляпе и смотрел на неподвижный поплавок. Прокряхтел рядом воз. Красивая чернобровая молодка лениво глядела на Маркова, лежа на возу, выковыривая семечки из подсолнуха и поплеывая шелуху. Круглые облака отражались в воде. Квакали лягушки. Марков сел на обрыве возле куста смородины, развернул пакетик и принялся за мясные пирожки...

— Ну как? Довольны? — спросила Елизавета Петровна, когда он вернулся.

— Доволен.

— Посмотрели?

— Посмотрел.

— Ну и хорошо. А теперь в Умань. Поезжайте, миленький, сделайте, что Ольга

Петровна просит, хочется ей внимание Николаю Николаевичу оказать.

Накануне отъезда в Умань Марков написал письмо в Ленинград. Обо всем доложил: и о красотах Киева, и о том, как побывал на реке Здвиж, и о том, как мечтал повидать крест, которым благословляли на ратный подвиг Дмитрия Донского.

В квартире было тихо. Ольга Петровна еще не вернулась с работы. Марков увлекся письмом и не сразу услышал, что кто-то его окликает. Оказывается, Елизавета Петровна заглядывала в дверь и манила его пальцем:

— Идите-ка, что я вам покажу...

Что за таинственность? И почему она говорит шепотом, когда все равно никого нет?

— Знаю я, — шептала Елизавета Петровна, — дружно вы живете с Оксаной. Совет да любовь. Хорошо это. Похвально. Совсем как Григорий Иванович с Ольгой жили. Так вот... никому не показывала, а вам покажу: письма у меня хранятся. Ольга-то все документы, все бумаги, фотокарточки — все в музей отдала, а Письма от Григория Ивановича — это, говорит, мое, никого не касается, пусть, говорит, будут у тебя.

Елизавета Петровна протягивала Маркову пачку густо исписанных листков. У Маркова дрогнула рука. Письма, написанные Григорием Ивановичем! Все равно что с ним говорить, голос его слышать!

— Удобно ли, Елизавета Петровна?

— Да ведь Григорий-то Иванович вам кто? Посаженный отец! Вы должны эти письма знать, это вам как завещание — и воевать, как он, и жить, как он, и любить, как он. Нате, читайте, сядьте вот тут, на диванчике, и читайте, а мне по хозяйству надо.

И видя нерешительность Маркова:

— Не думайте, что Ольга Петровна рассердилась бы. Нет. Такие письма получать... боже милостивый! Да это превеликое счастье.

И вот остался Марков один. И пачку писем в руке держит. Какой заостренный и твердый почерк! Строчки загибаются кверху. Строчки неровные и быстрые, как весенние ручьи. Может быть, и писал-то письма в перерыве между двумя боями, где-нибудь примостившись и положив листок на полевой сумке на коленях...

«Милая, дорогая, желанная Лелечка!..»

Марков прочел эту строчку и остановился. Читать или не читать? Завещание? Вероятно, в свое время показали письма и Оксане? И значит, было на то разрешение Ольги Петровны, как выражение наивысшего доверия и расположения?

«Каждый раз, когда приходит летучка „оттуда“, где ты, моя родная, ненаглядная, — душа моя переживает какой-то удивительно сложный и сильный по остроте момент...»

Теперь Марков уже не в силах был остановиться и прочитывал строку за строкой, листок за листком, захваченный этим бурным порывом, этой силой переживаний.

«Каждый раз хочу послать тебе на бумаге все, что у меня в душе, мое чувство... Эх! Да разве вместит весь мир мою любовь?...»

Марков взволнованно думал:

«Да, это он, Котовский! Человек решительных действий и больших чувств! Таким, и только таким, я всегда и знал его. И поразительно: ни в одном письме ни слова, ни намек на то обстоятельство, что он ежеминутно подвергается смертельной опасности...»

Вот дата на одном из писем: 28 марта 1920 года. Марков наморщил лоб. «Март двадцатого года? Что происходило в марте двадцатого года? Одесса была нами взята в феврале, тогда же взяты Тирасполь и Маяки... Когда мы оказались на переформировании в городе Ананьеве? В конце февраля. Все ясно! Это письмо было написано в те дни, когда у бригады произошли первые стычки с белополяками в районе Комаровцев!»

Марков держал в руках пачку писем, письма были тем звеном, которого не хватало, чтобы представить весь облик Котовского.

Вошла Елизавета Петровна.

— Прочитали? Ольга правильно говорит, что у него была красивая душа. Несмотря на тяжелую молодость, на пережитое в тюрьмах, он остался чист и благороден. Да, это ее

подлинные слова, и как они справедливы! Я-то видела их изо дня в день. И тоже могу сказать, что Григорий Иванович умел любить, умел и ненавидеть. Прекрасный человек. Ольге выпало большое счастье, что она встретила его.

Марков удивленно слушал: оказывается, Елизавета Петровна вовсе не так молчалива! Смотрите, с каким жаром она говорит! Марков в раздумье держал в руке письмо. Взгляд его остановился на заключительных строчках:

«...Это счастье — ты и моя любовь к тебе. Будь здорова, мое дивное чудесное счастье, моя мечта! Твой, весь только твой Гриша».

— Ура! Сдавайтесь! А то будет плохо! Ура! — с этими криками ворвался в комнату Гришутка. Он был увешан оружием. В каждой руке по пистолету, через плечо ружье на ремне, за поясом деревянная сабля.

— Тише! Тише! Ты же нашу Лёку разбудишь, вояка!

Но Леночка и не пошевелинулась. Она раскинула розовые, как бы перетянутые ниточкой ручонки в крепко-крепко спала.

4

Таких, как Николай Николаевич Криворучко, взрастила революция, воспитала гражданская война. Пока гремели залпы, все шло у них преотлично. Эти сыны народа обладали абсолютным здоровьем, безумной храбростью, военным талантом. Они быстро выдвинулись из рядовых бойцов и заняли командные должности. Бойцы их любили, так как это были свои, родные, понятные, близкие люди, им можно было довериться, с ними можно было, не задумываясь, идти в самый рискованный бой. Став командирами рот, командирами батальонов, полков, а то и дивизий, они на лету схватывали необходимые знания, на опыте проверяли железные законы войны, чутьем восполняли то, чего не хватало в их образовании.

Результаты были поразительные. Эти выходцы из армейских низов, делегаты от народа, счастливые самородки громили офицерские дивизии, разгадывали хитроумнейшие комбинации генералов — отборной военной касты, выкормленной в царских академиях во славу двуглавого орла.

И они победили.

Когда перестали ухать артиллерийские залпы, перестал строчить, захлебываясь короткими очередями, пулемет, затихла лязгающая поступь войны, мы стали подсчитывать, чем мы располагаем, какое у нас оружие, какова наша боеспособность.

Тут-то и обнаружили все недочеты, нехватки, обнаружилось и это несоответствие: заслуженные красные командиры, полные сил, имеющие за плечами богатый боевой опыт, не располагают, однако, достаточными знаниями. Они — надежнейший оплот революции, они действительно люди, на которых можно положиться в минуту опасности, но им надобна самая отчаянная учеба и с самых азов. Будущая война предъявит к ним повышенные требования.

Это понимал и Криворучко.

Что было у него в активе? Редчайшая память. Даже Ольга Петровна заметила, когда первым преподавателем была у Криворучко: что сказано один раз, то запомнит на веки вечные. Глаз быстрый, силушка немеряная, на коне как влитой. Сколько было бойцов в бригаде, каждого знал по имени-отчеству, откуда родом, в чем его можно использовать, что можно ему доверить, кто видом орел, а душой тетерев, кто ловок и хитер, для разведки годится... Котовский нарочно его проверял и ни разу не поставил в затруднение. И в конях Криворучко толк понимал и знал золотое правило: обойдешь, оглядишь, так и на строгого коня сядешь. Бывший вахмистр царской армии, Криворучко хорошо знал службу. Соратник Котовского, он был беззаветно предан революции. Воспитанный на традициях Красной Армии, он был находчив, смел и понимал, что героизм заключается не в том, чтобы умереть, а в том, чтобы остаться целым и невредимым, нанося удар за ударом вражеским силам.

Чего не хватало Николаю Николаевичу Криворучко? Образование, знаний, теории, как

и многим командирам тех лет.

Вот и пришел на помощь Криворучко этот самый ВАК — Высшие академические повторные курсы, на которых пришлось Криворучко семь потов спустить и только при помощи старика Гукова преодолеть всю премудрость.

А тут случилось это кровавое злодеяние, после которого даже Криворучко, с его поистине стальными нервами, долго не мог опомниться.

Пришло назначение: занять опустевшее место Котовского, продолжить его славную деятельность, командовать корпусом.

Криворучко был в смятении:

— Они там смеются надо мной! Вахмистра Криворучко назначить командиром корпуса! Одно дело — Котовский, другое дело — я!

Опять пришел на помощь мягкий, умный, добрый Гуков:

— Беритесь, Николай Николаевич. Поможем. А кого еще было назначить? Решение правильное, разумное. Да и что делать — приказ есть приказ.

Первое, что поразило Маркова по приезду, — это невероятные перемены в облике Криворучко. То есть Марков видел, что перед ним Криворучко, знал, что это Криворучко, понимал, что это Криворучко, но это был не Криворучко, а совсем другой человек, только по старой памяти именуемый Криворучко.

Это все и высказал Марков в первые же минуты встречи, выражая ту мысль, что здорово вахмистра обломали в ВАКе.

Криворучко рассмеялся:

— Все мы подрастаем помаленьку. А вы посмотрите на наш комсостав! Чудеса, да и только.

Марков рассказал о Киеве, о себе, передал гостинцы.

— Видеть вас рад, а Ольга Петровна напрасно беспокоится. Можно бы и без подарков.

Марков пробыл в Умани несколько дней. Умань в сентябре необычайно красива. Появляется первая позолота в листве, как первая проседь на висках, как первые намеки на приближающуюся осень. Но еще в полную силу зеленеют сады. Солнце и не думает сбавлять норму тепла и блеска. На улице не встретишь ни одного мальчишки, не грызущего яблоко, ни одной даже самой крохотной девчушки, у которой не были бы перемазаны щеки ягодным соком или вареньем. И Марков пил чай с вареньем, толкуя с Николаем Николаевичем Криворучко, с комкором Криворучко о разных разностях.

— Я поставил задачей, — рассказывал Криворучко, — сохранить в корпусе весь почерк Котовского, весь его стиль. Та же дисциплина, та же дружная работа, те же занятия физкультурой, та же учеба.

Как в былое время в доме Котовских, у Криворучко всегда народ.

— Мы развернули такую работищу в военно-научном обществе — ого! Москва позавидует! — не мог не похвастаться Гуков, который, видимо, бывал у Криворучко запросто и чуть ли не каждый день.

Марков заметил, что Гуков сильно сдал. Хоть и храбрился, но видно было, как он преодолевает усталость и старается держаться молодцом. Он рассказывал забавные истории, солдатские анекдоты столетней давности:

— Понимаете... осматривает генерал казармы, в которых не позаботились даже поставить печи. Выходя, генерал мрачно говорит: «Какая бес... печность!» Ха-ха-ха!

Марков видит, что Гуков помимо всего старается развеселить и подбодрить Криворучко, которому все-таки не легко на новом месте. Еще он видит, что и Криворучко это понимает. Маркова это трогает.

«Хороший народ. Складно у них тут. Не подкачают!»

Он решил, что напишет Ольге Петровне подробное письмо, и собрался уже ехать.

— Куда вы так скоро? — всполошился Криворучко. — С вами так легко говорится о Григории Ивановиче, о наших делах...

— Никак не угадаете, куда я собираюсь, — признался Марков. Представьте, в Пензу!

Хочу разыскать Савелия. Помните такого?

— Кожевникова? Как не помнить! С удовольствием бы составил вам компанию! Только отложите поездку на сутки. Сегодня вечером у меня будет подпольщик из Кишинева. Вам, наверное, интересно будет его послушать.

— Неужели из Кишинева? Тогда я останусь. Но разве можно попасть в Кишинев?

— Вообще-то, конечно, нельзя. Но я же вам говорю: подпольщик. Когда-то нельзя было попасть в Одессу, оккупированную французами. Но Котовский там жил и боролся. — Нечаянно упомянув об Одессе, оба даже вздрогнули. Да, Одесса была для Котовского местом славы, местом борьбы, она же стала местом безвременной гибели.

5

Приезжий из Кишинева внешне был ничем не примечателен. Обыкновенное лицо, спокойные, внимательные глаза. Одет тоже обыкновенно.

— Здравствуйте! Карпенко, — сказал он, входя.

— Очень приятно. Не хотите ли чайку с дороги?

Марков подумал о том, что этот Карпенко, вероятно, еще и Сидоренко, и Цуркан... и еще бог знает кто, смотря по обстоятельствам. Какое у него дело к Криворучко, Марков не любопытствовал. Рассказал Карпенко много историй, каждая из них была невероятна, фантастична, полна драматизма, дерзкой отваги, героики, и каждая была сущей правдой.

Оказывается, еще с двадцать четвертого года издавалась у нас газета на молдавском языке «Плугарул Рош», то есть «Красный пахарь». Издавала ее молдавская секция при Одесском губкоме.

— Ну и она попадает туда? — задал наивный вопрос Марков.

— А как же?

Марков подумал, что вот бы поместить в этой газете свой рассказ и подписаться полным именем... Возможно, что таким способом он мог бы дать знать о себе отцу и матери. Или послать с этим Карпенко записку?

Между тем человек, назвавшийся Карпенко, подробно рассказал о последствиях восстания в Татарбунарах. Был шумный «процесс пятисот». На процессе присутствовал Анри Барбюс и написал о нем книгу «Палачи».

— Таковую книгу, — добавил Карпенко, — что кровь стынет. Кажется, сообщалось в советской печати о Ромен Роллане? Он тоже выступил в защиту татарбунарцев...

Марков внимательно рассматривал подпольщика. Необыкновенные люди! Сидит, пьет чай, рассказывает, голос ровный, слова простые. Никакой позы, никаких патетических возгласов, никакой рисовки... Марков раздумывал, мог бы он быть подпольщиком? Тогда бы и он сумел пробраться в Кишинев...

— Что говорить, — продолжал Карпенко, — борьба обходится не дешево, гибнут лучшие люди. Но и мы спуску не даем. Когда сигуранца подлейшим образом убила нескольких большевиков, мы приговорили к смертной казни главного их начальника, выследили, когда проходила его машина, не пожалели на него две лимонки собственного изготовления. Сами понимаете, что от него осталось, хоронить было нечего. Они знают, что ничего безнаказанным не пройдет, хвосты-то поджигают. Помню, когда они замучили Маркова, так железнодорожники шесть эшелонов пустили под откос. Пять с военным снаряжением, а один с солдатами.

— Как вы сказали? — переспросил Марков, бледнея. — Кого замучили?

— Маркова, Петра Васильевича. Дельный был, я его лично знал.

— Маркова... Петра Васильевича...

Сказал, и голос у него сорвался.

— Как же... Мы об этом еще листовку выпускали. А что, вы его знали?

— Это мой отец, — беззвучно пролепетал Марков.

Криворучко слушал, смотрел. Он еще не отдавал себе отчета, что произошло. Мишу

Маркова он знал с давних пор. Но Мишиного отца Котовский отпустил на родину, когда Криворучко еще не было в отряде Котовского. Он слышал, что у Маркова в Кишиневе семья. У многих, находившихся в бригаде, семьи были в Молдавии. Когда Карпенко назвал имя, отчество и фамилию жертвы сигуранцы, Криворучко вначале не связал это с Мишей. Мало ли Марковых на свете! О Мише Криворучко знал, что он питомец, почти что сын Котовского, так же как Костя Гарбарь, так же как Шурка... у Котовского немало было таких прибывшихся к бригаде мальчуганов без роду, без племени...

Теперь Криворучко понял, какое горестное известие привез этот спокойный, тихий человек. И Криворучко сам не знал, что было бы лучше: не удерживать Маркова, пусть бы уезжал, и до поры до времени оставался в полной неизвестности, или, наоборот, хорошо, что Марков все узнал. Нет, пожалуй, лучше, что он остался: знать всегда лучше, чем не знать.

Карпенко был обескуражен таким оборотом дела.

— Вон оно какое дело... — бормотал он. — Не знал, не знал. Так это точно? Вы не ошибаетесь? Ваш отец работал на железной дороге?

— Мы жили в железнодорожном городке. Гончарная улица...

— Как же, как же! — оживился Карпенко. — Крыльцо с двумя ступеньками... деревянный дом... Стало быть, Марина матерью вам приходится? Померла и она...

Карпенко рассказал, какие знал, подробности. Знал он немного. Мог только сообщить, что Марина умерла в больнице, Татьяна куда-то исчезла, не то скрывается где-нибудь у родственников, не то совсем уехала из Молдавии.

— А насчет шести эшелонов, товарищ Марков, я рассказал сущую правду, — добавил Карпенко. — Мы беспощадные мстители, мы знаем, что каждого из нас может постигнуть горькая участь, но никогда не отступим и будем бороться, пока не восторжествует правда.

— Что ж, Миша, — подошел к Маркову Криворучко, — все-таки лучше знать, чем не знать. По-моему, так.

— Да, — произнес Марков каким-то не своим голосом, — знать... И еще понимать, что от этих изуверов не жди хорошего...

— Какое там! — согласился Карпенко. — Одно слово: капиталисты.

— Палачи. Метко назвал Барбюс, — подтвердил Криворучко.

Он ужасно боялся, что Марков раскиснет, так как считал, что котовцы не должны падать духом ни при каких обстоятельствах. И он был доволен. Марков встретил известие как подбавляет солдату. Только сказал:

— У меня жена, вот Николай Николаевич знает, потеряла всю семью, всех односельчан в одну ночь. А я ее все утешал: освободим Кишинев, поедem к нам на Гончарную, мои родители будут и твоими родителями... Так-то ей все расписывал... а оказывается... что она, что я...

— У каждого из нас найдется, о чем горевать, — сдержанно сказал Карпенко. — Время такое.

— Опасаются, войны бы не было, — нахмурился Криворучко. — Конечно, война — дело суровое, что и говорить, но бывают и годы затишья, когда тоже лихо головы летят. Не угадаешь... Раз на раз не приходится...

Больше Маркову расспрашивать было не о чем, да и Карпенко заторопился. Они побеседовали еще о чем-то, выйдя на крыльцо, и Карпенко распрощался.

Марков и Криворучко долго сумерничали. Вечер был теплый, даже парной. Сидели у открытого окна и молчали. Вдруг колыхнулись ветви деревьев, по комнате промчалась волна влажного воздуха, и вслед за тем пошел дождь, тихий, теплый, даже какой-то ласковый и успокаивающий. Котовцы сидели и слушали, как хлюпает дождевая вода, как при каждом всплеске ветра шлепаются мокрые листья, как поет-заливается на все лады водосточная труба, как дождь настойчиво и музыкально барабанит по крыше.

На рассвете Марков уехал в Пензу искать Уклеевку.

Приятно въезжать в деревню, не стреляя на всем скаку, не выбивая из бань и овинов огрызающегося противника, не крича «ура», не улюлюкая, не размахивая клинком, а просто прогромыхать на тряской телеге, беседуя о том о сем с рассудительным бородатым дядей, охотно согласившимся довезти до Уклеевки.

— Вам как? Прямо к председателю? Али в сельсовет?

— Лучше бы к председателю, если можно. Это далеко?

— У нас тут все недалеко.

Марков довольно скоро отыскал Уклеевку. А в поезде наслаждался движением и покоем в одно и то же время. Что много людей вокруг — это не мешало Маркову, и в дороге он как бы побыл сам с собой. Ему необходимо было подумать, поразмышлять и привести себя в душевное равновесие. Зрелище мелькающих за окном полей, речек, роц и деревень действовало успокаивающе, перестук колес нравился и тоже умиротворял.

К концу пути Марков уже с интересом слушал вагонные разговоры. Ему нравилось наблюдать завязавшееся дорожное знакомство паренька, едущего в Пензу, со смешливой девушкой, которой скоро выходить. Он все уговаривал ее проехать дальше, а она, отшучиваясь, советовала ему прервать свое путешествие, выйти с ней на ее станции, названия которой он никак не мог запомнить: не то Барабулька, не то Берендейка... И оба они до того друг другу приглянулись, и оба понимали, что еще час — и они расстанутся, чтобы больше никогда не встречаться...

Еще Маркову нравилось выходить на станциях и бродить вдоль рядов торговок — румяных, загорелых, бойких на язычок, расхваливающих свой товар: душистую антоновку, ярко-желтые дыньки, вареную картошку, свежепросоленные аппетитные огурцы...

До чего обрадовался Савелий! Он глазам своим не верил:

— Мишенька! Марков! Люди добрые, да вы поглядите, какой дружок приехал! Верно говорят, что гора с горой не сходятся, а люди когда-когда, глядь, и повстречаются. Проходи, гостюшка дорогой. Анисья! Гляди на него, это же Марков, Марков, с ним мы в долочке перед атакой лежали под престольным городом Киевом!

— Я как раз там был, оттуда и еду. На Здвиже побывал, все искал этот самый долочек... и мост...

Но Савелий не слушал.

— Ты ж подумай — Марков, а?! С ним мы горе горевали, с ним мы у самого Григория Ивановича службу несли... Сокрушили злодеи нашего соколика! Им бы смотреть да радоваться, что на российской земле такой ладный человек живет, так нет, им все наше хорошее — заноза в сердце, будь они неладны...

Маркова усадили, Маркова потчевали. И как пошел Савелий кружевные кружева плести, присказками сыпать, так и не замолкала эта музыка до самого расставания.

— Анисьюшка, краля писаная! Что есть в печи, на стол мечи. Вы, поди, горожане, нашим простецким-то и побрезгуете? Стюдень-то хорош? Еще скушай, Мишанюшка, ватрушечку! Сыт? Ну-ну. Душа меру знает. Что женушку-то не привез? Занята, говоришь? Работа? Ох-хо-хо, в девках сижено — горе мыкано, замуж выдано — вдвое прибыло.

Когда Савелий узнал, что Маркова Ольга Петровна послала и что Савельево письмо вслух читали, оханья и аханья, шуму и суеты еще больше прибавилось.

— Прежде-то я все Григорию Ивановичу писал, мы ведь все с ним советовались. Командир-то он был первейший, да и то надо помнить, что из агрономов, землю-то понимает, где мак, а где так — отличит. А теперь кому же? Мамаше нашей — Ольге Петровне...

— Ты дай человеку словечко вымолвить, — заступилась за Маркова статная, густо замешанная, проворная и сильная Анисья.

Но куда там! Савелий сыпал и сыпал, как зерном из пригоршни.

— Как жизнь, Савелий? Как идут дела?

— Хозяинуюем. Полешко к полешку — вот и дрова.

Узнав от Маркова о судьбе его родителей, Савелий ничуть не удивился:

— Ты разве не знал? Слушок-то давно ходил про это, еще до того, как город Одессу брали. А что ты хочешь? Одно слово: капиталисты. Хорошего от них не ждать.

Марков подумал, что у Савелия все просто получается, все у него свое место имеет и свое назначение, все у него по-своему. Вон и о Котовском он как о живом говорит.

Марков находился под впечатлением того, что узнал от Карпенко. В дороге было рассеялся, а сейчас опять все время ловил себя на мысли об отце, об истязаниях, которые тот, видимо, претерпел, о матери, о том, почему же она очутилась в больнице, о Татьянке, которая исчезла бесследно, но ведь где-то она должна же быть? Бессилие, невозможность узнать что-нибудь точнее, подробнее были мучительны. Нельзя ни пойти справиться, ни поехать искать...

Может быть, Карпенко напутал? Может быть, все не так? У Маркова была смутная надежда услышать от Савелия какие-то мудрые слова утешения, соболезнования, участия. Капиталисты! И Карпенко говорил «капиталисты». А Маркову от такого объяснения не легче. Отца замучили, мать умерла, всеми покинутая, на больничной койке... сестра пропала без вести... До каких же пор будут людей мучить, разлучать, истреблять? Какая-то ненасытная прорва, заглатывающая поколение за поколением!

Савелий рассказал, как воюет с кулаками да подкулачниками, отстаивает голь перекатную, бедноту, коллективизацию хочет проводить.

— Демобилизованные, старые солдаты — вот наша опора, без них хоть пропади. Мы единым фронтом двигаемся. Было тут такое дело: у нашего сельсоветчика кулаки дом спалили. Шила в мешке не утаишь, мигом разведали, кто к поджогу причастен: первый богатей Вараксин Андрей. Посоветовались мы промеж себя. До бога высоко, до суда далеко, давайте, мужики, своим умом разберемся. Вызвали Вараксина. «Ты поджег?» — «Не доказано. Кто видел?» Нашли, кто видел, приперли к стене, признался. «Так вот, говорим, Андрей, считай, что ты свою избу сжег!» — «Моя целехонька стоит!» Ладно. Комсомолия нас поддерживает. Молодость завсегда вперед смотрит. Пошли мы всем скопом, поздоровее ребят прихватили, Вараксина с бабами, с пеленками, со всей хурдой-мурдой забрали да на пепелище их — вот ваш дом! А сельсоветчику говорим: «Получай вараксинский дом, живи». Вой поднялся на всю губернию. А куда подашься? Сходом порешили! Закон! Ну, худо-бедно, Вараксин быстро заново отстроился да выпросил из своего же, значит, кровного — лошаденку да коровенку. С той поры чтобы поджогами заниматься ни-ни! На всю жизнь зарекся.

— То-то Ольга Петровна рассказывала, что у вас баталия идет.

— А как же? По слову Владимира Ильича, отменяем российский лапотный капитализм. Вчера не догонишь, от завтрава не уйдешь. Так-то, Мишаня.

— О каком же срочном деле в письме разговор шел?

— А насчет пчел. Хотим пасеку заводить, и все чтобы по-научному, по-советски. У вас там, в Ленинграде, все ученые собрались. Нам бы руководство какое получить. В Пензе шарил-шарил, книг много, а все больше неподходящие.

— Это, Савелий, обещаю. Непременно отыщу, все, что достану, пришлю.

— А сам опосля медку протведать приезжай.

— Ты бы приехал в Ленинград. А, Савелий?

— А я на сборы скор. Может, и приеду. Надо мне у вас там одно дело повидать.

— Какое?

— Слышал я, есть у вас Медный Всадник, посередь площади стоит и конем управляет...

— Есть...

— Надобно мне его повидать. Беспременно надо, не хочу умереть, пока не повидаю. Мне о нем один верный человек рассказывал. Жди, Мишаня, выберется времечко — прискачу. Как скоро, так сейчас. Только адрес пропиши — и какая улица, и как проехать.

Дни летели. В конце сентября Марков был еще в Умани, а теперь и октябрь подходил к концу. Пора бы и трогаться, но Савелий и слышать не хотел об отъезде.

— Ты же тыквы еще не попробовал... Тыквенную кашу никогда не едал? И куда спешить? Поспешишь — людей насмешишь. Нельзя жить торопко. Ужо и в Пензу съездим, Пензу посмотришь. Живи!

Побывал Марков и на новой затее Савелия — общественном птичнике, и на полях. Послушал, какие песни расчудесные поют в Уклеевке вечерами. И все давал себе клятвы, что будет сюда наведываться почаще, и, давая клятвы, откровенно признавался себе, что вряд ли когда еще выберется.

— Хорошо у вас тут, Савелий!

Марков хвалил, и хвалил искренне, но сам уже смертельно соскучился по Ленинграду, по Оксане, по афоризмам Крутоярова и бурной декламации Женьки Стрижова.

Савелий усердствовал.

— А коровник-то! Коровник я не показывал. На научной базе устроено!

— Что ж, пошли смотреть коровник...

— Библиотеку-читальню я уже показывал? Али нет?

Батюшки-светы, чуть не запмятовал! Культурную революцию проводим, согласно указаний товарища Ленина. Не кое-как.

Маркову понравилась худенькая синеглазая библиотекарша. Она была такая маленькая, что еле доставала до верхних полок шкафа.

— Книга Михаила Маркова у вас есть?

— Вот, пожалуйста. И еще есть экземпляр, только сейчас на руках.

Марков осторожно взял свою книгу. Потрепанная! Читают! Это переполнило его гордостью. Было очень смешно, что Савелий только сейчас понял, что книгу эту написал он, этот самый Миша.

— Смотри ты! И в библиотеке! И твоя! — недоумевал он. — И что это на свете творится!

Библиотекарша, услышав, что Марков писатель, стала рассказывать о работе, показывала диаграммы, предложила просмотреть свежие газеты, сегодня привезли почту.

— Некогда нам, — заважничал Савелий. — Коровник иду товарищу из центра показывать.

Однако библиотекарша оказалась настойчивой. Она успела уже с кем-то перешепнуться, куда-то отослать одну юную читательницу. И вот в библиотеку стали один за другим входить старые и молодые, женщины и мужчины, а главным образом молодежь.

— Это они с вами хотят побеседовать! — решительно объявила библиотекарша. — А коровник как коровник, ничего в нем такого нет, можете и завтра посмотреть.

— Главное, вы нам про Котовского-то расскажите, — подошел к Маркову дряхлый-дряхлый старик. — Значит, вместились воевали? Скажи на милость.

— Так ведь и Савелий котовцем был.

— Савелий свой, нам это без интересу. А вы свежий человек.

Что ж, о Котовском Марков готов хоть каждый день рассказывать. Дали поудобнее всем расположиться, и началась у них беседа. А Савелий разве утерпит? И он стал вспоминать. Посыпались вопросы. Больше всего мальчишки спрашивали: и что это за гимнастика, которую делал Котовский, и какие сражения были, и какие кони... Спрашивали и во все глаза на рассказчика таращились.

И всплыло все пережитое в памяти Маркова, разволновался он, ведь свежо все, только ворохни... Охваченный светлой грустью, распростился он с библиотекаршей, с сельчанами и вышел на деревенскую улицу вслед за Савелием, упоенным своими успехами в хозяйстве.

На улице, широкой, поросшей гусиной травой, но в тени уже подернутой инеем, играли в войну ребятишки, целясь друг в друга из самодельных ружей и усиленно изображая выстрелы: «Пу! Пу!»

Савелий шутнул поросенка, преграждавшего им дорогу. Поросенок сначала заупрямился, потом вдруг задал стрекача, брыкаясь и отчаянно визжа, как будто его резали.

Через несколько дней Маркова провожали на станцию Савелий, жена Савелия,

синеглазая библиотекарша, одноногий солдат — секретарь ячейки — и новые друзья Маркова — молодежь, чубастая задорная комсомолия.

Марков был доволен, что всюду побывал, ко всем съездил. До сих пор что-то над ним довлело, было такое ощущение, что начал читать интересную книгу, оторвался и осталась недочитанной первая же глава — как-то ни то ни се. Теперь порядок! Можно перелистнуть страницу и с любопытством заглядывать, о чем же там дальше.

Как и все люди его возраста, Марков считал себя бессмертным. И хотелось, чтобы побыстрее летело время, чтобы отрывать, отрывать, отрывать календарные листки, чтобы жить, жить, жить... С аппетитом! Со вкусом! В полную меру! Во всем участвуя! Во все вмешиваясь! Во все залезая по уши!

7

Предсказания Детердинга о сроках войны не сбылись. Но тучи над горизонтом не рассеивались. Густели тучи. Все небо заволочло.

Когда писатель Бобровников выпустил свой роман «Бескровное вторжение» и поехал преподнести книгу Ивану Сергеевичу Крутоярову, тот сказал:

— Готовьте второй том. Вряд ли решатся мирным путем все разногласия и противоречия. Что называется, вечный мир до первой драки. Боюсь, не пришлось бы вам рассказывать о кровавых, страшных делах на страницах нового романа.

— Я не баталист, — грустно вздохнул Бобровников. — И потом — надо же дать дорогу новым дарованиям, пусть они дерзают. Редактор издательства «Круг» Воронский утверждает, что писатели рождаются сейчас, как грибы. Вот! Им и карты в руки. А мы с вами... как это сказать? История литературы.

— Ну, ну, не прибедняйтесь. Мне кажется, и у вас новое рождение?

— Что да, то да. Переживаю вторую молодость. Вы это точно подметили. На самом-то деле: можно ли оставаться хладнокровным? То, что я успел посмотреть, — непостижимо! Днепрогэс... Магнитогорск... Я, вероятно, походил на иностранного туриста, когда лазил по бетону плотины, бродил по дну Днепра, стоял на том месте, где когда-то шумела Запорожская Сечь... По-моему, некоторые инженеры даже пытались заговаривать со мной по-английски.

— Ничего удивительного, в вас еще сидит Париж, это не скоро выветривается, это как нафталин. Страшно рад вас видеть! Страшно рад! Молодейте, это у нас полагается. Кстати, хотите, познакомлю с новым поколением? Михаил Петрович! Михаил Петрович! Вот честь имею представить: это — писатель Бобровников, это — Марков. Котовец, кавалерист, скакал на коне, и рубал, а сейчас мирно издает книги.

— Да?! — И Бобровников воззрился на Маркова, как на девятое чудо. — В самом деле?

— Можно бы продемонстрировать наряду с Днепростроем и Сельмашем, если бы не одно: сейчас вся писательская смена такова. Сюжетные люди.

— Очень рад познакомиться! Марков? Читал, читал. Да, я читаю. Нахожу отвратительной привычкой, что писатели не читают друг друга. Раньше этого не водилось.

Тут Крутояров ловко направил разговор на эмиграцию, на парижскую жизнь, и Бобровников рассказал много интересного.

Как только Бобровников ушел, Марков надел на Крутоярова, выпросил роман «Бескровное вторжение» («Не сразу же вы за него приметесь, Иван Сергеевич!»), прочел его одним залпом и помчался к Стрижову рассказывать о впечатлении.

По прочтении любой книги Марков прежде всего приходил в восторг. Рассказывал всем содержание книги, читал вслух отдельные места. Затем он начинал вдумываться в прочитанное, и тогда только выяснялось, на самом ли деле понравилась ему книга.

— Да ведь ты восторгался? — упрекал его Стрижов.

— Мало ли что. Просто новинка. А теперь вижу: концовка — пришей кобыле хвост. А герои? Разве это люди? Ходульно. Схема. Зря только бумагу извели.

Зато уж если книга выдерживала испытание временем, он ее рекомендовал всем и

каждому: Оксане, Надежде Антоновне, Стрижову, случайному собеседнику в парке, трамвайной кондукторше. Книга приобреталась и торжественно водружалась на книжную полку.

Кажется, «Бескровное вторжение» ожидала именно эта участь.

Стрижов, оказывается, книгу читал и тоже хорошо о ней отзывался. С его мнением Марков очень считался.

Дружба у них была теперь крепка и нерушима. Свободного времени у обоих в обрез, зато как повстречаются, отводят душу.

Стрижов рассказывал, что на заводе у них работа идет успешно.

— Конечно, ты можешь на слово и не поверить. Но если бы началась война, ты мог бы получить отзывы о наших изделиях от противника.

— Какие же именно отзывы?

— Такие, что после применения наших изделий на фронте некому будет в окопах противника давать отзывы.

Чувствовалось, что уж до того хочется Стрижову похвастаться теми изделиями, которые изготавливаются на их заводе! Но Стрижов всякий раз прикусывал язык. Он был строг в этом отношении.

Вообще, как заметил Марков, партийность сильно сказалась на формировании характера Стрижова. Он стал вдумчивее, серьезней. Меньше декламировал. Меньше дурачился. Параллельно с заводом шла учеба. То, что узнавал сам, старался передать Маркову, и если бы послушать их со стороны, можно было бы подумать, что это два студента готовятся к зачетам по историческому материализму.

Стрижов часто повторял:

— Сейчас политически неграмотный человек автоматически переводится с переднего края в обозники революции!

Не желая приписывать эту мысль себе, Стрижов называл преподавателя, который говорил об этом у них на занятиях.

Теперь вместо стихов Марков слышал от Стрижова цитаты, формулировки, рассуждения о единстве противоположностей... о прибавочной стоимости... Когда это происходило в присутствии Анны Кондратьевны, на ее лице можно было прочесть быстрюю, как кадры кино, смену настроений: сначала она умилялась, потом удивлялась, потом была озадачена, потом переставала что-нибудь понимать и теряла всякое терпение. Тогда она отмахивалась, как от наваждения, и уходила в кухню, ворча:

— Боже милостивый, прости меня, грешную, битый час говорят — и хоть бы одно словечко понятное! Ну и молодежь пошла! Чур меня, чур, слушала-слушала, аж голова вспухла!

— Слава аллаху, — говорил Стрижов после пятнадцатого съезда партии, очистились от скверны! Ведь еще когда Ленин предупреждал о Зиновьеве и Каменеве, еще до Октябрьского переворота. А сколько валандались с Троцким? Теперь порядочек. Из партии вон и будьте любезненьки убраться за границу. Пускай там, на Принцевых островах, свой четвертый интернационал сколачивает и брызжет ядовитой слюной сколько влезет! Пустая мельница без ветра мелет. Говорят, телохранителями себя окружил, а сын у него — Лев Седов — на побегушках.

— Но все-таки почему так много оппозиционеров?

— Разве это много? Семьдесят пять крикунов вычистили, семьдесят пять гнилых интеллигентов. А что такое семьдесят пять? Мелочь. В партии и с партией — миллионы.

Взгляд на часы, не опаздывает ли на занятия:

— Нам дискуссиями заниматься недосуг.

Накидывая пальто и нахлобучивая кепку:

— Мама! Запри. Приду поздно. Эх, Мишенька Петрович! Одним бы глазком взглянуть, что будет еще через пятьдесят лет? А? Мороз по коже подирает! До того охота!

— Хватил — через пятьдесят! Через десять — и то интересно.

— Вот ведь сейчас: кажется, успехи? Армия сильна. Строим кое-что. Пятилетку затеяли — тоже не фунт изюму. Но я так думаю... (пауза, спуск по лестнице с нарастающей скоростью, через одну, через две ступеньки) — даже ничегошеньки похожего не будет через пятьдесят лет на то, что сейчас. (Давай махнем через проходной двор, скорее будет!)

И уже шагая мимо Екатерининского сквера к Толмазову переулку, чтобы выбраться к остановке трамвая:

— Такую житуху закрутим — диво-дивное! У нас тут лекция была: «Техника будущего». Мы рты поразевали. Вот, дьяволы, башковиты! Ку-у-да!

8

После каждой такой встречи у Маркова вспышка вдохновения. Оксана так уж и знает, что теперь Миша ночь напролет просидит за письменным столом.

Но работа-работой, а они поставили за правило: каждый год ездить друзей навещать, вдоль и поперек по стране мотаться, с людьми дружить, на их дела смотреть, а то, чего доброго, превратишься в чужестранца у себя-то дома. Одних только новых городов сколько возникает, не угонишься. Какие и раньше были города — и те переименованы.

Возникло новое знакомство — стали бывать у Орешниковых на Васильевском острове. И такая дружба повелась! Вова уже требовал от Маркова рассказов о лошадях, о войне, о Котовском. Оксану он до тех пор называл тетей Саной, пока и все не стали ее так называть.

Оксана сдружилась с Любашей. Марков понравился Капитолине Ивановне, так как неизменно хвалил ее варенье, и достиг расположения Лаврентия Павловича, так как терпеливо и с неподдельным интересом выслушивал до конца его рассказы о старой Москве и его молодости.

Кажется, именно Вовины расспросы натолкнули на мысль всем сообща нагрнуть в Киев, к Ольге Петровне. Причем обязательно с Вовой. И обязательно с Любовью Кондратьевной.

За все существование поросшего травой Десятинного переулка здесь не случилось слышать столько шума, смеха, возни. Создавалось впечатление, что приехало не пятеро, а целая экскурсия, целый детсад, целый полк. В садике, во дворе, на улице перед окнами — всюду кричали, бегали, смеялись, появляясь одновременно и там и тут. Играли в мяч и выбили оконное стекло в первом этаже. Ходила делегация приносить извинения.

Что было еще? Орешников очень удачно изображал кавалерийскую лошадь и поочередно катал Вовку и Гришу на закорках. Елизавета Петровна бегала следом, пронзительно крича:

— Осторожно! Довольно! Уроните!

Четырехлетняя Леночка была величава, как королева. Орешникову она важно заявила, что «таких лошадей не бывает». А он-то воображал, что совершенно перевоплотился в четвероногое!

Марков удивился, что Ольга Петровна полна энергии, все бегом да бегом.

— Мне иначе нельзя, — говорила она, — у меня дети.

Ну и, конечно уж, вечерами, когда ребят укладывали спать, начинались бесконечные воспоминания, воспоминания... иной раз до утра.

9

Вскоре после возвращения из этой очаровательной, какой-то благоуханной, светлой поездки Оксана увидела на листе бумаги красиво выведенное название:

«Нас вел на врага Котовский» — роман.

— Решился все-таки? — спросила она. — Как трудно-то будет! Ой, матенько!

— Не могу я, — ответил Марков, как бы оправдываясь и вместе с тем подбадривая себя. — Чувствую, что не могу не писать это. Пока не напишу, не успокоюсь.

— Разве я не понимаю? Обязательно пиши. Только я заявляю как медицинское лицо: человек днем не спит, ночью спит. Так он устроен. Зачем же шиворот-навыворот? Ясно?

— Ясно, — ответил Марков.

Прошло несколько дней. В одно удивительно солнечное утро Оксана проснулась оттого, что яркий свет бил прямо в лицо. И тут Оксана увидела, что на письменном столе не погашена лампа, зеленый абажур светится, но слабо, потому что вся комната залита утренним солнцем, на полу солнечные полосы и отчетливый узор тюлевой занавески, окно открыто настежь, и слышно, как трамвай погрохатывает по Литейному мосту.

А Миша? Да вон он, как сел вечером, так и сидит, склонившись над листами бумаги.

Оксана вскочила, босыми ногами коснулась горячего, нагретого солнцем пола.

— Мишенька! Ты чего же? Забыл свое обещание не полуночничать?

— Понимаешь, Ксана... думаю... все думаю, думаю...

— Сколько же можно? Надо меру знать. Утро ведь уже! Ты посмотри, любчик мой, какое солнце!

— Солнце? — рассеянно переспросил Марков. — Да, в самом деле. Понимаешь, Ксана. Тут нельзя, чтобы сел да написал. Тут надо так написать, чтоб сердце содрогнулось.

— Конечно! — согласилась Оксана и притулилась около Маркова на стуле. — А то как же? Так и пиши, ты ж у меня золото! Ты ж у меня все можешь!

Солнце теперь переместилось и освещало стену и кусок книжной полки. Оксана вся лучилась и улыбалась так ласково и светло. Миша был серьезен.

— Вот ты, например. Ты думала, что такое Котовский?

Оксана растерялась. Вот это вопрос! Что же она могла думать о Котовском? Она просто любила его и преклонялась перед ним.

— Прочтут книгу, — продолжал Марков, — скажут: сильный Котовский, ловко совершает побег из тюрьмы, как влитой сидит на коне, здорово бьет врагов, большие совершает подвиги. А все это будет неверно, все это будет не то, если не понять главного. А главное что? «Если жить только для себя, то вообще не стоит жить». Он сам так говорил! В этих словах весь Котовский!

Солнце поднялось выше, и теперь вся комната наполнилась светом. Стоял июнь — самые короткие ночи, самые длинные дни в году.